СЕМЕН РЕЗНИК

ЭТА КОРОТКАЯ ЖИЗНЬ



НИКОЛАЙ ВАВИЛОВ И ЕГО ВРЕМЯ




SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Семен Резник – историк и писатель, автор исторических романов, научно-художественных биографий, историко-публицистических книг о России последних двух столетий. Живет в США. Первой книгой Семена Резника была научно-художественная биография Н.И.Вавилова, вышедшая в 1968 году в серии ЖЗЛ издательства «Молодая гвардия» в сильно сокращенном советской цензурой виде. За прошедшие полвека Семен Резник постоянно держал руку на пульсе вавиловедения, снова и снова возвращаясь к своему первому герою. Новая книга – это наиболее полное (на сегодняшний день) и многоплановое повествование о короткой жизни Николая Вавилова. Действие развивается на фоне турбулентных событий яростной эпохи. Вавилов показан в тесном взаимодействии с коллегами, друзьями, недругами, государственными и политическими деятелями Советской России и многих других стран. Воссозданы живые характеры многих лиц, прослежены их неповторимые судьбы.

- Семен Резник
  - Предисловие
  - От автора
  - История с биографией
  - Часть первая
    - Его рождение
    - Петровка
    - Первая любовь
    - Гонка за лидером
    - Драма идей
    - У «Апостола»
    - Роман с непокорной персиянкой
    - Первая экспедиция
  - Часть вторая
    - На грани эпох
    - «Милая родная Леночка»
    - Безумство параллельных рядов
    - Петроград
    - В Новом Свете
    - Время собирать камни
    - Время собирать камни
    - Центры происхождения
  - Часть третья

        - Афганистан
        - Институт прикладной ботаники
        - Средиземноморье
        - Эфиопия
        - Снова Италия
        - Испания
        - Проблема Арцыбашева
        - «Великий кит Китай»
    - Часть четвертая
        - Раскаты грома
        - Чаянов и чаяновщина
        - Истоки американской культуры
        - В круге первом
        - Последняя экспедиция
        - В круге втором
    - Часть пятая
        - Пауль Каммерер
        - Мичурин
        - Мичуринец № 1
        - Мичуринец № 2
        - В круге третьем
        - Трофим Лысенко – рекордист
        - В круге четвертом
        - В круге пятом
        - В круге шестом
    - Часть шестая
        - В круге седьмом действие первое
        - В круге седьмом
        - В круге седьмом
        - После приговора
    - Часть седьмая
        - Дневники
        - Холодный свет
        - В павлиньих перьях
        - Суд чести
        - Августовская сессия
        - Мефистофель и Фауст
    - Краткая библиография
    - Иллюстрации
- notes
    - 1
    - 2
    - 3
    - 4

- ○ 5
- ○ 6
- ○ 7
- ○ 8
- ○ 9
- ○ 10
- ○ 11
- ○ 12
- ○ 13
- ○ 14
- ○ 15
- ○ 16
- ○ 17
- ○ 18
- ○ 19
- ○ 20
- ○ 21
- ○ 22
- ○ 23
- ○ 24
- ○ 25
- ○ 26
- ○ 27
- ○ 28
- ○ 29
- ○ 30
- ○ 31
- ○ 32
- ○ 33
- ○ 34
- ○ 35
- ○ 36
- ○ 37
- ○ 38
- ○ 39
- ○ 40
- ○ 41
- ○ 42
- ○ 43
- ○ 44
- ○ 45
- ○ 46
- ○ 47
- ○ 48

- ○ 49
- ○ 50
- ○ 51
- ○ 52
- ○ 53
- ○ 54
- ○ 55
- ○ 56
- ○ 57
- ○ 58
- ○ 59
- ○ 60
- ○ 61
- ○ 62
- ○ 63
- ○ 64
- ○ 65
- ○ 66
- ○ 67
- ○ 68
- ○ 69
- ○ 70
- ○ 71
- ○ 72
- ○ 73
- ○ 74
- ○ 75
- ○ 76
- ○ 77
- ○ 78
- ○ 79
- ○ 80
- ○ 81
- ○ 82
- ○ 83
- ○ 84
- ○ 85
- ○ 86
- ○ 87
- ○ 88
- ○ 89
- ○ 90
- ○ 91
- ○ 92

- ○ 93
- ○ 94
- ○ 95
- ○ 96
- ○ 97
- ○ 98
- ○ 99
- ○ 100
- ○ 101
- ○ 102
- ○ 103
- ○ 104
- ○ 105
- ○ 106
- ○ 107
- ○ 108
- ○ 109
- ○ 110
- ○ 111
- ○ 112
- ○ 113
- ○ 114
- ○ 115
- ○ 116
- ○ 117
- ○ 118
- ○ 119
- ○ 120
- ○ 121
- ○ 122
- ○ 123
- ○ 124
- ○ 125
- ○ 126
- ○ 127
- ○ 128
- ○ 129
- ○ 130
- ○ 131
- ○ 132
- ○ 133
- ○ 134
- ○ 135
- ○ 136

- ○ 137
- ○ 138
- ○ 139
- ○ 140
- ○ 141
- ○ 142
- ○ 143
- ○ 144
- ○ 145
- ○ 146
- ○ 147
- ○ 148
- ○ 149
- ○ 150
- ○ 151
- ○ 152
- ○ 153
- ○ 154
- ○ 155
- ○ 156
- ○ 157
- ○ 158
- ○ 159
- ○ 160
- ○ 161
- ○ 162
- ○ 163
- ○ 164
- ○ 165
- ○ 166
- ○ 167
- ○ 168
- ○ 169
- ○ 170
- ○ 171
- ○ 172
- ○ 173
- ○ 174
- ○ 175
- ○ 176
- ○ 177
- ○ 178
- ○ 179
- ○ 180

- ○ 181
- ○ 182
- ○ 183
- ○ 184
- ○ 185
- ○ 186
- ○ 187
- ○ 188
- ○ 189
- ○ 190
- ○ 191
- ○ 192
- ○ 193
- ○ 194
- ○ 195
- ○ 196
- ○ 197
- ○ 198
- ○ 199
- ○ 200
- ○ 201
- ○ 202
- ○ 203
- ○ 204
- ○ 205
- ○ 206
- ○ 207
- ○ 208
- ○ 209
- ○ 210
- ○ 211
- ○ 212
- ○ 213
- ○ 214
- ○ 215
- ○ 216
- ○ 217
- ○ 218
- ○ 219
- ○ 220
- ○ 221
- ○ 222
- ○ 223
- ○ 224

- ○ 225
- ○ 226
- ○ 227
- ○ 228
- ○ 229
- ○ 230
- ○ 231
- ○ 232
- ○ 233
- ○ 234
- ○ 235
- ○ 236
- ○ 237
- ○ 238
- ○ 239
- ○ 240
- ○ 241
- ○ 242
- ○ 243
- ○ 244
- ○ 245
- ○ 246
- ○ 247
- ○ 248
- ○ 249
- ○ 250
- ○ 251
- ○ 252
- ○ 253
- ○ 254
- ○ 255
- ○ 256
- ○ 257
- ○ 258
- ○ 259
- ○ 260
- ○ 261
- ○ 262
- ○ 263
- ○ 264
- ○ 265
- ○ 266
- ○ 267
- ○ 268

- ○ 269
- ○ 270
- ○ 271
- ○ 272
- ○ 273
- ○ 274
- ○ 275
- ○ 276
- ○ 277
- ○ 278
- ○ 279
- ○ 280
- ○ 281
- ○ 282
- ○ 283
- ○ 284
- ○ 285
- ○ 286
- ○ 287
- ○ 288
- ○ 289
- ○ 290
- ○ 291
- ○ 292
- ○ 293
- ○ 294
- ○ 295
- ○ 296
- ○ 297
- ○ 298
- ○ 299
- ○ 300
- ○ 301
- ○ 302
- ○ 303
- ○ 304
- ○ 305
- ○ 306
- ○ 307
- ○ 308
- ○ 309
- ○ 310
- ○ 311
- ○ 312

- ○ 313
- ○ 314
- ○ 315
- ○ 316
- ○ 317
- ○ 318
- ○ 319
- ○ 320
- ○ 321
- ○ 322
- ○ 323
- ○ 324
- ○ 325
- ○ 326
- ○ 327
- ○ 328
- ○ 329
- ○ 330
- ○ 331
- ○ 332
- ○ 333
- ○ 334
- ○ 335
- ○ 336
- ○ 337
- ○ 338
- ○ 339
- ○ 340
- ○ 341
- ○ 342
- ○ 343
- ○ 344
- ○ 345
- ○ 346
- ○ 347
- ○ 348
- ○ 349
- ○ 350
- ○ 351
- ○ 352
- ○ 353
- ○ 354
- ○ 355
- ○ 356

- ○ 357
- ○ 358
- ○ 359
- ○ 360
- ○ 361
- ○ 362
- ○ 363
- ○ 364
- ○ 365
- ○ 366
- ○ 367
- ○ 368
- ○ 369
- ○ 370
- ○ 371
- ○ 372
- ○ 373
- ○ 374
- ○ 375
- ○ 376
- ○ 377
- ○ 378
- ○ 379
- ○ 380
- ○ 381
- ○ 382
- ○ 383
- ○ 384
- ○ 385
- ○ 386
- ○ 387
- ○ 388
- ○ 389
- ○ 390
- ○ 391
- ○ 392
- ○ 393
- ○ 394
- ○ 395
- ○ 396
- ○ 397
- ○ 398
- ○ 399
- ○ 400

- ○ 401
- ○ 402
- ○ 403
- ○ 404
- ○ 405
- ○ 406
- ○ 407
- ○ 408
- ○ 409
- ○ 410
- ○ 411
- ○ 412
- ○ 413
- ○ 414
- ○ 415
- ○ 416
- ○ 417
- ○ 418
- ○ 419
- ○ 420
- ○ 421
- ○ 422
- ○ 423
- ○ 424
- ○ 425
- ○ 426
- ○ 427
- ○ 428
- ○ 429
- ○ 430
- ○ 431
- ○ 432
- ○ 433
- ○ 434
- ○ 435
- ○ 436
- ○ 437
- ○ 438
- ○ 439
- ○ 440
- ○ 441
- ○ 442
- ○ 443
- ○ 444

- ○ 445
- ○ 446
- ○ 447
- ○ 448
- ○ 449
- ○ 450
- ○ 451
- ○ 452
- ○ 453
- ○ 454
- ○ 455
- ○ 456
- ○ 457
- ○ 458
- ○ 459
- ○ 460
- ○ 461
- ○ 462
- ○ 463
- ○ 464
- ○ 465
- ○ 466
- ○ 467
- ○ 468
- ○ 469
- ○ 470
- ○ 471
- ○ 472
- ○ 473
- ○ 474
- ○ 475
- ○ 476
- ○ 477
- ○ 478
- ○ 479
- ○ 480
- ○ 481
- ○ 482
- ○ 483
- ○ 484
- ○ 485
- ○ 486
- ○ 487
- ○ 488

- ○ 489
- ○ 490
- ○ 491
- ○ 492
- ○ 493
- ○ 494
- ○ 495
- ○ 496
- ○ 497
- ○ 498
- ○ 499
- ○ 500
- ○ 501
- ○ 502
- ○ 503
- ○ 504
- ○ 505
- ○ 506
- ○ 507
- ○ 508
- ○ 509
- ○ 510
- ○ 511
- ○ 512
- ○ 513
- ○ 514
- ○ 515
- ○ 516
- ○ 517
- ○ 518
- ○ 519
- ○ 520
- ○ 521
- ○ 522
- ○ 523
- ○ 524
- ○ 525
- ○ 526
- ○ 527
- ○ 528
- ○ 529
- ○ 530
- ○ 531
- ○ 532

- ○ 533
- ○ 534
- ○ 535
- ○ 536
- ○ 537
- ○ 538
- ○ 539
- ○ 540
- ○ 541
- ○ 542
- ○ 543
- ○ 544
- ○ 545
- ○ 546
- ○ 547
- ○ 548
- ○ 549
- ○ 550
- ○ 551
- ○ 552
- ○ 553
- ○ 554
- ○ 555
- ○ 556
- ○ 557
- ○ 558
- ○ 559
- ○ 560
- ○ 561
- ○ 562
- ○ 563
- ○ 564
- ○ 565
- ○ 566
- ○ 567
- ○ 568
- ○ 569
- ○ 570
- ○ 571
- ○ 572
- ○ 573
- ○ 574
- ○ 575
- ○ 576

- ○ 577
- ○ 578
- ○ 579
- ○ 580
- ○ 581
- ○ 582
- ○ 583
- ○ 584
- ○ 585
- ○ 586
- ○ 587
- ○ 588
- ○ 589
- ○ 590
- ○ 591
- ○ 592
- ○ 593
- ○ 594
- ○ 595
- ○ 596
- ○ 597
- ○ 598
- ○ 599
- ○ 600
- ○ 601
- ○ 602
- ○ 603
- ○ 604
- ○ 605
- ○ 606
- ○ 607
- ○ 608
- ○ 609
- ○ 610
- ○ 611
- ○ 612
- ○ 613
- ○ 614
- ○ 615
- ○ 616
- ○ 617
- ○ 618
- ○ 619
- ○ 620

- ○ 621
- ○ 622
- ○ 623
- ○ 624
- ○ 625
- ○ 626
- ○ 627
- ○ 628
- ○ 629
- ○ 630
- ○ 631
- ○ 632
- ○ 633
- ○ 634
- ○ 635
- ○ 636
- ○ 637
- ○ 638
- ○ 639
- ○ 640
- ○ 641
- ○ 642
- ○ 643
- ○ 644
- ○ 645
- ○ 646
- ○ 647
- ○ 648
- ○ 649
- ○ 650
- ○ 651
- ○ 652
- ○ 653
- ○ 654
- ○ 655
- ○ 656
- ○ 657
- ○ 658
- ○ 659
- ○ 660
- ○ 661
- ○ 662
- ○ 663
- ○ 664

- ○ 665
- ○ 666
- ○ 667
- ○ 668
- ○ 669
- ○ 670
- ○ 671
- ○ 672
- ○ 673
- ○ 674
- ○ 675
- ○ 676
- ○ 677
- ○ 678
- ○ 679
- ○ 680
- ○ 681
- ○ 682
- ○ 683
- ○ 684
- ○ 685
- ○ 686
- ○ 687
- ○ 688
- ○ 689
- ○ 690
- ○ 691
- ○ 692
- ○ 693
- ○ 694
- ○ 695
- ○ 696
- ○ 697
- ○ 698
- ○ 699
- ○ 700
- ○ 701
- ○ 702
- ○ 703
- ○ 704
- ○ 705
- ○ 706
- ○ 707
- ○ 708

- ○ 709
- ○ 710
- ○ 711
- ○ 712
- ○ 713
- ○ 714
- ○ 715
- ○ 716
- ○ 717
- ○ 718
- ○ 719
- ○ 720
- ○ 721
- ○ 722
- ○ 723
- ○ 724
- ○ 725
- ○ 726
- ○ 727
- ○ 728
- ○ 729
- ○ 730
- ○ 731
- ○ 732
- ○ 733
- ○ 734
- ○ 735
- ○ 736
- ○ 737
- ○ 738
- ○ 739
- ○ 740
- ○ 741
- ○ 742
- ○ 743
- ○ 744
- ○ 745
- ○ 746
- ○ 747
- ○ 748
- ○ 749
- ○ 750
- ○ 751
- ○ 752

- ○ 753
- ○ 754
- ○ 755
- ○ 756
- ○ 757
- ○ 758
- ○ 759
- ○ 760
- ○ 761
- ○ 762
- ○ 763
- ○ 764
- ○ 765
- ○ 766
- ○ 767
- ○ 768
- ○ 769
- ○ 770
- ○ 771
- ○ 772
- ○ 773
- ○ 774
- ○ 775
- ○ 776
- ○ 777
- ○ 778
- ○ 779
- ○ 780
- ○ 781
- ○ 782
- ○ 783
- ○ 784
- ○ 785
- ○ 786
- ○ 787
- ○ 788
- ○ 789
- ○ 790
- ○ 791
- ○ 792
- ○ 793
- ○ 794
- ○ 795
- ○ 796

- ○ 797
- ○ 798
- ○ 799
- ○ 800
- ○ 801
- ○ 802
- ○ 803
- ○ 804
- ○ 805
- ○ 806
- ○ 807
- ○ 808
- ○ 809
- ○ 810
- ○ 811
- ○ 812
- ○ 813
- ○ 814
- ○ 815
- ○ 816
- ○ 817
- ○ 818
- ○ 819
- ○ 820
- ○ 821
- ○ 822
- ○ 823
- ○ 824
- ○ 825
- ○ 826
- ○ 827
- ○ 828
- ○ 829
- ○ 830
- ○ 831
- ○ 832
- ○ 833
- ○ 834
- ○ 835
- ○ 836
- ○ 837
- ○ 838
- ○ 839
- ○ 840

- ○ 841
- ○ 842
- ○ 843
- ○ 844
- ○ 845
- ○ 846
- ○ 847
- ○ 848
- ○ 849
- ○ 850
- ○ 851
- ○ 852
- ○ 853
- ○ 854
- ○ 855
- ○ 856
- ○ 857
- ○ 858
- ○ 859
- ○ 860
- ○ 861
- ○ 862
- ○ 863
- ○ 864
- ○ 865
- ○ 866
- ○ 867
- ○ 868
- ○ 869
- ○ 870
- ○ 871
- ○ 872
- ○ 873
- ○ 874
- ○ 875
- ○ 876
- ○ 877
- ○ 878
- ○ 879
- ○ 880
- ○ 881
- ○ 882
- ○ 883
- ○ 884

- ○ 885
- ○ 886
- ○ 887
- ○ 888
- ○ 889
- ○ 890
- ○ 891
- ○ 892
- ○ 893
- ○ 894
- ○ 895
- ○ 896
- ○ 897
- ○ 898
- ○ 899
- ○ 900
- ○ 901
- ○ 902
- ○ 903
- ○ 904
- ○ 905
- ○ 906
- ○ 907
- ○ 908
- ○ 909
- ○ 910
- ○ 911
- ○ 912
- ○ 913
- ○ 914
- ○ 915
- ○ 916
- ○ 917
- ○ 918
- ○ 919
- ○ 920
- ○ 921
- ○ 922
- ○ 923
- ○ 924
- ○ 925
- ○ 926
- ○ 927
- ○ 928

- ○ 929
- ○ 930
- ○ 931
- ○ 932
- ○ 933
- ○ 934
- ○ 935
- ○ 936
- ○ 937
- ○ 938
- ○ 939
- ○ 940
- ○ 941
- ○ 942
- ○ 943
- ○ 944
- ○ 945
- ○ 946
- ○ 947
- ○ 948
- ○ 949
- ○ 950
- ○ 951
- ○ 952
- ○ 953
- ○ 954
- ○ 955
- ○ 956
- ○ 957
- ○ 958
- ○ 959
- ○ 960
- ○ 961

Семен Резник
Эта короткая жизнь. Николай Вавилов и его время

Предисловие

Жорес Медведев

Об академике Николае Ивановиче Вавилове я впервые и случайно узнал лишь в конце 1945 года, хотя в то время уже был студентом второго курса агрономического факультета Московской сельскохозяйственной академии имени К.А.Тимирязева (ТСХА). Ее питомцем в начале века являлся и Николай Иванович. В то время это был Московский сельскохозяйственный институт.

На первом курсе академии все студенты начинали свое высшее образование 1 октября 1944 года с общеакадемической лекции «Введение в агрономию». В Большой химической аудитории ее читал негромким голосом самый заслуженный и самый почтенный по возрасту ученый, академик Дмитрий Николаевич Прянишников. Второй лекцией в тот же день, но уже в Большой физической аудитории, начинался для нас курс «Ботаника». Лектор, тоже академик, Петр Михайлович Жуковский, говорил ярко, выразительно, хотя и немного заикался. Он был блестящим оратором. Аудитория была переполнена, так как на лекции Жуковского приходили, уже добровольно, не только студенты первого курса. Второй курс в академии, осенью 1945 года, после обычной в то время отправки студентов на уборку картофеля в учхозах, начинал для нас академик Иван Вячеславович Якушкин, заведующий кафедрой растениеводства. Следующую лекцию в этот же день читал академик Николай Александрович Максимов. Он заведовал в ТСХА кафедрой физиологии растений.

Однако ни в одной из лекций всех этих курсов мы ничего не слышали о работах и теориях Н.И.Вавилова. Хотя, как мы узнаем из представляемой читателям книги С.Е.Резника, Прянишников был учителем Вавилова, Жуковский – другом и соратником, Максимов – многолетним сотрудником созданного Вавиловым Всесоюзного института растениеводства (ВИР), а Якушкин – соперником и «экспертом» НКВД по «Делу Вавилова».

В 1945 году я уже начал научную стажировку по цитологии растений на кафедре ботаники. Из побежденной Германии в ТСХА привозили с начала лета «по репарациям» новейшее оборудование, бинокулярные микроскопы, приборы для получения тончайших срезов тканей – микротомы, спектрофотометры, реактивы, лабораторную посуду, гербарий дикой и культурной флоры и много книг со штампами

библиотеки Лейпцигского университета. Цитологическая лаборатория кафедры ботаники, которой руководила доцент Анаида Иосифовна Атабекова, полностью преобразилась. После лекций и практических занятий я приходил сюда для освоения микроскопии почти каждый день.

Петр Михайлович часто заходил «в цитологию» пить вместе с нами чай с бутербродами, им же и приносившимися. Академикам и профессорам бутерброды входили тогда в какой-то особый «паек», дополнительный к карточной системе на продукты питания. Жуковский делился этим пайком со своими учениками. Общая беседа была непринужденной.

Однажды, дату я уже не помню, Жуковский, отсутствовавший на кафедре два дня, пришел сильно взволнованный. Он «сбежал» с какого-то юбилейного заседания в Академии наук СССР, широко отмечавшей свое 220-летие. Впервые за много лет АН СССР отмечала юбилей международной конференцией, на которую были приглашены не только советские, но и иностранные почетные члены и члены-корреспонденты академии. Жуковский был академиком ВАСХНИЛ, а не *Большой* академии. Но его тоже пригласили на юбилейную сессию, так как ботаников и генетиков в составе биологического отделения АН СССР не было.

Приехав на сессию, Жуковский узнал, что одним из приглашенных в Москву иностранных ученых был Джон Холдейн, выдающийся английский биолог и генетик, избранный в 1942 году почетным членом АН СССР. Джон Холдейн был членом коммунистической партии Великобритании. Узнав о возможности встречи с ним, Петр Михайлович взял такси и вернулся на свою кафедру:

– Джон Холдейн сразу начнет спрашивать меня о Николае Ивановиче Вавилове, – объяснил нам сильно смущенный Петр Михайлович, – а что я могу ему рассказать? Вавилов ведь и до сих пор «враг народа»… его книги конфискованы, его работы нельзя цитировать…

Когда Жуковский ушел в свой кабинет, Анаида Иосифовна, очень смелая женщина, рассказала мне и моему студенческому другу Виктору Гуляеву, тоже практиковавшемуся по цитологии растений, о Николае Ивановиче Вавилове, с которым Жуковский много лет работал в Ленинграде. Анаида Иосифовна, как оказалось, знала Вавилова очень хорошо.

На третьем курсе, с января 1947 года, мы начинали слушать лекции по генетике растений, которые читал академик Антон Романович Жебрак.

Весной 1948 года я сдавал все экзамены досрочно. Жуковский, уже ставший моим научным руководителем,

отправлял меня на шесть месяцев в Крым в биохимическую лабораторию Никитского ботанического сада для изучения роли каротиноидов, желто-оранжевых пигментов растений, как возможных растительных гормонов. Заведующий этой лабораторией профессор Василий Иванович Нилов был в прошлом одним из ведущих сотрудников ВИРа, другом Н.И.Вавилова и П.М.Жуковского. Он переехал в Крым в 1936 году, заболев туберкулезом.

Когда я возвратился к октябрю в Москву, Тимирязевская академия была уже другой. Академик Д.Н.Прянишников ушел из жизни в конце апреля. В августе, на внеочередной сессии ВАСХНИЛ, классическая генетика и все связанные с нею теории были запрещены. Ректором академии, на место уволенного академика В.С.Немчинова, назначили В.Н.Столетова, в то время кандидата биологических наук. Руководил кафедрой генетики и селекции теперь уже не А.Р.Жебрак, а Т.Д.Лысенко. Его лекции по новому курсу «мичуринской генетики» были обязательными и для тех студентов, которые раньше сдавали экзамен по генетике Жебраку. Их следовало «переучивать». Я быстро оформил перевод с агрономического на агрохимический факультет, чтобы избавиться от «мичуринской повинности».

В последующие годы, уже как научный сотрудник лаборатории биохимии при кафедре агрохимии ТСХА, я стал собирать материалы по истории генетики в СССР, узнавал о работах Н.И.Вавилова, Н.К.Кольцова и многих других выдающихся, но «запрещенных» ученых. Областью моих исследований стал биосинтез белков и нуклеиновых кислот в растениях. Открытие генетической роли нуклеиновых кислот (РНК и ДНК) привело к возникновению новой научной дисциплины – биохимической генетики.

В августе 1961 года в Москве собирался Пятый Международный биохимический конгресс. Мне посчастливилось быть одним из его более чем двух тысяч участников. Президентом конгресса был сторонник Лысенко академик Александр Иванович Опарин.

Главной сенсацией конгресса был доклад американского генетика и биохимика Маршалла Ниренберга об открытии генетического кода ДНК, существование которого несколько ранее предсказал Георгий Гамов. В СССР, однако, это открытие, удостоенное вскоре Нобелевской премии, не обсуждалось за пределами аудиторий конгресса. Т.Д.Лысенко все еще был президентом ВАСХНИЛ, академии, созданной Н.И.Вавиловым, заведующим кафедрой генетики ТСХА и директором Института генетики АН СССР, тоже созданного Вавиловым.

Николая Ивановича юридически реабилитировали в 1955 году, его «Избранные труды» в пяти томах были изданы относительно небольшим тиражом в 2200 экземпляров в 1959 году. Однако легализация в СССР классической генетики произошла лишь после увольнения «на пенсию» Н.С.Хрущева в октябре 1964 года. Вслед за Хрущевым потерял свои главные посты и Лысенко. Вскоре стали публиковаться и биографии Н. И. Вавилова.

Наиболее полной из них являлась книга С.Е.Резника, вышедшая в 1968 году в серии «Жизнь замечательных людей». Однако цензура удалила из текста этой книги заключительную главу и ряд других разделов. Обсуждение преступлений сталинизма было все еще невозможно. Резник опубликовал изъятые цензурой материалы в своей книге «Дорога на эшафот», вышедшей в США в 1983 году.

Материалы и неизвестные ранее документы Н.И.Вавилова продолжали, однако, накапливаться в течение десятилетий после его смерти в саратовской тюрьме в январе 1943 года. Одной из важных форм творчества и руководства институтами были для Вавилова письма, посылавшиеся им из частых и продолжительных экспедиций коллегам, жене и друзьям.

Слава Николая Ивановича как ученого, путешественника и собирателя культурных растений и их сородичей продолжала расти. Его главное достижение – воспроизводимая коллекция мирового генофонда культурных растений – становилась важнейшим фактором развития агрономических наук и селекции новых сортов сельскохозяйственных культур почти во всех странах. Жизнь Н.И.Вавилова стала уникальной эпопеей. Она достойно и полно освещена в новой книге Семена Ефимовича Резника, которая представляется читателям. Я изучал историю биологии и генетики в течение нескольких десятилетий. Однако я открыл в этой книге огромный новый фактический документальный материал, ранее мне неизвестный.

Жизнь Вавилова показана на широком историческом фоне, который дает читателям представление о десятках стран на тех пяти континентах, через которые, чаще всего пешком или небольшими караванами, прошли экспедиции Вавилова. Мы знакомимся здесь не только с биографиями и проблемами многих выдающихся ученых, но и с причинами, чаще всего политическими, которые порождали псевдоученых.

История человечества определяется множеством факторов. Но само существование человечества зависит прежде всего от культурных растений, расширению разнообразия, иммунитету и росту урожайности которых была отдана короткая, но

исключительно плодотворная жизнь Николая Ивановича Вавилова.

Лондон, 2017

От автора

Жизнь коротка, проблем без конца, и стоит забирать всё.

Н. И. Вавилов

Сто лет назад на планете обитало 2 миллиарда человек, и больше половины из них страдало от недостатка еды. Сейчас население Земли – 7,5 миллиарда, оно продолжает расти, но никто не говорит об угрозе тотального голода. Если где-то возникает такая угроза, то из-за стихийных бедствий или военных действий, не позволяющих наладить снабжение населения. В глобальном масштабе человечество теперь больше страдает от переедания, чем от недоедания. При том, что в сельском хозяйстве занята лишь малая часть населения – в наиболее развитых странах не больше одного-двух процентов.

Эти поистине чудесные достижения стали возможны благодаря небывалому развитию сельскохозяйственной науки.

Сотни и тысячи ученых разных специальностей вносили и вносят в нее крупный вклад, но общепризнанным лидером, центральной фигурой и в значительной мере олицетворением этого невероятного успеха является Николай Иванович Вавилов (1887–1943).

Моя первая книга о Вавилове была написана 50 лет назад.

Приступая к ней, я, конечно, сознавал, что его жизнь, насильственно оборванная в 55 лет, была недолгой. Но мне тогда было всего 25, и я не чувствовал сердцем того, что понимал умом. Теперь, когда я почти на четверть века пережил своего героя, я глубже осознаю, каким коротким был *его* век. Еще рельефнее вырисовывается передо мной грандиозность того, что он успел свершить. И еще чудовищнее становится то, что сделали с ним. Ученый, стремившийся «накормить человечество», был затравлен и заморен голодом в тюремном каземате. Таков сюжет моего повествования. Его придумал не я, а сама жизнь. Книга документальна, в ней нет ни грана вымысла.

Работа над новой книгой о Вавилове стала для меня возвращением в молодость. Может быть, главное, что я почувствовал, вновь погрузившись в вавиловскую тему, состоит в том, что та особая, непередаваемая атмосфера, которая полвека назад окутывала всё, что было связано с личностью и делами великого ученого, оказалась почти такой же, какой была тогда. Это особенно отрадно и поразительно.

Тогда были живы многие ученики и друзья Николая Ивановича, для которых счастье общения с ним было органичной составляющей их собственной жизни – тем, чем они безмерно дорожили, что лелеяли в себе и чем щедро делились. Нынешние *вавиловеды* отделены от той генерации двумя-тремя поколениями, но они дышат таким же магическим воздухом – легким, свежим, озонированным, как бывает в нежаркий солнечный день после обильного грозового ливня. Таким воздухом дышится с упоением, он вызывает подъем творческих сил.

Моя первая книга о Н.И.Вавилове завершалась вынесением благодарности людям, оказавшим мне деятельную помощь. Считаю своим приятным долгом перенести сюда эти пол странички текста:

«В работе над книгой использованы материалы Ленинградского государственного архива Октябрьской революции и социалистического строительства (ЛГАОРСС), фонд 9708, архива Всесоюзного института растениеводства, архива АН СССР, ряда частных архивов, а также личные воспоминания учеников и друзей Николая Ивановича Вавилова.

В первую очередь хочется отметить большую помощь тех, кто ушел из жизни прежде, чем работа над книгой была закончена: Л.П.Бреславец, А.М.Горского, А.Г.Грум-Гржимайло, А. Р.Жебрака, Н.А.Майсуряна.

Приношу глубокую благодарность А.М.Алпатьеву, В.Ф.Антроповой, М.А.Арсеньевой, А.И.Атабековой, С.М.Букасову, В. Б.Енкену, П.М.Жуковскому, М. Г. Зайцевой, Н.И.Зактрегер, А. Н. Ипатьеву, А.И.Карауловой, Д.В.Лебедеву, В.С.Лехновичу, Ф.Д.Лихоносу, И.Ф.Макарову, З.И.Макрояни, А.И.Мордвинкиной, Н.М.Павловой, сестрам Подъяпольским, Г.М.Поповой, В. Л.Рыжкову, В. Н Сахаровой, В. В.Сахарову, В.С.Соколову, В.Н.Столетову, В.В.Суворову, А.В.Шубникову, Е.С.Якушевскому, а также заведующей архивом Всесоюзного института растениеводства Л. Н Савиновой, работникам библиотеки ВИРа и работникам других библиотек и архивов.

Особенная благодарность Ф.Х.Бахтееву, Н.Р. Иванову и Ю.Н.Вавилову, чья помощь была наиболее важной и необходимой».

Из всех названных лиц в живых остается только Юрий Николаевич Вавилов. Дружба с ним для меня не просто бесценна – это важная составляющая моей жизни. Несмотря на преклонный возраст и пошатнувшееся здоровье, Юрий Николаевич деятельно помогал мне в работе над новой книгой.

Большую и бескорыстную помощь я получал от ученых-

биологов, историков науки, музейных и библиотечных работников, журналистов, многих других лиц, причастных к вавиловской теме. Они снабжали меня новыми изданиями, публикациями, архивными материалами, делились своими мыслями и соображениями, отвечали на мои вопросы. Без их деятельной помощи и неравнодушного сотрудничества у меня не было бы возможности написать эту книгу, тем более что сам я уже больше 30 лет живу вне России.

Мне доставляет большое удовольствие выразить сердечную благодарность *Т.Б.Авруцкой (Москва), Е.М.Альбац (Москва), И.Г.Барышевой (Москва), В.Я.Бирштейну (Нью-Йорк), С.А.Бондаренко (Москва), С.А.Боринской (Москва), Ю.Н.Вавилову (Москва), М.А.Вишняковой (Петербург), В.И.Глазко (Москва), И.Балковой (Москва), М.Д. Голубовскому (Беркли, Калифорния), В.А.Гончарову (Москва), В.С.Гончарову, В.А.Драгавцеву (Петербург), О.Ю.Елиной (Москва), покойному В.Д.Есакову (Москва), НА.Захарову-Гезехусу (Москва), А.Б.Клейнерману (Москва), Т.М.Клычковой (Москва), А.Г.Козловой, Э.И.Колчинскому (Петербург), И.М.Корнелюк (Москва), Е.С.Левиной (Москва), А.П.Лисицыну (Москва), В.Н.Магиду (Москва), покойному В. М. Максименко, О. В. Максимовой (Москва), Ж.А.Медведеву (Лондон), М.Е.Раменской (Москва), покойному Я.Г.Рокитянскому, Н.В.Рязанцеву (Саратов), ВА.Стукову (Саратов), АЛТерентъеву (Москва), А.В.Хрулёвой (Москва), М.Н.Шашкиной (Саратов), В.П.Шевченко (Москва).*

Особая благодарность Жоресу Александровичу Медведеву за его предисловие к книге, а также за его советы и замечания по рукописи, позволившие ее улучшить. И совершенно особая благодарность моей жене Римме Резник – моему первому читателю, советчику и редактору. Ее участие в работе над этой книгой особенно деятельно и весомо.

История с биографией

1.

«Гибель одного человека – трагедия; гибель миллионов людей – статистика». Это изречение приписывают разным знаменитостям – от Черчилля до Сталина, от Шекспира до Стендаля.

Жертвами сталинских репрессий стали миллионы людей – это статистика. Судьба каждого из них – трагедия. Но даже на этом фоне выделяются отдельные человеческие судьбы, в которых с особой рельефностью прорисовывается трагедия целых народов и поколений. Такова жизнь и судьба великого ученого Николая Ивановича Вавилова – ботаника и генетика, географа и путешественника, растениевода, селекционера, организатора коллективных научных исследований большого масштаба, обаятельной личности с неиссякаемым запасом энергии.

К работе над биографией Николая Вавилова я приступил летом 1963 года. Мне было двадцать пять лет, за спиной было всего три года, правда, довольно интенсивной журналистской работы в области популяризации науки. Хотя по образованию я инженер-строитель, большая часть моих публикаций касалась биологических наук. Объяснялось это двумя причинами. Во-первых, тем, что в начале шестидесятых годов были совершены крупные открытия на стыке биологии с точными науками: физикой, химией, кибернетикой. А во-вторых, тем, что в СССР биологическая наука находилась в катастрофическом положении: в ней господствовало так называемое мичуринское учение академика Т.Д.Лысенко, занимавшего в советской биологии положение неограниченного диктатора.

Вопреки этой диктатуре, большинство научно-популярных журналов и отделы науки многих газет делали немало для популяризации истинных достижений биологии.

Прямой критики Лысенко и его «теорий» не допускалось. Невозможно было положительно оценивать работы Менделя, Моргана и других основоположников генетики. Но, не называя запретных имен, не употребляя понятий «ген», «генетика», можно было рассказывать о нуклеиновых кислотах как носителях наследственной информации; о хромосомах, в которых сосредоточены нуклеиновые кислоты; о синтезе белка по программе, записанной в нуклеиновых кислотах; и о многом другом, что говорило об успехах классической генетики и

посрамлении «мичуринцев». Я старался использовать каждый случай, чтобы рассказать читателям об этих достижениях: в то время они были свежей научной сенсацией.

Под Новый 1963 год я окончательно порвал с инженерной специальностью, так как был принят в штат редакции серии «Жизнь замечательных людей» издательства «Молодая гвардия». Мне поручили раздел биографий ученых.

Заведующий серией ЖЗЛЮрий Николаевич Коротков носился тогда с идеей перспективного плана, причем составление его он хотел поставить на научную основу – так, чтобы за обозримый период времени, скажем, за пять лет, дать круг чтения по всей мировой истории и культуре. Это означало, что из необозримого моря имен великих людей требовалось отобрать 120–150 с таким расчетом, чтобы покрывались все основные исторические эпохи, все крупные страны мира (или хотя бы все регионы), все основные области культуры…

Надо было, конечно, соблюсти определенный минимум конъюнктурных требований, без чего план не утвердили бы высшие инстанции. Древность не должна была преобладать над современностью; не меньше половины героев будущих книг должны были представлять Россию, а из этой половины – около половины советский период; революционеров должно было быть не меньше, чем писателей, и до половины революционеров должны были представлять так называемую ленинскую гвардию.

К счастью для меня, такие соображения меньше всего касались раздела ученых. В нем следовало представить все основные направления науки: физика, математика, химия, биология, науки о Земле. Но такое требование трудно назвать конъюнктурным.

Из затеи с перспективным планом ничего не вышло и, по-видимому, не могло выйти. Написание полноценной научно-художественной биографии – задача слишком сложная, чтобы производство таких книг можно было поставить на поток. Но когда я пришел в редакцию, составление перспективного плана шло полным ходом, и мне пришлось включиться в эту работу. Списки видных ученых по основным разделам науки были составлены моим предшественником, но это было самое простое. Главное состояло в том, чтобы по каждой науке из десятков имен выбрать пять-шесть, как теперь говорят, наиболее *знаковых*. Произвол должен был быть сведен к минимуму, поэтому мне приходилось консультироваться по каждому разделу с видными специалистами, чьи мнения и должны были служить основанием для предпочтения одних имен перед другими.

Я, естественно, показывал ученым те разделы плана, которые

были близки их специальности. И тут я столкнулся с поразительной закономерностью. Почти каждый, кому я показывал «его» раздел плана, спрашивал: почему в списке нет Николая Ивановича Вавилова?

Я объяснял, что имя Вавилова стоит в списке биологов, а сейчас я хочу получить консультацию в области химии (или математики, медицины – в зависимости от специальности консультанта), но на это я слышал в ответ: «В первую очередь вы должны издать книгу о Николае Ивановиче Вавилове!»

Особенно памятна мне короткая встреча в Президиуме Академии наук с Дмитрием Ивановичем Щербаковым, академиком-секретарем Отделения наук о Земле. Я попал к нему в неудобное время: его вызвали на какое-то неожиданное совещание, и он не мог уделить мне больше двух-трех минут.

Бегло просмотрев список географов и геологов, Щербаков строго спросил:

– Почему нет Вавилова?

Я ответил, что Вавилов стоит в разделе биологов.

– Почему только биологов? – еще строже спросил Щербаков. – Это крупнейший географ двадцатого века. Он не просто ездил в экзотические страны за редкостями, а теоретически предсказал, где и что можно найти!

Не менее памятен для меня, хотя и в несколько ином аспекте, разговор с Семеном Романовичем Микулинским, историком биологии, заместителем директора Института истории естествознания и техники. Идею перспективного плана он полностью одобрил и заметно оживился, увидев в списке биологов имя Вавилова.

В кругах биологов это имя было своего рода паролем. На сакраментальный вопрос: «С кем вы, мастера культуры?» – оно давало четкий ответ. Хотя Вавилов был посмертно реабилитирован еще в 1955 году, наука, отстаивая которую он погиб, – генетика, – оставалась фактически запретной.

Микулинский сказал, что книгу о Николае Вавилове надо издать как можно скорее, подчеркнул, что это сейчас очень важно. О том, что вскоре я сам приступлю к книге о Вавилове, я не подозревал, и ответил, что найти автора для этой темы непросто. Большинство писателей, пишущих о биологии и биологах, еще недавно восхваляли Лысенко; привлекать для написания книги о Вавилове тех, кто славословил его главного врага, было бы кощунством. Тут же я заметил, что сболтнул лишнее, ибо Микулинский как-то сник и, после паузы, глядя в сторону, совсем другим тоном сказал:

– Ну, это всё не так просто, у Лысенко есть заслуги…

Я понял, что имею дело с очень осторожным дипломатом.

2.

Ю.Н.Короткову я сказал, что из встреч с учеными вынес твердое убеждение: наша первая задача – книга о Николае Вавилове. Он ответил, что полностью с этим согласен, но нужно найти подходящего автора: у него на примете никого нет.

Несколько дней я провел в библиотеке имени Ленина, где просмотрел массу популярных книг о биологах, селекционерах, растениеводах. Некоторые книги были написаны талантливо и умело, авторы других были откровенно бездарны. Однако и те и другие пели осанну мичуринскому учению и его главе Трофиму Денисовичу Лысенко. Кто только не отличился на этом поприще! Наиболее запомнились писания Вадима Сафонова, Геннадия Фиша, Юрия Долгушина, Александра Поповского, его сына Марка Поповского.

Обо всем этом я рассказал Короткову, прибавив, что знаю только одного автора, которому можно было бы предложить эту тему. Правда, он не писатель. Но он превосходно знает предмет и владеет пером, так что никаких сомнений относительно того, что он сделает хорошую книгу, быть не может.

На вопрос, о ком идет речь, я ответил:

– О Жоресе Медведеве.

Объяснять, кто такой Жорес Александрович Медведев, необходимости не было: его работа «Биологическая наука и культ личности» ходила в самиздате, мне давали ее читать в отделе науки «Комсомольской правды», где я внештатно сотрудничал, я сам давал ее Короткову. В «Комсомолке» я познакомился и с самим Жоресом Александровичем. Отделом науки была подготовлена большая – на газетную полосу – статья о лысенковском лжеучении. Она вот-вот должна была пойти в номер. Ярослав Голованов (тогда сотрудник отдела науки) потирал руки, предвкушая, как прямо ночью поедет в дом, где жил Лысенко, и опустит свежий номер газеты в его почтовый ящик.

Но…

Были приняты контрмеры, статья в газете не появилась, зато в партийной печати появились грозные нападки на Ж.А.Медведева, В.П.Эфроимсона, В.С.Кирпичникова и других генетиков, «клевещущих на советскую науку».

Коротков мне ответил, что предлагаемый автор, безусловно, хорош, но руководство издательством не пойдет на заключение

договора с такой одиозной личностью.

– В таком случае я попробую написать сам, – сказал я в значительной мере неожиданно для самого себя. И видя, что завредакцией встретил эти слова без энтузиазма, поспешил добавить. – Без договора!

Коротков сказал, что о договоре не может быть и речи, так как я – штатный работник издательства, а заключать предварительные договора со своими сотрудниками не принято. К тому же я никогда не писал ничего подобного; у него нет уверенности, что у меня что-нибудь выйдет. Единственное, что он может мне обещать, – это застолбить за мной тему и считать ее занятой до тех пор, пока я не представлю рукопись или сам скажу, что книга не получается.

Условия меня устраивали, я приступил к работе.

3.

Первоначальным моим намерением было по возможности обойти главный предмет спора между «менделистами-морганистами» и «мичуринцами». Поскольку Вавилов был не только генетик, но и растениевод, ботаник, географ, путешественник, то мне казалось возможным подчеркнуть эти стороны его деятельности, оставив в тени менделизм-морганизм. Именно в таком духе были написаны опубликованные к тому времени статьи и очерки о Вавилове, а также книга А.И.Ревенковой[1]. В этом литературно слабом (и научно лживом, чего я тогда еще не знал) произведении основные данные о жизни и деятельности Вавилова излагались без всякого упоминания Менделя, Моргана, Лысенко, ни слова не говорилось о генетических дискуссиях.

Однако знакомство с трудами Вавилова, с чего я, собственно, начал работу над книгой, сразу же показало мне, что он прежде всего и больше всего – *генетик*. Его достижения в прикладной ботанике и растениеводстве базировались на классической генетике; он генетик по складу мышления, по стратегии научного поиска. Обойти это – значило исказить историческую правду. Ради чего же тогда писать книгу?

Надо было либо вовсе отказаться от задуманного, либо писать *всю* правду, не думая заранее о том, сможет ли она пройти через «инстанции». Личность Вавилова настолько захватила меня, что ни о каком «либо – либо» речи уже быть не могло.

4.

Около года я писал «в стол», проходя вместе с моим героем по путям познания, по каким сам он шел в пору своего ученичества и построения своих основных научных теорий. Я старался уже в первой части книги прорисовать глубокое различие между умозрительной эволюционной концепцией

Ламарка, на которой базировался Лысенко, и эволюционной концепцией Дарвина, углубленной и уточненной на основе законов генетики, – на ней базировался Вавилов и другие «менделисты-морганисты». Ученичество Вавилова, выработка им своих научных позиций были удобной сюжетной канвой, на которую я нанизывал «драму идей» вокруг механизмов эволюции и законов наследственности, как эта драма разыгрывалась в истории биологии.

Вторая часть книги естественно отводилась основным теоретическим работам Вавилова, базировавшимся на предшествовавшем развитии науки, в особенности его закону гомологических рядов в наследственной изменчивости и теории центров происхождения культурных растений.

Мне стало ясно, что эти открытия поставили Вавилова в ряд величайших биологов мира, таких как Линней, Мендель, Морган, и я старался показать, что во включении его в этот ряд нет никакого преувеличения.

Закон гомологических рядов вводил порядок во внутривидовую изменчивость культурных растений. Он позволял предсказывать наличие вполне определенных, хотя еще не известных науке форм. Этот закон не случайно сопоставляли с периодическим законом Менделеева, предсказавшим нахождение новых химических элементов с заранее известными свойствами.

Теория центров происхождения шла еще дальше: она показывала, в каких районах земного шара сосредоточен основной генетический потенциал видов и внутривидового разнообразия культурных растений, то есть *где* следует искать недостающие формы.

Третья часть книги – ее еще предстояло писать – была посвящена экспедициям Вавилова, в которых он блестяще подтвердил и уточнил свои теоретические концепции, собрал богатейшую в мире коллекцию культурных растений и затем использовал ее для создания теоретических основ селекции.

Четвертая часть должна была повествовать о генетических дискуссиях, аресте и гибели Вавилова.

Так, уже в процессе работы над книгой, складывался ее общий план.

Был написан первый вариант двух первых частей, когда произошли события, заставившие меня заново вернуться к вопросу о публикации книги.

В октябре 1964 года внезапно был снят со всех постов Н.С.Хрущев, а уже на следующий день стало известно, что одним из пунктов обвинений против него значилась «односторонняя поддержка Т.Д.Лысенко». Тотчас в печати – научной и общей – словно прорвало плотину. Полился целый поток критических статей, и в течение двух-трех месяцев от «мичуринского» учения не осталось камня на камне. Говорили, что Лысенко жаловался *самому* А.Н.Косыгину, ставшему после Хрущева главой правительства, но тот ему сказал:

– В печати идет дискуссия о биологии. Я слежу за ней с интересом. Вы тоже можете принять в ней участие.

Но без поддержки свыше Лысенко дискутировать не умел.

Вскоре Институт генетики Академии наук, возглавлявшийся Лысенко с 1940 года, то есть со времени ареста Вавилова, был закрыт. Вместо него был создан Институт общей генетики имени Н.И.Вавилова во главе с крупным генетиком Н.П.Дубининым. Было принято решение о пересмотре программ обучения биологии в школах и вузах. Было сделано и многое другое.

Падение Лысенко поставило меня в очень своеобразное положение: моя будущая книга, с первых страниц рассказывавшая правду о Менделе, Моргане, основных законах генетики, и уже по одному этому совершенно непроходимая, вдруг превратилась в конъюнктурно выигрышную! Велик был соблазн форсировать ее окончание, тем более что в воздухе ощущалось: весь этот «либерализм» ненадолго!

Поразмыслив над сложившейся ситуацией, я решил продолжать работу как будто ничего не случилось. Однако сознание того, что книга может быть опубликована, автоматически включило внутреннего цензора. Впереди было самое главное – описание биологических дискуссий. Я понимал, что если в печати дозволяется критиковать *сегодняшнего* Лысенко, фальсифицирующего опыты по получению жирномолочной породы скота, то это вовсе не значит, что мне позволят раскрыть *историю* того, как *советский строй* вырастил Лысенко и наделил его беспрецедентным могуществом, позволил ему разгромить науку, отправил на эшафот десятки лучших ученых страны.

В 1966 году в двух номерах алма-атинского журнала «Простор» (№№ 7–8) появилась документальная повесть Марка Поповского «1000 дней академика Вавилова». В ней эта трудность была ловко обойдена: автор изобразил дело так, будто в возвышении Лысенко был повинен не советский строй и не лично

товарищ Сталин, а сам Николай Иванович Вавилов. Концепция подтверждалась селективно подобранными цитатами, но это была неправда, для меня такой подход был неприемлем.

Материал, имевшийся у меня в руках, оставался взрывоопасным, и это касалось не только биологических дискуссий. От учеников Вавилова, с которыми я входил во все более тесный контакт, ко мне стекались документы и воспоминания, касавшиеся и более ранних периодов его жизни. Так, профессор Николай Родионович Иванов передал мне фотокопию обширной переписки Вавилова с его учителем и другом Робертом Эдуардовичем Регелем, который возглавлял в Петрограде Отдел прикладной ботаники – тот самый Отдел, который после смерти Регеля (в 1920 году) возглавил Вавилов и превратил во Всесоюзный институт растениеводства – всемирно известный ВИР.

Все письма из этой пачки оказались интересными, но одно из них особенно поразило меня. Это письмо, написанное через несколько дней после большевистского переворота. Регель называл большевиков «даже не политической партией», а «группой сектантов», и негодовал против «цвета нашей интеллигенции кадетов», которые позволили «сектантам» совершить этот переворот.

То же касалось некоторых писем самого Вавилова, в частности, из Палестины, которую он исследовал в рамках Средиземноморской экспедиции 1926 года. Я привел из этих писем только отрывки, касавшиеся сбора растений, и полностью опустил восторженные высказывания о еврейском «национальном очаге» и о еврействе, которое «с сумасшедшим энтузиазмом», как он выразился, строило жизнь на своей исторической родине. При той ненависти к Израилю, какой были нашпигованы газеты, цитировать эти высказывания было невозможно: они бы все равно шли под нож, а заодно могли разбудить антисемитские эмоции будущих рецензентов и цензоров.

Надо было быть предельно осмотрительным при цитировании и моем собственном комментировании подобного материала. Всё, что можно было убрать в подтекст, надо было убрать в подтекст. Приводя, например, письма Вавилова к выдающемуся генетику Ф.Г.Добржанскому, в которых Николай Иванович убеждал этого «невозвращенца» вернуться в СССР, обещая блестящие перспективы научной работы, я демонстрировал «советский патриотизм» Вавилова, предоставляя самому читателю решать, кто был прав в этом споре: затравленный и погибший в тюрьме Вавилов или оставшийся в США Добржанский, которого, в случае возвращения, ожидала бы такая же участь…

И, конечно, наиболее строгой самоцензуре была подвергнута заключительная часть книги – начиная с ее названия. Первоначальное – «Дорога на эшафот» – было заменено более нейтральным: «Битва в пути». Из материалов и документов о биологических дискуссиях, которыми я располагал, использовано было лишь самое необходимое для правильной обрисовки картины.

Я закончил рукопись в ноябре 1966 года.

И как раз в это время было принято решение ЦК о «подготовке к празднованию 50-летия Великой Октябрьской Революции». Предстоявший год объявлялся *юбилейным. Рекомендовалось в литературе юбилейного года* подчеркивать достижения советской власти и не акцентировать внимания на имевшихся в прошлом «ошибках». Таков был эзопов язык, на котором власть разговаривала с теми, кто должен был выполнять ее решения. Установки были хорошо поняты.

В «Правде», где регулярно печатались статьи о деятелях партии, погибших в период «культа личности Сталина», исчезли упоминания о политических репрессиях. Практически полностью пропали со страниц печати упоминания о преступлениях Сталина, зато стали подчеркиваться его *заслуги* в годы войны. Заметно приглушеннее стала критика в адрес Лысенко, чему, как выяснилось, способствовали и некоторые специфические обстоятельства. У Лысенко нашелся новый покровитель: тогдашний советский *президент* (председатель

Президиума Верховного Совета) Николай Викторович Подгорный, его земляк.

Учитывая всё это, завредакцией Коротков сказал мне, что не считает возможным «соваться к начальству» с моей рукописью; нужно выждать более благоприятного момента.

Выжидание длилось весь юбилейный год. Когда, наконец, он миновал, оказалось, что власти не намерены поворачивать к доюбилейному либерализму. Замораживание приняло необратимый характер. Стало ясно, что подходящего момента не будет. И тогда Коротков решил двинуть мою рукопись, к тому времени уже полностью доработанную.

В первую очередь, нужен был хотя бы один положительный и более или менее официальный отзыв. Это не представлялось сложным. Обязанности председателя Комиссии Академии наук по сохранению и разработке научного наследия Н.И.Вавилова исполнял профессор Фатих Хафизович Бахтеев, один из самых преданных его учеников. На протяжении всей моей работы над книгой он деятельно помогал мне, горячо одобрял мою работу и относился ко мне с такой симпатией, что, несмотря на разницу в

возрасте, мы стали друзьями. Он охотно написал рецензию на мою рукопись, заверив ее не только своей подписью и титулом доктора наук, и.о. председателя Вавиловской комиссии, но и печатью. Рецензия Бахтеева послужила основанием для заключения издательского договора и одобрения рукописи.

Коротков, только теперь прочитав рукопись и поняв всю меру опасности, которая от нее исходит, решил не поручать ее редактирование кому-либо из штатных работников редакции, чтобы не ставить их под удар. Он заключил соглашение на внештатное редактирование с недавно уволившейся сотрудницей Татьяной Ивановой (она перешла в издательство «Наука»). Это означало, что всю полноту ответственности за мою книгу Коротков брал на себя.

6.

Вместе с редактором мы прошлись по тексту. Заключительная часть книги делала ее совершенно непроходимой в новых условиях. Это понимала Татьяна, понимал Коротков и отлично понимал я сам. Чем-то надо было жертвовать!

Мера жертвы, с моей точки зрения, должна была быть меньшей, чем с точки зрения редактора, но мы находили общий язык. Заключительная часть рукописи усохла почти вдвое, изымались, естественно, наиболее острые места.

Отовсюду было удалено имя Сталина – даже из лысенковских цитат. Был выброшен большой кусок о травле академика Н.К.Кольцова. Изъяты заключительные главы – об «окончательном» разгроме генетики на Августовской сессии ВАСХНИЛ1948 года.

От большого фрагмента об аресте Вавилова осталось, в качестве иллюстрации, факсимиле последней записки Николая Ивановича В.С.Лехновичу – участнику его последней экспедиции, которого он просил выдать свои вещи «подателю сего… ввиду срочного вызова в Москву». Мы надеялись, что вне контекста записка выглядит невинной и не обратит на себя внимания. Не тут-то было. Позднее, уже из корректуры, ее изъял Главлит.

Вся интонация рассказа о генетических дискуссиях была по возможности смягчена.

Рукопись ушла в типографию, но это не означало, что ей обеспечена дорога к читателю.

Позднее в издательстве ввели такой порядок, что все рукописи читались кем-либо из руководства: директором, главным редактором или его заместителем – для этого число

начальников удвоили. До таких нововведений последней инстанцией, читавшей рукопись, был завредакцией, но директор или главный редактор мог заглянуть в верстку. Коротков посчитал нужным заручиться рецензией более сильного человека, чем Бахтеев.

После долгих раздумий и колебаний мы решили обратиться к профессору В.Н.Столетову, заведующему кафедрой генетики МГУ и, что было особенно важно, министру высшего и среднего специального образования РСФСР, то есть высокопоставленному представителю власти.

Обращаться к Столетову было рискованно: он сам еще недавно был активным лысенковцем – благодаря этому и занимал высокие посты. Однако он стал поддерживать опальную генетику еще до падения Лысенко, потому сохранил эти посты в новой ситуации. Словом, риск выглядел оправданным.

…Секретарша без долгих расспросов соединила меня с министром. В ответ на мою просьбу он сразу же согласился прочитать рукопись и предложил привезти ему ее на следующий день в МГУ, где предстояло заседание кафедры: там мне следовало его «поймать».

Я приехал заблаговременно, а сам Столетов опоздал ровно на час. Вся кафедра нервничала, и как только он появился, его обступили с разными вопросами. Я с трудом протиснулся сквозь толпу и назвал себя. Столетов бегло взглянул на меня поверх очков светлыми водянистыми глазами, сунул под мышку увесистую папку и заговорил с кем-то другим. Я ушел в уверенности, что он, скорее всего, забудет где-нибудь рукопись, а если не забудет, то будет читать ее месяца четыре – шутка ли: такой занятой человек!

Однако уже через неделю мне позвонили из секретариата Столетова и сказали, что Всеволод Николаевич просит меня прийти к нему в министерство такого-то числа в такое-то время – если мне это удобно.

Мне было удобно!

…Разговор со Столетовым продолжался около двух часов. У него был отключен телефон, и никто в кабинет не входил, за исключением секретарши, которая время от времени, по звонку, приносила жиденький чай в тяжелом граненом стакане. (Мне чай предложен не был.) Прихлебывая чай, Столетов вел разговор.

Он похвалил мою работу, высказал несколько незначительных замечаний и стал предаваться воспоминаниям о «том трудном времени», которое у меня, по его словам, было изображено верно. Беседу он вел неторопливо, по-доброму, по-стариковски. Ему нравилось, что книга написана «без лишнего

нажима». Единственное, что он хотел бы, чтобы я имел в виду – не для исправления рукописи, а для личного сведения, – это то, что академик Н.М.Тулайков (который у меня лишь несколько раз упоминался, поэтому и исправлять ничего не требовалось) сыграл отрицательную роль в науке. Он был наделен большой властью, был вхож в ЦК партии и пользовался этим для расправы со своими противниками.

То, что я знал о Тулайкове, свидетельствовало о другом. Однако я вспомнил: о Столетове говорили, что он сыграл в свое время какую-то роль в дискредитации Тулайкова и, если не прямо, то косвенно, был повинен в его аресте в 1937 году[2]. Поскольку всё это не касалось моей рукописи, я возражать не стал.

Разговор кончился тем, что Столетов обещал в ближайшие дни написать рецензию; как только она будет готова, мне позвонят.

Попрощавшись, я, словно на крыльях, полетел в редакцию. Поддержка министра кое-что значила! Кажется, только теперь я стал всерьез верить, что книга может увидеть свет.

Однако прошла неделя, вторая, третья, а никаких сигналов от Столетова не поступало. Коротков, которого я успел обнадежить, стал нервничать. Со дня на день могла поступить из типографии корректура, в которую надо было внести те мелкие поправки, о которых мне говорил Столетов: они были отмечены в оставшейся у него рукописи.

Я сам позвонил Столетову. Он объяснил, что был очень занят, но в ближайшую неделю непременно напишет рецензию.

Через две недели я позвонил снова.

Потом стал звонить каждую неделю…

Надо сказать, что Столетов не избегал разговоров со мной: стоило мне назвать себя, и секретарша тотчас с ним соединяла. Однако дело не двигалось, и это было неспроста.

Буквально дня через два после столь окрылившей меня долгой беседы со Столетовым состоялся апрельский пленум ЦК партии, посвященный «идеологической борьбе на современном этапе». Это был сигнал к резкому закручиванию гаек: первая внутриполитическая реакция на события в Чехословакии – ведь шел 1968 год![3]

Столетов оказался в затруднительном положении.

С одной стороны, он понимал, что я тесно связан с десятками крупных генетиков, все они ждут эту книгу, и если он, особенно после того, как одобрил ее на словах, зарубит рукопись, это станет известно всему ученому миру, в котором его репутация и так стояла невысоко. С другой стороны, если книга выйдет и

разразится скандал, издательство будет прикрываться его рецензией, и у него могут возникнуть куда более серьезные неприятности, нежели пересуды в среде генетиков. Он, очевидно, решил заволынить дело.

Однако я был настойчив, и в конце концов мне было сказано, что я могу приехать за рукописью и рецензией.

Когда я вошел в приемную, моя толстая папка лежала на столе секретарши. Я взял ее и хотел уйти, но она спросила:

– Вы разве не хотите прочитать отзыв?

Я развязал тесемки и быстро пробежал глазами страничку текста, которую Столетову «некогда» было написать несколько месяцев, после того как ему же хватило недели, чтобы прочитать пятисотстраничную рукопись!

В рецензии было четыре абзаца – три за здравие и один за упокой. В нем говорилось, что я «форсирую драматизм событий» и «заживо хороню живого человека»!

Что касается последнего, то тут, по крайней мере, было ясно, что делать. В конце книги говорилось, что Лысенко пережил свой бесславный конец, тогда как Вавилов продолжает жить после смерти. Жалко убирать этот заключительный аккорд, да ведь стольким уже пожертвовано!.. Но как быть с *форсированием драматизма*? Тут сколько ни убирай, все равно можно будет сказать, что драматизм форсирован!

Завязывая тесемки папки, я уже твердо решил, что рецензия не появится в издательстве. Лучше скажу, что Столетов надул и вернул рукопись без рецензии. Тоже радости мало, но оставляет хоть какой-то шанс. А с такой рецензией книга не выйдет ни при каких обстоятельствах…

Я уже взялся за ручку двери, когда услышал голос секретарши, многое понявшей по моему лицу:

– А вы не хотите поговорить с Всеволодом Николаевичем?

У меня и мысли не было говорить с ним после того, как я прочитал его иезуитский отзыв! Но тут вдруг решил: а почему – нет? Терять мне нечего!

7.

…Пока я пересекал обширный министерский кабинет, Столетов широко улыбался мне ртом, а его светлые водянистые глаза смотрели поверх очков настороженно и воровато.

– Всеволод Николаевич! – я сразу пошел в атаку. – Что же вы написали? Ведь вы рубите книгу!

– Почему? Почему – рублю? – Руки его суетливо перебирали

бумаги на столе. – Я дал положительный отзыв.

– Но вы же пишете, что я форсирую драматизм!

– Да, знаете, в конце там у вас… Как-никак Лысенко жив. Нельзя заживо хоронить человека.

– Хорошо, это место можно исключить. Но ведь у меня потребуют снять всю дискуссию.

– Нет, нет. Я имею в виду только последние страницы. Там как-то мрачно. Вообще у вас тон хороший, правильный, но на последних страницах мрачно. Я понимаю: арест, смерть… Но надо бы как-то помягче.

– Но тогда так и напишите, что речь идет о последних четырех страницах!

– Хорошо, хорошо, – закивал головой Столетов. – Давайте исправим… Где тут исправить? – И он, щурясь сквозь очки, почти под мою диктовку исправил последний абзац.

Через пять минут бумага была перепечатана и заново им подписана. (Второй экземпляр первого варианта рецензии я сохранил на память.)

На следующий день вся правка была внесена в корректуру, которая уже два или три месяца лежала без движения в редакции, однако проволочки Столетова обошлись слишком дорого. Уже стояло лето 1968 года. Пока корректура проходила сверку, наступило роковое 21 августа. Советские танки вошли в Прагу.

8.

Вместе с оккупацией Чехословакии «бдительность» внутри страны была доведена до предела, и редакция захотела получить более надежный заслон, нежели слишком короткая и все же не лишенная двусмысленности рецензия Столетова.

Решили пробиваться к академику Н.Н.Семенову, нобелевскому лауреату, вице-президенту Академии наук, известному тем, что он в трудное время поддерживал генетиков. Однако прямого хода к Семенову найти не удалось. Пришлось действовать через Владимира Владимировича Сахарова, крупного генетика, с чьим мнением, как говорили, считался Семенов.

Сахаров прочитал корректуру и в разговоре со мной сказал много приятного. Он обещал показать верстку Семенову и попытаться убедить его прочитать ее или поставить свою подпись под отзывом, который напишет сам Сахаров.

Но влияние Сахарова оказалось недостаточным. Семенов поручил ознакомиться с корректурой своему заместителю по Президиуму Академии наук, члену-корреспонденту В.А.Ковде.

И снова начались проволочки, как со Столетовым, но с той разницей, что к Ковде дозвониться было невозможно. Когда я называл свое имя, оказывалось, что Виктора Абрамовича нет на месте или что у него совещание.

Потеряв всякую надежду поймать его в Президиуме Академии, я воспользовался академическим справочником и позвонил ему по домашнему номеру. На мое счастье, он сам подошел к телефону. Как только я назвал себя, он сказал:

– Я прочитал вашу книгу. Она не может быть издана. Сейчас, в свете чехословацких событий, это невозможно.

– Простите! – возразил я. – Но в книге ни слова не говорится о чехословацких событиях!

На это последовал ответ, который нельзя забыть:

– А вот это неправильное заявление. Это полемическое заявление!

Я положил трубку, не попрощавшись.

Пришлось удовлетвориться теми рецензиями, которые были.

Вторая корректура была уже подписана редакцией в печать, когда книгу захотел прочитать директор издательства В.Н.Ганичев, а прочитав, понял, что от нее исходит немалая опасность. Рецензии Бахтеева и Столетова отчасти успокоили его, но он сказал, что корректуру надо показать в ЦК партии. Хорошо еще, что Ганичев был слишком ленив, чтобы самому заниматься этим делом, и у нас с Коротковым, как нам казалось, была некоторая свобода маневра.

Мы полагали, что надо держаться как можно дальше от Отдела пропаганды. Не лучше был и Сельскохозяйственный отдел ЦК, где сидели бывшие лысенковцы. Единственная надежда оставалась на Отдел науки. В нем биологию курировали два инструктора: один – со странной фамилией то ли Ожипа, то ли Ожажа – в прошлом тоже лысенковец, а другой – Лев Николаевич Андреев, сравнительно молодой, не отягощенный лысенковским грузом (впоследствии – президент ВАСХНИЛ, председатель Вавиловской комиссии Академии наук).

Бахтеев имел с Андреевым какие-то контакты и говорил, что тот производит благоприятное впечатление. Он и позвонил Андрееву. Объяснил, что речь идет о книге, которую он читал и одобрил. Бахтеев тогда жил и работал в подмосковном поселке Снегири, встретились мы с ним на улице, он позвонил Андрееву из уличного телефона-автомата, я стоял рядом, разговор был при мне.

Корректуру Андреев продержал около месяца, после чего принял меня, и мы имели продолжительную беседу. Он был приветлив и предельно доброжелателен. Книгу хвалил, высказал

несколько второстепенных замечаний. У меня сохранилась копия моего письма директору издательства Ганичеву, в котором я точно, по пунктам, излагал все замечания, высказанные мне Андреевым. Вот отрывок из этого письма: «…Хочу напомнить, что верстка моей книги по Вашему указанию была направлена на консультацию в ЦК КПСС, где в Отделе науки ее рассматривал тов. Л.Н.Андреев, после чего передал ее на рассмотрение в Сельскохозяйственный отдел ЦК (как же наивно было наше намерение, отдавая верстку в один цековский отдел, обойти другой! – *С.Р.)*. В продолжительной беседе со мной Л.Н.Андреев высказал мне свои замечания и замечания работников Сельхозотдела. Замечания сводились к следующему:

1. Изъять из текста приводимые мною косвенные данные об участии Н.И.Вавилова в декабрьском восстании на Пресне в 1905 году, так как в пользу этого факта нет неопровержимых доказательств.

2. Сократить сведения интимного характера в переписке Н.И.Вавилова.

3. Несколько расширить рассказ о его организаторской государственной деятельности.

4. В последней части снять упоминание факта о том, что И.В.Мичурин палкой выгнал Лысенко из своего кабинета, ибо этот факт приводится по свидетельству очевидцев, а не на основе документов, а также смягчить некоторые резкие выражения в адрес Лысенко, ибо некоторые работники на местах продолжают придерживаться его взглядов и перевоспитывать их надо постепенно.

Все эти замечания, а также мелкие замечания, о которых мне не говорил тов. Л.Н.Андреев, но которые есть на полях корректуры, были мною учтены».

И это ВСЁ?

ВСЁ!

И такова цензура самого ЦК? Да не слишком ли я боюсь собственной смелости? Может быть, в моей книге вообще ничего ТАКОГО *для них* нет!

С такими мыслями я покидал здание ЦК.

Меня почти не беспокоило, что письменного отзыва Андреев не дал, сказав, что у них это «не принято». И я не обратил особого внимания на то, что он подчеркивал несколько раз: он высказывает лишь свое личное мнение и мнение товарищей из Сельскохозяйственного отдела. Замечания я могу принимать или не принимать. Это только пожелания, а не директивы. Я слишком хорошо знал, что у работников ЦК личного мнения не бывает: они говорят только «от имени и по поручению».

Вся правка была внесена, дописаны страницы две про организаторскую деятельность Вавилова (а об одном этом можно было бы написать книгу!), корректура отправлена на вторую сверку.

Обычно вторая сверка для редакции если не ЧП, то большая неприятность, так как с ней связаны сверхплановые расходы. Но в данном случае это была такая мелочь, на которую не стоило обращать внимания.

Я ликовал, Коротков был доволен, а Ганичев окончательно успокоился.

Корректуру подписали в печать. С Главлитом я приготовился драться, опираясь на авторитет ЦК, однако и там всё прошло гладко: сняли только факсимиле записки Вавилова Вадиму Степановичу Лехновичу, написанной в момент ареста, о чем я уже упоминал, а также в разделе «Основные даты жизни и деятельности Н.И.Вавилова» – последнее остававшееся упоминание о том, что он умер *в заключении.* При невозможности сказать об этом в основном тексте, я надеялся, что простое упоминание справочного характера проскочит хотя бы здесь. Не вышло…

9.

27 декабря 1968 года в редакцию принесли на подпись два сигнальных экземпляра книги.

Моя первая книга, которой отдано пять лет напряженной работы, с которой связано столько треволнений, которую с нетерпением ждал не только я, но ждали десятки людей, помогавших мне в работе и переживавших вместе со мной все перипетии ее прохождения, – вот она, я держу ее в руках! Какой великолепный подарок к Новому году! Какой подарок ко дню рождения моей мамы! (Ее день рождения был как раз 27 декабря.)

Сигнальные экземпляры были подписаны и отнесены в главную редакцию, а я побежал в производственный отдел и выпросил один экземпляр для себя, чтобы показать его дома.

Если бы я знал, каким драгоценным окажется этот экземпляр уже через несколько дней!

10.

Гроза разразилась 3 января.

Началась она с того, что Коротков вошел в нашу комнату и,

набычившись, глядя на меня в упор, спросил:

– Это верно, что ты использовал неопубликованные материалы Жореса Медведева?

Я ответил, что использовал разные материалы, опубликованные и неопубликованные, и поскольку моя тема близка к теме Жореса Медведева, то возможно, что некоторые материалы совпадают. Но рукописью Медведева я не пользовался; он в курсе моей работы и никаких претензий мне не высказывал.

– Я так и думал, – ответил Юрий Николаевич уже другим тоном. – Однако тебя обвиняют в том, что ты контрабандой протащил в печать запрещенные материалы Медведева. Ганичева вызывают в ЦК партии. Отнеси ему рецензии.

Со всеми материалами я пошел к директору.

Он уже стоял в пальто. Я отдал ему обе рецензии и корректуру, побывавшую в ЦК, с пометками Андреева; объяснил еще раз, кто такие Бахтеев, Столетов и Андреев. Выслушав меня, он кивнул и уверенно сказал:

– Отобьемся! Когда вернусь, я вас позову.

Вернулся он через два часа, но меня не позвал. К концу дня я сам зашел к нему. Он сидел за своим столом весь красный, потерянный, жалкий.

Потом я узнал, что его вызывал «на ковер» сам В.Н.Севрук, куратор книжных издательств в Отделе пропаганды ЦК. Он кричал, топал ногами и требовал ни в коем случае не выпускать книгу. У Ганичева не повернулся язык сказать, что весь стотысячный тираж отпечатан, а часть даже отправлена в Книготорг[4].

Не зная еще ничего этого, я спросил:

– Валерий Николаевич! Что сказали в ЦК?

Он поднял на меня полные невыразимой тоски глаза и мрачно произнес:

– Оказывается, еще в январе (то есть год назад! – *С.Р.)* было принято решение прекратить критику Лысенко. К сожалению, я этого не знал.

Я так и сел перед ним… Лысенко снова поставлен вне критики? Всё возвращается на круги своя?! Книга, конечно, погибла, но это уже пустяк, если шарлатанство снова будет господствовать в целой науке!

– Вот! – Ганичев протянул мне экземпляр книги с торчащими из нее закладками. – Можете ознакомиться.

11.

Еще на ходу, поднимаясь по лестнице с четвертого этажа на пятый, я стал просматривать *высочайшие* замечания.

Прежде всего, поразился их убогости.

Всего в книге (разумеется, в последней части) было отчеркнуто синим карандашом шестнадцать мест. Почти все пометки стояли там, где упоминалось имя Лысенко… Но ведь в книге это имя упоминалось сотню, а то и две сотни раз! Почему отчеркнуты именно эти шестнадцать? Может быть, здесь это имя сопровождается особенно «сильными» характеристиками? Оказалось, ничего подобного. Часто рядом, на тех же страницах, имя Лысенко стояло в более негативном контексте!

Было очевидно, что высочайший цензор лишь бегло пролистал книгу и черканул там и сям без всякого разбора. Вот как делалось дело в лучезарной советской действительности! Пять лет работы, труд рецензентов, редакторов, типографии – всё коту под хвост только потому, что где-то ступенькой выше кто-то кисло поморщился!

Я заново прокрутил в голове разговор с Ганичевым. С удивлением отметил, что он ни словом не упомянул о *протаскивании* материалов Жореса Медведева (значит, это обвинение отпало!), зато сослался на какое-то секретное решение ЦК партии годичной давности. И мне вдруг стало понятно, что это блеф! Его запугали в ЦК мнимым постановлением те, кто, может быть, хотел бы, чтобы оно было принято, да провести его бессильны!

В самом деле, как могло существовать постановление, пусть сверхсекретное, но прямо касающееся печати, а об этом не подозревали не только такие рядовые работники, как я, но и завредакцией Коротков и даже директор крупнейшего издательства Ганичев? И как мог не знать об этом Главлит? И как могли не знать министр Столетов и сотрудник аппарата ЦК Андреев?

Да и в самое последнее время в печати появлялись статьи с критикой Лысенко. Академик Семенов даже в «Коммунисте» писал, что Лысенко и Презент «стремились к диктату в науке». Не мог ведущий орган Центрального Комитета партии печатать статью вразрез с постановлением ЦК!

Очевидно, что такого постановления не было, а был *донос* на мою книгу, и ему дали ход! Но от кого он мог исходить? От Лысенко и его людей? Но ведь книга еще не поступила в продажу, ее еще никто не видел!

12.

Позднее, от бывшего ученика Лысенко, доктора биологических наук А. К. Федорова, который порвал со своим учителем, но сохранил связи в близких к нему кругах, мне стала известна технология этого дела. Мне приходилось бывать в библиотеке министерства сельского хозяйства, и я знал, что ею заведует жена доцента МГУ Н.И.Фейгинсона, одного из самых упертых противников «формальной» генетики и преданного соратника Лысенко – почти единственного, кто сохранил ему верность после его падения. Однажды, еще в хрущевские времена, мне довелось присутствовать на публичной лекции Фейгинсона в Политехническом музее. Я навсегда запомнил замечательную фразу: «Основы мичуринского учения заложил Трофим Денисович Лысенко». Но я не знал, что ведомственная библиотека министерства сельского хозяйства включена в список, по которому разносились первые сигнальные экземпляры новых книг.

По заведенному порядку, сигнальные экземпляры каждой новой книги разносили по особому списку: в ЦК КПСС, КГБ, Книжную палату, библиотеку имени Ленина и т. п. И вот мадам Фейгинсон, получив экземпляр моей книги, тотчас оттащила его мужу, тот – Лысенко. В их доносе, вероятно, фигурировало и «протаскивание» мною запрещенных цензурой материалов Жореса Медведева. Книгу, как говорили в таких случаях, «поймали на разноске».

Но об этом я узнал лишь через несколько месяцев.

13.

Прежде всего я решил позвонить Андрееву: он давал добро на книгу и должен если не помочь, то объяснить, что происходит. Однако Андреев был предельно сух и немногословен:

– В вашей книге нашли идеологические ошибки.

– Но вы же ее одобрили!

– Вы не учли моих замечаний.

– Каких же? У меня имеется корректура с вашими пометками, все замечания учтены.

– Ну, я не знаю, я книги еще не видел. Этим занимается Отдел пропаганды, у нас не принято вмешиваться в дела другого отдела.

Всё это говорилось вяло, нехотя, сквозь зубы. Андреев давал понять, что если я вздумаю на него ссылаться, он от всего откажется[5].

Пришлось действовать по принципу Мао Цзэдуна: «Опора на

собственные силы». Я поехал в Институт истории естествознания и техники, к заместителю директора С.Р.Микулинскому – моему давнему знакомому, хотя и знал, что он не из тех, кто рвется на баррикады. Микулинский молча меня выслушал, вызвал к подъезду институтскую «Волгу», и мы с ним покатили к директору Института академику Б.М.Кедрову, который в это время «болел».

Кедров жил в большом академическом доме на улице Губкина. Дом боковой стороной выходил на улицу Вавилова [С.И.], а фасадом смотрел на Институт общей генетики имени Вавилова Н.И.

Бонифатия Михайловича Кедрова я тогда увидел впервые. Он сам открыл дверь и провел нас в кабинет. Он был в распахнутой домашней тужурке и шлепанцах, с двух- или трехдневной поблескивавшей серебром щетиной. Он был много старше, но значительно живее Микулинского, несмотря на избыточную полноту. Долго объяснять ситуацию ему не пришлось. Он попросил оставить книгу на одну ночь и утром вручил мне подробный защитительный отзыв на четырех страницах на своем бланке. Правда, отзыв был адресован не в ЦК партии, где у него были прочные связи, а директору издательства «Молодая гвардия» Ганичеву, которому мне и пришлось его вручить. Сыграл ли этот отзыв какую-то роль в спасении книги, мне осталось неизвестно, но та готовность, с какою академик пришел на помощь, многого стоила.

Со своей стороны, я тоже написал Ганичеву письмо на 26 страницах. В нем подробно разобраны все 16 «замечаний» цековского цензора, а кроме того, показана полная абсурдность утверждения о каком-то секретном постановлении, якобы запрещавшем критиковать Лысенко.

Не получив никакого ответа, я написал еще одну записку. В ней я сопоставил мою книгу с только что вышедшей книгой Ивана Фролова «Генетика и диалектика». Автор был доктором философии, главным редактором журнала «Вопросы философии», помощником секретаря ЦК КПСС. То есть лицом вполне официальным, номенклатурным. В его книге Лысенко и его сторонники подвергались не менее острой критике, чем у меня, причем с позиций марксистской философии.

Но Ганичев мне объяснил, что всё это ровным счетом ничего не значит: книга Фролова научная, для специалистов, ее тираж 14 тысяч экземпляров. А в моей книге даются живые образы, стотысячный тираж прочтут миллионы.

Побывал я и у Фролова. Рассказал, что происходит, и просил объяснить: почему моя книга арестована, ее хотят пустить под

нож, тогда как его книга свободно продается? Он мрачно усмехнулся и сказал:

– Вы что же хотите, чтобы мою книгу тоже пустили под нож?

Видимо, его положение было не таким прочным, как казалось со стороны. Позднее, правда, он стал членкором, затем академиком, занимал высокие посты, стал даже членом Политбюро. Умер в 1999 году.

14.

Однако вскоре выяснилось, что книга остановлена не полностью. Отправленные в Книготорг 10 тысяч экземпляров решено было не изымать, хотя они еще не расползлись по книготорговой сети и лежали в одном месте на складе. Поступило указание отправить ее подальше от Москвы и распродать в сети Райпотребсоюза, чтобы она разошлась по деревням и не попала в крупные города. Говорили, что это соломоново решение исходило от самого М.А.Суслова, главного идеолога партии. Я ходил в Книготорг, выяснял, куда именно направлена книга, и заказал пачку экземпляров из Кызыла. Положенные по договору авторские экземпляры мне так и не выдали.

Ситуация осложнялась тем, что *покатили бочку* на заведующего редакцией ЖЗЛЮрия Короткова. После крупного разговора с Ганичевым и главным редактором В.Осиповым ему предложили уйти «по собственному желанию».

К тому времени он возглавлял ЖЗЛлет пятнадцать.

Серия, как известно, была основана Горьким в 1933 году, но в годы позднего сталинизма она захирела. Коротков возродил ее из пепла. Серия пользовалась огромной популярностью и престижем. Книги выходили массовыми тиражами, тут же исчезали с прилавков, перепродавались на черном рынке в три – пять раз дороже номинальной цены. Этим успехом серия в значительной мере была обязана Короткову. С серией были связаны все его личные чаяния и амбиции.

Он кинулся в ЦК партии, где, как он считал, имел покровителей, обошел одиннадцать кабинетов, но поддержки никто не обещал. Ему шили «идеологически вредную линию». Это-де выражалось в издании биографии Чаадаева, написанной А.Лебедевым, Бертольда Брехта – Л.Копелевым, и моего «Николая Вавилова». Книга о Чаадаеве вышла два года назад, о Брехте – год назад; последней каплей, переполнившей чашу, стал мой «Николай Вавилов». Коротков срочно «заболел» в надежде переждать грозу. Мне он сказал:

– Я понимаю, что тебе надо бороться за свою книгу. Но учти, что чем громче будет шум, тем мне будет труднее.

Я старался шума не поднимать, ограничиваясь тихой дипломатией. Было у меня поползновение написать письмо Брежневу, но мой тогдашний друг и коллега по редакции ЖЗЛАндрей Ефимов сказал:

– Ты же хотел вставить им перо, чего же теперь у них просить защиты?

Довод показался мне убедительным, я решил, что *к ним* обращаться не буду.

Мне удалось попасть на прием к президенту АН СССР М.В.Келдышу, он внимательно выслушал меня. Ничего конкретно не обещал, но, как говорится, взял вопрос на заметку. Но когда мне позвонил Владимир Дмитриевич Дудинцев (для меня это было приятным сюрпризом, так как знакомы мы не были) и предложил организовать публичное обсуждение книги в Центральном доме литераторов, я вынужден был просить его этого не делать. В журнале «Знание – сила» была подготовлена большая рецензия на книгу, она стояла в номере. Не желая подводить журнал и моего шефа, я позвонил главному редактору Н.С.Филипповой и объяснил ситуацию. Она ответила:

– Спасибо, что вы меня предупредили, я сейчас пойду и сниму рецензию.

Ганичев поручил заниматься моей книгой своему только что назначенному заместителю Геннадию Криворученко. До этого Криворученко возглавлял Особый отдел в ЦК комсомола, но давно уже вышел из комсомольского возраста и для него учредили должность замдиректора в нашем издательстве. Такова была рутинная практика: на руководящие посты в «Молодую гвардию» сплавляли переростков из ЦК комсомола.

Таким бывшим переростком был и директор Ганичев, и его предшественники: Ю.С.Мелентьев, Ю.Н.Верченко, главный редактор В.О.Осипов, два зама главного редактора.

Появление в издательстве явного *особиста* вызвало среди рядовых сотрудников глухой ропот, но Криворученко из всех начальников оказался наиболее терпимым и либеральным. У меня с ним установились вполне корректные отношения. Я предлагал в качестве жертвы себя вместо Короткова, но Криворученко дружески посоветовал этого вопроса не поднимать. Пояснил, что если я захочу уйти, Ганичев меня удерживать не станет, но Короткова это не выручит. Таковы парадоксы бюрократической системы: мою книгу признали вредной, но административно отвечать за это должен был не я, автор, а завредакцией.

Прошло несколько месяцев, ажиотаж спал, и о том, что арестованный тираж надо полностью уничтожить, уже не говорили. Письменного распоряжения не поступило, а без этого издательство не могло списать финансовые затраты. Дело спускали на тормозах, чему, я думаю, способствовали три обстоятельства. Во-первых, при всем моем старании не поднимать шума, история гонений на биографию Вавилова стала известна на Западе, о ней говорили радиоголоса, попала она и в самиздатскую «Хронику текущих событий»[6]. Во-вторых, наметившаяся стабилизация в Чехословакии и ослабление протестов против вторжения в нее советских войск со стороны Запада, быстро привыкающего к подобным акциям, показали кремлевским руководителям, что настало время выступить с *мирными инициативами.* В такой ситуации гонения на мою книгу могли осложнить и без того сложные отношения с Западом. И третье, может быть, самое главное, состояло в том, что летом 1969 года в каком-то цековском санатории в одно и то же время отдыхали академик Николай Николаевич Семенов и глава Отдела пропаганды ЦК партии Александр Николаевич Яковлев; они совершали совместные прогулки. Семенов к тому времени был полностью в курсе случившегося – об этом позаботился Юрий Николаевич Вавилов. Семенов объяснил Яковлеву, насколько негативно в научных кругах воспринимаются гонения на книгу о Вавилове. Об этом я узнал только в 1997 году, когда, будучи в Москве, обратился к Яковлеву с просьбой о встрече и был им принят в его кабинете в фонде «Демократия». По ходу беседы, длившейся около часа, он вспомнил о том, как прогуливался с Семеновым и как, вернувшись из отпуска, приструнил Севрука. Отозвался о нем как о полном ничтожестве.

Я спросил:

– Почему же вы держали при себе такого человека?

Он ответил:

– А вы знаете, как он умел льстить!

15.

Что-то пронюхав наверху, Ганичев решил книгу выпускать, но внести в нее изменения, чтобы отрапортовать, что «идеологические ошибки» исправлены. Под «ошибками» разумелись шестнадцать мест, отчеркнутых цековским карандашом.

Как я уже отмечал, удаление всех шестнадцати мест ничего не изменило бы в книге по существу. Однако я выяснил в

типографии, что если «исправить» *все* эти места, то потребуется заново набирать и печатать шесть печатных листов (целую небольшую книжку!); если же ограничиться частью пометок, сосредоточенных на последних тридцати страницах, надо будет перепечатывать только два листа. Я предложил Ганичеву подойти к «идеологическим ошибкам» арифметически, кивком головы он согласился.

Два печатных листа заново прошли весь издательский цикл: набор, верстку, сверку, подписание в печать, визирование Главлитом – 90 тысяч экземпляров первого варианта этих двух листов были пущены под нож и заменены новыми. Книга, представлявшая, в сущности, второе издание, вышла под первоначальной обложкой и с первоначальными выходными данными – воровской прием, запутывающий следы.

Однако тайну сохранить не удалось. Жорес Медведев тщательно сверил два варианта книги и подсчитал, что всего было заменено или удалено полторы страницы текста. Он позвонил в типографию «Молодой гвардии» и выяснил, что эта операция обошлась издательству в 27 тысяч (тогдашних!) рублей, поглотив всю запланированную прибыль. По радиоголосам прозвучала саркастическая заметка Медведева. Она заканчивалась словами:

– Вот сколько стоят полторы страницы правды.

Я ходил по книжным магазинам – хотел посмотреть, как покупают мою книгу. Но она исчезала с такой быстротой, что мне ни разу не удалось увидеть ее в продаже.

16.

В 1983 году (15 лет спустя) в Нью-Йорке вышла моя книга «Дорога на эшафот» – доцензурный вариант последней части биографии Н.И.Вавилова. В нее вошли не только злополучные полторы страницы, но все 100 страниц, усеченных перед сдачей рукописи в печать. Но и это был только паллиатив: ведь то, что изначально не было включено в книгу из-за самоцензуры, восстановить было невозможно! Не говорю уже о том, что то была одна из первых биографических книг о Н.И.Вавилове, тогда как позднее сложилась целая отрасль истории науки – *вавилововедение.* Можно смело сказать, что ни об одном ученом России за прошедшие с тех пор 50 лет не было опубликовано такого количества материалов – статей, воспоминаний, архивных документов, – как о Вавилове. Эти публикации чрезвычайно обогатили наши представления об этом человеке, но они

фрагментарны, разбросаны по множеству самых разных изданий, часто малотиражных, доступных лишь узкому кругу специалистов. Собрать всё это, сопоставить, осмыслить, вдохнуть жизнь в разрозненные материалы, создать на их основе неповторимый образ великого ученого, раскрыть трагедию его судьбы в контексте времени, в которое ему выпало жить и погибнуть, – такова задача этой книги. В какой мере мне удалось ее решить – судить читателям.

Часть первая
Развилки дорог

Его рождение

1.

Великий ботаник, генетик, растениевод, географ, путешественник Николай Иванович Вавилов родился в 1887 году, 13 (25) ноября. Но дата рождения ученого сама по себе мало о чем говорит. Она приобретает смысл лишь в соотнесении со временем возникновения науки, которую ему предстояло развивать. Ученый, каким бы самобытным ни был его талант, – лишь участник многоэтапной эстафеты. То, к чему он пришел, прямо зависит от того, с чего он начал, то есть как далеко успели пронести эстафетную палочку его предшественники. «Я видел дальше других, потому что стоял на плечах гигантов», – говорил Исаак Ньютон.

На вопрос, когда возникла наука, которой посвятил свою жизнь Николай Вавилов, трудно дать однозначный ответ.

Отсчет можно начать с 1753 года, когда шведский натуралист Карл Линней опубликовал свой главный труд «Виды растений». Линней дал разумную классификацию растительного царства, ввел понятия вида, рода, семейства, класса, дал точную терминологию, ввел бинарную номенклатуру. То есть он создал *систему*. Ботаника из груды разрозненных фактов превратилась в *науку*. Николай Вавилов вдвое, втрое, вчетверо увеличил число описанных к его времени видов культурных растений. Он заново пересмотрел линнеевское понятие биологического вида и сумел навести порядок в хаосе разновидностей, рас, сортов. Справедливо сказать, что он развивал науку, основанную Карлом Линнеем.

Но характер деятельности Николая Вавилова был бы совершенно иным, если бы женевский ботаник Альфонс Декандоль не опубликовал в 1855 году «Рациональную географию растений», основав новую науку – биогеографию. Суть ее состояла в том, что наличие диких родичей определяют центры происхождения культурных видов и родов. Николаю Вавилову пришлось не только построить здание на заложенном Декандолем фундаменте. Ему пришлось перекладывать самый фундамент. По его теории, центр происхождения определяется не столько наличием диких родичей, сколько скоплением разновидностей и сортов. Вавилов продолжал эстафету, начатую Декандолем.

Однако деятельность Николая Вавилова как систематика и

биогеографа не могла бы быть столь плодотворной, если бы не глубоко воспринятые им общебиологические представления, которые вошли в науку благодаря Чарльзу Дарвину. Труд Дарвина «Происхождение видов путем естественного отбора» вышел в свет в 1859 году. Вавилов был одним из тех естествоиспытателей XX века, которые значительно развили и углубили эволюционное учение Дарвина.

И наконец, научные открытия Николая Вавилова теснейшим образом связаны с достижениями генетики – науки о наследственности и изменчивости. Основные законы наследственности первым сформулировал августинский монах из чешского города Брно Грегор Мендель. Его доклад о скрещиваниях гороха был прочитан в 1865 году и годом позже опубликован. Но законы Менделя не были поняты современниками. Только через тридцать пять лет, на самом рубеже XX века, их вновь открыли, независимо друг от друга, сразу трое ученых – голландский ботаник Гуго де Фриз, немецкий биолог Карл Корренс и австрийский биолог Эрих Чермак. Николаю Вавилову было тогда двенадцать лет. Ученик второго класса коммерческого училища не подозревал, конечно, что в науке произошло событие, которое станет определяющим в его судьбе.

2.

Систематика, биогеография, эволюционное учение, генетика. Таковы главные истоки научных интересов Николая Вавилова, и очень трудно отдать предпочтение одному из них как основному. Если же попытаться выяснить, каким образом его жизненные устремления слились с основными направлениями биологической науки, то необходимо обратиться еще к 1906 году

В этом году Николай окончил Московское коммерческое училище. Его отец, Иван Ильич Вавилов, был крупным коммерсантом, главой преуспевающей торговой фирмы. Он хотел, чтобы старший сын стал его компаньоном и после него возглавил фирму. Стремясь склонить сына к коммерческой деятельности, Иван Ильич пригласил ученого магистра, который целую неделю читал юноше лекции о «почтенности и необходимости для общества» коммерции и промышленности. После этого отец спросил:

– Ну как, Николай?

Он ответил:

– Хочу стать биологом.

Ему хотелось поступить на медицинский факультет университета, но для этого требовалось сдать экзамен по латинскому языку, а его в коммерческом училище не преподавали. Он не захотел потратить год на самостоятельное изучение латыни и поступил в Московский сельскохозяйственный институт. Препятствием была не сама латынь, а именно перспектива потерять год. Николай Вавилов обладал удивительной способностью к языкам. Впоследствии он овладел основными европейскими языками, в разной степени совершенства освоил древние, включая латынь, а также несколько восточных – всего около двух десятков.

Медицинский факультет привлекал не настолько сильно, чтобы на целый год отложить поступление в вуз. Медицина была лишь одной из ветвей биологии. Какой именно ветви себя посвятить – это, видимо, не было для него слишком важно. Как же вызрело, как окрепло в нем решение стать биологом? Как оно *родилось*?

3.

– Хочу стать биологом, – тихо сказал юноша и взглядом глубоко посаженных глаз уперся в суровое лицо отца.

Они стояли в кабинете Ивана Ильича, синем от синих обоев, синей обивки мебели и невыветривавшихся клубов табачного дыма. Отец хотел было выдержать взгляд сына, но понял, что тот глаз не опустит. Иван Ильич счел за благо отступить.

А ведь мог бы…

Мог бы хватить стулом об пол, прогреметь раскатистым басом:

– Запрещаю!.. Из дому выгоню! Не дам ни копейки. Как-то пойдет биология на голодный желудок!

Но конфликта не состоялось.

Было бы уместно и, пожалуй, справедливо отдать должное такту Ивана Ильича и его известной широте. Рассказать о молве, что шла о его отзывчивости и бескорыстии. Его младший сын, Сергей, уже будучи выдающимся физиком, академиком, вспоминал: «Был он человек умный, вполне самоучка, но много читал и писал и, несомненно, был отличный организатор, “дела” его шли всегда в порядке, он был очень смел, не боялся новых начинаний. Общественник, либерал, настоящий патриот, религиозный человек. Его любили и уважали»[7].

Словом, нисколько не погрешив против истины, мы могли бы нарисовать вполне привлекательный портрет Ивана Ильича

Вавилова.

Вернувшись потом к его разговору с сыном, мы могли бы сделать логический вывод: назревавший конфликт из-за будущей профессии Николая не состоялся благодаря доброте и широте взглядов его отца.

Однако при более пристальном рассмотрении выясняется, что Иван Ильич был не настолько демократичен, чтобы вовсе не вмешиваться в судьбу сына. Наоборот, вмешательство его было даже слишком активным, и когда не помогли собственные вразумления (видимо, решил, что не хватило образованности), он пригласил ученого человека, отвалив ему кругленькую сумму.

Иначе и быть не могло.

Разве не мечтал Иван Ильич о том, как передаст сыну свое *дело* — с того самого дня, когда Николай появился на свет и когда само *дело* было еще призрачной мечтой? Наверняка мечтал! Потому и отдал сына не в гимназию, не в реальное училище, а в коммерческое?

Разве не считал он, что поприще коммерсанта – важное и почетное – принесет сыну и положение в обществе, и богатство, и внутреннее удовлетворение, то есть всё, что надо человеку для счастья? Конечно считал!

Став крупным предпринимателем, совладельцем Торгового дома «Братья Н. и А. Удаловы и И. Вавилов», он планировал со временем отпочковаться от компаньонов и создать торговое предприятие «Вавилов и сыновья». Упрямое желание Николая стать не коммерсантом, а биологом должно было ему казаться мальчишеством.

Правда, Николай – один или вместе с Сергеем – вечно возился в сарае с какими-то опытами, соорудил целую лабораторию и каждый раз просил гривенник, чтобы купить в аптеке какие-то препараты. Мальчики засушивали под тяжелыми стопками книг разные цветочки-листочки, накалывали на булавки и рассовывали по коробкам букашек. Для Ивана Ильича то были детские забавы. Ему даже нравились эти затеи, и он с улыбкой слушал, как Николай декламирует стишки – по форме веселые, как считалки, хотя и невеселые по смыслу:

Сказка жизни коротка:
Птичка ловит червяка,
Птичку съел голодный кот,
Псу попался котик в рот,
Пса сожрал голодный волк.
Но какой же вышел толк?
Волка съел могучий лев,

Человек же, льва узрев,
Застрелил его, а сам
Он достался червякам.

Но чтобы невинные забавы детей превратились в их жизненную программу – это в расчеты Ивана Ильича не входило!

И вот отступил, наткнувшись на колючий взгляд сузившихся глаз сына…

Когда мальчики были поменьше, Иван Ильич не считал лишним поучить их ремешком. Порол не часто, но жестоко. И перестал не по собственной воле, а потому, что Николай однажды (лет в тринадцать), увидев в руках отца ремень, кинулся к окну, распахнул, вскочил на подоконник, крикнул:

– Не подходи, вниз брошусь! (На втором этаже было.)

И Иван Ильич понял – бросится.

Сергей был другим. Порку принимал с удивлявшей Ивана Ильича покорностью. Лишь много позднее Иван Ильич узнал, что Сергей ухитрялся подкладывать в штаны лист твердого картона, который и смягчал силу отцовского гнева.

Сергей тоже не хотел заниматься коммерцией, предпочтя ей науку – не биологию, а физику. Однако в конфликт с отцом не вступал. Будучи студентом университета, помогал ему в делах и даже стал содиректором компании. Но душа его принадлежала науке, физика увлекала его все сильнее, появились первые научные публикации, тут уж стало не до торгового дома. И как-то незаметно, бочком-бочком, Сергей вышел из отцовского дела.

С Николаем Ивану Ильичу было проще. И труднее.

Иван Ильич хорошо сознавал, что единственная возможность повлиять на него – это убедить серьезными доводами. Угрозами ничего не добьешься. Скорее уйдет из дому, будет голодать, бегать по урокам, но со своего пути не свернет.

Характер!

Впоследствии, возражая своим научным противникам, Вавилов нередко говорил:

– Буду рад, если вы меня убедите.

И менял свою точку зрения, когда его убеждали.

Но когда научные аргументы подменяли фразой, окриком, нажимом, мягкий и сговорчивый Николай Иванович становился непреклонен.

– Пойдем на костер, будем гореть, но от убеждений своих не откажемся, – заявил он, выступая на одной из дискуссий.

И пошел на костер.

Противники вряд ли ожидали такой развязки. Плохо знали

характер добрейшего Николая Ивановича – важную составляющую в сумме тех причин, которые выковали из него ВАВИЛОВА.

А Иван Ильич знал характер сына. Чувствовал свою породу…

Через много лет они, насупленные, снова стояли в том же «синем» кабинете и буравили друг друга глазами. В кабинете ничто не изменилось, только выцвели обои да потерлась обивка мебели… И поменялись роли.

– Да пойми же, отец, разве можно уезжать в такое время, – должно быть, говорил Николай.

– Нельзя?! Нельзя, говоришь? Да я всё своим потом нажил! И всё отбирать! Сегодня *дело* забрали, завтра к стенке поставят! Нет, мне здесь делать нечего.

«Помню отъезд деда за границу, – вспоминал его внук А.Н.Ипатьев. – Во дворе 13-го дома запрягли в пролетку лошадь Аржанца. Пришел дедушка в пальто и шляпе; ему положили в пролетку чемоданы, он обнимал нас всех и плакал. Так я видел его в последний раз. О деде своем я сохранил память, как о каком-то богатыре, которому было подвластно всё»[8].

Увы, не всё было подвластно Ивану Ильичу.

Он обосновался в Болгарии. Затеял какие-то операции. Прогорел. Писал об этом в редких письмах. Подписывал их «Фатер». Конспирировался. Но вот и письма приходить перестали. Вместо них пришло известие о его смерти. К счастью, оно оказалось ложным.

Связи возобновились, в одной из зарубежных поездок Николай с ним встретился. Сохранилась фотография, которую поначалу датировали 1922 годом, но, по уточненным данным, она была сделана в Берлине в 1927-м. На ней они стоят не против друг друга – рядом. Молодой (еще молодой!) черноусый Николай, в коротком пальто и с набухшим портфелем, и Иван Ильич – седая окладистая борода, длиннополое пальто, котелок. Спокойно глядят в объектив…

4.

Село Ивашково, где родился и провел ранее детство Иван Ильич Вавилов, располагалось в 45 верстах от уездного города Волоколамска. Отец его был крепостным крестьянином, волю получил в 1861 году, с отменой крепостного права, всего за два года до рождения сына.

Земли в Волоколамском уезде были бедные: в низинах илистые и болотистые, на возвышенных местах – песчаные.

Урожаи давали мизерные и неустойчивые. По данным Энциклопедического словаря Брокгауза и Эфрона, только 69 процентов населения уезда могло прокормиться собственным хлебом. Остальных выручал отхожий промысел. Хозяева-помещики получали свою долю крестьянских приработков в виде оброка, потому отлучкам не препятствовали.

Важным приварком для Ильи Вавилова была торговля льняными тканями и изделиями, для чего он должен был надолго уезжать из родного села. Свой товар он возил в Волоколамск, в другие близкие городки, в Москву и даже в Петербург. Там, в Петербурге, в гнилую питерскую зиму, он подхватил какую-то хворь и в считанные дни сошел в могилу. Был похоронен на Васильевском острове.

Сыну его Ивану было тогда лет двенадцать.

Оставшись без кормильца, мать должна была отправить Ваню «в люди». Местный священник посоветовал – и, вероятно, помог – пристроить его в церковный хор в Москве, на Пресне, при Николо-Ваганьковской церкви. Но пение в церкви – это по воскресеньям и, конечно, бесплатно. А надо было кормиться.

В сутолоке большого города деревенский мальчуган не потерялся. Помогло то, что отец, пока был жив, не раз брал его в свои торговые поездки, стараясь исподволь приобщать к делу, потому о городской жизни мальчуган уже кое-что знал.

Пресня была населена трудягами Прохоровской Трехгорной мануфактуры – крупнейшей в стране прядильной фабрики.

Добрые люди и старые отцовские связи вывели Ваню Вавилова на купца второй гильдии Василия Ивановича Сапрыкина – тот взял его к себе «мальчиком». Каково было положение таких мальцов, нетрудно представить по чеховскому Ваньке Жукову. Но Ванька Вавилов в «мальчиках» не задержался. У него обнаружилась сноровка в торговых делах, он был замечен одним из директоров Прохоровской мануфактуры Никитой Васильевичем Васильевым, который заведовал сбытом фабричной продукции. Состоялась сделка: Сапрыкин «уступил» Ваню Вавилова Васильеву, а тот сделал его своим помощником.

В мальчике было столько старательности и смекалистости, что Васильев не мог им нарадоваться.

Иван стал бывать у Васильева дома, познакомился с его сестрой и ее мужем – художником рисовальной мастерской Прохоровской фабрики Михаилом Асоновичем Постниковым. Несмотря на разницу лет, Иван Вавилов сдружился с Постниковым, стал бывать и в его доме, подолгу беседовал с хозяином.

Художник, по имеющимся сведениям, талантливый, любил за

чаркой водки потолковать о жизни, и трудно сказать, что больше влекло Ивана в его дом – рассуждения о назначении человека, об искусстве, счастье, или прекрасные глаза его застенчивой дочери Александры.

В 1884 году Иван Ильич и Александра Михайловна обвенчались. Жениху был 21 год, невесте 18 лет.

Был ли то брак по любви или по коммерческому расчету?

Об этом можно только гадать.

Смышленый Иван Ильич брал в *расчет* то, что женитьба на племяннице Васильева упрочит его положение и может стать трамплином к дальнейшему продвижению. Вскоре он стал директором магазина Прохоровской мануфактуры, а затем и одним из директоров компании. В его руках была оптовая торговля фирмы. Дело требовало ума, таланта, инициативы, осторожности и вместе с тем умения рисковать.

Расцвет его деятельности совпал с бурным ростом спроса на продукцию «Товарищества Прохоровской мануфактуры» по всей России и за ее пределами. Но самому Товариществу перепадала лишь малая доля барышей. Большая часть оседала в карманах торговых посредников: они закупали ткани большими партиями по низким оптовым ценам, развозили их по свету и быстро обогащались.

Иван Ильич предложил избавиться от части посредников, для этого создать торговые отделения фирмы в разных городах и самим реализовывать продукцию. Отделения появились в Баку, Варшаве, Коканде. Затем Иван Ильич создал свою компанию: упоминавшийся Торговый дом «Братья Н. и А. Удаловы и И. Вавилов». Дальнейшее расширение своего дела он связывал с подраставшими сыновьями. Хотел выпестовать из них надежных помощников, чтобы стали они его главной опорой. Когда из этого ничего не вышло, он взял в компаньоны зятя – мужа старшей дочери Александры Ипатьевой. В товариществе «Удалов и Ипатьев» Иван Ильич

Вавилов был председателем правления, то есть первым лицом. Но брак Александры Ивановны оказался неудачным; после развода ее бывший муж из компании был удален.

Александра Михайловна родила семерых детей. Первые двое, Катя и Вася, умерли в младенчестве. В семилетием возрасте умер и последний ребенок, Илюша. Николай на всю жизнь запомнил три маленькие, всегда тщательно ухоженные могилки на Ваганьковском кладбище: по воскресеньям их посещала семья. Через сорок с лишним лет Сергей Иванович Вавилов писал в своем дневнике: «Вспоминаю похороны бабушки Домны. Поминки с кутьей и медом в доме около кладбища, потом грустные

похороны Илюши. Гиацинты, запах которых навсегда связался с его смертью»[9].

Еще в молодости Николая и Сергея там появилась могилка побольше. Черная оспа унесла их младшую сестру Лиду. Она была на шесть лет младше Николая и на два года младше Сергея. В семье она была всеобщей любимицей. Николай во многом направлял ее развитие, с ним она делилась своими первыми любовными переживаниями, вышла замуж за его друга Николая Павловича Макарова.

Лида оканчивала медицинский факультет, хотела стать врачом-микробиологом, мечтала о научной работе. Выделялась талантливостью и преданностью делу, ей предсказывали большое будущее. На практических занятиях в клинике она выхаживала пациентку, диагностировала у нее черную оспу. От нее и подхватила страшную болезнь.

Николай, вместе с матерью, не отходил от постели умирающей, принял ее последний вздох… На ее могиле поставили большой крест из черного мрамора. Долгие годы его бдительно охраняла набожная Александра Михайловна.

Старшая сестра Николая, Александра Ивановна Ипатьева, тоже стала ученым, врачом-микробиологом, доктором наук. Умерла 2 апреля 1940 года в Боткинской больнице, похоронили там же, на Ваганькове. Ее смерть и похороны оставили печальный след в дневнике Сергея Вавилова. В его памяти всплыла «комнатка в доме на Никольском, отгороженная ширмами, за ней она живет, гимназистка, учится аккуратно. Серебряная медаль. Классная дама. В 1905 г. женитьба. Святки. Ряженые. <…> Помню, ходили нанимать квартиру для молодоженов. <…> А.И. для многих оставила многое; классная дама, потом врач, потом тиф, малярия, бактериология, и семья. Была в ней могучая энергия и умерла она безжалостно рано». Об ее «энергии, воле работать во что бы то ни стало» говорили у ее гроба и коллеги по санитарному институту, в котором она работала[10].

Четверо детей, трое из них стали (и одна почти стала) учеными, хотя родители – по малой образованности и по всему складу жизни – к науке их не приохочивали. Было что-то в генах, перешедших к ним от матери или отца!

Через много-много лет, уже на закате собственной жизни, Сергей Иванович Вавилов оставит в дневнике такую запись о матери: «Я не знал другого человека, в такой степени отбросившего себя самого: постоянный труд. Помню старое время: лет 45 назад. Ходит часа в 4 утра с керосиновой лампой по дому, хозяйничает – для семьи, для других. Дети. Бог. Кладбище. Такое ясное и простое отношение к другим. Никогда никаких

пересудов, сплетен. Ее жизнь – непрестанный, всегдашний труд для других»[11].

Значит, у Николая Вавилова было безоблачное счастливое детство? Увы, не совсем так.

«Наша семья далека от нормальной», – кратко записал Николай в своем дневнике студенческих лет, и снова там же: «Ужасны были условия детства и отрочества»[12]. И десятилетием позже, в письме Е.И.Барулиной: «Я сам много видел плохого и в юности собирался не раз бежать из дома. Радости было немного». «Было немало плохого в детстве, юношестве. Семья, как обычно в торговой среде, жила несогласно, было тяжело иногда до крайности. Но всё это прошло так давно, мы отошли от этого и, по Пушкину, “не помня зла, за благо воздадим”. И как-то больше вспоминаешь хорошее, чем плохое»[13].

Итак, не помня зла, за благо воздадим!

В чем же благо?

В семье Вавиловых не докучали детям излишней опекой.

Иван Ильич был занят делами своей компании и общественными обязанностями. Два четырехлетних срока (1908–1916) он прослужил гласным Московской городской думы, в этом качестве оставил по себе добрую память. Вникать в повседневные семейные заботы было ему недосуг. А Александра Михайловна, без устали хлопотавшая по хозяйству, была строга, но в жизнь детей особенно не вмешивалась.

Пока дети были малы, их нянчила бывшая крепостная крестьянка Аксинья Семеновна – она постоянно жила у Вавиловых. Азбуке детей учила сама Александра Михайловна, потом их доучивали в частной начальной школе В.И.Войлошниковой, на Малой Грузинской улице. Здесь Николая, а затем Сергея, готовили к поступлению в коммерческое училище. По воскресеньям Николай прислуживал в церкви – такова была воля родителей. К обязанностям относился серьезно. И в Бога верил серьезно, всей душой.

В десять лет поступил в коммерческое училище. С каждым годом все больше привлекало его естествознание.

Когда брат немного подрос, Николай стал привлекать к своим опытам и его. Сергей Иванович вспоминал, как они вместе растили культуры микробов на агаре, в чашках Петри, их очень интересовало, как лягушки переносят зимнюю спячку, как уберегаются от мороза.

Один из химических опытов привел к серьезным последствиям, сильно повлиявшим на дальнейшую жизнь Николая Вавилова. Вместе с Сергеем он затеял добывание озона, который должен был образовываться при реакции

марганцовокислого калия с серной кислотой. Когда Николай плеснул серную кислоту на марганцовые кристаллики, произошел взрыв. Стеклянная колба разорвалась, осколки брызнули Николаю в лицо, тотчас оказавшееся в крови. Один осколочек угодил в правый глаз. Пришлось звать фельдшера из Прохоровской больницы. Внешнего следа от этой травмы не осталось, но глаз почти утратил зрение.

Николай Иванович не любил вспоминать об этом несчастном опыте, в его окружении о нем мало кто знал.

Известны два следствия этого происшествия. Николая Ивановича признали негодным к воинской службе, и в годы

Первой мировой войны он мог не прерывать научной работы. Второе следствие было менее благоприятным, возможно, роковым. В конце 1934 или в начале 1935 года, торопясь на какое-то заседание в Кремле, Вавилов быстро, своей стремительной походкой, шел по пустому коридору и неожиданно столкнулся со Сталиным. Тот шел навстречу, но Николай Иванович его не видел. Вождь отпрянул – с перекошенным от испуга лицом. Вавилов поздоровался, извинился, Сталин вроде бы понял, что столкновение произошло случайно. Но потом, во время заседания, Николай Иванович все время ощущал на себе тяжелый взгляд из президиума[14].

Вполне вероятно, что именно с этого момента отношение Сталина к Вавилову резко переменилось. Опала с годами усиливалась и привела к трагическому финалу. Такой цепочки причин и следствий никто предвидеть не мог.

5.

На улицах Пресни Николай и Сергей Вавиловы водили дружбу с мальчишками из рабочих семей. Дружба эта была сурова и требовательна. Уважения заслуживал тот, кто умел за себя постоять. Николай умел. За себя и за младшего брата. Сергей Иванович вспоминал: «С братом Колей жили дружно, но он был значительно старше и другого характера, чем я: смелый, решительный, “драчун”, постоянно встревавший в уличные драки»[15].

На пресненских улицах выковывался характер, с которым не мог совладать Иван Ильич, а впоследствии его не смогли переломить противники Николая Вавилова.

Первый небольшой домик, купленный Иваном Ильичом, располагался в Никольском переулке, напротив Николо-

Ваганьковской церкви. В нем подрастали дети. В их памяти навсегда остался густой вишневый сад, настолько разросшийся, что даже при ярком солнце в комнатах было сумрачно. В столовой в углу висела иконка, написанная дедушкой М.А.Постниковым. Перед ней мерцала лампадка: Александра Михайловна бдительно следила за тем, чтобы она никогда не гасла.

Домик на Никольской становился тесноват для растущего семейства, и когда позволили средства, Иван Ильич купил большой участок земли на Средней Пресне, где стояли три дома, не считая служебных построек: №№ 11, 13 и 15. Иван Ильич с женой, еще не женатым Сергеем и дочерью Лидой жил в доме № 13. В доме № 15 жила после развода Александра Ивановна Ипатьева с дочкой Татьяной и сыном Александром. В доме № 11, на углу Средней Пресни и Предтеченского переулка, обитала семья Николая.

После большевистского переворота Вавиловых «уплотнили».

Дом № 13 отобрали под детский сад, Александра Михайловна должна была переселиться к дочери Александре – в дом № 15. Там же нашлась комната для Сергея и его приятеля Геннадия Верховцева. Разместились все во втором этаже, а в первом этаже поселились некие Валуевы. Об этом упомянуто в воспоминаниях А.Н.Ипатьева, но нет ни слова о том, кто были эти люди.

В доме № 11, кроме Николая, его жены Кати и родившегося в 1918 году сына Олега, проживали некие А.А.Угрюмов, Е.А.Рубцова и М.П.Тарабаев – люди им совершенно чужие.

Дабы не были изъяты *все* «излишки» жилплощади, Николай Иванович приклеил к двери своей рабочей комнаты, заваленной материалами его экспедиций, табличку: «Московское отделение Отдела прикладной ботаники».

Сообщая об этой «дерзости» в Петроград Р.Э.Регелю, Вавилов пояснял: «Комната, “Московского отделения прикл. ботаники” имеет вид настоящего Бюро. Я хотел было тут даже специально написать Вам об этом, может быть, это беззаконие, а, м.б., нужно доверительную грамоту»[16].

Николай Иванович, до поздней ночи трудившийся в Петровке (то есть Московском сельскохозяйственном институте в Петровско-Разумовском), часто оставался там ночевать, а с сентября 1917 года, когда он переехал в Саратов, бывал в Москве только наездами.

Николаю Вавилову несомненно повезло в том, что отец отдал его в Московское коммерческое училище, хотя сам он был этим недоволен. Позднее, анализируя, что дала ему Петровка в сравнении со средней школой, он писал будущей жене Е.Н.Сахаровой:

«К той, кроме отвращения и досады за убитое время, мало добрых воспоминаний, и <…> последние относятся больше к среде кружковых товарищей и отдельным искрам на ночном фоне».

Столь негативная оценка объяснялась, видимо, тем, что для сравнения взята высшая школа, Петровка. Но если сравнивать коммерческое училище с гимназией или реальным училищем, то результат был бы иным.

В коммерческом училище не гнались за тем, чтобы дать детям «классическое» образование, основанное на древних языках и словесности. Здесь готовили *деловых* людей и давали знания, нужные для *дела.*

Для дела нужны были не мертвые языки, а живые: взамен латыни и древнегреческого напирали на немецкий, английский, французский. Для дела нужны были не риторика и чистописание, а понимание важнейших законов природы. Ботаника, зоология, минералогия, анатомия и физиология, химия, физика признавались не менее важными, чем Закон Божий.

В числе преподавателей коммерческого училища были профессора университета и вузов. Благодаря пожертвованиям купеческих обществ и частных лиц в училище были хорошо оборудованные кабинеты, имелись богатые коллекции минералов, растений, даже произведений искусства. На занятиях по некоторым предметам, например физиологии растений, демонстрировались сложные опыты – на уровне естественных отделений университета. Учителя поощряли воспитанников к самостоятельным занятиям, дабы они могли беспрепятственно развивать свои личные склонности. Как говорил профессор А.Н.Реформатский – один из ведущих преподавателей, задача школьного обучения в том, чтобы «дать обществу личность, творческое “я”».

Ученики писали рефераты на избранные ими самими темы. Проводились физико-химические вечера, воспитанники выступали на них с докладами. Проведению вечеров охотно помогали видные ученые: представляли диапозитивы, фотографии, приборы. Лекционный стол неизменно украшали бюсты Менделеева и Бутлерова, причем бюст Бутлерова был подарен училищу одним бывшим воспитанником – в знак признательности и благодарности. Для Николая Вавилова эти

вечера были праздником.

О том, какие нравы царили в коммерческом училище, свидетельствует запись в дневнике Сергея Вавилова от 9 января 1909 года об «ожесточенном споре», который возник у него с учителем на уроке Закона Божьего. Спор длился целый час. Сергей доказывал, что предложенная тема сочинения – «О логике и чуде» – абсурдна. Если чудо можно объяснить логически, то это уже не чудо. «Он меня чуть-чуть запутал, но, в конце концов, дело как будто обошлось, как и не было, как и всегда происходило»[17].

Учителем Закона Божия был Иван Алексеевич Артоболевский, будущий протоирей, профессор, видный деятель церкви. В коммерческом училище школьники могли свободно с ним спорить, высказывать еретические суждения, даже мелкие неприятности за это им не грозили.

В советское время И.А.Артоболевского будут арестовывать, судить, выпускать, ссылать. В 1938 году расстреляют на Бутовском полигоне.

7.

Не довольствуясь тем, что давало училище, Николай организовал кружок, который собирался у него дома. «В течение нескольких лет, – вспоминал С.И.Вавилов, – у нас дома, на Никольском переулке, в столовой, оклеенной обоями “под дуб”, с буфетом и часами с боем, собиралась группа товарищей Николая. Он, Г.Верховцев, М.М.Кормер, В.А.Филимонов, Ерофеев, Штамм и др. Читали они, “классиков”, например, всю трилогию А.К.Толстого, обсуждали, спорили»[18].

Позднее, подражая старшему брату, похожий кружок организовал и Сергей. «Диапазон вопросов был громадный: философия, литература, искусство и политика (правда, в очень умеренном виде) <…>. Но вывозить приходилось мне. Я писал рефераты о Толстом, Гоголе, Тютчеве, Махе, о декадентах, о самоубийствах как общественном явлении. Я писал, читал и говорил, остальные слушали»[19].

Мы вряд ли ошибемся, предположив, что и в кружке Николая наиболее активной, деятельной фигурой был сам Николай.

Конечно, в училище, коль скоро оно было *коммерческим*, преподавали немало ненужных будущему естествоиспытателю предметов – бухгалтерский учет, товароведение, законоведение и тому подобное. Ничего, кроме скуки, Николаю они навеять не могли. Воспоминание о них и вызывало «досаду за убитое время».

В ранних дневниковых записях Сергея Вавилова коммерческому училищу дается еще более резкая, да нет, просто уничтожающая характеристика. Однако в поздние годы, умудренный жизненным опытом, Сергей Иванович считал те юношеские оценки несправедливыми: «На самом деле эти восемь лет были огромного значения формирующим периодом»[20].

Если бы Николаю Ивановичу довелось прочесть эти строки, он бы согласился с младшим братом.

Училище каждый день открывало дверь в мир незнаемого, и Николай с радостью застегивал по утрам пуговицы щеголеватого форменного кителя, хотя формы не любил и потом, студентом, неизменно носил штатский костюм.

Он учился хорошо, но не стремился первым учеником: не считал нужным вызубривать на «пять» скучные для него предметы.

Его интересовало естествознание. Естественная история, как говорили тогда.

Преподаватели естественной истории – не все, но лучшие из них – стремились к тому, чтобы разные науки сливались в представлении учеников в единую *систему*.

У Николая вырабатывалось убеждение, что естественные науки способны играть в обществе важную, преобразующую роль.

Преобразовывать общество – это было ему по нутру! Таковы были идеалы российской интеллигенции с 1860-х годов, когда молодежь формировалась под воздействием страстных статей Писарева и Добролюбова, романа Чернышевского «Что делать?», поэзии Некрасова, сатиры Салтыкова-Щедрина, произведений не столь крупных, но близких им по духу писателей. От старших поколений к младшим переходило стремление преобразовать жизнь на основах науки и справедливости, противостоять произволу и невежеству. Жертвенное служение народу считалось нормой, а не чем-то исключительным.

Пока Николай учился в коммерческом училище, рос, взрослел, вокруг происходили события, которые никого не оставляли равнодушными. Смерть Александра III и воцарение Николая II… Торжества по случаю его коронации, увенчанные кровавой Ходынкой… «Мальчики, Николай и Сергей, видели, как доставляли пострадавших в расположенную рядом с домом Вавиловых Прохоровскую больницу и как провозили телеги, груженные жертвами “празднества”. Дети долго помнили запах разлагающихся тел. Позже, при каждом посещении Ваганьковского кладбища, Вавиловы проходили мимо большого обелиска, стилизованного под крест, на братской могиле жертв Ходынки»[21].

В ноябре 1904 года намечалось празднование 100-летия Московского коммерческого училища. Старшеклассники ждали его с особым нетерпением: был запланирован торжественный обед и праздничный бал. Но торжество заменили трауром: с Дальнего Востока пришла трагическая весть – о падении Порт-Артура и гибели русской эскадры в Цусимском проливе.

«Маленькая победоносная война» с Японией была затеяна царским правительством, дабы воодушевить массы и сплотить их вокруг шатавшегося трона. Таков был замысел. А получилось «как всегда». Маленькая война обернулась грандиозным поражением. Оно преумножило возмущение царским режимом. Через два месяца его многократно усилила весть о побоище в Петербурге, где мирная демонстрация рабочих, направившихся к царскому дворцу со смиренной петицией, была встречена картечью.

Кровавое воскресенье детонировало цепную реакцию.

Рабочие бастовали, выходили на улицу с красными флагами. Крестьяне требовали земли, жгли помещичьи усадьбы. Москву особенно всколыхнуло дерзкое убийство генерал-губернатора Сергея Александровича, великого князя, родного дяди царя. Кругом всё бурлило, воздух был наэлектризован.

О том, как воспринимали эти события сверстники Николая Вавилова, близкие ему по мироощущению, видно из дневника Екатерины Сахаровой. Через год ей предстояло познакомиться с Николаем Вавиловым, потом стать его невестой, женой. Дневник, который она вела в 1905 году, наполнен бурными переживаниями революционных событий, ожиданиями великих свершений. Царский манифест от 17 октября, которым народу «даровались» основные свободы (в Москве о нем стало известно на следующий день), вызвал в ней невероятный восторг. 20 октября Катя участвовала в народном шествии, в которое вылились похороны революционного трибуна Николая Баумана, убитого во время выступления на митинге, посвященном царскому манифесту. Вернувшись с похорон, она записала:

«Никогда не забудется это, а будет ярким воспоминанием. По улицам Москвы прошла заря, зарево великого восхода солнца социализма. Шло молодое и бодрое, шла молодая свободная Россия! Шли сознательные рабочие, больше 100.000. Соц. демократия провожала своего товарища и борца в могилу, он пал в день великой победы, и его смерть вызвала и показала все силы партии. У меня сейчас дух захватывает, когда я вспоминаю эту стотысячную могучую толпу с красными свободными знаменами и красными венками. Стройно шла толпа, и могучая песнь неслась над народом. <…> Рабочие, с которыми мы шли и пели – прошли вперед, за ними стройно, сильно и свободно шли

другие, лилась могучая песнь, прошел оркестр консерватории, играя Марсельезу, под черным и красным знаменем. “Борцу за свободу”, “Слава – павшим, живущим свобода!”, “Пролетарии всех стран, соединяйтесь”, “Да здравствует Вооруженное восстание и Учредительное собрание!”, “Всеобщая, тайная, равная подача голосов”, “Рос. соц. дем. рабочая партия” – всё это и еще многое другое было написано большими буквами на красных знаменах <…> это было велико и прекрасно, могуче и свободно»[22].

Сергей Вавилов вспоминал, что он тоже участвовал в этой грандиозной похоронно-революционной процессии. Ему было 14 лет. Трудно, да просто невозможно представить, что рядом с ним не было 18-летнего брата.

В первых числах декабря 1905 года Вавиловы переехали в новый дом. Новоселье праздновали 6 декабря, в день именин Николая. А 7 декабря в Москве началась всеобщая забастовка, которая переросла в вооруженное восстание. Рабочие Пресни из подручных материалов строили баррикады, на одну из них разобрали забор, отгораживавший двор и сад Вавиловых.

Вопреки ожиданиям руководителей восстания, страна его не поддержала. Манифест 17 октября легализовал политические партии, амнистировал политзаключенных, университеты получили автономию, была ликвидирована предварительная цензура печати, объявлено о выборах в Государственную думу. Значительная часть целей революции была достигнута, дальнейшее ее развитие захлебнулось. С этим не хотели мириться большевики, анархисты, максималисты. Они и подбили рабочих Москвы на вооруженное выступление.

По Пресне и по всей Москве гремела артиллерийская канонада. Снаряд разорвался во дворе вавиловского дома – как раз в тот момент, когда хозяйка вышла на улицу. Смертоносный осколок просвистел у виска, едва ее не зацепив. Александра Михайловна подобрала его – еще горячим, принесла в дом. Сорок лет спустя Сергей Иванович Вавилов обнаружил этот зазубренный осколок среди старых семейных вещичек, сохранившихся со времен его детства…

Восстание подавлено, в Москве началась вакханалия расправ. У Горбатого моста Николай Вавилов попал под обстрел, спасался бегством.

О том, что Николай Вавилов не остался в стороне от революционных идей и событий той турбулентной эпохи, говорит его письмо от 7 июля 1934 года знаменитому народовольцу Николаю Александровичу Морозову: Николай Иванович

поздравил его с 80-летием.

Морозов участвовал в подготовке покушений на Александра II, был приговорен к пожизненному заключению. В казематах Петропавловской и Шлиссельбургской крепостей провел 25 лет. Там бы и кончил свои дни, если бы не амнистия 1905 года.

Режим одиночного заключения был необычайно суров. Жизненное пространство ограничивалось полутемной клетушкой, сырой и холодной, с заплесневелыми стенами. Скудная тюремная пища обрекала на полуголодное существование. Сырость и отсутствие солнца скоро сделали свое дело: у узника диагностировали чахотку – болезнь в те времена неизлечимую.

Но неукротимая воля к жизни одолела палочку Коха. Потрясенные врачи должны были засвидетельствовать чудо: смертельная болезнь отступила.

То был первый, но далеко не последний подвиг заживо похороненного узника.

На прогулки его не выводили, единственное, в чем не ограничивали, так это в чтении и бумагомарании. Он набросился на книги, освоил дюжину языков, стал «подковываться» в разных областях знаний, перерабатывал их в себе, соединял несоединимое и давая волю буйной, почти безграничной фантазии. При свете чадящей коптилки он написал множество работ по химии, физике, математике, астрономии, философии, авиации, мировой истории, политэкономии, книгу воспоминаний, сотни стихов.

В весьма курьезном многотомном сочинении «Христос» Морозов сопоставил библейские сказания с данными астрономии и вдвое укоротил письменную историю человечества.

Потом, когда его труды были опубликованы, публика не уставала восхищаться легкостью его языка и смелостью мысли. Что же до сути его открытий, то у специалистов они вызывали снисходительные ухмылки.

«Вы соединили в себе героя-революционера с талантами поэта, писателя и вдохновенного ученого, – писал Н.И.Вавилов почтенному юбиляру. – Многие из нас – и в том числе нижеподписавшийся – зачитывались Вашими книгами, учили наизусть Ваши стихи. Вы были для нас примером служения революции и науке».

«Особенно тронули Вы меня тем, что даже заучивали когда-то мои стихи. А я думал, что уже никто их не помнит», – писал в ответ растроганный Морозов.

Его стихам нельзя отказать в искренности выражаемых чувств:

Догорает свеча, догорает,
А другого светильника нет!
Пусть мой труд остановки не знает,
Пока длится мерцающий свет!
Пусть от дремы, усталости, скуки
Ни на миг не потускнет мой взгляд,
Пусть мой ум, мое сердце и руки
Сделать всё, что возможно, спешат.
Чтоб во сне меня мысль утешала,
Что последняя вспышка огня,
Угасая во мраке, застала
За работой полезной меня!

Таково наиболее известное и, вероятно, самое выразительное стихотворение Н.А.Морозова. Скорее всего, именно эти строки заучивал Николай Вавилов.

Революционные идеи его увлекали так же, как Екатерину Сахарову. А вот от революционной *деятельности* он был еще более далек, чем она. С тем большим рвением он стремился «к полезной работе», помогающей «преобразовывать общество». Не случайно Иван Ильич, желая склонить сына к коммерческой деятельности, советовал нанятому магистру напирать на *пользу для общества* коммерции и промышленности.

А Морозову суждена была долгая жизнь. Он пережил Николая Вавилова, пережил Вторую мировую войну и тихо скончался в своем родовом имении Борок в возрасте 92 лет. Имение советская власть за ним сохранила во уважение к революционным заслугам.

В августе 1947 года дом-музей Н.А.Морозова в селе Борок посетил президент Академии наук СССР Сергей Иванович Вавилов. В дневнике записал:

«Маленький дом Н.А.Морозова с “фонариком”, завешенным картинками лунной поверхности, газетами с солнечным затмением, старыми фотографиями, полки с книжками, еврейским словарем и другими морозовскими аксессуарами. Могила Н.А. Окно в прошлое. Завидно этой жизни “философа” среди природы, берез, елей, сов, волков, недавно разорвавших какого-то “Шарика”, лосей. Хочется спрятаться сюда с книгами, лабораторией, и незаметно исчезнуть в лесу, как умер Н.А.»[23].

8.

Основание высшей сельскохозяйственной школы в России

тесно связано с эпохой Великих реформ Александра II и, прежде всего, с отменой крепостного права. Царский манифест об освобождении крестьян был объявлен 19 февраля 1861 года, а еще в январе казна приобрела за 250 тысяч рублей имение Петровско-Разумовское с великолепным липовым парком, каскадом прудов и угодьями. К 1865 году были возведены основные здания и постройки *Петровской сельскохозяйственной и лесной академии.* На кафедры пригласили лучших профессоров, стали принимать слушателей.

Срок обучения установили трехлетним, но можно было учиться и меньше, и больше – хоть до седых волос. Плата взималась невысокая. Вступительных экзаменов не было, переводных и выпускных – тоже. Аттестата зрелости не требовалось. Учащиеся могли прослушать полный курс, а могли изучать отдельные предметы, которые их интересовали. Только желающие получить степень кандидата должны были сдать экзамены в удобное для них время, по договоренности с профессорами.

Создавая академию на таких вольных началах, власти стремились открыть доступ к агрономическим знаниям всем желающим. Для сословного государства это было смелое начинание.

Вместе с вольными порядками в тенистом Разумовском парке воцарился вольный дух. Изгнать его оказалось много сложнее, нежели изменить порядки. Академия стала рассадником смуты и недовольства.

Чего только не предпринимали власти, чтобы угомонить петровско-разумовскую молодежь! Вольный устав заменили жестким. *Слушателей* превратили в *студентов*; над ними учредили надзор. Ввели обязательные вступительные, переводные и выпускные экзамены. Повышали плату за обучение, чтобы закрыть доступ «кухаркиным детям». Курс обучения увеличили до четырех лет, а время пребывания в Академии ограничили шестью годами, дабы оградить молодежь от тлетворного влияния «вечных» студентов.

Все эти меры помогали плохо. Студентом Петровской академии был Иван Иванов, член подпольной организации Сергея Нечаева «Народная расправа». В Петровско-Разумовском парке есть грот, в котором Нечаев и его сообщники укокошили Иванова, заподозрив его в предательстве. На скандальном процессе нечаевцев судили и нескольких студентов Петровки.

Большой шум вызвали студенческие волнения середины 1870-х годов. Ведущую роль в них играл Владимир Короленко, за что был исключен из Академии.

Всё новые и новые эксцессы побудили власти закрыть Академию. Но без высшей сельскохозяйственной школы Россия уже не могла обойтись. Как только последние студенты Академии получили дипломы, на первый курс снова приняли молодежь – теперь уже в Московский сельскохозяйственный институт. Расчет состоял в том, чтобы прервать передаваемую студентами традицию непокорства. Заодно появился предлог избавиться от неугодных профессоров, таких как К.А.Тимирязев, который «на казенный счет изгонял Бога из природы», как доносила на него газета князя В.П.Мещерского «Гражданин». Уволить ученого, широко известного в России и в Европе, – значило вызвать скандал. Иное дело – *не пригласить* в «новое» учебное заведение.

Хитроумные комбинации не помогли. Вместе с тенистым парком, каскадом прудов и постройками Московский сельскохозяйственный институт унаследовал от бывшей Петровской академии ее вольный дух. В 1905 году в Петровку съезжалась революционная молодежь всей Москвы. Здесь устраивались сходки, митинги, собрания, звучали революционные речи и песни; в Петровско-Разумовском парке студенты упражнялись в стрельбе. Казаки, посылаемые для усмирения генерал-губернатором Дубасовым, нагайками разгоняли студенческие сходки.

Однако Николай Вавилов поступил в Петровку в 1906-м, когда разбушевавшаяся стихия уже успокаивалась. Он с головой ушел в учебу, готовя себя к деятельности «на пользу для общества».

Петровка

1.

Почему он выбрал Петровку? Об этом есть два разных свидетельства самого Вавилова. Первое широко известно. Оно было опубликовано, и на него не раз ссылались авторы его биографических очерков.

…Николай стремительно рос, и ему становилось тесно в просторных классах коммерческого училища. С последним звонком он стремительно выбегал из великолепного, с парадными колоннами, здания на Остоженке, вскакивал в пролетку и мчался в Политехнический музей. Здесь перед широкой публикой выступали видные ученые.

Особенно популярны были лекции профессора Н.Н.Худякова. «Задачи науки, ее цели, ее содержание редко выражались с таким блеском, – вспоминал через много лет Вавилов. – Основы бактериологии, физиологии растений превращались в философию бытия. Блестящие опыты дополняли чары слов. И стар и млад заслушивались этими лекциями».

Николай Николаевич Худяков возглавлял две кафедры в Московском сельскохозяйственном институте, туда он настойчиво звал молодежь.

«Горячую пропаганду за Петровскую академию, – вспоминал далее Вавилов, – вели Я.Я.Никитинский-старший и С.Ф.Нагибин – наши учителя в средней школе. Лекции Н.Н.Худякова, незабываемая первая экскурсия с ним в Разумовское, агитация Я.Я.Никитинского решили выбор».

Казалось бы, всё ясно.

Но в одном из писем Николая Ивановича есть такие строки: «Хорошо помню состояние “без руля и без ветрил”. Случайная волна хаотических вероятностей забросила в Петровку – по-видимому, счастливая случайность».

Так продуманный выбор или случайность?

Какому из двух свидетельств верить?

Я склонен верить обоим.

Вполне *сознательно* выбрав Петровку, Николай не мог отделаться от мысли, что выбор во многом случаен. Не оправдан логической необходимостью. Лекторский дар профессора Худякова – какая малость для определения своей судьбы!

Конный трамвай уже увозил его в Разумовское – не на экскурсию, не для сдачи вступительных экзаменов – на первые

занятия! А он чувствовал себя Робинзоном, который скоро очнется на необитаемом острове. И опасался, что не найдет на нем всего нужного для своей алчущей мысли. Или что кухня окажется слишком однообразной и скоро опостылеет ему. Мог ли он знать, что выбор пути для него только начинается? Что пройден лишь первый перекресток, а впереди их много. Словом, мог ли он знать, что ждет его впереди?..

2.

Правда, он знал, с чего начнет, а это уже было немало.

Он словно видел перед собой долговязую фигуру профессора Худякова. Его одухотворенное лицо. Всклокоченную клиновидную бородку. Большой выпуклый лоб, кажущийся еще большим благодаря отступившим куда-то к середине головы волосам. Большие глаза, кажущиеся еще большими за толстыми стеклами очков…

Таким запомнился ему Худяков на кафедре в Политехническом.

И теперь Николай должен был сказать Худякову, что он, студент первого курса, решил начать с физиологии растений. Он знает, что физиологию полагается изучать после химии и ботаники. Но он основательно знает химию и неплохо знает ботанику. Если профессор сомневается, он готов к экзамену.

Худяков его выслушал.

Благосклонно!

Если студент хочет – пусть пробует! Худяков сам был дерзок, ему нравилась дерзость новичка.

И уже в следующие дни Николай, замирая от восторга, следил, как профессор, словно трагедийный актер, мечется по кафедре, размахивая огромными ручищами с длинными нервными пальцами. Восхищался тонкой игрой его мысли. Хохотал, когда профессор, с удивительной легкостью спускаясь с высот, вставлял вдруг пару ироничных замечаний о ветхости лабораторного реквизита:

– Нет-нет, не смотрите так на эти пробирки, от пристального взгляда они рассыпаются!..

Профессор Худяков опубликовал немного научных работ. Но это результат не бесплодия ученого, а скорее его одержимости. Замыслы у него постоянно опережали темпы экспериментов. Разобравшись в увлекшей его проблеме, он тут же набрасывался на новую. А доведение, подготовку работы к печати откладывал

на потом, и это *потом* часто превращалось в *никогда*.

Трудно сказать, как много потеряла наука от этого его качества.

Трудно сказать, как много приобрела.

Одержимая устремленность к истине, беспощадным суховеем выжигавшая плоды его собственных исследований, оборачивалась благодатным ливнем, когда профессор Худяков поднимался на кафедру.

Он видел в студентах не школяров, которых он призван поучать, а умных и дельных, хотя и малоопытных, помощников. Он не столько излагал, сколько обсуждал с ними научные проблемы. Лекции его были скорее диалогами с аудиторией, нежели непрерывающимися монологами.

Начатые на лекциях обсуждения он продолжал вечерами в более узком кругу, когда ближайшие ученики собирались у него «на чай».

Физиология растений увлекла Вавилова, и вскоре он успешно сдал Николаю Николаевичу Худякову экзамен – свой первый экзамен в Петровке!

Вслед за физиологией Вавилов начал изучать бактериологию. Часами не отрывал единственный видящий глаз от микроскопа, и скоро, по собственному признанию, уже чувствовал себя «маленьким бактериологом»: кафедрой бактериологии руководил тот же профессор Худяков.

Что могло быть лучше, чем чувствовать себя худяковцем?! Что могло быть более важным, чем стремление доказать профессору, что не зря он принял первокурсника в свой ближний круг? Что могло быть заманчивее, чем видеть себя – в пугающе-дерзостных мечтах – продолжателем дела профессора?

И вдруг произошел разрыв.

Для него самого, вероятно, неожиданный, а для нас – загадочный.

Позднее Вавилов вынесет профессору Худякову суровый и, по-видимому, несправедливый приговор. Разочарование было полным и внезапным.

Не потому ли, что Вавилов однажды понял: не всегда за фейерверком идей профессора Худякова стоит объективная реальность природы.

3.

Не менее увлеченным и увлекающим, но совсем на другой манер, был профессор Алексей Федорович Фортунатов –

заведующий кафедрой сельскохозяйственной экономики и статистики. То и другое он понимал широко и комплексно: сюда входила и география сельскохозяйственных культур, и законоведение, и политэкономия, и всё, что так или иначе связано с сельскохозяйственным производством.

Фортунатов не сразу нашел себя и свое место в жизни. Окончив гимназию с золотой медалью, он поступил на историко-филологический факультет Московского университета. Еще первокурсником подготовил пять научных работ по римской истории: о Катоне Старшем, о хлебных запасах в Сицилии, об основании Рима, о происхождении религий. Параллельно зачитывался произведениями Герцена, Чернышевского, проштудировал «Капитал» Маркса и заразился его идеями. После второго курса Фортунатов бросил Московский университет и стал студентом Петербургской медико-хирургической академии. Еще через три года он снова в Москве: поступает на третий курс Петровской сельхозакадемии.

За два года учебы в Петровке Фортунатов успел принять активное участие в экспедициях по статистическому обследованию сельского хозяйства Екатеринославской губернии и двух уездов Московской губернии. Эти путешествия дали материал для обобщающих публикаций. Дипломную работу он посвятил земледелию Соединенных Штатов Северной Америки. Успешно ее защитил и был удостоен степени кандидата сельхознаук (1882 г.). Затем он вернулся в Петербург и окончил учебу в Медико-хирургической академии. Имея два диплома – агронома и врача, он решил отправиться на Кубань, в артель-колонию «осевших на земле» интеллигентов, стремившихся на практике воплотить идеалы сельскохозяйственного социализма.

Но до Кубани Фортунатов не доехал. Тимирязев, Стебут и другие профессора Петровки убедили его, что закапывать в землю исследовательский талант, каким его наделила природа, даже в плодородную землю Кубани, недопустимо.

Он стал доцентом, позднее профессором Петровской земледельческой академии. Проработал в ней до 1894 года, когда власти ее ликвидировали как рассадник революционной смуты.

В Петровку Фортунатов смог вернуться только через 8 лет. За эти годы он успел поработать профессором Новоалександрийского института, Киевского политехникума, Коммерческого института, университета имени А.Л.Шанявского, Высших женских (Голицынских) сельскохозяйственных курсов, Высшего технического училища. Часто совмещал работу в двух-трех учебных заведениях. Но сердце его принадлежало Петровке. Он воспевал ее в стихах, хотя и не столь ярких, как его научные

публикации, всегда новаторские. Стихи были традиционны и сентиментальны, но они передают его романтическую влюбленность в Петровку:

Вы знаете ли край, где Жабёнка течет
И в Лихоборку сонную впадает,
Где не цветет лимон, и мирта не растет,
И горделивый лавр ветвей не поднимает,
Но где так много выросло умов,
Где расцвели столь многие мечтанья,
Откуда разнеслись по тысячам домов
Живые семена осмысленных основ
Агрономического знанья?

Лекции Фортунатова открыли студенту Вавилову широкие горизонты. Он стал понимать, как научная агрономия связана с физической и экономической географией возделываемых растений, с особенностью почв, климата, плотностью населения, его трудовыми навыками, традициями, уровнем образования.

Фортунатов только начал разбираться в том, какие культуры возделываются в разных губерниях и на каких площадях, какие они дают урожаи, сколь эти урожаи устойчивы. В одних местностях преобладает рожь, в других пшеница, в третьих бобовые культуры, в четвертых садовые, огородные… Такое распределение культур сложилось стихийно, но насколько оно рационально, экономически выгодно, научно оправдано? Исследование этих вопросов только начиналось.

Фортунатов подчеркивал, что Россия – страна с самыми обширными сельскохозяйственными угодьями и самыми низкими урожаями. Отсюда беспросветная нужда огромных масс населения. Изменить это можно усилиями тысяч агрономов-практиков и множества ученых. Их и выпускала Петровка, но для такой обширной страны их было ничтожно мало. Впереди – для каждого! – непочатый край работы…

4.

Словом, лекции Фортунатова были захватывающе интересными. Но Николай Вавилов чувствовал: землевладение и землепользование, организация сельскохозяйственного производства и весь клубок сопутствующих проблем – не его стезя. Его тянуло к себе само возделываемое растение. Как, откуда берется это чудо, столь привычное для всех нас, что мы

нисколько ему не удивляемся? Тут есть над чем задуматься, чему удивиться и чем восхититься!

Загадку происхождения сельскохозяйственных культур разгадал Чарльз Дарвин. Он понял и показал, что они произошли от диких сородичей благодаря искусственному отбору. В древности культурных растений не было, первобытный человек довольствовался *собиранием* плодов и клубней. Со временем ему этого стало мало. Он стал высевать семена дичков, ухаживать за саженцами, чтобы вырастить какой-никакой урожай. Часть выращенных семян он сохранял до следующего сезона и снова высевал. Незаметно и совершенно несознательно он *отбирал* для посева лучшие семена – в надежде, что они принесут большие урожаи. Если природа вела отбор на выживаемость растений в диких условиях, то человек создавал искусственные условия и отбирал те растения и семена, что приносили ему больше пользы в этих условиях. Благодаря искусственному отбору культурные растения по своим свойствам все дальше отдалялись от диких родичей, обособлялись от них, становились культурными видами. Так совершалось чудо творения. Но это – в общих чертах. А как конкретно происходит формообразование культурных видов, разновидностей, сортов? Если познать эти процессы, то ими, вероятно, можно будет управлять! То есть стать творцом новых, невиданных форм, нужных и полезных человеку!

5.

Параллельно с лекциями Фортунатова Вавилов посещал лекции Дмитрия Николаевича Прянишникова. Сперва, может быть, лишь затем, чтобы сдать экзамен по агрохимии и заполнить пустующую графу в зачетке. Очень уж не похожи были лекции Прянишникова на лекции Худякова и Фортунатова! Тихий, бесстрастный голос. Бесконечные ссылки на опыты. И детальные объяснения, как их проводить.

Но Николай начинал ловить себя на том, что с интересом вслушивается в слова Прянишникова. В детальном описании техники экспериментов была необъяснимая притягательность.

Он начал работать в лаборатории Прянишникова. В его вегетационном домике, который перешел к Дмитрию Николаевичу от Климента Аркадьевича Тимирязева. Прянишников вел здесь исследования питания растений.

В этом застекленном помещении в непогоду укрывали сосуды с растениями. В хорошие дни их выкатывали по рельсам на воздух, если же погода портилась, давали команду: «Под

стекло!» – и служители вкатывали их под прозрачную крышу.

Здесь ставил первые самостоятельные опыты и студент Вавилов.

Растения высаживали в сосуды с кварцевым песком, очищенным от всяких примесей. Песок до этого промывали сильной соляной кислотой, а потом отмывали водой от остатков кислоты: сперва простой, а затем дистиллированной. Чистый песок, без каких-либо питательных веществ, был нужен для точного опыта. Питательные вещества вносили потом, в строго отмеренных количествах. Дмитрий Николаевич всё просто объяснил. Лишь точно зная, какие вещества и в каком количестве внесены, можно выяснить роль каждого из них для роста и развития растения. Если, скажем, в несколько сосудов с песком внести одинаковое количество калия, азота и разное количество фосфора, то можно будет с уверенностью утверждать, что неодинаковое развитие растений вызвано именно недостатком или избытком фосфора.

Николай строго выдерживает методику: намачивает семена в дистиллированной воде, проращивает их на мокром песке и уже наклюнувшимися переносит в сосуд с песком, в который добавлены строго отмеренные питательные вещества. Ждет всходов. Каждую неделю фиксирует в журнале изменения в росте и развитии растений. Так изучался язык точного опыта. Он не казался Вавилову однообразным и скучным.

Но наиболее существенное, что взял Вавилов у Прянишникова, это не методика экспериментирования: впоследствии он занимался другими проблемами, требовавшими иной методики. Главным его приобретением стало глубокое убеждение, что точный опыт – это единственный язык, на котором можно общаться с природой, то есть ставить ей вопросы и получать от нее ответы. Другого языка для этого нет!

6.

Их встречи становятся все более частыми, переносятся на квартиру Дмитрия Николаевича. Здесь Вавилова ждала беседа не столь бурная и оживленная, как у Николая Николаевича Худякова или Алексея Федоровича Фортунатова, зато более проникновенная и задушевная. А чай у Дмитрия Николаевича, заваренный на сибирский манер, был не менее крепок и ароматен.

В Прянишникове, тогда стройном и сравнительно молодом, Николая Вавилова подкупала светлая вера в науку, в ее

безграничные возможности.

Дмитрий Николаевич воспринял эту веру от своего учителя Климента Аркадьевича Тимирязева.

Приехав учиться в Москву из далекого сибирского городка Иркутска, Прянишников поначалу не помышлял о научной карьере. Она представлялась ему, как многим молодым людям его поколения, слишком оторванной от запросов реальной жизни. Но профессор Тимирязев, обожаемый студентами, горячо убеждал их в том, что на научном поприще можно принести не меньше пользы народу, чем в практической деятельности. Пламенные проповеди Тимирязева определили судьбу Дмитрия Прянишникова, и он стремился внушить ту же веру своим ученикам.

Для Николая Вавилова это было особенно важно.

Его влекли пути познания, но уверенности в том, что он *имеет право* на это, у него не было, и она не скоро в нем утвердится. В мечтах он порой видел себя на кафедре окруженным *своими* учениками. Надеялся, что лекции его будут так же увлекательны, как лекции Худякова и Фортунатова, и так же обоснованы данными опытов, как у Прянишникова. Так читал Тимирязев, о котором много рассказывали в Петровке, да и сам Николай не раз уже слушал его в университете и в Политехническом музее.

Но сравнение себя с Тимирязевым должно было его отрезвлять. И в следующие минуты он, вероятно, уличал себя в заносчивости и мелком тщеславии. В том, что не наука нужна ему, а кафедра. Что не исследовать он мечтает, а блистать. И не признается себе в этом из трусости перед самим собой… Чем он заслужил *право* заниматься наукой? Не больше ли будет толку, если он станет простым агрономом в каком-нибудь дальнем уезде и будет учить крестьян выращивать лучшие урожаи на их скудной землице?..

Как же близки и необходимы были ему мысли Дмитрия Николаевича о полезности «чистой» науки для народа и общества! В беседах с Прянишниковым прояснялись не только научные проблемы, но и этические. Для студента Николая Вавилова это было не менее – даже во много раз более! – важно. Это тоже был перекресток.

А вскоре перед ним оказался еще один. Тот, на котором он разошелся с Дмитрием Николаевичем. Нет, разрыва не было. Учитель и ученик, они всю жизнь бережно хранили свою дружбу. Через много лет, когда над Вавиловым разразится беда, никто не приложит столько усилий к тому, чтобы спасти, выручить его, как состарившийся Прянишников, ни на йоту не утративший

мужества и благородства…

Почему же студент Вавилов не захотел посвятить себя исследованиям питания растений, которыми столь успешно занимался его учитель? Не потому ли, что дорога, по которой неторопливо и планомерно шел Прянишников, была уже проторенной, тогда как его влекли нехоженые тропы.

Наверное, он промучился не одну ночь, прежде чем объявил учителю о своей «измене». А может быть, Прянишников сам благословил его. Увидел, что *этому* студенту следует не продолжать начатое, а начинать сначала! Прянишников позднее скажет: «Николай Иванович – гений. Мы не сознаем этого, потому что мы его современники».

7.

И еще перекрестки…

На кафедре С.И.Ростовцева Вавилов увлекся изучением болезней растений, составил гербарий паразитических грибов.

А осенью 1909 года будущий растениевод вдруг стал зоологом. Профессор Н.М.Кулагин, откликаясь на просьбу Московского губернского земства, задумал силою студентов исследовать образ жизни голых слизней (улиток) и испытать различные средства борьбы с этими вредителями сельскохозяйственных угодий. На его предложение откликнулся Николай Вавилов. Наблюдения он проводил в деревне Степаньково Троицкой волости, в имении некоего помещика Фишера. Работу засчитали ему как дипломную и издали отдельной книгой. Музей прикладных знаний присудил автору премию имени основателя музея – заслуженного профессора зоологии А.П.Богданова. Представляя его на премию, профессора Кулагин, Вильямс и Кожевников писали: «Рассматривая вопрос о причинах массового появления слизней, г. Вавилов ставит его в связь с метеорологическими и почвенными условиями Московской губернии и дает в этом отношении небезынтересные данные. Наиболее подробно г. Вавилов излагает главу о мерах борьбы со слизняками. Меры борьбы он делит на предупредительные и истребительные. Для выяснения наиболее практичной меры он ставит ряд опытов и на основании этих данных делает указание мер наиболее пригодных. Вообще в вышеуказанной работе г. Вавилов обнаружил умение вести научные наблюдения, пользоваться литературой и дал некоторые практические указания по борьбе со слизнями»[24].

Немало для недоучившегося студента!

Но и профессор Кулагин не увлек его за собой.
Никто не увлек…

Теперь уже немного, совсем немного осталось до того дня, когда Николай напишет: «Петровке предъявляю одно лишь серьезное обвинение. В Петровке была милая, хорошая общественная среда, были недурные научные работники, но в ней не было огня научной мысли, мысли зажигающей и увлекающей за собой. Была недурная учеба, но кипучей работы научной мысли, синтеза – я не ощутил. Были блестки, вроде Худякова, быстро гаснущие, была скромная внутренняя работа, несомненно талантливая, вроде Демьянова, Прянишникова, Самойлова, Нестерова[25] и присных, но это был стук в дверь храма науки, как про себя на юбилее сказал Алексей Федорович [Фортунатов]; эта работа была увлекательной для самих работников, но не для нас – наблюдателей и посетителей лабораторий. А когда-то этот огонь горел в лице Федорова[26], Тимирязева. Ныне его не ощущали. Это страшно обидно. Не было огня, который бы зажег. Вот кое-что из того, что вертится в мозгу. Может быть, этого не следовало бы писать – я, право, не знаю».

Да, этого писать не следовало. Такие профессора, как Н.Я.Демьянов, Я.В.Самойлов, Н.С.Нестеров, Н.Н.Худяков, А.Ф.Фортунатов и, конечно же, Д.Н.Прянишников, были учеными высокого класса. Каждый создал свое направление в науке, свою школу, воспитал сотни учеников. Вавилов и сам понимал неосновательность своих упреков – потому и вставил столько оговорок. Через много лет он скажет о Прянишникове: «Возьмите школу Прянишникова, возьмите практику работы студенчества, которой так правильно руководил Прянишников <…>. Его руководство признано самым лучшим, по нему учится всё студенчество мира, он имел десятки студентов, он умел руководить, подводить к опытному делу, к вегетационному домику, и результаты этой работы, сама система дисциплинировала людей и заставляла людей чувствовать, что они науку творят».

Эти слова вызывают больше доверия. Они принадлежат не вчерашнему студенту, а ученому с мировым именем. И умудренному годами человеку.

Тогда же, в 1911-м, он был еще очень молод и склонен к максималистским суждениям.

Зато максимализм высказываний молодого Вавилова позволяет ощутить, каков был его личный настрой. Его не смогли *зажечь* ни Худяков, ни Фортунатов, ни Прянишников, ни кто-либо другой из профессоров Петровки. Значит ли это, что он был

создан из особо стойкого к воспламенению материала? Если бы так, то откуда взволнованная перепутанность тех же самых строк?! И откуда слова одного наблюдавшего за ним профессора:

– Впервые вижу, чтобы науку делали с пеной у рта.

Его упреки – результат психологического самообмана. Он не ощущал «огня научной мысли, зажигающей и увлекающей за собой», потому что и без того горел ярким пламенем! Самовозгорелся, попав в насыщенную кислородом атмосферу научных исканий Петровки, потому и не воспламенял его окружающий огонь.

8.

До революции 1905 года независимые студенческие организации, кроме землячеств, были запрещены. Под напором революционной волны властям пришлось ввести более либеральный университетский устав, высшим учебным заведениям представлялась широкая автономия. В частности, разрешалось создавать любые студенческие общества неполитического характера.

Весной 1907 года – Николай Вавилов еще на первом курсе – в Петровке создается сеть студенческих обществ и кружков – более двух десятков.

Николай Вавилов вступил в Кружок любителей естествознания и первым делом «пожертвовал» (то есть подарил) кружку самое дорогое, что у него было: коллекцию портретов крупных ученых, которую он любовно собирал. То были портреты Сеченова, Менделеева, Мечникова, Пастера, Тимирязева…

В организации кружка, в выработке его устава, направления работы Николай Вавилов играл активную роль и был избран товарищем (заместителем) председателя.

Краткие отчеты Кружка любителей естествознания публиковались в ежегодных отчетах Института – редкая честь, которую с ним разделял еще только один кружок: любителей опытной агрономии.

В первом отчете читаем: «Умение видеть и понимать природу, приобретение навыков для естественно-исторических исследований – таковы скромные стремления кружка. Самостоятельные работы, экскурсии под руководством опытных натуралистов – средства для достижения цели».

Кружок создавался всерьез и надолго. Предусмотрены и цели, и средства, и привлечение опытных натуралистов.

Через два года задачи кружка конкретизируются, они

расписаны по пунктам, пункт 3 гласит: «Развитие самостоятельных работ в той или иной области естественнонаучного мышления». И тут же оговорка: «По существу эта цель должна быть первой в очереди, и лишь по многопредметности и обязательности занятий в институте она попадает на третье место».

Что и говорить, не каждый способен вести самостоятельные научные исследования и при этом не отставать от учебного плана!

В первый год существования кружка Николай Вавилов, вместе с двумя студентами старших курсов, подготовил доклад «Генеалогия растительного царства», обнаружив интерес к самым коренным проблемам науки о жизни: наследственности, изменчивости, видообразованию, эволюции. Кстати заметим, что эти вопросы постоянно находились в центре внимания кружковцев. Так, когда в августе 1910 года в Москве была открыта Пятая выставка садоводства, плодоводства, огородничества и виноделия, в числе экспонатов Кружка любителей естествознания были представлены тщательно оформленные таблицы, иллюстрирующие законы Менделя.

Можно не сомневаться, что в их составлении Николай Вавилов принимал самое активное, вероятно, ведущее участие. На той же выставке была представлена собранная им коллекция паразитических грибов. Экспонаты кружка – всего их было шесть – удостоились Большой серебряной медали.

Годом раньше Вавилов выступил с другим мировоззренческим докладом: «Дарвинизм и экспериментальная морфология». Он был заслушан на торжественном заседании, посвященном столетию со дня рождения Дарвина.

На том же заседании профессор Н.М.Кулагин выступил с обзором «Зоология после Дарвина», а руководитель Селекционной станции Д.Л.Рудзинский – с сообщением «Дарвинизм и искусственный отбор». Выразителен сам факт, что доклад студента был включен в программу вечера наряду с докладами маститых ученых.

Вечер, посвященный Дарвину, состоялся в феврале 1909 года, а предыдущим летом Николай Вавилов с небольшой группой кружковцев отправился на экскурсию на Кавказ. По существу это была маленькая экспедиция. Понятно, что по возвращении Николай выступил с докладом на заседании кружка. Десятилетиями и об этом докладе было известно только название, как вдруг, совершенно неожиданно, была найдена записная книжка Николая Ивановича с его черновым наброском. Эта драгоценная рукопись[27] позволяет как бы поучаствовать в

той небольшой экспедиции, очень важной для становления будущего ученого.

9.

Группа студентов прошла по Военно-Грузинской дороге от Владикавказа до Тифлиса. Длина маршрута – 213 километров, но экскурсанты покрыли гораздо большее расстояние, ибо часто и надолго отклонялись от основной дороги. Целью экскурсии было «ознакомление с природой края и сбор коллекций».

Передвигались в основном пешком, снаряжение и прочие грузы вез нанятый фургон.

По выходе из Владикавказа дорога была хорошо укатана, но затем пошли ухабы, колдобины, под ногами хлюпала скользкая разжиженная грязь.

Погода поначалу не баловала: моросил мелкий дождь, панорама гор едва просвечивалась через пелену тумана.

Дорога петляла по горным склонам: то круто шла вверх, то ныряла в ущелья, где царил полумрак. Скалы с обеих сторон были покрыты мхом, лишайником, нередки были обнажения юрского известняка, плотного серого доломита.

В одном из обнажений путешественники обнаружили ископаемые кораллы, «что довольно редко встречается по Военно-Грузинской дороге».

Миновав поселок Балта, экскурсанты увидели разрез маренных отложений – след давно отступившего ледника. «Чем дальше дорога идет от Балты, тем местность становится суровее, по одну сторону тянутся непрерывные цепи гор. Обнажения становятся все наклоннее, очевидно, тектоническая волна оказала немалое влияние на рельеф этих слоев. <…> Растительность становится зеленее, по-видимому, ее еще не тронуло июльское солнце».

У станции Ларе путники заночевали, а утром их разбудил глухой рокот; казалось, что за стенами палатки разыгралась буря. Но в небесной синеве не было ни облачка, ослепительно сияло солнце, воздух был неподвижен. Рокот шел снизу, из глубокого ущелья – это прорывались через каменные завалы воды Терека.

Перейдя через ущелье по мосту, путники вновь увидели маренные отложения. Среди них высился «знаменитый Ермоловский камень, принесенный сюда во время знаменитого обвала 1832 г., завалившего долину Терека камнями, льдом и грязью на расстоянии 2 верст и до 90 м высоты. Этот Ермоловский камень около 5 ½ тысяч кубометров в объеме».

Гигантский гранитный валун, названный в честь генерала А.П.Ермолова, – это редкое чудо природы. Его вес – до 16 тысяч тонн. Он изумлял всех бывавших здесь путешественников, в их числе были Пушкин и Лермонтов. Он запечатлен на холсте художника Чернецова «По дороге из Владикавказа в Тифлис через Кавказские ворота». Он действительно скатился сюда в результате обвала Девдоракского ледника, но не в 1832 году, а гораздо раньше. По преданию, генерал Ермолов, командир российского Кавказского корпуса в 1816–1827 годах, не раз останавливался у этого камня, здесь им был подписан договор с каким-то дагестанским ханом.

Одной из самых интересных экскурсий в сторону от Военно-Грузинской дороги Вавилов назвал поход к Девдоракскому леднику, куда они поднимались пять верст по крутым, едва заметным тропам, извивавшимся между утесами, в обход небольшого глубоководного озера, в котором зеркально отражалось небо и скалистые берега. У самого ледника обнаружили одинокую заброшенную сторожку – в ней устроились на ночлег. С утра приступили к детальным исследованиям.

«Здесь часто бывают обвалы. Сланцы легко колются и нередко обваливаются».

Длинным узким языком Девдоракский ледник сползал по крутому склону Казбека. «Он берет начало из обширного, около двух верст шириной снежного поля, и он составляется из трех больших рукавов, имеющих общее начало и разделяющихся друг от друга грядами скал, торчащих из-под снега. Нижняя часть Девдоракского глетчера скрыта под грудами камня и щебня, и лед проглядывает здесь только на самых крутых склонах».

Николай очистил стенку ледовой трещины, и увидел любопытную картину: толща льда была исполосована горизонтальными темными слоями. В этой «полосатости» он усмотрел аналогию с годовыми кольцами на срезе дерева. В докладе он пояснил, что весною, при таянии снега, ручьи наносят на поверхность ледника слой грязи; следующей зимой поверх нее ложится новый слой снега, который уплотняется и превращается в лед. Так год за годом. На срезе ледника слои весенней грязи представлены темными полосами, а слои наросшего за зиму льда – светлыми. «По этому чередованию полос можно сосчитать, сколько лет леднику. Что, правда, очень трудно».

Наступление ледника не раз приводило к горным обвалам. Самый крупный из зарегистрированных обвалов произошел в 1831 году.

Особое внимание будущий растениевод обращает на высокогорную флору. «Когда видишь среди молчаливой природы

снегов и обнаженных скал уголки с приютившейся иногда богатой растительностью, с яркой зеленью и пестрыми цветами, невольно взгляд останавливается на ней». Николай замечает, что «скалы испещрены красивой инкрустацией из серых, черных, желтых каменных лишаев»; они как бы разграфляли поверхность камня, словно географическую карту

Растительность, поначалу бедная и убогая, с подъемом в горы становилась не менее, а более разнообразной! На этой особенности горной растительности Николай детально остановился в докладе. Многократно потом им подтвержденная, она ляжет в основу его крупнейших ботанико-географических открытий.

Он собирает для гербария растеньица мака, очитока, черемицы, злаков. «На значительной высоте встречаются даже довольно высокие кустарники и отдельные деревца, затем заросли рододендрона, уже почти отцветшего в это время».

Николай подразделяет горную флору на альпийскую, в основном травянистую, и субальпийскую, состоящую больше из кустарника и убогих низкорослых деревьев. В конце июля (экскурсанты были там 25-го) она уже отцветала, зато альпийская была в полном цвету. Замеры показали, что в районе Девдоракского ледника альпийская флора начинается на высоте около двух с четвертью километров.

«В общем, все альпийские растения очень своеобразны, своеобразны даже без снежного фона, который так оттеняет их. Это по большей части яркие, крупноцветные, низкие растеньица, по большей части многолетние и размножающиеся вегетативно, что имеет значение ввиду краткости летнего периода жизни и возможности не вызревания семян ввиду частых заносов». У многих растений цветы появляются раньше листьев – как только сходит снег. По Вавилову, это имеет глубокий приспособительный смысл: семена успевают созреть в короткое альпийское лето. «После периода цветения выполняют они и дальнейшие функции, развивают листву и побеги».

В альпийской флоре Вавилов выделил две группы. К одной отнес растения, ютящиеся в расселинах скал и утесов, на крутых склонах, на бедной каменистой почве. Они неприхотливы, цепко прикреплены к каменистым породам, стелятся вдоль скал; у них хорошо развита корневая система. Другая группа – растения альпийских лугов, «где материнская порода легко выветривается, где она представляет рельеф, удобный для накопления гумуса, и где перегной накопляется в больших количествах». Это совсем другая флора – пестрый и очень яркий ковер. Анализ почвы показал, что в ней 14 процентов перегноя, она богата

соединениями фосфора. «Вы видите, что условия произрастания здесь довольно благоприятны, – говорил Николай в докладе, – и вот почему среди вечных снегов, среди массы фирна [плотно слежавшийся снег] вы встречаете столь поразительное на первый взгляд богатство растительных форм».

Вернувшись на Военно-Грузинскую дорогу, группа двинулась дальше по намеченному маршруту и скоро вышла к «знаменитой станции Казбек». Отсюда поднималась извилистая тропа к не менее знаменитому монастырю на Казбеке, воспетому Пушкиным в одноименном стихотворении[28]. Увековечен он и в «Путешествии в Арзрум»: «Утром, проезжая мимо Казбека, увидел я чудное зрелище: белые оборванные тучи перетягивались через вершину горы, и уединенный монастырь, озаренный лучами солнца, казалось, плавал в воздухе, несомый облаками».

Речь идет о церкви «Святая Троица» («Цминда Самеба»).

На станции Казбек группа разделилась: двое студентов направились к монастырю, а остальные в это время осматривали целебный источник «Казбекский нарзан», в двух километрах от станции. Николай успел побывать и у целебного источника, и у монастыря, откуда в утренние часы наблюдал вулканические структуры склона Казбека. В дневные часы их не видно из-за густой облачности.

От станции Казбек дорога снова пошла вверх, к заснеженному перевалу, а оттуда пошел спуск к Гудаури и дальше вниз, в долину реки Арагви.

«Воды ее мутны, ибо несут с гор немало грязи и размолотых пород. Вода ледяная. Одному из товарищей (не ему ли самому! – *С.Р.)* чуть-чуть не пришлось поплатиться жизнью за желание искупаться в ней. Ибо трудно устоять против течения».

Горы по берегам Арагви покрыты лиственным лесом: буком, липой, грабом, каштанами, дикими яблонями и грушами. Ниже по течению лес редеет, здесь преобладают кустарники, алыча, держидерево, густо усеянное колючками. Еще ниже – степные травы, выжженные солнцем, всюду шныряют ящерицы, извиваются змеи, много саранчи. Здесь сухо, острая нехватка воды, даже колодцы пересохли.

С приближением к Тифлису появляются арыки искусственного орошения, все чаще встречаются виноградники. Отроги гор отступают к горизонту, перед путниками расстилается широкая равнина. Наконец, вдали, подернутые дымкой тумана, проступают очертания Тифлиса. Путешествие подходит к концу.

Николай не просто доволен экскурсией на Кавказ – он воодушевлен! Перед ним открылись новые, неведомые горизонты:

«Человек, не обращающий никогда внимания на строение земли, на геологию окружающего его ландшафта, невольно здесь, на Кавказе, останавливает свое внимание на резких контрастных картинах природы, и невольно является желание разгадать их, понять».

В докладе Николай не раз возвращался к этой мысли: «Мы вообще привыкли, живя среди однообразного ландшафта, обращать мало внимания на явления природы, мы не умеем наблюдать их. Многое проходит мимо наших глаз, не обращая нашего внимания. А здесь же, на Кавказе, где явления природы так резки, где ландшафт так контрастен, – глаз поневоле останавливается на нем и старается разобраться в окружающем тебя явлении. Невольно стремишься понять его, усвоить его. Учишься наблюдать».

Готовя доклад, студент Николай Вавилов проштудировал огромную литературу о Кавказе. В его записной книжке есть перечень этих материалов. Несколько страниц занимают выписки из разных источников – о вулканической деятельности, географии, землетрясениях, растительном и животном мире Кавказа, особенностях земледелия…

Еще до экскурсии Николай познакомился с трудами немецкого ученого Германа Абиха, одного из первых исследователей геологии и географии Кавказа, а также с работами его последователей.

На обороте страницы 34, выписано столбиком: «По геологии прочитать: Неймайра, Агафонова, Иностранцева, Мушкетова, Левинсон-Лессинга, Журналы Геологические и Землеведение».

На странице 35 – тоже столбиком: «Прочитать по флоре: Липского, Варминга, Флерова, Федченко, №№ Естествознание и География, Талиева, Казакова. Просмотреть журналы: Землеведение, Горный журнал».

На обороте той же страницы: «По Зоологии Сатунина и отчеты Музея Кавказского».

На странице 36 – «Приготовить диапозитивы: № 1 Карта Кавказа (с рельефной карты), 2 Фургон, 3 Обвал 1, 4 Обвал 2, 5 Базальты, 6 Казбек, 7 Ледник, 8 Третичные отложения у Мцхет/ Тифлис, 9 Ледниковая флора, 10 Ледниковая трещина, 11 Сланцы, 12 Вид Ущелья, 13 Семигорья, 14 Источников, 15 Скалы Пронеси Господи, 16 Ермоловского Камня».

Воображение Николая захватили могучие геологические процессы, вызвавшие образование Кавказского хребта. Когда-то здесь было море, но тектонические силы и вулканические извержения вздыбили дно океана, «и постепенно Арало-

Каспийское море ушло, разделившись на Азовское и Каспийское моря, и освободило громадную площадь земли, которая ныне занята Кумо-Манычской степью».

«Таким образом, горы Кавказа – сравнительно молодые горы, и это проглядывается во всем: заостренность вершин, крутизна, *сравнительная свежесть пород*, всё это говорит о том, что нивелирующая сила воды и ветра не успела еще закончить своего дела. Кавказский рельеф еще продолжает формироваться».

До этой поездки Николаю не доводилось бывать за пределами среднерусской равнины. То было его первое знакомство с *другим* миром, *другим* рельефом, *другим* климатом, *другой* флорой и фауной, *другими* обычаями и людьми. Всё это он с жадностью вбирал в себя. Но жажда не была утолена. Не отсюда ли пошла его страсть к путешествиям, стремление в дальние страны, к познанию мира во всей его цельнокупности, познанию *глобуса*, как он любил говорить!

Николай привез с Кавказа ботаническую коллекцию – 158 образцов. То был первый шажок во всемирном поиске растительных ресурсов. Он разработает программу поиска, ее осуществлению посвятит свою жизнь.

10.

Занятия в Кружке любителей естествознания и на кафедрах, уроки английского языка, которые параллельно берет Николай, поглощают всё его время.

Он постоянно занят. Его «рвут на части» товарищи, преподаватели, профессора. У него появляются черточки типичного жреца науки: глубокая сосредоточенность и анекдотическая рассеянность. Л.П.Бреславец вспоминала, что в день своего знакомства с Николаем – произошло это в столовой Петровки за обедом – Вавилов вдруг пристально посмотрел на товарищей, засмеялся и побежал к столу раздачи. «Оказывается, он увидел, что мы едим котлеты, а он после супа сразу принялся за мороженое».

Черновой набросок доклада об экскурсии на Кавказ обнаружила в семейном архиве Л.В.Курносова – вдова сына Н.И.Вавилова Олега. Она же нашла студенческий дневник Николая Ивановича[29].

В дневнике почти не отразились повседневные будни, встречи, впечатления о прочитанных книгах, театральных постановках, спорах с друзьями; не отразились в нем и любовные

переживания, хотя в эти годы развивался роман Николая Вавилова с Катей Сахаровой. Зато в нем видна напряженная работа мысли, поиски своего места в жизни, сомнения в собственных силах, порой очень острые, вера и неверие в правильность избираемого пути.

Первая запись сделана *24 августа 1907 года,* то есть через год после поступления в Петровку, когда выдающиеся способности и не менее выдающаяся работоспособность Николая Вавилова уже были высоко ценимы и профессорами, и друзьями-студентами. А он записывает: «Жизнь идет. Идет мало полезная. Без определенных идеалов. Идет на авось, куда попало. Движение вперед нестройно. Бурными скачками то вперед, то назад. Вдали так много неизвестного. Такая тьма заволакивает глаза».

Так что своя судьба рисовалась ему отнюдь не в радужном свете! Чему посвятить жизнь? Он еще этого не знал и был в растерянности. Он видел три возможных пути, но не мог решить, какой из них избрать.

«Ум проник в сущность материи, познал не видимые никаким микроскопом движения. И ум на этом не останавливается. Следит за развитием знания. Приближается к пониманию истины. Это один из идеалов жизни. Другой идеал более близкий к жизни. Открыть массе глаза. Ввести ее в область мысли, идей. Организовать ее для борьбы. Открыть доступ тысячам талантов, несомненно, таящимся в глубинах народной массы. И 3-й идеал – жить для того, чтобы подготовлять почву для лучшей жизни».

Что значит «подготовлять почву для лучшей жизни»? Не очень ясно сказано. Ясно ли ему самому?

Он твердо знал лишь одно: коммерция его не устраивает! Привлекает естествознание. Но как оно обширно и необъятно!

Может быть, его стезя – физика? В его дневниковых записях упоминаются то катодные лучи, то излучение радия… К физике он сохранит интерес и позднее; она станет делом жизни его младшего брата.

«Сегодня из питерских газет прочел: “2/III. В Москве умер выдающийся физик П.Н.Лебедев”. Для русской науки это ужасное событие».

Так писал он в 1912 году в одном из писем к Е.Н.Сахаровой.

Значит, он знал о работах Лебедева, знал, как еще молод профессор Лебедев, как много мог бы еще совершить…

Правда, о Лебедеве он мог знать от младшего брата. Но вот письмо Николая Ивановича, написанное почти 10 лет спустя, в 1921-м.

«Для Сергея достал одну книжку, которую он одобрит. Отчеты всех физиков о новейших работах Wilhelm Institut.

Einstein'a и прочих. Только что вышла, но боюсь ее посылать по почте. Очень дорогая: 6 долларов, и в ней кое-что для меня».

В ней кое-что для меня!.. Так, может быть, физика?..

Но влекла его и химия. Его доклад о Кавказской экспедиции пестрит химическими формулами, а позднее, в своих работах, он будет проводить глубокие аналогии между сущностью биологических и химических представлений.

И еще – геология.

И с мечтами о медицине он еще не распрощался.

И просветительство: *открыть массе глаза, открыть доступ тысячам талантов, несомненно, таящимся в глубинах народной массы…*

Эти метания – свидетельство жадного интереса к законам мироздания, которым подчинена манящая многоликость природы. И мучительные попытки решить для себя уравнение со многими неизвестными…

Местами в дневнике проскальзывает мысль, что предпочтительнее всего для него агрономия. Но именно этот путь представлялся ему наиболее дерзким, он не уверен, что сможет его осилить. Вот запись от 13 сентября того же 1907 года: «Страшно за будущее. Куда идти? Путь земского агронома так ответственен, так много нужно знать. И собственно ничего не зная практически. Не зная жизни крестьянина, не зная его языка. Страшно, боязно. Нынешний год я углублюсь в науки агрономические. Я вникну в них. При каждой малейшей возможности я иду в деревню. Жалеть времени на кажущиеся пустяки нечего. Это вовсе не пустяки».

Столь сильные сомнения должны, казалось бы, расслаблять молодого человека, подрезать ему крылья. Но – нет! Упрекая себя в неустойчивости характера, в пустой трате времени, в том, что не он управляет своими чувствами, а чувства управляют им, он записывает 24 сентября: «Выход из такого положения – борьба со страстями. Каждый день я занимаюсь с 8 час. до половины 2-го [ночи]. Должно как можно меньше тратить время на разговорцы. Времени слишком мало. А разговорцы в сущности ничего не дают. Надо помнить, что до Рождества нужно сдать 5 экзаменов. Нужно не отставать от курса. Нужно пополнять знания по естественным наукам, по агрономическим, общественным».

Развитие той же темы в записи от 5 октября: «В сторону уныние. Подождем глядеть в будущее. Остановимся на настоящем. Ведь цель-то ясная. <…> Пока буду изучать общие предметы. Заниматься по усилиям, а главное, незачем отвлекаться; не стоит унывать. На жизнь надо глядеть весело. Идти туда, где светлые просветы, где больше склонности, где

больше радости. Больше того, что есть, ты не сделаешь. Делай хоть то, что можешь.

> Простится всё тебе, чего не смог ты сделать.
> Но не простится, если ты не восхотел[30].

А я хочу. Хочу страстно науки. Люблю ее. В ней цель жизни. В ней одной можно испытывать энтузиазм. Верую в ее будущее. Знать, обнимать разумом целостность явлений, комбинировать их в стройные гармонические системы, пользоваться ими для разрешения мировых загадок и применять к улучшению жизни на земле – это значит прожить хорошо, удовлетворить себя. Не стоит предаваться утопизму. Брать в жизни всё, что только может доставить тебе радость, спокойствие чувства и разума. Надо жить посветлей. Никому не завидовать, ни от кого не скрываться. Всюду находить хорошую сторону».

Студента Вавилова волновала не только будущая профессия. На пороге самостоятельной жизни перед ним возникала бездна вопросов, связанных с основами бытия человека на Земле. 22 октября второкурсник Вавилов записал: «Мы выросли загипнотизированными суевериями и различными аксиомами домашнего обихода. Мы усвоили много понятий на веру. Всё это надо пересмотреть, переобдумать. И в логике мышления должны преобладающую роль играть методы биологические, методы естественных наук. Вопросы, подлежащие пересмотру: религия, семейная жизнь, брак, отношение к женщине, женский вопрос, половой вопрос, вопросы воспитания, школы».

Ответов у него пока нет, но он уже убежден: найти их можно только на путях науки. 11 ноября, за два дня до своего двадцатилетия: «Вначале было слово, и слово было делом. Да, в науке важную роль играет слово. Человек, посвятивший себя той или иной области науки, когда передает свое знание людям, должен увлечь их, должен говорить самое интересное, самое нужное, *чтобы возбудить любопытство, симпатию и даже любовь к науке. Всякая наука глубоко интересна, когда посвятишь себя ей, когда углубишься в нее».*

Чем научное мировоззрение отличается от религиозного, метафизического и всякого другого? Это Николай уже знает.

В торопливой записи в канун нового, 1908 года Николай делает попытку оглянуться назад и проследить этапы развития своего собственного мировоззрения, хотя, по его словам, оно продолжает меняться и углубляться каждый месяц. В детские годы он и его окружение верили в сверхъестественное, и эта вера «время от времени всплывала непроизвольно в виде безудержного

идеализма, идеализации». Потом он и его друзья впали в другую крайность: «Мы материалисты. С яростью мы громим витализм с его жизненной силой. Мы боремся с религией. Материалистически разбиваем ее. <…> С восторгом внимаем нападкам Геккеля на религию. Малейший подкоп под религию вроде морозовского “Откровения в грозе и буре” мы встречаем с затаенной радостью». Но вот Николай познакомился с трудами Маха и Оствальда. Их взгляды, насколько можно понять из его дневника, проповедовал с кафедры профессор Худяков, что особенно сильно повлияло на Николая.

«Идол материализма, с его гимном единому абсолюту – атому – пал. Этот 3-й период мне кажется крайне серьезным и знаменательным. Ибо при этом мы не только выработали себе новое миросозерцание, отличное от предыдущих, но мы стали критически относиться даже и к науке, к научным воззрениям. Идеализация науки приняла иные формы. Теперь мы уже не придем в экстаз от слова наука, ибо мы поняли, что и в этой области не так уж всё научно, как кажется новичку.

В общем, наши воззрения таковы. Богов и сверхъестественного ничего нет. Абсолютов, абсолютных истин не существует. Сущности вещей мы не постигнем. И глупо было бы к этому стремиться. Истина – [это] только истина на сегодняшний день, не более того».

Значит, научное знание не абсолютно. То, что сегодня считается истиной, не было истиной вчера и может быть опровергнуто завтра. Абсолютное знание – это иллюзия, тормоз в развитии подлинных знаний. Но если абсолютных истин нет и всё в мире относительно, то что же такое человек, каково его место в мире?

В масштабе Вселенной человек – лишь ничтожная песчинка. Если условно приравнять время жизни Вселенной к одним суткам, то жизнь человека длится мгновение, долю секунды! Человеческая личность – ничто: едва возникнув, она исчезает!.. Но, продолжает размышлять Николай, «этому противоречат мои инстинкты, весь смысл моей жизни. Наука этот вопрос затемняет, но не разрешает. Отсюда и возникает значение религии. Она-то отвечает мне. Она дает смысл моей жизни. Она сохраняет мое Я».

Выход из этого тупика Николай находит в эволюционной теории Дарвина. «Она говорит так: всё развивается, всё совершенствуется. Совершенство заключается в приспособленности к жизни; в приближении к познанию истины, природы. Зная природу, человек сумеет и жить хорошо. Человек узнает законы сохранения и превращения энергии, и в его руках [будут] силы природы. Он, зная их, учится направлять их по

собственному произволу. Он живет лучше, чем жил первобытный человек. Итак, в мире жизни царит эволюционный принцип. Человек узнал его, проверил его. А зная его, человек должен пользоваться им, как он пользуется знанием закона всемирного тяготения».

В дневнике студента Вавилова много размышлений о преемственности научных знаний, о том, что каждое поколение получает от предков в готовом виде то, что добывалось великим трудом, методом проб и ошибок. Получая эти знания, новое поколение движется дальше и делает реальностью то, что раньше считалась бесконечно далеким или вообще недостижимым.

В дневнике появляется такая запись:

«Вот пример. Великий кенигсбергский натурфилософ Кант в сочинении “О необходимом подчинении принципа механизма телеологическому принципу” привел: для человека было бы нелепостью думать или надеяться, что со временем может явиться новый Ньютон, который сделает для нас понятным так же бесцельное происхождение какого-либо стебелька травы согласно с законами природы, эту мысль надо решительно изгнать из человеческого ума. Но вот 70 лет спустя этот невозможный Ньютон действительно явился в лице Дарвина, а его теория естественного подбора на самом деле разъяснила загадку, которую Кант считал неразрешимой. Пойми лишь соотношения явлений, событий и ясно поймешь картину мира. <…> Эту философию мы заимствовали у Маха».

Мировоззрение студента Вавилова складывалось под влиянием философии Маха – как раз в те годы, когда Ленин громил *махизм* за *субъективный идеализм.*

Для Ленина на все методологические вопросы давно было отвечено Марксом и Энгельсом. Их *диалектический материализм* был альфой и омегой теории познания. Тот, кто думал иначе, подлежал остракизму как «прислужник буржуазии» и «враг рабочего класса».

Конечно, ничего *буржуазного* в воззрениях Маха не было, как не было и ничего *пролетарского.* Мах пытался философски осмыслить новейшие на тот период достижения науки, оказавшиеся в конфликте с классическими представлениями о материи и мышлении.

Из дневника Вавилова видно, что большое влияние на него оказала также публицистика Н.К.Михайловского – литературного критика и мыслителя народнического толка конца XIX века. Это неудивительно: молодежь его поколения зачитывалась Михайловским. Сильное впечатление на Николая произвели статьи Михайловского об индивидуализме и коллективизме, в

особенности его работа «Что такое прогресс?».

Михайловский считал, что прогресс человеческого общества – это не простое продолжение природной эволюции. Человек выделился из природы. Еще в первобытном состоянии он стал ставить свои собственные цели, вырабатывать идеалы, действовать не только по велению обстоятельств, но и по велению своего разума, воли, своих представлений о добре и зле. Целенаправленная деятельность человека влияет на ход истории. Это и называется прогрессом. Но добиться прогресса в одиночку человек не может, в одиночку он бессилен. Он должен объединяться с себе подобными – в семьи, племена, кружки, союзы, партии, нации. Умение общаться, договариваться, ощущать свое единение с другими людьми – это такое же важное свойство человеческой личности, как ее неповторимость.

Человек не только отражает мир, в котором живет, но творчески его преобразует. Прогрессивна ли деятельность индивида или группы, определяется такими понятиями, как *государственный интерес, национальное богатство, развитие производительных сил.* Но не менее важным мерилом прогресса Михайловский считал свободу личности, ее цельность и защищенность, что особо подчеркивал Николай Вавилов. Развитие науки, рост промышленности, рост государственного могущества – это вовсе не прогресс, если они ведут к деградации и порабощению личности человека.

14 февраля 1908 года Николай был на лекции профессора Г.А.Кожевникова «Будущее человека», что оставило такой след в его дневнике: «Когда я слушал эту лекцию, то ясно представился мне тот минимум знания по общим вопросам жизни, каким мы, интеллигенция, обладаем. Стало досадно, пожалуй. Нет, невозможно считать [законченным] свое естественнонаучное образование».

К профессору Кожевникову он обратился с письмом-просьбой – указать литературу по теме лекции. Вскоре получил обстоятельный ответ, за что благодарил «от себя и от товарищей по самообразованию».

Николай Вавилов восхищен достижениями науки и вместе с тем сознает, как ничтожны достижения по сравнению с тем, что еще надо познать. Его мучает мысль о глубокой противоречивости самой натуры человека. Эта мысль возникла под влиянием недавно прочитанных книг И.И.Мечникова «Этюды оптимизма» и «Этюды о природе человека». В них Мечников развивал свои излюбленные идеи о краткости человеческой жизни и необходимости ее продления до «естественных»

пределов.

Человек возник, как и все другие существа, в результате биологической эволюции, определяемой борьбой за существование и выживанием наиболее приспособленных. Один из важнейших факторов выживания – инстинкт самосохранения. В отличие от других существ, человек сознает неизбежность смерти, и это делает его бытование на земле трагическим. В стремлении преодолеть страх смерти человек хватается за веру в бессмертие души, но, по Мечникову, это иллюзия. Страх смерти можно преодолеть, если продлить жизни человека «до естественных пределов», когда инстинкт жизни угасает и смерть становится желанным концом. Чтобы продлить жизнь «до естественных пределов», надо глубже изучать природу человека, развивать медицину и гигиену, разработать правильный режим питания. Мечников считал, что жизнь человека укорачивают яды гнилостных бактерий, которые гнездятся в кишечнике, особенно в слепой кишке. В качестве противоядия он предлагал «мечниковскую простоквашу»: она-де заселяет кишечник полезными молочнокислыми бактериями и вытесняет гнилостные бактерии. Раздумья над прочитанным оставили важный след в дневнике и в сознании Николая Вавилова.

26 мая 1909 года Николай и Сергей Вавиловы, затаив дыхание, слушали лекцию И.И.Мечникова.

Илья Ильич, ведущий сотрудник Пастеровского института в Париже, был редким гостем в России. Ему только что в Стокгольме вручили Нобелевскую премию. Он приехал в Россию, главным образом, для того, чтобы повидать Льва Толстого, с которым вел долгий заочный спор о науке и религии, основах нравственности и смысле человеческой жизни. В Москве он остановился на несколько дней по пути в Ясную Поляну, тогда и прочитал публичную лекцию. В дневнике младшего из братьев эта лекция тоже оставила след: «От Мечникова я в восторге, это умный, простой и – как-то необыкновенно ясно чувствуется – особенный человек. Ему совсем не по себе в этой толпе любопытных. Он совсем не искушен славой, он интимен, он, ну одним словом, хочет быть самим собой»[31].

11.

С 28 декабря 1909 по 6 января 1910 года в Москве проходил XII съезд русских естествоиспытателей и врачей. Съехалось около пяти тысяч участников. Были заслушаны сотни докладов, в их числе И.П.Павлова, Д.Н.Анучина, Д.Н.Прянишникова,

В.И.Вернадского… К съезду было приковано внимание всей страны, его подробно освещали газеты, о нем говорили в салонах и офисах.

«Еще смешная маленькая подробность, нелепая, но смешная и поэтому тоже отрадная, – записала в дневнике Катя Сахарова. – 12 съезд естествоиспытателей и врачей. Прихожу в один из этих дней в суд – и вижу прокурора не с адвокатским значком, а с белым значком 12 съезда. Ну, не естествоиспытатель же и не врач – юрист. Но ведь, прежде всего, человек, а поэтому “почему же не приобщиться к празднику, который устроила себе русская интеллигенция?”».

Среди участников съезда – братья Вавиловы: Николай и первокурсник университета Сергей. Радостно возбужденные сознанием *приобщенности*, они старались ничего не пропустить, накрепко всё запомнить. Незадолго до смерти Сергей Иванович запишет в дневнике: «Вспоминаю 40 лет назад, “Благородное собрание”, 12-й съезд естествоиспытателей, я – студент первого курса – распорядитель. В задних рядах на эстраде. [И.П.] Павлов вроде седого льва. “Естествознание и мозг” [название доклада Павлова], новые обещающие, гениальные слова, которые тогда плохо понимал, но чувствовалась “молния”»[32].

Николай Вавилов участвовал в работе четырех секций съезда: химии, ботаники, агрономии, географии. Его научные интересы еще не устоялись, он не хотел ставить им жесткие пределы, ибо это значило бы ограничивать «количество своей жизненной подвижности».

Его девиз: «Жизнь коротка, проблем без конца, и стоит забирать всё».

12.

Прямым практическим результатом участия в XII съезде естествоиспытателей стало для Николая знакомство с директором Полтавского опытного поля, только что преобразованного в опытную станцию, Сергеем Федоровичем Третьяковым.

Усатый толстощекий здоровяк, похожий на Тараса Бульбу, Сергей Федорович понравился Николаю, и симпатия оказалась взаимной. Вскоре Третьяков принимал у себя на Полтавщине Николая Вавилова и его друзей-практикантов, в их числе упоминавшуюся Л.П.Бреславец (тогда еще Крестовникову), будущего академика ВАСХНИЛА. Н. Сокол **обского,** Екатерину Сахарову. На всю жизнь Вавилов запомнил «старый хутор, заросли терновника, старую лабораторию <…> милых Сергея

Федоровича Третьякова и Надежду Михайловну [Третьякову]». Запомнил «опытнопольский энтузиазм; бодрость, которой веяло с опытного поля <…> частые экскурсии, беседы».

Первые опытные поля – инициатива в их создании принадлежала Д.И.Менделееву – появились в России в 1867 году, всего через два года после основания Петровской сельскохозяйственной академии.

Тогда же, в середине 1860-х годов, идея создания «фермы для производства сельского хозяйства опытов» возникла в Полтавском обществе сельского хозяйства, но два десятка лет «ферма» оставалась благим намерением: ни центральная власть, ни земство, ни частные дельцы не спешили вкладывать в нее финансовые средства. Однако идея жила, ив 1885 году Полтавское опытное поле было, наконец, основано. К 1905 году, когда его возглавил Третьяков, оно имело репутацию солидного научно-агрономического учреждения.

Третьякова высоко ценил Прянишников, о чем, конечно, хорошо знал Николай Вавилов.

Длительная практика в программу обучения Московского сельхозинститута не входила, но Николай считал ее настолько важной, что взял для этого отпуск. Его прошение об отпуске датировано 13 марта 1910 года. А 17 марта датирована запись в книге Полтавского волостного правления о его прибытии[33].

На Полтавской станции Николай развернул исследования по борьбе с болезнями культурных растений разными методами: протравливанием семян, опрыскиванием и т. п. Результаты оформлял в виде статей – они печатались в журнале «Хуторянин», органе Полтавского общества сельского хозяйства. Это были первые научные публикации Вавилова. Здесь он получил «импульс для всей дальнейшей работы», приобрел «веру в агрономическую работу», как много лет спустя писал Третьякову.

Сергей Федорович тоже был очень доволен практикантами. В 1910 году его станция участвовала в сельскохозяйственных выставках в ряде городов российского юга. «Объяснителями на выставках были практиканты опытного поля: Н.И.Вавилов (Екатеринославль), А.И.Соколовский (Константиноград) и Е.Н. Сахаров [а] (Ромны), усердно и умело исполнявшие свою обязанность», – сообщал Третьяков.

Николай Вавилов заслужил столь высокое доверие директора, что тот поручил ему сопровождать и давать объяснения важному чиновнику, посетившему станцию. От поддержки таких чиновников многое зависело: они определяли, следует ли и дальше финансировать работы станции и сколь щедро. Третьяков, стало быть, был уверен, что *этот* студент сумеет всё показать и

рассказать не хуже, чем он сам.

По случаю этого посещения на станции был торжественный обед. Во время трапезы из кармана Николая Вавилова выползла ящерица и добралась до его лица. Все засмеялись, а он невозмутимо завязал ящерицу в платок, сунул обратно в карман и стал говорить о какой-то научной проблеме, связанной с этой ящерицей. «Через несколько минут за столом уже поднялось горячее обсуждение». «С тех пор я наблюдала, – писала Л.П.Бреславец, – что в присутствии Николая Ивановича никогда не велись обычные разговоры *[разговорцы]*, они всегда поднимались на большую высоту».

Наблюдения Лидии Бреславец, знавшей Николая Вавилова со студенческих лет, позволяют многое понять в его характере и еще сильнее поразиться глубине пропасти между тем, как его воспринимали окружающие, и как воспринимал себя он сам. Среди студентов он выделялся талантливостью и страстью к науке, профессора возлагали на него большие надежды, а он все еще был полон мучительных раздумий о том, какое поприще должен избрать. Вот одна из характерных записей уже после возвращения из Полтавы:

8 декабря 1910 г.: «Сегодня, под влиянием ли долгого малоделания и разбрасываемости в работе, снизошел дух уныния и скептицизма. И мне стало страшно того пути, на который склоняюсь вступить. Показалось, что не хватит ни ума, ни способностей, чтобы во всем разобраться, всё поглотить. Стало воочию всё то, что потребуется селекционеру, чтобы приобрести свой собственный взгляд на вещи. Нужно усвоить языки, войти в громаду литературы, нужно знакомство с математикой, нужен хороший глаз, а у меня из них только один in Working[34], наконец, нужна выдержка, закаленность в работе. По-видимому, мало что мне удастся. Да, наконец, нужен юношеский порыв, призвание. И вот я сомневаюсь, есть ли во мне и сие. Не лучше ли сократиться, взять minimum требований и пойти в агрономию. И отныне этот вопрос застрял в голове, и немало мучения суждено претерпеть колеблющемуся и неуравновешенному. И смешно, пожалуй, что со стороны устанавливается на меня взгляд, что это уравновешенный человек, человек дела, чуть не срывается с губ определение работоспособный. Окружающие начинают веровать, что из сего юнца выйдет толк. Да временами и мне казалось что-то в этом роде, конечно, несколькими тонами пониже. И не знаю, что сказать сейчас самому себе».

13.

2 апреля 1911 года — знаменательный день для Николая Вавилова: «Я кончил институт. Событие сие признаю важным и радостным. Правда, омрачает радость неприятие экзамена по животноводству, связано с задетым самолюбием. Но правду сказать, сие пустяк. <…> Руля нет, но есть ветры, которые гонят куда-то. Мутно будущее. Ветры гонят. В голове носятся осколки планов, соображений; предвидений в будущее. Пока что на полгода план точен – а дальше на 2 с У схема. В общем, не менее 4 лет учебы. Хочется только одного, подготовить себя хоть немного к самостоятельной работе».

Итак, Петровка окончена. Николаю Вавилову присужден диплом агронома первой степени. Профессор Прянишников направляет ходатайство об оставлении его при кафедре частного земледелия для «подготовки к профессорской деятельности», с прикомандированием к Селекционной станции Д.Л.Рудзинского. Всё по его желанию. Казалось бы, всё складывается наилучшим образом. Но это внешние стороны успеха. На душе всё та же смута: «Чем больше забредаю в сферу научного мышления, тем страшнее путь. В ушах звенит: не успеешь, не знаешь, такая бездна познания впереди, и ясно вижу, что должно ограничить себя. <…> Я знаю, что я никому не должен – никому, ни перед кем не обязан, но <…> ясно сознаю, что хотя **ужасны были условия детства и отрочества,** но все-таки я получил больше, чем многие и многие. <…>

Хотел бы сделать что-нибудь ясно практически усвояемое. Случайность забросила в агрономию. К ней чую склонность и симпатию и вот соединение биологической предрасположенности + агрономия – путь, который выбираю».

Только самому близкому человеку, будущей жене Екатерине Сахаровой, он признается: «Не скрою от Вас и того, что стремлюсь, имею нескромное хотение посвятить себя Erforschung Weg[35]».

Первая любовь

1.

Что сблизило Николая с Катей Сахаровой – сначала другом, потом – невестой, потом – женой?

На Полтавщине они вместе проходили практику. Но, хотя и до и после практики их часто видели вместе, их женитьба была полной неожиданностью для друзей-однокашников.

Потому, во-первых, что они оба умели хранить свои чувства от постороннего взора. И потому, во-вторых, что на этом их сходство и кончалось.

Душевное состояние Николая, как мы видели, было сокрыто от окружающих, хотя внешне он казался общительным, веселым, со всеми был прост и приветлив. Поражал талантливостью. Считался, да нет – *был* — очень красив, это бросалось в глаза. По нему тайно и явно вздыхали многие девушки в Петровке.

А Катя Сахарова была некрасива: маленькие серые глазки, тяжелый подбородок, прекрасные, правда, волосы.

Она была очень образована и умна, Николай считал, что «это была самая умная и образованная слушательница в Петровке». В ней было много мужского – в походке, в движениях, в поступках. Она носила мужскую кепку, куртку мужского покроя и вообще мало заботилась о том, как выглядит.

«Я знаю, я понимаю, что я ведь уже сейчас во многом, если не во всем —, “синий чулок”, и сухарь – или по крайней мере “ригорист“… Да, с 16 лет, благодаря своей некрасивой наружности или чему другому, стала им. Это ведь давно уже сознавалось мною. Мне не хотелось бы, но ведь, по умному слову Гейне, *предусмотрено, что деревья не врастают в небо*[36]».

Катя Сахарова жила напряженной внутренней жизнью, безжалостно анализировала свои поступки, мысли, чувства. Ее духовный мир был насыщен образами из мировой литературы, философии, поисками смысла и своего места в жизни, но очень мало что из этого выплескивалось наружу. Она была замкнута, не очень контактна, сокурсники уважали ее, но не сближались с ней.

Катя росла в большом особняке в центре Москвы, у Патриарших прудов, в одном из элитных районов города. Отец ее Николай Гаврилович Сахаров был управляющим московским представительством крупного предпринимателя Ивана Федоровича Токмакова – одного из создателей русского торгового пароходства на Амуре. Торгово-промышленные предприятия

Токмакова были разбросаны от Алушты до Дальнего Востока. Представлять и отстаивать интересы такого крупного магната в Москве было непросто. Токмаков это понимал. Услуги и личную преданность Н.Г.Сахарова он высоко ценил, щедро оплачивал.

Надежда Николаевна Сахарова (урожденная Сафонова) окончила Институт благородных девиц в Иркутске, курсы педагогов-воспитателей в Санкт-Петербурге.

Дочерям своим – их было три сестры: Катя, Вера и Надя – родители старались дать самое лучшее образование. Девочек не утруждали домашними делами: для этого держали прислугу. В доме жила немка-гувернантка Л.В.Уве. Она учила девочек иностранным языкам, готовила к поступлению в гимназию. Приходил давать уроки учитель музыки. Летом 1901 года Катя ездила с отцом за границу, а годом позже в заграничное путешествие отправились всей семьей – кроме младшей девочки, Нади. Ей едва исполнилось 11 лет, ее сочли еще слишком маленькой и оставили с бабушкой. Путешествовали по Германии и Швейцарии. Катя и Вера жадно вбирали впечатления от незнакомой жизни, природы, швейцарских гор, увенчанных снежными шапками, ухоженных немецких городков.

Биограф Е.Н.Сахаровой М.А.Вишнякова сообщает, что «сестры были воспитаны Художественным театром, не пропускали ни одной премьеры, знали наизусть монологи и мизансцены из всех главных постановок театра. Они коллекционировали открытки со сценами из спектаклей МХАТ, фотографиями актеров, а больше всех обожаемого ими Качалова в разных ролях»[37].

Взрослея, девочки приобщались к тому, что называлось *передовыми идеям века.* Катя старалась «работать как можно больше, чтобы кончить гимназию как можно лучше, а потом идти работать для общего блага, для народа»[38]. Напряженными поисками того, где и как она будет работать «для народа», наполнены страницы ее дневника.

Безоблачная жизнь оборвалась со смертью отца, в 1904 году. Кате было 17 лет. Через два года умерла мать. Несколько страниц ее дневника передают душевные терзания, вызванные чувством вины перед покойной матерью: «Мама была здесь. Она была здесь – и любила. Что я дала маме, как не горе, беспокойство, сомнения во мне, в моей любви, в моей человечности, в моем сердце? Что кроме этой тяжести лежит на моей душе? Когда я думаю, что любила маму, а она любила меня, такую несовершенную, – это неправда. Она мучилась за каждую мою ошибку, не ошибку, за каждое проявление моей сухости и не доброго сердца. Кроме жгучего раскаяния – ничего нет у меня, раскаяние – всё на той же почве себялюбия, самонадеянности, самолюбования»[39].

Девушки остались на попечении бабушки. Она и раньше много занималась их воспитанием, но, как ни странно, ни разу не упомянута в Катином дневнике.

Бабушка, Мария Николаевна Сафонова, в 16 лет вышла замуж за крупного сибирского торговца, поставлявшего товары интендантству дальневосточных войск. После внезапной смерти мужа ей пришлось его заменить: подряды нужно было выполнять, иначе ее ждало разорение. Переодевшись в мужское платье, она вместе с сопровождаемыми грузами проплыла на барже по Амуру от Читы до Хабаровска и Николаевска – путешествие по тем временам долгое, трудное и опасное, в особенности для одинокой беззащитной женщины. Затем она его не раз повторяла и стала своего рода достопримечательностью Амура. За деловую хватку ее прозвали «американкой». Типичная сибирячка – крупная, широкая в кости, решительная, смелая.

Катя унаследовала у нее эти качества. Она рано повзрослела, стала независимой и твердой.

Окончив в 1905 году гимназию, она решила поступить на историко-филологический факультет Высших женских курсов. Туда непросто было попасть. Тяга девушек к образованию росла, в казенные учебные заведения их не принимали, а частных высших школ было немного, число желающих во много раз превышало их возможности.

Возглавлял Высшие женские курсы выдающийся математик С.А.Чаплыгин, старавшийся привлечь лучших университетских профессоров. Как правило, они откликались охотно. В неравноправии женщин видели ретроградство самодержавия; долг совести обязывал ему противостоять.

Вступительные экзамены Екатерина Сахарова сдала блестяще. Казалось бы, линия ее жизни определилась. Но посвятить себя филологии и философии, к чему у нее было явное тяготение, Катя считала слишком эгоистичным. Как многие ее сверстники из привилегированных слоев общества, она чувствовала себя в долгу перед народом, ее мечтой было *работать для народа.*

Вихрь революционных событий 1905 года увлек ее, она установила связь с революционным подпольем. То ли с эсерами, то ли с социал-демократами – сама толком не знала. Хранила нелегальную литературу, преподавала в воскресной школе для рабочих. Трудно сказать, чем бы это кончилось, если бы бабушка не услала ее на лето в Томск – к дяде И. Н. Сафонову.

Здесь, томясь от одиночества, Катя и начала вести дневник, выплескивая на его страницы свои мысли, переживания и надежды. Вот его начало: «12 ч. н. 29 июня [1905]. Наступает освобождение. Освобождение великого народа от гнета

устаревших форм государства. Мы хотим работать для этого великого и угнетенного народа, принести ему хотя бы крупицу знания и света. И вот теперь свершается великое, народ возьмет свою политическую свободу – работать надо для свободного народа! То, чего ждало столько поколений, за что мучились и умирали лучшее люди России, – дано увидеть нам. Это велико и необъятно – это счастье, и вместе с тем страшно, что не достойны, и не постигнешь всех движений нашего времени и больно за горе и кровь, которыми купится свобода нашего народа. Теперь, когда всё, т. е. революция, уже in Werden[40], яснее вырисовывается ход событий, но как мало, год тому назад, и до объявления войны, я и вокруг меня думали об этом близком будущем!»

Не имея контактов с местными революционными деятелями, Катя по газетам жадно следила за развитием событий в стране. Рабочие волнения и аресты в Иваново-Вознесенске… Забастовки в Лодзи, Варшаве, Белостоке… Аграрные волнения на Кавказе… Британский пароход подобрал и доставил в Турцию участников разгромленного восстания на броненосце «Потемкин», турецкое правительство отказалось их выдать России… Всё это находит живой, эмоциональный отклик в Катином сердце и – в дневнике.

5 июля она идет на митинг к могиле погибшего еще в феврале рабочего Иосифа Егоровича Кононова. Он был убит при разгоне демонстрации солидарности с жертвами петербургского Кровавого воскресенья.

«Я пошла сознательно, и вот что из этого вышло. Ощущения громадны, а описание бледно и немощно. На могиле “павшего за свободу” было около 1000 человек, было много рабочих. Он [был] очень бедный, работал в типографии, слесарной и столярной мастерских и противился, сколько мог, давлению работодателей. Зимой 1903 года он познакомился с с.д. комитетом и много стал читать, оказывая посильные услуги комитету. 18 февраля он поддержал упавшее знамя и был убит».

Обо всем этом Катя узнала на митинге.

Наибольшее впечатление произвело на нее выступление какого-то коротышки (la petit) – блестящего оратора, умело владевшего настроениями толпы. По-видимому, это был С.М.Киров. Он обрисовал историю революционного движения в России, говорил о неудачах *хождения в народ,* о *«Народной воле»* и, наконец, о рабочем классе, «который один только может принести свободу себе и другим».

Вдруг по толпе пронесся гул, кто-то крикнул «казаки!»; люди стали с криками разбегаться. Катя испугалась не столько казаков, сколько того, что ее раздавит толпа.

«Я чувствовала, что вся боюсь, – не дух боялся, а именно всё

тело», – признавалась она в дневнике.

Она не бросилась со всеми бежать, но отошла от могилы на пять шагов, прижалась к дереву. Беспощадная к себе, расценила этот поступок как трусость. «Позорен мой страх. Чего требовать от тех, кто бежит, – ведь это случайный, бессознательный элемент, ведь сколько раз я видела свое преимущество – жизни в столице. Поэтому мое дрожание – что я боялась толпы – и не пошла к могиле, а от нее, – это позорно – а всё остальное простительно». Тут же и оправдывала себя: «Как бы то ни было, я не бежала – одно время я сознательно стояла против напора толпы, потом старалась выйти из потока людей – и сделала обратно свои пять предательских шагов. Я думаю, что это воспитывает».

Об ораторе *la petit* она отзывается почти с восхищением: «В эти моменты 5 июля он стоял очень высоко, я видела то, что он должен видеть – эту толпу в своей власти и вместе с тем готовую бежать от опасности. Он сказал, когда они вернулись, что опасности нет, – и, о стыд, ему аплодировали! Я думаю, он чувствовал в это время стихийность этой массы перед собой. И он, прошедший победоносно этот путь, еще горячее продолжал: “Только с возникновением рабочего класса Россия может надеяться на освобождение. Только идя с пролетариатом и погибая с ним – путь к свободе…” Я радовалась, что он говорит мои мысли, а ему опять аплодировали – не те ли, кто постыдно бежал?»

«Кругом еще царство самодержавия, – продолжала изливать свои мысли и чувства Катя, – целый город за нами м.б. враждебен нам своей деятельностью, а здесь, над могилой, передовые ряды народного восстания слушают те слова и речи, которые скоро будут достоянием всех».

К началу учебного года Катя вернулась в Москву. Восстановила связи с революционным подпольем. Гордясь своей *причастностью,* устроила в своей квартире склад прокламаций и партийной литературы.

Разгром декабрьского восстания вызвал в ней смятение, подавленность, в душу снова проник липкий унизительный страх. Она опять уличала себя в жалкой трусливости, но пересилить себя не могла.

Стремление *служить народу* не убавилось, но оно приняло не столь опасное направление. Основные массы народа, крестьяне, бедствовали не только от произвола властей, бесправия и малоземелья, но от темноты и невежества. Чтобы помогать народу толково и производительно хозяйствовать на земле, надо стать агрономом!

В 1906 году двери казенных вузов приоткрылись, наконец, для женщин. Именно *приоткрылись*: женщин принимали только вольнослушателями, то есть без твердой программы обучения, без обязательной сдачи экзаменов и других формальных требований. Зато от вольнослушателей не требовали платы за обучение. После смерти отца для Кати это стало немаловажно.

Она порывает с курсами и поступает в Петровку. В прошении на имя ректора пишет, что ее побуждает «глубокий и исключительный интерес к развитию сельского хозяйства».

А революционные идеи, вероятно, не без Катиного влияния, увлекли ее подросшую сестру Веру, тогда еще гимназистку. Она вошла в нелегальную организацию социал-демократов большевистского толка. Руководили группой Николай Бухарин и Григорий Бриллиант (Сокольников). В нее входили и другие будущие советские деятели: Г.И.Ломов, В.И.Вегер, П.Г.Смидович. Состояли в ней юный Владимир Маяковский и столь же юный Илья Оренбург.

Почти 50 лет спустя, в мемуарной книге «Люди. Годы. Жизнь», которой зачитывалось мое поколение, Оренбург вспомнил друзей-подпольщиков, в их числе Веру Сахарову.

Нелегальные собрания партийной группы проходили у Сахаровых дома. 29 июня 1908 года к ним нагрянула полиция. Катю и Веру арестовали, препроводили в Бутырскую тюрьму, где уже томились Григорий Бриллиант и Илья Оренбург.

«Когда летом 1908 года меня вели по коридору Бутырской тюрьмы, я вдруг увидел Брильянта, – вспоминал Илья Григорьевич. – Мы поздоровались глазами – конспирация не позволяла большего».

Бриллиант уже был приговорен к году тюрьмы. После отсидки его отправили в сибирскую ссылку, откуда он бежал. Эренбург потом встретил его в Париже. А пока, по сообщению М.А.Вишняковой, Эренбурга и сестер Сахаровых выпустили под расписку о невыезде.

К подпольной работе сестры Сахаровы не вернулись.

Летом 1906 года, еще до поступления в Петровку, Катя отправилась в Аткарский уезд Саратовской губернии, «охваченный недородом и голодом». Земские организации открыли для голодающих бесплатные столовые, Катя работала в одной из них, по-видимому, тоже бесплатно. Кем она там была – поварихой, подавальщицей, посудомойкой, уборщицей?.. Вероятно, всем, чем придется. Так она возвращала *долг* обездоленному народу. Для нее это был маленький подвиг: выросшая на всем готовом, «она была практически лишена умения организовать быт, <…> и это тяготение бытовыми

проблемами сопровождало ее всю жизнь»[41].

2.

В Петровке Екатерина Сахарова училась столь же добросовестно, как в гимназии и на Высших курсах. Перед окончанием института, в 1911 году, она проходила агрономическую практику в каком-то уезде Московской губернии. Хотела работать там и после окончания института, но администрация ее не утвердила. Видимо, потому, что в ее личном деле имелось пятно: она числилась неблагонадежной. А может быть, неблагонадежным для уездных чиновников было само сочетание слов *женщина* и *агроном.*

После защиты диплома она начала работать в Лихвинском уезде Калужской губернии, но земское начальство ее снова не утвердило. Однако главная причина, почему Екатерина Николаевна не стала агрономом-практиком, была не во внешних препятствиях, – она таилась в ее душе. Ее стремление *служить народу* в качестве агронома шло от головы, а не от сердца. Недолгие месяцы практической работы показали, что душа ее к этому не лежит.

Она выросла в Москве, хорошо знала и любила свой город, привыкла к городской сутолоке, шуму, толпе, постоянно бывала в театрах, на концертах, на публичных лекциях, художественных выставках, привыкла к общению с широким кругом интеллигентных людей, хотя и мало с кем из них сближалась и страдала от одиночества. Каково же было ей в деревенской глуши! С унынием, в которое повергал ее «идиотизм провинциальной жизни», она не могла совладать.

Николай предлагал ей заняться вместе с ним сельскохозяйственной наукой: селекцией, ботаникой, болезнями и иммунитетом растений. Но для Кати такая работа мало отличалась от просто агрономической: такое же копание в земле! К тому же она полагала, что научная биология только зарождается, прямую пользу земледельцу она не приносит, а заниматься «наукой для науки» означало бы изменить народному делу.

Из заколдованного круга ей удалось вырваться благодаря ее любимому учителю профессору Фортунатову. От него она восприняла убежденность в том, что самый короткий путь к улучшению жизни земледельца – это кооперация. В России она была особенно насущной и актуальной.

В стране проводилась столыпинская земельная реформа. Если

раньше крестьяне владели землей сообща, получая наделы во временное пользование, то теперь им разрешалось и даже поощрялось свободно выходить из сельской общины, забирая свой «пай», то есть свою долю земли. Надел становился их *частной собственностью.* Тем важнее было учить крестьян объединяться для совместного сбыта продукции, для аренды дорогостоящей техники, для совместной обработки земли, для других общих нужд. Фортунатов изучал кооперативное движение Англии, Германии, Италии, других стран Западной Европы, пристально следил за его развитием в пореформенной России.

После отмены крепостного права в стране шел бурный рост капитализма, а вместе с ним – кооперативного движения. Объединялись в товарищества предприниматели, объединялись в производственные бригады шабашники, объединялись в артели бурлаки.

В земледелии этому мешали темнота и неразвитость крестьян. Фортунатов считал, что одна из главных миссий агронома – объяснять земледельцам выгоды объединения в товарищества и артели. Эти идеи восприняли многие ученики

Фортунатова, в их числе Екатерина Сахарова. Рядом с ней училась плеяда будущих экономистов-аграрников, самым деятельным и талантливым из них был Александр Чаянов, будущий основатель и глава научной школы. Дружбу Екатерины Сахаровой с Александром Чаяновым подтверждают упоминания о нем в ее дневнике. Стихи Чаянова об alma mater она с удовольствием переписывала в свой дневник. О том, как высоко она ставила Чаянова, говорит ее запись об «одной известной мне тогда по имени звезде»:

«Слишком занятно видеть, как по тем же аудиториям, но, конечно, совсем иначе, чем мы, следует der grosse Mann! Несомненно, хорошо читать Герцена или Гельмгольца, – несомненно, еще лучше быть современником Толстого или Оствальда, – но насколько же лучше видеть и слышать, как здесь вот, рядом, растет, движется и действует гениальная личность»[42]. Похоже, что Александр Чаянов был первой любовью Кати Сахаровой, по-видимому, безответной.

В изучении и пропаганде кооперативного движения в сельском хозяйстве Екатерина Сахарова обрела себя. Она не сразу отыскала эту стезю, но уже в ходе поисков ощущалась в ней твердая уверенность в себе.

Как раз этого не хватало тогда Николаю! В том же письме, в котором он сообщал ей о «нескромном хотении посвятить себя Erforschung Weg», написанном после сдачи последнего выпускного экзамена, когда он пребывал в «радостном

настроении», есть и такие строки:

«Мало уверенности в себе, в силах. Подчас эти сомнения очень резки, сильнее, чем кажется со стороны. Заносясь мысленно вперед, ощупываешь постоянно опору под ногами. <…> Знаю, хорошо знаю, что предстоят громадные трудности, что слишком zu wenig der Anlagen[43], и знаю, что возможны разочарования и отступления, и заранее расширяю путь к этому отступлению, даже по всему фронту».

Подобными же мыслями, как мы знаем, был наполнен его студенческий дневник. В Кате Сахаровой он искал – и находил! – опору, которой не ощущал в себе самом.

Внешне веселый, открытый, лихорадочно деятельный, легко контактирующий с каждым встречным, Николай Вавилов был внутренне замкнут; сокровенные тайники его души были на запоре, о том, что в них творилось, никто не догадывался. Катя была замкнута и внешне, и внутренне. Отомкнуть друг перед другом эти запоры им было нелегко. Даже дневнику своему Катя не доверяла своих самых интимных переживаний. О Николае упоминала редко и скупо, никогда не называла его по имени и очень редко – по инициалам. В ее дневнике – объемом с небольшую книгу – *любви* к нему посвящен один абзац, путаный и невразумительный:

«Утром. Проснулась и сразу почувствовала на душе что-то постороннее, чужое и мешающее. На западе небо окрашено в нежный розовый цвет от раннего солнца, а на душе по-прежнему что-то постороннее и тяжелое. Тогда поняла, что это от того, что я вчера рассердилась на Н.И., т. е. тогда-то я это не так поняла, а позднее. А в начале лежала на спине и вспоминала, что жизнь, собственно, кончена – прошла, и что надо только как-нибудь незаметно провести еще 2–3 года, и тогда будет хорошо, но собственно хорошо не было, а было очень плохо, и провести еще год было страшно тяжело и неинтересно. Тогда я перевернулась, небо на западе стало обыкновенным, голубым, а я вдруг почувствовала, поняла, что я все-таки люблю этого дорогого, милого мальчика и буду любить, как его любят мать, сестры и брат. И как не могу не любить я, потому что нельзя, зная его, не любить его. И сразу же жизнь и всё вокруг приняло нежный и ласковый оттенок и стало всё легко и ясно. Как можно требовать чего нельзя от человека, которого любишь? Как можно сердиться? Ведь в этот момент уже не любишь его. Я знаю, что сердиться можно только за свою любовь, которую отвергают. Так было и с Верой, и с Адей. Но что нужно для любви? Разве не она сама, как солнце и не всё для нее? И от нее?»[44]

Замкнутая и предельно сдержанная Катя сближалась с

Николаем очень медленно, с натугой, как бы ощупью. Мешали особенности их характеров, а может быть, и чувства к Александру Чаянову, не сразу покинувшие ее сердце.

Но они видятся все чаще, подолгу бродят по московским улицам и закоулкам, по аллеям Петровско-Разумовского парка. Говорят о прошлом и будущем, о науке и философии, о служении народу, о любимых писателях, о петровских профессорах, об общих друзьях, о прочитанных книгах и о тех, что еще не прочитаны, но непременно надо прочесть, о будущей профессии…

Делиться с Катей сокровенными мыслями становится для Николая острой потребностью. Стоило ей, в ожидании несостоявшегося утверждения земским агрономом, уехать в Лихвино, как вдогонку понеслись письма. Они позволяют заглянуть в сокровенные уголки его души.

«В голове витают осколки планов, сомнений, загадок в будущее. Оглядываясь назад, чувствую, что пока пройденный путь был, должно быть, верен <…>. Многое не сделано – и этот долг стеснит последующее движение.

Петровке, сознаю, во многом обязан <…>. Здесь больше светлых лучей, чем теней. Здесь в самом деле получалось то, что пригодится в жизни на каждый случай».

И дальше: «Цели определенной, ясной, которая может быть у любого агронома, не имею. Смутно в тумане горят огни (простите за несвойственную поэтичность), которые манят. <…> В одном из бреславльских отчетов Рюмкер[45] пишет, что если он сделал в своей жизни что-нибудь важное, нужное не только ему одному, то только потому, что он имел в виду всегда постоянно определенную конкретную цель. Увы, ясная и конкретная цель у меня облечена туманом. Но пойду. А там будь что будет».

Полный сомнений и неуверенности, он отдается прихоти ветров.

Гонка за лидером

1.

Селекционную лабораторию в Петровке Дионисий Леопольдович Рудзинский основал в 1903 году. Здесь он начал – первый в России – работы по селекции пшеницы, овса и картофеля методом искусственного отбора; затем к этим культурам он добавил горох. На лабораторию почти не отпускали средств, весь штат ее составляли два полуграмотных рабочих. Однако уже в 1906 году Рудзинский высеял первые перспективные сорта. Два года спустя, на Всероссийской выставке в Петербурге, ему была присуждена Большая золотая медаль.

Селекционная лаборатория превращается в станцию, получает права гражданства. У заведующего появляется заместитель Сергей Иванович Жегалов – очень дельный помощник. Он прошел подготовку в Австрии у профессора Чермака (одного из переоткрывателей законов Менделя), в Германии у фон Рюмкера, в Швеции – на знаменитой Свалёвской селекционной станции.

Появилось у Рудзинского и несколько молодых научных сотрудников – из числа студентов и только что закончивших Петровку.

Николай Вавилов пришел на станцию в разгар строительства. Возводилось главное двухэтажное здание: первый этаж предназначался для рабочих помещений, на втором – квартиры директора и его заместителя, комнаты для практикантов. Возводился сарай с сушильными и амбарными помещениями. На станции разрабатывались научные методы селекции, здесь обучали студентов…

В сравнении с ведущими профессорами Петровки Рудзинский не производил впечатления крупного ученого. Причиной тому была не узость кругозора и не ограниченность познаний, а упорное нежелание сознавать, насколько значительна его роль в нарождавшейся новой науке – селекции. В автобиографии, написанной много лет спустя, Рудзинский даст себе такую оценку: «С рождения моя память ограничена, я не мог иметь широкой научной эрудиции, мало читал и мало написал».

Лидия Бреславец вспоминала, как Рудзинский совершенно серьезно рассказывал своим молодым сотрудникам, что недавно перелистывал старые журналы, углубился в одну статью и поразился: как можно писать такую ерунду? Посмотрел фамилию

автора – оказалось, работа его собственная!..

Важное значение Рудзинский придавал семинарам, проводил их еженедельно, по четвергам. Они помогали студентам и сотрудникам быть в курсе новейших достижений мировой селекции. Восемь – десять человек были их постоянными участниками, почти все стали крупными учеными: профессорами, докторами наук, создателями ценных сортов.

Николай Вавилов на семинарах выступал чаще и глубже других. Шеф, старавшийся быть серьезным, не мог удержать довольную улыбку и нередко признавался, что большую часть литературы по излагаемому вопросу узнал только из доклада Вавилова.

Много позднее Рудзинский ему писал: «Мне очень совестно, когда Вы называете меня своим учителем. Ведь мы лишь совместно работали на станции самостоятельно, и я во много раз заимствовал больше от Вас, чем [Вы] от меня, и вообще на дне горький осадок, что я очень мало давал от себя моим сотрудникам, требуя от них большой работоспособности, которой я был тогда одержим».

Между Вавиловым и Рудзинским установились близкие отношения. Но задачи, которые ставил перед собой Вавилов, были гораздо шире того, что давала ему Селекционная станция Петровки.

2.

На Первом съезде селекционеров России, который состоялся в Харькове в январе 1911 года, Николаю удалось поговорить с Робертом Эдуардовичем Регелем, заведующим питерским Бюро по прикладной ботанике. Регель был одним из организаторов съезда и выступил на нем с программным докладом – о научных основах селекции.

Николай просил Регеля принять его в Бюро временным практикантом. Тот выслушал его вежливо, но довольно холодно. Сослался на загруженность сотрудников и тесноту помещений, но обещал «посодействовать».

Летом, в разгар сельскохозяйственного сезона, было не до поездки в Петербург: слишком большие дела развернул Вавилов в Петровке по исследованию болезней и иммунитета растений. Но осени ждал с нетерпением.

18 октября он решился напомнить Роберту Эдуардовичу о своей просьбе. Тщательно продумал и несколько раз переписал письмо. Чтобы без помарок. Сквозь щеголеватость завитков и

каллиграфическую стройность с трудом угадывается его стремительный почерк: «При личном интересе к вопросам прикладной ботаники, помимо привлекательности работ Бюро, руководимого Вами, к устремлению в Бюро побуждает и то обстоятельство, что собственно прикладная ботаника почти не представлена у нас в Институте, да и вообще в Москве.

<…> Сознавая ясно загруженность Бюро работой, лично постарался бы быть возможно меньше в тяготу работникам Бюро. Необходимейший инструментарий (лупа, микроскоп) захватил бы с собою. С всевозможными неудобствами мирюсь заранее».

Письмо отправлено. Николай ждет ответа.

А Регель медлит. Ему надо выяснить, приступит ли к занятиям другой практикант, которому уже обещано. В Бюро и в самом деле тесно. Благодаря настойчивости Регеля работа год от года расширяется, число сотрудников растет, библиотека пополняется, семенные и гербарные материалы стекаются со всей России, идут поступления из-за границы. Роберт Эдуардович давно уже добивается перевода Бюро в более обширное помещение. Это и произойдет через два года, когда оно переместится на Васильевский остров, в дом Петрова, на углу набережной Макарова и 2-й линии, где ему отведут нечто вроде просторной двухъярусной квартиры на 5-м и 6-м этажах. А пока оно ютится на Выборгской стороне, в своем изначальном пристанище.

О создании Бюро по изучению возделываемых растений России мечтал еще отец Роберта Эдуардовича – Эдуард Людвигович фон Регель, крупный ботаник, автор более тысячи (!) научных работ, директор Санкт-Петербургского ботанического сада. Неожиданная смерть в 1892 году не позволила ему осуществить эту мечту, но уже через два года Бюро было создано – под руководством преемника Регеля-отца, профессора Александра Федоровича Баталина.

Но при нем Бюро не смогло развернуть работу: на него не ассигновали никаких средств, у заведующего не было ни одного помощника. Да и возглавлял он Бюро только два года: ранняя смерть оборвала его деятельность. Заведующим стал Иван Парфеньевич Бородин, профессор ботаники Санкт-Петербургского земледельческого и лесного института, будущий академик и вице-президент Академии наук. Он приютил Бюро при своей кафедре, а частью у себя на квартире. В числе многих обязанностей руководство Бюро по прикладной ботанике не было для него главным, но он сумел добиться ставки научного сотрудника Бюро и пригласил на эту должность Роберта Эдуардовича Регеля – младшего сына покойного директора

Ботанического сада.

Бородин знал Регеля-младшего как перспективного молодого ученого, получившего отменное образование в России и за границей. По совету Бородина он приступил к изучению ячменя. Такой выбор объяснялся двумя обстоятельствами: тем, что ячмень – это культура с большим разнообразием форм, исследователю было где развернуться; и тем, что скромные финансовые возможности Бюро не позволяли взяться за главный хлеб Земли – пшеницу: у нее было еще большее разнообразие форм, требовался значительно больший размах работы.

В 1904 году Бородин передал руководство Бюро Регелю. Через год Ученый комитет при министерстве сельского хозяйства утвердил его в этой должности.

Роберт Эдуардович отличался большой методичностью в работе. Он рыл нору с настойчивостью трудолюбивого крота. Его работа по ячменю шла столь успешно, что уже в 1906 году Бюро удостоилось Почетного диплома на Всемирной выставке в Милане. Это была высшая награда. Регель добился ассигнований на аренду небольшого помещения на Выборгской стороне, тогдашней окраине Петербурга. Благодаря его настойчивости финансирование работ с каждым годом росло; с 1907 по 1914 год оно было увеличено в 30 (!) раз. Появились научные сотрудники, взявшиеся за изучение отдельных культур: пшеницы – К.А.Фляксбергер, овса – Д.И.Литвинов, сорных трав – А.И.Мальцев, луговых растений – В.А.Кузнецов, бобовых – П.И.Мищенко. Появились практиканты – постоянные и временные. Были основаны опытные станции в разных почвенно-климатических зонах страны, их работу надо было направлять и координировать.

В помещении становилось все теснее. Расширяющаяся библиотека выползла из отведенной под нее комнаты в коридор. Канцелярия ютилась в передней.

Регель ни в чем не терпел небрежности. Требовал, например, чтобы сотрудник, изучающий «свое» растение, коробки с семенами красил в строго определенный цвет. Пшеничник Фляксбергер уставлял стеллажи красными коробками, специалист по овсам Литвинов – зелеными, сам Регель – синими. Эта внешняя форма отвечала всему смыслу, содержанию их работы. Они приводили в порядок сортовой материал российских полей.

Необычайный хаос, пестрота царили на этих полях, еще почти не тронутых наукой. Крестьяне, да и помещики не вели направленного отбора, сеяли что попало, и вот образцы этих пестрых посевов поступали в Бюро. Здесь их разбирали по видам,

разновидностям, сортам, раскладывали по коробкам, тщательно надписывали и наклеивали этикетки. Только при большой четкости и идеальном порядке можно вести такую работу.

Так мог ли Регель допустить, чтобы в Бюро толклись лишние люди – без определенных рабочих мест? Вавилов способный юноша – Регель навел справки. Он готов даже сделать для него исключение. Но ведь это создаст нежелательный прецедент…

Наконец, выясняется: один из уже принятых практикантов приехать не сможет. Вавилов получает долгожданный ответ: «Весьма охотно мы предоставим именно Вам занятия у нас в Бюро <…>. Свободный микроскоп у нас имеется. Если бы Вы могли привезти с собою препаровальную лупу, было бы хорошо».

3.

Николай начал с пшеницы, то есть с «красного» кабинета Константина Андреевича Фляксбергера – человека спокойного и невозмутимого. «Он целые дни, а подчас и ночи, как некий гном, просиживал над изучением остей, пленок, соломы, рылся в литературе, в полевых журналах и все добытые материалы заносил в колоссальную книгу, без которой и вне которой его невозможно было представить». Так писал о Фляксбергере К.И.Пангало – первый летописец Бюро по прикладной ботанике.

Листая эту «пшеничную энциклопедию», Вавилов с удивлением убеждался, что ему «оказалось многое уже известным».

Многое, но, конечно, не всё: «Выяснил несколько деталей при определении пшениц. <…> Заведующий пшеницей в Бюро Фляксберг[ер] – чистый ботаник, систематик, очень осторожный в выводах и обобщениях. Беседы с ним – интересны».

Как далеко ушел он в понимании того, что по-настоящему интересно в науке, с тех пор, когда завороженно вбирал в себя лекции Худякова! Не с таким ученым, который извергает феерические умозрения, а с педантичным и осторожным Фляксбергером, вечно вставляющим в свою речь все эти «может быть…», «есть некоторые основания полагать…», «не исключено, что…», «хотя, с другой стороны…» – вот с кем теперь интересно ему беседовать! Только «жаль, что он страшно занят», и потому не удается обсудить с ним «наиболее серьезный вопрос», который интересует Вавилова: «…выяснить, какой смысл имеет вся их работа, какой смысл имеет втискивание форм в ту или иную искусственную классификацию, не имеющую, как сам Фл[яксбергер] признает, никакого отношения к родству и

генезису растений…»

Выходит, не исчезла в нем все же худяковская жилка! Ему *нужны* выводы и обобщения – конечно, осторожные, конечно, строго обоснованные, но от этого не менее широкие, не менее «философские»!

Ости, пленки, солома – всё это нужно, необходимо. Но не само по себе. Должен же быть внутренний смысл в детально разработанной классификации, делящей растения на роды, виды, разновидности, сорта. Должна же быть какая-то связь между сортами одной разновидности и принципиальное отличие их от сортов другой разновидности. Не только внешнее – в этом, при известной опытности, нетрудно разобраться, хотя и «систематики Бюро часто не уверены в некоторых признаках». Но и внутреннее. То, что связано с историей растения, его эволюцией, родством и генезисом, то есть с *происхождением* форм!

Роясь в библиотеке Бюро, Николай обратил особое внимание и даже перевел с английского брошюру Аарона Ааронсона о найденной им дикой пшенице двузернянке, которую автор считал родоначальницей культурной пшеницы.

Кто такой Аарон Ааронсон, Вавилов еще не знал. Узнает впоследствии, когда побывает в Палестине и получит в подарок книгу его посмертно изданных дневников…

Аарон Ааронсон родился в Румынии. Ему было шесть лет, когда семья иммигрировала в Палестину – далекую, заброшенную провинцию Оттоманской империи. Это была знойная полупустыня с редким кочевым населением и еще более редкими вкраплениями маленьких сельскохозяйственных поселений, крайне скудных из-за нехватки воды.

Французский посол в Турции владел земельной собственностью вблизи поселения Гиват Замарин. Земля пустовала, и посол позволил еврейским переселенцам ее осваивать.

Положение переселенцев было бедственным, отношения с соседями-арабами напряженными, стычки нередко кончались кровопролитием. Евреи уже готовились покинуть негостеприимный поселок, но на помощь пришел барон Эдмон Ротшильд. Он финансировал рытье колодцев, устройство виноградников и строительство винного завода. Поселок стал расти и благоустраиваться. Постепенно он превратился в небольшой городок Зихрон-Яаков, названный так в честь отца Эдмона Ротшильда – Яакова.

В школе Аарон Ааронсон был лучшим учеником, хотя должен был помогать отцу в полевых работах, а матери – воспитывать младших братьев и сестер. Его успехи в науках были столь

значительны, что его направили во Францию – в сельскохозяйственный институт, где он учился на счет, конечно, того же барона Ротшильда. Проучился только два года, так как Ротшильд, оценивший его способности, отправил его назад в Палестину – инструктором по сельскому хозяйству в Метуле, новом поселении, основанном на земле, купленной у прежнего владельца тем же Эдмоном Ротшильдом.

Еврейские переселенцы, в основном из России, где они подвергались гонениям и задыхались в черте оседлости, были одержимы стремлением к земледельческому труду. Но урожаи были слишком скудными, прокормиться продуктами своего труда могли лишь немногие. Выручала помощь финансовых магнатов, поддерживавших идею создания еврейского национального очага на исторической родине: Ротшильдов, Варбургов, Шиффов. Благотворительность распределяло руководство так называемого старого *ишува*; оно требовало строгого соблюдения религиозных норм и запретов. Семья Ааронсонов принадлежала к *новому ишуву*, то есть к менее ортодоксальным переселенцам, светским, стремившимся к политической и экономической независимости Палестины.

Один из главных путей к этому состоял в повышении продуктивности сельскохозяйственного производства.

Аарон Ааронсон много ездил по Палестине и прилегающим провинциям Оттоманской империи (нынешние Сирия, Ливан, Иордания), собирал местные растения, образцы почв, изучал геологическое строение, особое внимание уделял поиску источников воды.

В одном из таких путешествий, в 1906 году, на горе Ермон, он наткнулся на заросли дикой пшеницы двузернянки, Triticum dicoccoides. По описанию Ааронсона, дикая двузернянка была неприхотлива и засухоустойчива, росла чуть ли не на камнях.

Вот прародитель главного хлеба земли, а может быть, и вообще земледелия!

Публикация об этом открытии вызвала сенсацию в ученом мире.

В 1909 году Ааронсон, по приглашению Департамента земледелия США, отправился за океан. Огромное значение открытого им дичка, как родоначальника культурной пшеницы, подтвердил ведущий специалист американского Бюро растениеводства О.Ф.Кук. Ааронсону удалось заинтересовать своим открытием финансовых магнатов и получить средства на создание сельскохозяйственной опытной станции, которую он и основал в маленьком прибрежном поселении Атлит, недалеко от Хайфы.

Познакомившись с брошюрой Ааронсона, Николай Вавилов писал из Питера Кате Сахаровой: «В ней много нового и интересного. Автор – геолог и, производя исследования в Сирии и Палестине, нашел целые поля дикой двузернянки и дикого ячменя. Эта двузернянка признается всеми авторами за родоначальника пшеницы. <…> Я выписал эту брошюру, но она придет месяца через 1,5–2, и тогда пошлю тебе ее с переводом, так как в ней очень ценное – фотографии. Попробую написать Aaronson'у письмо, не вышлет ли двузернянку».

Вероятно, Николай тогда Ааронсону не написал. А если бы написал, то, скорее всего, ответа бы не получил. Слишком крупные события разворачивались в Оттоманской империи и вокруг нее, и всё это прямо касалось судьбы евреев Палестины. А для Аарона Ааронсона ботаника и агрономия были не целью, а только одним из средств для создания на исторической родине «национального очага» – так это тогда называлось.

В 1908 году в Оттоманской империи произошел государственный переворот. Султан Абдул-Гамид II был свергнут, на смену ему пришел неустойчивый «конституционный» режим младотурок. Был учрежден парламент, стали проводиться либеральные реформы. И в то же время усилились гонения на «неверных» – в особенности на армян, греков, других христиан, стремившихся освободиться от турецкого владычества.

Положение евреев Палестины становилось все более опасным и уязвимым. В руководстве *ишува* не было единства, как его не было и в международных сионистских кругах. Британские сионисты поддерживали политику своего правительства, германские – своего. Руководство *ишува* боялось каких-либо действий и даже высказываний, которые могли бы спровоцировать карательные меры властей. А Ааронсон считал, что властям надо противодействовать, надо добиваться освобождения Палестины от турецкого господства.

Летом 1915 года – уже шла мировая война – в Палестине и на прилегающих территориях случилось страшное стихийное бедствие: невиданное по масштабу нашествие саранчи уничтожило всю растительность. То, что еврейское и арабское население терпело бедствие, власти особенно не беспокоило, но саранча подрывала боевую мощь воинских частей: их нечем было кормить. А по другую сторону Суэцкого канала стоял британский экспедиционный корпус, готовившийся к вторжению в пределы Оттоманской империи.

Турецкие власти обратились к Аарону Ааронсону: как биолог и агроном, он должен был изыскать меры борьбы с саранчой. Ааронсон поставил два условия. Во-первых, власти должны

освободить его безвинно арестованного друга Абсолома Файнберга и, во-вторых, предоставить ему и его помощникам неограниченную возможность путешествовать по стране.

То и другое было исполнено.

Попутно с изысканием мер борьбы с саранчой Ааронсон исследовал геологию и гидрологию обширной территории, конечно, собирал образцы растений, а также… собирал сведения о расположении войск, их численности, вооружении, боеготовности. Им, его другом А.Файнбергом и сестрой Сарой была создана разведывательная сеть НИЛИ.

Шпионскую информацию они шифровали и передавали британцам. Два года спустя Ааронсон сумел отплыть якобы в нейтральную Америку, но по пути, когда корабль остановился в британском порту, сделал так, что англичане его «взяли в плен». Он добился встреч с высокими чинами британской разведки и министерства иностранных дел. Убеждал их, что располагает информацией, которая поможет разгромить Турцию и вывести ее из войны, но поставил условие: Британия должна дать обещание, что будет содействовать созданию в Палестине еврейского национального очага.

Из Лондона его нелегально переправили в Египет, где располагался британский экспедиционный корпус. В Каир к нему нелегально приезжала сестра Сара. Аарон убеждал ее остаться в Египте, но она вернулась домой. Вскоре власти напали на след НИЛИ. 1 октября 1917 года в поселок нагрянул отряд полиции. Сара была арестована. Ее избивали четыре дня, она никого не выдала, а только кричала в лицо истязателям:

– Вы – кровожадное зверье! Мы, слабые женщины, защитим наш народ, мы не позволим сделать с нами то, что вы сделали с армянами. А своими руками вырою вам могилу. Вы поздно спохватились, вам не добиться успеха. Вы проиграли войну. Я отомстила вам за армян, вы будете прокляты, пока мир будет существовать[46].

Ничего не добившись от Сары и других арестантов, их решили переправить в Хеврон – для более «профессиональных» допросов. Узнав об этом, Сара сказала, что должна сменить окровавленную одежду. Под конвоем вооруженного солдата она пришла к себе в дом, а охранник, коему, вероятно, была дана или обещана взятка, в дом вместе с ней входить не стал. Оставшись одна, она быстро написала письма, потом зашла в ванную, достала из тайника пистолет, который не был найден при обыске. Из опасения, что не выдержит дальнейших пыток, она выстрелила себе в рот… Несколько дней умирала в невероятных мучениях. Вошла в историю как еврейская Жанна д’Арк…

В 1919 году на Версальской мирной конференции решалось политическое устройство послевоенного мира. Участвовало 27 стран. Конференция, с перерывами, длилась целый год: согласовать различные интересы было очень непросто.

По знаменитой декларации Бальфура, Британия, ставшая протектором Палестины, обязалась «с одобрением рассматривать вопрос о создании в Палестине национального очага для еврейского народа и приложить все усилия для содействия достижению этой цели». Аарона Ааронсона декларация Бальфура устраивала только частично. Хорошо зная местные условия, он добивался того, чтобы границы «национального очага» были четко определены. В них должны входить истоки реки Иордан и другие источники пресной воды: без этого, по его понятиям, «национального очага» не могло получиться. Он составил подробные карты, собрал мешки документальных материалов.

15 мая Аарон Ааронсон, на маленьком двухместном самолете, вылетел из Лондона в Париж, чтобы представить участникам Версальской конференции свой проект устройства «подмандатной» Палестины.

Самолет до Парижа не долетел. То ли из-за резко ухудшившейся погоды, то ли из-за неполадок в моторе он потерял управление и разбился. Летчик и пассажир погибли. Подозрение в том, что авиационная катастрофа была подстроена британскими властями, чтобы Аарон Ааронсон со своим проектом не появился на конференции, вот уже почти столетие интригует историков. Как бы то ни было, он пережил свою героиню сестру только на полтора года.

В 1912 году, детективные приключения Ааронсона были еще впереди. Но и впоследствии, когда Николаю Вавилову о них станет известно, дикая двузернянка его будет интриговать куда больше, чем неординарная судьба ее первооткрывателя.

Поистине символично, что, скороговоркой сообщив Кате об обширной литературе, которую он осваивал в библиотеке

Бюро по прикладной ботанике, он подробнее всего остановился на брошюре Ааронсона. Ведь он еще не знал, что *происхождение* культурных растений станет главным делом его жизни. Пока он лишь искал ответ на «наиболее серьезный вопрос», который так не терпелось ему обсудить с К.А.Фляксбергером.

Ну а если бы ему удалось потолковать с Константином Андреевичем о *происхождении* главного хлеба земли, то он узнал бы, что «заведующего пшеницей» такие вопросы не занимают. Зачем ботанику-систематику пускаться в воображаемые

путешествия вглубь тысячелетий и разгадывать, как, где, когда и какие именно формы дикой пшеницы первоначально вводились в культуру? Вполне хватает возни с остями да пленками. Таков примерный смысл ответа, который Николай услышал бы от Константина Андреевича. И еще – предостережение юному коллеге: ученому не подобает заниматься гаданиями. Только факты! Строго проверенные! И чрезвычайная осторожность в выводах…

Покончив с пшеницей, Вавилов принялся за ячмень – в «синем» кабинете Роберта Эдуардовича Регеля. Потом за овес – в «зеленом» Литвинова. Потом за сорняки – у Александра Ивановича Мальцева, человека резкого, порывистого, «с всегда горячим, повышенным тоном речи», как писал о нем Пангало.

Вавилов переходил из одного кабинета в другой, от одного раздела библиотечного каталога к другому. И все время чувствовал за спиной сдержанное недовольство Регеля.

«Маленькую черточку, а, м.б., она и очень крупная в Бюро прикладной ботаники, отмечу – это резкая дифференциация труда <…> работа имеет, пожалуй, форму фабричного, точнее – капиталистического предприятия. Этим объясняется большая продуктивность Бюро. Лозунг здесь “Спасение в специализации”. Больше чем одно растение (пшеница, овес, ячмень) один человек не может охватить. Моя комната рядом с регелевской, и я сижу и слышу каждый день этот лозунг, который Регель повторяет при каждом удобном случае, и выслушиваю анафемствование “энциклопедизму”. Идеал работника Регеля – это скромный, трудолюбивый, аккуратный сотрудник, специализировавшийся, ну, например, на определении плёнчатости ячменя». Сообщив всё это Кате, он с иронией заключал: «Сижу и ежусь. “Горе вам, энциклопедистам”, “Горе вам, стремящимся объять необъятное, совместить несовместимое”».

Николай не ограничивался одной культурой.

Ежился под суровым взглядом Регеля, но поступал по-своему.

И никто не мог бы его переупрямить.

Это был характер. Тот самый, негнущийся стержень его, казалось бы, мягкой, податливой натуры…

Ему надо было понять смысл искусственной классификации. Связать ее с родством и происхождением растений. А коль скоро речь шла о *культурных* растениях, то – с происхождением самого земледелия. Для этого нужен очень широкий подход.

4.

Поработав день в Бюро по прикладной ботанике, он спешил в Бюро микологии и фитопатологии[47], которым руководил профессор А.А.Ячевский. Здесь он проводил «вторую половину дня», то есть вечера и ночи.

Попасть на стажировку к Ячевскому для Вавилова было ничуть не легче, чем к Регелю.

Лидия Бреславец вспоминала, что несколькими месяцами раньше, на каком-то обсуждении в Петербурге, на котором присутствовали и москвичи, Вавилов докладывал о своих первых работах по иммунитету и болезням растений. Его данные расходились с данными Ячевского. Артур Артурович поспешил к трибуне, но до спора по существу не снизошел. Он не скрывал своего раздражения. «Этот юнец берется меня учить!» – таков был смысл его саркастического выступления.

Взяв еще раз слово, Николай спокойным тоном коротко повторил полученные им данные, подчеркнув, что это результаты опытов, и опровергнуть их можно только более точными опытами. Дальнейшие эксперименты прояснят истину.

Его ответ маститому ученому обезоруживал своей простотой и деловитостью. В нем не было ничего личного.

Микология – наука о грибах; фитопатология – наука о болезнях растений.

Ни малейшей обиды, ни малейшего стремления настоять на своем. Каждое слово – в интересах научной истины. «Болевшие» за него москвичи были в восторге. Темпераментный Пангало горячился, подбивал товарищей, сидевших в зале тесной стайкой, проводить Вавилова с трибуны аплодисментами. Лидия Бреславец с трудом убедила их не устраивать демонстрацию. Бой с профессором Ячевским Николай Вавилов выиграл, не вступая в него.

Тем меньше он мог рассчитывать на благосклонность Ячевского, который слыл капризным и неуживчивым гордецом. Его выходки были одна экстравагантнее другой. Много позднее, после революции, Ячевский вывесит в своем кабинете парадный портрет царя. Не потому, что был монархистом, а, так сказать, из принципа, чтобы показать *этим* большевикам, что он их не боится и презирает.

Мы не знаем, предшествовали ли занятиям Вавилова в лаборатории Ячевского «закулисные переговоры» (может быть, кто-то из маститых ходатайствовал за него), но, приехав в 1911 году стажироваться в Бюро по прикладной ботанике, Николай стал параллельно заниматься и в Бюро микологии. Кате он писал: «У Ячевского в смысле обстановки куда удачнее [чем у Регеля]. Вот сейчас 11-й час вечера, а я сижу в Бюро [Ячевского] и пишу

письмо. В распоряжении библиотека, микроскопы, приспособления, охотно дают указания и советы».

Вопреки своей амбициозной обидчивости, Артур Артурович Ячевский был не только крупным научным работником, но *настоящим* ученым: интересы науки для него были выше тщеславия. Он сполна оценил серьезность намерений Вавилова, и хотя Николай писал о занятиях в его лаборатории: «Здесь мой грех – неподготовленность», Ячевский думал об этом иначе и охотно ему помогал.

Архив Вавилова сохранил копию его письма к Ячевскому, написанного через много лет по поводу двадцатилетия лаборатории: «Дорогой Артур Артурович! По неотложным делам институтов я должен быть в Москве и, к сожалению, не могу поэтому попасть на Вашу вечеринку. Ваша лаборатория, как Вы знаете, мне очень близка, и с удовольствием вспоминаю 1911 и 1912 годы, когда по ночам после дневных занятий в Отделе прикладной ботаники я работал у Вас в библиотеке».

А пока – одиннадцатый час вечера. Полумрак. Та особая тишина, какая бывает лишь в опустевшей библиотеке. Косо падающий свет настольной лампы выхватывает стопку книг на столе. Да чернильницу. Да двойной листок, вырванный из школьной тетрадки. Да руку со стремительно бегущим стальным пером: «Правда, не нашел я здесь многого. Не оказалось почти никакой литературы по иммунитету, но Ячевский обещал выписать и кое-что достать в других библиотеках. Не удается познакомиться и с методикой заражения, на что очень рассчитывал. Пришлось несколько переставить, видоизменить занятия, и порешил прежде всего использовать всё, что есть под руками <…>. Попутно рассматриваю роскошный гербарий Ячевского и делаю подчистки в общих познаниях о грибах».

5.

Занятия его расписаны по часам. По *получасам*, как говорил Вавилов. И когда в 1912 году, 3 марта, он вдруг узнает, что уже третье число, а не второе, то сразу бросается на почту: «Катя, на случай взятия билетов в Художественный [театр] и куда бы то ни было сообщаю, что буду в Москве, по всей вероятности, 13 днем. Так как по недоразумению думал, что нынешний год високосный, а оказалось всего 28 дней в феврале, ну и сломалось расписание».

Недоразумение в письме, а не в календаре: 1912 год *был* високосным. Оно лишь ярче высвечивает, насколько предельной была взятая им на себя нагрузка.

Л.П.Бреславец вспоминала эпизод, относившийся примерно к тому же времени. Она «легкомысленно» согласилась перевести для Вавилова с французского, которым он тогда еще слабо владел, нужную ему статью. Она полагала, что, работая часа по три в вечер, сделает перевод в три приема. Но когда в девять часов вечера она «с чистой совестью» хотела прервать работу, Вавилов посмотрел на нее с таким удивлением, что она осталась. «Разошлись в два часа ночи, но перевод закончили. Потом я убедилась, что не было случая, когда Николай Иванович не доводил дело до конца, он мог совершенно свободно работать по 18 часов в сутки».

Мог!

Многие удивлялись этой его способности, на что он отшучивался:

– У меня ген такой – не спать, от мамаши.

В шутке была доля истины: Александра Михайловна, с четырех-пяти утра хлопотавшая по хозяйству, редко ложилась раньше полуночи.

Но дело не только в этом.

Вавилов нередко дремал в машине во время поездок по опытным станциям. Люди, близкие к семье Вавилова, рассказывали, что иногда он засыпал даже в ванне.

Известен эпизод, относящийся к середине 30-х годов. Вавилов объезжал Кавказ вместе с тремя иностранными коллегами Харландом, Мёллером и Оффермaном. Для экономии времени, они, где было можно, летели на самолете. Но в Баку, из-за сильного ветра, летчик не смог посадить самолет. Он должен был развернуться и лететь на Ганджу, но дотянуть до аэродрома уже не мог – не хватало бензина, о чем он и сообщил пассажирам. Все они засуетились, стали писать письма, завещания. Видя, что им не до прерванного разговора, Вавилов сказал:

– Мы все равно делу не поможем, поэтому лучше поспать.

Летчику удалось посадить машину в низине, защищенной от ветра грядой невысоких холмов. Неподалеку оказалась железнодорожная станция, к вечеру путники на поезде добрались до Баку[48].

Кроме многого другого, этот эпизод говорит о поразительном умении Вавилова концентрировать волю и энергию. Усталость, конечно же, приходила. Но он позволял себе замечать ее лишь тогда, когда сил оставалось только добраться до подушки…

Ритм, в котором работал Вавилов, увлекал людей, вихрем закручивал их. Приехав на опытную станцию, он мог поздно вечером созвать совещание, а, завершая его около полуночи, назначить на четыре утра сбор в поле. И чтобы ясно было, что это

не шутка, тут же выяснял, в какие окна стучать нужным ему работникам.

С четырех вышагивал по полям, по пояс от росы промокший. Мог так шагать до вечера. А на просьбы прервать работу, чтобы передохнуть или хотя бы позавтракать, возражал с виноватой улыбкой, но с тою непреклонностью, которая вдруг неожиданно обнаруживалась в нем – всегда мягком и уступчивом:

– Жизнь коротка – медлить нельзя.

…Впрочем, тут же протягивал проголодавшемуся плитку шоколада, а от второй с видимым удовольствием откусывал сам. (Шоколад у него всегда был с собой.)

Ему уступали не только те, кто по должности был ему подчинен. Бывало и за границей, приехав на опытную станцию, он задавал ее работникам такой темп, что потом им давали недельный отпуск.

Была у него маленькая слабость: любил иной раз покрасоваться своей феноменальной работоспособностью.

Воспоминания Л.П.Бреславец не о петербургских его занятиях – о московских. Но – какая разница? Москва, Петербург, Лондон, Париж, Тегеран, Саратов, Кабул, Марсель, Алжир, Тунис, Багдад, Иерусалим, Рим, Аддис-Абеба, Мадрид, Лиссабон, Берлин, Токио, Тайнань, Нью-Йорк, Мехико, Лима, Гавана, Гватемала, Рио-де-Жанейро… Он-то везде тот же!

В июне 1912-го он писал Кате: «На очереди просмотр сотен сосудов и тысяч делянок с описанием, размышлением». В цифрах нет преувеличения. Сотни… тысячи… – так оно и было.

За два месяца до этого письма, то есть в апреле, они обвенчались. Свадьбу справили скромно и незаметно. Даже ближайшим друзьям, работавшим с Николаем в Петровке на Селекционной станции, он ничего не сказал, но его *выдал* Рудзинский: с ним он все-таки поделился. А.Ю.Туликова объясняла эту его скрытность скромностью и застенчивостью. Она вспоминала, что «в день очередного семинара мы собрались пораньше и приготовили Николаю Ивановичу торжественную встречу: осыпали его со второго яруса дождем бумажек, а потом тепло поздравили. Он был очень смущен и тронут»[49].

Драма идей

1.

На Высших женских (Голицынских) курсах – директором их был Д.Н.Прянишников – Вавилову поручили скромный курс: десять занятий со студентками по систематике культурных растений. Наконец-то он войдет в аудиторию не учеником, а учителем. Разложит на столе образцы растений и – поведет слушательниц по тропам незнаемого. Он не ограничится остями и пленками. Молодежь надо зажечь и увлечь. А увлекает *философия бытия.* Он расскажет им о самых последних достижениях науки: о том, что вчера прочел в зарубежных журналах и что сам наблюдал на опытных делянках. Не только расскажет, но и покажет. Не только на гербарных образцах, но и в поле, где с легким звоном колышутся посевы…

Увы, первое же занятие его сильно разочаровало. Студентки не могли его понять: не были подготовлены. «Нужны азы, в них нужда, а все наслоения, которые самого-то как раз занимают и что, конечно, когда-нибудь войдет в учебники, так почти что бесконечно далеки, что о них воспрещается и помышлять». Да и Прянишников заранее предостерег: «Да не улетим в дебри науки, ибо не тверды отличия ржи от тимофеевки».

Провала не было. Скорее наоборот – он мог бы поздравить себя с успехом. Занятия проводились на опытной ферме в Богородском, студентки простодушно удивлялись, что по одному-двум признакам можно легко определять растения. Они допоздна бродили с ним по делянкам, он даже опоздал на последний из поездов, останавливавшихся на ближайшем полустанке. Узнав об этом, студентки дружной ватагой проводили его до соседней, более крупной станции, где останавливались поздние поезда.

Он не задумывался, чем вызван столь теплый прием. Вероятно, не только разбуженной им любознательностью. Девушек привлекала молодость преподавателя, горячность, с какою он излагал свои мысли. И, может быть, угадываемая чуткостью женских сердец и еще неведомая ему самому его внутренняя сила…

Но у него снова поднялась в душе смута. Всколыхнулись сомнения в своих силах, в способностях к научной работе. Ибо, как не уставал повторять Прянишников, наука и преподавание неразделимы. Отсюда и вывод: если ты не умеешь доносить новейшие научные идеи до слушателей, то и ученого из тебя не

выйдет…

За первым занятием следует второе, третье, четвертое… После каждого – беспощадный анализ, попреки самому себе. С юношеской горячностью он сильно переоценивает каждый свой незначительный успех, и еще сильнее – каждую неудачу.

Между тем его курс не был таким элементарным, каким он сам его характеризовал. В одном из писем он конкретизировал: «Основы современной систематики культурных растений, систематика хлебных и кормовых злаков, бобовые кормовые травы и теоретические основы селекции, теория отборов (Johannsen), экспериментальная морфология, мутации и менделизм» (разрядка моя. – С. *Р.)*.

То есть вместе с азами в его «практикум» входили основы новой науки, генетики, хотя, как он вспоминал впоследствии, в то время «в курсах по наследственности, читавшихся как ботаниками, так и зоологами, больше внимания посвящалось критике менделизма, чем изложению самого менделизма».

Курс из десяти занятий завершен. Они съели массу времени и не принесли удовлетворения. Николай сильно обескуражен, настроение у него мрачное.

И вдруг – потрясение! Прянишников предлагает ему подготовить Актовую речь для торжественного собрания на Голицынских курсах, посвященного началу нового учетного года. На таких собраниях присутствует весь профессорско-преподавательский состав. Выступить на нем с Актовой речью – это честь, которой редко удостаиваются даже лучшие профессора! Николай пишет Кате: «Суть в том, что неудачи с педагогикой настраивают очень скверно и обескураживают самого себя. Почему-то этого не видят со стороны, хотя я ничего ни от кого не скрываю. И по какой-то случайности всякий пустяковый плюс переоценивают. И вот в результате сегодня от Прянишникова предложение: составить Актовую речь для Голицынских курсов ко 2 октября. Я, по правде сказать, оторопел. Наговорил, что чувствую неудобным, неопытен и пр., но, м.б., у них мало народу, и к 1 июля мне дан срок подумать и дать ответ и тему <…>. Мало уверенности в том, что сможешь, сумеешь. Уж очень всё это быстро. Похоже на карьеризм, от коего боже упаси. Боязно переоценки и пустой фикции. Все эти публичные выступления – одно огорчение и неприятности».

Николай почти напуган, но предложение принимает. Пусть Актовая речь станет актом его самоутверждения! «Приготовим что-нибудь а 1а генетика и ее роль в агрономии, только не разрешают такого заглавия. Слово-де непонятное», – пишет он

Кате уже с некоторым ехидством.

Он, конечно, настоял на «непонятном» названии: «Генетика и ее отношение к агрономии». Это означало, что вместе с ним самый серьезный экзамен будет держать молодая наука – генетика.

2.

Со времени переоткрытия законов Менделя прошло 12 лет, но вокруг них не стихали баталии. Одни ученые начисто оспаривали эти законы. Другие – их фундаментальность, всеобщность, приложимость ко всем или большинству организмов. Третьи видели в законах Менделя противовес дарвинизму и, опираясь на них, отвергали теорию отбора как основного фактора эволюции органического мира. Четвертые, наоборот, отвергали законы Менделя именно потому, что их противопоставляли теории Дарвина.

Николай начал свою речь дорогим ему высказыванием Менделеева о том, что «без тесного союза с естествоиспытанием сельское хозяйство обречено полному застою».

Возраст селекции, говорил Вавилов, равен возрасту земледелия, но до начала 20 века научной основы для нее не было. Селекция растений веками шла стихийно. Отдельные селекционеры-художники достигали большого искусства, творили чудеса, но они полагались на интуицию, а не на точное знание.

Законы Грегора Менделя открыли путь к «планомерному вмешательству человека в творчество природы». Они дают «руководящие правила к изменению форм», делают тонкое и сложное искусство гениальных одиночек доступным каждому грамотному селекционеру

«Агрономическое воздействие на сельскохозяйственную культуру, как известно, возможно в двух направлениях: во-первых, оно может простираться на внешние факторы, на среду, в которой произрастает и живет растение и животное, и, во-вторых, оно может непосредственно изменять самый организм культивируемого растения и животного».

Вот эта возможность *изменять самый организм* и делает генетику наукой, необходимой агроному.

Мендель страдал сильной близорукостью, и этот физический недостаток, с трудом восполняемый толстыми стеклами очков, впоследствии вызывал насмешки критиков менделизма. Они забывали, что близорукие глаза вовсе не мешают дальнозоркости

мышления.

Мендель скрещивал разные сорта гороха.

Интуиция исследователя подсказала ему, что для начала следует сосредоточиться только на *одном* четком различии между сортами, не обращая внимания на остальные. Он выбрал различие в гладкости семян, так как некоторые сорта давали круглые гладкие семена, а у других семена были морщинистыми.

Мендель скрестил эти сорта, а когда гибридные растеньица созрели, он собрал свой скромный урожай и стал неторопливо и тщательно, через лупу, осматривать семена. Результат каждого осмотра он заносил в журнал. Он словно обнюхивал разложенные на столе семена, низко склоняясь и щуря близорукие глаза.

Он не спешил.

Его открытие ожидала редкая и в то же время вполне типичная судьба. Редкой она оказалась потому, что слишком много в ней было типичного! После его доклада в Брюннском обществе естествоиспытателей в апреле 1865 года и публикации доклада в «Трудах» этого общества годом позже его работе суждено было тридцать пять лет пролежать невостребованной. Ему некуда было спешить.

Он снова и снова осматривал гибридные горошины – сомнений быть не могло: все до единой они оказались гладкими! Может быть, гибриды растений идут в одного родителя, скажем, только в мать, ничего не беря у отца? Нет! Такой мысли не могло возникнуть у Менделя: проводя скрещивания, он предусмотрел, чтобы на одних делянках растения с морщинистыми семенами были материнскими, на других – отцовскими. Оказалось, что это не имеет значения! Гибриды из двух различных признаков перенимали один, всегда один и тот же, – неважно, от матери или отца этот признак получен; важен сам признак.

Немало удивившись, Мендель высеял *все до единого* зернышки своего урожая.

Теперь он предоставил растениям самоопыляться.

Он ждал терпеливо. Ему некуда было спешить.

Во втором поколении большинство растений тоже дали гладкие семена, но часть – Мендель подсчитал, это была одна четвертая часть – неожиданным образом оказалась с морщинистыми семенами.

Мендель стал исследовать другие признаки. Всякий раз получалось одно и то же. Брал ли он различие в цвете семян или цветков, различие в высоте растений, получалось, что в первом поколении один родительский признак *подавлялся*, а во втором – *проявлялся* опять, – у одной четверти всех растений.

Мендель наблюдал за последующими поколениями, и в них

продолжалось «расщепление» признаков, хотя и с постепенным угасанием.

И его осенила догадка.

Он решил, что для образования того или иного признака будущего растения в зародышевую клетку поступает два наследственных задатка: по одному от каждого из родителей. Если задатки – позднее их назвали генами – не одинаковы, например, один «отвечает» за гладкость семян, а другой – за морщинистость, то у гибрида проявляется только один, доминантный признак (в данном случае – гладкость семян). Рецессивный признак, морщинистость, не проявляется, но задаток его не исчезает, он остается в скрытом состоянии. Хотя все семена в первом поколении гибрида гладкие, каждое из них содержит и задаток морщинистости. Если так, то во втором поколении равны шансы для встречи:

гена гладкости семян с геном гладкости,

гена гладкости с геном морщинистости,

гена морщинистости с геном гладкости, гена морщинистости с геном морщинистости.

В трех первых случаях образуются гладкие семена, в четвертом – морщинистые. Три к одному, что и требовалось доказать.

Мендель стал наблюдать сразу за двумя признаками, потом за тремя, четырьмя…

Оказалось, что различавшиеся у родителей признаки перемешивались во втором поколении гибрида как попало, без какой-либо связи друг с другом. Так, если он брал для скрещивания один сорт с *гладкими желтыми* семенами, а другой с *морщинистыми зелеными*, то во втором поколении появлялись семена четырех типов:

гладкие желтые,

гладкие зеленые,

морщинистые желтые,

морщинистые зеленые.

При трех различающихся признаках получалось девять комбинаций, при четырех – шестнадцать.

То есть ровно столько, сколько позволяла математическая теория сочетаний!

На эти работы ушло восемь лет.

Но и потом, после опубликования «Исследований над растительными гибридами», Мендель продолжал свои скрещивания. Всего он изучил восемнадцать родов растений и даже пчел, проделав около десяти тысяч опытов. Почти все записи Менделя погибли после его смерти, потому мало что известно

помимо того, что вошло в небольшую работу, опубликованную в полулюбительских «Трудах общества естествоиспытателей в Брюнне» за 1865 год[50].

Но этой работы оказалось достаточно, чтобы «перевернуть мир» биологической науки.

Упорству Менделя можно позавидовать, но его нетрудно понять. Он был слишком дальнозорок, чтобы не увидеть за неизменно повторяющейся картиной «расщепления» гибридов великого закона природы. Монашеский сан, вызывавший впоследствии издевательства со стороны ретивых приверженцев диалектического материализма, не мешал Менделю исповедовать строго научное убеждение в том, что между различными явлениями природы существует причинная связь.

Он эту связь нашел.

Открытию Менделя предстояло многие годы оставаться незамеченным вовсе не потому, что его статья была опубликована в провинциальном полулюбительском журнале. Известно, что один из ведущих биологов того времени, Карл Негели, был хорошо осведомлен о его работах. Мендель послал ему оттиск своей статьи, и между двумя учеными завязалась переписка, длившаяся больше десяти лет.

Но Мендель слишком рано родился.

В эпоху, когда в биологии господствовали методы простого наблюдения и описания, Мендель применил точный эксперимент и строго математическую обработку результатов. Потому его работа, таившая в себе огромную преобразующую силу, оказалась миной замедленного действия. Взрыв произошел через тридцать пять лет после его открытия.

Ему некуда было спешить…

Мендель до конца верил в свое открытие и в последние годы жизни любил повторять: «Meine Zeit wird schon kommen!» – «Мое время еще придет!»

Но пока оно не приходило, и знаменитый ботаник Карл Негели его не понял. Негели был одним из пионеров применения в биологии математических методов. К концу жизни он близко подошел к открытию некоторых менделевских закономерностей, но не вспомнил о давней переписке с монахом из города Брно!

3.

Между тем вопросы наследственности все больше волновали ученых.

«Гению Дарвина в особенности обязаны мы точной формулировкой генетических вопросов, общим подъемом интереса к этой области и громадным материалом по наследственности и изменчивости, сведенным в его работах», – подчеркивал Николай Вавилов в своей Актовой речи.

Как мы знаем из дневниковых записей Николая Вавилова, он считал открытия Дарвина столь же важными для биологии, как открытия Ньютона для физики. Теория Дарвина не только объясняла механизмы эволюции органического мира, но ставила на очередь новые проблемы. Хотя поначалу было не до новых проблем. Теория естественного отбора посягала на незыблемость сложившейся картины мира, с чем многие не хотели мириться. Больше двух десятилетий ушло на то, чтобы отстоять эволюционное учение в борьбе с ее отрицателями.

В пылу этой борьбы и прошла незамеченной статейка провинциального монаха, вздумавшего к тому же изъясняться на языке математических формул.

Шли годы, и вместе с ними шел вперед основной фронт биологической науки.

Стало общепризнанным, что эволюция живого мира – это факт и что в основе эволюции лежат три фактора: *наследственность, изменчивость* и *отбор.*

Причины *отбора* вскрыл Дарвин: перенаселенность и борьба за существование в животном и растительном царстве.

Но чем определяется наследственность и изменчивость?

Насколько наследственность консервативна, в какой степени изменчивость распространена, какие механизмы приводят их в действие?

Расшифровать механизм изменчивости и эволюции еще в начале XIX века пытался французский натуралист Жан-Батист Ламарк.

Всем известно, что от усиленного употребления какого-либо органа у животных этот орган развивается; если же он длительное время не работает, то постепенно атрофируется. Ламарк постулировал, что такие изменения передаются по наследству и продолжают усиливаться в последующих поколениях. Так происходит эволюция живой природы.

Дарвин считал, что наследственная изменчивость не имеет определенной направленности и не приспосабливает организмы к меняющимся условиям существования. Только отбор, уничтожая нежизнеспособные формы и сохраняя наиболее приспособленные, обеспечивает прогрессивную эволюцию.

Каковы механизмы наследственной изменчивости? Этого Дарвин не знал, и позднее стал склоняться к идеям Ламарка.

Он даже упрекал себя в том, что недостаточно учитывал *прямое* приспособление организмов к условиям среды.

Дарвин не замечал, что противоречит себе!

Ведь если согласиться, что условия существования, среда, направленно изменяют наследственную природу организмов и делают их все более приспособленными, то из эволюционного учения исчезает самое главное – *отбор*\ Какие же организмы *отбирать*, если они передают по наследству свои приспособления к внешним условиям?

Немецкий зоолог, профессор кафедры дарвинизма Фрейбургского университета Август Вейсман воинственно и талантливо пропагандировал эволюционное учение. Когда борьба за дарвинизм увенчалась победой, он почувствовал, что наступила пора дальнейшего развития теории эволюции. Для проникновения в механизмы наследственности и изменчивости требовалось поставить опыты.

Вейсман стал рубить хвосты мышам.

Отрубленные хвосты он тщательно измерял и результаты заносил в журнал. Затем он скрещивал бесхвостых мышей, рубил их детенышам хвосты, измерял, записывал, опять скрещивал… Он изрубил хвосты двадцати двум поколениям мышей. Изувеченных животных было 1592. Во всех поколениях длина хвоста колебалась между 10,5 и 12 миллиметрами. Ни одного случая, когда цифры вышли бы за эти пределы! Ни в первом, ни в двадцать втором поколении. Приобретенный признак (бесхвостость) НЕ передавался по наследству.

Вейсман выдвинул теорию, по которой в организме мыши, как и любого животного или растения, по существу, скрыт еще один организм, то есть план для его построения. Этот «внутренний» организм, *генотип*, как его назвали впоследствии, не меняется оттого, что изменились условия жизни. Меняется только *фенотип*. Мы можем отрубить мыши хвост или ухо, говорил Вейсман, можем, регулируя кормление, сделать ее более или менее толстой, но этим мы не изменим ее наследственной природы. Мышь будет давать такое же потомство, как ее сородичи, находящиеся в других условиях.

Вейсман развил идею о *наследственном веществе*, в котором сосредоточены *задатки* наследственных признаков.

Он предсказал, что наследственное вещество должно быть сосредоточено в хромосомах клеточного ядра.

Однако идеи Вейсмана, как и некоторых других видных ученых конца XIX века – Страсбургера, Гертвига, де Фриза – не выходили за рамки более или менее правдоподобных гипотез.

К.А.Тимирязев в 1900 году охарактеризовал их иронически, цитируя шекспировского Гамлета:

– Слова, слова, слова!..

Именно этой фразой, со ссылкой на Тимирязева, Николай Вавилов оценил в Актовой речи умозрительные концепции, предшествовавшие переоткрытию законов Менделя. Однако Вавилов подчеркивал, что эти «слова» подготовили почву для второго пришествия этих законов.

В 1900 году три ученых, Гуго де Фриз, Карл Корренс и Эрих Чермак, почти одновременно и независимо друг от друга пришли к результатам, полученным ранее Менделем, и тут же обнаружили его работу. «За короткий промежуток времени, – подчеркнул Вавилов в Актовой речи, – изменился резко и общий характер работы в генетических исследованиях. На место философского умозрительного направления, еще недавно царившего здесь, преобладающими становятся опыт и точное наблюдение».

В науке началась новая эра.

4.

Между тем селекционеры продолжали действовать по старинке. Даже самый простой метод селекции – искусственный отбор – научно не был проработан. В одних случаях отбор приводил к появлению ценного сорта, в других случаях отбор ежегодно повторяли, а улучшения сортов не было.

Переоткрытие законов Менделя позволило понять, в чем тут дело. Как показал датчанин Вильгельм Иогансен, отбором можно выводить сорта из *популяций*, то есть смеси сортов и их гибридов. *Отобрав* из популяции нерасщепляющееся растение с нужными земледельцу свойствами и размножив его, селекционер получает новый сорт, *чистую линию.* Дальнейший отбор в пределах чистой линии к улучшению сорта не приведет. К примеру, семена могут быть более или менее крупными из-за неодинаковых условий в пределах поля, а не из-за наследственной природы растений. *Отбирать* из них более крупные для дальнейшего размножения бесполезно: сорт более урожайным не станет.

Теория чистых линий – важный шаг в развитии генетики и селекции, подчеркивал Вавилов в своей Актовой речи.

Однако из своей *правильной* теории Иогансен сделал *неверный* вывод: изменчивость в природе ограничена; она имеет место лишь до того, пока отбор, искусственный или естественный, приведет к образованию чистых линий. После этого

эволюционное развитие прекращается. Так Иогансен «остановил» эволюцию!

Но эволюция – непреложный закон природы. Это давно уже признавало подавляющее большинство ученых. Они стали искать выход из тупика.

Правда, теория чистых линий была опубликована в 1903 году – уже после того, как выход был найден. Но немногие ученые это осознавали.

5.

Русский академик С.И.Коржинский[51] в 1899 году, а через два года после него более глубоко и обоснованно голландец Гуго де Фриз, рассказывал в своей Актовой речи Вавилов, выдвинули *мутационную* теорию изменчивости.

Гуго де Фриз обнаружил, что среди одинаковых особей некоторых растений очень редко, но неизменно появляются формы, резко отличные от исходных. Он заключил, что живым организмам свойственно иногда резко изменять свою наследственную природу. «Вот как возникают новые виды, роды, семейства!» – решил Гуго де Фриз после долгих кропотливых исследований.

Он ставил опыты два десятка лет, начав их еще в 1880-е годы, и все же слишком поспешил с выводами!

Его теория, проливая свет на процесс изменчивости, блестяще подтверждала дарвиновское учение, но сам он противопоставил внезапные изменения (мутации) теории Дарвина: ведь Дарвин говорил о постепенном накоплении мелких, почти незаметных изменений.

– Значение отбора ограничено, – заявил де Фриз. – Эволюция идет путем резких скачков, мутаций.

Позднее де Фриз изменил свое мнение. Он убедился, что чем резче мутация, тем меньше шансов для новой формы выжить в данных условиях среды. Иное дело – мутации мелкие, небольшие. Они тоже чаще всего вредны для организма, приспособленного к определенным внешним условиям. В этих случаях изменившиеся особи ожидает печальная участь. Но иногда, очень редко, небольшое изменение оказывается полезным. Организм становится лучше приспособленным к среде обитания, естественный отбор закрепляет новую форму.

Дарвиновский смысл теории мутаций и подчеркивал Вавилов в своей Актовой речи.

После вторичного открытия законов Менделя началось триумфальное шествие генетики *по жизни* — в самом прямом смысле слова.

Проводились тысячи экспериментов, подтверждавших справедливость этих законов на новых и новых биологических объектах. Одновременно появились данные, уточнявшие картину, нарисованную Менделем. Было установлено, что многие признаки определяются не одной, а несколькими парами генов; соответственно картина расщепления описывалась более сложными математическими соотношениями, чем простое 3:1. Это, впрочем, предсказывал сам Мендель.

Было установлено, что некоторые признаки растений и животных не перемешиваются при расщеплении гибридов второго поколения, а сопутствуют друг другу. Так, белые глаза у плодовой мушки оказались определенно сцепленными с полом: от отцов признак белых глаз переходил только к дочерям. Вместе с тем было показано, что некоторые сцепленные признаки иногда все же расходятся.

Эти странности механизмов наследования объяснил американец Томас Хант Морган, выдвинувший хромосомную теорию наследственности. Морган установил, что таинственные наследственные задатки (гены) сосредоточены в особых образованиях клеточного ядра – хромосомах, как предсказывал еще Вейсман. Хромосомы видны под микроскопом в период деления в клетки. Эти микроскопические структуры хорошо окрашиваются различными красителями, отчего и получили свое название.

Оказалось, что каждому биологическому виду свойственно строго определенное число хромосом, причем в клетках тела их содержится двойной набор, а в половых клетках – одинарный. Так, в клетках человека 46 хромосом, а в половых клетках по 23. При оплодотворении двойной набор хромосом восстанавливается, что дает начало дочернему организму. При этом организм детеныша получает половину хромосом от матери и половину от отца.

Особый интерес представляло то, что при образовании половых клеток с одинарным набором хромосом парные хромосомы обязательно расходятся в разные клетки, причем хромосомы одной пары никак не связаны с хромосомами других пар, при оплодотворении каждая хромосома как бы воссоединяется со своей парой.

Ведь точно так же вели себя при скрещивании и

последующем расщеплении «менделирующие» признаки!

Допустив, что гены сосредоточены в хромосомах, Морган затем нашел этой гипотезе простое и убедительное доказательство.

…Но мы отклонились от Актовой речи Николая Вавилова…

В то время, когда он вслух размышлял об отношении генетики к агрономии, хромосомная теория только начинала складываться. Европейские генетики поначалу встретили ее холодно. Первые публикации американских ученых, возможно, прошли мимо Николая Вавилова либо пути приложения хромосомной теории к агрономии не могли быть еще видны. В Актовой речи Вавилов ее не касался.

Его задача – убедить слушателей в том, что без генетики немыслим дальнейший прогресс практической селекции. Предвосхищая возможные возражения, Вавилов говорил: «Могут сказать, что эмпирический опыт в деле улучшения пород и сортов культурных растений и животных намного опередил научную работу в этой области. И без генетики усовершенствовались, и нередко успешно, возделываемые растения и культивируемые животные <…>. Не умаляя этих крупных успехов эмпирического искусства, все же смело можно полагать, что в освещении научными генетическими исследованиями процесс сознательного улучшения и выведения культурных растений и животных пойдет много быстрее и планомернее».

7.

Переоткрытие законов Менделя требовало пересмотра сложившихся представлений, из-за чего некоторые видные ученые стали «пересматривать» и то, что не следовало: дарвиновскую теорию естественного отбора.

На защиту дарвинизма от слишком торопливых ниспровергателей поднялся неистовый дарвинист Климент Аркадьевич Тимирязев.

Он остро критиковал «мендельянцев», но никогда не заявлял о непризнании законов Менделя, как ему впоследствии приписывали ниспровергатели менделизма, прикрывавшиеся авторитетом его имени. В своих горячих выступлениях Тимирязев показал, что законы Менделя не только не противоречат теории отбора, но, напротив, служат для нее важной опорой. Законы Менделя снимали основную трудность эволюционной теории, так называемый *кошмар Дженкинса.* Этот «кошмар» обескураживал

самого Дарвина, в чем тот признавался со свойственной ему правдивостью.

Инженер Питер Дженкинс рисовал примерно такую картину. Представьте себе поле красных маков, на котором появилось одно или несколько растений с белыми цветами. Допустим, что белый цвет в данных условиях благоприятен для мака, так что отбор его не уничтожит. Но ведь таких растений всего несколько, а красных – целое поле! Растения с белыми цветками будут скрещиваться с красноцветными. Значит, уже в первом поколении потомство белых цветов будет розовым. Но ведь и растений с розовыми цветами окажется сравнительно немного, они тоже будут скрещиваться с красными, и, таким образом, через два-три поколения полезный признак исчезнет, эволюция не пойдет.

Тимирязев показал, что, в свете законов Менделя, нарисованная Дженкинсом картина будет выглядеть совсем иначе. Если белая окраска цветка окажется рецессивным признаком, то уже в первом поколении гибридов *все* цветы будут красными, но задаток белого цвета не исчезнет. Гибридные растения могут и раз, и два, и десять раз скрещиваться с красноцветными растениями; каждый раз в потомстве будут красные цветы. Но задаток белого цвета будет только размножаться. Рано или поздно сойдутся пары с задатками белого цвета, и он проявляться у части ее потомства. Если белый цвет более полезен растению, чем красный, то, в конце концов, он победит в борьбе за существование… То есть Тимирязев *помирил* менделизм с дарвинизмом, что усилило глубокое уважение, какое молодой Вавилов испытывал к «неистовому Клименту».

8.

«Далекие от утилитарных целей, сделанные людьми, чуждыми агрономической профессии, генетические открытия лишний раз подтверждают мысль, что без науки научной не было бы и науки прикладной», – подчеркивал Вавилов в Актовой речи. Связь теоретической и прикладной науки будет проходить красной нитью через всё его творчество.

В заключение своей Актовой речи Вавилов указал на «такие вопросы, относительно которых трудно было бы определить, подлежат ли они ведению агрономической науки или чистой генетики». Таких вопросов он выделил два.

Г[ервый из них – *происхождение* культурных растений и домашних животных. «Восстановить картину генезиса культурного растения и животного, может быть, воссоздать ее –

одна из основных задач науки как агрономической, так одинаково и генетики».

Второй вопрос – углубленное изучение «индивидуальностей, рас, сортов» возделываемых растений. Это он считал особенно важным в земледелии, ибо агрономия, «преимущественно до последнего времени занимавшаяся изучением среды, в которой возделываются растения», мало учитывала биологические особенности самих растений.

Слушатели вряд ли могли осознать, насколько глубоки и содержательны заключительные слова молодого коллеги. Да и сам он еще не знал, что, сосредоточившись на *особенности индивидуальностей*, он откроет биологические законы фундаментальной важности, что создаст теорию *происхождения* культурных растений, что изборождит пять континентов планеты и создаст крупнейший в мире банк генов культурных растений – неисчерпаемую кладовую для преобразования и повышения урожайности возделываемых культур.

У «Апостола»

1.

Стажировка в лучших зарубежных лабораториях была почти обязательным условием для начинающего ученого, «оставленного для приготовления к профессорской деятельности». Только после этого он мог представить к защите магистерскую диссертацию, получить место доцента, потом профессора в университете или научного сотрудника в научно-исследовательском учреждении. Такова была укоренившаяся традиция русской науки. Заграничная командировка хорошо оплачивалась государством, причем стипендиату предоставлялась полная свобода в выборе мест и характера занятий. Но стипендию давали не каждому – надо было выдержать конкурс.

В заявлении на командировку Николай Вавилов развернул широкую программу работ и занятий. Он намеревался ознакомиться «с современным состоянием биологии сельскохозяйственных растений», в частности, с «теоретическими основами селекции», и в особенности с тем, как изучаются в Европе болезни и иммунитет растений. Он уже начал исследования по иммунитету растений на Селекционной станции Петровки, намерен был продолжать их за рубежом и, главное, освоиться со всем тем, что было достигнуто в этой области.

Зарубежная командировка была рассчитана на два года – первый из них он планировал провести в Англии. В его записке названы имена британских ученых Харри Биффена и Маршалла Уорда, «особенно много сделавших в учении об иммунитете растений к грибным заболеваниям». С ними и их работами он планировал познакомиться на месте. Он не знал, что миколога Маршалла Уорда уже не было в живых, зато знал, что Харри Биффен – один из ближайших учеников Уильяма Бэтсона. Он также планировал прослушать курс генетики в Кембриджском университете, который читал другой ученик Бэтсона – профессор Паннет.

«При возможности» Николай намеревался позаниматься у самого Бэтсона в его Институте садоводства, но у него не было уверенности, что это ему удастся. В его представлении Бэтсон был легендарной личностью, олимпийцем, обитавшим в заоблачной выси. Он мог лишь мечтать о том, что Бэтсон снизойдет до безвестного молодого пришельца из далекой России.

2.

Год 1913-й. Снова зыбкая палуба под ногами и снова буйная волна несет его в будущее.

Но теперь плавание было не воображаемым, кораблем служил не вагон трамвая, а самый настоящий морской пароход. И несли его не *волны хаотических вероятностей*, а самые настоящие морские волны.

Первое морское путешествие привело Вавилова к печальному открытию: оказалось, что он не переносит качки. Большую часть пути он – бледный и ослабевший – провалялся в каюте. И все же у реального морского плавания были бесспорные преимущества перед теми, прежними, семь лет назад, когда он, полный сомнений, отправлялся в Петровку, казавшуюся необитаемым островом. Теперь он знал твердо, что остров, к которому он плывет, обитаем. И среди его жителей есть по крайней мере один, ради встречи с которым *нужно* совершить это путешествие.

Заносясь мыслью вперед, он рисовал в своем воображении не причалы лондонского порта, не гранитные набережные

Темзы, не суровые стены Тауэра, не гвардейцев в средневековых шлемах, что несут караул у королевского дворца, – словом, не манящее великолепие британской столицы, а маленький тихий городок Мертон. И даже не весь городок, а находящийся в нем Институт садоводства. И даже не весь институт, а его директора Уильяма Бэтсона.

Бэтсон родился в 1861 году, то есть ему уже перевалило за пятьдесят – по тем временам почти старик. Еще маленьким мальчиком на вопрос о том, кем он хочет стать, он твердо ответил: «Натуралистом!» А немного подумав, добавил, что если для этого у него не хватит способностей, то он, так и быть, согласен стать врачом.

Способностей у него оказалось достаточно, по естественным наукам он всегда был первым учеником.

В 80-х годах XIX века молодой ученый-зоолог заинтересовался проблемами эволюции. Баталии вокруг теории Дарвина к тому времени отшумели, это была тихая гавань. «Прогресс в изучении эволюции, – писал Бэтсон о том времени, – видимо, остановился. Более сильные духом, может быть, более благоразумные, покинули это поприще научной работы и обратились к проблемам, обещающим более обильную жатву и скорый сбор урожая. Из тех немногих, оставшихся на поле битвы, кое-кто пробивается через джунгли запутанных явлений; большинство же беспечно остается на позициях великих открытий, сделанных Дарвином много лет назад».

Бэтсон вклинился в ряды тех немногих, кто «пробивался сквозь джунгли»!

Он путешествовал по Северной Америке, Австралии, Европе, собирая неизвестные формы животных. Полтора года провел в России. При содействии главы географического общества П.П.Семенова-Тян-Шанского он обшарил Среднюю Азию, пытаясь понять, как экстремальные условия внешней среды – беспощадный зной, почти полное отсутствие влаги, бесплодные сыпучие пески – влияют на приспособляемость к ним обитателей пустынь. Он обогащал науку массой новых фактов, стремясь углубить представления о происхождении видов.

Вслед за Августом Вейсманом Бэтсон выступил против теории наследования благоприобретенных признаков. Он выдвинул концепцию прерывистости, ступенчатости эволюции, в чем предвосхитил мутационную теорию Гуго де Фриза.

В 1899 году, на Первой Международной конференции по гибридизации, он выступил с докладом «Гибридизация как метод исследования». Доказывал, что изучение гибридов и их потомства – ключ к познанию законов наследственности.

Он пришел к менделевскому выводу о том, что у гибридов первого поколения одни признаки, как правило, доминируют над альтернативными признаками; он утвердился во мнении, что потомство гибридов необходимо исследовать методами статистики и теории вероятностей. Когда в 1900 году логика развития науки привела к вторичному открытию законов Менделя, Бэтсон встретил их, по выражению Вавилова, «во всеоружии фактов». Он организовал перевод работы Менделя на английский язык и следом (в марте 1902 года) опубликовал свою книгу – «Менделевские основы наследственности», с подзаголовком «В защиту менделизма».

Эта книга выдвинула Бэтсона в лидеры новой области знаний. Она же показала, что автор обладает редким качеством: пренебрежением к личному успеху. Подойдя к открытию основных законов наследственности совершенно самостоятельно, он подчеркнуто назвал их *менделевскими.* Себе он отвел скромную роль защитника и интерпретатора идей давно почившего августинского монаха.

«Во многих хорошо организованных предприятиях есть люди, известные как “будильники”, их неблагодарное дело – будить других от сна и твердить им, что наступило время работы, – писал Бэтсон. – Эту неблагодарную роль беру сегодня на себя я, и если я стучу громко, то потому, что в этом нужда».

Роль, которую принял на себя Бэтсон, была особенно неблагодарной, потому что далеко не все ученые желали

просыпаться и засучивать рукава. Свое право на сладкую дрему они отстаивали тем, что ополчились против менделизма.

В Англии знамя противников Менделя и Бэтсона поднял весьма авторитетный Карл Пирсон – математик, статистик, биолог, философ, основатель математической статистики и биометрии. Пирсон и его ученики «обрушились всем своим математическим авторитетом на идею существования “единиц наследственности”», вспоминал через много лет Николай Вавилов.

Пирсон и его сторонники приводили опыты с пегими собаками. Окраска шерсти в их потомстве не укладывалась в менделевское соотношение 3:1. Из этого они делали вывод, что единицы наследственности – это выдумка, а законы Менделя не имеют всеобщего значения: в лучшем случае это «гороховые законы», то есть они описывают поведение гибридов гороха.

Данные Пирсона не удавалось объяснить до тех пор, пока шведский генетик и селекционер Нильсон-Эле не предложил остроумную теорию «полимерных признаков». По этой теории, некоторые признаки организма определяются не одной парой генов, а двумя, тремя и большим числом пар. Математические соотношения при расщеплении усложняется, но суть остается той же, менделевской. Бэтсон сразу же оценил теорию Нильсона-Эле. Обладая бойцовским характером, он, в острой полемике с Пирсоном, показал, что опыты с пегими собаками не опровергают, а, наоборот, подтверждают законы Менделя.

Но Пирсон не сдавался. Вскоре Вавилову доведется неоднократно прослушать «блистательные лекции Пирсона, посвященные громовой критике менделизма, и даже видеть демонстрацию опытов по скрещиванию пегих собачек»[52].

Карл Пирсон был яркой и очень популярной личностью. Он читал лекции не только перед учеными коллегами и студентами. «И вот, вы себе можете представить почтенную аудиторию Королевского института, где лекции начинались в 9 часов вечера, где дамы появлялись в бальных костюмах (т. к. иначе туда не пускали), а джентльмены во фраках»[53].

Но ветры дули в паруса Бэтсона. Он показал, что законы Менделя имеют универсальный характер для всего живого: им подчиняется и растительный, и животный мир. На опытах с душистым горошком он установил, что некоторые признаки неразлучны при расщеплении гибридов и что «неразлучные» признаки изредка все же расходятся. Это были факты первостепенной значимости (позднее их объяснит хромосомная теория Моргана). Бэтсон дал название науке о наследственности – генетика. В 1910 году Бэтсон и его ученик Реджинальд Паннет

основали «The Journal of Genetics» («Журнал генетики»), скоро ставший ведущим международным органом.

Годом раньше на средства, завещанные миллионером Джоном Иннесом, был создан Институт садоводства в городке Мертоне, недалеко от Лондона. Авторитет профессора Кембриджского университета Уильяма Бэтсона был столь высок, что, хотя по специальности он был зоологом, его пригласили возглавить это ботаническое учреждение.

Бэтсон превратил Институт садоводства имени Джона Инесса в генетический. В нем были развернуты исследования в огромных по тем временам масштабах. К 1913 году, когда в Мертон приехал Вавилов, «это учреждение представляло собой большой европейский институт с прекрасной личной библиотекой Бэтсона».

В институте работало 15 научных сотрудников – штат по тем временам огромный. Вавилова поразило разнообразие научных тем, изучавшихся на самых разных объектах. «Пшеница, лен, кролики, куры, канарейки, прямокрылые, крыжовник, примулы, бегонии, табак, картофель, львиный зев, сливы, яблони, земляника, павлины – всё это составляло темы исследования отдельных работников института. <…> Вся работа объединялась всеобъемлющей личностью руководителя, ведшего ее к единой цели познания процесса эволюции, проблем наследственности и изменчивости в самом широком смысле»[54].

3.

В первую заграничную поездку Николай Вавилов отправился не один. С ним поехала Катя. Она лучше владела английским языком и вызвалась при необходимости быть его переводчицей и помощницей. Так ему было спокойнее. Да и разлучаться на целых два года молодым супругам не хотелось.

В Англии Вавилов, как и планировал, сразу же стал знакомиться с работами Биффена по иммунитету растений и слушать лекции по генетике профессора Паннета в Кембриджском университете. Параллельно он занялся цитологией растений, много часов проводил в библиотеке Лондонского Линнеевского общества, где хранились рукописи и гербарий самого Линнея. Гербарием заведовал доктор Джексон, который «посвятил много лет этому гербарию, прекрасно знает его и охотно дал мне всякие разъяснения. В [Линнеевском] О[бщест] ве, кроме гербария, недурная библиотека, коллекция линнеевских манускриптов, портретов и т. д.»[55].

Вавилов знакомился с оригинальными трудами классиков естествознания: Линнея, Ламарка, Дарвина, «бульдога Дарвина» Томаса Гекели. Вавилов не раз бывал в доме-музее Дарвина: читал его записки, письма, рукописи, перелистывал книги его личной библиотеки с многочисленными отметками на полях. Это позволяло лучше понять Дарвина, проникнуть в лабораторию его мысли.

Но не наукой единой жили молодые супруги в Великобритании! Сохранилось письмо Екатерины Сахаровой сестре Наде (Аде) – о посещении Королевского театра «Друри-Лейн», где давали оперу Бородина «Князь Игорь». Спектакль привез из Парижа неутомимый Сергей Дягилев. Главную партию исполнял Федор Шаляпин. Катя была в восторге! «Не знаю, что лучше всего: то ли, что Шаляпин пел very funny… то ли, что были декорации Рериха, хотя и очень примитивные, или то, что дело было в Лондоне и что англичане устроили овацию после сцены в ханской ставке (где Игорь пел “о дайте, дайте мне свободу, я свой позор сумею искупить”) – всё это вместе взятое было великолепно»[56].

4.

Можно представить себе, с каким волнением ожидал Вавилов встречу с «первым апостолом нового учения», как назвал он впоследствии Бэтсона. Как-то встретит его олимпиец?

Заинтересуется ли его работами? Или отнесется с чопорной английской вежливостью, едва прикрывающей холодное равнодушие?

И какую предложит тему?

Это самое важное: какую предложит тему!

Николай уже два года занимался изучением иммунитета растений, и чем больше в нее углублялся, тем больше возникало проблем, оставлять их нерешенными он не хотел.

Важным разделом его исследований был вопрос о влиянии условий среды на восприимчивость растений к грибковым заболеваниям. В научной литературе он не нашел твердого ответа на этот вопрос. Одни ученые, в их числе Биффен, утверждали, что иммунитет – стойкий наследственный признак, условия среды на него не влияют; другие, в частности, глава французской семеноводческой фирмы Филипп де Вильморен, настаивали, что иммунные в одной местности сорта сильно поражаются болезнью при переносе их в другую местность, то есть условия среды они считали решающими.

В вегетационном домике Петровки Вавилов ставил опыты, искусственно создавая для одних и тех же сортов разные условия: вносил неодинаковые дозы удобрений, накрывал сосуды стеклянными колпаками, создавая под ними атмосферу с разной степенью влажности. Посевы одних и тех же сортов были им произведены в четырех губерниях России. Эти опыты показывали противоположное тому, что утверждал Вильморен: от изменения внешних условий восприимчивость растений к грибковым заболеваниям практически не менялась.

Теперь была возможность посеять те же сорта в Англии с ее очень влажным, а значит, особенно благоприятным для грибов-паразитов климатом.

Но позволит ли Бэтсон? Его ученик Харри Биффен давно уже работает по иммунитету растений – согласится ли Бэтсон, чтобы тем же занялся русский стажер?

Николай во многом был согласен с Биффеном, но считал, что у него слишком упрощенный подход к растительному иммунитету. Биффен полагал, что иммунитет растения к той или иной грибковой болезни регулируется одним рецессивным геном. Николай убежден, что это не так или не всегда так. Взаимоотношения грибка-паразита с растением-хозяином слишком сложны, трудно поверить, что они сводятся к действию одного гена. Это он и намерен сказать Бэтсону при встрече. Но не оскорбится ли «апостол» за своего ученика?..

К сожалению, о первой их встрече известно очень мало, но из того, что впоследствии написал Вавилов, можно заключить, что она была радушной. На благосклонность мэтра к русскому стажеру, возможно, повлияли воспоминания о том, как его самого когда-то принимал в России Семенов-Тян-Шанский. Бэтсон охотно согласился предоставить русскому стажеру место в своем институте. А когда Николай, не без робости, спросил о теме работы, Бэтсон, к его удивлению, стал в тупик! Позднее Вавилов увидел, что, при большом размахе исследований, в Институте садоводства не было четкой системы; тематика не регламентировалась, каждый сотрудник занимался тем, что его интересовало. Вавилов изложил новому руководителю свою программу работ и вместо возражений прочел на лице Бэтсона явное облегчение: его освободили от трудной задачи.

Отношения Вавилова с Бэтсоном скоро переросли в личную дружбу. Чем ближе они становились, тем большим пиететом проникался Николай Вавилов к новому шефу. Широта его интересов была поистине безгранична. Он, например, хорошо разбирался в живописи, коллекционировал книги по искусству.

(Через много лет, приехав в СССР, он купит несколько книг по русской иконописи; вывезти их не сможет из-за таможенных ограничений; Николаю Ивановичу придется добывать специальное разрешение и затем посылать их ему в Англию.)

Когда подошло Рождество, Бэтсон пригласил Николая к себе домой, хотя традиционно англичане проводят праздник в тесном семейном кругу. Бэтсон, видимо, понимал, как одиноко должно быть его русскому другу вдали от родины в тихие праздничные дни, тем более что Екатерина Николаевна недолго оставалась при муже: она ездила по стране, изучала британское кооперативное движение. И не только изучала, но и докладывала о кооперативном движении в России.

Обнаружена любопытная вырезка из какой-то – вероятно, дублинской газеты 1914 года: фотография Екатерины Сахаровой-Вавиловой с подписью (на полях перевод рукой самой Кати): «Лэди, показанная на этой фотографии, – мадам Вавилова (из России), которая была знаменитым визитером на Дуб[линском] конгрессе, на кот[ором] она докладывала в пятницу утром»[57]. Речь идет о конгрессе кооператоров.

Николай с благодарностью принял приглашение Бэтсона, но скоро почувствовал себя не в своей тарелке. Обсуждать за праздничным столом научные проблемы было неуместно, а вести изысканный светский разговор Вавилов не умел, да и английским языком владел еще не свободно. Беседа не клеилась, всем было неловко. Николай чувствовал себя лишним в семье Бэтсона, но не мог придумать благовидный предлог, чтобы поскорее уйти. Случай этот оставил у него неприятный осадок, он дал себе зарок – никогда никому не навязываться, не быть в тягость.

Но расположенность к нему Бэтсона не уменьшилась. Она переросла в симпатию ко всей русской науке. В 1925 году, приехав в Советский Союз, Бэтсон не только выразил готовность обучать в своем институте молодых научных работников из СССР, но и предоставлять им стипендии, что в то время было немаловажно.

А пока, в Англии, Бэтсон был «постоянно готов словом и делом помочь русскому исследователю».

Хотя работу по иммунитету растений Вавилов вел вполне самостоятельно – здесь в серьезной помощи он не нуждался, – общение с Бэтсоном и его сотрудниками было для него бесценным. Он попал в атмосферу напряженных интеллектуальных поисков, причем в области наиболее общих, принципиальных проблем науки о наследственности. Этим воздухом он дышал с упоением; позднее назвал бэтсоновский институт «Меккой и Мединой генетического мира».

В Бэтсоне был неукротим дух бунтарства, дух неудовлетворенности состоянием современной ему науки. Такую неудовлетворенность Максим Горький назвал «тоской по истине» и говорил, что «нет силы более творческой». Николай Иванович Вавилов считал главным, что определило место Бэтсона в биологической науке, это его постоянный критицизм по отношению к новым и старым воззрениям. Возражения Бэтсона, всегда меткие и глубокие, стимулировали творческие искания. В статье, посвященной памяти учителя, Вавилов особенно подчеркивал его умение критически подойти к любой, казалось бы, решенной проблеме.

«В научной работе Бэтсона характерным является, помимо точности экспериментирования, отчетливости, исключительный идеологический скептицизм, – писал Вавилов, – умение необыкновенно ярко, по существу вскрыть ошибочность представлений, умение подходить к проблемам по существу, умение брать наиболее интересное и наиболее существенное».

Думается, не от небрежности стиля троекратно повторено в этой фразе слово существо, существенное. В умении проникнуть в существенное Вавилов видел существо научного дарования Бэтсона. И много существенного взял у нового своего учителя. Духом скептицизма он проникся еще в Петровке, в особенности благодаря Прянишникову, который приучал учеников верить исключительно фактам и не забывать, что рассуждения, выходящие за их границы, какими бы стройными и безупречными они ни казались, всегда оставляют место сомнениям.

Характерно «Письмо из Англии», которое Вавилов прислал в «Вестник сельского хозяйства», побывав на съезде Британской научной ассоциации. Его внимание привлек доклад профессора Б.Мура с длинным названием: «Синтез органического вещества неорганическими коллоидами в присутствии солнечного света в связи с вопросом о происхождении жизни». Доклад был заслушан на совместном заседании биологов, химиков и физиков; его название невольно приковывало всеобщее внимание.

Чарльз Дарвин, воздвигнув монументальное здание эволюционной теории, показал, как постепенно происходило развитие жизни на Земле – от простейших организмов до высших растений и животных, включая человека. Но ни в одном из своих трудов он не упоминал о происхождении жизни, то есть о том, как же возникли первичные простейшие организмы. В этом «упущении» таилась большая мудрость великого натуралиста. Научных данных для решения вопроса о происхождении жизни не было, а строить воздушные замки было не в духе Дарвина.

Интригующий вопрос он сознательно оставил за гранью своих исследований.

Между тем задолго до Дарвина, еще с античных времен, было распространено убеждение, что простейшие организмы возникают самопроизвольно из неживой материи. Как ни странно, такое убеждение уживалось с верой в неизменяемость биологических видов, созданных актом божественного творения. В XIX веке было поставлено немало остроумнейших опытов, в которых живые клетки самозарождались в лабораторных пробирках и колбах. Потребовался гений Луи Пастера, чтобы доказать, а затем отстоять в острой полемике, что простейшие организмы «зарождаются» только тогда, когда не соблюдаются правила чистоты эксперимента. Попросту говоря, экспериментаторы плохо стерилизовали свои пробирки или плохо их изолировали от заносов извне. При правильной постановке опыта в стерильной среде клетки не возникали. *Клетка только от клетки!* Таков закон живой природы, как его сформулировал немецкий последователь Пастера, врач и биолог Рудольф Вирхов. Вопрос о том, каким образом и при каких условиях возникла самая первая клетка, оставался (и до сих пор остается!) открытым.

И вот на заседании Британской научной ассоциации Николай Вавилов слушает доклад ученого, утверждающего, что он нашел разгадку возникновения жизни!

«Доклад Мура, – писал Вавилов, – вызвал горячую полемику со стороны физиков, химиков и физиологов <…>. Критика главным образом была направлена на широкие обобщения, не затронув существа доклада, громадное значение которого не отрицалось и оппонентами»[58].

Вот как он мыслил!

Докладчик сообщил важные факты, они интересны и значимы, а его далеко идущие обобщения – это не существенно, не в них существо доклада!

Не потому ли Вавилов так высоко ценил критический ум Уильяма Бэтсона, что сам был полон «неукротимой, ненасытной тоски» по истине, в которой «скрыта трагическая эстетика науки»[59]? И не потому ли, находясь под сильным влиянием бэтсоновской мысли, он сумел сохранить интеллектуальную самостоятельность и далеко не всегда соглашался с Бэтсоном?..

Бэтсон сомневался во всем.

Он сомневался в основных положениях теории Дарвина, хотя сам разрабатывал проблемы эволюции и образования видов.

Вавилов никогда не противопоставлял законы генетики теории естественного отбора.

Бэтсон долго не принимал хромосомную теорию Моргана, которая объясняла им же открытые «странности» в поведении потомства гибридов.

Вавилов ее принимал – сначала с некоторыми оговорками, потом – после посещения в 1921 году морганoвской лаборатории – полностью.

Бэтсон также критиковал теорию мутаций Гуго де Фриза. Вавилов же, судя по его Актовой речи, считал внезапные изменения генов непреложной истиной, а потом в течение ряда лет предпочитал не говорить о мутациях генов, видимо, не определив по этому вопросу своей позиции. Казалось бы, тут очевидно влияние Бэтсона.

Но всё было сложнее.

Мутационная теория Гуго де Фриза базировалась в основном на его опытах с *энотерой.* Это декоративное садовое растение. Его цветки – желтые, белые, красные, голубые – распускаются с заходом солнца и светятся, как маленькие фонарики, отсюда его второе название: *ночная свеча.* Есть и третье – *ослинник.* Род энотера очень разнообразен, в нем насчитывается до сотни видов.

В редких случаях Гуго де Фризу удавалось обнаруживать у отдельных растений признаки, которых не было у их родителей. Причем признаки эти оказывались стойкими: в последующих поколениях они не исчезали, то есть передавались по наследству, из чего и следовало, что задатки наследственности (тогда их еще не называли генами) в редких случаях могут скачкообразно изменяться.

Бэтсон, с присущим ему умением «вскрывать ошибочность представлений», обратил внимание на то, что энотера – неудачный объект для обоснования такой теории. При размножении энотеры часть растений оказывается стерильной, то есть не способной вообще дать потомства, а это характерно для межвидовых гибридов. Бэтсон заключил, что его голландский коллега работал не с чистыми линиями, а с гибридами, в их потомстве идет «выщепление» рецессивных признаков.

То, что де Фриз считал спонтанным изменением какого-то гена или группы генов, могло быть *проявлением* рецессивных генов, которые имелись, но не проявлялись у родительских форм.

Возражениям Бэтсона поначалу не придавали значения, но в 1913 году, как раз когда Вавилов стажировался в Мертоне, были опубликованы результаты работ, в которых доказывалась гибридная природа энотеры. Мутационная теория была отвергнута. Позднее оказалось, что лишь на время, но в тот момент концепция Бэтсона восторжествовала.

И неизбежно… пришла в столкновение с дарвинизмом. Отбор

может направлять эволюцию, если в природе возникают *новые* признаки организмов, а значит, и гены, которые их порождают. Неизменяемость генов ограничивала эволюцию. Чаша весов с тоненькой работой Менделя снова грозила перевесить многотомные труды Дарвина. Потребовались годы, чтобы утвердилась простая истина: труды Дарвина и Менделя должны лежать на одной чаше весов эволюционного учения.

Пока эта истина не утвердилась, Николай Вавилов взвешивал все «за» и «против», не считая для себя возможным примкнуть ни к сторонникам, ни к противникам теории мутаций.

В феврале 1914 года Вавилов присутствовал на собрании Линнеевского общества в Лондоне, когда с докладом выступил другой голландский ботаник Ян Паулюс Лотси. Название доклада было сенсационным: «Происхождение видов путем гибридизации». Новую теорию эволюции Лотси докладывал с той самой трибуны, с которой более полувека назад друзья Дарвина Чарльз Лайель и Джозеф Гукер впервые доложили его записку о происхождении видов путем естественного отбора.

Смысл доклада Лотси сводился к тому, что гены неизменяемы, но благодаря скрещиваниям они перемешиваются, так создается разнообразие форм, возникают новые виды. Основной фактор эволюции – не отбор, а гибридизация.

Доклад длился 40 минут. Таких долгих докладов в Линнеевском обществе не допускалось, для Лотси сделали исключение. Но когда отведенное время истекло и председатель остановил оратора, тот сильно обиделся. Он был уверен, что произвел переворот в науке, ему следует внимать, затаив дыхание.

Председателем собрания был старый дарвинист Эдвард Поултон. Он только что издал книгу об истории создания и развития эволюционного учения. В зале присутствовал весь цвет биологической науки, включая Френсиса Дарвина – в молодости он был секретарем и ассистентом своего великого отца.

Вавилов вспоминал, что собрание с английской вежливостью выслушало докладчика, но никто его не поддержал. Только гость из Франции Филипп де Вильморен, глава семеноводческой фирмы, подтвердил, что при гибридизации возникают новые формы, но это ни для кого не было новостью.

Поднявшись на трибуну, Уильям Бэтсон иронично похвалил голландского коллегу за «смелость». Действительно, требовалась немалая смелость, чтобы, опираясь на тот материал, которым располагал Лотси, предложить новый вариант эволюционного учения.

Интересно, что Лотси, много лет занимаясь проблемами

эволюции, в первый период своего творчества стоял на позициях Дарвина. Даже такой неистовый дарвинист, как Тимирязев, отозвался о его курсе лекций как о «самом обстоятельном новом изложении дарвинизма». Но во взглядах Лотси произошел перелом. Это было результатом той же ломки мировоззрения под влиянием первых завоеваний генетики…

Бэтсон тоже стоял на точке зрения неизменяемости генов, но его позиция была более гибкой. Еще в 1907 году он выдвинул гипотезу «присутствия – отсутствия»: она объясняла изменчивость не мутацией генов, а исключительно изменением набора генов, *генома.* В отличие от «смелого» Лотси, Бэтсон допускал, что изменение *генома* может вызываться *выпадением* одного или нескольких генов. Согласно его гипотезе, доминантные признаки определяются присутствием гена, рецессивные – отсутствием. Развивая эту гипотезу, Бэтсон предложил концепцию «развертывающегося клубка». Первоначально все гены были собраны в «клубок», он развертывался, из него выпадали новые и новые гены, и таким путем образовались все бывшие и существующие формы жизни. Как скульптор скалывает с глыбы камня лишние куски, создавая произведение искусства, так и природа, откалывая гены от первоначального клубка, творит новые формы растений и животных.

Умозаключение о первоначальном «клубке» генов было непроверяемым на опыте, и можно лишь удивляться, что его выдвинул ученый, признававший факты и ничего, кроме фактов. Но одно дело критиковать чужие теории, другое – создавать собственные. Куда только девался скептицизм «апостола»!

Впервые с теорией «развертывающегося клубка» Бэтсон выступил в 1914 году, значит, особенно интенсивно ее разрабатывал, когда Николай Вавилов был в Мертоне, можно сказать, у него на глазах. Вавилов принял ее скептично, но ход рассуждений Бэтсона, логика его мысли оказали на него бесспорное влияние. Создавая впоследствии свою теорию центров происхождения культурных растений, он в какой-то мере мыслил по-бэтсоновски: в центрах, по его представлению, сосредотачивалась основная масса генного материала культурных видов, оттуда вид расползался по свету, *утрачивая* часть этого материала.

«Так мы приходим с иной стороны к мысли, выдвинутой нашим учителем Bateson’oM о том, что процесс эволюции надо рассматривать как процесс упрощения, развертывания сложного клубка первоначальных генов».

Теория Бэтсона помогла Николаю Вавилову создать свою

теорию. Но это была другая теория, в основе ее лежали совершенно иные предпосылки. Отдав дань признательности учителю, Вавилов делает сноску: «Для нашей концепции безразлично, если схема Бэтсона будет окончательно опровергнута».

Личность Уильяма Бэтсона поражала Вавилова «своей универсальностью, энциклопедичностью. Он свободно переходил от животных объектов к растительным, от утилитарных агрономических заданий вплоть до селекции льна-долгунца к величайшим проблемам биологии».

5.

В Великобритании Николай Вавилов проработал год, как и планировал. Он поспешил покинуть гостеприимного шефа, лишь только увидел, что главное от Бэтсона уже получил. Он переправился на материк, во Францию. Занимаясь проблемами иммунитета растений, он не мог не побывать

в Институте Пастера. Обсудил интересовавшие его вопросы с ведущими иммунологами, в их числе с Александром Михайловичем Безредкой – выходцем из России, ближайшим сотрудником И.И.Мечникова. Вполне вероятно, что Вавилов общался и с самим Мечниковым, но твердых доказательств этому обнаружить не удалось. Возможно, Мечникова в это время не было в Париже: часть лета он отдыхал в живописном поселке Сен-Леже.

Главная цель приезда Вавилова в Париж – семеноводческая фирма «Вильморен», которая поставляла селекционные семена во многие страны мира. Тогдашний глава фирмы Филипп де Вильморен с гордостью говорил:

– Мы не ученые, но притязаем приносить пользу науке.

Фирма при нем достигла расцвета.

Ближе познакомившись с ее работой, Николай Иванович увидел, что Вильморен и его ведущие сотрудники далеки от понимания революционного переворота, к какому привело в науке переоткрытие законов Менделя. В этом отношении учиться ему здесь было нечему. Зато он окунулся в практику семеноводства. Здесь этим занимались с большим размахом, на основе новейших технических достижений. Изучались даже хлебопекарные качества пшениц. По тем временам это было новшеством.

Из Франции Вавилов едет в Германию, в Йену – к

знаменитому Эрнсту Геккелю. Здесь он собирался задержаться подольше, а затем направиться за океан, в Соединенные Штаты. Эти планы порушила разразившаяся война.

Как это началось – хорошо известно. В Сербии был убит наследник австрийского престола эрцгерцог Фердинанд. Австрия воспользовалась этим убийством, чтобы полностью подчинить себе Сербию. Россия объявила всеобщую мобилизацию. Австрия и союзная с ней Германия объявили войну России. Союзные с Россией Франция и Великобритания объявили войну Германии и Австрии. Всё произошло с такой быстротой, что стало ясно: обе стороны давно уже вострили когти и только ждали удобного предлога, чтобы вцепиться друг в друга.

Супруги Вавиловы оказались в стане врага! Продолжать научные занятия стало невозможно.

До сих пор неизвестно, что пришлось им пережить, прежде чем удалось вырваться из Германии. Они добрались до

Лондона, оттуда отплыли в Россию. 28 сентября (11 октября) Лида Вавилова, вернувшись из санатория, где долечивалась после тяжелой операции, уже застала Николая дома – «худого, с дергающейся половиной лица»[60].

Еще в Лондоне Николай узнал, что грузовой пароход «Руно», которым он отправил большую часть своего багажа, – семена, гербарии, коллекции растений, книги, – подорвался на мине и затонул.

О британском грузопассажирском пароходе «Runo» удалось найти подробные сведения. Он был построен в 1902 году. Водоизмещение 1679 тонн, мощный двигатель, могучий, сталью обшитый корпус. Подорвался 5 сентября по вине капитана: вопреки строгим инструкциям, он отклонился от проверенного маршрута и завел корабль на минные заграждения немцев. Когда произошел взрыв, на пароходе началась паника; капитан и команда не смогли с ней совладать, что усугубило положение и увеличило масштабы бедствия[61]. Так что Николаю и Екатерине Вавиловым сильно повезло в том, что, отправив груз пароходом «Руно», сами они задержались в Лондоне. Однако известие о гибели столь ценного для него груза, а еще больше – сознание, что программа заграничной командировки не выполнена, повергли Николая в тяжелое настроение. Первым порывом было – бросить всё к чертовой матери!

Он сумел взять себя в руки, но на душе было мрачно, тревожно. Как писала Лидия, «его положение скверное – не кончил [работу] за границей, и нет сознания окончания, а, следовательно, и сознания, где наиболее потребное ему место»[62].

6.

Лиде был 21 год, она училась на Высших женских курсах – тех самых, где до поступления в Петровку училась Катя Сахарова, но на медицинском факультете. Лида была замужем, ждала ребенка. Ее муж, Николай Павлович Макаров, экономист-аграрник, выпускник Московского университета, еще студентом опубликовал несколько научных робот по сельскохозяйственной экономике и статистике. Он был дружен с коллегами-аграрниками из Петровки, в особенности с А.В.Чаяновым, через него познакомился с Николаем Вавиловым, бывал у него дома, где, скорее всего, и завязался его роман с Лидой. О том, как он развивался, можно судить по Лидиной дневниковой записи: «Коля, Коля, я тебя люблю, мне б хотелось, чтобы мы стали друг другу так близки, чтоб могли впредь всё, что происходит в душе, знать всё, и хорошее и плохое, и радостное и горькое… Не знаю, так ли ты ощущаешь, но ведь когда мы вместе, мы живем, словно во сне, в котором всё возможно, и из ничего творим чудеса, правда ведь»[63].

Война заставила ускорить выпуск врачей; Лиде предстояло сдать выпускные экзамены.

Николай Павлович, окончив с отличием Московский университет, был оставлен для подготовки к профессорскому званию, но, вместе с профессорами и преподавателями, протестовавшими против произвола министра просвещения Л.А.Кассо, вышел в отставку. Должен был пойти вольноопределяющимся на армейскую службу, но параллельно вел научную работу в Статистическом бюро московского земства и после демобилизации был принят в Воронежский сельскохозяйственный институт. Читал курс политической экономии и сельскохозяйственной статистики.

Он с нетерпением ждал Лиду, снял скромную квартиру и сокрушался, что в ней нет ванны и других удобств для молодой супруги и ожидаемого ребенка.

Лида уже готовилась к переезду в Воронеж, но после одного из практических занятий в клинике она почувствовала себя плохо.

10 октября 1914 года Николай Иванович извещал Макарова: «С понедельника (6 октября) началось повышение температуры, а во вторник, в день моего возвращения из Саратовской губ[ернии], она уже лежала. Позвали доктора, Очереднина, по-видимому, довольно приличного (лечит семью Прянишникова и Сахаровых). Сначала думали, что [грудная] жаба.

Сегодня появилась утром сыпь. Точно еще определить врач не

решился, м.б. ветр[яная] оспа, корь. Сама Лидия говорит о возможности настоящей оспы, как раз перед болезнью она возилась с одной больной в клинике. Это, конечно, штука скверная. Всё это усложняется беременностью. И вчера, когда температура поднялась до 40,1, врач боялся выкидыша. Сегодня температура немного спала, 39,6. Завтра будет два врача (второго приглашает по нашему желанию сам Очереднин). Ухаживает за Лидой, конечно, больше всех мать. Завтра после консилиума пригласим фельдшерицу. Если оспа, то могут потребовать полной изоляции. Лидия, когда я ей сказал, что напишу Вам, говорит, что не надо Вас тревожить. Но, подумав, решил все же Вам все сообщить»[64].

По свидетельству Л.П.Бреславец, «когда его сестра умирала от черной оспы, он сидел рядом до ее последнего вздоха, несмотря на все усилия врачей увести его от заразной больной»[65].

Неожиданная и столь нелепая смерть любимой сестры снова повергла Николая в раздумья о быстротечности жизни, которая может оборваться в любой момент. Спасение от мрачных мыслей могла дать только научная работа, если в нее уйти с головой. «Чаянов писал, что надо сжечь себя в обществ[енном] деле. Мне раньше казалось, что это самое необходимое для того, чтобы что-либо сделать. Да и сейчас кажется, что подвиги требуют этого»[66].

Но работа в ту тяжелую осень у него не ладилась. Он часто бывал на кладбище, вместе с матерью ухаживал за свежей могилой. Мать украсила ее еловыми ветками, цветущими хризантемами. Осень была на редкость теплой, цветы не мерзли. «Вокруг тихо, покойно и не хотелось уходить»[67].

7.

Тем временем – шла война!

Николая в армию не призвали: из-за поврежденного глаза он был признан негодным. Сергей был на фронте с первого дня войны – письмами близких не баловал.

Кто-то из знакомых слышал от кого-то другого, что кто-то третий видел его в госпитале в Варшаве. Николай пытался навести справки и уже сам готов был мчаться в Варшаву, но пришло письмо от Сергея: он был жив и здоров.

Мрачное настроение начинало понемногу рассеиваться.

Николаю предложили сделать доклад в Московском обществе испытателей природы и еще один – в Петровке. Он с головой

ушел в подготовку докладов, «сжигая себя на общественном деле». Надо было продолжать эксперименты по иммунитету растений в Петровке, на Селекционной станции.

Как ни горька была утрата материалов заграничной командировки, но самый ценный груз на морское дно не ушел: он был упакован в его голове. Николай вернулся обогащенный новейшими идеями века и всей суммой знаний, что накопила наука о возделываемых растениях.

Начинается новый этап, который продлится до конца его жизни. Теперь уже *он* будет обогащать биологическую науку.

Конечно, такое деление условно. И до первой поездки за границу он удивлял современников зрелостью мысли и публиковал оригинальные исследования. А после возвращения и до конца своих дней он будет жадно следить и *вбирать* в себя всё лучшее, что накапливалось в науке, что творилось «на глобусе», как он любил говорить. Но до первой заграничной командировки стремление вбирать в себя накопленное наукой было преобладающим. А после одинаково важным стало для него – *отдавать*…

Роман с непокорной персиянкой

1.

Почему Николай Вавилов начал с иммунитета растений?

Тему работы мог подсказать Прянишников или Рудзинский или кто-то другой из учителей. Но тогда он должен был хоть словом обмолвиться об этом в предисловии к своей монографии по иммунитету, где, как того требует традиция и элементарная порядочность, он благодарил всех, кто содействовал его работе. Он благодарит и Прянишникова, и Рудзинского, и Ростовцева, и Бэтсона, и профессора Редингского университета Джона Персиваля… Но – за что?

«За внимание и интерес к работе».

«За сочувственное отношение к его [автора] начинанию».

«За средства и участок для опытов».

«За любезное разрешение вести наблюдения над огромной коллекцией сортов пшеницы, собранных со всего света».

И наконец, «глубокая признательность нашей alma mater Петровской академии[68] и ее совету за готовность печатать этот труд, невзирая на огромные расходы, и особенно инициатору напечатания его в “Известиях” Петровской академии глубокоуважаемому учителю профессору Д.Н.Прянишникову».

И ни слова о теме исследования.

То было собственное *его начинание*!..

Он выбрал эту тему, конечно, потому, что она была интересной, новой, теоретически значимой, актуальной для практики: из-за грибковых и иных заболеваний растений хлеборобы ежегодно теряли немалую часть урожая.

Но разве мало интересных, новых, практически значимых проблем ставила перед учеными жизнь! Что же толкнуло Николая Вавилова – *к этой*?

Может быть, он вспомнил о недавних своих стремлениях к медицине?.. И решил, что раз уж не дано ему лечить людей, то он будет «лечить» растения… Право же, психологически вполне вероятно, что именно такими были его внутренние побуждения.

А внешним толчком мог послужить новый кратковременный приезд на родину создателя фагоцитарной теории иммунитета Ильи Ильича Мечникова. Именно в 1911 году, когда Николай Вавилов приступил к своим исследованиям, Илья Ильич в последний раз посетил Россию – для изучения чумы, вспыхнувшей в астраханских степях.

Приезд этот, как и предыдущий – 1909 года, – взбудоражил общественность страны. С именем Мечникова отождествлялась независимость русской науки, неподвластность ее полицейскому режиму, а его труды, одухотворенные верой в то, что наука – это единственная сила, способная преобразить человеческое бытие, со школьных лет захватили Николая Вавилова.

Он знал, что Мечников хотел заниматься наукой, только наукой, но, протестуя против произвола властей, должен был уйти в отставку из Новороссийского университета, как теперь ушли из Московского Лебедев, Тимирязев и многие другие. Он знал, что Мечников создал в Одессе и возглавил первую в России Пастеровскую станцию и развернул на ней работы по прививкам от бешенства, сибирской язвы и других инфекционных болезней, от которых гибли люди и целые стада скота. В России ему заниматься наукой не давали. Его травили, писали на него доносы. Он уехал и стал одним из ведущих сотрудников Института Пастера, заместителем директора. Он искал средства для борьбы с такими болезнями, как дифтерит, брюшной тиф, сифилис, многие другие.

Своей теорией иммунитета Мечников показал, каким образом организм животного и человека борется с вторгающимися в него микробами. Он установил, что вахту здоровья в организме несут особые подвижные клетки – их он назвал фагоцитами. Стоит появиться болезнетворному микробу – фагоциты набрасываются на него и уничтожают. Если микробы размножаются быстрее, чем с ними успевают расправиться фагоциты, человек заболевает. Стал ясен механизм действия вакцин, приготовляемых из убитых или ослабленных возбудителей болезни: не причиняя вреда организму, они *мобилизуют* армию фагоцитов и держат ее в боевой готовности.

После долгой, горячей борьбы Мечников добился признания своей теории, был удостоен Нобелевской премии. После торжественного вручения ее в Стокгольме, в мае 1909 года, он приехал в Россию. Поездка была триумфальной. Он выступал в университетах, в научных обществах, журналисты ловили каждое его слово, прослеживали каждый шаг. В Москве, между прочим, ему был поднесен приветственный адрес от студентов Московского сельскохозяйственного института. Можно не сомневаться, что в составлении этого адреса Николай Вавилов принимал участие.

Приступая к исследованию иммунитета растений, Николай прежде всего хотел освоить литературу по данному вопросу, но ее почти не было в библиотеках Москвы. Не оказалось ее и в Бюро микологии и фитопатологии в Петербурге – Артур Артурович

Ячевский, как мы помним, лишь *обещал* добыть нужные ему книги в других библиотеках Петербурга.

В ожидании этого Николай углубился в генетику и систематику культурных растений и болезнетворных грибков. Такая перестановка в занятиях стала его везением.

2.

Как шел к своему открытию Мечников?

Он изучал *блуждающие клетки* в организме животного. В поисках удобного объекта Мечников остановился на личинках морской звезды: они прозрачны, их блуждающие клетки можно разглядывать в микроскоп, не повреждая самой личинки.

Правда, блуждающие клетки тоже прозрачны, почти незаметны. Но эту трудность Мечников преодолел, введя в тело личинки красный порошок кармина. Блуждающие клетки «нападали» на зернышки кармина, поглощали их и становились ярко-красными.

До великого открытия оставался один шаг, и скоро Мечников сделал его.

Он вонзил под кожу личинок («великолепных, прозрачных, как вода», – восторгался Илья Ильич) шипы розы. И на следующий день увидел, что шипы плотно обложены блуждающими клетками. Этот опыт, писал Мечников, «и составил основу теории фагоцитов, разработке которой были посвящены последующие двадцать пять лет моей жизни».

Не раз, должно быть, Вавилов вдумывался в эти слова.

Двадцать пять лет! Для чего понадобились они, если главное совершилось за два дня?

Дело в том, что убедить ученый мир в достоверности фагоцитарной теории оказалось нелегко.

Критики считали выводы Мечникова слишком смелыми. Будущее показало ошибочность их возражений, но в то время они имели право сомневаться. Не так-то просто было доказать, что фагоцитарная теория справедлива для всех низших и высших животных и человека. Мечников ставил новые и новые опыты, все более тонкие и остроумные.

Критики выдвигали не менее остроумные и тонкие возражения. Мечников впадал в отчаяние. Но в конце концов критики сложили оружие.

Двадцать пять лет ушло на то, чтобы доказать, что реакция иммунитета имеет одну и ту же природу, что она мало зависит от особенностей организма, в котором протекает…

3.

Углубившись в работы по иммунитету растений, Вавилов увидел, что многие исследователи исходят из таких же предпосылок.

Реакция иммунитета едина в своей основе!

То, чему Мечников отдал двадцать пять лет полных драматизма исканий, исследователи иммунитета растений склонны были принимать за аксиому.

Но кроме единства между живыми организмами есть различия. Для проблемы растительного иммунитета они особенно важны, потому что растения-хозяева и грибы-паразиты прошли длительный путь совместной эволюции на общей для них родине – это Вавилов установит впоследствии. Пока же он убеждается, что если Мечников доказал, что открытая на личинках морской звезды реакция иммунитета присуща всему животному миру, то из этого вовсе не следует, что и у разных растений она одинакова…

И вот Вавилов с жадностью вчитывается в работы по иммунитету растений, благо Ячевский достал-таки нужные ему книги. Он впитывает факты, добытые авторами, но не спешит соглашаться с их выводами.

Австралийский ученый Кобб заметил, что сорта пшеницы с узкими, вертикально расположенными листьями, а также сорта, у которых листья, стебли, колосья покрыты легким восковым налетом, не поражаются грибками. Восковой налет служит своего рода панцирем, сквозь который споры грибка не могут проникнуть в ткани растений, как не могут они закрепиться на листьях, расположенных вертикально.

Важное наблюдение, но какой вывод сделал из него исследователь? Он заключил, что иммунитет растений носит пассивный характер. Невосприимчивость объясняется внешней защищенностью: барьером, который не позволяет спорам грибка проникнуть в растительный организм.

Вавилов читает работы других исследователей и убеждается, что пассивный иммунитет встречается сравнительно редко. Гораздо чаще причина невосприимчивости – в физиологической реакции организма на вторгшегося паразита.

В чем суть этой реакции? Один ученый высевал паразитов на выжимки клеточного сока различных растений и установил любопытное соответствие: грибы-паразиты хорошо развиваются в соке листьев того растения, которое от них и страдает, и не развиваются в соке тех, что к данной болезни невосприимчивы.

Автор сделал вывод: химический состав клеточного сока либо привлекает, либо отторгает паразита!

Но другие авторы с неменьшей убедительностью доказывали, что дело не в химическом составе сока, а во внутриклеточном давлении…

Вавилов подходил к проблеме иммунитета как систематик, генетик, эволюционист. Так подходил и Мечников. Если люди не заболевают какой-то инфекционной болезнью, то это еще не значит, что у них к ней иммунитет. Они здоровы потому, что не соприкасались с болезнетворным микробом. Веками жители Европы не знали, что такое чума или холера, но вот налетала эпидемия и выкашивала селения, опустошала города, целые страны. Пассивный иммунитет – это обман, видимость иммунитета!

В XIX веке особенно страшным бичом европейских стран стал туберкулез легких, чахотка. Сколько выдающих людей погибло от нее только в России! Белинский. Добролюбов. Надсон. Чехов… Страшная болезнь уносила каждого седьмого жителя, защиты от нее не было.

При вспышке чумы или оспы смертность была гораздо большей, но с эпидемией можно было бороться введением строгого карантина. Те, кто пришел в соприкосновение с больными, изолировались: им уже помочь было нельзя. Им предстояло умереть или выжить. С последним умершим погибали смертоносные микробы, эпидемия прекращалась.

Но при туберкулезе карантин бесполезен. Болезнь вялотекущая, а туберкулезная палочка (палочка Коха) очень живуча. Больной кашляет или просто дышит, распространяя вокруг болезнетворные бациллы. Они продолжают размножаться, ими насыщен воздух любого большого города, всё население дышит этим воздухом. Мечников задумался над вопросом: почему же туберкулезом заболевает каждый седьмой житель, а шестеро не заболевают – ведь от микробов они не изолированы? Значит, в процессе эволюции выработался естественный иммунитет! Не пассивный, а очень даже активный!

Так примерно рассуждал и Николай Вавилов, анализируя данные о восприимчивости и невосприимчивости к грибковым заболеваниям отдельных форм растений. Отношения между формами растений и грибков-паразитов сложны и разнообразны.

Разнообразны. В этом всё дело!

К одним и тем же паразитам разные растения относятся неодинаково. Одни легко поражаются, другие – слабо, у третьих – стойкий иммунитет. Интересно, конечно, узнать, каким именно

образом организм растения борется с вторгшимся паразитом. Но так ли это важно на первых порах? Генетика подсказывает более простой и надежный путь. Использовать естественную невосприимчивость одних форм и, путем скрещивания, обогащать их генами восприимчивые формы. Для этого надо конкретно знать, какие формы обладают иммунитетом, а какие – нет. Нужен прямой опыт с возможно большим количеством видов и сортов.

Подход так прост, что больше нечего прибавить. Кроме, пожалуй, того, что начинать Вавилову приходилось почти с нуля. Скорые на теоретические обобщения, его предшественники располагали лишь единичными фактами.

Еще весной 1911 года, то есть до того, как познакомился с литературой по иммунитету, Вавилов, на Селекционной станции Петровки, приступил к обследованию посевов 350 сортов овса и 650 сортов пшеницы.

Тысяча сортов – это тысяча делянок. Их обход он начинал с восходом солнца и продолжал до тех пор, пока глаз еще мог различать бурые пятнышки ржавчины на листьях растений. Сеновал рабочего Селекционной станции Нила Ивановича Хохлова, на котором хозяин разрешил ему ночевать, редко оставался пустым. Николай так мало бывал дома, что у его племянника А.Н.Ипатьева сложилось впечатление, будто он постоянно жил в Разумовском. Зато его редкие приезды домой всегда характеризовались «веселым шумом, который он привозил с собой».

От описания степени поражаемости отдельных сортов Вавилов переходит к скрещиваниям иммунных форм с поражаемыми, чтобы по характеру расщепления гибридов судить о наследственной структуре исходных форм. Чуть ли не единственным исследователем, который до Вавилова ставил такие опыты, был британский профессор Биффен. Он утверждал, что расщепление по иммунитету укладывается в простое менделевское правило – 3:1. В опытах Вавилова получались гораздо более сложные соотношения.

Вавилов впоследствии вспоминал, что, убедившись в неправоте Биффена, он, «как Фома неверующий», усомнился даже в самих законах Менделя… Но соотношения по другим признакам показывали, что законы Менделя незыблемы. Значит, за иммунитет отвечает не одна, а несколько пар генов, и не только рецессивных, но и доминантных.

Через год он будет в Англии и расскажет о своих расхождениях с Биффеном его учителю Бэтсону. Будет спорить и с самим Биффеном, но тот останется при своем мнении.

От пшеницы и овса Вавилов перешел к другим злакам, затем

к бобовым, плодовым, огородным… В орбите его исследований лен, виноград, розы. Он стремился охватить как можно больше культур. Тысяча делянок превращалась во многие тысячи.

Он любил черновую работу по добыванию научных фактов. Впоследствии, когда Николай Иванович Вавилов стоял во главе сельскохозяйственной науки страны и за массой дел не мог постоянно вести эксперименты, лучшим отдыхом для него было поработать в лаборатории или на опытном поле. Да и сам он говорил, выступая в 1938 году перед аспирантами: «Я, вероятно, больше всех вас катаюсь по всем нашим отделениям, два раза был в Отраде Кубанской, две недели сам сеял. Я привык всё сам проделывать, все операции до посева включительно».

Привык!.. Он мог бы добавить, что привычка у него старая – с первых самостоятельных шагов в науке.

Справедливость, впрочем, требует сказать, что в Петровке у него были помощники. Точнее, помощницы: Ольга Вячеславовна Якушкина и Александра Юльевна Тупикова-Фрейман. Обе работали преданно и самоотреченно.

«Природа <…> дает ответ каждому, кто умеет ее спросить. И перед натуралистом встает большой основной вопрос – сумеет ли он спросить природу?» Так говорил старший современник Вавилова русский ботаник В.М.Арнольди.

Николай Вавилов сумел спросить природу – ответы посыпались сами.

Оказалось, что грибы-паразиты строго специализированы по растениям-хозяевам. Каждая форма гриба избирательно поражает один род, или один вид, или одну разновидность растений. Но уж этот свой объект умеет отличить точно – не хуже самого опытного ботаника.

…Идя от растения к растению, от одного вида грибов к другому, Вавилов разрабатывал физиологическую, как он ее называл, а правильнее сказать – генотипическую теорию растительного иммунитета (так назвал ее впоследствии профессор П.М.Жуковский).

4.

Но не всё в складывавшейся теории было гладко.

В каталоге образцов Селекционной станции Петровки под № 173 значилась «персидская пшеница». Она была получена от немецкой семеноводческой фирмы «Гааге и Шмидт». По ботаническим признакам она относилась к виду мягких пшениц.

Можно представить себе, как, пряча в усы усмешку в очередной свой приезд в Петербург, Вавилов показывал растеньица персидской пшеницы Константину Андреевичу Фляксбергеру.

– Типичный Triticum vulgare, – определил «заведующий пшеницей», посасывая трубку и недоумевая: такой способный практикант задает столь элементарные вопросы.

Константин Андреевич с обычной невозмутимостью раскрыл свою пухлую книгу. Показывая записи и рисунки и выпуская струйки сизого дыма, стал терпеливо растолковывать, почему эту яровую черноколосую расу следует относить к виду мягких пшениц.

– Значит, Triticum vulgare? – переспросил Вавилов, хитровато пряча усмешку

– Так точно, дорогой коллега, vulgare, можете мне поверить!

Вавилов не поверил.

Он уже выявил, что персидская пшеница устойчива к грибку мучнистой росы, а этот грибок всеяден: он не замечает сортовых различий, не щадит никаких форм мягких пшениц. И вот – одна непокорная!

Что же делать? Может быть, отбросить единственный факт, противоречащий тысяче других! Вряд ли кто посмеет упрекнуть за это. На худой конец можно сделать оговорку, что вот есть одно исключение из правил. Наверное, не раз искушала Вавилова эта мысль. Но вслед за таким искушением приходило другое: заглянуть поглубже в природу персидской пшеницы.

Он вооружается лупой, потом микроскопом… И тут выясняется, что персидская пшеница не так уж похожа на мягкую, как это представляется ботанику по внешним признакам. Зерно покрыто мелкими морщинками. Хлорофилловые зерна в листьях вдвое крупнее, чем у обыкновенных мягких пшениц.

А что покажут скрещивания персиянки с другими мягкими? Вавилов с нетерпением ждет цветения растений, наносит пыльцу персиянки на множество разновидностей и сортов мягких гниении, затем ждет образования колосьев. Но… большинство гибридов так и не выколосилось! А те, что дали семена, при посеве в следующее лето оказались бесплодными! Так ведут себя гибриды биологически отдаленных форм.

Последняя проверка. По просьбе Вавилова цитолог Селекционной станции Александра Гавриловна Николаева производит подсчет числа хромосом в клетках персидской пшеницы. Ну, конечно! У персиянки 28 хромосом, тогда как у мягких пшениц 42. Значит, персидская пшеница – не vulgare!

К какому же виду ее отнести? Может быть, к твердым: у них

как раз 28 хромосом! Но по ряду признаков персиянка резко отличается от твердых пшениц.

«Ее надо выделить в отдельный биологический вид – Triticum persicum!» – решает Вавилов.

Решает, конечно, не сразу. Только в 1918 году сделает этот шаг, и тогда он многим покажется слишком дерзким. Ботанический вид объединяет большое разнообразие форм, а персидская пшеница была представлена одной-единственной. Выделяя ее в отдельный вид, Вавилов как бы заявлял, что должны существовать еще не найденные формы персиянки. А ведь речь шла о пшенице: ботаники пристально изучали ее уже двести лет! Казалась бы, об открытии нового вида не могло быть и речи. Правда, Вавилов уже сознавал, насколько иллюзорна уверенность в том, что род Triticum ботанически хорошо изучен. В том, что это не так, он мог убедиться во время первой своей экспедиции – в 1916 году.

А в 1922 году профессор Тифлисского университета П.М.Жуковский нашел в горах Кавказа посевы персидской пшеницы. Еще лично незнакомый с Вавиловым, Жуковский состоял с ним в деловой переписке и заочно причислял себя и своих учеников к вавиловской школе. Он послал образцы Николаю Ивановичу.

«Относительно Triticum persicum Ваше определение верно, – отвечал обрадованный Вавилов. – Ваше открытие для меня особенно интересно, т. к. я вот уже 11-й год имею дело с персидской пшеницей. Скрещивали мы ее со всеми видами, многими разновидностями. Чем больше ею занимаюсь, тем больше любопытного. В шутку я говорил <…>, что у меня давно подготовлен целый роман с персидской пшеницей. Ее исследовали мы и цитологически, и анатомически, и гибридологически, и в техническом отношении. Мука из нее получается своеобразная, сладковатая, малого подъема, но очень вкусная».

Ну а родиной персидской пшеницы оказалась вовсе не Персия, где, доверяя названию, Вавилов тщетно искал ее в 1916 году, а Дагестан. В горах Грузии и Дагестана Жуковский нашел большое разнообразие форм этого вида. Гипотеза Вавилова нашла блестящее подтверждение. 9 февраля 1923 года Николай Иванович писал в Нью-Йорк Д.Н.Бородину: «Из событий, новых за последние месяцы, самое интересное – это выделение нового вида пшеницы Тритикум персикум, которая была выделена [мною] уже на основании работ по иммунитету. В 1922 г. были найдены в Грузии в большом числе разновидности. Об этом виде я составлю заметку для “Science”, которую пошлю Вам. Видов пшеницы 8, и

работают с ней систематики 200 лет, и прибавление нового вида является фактом довольно существенным для пшеницы»[69].

Николай Иванович скромничал: выделение нового вида пшеницы было фактом первостепенной важности не только для пшеницы, но вообще для науки.

Кстати, дальнейшие исследования показали: иммунитет к мучнистой росе присущ далеко не всем разновидностям и сортам персиянки. Если единственный образец из коллекции Селекционной станции Петровки оказался стойким к грибку, благодаря чему Вавилов и сосредоточил на ней свое внимание, то это случайность – исследовательское счастье молодого ученого. То счастьем, о котором говорил Пастер: оно посещает лишь подготовленные умы.

5.

До конца жизни Николай Вавилов будет следить за всем новым в области иммунитета растений. Продолжит – пусть урывками – экспериментальные исследования; даже в своей квартире на подоконнике будет наблюдать болезни овсов. В 1935 году выйдет новый вариант его монографии. В 1940-м он выступит с большим докладом, в котором сформулирует основные законы естественного иммунитета растений.

Но даже в годы самых интенсивных исследований иммунитета эта проблема не поглощала его целиком.

Совместно с О.В.Якушкиной он опубликовал исследование о физиологических свойствах некоторых форм овса.

Его занимал межвидовой гибрид мягкой пшеницы с однозернянкой.

Он опубликовал очерк учения о прививках растений.

Готовился к магистерскому экзамену, «к которому предстоит по программе-минимум прочитать 6 ½ тысяч страниц на немец [ком] и французе [ком] языках»[70]. (То ли в шутку, то ли всерьез он называл предстоящий экзамен «истязанием».)

Казалось бы, дел выше головы, все срочные, неотложные, – не продохнуть. Но из писем его узнаем о том, какое сильное впечатление произвела на него большая статья Петра Струве «Суд истории» в двух номерах журнала «Русская мысль»: «Струве разбирает причины войны и приходит к выводу после подробного разбора исторических условий, что возникновение данной войны должно быть вменено [в вину] определенным лицам, оно явилось выражением личных свойств и формулировкой личного решения»[71].

Тяжкое обвинение! Автору и редакции журнала, видимо, не занимать было смелости. Из статьи вытекало, что страшной войны, с ее огромными жертвами, можно было избежать; страну втянули в войну из-за личных амбиций, то есть по капризу лиц, наделенных властью. Ну а кто стоял у кормила власти в царской России, можно было не объяснять.

Вавилов настоятельно рекомендовал Н.П.Макарову прочитать статью, был готов послать в Воронеж оба номера журнала.

Интерес к автору столь убедительной и смелой работы привел Вавилов на лекцию Струве «Факт и идея Великой России». И испытал полное разочарование. Струве произвел на него отталкивающее впечатление.

«Лекция была, по-моему, возмутительная и бессмысленная <…>. Без всяких доказательств дали России эпитет и Великодержавной, и Святой, и Мировой, и еще с десяток. Причем излагалось всё это особым способом, вроде чревовещания. Ужасная это штука – союз экономической науки с богоискательством. На днях будет вещать другой экономист-богоискатель Булгаков, тоже, вероятно, в том же духе. И так темно нашему брату в “экономике”, а тут еще сами экономисты мутят. Безобразная эта штука национальная mania grandiosa [мания величия], в особенности скверно то, что несомненно культурные и талантливые [люди] заболевают ею»[72].

Но от главного Вавилов отклоняется редко и ненадолго. Он ни на минуту не забывает, что жизнь коротка, в любой момент может оборваться, как только что оборвалась жизнь любимой сестры – такой молодой, полной сил, светлых надежд и планов! Подхлестывает и неопределенность его положения из-за этой проклятой войны: неизвестно, что будет с ним завтра или через неделю.

Поначалу казалось, что война продлится два-три месяца, от силы полгода. Но она затягивалась, становилась все более ожесточенной, втягивая в кровавое месиво все больше ресурсов, материальных и людских, подымая на поверхность муть самых отвратительных звериных инстинктов – ненависть, жестокость, национальную фанаберию, шовинизм.

В 1915 году правила призыва в армию были ужесточены: Николай Вавилов стал *ограниченно годным.* Это значило, что на убой его не пошлют, но в любой момент могут оторвать от любимого дела. Прервать работу, все больше набиравшую темп, было бы для него равносильно тому, как на полном бегу провалиться в пропасть. Но освобождение от призыва из-за дефекта зрения вскоре восстановили.

Логика исследования иммунитета растений требовала сопоставить взаимоотношения сортов с грибками-паразитами в разных природных условиях.

Воспользовавшись тем, что его сотрудница Александра Юльевна Туликова временно работала в Туркестане, на Заравшанском опытном поле, неподалеку от Самарканда, Николай Иванович шлет ей подробные инструктивные письма, материал, пинцеты, другие нехитрые инструменты. Она старательна и толкова, работает много, материал накапливается с удвоенной быстротой.

Вавилов поглощен своими исследованиями, грандиозные события, происходящие в стране, почти не находят отражения в его переписке. Правда, в одно из писем к Тупиковой в мае 1917-го вдруг врывается сообщение о митинге в Петровке, на котором была принята резолюция: институт закрыть, а всем студентам и молодым преподавателям предоставить себя в распоряжение революционной власти. Порыв коллективного патриотизма был ответом на декларацию Временного правительства о том, что новая Россия будет продолжать войну до победного конца.

Николай Иванович разделял общие чувства и, под впечатлением минуты, готов был вместе с сотоварищами ринуться в бой, оборвав «постановку новых предположенных опытов». Но то был порыв в «почти бредовом состоянии». Через пару дней пришло отрезвление, и все уже «смотрели с изумлением друг на друга, как вынесена была та резолюция»[73].

Похоже, что происходящее в стране волнует Вавилова лишь с одной точки зрения: как политические пертурбации отразятся на научной работе? Когда Тупикова сообщила о волнениях в Туркестане, о попытках крестьян захватить земли Ката-Курганского опытного поля, об их столкновениях с полицией и аресте заведующего опытным полем В.С.Малыгина, он отвечал: «Надеюсь, что Вас[илий] Степан [ович Малыгин] уже на свободе и на опытном поле. Привет ему. <…> В Москве на днях был маленький съезд опытников-северян во главе с Н.М.Тулайковым. В общем революция мало тронула опытные поля, и скорее больше было оптимизма в сообщениях с мест, чем рассказов о вмешательствах новых хозяев. И, по словам Н.М.Тулайкова, так дело обстоит в Харьковском и Саратовском районах. О Туркестане в Петрограде ничего не знают. И, кажется, случай с Ката-Курганским полем единственный»[74].

Вавилов поглощен скрещиваниями, наблюдениями, записями по растительному иммунитету. Мысленно он беседует с Мечниковым, консультируется с его учеником, видным

иммунологом и бактериологом России Львом Александровичем Тарасевичем, ибо «в животном иммунитете много настоящей науки и есть что заимствовать»[75]. Первый крупный итог будет им подведен только в 1919-м, через три года после смерти основоположника теории фагоцитов.

Склонившись над завершенной рукописью монографии «Иммунитет растений», Вавилов в последний раз перелистает ее и, прежде чем отнести на высший суд – Дмитрию Николаевичу Прянишникову, на титульном листе напишет:

Посвящается памяти великого исследователя иммунитета ИЛЬИ ИЛЬИЧА МЕЧНИКОВА

Он еще не знает, что история поставит рядом их имена. Как сказано в редакционном предисловии к одному из томов пятитомного издания его «Избранных трудов», «основоположником учения об иммунитете вообще был И.И.Мечников; основоположником учения об иммунитете растений к инфекционным заболеваниям является Н.И.Вавилов»[76].

При активном содействии Прянишникова монографию напечатали в разоренной типографии Петровки. Вавилов сам помогал набирать, брошюровать, переплетать книгу. Труд получил высокую оценку. Так, В.А.Петров, в отсутствии Регеля получивший книгу в Отделе прикладной ботаники, тотчас написал своему шефу: «За это время вышла и получена Вами монография Вавилова “Иммунитет у растений. Москва, 1919”. Редкая книга, читается с большим удовольствием и дает столь глубокое и блестящее изложение предмета. Книга эта бесспорно будет датой не только в рассматриваемом вопросе. Так и напрашивается ряд любопытных параллелей и вопросов»[77]. А сам Регель, вернувшись в Петроград, написал автору: «Ваш “Иммунитет” получил. Благодарю. <…> появление в свет подобной книги в настоящее время – событие»[78].

Первая экспедиция

1.

Он сильно качнулся, чуть не вылетел из седла. Поводья от неожиданности выпали из рук, он инстинктивно вцепился в гриву лошади. Едва успел пригнуться, нырнув под низко нависший острый выступ скалы. Второй, третий выступы пригнули его еще ниже, заставили уткнуться в теплую разящую потом лошадиную шею.

Тропа со звонким, каким-то веселым цокотом катилась назад. Но вот цокот пропал, копыта лошади стали утопать в чем-то зыбком, нестойком, колеблющемся.

«Оврынг!» – пронеслось в голове.

Тропа пошла по искусственному карнизу, опирающемуся на вбитые в отвесную скалу деревянные колья и положенные поперек них жерди. От быстрого бега лошади колья ходили ходуном. Жидкий настил из веток и камней то и дело обнажал скелет жердей и кольев, образующих крупные, зияющие пустотою лагуны.

Натыкаясь на них, лошадь нервно вздрагивала, замирала на миг и с громким ржанием прыгала вперед. Мячики мышц под ее лопатками прыгали быстрее.

Скала была справа. Слева – километровая пропасть. А внизу змеился Пяндж. Вавилов не удивлялся, что не может разглядеть верблюжью взгорбленность горной реки, не слышит шума ее бурлящих вод.

2.

Почему именно с экспедиции в Иран и на Памир начал Вавилов исследование растительных ресурсов планеты? По его собственному свидетельству, этому помог случай.

Шел 1916 год. Ведя наступление на Турцию, армии Кавказского фронта завладели значительной частью Ирана. Среди войск, размещенных в его северных провинциях, появилась массовая болезнь – своего рода опьянение. У солдат кружилась голова, начинались судороги, многие теряли сознание, были и смертные случаи. Причину болезни никто не знал, но подозрение вызывал хлеб местной выпечки. Военное командование запросило о помощи министерство земледелия, и оно командировало

Вавилова: на месте разобраться с этим странным заболеванием.

Николай Иванович охотно вызвался выполнить поручение, так как его давно уже тянуло в земледельческие районы Ирана, где он надеялся найти персидскую пшеницу и, вероятно, другие разновидности культурных растений.

Племянник Николая Ивановича А.Н.Ипатьев на всю жизнь запомнил, как «ярким летним днем 1916 года к дому № 13 (на Средней Пресне) подкатил автомобиль – тогда большая редкость. Ко мне, сидевшему в садике, подбежал со словами прощания Николай Иванович. Он был, как всегда, весел и лучезарен, только вид у него был необычный, странный. На нем был кремовый летний костюм, через плечо висела полевая сумка, а на голове было самое странное – белая шляпа двухкозырка, которую он называл “здравствуйте-прощайте”. Николай Иванович сел в автомобиль и укатил»[79].

Не всем был понятен его энтузиазм. Саратовский ученый-агроном Н.М.Тулайков назвал путешествие в район военных действий неоправданным авантюризмом, чем сильно уязвил Вавилова: «The adventurer – любитель приключений – обидней ничего нет»[80]. Задним числом он вспоминал об этом не без ехидства: «В конце концов правым оказался the adventurer»[81]. Однако в ходе путешествия, попадая в пиковые ситуации, он, вероятно, не раз вспоминал предостережение Тулайкова…

В Иран Вавилов отправился через Туркестан. Из Ташкента, по дороге в Закаспийскую область, он заехал на опытное поле, где проходила практику его студентка и сотрудница А.Ю.Тупикова-Фрейман. Посещать местные опытные учреждения было его правилом. Оттуда – вместе с нею – он направился в поселок Красный водопад, интересный тем, что в его окрестностях преобладало богарное, то есть неполивное, земледелие, весьма редкое в Туркестане.

«Ехать приходилось на арбе или телеге, часто даже не по дорогам, а между арыками, или идти пешком по изнурительному зною, – вспоминала Туликова. – Николай Иванович, казалось, не знал, что такое усталость. Попадая поздно вечером в какой-нибудь кишлак на ночевку, он еще отправлялся смотреть, как производят ночью полив, беседовал с жителями кишлака, расспрашивал об агротехнике, о семенах, о болезнях хлебов, а утром чуть свет уже осматривал сельскохозяйственный инвентарь, домашнюю утварь узбеков, фотографировал, писал дневник. Не знаю, ложился ли он спать, отдыхал ли. И часто мы слышали от него фразу: “Жизнь коротка, надо спешить”. Эта исключительная работоспособность, неуемность в работе и

искусство организовывать свой труд сохранились в течение всей его жизни»[82].

Можно предполагать, что тогда же Вавилов встретился с Дмитрием Демьяновичем Букиничем и с ним тоже поездил по знойному краю – в ожидании официальных документов, необходимых для въезда в Иран.

Как только документы пришли, Вавилов пересек границу. Скоро из иссушающей знойной пустыни он попал в субтропический лес. Кроны могучих деревьев столь плотно переплетались, что под ними царил полумрак. Густой влажный воздух был напоен лесными ароматами и птичьим гомоном. Попадавшиеся по пути деревушки и кишлаки утопали во фруктовых садах. С приближением к городу Ашрефу в Мазендеранской провинции все чаще попадались апельсиновые рощи.

Наибольшее внимание путешественника привлекали пшеничные поля, отвоеванные у лесных массивов. Наметанный глаз сразу определил, что засеяны они мягкой пшеницей, представленной большим разнообразием форм, частью совершенно неизвестных ботаникам. По ядовитым пятнам ржавчины на листьях растеньиц было видно, что они заражены паразитическим грибком фузариумом. Кроме того, посевы сильно засорены ядовитым плевелом. Значит, собираемая на этих полях пшеница перемалывается в муку вместе с зерном сорняка и спорами грибка. Из такой смеси печется здесь хлеб. Подмешанный в него ядовитый плевел и вызывает болезнь у солдат!

Отделить зерно от плевел – задача сложная. Единственная рекомендация, какую Вавилов мог дать армейскому командованию, – не использовать местную пшеницу для питания войск. Хлеб придется завозить из России. Как ни сложно это в условиях войны да при здешних дорогах, другого выхода нет.

На этом его официальная миссия закончилась.

Но экспедиция лишь начиналась.

Иран, Персия… Не здесь ли родина персидской пшеницы – недаром же у нее такое название! Может быть, именно в Персии возделывают ее неизвестные разновидности?

«Имея задачей найти эту своеобразную пшеницу в Иране, – вспоминал Вавилов, – мы задумали сложный маршрут, который позволил бы охватить главнейшие земледельческие районы Ирана»[83].

Прилегающие к Каспию провинции с юга отгораживает Хорасанский хребет. Сюда не доходят знойные иссушающие

ветры, благодаря чему здешний климат сходен с влажными субтропиками Черноморского побережья Кавказа.

Хребет увенчан монументальной вершиной Демавенд. Она возвышается в виде пологого конуса, что говорит о ее вулканическом происхождении.

Изредка вулкан оживает, с грохотом выбрасывая из своего чрева огромные камни, черный дым, пепел. По склонам медленно спускается тяжелая огненная лава, но она быстро застывает.

Извержения редки, но вулкан никогда не затихает. В его глубине слышится грозное урчание, порывы ветра доносят запахи серных испарений, по склонам белеют икрящиеся под солнцем ледники.

Беспокойный норов горы наводил суеверный страх на местных жителей, порождал фантастические легенды. Главным действующим лицом в них было огромное чудовище Биварасб, с двумя змеями, растущими у него из плеч. Когда-то Биварасб здесь господствовал, но отважный богатырь, вступив с ним в поединок, одержал победу. Биварасб был закован в цепи и брошен в темницу. Дымок, поднимающийся над вершиной Демавенд, – это горячее дыхание Биварасба.

Вавилов медленно поднимается к перевалу, собирая по окрестным полям образцы пшеницы и других растений.

Перевалив через хребет, он попадает в долину, иссушенную знойным дыханием пустыни. Здесь возможно только поливное земледелие. Нещадно палит солнце, жара доходит до 50 градусов Цельсия. Торговые караваны здесь передвигаются по ночам, но собирать образцы растений можно только при свете дня. На десятки километров простираются всхолмленные пески. Не видно никакой живности, кроме редких шныряющих ящериц да огромных ярко-красных пауков, похожих на капельки крови. От зноя негде укрыться. Редкие негостеприимные деревушки окружены высокими глинобитными стенами, кажутся вымершими, в них не достучаться.

Некогда здесь волнами прокатывались завоеватели: от Александра Македонского, мечом прокладывавшего путь греческой цивилизации на восток, до орд Чингисхана и Тимура, дикими смерчами проносившихся на запад; местное население отсиживалось за глинобитными стенами. И невольно приходила грустная мысль, что в новой войне когда-то неприступные стены никого уже не смогут защитить…

Тяготы путешествия не смущают Вавилова. Он несказанно рад, что попал сюда в удачное время: конец июня – начало июля, «пора созревания и уборки хлебов». Он неутомимо собирает растения на поливных крестьянских наделах, разнообразие форм

и сортов быстро увеличивается с продвижением на юг.

Армянин-переводчик, нанятый по совету армейского начальства, оказался пронырливым жуликоватым дельцом. На одном базаре он купил ружье. На другом – выменял его на роскошный персидский ковер. Потом этот ковер продал и купил три других. Его личный багаж рос от базара к базару – быстрее, чем багаж самого путешественника.

Вдруг Вавилов начал замечать, что вместо настороженного любопытства, с каким относилось к нему местное население, ему стали низко кланяться, одаривать подношениями, оказывать почести, и это повторялось от деревни к деревне. В чем причина такого радушия? Уж не обязан ли он этим каким-то проделкам своего шустрого переводчик?

«При выезде из одного селения наш маленький караван долго сопровождали целые толпы всадников, – вспоминал Вавилов. – Неожиданно к нам обратились с каким-то огромным документом с сотнями приложенных персидских печатей – перстней»[84].

Оказалось, что это челобитная русскому царю. Жители провинции жаловались на губернатора, творившего беззакония, просили его сместить.

Вавилов пытается объяснить, что он не сможет передать петицию адресату, но его не хотят слушать. Объяснения сильно затрудняет языковый барьер. Челобитную пришлось принять, с тем чтобы при первой возможности передать ее русскому консулу.

После этого эпизода Вавилов решил поговорить с переводчиком «по душам». Выяснилось, что стараниями предприимчивого армянина скромный путешественник стал самозванцем. Дабы удобнее было обделывать свои дела, переводчик распустил слух, будто сопровождает члена царской семьи – брата жены Николая II!

Стало ясно, что от такого попутчика надо будет избавиться при первой возможности.

В горах около Мензила Вавилов обнаружил заросли многолетнего дикого льна и так увлекся сборами образцов, что неожиданно оказался в расположении сторожевого казачьего поста. Такие посты были выставлены вдоль линии передвижения войск, направляемых в Месопотамию.

Начальник поста строго посмотрел на странно одетых, рвущих какую-то траву и что-то записывающих путников, властным жестом подозвал их к себе, строго спросил, что они тут делают.

Объяснения путешественников не показались ему

убедительными. Их задержали, отвели на сторожевой пункт, обыскали.

После возвращения из Англии у Николая Ивановича сложилась привычка вести полевые записи на английском языке – это вызвало еще большее подозрение, так же как и справочники на английском и немецком языках в его багаже. Есаул мигом раскусил: шпионы! Материалы экспедиционных сборов – гербарии, семена, пакеты с колосьями – это для отвода глаз! Маскировка! «Рвение усиливалось, по-видимому, высокой наградой за поимку такого рода деятелей – до 1000 рублей золотом», – со сдержанной усмешкой вспоминал Вавилов.

Все попытки урезонить казачьего есаула оказались тщетными. Специальная бумага с гербовой печатью министерства иностранных дел предписывала оказывать «подателю сего» всемерное содействие не произвела ни малейшего впечатления.

Путешественников три дня продержали в вонючем клоповнике – «до выяснения телеграфным путем действительности наших документов».

Но всё это были пустяки. Главное – «сборы образцов пшениц, ячменей росли с каждым днем. Прибавлялись замечательные находки, значительно расширяющие наше представление, заставившие переработать заново классификацию мягких пшениц».

Правда, персидской пшеницы, как мы уже знаем, Вавилов в Персии не обнаружил. Но эта неудача не могла его обескуражить. Только пшениц он собрал в Иране больше пятидесяти разновидностей, а каждая разновидность состояла из многих рас и сортов. Такое разнообразие форм на небольшой территории «не снилось нашим мудрецам», как, вспоминая реплику Гамлета, написал однажды Вавилов по другому поводу. В 1922 году, читая вышедшую годом раньше монографию по пшеницам британского ученого Джона Персиваля[85], Вавилов заметил: «Это крупнейший труд за два столетия. Но наша лаборатория может прибавить к нему еще столько же». Прибавить столько же он мог, в частности, благодаря материалам иранской экспедиции.

Самым интересным было то, что поразительное разнообразие форм пшеницы на полях Персии распределялось неравномерно: оно заметно возрастало с продвижением на юг, к древнейшим очагам земледелия.

3.

Вдвоем с армянином-переводчиком они дошли до

Керманшаха, здесь проходила линия фронта.

Как нарочно, за передним краем турецких войск был район, где немецкий исследователь Котчи обнаружил дикую пшеницу. Вавилов загорелся желанием собрать образцы дикого родича главного хлеба Земли! Устоять перед таким соблазном было просто невозможно, но путь преграждали турецкие траншеи.

Вавилов обратился за помощью к командованию русских войск. Он был столь настойчив и красноречив, что командир согласился выделить ему до полусотни казаков сопровождения для проникновения на 40–50 километров за линию фронта. Удалось найти проводника, который взялся – за хорошую плату – провести отряд по одному ему известным тропам. Всё было подготовлено, наутро должны были выступать. Но ночью проводник сбежал. «Как водится», – саркастично заметил Вавилов, но не уточнил, получил ли проводник плату вперед. Собрать дикую пшеницу не удалось.

Вавилов двинулся в горный район Сильвар – обиталище курдов, ютившихся в характерных кибитках: тяжелых, приземистых шалашах, без окон, с проемами вместо дверей.

Поля пшеницы здесь были засорены многолетней рожью. Чем выше поднимался караван, тем становилось прохладнее; и тем гуще пшеницу засоряла рожь. Еще выше, где климат для пшеницы становился слишком суровым, рожь полностью вытесняла ее из посевов, то есть из сорняка превращалась в хлебную культуру…

У путешественника возникла дерзкая мысль – двинуться дальше на юго-восток, в долину Тигра и Евфрата, к древнейшему очагу земледелия. Там он рассчитывал найти разгадку многих загадок, связанных с происхождением пшеницы и других культур. Но военное счастье изменило русским войскам. Началось отступление. Вавилову пришлось повернуть на Тегеран.

Опять навалился тяжелый зной, но дороги стали более сносными, передвижение ускорилось. Однако здесь хозяйничали басмачи. Переводчик отчаянно трусил, и неспроста: что стало бы с ним и его имуществом, если бы попали они в руки разбойников!

С басмачами они, к счастью, не встретились. Объяснялось это, скорее всего, тем, что растения можно было собирать только днем; изнемогавшие от 50-градусной жары путники едва держались на ногах, зато дороги были совершенно пустынны. Разбойники выходили «на дело» по ночам, когда двигались торговые караваны. Днем они предпочитали отдыхать где-нибудь в тенистой балке у ручья. Тем не менее, от путников требовалась предельная бдительность. Вавилов несколько раз менял маршрут, узнав, что впереди появились какие-то подозрительные всадники.

Тегеран был забит русскими войсками, местное население настроено враждебно, порой вызывающе. С тех пор как стали приходить вести о поражениях русских, от заискивающего подобострастия не осталось следа. Вавилов ходил по улицам и переулкам, пытаясь устроить караван на ночлег, но это оказалось очень непросто.

Во враждебности к кафирам – неверным – особенно упорствовали мусульманские муллы, чье влияние на людей было очень велико. Вавилова не покидало ощущение опасности. Невольно вспоминалось, что когда-то здесь был растерзан религиозными фанатиками русский посол Александр Сергеевич Грибоедов…

В глухом переулке рядом с Вавиловым вдруг упал тяжелый кирпич, брошенный откуда-то сверху; несколько осколков впилось в голенище сапога. Второй кирпич просвистел у виска. Он инстинктивно бросился в сторону, потом вперед, через несколько минут вновь оказался на людной улице…

В Тегеране Вавилов смог, наконец, распрощаться с вороватым переводчиком. Искать замену не стал: его собственные знания персидского языка (фарси) к этому времени настолько улучшились, что он уже мог обходиться без переводчика.

Прежде чем двинуться дальше, Вавилов продал лошадей: они становились помехой. Путь его лежал на священный город Мешхед, знаменитый мавзолеем имама Али – двоюродного брата пророка Магомета, одного из самых почитаемых мусульманских халифов. Путь был неблизкий – 900 километров от Тегерана, но туда можно было добраться на перекладных. Вавилов договорился с возницей: за дополнительную плату тот будет останавливать лошадей в любом месте по первому требованию.

Путешественника интересовал не мавзолей Али, а то, что путь проходил по густо засеянным, никем еще не исследованным полям. Нивы как раз созревали – самое подходящее время для сбора семян и образцов растений.

Вавилов внимательно наблюдал за колышущимися посевами, между которыми вилась дорога, часто останавливал возницу, чтобы собрать образцы. Коллекции пшениц и других культур быстро пополнялись, причем оригинальными, засухоустойчивыми формами, не имевшими себе равных нигде в мире – это выяснилось впоследствии на опытных делянках.

С приближением к Мешхеду на дороге все чаще попадались величаво вышагивающие верблюды, нагруженные длинными черными тюками. Вавилова удивляли эти странные, совершенно одинаковые тюки: раньше такие грузы ему не встречались.

Остановившись на ночлег в караван-сарае, он стал расспрашивать, каково содержимое этих тюков, и был поражен до глубины души, когда узнал, что так перевозят покойников. Их доставляют в Мешхед со всего Ирана, ибо быть похоронным рядом со священной могилой имама Али – это высшее счастье для мусульманина. Возможно, все большая концентрация покойников по мере приближения к Мешхеду с новой силой напомнила Николаю Ивановичу о том, как коротка человеческая жизнь и как много в ней надо успеть…

Сборы в Иране давали материал для полевых и лабораторных исследований на много лет вперед. Но главное лежало в сопредельном Афганистане! Проникнуть туда возможности не было: закрытая страна! Рядом с ней Индия, колония могущественной Англии. А с севера вплотную подошла могущественная Россия, покорившая Коканд и Бухару. Эмир афганский, в страхе перед столь сильными соседями, не пускал к себе никого. Да и Англия бдительно следила за тем, чтобы не усиливались в регионе позиции России. В Европе они союзники, воюют против общего врага, но здесь, в Центральной Азии, они, как и прежде, соперники.

Об экспедиции в Афганистан пока можно было только мечтать. Но у России с ним граница протяженностью в полторы тысячи километров, местность по обе стороны границы однородная. Если пройти вдоль нее, по высокогорьям Памира, то можно многое понять про земледелие и культурную флору Афганистана!

…Покидая Иран, Вавилов твердо решил продолжить экспедицию, поднявшись в район Памира.

4.

В Ташкенте он явился к генерал-губернатору Туркестанского края А.Н.Куропаткину, выложил свои бумаги и стал объяснять, что ему надо попасть в горный припамирский район: там таится разгадка ряда научных загадок, связанных с происхождением и эволюцией сельскохозяйственных культур.

Седовласый генерал устало выслушал прожаренного иранским солнцем молодого путешественника, но ему было не до научных экспедиций.

Генерал Куропаткин был назначен на должность совсем недавно, всего месяц назад. Приехав в Ташкент в июле 1916-го,

он сразу попал как кур в ощип. Виною была все та же затянувшаяся, выжимающая последние соки война.

За спиной у генерала было немало славных сражений, он отличился во многих походах, шесть лет занимал пост военного министра, сделал много полезного для повышения боеспособности вооруженных сил России. Все его заслуги перечеркнула японская война 1904–1905 годов, в которой доблестные российские войска под командованием доблестного генерала Куропаткина терпели одно позорное поражение за другим. Его ославили как чуть ли ни главного виновника всех бедствий, и государь счел за благо выпроводить его в отставку. Когда началась германская война, уже заметно состарившийся и обрюзгший генерал Куропаткин снова стал рваться в бой, но главнокомандующий, великий князь Николай Николаевич, его не переносил и близко к фронту не подпустил. Только когда царь Николай взвалил ношу главнокомандующего на себя, сослав не оправдавшего доверия двоюродного дядюшку на второстепенный Кавказский фронт, генерал от инфантерии Куропаткин был назначен командиром гренадерского корпуса. За короткий срок он выдвинулся в командующие армией, а затем и фронтом – Северным, одним из важнейших, так как он прегражда́л германцам путь к Петрограду. Стремясь отличиться, Куропаткин отдал приказ об ограниченном наступлении под Ригой, но потерпел неудачу. В более масштабной операции войска Куропаткина смогли продвинуться на два-три километра, но наступление захлебнулось. Объясняя в Ставке причину этих неудач, Куропаткин ссылался на плохую погоду и плохие дороги. Царь Николай, пристально глядя на генерала пустыми, ничего не выражающими глазами, тихо сказал, что с погодой помочь не может. Генерала от инфантерии спровадили в далекий Туркестан.

Край этот был хорошо знаком Куропаткину. Здесь он начинал службу молодым поручиком стрелкового батальона. Здесь он храбро сражался против тогда еще независимой Бухары, стал ротным командиром, был произведен в штабс-капитаны. После окончания военной академии и нескольких лет заграничной стажировки он вернулся в Туркестан. Дорос до генеральского чина и поста начальника Туркестанской области. Под его неусыпным попечительством дикий пустынный край, населенный кочевниками, где процветали разбой и грабеж, стал постепенно благоустраиваться. Появились дороги и оросительные каналы, была проведена судебная реформа, налаживалась торговля и промышленность, появились русские школы – для детей переселенцев из внутренних губерний. Куропаткина здесь поминали добром, его второе пришествие в качестве генерал-

губернатора население встретило с радостью. Но следом явился царский указ о мобилизации инородцев-мусульман на тыловые работы, хотя по закону они от военной службы были освобождены.

Недовольство мобилизацией быстро переросло во всенародное восстание, охватившее многие регионы края, так что забот у генерал-губернатора было выше головы.

Терпеливо выслушав напористого посетителя, Куропаткин сказал, что время для путешествий сейчас неудачное. Инородческое население края бунтует, для наведения порядка он вынужден принимать карательные меры, но они еще больше озлобляют местных жителей. Попадаться им под руку русскому путешественнику никак нельзя: гарантий, что он вернется живым, нет.

– Два-три казака не защитят вас, а сильный отряд я дать не могу – война! – пояснил он и добавил: – Отправляйтесь-ка от греха в Москву. Приезжайте через год-два, когда всё успокоится. Тогда и будете решать ваши эволюционные загадки.

Разговор разочаровал Вавилова, но не обескуражил. Насколько обстановка серьезна, он уже знал от двух своих туркестанских друзей: Гавриила Семеновича Зайцева и Дмитрия Демьяновича Букинича. К ним он и отправился обсудить положение.

Зайцева Вавилов знал еще по Петровке. У них было много общего: ровесники, оба внуки крепостных крестьян, у обоих отцы с великим трудом выбились в люди и принадлежали к купеческому сословию.

Правда, сходство их судеб этим и заканчивалось. Если отец Вавилова сделался преуспевающим коммерсантом, то отец Зайцева разорился. Ганя рос в бедности, путь к образованию у него был тяжел и извилист, он смог поступить в Петровку в тот год, когда Вавилов ее заканчивал. Познакомились они на Селекционной станции Рудзинского.

Крепкий, плотный, широкоплечий, Вавилов был подвижен, улыбчив, много и охотно говорил, вечно куда-то спешил. Видя, как он торопливо тащит огромный, до отказа набитый портфель, застенчивый Ганя Зайцев не позволял себе первым заговаривать с ним или задерживать, если заговаривал Вавилов. Николай Иванович с ним шумно здоровался, широко улыбался, похлопывал по плечу, называл *батенькой.* Но так он держался со всеми. Замкнутый и застенчивый Зайцев не был уверен, помнит ли Вавилов его фамилию.

Он помнил всех.

В тихий дом Зайцевых в Голодной степи вместе с Вавиловым

ворвались шум, веселье, полились рассказы об иранском путешествии. В изложении Николая Ивановича оно выглядело забавным и беззаботным.

Рассказав об отказе Куропаткина, Вавилов сказал, что попытается пройти обходными, малодоступными тропами, через горные перевалы. Население там редкое, живет замкнуто, о восстании там, скорее всего, слыхом не слыхали.

Гавриила Семеновича такой план не на шутку встревожил. Заметно волнуясь, он стал убеждать Вавилова, что риск слишком велик, генерал-губернатор нисколько его не преувеличил. Во многих местах во главе восстания встали имамы, шпаны, муллы. Они внушают доверчивым мусульманам, что вся напасть от неверных. Участились набеги на поселки русских переселенцев, они нередко завершаются резней. Русские, со своей стороны, создают отряды самообороны, захватывают земли «халатников», чем еще больше накаляют страсти. Всюду рыскают карательные отряды, рассылаемые генерал-губернатором. Они подавляют очаги восстания, убивают всех, кто оказывает сопротивление, сотнями уводят арестованных. От этого ненависть к русским накаляется еще больше, слышится зловещее слово «газават» – священная война. Малодоступные горные районы не совсем недоступны. Кто может предсказать, с кем придется там повстречаться путешественнику. Идти на Памир можно только в сопровождении сильного воинского отряда; коль скоро в этом отказано, экспедицию надо отложить. Да и время уже позднее, в горах выпал или вот-вот выпадет снег, а заваленные снегом перевалы непроходимы.

– Приезжайте через год, как советует Куропаткин, – убеждал Зайцев, протирая запотевшее от волнения пенсне. – И куда вы торопитесь? Ведь нам с вами нет тридцати, вся жизнь впереди!

– Ну, что вы, батенька, – отшутился Вавилов, – жизнь коротка!

И вдруг, посерьезнев, добавил:

– Можно будет пройти через перевалы или нет, – это выяснится, если попытаться. Надо сделать всё, что зависит от себя.

Сделать всё, что зависит от себя!

Это была философия жизни. Она давала четкий нравственный ориентир для оценки собственных поступков в любой ситуации. Отговаривать Вавилова было бесполезно.

В Ташкенте Николай Иванович остановился у Дмитрия Демьяновича Букинича и детально обсудил с ним план путешествия.

Букинича он тоже знал по Петровке. Если Вавилова больше

всего влекла биологическая природа растений, то Букинича – условия их возделывания. Став инженером-агроно-мом, он связал свою жизнь с Туркестаном.

Самым узким местом для развития сельского хозяйства в этом пустынном крае была вода. Осадков ничтожно мало, солнце иссушает и выжигает растительность, земледелие, за редкими исключениями, возможно только при искусственном орошении.

Букинич изучал возможности расширения оросительных систем. Он много путешествовал по всему краю, в особенности по горным районам, откуда спускались потоки, образуемые тающими льдами. Изучал способы их обуздания и отвода воды на поля.

В 1911 году, в предгорьях Памира, землетрясение вызвало грандиозный обвал. Каменные глыбы, нависавшие над ущельем, прорытым бурной рекой Мургаб, рухнули и поглотили кишлак Усой со всеми обитателями.

Обвалившиеся скалы перекрыли русло реки. Вода стала стремительно прибывать, выше запруды образовалось большое озеро (Сарезское озеро); его уровень продолжал подниматься, затопляя кишлаки, из которых людей приходилось срочно переселять. Давление на запруду усиливалось, и в этом таилась главная опасность. Если бы ее прорвало, то вода хлынула бы вниз, унося с собой кишлаки, ютившиеся на склонах ущелья, вместе с людьми, посевами, скотом.

Велика ли вероятность такого развития событий? Можно ли его предотвратить, или людей надо переселять в преддверие новой катастрофы? Ответов на эти вопросы никто не знал.

Власти снаряжали экспедиции, но обследовать плотину было очень трудно, отчеты экспедиций были противоречивы. Одну из них возглавлял Дмитрий Букинич. Он поднимался в эти малодоступные места несколько раз, с разных сторон, став опытным путешественником и знатоком Памира[86].

Поначалу Букинич, как и Зайцев, пытался отговорить Вавилова от путешествия на Памир в разгар восстания, а когда понял, что его не переупрямить, вызвался его сопровождать.

Они склонились над картой.

Легчайший путь – по Алайской долине, впервые исследованной отважным первопроходцем Алексеем Федченко, трагически погибшем в 29 лет, – отпадал: он пролегал через основной очаг восстания.

Решили сделать попытку одолеть высокогорный перевал в верховьях реки Исфары. Букинич предупредил, что примет участие только в *этом* походе; если он не удастся, значит, не судьба, других попыток он делать не будет.

…Желтая пыль узеньких улиц, сдавленных стенами глинобитных домишек… Медресе и мечети с круглыми башенками и куполами, отливающими на солнце изумрудным фаянсом.

Резкий запах перегорелого кунжутного масла – им несет с растянувшихся на километры базаров… Восточная экзотика. Бухара…

Два английских офицера, явившихся сюда в XVIII веке, были схвачены по приказу эмира, брошены в яму, наполненную разными гадами, потом обезглавлены. Венгерский авантюрист Арминий Вамбери, с немалым риском для жизни, проник в Бухару в 1863 году, переодевшись дервишем. Неузнанным прошел сказочную страну вдоль и поперек, а затем подробно описал ее природу, историю, традиции, быт. А уже через пять лет Бухарское ханство оказалось под протекторатом России. Независимость бухарского эмира стала призрачной, но с тем большей ревнивостью соблюдались и культивировались ритуальные признаки его власти.

Этикет и традиция требовали, чтобы путешественник первым делом явился к эмиру. Внушительно составленные в министерстве земледелия бумаги произвели в канцелярии правителя должное впечатление. Вавилову не только было разрешено путешествовать по стране, но был обещан сопровождающий.

Им оказался хан Кильды-мирза-баши, солидный мужчина лет пятидесяти, с густой окладистой бородой. Приставка мирза-баши говорила об учености, то есть умении читать и писать. Вавилов вспоминал с мягким юмором, что в своем цветастом халате, перехваченном серебряным поясом с тяжелыми кистями, мирза-баши выглядел столь внушительно, что стало неясно, кто кого должен сопровождать. Но как тяжеловесный хан будет карабкаться по горным кручам?

«Всё оказалось лучше, чем я предполагал, – рассказывал Вавилов. – Мирза-баши в Бухаре достал сравнительно быстро и дешево лошадей, и наше движение им заранее извещалось волостным старшинам и старостам. Всегда были готовы приют и ночлег, иногда более чем удобные для Памира. Мирза-баши очень увлекся сборами [растений] и расспросами. Зная немного русский язык, он сошел за переводчика и вообще был недурным помощником».

У истоков Исфары одолеть заснеженный перевал оказалось невозможно. Этим попытка проникнуть на Памир должна была завершиться. Но местные жители – они были куда более

доброжелательны, чем можно было ожидать, – указывали на другой путь, через перевал Пакшиф, по леднику Демри-Шаург.

Букинич отказался вторично штурмовать небо. Возможно, своим отказом рассчитывал принудить к тому же и Вавилова, что, конечно, не удалось.

Если это привело к размолвке, то она не нарушила их дружбы. Через восемь лет, когда представилась возможность исследовать Афганистан, Вавилов пригласил в спутники Букинича.

5.

Гарм, куда стремился Вавилов, был отделен огромной, почти отвесной скалой. Еле заметная тропа змеилась по ее неровностям. Становилось холоднее: чувствовалось дыхание ледника.

Через расселину, перерезавшую тропу, пришлось переходить по живому мосту: проводники образовали его своими телами. «Особенно трудно пришлось с ханом Кильды, при его семипудовом весе».

По краю ледника, изрезанного трещинами, предательски припорошенными снегом, лошади шли медленно, осторожно щупали копытом тропу. Одолеть перевал за день не удалось. Пришлось устраиваться на ночлег у края ледника, под скалою; теплой одеждой путники не запаслись.

Вавилов лежал в продуваемой ветрами палатке. Уснуть не удавалось. Думал, вспоминал… О чем? Должно быть, возникали в памяти отрывочные картины.

Недавние споры с Букиничем…

Брат Сергей, тихоня Сергей, которого приходилось защищать от кулаков пресненских мальчишек. Теперь он на фронте. Жив ли еще?..

Кабинет отца. Рука, сдавливающая синюю спинку кресла. Острый взгляд из-под насупленных бровей.

– Ну как, Николай?

– Хочу стать биологом!..

Мог ли он предполагать, что *случайная волна хаотических вероятностей* забросит его на горные тропы Памира, к изрезанному трещинами леднику?..

В холодной палатке, конечно, вспоминались знойные дороги Ирана среди однообразных серовато-желтых холмов, где шмыгали зеленые ящерицы и ползали огромные ярко-красные пауки…

…Он достал из нагрудного кармана коробок, чиркнул спичкой, тусклый огонек осветил циферблат часов… Сорок минут

до рассвета.

Он растолкал хана Кильды, подняв караван. Выпили горячего чая с бараньим салом, надо было выступать.

Лошади шли еще медленнее, чем накануне, нервно вздрагивали и прядали ушами, когда копыто проваливалось в трещину. Холод пронизывал до костей. Хан Кильды, к счастью, держался молодцом и лишь повторял, что объехал верхом всю горную Бухару, а такого гиблого места не видел…

Реку переходили по разрушенным льдинам. «Полностью и этот путь оказался непроходимым», – вспоминал Вавилов.

Он уговорил проводников, убедил хана Кильды: *надо сделать всё, что зависит от себя.* Прошли.

У кишлака Сары-Пуль дорогу преградили клокочущие воды Вахта.

«Две огромные скалы надвинулись с обоих берегов реки и связанные несколькими длинными бревнами с положенной на них настилкой из хвороста представляли какое-то крайне ненадежное по виду полотно не больше аршина шириной… Осторожно ступая по настилке и ведя лошадь в поводу, мы двинулись один за другим через мост, буквально ежеминутно ожидая с замиранием сердца катастрофы. Мост весь шатался, гнулся и скрипел, как живой. Слабые скрепы местами совершенно разошлись <…>. А внизу, в бездне, клокотала и шумела река, будто ожидая жертву. Невольно казалось, что глубина к себе притягивает, вызывая головокружение. Слышен во время остановок стук собственного сердца <…>. Длина моста в 30 метров показалась равной версте. Я стал на твердую почву буквально мокрый от холодного пота».

Это из очерка Дмитрия Николаевича Логофета[87], прошедшего здесь несколькими годами раньше. Вавилов не мог бы придать описанию столь эмоциональную окраску – не в его это стиле и характере. Но переправа была та же! Только еще более шаткая: ведь несколько лет прошло, и трудно допустить, что ее ремонтировали. К тому же осенние заморозки покрыли ее корочкой льда.

Осторожно ступая, стараясь не смотреть вниз, вел Вавилов под уздцы свою лошадь.

За ним хан Кильды.

Дальше проводники с вьючными лошадьми.

Громкий крик заставил Вавилова обернуться. Одна из лошадей поскользнулась, задние ноги ее повисли над бездной… Еще мгновение, и она полетела вниз.

«Бурная река подхватила злополучную лошадь вместе с вьюком и понесла под льдины. Лошадь погибла… Проводники-

киргизы, ответственные за караван, беспомощно разводили руками, призывая аллаха в свидетели, что это не их вина».

Лошадь погибла. А вьюк?.. В нем походные дневники, книги, а главное – пакеты с собранными по пути образцами растений!..

Сойдя с шаткого моста на берег, Вавилов и его спутники отправились вниз по течению, на поиски вьюка.

Река с ревом прорывалась сквозь нагромождения льдин, пытавшихся ее сковать. Поиски продолжались несколько часов, но отыскать ничего не удалось. Досаднейшая потеря! Дневники можно частично восстановить по памяти, книги – потеря тоже восполнимая, но образцы растений! Погибла половина сборов, их уже не восполнить…

Остается только извлечь урок на будущее. В дальнейшем Вавилов все собранные образцы делил на две порции и вьючил на разных лошадей.

Вавилов ходил по крохотным (в несколько квадратных метров) полям, что теснились террасами по склонам гор вокруг кишлаков. Устанавливал предельные высоты для разных культур. Не доверяя глазомеру, карабкался с анероидом (прибором для определения высоты) по каменистым кручам. Отмечал в дневнике особенности быта, одежды, языка местного населения.

Разнообразие ботанических форм возделываемых культур здесь было значительно меньшим, чем в Иране. Он уже догадывался почему. Предгорья Памира дальше отстоят от древнейших очагов земледельческой культуры и отгорожены неприступными хребтами – потому и генофонд здесь беднее.

Зато в условиях географической изоляции выработались особые формы растений. Вавилов обнаружил безлигульную рожь – совершенно новую, неизвестную разновидность. «Ради нее одной надо было быть на Памире!» – воскликнет он почти через четверть века в неоконченной книге «Пять континентов».

Обычно у злаков, у основания листа, там, где он крепится к стеблю, есть небольшая прозрачная пленка – лигула. Этой пленки не оказалось у найденных форм ржи. Хозяйственной ценности такая особенность не имела, может быть, поэтому ученые не обращали на нее внимания. Но для Вавилова хозяйственная польза – не цель исследования, а побочный продукт. Его задача – познать законы происхождения и родства культурных растений. Когда они будут познаны, человек сумеет использовать их для своего блага.

Рожь особенно привлекала его во время памирской экспедиции. Ее не назовешь распространенной здесь культурой. Только высоко в горах, у пределов земледелия, поля засевались

рожью. Ниже, где климат не так суров, рожь – всего лишь сорняк в посевах ячменя и пшеницы. Как и в Иране! Зерно у сорной ржи мелкое, но она относится к тому же ботаническому виду, что и обычная культурная рожь.

Сам этот факт был известен и прежде. Сорно-полевую рожь описал в конце XIX века академик Коржинский, много путешествовавший по Средней Азии. По его теории, культурная рожь когда-то возделывалась в Средней Азии, но ее вытеснили более ценные культуры – пшеница и ячмень, а рожь сохранилась в посевах в виде сорняка.

Но Вавилов обнаружил, что разнообразие форм сорнополевой ржи было здесь куда большим, чем разнообразие сортов культурной ржи в Средней России. Безлигульные формы встречались только здесь – они с особой наглядностью говорили об этом. Если бы рожь была когда-то вытеснена из культуры, то сортовой состав сорняка был бы беднее, чем там, где рожь возделывают до сих пор. Значит, сорная рожь – не остаток вытесненной культуры, а исходный сорняк! Его ботаническая близость к культурному растению объясняется тем, что, проникнув в посевы пшеницы и ячменя, сорная рожь попала в условия культуры. Естественный отбор потерял власть над нею, дальнейшую ее эволюцию направлял искусственный отбор, хотя и стихийный. Преимущество получали неломкие, неосыпающиеся формы, созревающие вместе с пшеницей и ячменем. Крестьяне невольно убирали семена сорной ржи вместе с основной культурой и вместе с ней высевали их в следующий сезон. Но как тогда объяснить родственную связь сорной памирской ржи с культурной рожью средних широт?..

6.

В Гарме караван пришлось снаряжать заново. Проводники-киргизы идти дальше отказывались: их земля кончилась, началась земля таджиков, им туда нельзя. Киргизы повернули назад, забрав лошадей…

Ну что ж, с таджиками Вавилову столковаться легче: их язык, фарси, – тот же, что у персов, а с ними он научился общаться в Иране.

…Местный правитель, бек, помог снарядить новый караван. Теперь они движутся по живописной местности около 2,5–3 тысяч метров над уровнем моря, с горы на гору, в провинцию Дарваз. Благодатный край! Здесь попадается и безлигульная пшеница, и другие эндемичные формы, совершенно неизвестные науке.

Кишлаки стоят густо. Хан Кильды усердно помогает собирать растения. А мозг Вавилову сверлит загадка сорнополевой ржи…

Тропа выводит караван на обрывистый берег реки Хингоу. Вода темно-кирпичного цвета – от взвесей песка и глины, выносимых с крутых горных склонов. Река шумит водопадом. Никакой, хотя бы шаткой, переправы через нее не видно. Таджики из соседнего кишлака приносят десяток грязных бараньих шкур и, присев на берегу, надувают их через специальные трубочки; с помощью нескольких палок шкуры скрепляют между собой, набрасывают на них настил – получается плот – гипсара, его спускают на воду.

Вавилов ложится на шаткий плот. Два таджика ложатся на два других, меньших, плотика – один справа, другой слева. Держась руками за центральный плот, они отталкиваются от берега.

Река швыряет, вертит гипсары, окатывая путников жгучей водой. Сильно работая ногами и следя за шкурами, которые то и дело выпускают воздух, так что их надо поддувать через деревянные трубочки, таджики толкают плот к противоположному берегу, а он стремительно проносится перед глазами… Плот пристает к нему на несколько километров ниже по течению.

Дальнейший путь на юг опять преграждает хребет. Горы становятся мрачнее и круче, местность пустыннее. «Словно нарочно природа создала здесь естественные крепости в виде огромных крутых холмов, между которыми текут бурные реки».

Тропа то большими уступами поднимается вверх, то круто спускается вниз. Приседая на задние ноги и почти не переставляя передних, лошади скользят копытами по наклонным плитам. Многие километры приходится идти пешком.

…На ходу хорошо думается. Наверное, не раз приходит мысль: а что, если сорная рожь не связана с культурной близким родством? Ведь внешность растения обманчива. Не шутит ли сорная рожь такую же шутку, как персидская пшеница, которую лучший знаток пшениц уверенно отнес к мягкой – и оказался неправ! Надо будет провести скрещивания сорной ржи с культурной и посмотреть, что они дадут.

Но если и скрещивания покажут, что это ближайшие родичи?..

По берегу реки Пяндж дорога еще более утомительна и опасна. Ширина тропы – один-полтора аршина. Справа уходящая ввысь скала с частыми острыми выступами – они низко нависают над тропой. Слева – километровая пропасть. Тропа то и дело идет

по оврынгам: шатким балконам, кое-как прикрепленным к отвесной скале. Они скрипят и колеблются, грозят обвалиться. Каждый шаг требует осторожности – от лошади и от человека.

Оврынги во многих местах повреждены, настил содран. Особенно трудно обходить выступы скал на поворотах. Приходится развьючивать лошадей, переносить пудовые тюки на руках, затем снова навьючивать.

На отдельных участках тропа становится шире и ровнее, тогда можно подняться в седло, дать отдых натруженным ногам. В один из таких моментов по тропе вдруг метнулись две большие тени. То поднялись, размахивая могучими крыльями, два орла и повисли над бездной. Испуганная лошадь всхрапнула и понесла. Поводья от неожиданности выпали из рук, и тут тропа стала сужаться и снова пошла по оврынгам.

Лошадь под Вавиловым чудом не сорвалась в пропасть, с большим трудом удалось ее успокоить… «Это то, что впоследствии больше всего вспоминает путешественник. Такие минуты дают закалку на всю жизнь, они делают исследователя готовым ко всяким трудностям, невзгодам, неожиданностям. В этом отношении мое первое большое путешествие было особенно полезным»[88].

…А мысль продолжает работать.

При продвижении пшеницы на север вместе с ней двигался и сорняк. Проникая в неблагоприятные для пшеницы районы, менее прихотливая рожь все сильнее забивала пшеницу, пока человек, наконец, не заметил, что из сорняка тоже можно выпекать хлеб! На юге России, вспомнил Вавилов, еще можно встретить посевы суржика – смеси ржи и пшеницы. Выращивая эту смесь, крестьянин рассчитывает в случае благоприятных условий получить урожай пшеницы, если же пшеница погибнет, рожь спасет его от голода.

В более северных районах, где пшеница не родит, земледелец вынужден был заменить ее менее ценной, но более выносливой культурой. Сорняк становился культурным растением! Пшеница как бы на собственных плечах вынесла его из первичных очагов формообразования и «ввела» в культуру в местах, на тысячи километров удаленных от этих очагов! При подъеме в горы этот процесс более нагляден.

При продвижении сорнополевой ржи на север или в горы многие разновидности ее исчезают, теряются – потому беден ее сортовой состав в районах, где рожь возделывают, и богат там, где с ней борются как с сорняком! Значит, теория академика Коржинского подтверждается с точностью до наоборот! Не культурная рожь, вытесняемая пшеницей, превращается в сорную,

а сорная, вытесняя пшеницу, становится культурной!

О приуроченности этапов движения мысли Николая Вавилова к отдельным эпизодам его путешествия мы, конечно, говорим гадательно. Но бесспорно, что процесс вхождения сорной ржи в культуру он ясно представил себе еще там, в ущельях и на перевалах Припамирья. Это легко доказывается сопоставлением дат. Он вернулся из экспедиции в октябре 1916 года, а в декабре уже выступил с изложением своей теории. За два месяца он успел окончательно убедиться: сорная рожь принадлежит к тому же виду, что и культурная! За это время он перерыл десятки трудов о первых путешествиях в страны Востока. С особым чувством листал «Книгу о разнообразии мира» великого венецианца Марко Поло, в которой описаны культурные растения посещенных им стран. Вавилов искал и боялся найти хотя бы беглое упоминание ржи. Не нашел. В XIII веке крестьяне Востока культурную рожь не возделывали!

Не доверяя себе, Вавилов проконсультировался с лингвистами – знатоками персидского и индо-санскритского языков. Не зря во время экспедиции он тщательно записывал местные названия растений. Рожь здесь называли джоу-дар или чоу-дар и гандум-дар. В переводе это означало – терзающая ячмень или терзающая пшеницу. Рожь здесь издревле знали как сорняк!

Теорию происхождения ряда культурных растений из сорняков Вавилов первоначально основал на агрономических и ботанических данных. Историко-лингвистическое подтверждение сделало ее еще более убедительной.

Часть вторая
Саратов

На грани эпох

1.

Вавилов рвался в новые путешествия.

«Мне хотелось бы удрать в Африку, Абиссинию, Судан, Нубию. Кстати, там так много можно найти», – писал он А. Ю. Тупиковой.

Но война и революция отодвигали задуманные экспедиции в туманное будущее. А выжидать в бездействии Вавилов не умел.

Его жизнь расписана по получасам.

Он выступает с докладами о своей экспедиции.

Разбирает привезенные материалы.

Ведет занятия со студентками Голицынских курсов.

В теплице Политехнического музея начинает опыты с памирскими скороспелыми пшеницами.

В вегетационном домике и на опытных делянках Селекционной станции Петровки продолжает эксперименты по иммунитету.

Всё это – жадно, увлеченно, охватывая все большее число объектов и связанных с ними научных проблем. Всё ему интересно, всё важно, всё значимо. В его беспорядочных действиях трудно уловить стремление к единой цели.

Недавние учителя провожают его укоризненными взглядами, когда он – бодрый, веселый, с разбухшим портфелем – быстрой, чуть раскачивающейся походкой проносится по коридорам Петровки. Нельзя же так разбрасываться!..

Только глядя из будущего, его беспорядочные действия можно выстроить в цепочку продуманных, увязанных между собой звеньев. В феврале 1917 года Вавилов писал из Москвы Тупиковой: «А без Вас тут что же нового? Самое интересное – это лекции Валерия Брюсова о древнейшей культуре человечества <…>. И содержание и форма на 5. Эгейская культура вся как живая».

Так что его еще хватало на посещение лекций поэта Брюсова! Правда, привлекал к ним не столько интерес к поэзии, сколько к древнейшей культуре, к истокам цивилизации.

2.

Однако подходил к концу срок «подготовки к профессорской

деятельности». Надо было думать о будущем. Вавилов навел справки и узнал, что в Воронежском сельскохозяйственном институте появилась вакансия адъюнкт-профессора кафедры частного земледелия. Более подходящего места для себя он не мог и вообразить!

Селекционная станция Петровки, где он вел исследования по иммунитету растений и другие работы по изучению их наследственной природы, состояла при кафедре частного земледелия Прянишникова. Такую работу Вавилов с удовольствием продолжил бы в Воронеже!

Убедившись, что руководство института благосклонно относится к его кандидатуре, он подал официальное заявление и стал готовиться к переезду в Воронеж. Отрадно было и то, что там работал близкий ему человек, Николай Макаров.

Прошло полгода, а из Воронежа никакого ответа. Неопределенность положения стала тревожить Вавилова. И вдруг он узнает, что на то же место, никому ничего не сказав, подал другой сотрудник Прянишникова, Иван Вячеславович Якушкин – родной брат его помощницы.

Разговор с Якушкиным «начистоту» его ошеломил. Не моргнув глазом, тот очень просто объяснил свой неблаговидный поступок: ему очень хочется получить место в Воронеже!

Николай Иванович слушал и не верил своим ушам. Он не мог себе представить, что такое возможно в сияющем храме науки, где все призваны поддерживать друг друга, а не ставить подножки! Неписаные правила научной этики не допускали этого. Ведь о том, что Вавилов подал на кафедру частного земледелия Воронежского института, все хорошо знали, знал о том и Якушкин. Но, с кем-то посекретничав и получив какие-то обещания, он подал на ту же позицию и держал это в тайне до тех пор, пока скрывать уже стало невозможно.

Такое вероломство не укладывалось в голове. И подумать только, от кого оно исходило! Если Вавилов сын купца, внук крепостного крестьянина, то Якушкин столбовой дворянин, голубых кровей, герб его рода красовался в 4-й части Общего гербовника, его предки служили воеводами, стольниками, стряпчими, послами. Его прадед, современник Пушкина, был блестящим офицером, храбро сражался против Наполеона, был человеком чести, не терпел царского произвола. Участвовал в тайном обществе, пережил разгром декабрьского восстания, был приговорен к каторге. После 30 лет каторги и ссылки был помилован, написал воспоминания, которыми зачитывалась вся образованная Россия! А правнук, слегка ухмыляясь и с трудом сдерживая злорадство, почти открыто торжествовал по поводу

того, как хитро объегорил наивного плебея!

Вавилов не мог предполагать, сколь роковым демоном станет для него Иван Вячеславович Якушкин. В те весенне-летние месяцы 1917 года Якушкин тоже об этом не подозревал…

Первым порывом Вавилова было – забрать свое заявление из Воронежского института! Но, поостыв, он решил этого не делать. С какой стати облегчать жизнь ректорату, поступившему с ним столь некорректно.

Понятие «частное земледелие» было довольно расплывчатым: от руководителя кафедры зависело, какое из возможных направлений развивать. Направления работы у Вавилова и Якушкина были разные. Ивана Вячеславовича интересовало питание растений, обработка земли, севообороты; Вавилова – сами культурные растения. Воронежскому ректорату предстояло решить, какое из двух направлений для него предпочтительнее.

Не снимая своей кандидатуры в Воронеже, Вавилов подал на должность преподавателя Саратовских высших сельскохозяйственных курсов. Курсы эти были очень молоды: созданы только в 1913 году. Репутация их еще не установилась. У истоков их создания стоял видный ученый-животновод Б.Х.Медведев, он и стал их ректором. Он откликнулся быстро: Вавилову предложено место преподавателя.

А из Воронежа ни слуху ни духу. Наконец он узнает – опять от Якушкина! – что тот избран штатным адъюнкт-профессором. Вавилов тоже избран – но на сверхштатную кафедру, о ее учреждении решено ходатайствовать.

Очень уж это похоже на попытку сохранить хорошую мину при нечистой игре. Идет 1917 год, в стране революция! Предприятия стоят, рабочие митингуют, солдаты массами бегут с фронта, во Временном правительстве раздрай, государственный бюджет трещит по швам, – какие там сверхштатные кафедры! И почему Вавилов узнает об этом от Якушкина, а не от воронежского ректората?

Вавилов ставит себе срок 1 июля. Так и не дождавшись ответа из Воронежа, он принимает предложение Б.Х.Медведева.

Молодые саратовские курсы менее престижны, чем Воронежский институт, а позиция преподавателя менее престижна, чем адъюнкт-профессора, да и жалование значительно ниже. Зато «Саратов очень радушен», как сообщил Николай Иванович в Воронеж Макарову.

3.

В сентябре 1917 года Вавилов прочел на Саратовских сельскохозяйственных курсах вступительную лекцию. Изложил в ней «Credo агронома-ботаника», как написал Роберту Эдуардовичу Регелю. То была программная лекция. Начал ее Вавилов с того, что будет говорить о «перспективах, в направлении которых мыслится работа современного растениевода», об «идеологии исследования в этой области агрономической науки». И сразу же перешел к изложению концепции Льва Ильича Мечникова о трех фазах развития человечества и его культуры.

Лев Мечников был старшим братом Ильи Ильича Мечникова и по таланту не уступал младшему брату Еще он был большим забиякой и обладал необузданным нравом, что, впрочем, было свойственно многим Мечниковым. Он родился в Петербурге в 1838 году. Его отец Илья Иванович был гвардейский офицер, а его дворянский род восходил к приближенному молдавского князя Стефанита Спотарю Милешту.

Князю Стефаниту Спотарь изменил. Послал в подарок польскому королю дорогую позолоченную трость, инкрустированную драгоценными камнями, а в нее вложил секретную записку: могу свергнуть молдавского князя, трон отдать тебе. У польского короля были другие планы, записку он переслал Стефаниту. Князь хотел покарать изменника самой суровой казнью, но потом смягчился и, во уважение прежних заслуг, голову Спотарю отрубать не стал, а велел отрубить только… нос! Изменника с позором изгнали из страны.

Согласно легенде, он уехал в Германию, где чудодей-лекарь пришил ему новый нос. С новым носом он явился к русскому царю Алексею Михайловичу и стал учителем маленького Петра – будущего императора Петра Великого.

Спотарь выписал из Молдавии своего племянника Юрия Степановича, царь Петр поставил его *мечником* (кем-то вроде судьи) и за добрую службу пожаловал ему богатые поместья в Малороссии. От этого *мечника* и пошла фамилия Мечниковых. В роду были видные государственные мужи, один стал сенатором. Но свои собственные дела они вели неумело, род их изрядно оскудел.

Илья Иванович поправил свое материальное положение, женившись на не знатной, но богатой невесте: дочери Льва Неваховича – удачливого коммерсанта и талантливого литератора.

Невахович был одним из трех первых евреев, поселившихся при Екатерине Великой в Петербурге. По закону евреям в столице жить не дозволялось, но просвещенная императрица любила

полиберальничать и на это нарушение закрыла глаза.

Лев Невахович известен как зачинатель русско-еврейской литературы, то есть автор первого произведения на русском языке на еврейскую тему: «Вопль дщери иудейской».

Он призывал русское общество к справедливости и милосердию к его соплеменникам, страдавшим от злобных наветов и несправедливостей. Позднее Невахович крестился и отошел от еврейской тематики. Его веселые, искрометные комедии с успехом шли в столичных театрах, Неваховичи были приняты в высшем обществе, его миловидная дочь Эмилия пользовалась успехом на балах, однажды танцевала с Пушкиным. Поэт спросил очаровательную партнершу, как ее зовут; она ответила: «Мила».

– Как вам идет ваше имя! – любезно заулыбался поэт, возможно, тотчас забыв о своем комплименте, но Эмилия Львовна помнила о нем до конца жизни, рассказывала детям, он стал семейным преданием, как отрубленный нос Спотаря Милешту.

Похоже, что Илья Иванович женился на Эмилии не только из-за богатого приданого. Всё шло бы хорошо, если бы не пагубная страсть к карточной игре. Не с него ли и ему подобных Пушкин рисовал Германна в «Пиковой даме»?

От приданого жены с годами ничего не осталось, жить в Петербурге с должным для светского офицера размахом стало невозможно. Пришлось выйти в отставку и поселиться в своем родовом имении Панасовке, в Харьковской губернии. Сыновей своих, старшего Ивана (названного в честь деда по отцовской линии) и младшего Льва (названного в честь деда по материнской линии), оставили в частном пансионе, дочь взяли с собой. В Панасовке родился четвертый ребенок, Николай, после него уже детей иметь не хотели. Но, как я писал в книге о младшем Мечникове, «3 мая 1845 взял и возвестил победным криком о своем появлении на свет божий Илья. Это был его первый своевольный поступок»[89].

Однако неукротимым своеволием Лев Мечников превосходил даже младшего брата.

Болезнь тазобедренного сустава, перенесенная в детстве, сделала его инвалидом, но хромота не мешала ему мотаться по свету, драться на дуэлях, убегать из дому – то в Молдавию, чтобы захватить трон (!), то в Севастополь – спасать отечество во время Крымской войны. Из гимназии его исключили за независимый нрав. Он посидел над книгами пару месяцев и экстерном сдал экзамены за гимназический

Резник С.Е. Мечников. М.: Молодая гвардия, 1973. С. 23. (ЖЗЛ) курс. В Харьковском университете связался с

революционными кружками и после первого курса был удален, – к счастью, без волчьего билета. В Петербурге он поступил в Медико-хирургическую академию, параллельно в университет и в Академию художеств, а приватно изучал иностранные языки. За два года он освоил десяток европейских и несколько восточных языков. В это трудно поверить, но так говорят его биографы. Когда появилась возможность присоединиться к дипломатической миссии, он бросил учебу во всех трех высших школах и отбыл в Константинополь, оттуда в Афины, затем в Иерусалим. Мир посмотреть, себя показать, кое-что зарисовать.

Он преуспел в том, и в другом, и в третьем.

Начальника миссии генерала Б.П.Мансурова он высмеивал в едких карикатурах – ими полнился его дорожный альбом, который он не таил от окружающих. Приятелю, который на него настучал, Мечников влепил пощечину, вызвал его на дуэль, из миссии его уволили.

Устроившись торговым агентом в какую-то русскую компанию, он продолжал «смотреть мир», путешествуя по Балканам и Ближнему Востоку. Потом порвал с компанией и уехал в Италию. Оттуда писал родителям: «Теперь я определенно знаю, что создан быть только художником. И никакие силы мира не заставят меня покинуть родину Тициана»[90].

Однако Тициану он изменил с… Джузеппе Гарибальди и его *тысячей* отчаянных молодцов. В Италии шла борьба за независимость и объединение страны. Лев Мечников в стане борцов за правое дело.

«Как пишут итальянские историки, “командуя артиллерийской батареей в битве при Вольтурно 1 октября 1860 года, лейтенант Мечников успешно отражал атаки неаполитанской пехоты, а когда кончился боезапас, поднял гарибальдийцев в контратаку, но был сражен осколками вражеского снаряда”. Его выходили французские врачи, которых нанял Александр Дюма, ставший Мечникову другом»[91].

На фоне приключений хромоногого беса романы Дюма выглядят скучными бытовыми хрониками.

Как только в Италии воцарился мир, Лев Мечников переехал в Швейцарию, познакомился с Герценом и Бакуниным, вступил в Первый интернационал – в секцию анархистов.

В Россию ему путь закрыт: в секретных депешах его характеризуют «республиканцем, красным, опасным человеком». Зато в ведущих российских журналах, под разными псевдонимами, нарасхват идут его корреспонденции, рассказы, повести, статьи.

Гонорары, однако, приходят нерегулярно, они мизерны. А у

него семья: жена и удочеренная падчерица. Жить все труднее, грозит нищета. Как быть?

Лев Мечников не из тех, кто терпеливо распутывает гордиевы узлы, он их рубит сплеча. Новое дерзкое решение – освоить японский язык и ехать в Японию! Через полгода он в Токио: преподает русский язык, общается с японцами из разных слоев общества, ездит по стране, вбирает впечатления, собирает сведения о географии, истории, экономике, политическом устройстве, бытовой жизни народа. Результат двухлетнего пребывания в Стране Восходящего Солнца – труд объемом в 700 страниц: «Японская империя».

Туберкулез легких заставляет Льва Мечникова вернуться в Европу. Но не обратным путем – это неинтересно! – а через Тихий океан в Сан-Франциско; оттуда по железной дороге – в Нью-Йорк; оттуда через Атлантику, завершая кругосветное путешествие. По пути заканчивает монографию о Японии.

Вернувшись в Женеву, Лев Мечников познакомился со знаменитым географом и убежденным революционером-анархистом Элизе Реклю. Реклю тоже изгнанник, но не из России, а из Франции. И путешественник, объехавший, точнее сказать, обошедший на своих двоих полмира.

Неутомимый труженик и блестящий стилист, Реклю издавал ежегодно по толстому тому «Всемирной географии» – 19 томов за 20 лет! Он помог Льву Мечникову издать «Японскую империю», а тот помогал в подготовке томов «Всемирной географии».

Стараниями друзей и особенно Реклю Лев Мечников становится профессором географии и статистики Лозаннского университета. Параллельно с чтением лекций он пишет книгу «Цивилизация и великие исторические реки».

Она и станет его главным научным трудом.

Чахотка исподволь подтачивала силы, в 1888 году пятидесятилетний Лев Мечников скончался. В прочувствованном слове над могилой друга Элизе Реклю сказал: «Смерть не полагает конца его предприятиям и стремлениям. Он живёт в памяти своих друзей, а его идеи живут в жизни потомков».

В год смерти Льва Мечникова Николай Вавилов был младенцем. Но почти через 30 лет Лев Ильич ожил в его вступительной лекции на Саратовских курсах. Вавилов вдохновенно рассказывал о книге Мечникова, в которой проводилась идея о *трех* периодах развития человечества и его культуры.

Первым, в представлении Мечникова, был речной период, когда на берегах великих рек процветали земледельческие

цивилизации древности: Месопотамская, Египетская, Китайская, Индийская… Второй период он назвал средиземноморским: отдельные изолированные цивилизации вступили в контакт друг с другом, что наиболее характерно для стран Средиземного моря. Третий, океанический период, начался с открытия Америки и налаживания регулярных связей Европы с Индией и Китаем; он, по мнению Вавилова, был далек от завершения.

Николай Иванович полностью солидаризировался с взглядами Льва Мечникова.

Через несколько лет он выступит с их пересмотром: дополнит три периода четвертым, наиболее древним, который в системе Мечникова следовало бы поставить *первее* первого. Вавилов еще не подозревал, насколько существенны будут его коррективы, но с уверенностью говорил, что «ботаник может поправить историка и археолога».

«Культура поля идет всегда рука об руку с культурой человека» – такова основная идея его программной лекции. Древние земледельческие цивилизации, изолированные друг от друга, могли вводить в культуру те растения, которые имелись в местах их обитания. Великие цивилизации доколумбовой Америки не знали пшеницы. Древние инки, майя, ацтеки, достигшие изумительных высот культуры до прихода европейцев, не ведали вкуса простого пшеничного хлеба! Точно так же обитатели Старого Света не имели понятия о картофеле, табаке, томатах, подсолнухе, кукурузе.

Человечество вступило в такой период, когда пшеница стала господствующей культурой Североамериканского континента, а картофель широко возделывается в Европе. Но Вавилов убежден, что процесс переселения сельскохозяйственных культур только начинается и идет стихийно. Никто еще не доказал, что в таком-то районе наиболее рационально выращивать такие-то растения. Более того, никто еще не выявил, какими растительными ресурсами реально владеет человечество. «Но и теперь ясно, что через 100–200 лет настоящий состав культурной флоры многих стран изменится существенным образом».

Чтобы это могло произойти, нужна всемирная перепись сортов культурных растений. Не только родов и видов, но сортов! Надо собрать сорта со всего света. И хранить не засушенными в гербарных шкафах, а живыми, ежегодно высеваемыми, с тем чтобы всесторонне исследовать реальную ценность каждого сорта.

Такова задача, которую Вавилов сформулировал в сентябре 1917 года в своей вступительной лекции на Саратовских курсах. Она стала программой работы всего исследовательского коллектива, который он создаст и возглавит. Сегодня, через сто

лет, она остается программой научных учреждений многих стран мира.

4.

Он поднимался на кафедру всегда энергично, как-то весело.

Развешивал карты и образцы растений, клал стопку книг – и перед слушателями открывался мир далеких странствий и глубоких закономерностей жизни. Ограничиваться азами, элементарными истинами? С первых занятий на Высших Голицынских курсах он отверг такую «методику». Но тогда ему не удавалось доходчиво объяснять новейшие научные идеи. А теперь стало удаваться! Может быть, потому, что тогда он растолковывал *чужие* идеи, а теперь – *свои*?

В начале 1918-го Саратовские высшие сельскохозяйственные курсы были преобразованы в Институт, в конце года Институт стал факультетом Саратовского университета.

Преподаватель Вавилов становится профессором. Обстановка его жизни и работы от этого не меняется, а то, что происходит в стране, меняет ее к худшему.

Семнадцатый, восемнадцатый, девятнадцатый, двадцатый годы. Гражданская война, разруха, голод. Зарплату то и дело задерживают, а когда выдают, то оказывается, что на нее нечего купить: галопирующая инфляция превращает заработанное в бумажную труху. По железнодорожным артериям, забитым переполненными составами, смертоносным ядом струится тифозная инфекция. Вавилов то и дело окунается в эту душную, отравленную атмосферу: ему часто надо бывать в Москве по делам кафедры и по семейным делам, которые то и дело взрываются неурядицами. Отец твердо решает бежать из Совдепии, мать так же твердо решает остаться с детьми. Брат Сергей на фронте, пишет нерегулярно. В феврале 1918 года он попал к немцам в плен. К невероятному счастью для него, пленивший его офицер оказался физиком. Они проспорили ночь о новой теории света Макса Планка, а утром немецкий офицер *не заметил,* как пленник исчез из-под стражи – не исключено, что сам и устроил побег. Об этом стало известно позднее, а пока редкие письма Сергея держат семью в напряжении.

Жена Николая Екатерина Вавилова-Сахарова увлечена идеями сельскохозяйственной кооперации. Ее брошюра «Кооперативное хозяйство в Англии» высоко оценена коллегами, она работает в редакции журнала «Кооперативная жизнь», почти в

каждом номере, то есть каждые две недели, публикует обзоры «Из заграничной кооперативной печати». Она также инструктор по просвещению в подмосковном Союзе молочных товариществ. И еще она активно трудится в Обществе сближения с Англией.

Общество было основано в 1915 году. В правление вошли трое Вавиловых – Николай, Екатерина и Иван Ильич. Но наиболее активно в нем работала Катя. Она общается с руководителями и активистами общества, такими как вернувшийся из 40-летней эмиграции князь Петр Кропоткин – неисправимый анархист и сторонник сближения с Англией. Она полемизирует с религиозным философом Николаем Бердяевым, который будет выслан на «философском пароходе» в 1922 году. Контактирует с лидерами партии народной свободы (кадетов) Ф.Ф.Кокошкиным и А.И.Шингаревым – до их страшной гибели в январе 1918 года, когда их растерзает в тюремной больнице ворвавшаяся матросня. Была ли то самодеятельность перепившихся матросов, или бессудная расправа с «врагами революции» была закулисно организована ВЧК, не выяснено до сих пор.

При всех потрясениях и невзгодах Екатерина Николаевна жила полной жизнью. Какие бы бесчинства ни творились вокруг, она знала одно: будущее России – в кооперации. Она принесет процветание крестьянам, а значит, и всей стране. В пропаганде кооперативного движения она нашла свое призвание. Бросить всё это и ехать «в глушь, в Саратов» она не хотела. Похоже, что муж не сильно ее уговаривал.

У большевиков, захвативших власть, свои виды на кооперацию, иные, чем у лидеров движения. Журнал «Кооперативная жизнь» закрыли уже в конце 1917 года. Через год его удалось возобновить, но он стал выходить под бдительным присмотром властей. Жить ему осталось полгода. За это время в нем появится только одна статья Е.Н.Вавиловой-Сахаровой[92].

5.

Германская война завершилась «похабным» Брестским миром и сразу же перешла в гражданскую. Частная торговля вне закона, «спекулянтов» расстреливают на месте. Введен военный коммунизм. Заводы и фабрики «принадлежат народу», но не работают. Земля отдана крестьянам, но урожай отбирают рыскающие по деревням продотряды; «укрывателей» хлеба расстреливают на месте. В городах чекисты хватают правых и виноватых, многих расстреливают без следствия и суда.

На митингах, собраниях, дискуссиях молодежь накачивают

«пролетарской» идеологией. «Базары опустели. За белыми калачами приходилось ездить в Покровск, где можно было купить пшеничную муку у хохлов, стерлядей у рыбаков и копченую или сушеную воблу. В большом ходу были семечки, их грызли всюду: на вокзалах, пристанях, на улицах и даже в учреждениях».

Так вспоминал студент Саратовского сельскохозяйственного института М.В.Владимирский.

Сам он пробыл в Саратове недолго: был призван в Красную армию. Но впоследствии он разыскал тогдашнюю студентку Ольгу Алексеевну Пилюгину, она ему рассказала: «Студенты жили очень плохо, многие буквально бедствовали. Недоедание, зимние холода, ветхая одежда и обувь… Вид у нас был самый неприглядный. А тут еще появилась холера, сыпной тиф, испанка, малярия. Какие уж тут занятия! Летом все же было легче <…>. На летних полевых работах в учебном хозяйстве под Гусёлками почти все без исключения студенты ходили босиком»[93].

Усиливалась разруха; жизнь в Саратове, как и во всей стране, замирала…

А в полупустом, плохо отапливаемом Сельскохозяйственном институте была аудитория, в которую ломились слушатели. Не только студенты, но и научные работники смежных кафедр, агрономы, сотрудники селекционной станции, Саратовского университета, члены Географического общества. Ректор Медведев специальным указом переносит лекции профессора Вавилова на вечерние часы – «для удобства публики».

Одним ораторским талантом тут не возьмешь. Да и не был Вавилов блестящим оратором. Бывало, замолкал, подбирая подходящее слово. Бывало, перескакивал с предмета на предмет (скачки мысли были свойственны Вавилову, это видно по его письмам). Он увлекал, потому что был увлечен.

И когда пришла пора студентам выбирать, по какой кафедре специализироваться, они наперебой стали записываться к Вавилову.

Кафедра частного земледелия и генетики занимала две небольшие комнаты.

Одна из них – кабинет Николая Ивановича Вавилова. У окна – письменный стол, заваленный книгами; настольная лампа с широким стеклянным абажуром. У стены книжный шкаф. У другой стены – диван. Здесь он и жил, пока не приехала Екатерина Николаевна с сыном: тогда перебрался в отдельную квартиру.

Во второй комнате – рабочие столы и высокие шкафы с книгами. Это учебная и исследовательская лаборатория.

Студенты называли ее *предвавильником.* Здесь допоздна стоял веселый шум, благо Николаю Ивановичу удалось выхлопотать разрешение пользоваться электричеством неограниченное время.

Вместе с учениками, вернее, ученицами – девушки преобладали среди учащихся в связи с военным временем – он высеял озимые и приступил к ботаническому изучению ирано-памирского материала.

На огонек заходили знакомые и друзья: известный селекционер В.С.Богдан, крупный физиолог растений В.Р.Заленский, Н.М.Тулайков, которому Николай Иванович, конечно, напомнил, как тот осуждал его за «авантюрное» путешествие в Иран.

Он познакомился с руководителем селекционной станции Г.К.Мейстером – крупным ученым и селекционером. Общаться с ним было непросто из-за его сурового, замкнутого характера. А вот дочь Мейстера стала ученицей Николая Ивановича.

Особенно радовали Вавилова встречи с Петром Павловичем Подъяпольским. Двадцатипятилетняя разница в возрасте не помешала тому, что их общение скоро переросло в сердечную дружбу.

6.

Петр Павлович заметно выделялся в кругу саратовской интеллигенции необычайно широким кругозором и горячим интересом ко всему новому и необычному, а в особенности – к талантливым людям. Многих выдающихся людей он повидал на своем веку, но о Вавилове говорил, что это самый яркий талант, с каким он встречался в жизни.

Интересна родословная Петра Павловича.

Род Подъяпольских известен с XVI столетия. Дед Петра Павловича, Петр Сидорович Подъяпольский, был храбрым воином, сражался против Наполеона, имел чин ротмистра, командовал эскадроном. За храбрость был награжден орденом Владимира 4-й степени, золотой саблей. Под его началом служила легендарная кавалерист-девица Надежда Дурова – она часто упоминала его в своих записках.

Выйдя в отставку, Петр Сидорович поселился в своем имении Лисичкино недалеко от Саратова. Разводил лошадей и коров, был строгим хозяином. Обходил хозяйство с палкой в руках и, заметив какие-то непорядки, дубасил ею нерадивых работников: «Вот тебе, каналья!»

Сын Петра Сидоровича Павел был женат на Анне Минх, чья

мать Варвара Борисовна, урожденная Бланк (бабушка Петра Павловича), была внучкой московского архитектора Карла Ивановича Бланка и дочерью поэта Бориса Карловича Бланка. Как сказано в энциклопедии Южакова (1890), «все произведения Бланка представляются типичными образцами того фальшивого сентиментализма, которым заполнили нашу литературу неумелые подражатели Карамзина»[94]. Насколько справедлива эта оценка, судить не берусь.

Вполне вероятно, что к этой ветви Бланков принадлежала и Мария Александровна Ульянова, мать В.И.Ленина[95].

Петр Павлович родился в самом конце 1862 года (по новому стилю – в начале 1863-го). Успешно учился в Саратовской гимназии, но тяжело заболел и курса не кончил. В 1881 году, когда он еще не совсем поправился, умерла его мать. Опеку над подростком взял ее брат Григорий Николаевич Минх, врач и ученый-эпидемиолог. Он отправлялся в путешествие по странам Средиземноморья для изучения проказы и взял племянника с собой.

В науке того времени не было единого мнения о причинах проказы. Трудность состояла в том, что под одним названием скрывалось две болезни со сходными симптомами, но различной природы: собственно проказа и незаразная *песь*. Минх был одним из первых, кто сумел в этом разобраться и доказать, что настоящая проказа очень заразна, заболевшие должны содержаться в строгой изоляции.

Молодой путешественник вместе с дядей отправился в Палестину и Египет, откуда они должны были двинуться в Судан. Они были в пути, когда в Египте вспыхнуло восстание под водительством Магди – новоявленного мусульманского «пророка». Восстание охватило всю страну, учинялись жестокие расправы над *неверными*, ехать туда стало невозможно. По совету российского консула в Константинополе Минх с племянником отплыли в греческий порт Пирей. Петр Подъяпольский жадно впитывал впечатления. «Мелькают волшебною сказкою, обманчивым сновидением Аль-Софийская мечеть, Беллербей с бенгальскими тиграми, Скутари с вертящимися дервишами, буря под Матапаном, афинские руины и древний Акрополь; Этна, Везувий, Неаполь, Помпея, генуэзские памятники с лаконичной надписью “Christophoro Colombo – la Patria”, итальянско-швейцарская железная дорога (сто один туннель в один день с знаменитым Сен-Готардским в заключение), суворовский, “Чертов мост” через бешеную Рейсу, глетчер Роны… Путешествие перестраивало душевный масштаб, а присутствие дяди-ученого сообщало ему своеобразное значение и красоту»[96].

В Париже Подъяпольский слушал лекции знаменитого врача и гипнолога А.-О.Льебо, заронившего в него интерес к гипнологии.

К тому времени, когда он вернулся на родину, отец женился вторично. В новой семье дети от первого брака чувствовали себя неуютно, и Минх взял племянника к себе в Киев. Здесь Петр Подъяпольский прослушал полный университетский курс на естественном отделении, но к выпускным экзаменам его не допустили, так как у него не было аттестата зрелости.

Вернувшись в Саратов, Петр Павлович поступил на службу, причем получил высокий пост чиновника особых поручений при генерал-губернаторе Андрее Ивановиче Косиче.

Генерал-лейтенант Косич в молодости участвовал в защите Севастополя, в зрелые годы отличился в войне на Балканах. Став генерал-губернатором обширного края, Косич оказался неплохим администратором. Он много сделал для благоустройства Саратова, Царицына, других городов Поволжья. Он заботился о расширении сети школ, помогал развитию санитарного и врачебного дела, научному изучению и хозяйственному освоению края. При нем проводилась картография и статистическое обследование губернии, активно работала ученая археологическая комиссия, налаживалось городское и земское хозяйство, расширялась благотворительность. Когда из-за неурожая 1891 года начался голод, Косич создал Комитет по продовольственному вопросу, открыл бесплатные столовые для голодающих; хлеб, выпекаемый городскими пекарнями, распорядился продавать по доступной для бедняков цене. Его активные действия были замечены, потекли пожертвования не только от саратовских богатеев, но из Петербурга и других городов России, даже из-за границы. Поскольку всего этого было недостаточно, генерал-губернатор приказал помещикам открыть свои закрома для голодающих крестьян. Такая неслыханная мера вызвала волну протестов, жалобы посыпались в Петербург. Государь удалил Косича из Саратова.

В начинаниях генерал-губернатора Косича участвовали его сотрудники, в их числе Петр Подъяпольский. Новому губернатору он пришелся не ко двору.

К тому времени Петр Павлович уже был женат – на дочери мукомола из поволжских немцев Варваре Андреевне Шмидт; у них подрастала дочь.

Унаследованное им небольшое имение приносило скромный доход. Жена его тоже была из состоятельной семьи: ее отец владел сетью мельниц – прибыльный по тем временам бизнес. Но с родней Варвара Андреевна была в ссоре: выйдя замуж за

русского, она нарушила родительский запрет. Родители были так возмущены ее своеволием, что дом от них она получила не в собственность, как одаривали при замужестве ее сестер, а только… в пожизненное пользование. Судя по «суровости» этого наказания, семейная ссора была не смертельной.

Петр Павлович мог позволить себе не искать нового места, а засесть за школьные учебники, чтобы сдать-таки экзамены на аттестат зрелости. Аттестат он получил, когда ему уже было около тридцати, но он поехал в Москву и поступил на естественное отделение университета. В числе его учителей крупнейшие ученые: физику читал профессор А.Г.Столетов, физиологию И.М.Сеченов, ботанику К.А.Тимирязев. Но больше всего его привлекали занятия у приват-доцента А.А.Токарского – психолога и психиатра, который был всего на три года старше ученика. Петр Павлович знал его по Саратову: они учились в одной гимназии, Токарский тремя классами старше.

Ардалион Ардалионович Токарский был теоретиком и практиком гипнологии и гипнотерапии, интерес к чему Подъяпольский привез из Франции. Словесное внушение и гипноз Токарский считал могучим средством лечения многих болезней. В то же время он разоблачал шарлатанов, «умевших» читать мысли на расстоянии, вызывать духов, устраивать телепатические и гипнотические сеансы на потеху публике. Труд Токарского «Гипноз и внушение» стал классическим. Увы, годы талантливого ученого были сочтены: злая чахотка в 1901 году свела его в могилу в возрасте 42 лет.

Но в годы учебы Подъяпольского Токарский был еще полон сил. Тесное общение с ним во многом определило судьбу Петра Павловича.

В 1898 году, вернувшись с университетским дипломом в Саратов, он был избран вице-председателем Общества естествоиспытателей – фактически его главой, так как председателем был богатый меценат князь А.А.Прозоровский-Голицын.

При обществе была создана Волжская биологическая станция, на ней Подъяпольский вел научные исследования. Он часто выступал с публичными лекциями о гипнозе. Доказывал, что гипноз может и должен применяться в медицине, ничего сверхъестественного в нем нет. Он разоблачал шарлатанов, боролся с предрассудками, смело интерпретировал библейские сказания об исцелениях Иисуса Христа, объясняя, что ничего чудесного в них не было: Иисус был талантливым гипнотерапевтом.

Еретические выступления возмущали церковников, но

светские власти относились к ним снисходительно. Только когда саратовским генерал-губернатором стал П.А.Столыпин, выступать с «богохульными» лекциями было запрещено. Подъяпольский попал под тайный надзор полиции, о чем, впрочем, не догадывался.

Он снова уехал в Москву и снова поступил в университет – теперь на медицинский факультет. Окончил его в 1911-м, то есть тогда же, когда Н.И.Вавилов окончил Петровку. Но ему уже 48 лет.

С дипломом врача, дающим право на медицинскую практику, Подъяпольский вернулся в Саратов и скоро стал одним из самых популярных врачей-гипнологов. Параллельно он продолжал исследования как естествоиспытатель, стал доцентом университета.

Блестяще владея техникой гипнотического внушения, он мог заставить пациента, в состоянии гипнотического сна, совершенно прямо лежать на спинках двух стульев, опираясь на одну головой, а на другую ступнями. Мог внушить настолько реальное ощущение ожога, что у пациента вздувалась пузырем кожа. Он мог властным голосом подчинять пациентов своей воле и «изгонять из них беса», то есть избавлять от психических и нервных расстройств. Многие его излечения казались чудесными: в одном случае он ослепшему вернул зрение, в другом – разбудил пациентку от летаргического сна, в третьем властным словом остановил кровотечение. Были задокументированы случаи, когда он вылечивал пациентов на расстоянии, по почте: они настолько верили его слову, что им достаточно было его прочитать на бумаге. Слава о чудесном исцелителе распространилась далеко за пределы Саратова, письма от излеченных пациентов стекались со всей страны.

В числе его пациентов такие знаменитости, как Федор Шаляпин, которого вдруг обуял страх перед выходом на сцену. Преодолевать этот страх его научил Петр Павлович. Поэта Валерия Брюсова он лечил от депрессии.

Он много занимался исследованием гипноза, проводил эксперименты, в 1915 году – первым в России – применил гипноз для анестезии при хирургической операции. Такие эксперименты были внове, они увлекли Вавилова.

После революции имение Подъяпольских Чемизовку отобрали, частная медицинская практика была запрещена. Петр Павлович стал терапевтом железнодорожной клиники. Лечить гипнозом не перестал, но делал это приватным образом и бесплатно.

В 1920 году, когда Вавилов организовал в Саратове съезд

селекционеров, в числе приехавших из Москвы была цитолог Селекционной станции Александра Гавриловна Николаева. Она жаловалась на головные боли, которые становились все более частыми. Николай Иванович познакомил ее с Подъяпольским; пока длился съезд, он провел с ней четыре сеанса лечения. Полгода спустя она ему написала:

«По Вашему слову у меня “голова больше не болит” до сего дня. Самочувствие самое бодрое, несмотря на то, что я с изумлением могу констатировать все ту же наличность подавляющих причин, и общих, и личных, какие были и раньше. Очевидно, мое отношение стало иное – прямо-таки что-то непонятное, я уже не стараюсь понимать, а просто пользуюсь такой благодатью. Как я Вам благодарна за помощь, я и сказать не могу. Сейчас кроме своих специальных работ на станции я взяла еще ведение практических работ по анатомии растений со студентами; иногда приходится часами подряд толковать с ними про какие-нибудь устьица и смотреть их невероятные срезы – это очень утомительно – раньше я бы на следующий день лежала, как камень, а теперь голова не болит»[97].

Сохранилось письмо Н.И.Вавилова, в котором он, в очень энергичных выражениях, хотя и с долей иронии, просил Петра Павловича вылечить от заикания П.М.Жуковского.

«Это необходимо сделать. У нас в Институте это самый ценный работник, большого таланта и знаний – бывший директор Тифлисского ботанического сада. Все Ваши чары, всё Ваше умение Вам надо двинуть, чтобы преодолеть. Если Вам удастся, причислим Вас к лику чудотворцев. Наше мнение скептиков, безбожников чего-нибудь стоит»[98].

Лечил ли Петр Павлович Жуковского, к сожалению, неизвестно. В 1960—1970-е годы, когда мне доводилось общаться с Петром Михайловичем, об этом письме я не знал и ни о чем его не спросил. Следов заикания в его речи не было[99].

Петр Павлович был насыщен всевозможными познаниями, судил смело и оригинально, беседы с ним – о науке, литературе, искусстве, философии, прошлом и будущем человечества – скоро стали необходимы Николаю Ивановичу Да и проблемы своей науки он мог свободно обсуждать с Петром Павловичем, находя в нем вдумчивого и понимающего собеседника.

В марте 1921 года к Подъяпольскому нагрянули чекисты. Провели обыск, изъяли горы бумаг, его самого увели. Таков был один из способов борьбы с «укрывателями хлеба». Когда «план» по изъятию хлеба не выполнялся, брали заметных людей в заложники. Им грозил расстрел, если нужное количество зерна не будет доставлено. Иногда такие меры помогали: хлеб

доставлялся, заложников выпускали. В противном случае – расстреливали.

М.Е.Раменская привела протокол обыска у Подъяпольских – он поражает безумной бюрократической педантичностью.

«В тюрьме заключенные объяснили Петру Павловичу, что положение его безнадежно, и он ждал конца. Но вот с ревизией является один из главных саратовских чекистов. “Петр Павлович, что вы здесь делаете?” – “Это вас надо спросить, что тут делают заложники. Жду расстрела”. – “А кто будет лечить мою жену от мигреней?” В тот же день Петр Павлович был отпущен»[100].

Дружба Вавилова с Подъяпольским продолжится и после отъезда Николая Ивановича из Саратова.

12 ноября 1922 года Николай Иванович был на докладе И.П.Павлова в Петроградском обществе естествоиспытателей. В тот же вечер написал Подъяпольскому, «зная, что Вас, больше чем кого-либо, он поинтересует»:

«Гипнотизм сводится к тем же условным рефлексам. В экспериментальной строго расчлененной обстановке с собаками физиолог в сущности проделывает то же, что и гипнолог. Вся психология теряет метафизический облик и становится рефлексологией. <…> Вот в двух словах что говорилось за два часа. В начале была политика. Рефлексы есть и другие, кроме упомянутых. Есть, безусловно, рефлекс свободы.

Это не метафизика, а реальный факт. У собак, у некоторых, он хорошо выражен, сначала его не понимали. Одна собачка никак не поддавалась опытам. В станке она рвалась и металась, и никакими угрозами и подкармливанием не удалось ее смирить. Но средство нашлось. Стали регулярно не кормить дня по 1½ собачку, отощала, извелась. И тогда, тогда всё наладилось, собачка стала послушной. “Что такое диктатура пролетариата, система террора и насильствий – это тоже лишение свободы, и большевики преуспели, так как проделали над страной тот же опыт, что физиолог с собачкой”»[101].

В 1926 году, когда Вавилов находился в средиземноморской экспедиции, Подъяпольскому исполнилось 60 лет. Поздравительное письмо Вавилова согрето таким чувством, с каким пишут только самым близким людям.

20 ноября 1926 г., Иерусалим: «Дорогой и любимый Петр Павлович. Получил сегодня извещение о Вашем юбилее. Пишу Вам из стран далеких, от кедров ливанских, из пустынь аравийских. Только что вернулся из Аравии, из Заиордании. Шлю Вам горячий привет. Желаю Вам бодрости, здоровья, силы физической и духовной. Пишу у ворот старого Иерусалима.

Звонят колокола, как бы на пасхальной заутрене в Москве, даже звон русский… И невольно переношусь к Вам в Саратов, на Волгу, и вижу воочию Петра Павловича, доброго, внимательного, чуткого, готового всегда сделать каждому самое лучшее. Вспоминаю Петра Павловича как невольного свидетеля в дни малярии в Саратове, в дни трудные и в дни радостные. Было и то и другое. Среди добрых гениев столицы Волги Петр Павлович был первым. Из самого лучшего, что связано с Саратовом у нижеподписавшегося – знакомство с Петром Павловичем»[102].

Три года спустя, когда заболевший Подъяпольский решил ехать лечиться в Ленинград и ему понадобилась помощь, Николай Иванович написал ему не менее проникновенно – из другой экспедиции.

20 июля 1929 г.: «Пишу, дорогой Петр Павлович, с границы Китая. Пробираюсь к подножию Гималаев. Получил Ваше письмо уже в дороге. Детское Село в Вашем распоряжении.

Мой кабинет для Вас. Там диван. И Вас устроят – обратитесь к Виктору Евграфовичу Писареву – моему заместителю. Шаллерт Надежда Максимилиановна [секретарь Вавилова] тоже за Вами поухаживает. Надо быть героем. Уколы, впрыскивания и тому подобное – история не очень приятная. И в сем Вам сочувствую вполне. Но Вам лучше других известна и роль самовнушения. Внушаю Вам дух бодрости, пусть от самих Гималаев он дойдет до Вас как доказательство внушаемости на расстоянии»[103].

Николай Иванович тоже хорошо знал о роли самовнушения. Существует легенда о почти сверхъестественном, богатырском здоровье Вавилова. Он сам верил в эту легенду, способствовал ее распространению. Его эпистолярное наследие этого не подтверждает. Как всякий смертный, Николай Иванович нередко страдал простудами, приступами малярии, головными болями, упадком сил вследствие переутомления. У него не в порядке был вестибулярный аппарат: он тяжело переносил плавание по морю. Но, кажется, только с морской болезнью он мирился как с неизбежностью. Впрочем, и на море, как только качка стихала, он начинал работать. Других болезней он не признавал. Они всегда приходили не вовремя. Ибо жизнь коротка, а дел без конца. Болеть было *некогда*, он *внушал себе*, что здоров, и болезни отступали.

Но не всё нравилось Николаю Ивановичу в саратовском друге. Не нравилось то, что Петр Павлович разбрасывался. Лейтмотивом многих писем к нему Вавилова служит мягкое, но настойчивое напоминание: нужен фундаментальный труд о

гипнозе, Петр Павлович *обязан* его написать! Тот не раз брался за такой труд, но что-то всегда отвлекало…

17 июня 1930 года П.П.Подъяпольского не стало.

«Капитальных трудов он, увы, не оставил. Советская власть позаботилась о том, чтобы не осталось и преемников. <…> Однако при жизни Петр Павлович был признан, и иной нынешний академик не может похвастать, что состоит в 17 научных обществах (включая 2 зарубежных) и в редколлегиях 14 научных журналов, считая 5 зарубежных», – итожит М.Е. Раменская[104].

7.

Вавилов едва успел обосноваться в Саратове, как получил новое приглашение – от заведующего Отделом прикладной ботаники (так с 1916 года стало называться Бюро) Роберта Эдуардовича Регеля. Неутомимо расширяя работу Отдела, Регель добился еще одной штатной единицы – помощника заведующего. Эту должность он и предложил Вавилову.

«Принципиально это предложение мне по душе, – отвечал Николай Иванович. – Задание и направление работы Бюро в общем, за малыми оговорками, – то, в чем хотелось бы самому принять ближайшее участие».

Но… Бросить начатый уже курс лекций? Оставить на произвол судьбы посевы озимых? Кроме того, у заведующего Отделом, а значит, и у его помощника масса административных обязанностей – не станут ли они помехой собственным научным исследованиям?

«При самых благоприятных условиях к работе в Отделе я мог бы приступить с весны 1918 года, и то с тем условием, чтобы часть, м. б., и большую, времени мне пришлось проводить в Саратове, где заодно я произвел бы и яровые посевы, тем более что могу рассчитывать на большое число помощников.

<…> У меня тьма своих дел: иммунитет, гибриды и некоторые ботанико-географические работы; лишь в том случае, если я смогу продолжать как следует заниматься ими, я бы мог идти в Отдел прикладной ботаники. Боюсь, что я слишком свободолюбив в распределении своего времени.

<…> Со всеми этими оговорками вряд ли я удовлетворю Ваши желания, в особенности если есть кандидаты и помимо меня. Я, конечно, мирюсь заранее с тем, что мои оговорки неприемлемы, и в таком случае [я] должен быть вычеркнут из числа претендентов».

Но Регель на всё согласен. Он считает, что «в лице Вавилова мы привлечем в Отдел прикладной ботаники молодого талантливого ученого, которым еще будет гордиться русская наука». В письме от 25 октября 1917 года Регель известил Вавилова, что Сельскохозяйственный ученый комитет единогласно, «как и следовало ожидать», избрал его на должность помощника заведующего. Он сожалел только о том, что «это радостное событие для нас нельзя сейчас подкрепить соответствующими пожеланиями, проглатывая при этом подходящую жидкость за общим столом или столиком».

Письмо длинное – на восьми машинописных страницах. Регель пишет о многом, и больше всего о готовящейся эвакуации Петрограда под натиском германских войск. Видно, что между заведующим Отделом и его только что назначенным помощником давно уже установились доверительные отношения. Так пишут не сослуживцу, а другу. Потому особенно странно его читать. В нем что угодно, кроме главного, чем жил в тот день Петроград. Ведь то было 25 октября 1917 года, письмо писалось поздно вечером.

В тот день вооруженные отряды рабочих, солдат и матросов занимали вокзалы. Военный порт. Адмиралтейство. Почтамт и телефонную станцию. К Зимнему дворцу стягивались отряды красногвардейцев, в нем забаррикадировались юнкера и женский батальон. Крейсер «Аврора» уже произвел свой сигнальный выстрел. Из тюрем освобождали заключенных. Полиция попряталась. В Смольном открылся II съезд Советов, к коему был приурочен захват власти: *«Вчера было рано, завтра будет поздно\»*

В письме Роберта Эдуардовича обо всем этом – ни единого слова!

Неужели он не знал и не ведал о том, что творилось за стенами его Отдела? Поверить в это невозможно! Тем более что в приписке, в случайно оброненной фразе, в письмо вдруг врывается ВРЕМЯ: «Через *1½* часа отправляюсь дежурить от 12 до 3 час. ночи на улице у ворот с винтовкой в руках (с вечера у нас электричество не горит). Дежурить буду, но что буду делать с непривычной винтовкой – не знаю».

Значит, о том, что творится в Питере, Регель *был* осведомлен. Но понимал ли? Вряд ли…

Еще меньше понимал Вавилов в пока еще тихом Саратове. Ответ его краток. Он благодарил за избрание и писал: «Прикладная ботаника и Бюро прикладной ботаники еще на студенческой скамье приковывали к себе мои симпатии. И хотя мне по времени больше пришлось учиться в России и за границей у фитопатологов и генетиков, сам себя я определяю как разновидность прикладного ботаника и наибольшее сродство

чувствую к сообществу прикладных ботаников».

Отзываясь на происшедшие события, полушутливо заключил: «Итак, с будущего года, если будем живы и если Содом и Гоморра минует Петроград, несмотря на его великие грехи и преступления, будем двигать настоящую прикладную ботанику». И уже вполне серьезно, добавил: «События идут теперь скорее, чем в трагедиях Шекспира. Если что случится с прикладной ботаникой, пожалуйста, уведомите меня»[105].

Роберт Эдуардович не понял – или не принял – шутки: «Вы пишете о каких-то великих преступлениях Петрограда. Это точка зрения москвича. Специфически петроградских преступлений не существует, но есть налицо величайшие всероссийские преступления. Главными виновниками я считаю 1) слишком долго удержавшийся старый режим и 2) безжизненность нашей интеллигенции. Созданное старым режимом нагромождение законов и примечаний к ним на старых законах Сперанского[106] привело к такой неразберихе, что никто уже не мог жить по закону, а между тем весь, все больше усложнявшийся, невероятно тяжелый правительственный механизм покоился на этом беззаконии. Но Питер тут ни при чем: в Москве получилось бы то же самое. Что же касается нашей интеллигенции, прежде всего наших кадетов, объединяющих сливки нашей интеллигенции, то они и говорят и пишут красно и умно. Широта взглядов поразительная. Эрудиция большая, но… нет реальности. Ко всему конкретному относятся враждебно. Закон минимума не признается. Стремятся объять необъятное и к решительным определенным заключениям не приходят; вечно какие-то компромиссы и полумеры, чем и воспользовались гг. большевики».

Большевиков Роберт Эдуардович считал «даже не политической партией», а замкнутой группой сектантов. Они одержали верх, «потому что привыкли планомерно и решительно действовать в подходящий момент» – не в пример *сливкам интеллигенции*, к которым принадлежал он сам. Настроен был очень мрачно: «Неизвестно, выйдем ли мы с Вами живыми из этого хаоса. Это особенно сомнительно относительно меня, так как я не пойду на компромиссы…»

Любопытнейший документ! Передает настроения интеллигентов, воспитанных на либерально-демократических идеях XIX и начала XX века. Они сознавали обреченность царского строя, приветствовали его падение, верили в светлое будущее, которое открыл перед Россией Февраль 1917-го, и совершенно не были готовы к Октябрю.

Мне вспоминается рассказ писателя Льва Ивановича

Гумилевского. Летом 1917 года он, молодой начинающий литератор, работал в Питере в меньшевистской газете. Настроение было радостное, все жадно следили за событиями, горячо спорили, с нетерпением ждали перемен, уверенные, что все перемены – к лучшему.

Однажды в редакцию зашел старый революционер, один из лидеров меньшевизма, Павел Аксельрод. Сотрудники сгрудились вокруг него, ожидая пламенных, *мобилизующих* слов. Но Аксельрод был мрачен. Видя возбужденные, полные нетерпения молодые лица, старый революционер печально сказал:

– Эх, молодежь, молодежь! Рано радуетесь. Вы не знаете, что нас ждет. Будут у нас свои Робеспьеры и свои Бонапарты. Будет много крови…

Оглядев притихшую молодежь усталыми глазами, он махнул рукой и, сутулясь, пошел к выходу.

Вавилов в Саратове ни о чем подобном не слышал, но письмо Роберта Эдуардовича его встревожило. Желая его успокоить, ответил библейским изречением: «Несть власти аще не от бога». И добавил: «Ученому комитету в политику вмешиваться резону нет».

Этим он и руководствовался.

А что до Регеля, то не идти на компромисс с новой властью он не мог. Он и сам это чувствовал, ибо в том же письме есть такие строки: «Остается делать вид, будто ничего не случилось, и продолжать работу ничтоже не сумняшеся, опираясь на то, что наука не только аполитична и интернациональна, но даже интерпланетна, так как и на Луне, и на Марсе господствуют те же законы природы, что и на Земле».

В следующем письме Вавилову, отвечая на вопрос об отношении новых властей к Сельскохозяйственному ученому комитету, он отмечал: «Отношения Ученого комитета к сферам установились 2 недели назад. На всё соглашаются и всё подписывают, но обещания плохо исполняют. Посмотрим, что дальше будет».

8.

О том, что было дальше, узнаем из писем одного из ведущих сотрудников Отдела прикладной ботаники Александра Ивановича Мальцева. В ноябре 1917-го Регель послал его в Каменную степь – спасать тамошнюю Опытную станцию.

В ведении Отдела прикладной ботаники было четыре опытных станции: в Новгородской губернии, в Лифляндии, в

Туркестане и в Каменной степи (Воронежская губерния). Пятая – в Саратовской губернии – была создана Н.И.Вавиловым. Станция в Каменной степи была основана еще Докучаевым, но неожиданно она осталась без директора: он заболел и уехал лечиться в Петроград. Срочно требовалось замена.

Мальцев добирался до нее целую неделю. Значительную часть пути простоял на открытой тормозной площадке товарного вагона и отморозил пальцы на ногах: не мог втиснуться в переполненный вагон.

На Станции застал всё в страшном запустении. Изгородь во многих местах была проломана, обветшалые сараи могли в любой момент завалиться, дома служащих нечем было отапливать, земельные участки для посевов вытоптал скот, семенной материал был изгрызен и перемешан мышами.

Наибольшая опасность была в том, что крестьяне ближайших деревень, подстрекаемые лозунгом «Грабь награбленное!», захватят и распашут земли Станции – тогда их уже не вернуть. Прихода большевиков крестьяне ждали с нетерпением, сотрудники Станции – со страхом. «В общем, здесь настроение у всех нервное, тревожное. Одно время, перед праздниками, боялись разгромов», – писал Мальцев Регелю 18 января 1918 года.

А вот что он писал 3 июля: «Обнищали до крайности, сидим без копейки денег, запасы муки и картофеля почти истощились, а купить не на что… Грабители, вооруженные и в солдатской форме, нападают не только на отдельных лиц, но даже на целые селения. Делали они “визиты” и на опытную станцию. Избили приказчика, сняли изгородь, которая была вокруг питомника… Таловский совет выдал нам три винтовки с пулями для защиты имущества. На отделении трое мужчин – Гринцевич, Кожухов и я, а остальные – женщины с детьми (семья Кобяковых, Трауцкой и Ефремова)… Удастся ли нам с винтовками сохранить отделение, покажет будущее. Атмосфера все более и более усложняется. В моей Короче, сообщили в письме родственники, была устроена Варфоломеевская ночь – вырезали около 400 человек интеллигенции… Что делается в Петрограде? Есть ли хоть какой просвет на лучшее будущее? Здесь жизнь становится все более и более опасной… Продолжаю собирать растения и изучать каменностепную флору»[107].

За годы Гражданской войны местность, где находилась станция, переходила из рук в руки двадцать три (!) раза[108]. Связь с Петроградом прерывалась на много месяцев, Регель не мог перевести Мальцеву даже тех скудных денежных сумм, которые Ученому комитету удавалось получать от Наркомата

земледелия, коему он был переподчинен. Сотрудники голодали, ходили в тряпье, продолжали бороться за выживание станции. Дважды Мальцев отряжал одного из них, Кожухова, в Петроград, чтобы тот лично доставил деньги. Кожухова он считал надежным человеком, и не ошибся. С невероятными трудностями тот добирался до Петрограда и с огромной по тем временам суммой, составлявшей зарплату сотрудников за пять-шесть месяцев, пускался в обратный путь, рискуя стать жертвой нападения разбойничьих банд. Деньги доставлял в целости и сохранности. Но они едва покрывали задолженность по зарплате. На операционные расходы денег не было.

О том, что творилось в Петрограде, говорит телеграмма Совнаркома, подписанная Лениным и наркомом продовольствия А.Д.Цюрупой от 9 мая 1918 года. Она была разослана по всей стране, опубликована в «Известиях»: «Петроград [в] небывало катастрофическом положении. Хлеба нет. Выдаются населению остатки картофельной муки, сухарей. Красная столица на краю гибели от голода. Контрреволюция поднимает голову, направляя недовольство голодных масс против Советской власти. Наши классовые враги, империалисты всех стран, стремятся сдавить кольцом голодной смерти социалистическую республику. Только напряжением всех сил советских организаций, только принятием всех мер по немедленной погрузке, по экстренному продвижению продовольственных грузов можно спасти, облегчить положение. Именем Советской Социалистической Республики требую немедленной помощи Петрограду. Непринятие мер – преступление против Советской Социалистической Республики, против мировой социальной революции»[109].

По Ленину, виноваты были «империалисты всех стран», а не безумная политика военного коммунизма, вызвавшая разруху на транспорте и во всей экономике, лишившая крестьян стимула снабжать города продуктами своего труда.

Понимая, в каком положении оказался его шеф, Вавилов писал ему 8 августа 1918 года: «Я сознаю, что самое тяжелое бремя лежит сейчас на Вас. Жить в Петербурге и в лучших условиях – трудно. И я понимаю, что много подвижничества и сознания долга требуется от того, кто стоит во главе большого дела – как Отдел прикладной ботаники. Быть во главе в настоящее время [значит] делать подвиг. Я уверен, что и все сотрудники Отдела сознают это».

В том же письме – обещание прислать в Петроград немного муки.

В Саратове было благополучнее: город, по крайней мере, не переходил по многу раз из рук в руки. Грузы поступали по Волге, потому паралич железных дорог сказывался не так катастрофически.

Приезжая в Москву, Николай Иванович привозил немного муки и других продуктов для своего семейства, для близких сотрудников и друзей; кого мог, звал в Саратов, обещая обеспечить работой, помочь с жильем и дровами.

В Саратов перебрались его давние помощницы О.В.Якушкина и А.Ю.Туликова-Фрейман. Некоторое время в Саратове жил Прянишников. Вавилов усиленно звал к себе Регеля.

Но и Саратов не был животворным оазисом в мертвой пустыне. В мае 1918 года вспыхнуло восстание красноармейского гарнизона, в нем приняло участие до 600 солдат. Вооруженные винтовками, бунтари овладели артиллерийской батареей, окружили здание горисполкома, стали его обстреливать. Эсеры примкнули к восставшим и объявили о низложении власти большевиков. Те подтянули резервы, на следующий день овладели положением. Началась вакханалия расправ с правыми и виноватыми.

Летом ситуация вновь обострилась: белые войска захватили ряд уездов Саратовской губернии, вышли к Волге. Снабжение города водным путем прекратилось. Отогнать белых удалось только в сентябре, но Астрахань и Царицын оставались под их контролем. В ноябре 1918 года, когда Регель сообщил о желании некоторых сотрудников Отдела переехать в Саратов, Вавилов писал: «В Саратове зима, по-видимому, мало будет отличаться от Петрограда по условиям. Вернувшись в Саратов [из Москвы], нашел многое изменившимся. Национализировали всё, до яблок и арбузов включительно. Дров нет <…>. Тем, кто хотел бы из Питера ехать в Саратов, это надо иметь в виду. Помещения у нас зимой почти нет. Попробую найти небольшую квартиру для Саратовского отделения, но найти трудно»[110].

Однако эти и подобные *условия* мало отражены в переписке Вавилова – в основном в беглых иронических замечаниях.

В мае 1918 года он послал Регелю письмо-отчет о начатых в Саратове работах: «В моем распоряжении был участок в несколько десятин на ферме С.-х. института, и Селекционный отдел Саратовской областной станции предоставил мне довольно удобный участок в десятину у себя. Участок этот сравнительно больше других гарантирован от близкого соседства с солдатским городком. Пока “войск” мало, но ждем концентрации их в самом ближайшем будущем, и потому посевы далеко не в безопасности. В прошлом году подсолнечник на станции был почти начисто

истреблен христолюбивым воинством.

Посевы свои провел в большом масштабе, так как имел много помощников (около 20 специалисток – по селекции), слушательниц института (курсов) и в особенности опытных помощников, не первый год работавших со мной, – О.В.Якушкину и А.Ю.Фрейман. Высеяно вместе с озимыми хлебами до 12 000 № №, из которых половину составляют гибриды пшениц и ячменя (F3 и F2[111]), остальное – полную коллекцию по культур [ным] растениям Московской] селекционной станции и результаты моих сборов в Азии, среди них есть, кажется, много новых разновидностей бобовых.

Весь материал распределен на темы для дипломных работ, и хоть часть его мы сумеем обработать. Публикой-помощниками я пока доволен, посев гибридов, который можно поручить только интеллигентным и аккуратным работникам, произведен был, несмотря на стужу и сильные ветры, хорошо.

Одни колышки-этикетки стоили нам около 1000 рублей, а одни записные тетради и вообще заведение бухгалтерии – около 500 руб. (стоимость тетрадей и бумаги).

Таким образом, фактически в нынешнем году имеется Саратовское отделение Бюро по прикладной ботанике. И если удастся выполнить всё, что задумано, если год будет благоприятным и стихии минуют посевы, удастся получить большой материал и по сортоизучению, и по генетике. Иммунитету уделено сравнительно мало внимания, так как я не запасся инфекционным материалом».

Регель был поражен размахом начатого его помощником дела: «Я вижу, что работа в Саратове у Вас закипела. Для такой широкой постановки в данное время требуется не только энергия, но и решимость. Очень рад, что у Вас таковая явилась».

Решимость делать всё, что зависит от себя, была у Вавилова всегда, она стала частью его натуры. Но, может быть, главная его удача состояла в том, что он сумел заразить своей решимостью молодых помощниц. А.Ю.Тупикова-Фрейман вспоминала, как еще студенткой, в Петровке, «испытала на себе необыкновенный дар Николая Ивановича заставить каждого почувствовать себя исследователем, даже если он занимается маленькой, казалось бы, чисто технической работой»[112].

Зимой его студентки-сотрудницы мерзли в плохо отапливаемом *предвавильнике*; летом жили в солдатском бараке при селекционной станции, где Вавилову выделили земельный участок. Питались чечевичной похлебкой, в лучшем случае, вяленой воблой. Болели малярией. «Но практикум Вавилова был построен на оригинальном материале его экспедиций. Выделять

новые серии культурных злаков и описывать их под руководством Николая Ивановича было такой увлекательной работой, перед которой решительно отступали все житейские невзгоды», – вспоминала одна из его помощниц Э.Э.Аникина[113].

Проверять работу на опытное поле Вавилов приходил не с тросточкой в руках и не в рубашке с накрахмаленными манжетами. Рукава его были закатаны и открывали жилистые загорелые руки. Он вместе с ученицами пахал и сеял, жал и вязал снопы.

В марте 1919 года, в отчете о работе Отдела прикладной ботаники, Регель прежде всего указал на работы Вавилова, проводившего «точный гибридологический анализ наследственных факторов, характеризующих отдельные расы наших хлебных злаков». Регель подчеркивал, что «подобная работа еще нигде не проводилась, ни у нас в России, ни за границей, далеко оставляя за собой работы по гибридологическому анализу хлебов, производившиеся в Австрии, Англии и Америке»[114].

Полгода спустя Регель писал Вавилову: «Работа у Вас по-прежнему кипит. Ваш участок в Саратове для меня единственный пример учреждения, продолжающего действительно работать во всю, и притом со смыслом, невзирая на всё. Прямо-таки завидно становится»[115].

Завидовать, однако, было нечему. 11 мая, едва завершив посевные работы, Вавилов писал Регелю: «Год начался много труднее прошлого. На новой ферме пришлось организовывать заново хозяйство. Лошади, орудия, корм лошадям, продовольствие рабочим, наем рабочих и пр., и пр., вплоть до уздечек, гвоздей, дров, колод и т. п. пришлось налаживать в самую горячку с посевом. Пришлось заделаться “хозяином”, и это хозяйствование, признаюсь, сильно не по душе. <…> Очень прошу Вас сделать распоряжение о высылке денег. Послал к Вам Н.И.Карташова. Ему доверяю привезти служащим жалование за март, апрель и май, а также авансы на мое имя. С ним посылаю счета по авансу в 10 000. Омельченко до сих пор аванса в 4000 не получил <…>. Приехавшие петроградцы (Траншель, Эллади) находят, что Саратов далек от Эльдорадо, а москвичи так прямо говорят: в Москве легче жить, чем в Саратове. Tempera mutantor[116]»[117].

В отчете Опытного отдела Наркомзема и Сельскохозяйственного ученого комитета за 1918–1920 гг. сказано: «Из местных учреждений нормально и в полном объеме работы шли только в Саратовском отделении [Отдела] прикладной ботаники при Саратовском университете, где удалось

за три года даже расширить деятельность на ряд новых культурных растений»[118].

10.

Кабинет Вавилова всегда был открыт для учениц, и не только для них. Многие этим злоупотребляли. Приходили и надолго застревали с пустяшными *разговорцами.* Николай Иванович был приветлив и дружелюбен, но в письмах проскальзывала досада на бесцеремонность посетителей, транжиривших его время.

Двери его кабинета запирались на два-три часа три раза в неделю, когда приходила университетская преподавательница латыни Мария Ефимовна Сергеенко.

Увы, ничего романтического за запертой дверью не происходило, только скучная зубрежка латыни.

Как мы помним, в средней школе Вавилов латыни не изучал и из-за этого не мог поступить в университет. О том, что поступил в Петровку, никогда потом не сожалел, но в Саратове, уже став профессором, почувствовал необходимость восполнить этот пробел. Предложил плату «натурой», то есть продуктами питания, что было много соблазнительнее, чем деньги, которые уже почти ничего не стоили.

С первого урока учительница поняла, что привычная ей методика преподавания для *этого* ученика не подходит. Методику он изобрел сам. Не вдаваясь в тонкости латинской грамматики, он хотел подробнее остановиться на падежах. Усвоив за две недели некоторые основы, просил принести на следующий урок «Естественную историю» Плиния.

«Я читала и переводила латинский текст, Николай Иванович следил по подлиннику, а затем переводил сам, останавливаясь на непонятном, спрашивая объяснения и отмечая то, что ему нужно, занятной оперенной стрелкой на полях. <…> Латинский текст сопровождал он ботаническим комментарием, который я слушала зачарованно»[119].

Вавилов говорил, что в античной литературе должны быть сведения о земледелии и возделываемых культурах. Ботаник из этого может извлечь немало полезного для себя и, со своей стороны, может прояснить некоторые загадочные страницы истории древнего мира. «Историку надо работать рука об руку с ботаником-агрономом» – запомнила Сергеенко слова Вавилова.

Для преподавательницы латыни всё это было ново, неожиданно и – захватывающе интересно. Эти уроки определили ее будущее. Через много лет, только что став академиком,

Вавилов предложит непременному секретарю Академии наук С.Ф.Ольденбургу создать Бюро истории агрикультуры и приступить к изданию библиотеки классиков земледелия: сочинения Варрона, Катона, Колумеллы, Плиния Старшего, никогда не выходившие на русском языке, а также «Георгики» Вергилия, которые, по его мнению, нуждались в новом переводе. Он сообщал, что по его инициативе и под его руководством некоторые из них уже переведены профессором Саратовского университета М.Е.Сергеенко[120].

Мария Ефимовна Сергеенко прожила долгую жизнь. Она умерла в год столетнего юбилея Н.И.Вавилова, не дожив четырех лет до своего столетия. Она автор более ста научных работ, не все они опубликованы. В числе тех, что увидели свет: «Предтечи прикладной ботаники в античном мире», «Очерк развития римской агрономии», «Из истории италийского огородничества», «Колумелла и Варрон как животноводы», «Удобрение хлебных полей в древней Италии». В числе ее переводов: «Земледелие» Катона Старшего, «Письма» Плиния Младшего. Те самые труды, о которых Вавилов писал Ольденбургу.

…Вот на те два-три часа, когда Николай Иванович занимался латынью, двери его кабинета запирались. Остальное время они были открыты для всех. И только поздно ночью, когда всё затихало, начиналась его работа над лекциями, докладами, статьями. Книга об иммунитете растений почти не двигалась – на это он иногда жаловался в письмах. Над нею он работал в Москве, куда изредка вырывался на одну-две недели, а в рождественские каникулы – на месяц.

11.

В 1919 году Областная селекционная станция лишила Вавилова клочка земли в одну десятину. Но он сумел получить для опытов хутор Опоков – на высоком волжском берегу, в восьми километрах от города.

Здесь стоял бревенчатый дом с мезонином, опоясанный застекленной галереей. В нем поселился весь «Вавилон», как стали называть сотрудники Вавилова свой шумный коллектив. Жили коммуной. Еду всем готовила нанятая на общие деньги кухарка. С продуктами было трудно; каждый месяц, получив зарплату и закупив на нее гвозди, ведра, топоры, «вавилоняне» снаряжали двух человек в поход по селениям немцев-колонистов – выменивать свой товар на съестное.

Вавилов поселился в мезонине. Свет из его окна далеко был виден по ночам.

Просыпался он на рассвете. С полотенцем через плечо быстро спускался по лестнице и, обегая галерею вокруг дома, стучал в окна и громко выкрикивал!

– Подъем! Подъем!

Через полчаса он был в поле, а скоро появлялись и его сотрудницы. Работали от солнца до солнца…

Тифозная зараза недолго текла лишь по железнодорожным артериям. Она выплеснулась за чаши вокзалов, с мешочниками растеклась по стране, не миновала и Саратова… По улицам тащились подводы с пирамидами гробов. Одна из сотрудниц Вавилова, А.Г.Хинчук, вспоминала, что Николай Иванович буквально спас ей жизнь, сумев выхлопотать для нее молоко с животноводческой фермы: тифозным можно было питаться только молоком.

В воспоминаниях М.В.Владимирского запечатлен рассказ другой тогдашней студентки Ольги Пилюгиной: «Летом 1919 года я работала в библиотеке СХИ. К нам часто наведывался Николай Иванович и всегда любезно обменивался двумя-тремя словами с сотрудниками. Однажды, взяв книги, осведомился:, “Почему вы такая невеселая?” – “Ах, Николай Иванович, у нас большое горе: брат болеет сыпным тифом – боимся за его жизнь”. Николай Иванович произнес несколько слов утешения и ушел. А на следующее утро, придя в библиотеку, поставил передо мной большой жбан. “Это молоко ддя вашего больного брата. Ему будет полезно”. Я растрогалась до слез, время было голодное, и подкрепить больного таким деликатесом, как молоко, являлось почти невозможным»[121].

Весной 1919 года началось наступление с востока армии Колчака. С юга надвигалась добровольческая армия Деникина. В Саратове они должны были соединиться для совместного удара. 19 апреля в городе было объявлено осадное положение. Началось строительство оборонительных сооружений.

Со стороны белых успешно действовала Кавказская армия генерала Врангеля, в августе ее передовые части вышли на рубежи в 50 километрах от Саратова.

Владимирский был мобилизован в Красную армию. Он вспоминал, как его часть рыла окопы на окраине города, сооружала блиндажи и пулеметные гнезда. На подмогу прислали студентов и преподавателей, но отстоять город власти не надеялись, начали эвакуацию советских учреждений. Красные отразили наступление, осадное положение отменили. Но

многократно участились кражи, ограбления, бандитские нападения. В окрестностях появились банды зеленых.

«Официальным лицам, – вспоминала Э.Э.Аникина, – получать нашу заработную плату и привозить ее из Саратова на хутор было опасно. Частенько ее доставка падала на мою долю. Я брала с собой маленькую Верочку – дочку юриста Чумаевского, и мы на простой телеге, покрытой по сену дерюгой, совершали путешествие к Опокову с деньгами. Однажды мы попались. Рожь в тот год была высокой, скрывала человека. Трусит потихоньку наша рыжая, и вдруг с обеих сторон сначала блеснули в воздухе штыки, затем раздвинулась стена ржи, и быстрыми шагами к нам подошли четверо в серых шинелях. Пачки кредиток были закутаны в старый жакет, на котором я сидела. Солдаты меня обыскали и потребовали сойти с телеги, но я отказалась, чтобы не испугать девочку. К счастью, сзади подъехала семья, возвращавшаяся с базара, и отвлекла их внимание. Потихоньку подергав вожжи, я тронула лошадь, а затем во весь дух пустила ее под горку. Пока солдаты очищали крестьянскую телегу от остатков съестного, мы с девочкой уже были на хуторе. Тем же вечером Николай Иванович узнал о грабеже на тракте, попенял меня за то, что я не отдала денег, подвергая нас обеих опасности, и просил таких дел впредь не повторять»[122].

В условиях, когда почти ежедневно перед многими стоял вопрос жизни и смерти, Вавилов со своими ученицами выполнил работы, определившие всё его будущее. И многих из них – тоже.

Пилюгина вспоминала, а М.В.Владимирский записал: «В 1920 году, когда я работала на опытной станции, Николай Иванович несколько раз приезжал со студентами, водил их по делянкам, рассказывал о проводимых опытах. А потом был подан “роскошный” обед, и Николай Иванович вместе со всеми ел чечевичную похлебку с суррогатным хлебом и пил морковный чай. Он был весел, шутил, старался развлечь истощенных, изголодавшихся студентов. Начались танцы. Забавное зрелище <…> – аккуратно одетый профессор, танцующий с босыми, плохо наряженными барышнями. Под залихватский мотив гармоники мы лихо отплясывали при свете костра русскую…»[123]

К ученицам он был мягок и снисходителен. Легко прощал ошибки, вызванные неопытностью, разъяснял непонятное. Но малейшая небрежность его тяжело ранила.

И они старались. Боялись хотя бы нечаянно причинить боль этому сильному, жизнерадостному, полному неизбывной энергии, но в чем-то трогательно-беззащитному профессору. То была романтическая влюбленность молоденьких девушек в неотразимо красивого телом и душой человека. Такая влюбленность не ждет

взаимности, находит радость в самой себе. То, что он уже миновал пору первой молодости и давно был женат, для них ничего не значило. С восторгом рассказывая друг другу о своем кумире, перебирая его милые и чуть смешные черточки, девушки сначала не подозревали, что для одной из них романтическое обожание перешло в настоящее глубокое чувство. Она была скрытна, и они сперва ни о чем не догадывались. Но жили они слишком тесным кружком, чтобы тайное долго могло оставаться тайным. Девушки стали замечать, что Леночка Барулина по ночам льет слезы в подушку…

«Милая родная Леночка»

1.

7 ноября 1918 года Екатерина Николаевна родила сына – его назвали Олегом. Николай Иванович писал А.Ю.Тупиковой, у которой вскоре родилась дочь: «У Вас теперь тьма забот, о чем знаю по опыту Екатерины Николаевны. Право, мне раньше казалось, что это проще. А дело это мудреное и требует большой выдержки».

Счастливый отец передавал шутливый вопрос профессора Фортунатова: встретятся ли на студенческой скамье Олег Николаевич Вавилов и молодая Тупикова? И отвечал со свойственным ему оптимизмом: «Я думаю, что наверное встретятся».

В феврале 1919 года Николай привез жену вместе с трехмесячным сыном в Саратов. Можно было надеяться, что супруги снова сблизятся. Получилось наоборот: отчуждение росло.

Он занят почти круглые сутки. Лекции, лаборатория, делянки с посевами и люди, люди, люди – он постоянно окружен людьми!.. Она же лишена привычного круга общения. Уход за младенцем не может захватить ее целиком. Бытовые заботы всегда были ей в тягость, а в голодном и холодном 1919-м – тем более.

А Вавилову, вопреки невзгодам, работалось легко и свободно. Цель была ясна. Он взял в руки управление кораблем своей судьбы и вел его по намеченному курсу. Так, во всяком случае, ему казалось. Внешние препятствия нарастали лавинообразно, но они лишь подзадоривали его. Сомнения, неуверенность в себе остались позади. Не эти качества, утвердившие главенство жены в их союзе, оказались определяющими в его характере.

Этого не могла понять Екатерина Николаевна. Она привыкла смотреть на него, как старшая сестра на младшего брата. То, что было в нем вроде бы внешним и от чего, как она надеялась, он постепенно избавится, – его импульсивность, горячность, *зажигаемостъ*, – лишь усиливались в нем. Планы, с которыми он носился, были ей не особенно интересны; в доме толклись люди, которые были ей чужды. Калейдоскоп *чужих* лиц был для нее мучителен.

Вавилов мог прийти домой в два часа ночи. И не один, а с приятелем, дабы продолжить деловой разговор. Если жена не

спала, поджидая его, мог попросить наскоро приготовить поесть.

Приготовить еду ей всегда было трудно, а в то голодное время в доме часто ничего не было. Но не это было самым обидным и горьким. Ведь он *знал*, как тяжелы ей ночные налеты визитеров, но не прекращал их. К тому же рационально мыслящая Екатерина Николаевна не могла понять, зачем люди обедают в два часа ночи, когда можно пообедать в два часа дня.

А ему непонятна была ее расчетливость, становившаяся все более мелочной. Еще в Москве, ожидая ребенка, она шила распашонки руками, хотя у нее была швейная машинка. Объясняла, что так меньше уходит ниток…

Даже ее заботливость выливалась в такие формы, что становилась в тягость. Л.П.Бреславец вспоминала, как Вавилов появился в Москве на каком-то не очень обязательном совещании, когда без крайней нужды никто не пускался в путь по перегруженным железным дорогам, где свирепствовал тиф. Увидев его, она ахнула. На ее вопросы Вавилов ответил с досадой.

– Да, я уже в вагон садился, а меня всё держали за фалды.

Было ясно, что за фалды держала Екатерина Николаевна.

Ее беспокойство более чем понятно. Но стремление удержать Николая ради его же безопасности лишь раздражало его. Отношения становятся всё отчужденнее.

Летом 1920 года, когда Вавилов с группой ученых и двумя ученицами отправился в путешествие вниз по матушке по Волге, она с полуторагодовалым Олегом вернулась в Москву – под заботливое крыло Александры Михайловны. Год с небольшим, прожитый ими вместе в Саратове, был для нее годом ссылки. Николай Иванович это сознавал и ее не удерживал.

2.

В Государственном архиве Саратовской области сохранился документ под названием «Формулярные сведения», заполненный Леночкой Барулиной 10 апреля 1917 года, при прохождении практики на опытной станции. Документ обнаружила Маргарита Шашкина, любезно предоставившая его автору. В формуляре указано, что Е.И.Барулина, 1895 года рождения, дочь крестьянина, старообрядка, девица, окончила Саратовскую 1-ю министерскую гимназию; практику проходила в отделе полеводства, с 1 апреля по 6 августа 1917 года работала в вегетационном домике, за что получала 50 р. в месяц. Все графы формуляра заполнены на пишущей машинке, но дата окончания

службы вписана от руки, – видимо, позднее[124].

Став преподавателем Высших сельскохозяйственных курсов, Николай Иванович активно вовлекал студентов в изучение сортового материала. Леночка уже имела небольшой опыт работы на опытной станции, и он поручил ей заняться двумя родственными бобовыми культурами: чечевицей и викой.

В теплых краях вика засоряет поля чечевицы, а с продвижением к северу вытесняет ее и сама становится культурной. Как сорнополевая рожь! Получалось, что такие вытеснения – закономерный этап в историческом развитии земледелия! В этом надо было разобраться и, в первую очередь, тщательно проработать систематику чечевицы и вики. Материал был обширный: коллекции, привезенные Вавиловым из Петровки, сборы его ирано-памирской экспедиции.

Леночка с большим старанием взялась за дело и прямо на глазах становилась «королевой» чечевицы. Николай Иванович поручил ей также работу с одной из разновидностей пшеницы.

Поначалу он мало отличал Леночку от других студенток. Но со временем ее старательность, сообразительность и преданность делу трогали его всё сильнее.

3.

В январе 1920 года неугомонный Вавилов выступил с инициативой – созвать в Саратове Всероссийский съезд селекционеров, третий по счету и первый в тот турбулентный период. На разосланные по всей стране приглашения откликнулись многие. В их числе будущий академик Л.С.Берг и профессор Ю.А.Филипченко из Питера, профессор С.И.Жегалов и цитолог А.Г.Николаева из Москвы, будущий академик Б.А.Келлер из Воронежа, не говоря уже о саратовцах – Н.М.Тулайкове, Г.К.Мейстере и других.

Семь лет, с начала мировой войны, российские ученые были оторваны от мировой науки и три года – из-за войны гражданской – друг от друга. Не всем удалось уцелеть в эти страшные годы; о судьбе других ничего не было известно, о третьих ходили неясные слухи. И вот появилась возможность встретиться, поделиться пережитым, рассказать о том, что удалось сделать за эти годы, узнать, что сделано коллегами.

Вавилов был не только организатором, но душой съезда, ведущим действующим лицом. Его доклад стал главной сенсацией съезда. 4 июня С.И.Жегалов писал жене: «Утром отправил тебе письмо и сейчас же после первого заседания съезда

пишу тебе второе. Заседание это было исключительно интересным и оставило на редкость сильное впечатление. Это был большой триумф Николая Ивановича, который будет продолжаться при каждом его выступлении. Он сделал интересный, исключительно интересный доклад с громадным количеством удивительно хороших демонстраций. Когда он кончил, к кафедре подошел старый ботаник Заленский и взволнованным голосом заявил: “Господа, настоящее заседание уже стало историческим, и биологи могут приветствовать своего Менделеева”»[125].

Доклад Вавилова был посвящен закону гомологических рядов в наследственной изменчивости.

С докладами на съезде выступили также три ученицы Вавилова, в их числе Елена Барулина. Название ее доклада: «О вике, засоряющей посевы чечевицы».

Сразу после съезда Вавилов начал подготовку экспедиции в низовья Волги – она состоялась в августе. В ней приняла участие и Леночка Барулина.

В конце концов произошло то, что должно было произойти.

Объяснение было бурным, взволнованным, невразумительным.

Не успев до конца выяснить отношения, Вавилов умчался на новый съезд, по прикладной ботанике, его созвали в Воронеже.

Сразу же ей написал. В основном о съезде, о коллегах, которых не видел три года, о большом интересе к закону гомологических рядов; о том, что его просят выступить с докладом о рядах, к чему он не готовился. И только две скупые строчки о *самом главном* для них обоих: «Я очень хотел бы, чтобы ты была со мной. Так много надо еще видеть, надо понять друг друга»[126].

После доклада о рядах написал снова. Письмо заканчивается припиской по-английски: «Очень жаль, что ты не в Воронеже».

Из Воронежа Вавилов съездил в Козлов – познакомиться с кудесником-садоводом Мичуриным, увидеть своими глазами его знаменитый сад, уговорить подготовить книгу о своем опыте. Оттуда отправился в Петроград, по пути остановился в Москве, где застал Леночкино письмо. О чем оно?

Ее письма были изъяты в 1940 году при обыске квартиры Вавилова молодчиками из НКВД, позднее уничтожены. Об их содержании мы можем только догадываться – по ответам Николая Ивановича, которые чудом уцелели.

Она писала о том, что не так всё просто в их отношениях, как ему кажется. Что люди осудят их «незаконную» связь, осудят

самые близкие: его семья и ее. Писала о том, что он слишком влюблен в науку, чтобы она, Лена Барулина, могла претендовать на важное место в его сердце. Привязанность его может оказаться мимолетной – ведь он такой увлекающийся… И у него жена, ребенок – имеет ли она право ломать их жизнь, делать их несчастными? А еще он должен знать правду: ее любовь к нему – не первая любовь восторженной девочки. Был другой человек, которого она любила; она должна об этом сказать, чтобы быть чистой перед ним.

Глубокой ночью с 1 на 2 октября он пишет ей большое «безумное» письмо – первый ответ на ее душевное смятение, вызванное внезапным счастьем, в которое она боялась поверить.

1 октября 1920 г., Москва: «Всё, что узнал из письма, еще дороже сделало для меня тебя, милая Леночка. Я не мог думать, что ты не любила и не была любима. Это так естественно. Мне больно причинять горе другому. Я всегда хотел бы избежать этого. Это удерживало долго от признания. Я бы хотел, чтобы всё вышло возможно мягче. <…> Жизнь научила осторожно относиться к людям.

Но жизнь надо строить, как подсказывает чувство и разум. И у меня нет сомнения, что оба мы правы. Мне м. б. проще, ибо давно, не первый год, мне ясно, что между женой и мной мало общего. Это чувствовалось и не мною одним. Как натуралист я объективно мог анализировать себя. Научная работа давала импульс жизни, позволяла не углублять анализа. Но результаты его мне были ясны давно. Любить – это постоянно хотеть видеть любимого человека, хотеть постоянно делиться с ним своими переживаниями, жить с ним в унисон и, если возможно, работать с ним вместе. Этого, Лена, не было. Любовь я понимаю как святая святых души. <…>

Для того, чтобы любовь была крепка, сильна, надо знать друг друга, понимать. Милая Лена, мне страшно хочется после твоего ответа, чтобы любовь наша была сильна и крепка. Не зная тебя в личной жизни, я полюбил тебя. По мелочам, по обрывкам твоей личной жизни на моих глазах я реставрировал в уме твою жизнь. Я понял интуитивно, что я могу тебе сказать, что люблю тебя. <…>

Я не пессимист, скорее оптимист. Юношеская жизнь прошла не так полно, как хотелось бы. Жену свою знаю давно, со студенческих лет, но не близко. Это была самая умная, образованная слушательница в Петровке, которую уважали все, от студентов до профессоров. Она была старше меня на год. Была попытка пойти одной дорогой, но из этого ничего не вышло. Тем более что этому мешал и тяжелый характер Екатерины

Николаевны.

И единственное, что связывает нас, – сын, которого нельзя не любить. Я очень хотел бы, чтобы он был дорог и тебе. В нем много моего и мне хотелось бы передать ему всё лучшее, что смогу. Я привык жизнь свою связывать с будущим. Это путь верный – в этом я глубочайше убежден и как биолог, и иначе не могу думать. Мать моя добрая, простая, уже почти старуха. Горе за горем в семье сделали ее нервной, плохо разбирающейся в людях. Нас она мало понимает, но очень любит, и я очень ее люблю. Она не скоро поймет всё и за Олега будет строга.

Брата Сергея я люблю, хоть мы и не очень близки с ним. Он очень способный и будет, вероятно, выдающимся физиком. Он очень уважает Ек[атерину] Ник[олаев]ну и, конечно, будет не на моей стороне, по крайней мере первое время. У нас в семье держатся старых традиций, которые я сам не одобряю. Старшая сестра, пережившая сама многое, относится очень просто и спокойно, как и я сам поступил бы. Жизнь свою каждый решает сам.

<…> Отец был крупным промышленником и коммерсантом. Начал с ничего. Пользовался большим уважением. Отец, по-видимому, умер, но точно я не знаю. Все мы очень самостоятельные, хотя были очень богаты и потому не привыкли к устроению своей внешней жизни. Семья теперь бесповоротно разорена.

Мне будет 25 ноября 33 года. Вот краткое откровение. Пишу для того, чтобы вызвать тебя на то же. Мне всё интересно знать. Мне хотелось бы, чтобы когда-нибудь, когда со всем примирятся, а это, конечно, будет, быть близким к твоей семье, если ты это найдешь нужным.

Вот уже 4-й час, завтра много дела. Пора кончать и заставить себя спать. Милая, любимая Лена, мне так хочется, чтобы во всем мы поняли друг друга, чтобы любовь была сильна. Я бесконечно рад, что мы будем работать вместе. Милая и прекрасная Леночка, мне хочется, чтобы ты была счастлива. Мы правы в поступках. Всё сложное разберется. Всё трудное преоборимо.

Работы так много. Всё говорит за переезд в Петроград. Там будем устраивать вместе жизнь. Пиши, милая, мне так хочется видеть тебя. Твой Н.В.».

Утром, прежде чем отправить письмо, он сделал короткую приписку: «Мне хочется многое сделать. Ты знаешь немного планы, да они не вполне оформились. Ты пойдешь вместе, и я счастлив иметь самого близкого друга. Жизнь я привык связывать с наукой. Чтобы ты была довольна (будь очень строга), я приложу все усилия. Иногда, как теперь, я чувствую, что смогу сделать что-

нибудь. Счастье дает силу. И я давно не был так счастлив».

Из Петрограда он шлет ей письмо за письмом, иногда по два в день. Письма такие же подробные, деловые, взволнованные, *безумные.*

5 октября: «Я не боюсь за нас с тобой. Ты будешь всегда со мной: вместе многое легче. Раньше, в студенческие годы, мне казалось, что сила только в одиночестве. Годы прошли, и я знаю, что это не так. Творчество требует импульса – без лаборатории, без внимания, без поощрения, мне кажется, я даже не могу совершенно работать. Мне хочется, чтобы ты знала всё, чтобы союз наш был на жизнь и на смерть. Последнее, конечно, совершенно не страшно, ибо нет ничего проще, как очутиться на том свете, мне хочется считать, что впереди не только свет, но и тени. Мне нужна твоя помощь, твоя любовь и симпатия к тому, что стоит впереди. <…> Милая Лена, ты часто как ангел-хранитель рисуешься в голове, и я уже привыкаю всё связывать с тобой».

10 октября: «Милый друг, я часто вспоминаю о тебе. Как хотелось бы часто, чтобы ты была со мной».

17 октября: «Мне хотелось бы так много узнать от тебя. Но пока у меня только первое твое письмо, хотя я, кажется, посылаю десятое».

И дальше по-английски: «Только одно желание, я хотел бы, чтобы ты была совершенной. Я уверен, ты можешь это сделать. <…> Я хотел бы, чтобы ты стала настоящим помощником. Вместе мы сможем сделать гораздо больше, вдвое больше, чем я способен сделать один. Мы будем работать вместе».

Леночка оставалась наедине с его письмами. Своими тревогами, переживаниями, сомнениями ей не с кем было поделиться, они ложились на бумагу.

Часть его ответов по-английски: ей это полезно для практики в языке.

7 ноября: «Мысли роятся в мозгу. И часто по преимуществу они связаны с тобой. Я обдумываю нашу любовь. Это так ясно для меня, что я не могу больше поступать, как раньше. Я действительно вполне свободен. В этом нет сомнения вовсе. В целом я терпелив, как, по меньшей мере, кажется мне, но я не могу любить мою жену. Это вполне объективно. Я думаю, что это вполне ясно и ей тоже. Для меня нет сомнения, что я имею право любить тебя. Внутренне нет даже малейшего сомнения в этом. Ты была лучшей из всех, кого я видел, твоя любовь к моей работе была ясна для меня. За три года, что я знаю тебя, по меньшей мере, твою жизнь в лаборатории. Ты знаешь, я довольно критичен. Прежде всего, ты была субъектом критики, конечно.

Первая реакция ученого – строгая критика. Прости меня за все эти строки. Но ты сама пишешь и говоришь о сомнениях. Я хорошо знаю все трудности на пути, но я готов к ним, и я чувствую, это обоснованно. Мой сын всегда будет моим сыном. Я надеюсь, ты полюбишь его, ты будешь добра к нему, он такой хороший мальчик. Мы должны обсудить много вещей. Я думаю, всё устроится. Сейчас твое слово, дорогой друг, ты должна быть очень критичной, по крайней мере на некоторое время. Будь осторожна в своем решении. Ты свободна, действительно, не внешне, не на словах, но в своих внутренних чувствах. Будь очень строга к себе и ко мне. Я готов ко всему. Ведь жизнь не только в лаборатории. Жизнь в ее многообразии перед тобой. Твоя любовь к работе была одним из первых импульсов для моей симпатии к тебе. Я считаю, что самое важное в нашей жизни – мы должны понимать друг друга и работать вместе. Но закончилась ли твоя первая любовь? Твой отрицательный ответ, конечно, очень ранит меня, но лучше это будет сейчас, чем позже».

На обратном пути в Саратов Вавилов снова останавливается в Москве, здесь у него тоже невпроворот дел. Надо поговорить с академиком А.П.Павловым, геологом и палеонтологом, который заинтересовался законом гомологических рядов. Заглянуть в Институт экспериментальной биологии Н.К.Кольцова, побывать на открытии основанного им Евгенического общества. Требуется посетить наркома просвещения Луначарского и наркома земледелия Середу: они власть, от них зависит финансирование научной работы. Но главное – письмо Леночки. Только одно, хотя он надеялся, что их будет несколько. Зато длинное, подробное и – опять полное сомнений. Она продолжает обращаться к нему на «Вы», ему это обидно, но он старается этого не показывать.

«27/XI[1920]. Ночь. Собираюсь в Саратов. ^…^ Милый друг, тебя тревожат сомнения о том, что пройдет увлечение, порыв. Милый друг, я не знаю, как убедить тебя, как объективно доказать тебе, что это не так. Мне хочется самому отойти в сторону и беспощадным образом анализировать свою душу.

Мне кажется, что, несмотря на склонность к увлечению, к порывистости, я все же очень постоянен и тверд. Я слишком серьезно понимаю любовь. Я действительно глубоко верю в науку, в ней цель и жизнь. И мне не жалко отдать жизнь ради хоть самого малого в науке. Бродя по Памиру и Бухаре, приходилось не раз быть на краю гибели, было жутко не раз <…>. И как-то было даже в общем приятно рисковать. Я знаю, как мне кажется, немного науку, имел возможность, счастье быть близким к первоисточникам ее. И она, служение ей, стало жизнью. И вот

потому, Лена, просто как верный сын науки, я внутренне не допускаю порывов в увлечениях, в любви. Ибо служение науке не мирится с легким отношением к себе, к людям. Слишком серьезно относишься и к себе, и к людям. И просто не допускаешь внутренне порывов и мимолетных увлечений.

Мне кажется, что немногое, что успешно доведено до конца, та маленькая доля научной работы, которую удалось осуществить, свидетельствует о постоянстве, и объективно я его сам признаю, и мне кажется, я умею относиться достаточно критически и к самому себе.

Милый друг, [я достаточно владею собой][127], ты знаешь, что в моем положении нелегко и нельзя увлекаться мимолетно, и с юношеских лет как-то выработалось серьезное отношение к жизни, а годы его закрепили. Осуждение коснется, пожалуй, в большей мере меня.

При всей готовности отдать себя науке, а это так, в сущности, просто и легко, жизнь сама становится легче, мне кажется, что нет узости в пути, по которому мне хочется идти в союзе с тобой. Самую науку я представляю широко, может быть, даже слишком широко (слишком большая широта может привести и к ненауке), малое хочется соединять с великим, в этом смысл малого и его интерес, и для этого за малое в науке можно отдать жизнь. Я никогда не боялся и ничто не убедит в узости нашей научной работы. Жизнь также влечет, и в этом у нас не будет расхождения. Хочется всё видеть, знать. И как-то выработалось умение быть внимательным ко многому. Думаю, что в утверждении этого объективен.

Требование к уюту не велико, я, правда, не привык всё делать сам, хотя и умею, если это совершенно необходимо. И в этом у нас не будет разногласия – в этом убежден. Я вообще не знаю, в чем оно будет. Жизнь должна быть и внешне и внутренне красива. И ты это разделяешь. Поэтому-то, мне кажется, союз наш будет крепким и прочным. Мне так хочется, чтобы это было так. Перед этим были [постоянные][128] частые почти разногласия[129], я их не углублял и объективно считаю, что снисходителен и уживчив.

Вот, Леночка, то, что хочется сразу ответить тебе. Может быть, это не убедительно, не достаточно, но ты это скажешь.

Вчера было рождение. 33 года. Мне почему-то постоянно приходит [на ум] начало [из] Данте: “Nel mezzo del camin di nostra vita…” – “На полдороге жизни трудной (хотя она и не очень была трудной, каюсь[130]), забрел я в темный лес, дремучий лес…”

И вот из этого леса надо выйти. И мне кажется, мы выйдем.

Лес трудный, но разве есть лес, из которого нет пути?

Твой N».

Дальше приписка – ответ на еще одно письмо Елены Ивановны: *«29/XI.* Уже на пути прочел твое последнее письмо от 18-го. Милая и прекрасная Леночка, после всех писем, после всего, что узнал, а, конечно, для меня всё это было новым, неизвестным, ты стала еще ближе, дороже для меня <…>. Жизнь надо делать самим такой, как хочется, радостной, бодрой, прекрасной <…>. Когда есть бодрость, смелость, удается то, что не удается обычно, что трудно. Пускай приходит сомнение, без него нет и решения, пусть приходит и грусть, и уныние, но на минуту, не больше.

Твой N».

Как похожи эти письма на те, что девятью годами раньше он слал Кате Сахаровой! Та же взволнованность. Та же откровенность. Такое же отсутствие рисовки, стремление предстать таким, как есть, не приукрашивая себя…

Но как не похожи они на письма девятилетней давности! Теми он вносил «беспокойство и муть», этими – спокойствие и уверенность. Там искал для себя опору; здесь он хочет сам стать опорой, чтобы строить жизнь так, как они сами хотят. И как естественно в любовные письма к женщине вплетаются объяснения в любви… к науке, за которою он готов отдать жизнь, даже *за самое малое* в науке.

Сколько передумано, перечувствовано им за эти девять лет! О людях. О жизни. О науке. О самом себе. Как трезво обдумана, выношена им философия оптимизма: «Когда есть бодрость, смелость, удается то, что не удается обычно, что трудно»! Он допускает и сомнения, но только потому, что без них нет решений. Он допускает и уныние, и грусть, но на минуту – не больше!

Вавилова считали по натуре бодрым, веселым, жизнерадостным человеком. Он таким не родился. Он умел заставить себя быть жизнерадостным.

Безумство параллельных рядов

1.

Шведский натуралист XVIII века Карл Линней был глубоко верующим человеком. На двери своей комнаты он вывесил надпись: «Живите непорочными, Бог среди нас».

Но, как ученый, он поклонялся Богу фактов и не мог не замечать нестыковок между библейскими сказаниями и некоторыми фактами науки. «Когда я впервые стал заниматься изучением природы и увидел ее противоречие с тем, что можно было бы считать замыслом Творца, я отбросил прочь предубеждения, стал скептиком и во всем сомневался, и тогда впервые открылись мои глаза, и тогда впервые я увидел истину», – писал Линней.

Конечную цель науки он видел в классификации. Он много сделал в зоологии, минералогии, медицине, но основные его достижения – в ботанике. Он был королем ботаников.

Он разделил растительный мир на классы, отряды, семейства, роды и виды. Он ввел бинарную номенклатуру, то есть предложил обозначать растения двумя латинскими терминами: первый указывал его род, второй – вид в системе рода. До этого ботаника была лишь грудой разрозненных фактов. Линней привел их в систему, сделал стройной наукой.

Он считал всех особей вида потомками одной родительской пары, вид в его представлении был самой элементарной, первичной единицей биологической системы. Что же касается различий между особями одного вида, то он считал их нестойкими и потому не заслуживающими внимания систематика: «Разновидность – это растение, измененное случайной причиной: климатом, почвою, зноем, ветрами, – и при отпадении изменяющей причины снова восстанавливающее свое первоначальное строение».

Линнеевская классификация стала мощным толчком для ускоренного развития ботаники и всей биологической науки.

Жорж Кювье открыл мир ископаемых организмов, которые, по его мнению, возникали и уничтожались особыми актами творения.

Ламарк пытался противопоставить этой гипотезе идею изменяемости форм путем упражнения или неупражнения органов.

Дарвиновская теория естественного и искусственного отбора

объяснила механизмы биологической эволюции.

Законы генетики вскрыли сущность наследственной природы организмов и их изменчивости.

Классификация, в которой Линней видел конечную цель исследования, оказалась лишь началом генерального наступления на загадки жизни.

Вид оказался отнюдь не самой элементарной таксономической единицей. Выявились переходные формы, занимающие промежуточное положение между видами. Обилие разновидностей и рас поражало исследователей. Отыскивание их становилось все более скучным, почти бессмысленным занятием, сходным с трудом Сизифа.

И все-таки, наращивая номенклатуру растительных форм, систематики делали великое дело. Они накапливали научные факты. А факты – сколько бы ни возникало новых теорий, сколько бы ни опровергалось старых – факты всегда остаются непреходящей ценностью науки, ее вечным золотым запасом. Никогда не исключена возможность, что самый, казалось бы, незначительный факт вдруг засверкает крупным алмазом в короне новой теории.

2.

В предвавильнике и на опытных делянках на хуторе Опоков ученики и ученицы Вавилова *определяли* растения…

По городу разгуливали патрули с винтовками и красными повязками на рукавах. На стенах расклеивали декреты советской власти. Был введен комендантский час: с наступлением темноты появляться на улице без особого пропуска стало опасно – можно угодить в кутузку, а то и быть приконченным на месте «при попытке к бегству». Чекисты рыскали по городу в поисках реальных или мнимых врагов. Ночные обыски, облавы, аресты.

Таковы были реалии двадцатого века.

А они сидели в восемнадцатом…

Но тому, чем они занимались, суждено было украсить век двадцатый и войти в двадцать первый.

Мир растений многолик. То, что присуще одному организму, не свойственно другому. В *разделении* растительных форм основной смысл линнеевской классификации. Но в ней заложен и прямо противоположный смысл! Между видами существует более или менее тесное *родство*, что, кстати, сознавал и Линней: «Все растения обнаруживают родство, как территория на географической карте».

Но *эта* сторона его наследия оставалась в тени – до тех пор, пока Николай Вавилов не выступил с идеей *единства многообразия.*

По свидетельству Э.Э.Аникиной, в первый же саратовский год, когда были выделены из его памирской коллекции безлигульные формы ржи и пшеницы, Вавилов стал искать похожие формы у других злаков. Значит, к осени 1917 года идея закона гомологических рядов уже сложилась в его сознании…

Когда-то Менделеев, работая над учебником химии, задался скромной целью: расположить химические элементы в таком порядке, чтобы студентам их легче было запоминать. Он выписал элементы на отдельные карточки и стал сортировать их так и эдак, раскладывая необычный пасьянс. После нескольких неудачных попыток он решил расположить их в порядке возрастания атомных весов. Тут-то и обнаружилось, что свойства элементов повторяются с четкой периодичностью! Был сформулирован периодический закон, составлена менделеевская таблица, предсказано открытие еще не известных науке элементов – им предстояло занять те клетки таблицы, которые оставались пустыми.

Физического смысла периодического закона Менделеев не знал. Прошли десятилетия, прежде чем стало известно, что атомный вес элемента определяется количеством протонов и нейтронов в ядре атома, а его химические свойства зависят от числа положительно заряженных протонов и отрицательно заряженных электронов, вращающихся вокруг ядра на разных уровнях. Во времена Менделеева о внутренней структуре атома наука не имела ни малейшего представления, периодический закон был выведен интуитивно.

Опираясь на классификацию Линнея, эволюционную теорию Дарвина, законы генетики Менделя и материалы своей иранопамирской экспедиции, Вавилов шел к своему открытию совершенно сознательно.

Виды связаны общностью происхождения. Дарвин в основу эволюционного учения положил идею о дивергенции – то есть о постепенном *расхождении* видов. Он показал, что естественный отбор чаще уничтожает промежуточные формы, крайние же варианты сохраняет. Близкие современные виды когда-то были разновидностями одного вида. Но если так, то эти виды сохранили черты своего прародителя, у них должно быть много сходных признаков!

Конечно, каждому виду присущи свои отличительные признаки, но оставим их временно в стороне, вынесем за скобки, сосредоточим внимание на признаках отдельных сортов,

необязательных для *всего* вида. Не на сортах, а именно на сортовых признаках. Ведь Грегор Мендель установил: задатки отдельных признаков наследуются независимо друг от друга. Хотя генетики внесли существенные поправки в это представление, в первом приближении на него можно опереться.

Персидская пшеница была представлена одной-единственной формой с черным колосом, и ее относили к виду мягкой пшеницы, у которой черноколосые формы – не новость. Но это обстоятельство не помешало выделить персидскую пшеницу в отдельный вид: ведь формы с черным колосом встречаются и у других видов. Как формы с белым, красным, серым колосом. То же самое можно сказать о ржи, овсе, ячмене, о других злаках!

А другие варьирующие признаки? Озимость и яровость? Остистость и безостость? Форма зерна, цветочных чешуй, колоса? Они с такой же правильностью повторяются у родственных видов и родов!

Если так, то можно предсказать не только то, что у персидской пшеницы будет найдено *разнообразие* форм, нои/са-*кие* это будут формы. Не только яровые, но и озимые. Не только с черным, но и с белым, красным, серым колосом. И можно также предсказать, что растений, скажем, с синим колосом не обнаружится: таких форм нет ни у одного вида пшеницы.

Не только близкие виды повторяют друг друга, но и близкие роды, семейства. Даже у порядков и классов заметны сходные ряды наследственной изменчивости.

Это всеобщий закон природы!

В открытии закона гомологических рядов есть нечто эвристическое. Большинство фактов, которые Вавилов положил в основу закона, были известны ботаникам, как до Менделеева были известны свойства тех шести десятков химических элементов, которые он привел в систему. Надо было лишь охватить совокупность фактов единым взором.

Еще Дарвин подметил повторяемость признаков у родственных видов и родов, но не увидел в этом общего закона природы. К.И.Пангало вспоминал, что Александр Иванович Мальцев также обращал внимание на повторяемость признаков. В 1911–1912 годах он рассказывал практикантам Бюро по прикладной ботанике (значит, и Николаю Вавилову), что, работая с овсюгами, предвидит нахождение новых форм и действительно их находит. Сам Вавилов писал Елене Ивановне в 1921 году из Англии, что профессор Паннет (ученик Бэтсона) тоже близко подошел к открытию закона гомологических рядов. Вавилова радовали такие подтверждения, было даже «не жаль потерять свой приоритет». Открытие закона гомологических рядов назрело

в науке, но только Вавилову удалось увидеть то, что ускользало от его коллег!

В одном из его писем к «милой Леночке» есть примечание: «По Оствальду, люди науки делятся на романтиков, увлекающихся, порывистых, быстро переходящих с одной темы на другую, быстро реагирующих. И на классиков, выдержанных, стойких, медленно реагирующих, настойчивых. Мне хотелось бы относить себя к последним, хотя, м. б., я и ошибаюсь».

Он был, конечно, классиком, ибо превыше всего ценил факты, эксперименты и с большой осторожностью подходил к обобщениям. Так его воспитали. В Петровке – Прянишников и Рудзинский. В Петрограде – Регель и Ячевский. В Лондоне – Бэтсон. Так его воспитала научная атмосфера начала XX века, когда в биологии утверждалось экспериментальное направление. Но по натуре он был романтиком. Порывистым, увлекающимся, нетерпеливым, способным к смелым интуитивным догадкам.

Но одной романтичности было мало – нужны были *его* широкие горизонты. Во всем мире ученые специализировались на пристальном изучении узкого круга явлений и объектов. Не случайно Роберт Эдуардович Регель провозглашал анафему энциклопедизму и косо поглядывал на практиканта, желавшего объять необъятное. Зато впоследствии, предлагая Вавилова на должность своего помощника, Регель ставил ему в заслугу «обширную эрудицию» естественника, совмещаемую с «образованием агронома», что «на деле встречается столь редко среди современных все более специализирующихся ученых».

Узкий специалист не мог открыть закон гомологических рядов.

Его не мог открыть чистый систематик – слишком увлекались систематики разделением растений, да и малый круг объектов был в поле зрения каждого из них. Его не мог открыть чистый эволюционист – слишком общи представления эволюционистов о разнообразии мелких систематических форм. Его не мог открыть чистый генетик, работающий с небольшим числом наиболее удобных биологических объектов (вроде плодовой мушки дрозофилы). Его не мог открыть чистый классик – слишком велико было у классиков недоверие к *романтическим* обобщениям.

Николай Вавилов был систематиком.

Был генетиком.

Был эволюционистом.

Был классиком по своему научному воспитанию и романтиком по натуре.

Он жадно насыщал себя знаниями. И как кристаллики соли

выпадают из перенасыщенного раствора от незначительного толчка, так соударение разных биологических дисциплин друг с другом и с его интуицией привело к «выпадению в осадок» теории гомологических радов, кристаллически чистой и ясной.

Как заметил Н.В.Тимофеев-Ресовский, «обыкновенно человек, накапливая по какому-нибудь вопросу в какой-нибудь области материал, накопив этого самого материала достаточное количество, в конце концов более или менее тонет в этом материале. Материал его захлестывает <…>. И вот изредка встречаются люди, которые в материале, сколь бы огромен он ни был, не тонут. И вот этим свойством обладал в яркой, ярчайше выраженной степени, Вавилов. Он обладал талантом сбора огромного материала и приведения его прежде всего у себя в голове, а затем и на бумаге, в порядок в форме определенных таблиц»[131].

3.

В докладе на III Всероссийском съезде селекционеров Вавилов демонстрировал таблицы параллельных радов. В них было немало пустых клеток. Подобно тому, как Менделеев, создавая свою таблицу, не боялся оставлять пустые клетки и утверждать, что их должны занять еще не открытые химические элементы, так и Вавилов предсказывал существование не открытых или не созданных путем селекции форм растений.

Аналогия с периодическим законом была очевидной, о чем и сказал профессор В.Р.Заленский, чьи слова привел в своем письме С.И.Жегалов.

Выступивший по докладу Николай Максимович Тулайков сказал:

– Что можно добавить к этому докладу? Могу сказать одно: не погибнет Россия, если у нее есть такие сыны, как Николай Иванович.

Тот самый Тулайков, который осуждал его за «авантюризм»!

Присутствующие хорошо поняли смысл сказанного, хотя немногие разделяли оптимизм Тулайкова.

Россия три года катилась в пропасть, захлебываясь в крови. Промышленные предприятия больше простаивали, чем работали – то из-за нехватки топлива, то из-за отсутствия сырья, то из-за того, что «несознательные» рабочие отказывались работать, требуя хлеба. *Временные* трудности с поставками продовольствия давно уже стали *постоянными.* Крестьяне не хотели отдавать даром собранный урожай, а когда его отбирали, зерно нельзя

было вывезти из-за *разрухи на транспорте.* В одних местах для паровозов не было топлива; в других топливо скапливалось в избытке, но паровозы были неисправны; в третьих местах не хватало вагонов; в четвертых составы задерживали *несознательные железнодорожники,* тоже требовавшие хлеба; в пятых пути были перерезаны армиями белых генералов или казачьих атаманов. Что такое разруха на транспорте, сидевшие в зале испытали на себе, когда правдами и неправдами добирались в Саратов на съезд.

О том, как именно они добирались, дает представление письмо профессора Жегалова. Поехав в Саратов с группой сотрудников Селекционной станции Петровки, он писал жене Вере Владимировне: «Едем со скоростью 15 верст в час; до Саратова будем тащиться 2½ суток. В нашем распоряжении ½ вагона III класса, сидим по 2–3 человека на длинной лавке. Ночью все спали; пока удавалось отстаивать места от посторонних публик, тем более что у одного из едущих нашелся вагонный ключ. Получили по 2 селедки, конфеты и хлеб. Селедки пойдут на обмен, т. к. я решительно запротестовал против разведения грязи в вагоне. Пангало сидит со мной, не переставая болтает и собирается изобразить сумасшедшего, если будет подсаживаться посторонняя публика. Неприятно, что часть окон забита решетками, точно в арестантском вагоне, а часть просто досками. Я, впрочем, устроился хорошо, еду с Лорхом, Говоровым, Пангало и Игониным. Наши дамы в особом отделении»[132].

Съезд проходил в переполненном зале Саратовского университета со 2 по 10 июня, а за стенами продолжало бушевать турбулентное время. Как писал тот же Жегалов, «[на экскурсию] за Волгу в Красный Кут и Эльтон нас не пустили. Саратов два дня был отрезан от Москвы, толком мы не знали почему, ходило много слухов, и мы серьезно начали устраиваться на более длительное жилье. Потом оказалось, что происходили местные осложнения в Тамбове, и путь был скоро восстановлен»[133].

В Саратове все же было не так голодно, как в Москве. Жегалов пытался прихватить в обратный путь мешок муки, но оказалось, что «купить ее можно только из-под полы, надо искать и знать, где цена около ста рублей пуд. Зато купил пуд разной крупы; провез благополучно, пугали очень обысками в поездах, но сейчас, по-видимому, смотрят не так строго; проходили раза три, но вытаскивали из-под лавок только большие мешки с мукой, запакованных вещей не трогали. В Саратове при взвешивании товарищу показалось подозрительным, что при малом объеме мои вещи много весят, и он пробовал их ощупывать, но толчея и давка была так велика, что найти ему ничего не удалось.

Запаковал я крупу на совесть, думаю, что если бы и открыли корзину, то вряд ли бы скоро нашли»[134].

Но съезд прошел с огромным успехом! По докладу Вавилова была принята резолюция, в которой подчеркивалось *исключительное* теоретическое и практическое значение закона гомологических рядов. Съезд обратился с призывом к государственной власти – обеспечить всемерную поддержку работ Вавилова «по собиранию культурных пород из различных стран земного шара и для этого дать ему возможность теперь продолжать экспедиции». В резолюции сказано, что Вавилов «обладает исключительным умением объединять на крупном идейном деле коллективные усилия своих многочисленных сотрудников, заражая их энергией в достижении намеченных целей»[135].

Съезд также направил телеграмму в Совнарком, на имя наркома просвещения Луначарского, копия наркому земледелия Середе: «На Всероссийском селекционном съезде заслушан доклад проф. Н.И.Вавилова исключительного научного и практического значения с изложением новых основ теории изменчивости, основанной главным образом на изучении материала по культурным растениям. Теория эта представляет крупнейшее событие в мировой биологической науке, соответствуя открытиям Менделеева в химии, открывает самые широкие перспективы для практики. Съезд принял резолюцию о необходимости обеспечить развитие работ Вавилова в самом широком масштабе со стороны государственной власти и входит об этом со специальным докладом».

23 августа, на заседании коллегии Наркомата земледелия РСФСР, профессор Тулайков разъяснил значение закона гомологических рядов для науки и сельского хозяйства страны. Было принято решение «об оказании содействия профессору Вавилову, ученому-ботанику, в отношении напечатания его трудов, возможности в лучших условиях вести работу и опыты (отвод совхоза) и организации экспедиций». Коллегия постановила «Принципиально признать необходимым оказание содействия и поддержки профессору Вавилову»[136].

Дальше «принципиального признания» *содействие* в то время пойти не могло.

4.

Все три года работы в Саратове Вавилов собирал и исследовал местные формы культурных растений, но его тянуло

дальше, особенно на юг, в засушливые заволжские степи: по его представлениям, это был единый юго-восточный ботанико-географический район.

Пока юг Поволжья был охвачен войной, о путешествии нельзя было и думать. Как только фронт отодвинулся на Запад, Вавилов набросал план экспедиции. К нему охотно присоединились коллеги из Саратовского университета: профессор ботаники Д.Э.Янишевский, профессор физиологии растений В.Р.Заленский, преподаватель плодоводства В.К. Левшин, специалист по бахчевым культурам С.А.Карташова. Агроном губземотдела В.С.Осипов взял на себя хозяйственно-административные заботы. В составе экспедиции две студентки-дипломницы: Елена Барулина и Галя Попова.

Г.М.Попова оставила об этой поездке колоритные воспоминания: «Волга была тихая, и гладь ее блестела как зеркало. Пароход запаздывал. Все участники путешествия окружили Николая Ивановича и слушали с глубоким интересом его увлекательные рассказы о поездках по сбору культурных растений в Иран и на Памир. Солнце уже закатилось, стало прохладно, и вдруг вдали на реке показались огни, большой пассажирский пароход причалил к пристани. Нас, против ожидания, всех разместили в каютах, что воспринималось как необычайная роскошь».

Пока пароход плыл вниз по матушке по Волге, Вавилов уточнял обязанности каждого из участников экспедиции. В Астрахани местный энтомолог Н.Ф.Сахаров помог им разместиться в краеведческом музее.

Вавилов начал исследование местной культурной флоры с городских базаров. Вопреки военному коммунизму, запретившему частную торговлю, здесь было шумно и многолюдно. Продавали фрукты, виноград, арбузы, дыни… Закупая образцы растений, Вавилов расспрашивал у продавцов и покупателей о вкусовых качествах разных сортов, записывал местные названия.

Затем начались поездки на катерах по многочисленным рукавам дельты. К вечеру все возвращались с добычей на базу, то есть в краеведческий музей. Поповой особенно запомнилась поездка на лодках к зарослям лотоса. «По пути собирали водяной орех, который в то время служил значительным подспорьем в питании населения дельты: плоды водяного ореха очищали от кожуры, сушили и размалывали в муку».

Николая Ивановича водяной орех *(чилим, рогульник)* привлек большим разнообразием форм.

«Вдруг перед нами открылось чудесное зрелище: среди камышей на высоких ножках стояли прекрасные крупные розовые

цветы лотоса. Все лодки направились к ним. Ботаники срезали лотос для гербария, Николай Иванович и мы, его помощники, собирали коробочки, цветки и целые растения».

Запомнила Галя Михайловна посещение местных опытных полей, других хозяйств. Особое внимание Вавилова привлекли местные способы земледелия на засоленных почвах.

«И всюду, где появлялся Николай Иванович, он у всех поддерживал интерес к исследованиям. Он буквально зажигал людей, рисуя перед ними увлекательные перспективы благодаря своим глубоким знаниям и эрудиции, и часто повторял свое любимое выражение: “Дерзайте, дерзайте, батенька мой!”»[137].

Экспедиция позволила пополнить материалы, собранные в окрестностях Саратова и Самары. Они легли в основу задуманного Вавиловым труда о полевых культурах юго-востока – «края бесконечно интересного своими контрастами»[138]. Писал книгу урывками, по ночам, но в марте 1921 года он ее уже завершил, издать смог только через год. Она открывается посвящением:

Солнечному, знойному суровому Краю,
настоящей и будущей
Агрономии юго-востока,
как дань за несколько лет
приюта и гостеприимства,
посвящает этот очерк
Автор

Романтик в нем часто брал верх над классиком.

5.

Вернувшись из путешествия по Волге, Вавилов отправился в Воронеж – на съезд по прикладной ботанике, о чем мы упоминали. Оттуда писал Елене Ивановне: «К гомологическим рядам большой интерес. Выслушиваю и критику, и одобрения. Больше последних, но больше интересуюсь критикой. Признаюсь, побаиваюсь Талиева. Он очень остроумный, и сердитый, и врожденный полемист. Его мнение мне было очень любопытно, но пока не спрашивал. Вчера неожиданно в конце доклада [Талиева] “Теория эволюции и селекции” услышал большое одобрение, которого никак не ждал от Талиева»[139].

По учебнику ботаники Валентина Ивановича Талиева училось несколько поколений студентов, его труды Вавилов штудировал студентом, когда готовил доклад об экскурсии на Кавказ. Много

лет Талиев был профессором Харьковского университета, в 1919 году возглавил кафедру ботаники в Петровке. Ему были близки проблемы эволюции, он остро критиковал «виталистические» взгляды Коржинского, а теоретические положения Августа Вейсмана разносил как возврат к дремучему средневековью. Одобрение столь жесткого и язвительного критика было для Вавилова приятной неожиданностью.

Иначе отнесся к закону гомологических рядов воронежский профессор Борис Михайлович Козо-Полянский. Пока докладчик опирался на обработанные им самим и его ученицами фактические данные, возразить было нечего, но когда он, настаивая на всеобщности закона, заметил, что параллелизм в изменчивости должен наблюдаться и у животных, Козо-Полянский воскликнул:

– Но мы не встречали рогатых лошадей!

Вавилов ответил:

– Найдутся рогатые лошади.

В прениях по его докладу язвительный Талиев «сказал много существенного, и для него – в мягкой форме», но Козо-Полянский «был очень суров»[140].

Вавилов не пришел в эйфорию от похвал и не отмахнулся от критики. Выступление Козо-Полянского воспринял как «первую критику по самому существу. Много кратких, но дельных замечаний по фитопатологии». Он готов признать свои упущения: «Зайдя к вершинам, легко заблудиться, особенно тогда, когда в сутолоке, конечно, не уследишь ни за палеонтологией, ни морфологией. Сегодня или завтра будем с ним толковать долго»[141].

После *долгих толков* с Козо-Полянским каждый остался при своем мнении.

Два года спустя – уже из Петрограда – Вавилов послал ему только что вышедшую книгу Л.С.Берга «Номогенез, или эволюция на основе закономерностей». Книга была вызывающе дерзкой. Автор выдвигал *новую* теорию эволюции, противопоставляя ее теории естественного отбора. Если по Дарвину наследственные изменения носят случайный характер, а направление эволюционному процессу придает выживание наиболее приспособленных в борьбе за существование, то для Берга направленная эволюция – изначальное свойство жизни. Берг широко опирался на вавиловский закон гомологических рядов: в параллельной изменчивости родственных видов и родов он видел подтверждение того, что изменчивость происходит направленно.

Вавилов новую теорию не принял, но книгу Берга считал

интересной и важной: в ней было много новых фактов, включая данные о рогатых лошадях и даже о рогатых кроликах.

О том же он сообщил другому воронежскому оппоненту, профессору Н.П.Кобранову.

23 августа 1922 г.: «Прежде всего уведомляю Вас, Сократа Константиновича [Чаянова] и Бориса Александровича [Келлера] о том, что рогатые лошади существуют и описаны в 1895 году Осборном[142]. Мало того: оказывается, существуют даже рогатые кролики»[143].

Но и до выхода книги Берга Вавилов продолжал дорабатывать закон гомологических рядов, привлекая новый фактический материал и уточняя формулировки. В ноябре 1920 года, возвращаясь из Петрограда в Саратов и остановившись в Москве, он узнал, что здесь готовят конференцию для обсуждения его закона. Он готовит новый вариант доклада: «Для завершения Закона гомологических рядов необходимо изучить детально палеоботанику, палеозоологию и зоологию. Там кое-что, как здесь, – не так конкретно, не так ясно, но есть аналогичные идеи. <…> Здесь, в Москве и Петрограде, есть общий интерес к нашей работе. Это стимулирует»[144].

В 1921 году, на пароходе, по пути в Америку, Вавилов начал писать статью о законе гомологических рядов на английском языке. Завершил ее на обратном пути. Остановился в Англии, где его ждала встреча с коллегами и друзьями: Бэтсоном, Паннетом, Биффеном, Персивалем… Некоторых уже не было в живых, о чем он с грустью писал Леночке.

С глубоким волнением (о чем тоже ей писал) передал рукопись статьи «апостолу». Великий скептик одобрил статью и рекомендовал к печати. Она появилась в «Журнале генетики»[145]. К оттиску, посланному П.П.Подъяпольскому, Вавилов приписал: «Посылаю Вам, по-видимому, самую лучшую из своих работ, к сожалению, на английском языке. Когда-нибудь напишу ее по-русски».

6.

Великий физик XX века Нильс Бор сказал об одной концепции другого великого физика Вернера Гейзенберга: «Ваша идея, конечно, безумна. Весь вопрос в том, настолько ли она безумна, чтобы оказаться верной».

Идея Вавилова, положенная в основу закона гомологических рядов, оказалась *достаточно* безумной. Десять лет спустя уже тяжело больной Петр Павлович Подъяпольский ему писал: «У

Беранже мне попались великолепные строки (в переводе Курочкина) о дерзателях в науке и политике, которыми движется всё. Он их называет безумцами. К Вам тоже идет это место:

Если б завтра земли нашей путь
Осветить наше солнце забыло, —
Завтра ж целый бы мир осветила
Мысль безумца какого-нибудь.

Ваши “ряды”, идея которых <…> разве не была безумством в свое время?»

О том, что она давала практически, говорит письмо селекционера Дальневосточной опытной станции И.Н.Савич. Она писала Вавилову: «Боюсь, que je suis royaliste[146], но, право, мне кажется, что Вы слишком мало придаете значения этому великому закону. В области культурной сои он приводит прямо к фантастическим результатам. Я предвижу новые формы и нахожу их, знаю наперед не только их признаки, но и свойства, жирность, вегетативную массу и т. д.

Подошла уже к выяснению путей эволюции, доказываю значение менделевских законов и в групповой изменчивости, т. к. система вида является постоянной по тем же математическим закономерностям».

Вавилов, конечно, понимал значение открытого им закона. Само понятие биологического вида он наполнил новым содержанием. Вид – это не просто более крупная таксономическая единица, чем раса, и более мелкая, чем род. Особи одного вида легко скрещиваются между собой; благодаря этому внутри вида идет перегруппировка генов, а значит, и признаков. Каждая новая комбинация образует новую форму, хотя сами признаки могут оставаться неизменными. Так из одних и тех же букв складываются разные слова и фразы. Значит, нет необходимости каждую расу обозначать особым иероглифом: несколько десятков признаков – вот тот алфавит, которым можно «записывать» каждую вновь обнаруженную расу.

Эту идею Вавилов развил в работе «Линнеевский вид как система»[147].

«Самое исследование многообразия и описание новых форм видов становится полным научного смысла и увлекательным». «Понадобится, может быть, столетие усилий ботаников и зоологов, чтобы путем коллективной работы подготовить общую систему организованного мира. Но это путь неизбежный, исторический, и исследование неизбежно приводит к нему».

Вавилов вынужден был опираться на внешние, ботанические

признаки организмов, ибо генетика отдельных растений (частная генетика) была в зачаточном состоянии. Но ему было ясно, что гены тоже должны давать сходные ряды изменчивости. Теперь генетики обнаруживают у родственных видов гомологичные участки молекул ДНК и белковых молекул, то есть закон гомологических рядов подтверждается на молекулярном уровне[148].

Еще в 1911 году, делясь впечатлениями от первых занятий со студентками Высших Голицынских курсов, Вавилов писал Кате Сахаровой: «Единственное, в чем пытался убеждать их, что наука двигается, а не стоит на месте».

Приближается столетие закона гомологических рядов. Наука ушла далеко вперед. И полностью подтвердила торжество идей Вавилова.

Петроград

1.

Несмотря на все усилия Роберта Эдуардовича Регеля, жизнь в Отделе прикладной ботаники замирала. Молодых сотрудников призвали в Красную армию. Старые разъезжались по деревням – бежали из голодного Петрограда. Регель отправил семью в деревню Глухово Вятской губернии. В январе 1920 года поехал по делам в Москву и оттуда решил заглянуть к родным. Поездка оказалась роковой. В поезде он заразился тифом, добрался до своих в полубредовом состоянии. В несколько дней сыпняк свел его в могилу…

Для Николая Вавилова Роберт Эдуардович Регель был старшим товарищем, наставником, примером самоотверженного служения науке. Главным *делом* жизни Регеля было его *детище*: Отдел прикладной ботаники и селекции. Он превратил маленькое, почти незаметное Бюро в крупное научное учреждение по изучению культурной флоры России и мира. Регель говорил и подчеркивал, что прикладной науки не бывает, наука всегда фундаментальна, прикладная ботаника – это раздел ботаники, изучающий возделываемые растения. Николаю Ивановичу была близка такая «философия бытия».

Смерть Регеля с особенной силой резанула Вавилова по сердцу. Тут сошлось всё: и личная близость к покойному, и внезапность утраты, и суровость тех лет, уносивших множество жизней, и сознание огромной ответственности, которая перекладывалась на его собственные, еще не вполне окрепшие плечи. И вырвались слова печали и боли: «Вся жизнь Регеля была посвящена науке. Наука была главным стимулом его жизни и ей была отдана жизнь. События последнего 7-летия отразились на Регеле, сделали его крайним пессимистом, готовым к смерти в любой час. В своем завещании он пишет, что умирает, исполнив свой долг до конца. Все, кто знали его, могут засвидетельствовать, что вся жизнь его была полна сознанием своего долга, им он заражал и других. Ряды русских ученых редеют день за днем, и жутко становится за судьбу отечественной науки, ибо много званых, но мало избранных»[149].

Так написал Вавилов в некрологе. Он стал предисловием к посмертному изданию труда Регеля «Хлеба в России», вышедшему под редакцией Николая Ивановича.

Через 20 лет ему припомнят эти слова, уличая в «подрывной

деятельности». Следователь со зловещей фамилией Хват усмотрит в них «резкое проявление антисоветских настроений»[150].

2.

Трудно сказать, как встретил Николай Иванович предложение возглавить Отдел прикладной ботаники.

Может быть, в первый момент испугался его неожиданности и воскликнул, как восемь лет назад: «Очень уж всё это быстро, похоже на карьеризм, от коего боже упаси».

Или принял как должное? Ведь он уже три года был помощником заведующего, то есть вторым лицом в Отделе, а после смерти Регеля автоматически становился первым.

Заботы об утверждении Вавилова в должности взял на себя Ячевский. Вопрос обсуждался в ряде заседаний Сельскохозяйственного ученого комитета[151]. Вавилов был избран единогласно.

Значит, перебираться в Петроград?

Но там разруха и запустение – куда более сильные, чем в Саратове. В Питере едва осталась треть жителей. Мостовые поросли бурьяном. Заржавели трамвайные пути. Предприятия не работают. Электричество включают на два-три часа в сутки. Топлива нет. Учебные заведения опустели. Немногие студенты, продолжающие посещать занятия, сидят в полупустых аудиториях в шубах и валенках. Шатающиеся от голода профессора читают лекции тоже в шубах и шапках-ушанках, коченеющие пальцы едва удерживают указку…

А как расстаться с саратовскими сотрудниками, учениками и ученицами, которые, вопреки всем невзгодам, столь преданно и восторженно трудились под его руководством последние три года?..

Какова же была его радость, когда оказалось, что почти все они готовы ехать с ним в Петроград!

Однако он еще колебался, для этого были веские основания. «В принципе этот вопрос мною решен положительно; но все трудности и колебания состоят не в личном переезде, а в перенесении из Саратова большей части лаборатории и нашей работы экспериментального характера, включая и научно-технический персонал. Со стороны наиболее ценных сотрудников мною получено принципиальное согласие на переход в Петроград. Но для их существования и, главное, для продуктивной работы необходимы минимальные условия. Не

менее существенным является наличие небольшого опытного участка (5—10 десятин) вблизи Петрограда с достаточными постройками и возможность пользоваться при работе большим вегетационным домиком или светлыми оранжереями для изучения южных культур и специальных заданий. Необходимо также для перенесения нашей лаборатории получение одного-двух вагонов для перевезения из Саратова больших коллекций возделываемых растений и значительной (до 5000 томов) библиотеки. Все эти пожелания, вероятно, осуществимы даже в условиях действительности, и потому к началу 1921 года предполагал бы окончательно переехать в Петроград»[152].

Сначала, еще полный сомнений, он поехал один. По пути, как всегда, остановился в Москве. Тут ему вдруг предложили кафедру генетики в Московском университете.

Еще вчера он не мог об этом даже мечтать!

Но теперь, взвесив все *за* и *против*, он решил ехать дальше, в Питер, хотя знал, что там будет много труднее. Видимо, чувствовал в глубине души, что именно *та* палица ему по плечу

«Картина почти полного, словно после нашествия неприятеля, разрушения встретила нового заведующего в помещениях Бюро, – писал К.И.Пангало, – в помещениях – мороз, трубы отопления и водопровода полопались, масса материала съедена голодными людьми, всюду пыль, грязь, и только кое-где теплится жизнь, видны одинокие унылые фигуры технического персонала, лишившегося руководителя. И в этом царстве начавшегося тления, грозившего уничтожить долголетнюю творческую работу многих предшествующих лет, вдруг всколыхнулась жизненная волна».

Сам Вавилов писал об этом не столь поэтично, но более конкретно: «Сижу в кабинете за столом покойного Роберта Эдуардовича Регеля, и грустные мысли несутся одна за другой. Жизнь здесь трудна, люди голодают, нужно вложить заново в дело душу живую, ибо жизни здесь почти нет, если не труп, то сильно больной, в параличе. Надо заново строить всё. Бессмертными остались лишь книги да хорошие традиции.

В комнате холодно и неуютно. За несколько часов выслушал рапорт о тягостях жизни. Холод, голод, жестокая жизнь и лишения. Здесь до 40 человек штата. Из них много хороших, прекрасных работников. По нужде некоторые собираются уходить. Они ждут, что с моим переездом всё изменится к лучшему. Милый друг, мне страшно, что я не справлюсь со всем. Ведь всё это зависит не от меня одного. Пайки, дрова, жалованье, одежда. Я не боюсь ничего, и трудное давно уже сделалось даже привлекательным. Но боязнь не за себя самого, а за учреждение,

за сотрудников. Дело не только в том, чтобы направить продуктивно работу, что я смогу, а в том, чтобы устроить личную жизнь многих. Всё труднее, чем казалось издали. Практически всё надо учесть»[153].

Он еще не уверен в правильности своего решения. Подумывает о том, не отступиться ли, пока не все мосты сожжены. Оптимизм внушает то, что власти дали согласие на перевод Отдела прикладной ботаники в более просторное помещение. Под него отвели целый дворец: пустовавшее здание бывшего министерства сельского хозяйства – в самом центре города, на Морской, 44. Фасадом оно смотрит на Исаакиевскую площадь.

«Там светло, просторно, а главное – всё можно строить заново, как хочется»[154], – писал довольный Вавилов.

Окончательное решение он принял после того, как съездил в Детское (бывшее Царское) Село, где ему выделили обустроенный земельный участок для полевых исследований и большую виллу, целый дворец, со служебными постройками.

Прежде дворец принадлежал великому князю Борису Владимировичу: подарок его крестной матери – британской королевы. Строили его британские инженеры – в «аглицком» стиле. Роскошная резиденция превосходила самые смелые ожидания!

«В Царском Селе нашлось всё, о чем только мог мечтать, – писал Вавилов в Саратов своей Леночке. – Чудесный дом для генетического института, оранжереи, кругом лес, дворцы, самое здоровое место по климату, удобство сообщения с Петроградом, всё полно Пушкиным, и – подумай только! – в одном из домиков нашей селекционной станции жил Пушкин. Памятник Пушкину против Лицея – живой Пушкин, от него не оторвешься»[155].

Планируя пробыть в Петрограде не больше десяти дней, он приехал налегке, но застрял на полтора месяца – до зимних холодов. Перевозить имущество Отдела с Васильевского острова в новое помещение оказалось очень непростым делом. То не было лошадей, то подвод, то куда-то исчезали нанятые грузчики.

Сотрудники Отдела встретили весть о переезде со сдержанной настороженностью. Не слишком ли круто молодой заведующий взялся за дело? Новая метла по-новому метет.

Помогали, но нехотя, показывая всем видом, что затея с переездом им не по душе. Уговаривать, а тем более приказывать новый заведующий считал неудобным. Проще было самому паковать двух-трехпудовые мешки, взваливать их на плечи и нестись с ними вниз по лестнице с пятого этажа, своим примером и веселыми прибаутками подбадривая грузчиков. Разгоряченный,

он выходил с мешком на мороз, сваливал груз в телегу, потом быстро поднимался наверх, и так множество раз в день. В результате подорвал силы и простудился.

Оказывается, такое уже с ним бывало.

«Случилась история, которая была со мной 7 лет назад в Англии и 4 года назад после путешествия на Памир. Что-то похожее на переутомление и простуду. Я не могу ходить и двигаться, должен сидеть дома неподвижно и в кровати. Надеюсь, всё пройдет очень скоро. У меня нет времени болеть. К счастью, два дня я могу посидеть дома, сегодня и завтра. Послезавтра я должен ехать в Царское Село»[156].

Но дело двигалось!

20 октября он торжествующе сообщал «милому дорогому другу» о «большом событии»: «Первые 9 подвод перевезли часть Отдела в новое помещение. <…> Пока только 9 подвод, всего, по моему подсчету, их надо 120. Но и то много, сдвиг, и я очень рад. Если бы ты вообразила, как это нелегко. Если бы ты видела этих ужасных грузчиков. Как было трудно достать людей, лошадей»[157].

Через неделю он подводит первый итог этой эпопеи: «Уже 28 октября. Уже пролетело 9 дней в поисках людей, денег, спирта [!]. Уже 90 подвод послано в новый дом. Скоро придет конец. Мой самый лучший друг, я очень спокоен, более, чем думал. И сейчас я уверен, что через 3–4 дня мы будем в новом здании. Это был экзамен, первый в новых условиях.

Конечно, нужно еще много сделать. Вся мебель, книги в беспорядке. Много недель пройдет, пока всё это будет закончено. Я недоволен многими здесь. Без меня они бы не сделали ничего. Я так рад, что Флякcбергер здесь. Он хороший работник. Иногда он выглядит таким жалким, слабым, он не очень здоров, но все еще хороший ученый и понимает, что есть истинная наука, и любит науку. Это самое важное. Всем вместе, дорогая Лена, здесь так много надо сделать. Но надеюсь, что не напрасно. До сих пор всё идет так, как бы мне хотелось.

Чем больше я вижу Петроград, тем больше я люблю его. Он действительно прекрасен – город Петра и Пушкина. Для меня большое удовольствие проходить мимо памятника Петру, видеть сфинксы с Нила. Они прямо на другой стороне Невы»[158].

По вечерам он сидел в своем новом кабинете и писал письма в Саратов.

За окном лежал свежевыпавший снег. Морозило. Но робкий еще мороз не мог вытравить сырость из тяжелого питерского воздуха, не мог сковать черную полосу Мойки, слабо дымившуюся внизу под окном. На голых стенах поблескивали в неровном свете

камина росинки влаги. Но весело плясало и потрескивало пламя в камине, рассыпая искры. Вавилов кутался в легкое, не по сезону, пальто, натужно кашлял в кулак.

Подвод потребовалось не 120, как он прикидывал, а 180. Но вот – всё перевезено! «Кое-какие отделы на будущей неделе могут уже заниматься научной работой. <…> За всей этой черновой административной работой я отошел от настоящей работы, но только ради нее самой. Раздумывая, мне кажется, что я остался верующим человеком, каким был в детстве, только вместо одного бога служу другому. И, право, хочется создать храм науки. Для этого нужны кирпичи, балки, вот их-то и возим теперь. М. б., это всё утопия, но мы утописты, не правда ли»[159].

«Вчера у нас было новоселье. Было достаточно тепло и единодушно. Хотя наши хоромы не в порядке и вряд ли к маю мы приведем их в надлежащий вид, но уже пшеница, ячменя, да и все остальные расставлены. И, пожалуй, уже теперь много лучше, чем было на [Васильевском] Острове, и даже уютней. На торжестве был Ячевский, [В.А.] Траншель, председатель] Уч[еного] комитета милый старичок [В.И.] Ковалевский, были речи, пожелания, etc.»[160].

3.

Остановившись на обратном пути в Москве, утопист окунулся во множество дел, снова прозаических и отнюдь не научных. Главная задача – добыть вагоны для перевозки в Питер саратовской команды.

Пока утрясался вопрос о вагонах, он накинулся на зарубежную научную литературу – на те небольшие фрагменты ее, что прорывались спорадически через фронты мировой и гражданской войн.

А потом начался аврал в Саратове. Здесь тоже надо было упаковывать оборудование, библиотеку, коллекции растений в снопах, в колосьях и семенах, доставить всё на вокзал, погрузить…

«Вполне понятно, с какой грустью расставался Саратовский университет с Вавиловым, но никто не пытался его задерживать. На прощальном банкете очень хорошо выразил общие мысли В.Р.Заленский, закончив свою речь словами: “Большому кораблю – большое плавание”», – вспоминала А.И.Мордвинкина, одна из учениц, последовавших с ним в Петроград.

Ехали в двух теплушках, прицепленных к товарному поезду. Поезд больше стоял, чем двигался. Это было хорошо. Можно было

набрать хвороста для буржуек, отапливавших теплушки.

В марте 1921 года два десятка вавиловцев со всем личным и научным скарбом прибыли в Петроград и сразу «попали действительно на Петроградский фронт, да еще в Кронштадтскую историю», как написал Вавилов Подъяпольскому.

Более неудачного времени для такой дислокации нельзя было придумать! В ноябре 1920 года гражданская война вроде бы закончилась. Большевики одержали победу. Остатки белых армий штурмовали корабли на причалах Севастополя. Те, что не успели убраться, сложили оружие, сдались в плен. Их ждала горькая участь. Но для большевиков то была пиррова победа. Страна, и в особенности «колыбель революции» Петроград, были на грани вымирания.

В первой половине 1920 года власти, стремясь ослабить ширившееся недовольство «пролетарской диктатурой», мобилизовали жалкие резервы и несколько увеличили нормы выдачи хлеба. К концу зимы резервы иссякли. Вождь революции, с присущей ему решительностью и прямотой, признавал: «Мы не рассчитали того, что сразу истратили свои ресурсы, мы не рассчитали тех ресурсов, которые у нас имелись в запасе, и мы не оставили ничего на черный день»[161].

Такая вот ошибочка вышла у народной власти! Хотели, как лучше, но – *не рассчитали*! «Мы не сумели правильно оценить всей опасности надвигавшегося к весне кризиса и поддались естественному стремлению увеличить выдачу голодающим рабочим»[162].

Надо же! Такое доброе, такое естественное стремление, и так подвело! Как подводило с того самого дня, когда *вчера было рано, а завтра будет поздно*\ Всё с того дня делалось как можно лучше для рабочего класса и всего трудового народа, а получалось – из рук вон плохо! Даже самые *сознательные* рабочие от голода стали терять сознание. Как мы помним, «красная столица» уже в мае 1918 года была «на краю гибели от голода». С тех пор голод и полугол од царили по всей стране, но лютее всего в Петрограде. Пока шла гражданская война, *сознательным* рабочим можно было внушать, что *временные трудности* возникают из-за происков беляков и мировой контрреволюции. С окончанием войны терпение трудового народа лопнуло. Как на грех, большевики – из самых лучших, разумеется, побуждений – допустили еще один перерасход. К катастрофической недостаче продовольствия прибавилась столь же катастрофическая нехватка топлива на железных дорогах. Бесконечно длинные составы товарняка ржавели на запасных путях, мертвые паровозы стояли с затушенными котлами. Сколь ни снижали в Питере нормы

выдачи хлеба, а подвоз его снижался еще быстрее!

24 февраля (1921 года) питерские рабочие, перекормленные обещаниями, вышли на улицы. Требования были просты: *хлеба* и *свободных выборов в Советы.* Рабочие оставались сторонниками советской власти. Но – *без коммунистов*!

Петроградский комитет большевиков отреагировал с молниеносной быстротой. Введено военное положение; наряды ЧК, усиленные красноармейцами, ринулись арестовывать рабочих-активистов. Возмущение от этого только росло.

1 марта в Кронштадте, на Якорной площади, состоялся многотысячный митинг солдат и матросов – в поддержку питерских рабочих. Основной лозунг митинга: «Вся власть Советам, а не партиям!»

В Кронштадт прибыл председатель ВЦИК М.И.Калинин, будущий *всесоюзный староста.* Он пытался «всё объяснить», но его освистали, стащили с трибуны, изрядно помяли. Хорошо хоть выпустили из Кронштадта.

Собрание потребовало освободить арестованных активистов рабочего движения, а также эсеров, меньшевиков, анархистов, представителей других социалистических партий и групп. Потребовало свободы слова, собраний, союзов, свободных выборов в Советы, свободы кустарного промысла и торговли, права крестьян распоряжаться своим земельным наделом и своим урожаем.

В Кронштадте был образован Временный революционный комитет во главе с матросом С.М.Петриченко, активным революционером, коммунистом по убеждениям, но не членом партии большевиков. Принято *«Обращение населения крепости и Кронштадта»*:

«Товарищи и граждане! Наша страна переживает тяжелый момент. Голод, холод, хозяйственная разруха держат нас в железных тисках вот уже три года. Коммунистическая партия, правящая страной, оторвалась от масс и оказалась не в силах вывести ее из состояния общей разрухи. С теми волнениями, которые в последнее время происходили в Петрограде и Москве и которые достаточно ярко указали на то, что партия потеряла доверие рабочих масс, она не считалась. Не считалась и с теми требованиями, которые предъявлялись рабочими. Она считает их происками контрреволюции. Она глубоко ошибается.

Эти волнения, эти требования – голос всего народа, всех трудящихся. Все рабочие, моряки и красноармейцы ясно в настоящий момент видят, что только общими усилиями, общей волей трудящихся можно дать стране хлеб, дрова, уголь, одеть

разутых и раздетых и вывести республику из тупика. <…>

Товарищи и граждане! Временный Комитет озабочен, чтобы не было пролито ни единой капли крови. Им приняты чрезвычайные меры по организации в городе, крепости и на фортах революционного порядка. <…>

Задача Временного Революционного Комитета дружными и общими усилиями организовать в городе и крепости условия для правильных и справедливых выборов в новый Совет.

Итак, товарищи, к порядку, к спокойствию, к выдержке, к новому, честному социалистическому строительству на благо всех трудящихся.

Кронштадт, 2 марта 1921 г. Линкор, “Петропавловск”.

Председатель Вр. Рев. Комитета Петриченко

Секретарь Лукин».

Военные корабли Кронштадта обладали мощными радиопередатчиками. Воззвание широко передавалось по всему Петрограду и находило сочувствие в *несознательных* массах. Кронштадтский революционный комитет послал в Петроград делегацию для переговоров.

Большевистское руководство, боясь показать слабость, отвергло переговоры; делегатов мятежного острова арестовали. Похватали родственников руководителей восстания, превратив их в заложников. В Петрограде и Петроградской губернии было объявлено осадное положение.

4 марта Кронштадту был предъявлен ультиматум: сложить оружие и подчиниться большевистскому контролю. 202 делегата от предприятий и воинских частей города-крепости собрались для обсуждения ультиматума. Единодушно он был отвергнут.

На подавление кронштадтского *мятежа* бросили недавно распущенную, но теперь спешно воссозданную 7-ю армию Тухачевского. Крепость решено брать штурмом, не считаясь с потерями, наступая по льду Финского залива. О том, чтобы не было крови, большевики не беспокоились.

Вечером 7 марта начался артиллерийский обстрел крепости, утром по льду двинулись цепи красноармейцев. Поспешность операции объясняли приближением весны: лед утончается, после его вскрытия штурмовать Кронштадт сухопутным войскам будет нельзя.

Это был лживый предлог, ибо до вскрытия Финского залива было еще далеко. Медлить не стали по другой причине. В Москве открывался X съезд партии, ему надо было отрапортовать о подавлении кронштадтского мятежа.

Настроение красноармейцев, посланных штурмовать

крепость, было далеко не боевым. Им было привычно убивать и погибать за «пролетарское дело», но тут предстояло драться не с помещиками и капиталистами, не с белоказаками или белополяками, не с иностранными интервентами, а с братьями по классу: рабочими, солдатами, матросами. Два стрелковых полка отказались идти в бой и были разоружены. Остальные подчинились приказу – нехотя, без воодушевления. Двигались цепями по ровному белому полю, без единого бугорка или углубления или другого укрытия. Из крепости строчили пулеметы. Сотни бойцов полегли на льду, обагренном кровью.

Натиск был отбит. Войскам пришлось с позором ретироваться, не подобрав убитых и раненых. Беспорядочно разбросанные по белоснежной равнине, они производили жуткое впечатление.

Партийному съезду пришлось рапортовать не о победе, а о поражении. Известие взбаламутило съезд: что, если кронштадтская зараза пожаром распространится по стране?..

Три сотни делегатов съезда, с места в карьер, были брошены «добровольцами» в Питер, в помощь армии Тухачевского. Из курсантов военных училищ сформировали три дополнительных полка.

Новый штурм назначили на 16 марта. Многократный численный перевес наступающих не оставлял мятежникам шансов. Сеча длилась три дня: 16, 17 и 18 марта. С обеих сторон погибло более полутора тысяч бойцов, более пяти с половиной тысяч было ранено, две тысячи мятежников сдались в плен, восемь тысяч, под покровом ночи, ушли по льду в Финляндию.

Тем временем X съезд партии большевиков одобрил *новую экономическую политику* (НЭП). Был положен конец военному коммунизму. Продразверстка заменялась продналогом, ограбление крестьянства прекращалось. Разрешалась частная торговля, узаконивалось частное предпринимательство. Иначе говоря, принималась вся *экономическая часть* программы кронштадтских мятежников! Лишь в одном большевики остались непреклонными: никаких альтернатив на выборах в Советы! Вся полнота власти должна оставаться в руках *партии нового типа.*

В Кронштадте разгромом восстания бойня не завершилась, а началась. Победители упивались победой. Более двух тысяч жителей острова было приговорено к смертной казни, около шести с половиной тысяч – к разным срокам заключения. С весны 1922 года началось выселение из Кронштадта оставшегося населения. Выселенных участников и просто свидетелей кровавого марта 1921 года потом не оставляли в покое до конца жизни: снова и снова подвергали репрессиям.

В Питере выискивали *сочувствовавших* мятежу, да и всех *подозрительных*: им мог оказаться каждый житель *неправильного* происхождения.

И в это время две теплушки с вавиловцами прибыли в северную столицу.

4.

Попав на *Петроградский фронт и в кронштадтскую историю*, Николай Иванович должен был быстро сориентироваться в обстановке. Он делал всё возможное, чтобы в политику не встревать. 18 марта он писал Подъяпольскому: «Хлопот миллионы. Воюем с холодом в помещении, за мебель, за квартиры, за продовольствие <…>. Должен сознаться, что малость трудновато налаживать новую лабораторию, опытную станцию и устраивать 60 человек персонала (вместе с питерскими).

Набираюсь терпения и настойчивости.

Недели три пройдут в устроении, а там посев. Надо достать лошадей, орудия, рабочих. Словом, иногда, дорогой Петр Павлович, страшно, что не справишься.

Что сможем, сделаем»[163].

Одновременно или сразу после избрания заведующим Отделом прикладной ботаники Вавилов был избран профессором селекции Петроградского сельскохозяйственного института. Институт располагался в Детском Селе, там же, где экспериментальная база Отдела, – это было удобно. «Север все-таки очень завлекателен, – писал он в том же письме. – Первую лекцию собираюсь читать на тему “Пределы земледелия и пределы селекции” (имеются в виду северные пределы. – *С.Р.)*. Сделано мало, и можно сделать много. Внешне наша лаборатория прекрасна. И вообще в Царском хорошо. В городе (я раздваиваюсь между селом и городом, 3 дня в городе, 4 – в селе) хуже. Холодно и люди пообессилили…»[164]

С введением нэпа появляются надежды на оживление хоть какой-то экономической жизни. На глазах возникают мелкие предприятия, артели, открываются магазинчики и лавчонки. Им, как ни странно, есть чем торговать. Но – не хлебом единым жив человек! Как по волшебству, оживают типографии, возникают частные журналы, книгоиздательства. Появляется надежда, что независимое слово, вопреки всем препонам, снова станет пробиваться к читателю.

Неожиданно приходит письмо из Америки: российских

ученых приглашают на международный съезд по болезням хлебов. Приглашения именные. Одно Николаю Ивановичу Вавилову, другое Артуру Артуровичу Ячевскому.

Поездка за океан – это возможность ознакомиться с работой американских, а на обратном пути и европейских исследователей культурных растений, закупить литературу, лабораторное оборудование, семена. Другой такой случай представится нескоро!

5.

Руководство Сельскохозяйственного ученого комитета одобрительно относится к поездке, но не властно само решить этот вопрос. Вавилов и Ячевский едут в Москву, где как раз открывается 7-й Всероссийский съезд по сельскохозяйственному опытному делу.

Программа съезда большая, рассчитана на 10 дней, с 15 по 25 июня. Вавилов на заседаниях появляется нечасто – ему надо пробить поездку в Америку. Он «с утра до ночи» обходит разные учреждения, пишет бумаги, уговаривает, убеждает, доказывает необходимость поездки. Нужно согласие Наркомзема и Наркомфина, Наркомата иностранных дел и Рабкрина, Чека и Совнаркома, Совета труда и обороны и Совнархоза.

Проще всего найти понимание в Наркомземе: там есть люди, которые его знают и поддерживают. Ведущий экономист-аграрник Александр Васильевич Чаянов, член коллегии Наркомзема, знает Вавилова со студенческих лет. Пользуются влиянием и другие экономисты-аграрники: Сократ Константинович Чаянов (двоюродный брат Александра Васильевича)

и Николай Дмитриевич Кондратьев. Они тоже давно и хорошо знают Вавилова.

Одобрение Наркомзема расчищает дорогу в Наркомфин. Здесь им ассигнуют немалые средства – не в советских бумажках, которые обесцениваются с каждым днем и даже часом, – золотом. Но тем труднее добиться согласия ЧК, ВСНХ, других инстанций. Между тем поездка нужна еще по одной причине, для власти куда более насущной.

22 июня на Съезде по опытному делу выступил только что прибывший из Саратова профессор-экономист А.А.Рыбников. Он говорил о страшном неурожае, поразившем Поволжье и прилегающие регионы страны.

О том, что в Поволжье сильная засуха, Николай Иванович уже знал, но масштабов бедствия не представлял. С присущим ему

оптимизмом слухи о надвигающемся голоде считал преувеличенными.

И вот на трибуне хорошо знакомый по Саратову профессор Рыбников, серьезный ученый, не паникер. Он взволнован, но держится строго, деловито, речь его подчеркнуто суха, конкретна, наполнена цифрами, обоснованными, хотя и предварительными прогнозами. Вслед за ним выступает саратовский агроном М.И.Куховаренко – тоже хороший знакомый Николая Ивановича. Он дополняет данные Рыбникова. Озимые посевы выжжены дотла. Яровые, которые двинулись в рост позднее, повреждены частично, но если засуха продлится еще две-три недели, они тоже превратятся в пепел. Запасы продовольствия, которых должно было хватить до нового урожая, изъяты повторными реквизициями, аварийных запасов нет.

Фактически голод уже начался, хотя пока еще не повсеместно. По предварительным данным, бедствием охвачено 25 губерний. Те, кто могут, разбегаются из сел, но большинству податься некуда. Родители привозят детей в Саратов, Царицын, Казань, Самару и, под покровом ночи, оставляют у дверей детских приютов, а сами исчезают. В приютах детей тоже нечем кормить, в наибольшей опасности – дети. Надвигается голод куда более масштабный, чем в памятных старикам 1891 и 1892 годах, – тот знаменитый голод, на котором «работали» и о котором писали Лев Толстой, Владимир Короленко, Глеб Успенский, Антон Чехов, Иван Бунин, другие, не столь знаменитые писатели. «Не было другого события, столь оживленно обсуждаемого русской печатью, публицистами, писателями и журналистами различных направлений, как [эта] “летопись народного разорения” (Г.И.Успенский)»[165].

Николай Вавилов в ту пору был малым ребенком, но позднее много читал о том бедствии, оставившем глубокую борозду в народной памяти и общественном сознании. Да и слышал от очевидцев.

Вавилов знал, что тогда засуха охватила 17 губерний, теперь Рыбников и Куховаренко говорят о 25 губерниях (на самом деле их окажется около сорока – с общим населением в 90 миллионов человек). Тогда у государства и земства имелись хлебные резервы. Недостаточные, медленно и неумело распределяемые бездушными бюрократами, но – были резервы! Теперь о резервах говорить не приходилось. На помощь голодающим тогда пришли общественные силы, интеллигенция, поступали пожертвования от частных лиц, и не только российских: продовольствие шло эшелонами из Европы, пароходами из-за океана. Прибытие кораблей с мукой из Соединенных Штатов и распределение ее

среди благодарного населения запечатлено на двух картинах Ивана Айвазовского. Железные дороги работали бесперебойно, были введены льготные тарифы на поставки продовольствия в районы голода. На местах создавались бесплатные столовые. Только Лев Николаевич Толстой со своими помощниками обслуживал около семидесяти бесплатных столовых в двух уездах Тульской и одном уезде Рязанской губернии. В Саратове много делал для спасения голодающих генерал-губернатор Косич – об этом Вавилов знал от Подъяпольского.

А что ждет население теперь?!.

В переполненном зале Общества сельского хозяйства на Смоленском бульваре – мертвая тишина. Сидят все не шелохнувшись, с бледными перекошенными лицами, избегают смотреть друг другу в глаза.

«Неурожай хуже 1891 г., и откуда придет помощь, неизвестно. Граница, по существу, закрыта», – напишет Вавилов вечером в Питер Елене Ивановне.

Президент МОСХа А.И.Угримов вносит предложение – создать Общественный комитет помощи голодающим и сразу же приступить к делу Все, конечно, согласны. Но встает С.Н.Прокопович, видный экономист, бывший министр Временного правительства, один из тех, кто был арестован большевиками при взятии Зимнего дворца. За три советских года он не раз еще был арестован и отпущен, успел побывать деканом юридического факультета МГУ, состоял в разных общественных организациях. Он говорит, что, прежде чем создавать Комитет, надо заручиться согласием власти, иначе работать ему не дадут. Надо забыть о политическом противостоянии, направить делегацию к Ленину, разъяснить ему положение дел и убедить в том, что цель создаваемого Комитета – спасать голодающих, а не подрывать устои большевистского режима.

В делегацию вошли два саратовских профессора Н.М.Тулайков и А.А.Рыбников, известный общественный деятель и животновод М.М.Щепкин, президент МОСХ А.И.Угримов. Их задача – «сделать представление председателю Совнаркома о размерах грядущего голода и о необходимости принятия срочных и планомерных мер борьбы с последствиями неурожаев»[166].

К общественной инициативе Ильич отнесся с большим подозрением. Он уже знал о надвигающемся бедствии, но беспокоил его только один аспект: как оно повлияет на удержание власти в руках «пролетариата». Он твердо знал, что кто не с нами, тот против нас. Помощь голодающим – это ширма, за которой будет вестись подкоп под устои большевизма.

Однако запретить создание Общественного комитета помощи

голодающим, не предложив ничего взамен, он счел политически вредным. Пришлось разрешить, но при строго определенных условиях. На согласование деталей ушло около месяца, хотя каждый день промедления означал сотни, если не тысячи жизней, отданных на съедение царь-голоду.

Во главе Общественного комитета Ильич поставил одного из своих ближайших сподвижников Л.Б.Каменева, его заместителем – другого сподвижника А.И.Рыкова. В комитет был введен нарком просвещения Луначарский, замнаркома иностранных дел Литвинов, нарком внешней торговли Красин, нарком здравоохранения Семашко – двенадцать высокопоставленных коммунистов. И ряд других лиц, близких к власти, таких как Максим Горький. При таком многослойном контроле Комитет ничем крамольным заниматься не мог.

Но всего в Комитете было более семидесяти человек, в их числе известные всей стране деятели отнюдь не большевистской ориентации: бывшие члены Государственной думы, разогнанного Учредительного собрания, экономисты-аграрники, писатели, деятели культуры, такие как Станиславский, деятели «буржуазных» и «мелкобуржуазных» партий – кадеты, эсеры, меньшевики. Почетным председателем Комитета избран В.Г.Короленко. Это имело большой общественный резонанс. Старый большевик И.А.Теодорович, в то время член коллегии Наркомзема, признавал: «Многие украинские крестьяне только ради имени Короленко жертвуют хлеб голодающим»[167].

Сам Владимир Галактионович откликнулся телеграммой: «Я болен и слаб, силы мои уже не те, какие нужны в настоящее время, тем не менее я глубоко благодарен товарищам, вспомнившим обо мне в годину небывалого еще бедствия, и постараюсь сделать всё, что буду в силах».

Вопрос об организации Комитета еще не был решен, а начальник Секретно-оперативного управления ВЧК В.Р.Менжинский уже порывался всех его деятелей арестовать. Но санкцию ему не давали.

«Правительство, вышедшее из Октябрьской революции, сильное в терроре, было бессильно спасти от смерти миллионы приволжских крестьян; и оно пошло на риск, допустив в Москве образование общественного комитета с участием и представителей правительства. Если кто-нибудь успел записать краткую историю этого комитета, то он рассказал, как нескольких дней оказалось достаточно, чтобы в голодные губернии отправились поезда картофеля, тонны ржи, возы овощей из Центра и Сибири, как в кассу общественного комитета потекли отовсюду деньги, которых не хотели давать комитету

официальному. Огромная работа была произведена разбитыми, но еще не вполне уничтоженными кооперативами, и общественный комитет, никакой властью не обличенный, опиравшийся лишь на нравственный авторитет образовавших его лиц, посылал всюду распоряжения, которые исполнялись с готовностью и радостно всеми силами страны», – вспоминал один из активных членов Комитета, известный писатель М.А.Осоргин[168].

Авторитет Комитета рос с каждым днем, еще быстрее росли возлагавшиеся на него надежды. Комитет стоял вне партий, избегал вмешательства в политику. Этот *оппортунизм* больше всего бесил Ильича, вынужденного пойти на *соглашение с соглашателями.* В конфиденциальных записках соратникам он называет Комитет *Прокукишем*, потом просто *Кукишем.* Так он «остроумно» сократил-соединил фамилии трех его ведущих деятелей: ПРОкопович, КУскова, КИШкин. Издевательская кличка перекочевала в большевистскую печать. Газеты всячески пытались опорочить Комитет. Его вина перед диктатурой пролетариата состояла в том, что он спасал людей от голодной смерти. В случае успеха его деятельности в народе мог проснуться павловский «рефлекс свободы».

Ильич выдвинул *свою* программу борьбы с голодом, разумеется, сверхреволюционную:

«Если район, охваченный неурожаем и голодом, обнимает территорию с 25 миллионами населения, то не следует ли рядом мер самых революционных взять с *этого* именно района молодежь в армию в количестве около 500 тысяч штыков? (И даже может быть до 1 миллиона?)

Цель: помочь населению до известной степени, ибо прокормим часть голодных, и, может быть, посылками домой хлеба поможем до известной степени голодным. Это первое. А второе: поместить эти ½ миллиона на Украине, чтобы они помогли усилению продработы, будучи сугубо заинтересованы в ней, особенно ясно сознавая и чувствуя несправедливость обжорства богатых крестьян на Украине.

Урожай на Украине приблизительно определяют (Раковский) 550–650 миллионов пудов. Вычитая *150* миллионов пудов на обсеменение и *300* (15 х 20 = 300) на прокорм семьи и скота, получим остаток (550–450 = *100*; 650–450 = *200)* в среднем около *150 миллионов пудов.* Если поставить на Украине армию из голодных губерний, этот остаток можно бы собрать (налогом + товарообмен + особыми реквизициями с богатых на помощь голодным) *полностью»*[169].

Этот маловразумительный бред, сдобренный фантастической

цифирью, заставляет вспомнить о прогрессивном параличе мозга, который через несколько месяцев лишит вождя революции речи и подвижности. Не забудем: это был 1921 год, Союза ССР еще не было, советская Украина считалась независимым государством. Но послать в нее *на кормление* миллионное войско проблемы для Ильича не составляло. Заминка была в другом: крестьяне Украины *обжирались* только в его воображении, юг ее был охвачен голодом, как и Поволжье.

Между тем на Олимпе власти царил раздрай. Дзержинский рвал и метал, требуя санкцию на арест всех этих *интеллигентиков*, подрывающих устои пролетарской диктатуры. Нарком земледелия Середа, которому предстояло поднимать сельское хозяйство, этому противился; Красин, отвечавший за внешнюю торговлю, предлагал использовать престиж Общественного комитета на Западе для прорыва торговой блокады Советской республики. Каждый тянул одеяло на себя. Это перетягивание происходило в обстановке глубокой секретности, но находило отражение в большевистской печати. То она требовала расправы над *Прокукишем*, то становилась снисходительно-покровительственной.

На одно из заседаний Комитета председатель Каменев запаздывал. Это было странно, ибо раньше он всегда являлся с пунктуальной точностью. Осоргин вспоминал, как собравшиеся в недоумении ждали председателя, а сам он, сидя рядом с престарелой Верой Фигнер, знаменитой революционеркой, отсидевшей двадцать лет в Шлиссельбургской крепости, развлекал ее невеселыми шутками:

– Сейчас явятся чекисты, и мне придется провожать вас под ручку в тюрьму.

И вот: «Гудят у подъезда моторы, и впереди черных фигур влетает в залу женщина в кожаной куртке, с револьвером у пояса. Старушку Фигнер пощадили, нас повезли на прекрасных машинах».

То, что деятельность Комитета кончится тюрьмой, не было неожиданностью. Лидер партии эсеров А.Гоц, томившийся в лубянском застенке, увидев в газете состав Комитета, сказал товарищам по заключению: «Надо готовить камеры для инициаторов этого дела»[170].

В машине один из спутников спросил Осоргина: «“Как вы думаете, это – расстрел?” Я кивнул головой уверенно. Иначе – какой же смысл в аресте? Чем его оправдать? Нас нужно объявить врагами революции и уничтожить!»[171]

Камеры на Лубянке готовы не были. Всех арестантов – мужчин и женщин – заперли в одной большой комнате. Ведут

себя все по-разному. Некоторые сильно возбуждены, кипятятся выше всякой меры, демонстрируя бесстрашие и возмущение. Другие подавлены, с трудом скрывают растерянность. Если верить Осоргину, то сам он нашел уголок почище, лег на пол и заснул. «Утро вечера мудренее, если, конечно, утро придет»[172].

Утром арестованных стали разводить по камерам. Через неделю Осоргин решил, что уже не расстреляют.

Условия в тюрьме были тяжелыми. Не допускалось никакого общения между камерами, тем более – с внешним миром. Не было книг, не выводили на прогулку, кормили «супом из воблы и воблой из супа»; вобла была протухшей и червивой. «Но допускалась передача пищи с воли, и родные и друзья выстаивали часами в очереди у конторы тюрьмы; иногда передача не принималась, и это обычно означало, что арестованный расстрелян, но прямо об этом не сообщалось».

Некоторых арестантов вскоре выпустили – тех, кто в Комитете помощи голодающим не был особенно активен и не был отягощен прошлыми грехами перед советской властью. Остальных изредка вызывали на допросы, хотя «допрашивать было, в сущности, не о чем, отвечать на допрос нечего». Просидев два с половиной месяца, Осоргин был обвинен в контрреволюции и сослан в Царевококшайск (Йошкар-Ола). В дороге он заболел и был снят с поезда в Казани. Это было огромным везением.

Хотя Казань была одним из эпицентров голода, кое-какая пища туда все же поступала. За пределы Казани доставлять ее было не на чем. Вымирали целые селения. В них не оставалось ни собак, ни кошек, ни ворон, ни мышей. Все меньше оставалось людей. Широко было распространено людоедство, еще шире – трупоедство: останки умерших ели те, кто еще оставался жив. На кладбищах выставляли стражу; там, где ее не было или она была недостаточной, могилы разрывали и трупы похищали. На улицах Казани, повествовал Осоргин, можно было встретить «чудом выживших деревенских людей. Появлялась на улице человеческая тень в отрепьях, становилась у стены с протянутой рукой. Давали мало, хоть деньги ничего не стоили, да и не были настоящей помощью тысячные, стотысячные, миллионные бумажки. Постояв на морозе сколько-то времени, тень опускалась на снежную панель и замерзала, и тогда в упавшую шапку прохожие бросали, не жалея, мелкие бумажки. Это я видел. И еще видел детей, черемисов и татарчат, подобранных по дорогам и доставленных на розвальнях в город распорядительностью Американского комитета (АРА). Привезенных сортировали на “мягких” и “твердых”. Мягких уводили или уносили в барак, твердых укладывали ряд на ряд, как дрова в поленнице, чтобы после

предать земле. И еще раньше, до казанской ссылки, я видел в Москве коллекцию сортов “голодного хлеба”, собранную на местах одним из членов общественного “Комитета помощи голодающим”, – замечательную коллекцию суррогатов, которыми пытались питаться миллионы умиравших от голода крестьян; ни в одном музее мира не найти такой коллекции разноцветных камней и неведомых пород, и то московское собрание погибло при аресте членов комитета».

«Я мало видел, но много слышал в Казани от очевидцев, – продолжал Осоргин. – Из всех рассказчиков самым остроумным был следователь, которому вначале были поручены дела о людоедстве; после, когда эти дела умножились, их предали забвению, тем более что большинство “преступников” явиться на человеческий суд уже не могло. Следователь, человек новой формации, без всякого образования, но уже успевший усвоить казенный “юридический” язык, возмущенно повествовал, как в большой крестьянской семье ели умершего собственной смертью деда, которого перестали кормить. В протокол по этому делу следователь записал: “Означенные граждане варили из головы суп, который и хлебали, даже не заправив его крупой или кореньями”. Я запомнил эту фразу – она гениальна!»

В Саратове, таком же эпицентре голода, оставался П.П.Подъяпольский. В его бумагах сохранилась записная книжка, куда он заносил свои наблюдения как врач. М.Е.Раменская, читавшая эти записи, свидетельствует: «…Он выделяет последовательные ступени голода по способу добывания пищи.

1. Сельские жители находят новую пищу в местной флоре.

2. Изобретают суррогаты хлеба. В такой-то деревне в муку добавляют сосновые и липовые опилки. Липовые считаются вкуснее.

3. В хлеб добавляют и ядовитые примеси.

4. Едят кошек и собак. Режут не только скот, но и лошадей. (Называет село в Екатеринославской губернии (ныне Донецкая обл.), где из 600 лошадей осталось 17.) В селе Пристанном близ Саратова осталось 6 лошадей. (На лошадях пахали и исполняли все тяжелые работы и берегли их “пуще глаза”. Конокрадство считалось самым подлым преступлением; поймав конокрада, его всей деревней избивали до смерти. – *М.Р.)*

5. Когда кошки и собаки съедены, едят умерших от голода. В деревне в 50 верстах от с. Квасники (Заволжье) все мертвые поедаются. В некоторых местах начинают убивать людей, чтобы есть. Последнее, по-видимому, является психической эпидемией, т. к. во многих местах (в качестве примера называется г. Петровск) умирает много жителей, но до агрессивности и убийств

не дошло. А в Новой Узени (низовье Волги) эпидемия людоедства; единственный убийца в Сокуре (почти окраина Саратова) оказался из Новой Узени»[173].

В сентябре 1922 года Осоргин, как и большинство членов разогнанного Комитета (включая С.Н.Прокоповича и его жену Е.Д.Кускову), будет выслан из Советской России – в числе двух сотен интеллектуалов, которых власть не могла расстрелять, но и терпеть их присутствие тоже не могла.

В Новом Свете

1.

Но вернемся в июнь 1921 года.

Для борьбы с голодом мало было организовать поставки продовольствия в пораженные засухой губернии. Требовалось обеспечить их посевным материалом, иначе поля останутся незасеянными в следующем году, хлеба снова не будет – даже при самой благоприятной погоде.

Понятно, что надо было завезти сортовые семена, по возможности, приспособленные к условиям российского юго-востока. Чтобы их правильно отобрать, нужен глаз специалиста. Кто, как не Николай Вавилов, три года проработавший в этом крае и уже написавший книгу о его полевых культурах, мог выбрать из иностранных сортов то, что лучше всего подходит.

Не думаю, что слишком смело предположить, что эти соображения и стали последним доводом, который убедил власти дать добро на его (и Ячевского) командировку в США. О том, какие препятствия ему пришлось преодолеть, говорят строки из письма Елене Ивановне: «Если бы я знал раньше, каких хлопот будет стоить Америка, м. б., воздержался бы от этого предприятия. С утра до ночи хожу, пишу бумаги и обхожу всю Москву. <…> Хлопоты веду один, здесь, конечно, никто ничего не сделал, а Ячевский уже в Питере <…>. Выехать за границу, да еще с золотом, это такое предприятие, что мне еще самому кажется невероятным. Но попробую дерзать. Слишком много затрачено энергии. <…> Мне самому удивительно за мое терпение и настойчивость. Но я решил со своей стороны сделать всё. Поездка нам всем даст так много, что надо попытаться. Ты ведь меня одобришь. Это нужно».

В латвийской Либаве (Лиепае) ученых из голодающей, тифозной Совдепии встречают настороженно. Прежде всего делают прививку оспы. Объяснять, что как раз с оспой в Советской России относительно благополучно, ибо, по инициативе ученика Мечникова академика Гамалеи, введено всеобщее оспопрививание, – бесполезно. На советских профессоров смотрят как на дикарей. Заставляют принять горячую ванну; вещи дезинфицируют, да так старательно, что Вавилов лишается половины багажа. В порядке исключения их только не обривают: «с другими русскими проделывают и эту

операцию». Ячевский нервничает, хочет вернуться и никуда не ехать. Николай Иванович как может успокаивает его.

После трех с половиной лет сплошного кошмара Вавилову непривычно благополучие западной жизни. Он пишет Елене Ивановне, что ему «не по себе ходить тут по улицам, заходить в магазины, кофейни, когда у Вас там так трудно». Впрочем, «кроме книг, агрономии, немного политики мира, всё мало трогает» его. Но книги! Новинки, от которых он был отрезан так долго! Он набрасывается на них с такой жадностью, как голодающие Поволжья на хлеб! Он проглатывает десятки книг, журналов, газет на разных языках, пытаясь понять послевоенную «мировую жизнь».

«Мир весь в движении, – пишет он Елене Ивановне, – всё встряхнуто, народы еще не позабыли распри, наряду с объединением мира идет разъединение <…>. Великие идеи разбиваются о малые, о множество малых идей».

Труднее всех Англии, пишет Вавилов. Британская империя трещит по швам, колонии стремятся к отделению. Между ведущими державами идет борьба за океаны, но изворотливому британскому премьеру Ллойд Джорджу пока удается лавировать в клубке противоречий. Впрочем, о мировой политике он упоминает мельком, как сторонний наблюдатель, не подозревая, насколько близко придется ему сталкиваться с нею по ходу этой своей поездки и в последующие годы.

В ожидании визы в Соединенные Штаты и парохода в Канаду проходит три недели.

Виз в США ученым из Страны Советов так и не выдают: есть установка из Вашингтона – не впускать коммунистов. Уверения в том, что они не коммунисты и далеки от политики, не действуют. Именные приглашения на конгресс по болезням хлебов не производят на американского консула ни малейшего впечатления. Да и сроки прошли: на конгресс они все равно опоздали.

Так и не получив виз в США, Вавилов и Ячевский отплывают в Канаду.

«Море бушует. Значит, лежать. Я не переношу качки. Ехать по океану 2 недели. Погода нам не покровительствует. Идут дожди», – пишет Вавилов перед отъездом.

Плавание тяжелое. Настолько, что в Канаде Ячевский, человек религиозный, заказал молебен по случаю его благополучного завершения.

Вавилов и Ячевский объезжают сельскохозяйственные опытные учреждения Канады. Пытаются снова обратиться за визами в США, но тут выясняется: для въезда из Канады виз

вообще не требуется! С подобными нелепостями Николаю Ивановичу предстоит сталкиваться многократно.

Итак, они в Штатах! Вавилов планировал побывать здесь еще в 1914 году – тогда помешала мировая война. Прошло семь лет… И вот он здесь!

2.

Вавилов в движении с раннего утра до позднего вечера: посещает селекционные станции, учреждения, университеты. Переезды из штата в штат, если позволяет расписание поездов, – по ночам. Ячевский не выдерживает такого темпа; они разъезжаются, потом снова съезжаются. Вавилов заводит дружеские связи. Контакты со многими учеными будут потом продолжаться – к взаимной пользе и удовольствию. В Миннесоте его друзьями станут селекционер Х.К.Хейс, фитопатолог Стэкмен, ботаник университетской опытной станции Эдвард Фримен. Он посещает опытные учреждения Северной Дакоты, подробно знакомится с работами Сельскохозяйственного института при Корнельском университете в Итаке, штат Нью-Йорк.

Он поражен тем, как много общего между Америкой и Россией: сходные почвы, сходные климатические условия, поля засеяны теми же культурами, близкими сортами! Селекционеры подтверждают: они много работают с исходным материалом из России. Но если так, то перспективна и обратная интродукция: лучшие американские сорта можно будет использовать в России!

Его новым знакомым нравятся эти идеи, они готовы сотрудничать, делиться опытом, обмениваться литературой, семенным материалом.

В Беркли, штат Калифорния, Вавилов посещает престарелого Лютера Бербанка – кудесника-плодовода, американского Мичурина.

Важнейший пункт путешествия – Вашингтон. Здесь, при министерстве сельского хозяйства, базируется Бюро растениеводства во главе с доктором Д.Фэйерчайлдом. В Бюро сосредоточены крупные научные силы. Уже больше двадцати лет работники Бюро собирают по всему свету культурные растения, то есть делают то, что Вавилов начал своей ирано-памирской экспедицией и мечтает продолжить. Наибольший интерес у него к отделу зерновых культур, его возглавляет Карлтон Болл, агроном и растениевод. Доктор Хартли познакомил Вавилова с холодостойкими сортами кукурузы. Вавилов считает, что их следует испытать в средней и даже северной полосе России. Еще

ближе он сходится с сотрудником отдела Хэрри Харланом – путешественником и знатоком ячменя. Они легко находят общий язык.

Вавилова интересуют лен, огородные культуры, цитрусовые. В Бюро растениеводства работают знатоки каждой из этих культур. Есть специалисты по генетике, физиологии, болезням растений… Они охотно беседуют с пришельцами из далекой страны, где происходит что-то непонятное и страшное. Вавилову дают советы, щедро дарят оттиски печатных работ, образцы растений, семена. Улыбчивый россиянин подкупает своей открытостью ко всякому новому знанию, неиссякаемой энергией, какой-то лучезарностью. Самое удивительное: с каждым из специалистов он говорит на равных. Кто-то из них съел зубы на пшенице, другой на ячмене, третий на кукурузе, четвертый на зимостойкости хлебных злаков… А россиянин с каждым из них говорит так, словно сам всю жизнь занимался тем, чем они. Вопросы ставит так широко, что первоклассные специалисты нередко становятся в тупик. Сильный акцент не мешает ему свободно говорить по-английски, живо отзываться на шутку и самому искрометно шутить, обвораживая собеседника белозубой улыбкой.

Особенно тесные отношения устанавливаются у него с фитопатологом Михаилом Осиповичем Шаповаловым, в прошлом российским социал-демократом. Он скрылся за границу от преследований царской охранки, приехал в США еще в 1911 году, но интереса к своей родине не потерял. Он вызвался помогать Вавилову и после того, как тот вернется в Россию. Николай Иванович оставил ему небольшую сумму денег – на закупку научной литературы.

3.

С учеными из России захотел встретиться министр торговли и промышленности, будущий президент США Герберт Гувер – один из самых незаурядных американцев, из тех, кто *сам себя сделал.*

Гувер родился в семье квакеров, осиротел в раннем детстве, воспитывался у тетки в бедности и в строгих религиозных традициях. Благодаря прирожденному упорству он сумел получить отменное образование, стал горным инженером, работал на рудниках и металлургических заводах Австралии, Китая, недолгое время на Урале. Из рядовых служащих дорос до менеджера крупной фирмы, потом создал свою компанию. Став

мультимиллионером, Гувер бросил предпринимательство, чтобы заняться благотворительной деятельностью. В годы Первой мировой войны в бедственном положении оказалось население Бельгии, маленькой мирной страны, зажатой меж двух жерновов. Бельгию оккупировали войска кайзеровской Германии, высосали из нее все соки, развалили хозяйство, разрушили инфраструктуру, оставив жителей без работы и пропитания. Гувер вступил в контакт с воюющими сторонами и добился согласия на поставки продовольствия для голодающего населения Бельгии – через линию фронта. Пришлось преодолеть большое сопротивление. Первый лорд адмиралтейства Уинстон Черчилль рвал и метал: поставки будут укреплять врагов Великобритании! Гуверу удалось настоять на своем. Население Бельгии было спасено от голода. После войны организация Гувера, преобразованная в ARA (American Relief Administration), наладила широкую помощь военнопленным и перемещенным лицам в странах Европы и Ближнего Востока. ARA помогала им выжить и вернуться на родину. К 1921 году эта миссия была в основном завершена, но тут стало известно о голоде, обрушившемся на Россию.

Большевистское политбюро, прежде чем решилось прикончить *Прокукиш*, предложило (или позволило) Максиму Горькому лично от себя обратиться «ко всем честным людям Европы и Америки» – с призывом спасти от голода страну Толстого, Достоевского, Мусоргского… В Европе на призыв отозвался Фритьоф Нансен. Отважный полярный исследователь к тому времени отошел от научной деятельности и занялся гуманитарной помощью перемещенным лицам – жертвам Мировой войны. В Америке на призыв Горького откликнулся Гувер. Он сообщил, что ARA готова организовать поставку широкой продовольственной помощи в Россию – при определенных условиях. Первое условие: Советы должны освободить всех арестованных граждан США. Второе условие: Советы должны обеспечить бесплатную разгрузку пароходов с продовольствием и содействовать его доставке нуждающимся. Третье условие: все операции в России будут проводиться под руководством представителей ARA; им должна быть гарантирована личная неприкосновенность и возможность нанимать сотрудников из российского населения, причем ни один из них не должен подвергаться преследованиям, обыскам или арестам без согласия представителя ARA. Были также поставлены финансовые условия: советские власти должны внести в фонд помощи голодающим свою лепту.

Когда в Москву поступили эти условия, Ленин пришел в

ярость: «В.М.Молотову для Политбюро ЦК РКП(б). 11/VTII [1921]. Т. Молотов! Абсолютно необходимо назначить от Политбюро особую комиссию: Каменев, Троцкий, Молотов (с правом замены его Чичериным) для ежедневного *решения* вопросов, связанных с помощью голодающим Америкой и Лигой Наций[174]. Тут игра архисложная идет. Подлость Америки, Гувера и Совета Лиги Наций сугубая. Надо наказать Гувера, *публично* дать ему *пощечины*, чтобы *весь мир* видел, и Совету Лиги Наций тоже. Это сделать *очень трудно*, но сделать *надо*. *Я* не могу работать. Абсолютно необходима помощь Троцкого, у коего на эти вещи способность есть (и дипломатический опыт, и военный и политический нюх)»[175].

В тот же день – телефонограмма наркому иностранных дел Чичерину: «Прошу тотчас проголосовать в Политбюро по телефону. Эту мою записку *всем* показать и собрать голоса. <…> Скрытых интервенционистов надо *поймать* (Уншлихта[176] взять на помощь). Аппарат Компомощи подтянуть (если нет сил, *заимствовать* на 2 месяца у *военных)*. В ближайшие дни особенно важна коллегиальная работа, ибо политическая ответственность за это *труднейшее* дело *громадна*. *Ленин*. P.S. Нужны тонкие маневры. Ряд мер, особо строгих. Гувер и Браун наглецы и лгуны. Условия поставить *архистрогие:* за малейшее вмешательство во внутренние дела – высылка и арест»[177].

Похоже, что Политбюро проигнорировало эти инструкции, благо сам Ильич был болен и в заседаниях не участвовал. Замнаркома иностранных дел М.М.Литвинов получил указание быстро договориться с представителем АРА Брауном, приняв все условия. Советы внесли в фонд помощи голодающим 10 миллионов долларов – они пошли в основном на закупку сортовых семян для посева будущего года. Для этого им пришлось заметно подсократить свой золотой запас. Впрочем, он тут же был пополнен ограблением монастырей и храмов. Кампания по изъятию церковных ценностей для помощи голодающим была проведена с громким пропагандистским визгом, хотя, по призыву патриарха Тихона, церкви *добровольно* жертвовали ценности для помощи голодающим. В секретной записке тому же Молотову Ильич инструктировал его и всех членов Политбюро: «Именно теперь и только теперь, когда в голодных местностях едят людей и на дорогах валяются сотни, если не тысячи трупов, мы можем (и поэтому должны) провести изъятие церковных ценностей с самой бешеной и беспощадной энергией и не останавливаясь перед подавлением какого угодно сопротивления <…>. Чем большее число представителей реакционной буржуазии и реакционного духовенства удастся нам

по этому поводу расстрелять, тем лучше. Надо именно теперь проучить эту публику так, чтобы на несколько десятков лет ни о каком сопротивлении они не смели и думать»[178].

В такие «внутренние дела» Советской России *интервенционистская* организация Гувера вмешиваться не могла.

В Россию прибыло триста сотрудников АРА во главе с полковником Хаскеллом, обосновавшимся в Москве. В их числе – представители неправительственных организаций, в большинстве религиозных; их пожертвования составили львиную долю средств АРА[179]. Чекисты не спускали с американцев глаз. В секретных донесениях их характеризовали шпионами и диверсантами, преследующими подрывные цели, что, конечно, было абсурдно. Под их началом работало 10 тысяч советских граждан. Они отличались от основной массы населения тем, что были грамотны и хотя бы немного знали английский язык. Но они тоже находились *под колпаком* ГПУ, характеризовались как буржуи, дворяне, контрреволюционеры.

Революционные души чекистов порой не выдерживали; на сотрудников АРА налетали с обысками, кого-то арестовывали, срывая невероятно трудную работу. Это было прямым нарушением подписанного соглашения. Приходилось давать отпор вплоть до угрозы прекратить доставку продовольствия и уехать из России.

В наиболее дурацком положении оказался Максим Горький. Соглашение с АРА, которое он инициировал, развязало руки чекистам для ликвидации *Прокукиша.* Великий пролетарский писатель был плаксив. Размазывая слезы, он говорил, что впервые в жизни оказался в роли провокатора…

Находясь в Америке, Вавилов ничего этого не знал, да и в России мало кому была известна закулисная возня на большевистском Олимпе, окутанном панцирем секретности. Вавилов встретился с Гувером, когда деятельность АРА в России только начиналась. Гувер расспрашивал о положении

голодающих, о том, как лучше организовать помощь. В.Д.Есаков обнаружил в архиве записку Ячевского, в которой говорится, что Вавилов «в этом отношении сослужил русскому народу громадную службу, потому что он был в состоянии дать весьма ценные сведения. По своему положению и потому, что он прожил долгое время в голодных местах [в Поволжье], он мог осветить вопрос чрезвычайно хорошо и всесторонне, и в результате этого первого нашего разговора было то, что Гувер просил Н.И. находиться в постоянной связи с его организацией и давать все сведения, которые понадобятся»[180].

Вавилов консультирует закупки крупных партий сортовых семян; затем эту работу продолжит его представитель Д.Н.Бородин (о нем ниже). В чем конкретно она состояла, дает представление письмо Бородина Вавилову от 2 января 1922 г.: «Последние полмесяца я непрерывно работал над различными вопросами для Американской администрации помощи (ARA) и направил ряд данных по различным сортам семян, их процентному соотношению, средней площади голодающих областей, количеству зерна, выращенного в разных голодающих областях, т. д. Посылаю Вам несколько экземпляров этих документов, являющихся результатом выполненной работы. Во время поездки в Вашингтон я получил информацию о том, где можно закупить различные сорта семян для оказания помощи России. И хотя это не моя область работы, однако найти в Соединенных Штатах какую-либо другую организацию, располагающую полной информацией по данному вопросу, практически невозможно. Господин Рикард из АРА пригласил меня принять участие в работе одной из комиссий по оказанию помощи голодающим в России и заняться вопросом поставки в Россию семян»[181].

В Штатах Вавилов почти неожиданно столкнулся с мужем покойной сестры Лиды Николаем Макаровым. Он тоже был командирован в США Наркомземом – для изучения организации сельскохозяйственного производства в этой стране, – но добирался в Америку иным путем: через Дальний Восток и Тихий океан. О том, как проходило это путешествие, он, конечно, поведал Николаю Ивановичу. Его случайный попутчик Карл Кофод, датчанин, проживший полвека в России, вспоминал: «Как только поезд, в котором мы ехали, вынужден был останавливаться позади ряда поездов, которые застряли, мы шли к первому поезду, т. е. тому, который отойдет быстрее других, и ехали дальше в нем, пока и он не вынужден был остановиться позади других поездов. Тогда мы повторяли этот же маневр снова и т. д. Когда мы не могли попасть в желанный поезд, пока он стоял на станции, мы ведь могли идти по железнодорожной линии до первого подъема, а там брали его штурмом»[182].

В Нью-Йорке открывалась большая выставка «AMERICA MAKING», в ней были предусмотрены иностранные секции, в том числе русская. Комиссию по ее организации возглавлял Николай Макаров, художественным оформлением павильона руководил Николай Рерих. Он привлек к работе сотрудницу Американского музея естественной истории и аспирантку Колумбийского университета Аллу Кречман. Работа всех была высоко оценена,

русский павильон пользовался большим успехом, но главный результат сотрудничества оказался иным. 7 сентября 1921 года в Нью-Йорке состоялось бракосочетание Николая Макарова и Аллы Кречман. Свидетелями на церемонии были еще два Николая: Вавилов и Рерих.

Главное, что интересует Вавилова в Америке, это закупка маленькими порциями возможно большего разнообразия образцов культурных растений, возделываемых в США и собранных американскими путешественниками в экспедициях по всему свету. Они нужны для научной работы в Отделе прикладной ботаники и на опытных станциях.

Он пытается выяснить, чем руководствовались американские «охотники за растениями», выбирая маршруты своих путешествий. Этого понять он не мог. Он даже начал подозревать, что американцы засекретили свои теоретические построения. Но после многих бесед с ними убедился, что они… не задавались такими вопросами!

Вавилову поиск вслепую был неинтересен. Да и бедность разоренной России («в ее несчастье [ей] все сочувствуют, и никто не верит, что она погибнет») заставляла быть мудрым.

4.

В Нью-Йорке Вавилов посетил лабораторию Томаса Моргана в Колумбийском университете. Он пришел к Моргану спорить.

«Мне казалось маловероятным, – объяснял он впоследствии, – чтобы гены, как бусы, были расположены в хромосоме».

Морган выслушал его соображения с пониманием и сочувствием. Оказалось, что представление о том, что гены вытянуты в хромосоме в линеечку, ему самому не по душе. Он с радостью откажется от этой теории, если будет дано лучшее объяснение экспериментальных данных. Российскому гостю он предложил посидеть несколько дней с учениками в лаборатории, познакомиться с опытами, проанализировать документы построения хромосомной теории.

Ни о чем другом Вавилов и не мечтал.

Одной из главных заслуг Моргана было то, что он нашел удачный объект для генетических исследований: маленькую плодовую мушку дрозофилу, которая легко и быстро размножается, относительно часто подвержена наследственным изменениям – мутациям и содержит в своих клетках всего четыре пары хромосом.

Вавилов стал свидетелем того, как в бутылке с кусочком подпорченного банана, в которую помещали пару мух, через десять дней появлялось больше двухсот их детенышей. Сотрудники Моргана к тому времени уже исследовали триста поколений мух – столько поколений людей сменилось на Земле со времен зарождения цивилизации.

Еще в 1910 году Морган заметил, что обнаруженные им мутанты – мухи с белыми глазами – передают эту наследственную особенность странным образом.

При скрещивании уродцев-самцов с обычными красноглазыми самками всё потомство в первом поколении красноглазое, а во втором поколении белые глаза появлялись у одной четверти дрозофил, как и следовало по законам Менделя. Особенность же состояла в том, что белоглазыми были только самцы (половина всех самцов), тогда как у самок этот рецессивный признак не проявлялся. Поскольку уже было известно, что самцы получают от матери одну Х-хромосому (парную ей У-хромосому они получают от отца), то Морган заключил, что задаток окраски глаз находится в Х-хромосоме.

Затем Морган исследовал других мутантов – с неразвитыми крыльями, желтым тельцем, алыми глазами – и пришел к выводу, что задатки этих признаков тоже находятся в Х-хромосоме. Точно так же другие гены удавалось *поместить* в другие хромосомы.

В дальнейшем Морган обнаружил, что гены, которые должны быть в одной хромосоме, изредка оказываются в разных. Эта «странность» подтверждала открытие бельгийского ученого Янсенса, который установил, что при созревании половых клеток парные хромосомы, прежде чем разойтись в разные дочерние клетки, переплетаются друг с другом и иногда обмениваются участками. Кажущееся несоответствие экспериментальных данных хромосомной теории стало ее подтверждением.

Альфреду Стертеванту в 1910 году, когда Морган получил первые результаты, было восемнадцать лет, он был студентом второго курса. В лабораторию Моргана его привела… страсть к конному спорту. Он с детства увлекался скачками и знал родословные некоторых скаковых лошадей. Он прочитал статью Карла Пирсона, известного своим противостоянием менделизму, в которой доказывалось, что масти лошадей наследуются *не* по законам Менделя. Стертеванту показалось, что Пирсон ошибается. Перепроверяя себя, он собрал в библиотеках родословные многих скаковых лошадей, обработал эти данные и подготовил статью, в которой опровергал вывода Пирсона. Рукопись статьи он принес Моргану. Того поразила самостоятельность и зрелость научного мышления желторотого

юнца. Морган напечатал статью в «Биологическом бюллетене», а автора пригласил к себе в лабораторию – работать с дрозофилой.

Когда Морган установил, что при обмене участками хромосом разные пары генов расстаются друг с другом не с одинаковой частотой, Стертеванту пришло в голову, что, используя это явление, можно вычислить относительное расстояние между генами. Если гены расположены рядом, то вероятность, что разрыв хромосомы произойдет *между* ними, мала. Чем это расстояние больше, тем чаще должен происходить такой разрыв. Значит, по частоте расхождений двух генов, лежащих в одной хромосоме, можно судить о расстоянии между ними.

Стертевант приступил к опытам. Устанавливая, как часто у дрозофилы расходятся те или иные пары генов, он наносил их на диаграмму. Чем реже расхождение, тем ближе эти гены на диаграмме. Чтобы определить местонахождение очередного гена, не надо было устанавливать, как часто он расходится со всеми уже определенными генами, а только с двумя из них. Это ускоряло работу и, главное, позволяло теоретически рассчитать частоту расхождения с третьим, четвертым, пятым геном, а затем, сопоставив расчеты с данными опытов, проверить их правильность. Так постепенно была построена диаграмма, или, как ее потом назвали, карта всей Х-хромосомы.

Однокашник Стертеванта Кельвин Бриджес поступил к Моргану примерно в одно время со своим приятелем. Он устроился в лабораторию ради заработка, ему был поручен технический надзор за мухами. Но мухи пленили Бриджеса, постоянный уход за ними сделал его блестящим экспериментатором. В дальнейшем основную часть опытов Морган поручал ему.

В это время генетическими исследованиями заинтересовался студент Корнельского университета Герман Мёллер. Он не имел возможности ставить опыты с дрозофилами (с ними работали только в лаборатории Моргана) и стал математически разрабатывать варианты частоты обмена двух генов в зависимости от их взаимного расположения в хромосоме при разных мыслимых вариантах обмена участками хромосом. Когда он сравнил опытные данные Стертеванта со своими вычислениями, то оказалось, что они совпали с одним из вариантов: с тем, когда гены выстроены в линеечку. Так и возникла эта теория.

Мёллер, Стертевант, Бриджес построили карты остальных хромосом дрозофилы. Карты строились не на основании манипуляций с хромосомами, а лишь путем исследования

частоты расхождения наследственных признаков – по сложным системам скрещиваний, которые разрабатывал Мёллер. Теоретический расчет немного опережал эксперименты, но эксперименты всякий раз его подтверждали.

Это важное обстоятельство не мог не заметить Николай Вавилов. Оно убеждало, что американские ученые на верном пути.

Продолжая экспериментировать, Бриджес получал всё новые и новые мутации. Постепенно становилось все яснее, что каждый признак организма определяется не одним и не двумя-тремя генами, как думали раньше, а многими генами, и отдельные гены влияют на формирование разных признаков. Поколениями позднее изучение этих процессов на молекулярном уровне показало, что ген – это участок молекулы ДНК, отвечающий за формирование одного типа белковых молекул, а из белков формируются ткани и признаки. Сто лет назад о молекулярном изучении процессов жизнедеятельности не мечтали даже фантасты. О генах ничего не было известно; об их существовании догадывались по внешним признакам. В лаборатории Моргана постепенно выработалась точка зрения, что гены, взаимодействуя, в определенных условиях среды формируют признаки. Это было огромным шагом вперед.

Как далеко ушла генетика за двадцать лет, со времени переоткрытия законов Менделя!

Томас Морган, высокий, стройный, худощавый, медлительный в движениях, был спокойным, уравновешенным, несколько флегматичным джентльменом. Работа под его руководством велась неторопливо и методично, со стороны она казалась рутинной и скучной. Тем больше Вавилова поразил творческий подъем, с которым трудились его сотрудники. Обследуя тысячи и тысячи маленьких мушек, они вдохновлялись сознанием жизненной важности для человечества этих кропотливых исследований.

Приходилось соглашаться с воззрениями американских ученых. Что ж, Вавилов был рад, когда его убеждали. Через год, осмысливая то, что дала ему поездка в США, он писал Г.С.Зайцеву: «Самое интересное по существу, что есть для нашего брата в Америке, это крупная теоретическая работа

Моргана с цитологическим уклоном. По методике, в сущности, ничего особенного нет. Я провел три дня в лаборатории Моргана, но самые идеи, которые хорошо изложены в работах Моргана, представляют исключительный интерес»[183].

Важно не только то, что в лаборатории Моргана Вавилов окончательно убедился в правоте хромосомной теории. Для него,

может быть, главным было другое. Он еще раз увидел, насколько глубокий теоретический поиск, подтверждаемый фактами, плодотворнее простого накопления фактов, чем, по существу, исчерпывалась работа его коллег из Вашингтонского бюро растениеводства. Собирая по всему свету различные сорта и разновидности растений, они делали великое дело. Но чтобы экспедиции были осмысленными, чтобы маршруты их выбирались не вслепую, нужно было проникнуть в законы происхождения и эволюции культурных растений, а к этому они были равнодушны.

5.

В Соединенных Штатах Вавилов провел три месяца, и каждый день почти физически ощущал, как быстро тает этот срок. Думал о том, как закрепиться в Америке, то есть обеспечить поставку семян и литературы после своего отъезда. Конечно, он завел связи, заручился обещаниями продолжать контакты, но этого было недостаточно.

В городке Фарго, штат Северная Дакота, где Вавилов знакомился с работами семеноводческой станции местного сельскохозяйственного колледжа, ее руководитель Генри Болли, профессор Дакотского университета, передал ему письмо от неведомого Дмитрия Николаевича Бородина. В письме предлагалось организовать «трансплантацию американских культурных и диких растений в Россию».

Через несколько дней Николай Иванович был в Калифорнии. На письмо Бородина он еще не ответил и вдруг столкнулся с ним в университете Беркли, на кафедре генетики профессора Эрнста Бэбкока. Бородину он сказал:

– Записку получил. Слово трансплантация нужно заменить словом интродукция. Идея правильна. Предложение принимаю. Подробности вечером.

Письмо Н.И.Вавилова Г.С.Зайцеву от 28Л1.1922. Копия в архиве автора.

Тем же вечером, 20 сентября 1921 года, между ними был «заключен письменный договор об организации мною интродукции культурных и диких растений из Нового Света в Россию»[184].

Бородин был растениеводом и энтомологом, окончил Петроградский университет, работал на Полтавской опытной станции у Сергея Федоровича Третьякова, которого Вавилов высоко ценил со времени своей студенческой практики. В США Бородин приехал осенью 1918 года. Бежал ли он от большевиков,

или был ими командирован, мне выяснить не удалось. Возвращаться в Россию Бородин не собирался, но поработать для нее был не прочь. Энергичный, инициативный, профессионально подкованный, уверенный в себе, он производил впечатление человека, знающего в Америке все ходы и выходы.

Составленный наскоро договор юридической силы не имел: у Вавилова не было таких полномочий. Но соглашение было полезно для дела. Николай Иванович без колебаний его подписал и снабдил Бородина финансами на первое время – из тех сумм, что ему были выданы на командировку. Бородин стал главой Нью-Йоркского отделения Отдела прикладной ботаники.

Он должен был отслеживать всё новое в ботанической и агрономической науке Соединенных Штатов, поддерживать и расширять связи с учеными, закупать и отправлять в Россию семенной материал, литературу, оборудование.

Забегая вперед, скажем, что деятельность Бородина на протяжении ряда лет была очень плодотворна, но самого Дмитрия Николаевича она не удовлетворяла. Свои задачи и цели он видел не такими, какие ставил Вавилов. Многое осложнялось особенностями характера Дмитрия Николаевича. Ему всюду мерещились враги, конкуренты, стремившиеся его обделить, ущемить, обойти. Он платил им тем же, из-за чего возникали болезненные конфликты; сведения о них доходили до Москвы, вызывали раздражение в Наркомземе. Это грозило самому существованию Нью-Йоркского отделения: ведь средства на него каждый год надо было заново пробивать. Николай Иванович защищал Бородина в Наркомземе, сглаживал острые углы и в то же время старался деликатно, но настойчиво умерять его аппетиты. Для этого требовалась бездна такта, терпения. Извивы их отношений рельефно отображены в обширной переписке. Вот отрывок из большого письма Вавилова от 3 февраля 1924 года: «Поменьше теребите НКЗ, это нервирует, и так как есть некоторые, как Вам известно, “данные”, то это особенно невыгодно. Мне не хочется писать на эту тему подробнее Вам, но то, что было год назад, снова почему-то всплыло: боюсь, что благодаря Вашей шумливости, резкости и некоторой грубости»[185].

Сотрудничество с годами становилось более трудным и менее продуктивным. Бородин все небрежнее относился к запросам Вавилова, так что их приходилось по нескольку раз повторять, и в конце концов вышел из-под его опеки: стал-таки представителем НКЗ. При очередной реорганизации его Бюро было снято с баланса, как и предсказывал Вавилов.

Оставшись не у дел, Дмитрий Николаевич брался за одно,

другое, третье.

Вдруг обратился к Вавилову с просьбой дать рекомендации для работы у Т.Г.Моргана в Калтехе или у Э.М.Иста в Гарвардском университете. Николай Иванович долго не отвечал, а получив повторный запрос, вежливо отказал. Письмо очень характерно для стиля Вавилова. Его доброжелательность к людям никогда не переходила в бесхребетность.

29 апреля 1929 г., Д.Н.Бородину: «Рекомендацию не писал, просто думая, что она не имеет никакого значения для Вас, ибо Вы сами можете дать кому угодно рекомендацию, зная всех и всё, и можете сами великолепно ко всем непосредственно обратиться. Мое значение Вы, несомненно, преувеличиваете, в особенности за границей. Мы только начинаем работать, и люди скромные. <… > Вообще, сколько мне известно, Морган довольно замкнут. В биологической литературе он прекрасно информирован, так как связан со всеми генетиками мира. Думаю, что Вы сгоряча захотели у него работать. Сам он уже старик. Если идти к нему работать, то надо всё остальное оставить.

Ист, насколько я его знаю, человек очень угрюмый, мальтузианец, прекрасный, конечно, ученый. Знаю я его очень мало, видел его в жизни полчаса, и того меньше. <…> Словом, не писал Вам рекомендации, да, по совести говоря и откровенно, у меня не было уверенности, что Вы действительно сможете да и захотите отойти от всего и уйти нацело в узкую научную работу монастырского типа. Лаборатории Моргана и Иста – это монастыри, и идти туда нужно монашески настроенным. До сих пор, по-моему, у Вас монашеского настроения не было, и оно не очень свойственно Вашей натуре. Если же, паче чаяния, оно снизойдет на Вас, то Вы и без всяких наших рекомендаций будете приняты иноком в любую обитель. Смущать же монастыри не монахам не стоит, иначе они выйдут из баланса. Литературой мы Вас снабжаем аккуратно, и так будет и впредь»[186].

Появление Бородина в лаборатории Моргана оставило след в переписке Феодосия Добржанского, который в то время работал у Моргана. Добржанский писал в Ленинград своему учителю Ю.А.Филипченко: «Из новостей наших отмечу одну крайне неприятную. Появился тут Бородин, и Морган имел неосторожность разрешить ему два месяца работать в качестве гостя. Надо Вам сказать, что этот Бородин – тип весьма гнусный во всех отношениях. Некоторые называют его прямо жуликом. Он собирается работать с митогенетическими лучами, но ему не лучи нужны, а нужны деньги. Соседство с этим типом крайне отвратительно, и вряд ли знакомство с ним послужит к повышению мнения о русских. Хуже всего то, что он все время

играет роль моего приятеля и гостя. Так что я счел нужным прямо сказать Моргану, что я ни в коем случае его не рекомендую и за его деятельность не отвечаю. В общем, черт бы его взял»[187].

Черт Бородина не взял, а сам он – за что только не брался!

Решил заняться пропагандой русской науки в Америке и засыпал Вавилова требованиями присылать фотографии и биографические очерки о русских ученых. Это в разгар сплошной коллективизации, пустившей сельское хозяйство страны под откос, откуда его должна была вытягивать наука.

Первые два письма Вавилов оставил без ответа, а в ответ на третье написал:

30 мая 1930 г., Д.Н.Бородину: «Заняты мы, как черти, с раннего утра и до поздней ночи. Имейте в виду, что в сельском хозяйстве происходит революция, и мы в ней принимаем самое непосредственное участие, и поэтому не до биографий и не до портретов, но все же будем иметь в виду Ваши пожелания, а Вы будьте немножко скромнее»[188].

После этого Бородин надолго замолчал, но не угомонился. Весьма любопытен коротенький запрос Вавилову из Австралии от 12 января 1933 года: «Уважаемый доктор Вавилов. Был бы рад, если бы Вы любезно согласились выслать мне описание всех подробностей последнего открытия доктора Д.Н.Бородина, касающегося яровизации семян»[189].

Вавилов ответил, что Бородин не имеет отношения к методу яровизации, он, вероятно, лишь изложил в какой-то статье работы Т.Д.Лысенко. Однако в конце года пришло письмо от самого Дмитрия Николаевича (от 4 октября 1933 г.). Он торжествующе сообщал, что успешно яровизировал 31 сорт озимого овса и 16 сортов озимого ячменя. Он, оказывается, вел опыты по яровизации в Арлингтоне, штат Вирджиния, и в Абердине, штат Айдахо.

Таково последнее из писем Бородина Вавилову, во всяком случае, из тех, что обнаружены и опубликованы. Зная о роковой роли советского «яровизатора» в судьбе Вавилова, в этом финальном сообщении Бородина трудно не усмотреть горького символа.

Но расхождения выплывут много позднее. А пока было важно то, что, покидая Новый Свет, Николай Иванович оставлял в нем своего представителя…

6.

На обратном пути Вавилов остановился в Европе, прежде

всего – в Англии. В Оксфордском университете посетил профессора Хаксли, к которому имел рекомендательное письмо Томаса Моргана: «Я уверен, что Вы получите огромное удовольствие от встречи с профессором Вавиловым»[190].

«Был три дня у Бэтсона. Перетолковали обо всем. Целый вечер толковали об эволюции. Пожалуй, это было наиболее существенное за всю поездку.

Был у Персиваля. Видел абиссинские пшеницы и надеюсь получить около 200 афганских, испанских и португальских пшениц. Если всё, что собираю, дойдет, пожалуй, наша коллекция будет лучшей в мире. <…> Поездка в Африку становится неизбежной. Книга Персиваля, пожалуй, самое лучшее, что привезу»[191].

Его программа пребывания в Западной Европе, как всегда, обширна, насыщена и – с позиций здравого смысла – невыполнима. Дороги и транспортные средства здесь великолепны, территория невелика. Но она изрезана государственными границами. А у Вавилова – *молоткастый, серпастый советский паспорт!* В посольствах и консульствах он мгновенно стирает с лиц приветливые улыбки; чиновники становятся сухими, строгими, подозрительными. Как не вспомнить слова поэта – те самые, что поколения советских школьников заучивали наизусть. Они звучали с концертных эстрад, по радио, телевидению, их исполняли самые яркие чтецы-декламаторы. Я как сейчас слышу их громовые голоса, эффектно модулируемые интонации:

«И вдруг,/ как будто ожогом,/ рот/ скривило господину./ Это/ господин чиновник берет/ мою/ краснокожую паспортину./ Берет – как бомбу,/ берет – как ежа,/ как бритву обоюдоострую,/ берет,/как гремучую/ в 20 жал/ змею двухметроворостую».

Чтецы озвучивали громокипящие вирши с пафосом и патриотической гордостью: знай наших! Для Вавилова краснокожая паспортина была проклятьем.

«Я сожалею, что не взял официального письма Департамента земледелия в Европу. Даже стоящим вне политики русским ученым очень трудно получать визы для европейских стран. Нам нужно было всего собрать 11 виз. Даже для того, чтобы проехать транзитом из России в Германию, необходимо иметь все транзитные визы. Официальное представление из Департамента земледелия было бы для нас большим подспорьем. Тем не менее, мы уже получили 7 виз. Еще осталось выправить нидерландские и шведские визы, я надеюсь, по крайней мере, получить шведскую»[192].

Он получил и шведскую, и нидерландскую.

О его передвижениях дают представление строки из того же письма, в которых он сообщает, куда и когда следует ему писать.

«Моя программа пребывания на ближайшие недели такова:

с 15 по 31 декабря – Берлин, до востребования;

с 1 по 7 января – Стокгольм, до востребования;

с 8 по 11 января – Рига, до востребования;

20 января я надеюсь вернуться в Петроград.

Мое пребывание в Англии оказалось столь же успешным, как и в Америке. А.А.Ячевский – в Париже. Я буду там на следующей неделе, но всего на несколько дней»[193].

21 декабря, Кельн, Е.И.Барулиной: «Вот и Кёльнский собор, позади Америка, Англия, Франция, Бельгия. Скорее надо в Питер, хочется скорее взяться за ряды, системы, починить полевые культуры юго-востока, проблем без конца. Надо бы повидать Baur'a, Correns'a, Lotsy, de Vries'a, Nilsson'a Ehle, Iohannsen'a. Не знаю, удастся ли всех. Визы даются нелегко. Боюсь, что год этот слишком труден в России. Скорее надо на выручку».

Трудно установить, всех ли названных ученых Вавилов сумел повидать. Наверняка видел Баура и Корренса; о встрече с Гуго де Фризом написал: «Сегодня был с визитом у де Фриза. Живет он верстах в 40 от Амстердама в хорошенькой голландской деревушке, где построил свою лабораторию, вегетационный домик. Словом, живет в самых идеальных условиях, вдали от города, среди зелени, книг. Был он, как и полагается де Фризам, исключительно внимателен и добр, и, конечно, я в восторге. Lady de Vries была также очень добра. Она сказала мне, что она послала уже через Нансена пакет в Россию[194]. Подарил мне де Фриз 4-лепестковый клевер. В Голландии это символ счастья, как у нас махровая сирень».

Вавилов очаровал семью Гуго де Фриза. Отношения установились не только деловые, но и личные. Высылая в Петроград семена культур, о которых просил Вавилов, де Фриз присовокупил гибридные семена подорожника и энотеры; советовал, не дожидаясь весны, посеять их в теплице, а потом уже высадить в открытый грунт. Просил прислать семейные фотографии, которые у него в доме сделал Вавилов, особенно снимок его маленького внука. «Более того, мы были бы Вам очень благодарны, если бы Вы могли подарить нам свою фотографию. Нам приятно вспомнить Ваш визит и Ваш интерес ко всему окружающему и послать Вам наилучшие пожелания»[195].

Не менее интересной и полезной была встреча со шведским генетиком и селекционером Нильсоном-Эле. Скромная, почти аскетическая обстановка, в которой ученый жил и работал,

контрастировала с размахом его исследований, глубиной теоретического мышления, «умением проникать в суть явлений». Сорта пшеницы, выведенные Нильсоном-Эле, по урожайности в полтора раза превышали местные сорта. Таков был результат планомерной работы, базировавшейся на законах генетики.

Желая выслушать критику Нильсона-Эле, Вавилов изложил ему свои взгляды на селекционную работу в России. Разгорелся спор. Подводя итог этой встрече, Вавилов писал: «Проблем перед Россией больше, чем перед Швецией. Генетиков же еще меньше, чем в Швеции. Надо закаливать себя, вооружиться с ног до головы и суметь сделать то, что кажется таким нужным и для России и, пожалуй, для всего мира. Итак (это адресуется всем), вооружайтесь языками, знанием литературы, строгой критикой к самим себе и другим. Поведем штурм».

И в другом письме: «Но сила еще есть, есть дерзость, сознание возможности борьбы и победы. В целом перед нами всеми – огромные, интересные, нужные России и всему миру задания. Бродя по свету, и обходя весь мир (по самым вершинам), и критикуя самого себя и свою работу – привезу уверенность пути. Год отчаянно трудный, стиснув зубы, не обращая внимания на вьюгу, попробуем держаться прямого пути».

Вавилов вернулся в Петроград не в январе 1922 года, как планировал, а в конце марта, и его письма сразу же стали походить на «рапорты с поля сражения». Так их воспринимал Д.Н.Бородин, а Вавилов ему пояснял: «Здесь почти каждую неделю приходится иметь дело с фронтами. Сейчас ведем фронт по линии получения здания с маленьким участком под Центральную опытную станцию. О результатах боев уведомлю в свое время»[196].

Время собирать камни

1.

Центральная опытная станция Отдела прикладной ботаники располагалась в Детском Селе (бывшем Царском). Как помнит читатель, в декабре 1920 года вавиловскому Отделу была предоставлена бывшая усадьба великого князя Бориса Владимировича. Эта усадьба и земельный участок, как мы помним, сильно содействовали тому, что Вавилов принял окончательное решение – переезжать в Петроград и взять на себя руководство Отделом прикладной ботаники.

Однако бывшая резиденция великого князя не пустовала: ее *прихватизировал* Наркомат просвещения. «В течение четырех последних лет основные здания были заняты товарищами», – с ядовитой иронией писал Вавилов Бэтсону[197]. На то, что усадьба официально передана Отделу прикладной ботаники, «товарищам» было наплевать. Бои приняли затяжной характер. В конце концов «товарищи» согласились очистить помещение, потребовав отступные – миллиард тогдашних рублей! Вавилов сам не понимал, как сумел достать эту сумму (сумма, впрочем, по тем временам была умеренная: тысячи рублей соответствовали дореволюционным копейкам).

Не менее срочной и важной была битва за легализацию Нью-Йоркского отделения. Вавилов еще был в Западной Европе, когда Бородин стал бомбардировать его сообщениями, что оставленные ему деньги иссякают, он должен будет прекратить операции. Вернувшись в Питер и едва распаковав чемоданы, Вавилов едет в Москву К счастью, к его американской поездке здесь большой интерес. Он выступает с докладами в Наркомземе, в Петровке, в разных научных и хозяйственных организациях. И не упускает случая рассказать о созданном им Нью-Йоркском отделении, подчеркнуть важность и полезность того, что им уже сделано и будет сделано в ближайшее время. Рассказать было о чем, ибо от Бородина шли грузы с семенами, литературой, оборудованием. Вавилов мог с чистой совестью говорить и писать: «Нью-Йоркское отделение оправдало блестяще свое существование. Им собрано со всех штатов Америки и частью из других стран огромное количество сортов растений и переслано в Россию, собрана огромная литература со всех опытных станций, установлено общение не только с Соединенными Штатами и Канадой, но и с другими странами. В полном смысле слова оно сыграло роль для

русских опытных и сельскохозяйственных учреждений окна в мир»[198].

Союзником Вавилова в Наркомземе стал начальник Отдела защиты растений (ОЗР) Алексей Митрофанович Пантелеев. Пантелеев был сыном генерала, поступил в Петровку после окончания Кадетского корпуса – в том же 1906 году, что и Николай Вавилов, так что они были дружны со студенческих лет[199]. В бюрократической неразберихе того «исторического момента», при тотальном безденежье, на балансе ОЗР оказались избыточные валютные средства, и Пантелеев охотно предоставил их для Нью-Йоркского отделения. 19 апреля Николай Иванович сообщал Бородину еще об одном выигранном сражении: «Я уже писал и телеграфировал Вам о том, что удалось закрепить Нью-Йоркское отделение прикладной ботаники на весь 1922 год из кредитов Наркомзема в сумме 26 тысяч золотых рублей. Эта сумма сравнительно большая, больше той, которую мы с Вами намечали в Нью-Йорке, и ее с избытком должно хватить на Ваши поездки в Аляску, Канаду, Перу, Чили и Москву. Одним словом, Вы счастливейший человек из смертных»[200].

Правда, он тут же предостерегал от «головокружения от успехов», напоминая, что счастье бывает обманчиво и недолговечно: «Я не могу Вам при настоящих условиях гарантировать прочное существование Нью-Йоркского отделения и на 1923 год. Финансовое положение в России отчаянное, и возможно, что с июня-июля месяца большая часть казенных учреждений будет ликвидирована. Это обстоятельство учитывайте во всех Ваших построениях»[201].

Ситуация менялась быстро, и 13 августа Вавилов уже писал, что вводит Нью-Йоркское отделение в смету на 1923 год, «но условие, без которого не соглашусь проводить смету, – “Полевые культуры Северной Америки”. Это книга, которая совершенно необходима и которая пополнит Вашу работу по интродукции»[202].

В полушутливой угрозе коренилось то, что больше всего их разделяло.

Написав книгу «Полевые культуры юго-востока», Вавилов замыслил привлечь широкий круг ботаников и растениеводов для подготовки серии таких книг – по другим сельскохозяйственным регионам России, а в перспективе и всего земного шара[203]. При первой же встрече он предложил Бородину подготовить книгу о полевых культурах Соединенных Штатов и Канады. Это задание он считал наиболее важным и не уставал напоминать о нем. Бородин был ошеломлен такой системой приоритетов. Позднее он писал:

«После года жизни в Америке на меня при свидании с Вами сильно подействовали следующие факты: Ваше предложение писать книгу о полевых культурах в первую очередь. Книга как самоцель перестала для меня быть понятной. Книга нужна из-за сведений; сведения нужны для дела… какого? Утилизации в России сортового состава, методики культуры и т. п. в С[оединенных] Ш[татах]. Люди смертны, и поэтому лишь нужна книга для распространения знания. Всё это нужно дать, но в обратном порядке: 1 – семена, 2 – всё остальное; организацию и дело здесь ставят перед книгой, а книгу после! Это одно обстоятельство на фоне американской жизни и практики, совершенно ошеломило меня в Berkley College][204], и я даже не мог опомниться от изумления перед образом мысли европейца и русского»[205].

Книги от Бородина Вавилов не дождался, но в смету на 1923 год Нью-Йоркское отделение, конечно, включил.

Сбор семян малыми порциями в возможно большем ассортименте, на что его ориентировал Вавилов, тоже был ему не по нраву. Он предпочел бы закупать небольшое число лучших сортов в таком количестве, чтобы завалить ими Россию. Бравируя своим *американским прагматизмом*, он призывал Вавилова «превратить все опытные станции в семенные хозяйства». Он не учитывал простого обстоятельства: «лучшие» сорта являются лучшими в определенных почвенно-климатических условиях – там, где они прошли сравнительные сортоиспытания и вышли из них победителями. Как они поведут себя в различных регионах России, заранее знать было нельзя, но разумно было предполагать, что в большинстве мест они себя поведут *хуже* местных сортов. Их можно и нужно изучать на опытных делянках, использовать для скрещиваний, но для этого требовались горстки семян, а не тонны. В 1922 году их завозили тоннами в районы, пораженные голодом, из-за чрезвычайности ситуации. Этим занималась АРА в сотрудничестве с Наркомземом и Внешторгом. Им нужны были консультации специалистов, таких как Д.Н.Бородин, но он не хотел этим ограничиваться. Он хотел лично участвовать в многомиллионных поставках и втолковывал лишенному *американского прагматизма* Вавилову, что заказать горсть семян какого-то сорта столь же трудоемко, как заказать целые вагоны. Вавилов деликатно его осаживал.

«Вы непрямо намекаете, что нужно делать что-либо одно и служить либо Богу, либо Мамоне, – писал ему обиженный Бородин. – Если под Богом Вы разумеете чистую науку а под Мамоной практику из нее выходящую, то мы с Вами сильно расходимся теперь во взглядах, и Америка дала мне то, что

Россия не могла дать нам обоим»[206].

«Непрактичный» Вавилов стоял на своем: научное учреждение проводит исследования, а не коммерческие операции. Бородин искренне недоумевал: как же так! Они дают рекомендации, то есть определяют, какие сорта и в каком количестве закупать, а поставками семян на миллионы долларов занимается кто-то другой! Разве можно так обделять себя! Вавилов витает в облаках, он лишен американской деловитости, в коей Бородин считал себя поднаторевшим. Пытаясь спустить Николая Ивановича на землю, он не жалел красноречия: «Что размножение и распределение новых культур нужно – Вы не сомневаетесь, но дело это своим не считаете. Выйдет, что прилив средств останется в сфере Кº и институтов, а мы с Вами будем водовозными клячами, трудами коих будут пользоваться все, кто предусмотрительнее. Я представлял себе, что Вы будете диктовать, что делать и как делать, и будете вводить новые культуры, и это меня интересовало, а выходит, мы на второе место сдвигаемся. Досадно, my dear! Представить себе не можете, насколько эта русская психология досадна. <…> Отдавать кому-то в руки то, что принадлежит Вам как руководителю и инициатору, совершенно нерационально, с моей точки зрения. <…> Идеи, посеянные нами, растут – это приятно слышать, но если другие считают себя более подходящими для их выполнения и Вы соглашаетесь, то это “хуже”. Ну да к черту!»[207]

2.

Американский прагматизм Бородина, которым он козырял, был мнимым. Прагматиком был Вавилов. В «боевой обстановке», которая становилась все более острой, он неуклонно продвигал научную работу – свою собственную и всего Отдела прикладной ботаники. В Отдел широким потоком стекался семенной материал со всего света – тысячи разновидностей и сортов. Его надо было систематизировать, рассылать по опытным станциям, испытывать в оранжереях и на опытных делянках. Участок земли, отведенный Отделу прикладной ботаники, оказался заболоченным – его надо было дренировать. Другой участок был целинным. Всё это надо было приводить в порядок, готовить к посевам – при тотальной нехватке рабочей силы, лошадей, денег, чтобы их нанять. Письма Вавилова продолжали походить на рапорты о сражениях.

22 мая 1922 г., в Опытный отдел Наркомзема, Р.К.Эглиту: «Положение работы нашей никогда не было столь тягостным и

неопределенным. Мы совершенно не получаем средств ни для содержания служащих, ни для операционных расходов. Для поддержания в течение весеннего времени работ пришлось продать часть инвентаря и семян, имевшихся в нашем распоряжении. Несмотря на полную готовность всех служащих потерпеть, довольствоваться самым ничтожным, создается совершенно невозможное положение. Пайки приходят с опозданием на целый месяц, и, как Вы и сами прекрасно знаете, они, кроме того, не настолько существенны, чтобы на них можно было существовать. Жалованье служащие не получают два месяца <…>. Положение катастрофическое».

22 мая, в Опытный отдел Наркомзема, П.Г.Орлову: «Уже три раза телеграфировал я в Опытный отдел о катастрофическом положении с финансами. Прибегаю к последнему средству: посылаю специально нашего сотрудника К.П.Топоркова за получением денег в Москву. <…> Весна в нынешнем году здесь поздняя, только-только приступаем к посевам, но как справимся с полкой, с уходом за оранжереями (в нынешнем году в оранжереях высеяна огромная коллекция, более десяти тысяч горшков разных сортов полевых и огородных растений, полученных из-за границы), неизвестно. <…> Сокращаю до минимума работу, тем не менее Отдел прикладной ботаники по самому существу своей работы остается крупным коллективом. Для того, чтобы серьезно вести работу с тысячами сортов, для того, чтобы вести исследования возделываемых растений России, необходимо хотя бы по два лица на каждую культуру, необходимы высевы огромного числа образцов. Это кропотливая и дорогая работа, и для того, чтобы вести ее в достойном для Отдела виде, нужны средства».

3 июня, Д.Н.Бородину: «Телеграмму получил относительно желания американцев участвовать в нашей выставке. Отвечаю письмом, а не телеграммой, так как нет денег для посылки телеграммы в Америку. Отделение в Нью-Йорке в сто раз, вероятно, богаче основного Отдела прикладной ботаники. Четвертый месяц служащие не получают жалованья, и самым серьезным образом не каждый день в кассе имеются деньги на марки»[208].

17 июня, П.В.Кисслякову, Ставрополь: «Программа старая, с длительными стационарными наблюдениями, конечно, не по сезону. Нужна более реальная и быстрая работа с агрономическим уклоном. <…> Финансовое положение в Петрограде так же, как и везде, конечно, исключительно трудное. Не далее как сегодня не хватило средств на уплату марок на заказные письма. Думаю, что это преходяще, но, конечно,

перспективы ближайших месяцев не из радостных. Мы, во всяком случае, не отчаиваемся, продолжаем вести свою работу, налаживаем Отдел и станцию. На всех опытных станциях произведены опытные посевы вплоть до Туркестанского отделения. Получили из-за границы огромную ботаническую литературу – до 7000 названий, тысячи образцов семян, включая кормовые и луговые, и, думаю, как-нибудь проживем ближайшие трудные месяцы».

17 июня, К.И.Пангало, Ташкент: «Было бы чрезвычайно важно составить для Туркестана нечто вроде книги “Полевые и огородные культуры Туркестана” с описанием сортов, самих культур, их особенностей. <…> Писарев составляет такую работу для Восточной Сибири, Таланов – для Западной Сибири, Я куш кин а – для Крыма».

20 июня, Д.Н.Бородину: «Получил Ваше письмо относительно Мюллера [Герман Мёллер] и Альденберга. С [Л.С.] Бергом мы сегодня приступили к хлопотам. Как и предполагал, дело не очень простое. <…> Я постараюсь сделать всё, что смогу. <…> Я не уверен, что на отправку этого письма у нас хватит средств, и пишу это Вам самым серьезным образом. Мы, конечно, продолжаем и будем продолжать пока

свою работу, и, конечно, если приедут американцы, можно и им доказать, что мы еще окончательно не сдохли и что мы надеемся, что через несколько лет мы еще расцветем <…>. Недели через полторы, если будут деньги, отправлюсь в Москву хлопотать о средствах на Опытную станцию, и, может быть, из этого что-нибудь и выйдет»[209].

23 июня, Н.Д.Бородину: «Еду через два дня в Москву и Воронежскую губернию для того, чтобы наладить нашу степную станцию и с осени нынешнего года и весны будущего начать в большом масштабе испытывать американские материалы. Пробуду около трех недель в путешествии. Здесь мы заняты внутренними делами. Идет усиленное сокращение учреждений и штатов и попытка наладить финансовую систему. Сокращена эмиссия [бумажных денег]. В результате с февраля без жалования, но цены как будто на всё начинают падать. Всё поглощено этой внутренней перегруппировкой. Это касается и других ведомств, но в особенности Наркомзема, который хочет перенести большую часть даже своих опытных учреждений на самоснабжение»[210].

28 июня, в Опытный отдел Наркомзема, Москва: «Часть грузов пришла из Ревеля в Петроград и не может быть из-за отсутствия средств выкуплена и вывезена из таможни».

8 августа, представителю Внешторга Данцову, Берлин: «В

январе-феврале текущего] года мною во время пребывания в Берлине было заказано на средства Наркомзема большое число книг для Бюро прикладной ботаники Сельскохозяйственного Ученого комитета, для Петровской академии и для ряда опытных станций. <…> До настоящего времени книги не получены. Прошло уже более 7 месяцев со дня заказа. <…> Нет никаких уведомлений, ни объяснений относительно этой задержки. То отрицательное отношение, которое у каждого, имеющего дело с Внешторгом, невольно возникает, в полной мере подтвердилось в моем личном опыте передачи заказов Внешторгу и в Ваше научное отделение. <…> Деньги давным-давно были переведены, и дело совершенно не в финансовой стороне, а в чем-то другом»[211].

13 августа, В.В. Таланову: «Я забыл об очень существенном договориться с Вами в Москве. <…> Мы сейчас задумали в Отделе попытаться ввести некоторую планомерность в испытание сортов по районам <…>. Поэтому очень прошу Вас прислать копию списка того материала, который Вы рассылаете, и копию областей и учреждений, которым будет разослано. <…> Имеем в виду приступить к сводке вообще сортоиспытания в Европейской и Азиатской России для разных растений, и тот опыт, который теперь по Вашему почину пойдет в широком масштабе, конечно, нужно захватить в самом начале. Мне кажется, что Вам это предложение будет сильно по душе, и поэтому очень прошу Вас помочь в этом».

13 августа, Д.Н.Бородину: «Большая просьба к Вам, если позволяют ресурсы, выслать посылки[212]. Первые три: на мое имя, на имя Чинго-Чингаса и Якушкиной – получены. Пошлите на этот раз по нашему адресу следующим сотрудникам:

1) Виктору Евграфовичу Писареву,
2) Кириллу Наумовичу Ткачуку,
3) Константину Андреевичу Флаксбергеру,
4) Надежде Максимилиановне Шаллерт,
5) Елене Ивановне Барулиной.

Очень прошу об этом. <…> Наше финансовое положение исключительно трудное. Хотят будто [бы] уладить его в октябре; деньги уже отчасти стабилизируются»[213].

3.

15 августа 1922 г., Полпредство РСФСР, Берлин: «Профессор Мюллер [Мёллер] известен своими работами в области изучения наследственности животных. Проф. Мюллер является

беспартийным, совершенно аполитичным научным работником, и его приезд в Россию преследует исключительно научные цели. Прошу Миссию оказать содействие проф. Мюллеру с получением виз для въезда в Россию на срок 2–3 недели и беру на себя поручительство за проф. Мюллера. К этому должен добавить, что в последнюю поездку русских профессоров в Америку, Ячевского и Вавилова, им был оказан исключительно радушный прием»[214].

Когда Вавилов в Нью-Йорке знакомился с лабораторией Томаса Моргана, Мёллер в ней уже не работал. У него была своя лаборатория в Институте Карнеги, в том же Нью-Йорке, в районе Лонг-Айленд. Вавилов навестил его, и Мёллер сразу же покорил гостя своим деятельным оптимизмом, бьющей через край энергией и верой в то, что в Советской России открываются огромные перспективы для научной работы по генетике. Беспартийный и аполитичный, Мёллер по своим взглядам был леваком, читал и почитал Маркса, капиталистический строй считал себя изжившим. Он загорелся желанием увидеть Страну Советов. По ходатайству Вавилова виза ему была дана.

Мёллер привез в Москву коллекцию дрозофил, включая мутантные линии, которые культивировались в лаборатории Моргана и его собственной. Он их подарил Институту экспериментальной биологии, что значительно продвинуло работу русских генетиков по развитию хромосомной теории наследственности. У него сложились дружеские отношения с директором института Н.К.Кольцовым и его ведущими сотрудниками С.С.Четвериковым, А.С.Серебровским и другими. Он выступил на собрании, посвященном столетнему юбилею Менделя.

Из Москвы Мёллер приехал в Петроград и здесь был окутан вниманием и гостеприимством Вавилова. Николай Иванович знакомил его с работами Отдела прикладной ботаники, с другими учреждениями, с планами на будущее. Просил взять с собой посылки с семенами памирской пшеницы и турецкого ячменя, чтобы передать одну из них в Берлине профессору Эрвину Бауру, а остальные – американским агроботаникам.

29 августа, Д.Н.Бородину: «Два дня у меня был м-р Мюллер, помогли ему как могли, сегодня он оправляется в Гамбург.

<…> Пожалуйста, пришлите, если можно, штук 6—10 обыкновенных ручек с чернилами, какие Вы мне покупали перед отъездом. Они очень нужны, а также для каждой ручки по одному флакону чернил, так как чернил здесь не имеется. В Германии они стоят не дешевле, и поэтому я жалею, что не закупил их в большом количестве в Америке. Если можно, пришлите даже дюжину»[215].

Чернил в Стране Советов не было, зато перспективы были блестящие. Мёллер уезжал в полной уверенности, что будущее принадлежит Советам…

4.

Постепенно тон писем Вавилова становился более спокойным, хотя они по-прежнему походили на боевые реляции:

21 августа 1922 г., Париж, Институт Пастера, С.И.Метальникову: «Трудно в особенности финансовое положение неустановившееся, но все же чувствуется перелом, и, по-видимому, в лучшую сторону. Приостановилось падение валюты, и деньги начинают иметь хоть какой-нибудь реальный смысл. С возобновлением частного издательства печатается больше книг. Нынешний год урожай – выше среднего, и, хотя, он, конечно, не покроет недосева, все же прекратит голод. Я только что объехал Воронежскую, Тамбовскую, Саратовскую и Новгородскую губернии, где у нас имеются свои станции, и в некоторых уездах урожай позволит стать на ноги хозяйству»[216].

25 сентября, Москва, П.Т.Клоткову: «Закуплены химические реактивы в большом количестве за границей, огромное количество посуды, весов аналитических, термостатов и т. д. Я не сомневаюсь, что через 2–3 месяца работу можно будет пустить полным ходом. Главное наше желание – наладить анализы культурных растений в географическом масштабе, провести исследования для главнейших растений поширотно и померидианно. В настоящее время организуем 12 пунктов посевов в Европейской и Азиатской России (Новгородская губ., Вологодская, Петроградская, Московская, Харьковская, Саратовская, Екатеринославская, Тифлисская, Воронежская, Ташкент, Восточная Сибирь), и одни и те же чистые линии будут высеваться во всех пунктах ежегодно. Нас эти посевы интересуют с разных сторон в смысле выяснения периода вегетации, морфологических особенностей, и нужно наладить широкое химическое исследование этих сортов. <…> Вместе с химией у нас ведут исследования мукомольных и хлебопекарных качеств хлебов, которыми ведает К.М.Чинго-Чингас».

Сентябрь 1922 г., Наркомзем, С.К.Чаянову: «Подготовляю статью о Мичурине, она уже почти готова. К осуществлению ее привлек нашего лучшего плодовода В.В.Пашкевича. Попытался составить полный перечень статей, написанных Мичуриным, набрал их пока 65, но не уверен, насколько полон этот список. Написал письмо Мичурину. В московских, “Известиях” меня тут

на днях выругал кто-то за незнание о Мичурине, будто бы, когда меня спросил кто-то в Вашингтоне о Мичурине, то я отозвался полным неведением о его существовании. Это конечно, вздор».

13 ноября, П.П.Подъяпольскому: «Кое-что удается. Понемногу начинаем приобретать внешний облик. Кончили ремонт в городе, отстроили Северную Новгородскую станцию. Северная станция расположена в настоящей тайге, с буреломами, заломами (так называют повалившийся лес). Нет ни воробьев, ни голубей, ни ворон.

В Царском Селе ведем не на жизнь, а на смерть борьбу за создание генетической станции. Трудно, но, пожалуй, справимся. Нью-Йоркское отделение действует вовсю. Получили более тысячи сортов кукурузы, всю специальную литературу. Послали экспедицию на Канинский полуостров в поисках дикого раннего клевера. Он нужен нам, и о нем просит Вашингтонское министерство.

Об экспедиции Писарева в Монголию нет сведений, боюсь, не случилось ли чего-нибудь, но одно известие было исключительного интереса. Найдены новые группы ячменей, овсов. По, "[гомологическим] рядам" множество фактов.

Сегодня получил любопытное письмо из Тифлиса [от П.М.Жуковского]. У дикого ячменя Hordeum murinum нашли всё, что требовалось: белоколосый, красноколосый, черноколосый и т. д. Словом, в этом направлении работа утвердилась. Начали готовить схемы [гомологических рядов] для целых семейств».

Экспедицию Виктора Евграфовича Писарева в Монголию Вавилов считал одним из важнейших начинаний Отдела прикладной ботаники. Задумана она была еще в Саратове, в дни съезда селекционеров.

Писарев там сделал доклад о земледелии Восточной Сибири и особо остановился на *происхождении* возделываемых там растений.

Коренной сибиряк (родился в Иркутске в 1882 году), Писарев после Иркутской гимназии окончил Казанский университет, а затем и Петровку, где впервые пересекся с тогда еще совсем юным Вавиловым. Вернувшись в родные края с двумя дипломами – химика и ученого агронома, – Писарев развернул почвенно-ботанические исследования Восточной Сибири. Он собирал и проводил сравнительные испытания сортов местных растений, попутно открыл три новых разновидности мягкой пшеницы. Окончательно его судьбу решило… извержение вулкана Катмай на Аляске в 1912 году. Выбросы вулканического пепла были такими, что даже в Восточной Сибири застили солнце. Это

привело к необычайно суровым и раним заморозкам, погубившим почти все посевы. Писарев стал селекционером.

Он основал первое в Восточной Сибири Баяндаевское опытное поле, позднее – Тулунскую опытную станцию. Он вывел ряд сортов зимостойких культур, которые широко разошлись по Сибири.

В своем саратовском докладе Писарев доказывал, что большинство культурных растений пришло в Восточную Сибирь с юга, из Монголии. Это звучало парадоксально: Монголия – безводная пустыня, население очень редкое, кочевое: пастухи, а не земледельцы.

Но Вавилов сразу оценил доклад Писарева. По утверждению автора научно-художественной биографии Писарева В.Долинина (он же В.Полынин), Вавилов увидел в нем своего единомышленника и предложил «махнуть в Монголию».

Возглавив Отдел прикладной ботаники, Николай Иванович пригласил Писарева на пост своего заместителя и директора Центральной опытной станции в Детском Селе. Дважды просить его не пришлось.

Едва обосновавшись в Питере, Писарев отправился в Монголию.

В справочных изданиях указано, что его экспедиция началась в июне 1922 года, но это неверно. Похоже, что Писарев отбыл сразу же после возвращения Николая Ивановича из заграничной командировки, то есть в конце марта или в начале апреля, а может быть, и еще раньше: ибо уже 19 апреля Вавилов писал Бородину: «Экспедиция в Монголию все-таки состоялась, я сегодня получил телеграмму из Урги от Писарева с сообщением о выезде в Кодбо»[217].

Урга – столица Монголии, позднее переименованная в Улан-Батор. Кодбо (Ховд) – центр одной из западных провинций, граничащих с Китаем. Этот старейший город Монголии на 90 процентов был заселен китайцами.

Экспедиция задумывалась как предварительная разведка, с тем чтобы через год отправиться повторно. Но Писарев столь основательно исследовал все сельскохозяйственные зоны Монголии, что новая поездка стала ненужной. Из переписки Вавилова видно, с каким напряжением он ждал вестей из Монголии. Надежной связи с далекой страной не было, сообщения приходили так редко, что Вавилов не раз опасался за судьбу Писарева. Тем большую радость доставляли сообщения, которые прорывались.

Первые из них не были обнадеживающими. В мае 1922 года Писарев сообщил, что продвигается на юг от Урги, но ничего

существенного пока не нашел, если не считать одной разновидности голозерного овса, культивируемого в китайских деревнях. До Вавилова это письмо дошло только во второй половине июня. Но уже в следующем письме, полученном в августе, Писарев сообщал о красно-коричневых сортах ячменя, которые не были известны ботаникам, но были предсказаны законом гомологических рядов. В том же письме сообщалось о красно-коричневых формах пшеницы, краснозерных формах овса и других находках. Вавилов был в восторге:

«Экспедиция в Монголии идет блестяще. Выяснилось чрезвычайно многое в вопросе о происхождении культурных растений в Сибири, что позволяет наметить ряд коррективов в подборе сортов. Действительно, многие северные сибирские корма пришли из Северной Монголии. Монголия оказалась очагом самостоятельных форм. Найдены свои красные овсы, свои красные ячмени, до сих пор еще не известные в литературе. Это огромного интереса факт, который сам по себе оправдал ничтожные затраты на экспедицию. Писарев возвращается в октябре и пишет, что он не уйдет из Монголии, пока не использует ее до конца. Им уже пройдено около 2000 верст и предположено пройти около 3 тысяч»[218].

На самом деле Писарев пройдет 7,5 тысяч километров, выйдет из Монголии не в октябре, а в декабре. Вавилов, снова обеспокоенный, писал, что Писарев «пропал без вести». Но затем от него пришло большое письмо – уже из Иркутска. Вавилов тотчас ответил подробным отчетом о том, что было сделано за время отсутствия его заместителя:

7 *декабря 1922 г., В.Е.Писареву:* «Я не сомневался в успехе экспедиции, и Ваше июльское письмо доказало нахождением красноколосых ячменей, что это одно стоило уже поездки в Монголию <…>. Хочется поскорее слышать и видеть собственными глазами всё, что Вы нашли.

<…> Мы становимся на ноги в городе. Произвели большой ремонт, оккупировали первый этаж, присоединили отдел плодоводства и огородничества, открыли химическую лабораторию. Вернулся Мальцев [с опытной станции в Каменной степи], и все отделения понемногу становятся на ноги. Библиотека наша, думаю, не ошибусь, по новой литературе лучшая в Петрограде: получаем 98 журналов. Удалось получить порядочное оборудование, хотя далеко еще не всё пришло из-за границы.

В Царском Селе большие изменения. Мы перешли в усадьбу Бориса Владимировича, которую завоевали в июне месяце. К ней присоединен участок в 15 десятин, часть которого отгорожена.

Здание оказалось сильно попорченным, 340 радиаторов лопнувшими. Две недели назад, затративши 40 миллиардов, которые не знаю даже, как удалось получить, справились с отоплением, и теперь оно функционирует. Оккупировали около усадьбы 2 домика, которые пришлось также изрядно ремонтировать. В один из них перевезли Ваших [семью Писарева], к их большому удовольствию.

<…> Встало на ноги, к моему удивлению, Новгородское отделение, недели три тому назад ездил на открытие станции.

Удалось построить в текущем году два жилых дома, амбар, сарай и баню, и с будущего года будут в распоряжении 6 десятин пахотной земли. Канавы на протяжении 1½ верст прочистили и провели одну новую. Осин[219] оказался более чем на высоте положения. В нынешнем году фурор среди соседних мужиков произвел Ваш горох, который созрел на 3 недели раньше местного и более крупным и белым.

Блинов[220] развил дело в Великом Устюге и уже стоит на ногах, не требуя средств.

Нынешний год прошел очень удачно. Многие из Ваших сортов оказались подходящими.

<…> Был в июне на Воронежской станции[221]. К нам присоединено бывшее Бобровское поле. Всего в настоящее время имеется 200 десятин глубокого чернозема в степи, из которых 75 удалось поднять к зиме. Засеяно 20 десятин озими. С постройками немного хуже; инвентарем мы обеспечены, и основной базой для Европейской России будем иметь степную станцию.

Мальцев, к моему опять-таки удивлению, прекрасно справился с работой станции, отошел от ботаники в сторону селекции, и хотя фактически весь персонал станции состоял из 3 человек, но у них были посевы по 3–4 десятины разных сортов фасоли, гороха, кукурузы.

<…> В Туркестане прекрасно работает [Г.С.] Зайцев, подготовляющий систематику сортов хлопчатника и кунжута.

<…> Возобновляем всерьез печатание “Трудов [по прикладной ботанике]”. В текущем году удалось напечатать до тысячи страниц. Но вот и всё. Как видите, как будто кое-что сделано, но впереди тьма дел.

Селекция наша без Вас хромает, а ей мы сейчас придаем исключительное значение. Фактически [Центральная] станция является единственной серьезной селекционной станцией для всего Севера Европейской России. На очереди изучение сортового состава полевых культур Северной России. Это также громоздкое дело.

В нынешнем году удалось исследовать 7 уездов, включая Архангельскую, Пинежскую, Холмогорскую, Мезенскую, Шенкурскую (губернии). Хлопот было много с завоеванием территорий, построением, а еще больше с ремонтом. Главное позади, и я не сомневаюсь, что работать здесь можно.

<…> Жизнь в Питере лучше, чем была. Привезите, пожалуйста, всё, что вышло в Сибири печатного начиная с 1916 года по селекции, земледелию, растениеводству, прикладной ботанике и вообще ботанике».

5.

В феврале 1923 года большим праздником для Вавилова стал приезд в Петроград Гавриила Семеновича Зайцева. Они не виделись с 1916 года, когда Вавилов был у Зайцева в Голодной степи. Гавриил Семенович работал тогда всего второй год, но ему удалось подметить поразительные особенности в вегетации хлопчатника. Они позволяли еще весной, по времени появления первого листа, предсказать, сколько коробочек успеет раскрыться на кусте до конца сезона, то есть каким будет урожай. Вавилова поразила цепкая наблюдательность и четкость мышления Зайцева. С тех пор он о нем не забывал. Они стали обмениваться письмами, образцами растений, публикациями. В конце 1917 года Зайцев прислал Вавилову образцы хлопчатника, кунжута и других растений Средней Азии – для демонстрации студентам на Саратовских курсах. Вавилов слал ему свои работы, семена разных сортов, помогал выписывать зарубежные издания.

Гражданская война прервала эти связи, но при первой оказии, случившейся в мае 1920 года, не зная, где Зайцев, жив ли, продолжает ли работать, Вавилов послал ему письмо, чтобы возобновить контакты. Сообщил о смерти Регеля и о своем назначении на его место; предлагал завязать более тесные отношения и даже открыть в Туркестане небольшое отделение Отдела прикладной ботаники[222].

Зайцеву за эти годы пришлось претерпеть многое. Из Голодной степи он перешел в Пахталык-Куль – поселок в Ферганской долине, где находилась единственная в Туркестане Селекционная станция. Ее основал селекционер и знаток хлопчатника Александр Евгеньевич Любченко. В 1910 году Любченко был командирован в Америку – изучать хлопководство. Оттуда он привез не только семена американского упланда, но и американку-жену. На обратном пути остановился в Москве и прочел в Петровке небольшой курс лекций – не обязательный, для

желающих. В числе слушателей был первокурсник Гавриил Зайцев, «заболевший» хлопчатником и Туркестаном. Летом 1917 года Любченко, то ли в предвидении надвигавшихся грозных событий, то ли по настоянию изнемогавшей на чужбине жены, уехал в Соединенные Штаты. Селекционная станция осиротела. Возглавить ее предложили Зайцеву.

В 1919 году на Пахталык-Куль напали басмачи. Станция была разорена, сотрудники ограблены и раздеты. Счастьем было то, что остались целы. Голые и босые, они ночью пришли в Наманган, город тоже ждал нападения басмачей. Попытки получить вооруженную охрану оказались тщетными, возвращаться на разоренную станцию без охраны было нельзя. После долгих мытарств Зайцеву удалось найти приют в хозяйстве только что созданного Среднеазиатского университета.

Здесь собрался весь цвет агрономической науки Туркестана, но с хлопчатником никто больше не работал. Переключились на хлебные злаки: каковы бы ни были научные результаты опытов с пшеницей, а мешок-другой зерна запасти можно.

Один Гавриил Семенович продолжал работать с хлопчатником. В глазах коллег он был упрямым фанатиком, губящим себя и семью ради никому не нужной культуры. После ограбления в Ферганской долине у них с женой не осталось буквально ничего. Пара полуразвалившихся сапог была одолжена у знакомых. Она стояла у двери, ее надевали по очереди, когда надо было выйти из дома. Жена Зайцева Лидия Владимировна кормила грудью младенца, сама голодала. Гавриил Семенович не мог работать по вечерам за письменным столом: от голода кружилась голова. Цены на хлеб неудержимо росли, угнаться за ними не было никакой возможности, а цены на хлопок падали – на него не было спроса. Текстильная промышленность России – основной потребитель туркестанского хлопка – не работала, да и связи с Россией не было: железную дорогу Ташкент – Москва перерезали казаки атамана Дутова, потом корпус пленных чехословаков, потом армия Колчака. Но Зайцев знал твердо: хлопок будет нужен. Переключиться на другие культуры – значило потерять линии и сорта, которые он выделил за предыдущие годы, и вообще всё наработанное по хлопчатнику. Этого он себе позволить не мог. Каково же было ему узнать, что Вавилов все эти годы помнил о нем и теперь протягивал руку помощи – пусть пока только символически!

В декабре 1920 года прорвалось новое, теперь уже обстоятельное письмо. Вавилов сообщал о своем окончательном решении перейти в Петроград и основать в Царском Селе (Детское Село он еще долго называл Царским) Центральную

генетическую станцию.

«Я был бы рад, – читал Гавриил Семенович, – если изучение хлопчатника, кунжута, может быть, маша Вы взяли бы на себя в смысле ботанической обработки (равно как географической и генетической). Всё, что можно с нашей стороны, мы сделаем (литература, суммы на работу, на сотрудников, на возможности командировки в районы для сбора и изучения, за границу)».

Он приглашал Зайцева приехать в Петроград на ботанический съезд и обо всем подробно поговорить.

«Мне очень хочется вовлечь Вас в работу Отдела прикладной ботаники. У Вас уклон в работе синтетический и широкий». И затем подчеркнуто жирной чертой: *«Не знаю Ваших планов, но было бы очень для дела хорошо, если бы Вы взяли в нашем Отделе на себя разработку некоторых южных культур»*[223].

Планы!.. У Зайцева они были просты и – почти невыполнимы. Выстоять, вытерпеть, не свернуть с пути. Иных планов у него не было!

В 1921 году восстановилась связь Туркестана с Центральной Россией. С введением нэпа стала возрождаться текстильная промышленность. И тут выяснилось, что старых запасов волокна на фабриках хватит ненадолго. Для бесперебойной работы снова понадобился туркестанский хлопок.

Казалось, можно было воспрянуть духом! Но… Стали приходить вести о небывалой засухе в Поволжье и смежных регионах. По сравнению с тотальным голодом, воцарившимся в центральных губерниях, даже Ташкент стал «хлебным городом». К железнодорожной магистрали Москва – Ташкент хлынули толпы голодающих. Здесь же скопились эшелоны с демобилизованными красноармейцами. Все рвались на юг, в Ташкент, там искали спасения от голодной смерти.

Многие находили ее в пути.

Служащие железной дороги, почти все больные или переболевшие тифом, давно не получали жалованья и пайков. Они отказывались отправлять эшелоны, пока не соберут с пассажиров дань «натурой»: продуктами, запасенными на дорогу. Голод и тиф опустошали поезда. На каждой станции из составов выносили трупы; их не успевали убирать. Те, кто добирался до Ташкента, готовы были отдать за кусок хлеба любые деньги, прихваченные с собой ценности.

На хлопок никто не обращал внимания, и это прямо отражалось на Селекционной станции, упрямо работавшей с хлопчатником. Весной 1922 года ее выдворили и из университетского хозяйства. Снова (который раз) над всем делом нависла угроза гибели. Зайцев и его помощник И.Я.Половый

бросились искать новое пристанище. Рассчитывать можно было лишь на брошенные прежними владельцами и еще не занятые поместья. Таких было немало, но… В одном не хватало поливной воды; в другом обветшалые постройки требовали ремонта, на что не было ни сил, ни денежных средств; третьи располагались в таких местах, что для обработки земли негде было нанять рабочих. Но – дорогу осилит идущий. Неожиданно Зайцев и Половый увидели издали на высоком берегу старинного арыка Бозсу двухэтажный особняк с большим крытым балконом. При имении оказались хорошие поливные земли. Самым удивительным было то, что хотя имение (прежде оно принадлежало помещику Иванову) располагалось всего в восьми верстах от Ташкента, оно еще не было занято.

Зайцев и его сотрудники не мешкая перевезли в Ивановку свое нехитрое имущество и прямо с колес приступили к посеву: посевная страда была уже в разгаре.

Между тем в Москве был создан текстильный синдикат, во главе его поставили видного большевика В.П.Ногина. Прибыв в Туркестан и наскоро разобравшись в обстановке, он потребовал от местных руководителей расширить посевные площади под хлопчатником. Он добился введения твердых государственных цен на хлопок, что привлекло внимание земледельцев к заброшенной культуре. При ВСНХ стал действовать Главный хлопковый комитет, получивший монопольное право закупать хлопок у производителей и снабжать им текстильные предприятия. Главхлопок был наделен большими правами и солидными денежными средствами. Зайцев сумел добиться того, что селекционная станция перешла в его ведение – это дало ей сильного и богатого по тем временам покровителя. Стал издаваться журнал «Советское хлопководство», возрос интерес к науке о хлопчатнике. На сельскохозяйственном факультете Среднеазиатского университета открыли кабинет хлопководства, возглавить его пригласили Зайцева. К началу 1923 года он уже прочно стоял на ногах.

Февральский Петроград встретил его легким морозцем, туманом и малолюдством. Только редкие дворники копошились на пустынных проспектах. Большими совковыми лопатами они сгребали выпавший ночью снег, накладывали его в высокие короба, подогревали их на небольших кострах, чтобы талая вода стекала в водостоки. Изрядно продрогнув на промозглом питерском ветру, но не дождавшись трамвая, Гавриил Семенович двинулся пешком вдоль Невского проспекта. Величавая архитектура безлюдного, выплывающего из тумана города

казалась грандиозной театральной декорацией, которую еще не убрали со сцены, хотя спектакль давно окончен и зрители разошлись. Скульптуры Кутузова и Барклая де Толли перед колоннадой Казанского собора, выстроенного в честь победы над Наполеоном, на пустой улице выглядели так, словно два заблудших странника остановились передохнуть да и замерзли здесь навсегда, и теперь уже не чувствуют ни влажного пронизывающего ветра, ни охапок снега на плечах. Бронзовые фигуры обнаженных юношей, укрощающих коней у Аничкова моста, тоже казались замерзающими – их хотелось поскорее укрыть.

Пройдя по пустому проспекту, Гавриил Семенович свернул на Морскую улицу и вскоре увидел перед собой подернутую туманом громаду Исаакия. Слева, на берегу Мойки, стоял дом номер 44 – большое трехэтажное здание с белыми колоннами. Гавриил Семенович вошел в вестибюль. Едва успел оглядеться, как увидел радостно-возбужденного Николая Ивановича Вавилова – он быстро спускался по лестнице ему навстречу.

Приобняв гостя за плечи, он тотчас повел его наверх, в свой рабочий кабинет, усадил в широкое кожаное кресло и стал поить чаем. Разузнав туркестанские новости, спросил, как понравился гостю Питер. Услышав, что город показался Гавриилу Семеновичу вымирающим, Вавилов энергично махнул рукой и возразил:

– Ну, что вы, батенька, теперь мы уже оживаем!

В Вавилове клокотала энергия. Радость, вызванная приездом Зайцева, била через край, он весь светился. Не дав гостю толком отдышаться, он повел его по лабораториям и отделам. Представлял сотрудникам с таким торжествующим видом, словно демонстрировал редкостную достопримечательность.

Николай Иванович жил здесь же, в здании Отдела прикладной ботаники. Такую же комнату он отвел Гавриилу Семеновичу – в другом крыле здания, рядом с библиотекой. Здесь же, у Аннушки, жены служителя Отдела, которого Вавилов в шутку называл главковерхом, оба они столовались.

Библиотека Отдела была богатейшей – этому Вавилов уделял особое внимание. Благодаря его поездке в Америку и Европу и последующим стараниям Бородина, Шаповалова и многих других, библиотека получала все книги и лучшие научные журналы по растениеводству, земледелию, биологии, генетике.

В немногочисленных публикациях по хлопчатнику Гавриил Семенович почти ничего неизвестного не находил. Даже в новейшей монографии крупного египетского хлопковода Боллса было для него мало нового. С тем большей настойчивостью он взялся за литературу по общебиологическим вопросам.

За годы войны и послевоенной изоляции мировая наука шагнула вперед. Зайцев понимал, что сможет проложить новые пути в своей узкой области, если не отстанет, если будет чувствовать «пульс глобуса», как называл это Вавилов. Гавриил Семенович занимался «до одурения», как он писал жене, и единственное, что тормозило занятия, это… долгие беседы с Вавиловым, который окутывал его своим вниманием и опекал с несколько излишней настойчивостью. У Гавриила Семеновича это вызывало сложное чувство: досада за убегающее время смешивалась с восхищением. Постоянно осведомляясь о занятиях Зайцева, Вавилов советовал посмотреть то одно, то другое.

– Вот еще очень хорошая работа, – подсказывал он, называя статью или книгу.

Чтобы всё это одолеть, надо было просидеть полгода или год, а у Зайцева не было и месяца. Он предпочитал сосредоточиться на немногом, но освоить это немногое основательно. Поспеть за Николаем Ивановичем никакой возможности не было. Вавилов знал буквально всё, ибо читал «много, толково и с памятью», как писал Зайцев жене. Когда он успевал заниматься, понять было невозможно. С утра и до ночи он крутился как белка в колесе. Он всегда был окружен людьми, и его густой баритон был слышен то в одном, то в другом крыле огромного здания. Весело и непринужденно он рассказывал всякую всячину, часто очень далекую от науки. То живописал квартиру американского профессора, то рассказывал о сложном международном положении Англии, то о сухом законе, столь строгом в некоторых штатах США, что однажды ему с приятелем-американцем пришлось переправиться через реку в соседний штат, чтобы выпить пива. Неожиданно, впрочем, Вавилов вставлял несколько замечаний научного характера, и они порой стоили чтения толстых фолиантов.

«Он мне очень напоминает Моцарта, который, по выражению пушкинского Сальери, “Туляка праздный”, а между тем ни у кого так не выходит хорошо и дельно, как у него, – делился своими впечатлениями Гавриил Семенович. – Мне нравится в нем то, что он ведет себя так же, как если бы мы были студентами в Петровке и по-товарищески беседовали обо всем, что влезет в голову при свободно развивающемся, непринужденном разговоре <…>. Он очень компанейский человек и очень прост, несмотря на свою “всемирность”»[224].

Изредка Вавилов уезжал «спасаться», как он говорил, в Детское Село, где у него тоже был кабинет. Там он мог работать без помех и, «спрятавшись» на два-три дня со стенографисткой, привозил очередную статью или новую главу монографии.

В Детское Село Вавилов привозил и Зайцева. Тот делился своими впечатлениями с женой: «Вся обстановка очень располагает к хорошей работе, а перед этим ведь здесь, кроме пьянства и разврата, ничего не было. В княжеской библиотеке (где сохранился и бильярд с ободранным сукном) воцарилась вавиловская библиотека на смену бесшабашного и непристойного собрания книг и людей прежнего времени»[225].

Вавилов передал Зайцеву дубликаты книг и журналов, имевшиеся в библиотеке, и семенной материал по хлопчатнику. Семян оказалось немного, всего 55 образцов, полученных от Бородина. Николай Иванович предложил Зайцеву составить список нужных ему форм и тут же продиктовал письма крупнейшим хлопководам мира с просьбой прислать семена для «доктора Зайцева». Возведение в столь почетное звание смутило Гавриила Семеновича, он попытался возразить, но Вавилов жестом остановил его:

– Вы это оставьте, ничего, так надо.

Статьи, привезенные Зайцевым, он тотчас отправил в набор, заказав к ним подробные английские резюме, «чтобы прочитал Болле».

Приезд в Петроград оказался столь плодотворным и полезным для Гавриила Семеновича, что затем он приезжал каждую зиму – вплоть до своей ранней кончины в январе 1929 года…

Время собирать камни
Продолжение

1.

В начале 1923 года Вавилов был избран членом-корреспондентом Академии наук.

Этот год стал первым годом более или менее нормальной (далеко не нормальной, но все же как-то налаженной!) работы Отдела прикладной ботаники. В том же году Вавилов был избран председателем Государственного института опытной агрономии (ГИОА). Сохранилось письмо с его категорическим отказом от должности. Но заменить его было некем.

…ГИОА возник годом раньше – на обломках Сельскохозяйственного ученого комитета. Первым председателем Института стал профессор Тулайков. Причиной отставки стали его разногласия с руководством Наркомзема об организации опытного дела в стране. Спор этот шел с 1918 года, но на фоне неурожая 1921 года и тотального безденежья он обострился. От обсуждений требовалось перейти к действиям.

Как раз в это время (1922), бездействуя при очередном обострении болезни, Ленин прочитал научно-популярную книжку американского журналиста А.Гарвуда «Обновленная земля». В России она была известна в переводе К.А.Тимирязева, вышла в свет в 1909 году, тогда же ее прочитали многие студенты Петровки, включая, конечно, Николая Вавилова. Автор повествовал об успехах американского земледелия во второй половине XIX века, достигнутых благодаря успехам науки.

Для Ильича всё это было внове. Он загорелся идеей «догнать и перегнать» Америку и для этого создать крупные научно-исследовательские институты, а их достижения внедрять в практику. Пожелания Ильича «волшебным» образом совпали с решением Наркомзема о преобразовании опытного дела в стране.

Вопреки рекомендациям комиссии ученых-опытников, в которую входил и Тулайков, Наркомзем решил ликвидировать значительную часть опытных станций, оставшиеся превратить из научных учреждений в образцовые хозяйства, своего рода очаги передового опыта, а научные исследования сосредоточить в крупных централизованных институтах. Но таковых в стране не было, их еще предстояло создать.

Тулайков, Дояренко и другие члены комиссии ученых-

опытников не согласились с таким решением. На местных опытных станциях был накоплен ценнейший опыт научно-исследовательской работы, на них трудилось немало первоклассных ученых, превосходно знавших местные особенности. Если всё это загубить, то наука будет отброшена назад. Дояренко и Тулайков направили в коллегию Наркомзема свои «особые мнения». Тулайков писал: «Зная достаточно хорошо и прошлое, и современное положение этих почти бумажных Институтов, ни в коем случае не могу допустить, чтобы они могли заменить ту научную работу, которую ведут областные и районные опытные станции и поля, и которым по проекту предлагается только проверка и приложение к практике того, что разработано будет этими Институтами»[226].

Решение Наркомзема, принятое вопреки мнению Тулайкова, заставило его устраниться (или он был отстранен) от руководства ГИОА.

Тридцатипятилетний Вавилов оказался во главе сельскохозяйственной науки страны.

О том, как он относился к решению Наркомзема о реорганизации опытного дела, прямых свидетельств нет. В одном письме Бородину им кратко упомянуто о резком сокращении числа опытных станций. Судя по тону, Вавилов этого не одобрял, но принимал как данность, вызванную шестикратным сокращением бюджета. Что касается переориентации оставшихся опытных станций на сугубо практическую работу, то похоже, что он этому серьезного значения не придавал. Полагал, видимо, что всё зависит от самих работников. Тот, кто испытывает тягу к науке, будет ею заниматься; от тех, у кого тяги нет, не будет толку. Ну а создание крупных научно-исследовательских институтов он мог только приветствовать.

2.

По просьбе Ячевского Николай Иванович согласился читать курс лекций по иммунитету и селекции растений на Фитопатологических курсах, которыми тот заведовал: «Читать хотелось бы у себя в Отделе, чтобы сократить немного времени на ходьбу».

Времени ему, как всегда, не хватало – ведь он стремился *объять необъятное*. О размахе его интересов, замыслов, дел в 1923 году можно судить по письмам, которые разлетались из Петрограда почти ежедневно.

17 января 1923 г., Д.Н.Бородину: «Подготовляю новое издание

“Рядов” в подробном виде, со многими новыми таблицами, но это большая работа. Сейчас Вам пересылаю большую партию семян, которую прислала по нашему ходатайству Екатеринославская станция, и вообще сейчас мобилизуем рассылку. Относительно [Нью-Йоркского] Бюро на 1923 г. уже писал Вам: оно закреплено, пять тысяч уже переведено»[227].

9 февраля, Д.Н.Бородину: «Только что вернулся из Москвы. Был на совещании по опытному делу, установил связь со всеми областями. Все стандартные сорта Америки и России в числе всего около 200 будут высеваться в текущем году по крайней мере на 15 опытных участках в разных областях. Наблюдения будут проводиться по определенной программе. Это испытание будет произведено в течение 4–5 лет.

<…> Получена партия книг от Джойнта.

<…> Картофель все еще подходит и в общем в хорошем состоянии. Упаковка превосходная, и даже в январе он не померз. Получена вторая партия семян бобовых в коробочках в хорошем состоянии. Получено 2 экземпляра ежегодников “Ботаникал газет”. Вам отправлены: во-первых, партия семян, и очень большая, около 500 образцов, во-вторых, 10 экземпляров только что вышедшей работы Чинго-Чингаса “Пшеницы юго-востока России в мукомольном и хлебопекарном отношении”»[228].

23 февраля, Д.Л.Рудзинскому, Каунас, Литва: «Приступили недавно ко льну. Выделили у них 35 разновидностей, но у нас всё разнообразие представлено главным образом южанами. Интересный материал прислала Тине Таммес из Марокко, Египта, Кашгара. Поминаем часто при этом Вас, так как у Вас была масса любопытных наблюдений по части ветвистости и по части разнообразия у льнов-долгунцов. <…> Подготавливаем большой том Трудов по прикладной ботанике, и если бы, Дионисий Леопольдович, Вы удосужились написать по льну краткую сводку, по изменчивости льна под влиянием внешних условий, а также наследственной изменчивости у льнов-долгунцов, было бы очень хорошо.

<…> Суета здесь, конечно, по-старому изживается медленно. Все еще проектируем, но все-таки всё идет туда, куда и следует идти. Вероятно, через месяц пошлем Константина Матвеевича [Чинго-Чингаса] в Германию принимать кое-какие заказы. Попадет он и в Литву»[229].

2 марта, Д.Н.Бородину: «Покорнейшая просьба к Вам достать возможно большее число образцов льна из Марокко, Туниса, Алжира, Абиссинии и Судана, также Испании и Греции. Мы столкнулись с одной загадкой, которую без материала совершенно не решить; именно, два образца, полученные из

Марокко, совершенно оригинальные, отличаются крупностью цветков, листьев, коробочек и резко отличаются от азиатской и европейской групп. Наличие этих двух форм подсказывает, что в Африке был свой самостоятельный центр по льну, но это решить можно, только имея значительный материал непосредственно из Северной Африки. Вашингтон прислал мне 9 очень интересных образцов, из которых один из Египта, но там специально со льном по серьезному работа не велась»[230].

Март 1923 г. Т.Моргану: «Дорогой д-р Морган. Я очень рад сообщить Вам, что общее собрание АН СССР избрало Вас и д-ра Г. де Фриза почетными членами Академии наук. Вы уже были избраны членом-корреспондентом, но высшая степень у нас – Почетный член Академии. К сожалению, в нашей стране нет более высокой научной награды. Ваша выдающаяся работа высоко ценится в нашей стране. Мои наилучшие пожелания Вам и миссис Морган»[231].

11 июня, П.П.Подъяпольскому: «Недели через две выезжаю снова в Москву, Воронеж и дальше. Может быть, попаду и в Саратов, но это еще не точно. Непременно прочитайте “Атлантиду” Пьера Бенуа, которую скоро вышлю Вам. Вам понравится: пустыня, Сахара…»

2 июля, П.М.Жуковскому, Тифлис: «В Малой Азии, в сущности, всё не тронуто. <…> Мне приходилось просматривать некоторую литературу по Малой Азии, когда я занимался в Географическом обществе в Лондоне. Большой интерес представляет лен Малой Азии, так как там, по-видимому, имеются типичные формы долгунцов. Особенный интерес, как всегда, представляют высокогорные районы, так как в них можно найти особенно большое разнообразие. Интересна рожь в Малой Азии, горохи, вики, чечевицы, ячмени; особенно любопытны полбы и засоряющие их растения. Нет ли в культуре однозернянки? По-видимому, и они засоряются сильно овсом. Словом, по всем полевым и огородным растениям Малая Азия нетронутый край, и проникнуть туда, конечно, ближе всего Вам <…>. Нынешний год у нас большие посевы в Воронеже. Заканчивается приведение в порядок всего материала, привезенного монгольской экспедицией. Она открыла много любопытного, между прочим, важный факт, что в Китае имеется масса эндемичных форм овсов. <…> Лаборатория [мукомольных и хлебопекарных качеств], можно сказать, первоклассная. Получено всё новейшее оборудование из Дрездена, и этой лабораторией мы даже гордимся, и охотно К.М.Чинго-Чингас проделает анализы местных пшениц. Для этого нужно от пуда до полутора пудов зерна <…>. С нынешнего года

открыто отделение на Кубани, где Фляксбергер и Орлов[232] производят посевы пшеницы».

9 июля, Д.Н.Бородину: «Послезавтра отправляюсь для обзора Опытных станций и наших посевов в Саратов, Воронеж и Москву недели на три. <…> Вся работы в Отделе в настоящее время направлена на систематическое и агрономическое изучение возделываемых растений России и сопредельных стран на фоне вообще всех сортов, выведенных селекционерами и возделываемых в различных странах. Я лично взял на себя сводку по ячменю, овсу и ржи. По пшенице работа в большой мере закончена, и думаю, что через два месяца мы ее вышлем Вам»[233].

13 июля, К.Р.Боллу, Вашингтон: «Экспедиция [в Монголию] оказалась более успешной, чем я ожидал: было собрано более 600 образцов различных возделываемых растений. В настоящее время обработка материала идет к концу. Я думаю, что месяца через два я смогу послать Вам всё, что может представлять для вас интерес. <…> По предварительным итогам экспедиции в Монголию я склонен думать, что для Вас и д-ра Харлана было бы разумнее предпринять путешествие в основные сельскохозяйственные центры европейских и азиатских земледельческих регионов, включая Сибирь и Туркестан. <…> Я с радостью присоединюсь к Вам, поскольку я еще не был в Сибири, и с удовольствием предоставлю Вам всю необходимую информацию. <…> В будущем году я намереваюсь поехать в Туркестан, где нами ведется экспериментальная работа в полевых условиях (на экспериментальных полях). Этой осенью в Москве открывается интересная Сельскохозяйственная (Всероссийская) выставка, которая стоит того, чтобы ее посетить. Если Вы соберетесь приехать в Россию, мы будем рады принять Вас в нашем Бюро по прикладной ботанике»[234].

1 ноября, Д.Н.Бородину: «Долго не писал, потому что положение дел было очень неопределенное и сам находился между Воронежем, Киевом и Москвой. Прежде всего, о Вашем положении на предстоящий год. [Финансовый] год начинается у нас с 1 октября 1922 года. От этой даты проводятся сметы. С боем удалось Вас отстоять на третий год. Несмотря на то, что смета НКЗ сокращена в 6 раз, каким-то чудом Вас удалось провести. Пока отклонили даже нашу экспедицию в Афганистан.

<…> [Сельскохозяйственная] выставка была очень для нас интересной. Со всей России был представлен семенной материал, даже с таких окраин, как Якутская область, Приморская область. Собрали около 15 000 образцов и приступим к описанию сортового состава России.

<…> Вышел том наших Трудов, который пересылаю Вам в

двух экземплярах, и в то же время направляю по экземпляру в Берклиевский университет (Калифорния), два в Вашингтон в Бюро растительной индустрии и Бол [л] у, Беккеру, в Корнель, Ботаву и Дакоту Том считаю очень содержательным и при работе с пшеницей необходимым. Большинство статей имеет резюме, и очень подробное, на английском языке. Подготовляем следующий большой выпуск по хлопчатнику, крестоцветным, кунжуту»[235].

12 ноября, П.П.Подъяпольскому: «Рад, что Вам понравилась “Атлантида”. Немного погодя пришлю Вам еще “Тарзана”, описание житья в джунглях. Тоже хорошо на сон. <…> Относительно Ивана Петровича [Павлова] дело просто: избирайте его в почетные члены, и больше никаких, и пришлите ему торжественный диплом. К Вам он относится очень хорошо, читал Ваши статьи, и никаких препятствий к избранию нет. Ивана Петровича видел сегодня на улице, хромает. Весь побелел, но еще бодр. Вижу его каждую неделю по субботам. Посылаю Вам свою книжонку о пшеницах[236], которую начал писать еще в Саратове, но переработал здесь. <…> Шатался всё лето между Москвою, Петроградом, Киевом, Воронежем. Использовали выставку[237], собравши сорта со всей России. На 3–4 месяца начинается оседлый период».

23 ноября, Н.П.Долговой, Рим, Италия: «Был очень рад узнать, что Вы благополучно пребываете в Риме. Моя поездка в Афганистан не состоялась, и только весной 24 года надеюсь хотя бы в самом скромном виде провести экспедицию. Покорнейшая к Вам повторная просьба попытаться через агрономов Италии получить маленькие образцы различных сортов пшеницы, ячменя, овса, льна, чечевицы, гороха, ржи из африканских итальянских колоний. Особенно нас интересует получить образцы из Абиссинии и Эритреи. Там совершенно иные сорта и очень вероятно, что некоторые из горных сортов окажутся для нас очень интересными даже в практическом отношении. Если бы Вам удалось достать хотя бы маленькие образцы по 30–50 грамм разных сортов, по возможности большое число сортов из колоний Италии, был бы бесконечно вам признателен. Из итальянских сортов, возделываемых в самой Италии, нас интересуют сорта льна, гороха, ячменя, овса, конских бобов, вики, чечевицы, рапса. Сорта пшеницы я недавно получил от профессора Тодаро»[238].

17 декабря, Ф.Менчикову, Тель-Авив: «Большая просьба к Вам прислать нам, если будет возможно, образцы местных сортов льна, ячменя, чечевицы как из горных районов Сирии и Палестины, так и из долин и прибрежных зон. Мы в настоящее время подготовляем монографии по льну, ячменю, чечевице, гороху, и для нас было бы крайне важно получить маленькие

образцы (по 50—100 грамм) из Сирии и Палестины»[239].

19 декабря, Д.Н.Бородину: «Переживаем в общем финансовый кризис. Давно не было так туго. Сама по себе работа налаживается, и, если бы хоть немного средств, не сомневаюсь в ее продуктивности. На днях из Воронежа, где у нас имеется большая Степная станция, пришел целый вагон с образцами того, что высевалось там. Всё, что когда-то Вы собрали, было высеяно в Воронеже, несколько тысяч образцов. В первый раз мы увидели всё разнообразие тыкв, дынь, арбузов. Великолепные кукурузы дикие, какие можно видеть только в Америке. Некоторые сорта бесспорно имеют большое практическое значение. Было высеяно 15 десятин Маркиза, дес[ятина] Китчнера, 5 дес[ятин] кукурузы, 2 десятины] бахчи. На этой станции пытаемся вести работу в большом масштабе. Получились фунты семян, которые будут рассылаться по станциям.

Во всяком случае, за 2 года Вами сделано большое хорошее дело; хотя мы Вас часто ругаем, но без этого нельзя, все-таки есть за что.

В Вашингтон после Рождества отправим, надеюсь, несколько сот образцов русских сортов. Долги свои мы помним и их уплатим[240]. В этот ассортимент войдет много новых разновидностей, до сих пор неизвестных. Надеюсь, что к январю-февралю посылка будет отправлена. Сейчас финансовые затруднения таковы, что не хватает денег на посылку бандеролей. В таком положении не только наше учреждение, к которому в общем относятся очень хорошо, но и все русские опытные учреждения. В Детском Селе (быв[шее] Царское Село) наладили хорошую Станцию, которую сможем показывать иностранцам. На этой Северной станции ведется подбор культур для Севера. Ваше желание о работе в большом масштабе выполняется Писаревым. На днях он поехал в Москву проводить вопрос об организации государственного семеноводства на Севере, имея в виду быстрое размножение селекционного материала»[241].

28 декабря, Д.Н.Бородину: «Телеграмма Ваша <…> об исчерпании средств получена. Покажу ее на днях в Москве и попытаюсь сделать, что можно. Но вообще имейте в виду критическое положение всего опытного дела. На декабрь месяц нами получена десятая часть кредитов ноября, и не уверен еще до сих пор, будут ли средства на отопление здания в январе месяце»[242].

Хотя весь 1923 год финансовое положение оставалось почти катастрофическим, Вавилов писал новые труды по систематике и географии пшеницы, ржи, ячменя и овса. Под его редакцией

издавались «Труды по прикладной ботанике». Своих сотрудников, и не только их, он побуждал не закапываться на опытных делянках, а осмысливать, обобщать результаты и – писать, писать, писать. Рукописи читал придирчиво, отмечал плюсы и минусы, порой по нескольку раз возвращал на доработку. Печатал с обязательным резюме на английском языке. Резюме было тем подробнее, чем более ценной была публикуемая работа. Репутация «Трудов» быстро росла, они становились одним из самых престижных в мире научных изданий по растениеводству.

Семена и образцы растений стекались в Отдел со всего света; материал обрабатывался и растекался по опытным станциям, где высевался и исследовался. Центральная станция в Детском Селе становилась образцовой. Другие Станции в составе Отдела – в Каменной степи под Воронежем, в Новгородской области, Туркестане, Москве, Саратове тоже крепли и становились на ноги. Вавилов вовлек в свои опыты также станции и опытные поля, которые административно не входили в состав Отдела прикладной ботаники. Они включились в изучение географической изменчивости сортов – по разработанной Вавиловым схеме. Готовились, хотя пока не удавались, экспедиции в Малую Азию Жуковского, в Китай Писарева, в Афганистан самого Вавилова. Задумывались экспедиции в Абиссинию, Северную Африку, по странам Средиземноморья, в Центральную и Южную Америку.

28 декабря, Д.Н.Бородину: «Подвел итоги о происхождении культурных растений; написал уже, вылежится пару месяцев – сдам в печать и на русском, и на английском языках. В этой работе общего характера, вероятно, найдется кое-что интересного и для Вас. Из нее Вы увидите, почему так нужен был материал по средиземноморскому побережью, Китаю и т. д. Продолжаем бомбардировать [письмами] кого только можно. Кое-что начинает удаваться»[243].

3.

В 1924 году К.И.Пангало написал очерк истории Отдела прикладной ботаники. Прочитав рукопись, Николай Иванович послал автору свои замечания: «История нашего учреждения есть история коллектива, а не история Роберта Эдуардовича и Вавилова. В том и сила Отдела, что он прежде всего коллектив и 60 % персонала, по моим подсчетам по 5-балльной шкале, имеют отметку “4”. Как Вы знаете, на сей счет мы достаточно строги.

Строим мы работу, во всяком случае, не для того, чтобы она

распалась завтра, если сменится директор или уйдет в Лету. Я нисколько не сомневаюсь в том, что Центральная станция будет существовать превосходно, если на будущий год в горах Абиссинии и посадят на кол заведующего. Так же может работать и Степная станция, и Кубанское отделение, и вся суть нашей организации состоит в том, чтобы поставить на рельсы отдельные единицы, тогда их координировать нетрудно».

Настойчиво укрупняя Отдел прикладной ботаники, Вавилов отнюдь не стремился подминать его *под себя.* Он помнил, что жизнь коротка, нелепая случайность может оборвать ее в любую минуту, а учреждение создавалось всерьез и надолго.

Отделение физиологии возглавил профессор Н.А.Максимов. У него был большой опыт работы на Кавказе, затем в Питерском Ботаническом саду под руководством В.Л.Комарова, В.И.Палладина, А.А.Рихтера – ведущих ботаников старшего поколения. Максимов был известен исследованиями водного режима и питания растений, воздействия на них света, изучал биохимические и физиологические механизмы засухоустойчивости, морозоустойчивости, светового и температурного воздействия на фазы роста и развития растений. Широко развернув работу в Отделе прикладной ботаники, Максимов охотно привлекал молодых сотрудников и студентов – из них стала складываться его школа.

В.Е.Писарев, как мы уже знаем, стал заместителем директора и главой Центральной опытной станции. Из Москвы приехал к Вавилову его старый товарищ по работе у Рудзинского и Жегалова Леонид Ипатьевич Говоров; он возглавил отделение бобовых культур. Отделение цитологии возглавил приехавший из Киева профессор Григорий Андреевич Левитский. Отделение химии – профессор Николай Николаевич Иванов.

Вавилов добился открытия Отделения на Кубани, оно стало основной экспериментальной базой Отдела на юге России. Его возглавил А.А.Орлов, чьи деловые качества Николай Иванович высоко ценил.

Пангало, специалист по бахчевым культурам, не захотел оставаться в Ташкенте и перебрался в Москву. Николай Иванович этого не одобрял, но административное давление на сотрудников было не в его правилах. Пангало стал заведующим музеем Московского отделения.

Среднеазиатское отделение возглавил А.К.Гольбек, но более надежным сотрудником Вавилов считал Зайцева и просил его курировать это отделение.

Несколько позднее из Тифлиса перебрался в Ленинград ботаник Петр Михайлович Жуковский, а из Москвы – молодой

генетик, автор блестящих работ по отдаленной гибридизации Георгий Дмитриевич Карпеченко.

Библейский мудрец царь Соломон сказал, что *есть время разбрасывать камни и время собирать камни.* Но есть и личности, созданные для того, чтобы собирать, и для того, чтобы разбрасывать. Николай Вавилов был *собирателем.* Не только растений, но и людей.

Процесс «великого переселения» ботаников, селекционеров, агрономов не всегда проходил гладко. Не все одобряли стремление Вавилова объединить крупных ученых разных специальностей в один мощный кулак. Так, Сергей Иванович Жегалов, возглавивший Селекционную станцию Петровки после отъезда в Литву Рудзинского, жаловался, что Вавилов «благодаря обилию средств обескрыливает все учреждения и стягивает к себе все лучшие силы». Жегалов выражал не только свое мнение.

Между тем *обилие средств*, как мы видели, было таково, что часто в Отделе не было денег на почтовые марки! Ученые переходили на работу к Вавилову, как правило, на более низкие должности, чем они могли бы занимать в других учреждениях, а значит, и с меньшей оплатой. Как писал Николай Иванович Бородину 3 февраля 1924 года: «Сметы наши настолько малы, что, в сущности, смысл существования учреждения начинает исчезать; второй месяц у нас нет средств на пересылку книг, бандеролей; ставки Вам известны: на круг для научного работника по-старому 5–7 руб. в месяц»[244].

«Временные» трудности носили затяжной характер. В 1931 году Вавилов писал наркому земледелия Я.А.Яковлеву: «Работа общих институтов происходит в трудных условиях еще и потому, что оплата труда у нас ниже, а требования к работнику выше, чем в специальных институтах, состоящих на бюджете трестов. [Имеются в виду Сахаротрест, Хлопковый комитет, Резинотрест и т. п.] Ассистент общих институтов занимает в специальных [специализированных] институтах должность ученого специалиста и оплачивается соответственно выше. Возможность же работы в отраслевых институтах в смысле бюджета, штата также несравнимо выше»[245].

Ученых, переезжавших в Петроград, не сразу удавалось обеспечить жильем. Да и жизнь в Петрограде оставалась более трудной, чем в Киеве или Тифлисе, Воронеже или Москве.

«Публика живет у нас на круг на 2 червонца. Что будет к осени, не знаю, но это обстоятельство весьма и весьма трудное, прожить на эту сумму в Питере мудрено. Совместительство найти трудно и не сразу удается. Вот эти обстоятельства, к сожалению, надо иметь в виду, они от нас не зависят»[246].

О том, какие требования Вавилов предъявлял к специалистам, даже к начинающим, говорят строки из того же письма Подъяпольскому – в связи с желанием его сына Сергея, оканчивавшего Петровку, работать в Отделе прикладной ботаники: «Если хочет к нам, то пусть [по]работает сначала у Жегалова в Петровке, как Вы предлагаете, а потом начнем мерекать насчет Питера, по приезде [из Афганистана]. Если захочет всерьез делаться прикладным ботаником, то постепенно будем вводить его во всё, что подведомственно прикладной ботанике. Пусть овладеет английским, французским и немецким языками»[247].

И все же не только новички, но и маститые ученые охотно покидали насиженные места, оставляли лаборатории, кафедры, опытные станции и шли работать в Отдел прикладной ботаники к Вавилову. Он умел направлять усилия многих и разных ученых в русло единого стратегического замысла, но не покушаться на их творческие индивидуальности. У каждого были излюбленные темы, особый исследовательский почерк – Вавилов это ценил и ни в коем случае не хотел подавлять. Сознавая себя частью большого целого, люди чувствовали, как раздвигаются горизонты, как их малая, узконаправленная работа становится частью большого дела.

Едва обосновавшись в Петрограде, Вавилов направил в разные агрономические области страны специалистов для изучения местной культурной флоры и составления монографий по типу его собственной монографии о полевых культурах юго-востока. Так создавалась многотомная «Культурная флора СССР», которую Вавилов начал выпускать под своей редакцией.

Параллельно Отдел (с 1924 года – Институт) прикладной ботаники вел ботаническое определение растений по отдельным культурам, для чего были созданы соответствующие отделения.

Не довольствуясь чисто ботаническим изучением, Вавилов создал отделы физиологии, генетики, цитологии, иммунологии, лабораторию мукомольных и хлебопекарных качеств хлебов.

Он расширял сеть опытных станций – от западных рубежей до Владивостока и от Заполярья до Средней Азии. «До 1930 года Н.И.Вавилов организовал в системе ВИРа 20 опытных станций и 60 испытательных участков»[248]. Параллельно он расширял сотрудничество с опытными станциями, которые не входили административно в состав его Института.

Как начальник Вавилов был мягок, снисходителен. Прощал промахи и недочеты, старался обходиться без выговоров или других административных мер. Если все-таки к ним прибегать приходилось, он старался перепоручить применение их своему

заместителю:

– Проверни, Евграфыч, это дельце – у тебя сердце волосатое…

Но как руководитель Вавилов был требователен. Умел поддержать сотрудника в трудную минуту, умел и отчитать его. Примеры того, как он отчитывал через океан Бородина, мы приводили.

А вот штрих, еще более выразительный и, что важнее, результативный.

Три года велась переписка Вавилова с директором Тифлисского ботанического сада П.М.Жуковским об экспедиции в Малую Азию. Вавилов давал многочисленные советы, подробные инструкции, обещал достать деньги, выхлопотать визу на въезд в Турцию. И вдруг стал замечать, что колеблется сам Петр Михайлович. В Тифлис летит письмо: «Очень будет досадно, если экспедиция не состоится, и на сей раз, думаем, – может быть, ошибочно, – по Вашей вине. Экзамены, посевы, лекции, всё это настолько маловажно в конце концов по сравнению с поездкой в Мал[ую] Азию, что аргументом задержки служить не может <… >. Так вот-с, Петр Михайлович, нужно побольше определенности и прежде всего относительно Вашей поездки. Если Вам по каким-либо причинам принять участие в экспедиции затруднительно, я готов лично сам ехать в Малую Азию, если не в нынешнем году, то в следующем. До сих пор мы считали, что Малая Азия за Вами. Все мы здесь по всем культурам чрезвычайно заинтересованы в осуществлении экспедиции в Малую Азию во что бы то ни стало».

Экспедиция в 1925 году состоялась. По оценке Вавилова, «Жуковский ее провел блестяще: материал собран превосходный, огромный. Теперь создает гербарий и вообще, по-видимому, будет одним из лучших наших сотрудников. В июне и июле, если не остановят, придется ему снова ехать в Малую Азию доканчивать Восток»[249].

В 1926 году Жуковский снова путешествовал по Малой Азии, но дело опять не было доведено до конца. Вавилов, будучи сам в экспедиции по странам Средиземноморья, инструктировал из Рима своего заместителя В.Е.Писарева: «Малую Азию, к сожалению, П.М.Жуковский не кончил. Надо иметь в виду и отправить его в апреле, не позже»[250].

Три сезона подряд Жуковский ездил в Турцию. Обследовал Малую Азию, Сирию, Месопотамию. Исколесил их вдоль и поперек, собрал 10 тысяч образцов растений. Его фундаментальный труд «Земледельческая Турция» вышел под редакцией Вавилова.

Иная сторона «руководящего стиля» Вавилова

обнаруживается в его отношениях с Г.Д.Карпеченко, которому он предложил возглавить Отдел генетики.

Карпеченко удалось небывалое: он получил плодовитые гибриды редьки с капустой, то есть искусственно создал новый вид, даже род растений.

Понятие вида – одно из самых фундаментальных в биологии. В ходе развития науки оно не раз переосмысливалось, уточнялось, становилось более глубоким. Одно оставалось неизменным: виды отграничены друга от друга природным барьером – нескрещиваемостью. Преодолеть этот барьер удается редко, а когда удается, то гибридные растения, как правило, бесплодны. (Как лошаки и мулы в мире животных: они появляются от спаривания ослов и лошадей, то есть в результате отдаленной гибридизации, но сами они бесплодны.)

В клетках капусты и редьки равное число хромосом (18), но качественно они несходны. Обычные скрещивания, когда сливаются половые клетки с половинными наборами хромосом (9 + 9), не удаются.

Георгий Карпеченко нашел способ обработки подопытных растений, благодаря чему при образовании половых клеток набор хромосом не уполовинивался, а при слиянии – удваивался. У дочерних организмов их было не 18, а 36. Рукотворное чудо природы! Растения выросли крупные, мощные, а главное, – плодовитые. Каждая хромосома могла найти свою пару, чтобы танцевать с ней танго[251]. К сожалению, от редьки новое растение унаследовало несъедобную ботву, а от капусты – несъедобную корневую систему, практической пользы не было. Но для науки это был клад. Барьер нескрещиваемости был преодолен, причем даже не на видовом, а на родовом уровне!

Плодовитый межвидовой, а тем более межродовой гибрид, полученный Карпеченко, расширял горизонты генетической теории. Вскоре полиплоидия и амфидиплоидия[252] станут важнейшими направлениями практической селекции. Основа этого – в пионерских работах Карпеченко.

Оформив молодого ученого в свой институт, Вавилов отправил его в заграничную командировку, дав «миллион заданий». Главное из них – *подковаться* новейшими знаниями, идеями, методами исследований.

Карпеченко работал в лабораториях Бэтсона в Англии, Баура в Германии, Лотси в Голландии, Чермака в Австрии, на Свалёвской станции Нильсона-Эле в Швеции… За неполный год он побывал в девяти странах Европы. Его доклады об отдаленной гибридизации, с демонстрацией капустно-редичного чуда, принесли ему репутацию одного из самых перспективных

молодых генетиков мира.

Однако, ближе познакомившись с работой его лаборатории, Вавилов остался недоволен. Все сотрудники, нанятые Карпеченко перед отъездом за границу, были цитологами.

Поскольку в институте был сильный Отдел цитологии во главе с Г.А.Левитским, Николай Иванович посчитал это излишней роскошью. Складывалось впечатление, что Карпеченко не считал нужным координировать свою работу со смежными отделами.

Вавилов послал ему в Лондон необычайно резкое письмо. Высказав ряд претензий, подвел итог: «Смысл нашего учреждения – его безусловная полезность стране, и нужно уметь сочетать свои личные устремления с общими. <…> Во всяком случае, Вам придется внимательно учесть нужды Института в генетическом методе и занять такое примерно положение, какое занимают лаборатории физиологическая, цитологическая, биохимическая»[253].

Аналогичный и, вероятно, еще более резкий выговор Карпеченко получил от Писарева.

В ответном письме он решительно отверг все упреки и обвинения.

«Я усмотрел в них [в письмах Вавилова и Писарева] и то, что Вы забыли наши осенние разговоры, и то, что Вы переоцениваете наши силы, возлагая на нас слишком многое, и то, что Вы игнорируете текущую работу лаборатории по экспериментальной] полиплоидии. <…> Откуда Вы взяли, что я печатаю свои работы за границей, “в лучшем случае с указанием на то, что эта работа сделана на счет того или иного учреждения”? Я напечатал в Англии в 24-м году одну статью о гибридах – и только. Сделано это было по совету Н.И.Вавилова, при содействии его – о чем в статье даже упомянуто. Думаю, что я никогда не напечатаю здесь что-либо, что не будет опубликовано также в России. Я такой же патриот самостоятельности нашей науки, как Вы с Виктором Евграф[овичем]. Вы это знаете»[254].

Карпеченко настаивал на том, что взял именно тех сотрудников, какие нужны, ибо генетическое изучение отдаленных гибридов неотделимо от цитологического анализа. Он это усвоил еще в Петровке – от своих учителей С.И.Жегалова и А.Г.Николаевой. Отпор был убедительный и довольно жесткий. Но Карпеченко нисколько не обиделся на Вавилова. Размолвку счел недоразумением, вызванным тем, что Николай Иванович ожидал от него слишком многого. Несколько раньше он писал Вавилову: «Не ждите от меня ничего особенного. Нет хуже положения человека, долженствующего оправдывать большие надежды. Я думаю, Вы это по себе знаете. Мои знания невелики.

Вспоминая терминологию Фортунатова, скажу, что у меня, очевидно, слишком много быстрого понимания и это идет в ущерб моему знанию»[255].

Инцидент не омрачил их отношений. Карпеченко с нетерпением ждал писем Вавилова, сам писал ему подробно, и не только по делу. Отношения стали еще более сердечными после кончины А.Г.Николаевой. Для Карпеченко она была не только учителем, но другом, старшей сестрой.

Подъяпольский, с которым Николай Иванович познакомил Александру Гавриловну в 1920 году, вылечил ее от мигреней. Но у нее открылась чахотка, она медленно угасала на глазах у Карпеченко. Он был уже за границей, когда получил известие, что ее состояние резко ухудшилось. «Ужасно… Я теряю своего единственного, истинного друга… Тяжело… В 23 года у меня умер отец… Не знаю, как Вы, а я не могу привыкнуть к этому “обыкновенному явлению” – смерти»[256]. Вскоре Александры Гавриловны не стало…

Отвечая на письмо Николая Ивановича, в котором тот сообщал, что собирается в страны Средиземноморья и Абиссинию, Карпеченко писал: «Я очень интересуюсь Вашей поездкой и немножко тревожусь за Вас. Пишите же, не забывайте. Я уверен в искренности Ваших дружественных] отношений ко мне, видел тому уже много доказательств, очень признателен Вам за это и как ответ могу только сказать, что я искренне к Вам привязан. Пишите же… Ваши письма доставляют мне большое удовольствие, напоминающее то, какое я, бывало, имел всегда от длинных писем Александры Гавриловны»[257].

Совместная работа и дружба их длилась до 6 августа 1940-го – дня ареста Николая Ивановича. Следом был арестован Карпеченко. Последняя их встреча – 25 июня 1941-го, на очной ставке, в кабинете следователя Хвата…

4.

Число пунктов географических посевов, о которых Вавилов писал Бородину, с пятнадцати возросло до ста пятнадцати. Около двухсот одних и тех же сортов разных растений высевалось из года в год на этих пунктах – от Заполярья до Средней Азии, от Питера до Владивостока. Сотни тысяч образцов стекались ежегодно в Петроград, на Морскую, 44. Ботаники, физиологи, биохимики проделали с ними «несколько миллионов измерений и вычислений», как писал Вавилов. Цель опытов состояла в том, чтобы понять закономерности в поведении одних и тех же сортов

в разных условиях географической среды.

В 1927 году Вавилов доложил о предварительных итогах географических опытов на Международном съезде в Италии и был награжден золотой медалью. Поражал не только размах работы, проводившейся по единому плану на всей территории огромной страны, но и ее результаты. Вавилов выявил закономерности, о каких раньше не подозревали. Оказалось, что с продвижением на восток, в засушливые черноземные области, содержание белка у одних и тех же сортов пшеницы значительно возрастает, а вот у большинства бобовых культур – почти не меняется. С продвижением к северу часть культур замедляла свой рост и развитие, что можно было ожидать, так как растения получали меньше тепла. Но у других видов и сортов рост и развитие с продвижением к северу убыстрялись! Оказалось, что не только количество тепла определяет сроки созревания растений, но и продолжительность солнечного освещения. Само это явление уже было известно науке, но на множестве конкретных сортов оно было впервые прослежено в вавиловских географических опытах. Выявилось, что некоторые теплолюбивые культуры можно продвинуть далеко на север: благодаря длинному дню они успевают дать плоды за короткое северное лето. Пределы северного земледелия оказались практически безграничными.

Идея продвижения земледелия на север была очень близка Вавилову. Он не раз подчеркивал, что в своем историческом развитии земледельческая культура распространялась из наиболее благоприятных, близких к субтропикам широт, на юг в тропики и в особенности на север. Вавилов считал, что наука может и должна способствовать этому процессу Заведующему Северо-Двинской опытной станцией Ф.Я.Блинову он писал в июле 1925 года: «Нужно, чтобы получилась ясная картина, что селекция действительно может быть полезна на севере, притом не только на квадратных аршинах, но и на сотнях десятин. За последний год по всем нашим опорным пунктам убеждались в необходимости быстрого перехода с аршинов на десятины».

Уже в 1923 году Вавилов добился создания опорного пункта (с 1931 года – опытной станции) за полярным кругом, в Хибинах. Заведовать этим пунктом он направил своего энергичного ученика, только что окончившего Петроградский сельскохозяйственный институт, Иоганна Гансовича Эйхфельда. Он выращивал овощи, кормовые травы, проводил сравнительные испытания различных сортов зерновых культур, вывел ряд скороспелых сортов, районированных на крайнем севере.

Эйхфельд не умел или не имел вкуса литературно

обрабатывать свои результаты, за что Вавилов мягко, но настойчиво ему выговаривал. В то же время Николай Иванович широко пропагандировал успехи Полярной станции, благодаря чему имя Эйхфельда стало широко известно в стране.

Географические опыты открывали новые возможности и для теоретического осмысления взаимодействия организма со средой обитания, и для практики сельского хозяйства, но они были остановлены при Трофиме Лысенко. Н.В.Тимофеев-Ресовский, уже в 1970-е годы, настаивал на том, что географические опыты по методике Вавилова должны быть продолжены. Они должны прояснить один из самых сложных вопросов генетики: вопрос о пластичности видов.

Центры происхождения

1.

Таблицы гомологических рядов, составлявшиеся сотрудниками Отдела прикладной ботаники для разных видов и родов растений, были примечательны не столько заполненными клетками, сколько пустыми. Эти пустые клетки впервые показали исследователям, как *мало* еще собрано культурных растений. Стало ясно, что все описанные к тому времени формы – это лишь небольшой архипелаг островов, за которым должны лежать неоткрытые континенты.

…В директорском кабинете Всесоюзного института растениеводства справа от двери стоит книжный шкаф. Перед шкафом, почти посреди кабинета, большой письменный стол, поставленный так, что сидящий за ним оказывается спиной к двери. В стене, противоположной окнам, камин, давно бездействующий. Вдоль стен еще несколько книжных шкафов. Всё остальное пространство занимают два ряда кресел и диванов, обитых черной кожей.

Впервые я побывал в этом кабинете в 1960-х годах; меня заверяли, что в нем ничего не изменилось с тех времен, когда собирал последние совещания Николай Иванович.

Но при жизни Вавилова обстановка кабинета менялась. В те годы, когда комната еще отапливалась камином, мебели в ней почти не было, потому кабинет казался просторным.

Сотрудники и посетители, входившие к Вавилову, часто заставали его лежащим на полу на большой географической карте. Нисколько не смущаясь, Николай Иванович предлагал вошедшему лечь рядом и, водя по карте карандашом, начинал возбужденно рассказывать…

Литература о происхождении культурных растений была необъятной.

Еще в конце XVTII века в этом направлении трудился английский ботаник Роберт Броун, прославившийся открытием броуновского движения.

Немало сведений о происхождении культурных растений содержалось в трудах историков, археологов, лингвистов. Среди остатков древних поселений археологи находили зерна пшеницы, ячменя и других культур, что говорило о большой древности земледелия. П.М.Жуковский впоследствии оценивал, что

земледелие возникло более 20 тысяч лет назад.

Классические труды посвятил происхождению культурных растений женевский ботаник Альфонс Декандоль. Он подверг критике попытки историков и археологов своими методами разрешить загадку происхождения земледельческой культуры. Историки, говорил Декандоль, не различают особенностей растений, путают их. Только ботанику по силам такая задача.

Декандоль указал и путь к истокам земледелия. Он рассуждал просто. Растения вводились в культуру из дикой флоры – значит, надо искать диких родичей культурных растений. Район их обитания и будет тем центром, из которого произошло данное культурное растение. Декандоль описал 247 культурных видов. Ко времени, когда этим вопросом занялся Николай Вавилов, для 194 из них были найдены дикие родичи и для 27 – полудикие. Казалось, всё идет хорошо: оставалось не так много культур, для которых дикие родичи еще не были отысканы. Но когда Вавилов углубился в труды Декандоля и его последователей, его карандаш стал рассыпать на полях вопросительные знаки.

Вавилов соглашался с женевским ботаником в том, что полагаться только на археологические и исторические данные нельзя, хотя их надо учитывать. Остальное казалось спорным. Во-первых, нельзя поручиться, что дикий родич того или иного культурного растения в древности обитал там же, где его находят теперь. Иные дикие виды произрастают на очень обширных территориях – где же именно человек начал его возделывать? Об этом теория Декандоля ничего не говорила. И главное: нет уверенности, что найденные в природе дикие *родичи* были *родоначальниками* возделываемых видов. *Прямые предки* многих культурных растений могли давно погибнуть в борьбе за существование.

Вавилов переводил проблему в другую плоскость. Еще в Персии, в ходе первой своей экспедиции, он заметил, что с продвижением на юг, к районам древней земледельческой культуры, резко возрастает число ботанических форм. Это наблюдение применительно ко ржи помогло решить вопрос о происхождении этой культуры. Насколько плодотворнее оказался такой подход!

По пути Декандоля задолго до Вавилова шел немецкий исследователь ржи Шиндлер. Он ставил многочисленные опыты, пытаясь превратить дикую многолетнюю рожь в культурную однолетнюю. Все усилия оказались тщетными. Как же могли этого добиться первобытные земледельцы! Да им и в голову не могло прийти – возделывать многолетнюю рожь: у нее ломкий

колос, при созревании зерна осыпаются и развеиваются ветром, урожая не соберешь!

Значит, дикий родоначальник культурной ржи был другим, вероятнее всего, он давно вымер. Выжили те разновидности, что оказались приспособленными к условиям культуры и стали засорять поля ячменя и пшеницы. О том, что сорная рожь превратилась в культурную, а не наоборот, говорило большое разнообразие ее форм на пшеничных и ячменных полях Припамирья.

Большое разнообразие форм — вот ключ к решению загадки происхождения!

Вавилов наносил на карту условные значки, которые соответствовали разновидностям данного вида растений. Карта покрывалась значками неравномерно. Так создавался совершенно новый метод исследования – *дифференциальный ботанико-географический*.

Беря для каждой культуры чистый лист географической карты и испещряя его условными значками, Вавилов видел, что подавляющее большинство разновидностей данного вида концентрируется в одном, сравнительно небольшом районе. Чем дальше от этого района, тем меньше разновидностей. Почти не оказалось видов, для которых уменьшение числа разновидностей в каком-либо направлении затем сменялось бы увеличением или чтобы исчезнувшие разновидности опять появлялись. Разнообразные формы вида как бы разбегались из общего центра, но по пути многие из них сходили с дистанции. При расселении вида из первоначального очага не все формы выдерживают испытания в новых условиях. Эволюция идет не только во времени, но и в пространстве! Отбор здесь действует с той же беспощадностью, но еще более наглядно: ведь природные условия от района к району меняются быстрее, чем в одном и том же районе с течением времени. Географические барьеры преодолевались лишь немногими формами; большинство их так и не вышло из первоначального очага.

С высоты современного знания всё это выглядит достаточно просто. Да и сделано было с видимой легкостью. Но ведь одна из особенностей исследовательского почерка Николая Вавилова была в том, что он умел отходить от шаблонов, по которым двигалась мысль его предшественников.

Научные интересы Николая Вавилова лежали в таких областях знания, которые разрабатывались задолго до него. Острый плуг его мысли врезался в пласты не целинные, трудность поднятия которых сполна оплачивается полновесным урожаем. Он шел по вспаханной и перепаханной борозде, из которой,

казалось, выжаты все соки. Но он пахал глубже своих предшественников.

А легкость, с которой всё это делалось, была, конечно, кажущейся. С докладом о происхождении культурной ржи Вавилов выступил в 1916-м, а книгу о центрах происхождения опубликовал в 1926 году. Десять лет ушло на то, чтобы ощутить эту до неподвижности медленную и все же неумолимо движущуюся эволюцию.

В августе 1922 года Вавилов писал Бородину: «Мы сейчас заняты вопросом о происхождении культурных растений и об установлении центров происхождения культур… Поэтому Вы поймете, какой интерес представляют все курьезы, все эти, для вас, может быть, уже надоевшие, разнообразные сорта. Для нас каждый лишний сорт, морфологически, физиологически определенный, позволяет подойти к вопросам происхождения». И чуть выше в том же письме: «Небольшой материал, который удалось получить из Абиссинии при помощи Вашингтона, в бытность мою там, совершенно заново осветил вопрос о происхождении ячменей и пшениц». И еще выше: «Нужна земляная груша, нужны бататы; пошлите, пожалуйста, возможно больше земляного ореха, высеем на будущий год полдесятины в Воронежской губернии, там он вызревает. Вышлите возможно больше сортов, хотя понемногу, но лучше побольше, и затем паки и паки завяжите сношения с Тунисом, Алжиром, Марокко, Суданом, Индией, Японией, Индостаном, Индокитаем»[258].

Не дожидаясь, пока раскачается Бородин, Вавилов шлет письма по раздобытым адресам в Тунис, Алжир, Египет, в другие страны. Просит ученых Италии раздобыть горсточки семян из итальянской колонии Эритреи и соседней с ней Абиссинии (Эфиопии).

Картина постепенно прорисовывается все более четко: «Исследования привели к тому, что возникли культуры в горных районах Азии и Африки, откуда они разошлись. В горных районах Северной Африки и Азии до сих пор заключено всё сортовое богатство. Эти районы являются племенными рассадниками. Удалось схватить схему происхождения растений, что и заставляет нас с такой настойчивостью добиваться во что бы то ни стало материалов из этих районов»[259].

Факты вовсе не были такими послушными, чтобы безропотно укладываться в схему.

Та же рожь вводилась в культуру не в центре ее происхождения, а за тысячи километров от него, в разных местах, будучи вынесена из центра пшеницей и ячменем. Но только ли рожь вводилась в культуру таким необычным образом? Нет,

конечно. Экспедиция Писарева показала, что овес в Монголии и Китае засоряет поля более ценных злаков и с продвижением к северу сам становится культурным растением. Е.И.Барулина то же установила для вики, засоряющей чечевицу. Вавилов дерзает на обобщение: есть две группы культурных растений – первичные и вторичные, которые вошли в культуру из сорняков!

Причем оказалось, что биологическую эволюцию вторичных растений удается проследить детальнее, чем большинства первичных, но не удается точно указать географический район их вхождения в культуру, так как сорняки, по-видимому, вводились в разных местах и в разное время. У первичных культур наоборот: центр их происхождения определяется довольно четко, но гораздо труднее проследить путь их биологической эволюции, так как связующие звенья между дикими и культурными формами для многих из них утрачены. «Мы имеем налицо результат резко выраженного тысячелетнего отбора, и восстановить все исторические звенья представляется фантазии в более или менее правдоподобной форме», – писал Вавилов.

Но и в такую схему некоторые культуры не хотели укладываться. Например, особый вид пшеницы – полба.

Поразительная бедность признаков. И никаких заметных районов их концентрации. Вообще никаких закономерностей в распределении признаков. В одних районах их больше, в других меньше; внезапно полба вообще исчезает из культуры, а через тысячу километров появляется, чтобы потом опять исчезнуть.

Вавилов установил, что полба засоряется овсом, который в некоторых местах вытесняет ее из культуры, и что в древности она была широко распространена. В Иране он подметил интересную особенность: полбу возделывали только в армянских деревнях. По литературе выяснил, что культура полбы вообще приурочена к определенным этническим группам. Так, ее возделывали башкиры, а в соседних русских деревнях она не встречалась, хотя природные условия были сходные.

И наконец, обобщение: полба – древняя вымирающая культура. Она рассеялась по свету очень давно, поэтому и трудно найти центр концентрации ее генов. Другие виды пшеницы были введены в культуру много позднее, но, оказавшись более ценными, вытесняли полбу. Потому она сохранилась в культуре островками, главным образом у малых народов, живущих замкнуто, изолированно от соседей.

Но вот новые препятствия. Пока формы, взяв старт, только начинают свой марафон из центра происхождения, всё идет «правильно». С каждым шагом остается меньше разновидностей, остальные продолжают бег, пока внешние условия не заставят и

их сойти с дистанции. Но чем меньше остается бегунов, тем чаще к ним присоединяются другие: с признаками и свойствами, каких не было на старте. Вблизи финиша новые формы иногда совсем вытесняют прежние.

Как это понять? Оказалось, что почти все признаки, появляющиеся вдали от центра происхождения, – рецессивные. Если, например, скрестить высокорослый северный лен с южным низкорослым, то в первом поколении северный, рецессивный признак не проявится, а дальше пойдет обычное менделевское расщепление.

Но тогда всё ясно! В центре происхождения сосредоточено большое разнообразие форм данного вида; они скрещиваются между собой, у потомков проявляются доминантные признаки. При удалении от центра меньше остается форм, больше шансов сойтись вместе формам со сходной наследственной основой; при скрещивании происходит выщепление рецессивов. Если условия среды для них благоприятны, они начинают господствовать. Рецессивные гены выносятся под защитой доминантных признаков аналогично тому, как под защитой культурных растений выносятся сорняки, входящие потом в культуру.

2.

Ну а самое интересное открылось тогда, когда Вавилов перенес на чистый лист географической карты установленные им центры происхождения отдельных видов. Для многих культур они совпали!

«Культура поля идет всегда рука об руку с культурой человека». Первобытный земледелец, начав возделывать какое-то растение и *увидев, что это хорошо*[260], стал возделывать второе, третье, четвертое… Постепенно земледелие превратилось в его основное занятие, он перешел к оседлости. Так образовалась первобытная земледельческая культура!

Всё это было ново, необычно. В марте 1924 года Вавилов писал Рудзинскому: «Написал работу “О происхождении культурных растений”. В ней много ересей, в которых, правда, я сам убежден»[261].

Вавилов выделил пять основных очагов происхождения культурных растений: горные районы Юго-Западной и Юго-Восточной Азии, Средиземноморье, горную Абиссинию, Южную и Центральную Америку. Впоследствии границы очагов уточнялись, появились новые очаги – первичные и вторичные.

При дальнейшем, более детальном изучении центр

происхождения некоторых культур определялся заново. Николай Вавилов сам, более чем кто-либо, вносил поправки в первоначальную картину, так как считал ее приблизительной.

Установив основные очаги происхождения культурных растений, Вавилов попытался выяснить, что же между ними общего. Оказалось, что все центры лежат близко к тропическим широтам и все приходятся на горные страны с умеренным климатом.

Горные страны! Это особенно важно. В горах внешние условия очень разнообразны, а значит, в них могут сохраняться и разнообразные формы растений.

Но если так, то, может быть, нет оснований считать центр сортового *разнообразия* культурного растения также и центром его *происхождения*? Может быть, в горах разнообразие форм определяется разнообразием внешних условий?

Вавилов учитывал возможность такого возражения.

Он указывал, что при всем разнообразии пшениц Афганистана в нем отсутствуют виды пшениц, характерные для Абиссинии, и наоборот; а такие горные системы, как Альпы и Пиренеи, вообще лишены разнообразия культурных растений. Таких фактов много. Поэтому «решающую роль в определении за той или другой горной областью формообразовательного центра имели исторические причины, а не только разнообразие среды».

Изучение *исторических причин* опять сталкивает Вавилова с работой Льва Мечникова «Цивилизации и великие исторические реки». Но теперь он подходит к ней более критично. Исторические факты, на которые опирался Мечников, неоспоримы, но они недостаточны. Действительно, цивилизация Древнего Египта возникла на берегах Нила; Вавилона – на берегах Тигра и Евфрата; Древней Индии – на берегах Ганга и Инда; Китая – в долинах Янцзы и Хуанхэ. Это невозможно оспорить. Но отсюда ли идет самое начало земледельческих цивилизаций?

«Вдумываясь в процесс развития земледельческой культуры, мы неизбежно должны признать, что периоду великих культур, объединивших многоплеменной состав населения, предшествовал, естественно, период обособленной жизни племен и небольших групп населения в замкнутых районах, и для этой цели горные районы могли служить прекрасными убежищами. Обуздание больших рек, овладение Нилом, Тигром, Евфратом и другими великими реками требовало железной деспотической организации, создания плотин, регуляторов затопления, требовало организованных массовых действий, о которых не мог мечтать первобытный земледелец Северной Африки и Юго-

Западной Азии. Всего вероятнее поэтому, что так же, как центром сортового разнообразия, очагами первоначальной земледельческой культуры были горные районы. Овладение водой для полива не требует здесь больших усилий. Горные потоки легко могут быть отведены самотеком на поля. Высокогорные районы нередко доступны неполивной культуре в силу большого количества осадков в высокогорных зонах. В земледельческих районах Горной Бухары, в Бадахшане можно видеть до сих пор разнообразные примитивные этапы земледельческой эволюции, сохранившиеся, вероятно, неизменными целые тысячелетия и иллюстрирующие до сих пор различные фазы земледельческой культуры».

Но эти умозрительные соображения в пользу горного происхождения земледельческих цивилизаций Вавилов считал лишь дополнением к основному аргументу – разнообразию форм культурных видов, включая большое число эндемичных, то есть таких, которые больше нигде не встречаются. Такие формы не могли быть занесены извне, они могли сформироваться только на месте. Скопление генов культурных видов приурочено, как правило, к тем горным районам, к которым непосредственно примыкают великие цивилизации древности и где берут начало великие реки. Истоки Нила – в горах Абиссинии; Тигра, Евфрата, Инда – в горах Юго-Западной Азии. Очевидно, земледельческие культуры, возникнув и первоначально развившись до некоторого уровня в горных районах, затем спускались в долины великих рек, где и достигли своего расцвета и могущества. Пусть археологические данные бедны, чтобы по ним можно было с определенностью судить о зарождении цивилизаций в горных районах, – концентрация генов культурных видов – более надежный инструмент, чем археологические находки. Растения вводились в культуру много раньше, чем появились первые исторические документы, надписи, наскальные рисунки, памятники материальной культуры. Да и время к таким документальным свидетельствам беспощаднее, чем к генам растительных форм. Начальный этап развития земледелия не обязательно должен был сопровождаться строительством храмов и дворцов, раскопки которых так привлекают археологов. «Ботаник может поправить историка и археолога», – уверенно заявлял Вавилов[262].

Часть третья
Шагая по глобусу

Афганистан

1.

«Иностранец, которому случится попасть в Афганистан, будет под особым покровительством неба, если он выйдет оттуда здоровым, невредимым, с головой на плечах».

Так писал английский путешественник Феррье.

Полторы тысячи верст прошел Вавилов в 1916 году вдоль границы Афганистана. С жадностью всматривался в противоположный берег Амударьи. Выпрашивал у крестьян образцы растений, невесть кем привезенных с того берега. Но перейти границу не мог.

У подножия Гиндукуша издавна сталкивались интересы двух крупнейших империй мира – Британской и Российской. Индия – жемчужина британской короны – не давала спать заправилам английской политики. Ревниво следили они за продвижением русских в Среднюю Азию. Русские вышли к Тянь-Шаню. Подчинили Кокандское ханство. Бухару.

Последний форпост, буфер на пути в Индию – Афганистан.

В XIX веке русские посольства дважды прибывали в Кабул. Оба раза не скупились на подарки и посулы афганскому эмиру. И оба раза вслед за тем вспыхивала англо-афганская война.

Афганцы умели дать отпор хорошо вооруженным и обученным английским войскам. Заманенные вглубь страны британцы гибли в узких ущельях. Из двадцатитысячной армии, участвовавшей во втором походе на Афганистан, мало кому удалось вернуться живыми.

Но что не смогли сделать свинец и железо, постепенно делали фунты стерлингов. Афганистан все более попадал в зависимость от Великобритании.

В 1907 году Россия и Англия вели переговоры о заключении союза для противостояния набиравшей военную мощь Германии. Чуть ли не главным препятствием к договору был вопрос об Афганистане. Россия, ослабленная Русско-японской войной и революцией 1905 года, должна была уступить. Она согласилась признать Афганистан сферой интересов Великобритании – с правом контролировать внешнюю политику эмира. Афганистан, и раньше малодоступный, стал совершенно закрыт для России.

Декорации на мировой политической сцене коренным образом переменились после большевистской революции. В 1919 году недалеко от Кабула был убит эмир Хабибулла-хан,

проводивший пробританскую политику. После короткой борьбы престол занял его сын Аманулла. Он взял курс на реформы, ограничивавшие власть мусульманского духовенства, официально провозгласил независимость Афганистана. Кремль тотчас ее признал, а Афганистан стал первым государством, признавшим Советскую Россию.

Такое развитие событий никак не могло устроить Великобританию. Она двинула из Индии войска, разразилась Третья англо-афганская война. Силы эмира потерпели чувствительное поражение, но англичане сами запросили мира. Независимость Афганистана была завоевана.

В 1921 году был подписан договор о дружбе между Советской Россией и Афганистаном. Казалось бы, политические преграды для русского путешественника рухнули. Но возникли не менее жесткие преграды: финансовые.

«Начал будировать вопрос об экспедиции в Афганистан», – писал Вавилов 20 декабря 1922 года А.К.Гольбеку. Он «готов ехать в самом скромном виде», готов «распродать часть книг, часть оптики и хотя бы пешим образом отправиться в Афганистан».

Но в планы снова вмешалась политика.

Англичане шлют эмиру ультиматумы: требуют не пускать в страну «красных агитаторов». Сам эмир, привыкший ждать от соседей только каверз, тоже не очень верит в мирные цели советской экспедиции.

Приезжая в Москву, Вавилов по многу часов проводит в Наркомате земледелия и Наркомате иностранных дел. Посещает афганское посольство. Объясняет цели экспедиции, преподносит подарок эмиру – коллекцию сортов хлебных злаков, возделываемых в России: «Пусть не думают, что мы хотим оккупировать Афганистан».

Экспедиция была запланирована на вторую половину 1923 года. Вавилов тщательно к ней готовился.

Но!..

Появляется нота Керзона. Министр иностранных дел Великобритании обвинил советское правительство во враждебных действиях против нее в таких странах, как Афганистан, Иран, Индия. Британия усмотрела в этом нарушение условий торгового договора 1921 года: стороны обязались воздерживаться от каких-либо действий друг против друга в третьих странах. Керзон выдвинул ряд требований, для их удовлетворения давалось 10 дней; в случае их невыполнения Британия грозила расторгнуть торговый договор. Одно из ее требований – отзыв из Афганистана и Ирана полпредов, лично виновных в распространении

антибританской пропаганды и других враждебных акциях.

В ответ Кремль развернул бешеную кампанию против *ультиматума Керзона.* На улицах Москвы, Питера, других городов проводились массовые демонстрации протеста – с гневными лозунгами и плакатами. Газеты, журналы, даже этикетки спичечных коробок запестрели издевательскими карикатурами на *лорда Керзона.* А втихую большинство требований было удовлетворено, хотя и не в 10-дневный срок. Очень уж не хотело советское руководство разрывать торговый договор с Англией: он был важен политически, как один из первых прорывов в стене тотальной изоляции советского государства – пролог к его международному признанию.

Из Афганистана был отозван полпред Федор Федорович Раскольников – бывший балтийский моряк, герой Октября и Гражданской войны, пламенный агитатор. В Кабул направили Леонида Николаевича Старка – профессионального дипломата, интеллигентного и обходительного человека. Старк, конечно, был членом партии, но не таким громогласным р-р-революционером, как Раскольников.

Но экспедиция Вавилова в Афганистан была сорвана. «Ее проведение как раз совпало с нотой Керзона и поэтому временно пришлось отложить. Экспедиция была почти что приготовлена, на три четверти все сборы были закончены; ушло много времени и на подчитку литературы, и персидский язык, и всё прочее», – с горечью писал Николай Иванович Бородину 9 июля 1923 года. Тут же, впрочем, добавлял со свойственным ему оптимизмом: «Но рано или поздно мы туда попадем».

Он сразу же начал хлопоты об организации экспедиции в следующем году, и снова натолкнулся на, казалось бы, непреодолимые преграды. Теперь осторожничает афганский эмир, не желающий осложнять отношения с Британской империей. К тому же к экспедиции «поостыл Наркомзем».

Вавилова это не обескуражило.

«Я определенно решил ехать в Афганистан. Пока в средствах отказано, но мы готовы с Букиничем ехать в самом скромном виде, хотя бы с минимальной суммой, которую скроим из Отдельских сумм путем распродажи части имущества»[263].

А визы все нет.

Уже потеряв надежду, Вавилов обратился к профессору И.Н.Бороздину – президенту Научной ассоциации востоковедения. Предложил поднять перед наркомом иностранных дел Г.В.Чичериным вопрос о предоставлении Ассоциации особых прав на снаряжение экспедиций.

«Больше того, было бы важно, чтобы в [дипломатические]

миссии включались научные работники. Представительства, знаю по опыту путешествий по Востоку, изнывают от скуки где-нибудь в Тегеране, Кабуле и Кандагаре: грамотный человек мог бы сделать в тех же условиях большое и нужное дело».

Это была счастливая мысль! Дипломатические отношения между Кабулом и Москвой давно установлены, против въезда в страну официальных советских дипломатов афганские власти возражать не могли.

«Участники экспедиции были зачислены в состав нашего полпредства в Афганистане: профессор Н.И.Вавилов в качестве референта по заключению торгового договора с Афганистаном, селекционер Сортоводо-Семеноводческого управления Сахаротреста В.И.Лебедев и инженер-агроном Д.Д.Букинич в качестве курьеров НКИ». (Средства на столь долгожданное путешествие ассигновала богатая организация Сахаротрест, поставив условием, что одним из участников экспедиции будет ее представитель.)

И вот Вавилов уже пишет друзьям, что в апреле отправится на пять месяцев в Туркестан и Афганистан.

В апреле выехать он не смог, дата переносится на начало мая. Но вопрос все еще не решен: «5-го числа выезжаю в Москву, чтобы двигаться в Туркестан. Букинич уже выехал. С Афганистаном дело по-прежнему. Экспедицию в полном составе вряд ли впустят. Если удастся проехать, то одному, двум из нас. Ситуация внутри Афганистана не очень благоприятная, начались восстания»[264].

12 мая он пишет Бэтсону – уже из Москвы: «Сегодня собираюсь в Туркестан»[265].

В Туркестане он проводит два месяца, собирая растения и продолжая пробивать экспедицию в Афганистан. Дальше медлить нельзя: уже близок конец сельскохозяйственного сезона. 18 июля он сообщает Бэтсону: «Завтра я надеюсь отправиться в Афганистан и через 3–4 дня быть в Герате. Получить визу и разрешение пересечь эту страну было очень трудно. Это несколько поздновато для меня, но лучше поздно, чем никогда. Эта страна в высшей степени интересует меня, поскольку, как мне кажется, здесь могут проясниться некоторые проблемы происхождения пшеницы, ржи и других культурных растений»[266].

2.

Вавилов знал на три четверти, что надо искать в Афганистане. Так он писал в письмах. И все же он четырежды

менял маршрут путешествия, подготовленного и продуманного, казалось бы, до мельчайших деталей.

Первая остановка – Герат. Благодатный оазис, как бы раздвинувший голые фиолетовые скалы. Тенистая зелень садов перемежается с желтеющими нивами пшеницы, алые квадраты опийного мака – с белоснежными полями хлопчатника. Густая сеть оросительных каналов затрудняет передвижение. Огромные каменные башни, похожие на мечети, – это голубятни, в которых крестьяне собирают помет на удобрение. Величественные минареты, воздвигнутые еще грозным Тимуром, напоминают о былом величии города, а вонь и грязь узеньких улиц, куда по наклонным желобам прямо со вторых этажей выливают нечистоты, говорят о его убожестве.

В Герате было крохотное торговое представительство Советской России – его возглавлял Петр Александрович Соколов, а единственным сотрудником была его жена Ольга Алексеевна. Прибытие экспедиции с родины стало праздником в их тусклой однообразной жизни, тем более что после ноты Керзона заниматься чем-то помимо официальных обязанностей им строго-настрого запретили. Они приняли путешественников с большим радушием, помогали всем, чем могли.

Путники с утра до вечера в постоянном движении. Букинича больше всего интересуют орудия труда, техника и ирригация земледелия. Вавилов неутомимо собирает образцы растений – полевых и огородных, плодовых и технических, он в восторге от каждого обнаруженного эндема. Ему очевидна связь культурной флоры Гератской долины с возделываемыми растениями соседнего Туркестана, но здесь значительно большее разнообразие форм. Как он и предсказывал.

Пшеница в Герате возделывалась на незначительных площадях. Тем нагляднее было разнообразие форм. Посевы мягкой пшеницы были засорены рожью, причем нашлись формы с осыпающимися колосьями, близкие к дикарям.

Путешественники сфотографировали плуги, которыми земледельцы Герата вспахивали землю. Это были деревянные, примитивные, но совершенно оригинальные плуги, удобные и легкие в работе. Орудия, которыми крестьяне прочищали оросительные каналы, тоже были деревянные, примитивные и – оригинальные.

«Направление путешествия было взято правильно. Мы были у истоков видообразования европейских культурных растений», – напишет позднее Вавилов.

У истоков, вблизи истоков… Но сами истоки были еще не здесь! Среди культурных форм преобладают рецессивные,

а это характерно для вторичных формообразовательных очагов. Изоляция долины способствовала выработке своеобразной культурной флоры, но возделываемые растения когда-то были занесены сюда из другого очага.

Надо двигаться дальше – на юго-восток, в долину Кабула. Там Вавилов ожидал найти первичный центр формообразования.

Путь был намечен кратчайший – по Хазарийской дороге, по которой прошел несколько веков назад на Кабул и дальше в Индию Великий Могол Бабер. Он писал: «Горы Афганистана имеют вид однообразный, высоты – средние, почва – обнаженная, воды – редки, растительности – никакой, физиономия печальная и строгая».

Караван уже был готов к походу, но заболел Букинич.

Болезнь, к счастью, неопасная, но может продлиться недели. Между тем уже август, идет уборка хлебов. Если ждать, упустишь лучшее время…

П.А.Соколов и его жена вызвались позаботиться о Букиниче, с ним можно оставить Лебедева. И, пользуясь вынужденным простоем товарищей, сделать крюк: пройти вдоль северного склона Гиндукуша до Мазари-Шерифа, потом уже, через перевалы, направиться к Кабулу.

Это было первым изменением маршрута.

Другой неприятный сюрприз, с которым Вавилов столкнулся в Герате, – наем лошадей, проводников и всё, за что приходилось платить, – стоило много дороже, чем он ожидал. Сумма, полученная от Сахаротреста, быстро таяла. В отчаянии он шлет письмо в Ташкент Зайцеву: «Трагедия с финансами. Путешествие здесь дороже, чем предполагали. Караван в 8 лошадей + стража до 6 человек (на две партии) через месяц ликвидируют наши средства в самый важный момент. Очень прошу Вас, если найдется малейшая возможность, одолжить мне 500–600 рублей в форме, какую найдете удобной, переслав ее экстренным порядком в Кабул через т. Германа полпреду Старку для меня. С просьбой сделать это весьма спешно. У них бывают дипкурьеры. М.б., успеют даже в Мазари-Шериф. Я еду 7-го [августа] на Маймене, оттуда в Мазари-Шериф, где буду 1 сентября. В Кабуле числа 12 сентября. Отдел вернет Вам эту сумму через 2–3 месяца.

Собираю материал и по хлопку. Особенно много материала по пшенице, бобовым, огородным».

На письме пометка рукой Гавриила Семеновича: «Отвечено и деньги (500 руб.) посланы»[267].

3.

Ночевать приходится в караван-сараях с разными названиями, но очень похожих друг на друга: плоские крыши с круглой дырой для выхода дыма, пролом вместо двери, высокий забор и в нем ворота, смотрящие на восток.

Укусы больших черных вшей мешают уснуть. Лежа рядом с лошадьми и глядя сквозь дыру в потолке на мелкие немигающие в сухом воздухе звезды, Вавилов вспоминал надпись, которую прочел еще в Иране над входом в рабат Аббаса Великого: «Мир не что иное, как караван-сарай, а мы… караван».

Взятый с собой из Ташкента переводчик в Герате тоже заболел; его пришлось отправить назад. Пришлось нанять местного переводчика. Скоро, однако, выяснилось, что языка он не знает, зато неплохо разбирается в спиртных напитках и умеет их доставать в непьющей мусульманской стране. Пришлось переводчика прогнать и по утрам, пока еще спит караван, зубрить фарсидскую грамматику по учебнику на арабском языке.

…Дорога поднимается в гору, пересекает высохшие верховья Кушки, проходит мимо редких посевов пшеницы, ячменя. В горах прохладно, злаки созревают позднее, чем в долине, и стоят еще зелеными. По склонам гор растет арча, выше луга и голые глыбистые скалы, закрывающие небо.

Земледельческое население – туркмены. Потом узбеки. То и дело встречаются черные шатры кочевников. Это выходцы из южных районов: они перебираются сюда каждую весну на богатые пастбища. Немало здесь выходцев из Ирана и Белуджистана. Пестрая смесь племен и народов.

И так же пестр состав возделываемых культур.

Каждый километр приносит новые разновидности и сорта. Культура примитивная, по большей части неполивная.

Хилые урожаи. Никакого сравнения с интенсивной культурой Гератского оазиса. Часть населения ведет полукочевую жизнь: весною, после посева, отгоняют скот в горы на сочные альпийские луга. Многие снимаются целыми селениями, оставляя свои посевы на произвол судьбы. Здесь собрана коллекция этапов, через которые прошло развитие хозяйства: кочевое, полукочевое, оседлое…

В Мазари-Шерифе Вавилова посетил французский археолог профессор Фуше, маленький сухонький господин. Пригласил приехать в Балх, где Фуше вел раскопки, – в 20 километрах от Мазари-Шерифа.

В древности это был крупный город на Великом шелковом пути. Резиденция легендарных царей Персии, родина Зороастра – основателя религии огнепоклонников. Профессор Фуше рассчитывал найти здесь остатки культуры, соперничающей в

своем величии с древнеегипетской и вавилонской. Среди развалин старого города он прорыл глубокие траншеи, обнажил древние стены Бактры. Но то, что он обнаружил, мало отличалось от убогих построек в современном Балхе и соседних кишлаках. Выделялась лишь городская стена из обожженного кирпича да огромные буддийские молельни с куполами, символизирующими водяные пузыри: Будда сравнивал с ними человеческую жизнь, указывая на ее эфемерность.

Не скрывая разочарования, Фуше водил российского путешественника по раскопкам. А Вавилов с трудом скрывал свое торжество: скромные результаты исследований Фуше подтверждали его выводы.

Разнообразие сортов культурных растений говорило о близости центра их формообразования, но сам центр земледельческой культуры был не здесь. Виды были представлены далеко не полным набором генов. Да и местность здесь слишком открытая, не защищенная от вражеских набегов, здесь не могла закрепиться первобытная земледельческая цивилизация.

«Следов интенсивной оседлой высокой культуры, равноценной или хотя бы сходной с великими цивилизациями древности, здесь не удалось найти и, как нам представляется, никогда и не удастся».

Ботаник поправлял археолога.

Распрощавшись с Фуше, Вавилов двинулся дальше.

Караван пересекает бесплодную каменистую степь. Дорога входит в ущелье, и путники на много томительных дней попадают в каменный плен. Со всех сторон высятся скалы. Узкая тропа, лепясь по карнизам, слепо повторяет их изгибы.

С каждым днем путь становится труднее. Тропа завалена камнями и щебнем. Она круто поднимается, потом внезапно спускается в полумрак глубоких каньонов. Пахнет затхлой сыростью. Сочащиеся влагой скалы отвесно поднимаются вверх, их прикрывает узкая полоска густой синевы.

На шестой день, обогнув большой выступ скалы, Вавилов увидел группу всадников, мчавшихся навстречу. Подскакав, они осадили коней. Просят подождать «большого начальника». С начальником случилась беда. Кто-то стрелял и тяжело ранил его. Русский доктор должен помочь начальнику.

Вавилов знает: объяснять, что он не врач, бесполезно; в азиатских странах всякого европейца считают доктором.

– Камерд, – говорит он. – Будем ждать в Камерде.

В рабате Камерд переполох. Афганцы кричат, перебивая друг друга и размахивая руками. Сейчас должны привезти или

принести губернатора области.

Ночь. Но кругом светло. У стоянки каравана сотни людей с горящими факелами. Губернатора приносят на носилках. Он бредит. Вавилов велит вскипятить воду, промывает рану, выливает на нее весь имеющийся в запасе йод, забинтовывает раненого.

Наутро караван догнала свита губернатора. Выразила благодарность. Больной перестал бредить, хорошо спал. Видимо, рана не была серьезной.

Слава о замечательном врачевателе опередила караван, и в дальнейшем в каждом рабате к Вавилову обращались больные. Он снабжал их хиной, а когда она кончилась, аспирином. Особенно много было больных трахомой; им он давал цинковые капли.

На восьмой день пути Вавилов вышел в долину реки Бамиан. Здесь, на высоте двух с половиной километров, издавна обосновалось земледельческое население. Но не видно в долине ни домов, ни шатров или палаток. Люди живут в пещерах. Двенадцать тысяч пещер – естественных и искусственных – разбросано в отвесных скалах. На высокой скале, у впадения в Бамиан реки Ирак, – развалины древнего города Шахри-Зохака. Со времен легендарного Зороастра его воспевали персидские поэты. Через долину Бамиана проходил Александр Македонский. Во II веке сюда пришел буддизм. В хорошо отшлифованных нишах Вавилов видел огромные статуи Будды – высотой от 35 до 53 метров – немые свидетели далеких времен.

Каменные изваяния Будды бдительно следили за сохранением старинного уклада; под их надзором обитатели долины жили так, как их предки тысячелетия назад: в пещерах. Нельзя было сомневаться: культурные растения здесь возделываются те же, что завезли первые поселенцы.

«Лунная ночь около исполинов Будды, у снеговых вершин Гиндукуша, создавала особо торжественное настроение. Казалось, вы заглядываете вглубь тысячелетий», – вспоминал Вавилов[268].

На следующий день он встретил советских дипкурьеров, сообщивших тревожные вести. В южном районе Афганистана вспыхнуло восстание – под лозунгами джихада. Правительственные войска разбиты, повстанцы движутся на Кабул. В столице паника. Европейцы спешат ее покинуть.

Повстанцам сочувствуют горные племена, окружающие Кабул, фанатики-муллы накачивают их ненавистью к *неверным*.

Вавилову пришлось крепко задуматься. О том, что такое ненависть фанатиков-мусульман, он знал еще по своему путешествию в Иран. «Трудно было решить, что делать:

улепетывать или идти на авось, на рожон»[269].

Колебания длились недолго. «Перспектива идти вспять, в Мазари-Шериф, когда еще впереди оставалось три четверти дела, нас не устраивала. Надо было во что бы то ни стало стремиться дойти до Кабула».

Он дошел.

Снова изменил маршрут уже в афганской столице, но это не было связано с военными действиями, которые шли с переменным успехом. На это толкнули научные факты первостепенной значимости.

4.

«Плоские крыши домов, расположенных по всхолмлениям, придают городу своеобразный ступенчатый характер», – пишет Вавилов о Кабуле. И подчеркивает: «Вся жизнь Кабула определяется земледелием».

Второй отряд экспедиции, одолевший под руководством выздоровевшего Букинича сложный, но более короткий маршрут, уже поджидал Вавилова. Поджидали и деньги, посланные не только Зайцевым из Ташкента, но и из Питера.

С полпредом Л.Н.Старком и его сотрудниками у Вавилова установились добрые отношения. Полпредство взяло на себя пересылку диппочтой материалов экспедиции.

Путешественники отправляются по полям, набивают рюкзаки образцами растений. Наблюдают за жизнью афганских крестьян. Букинич, уже освоившийся в Кабульском оазисе, берет на себя роль гида.

Вот афганец пашет свое крохотное поле… Он совсем не налегает на плуг! Идет даже сбоку, лишь слегка придерживая его… Оказывается, конструкция плуга особенная – оттого он так легок в работе!..

Вот люди копошатся у старых развалин… Что они там собирают? Землю!.. Грузят на осликов и везут на свои поля. Ведь долина Кабула – бесплодное каменное плато. Лишь кое-где оно покрыто тонким слоем лёсса. Почти весь пахотный слой здесь создан искусственно. Не зря говорится в старых стихах: «Каждая пядь земли Кабула дороже, чем весь мир».

Сколько же труда, мудрости, творческой энергии нужно было вложить, чтобы вызвать оазис к жизни! Именно здесь появились первые оседлые племена огнепоклонников, создавшие самобытную земледельческую культуру.

Об оригинальности здешней культуры Вавилову, прежде

всего, говорило огромное разнообразие форм возделываемых растений. Подлинное «пекло творения»! Путники с трудом успевали сортировать и запаковывать материал, отправляемый диппочтой, – частью прямо в Питер, частью в Ташкент, на попечение Зайцева. Ему же письмо из Кабула: «Посылаю в НКИД т. Герману 3 места материалов экспедиции (2 ящика в мешках по *1½* пуда и один мешок пуда 1½). Это будет доставлено почтой из Кабула около 5 октября. *Прошу и уполномочиваю Вас взять эти грузы.* Может быть, лучше их хранить у Вас в кабинете в университете. Если придут в сохранности, лучше *не вскрывать до меня.* Надеюсь быть в ноябре у Вас. <…> Покорнейшая просьба принять меры к сохранению материалов экспедиции, защитить их от мышей. Немало образцов добыто буквально с опасностью для жизни, и досадно будет, если они не дойдут по назначению»[270].

Беспокойство о судьбе материалов так велико, что через день он снова пишет Зайцеву – более развернуто и конкретно: «В них материалы маршрута Герат – Кабул, Мазари-Шериф – Кабул. Остальные пересланы в Питер непосредственно». И дальше: «Слишком интересный и важный материал. Среди него коробка с непроявленными фотографиями, etc.»[271].

В Иране в 1916 году Вавилов нашел пятьдесят две разновидности мягкой пшеницы. Здесь их оказалось шестьдесят. В том числе семь новых, ранее вообще неизвестных, эндемичных. Еще больше поражало разнообразие форм другого вида пшеницы – карликовой. Карликовая и мягкая пшеницы – близкие родичи, они легко скрещиваются. Но карликовая отличается трудным обмолотом. Поэтому ее культура мало распространилась по свету. А здесь, в Кабульском оазисе, возделывалось пятьдесят ее разновидностей. Значит, здесь, в небольшом треугольнике между Гималаями и Гиндукушем, сосредоточено почти всё разнообразие 42-хромосомных пшениц. Это первичный район введения в культуру «главного хлеба земли»! Пусть здесь не найдено дикой пшеницы, а виды *эгилопса* — дикого растения, близкого к пшенице, – встречаются лишь в северных районах страны, центр формообразования мягкой пшеницы здесь, в Юго-Восточном Афганистане и, вероятно, в прилегающих районах Индии[272].

Если бы только пшеницы! В Кабульском оазисе Вавилов обнаружил скопление форм сорнополевой ржи. В большом количестве встречались формы с ломким, осыпающимся колосом. После сбора урожая пшеницы поля Кабульской долины бывают сплошь покрыты осыпавшимися колосками ржи; крестьяне вениками выметают их. Здесь же Вавилов смог проследить весь процесс вхождения ржи в культуру! По мере продвижения

пшеницы в горы рожь движется вместе с ней. Сначала из посевов исчезают ломкие формы, а неломкие остаются: их труднее отделить от пшеницы. А потом в суровых условиях высокогорий рожь вытесняет пшеницу. Этот процесс, сначала прослеженный на озимых формах, точь-в-точь повторился и на яровых.

Юго-Восточный Афганистан и прилегающие районы Индии оказались центром разнообразия зерновых бобовых: чечевицы, бобов, нута, чины. Отсюда ведет начало культура моркови и других овощей, некоторых бахчевых и плодовых растений.

Зайцеву он писал в том же письме от 17 сентября: «Сама экспедиция, хотя в общем проходит благополучно, но имела ряд больших неудач. Болел Букинич, заболел переводчик, которого пришлось отправить в Кушку (зря погибло 1000 руб.), пала лучшая лошадь, стерли спины 3 лошади, никуда не годен оказался сахаротрестовский селекционер [Лебедев]. И, наконец, мы находимся здесь, когда идет баталия внутри страны. Пытаемся преодолеть»[273].

Факты демонстрировали торжество теории центров и – требовали новых исследований. Надо было возможно шире охватить Афганистан, чтобы определить границу центра, выяснить, только ли юго-восточный район (и прилегающие районы Индии) входят в него, или центр формообразования включает в себя более обширную территорию.

Вавилов разрабатывает новый маршрут. Лебедева он оставляет в Кабуле, дабы тот добивался разрешения пройти через южные и юго-западные районы страны. (Но на это Николай Иванович мало надеялся, учитывая как обстановку в стране, так и личные качества сахаротрестовского попутчика.) Сам он с Букиничем отправляется на север, в восточную часть Афганского Туркестана. Запланировано, что оттуда, через пограничный пост Ишкашим, они возвратятся в СССР.

5.

Перевал Саланг двугорбый, как спина верблюда. Первый подъем нетруден – путешественники одолевают его, не сходя с лошадей. Но после спуска – крутой подъем на новый перевал. Тропа завалена скользкими камнями. Часто идет по льду замерзших ручьев. На четырехкилометровой высоте трудно дышать; не только люди, но и лошади еле переставляют ноги. Лошадей приходится вести под уздцы, буквально втаскивать на перевал.

Но вот начинается спуск. Тропа ныряет в ущелье ревущей

реки. Пустынно. Ни кишлаков, ни рабатов. Падает ночь, но путники не могут найти приюта. Вот впереди начинают прорисовываться силуэты круглых афганских хижин. Кишлак! В нем можно будет остановиться на ночлег. Но… река вдруг круто поворачивает, и кишлак оказывается на противоположном берегу – переправы, конечно, нет. Приходится идти дальше. Еще один кишлак остается позади: он тоже на другом берегу реки. Лишь поздно ночью караван входит в бедный кишлак, где с трудом удается достать продовольствие и фураж.

В городке Бану – небольшой базар. Здесь быстрее всего можно раздобыть сорта местных культур. С удивлением смотрят продавцы на странных пришельцев, закупающих семена – всё подряд, крохотными порциями.

Зебак – центр Горного Бадахшана. «Это прекрасный сельскохозяйственный район с поливной культурой, с изобилием воды», – писал Вавилов. Но ему ясно: здесь периферия первоначальной культуры. Как он и полагал, перевалы Гиндукуша оказались непреодолимыми для большинства растительных форм. Теоретические представления снова с большой точностью подтвердились.

Кажется, можно возвращаться домой.

Но Вавилова привлекает безлигульная пшеница. И безлигульная рожь. Те же разновидности, что он открыл восемь лет назад в юго-западной части Памира. Нигде в мире не встречаются подобные формы: даже в прилегающих районах Средней Азии их нет. А в Афганистане они нашлись, и в большем разнообразии форм. Та же закономерность: увеличение разнообразия к югу.

Правда, в Кабульском оазисе безлигульных форм не было. Вавилов уже знает почему. Скрещивания показали, что отсутствие язычка (лигулы) – признак крайне рецессивный. Он не может проявиться в центре формообразования, где царствуют доминантные признаки. Где же впервые появляются безлигульные формы?

Чтобы ответить на этот вопрос, надо было направиться снова к Кабулу, но не пройденным путем, а через таинственную страну Кафиристан.

Букиничу снова нездоровится, но упрашивать его нет нужды. Кафиристан – неисследованная страна. Многие англичане пытались проникнуть в нее из Индии, но только врач Робертсон сумел описать ее восточную часть; в остальные районы еще не ступала нога европейца. Букиничу, прирожденному путешественнику, побывать в ней не менее интересно, чем Вавилову.

Николай Иванович дает ему отдохнуть, а сам направляется в

пограничный пункт Ишкашим – предупредить пограничников, что их возвращение в СССР задерживается.

После первых совместных поездок с Вавиловым по Закаспию и Памиру Букинич не сидел без дела. В 1918 году он подготовил проект мелиорационных работ в Средней Азии. Хотел представить его Ленину, но Гражданская война отрезала Туркестан от центра России.

Интересы Дмитрия Демьяновича становились все более широкими. Этнография, история искусства, география, археология. Особенно археология. Чтобы получить право на ведение раскопок, он поступил в Археологический институт и окончил его. В Афганистане, с такой же страстью, с какой

Вавилов собирал образцы растений, Букинич исследовал почвы, орудия труда, ирригационные системы, образ жизни разных групп населения. Лучшего спутника Вавилов не мог и желать!

Забегая вперед, надо сказать, что страсть к путешествиям все больше захватывала этого скитальца. В 1926–1927 годах он снова в Афганистане. Потом в Монголии. Потом в других странах Востока. Даже Вавилову трудно уследить за его маршрутами. Писем писать Букинич не любил. Уезжал внезапно. Возвращался незаметно. Привозил массу материала, раздавал его музеям. Жил под Ташкентом отшельником – в маленькой хижине, которую сам построил в афганском стиле. Обрабатывал коллекции, писал книгу об афганской экспедиции. Об этом Вавилов расскажет позднее в некрологе, посвященном своему товарищу…

А пока – они третий раз меняют маршрут.

6.

Кафиры – значит *неверные*, то есть немусульмане. Много легенд ходило о происхождении загадочного народа. Полагали даже, что в горах Кафиристана осели остатки войск Александра Македонского. По другой версии, сюда в X веке бежали от воинов ислама афганцы, не желавшие принять магометанскую веру.

Долгое время Кафиристан считался спорным пограничным районом между Индией и Афганистаном, но в 1893 году Англия уступила Кафиристан афганскому эмиру Абдурахману. Он ввел войска в страну неверных для их обращения в ислам.

Афганский поэт Ага-и-Мирза Шир-Ахмед в поэме «Покорение страны кафиров» в возвышенных тонах описал ужасающую картину. Людей избивали и убивали. Под угрозой смерти их

самих заставляли уничтожать свои храмы и идолов, которым они поклонялись.

«Все противившиеся были истреблены, деревни их разрушены, имущество же перешло в руки храбрых воинов эмира. Там в живых осталось немного. Они должны были принять истинную религию. Так завершилось великое дело покорения страны неверных», – торжествующе писал поэт.

Вавилова настолько потрясла это воспевание жестокости, что он даже счел нужным включить историю покорения кафиров в «Земледельческий Афганистан», хотя она не имела прямого отношения к теме труда.

Вавилов и Букинич пытались нанять проводников на весь путь через Кафиристан, но никто не брался провести экспедицию. Пришлось менять проводников от деревни к деревне.

Они выступили из Зебака на юг, в пределы Кафиристана. Но таинственная страна не желала даваться исследователям. Если верить Робертсону, экспедиция давно уже в Кафиристане. Но население все то же – таджики. Говорят на фарси. И все в один голос твердят:

– Страна кафиров не здесь. Страна кафиров дальше.

– Где же?

– Наздик – близко. – И показывают на юг.

Да и по характеру местности здесь продолжение Горного Бадахшана: такие же ландшафты, та же растительность, люди того же антропологического типа, такие же постройки, жизненный уклад.

Так, еще не вступив в страну неверных, Вавилов и Букинич сделали важное открытие: географическое понятие «Кафиристан» надо значительно сузить.

Селение Тли у подножия Гиндукуша – последнее таджикское селение на пути в истинный Кафиристан. Дорога входит в ущелье реки Мунджан. Крутой подъем. Слышится грохот каменных лавин, на дороге следы обвалов. Лошади застревают в трещинах. Приходится соскакивать с них и осторожно высвобождать копыта. Но лошади теряют подковы. Переночевав у костров, путники продолжают подъем к перевалу. Исчезает растительность. Тропа теряется среди вечных снегов. Лошадей приходится вести на поводу, утопая в снегу. По почти неразличимым приметам проводники ведут караван.

Высшая точка перевала Парун – 4760 метров. В разреженном воздухе трудно дышать. Ветер срывает поземку, бросает в лицо колючие пригоршни сухого снега. Невольно вспоминаются слова поэта Ага-и-Мирза Шир-Ахмеда, что «нигде нет таких снегов и ветров, такой стужи нет ни в каком другом месте под

небосводом», как в этих местах зимой. Поэты склонны к преувеличениям, да и зима еще не наступила. Но поэт безусловно прав в том, что «днем и ночью у жителей этого края по бедности нет другой пищи, кроме сухого хлеба да бобовой похлебки. Заболеет кто – нет ни лекарств, ни врачей. Постричь кому голову – нет цирюльника».

Спуск с перевала еще более крутой, чем подъем, местами почти отвесный. За полтора часа караван спускается к небольшому замерзшему озеру. После короткого отдыха спуск продолжается. Крутизна такая, что приходится бежать, притормаживая под уздцы лошадей. Снег остается вверху, наметанный глаз едва успевает замечать смену растительных зон.

С заходом солнца сразу наваливается темнота. Остановка в лесу у ручья. Путники разводят огромный костер, отпугивающий диких зверей.

Наутро караван движется дальше. Путь идет по каменным уступам, спуски труднее подъемов. Лошади давно без подков. Тропу пересекают отвесные выступы, или груды камней, или огромные валуны. Тюки то и дело приходится снимать и переносить на руках, а упирающихся лошадей осторожно переводить. Каждый час какое-то несчастье. То тюки катятся с обрыва к реке, то копыта лошади застряли в трещине, то лошадь повисла над пропастью…

…Кишлак Пронз.

Посаженные деревья. Крохотные делянки ограждены каменными заборчиками. И на поле, и в доме тесно. Работают только женщины. Против ожидания, жители дружелюбны. Охотно дают образцы растений. Вавилов сразу же находит безлигульные формы.

Женщины не носят чадру, не сторонятся чужестранцев, что совсем не типично для мусульманской страны.

Тип населения такой же, что и по ту сторону Гиндукуша, но язык сильно отличается от таджикского.

– Что это? – спрашивает Вавилов, беря снопик пшеницы.

– Гумгом, – отвечает кафир.

По-таджикски пшеница – *гэндум.*

– А это? – Вавилов показывает на сноп ячменя.

– Ритцию.

По-таджикски ячмень – *джоу.*

– Это? – он похлопывает по крупу лошади.

– Ушип.

По-таджикски – *асб.*

Другой язык, другие обычаи, другая культура…

Путники входят в лесную зону Кедры становятся все более

высокими. Голоствольные сосны с редкой, пронизанной солнцем кроной напоминают картины среднерусской природы. Все больше лиственных деревьев, особенно вечнозеленого дуба. Листья дубов колючие, царапают руки, лица, рвут одежду. Караван продирается сквозь чащу. И это на крутом, почти отвесном склоне, по которому вьется тропа.

Впереди селение Вама; чем ближе к нему, тем труднее дорога. Лошади то и дело падают, скатываются с круч. Тела их, исцарапанные и покрытые ссадинами, кровоточат. Лошади с самого перевала без подков и без корма. «Все помыслы – лишь бы уцелели лошади».

Вечером караван выходит к мосту через реку Парун.

– Вот Вама! – говорят проводники.

На противоположном берегу Вавилов и Букинич видят стада черных пятнистых овец с извитыми рогами. Аккуратные, совсем крохотные квадратики посевов. Но где же деревня?

– Вот! Вот Вама! – повторяют проводники и показывают вверх.

Высоко на горе путники различают прилепившиеся к ней птичьими гнездами многоэтажные бревенчатые постройки. Вавилов прикладывает к глазам бинокль. В быстро наступающих сумерках насчитывает тридцать-сорок домов. Но с караваном туда не подняться.

Заночевать можно у моста в казенном сарае, но у путников нет корма для лошадей.

Вавилов просит проводников сходить за кормом в кишлак. Они мнутся, говорят, что люди здесь другие, язык другой, они его не понимают. Да и кишлак бедный, ячменя в нем нет.

Пока он объяснялся с проводниками, к путникам подошел пастух и с любопытством смотрел на них со стороны. Вавилов обратился к нему: ткнул пальцем себя в грудь, потом указал на него и на кишлак. Пастух с готовностью закивал.

Через час они были в кишлаке. Мигом собралась вся деревня, «рассматривая редкую европейскую разновидность». Стали угощать лепешками из проса, кислым виноградом. Дали семена растений, позволили осмотреть свои жилища – снаружи и внутри. Корма лошадям не нашлось, но несколько человек вызвались пойти в соседний кишлак и поздно ночью, при свете факелов, доставили мешки кукурузы.

Наутро никто не соглашается повести караван дальше: впереди селение Гуссалик, а в нем разбойники. Наконец Вавилов с трудом уговаривает четырех кафиров, выдав им вперед по пять рупий.

Путь трудный. На полуразрушенном мосту одна из лошадей

проваливается и, к счастью, застревает между сучьями. Ее с трудом удается спасти. Путники собирают ветки, сучья, начинают ремонтировать переправу.

Вдруг проводники, сильно обеспокоенные, о чем-то поговорив между собой, заявляют, что дальше они не пойдут, и суют выданные вперед деньги. Кое-как их удается уговорить. За три километра от кишлака Гуссалик проводники бросают караван и поспешно убегают. Но деревня уже в пределах видимости: можно дойти и без проводников.

…Состав растительности резко меняется. Кругом заросли ежевики, дикого граната. Посевы проса, сорго, кукурузы, ячменя.

К удивлению путешественников, население в Гуссалике – афганцы. Угрюмые, замкнутые, злобно смотрящие исподлобья. Они совсем не похожи на кафиров.

Кафиристан кончился. Южную границу его тоже пришлось значительно «подвинуть».

7.

Две недели Вавилов и советский полпред Старк обивают пороги канцелярий в Кабуле.

Вавилову нужно разрешение пройти южные и юго-западные районы страны. Лебедеву в таком разрешении отказали: восстание южных племен еще не совсем подавлено. Вавилов отправил Лебедева в Ташкент, к явному его облегчению. Сам он не мог уехать, оставив неисследованной половину Афганистана. Он продолжает хлопоты. И вот уже летит телеграмма Зайцеву: «Выезжаю Кандагарской дорогой буду Ташценте половине декабря Лебедев может ехать Киев Груз оставит Ташценте деньги тоже под них занято полпредстве»[274].

Последний, самый длинный переход – по монотонной, несильно всхолмленной полупустыне с редкими вкраплениями полыни и белыми лишаями солончаков.

Уже ноябрь. Этот путь нетруден, особенно осенью и зимой, когда не палит нещадное солнце. Но после недавних военных действий караван-сараи разрушены и пусты. По ночам в нетопленых рабатах холодно. Трудно достать продовольствие и фураж.

Лишь по берегам рек сады и посевы. Урожай давно убран, запастись можно в основном семенами. Каковы здешние разновидности и сорта, узнаем потом, когда семена будут высеяны на опытных участках, растения подрастут, и их можно

будет определять ботанически.

В лёссовой полупустыне дикие арбузы колоцинты. Маленькие, величиной с апельсин. Плоды высыхают и, гонимые ветром, как мячики, перекатываются по полю. Плоды горькие. Горечь, делающая их несъедобными, и сохранила здесь этих дикарей. Но Вавилов хочет узнать, не найдется ли среди них сладких форм. Он вспарывает ножом один, другой, третий арбуз, пробует на язык и отбрасывает. Кончается острыми болями в животе – отравлением…

Караван входит в тутовую аллею. Вдали стройные кипарисы, сады. А еще дальше неправильный четырехугольник городской стены. Кандагар – «город аптекарей и гранатов».

И опять полынная степь, полупустыня, каменистая пустыня… Все труднее доставать еду для людей и животных.

Вавилов удлиняет дневные переходы: чуть свет поднимает караван и останавливается в полной темноте. Лошади устали, исхудали. Люди тоже устали. Проводники ропщут, требуют длительных остановок. Вавилов объясняет, что пока они не достанут фуража, каждая остановка может лишь осложнить положение.

Герат! Все трудности позади. Опять радушная встреча с Соколовым и его супругой. Путешественники отдыхают, готовятся к возвращению на родину. И вот уже телеграмма Зайцеву от 13 декабря из Кушки – самого южного пункта советской Средней Азии: «Экспедиция кончила работы Афганистане удачно. Буду через неделю Ташкенте. Разрешите Букиничу поместить университете груз»[275].

А когда все трудности остались позади и Вавилов поездом ехал в Ташкент, то, переходя из вагона в вагон, он неожиданно провалился между вагонами, где не оказалось переходной площадки. Он чудом зацепился за буфер, да так и провисел на нем до ближайшей остановки. Случай этот заставил с новой силой задуматься над тем, как хрупка человеческая жизнь и как легко она может оборваться – даже от нелепой случайности…

Вернувшись в Ленинград, Вавилов в ряде писем подводил итоги экспедиции.

14 января 1925 г. Х. В.Харлану, Вашингтон: «Экспедиция была довольно успешной. Я обнаружил много новых разновидностей пшеницы и овощных культур и собрал довольно большую информацию относительно ведения сельского хозяйства в примитивных условиях. В настоящее время я главным образом интересуюсь вопросом происхождения культурных растений. В Афганистане, например, оказалось возможным разрешить

проблему происхождения культурной ржи. Мне повезло, что я нашел все формы ржи от типично дикой до обычной культивируемой. <…> Материал частично уже здесь, частично на пути в Ленинград. Я надеюсь, в течение месяца всё уже будет здесь. Я проделал более 5000 миль верхом и видел практически все сельскохозяйственные районы этой страны. Путешествие было довольно трудным, как это всегда бывает в первобытных странах»[276].

16 января, Д.Н.Бородину: «Поездка моя в Афганистан в общем вышла удачной. Собран огромный сортовой материал по всевозможным культурам. Удалось найти настоящую пра-рожь, новые группы разновидностей мягких пшениц. Много новостей по огородным растениям. Выяснены некоторые фазы происхождения культурных растений. Обнаружилось, что многие европейские растения ведут начало из области, примыкающей к Северо-Западной Индии. Собрали большой материал экономического характера о сельском хозяйстве в Афганистане, и надо готовить довольно большую работу: отчет»[277].

6 марта, П.М.Жуковскому". «Афганистан коротко дал следующее: определенное тяготение формообразования по мягким пшеницам к Северной Индии за Гиндукушем. Найдено много новых разновидностей Tr. Compactum; найдено новое звено в эволюции ржи: рожь типа овсюга, необычайной ломкости. Много новых огородных растений, данные по вхождению в культуру бахчевых и хлебов. Большой материал (7000 образцов) по всем культурам, включая лекарственные, огородные, плодовые. Посев выяснит детальный состав»[278].

А вот строки из совсем не делового письма Подъяпольскому: «Путешествие было, пожалуй, удачное, обобрали весь Афганистан, пробрались к Индии, Белуджистану, были за Гиндукушем. Около Индии добрели до финиковых пальм, нашли прарожь, видел дикие арбузы, дыни, коноплю, ячмень, морковь. Четыре раза перевалили Гиндукуш, один раз по пути Александра Македонского. <…> Собрал тьму лекарственных растений. Нигде в мире не видел столько аптек, аптекарей, как на юге в Афганистане, целый цех табидов-аптекарей. Так и определил Кандагар "городом аптекарей и гранатов". Гранаты бесподобные».

Через полгода Вавилов получит письмо: «Многоуважаемый Николай Иванович, Русским Географическим обществом присуждена Вам за географический подвиг – путешествие в Афганистан – медаль имени Н.М.Пржевальского, о чем и объявлено в годичном общем собрании О-ва 5 июня с.г.

О присуждении Вам указанной почетной награды О-ва считаю

приятным долгом Вас уведомить.

Пользуясь случаем, прошу Вас принять уверение в совершенном моем уважении.

Президент Русского Географического общества Ю.М.Шокальский».

Институт прикладной ботаники

1.

В Ленинграде Вавилов мог убедиться, что то, что им было посеяно, приносило плоды в его отсутствие, и не только на опытных делянках.

Март 1925 г., Д.Н.Бородину: «24-й год был удачным годом, проведены сборы, кроме Афганистана, на Алтае, в Армении, Грузии, Персии и получен большой материал из Африки. Прислал кое-что и Харлан по части бобовых интереса исключительного. Начинаем разбираться в мировой географии сортов. <…> НКЗ начинает понимать смысл селекционной работы. Всё дело в этом отношении за отпуском кредитов, так как работать в большом масштабе дорого. Во всяком случае, три точки наладились: весь север от Полярного круга до Новгородской губернии, средняя черноземная полоса (Воронежская губ., Кубань); очередь за Туркестаном и Украиной. Боевое задание в нынешнем году – отделения в Туркестане, Сухуме, на Украине. Сам я буду через три месяца в Хиве и Туркестане. Начал прибывать новый материал по плодоводству. Из Италии, Германии, Франции идут живые растения»[279].

История науки знает немного примеров, когда творческий путь ученого был бы так целенаправлен, как путь Николая Ивановича Вавилова. Еще меньше примеров такой многосторонности интересов, особенно в науке XX века, с ее все усиливавшейся специализацией. Но что совершенно уникально для Вавилова, так это *единство многообразия* научных исканий – при возраставшей нагрузке организатора и руководителя больших исследовательских коллективов. Перед ним стояли вопросы финансовые и хозяйственные; вопросы оснащения новым оборудованием и выбора земельных участков для новоорганизуемых отделений и станций; организационные и кадровые вопросы.

Государственный институт опытной агрономии (ГИОА) мыслился властями как зачаток Сельскохозяйственной академии – таков был *завет* Ильича, под кодовым названием «Обновленная земля».

Суть *обновления* сводилась к тому, что отделы ГИОА предстояло расширить в крупные институты, объединенные в Академию сельхознаук.

Первым институтом будущей академии должен был стать

Отдел прикладной ботаники как работавший наиболее активно и продуктивно. Решение было принято еще до возвращения заведующего из Афганистана.

В Ленинграде Николаю Ивановичу не терпелось углубиться в изучение привезенного материала, но он должен был «мотаться между Питером и Москвой», так как его «заставили устраивать Всесоюзный институт прикладной ботаники». Так он писал Подъяпольскому[280].

Пришлось срочно составить две записки: о программе работы и об организационной структуре будущего института. Веры в то, что затея будет осуществлена, у него не было. Форсировать события он не хотел, но и возражать не мог: *Завет Ильича* обсуждению не подлежал.

Скептицизм его более чем понятен. Как он писал в финансовый отдел Наркомзема Ф.Ф.Борисенко, «финансовое положение катастрофическое: не на что покупать коробки, пакеты. До весны осталось два месяца и того меньше, а огромный материал прошлого года остается недоработанным. Помогите как-то выйти из положения. Нельзя ли как-нибудь в экстренном порядке выделить 3–4 тысячи на доведение работ в усиленном темпе до посевной кампании»[281].

«Дело с институтом еще не наладилось, – писал он три недели спустя в Петровку А.Г.Дояренко. – Московские оптимисты смотрят на дело довольно радужно, я же пребываю еще в стадии скепсиса. Пока нет ни штатов, ни положения, ни сметы – по-серьезному ни о чем говорить не приходится. <…> Смету продолжают резать; от нее осталась уже половина, есть основания [вероятно, *опасения. – C.R]* дальнейшей урезки. Кроме того, в смету втиснута вся большая талановская организация. Из ста тысяч так называемого “темного фонда” осталось лишь тридцать тысяч»[282].

2.

Талановская организация — это сеть государственного сортоиспытания и семеноводства во главе с В.В.Талановым, который станет одним из самых деятельных соратников Вавилова. Николай Иванович не мог быть доволен тем, что в урезанный бюджет проектируемого института *втиснули* большую дорогостоящую организацию, но перспектива совместной работы с Талановым его могла только радовать.

Виктор Викторович Таланов был на 16 лет старше Вавилова. У него за плечами был огромный опыт ученого, селекционера,

просветителя, агронома.

У Таланова было два высших образования: окончил Лесной институт в Петербурге и Институт сельского хозяйства в Новоалександрийске – в Царстве Польском. Начинал с работы в экспедиции профессора В.В.Докучаева по изучению защитных лесонасаждений. Тогда же основал Опытное поле в Каменной степи, вскоре ставшее Опытной станцией.

Из Воронежской губернии Таланов переехал в Ставрополь: был приглашен на должность городского агронома. Основал Ставропольское опытное поле, тоже ставшее Опытной станцией. Здесь начал сравнительное изучение разных способов обработки земли, дабы определить наиболее эффективные для каждой сельскохозяйственной культуры. Опыты он повторял из года в год, так как результаты могли быть разными в зависимости от погодных условий. Он настаивал на том, что только повторными испытаниями в течение трех-пяти лет можно определить, какие сорта и методы обработки наилучшие для данной местности. Казалось бы, это банальность. Но кто-то должен был впервые ее сформулировать, сделать обязательным правилом.

В 1907 году Таланов стал губернским земским агрономом в Елисаветграде. Здесь он создал еще одно, третье по счету, Опытное поле, и его тоже превратил в Опытную станцию. Созданная им сеть сортоучастков охватывала всю губернию. Много сил он тратил на обучение земледельцев передовым методам агрономии. Устроил областную сельскохозяйственную выставку – одну из первых в России. Вел пропаганду сельскохозяйственного опыта США, проводил многолетние испытания заморских сортов, сопоставляя их с местными.

Его усилиями в России впервые начинают возделывать новые для нее кормовые культуры: сорго, суданская трава, могар, зубовидные сорта кукурузы. Выводил новые сорта этих культур, а также твердой и мягкой пшеницы. Один из его сортов, *Гордеиформ 10*, будет возделываться пятьдесят лет. В конце 1930-х годов его посевы занимали полтора миллиона гектаров.

В 1918 году Таланов переехал в Омск, где создал Западно-Сибирскую опытную станцию. Советская власть здесь сменилась властью восставшего корпуса чехословаков, им на смену пришла Директория, затем диктатура адмирала Колчака, затем снова Советы. Таланов всего этого как бы не замечал: от зари до зари проводил на опытных делянках. Один из выведенных им здесь сортов, *Цезиум 111,* в 30-е годы будет занимать четверть всех площадей пшеницы в Сибири.

Сорта Таланова на миллионах гектаров пахотной земли – это миллионы пудов хлеба – без распашки новых земель, без

дополнительных затрат.

Пожалуй, самым большим достижением Таланова было создание семеноводческой сети («Госсемкультуры»). При Западно-Сибирской селекционной станции он образовал *маточный питомник* — для первичного размножения селекционных сортов, а также маточные *семенные рассадники* – для их вторичного размножения; третьей ступенью были семеноводческие хозяйства: они обеспечивали сортовыми семенами весь регион. Основываясь на этом опыте, Таланов разработал стандартизированную схему ступенчатого размножения селекционных сортов для введения их в широкую практику.

Ведь создание нового сорта – это полдела. Вторая половина, не менее важная, – семеноводство. Чтобы новый, улучшенный, сорт вышел на поля, его нужно размножить так, чтобы он не засорялся и не перемешивался с другими сортами. Научную систему семеноводства для Западной Сибири разработал В.В.Таланов. Несколько раньше аналогичную систему для центрального региона России создал заведующий Шатиловской селекционной станцией П.И.Лисицын. Суть ее сводилась к многоступенчатости.

Теоретически это просто, а на практике наталкивалось на огромные трудности. Лисицын «пробивал» идею *госсемкультуры* в Наркомате земледелия и в более высоких инстанциях.

Сначала идею «хоронили по третьему разряду», потом стали хоронить «по первому разряду», как он писал иронически. Он добился принятия закона о государственной системе семеноводства – его подписал пред совнаркома Ленин.

Но принять закон проще, чем вводить его в жизнь. Лисицын создавал Госсемкультуру вокруг своей Шатиловской опытной станции, Таланов в Западной Сибири, В.Е.Писарев в Ленинградской области, П.Н.Константинов на Средней Волге, Г.К.Мейстер – на Нижней Волге…[283]

С 1922 года Таланов в Москве. Возглавляемая им *государственная* система семеноводства становится частью Московского отдела Института прикладной ботаники, Таланов – заместителем директора.

«Виктор Викторович был суровый (даже по виду), весьма прямолинейный, настойчивый в достижении своих целей человек; требовательный к себе и другим, человек большой воли и колоссальной энергии»[284].

Не только по возрасту, но по темпераменту, стилю жизни и работы Вавилов и Таланов были очень разными. Но оба страстно любили свое дело, жили для него.

В Москве в это же время создавался сельскохозяйственный

музей под руководством К.И.Пангало. Николай Иванович ему писал: «В.В.Таланов, конечно, сможет сделать очень многое, если займется Институтом; при проведении смет, в баталиях на разные варианты он незаменим, я знаю по опыту. Кроме всего прочего, его работа носит исключительно практический характер, что импонирует и в профсоюзе, и в Кремле, и в НКЗ. <…> Но фактически, я понимаю, что Вам придется взять на себя ведение всех дел [по музею], обращаясь за помощью, когда надо, к В.В.». И, имея в виду «суровость» Таланова, добавлял: «Сами попытайтесь создать гармоничные отношения, это нетрудно. В.В. – человек крупный, и с ним иметь дело легко»[285].

У мягкого и обходительного Николая Ивановича сложились вполне гармоничные отношения с суровым и твердым Талановым.

В 1931 году, когда Таланов достиг пенсионного возраста, Вавилов, от имени Президиума ВАСХНИЛ, обратился с ходатайством о назначении «организатору государственного сортоиспытания, одному из самых крупных наших агрономов» максимальной персональной пенсии. Он подробно разъяснил значение работ Таланова для науки и практики. По тону письма видно, с каким удовольствием он об этом писал: «Для того, чтобы организовать это огромной значимости дело, которое дает прочную научную базу для всего растениеводства СССР, нужно было преодолеть огромные трудности, нужно было убедить архаичную среду научных работников в необходимости коллективного труда по единому плану. Нужна была исключительная настойчивость, исключительная организационная ясность и преданность делу, которые помогли преодолеть все препятствия. <…> В.В.Таланова мы считаем одним из наших самых крупных организаторов-коллективистов в науке, организатором самых крупных коллективных научных работ в Союзе. <…> Оформление достижений в области селекции и растениеводства в СССР, перевод их в практику сельского хозяйства – крупнейшее достижение, которым Советский Союз в значительной мере обязан В.В.Таланову»[286].

Вместо наивысшей персональной пенсии власть наградила 60-летнего ученого арестом, тюрьмой, чудовищным следствием. Из него были выбиты «признания» во вредительстве и имена мнимых сообщников. В их числе – академика Вавилова. Приговор: ссылка на три года в Восточную Сибирь Большие сроки тогда еще давали сравнительно редко.

Из-за болезни ему позволили вернуться за год до истечения срока, но, как *пораженный в правах*, он не мог жить и работать в столицах. Поселившись в своем родном Нижнем Новгороде (тогда уже городе Горьком), Таланов ответил на милость власти

фундаментальным трудом объемом в 30 печатных листов «Пшеница и ее возделывание в СССР и других странах».

Рекомендуя этот труд к печати, академик Вавилов указал, что такого «руководства к возделыванию, к расширению посевов, к регулированию пшеничного производства, комплексного руководства у нас не было». Президент ВАСХНИЛпредлагал издать книгу тиражом не менее 10 тысяч экземпляров (огромный тираж для научного труда). Книга издана не была.

Здоровье Таланова быстро ухудшалось. Ему позволили приехать в Ленинград для лечения, но было уже поздно. В декабре 1936 года его не стало.

«Как дань памяти В.В.Таланову вот уже более 75 лет существует в масштабах страны уникальная Государственная сеть испытания сельскохозяйственных культур, на выводах которой до настоящего времени основывается вся государственная политика семеноводства <…> и все до единого созданные им опытные учреждения: в Каменной степи, в Ставрополе, в Синельниково, в Омске и Майкопе»[287].

О смерти своего члена-корреспондента Академия наук поместила в «Известиях» краткое сообщение. Некролога не появилось. Похороны были разрешены только семейные. Сотрудники пришли на квартиру Таланова отдать ему последний долг, следовать за гробом на кладбище отважились очень немногие. Впереди небольшой процессии шел директор ВИРа и вице-президент ВАСХНИЛ(уже не президент!) Вавилов. Над свежей могилой он сказал проникновенную речь.

Чего не мог ожидать Вавилов, так это заочных встреч с Талановым – в кабинете следователя Хвата, где ему будут предъявлены показания покойного о его *вредительской антисоветской* деятельности…

3.

Но вернемся в 1925 год.

В Наркомземе и Совнаркоме чиновники корпят над бумагами, превращающими Отдел прикладной ботаники во Всесоюзный институт. Николай Иванович всей душой за расширение работ, но на научной основе, а не в качестве бюрократического «мероприятия». Ему говорят о новых возможностях, сулят златые горы, а пока что глава Отдела и будущего Института прикладной ботаники, словно нищий на паперти, взывает к тому же Ф.Ф.Борисенко: «Ситуация такова: ни хлебэкспертных денег нет, ни элитного фонда нет, ни по станциям субсидий нет, словом,

ложись и помирай. Весна, как Вы знаете, уже наполовину прошла, и если через пару недель у нас средств не будет, то посев сорван. Вы, конечно, понимаете наше настроение. Все соображения о расширении площади, всё летит к черту. Паки и паки взываем к Вам с просьбой приложить все старания, чтобы действительно, ни на словах, ни в виде обещания добиться реализации кредитования»[288].

Тем не менее, скептицизм Вавилова начинает таять. 4 марта 1925 года он уже пишет Рудзинскому о предстоящем превращении Отдела прикладной ботаники в Институт: «Это дело встало на рельсы и, по-видимому, осуществится»[289].

4.

Финансовый голод был не самой острой проблемой, с которой столкнулся Вавилов в связи с преобразованием Отдела в Институт.

Вопреки безденежью и прочим невзгодам голодного и холодного времени, в Отделе ему удалось создать атмосферу, в которой люди работали радостно, вдохновенно, с готовностью отдавать все силы общему делу. Отдел стал для сотрудников родным домом. Каждый чувствовал себя причастным к большому общему делу – это наполняло жизнь смыслом.

А в Институт вливались другие научные группы и подразделения: «талановская организация» была далеко не единственной. Как сохранить атмосферу братского единения?

Чтобы органично, без трений, сходиться с новыми сотрудниками, требовалось много такта и дипломатичности. Как правило, Вавилову это удавалось без особых усилий – этому способствовали его природные качества. Его простота, веселость, доброжелательность, отсутствие фанаберии и формализма, широта научного кругозора притягивали к нему людей. Он ни от кого не требовал больше того, на что тот был способен. Заботился о жилье, бытовом устройстве сотрудников, входил в их нужды. Взамен требовалось только одно: искренняя преданность делу, институту, науке.

Однако не каждый из новых сотрудников был способен любить *науку в себе* больше, чем *себя в науке.*

5.

Дмитрий Дмитриевич Арцыбашев, человек во многих

отношениях незаурядный, принадлежал к старшему поколению агрономов-исследователей.

Выходец из старинного дворянского рода, он получил рафинированное воспитание в семье и гимназии. Отец его, большой ценитель искусства, хранитель Отдела изящных искусств Румянцевского музея, привил мальчику любовь к прекрасному. Однако в университет Арцыбашев-младший поступил на математическое отделение. Проучившись три года, понял, что чистая математика для него слишком холодна и абстрактна. Он перешел в Московский сельскохозяйственный институт (Петровку) и в 1898 году успешно его окончил. Стал инженером-агрономом, специалистом по сельхозтехнике.

Испытаниями сельхозмашин он увлекся еще студентом, проводил их на Бутырском хуторе Московского общества сельского хозяйства и в своем имении Мещерка в Тульской губернии. Окончив институт, работал в министерстве земледелия. Был командирован за границу, где провел четыре года, затем организовал машиноиспытательные станции в разных концах страны: Москва, Ростов, Елисаветград, Самара, Омск, Рига, Запорожье. В 1907 году стал главой Бюро сельхозтехники и вошел в состав Президиума Сельскохозяйственного ученого комитета (СХУК). Летом 1917 года был избран одним из двух товарищей председателя СХУК – как раз тогда, когда председателем, после смерти князя Б.Б.Голицына, стал академик В.И.Вернадский. (Вторым товарищем председателя был избран профессор Тулайков.) Научные интересы биогеохимика Вернадского были далеки от агрономии, почему он согласился возглавить СХУК, трудно понять. Оставался он на этом посту очень недолго. В дневнике его есть такая запись: «Тогда я осматривал все эти учреждения и познакомился с совсем новой для меня областью. Узнавал и чрезвычайно много вынес. Регель, Тартаковский, Лискун, Арцыбашев, Тулайков, Ячевский. Ушел оттуда, когда сделался товарищем мин [истра] нар [одного] просвещения»[290].

После Октябрьского переворота Вернадскому, как члену Временного правительства и члену ЦК партии кадетов, объявленной вне закона, опасно было оставаться в Петрограде. Тулайков помог ему уехать в Киев, о чем есть короткие упоминания в его дневнике: «Тулайков, теперь “неблагонадежный” коммунист, помог мне уехать в 1917 году»[291].

Хотя пребывание Вернадского во главе СХУК было кратковременным, Арцыбашев успел с ним сблизиться, причем, похоже, что академик Вернадский был единственным человеком,

к которому Дмитрий Дмитриевич относился с почтением и пиететом. Вполне вероятно, что, покидая пост председателя СХУК, Вернадский рекомендовал на свое место Арцыбашева. Он возглавлял СХУК до августа 1918 года, когда подался на юг: сперва на Акимовскую машиноиспытательную станцию (недалеко от Запорожья), затем в Алушту.

Опубликованы письма Арцыбашева к Вернадскому времен Гражданской войны, – к сожалению, без ответных. Оба тогда жили в Украине, провозгласившей независимость под главенством гетмана Скоропадского; после его падения, – в Крыму. При Врангеле был создан Таврический университет; ректором его стал Вернадский, одним из профессоров – Арцыбашев.

В письмах к Вернадскому отношение Арцыбашева к большевистскому режиму прорисовывается с предельной четкостью: *проклятая совдепия, хамовия, разбойники, негодяи, злодеи, захватчики власти.*

Ничего удивительного: большинство ученых крайне негативно восприняли большевистский переворот. Мнение ученой братии лучше других выразил непременный секретарь Академии наук С.Ф.Ольденбург в докладе на общем собрании Академии 29 декабря 1917 года: «Темные, невежественные массы поддались обманчивому соблазну легкомысленных и преступных обещаний, и Россия стала на край гибели»[292].

Правда, год спустя он говорил несколько иначе: «В наши трудные и сложные дни многие склонны падать духом и не понимать величайших переворотов… глубоко болезненных и мучительных, но тем не менее великих и замечательных. И многим из нас – людям науки – начинает казаться, что и наука гибнет от непонимания и невнимания к ней. Опасения эти напрасны»[293].

Открыто возмущался «диктатурой пролетариата» академик И.П.Павлов. Впечатления Вавилова о лекции Павлова, в которой объяснялось, что такое рефлекс свободы и как большевистская власть подавляет его голодом и насилием, мы приводили. О том, как отнесся к октябрьскому перевороту Регель и как он, ради спасения Отдела прикладной ботаники, пошел на вынужденное сотрудничество с новой властью, мы тоже знаем. Если верить тому, что Арцыбашев писал Вернадскому, то он давал «резкий и категорический отпор» «политике соглашения с теперешними властями». Правда, «отпор» его был не публичным, а только в письмах, которые он просил уничтожить. (К счастью, Вернадский их сохранил.) Казалось бы, в Советской России такому человеку не место: он должен был либо погибнуть, либо эмигрировать.

Однако когда Гражданская война завершилась – совсем не

так, как хотелось Арцыбашеву, – он вернулся на прежнее место: заведующего Отделом механизации СХУК, который теперь входил в Наркомат земледелия.

Арцыбашев также возглавил Бюро натурализации древесных и субтропических культур, ибо был не только специалистом по сельхозтехнике, но и дендрологом. В своем имении Мещерка он с молодости занимался «цветочными фантазиями»[294]. Так реализовывалась привитая ему с детства любовь к прекрасному. На четырех гектарах земли он разбил парк, выращивал различные сорта сирени, немало сил и внимания уделял иноземным древесным растениям. Большевики имение национализировали, парк назвали опытной станцией, а ведать ею поставили… бывшего хозяина Д.Д.Арцыбашева.

Штаб-квартира Бюро натурализации была в Москве.

При преобразовании Отдела прикладной ботаники во Всесоюзный институт арцыбашевское Бюро (теперь оно стало Отделом) было к нему присоединено. Теперь Арцыбашев мог проводить эксперименты на разных станциях Института. Особенно привлекательным для него было Сухумское отделение: в условиях влажных субтропиков здесь можно было вовлечь в работу широкий ассортимент теплолюбивых экзотов.

Возглавлял Сухумское отделение Н.Д.Костецкий, но согласовывать с ним свою работу и даже просто информировать его о своих делах Арцыбашев считал ниже своего достоинства. Он не желал подчиняться и главе Московского отделения Института прикладной ботаники Таланову, хотя Отдел натурализации был частью этого отделения. Согласовывать свои работы с Президиумом Института в Ленинграде он тоже считал для себя обременительным.

Дабы придать Отделу натурализации больше веса, Арцыбашев настаивал на включении в него Бюро интродукции во главе с А. К. Колем и московской части Отдела плодоводства во главе с И.Д.Шимановичем. Этого, похоже, хотел и Шиманович, тяготившийся тем, что должен согласовывать свою работу с заведующим Отделом плодоводства и огородничества В. В. Пашкевичем.

Среди специалистов по плодоводству Василий Васильевич Пашкевич выделялся огромным опытом и эрудицией. В молодые годы он несколько лет стажировался за границей, потом преподавал в Уманском училище садоводства, был директором Никитского ботанического сада в Крыму, Петербургского ботанического сада. В 1894 году стал ученым специалистом по садоводству министерства земледелия и в этом качестве ежегодно совершал экспедиционные поездки по стране, исследуя

садоводство центральных, западных, восточных и южных губерний. Результатом были многочисленные научные труды по проблемам садоводства каждой из обследованных им губерний – с анализом экономики, организации, агротехники, подбора культур и сортов. Более крупного знатока плодоводства в России не было. Несмотря на преклонный возраст (Пашкевич был на 30 лет старше Вавилова), он был неутомим. Успевал заниматься преподаванием, практической селекцией: им было создано несколько высокоценных сортов сливы.

4 февраля 1925 г., И.Д.Шимановичу: «Вы знаете мои взгляды на организацию Отдела плодоводства и огородничества. Всё должно быть строжайше согласовано с заведующим отделом В.В.Пашкевичем. Без такого согласования работа идти не может. <…> Если Вы хотите работать с нами, то должны считаться с этим. <…> Во всяком случае, Иван Давыдович, для того, чтобы Ваши московские действия не вызывали ленинградского противодействия, должна быть определенная согласованность, и заведующий отделом, как Вам известно, находится в Ленинграде»[295].

Разница между Арцыбашевым и Шимановичем была в том, что амбиции Шимановича не подкреплялись заметным весом в науке, тогда как у Арцыбашева были обширные знания и несомненные достижения. Однако его плюсы перекрывались чрезмерными амбициями и притязаниями.

16 февраля, Д.Д.Арцыбашеву”. «Попытаюсь устранить некоторые недоразумения, возникшие между Ленинградом и Вами. <…> Самым ценным, что есть в Отделе прикладной ботаники, несмотря на большой объем работы, <…> [это то, что] мы представляем собой спаянную группу, которая позволяет вести корабль к цели.

Расширяя сферу работы преобразованием в Институт, к чему, как Вы знаете, с самого начала относился осторожно, мы представляли себе сохранение спаянности полностью. В этом и в настоящее время мы видим залог успеха всего Института. <…> Мы очень ценим Ваше влечение к натурализации, мы знаем хорошо вашу эрудицию в этих вопросах, которая делает Вас специалистом в данной области, и для нас нет никаких сомнений в целесообразности вхождения в Институт Отдела натурализации под Вашим руководством. <…> Конечно, программа должна быть увязана с общей программой в интересах существа дела, в интересах взаимного понимания <…>.

Меньше всего по существу мы имеем тенденцию вмешиваться в работу Отдела натурализации. Мы знаем хорошо, что предоставление возможной автономии Отделу будет только плюс.

При Вашем авторитете в Москве, умении привлекать лиц и средства в этом отношении мы все пойдем также на максимальные уступки. Иначе дело обстоит с Московским бюро в его остальной части и другими отделами, имеющими тенденцию тяготеть к Москве. <…> Я заявил определенно Ивану Давыдовичу [Шимановичу], что никаких уступок здесь не может быть. Работы Ивана Давыдовича, с которыми он познакомил меня, еще более убедили меня в [его] совершенной неподготовленности к ведению сколько-нибудь самостоятельного учреждения, и для нас стоит вопрос совершенно определенно: Иван Давыдович должен присоединиться к отделу плодоводства [В.В.Пашкевича] и работать под руководством. Мы не пожалеем, если он совершенно отойдет от дела, достоинство учреждения от этого не пострадает <…>.

Знакомство с А. К. Колем вызывает в нас неуверенность за то дело, которое хотелось бы ему поручить, и только войдя в общую колею работ, которые Отдел [прикладной ботаники] давно ведет и неплохо, Александр Карлович будет полезен»[296].

Иван Давыдович Шиманович в скором времени отошел от работы в Институте; о дальнейшей его судьбе неизвестно.

В письмах Вавилова последующих лет иногда фигурирует фамилия Шиманович, а комментаторы от себя ставят инициалы *И.Д.* Это ошибка, ибо упоминается Самсон Юльевич Шиманович (1895–1972), специалист по культуре льна. Он работал на Центральной станции ВИРа под руководством В. Е.Писарева до 1933 года, когда был арестован.

Писарев, арестованный в том же году, но несколько раньше, под давлением гэпэушного следствия признал свою мнимую вину и должен был назвать сообщников. В числе других назвал

С. Ю.Шимановича. Никаких данных о возможных родственных связях между С.Ю. и И.Д. Шимановичами не имеется.

Конфронтация Коля с Вавиловым будет нарастать и выйдет далеко за рамки *производственного* конфликта. Колю предстоит сыграть одну из самых зловещих ролей в деле дискредитации и последующей ликвидации Вавилова.

Об Александре Карловиче Коле сравнительно мало известно. Мы даже не знаем, куда исчез этот мавр, сделавший свое дело, когда и где умер. О нем бродит немало легенд, выдаваемых за достоверные сведения. Так, отвечая на вопрос «Как же случилось, что Коль попал в сотрудники к Вавилову? Что он был за специалист?», В.Н.Сойфер сообщает: «Агроном по образованию, Коль был старше Вавилова. В течение 6 лет он работал в США в

лаборатории профессора Хансена в Южной Дакоте и по возвращении понравился Вавилову своей глубокомысленностью, умением вести разговоры на научные темы и, как казалось Вавилову, закономерно был выдвинут в заведующие одним из самых важных подразделений института – Бюро интродукции растений»[297].

Верно здесь только то, что Коль действительно был на 10 лет старше Вавилова и какое-то время провел в США. Приведенные выше строки из письма Вавилова к Арцыбашеву («Знакомство с А.К.Колем вызывает в нас неуверенность…») показывают, что Николай Иванович впервые говорил с Колем, когда тот уже был сотрудником Отдела прикладной ботаники. О том, какое тот произвел впечатление, видно из письма Николая Ивановича в Нью-Йорк Бородину, написанного в марте 1925 года: «Много тут канители, увязки с Арцыбашевым, Колем, достаточно бестолковым»[298].

Сомнительно утверждение Сойфера о том, что Коль работал в Южной Дакоте в научной лаборатории известного плодовода профессора Хансена. По сведениям Вавилова, Коль «был сотрудником нашего агентства в США, работавшего по линии Министерства [Наркомата] сельского хозяйства»[299]. Значит, в США Коль занимался не научной работой, а закупками сельхозпродукции. Похоже, что после его возвращения в СССР Наркомат земледелия, не зная, что с ним делать, пристроил его в Отдел прикладной ботаники.

Это было в 1924 году, скорее всего, во второй половине, когда Вавилов находился в Афганистане, то есть он был поставлен перед свершившимся фактом.

Бюро интродукции, которое возглавил Коль, вовсе не было одним из важнейших подразделений Института прикладной ботаники, как полагает Сойфер. «Интродукция зарубежных культурных растений в СССР почти полностью централизована в Институте растениеводства», – писал Вавилов своему индийскому корреспонденту Л.С.С.Кумару в 1934 году В обширном письме прослежены все этапы работы по интродукции, в которой участвовали почти все ведущие отделы и все опытные станции Института[300]. При такой организации дела особое Бюро интродукции было ненужным довеском.

Николай Иванович поручил Колю техническую регистрацию поступающего материала и рассылку его по отделам и лабораториям. Работа несложная, но она требовала систематичности, аккуратности, сосредоточенности. У Коля не было ни первого, ни второго, ни третьего. «Этот маленький, вечно суетящийся и крикливый человечек с дряблым женоподобным

лицом» – таким его запомнила Е.Н.Синская[301] – всем и всеми был недоволен, многое путал, а вину за путаницу пытался на кого-то спихнуть.

Спаянность научных работников Института, которой так дорожил Вавилов, подрывало само присутствие в коллективе Коля. С присущим ему оптимизмом Вавилов надеялся, что «дисгармонии» (как он выражался) сгладятся, бури в стакане воды, поднимаемые Колем, утихнут, и всё войдет в нормальную колею. Но дисгармонии нарастали.

6.

4 июля 1925 г., Д.Н.Бородину: «Положение о всесоюзном институте <…> утверждено [председателем Совнаркома] А.И.Рыковым. Это факт для нас большой важности, так как он позволяет значительно расширить и углубить работу. По положению мы должны получить значительные права по выписке материалов из-за границы»[302].

Институт официально открыли 20 июня 1925 года – с большой помпой, торжественно, в Кремле. Деньги на такое мероприятие клянчить не пришлось.

За узким длинным столом зала заседаний Совнаркома РСФСР не только ученые, но и партийные боссы, руководители государства. На стенах – карты, схемы, диаграммы, стенды с коллекциями растений.

Заседание открыл Николай Петрович Горбунов, управляющий делами Совнаркома, он же председатель Совета нового института.

Директор Института Н.И.Вавилов выступил с программным докладом: «Очередные задачи сельскохозяйственного растениеводства». Задач Вавилов сформулировал несколько: собирать по всему свету сорта культурных растений; испытывать их в разных сельскохозяйственных зонах страны; всесторонне изучать в лабораториях; выделять самые ценные для прямого введения в культуру или для использования в селекции. Задачи те же, что стояли перед Отделом прикладной ботаники, но масштаб работы существенно расширялся. И появлялся еще один слой руководства. Вавилов понимал, что успех работы Института во многом будет зависеть от его личных отношений с председателем Совета. По-видимому, то же самое понимал и Горбунов.

По специальности Николай Петрович Горбунов – инженер-химик. В августе 1917 года, едва окончив Петроградский

политехнический институт, 25-летний инженер вступил в партию большевиков.

Незадолго до этого (в июле) Временное правительство подавило вооруженное выступление, затеянное большевиками. Были опубликованы документы о связях Ленина и других большевистских вождей с германским генштабом, о германских финансовых вливаниях в их бюджет. В условиях продолжавшейся войны это было равносильно государственной измене.

Временное правительство отдало приказ об аресте Ленина, Зиновьева, Троцкого и других ведущих большевиков.

Лев Троцкий, только что примкнувший к большевикам со своей группой межрайонцев, был уверен в лживости обвинений и с гордостью отправился за решетку Ленин и Зиновьев, прибывшие в Россию в «запломбированном вагоне» после сговора с германскими властями, сознавали, что очиститься от обвинений им будет сложно. Партия ушла в подполье, члены ЦК в трудных спорах решали, являться ли Ленину на «суд буржуазии». Сам он ни на какой суд являться не собирался; вместе с Зиновьевым он скрылся в Разливе.

Только что вступивший в партию Николай Горбунов пропадал на заводах, выступал на митингах, раздавал большевистские листовки – словом, вел активную партийную работу. В октябрьские дни он пришел в Смольный, организовал службу информации. Управляющий делами только что возникшего Совнаркома В.Д.Бонч-Бруевич привел его к Ленину, и тот с ходу назначил его секретарем Совнаркома и своим личным секретарем. Через Горбунова идет связь Ленина с Политбюро, наркоматами, партийными и хозяйственными организациями, красноармейским командованием, Чека, регионами, учреждениями науки и культуры… То есть через него проходят все нити управления новорожденным государством.

В августе 1918 года Совнарком создает при Высшем совете народного хозяйства (ВСНХ) Научно-технический отдел (НТО). Ленин предлагает его возглавить видному большевику Ю.Ларину (тестю Бухарина) – тот отказывается. Другой видный большевик Красин тоже отказывается. Заведующим НТО становится Горбунов.

В руках 26-летнего инженера-химика сосредоточилось политическое и экономическое руководство российской наукой. Он налаживает контакты с видными учеными, вынужденными волей или неволей сотрудничать с новой властью. Среди них Н.Е.Жуковский и Н.Д.Зелинский, П.П.Лазарев и А.Ф.Иоффе, А.Е.Ферсман и Н.С.Курнаков.

С «буржуазными специалистами» Горбунов держал ухо

востро, но старался быть мягким и предупредительным. Вмешательство в дела науки власть пока ограничивала тем, что ориентировала ученых на решение народнохозяйственных задач – по «Плану научно-технических работ», набросанному Лениным.

Гражданская война обостряется, властям становится не до науки. Горбунова бросают на Южный фронт. Он уполномоченный реввоенсовета, затем начальник политотдела, затем член реввоенсовета то 14-й, то 13-й, то 2-й конной армии. Деникин, Врангель, Польша. По нескольку суток без сна. «Рвущиеся снаряды. Раненые… Впечатление ежесекундной опасности и необходимость быть смелым и бесстрашным, когда на самом деле, конечно, страшно». Так писал он с фронта жене.

Потом опять работа в Совнаркоме: он управляющий делами вместо выскользнувшего из структур власти Бонч-Бруевича. Горбунов выполняет десятки поручений Ленина.

Голод 1921 года, от которого умерло больше пяти миллионов человек (погибло бы втрое больше, если бы не помощь АРА, Нансена и иных «буржуазных» деятелей и организаций), стал для большевистского руководства сигналом тревоги. Ленин дал «гениальное» указание: обновить сельское хозяйство страны на основе достижений науки.

Дать указание легко, но как его выполнять?

Все ученые – ботаники, агрономы, селекционеры – беспартийные *буржуазные* специалисты, им нельзя доверять. Большевик Горбунов – политкомиссар при беспартийном Вавилове. Он довольно тактичен, Николай Иванович находит с ним общий язык и даже заражает его своими идеями.

Задача председателя Совета – проводить линию партии в растениеводстве, но часто получалось так, что он лоббировал линию Вавилова на Олимпе власти.

7.

Когда в Институте опытной агрономии (ГИОА) был создан Отдел земледелия, Вавилов попытался снять с себя часть административного груза. Он пишет в Саратов Тулайкову: «По существу, первый кандидат на заведование Отделом земледелия в Институте опытной агрономии и в будущей Всесоюзной академии, конечно, Вы, и мы решаемся от имени Института и, полагаем, от имени всех опытников РСФСР и СССР просить Вас занять кафедру земледелия у нас. Я лично очень хотел бы, чтобы Вы были также и директором

Института опытной агрономии, что само собой разумеется,

если бы Вы взяли на себя заведование Отделом земледелия».

Помня о том, что Тулайков три года назад возглавлял ГИОА, но ушел из-за разногласий с руководством Наркомзема, Вавилов продолжал: «Tempora mutantur[303]. Всё, что было плохого, ушло безвозвратно».

«В настоящее время, очевидно, начинается резкий поворот к лучшему. Мы это определенно здесь чувствуем. Опасения за учреждение, которые могли иметь место несколько лет назад, отчужденность изжиты <…>. Всё это позволяет обратиться к Вам с столь дерзким предложением. В среде Института опытной агрономии Вы найдете в настоящее время исключительно Ваших друзей и почитателей»[304].

В том же письме Николай Иванович сообщал, что подыскал хорошее помещение для Отдела земледелия (Б.Морская, 42, соседнее здание с Институтом прикладной ботаники); что новый Отдел оснащен оборудованием, опытной станцией с отличным земельным участком и удобным помещением; что семью Тулайкова обеспечат квартирой в городе и второй квартирой – при опытной станции. Вавилов уверял, что ГИОА крепко стоит на ногах: «…Вполне наладилась работа по большинству отделов». Он договорился и с Президиумом сельхозинститута, «который, как Вы знаете, в настоящее время представляет одну из лучших сельскохозяйственных школ в Союзе», о предоставлении Тулайкову кафедры опытного дела, то есть звания профессора и второй зарплаты.

К своему неформальному письму Николай Иванович приложил и официальное предложение принять должность за подписью председателя Совета ГИОА Ковалевского.

Отступать, казалось бы, некуда. Будь Вавилов на месте Тулайкова, он бы не отступил. Николай Максимович был человеком иного склада. Не случайно он осудил «авантюризм» молодого Вавилова, отправившегося в Иран в разгар военных действий. Когда Николай Иванович готовил экспедицию в Афганистан, Тулайков вызвался в ней участвовать, но дальше намерения не пошло. При подготовке экспедиции по странам Средиземноморья Вавилов снова пытался привлечь Тулайкова, благо тот проявлял особый интерес к Северной Африке. Что-то опять помешало… Возможно, то, что Николай Максимович не до конца понимал подлинного смысла вавиловских путешествий, в чем признался задним числом, в 1935 году: «Вашей поистине неутомимой и неутолимой энергии мы обязаны теми огромными ценностями, которые мы пока еще совсем не научились ценить и даже понимать. Сам я только в последнюю поездку с Вами понял и воспринял то исключительное по ценности богатство, которое

доставили Вы нашей стране своими путешествиями и привезенными коллекциями. Для меня это долго было делом коллекционерства, и только за последнее время я почувствовал совершенно ясно, что значит для нас эта Ваша работа»[305].

Синицу в руке Тулайков предпочитал журавлю в небе. В Саратове его положение было прочным, жизнь – налаженной, от добра добра не ищут. Взваливать на себя груз огромной ответственности, да еще переезжать в холодный сырой Петроград он не захотел.

Вавилову и дальше пришлось тянуть административную лямку, возглавляя ДВА крупнейших института. Плюс кафедра в сельхозинституте. Плюс участие в различных советах, комиссиях… Несколько позднее ему пришлось войти и в коллегию Наркомзема, и даже в «высшие» органы власти – ВЦИК и ЦИК СССР. (Пишу слово *высшие* в кавычках, ибо в Стране Советов Советы играли декоративную роль: политическую власть держал в руках партаппарат, административную – Совнарком, тоже возглавляемый партийными боссами. Так что реальной власти вхождение во ВЦИК и ЦИК не давало, хотя прибавляло ответственности и всяких забот.) Вавилов жаловался, что у него 18 должностей, крадущих время и силы у научной работы. О том, как он был перегружен, говорят многие его письма. Одно из них – заведующему Кубанской опытной станцией А.А. Орлову от 20 сентября 1925 г.: «Очень возможно, что я попаду на Кубань осенью. Я еду в Туркестан для открытия Среднеазиатского отделения. За последние два месяца, по моему подсчету, я пробыл в вагоне 36 дней, и главным образом поездки были сопряжены с организацией Украинского и Туркестанского отделений»[306].

Это написано в ответ на заявление Орлова об отставке. У Орлова на станции были свои Коли и Арцыбашевы, но Вавилов не видел в этом серьезного повода для отставки. «Как Вам известно, в отношении всех Ваших пререканий с Карташовыми мы неизменно стоим на Вашей точке зрения». Подчеркнул, что считает Орлова отличным работником и что «Кубанское отделение меня удовлетворяет более, чем какое-либо». И дальше: «Вопрос о персонале, о дисциплине, если Вы находите нужным, будет обсужден осенью, когда мы соберемся <…>. Большое учреждение, как Институт, может существовать только при определенной дисциплине, и о какой-либо “автономии специалистов”, о неподчинении говорить не приходится. Поступки такие вызовут соответствующую реакцию. Самое главное мы сделали (создали Институт. – *С.Р.*), и теперь всё остальное сравнительно легче, надо быть выше всяких мелких

неприятностей, которые обычны». Николай Иванович дает понять Орлову, что ему самому и другим ведущим сотрудникам Института ничуть не слаще: «Мы все тянем здесь, весь ответственный персонал, огромную административно-финансово-хозяйственную лямку, свободных людей здесь совершенно нет, как Вы хорошо знаете, и мы считаем правильным, что в настоящих условиях эта работа должна вестись всеми, и только на этих условиях Институт может встать действительно на ноги. Мы не сомневаемся, что эта организационная пора через год-два затихнет, и тогда можно будет заниматься уже одной научной работой»[307].

Вопроса об отставке Орлов больше не поднимал. Кубанская станция стала центром Северокавказского отделения – одного из лучших и наиболее продуктивных звеньев Института прикладной ботаники.

Однако, вопреки надеждам Вавилова, хозяйственные и административные заботы только нарастали. 17 ноября 1925 года он писал Горбунову: «Громада институтская растет быстро, но с ростом ее увеличиваются организационные трудности, и мы плохо справляемся с этой громадой. Особенно трудна организация филиалов, как показала жизнь, и согласование работы Института с пожеланиями республик. Отсутствие подготовленных кадров для южных республик не позволяет быстро развернуть работу, там это вызывает неудовольствие и представительств, и местных работников. Нетерпеливость, желание сразу же создать грандиозное учреждение в Баку, Туркестане не может быть удовлетворено, как бы мы этого ни хотели. Нужна Ваша помощь [для] умиротворения республик. <…> Большинство из нас, в том числе и нижеподписавшийся, плохие администраторы, никуда не годные финансисты и посредственные организаторы. Ищем лицо, которое бы могло взять эту работу на себя»[308].

Время показало, что Вавилов был успешным администратором, но необходимость во всё вникать, выяснять отношения, входить во всякие мелочи мешала сосредоточиться на главном.

Главным было отправить Жуковского в Турцию, Воронова и Букасова – в Америку, а самому поехать в Среднюю Азию: посмотреть на высеянных там «афганцев» и исследовать Хорезм (Хиву). Это небольшое путешествие – логическое продолжение экспедиции в Афганистан. Хорезмский оазис в низовьях Амударьи отделен от Афганского центра происхождения культурных растений безводной пустыней. В условиях жесткой изоляции здесь должны были сформироваться своеобразные растительные

формы, преимущество рецессивные. Но обнаружились и доминантные раритеты, которые Вавилов находил в Афганистане у границы с Индией.

«В общем, резюмируя всё, можно сказать, что уголок прииндийской культуры выброшен в дельту Амударьи. Любопытно было видеть загиндукушскую карликовую пшеницу, черную морковь. Я уже написал предварительный очерк по культурам Хорезма и, вероятно, через пару месяцев смогу его опубликовать»[309].

Изучение афганского материала подтвердило первоначальный вывод Вавилова: один из важнейших очагов происхождения культурных растений находится в юго-восточной части Афганистана и – очевидно – в прилегающих районах Индии. Логика исследований требовала теперь направиться в Индию.

Но полным ходом шла подготовка экспедиции в страны Средиземноморья.

Средиземноморье

1.

«Теперь мы в Марселе. Море не спокойно. Я чувствую, предстоит нелегкое путешествие. 12 дней и ночей в лучшем случае. Но я не колеблюсь, дорогая. Это необходимо сделать по логике жизни. Это не является удовольствием, дорогая, поверь мне. От поездов, экспрессов и моря (я уже сделал по крайней мере 25 000 км) я получил постоянную головную боль».

Открытка датирована 1927 годом, 5 января.

На одной стороне – изображение парохода, на котором предстоит плыть Вавилову. Другая разделена пополам: половина для адреса, другая – для текста. Много таких открыток посылал Вавилов, путешествуя по странам Средиземноморья. Адресовал в Институт, сотрудникам, друзьям. Но чаще всего жене, Елене Ивановне Барулиной. И иногда в Москву – сыну Олегу. Десять-двенадцать бисерных, неразборчивых строк. Писал их, как правило, на ходу: на улице, в поезде, в автомобиле. Писал торопливо. Без точек и запятых. С сокращениями. Без банальных вопросов о самочувствии и здоровье.

Писал и длинные письма, когда выпадал свободный час. Просил всё сохранять – они заменяли дневник путешествия.

Так почему бы нам не привести одно за другим наиболее интересные письма?

Это мы и сделаем, опуская по возможности латинские названия растений, повторы и второстепенные детали, а также нерасшифрованные фразы, давая необходимые пояснения.

Но сначала предыстория путешествия.

Основная трудность, уже привычная, – получение виз. Вавилов обивал пороги посольств, бомбардировал письмами зарубежных друзей, обзаводясь рекомендациями и ходатайствами.

Доктор Харлан из Вашингтона обещал помочь с въездом в Абиссинию – страну практически закрытую для иностранцев. Харлану удалось побывать в Абиссинии в 1923 году; он выслал в Ленинград кое-какие материалы. Вавилов с большим нетерпением ждал этой посылки – она почему-то долго не доставлялась.

«Абиссиния – страна моей мечты, – писал он Харлану. – Образцы из Абиссинии и прилегающих регионов для нас столь важны, что даже трудно представить»[310].

Харлан обещал рекомендательное письмо негусу Абиссинии расу (принцу) Тафари.

Особые надежды Вавилов возлагал на Уильяма Бэтсона: его авторитет ученого с мировым именем мог открыть самые высокие двери. Бэтсон только что был в России, присутствовал на торжествах по случаю 200-летия Академии наук. Николай Иванович всячески его опекал, знакомил со своими институтами, с ведущими учеными. Бэтсон уехал очень довольный. Теперь Николай Иванович ему написал: «Я буду Вам весьма обязан, если Вы рекомендуете меня английским и французским властям. Я не интересуюсь политикой, так же как и проф. Тулайков, который, возможно, поедет со мной. Я состою в Академии членом-корреспондентом, равно как и сотрудником нашего Института прикладной ботаники и растениеводства. Может быть, Вы сочтете возможным написать в Ваше посольство в Москве соответствующее письмо»[311].

К письму Вавилов приложил краткую справку о себе и о программе экспедиции: «Профессор], доктор Н.И.Вавилов; директор Государственного института опытной агрономии; директор Российского всесоюзного института прикладной ботаники и новых культур; член-корреспондент Российской академии наук, член Академии наук в Хале (Германия); член Американского ботанического общества; фитопатологического общества, Генетической ассоциации, Немецкого общества ботанических наук. Возраст – 38 лет.

Предполагаемый маршрут: Лондон – Париж – Марсель – Египет – Сирия – Палестина – Египет – Крит – Кипр – Алжир – Тунис – Марокко – Испания – Италия – Греция – Египет – Судан – Абиссиния – Константинополь – Одесса.

Цель поездки:

1. Изучить культурные растения Средиземноморского региона.

2. Посетить все главные ботанические и сельскохозяйственные учреждения.

3. Изучить условия ведения сельского хозяйства.

Продолжительность поездки – 7–8 месяцев»[312].

В ответ пришла ошеломляющая телеграмма о скоропостижной кончине Бэтсона. Затем письмо от его близкого друга профессора Холла: «Дорогой профессор Вавилов. Вы очень огорчитесь, узнав, что Бэтсон скончался вчера утром, после нескольких дней болезни, от пневмонии. Я встретил его неделю тому назад, и он, казалось бы, чувствовал себя нормально, но уже вечером того же дня заболел и, несмотря на свое крепкое телосложение, скончался рано утром в понедельник, 8-го

[февраля]. Я не могу еще вполне осознать происшедшее: он был тем другом, кому я более всего доверял, кого я ценил, и я только сейчас начинаю осознавать, насколько беднее я стал с его кончиной.

Миссис Бэтсон дала мне Ваше письмо от 25 января, и завтра я иду в Форин Офис узнать, что я могу сделать в соответствии с Вашей просьбой. Напишу Вам позднее, как только буду иметь сведения, но я сделаю всё, что смогу, чтобы облегчить Ваш путь. Миссис Бэтсон сказала мне, что во время болезни Бэтсон очень волновался, что не успел ничего сделать. С наилучшими пожеланиями. Искренне Ваш, А.Д.Холл»[313].

К проникновенному письму, адресованному миссис Бэтсон, Николай Иванович приложил портрет Бэтсона, нарисованный, когда он был в Ленинграде, художником Института прикладной ботаники И.Б.Стребловым[314]. Она ответит, что это лучший портрет ее мужа.

Продолжая хлопоты об экспедиции, Николай Иванович заручился поддержкой ведущего прикладного ботаника Франции Шевалье, профессора Алжирского университета Дюселье и профессора Трабю – тоже из Алжира. Всем Вавилов твердил одно: «Я всегда стоял в стороне от политики, и поездка моя преследует исключительно научные цели».

Обстановка сложная. Визы в Англию и Францию получить достаточно просто; под нажимом французских ученых обещаны визы в Алжир и Тунис. Но твердо отказано во въезде в Марокко и в Сирию. Забрезжила надежда на британские визы в Палестину и на остров Кипр, но не в Египет, контролируемый Англией, но формально независимый.

И вдруг Вавилов узнает, что из-за «режима экономии» его экспедиция откладывается на неопределенный срок. Новость свалилась как снег на голову: ведь всё давно согласовано на самом верху!

Кажется, дальше бороться невозможно, но это было бы не по-вавиловски. Он должен сделать всё, что зависит от себя.

23 апреля 1926 г., Н.П. Горбунову: «Посылаю Вам краткую Докладную записку, которая, может быть, понадобится Вам при переговорах, как материал, объясняющий, что именно в силу “режима экономии” необходимо осуществить данную поездку. Я глубоко убежден в полной практической целесообразности этой поездки, которая одобрена несколькими селекционными съездами, Наркомземом, Пленумом и Малым Совнаркомом, не говоря уже о том, что затрачено очень много энергии на то, чтобы осуществить ее, на то, чтобы получить согласие Англии, Франции на разрешение поездки. Внутренняя убежденность в правоте этого

дела позволяет просить Вас помочь Институту в нем».

В Докладной записке – своего рода шпаргалке для Горбунова – аргументируется целесообразность экспедиции: затраты запланированы ничтожные, а ожидаемая польза – огромна, не только для теории, но и для практики. «Уже немедленно после бедствия в 1921 году, вызванного засухой, возник вопрос о привлечении семенного материала из засушливых земледельческих районов Северной Африки для выведения необходимых нам засухоустойчивых сортов. В селекционной работе самое существенное – исходный семенной материал»[315].

Всё это было известно Горбунову, руководству Наркомзема и более высоким инстанциям. Не был ли «режим экономии» лишь благовидным предлогом? Финансовое положение Советской России к тому времени значительно выправилось благодаря нэпу и радикальной денежной реформе, проведенной наркомом финансов Сокольниковым. Вместо ничего не стоивших бумажек была введена твердая валюта. *Золотой червонец* котировался на мировых рынках. Ассигнования на экспедицию Вавилова в страны Средиземноморья, как и на другие зарубежные командировки, были утверждены в рамках общей сметы расходов Института прикладной ботаники на 1926 год. Если внезапно понадобилось эту смету пересмотреть (такое в «плановой» советской экономике случалось часто), то не самому ли Институту следовало решать, какие расходы урезать, а какие – нет. Заведующий Отделом генетики Института Карпеченко находился в длительной зарубежной командировке, и никто не требовал его срочного возвращения ради экономии. Работала большая экспедиция Воронова в Южной и Центральной Америке. Жуковский вторично отправился в Малую Азию. В эти же дни Вавилов просил утвердить командировку в США, на IV Международный ботанический конгресс, заведующего Отделом физиологии Н.А.Максимова и его сотрудницы и жены Т.А.Красносельской-Максимовой. В письме Горбунову Вавилов дал обоим блестящие характеристики, объяснил, насколько важно им быть на съезде, завести связи с коллегами, побывать в лабораториях. Командировка в США им была дана на полгода.

И только директору Института отказано из-за «режима экономии»!

Похоже, что тут не обошлось без тайного доноса. Вавилов и без того был на подозрении как *буржуазный* специалист, сын эмигрировавшего коммерсанта, бывшего миллионера.

20 апреля он пишет Зайцеву: «Я только что приехал из Москвы. Затруднения с выездом еще больше увеличиваются»[316].

Вавилов посылает Горбунову брошюру по селекции

засухоустойчивых сортов (Доклад секции по борьбе с засухой на Всесоюзном геофизическом съезде), следом шлет первый экземпляр своей только что отпечатанной книги «Центры происхождения культурных растений»: «Больших доказательств, что мне во что бы то ни стало надо ехать в Средиземноморье, у меня нет»[317].

Горбунов ходит по инстанциям, но решение затягивается. Только 17 мая Вавилов смог сообщить (М.Г.Попову), что «добился снятия“ вето” у нас».

Можно выезжать? Но маятник качнулся в другую сторону.

«Дело с нашей поездкой снимается с очереди. Во-первых, опоздали. Если теперь и пришлось бы ехать в Алжир, Тунис, то в период, когда туда едут только сумасшедшие». А главное, «возникли новые неожиданные препятствия, ибо оказалось, что в колонии с советским паспортом не пускают. Такого случая не было. В Марокко и Сирию нас не пустят, по словам Шевалье, хотя бы все французские ботаники за нас поручились. Французский посол заявил, что самое большое, что он может сделать, дать визу во Францию, но гарантировать въезд в Алжир и Тунис не может и предлагает это дело устраивать в самом Париже». Да и «от англичан до сих пор нет ответа. Чрезвычайно напакостила английская забастовка[318]. Теперь уже на визы в Судан и Египет не рассчитываю. В смету будущего года вставляем опять экспедицию»[319].

Итак, тупик. Глухая стена!.. Но он не был бы Вавиловым, если бы смирился.

«Я буду стремиться хотя бы для вылазки, хотя бы в июле выбраться во Францию, чтобы там ориентироваться в обстановке и пробраться хотя бы в Италию, Грецию и подготовить возможности экспедиции в будущем году. <…> Но пока положение весьма трудное. Французская виза во Францию после английской забастовки оказалась транзитной, транзитная же без основной визы – нуль»[320].

Но – дорогу осилит идущий. Колесо фортуны вдруг снова стало поворачиваться в его сторону.

29 мая 1926 г., Г.Д.Карпеченко, Лондон: «Я, наконец, кое-как устроил дела со своей поездкой. Из английских виз я получил 2-недельную визу в Англию, визу в Кипр и Палестину. Отказали в визе в Египет и в Судан. Еду в Лондон, чтобы попытаться получить эти визы. Порасспрашивайте в Мертоне, не могут ли мне помочь в этом деле. Мне до зарезу нужно попасть в Египет и Судан, в последний, главным образом, чтобы через него пройти в Абиссинию. В Абиссинию мне попасть нужно до зарезу, ибо там решается ряд проблем пшеничных и ячменных. Так вот,

проинтервьюируйте до моего приезда. Я Вам, вероятно, пошлю телеграмму или открытку из Берлина. Выезжаю я из Москвы 31 [мая] через Ригу, Берлин, Голландию [в] Лондон без задержек. Числа, следовательно, 5-го буду в Лондоне».

2.

И вот уже письмо из британской столицы: «Милая моя, родная Ленушка, сегодня неделя как я тут <…>. Бегаю по министерствам. Дошел, страшно подумать, до Downing Street, т. е. Министерства Иностранных] дел, до лордов. Был у губернаторов. Положение нашего брата трудное. В Египет не пускает Египетское] правительство. В Судан посланы бумаги, рекомендации. В Иерусалиме будет ответ, если им удостоят.

По правде, милая, надоели эти хлопоты без конца, дипломат я все-таки плохой. Мне, право, надо как никому быть в Средиземье. И это единственный мотив. Помогает книга о Центрах. Без нее нельзя было бы и разговаривать.

Дня три еще буду в Лондоне и дальше в Paris. Был в Рединге у Персиваля. Большая новость – T. persicum *[персидская* пшеница] *найдена в Абиссинии.* Был в Кембридже. Там скучно, топчутся на одном месте. Был за городом у Саламана[321] – окунулся в англ[ийскую] деревню. Идет прекрасная первоклассная работа по картофелю.

Это самое лучшее, что видел. Нас они по картофелю опередили.

Хожу по бесконечным dinner'ам, lunch'ам. Всюду зовут.

Собрал уже кое-какой материал по хлебам Абиссинии.

<…> Во всяком случае, уже кое-что приобрел для нас. Пока наш курс верный <…>. Нашел интересные карты, книги по Африке. Словом, пытаюсь быть тут не напрасно <…>.

Здесь начинаешь понимать, что то, что мы делаем, не безразлично и для них».

12 июня 1926 г., П.П.Подъяпольскому: «Пробираюсь ко львам, но пока трудно с визами. Львов отгородили визными затруднениями, для нас почти непроходимыми».

13 июня, Е.И.Барулиной: «Из-за закрытия по воскресеньям и субботам с часу всех учреждений и магазинов придется пробыть здесь на 2 дня дольше. Впитываю Лондон, но он так велик и богат, что даже воспринять объем его трудно. Вчера, наконец, добрался до библиотек. Чудовищная литература по Востоку. По одному Египту есть целые магазины книг. А сегодня (воскресенье) бегал смотреть Индию (обдумывая поход), Египет. Словом, весь

Египет собран в British museum [Британском музее] <…>. Ходил в Kew garden [Ботанический сад]. В культуре до 12 000 линнеевских видов. Альпийск[ие] растения в самом цвету. Сад полон рододендронов».

16 июня, ей же: «1 час ночи. Я уже в Париже. Сегодня приехал вечером. Был у знакомого агрохимика Безсонова. И завтра начинаю хождения по визным делам <…>. Париж набит россиянами. Один из них сегодня на пароходе завидовал моему советскому паспорту, к[отор]ый мне не особенно на руку для колоний. Шофер говорил по-русски и читал "Послед[ние] новости" <…>. Бедствуют россияне здесь! Жизнь здесь раза в 3–4 дешевле лондонской. Большей нелепости трудно представить. Переехал Ла-Манш и за автомобиль платишь в 8 раз дешевле.

Собираюсь делать тут в Академии наук доклад о Центрах <…>.

С Лондоном распрощался. Мог бы там еще многое сделать. Не видел гербария. Не видел всей ботанической литературы. Но кое-что сделал. Самое главное, добыл карты для всех интересующих нас районов».

21 июня, ей же: «Вот, детка, у M-me Сталь, к[отор]ую я случайно читаю, есть подходящее место. Она много путешествовала – от Франции до России. 100 лет тому назад это была дистанция большая. Вот что она пишет: "Что бы об этом ни говорили, а путешествовать – одно из самых грустных удовольствий жизни. Если вы чувствуете себя хорошо в каком-нибудь иностранном городе, то он становится для вас как бы вторым отечеством; но когда проезжаешь незнакомые страны, слышишь язык, который едва понимаешь, видишь лица, равнодушные к твоему прошлому и будущему, то остаешься в одиночестве, лишенный отдыха и покоя; мало того, поспешность, торопливость, с какою вы стремитесь прибыть туда, где никто вас не ждет, волнение, единственной причиной которого служит любопытство, не внушают вам большого уважения к самому себе, и это до тех пор, пока новые вещи не станут для вас постепенно старыми и не создадут вокруг вас устойчивые интимные связи, ощущения и привычки"[322] (Коринна или Италия). А если к этому прибавить визные трудности, к[отор]ые поглощают всё, то ты поймешь, родная <…> мои настроения».

О, эти *визные трудности*! Они казались непреодолимыми. Для борьбы с ними приходилось мобилизовать всю свою энергию, находчивость, изобретательность, свое личное обаяние, а, в первую очередь, активизировать французский язык. В одном из писем Николай Иванович упоминает, что был в театре на «Даме с камелиями». «Всё понимаю, но для разговоров с маркизами этого

недостаточно».

Крупнейший прикладной ботаник Франции Огюст Шевалье высоко ценил научные труды Вавилова. Он вывел Николая Ивановича на профессора Парижского университета Луи Флоримона Бларингема, ботаника и генетика. Конфиденциально пояснил, что если кто может реально помочь с визами во французские колонии, то только Бларингем: его тесть занимает высокий пост в министерстве иностранных дел. «Всё строится на ерунде», – как заметил по этому поводу Вавилов в письме Елене Ивановне.

Бларингем был учеником Гуго де Фриза, казалось, найти с ним общий язык было нетрудно. Но из разговора ничего хорошего не получилось. Он начал с того, что научные труды Вавилова слишком велики по объему, нет времени их читать. А затем сказал, что царские долги Советы не платят, так как у них нет денег, а на экспедиции во французские колонии деньги находятся! Николай Иванович не знал, как унести ноги.

Более благоприятными оказались контакты с маркизой де Вильморен, вдовой бывшего главы знаменитой семеноводческой фирмы Филиппа де Вильморена и матерью ее тогдашнего главы.

Госпожа Вильморен пригласила Николая Ивановича на званый обед, чем повергла его в большое смущение. К светским раутам он не привык и боялся совершить какую-нибудь оплошность. «Готовлюсь и чувствую, что экзамен выдержу слабо, – писал он Елене Ивановне. – Сейчас пойду покупать шляпу, манжеты, запонки. Словом, приводиться в порядок. Пока этим совсем не занимался. Хотя в Англии и завтракал с лордом Lovet (тоже хлопоча о визе в Судан), но то было проще. Лорд оказался просто культурным человеком».

На званый обед Вавилов пришел заблаговременно. Маркиза встретила его благосклонно, завела легкий светский разговор: «Ах, знаете, я так устала от этих людей, все такие надоедливые, глупые, вы этого не находите?» Вавилова такое начало разговора насторожило, да и внешность госпожи говорила скорее о кокетливости, чем о деловитости. Ее дети были старше Николая Ивановича, сын возглавлял всемирно известную фирму, а пожилая вдова сильно молодилась, была густо разрисована косметикой.

С порядком блюд за обедом Николай Иванович как-то справился, «особенно не конфузился». «Разговор, поднятый Шевалье о происхождении] культурных] растений, поставил меня на ноги. Работы они мои знают».

Стали обсуждать, как ему помочь с визами. Положение осложнялось тем, что в стране был очередной правительственный

кризис. Старое правительство ушло в отставку, новый премьер-министр Бриан никак не мог сформировать кабинет: мало кто из видных политиков рвался занять министерские посты. Министра иностранных дел еще не было.

Долго обсуждали, к кому обращаться: к бывшему президенту Пуанкаре? Или к новому премьеру Бриану? Составили письмо госпожи Вильморен ее давнему другу, главе административного аппарата министерства иностранных дел.

Николай Иванович изложил его содержание Елене Ивановне: «"Я ручаюсь за Вавилова, как за себя. Он сделал многое для Вильморенов. Исследования его имеют мировое значение. И Франция от них получит не менее других. Дом Вильморенов берет на себя всю ответственность" и т. д.

Это, право, благородно. И я уже простил маркизе и крашеные губы, и парик, и весь свой конфуз в непривычных условиях.

Судьба поездки в Африку зависит теперь не в меньшей мере от маркизы.

Как будто есть надежда на днях получить визы в Сирию, Алжир, Тунис и Марокко, но не в Сомалию. В последнюю дадут визу, когда будет согласие эфиопского правительства[323]. Вот еще неожиданный №».

Наутро, полагая, что дело сделано, Вавилов пошел в министерство получать документы. Не тут-то было! Его даже не допустили до ответственных лиц, которые могли принять решение.

Вавилов идет в советское полпредство, требует более активной помощи, но полпред Красин объясняет ему, что отношения Советской России с Францией крайне напряжены, получение виз – дело безнадежное.

Вечером он опять у маркизы Вильморен. У нее в гостях губернатор острова Мадагаскар. В его присутствии Николай Иванович поведал ей о своей неудаче.

Рассерженная маркиза тут же позвонила начальнику министерства и «началась проборка почти министру». «Тот обещал пустить в ход мое дело. По-видимому, подоспела рекомендация Академии наук (Парижской) и другие, к[отор]ые я выхлопатывал. Что-то будет? Наша миссия вчера раскачалась, и секретарь наконец отправился в М[инистерст]во Иностранных] дел».

Вавилов писал в приподнятом настроении, письмо стало искриться юмором: «О, ужас! Послезавтра снова завтрак с маркизой. И с ней должны на автомобиле ехать в Verierres[324] на посев. К вечеру она помолодела еще лет на 20. И в профиль могла бы сойти за молодую. Но действия ее пока так умны, что, если

дело кончится благополучно, ей я буду признателен всю жизнь. Без нее дело не пошло бы, и темп событий был бы иной. А теперь побегу в театр. До черта надо овладеть французским. Хотя леди хорошо говорит по-английски, но <…> изредка переходит».

Но радоваться было рано.

24 июня 1926 г.: «12 ч. д[ня]. Утро весьма печальное. В префектуре (Министерство Внутренних дел) виз в Африку не

желают давать. В 4 часа опять требуют для опроса. Еще хуже с итальянцами. Виза дана без меня в Москве и переслана в Париж. А здесь говорят, что могут ее дать только для немедленного въезда в Италию из Франции. А не так, как мне надо, с заездом в Грецию и пр. Визы, словом, не дали. Отправляюсь сейчас к маркизе Vilmorin в весьма груст[ном] настроении. Но идти надо».

События развиваются с головокружительной быстротой, и в тот же вечер Вавилов пишет «милой Ленушке»: «Не верю пока своим глазам, но тем не менее в кармане визы в Сирию, в Алжир, Тунис и Марокко. Не только я не верю, но и Полпредство».

Оказалось, что маркиза посетила Пуанкаре и Бриана, и когда он пришел к ней, сказала:

– Мой друг, вам разрешено ехать туда, куда вам угодно. Направляйтесь в министерство иностранных дел, оттуда в префектуру, получайте визы и заходите к нам на прощанье.

В префектуре, куда Вавилов явился для окончательного оформления виз, его встретили с изумлением.

– Вы знаете о событиях? – коротко спросил чиновник и стал звонить в министерство.

Он говорил о событиях, крайне неприятных для французских властей. Уже больше года в Сирии, в горах Хорана, длилось восстание друзов. Усмирить их никак не удавалось. А тут еще в Марокко начались активные военные действия против маленькой Рифской республики, провозгласившей независимость. Французские власти старались скрыть эти события от мировой общественности. Даже гражданам Франции для въезда в эти колонии требовалось специальное разрешение.

Распоряжение выдать визы Вавилову исходило от премьер-министра, но в префектуре отказывались этому верить. После часа телефонных переговоров визы были, наконец, на руках.

«Остается, т[аким] обр[азом], Испания, Египет. Италия, думаю, даст в конце концов, и главное, Абиссиния, Судан и Сомалия.

В самом М[инистерст]ве Внутренних] дел не верили. Это всё дело маркизы[325]. Теперь надо всё обдумать. Я уже перестал даже думать о Сирии. Карт даже еще не покупал. Будь бы это на I1/2 месяца раньше!!!»

25 июня, Н.П.Горбунову: «Все мысли, как бы проникнуть в Абиссинию. Обдумываю обходные пути. Визы в Египет не дали, придется, вероятно, проходить через Аравию, если дадут визу в Судан. Это выяснится в Палестине. <…> Надеюсь через полгода овладеть средиземноморскими культурами и достать всё, что нам нужно. Но этого мало. Надо добраться во что бы то ни стало до Эфиопии»[326].

Уже в следующие дни маршрут меняется. 1 июля он писал Елене Ивановне из Марселя: «Эти дни я замотался. Всё пытался добыть визу в Египет. Пока ничего не вышло. Сегодня неожиданно решил изменить маршрут. Выяснилось, что в Сирию я все равно опоздал, а в С[еверной] Африке или надо теперь быть, чтобы что-нибудь застать, или вообще не ехать. Есть и еще много соображений. Всё обдумав, решил ехать сегодня в Африку и завтра уже буду в Алжире. Там пробуду месяц и оттуда буду делать поездки в Марокко и Тунис. Визы у меня на 1 месяц 10 дней в эти 3 страны.

Оттуда поеду в Италию (если удастся устроить с визой) и в Грецию, а оттуда уже в Палестину и Сирию. Но пока трудно сказать точно. Второй день в Марселе. Уже Средиземье, пальмы, чинары. Был на выставке С[еверной] Африки. Весьма убога, но кое-что взял.

Париж сам я видел как следует, кроме агроном[ической] части. Пастерианцы очень помогли (Метальников, Вайнберг, И.И.Иванов, он здесь, вернулся из Сенегамбии, куда ездил по обезьяньим делам[327]). Снабдили всякими прививками <…>. Итак, не верится, завтра сбудется мечта 10 лет».

3.

В Алжире в те дни вся страна праздновала 7 5-летний юбилей Луи Трабю – «великого французского интродуктора», как назвал его Николай Иванович, не скупившийся на похвальные отзывы о коллегах. Благодаря Трабю была преобразована вся растительная индустрия небольшой страны, его влияние чувствовалось и за пределами Алжира. В его честь была выбита медаль.

Знаток тропической и субтропической флоры, Трабю создал богатейший ботанический сад, издал монографии об эвкалиптах, агавах, акациях, ввел в культуру пригодные для Алжира виды и сорта цитрусовых и других культур.

С виду Трабю был суров и неприступен. Но работы Вавилова он знал, и визит пришельца из далекой России стал для него приятной неожиданностью. Он любезно предоставил гостю свой

гербарий, щедро снабдил семенами растений из своей коллекции, научной литературой. Он помог Вавилову разработать маршрут и за короткое время посетить все сельскохозяйственные районы Алжира, включая горные районы и отдаленные оазисы пустыни Сахара.

«Беседа с Трабю доставляла большое удовольствие вследствие его широкого кругозора, конкретных знаний, полета мысли и эволюционных идей»[328].

Николай Ивановича поразила скромная обстановка, в какой жила семья Трабю, – еще одно свидетельство, что науку двигают бескорыстные труженики. Принося огромные богатства своей стране и всему человечеству, сами они довольствуются малым. Это же бросалось в глаза и в Париже. В Пастеровском институте, который, по словам Вавилова, «дал человечеству больше, чем какой-либо институт в мире»[329], обстановка тоже была очень скромной.

Трабю советовал прежде всего ехать в Сахару, где урожай созрел, были в разгаре уборочные работы. Но предупредил – в июльский зной туда могут ехать только оголтелые. Ну, не зною же остановить Вавилова!

В обширный оазис Бискра вела узкоколейная железнодорожная ветка. Оазис утопал в лесу финиковых пальм. На деревьях, из-под крон, свешивались пудовые гроздья ярко-желтых, еще не созревших плодов: они созревают в сентябре и тогда темнеют. Для орошения пальм проведены канавы; их периодически наполняют водой, которая стоит в них по нескольку дней и заболачивает местность.

Бискра – город-курорт для легочных больных. Для них построены фешенебельные отели. Но больные съезжались осенью и зимой, летом отели пустовали или были закрыты. А рядом, в убогих приземистых хижинах с плоскими крышами и подслеповатыми окошками, ютились местные жители.

Обследовав Бискру, Вавилов нанял проводника и автомобиль с особыми широкими шинами и отправился вглубь пустыни, к редким крохотным оазисам, прятавшимся под сенью таких же пальм. На небольших приусадебных огородах крестьяне выращивали лук, морковь, свеклу. Уборка была в разгаре, можно было запастись образцами всех этих культур. Бросалась в глаза крупность плодов и корнеплодов, что было характерно для всего Средиземноморья.

Пшеница была уже убрана, а путешественнику нужны не только семена, но и колосья – для ботанического определения разновидностей и сортов. К счастью, в арабских поселочках бытовал обычай: из колосьев пшеницы плели украшения, их

развешивали на стенах убогих жилищ. Вавилов ходил по приземистым избенкам и скупал или выменивал эти украшения.

Здесь возделывались различные формы твердой пшеницы, что характерно для всего Средиземноморья. Попадались и мягкие, явно занесенные извне. Они тоже представляли несомненный интерес. За века бессознательной селекции в условиях интенсивной поливной культуры здесь выработались особые формы мягкой пшеницы – высокопродуктивные, с толстой соломой. Эту разновидность выделил и описал ученик Трабю, профессор Алжирского университета Дюселье.

3 июля 1926 г., Е.И.Барулиной: «Начал поглощать факты <… >. Алжир наводнен пришельцами растительного мира, бразильцами, австралийцами. Я еще не очень опоздал. Кое-что можно собрать и из дикарей».

9 июля, Е. С.Зайцеву: «Наконец я в Алжире. Глаза разбегаются. Не справляюсь. Кругом и дикая свекла, и дикий лен, и тьма новых культур. Чтобы сделать всё, что надо, надо было бы в 10 раз больше времени и быть нескольким вместе. Что могу, делаю. Во всяком случае, Африкой мы начали овладевать».

Маршрут в восточную часть страны Кабилию помог выработать Дюселье, вызвавшийся сопровождать Вавилова. Кабилия – горный район, здесь прохладнее, хлеба созревают позже. Местное население – кабилы, древний народ, ответвление берберов, которые обитали здесь с незапамятных времен, задолго до завоевания арабами. Кабилы давно обращены в мусульманство, но говорят на своем языке. Их древняя письменность утрачена, но в верованиях, преданиях, образе жизни сохранялись черты древней языческой культуры, куда более высокой, чем у арабов. Дома чистенькие, крыты черепицей, тесно прижаты друг к другу. Наружу выходят высокими глухими стенами, а жизнь протекает во внутреннем дворе, скрытом от постороннего взгляда. Поселок опоясан двумя улицами – внутренняя для женщин, внешняя для мужчин.

Здесь возделывали зерновые и овощные культуры. Поля хорошо обработаны и ухожены. Состав растений резко отличался от того, что возделывали арабы в соседних селениях. Это Вавилов и ожидал. Но чего он не мог ожидать, так это того, что формы растений оказались близкими к культурам Ирана, Афганистана, Средней Азии. Здесь возделывались бобы, чечевица, горох, чина с мелкими темными семенами, почти такими же, какие он находил в Афганистане. Широко возделывалась мягкая пшеница, родственная формам Юго-Западной Азии. Значит, в древности между регионами были тесные связи, позднее утраченные! На обширной территории процветала высокая культура, которая

потом деградировала. В этой горной местности, у кабилов, сохранились ее рудименты.

4.

Из Алжира Вавилов едет в Марокко. Виза на десять дней. Охватить страну за такой короткий срок Вавилову помог Эмиль Мьеж [Emil Miege] – директор опытной станции в Рабате. Мьеж помог составить маршрут путешествия.

Из Рабата Вавилов проехал в Касабланку, оттуда в Марракеш, где нанял лошадей и переводчика и двинулся в Атласские горы, населенные берберами. Здесь, как и в Кабилии, был высокий уровень земледельческой культуры, со своеобразными растениями и навыками земледелия. Многие поля были засеяны рожью, что снова говорило о давней связи с Юго-Западной Азией. О том же говорили конопля, горох, чина… Но Вавилов обнаружил и посевы твердой пшеницы с легко осыпающимся колосом, нигде ему ранее не встречавшейся. Культура была эндемична для Атласских гор.

Почему так получалось в истории, что высокий уровень культуры, которого достигали некоторые древние народы, затем утрачивался, сходил на нет, снова наступала тьма варварства?

Такое вопросы навевали грустные мысли. Невольно припоминалась легендарная Атлантида, где процветала высочайшая культура атлантов. Согласно Платону, Атлантида погрузилась в пучины океана со всем своим населением, из-за чего цивилизация была отброшена на много столетий назад. Припоминался и приключенческий роман Пьера Бенуа «Атлантида», бестселлер тех лет. В романе цивилизация атлантов не ушла под воду. Она сохранялась в пустыне Сахара, отгороженная от остального мира безводными сыпучими песками.

Как Николаю Ивановичу удавалось выкраивать время на чтение развлекательных фантасмагорий? Видимо, читал такие книги не для развлечения, а для практики во французском языке.

17 июля 1926 г., Е.И.Барулиной: «Пересек всё Марокко, и пустыни, и степи. Проехал на автобусе. Нестерпимая жара. Начинаю глотать хинин, так как не хочу схватить марокканскую лихорадку. В центральном Марокко собрал ценный материал. Наконец, и по Ervum ervilia [дикая чечевица], льны, интересный горох. Если окажется возможным, буду возвращаться в Алжир аэропланом».

17 июля, Олегу Вавилову: «Милый детка. Я в Марокко и пересек на автобусе (540 верст) всё Марокко вдоль Атласских гор.

Ехал 1 ½ дня. Жара в пустыне была градусов до 52 в тени. Губы начали трескаться от жары».

24 июля, Е.И.Барулиной: «На Марокко у меня была виза на 10 дней. Я думал, что оно особенного интереса не представляет, оказалось, наоборот, что ему-то и надо было уделить внимание. Ты поймешь, как пришлось торопиться. Сделал я около 2000 [км] по Марокко исключительно на автомобиле. Помощник мой, попросту служащий банка, франц[узский] буржуа, требующий хорошего обеда, спокойного жития и не имеющий, как все русские офицеры (он бывш[ий]), технических] навыков. В общем, всё сошло. Многое недоделано. Но ехать сюда стоило. Особенно интересны оказались горы. В горах Высокого Атласа нашел новую группу тверд[ых] пшениц <…>.

Поездка в Африку совершенно отлична от Афганистана. Здесь вся суть [в том, чтобы] в кратчайший срок собрать сведения, всех посетить, осмотр[еть] гербарии, получить официальные] письма, уделить время обедам, завтракам и мчаться на автомобиле. Благодаря низкому курсу франка свожу концы с концами и пока еще не вышел из бюджета.

<…> В Марокко спецы сбили меня с толку в маршруте, ибо недооценили гор. Ну, им это простительно. Себе не прощаю. 1 день по Болын[ому] Атласу недопустимо [мало]».

Осознав с опозданием, что высокогорному Атласу следовало уделить больше времени, Николай Иванович «благодаря дешевизне франка организовал отдельную экспедицию, мобилизовав для этого ассистентов Сельскохозяйственного института в Алжире – россиян. Эта экспедиция должна в ближайшие дни добраться до Высокого Атласа. Если она удастся, получим ценнейший для нас яровой сортовой материал»[330].

Без даты, Г.С.Зайцеву. «Как и в Азии, самое интересное таят горы. В горах Высокого Атласа нашел культуру, аналогичную таджикской. Пойдут факты. И чем их больше, тем больше их нужно для обобщений».

25 июля, П.П.Подъяпольскому: «Закончил с Марокко, завтра на аэроплане возвращаюсь в Алжир, а оттуда в Сахару, в Тунис. До львов не знаю еще, доберусь ли. Виз ни в Египет, ни в Судан, ни в Абиссинию нет…»

Со львами Николаю Ивановичу пришлось встретиться раньше, чем он ожидал. Он возвращался в Алжир на аэроплане, чтобы избежать проверки документов на пограничном посту, ибо виза в Марокко была-таки просрочена.

В полете забарахлил мотор. Летчик-француз делал немыслимые виражи, пытаясь дотянуть до аэродрома, но это ему не удалось. Пришлось посадить машину в пустыне. Солнце

клонилось к горизонту. Понимая, чем грозит надвигающаяся ночь, Вавилов натаскал побольше хворосту и развел огромный костер. Как только стало темно, у костра появился лев. Он ревел, скалил пасть, отсветы пламени выхватывали из темноты косматую гриву и голодные светящиеся глаза. Летчик обезумел от страха и решил погасить костер. Никакие доводы не помогали. Чуть не дошло до драки. Утром, как только лев исчез, летчик дрожащими пальцами поковырял в моторе и стал раскручивать пропеллер. Кое-как добрались они до аэродрома в Оране…

5.

3 августа 1926 г, Bisvas (Sahara), Е.И.Барулиной: «Приехал в Сахару, в пограничный оазис. Вчера видел замечательные руины Тимгада – алжирскую Помпею. Римский город 3 века у границы Сахары с остатками библиотеки, театра, форума. Ничего подобного раньше не видел. Раскопки поразительны, и для агрономической философии их надо было видеть. А сегодня пойду на опытную станцию и по деревням-оазисам. Пробуду здесь дня 2–2½ и <…> направлюсь в Тунис, где буду 6-го/VIII».

Тимгад был построен римлянами при императоре Траяне как форпост в Северной Африке для защиты от набегов берберов-кочевников. Поселившиеся здесь воины получили земельные наделы, эта земля стала житницей Римской империи. Обширные поля здесь засевались твердой пшеницей, ее образцы пополнили коллекцию Вавилова.

Для «агрономической философии» еще важнее Тимгада была другая жемчужина древности – финикийский Карфаген. Ко времени основания Тимгада он существовал уже чуть ни тысячу лет, но потом был разрушен теми же римлянами *(Карфаген должен быть разрушен!)*.

Развалины Карфагена тоже неплохо сохранились. Вавилов их осматривал со смешанным чувством восхищения и досады. На фоне этих величественных развалин современный Тунис был маленьким, жалким городком, частью, правда, европеизированным. Большая его часть – арабская – с низенькими избенками под плоскими крышами, снова наводила на грустные мысли о прогрессе, обращенном вспять, о деградации великих культур, что происходило в истории с такой же непреклонностью, как и развитие.

Короткая поездка в Тунис была столь же продуктивной, как и в Марокко, и тоже благодаря гостеприимству местных ученых.

Вавилова принимал профессор Бёф – директор опытной станции. Они вместе объехали основные земледельческие районы, уделили должное внимание горам.

На базаре Туниса, словно в музее, было собрано почти всё сортовое многообразие сельскохозяйственных растений Средиземноморья. Вавилов закупил порции семян пшеницы, ячменя, льна, бобов, чечевицы, чины. Все были представлены большим ассортиментом разновидностей и сортов. Продавалась и твердая, и мягкая пшеница. Оказалось, французские колонисты предпочитали хлеб из мягкой пшеницы, тогда как арабское население – из твердой. Из нее же особым способом готовилась крупа кус-кус. Технология приготовления была примитивна: кучу пшеницы обливали водой и ждали день-два, пока она набухнет и в ней пройдет ферментация, превращающая крахмал в сахар. Затем влажное зерно расстилали тонким слоем для просушки. Так получался кус-кус, «пшеничный рис», из него варили кашу. Еще один признак азиатского влияния, где население питается вареным рисом.

Из Северной Африки Вавилов отправил около восьмидесяти посылок с семенами и колосьями – по 11–12 фунтов каждая. Его беспокоила судьба этого материала. Он просил В.Е.Писарева разыскать посылки в портах и обеспечить их доставку: на А. К. Коля и его отдел интродукции он не мог положиться[331].

6.

12 августа 1926 г., Е.И.Барулиной, на пути из Туниса в Марсель: «Мне не очень повезло. Визу в Италию мне не дали, и, чтобы ехать дальше, приходится возвращаться во Францию <…>. Потеряю 10 дней. <…> Поездка в общем была интересна и нужна, и продуктивна <…>. Отношение агрономов и коллег здесь самое лучшее. Мы на хорошем счету. И даже работу нашу приводят как доказательство того, что Россию еще рано зачеркивать на планете.

“Центры происхождения” во Франции, Англии и Америке встречены очень хорошо. Harlan пишет: “render the congratulation”[332], Swingle – “Splendid word”[333], Beaven – “classical research”[334]. Никто еще не ругал. Но, вероятно, выругают. Это интереснее».

13 августа, П.П.Подъяпольскому, с борта парохода: «Закончил часть дел африканских: Алжир, Тунис, Марокко. Видел и кланялся от Вас Сахаре. Она мне очень приглянулась. Не люблю

ни моря, ни пустыни. Первого боюсь. А пустыня пуста. Но чудны оазисы финиковых пальм. И от них не хотел уходить. Видел несметное число гордых пальм. По пустыне, как и в Азии, катаются дикие арбузы – колоцинты. А теперь в Азию. Постигаю понемногу философию бытия, т. е. происхождения. Она упирается в Восток. Всем привет».

14 августа, Е.И.Барулиной: «Приехав в Марсель, узнал, что немедленно идет пароход в Грецию. Житья моей греческой визе осталось 8 дней. И иного выхода нет, как ехать в Грецию, а там просить о продлении визы. В Греции я никого не знаю. И язык мне чужой. Думаю, пробуду недели две. А оттуда буду пробираться в Сирию и Палестину. Там определится судьба дальнейшего плавания».

16 августа, ей же, на пути в Грецию: «3-й день из Марселя. По счастью, пароход не качает и можно читать и писать. <…> В Греции надо собрать сортовой материал и повидать Фессалию и Македонию – два центра культуры хлебов. Надо бы взглянуть и на Крит – там раскопки Эванса[335] – лабиринт Кносса и пр., но еще не знаю, как выйдет. Из Греции в зависимости от пароходов – в Сирию или Палестину и даже, м. б., на Кипр. Знакомств у меня в этих странах нет. Сирия на военном положении, и по опыту боюсь, что не смогу сделать всего, что хотелось бы. <…>

Форсированно штудирую литературу по Средиземью. Тут что ни шаг, то история. Финикияне, Карфаген, Эллада, Рим, Александр] Македонский, этруски, праэллины, Египет. Мне надо немного ото всего, но немногое трудно найти.

Как видишь, милая, я продвигаюсь быстро, по расписанию, 5 виз – день в день.

<…> Теперь еду в другие страны, где придется наводить экономию, но пока финансовая сторона обстоит благополучно. Самое неприятное – это положение россиянина в пространстве в атмосфере подозрения и наблюдения, и полного бесправия. Когда есть знакомства, как в Алжире, Тунисе – это еще ничего, но без таковых трудно. Ни к какому консулу, ни в посольство обращаться нельзя. В Африке обо мне целое досье бумаг в соответствующих учреждениях. Попробуем всё преодолеть <…>. Если не будет качать, буду писать, начну “Средиземноморский очаг земледелия”. Но душно и заниматься трудно».

17 августа, ей же: «По счастью, пароход не качает. Читаю и пишу третий день. Начитался истории. Даже во сне вижу стены Дамаска и переживаю век Перикла. С Авраамом пересекал пустыню Сирийскую. Завтра в Афинах».

19 августа, В.Е.Писареву: «Посылаю Вам для сохранения (передайте Шаллерт) пример некоторого внимания к скромному

ботанику со стороны здешних россиян. Из него Вы увидите, как надо быть здесь осторожным со всех сторон».

Приклеена вырезка из газеты, с пометкой «Руль. 15/VTII» («Руль» – одна из ведущих газет русской эмиграции в Берлине):

«Большевики, забывшие одно время Алжир, снова зашевелились. Появляются какие-то профессора, интересующиеся Марокко и проникающие будто бы с научной целью. Интересно, что эти “ученые” как-то случайно выкапывают в Алжире неизвестных русской колонии русских проводников из Марокко. Интересно еще и то, что бумаги у этих господ оказываются еще в Париже приведенными в такой порядок, что придраться решительно не к чему».

7.

В Греции Вавилова еще больше поразил контраст между величием далекого прошлого и убогостью настоящего. В Ботаническом институте в Афинах он узнал, что главные гербарии по Греции и вообще по Балканам находятся в Лондоне, в Женеве, в Германии. Скромный гербарий института представлял лишь жалкие фрагменты греческой флоры, и тот был изъеден насекомыми.

Афины производили впечатление заброшенности и убогости. Единственная отрада – развалины Акрополя. Особое внимание привлек отлично сохранившийся барельеф Бахуса с великолепным изображением виноградной лозы.

Бахус – бог растительности, виноградарства и виноделия, а виноград и масличное дерево – две основные культуры в окрестностях Афин, виноделие – важнейшая отрасль хозяйства. А вот вино показалось ему отвратительным – из-за привкуса смолы, которую добавляли в него для лучшей сохранности. Такова традиция, идущая из далекой древности. Такое вино «потребляли, вероятно, в большом количестве, еще во времена Перикла, Сократа, Гераклита и Аристотеля»[336]. Ради лучшего контакта с местными жителями ему приходилось не раз угощаться этим вином и нахваливать его.

Полуостров Пелопоннес Вавилов объезжал вместе с сотрудником советского полпредства Д.И.Макрояни и его женой. Остановившись в одной деревне, Вавилов и его спутники зашли в кабачок, где у них завязалась беседа с местными крестьянами. Гостеприимные хозяева подливали гостям местное вино *рецину*. Вавилов нахваливал вино и невзначай, чтобы не нарушать

непринужденность беседы, расспрашивал о местных культурах.

Когда путешественники уже сели в машину, их попросили подождать и скоро вынесли подарок: большую бутыль с вином. И тут, к удивлению супругов Макрояни, Вавилов испуганно зашептал:

– Уберите, уберите!..

Он побледнел, от одного вида бутыли с вином ему стало плохо.

Супруги Макрояни – греческие старожилы – пили *рецину* с удовольствием, Вавилов, почти давясь, через силу.

– Зачем вы нахваливали, зачем мучили себя? – с недоумением спросил его Дмитрий Иванович.

– Ах, чего не сделаешь ради науки! – ответил Вавилов.

Мария Ипатьевна Макрояни рассказала мне об этом забавном эпизоде сорок лет спустя. Ее комментарий: «Он сказал это с такой естественностью, что было видно – он весь в этих словах».

Долина Фессалия – важнейший сельскохозяйственный район материковой Греции. С ней связано много древних легенд и преданий. Фессалия примыкает к горному массиву, где на Олимпе обитал Зевс-громовержец, богиня земли Гера, Аполлон, тот же Бахус, другие греческие божества.

Сельскохозяйственную опытную станцию здесь возглавлял молодой агроном Пападакис, охотно вызвавшийся сопровождать путешественника.

«Частью на автомобиле, частью на лошадях путешествуем по Фессальской долине. Огромные посевы пшеницы, ячменя, зерновых бобовых»[337]. Нагруженный образцами растений, Вавилов возвращается в Афины.

21 августа 1926 г., А.И.Мальцеву: «Добрался, Александр Иванович, до Олимпа и убедился, что царство Avena barbata [овсюг стройный] идет до подножия его. Греция особенно богата A. barbata. Из окон вагона только и видишь его. На самом Акрополе в Афинах заросли A. barbata. Фотография, Вам посылаемая, должна была представить Вашего покорного слугу в момент нахождения у Акрополя, у храма A. barbata. В руках метелки, полные соцветия. В августе это большая редкость. Ваших поручений не забываю[338]. Но ясно, как средиземноморское небо, что ничего особенно [нового] я Вам не доставлю по овсюгам, кроме географ[ических] фактов. И овсюжную монографию писать надо, не откладывая»[339].

Мальцев затягивал работу над монографией по овсюгам, и Вавилов, с присущей ему мягкой настойчивостью, его торопил. Монография выйдет еще не скоро, зато оценит ее Вавилов очень

высоко.

Из материковой Греции Вавилов плывет на остров Крит. С восторгом пишет о Кносском дворце – одном из самых древних памятников великой культуры. Встречу с этим творением человеческого гения Вавилов давно предвкушал, но увиденное превзошло все ожидания. Поразительны были зернохранилища с огромными глиняными чанами. В них хранились урожаи, собранные тысячелетия назад. Елене Ивановне он писал об ископаемых формах чечевицы – это ее специальность. Для него не менее важно и многое другое: «Культура критская поразительна. 1900 лет до Р. Х. делали турнюры, парики, талии, чудные краски, ванны, канализацию… В ископаемом виде инжир, олива, виноград, ячмень, пшеница».

Он едет в Долину Злаков Крита, собирает современные сорта растений. Сопоставление их с ископаемыми формами должны многое прояснить в «философии бытия».

Одна из первоклассных находок на Крите – твердая без-лигульная пшеница. О том, что такие формы должны существовать, следовало из закона гомологических рядов. И вот Вавилов держит в руках ее стебельки и колосья! (Позднее ее тщательно исследует К.А.Флаксбергер.) Предварительный итог путешествия по Греции и Криту: «Географ[ические] теории земледелия придется чинить».

В том же письме более развернуто: «Нашел и дикарей. Убедили еще раз, что **Aegilops'Han** [эгилопсная] проблема должна быть распутана систематически] и географ [ически]. В Греции ряд оригинальных видов. [Пока] не видел их, каюсь, думал, что напутали систематики. Оказалось – реальные существа»[340].

Морской переезд с Крита на Кипр оказался тяжелым. Двое суток из трех сильно штормило. Обессиленный путешественник валялся в каюте, тяжело страдая от морской болезни. К горлу подкатывала тошнота, голова болела, перед глазами всё шло кругами… Чего не сделаешь ради науки!

Кипр – еще одна цитадель древнегреческой цивилизации, в то время – колония Великобритании. Здесь всё так «объевропеилось», что Вавилову «даже неловко искать прародичей». Стиль жизни такой же, как в остальной Греции. С досадой он пишет Елене Ивановне: «Самое неприятное в путешествии по греческим странам, что здесь никто не ценит времени. Угощают, пьем без конца кофе. Соображаем, и время бежит. После часу до 4 спят. Утром только в 9 часов, как просыпается люд. Вот и на Кипре день кончается, я потерял его зря. Так же, как в Москве, на 90 % времени убитого одна десятая

дела».

Но в другом письме, датированном тем же 7 сентября, уже чувствуется обычное боевое настроение: «В общем, собираю огромный материал, если он только дойдет до назначения. Очень много дали Крит и Греция. 4 страны исследованы настолько, что, пожалуй, по полевым и огородным растен[иям] взято всё. Философия дается огромным материалом. И пока ее не поймал. <…> За неделю-две пребывания в каждой стране пытался взять максимум. Пока благодаря помощи местных ботаников и агрономов это удавалось.

Средиземье, черт его возьми, велико даже при европейском способе передвижения. От Марселя до Сирии – 14 дней пароход. Объевропеилось оно отчаянно. Даже неловко как-то, что И[нституту]т Прикладной] Ботаники на Крите нашел безлигульную пшеницу».

Еще одна открытка, датированная тем же числом, адресована В.Е.Писареву: «Вот и у Отелло в гостях. Стоит еще башня Дездемоны. Отелло был губернатором Кипра. Попытаемся разыскать следы эндем. Базары оригинальные. Огромные конские бобы, много бобовых. Пшеница оригинальная, дикокковидная»[341].

Вавилов в несколько дней объездил весь остров, собрал и отправил обильный материал. Здесь он тоже нашел безлигульную твердую пшеницу, да в таком количестве, что назвал про себя его «островом безлигульных пшениц». «Киприйцы от нас только узнали, что они такие замечательные».

Как и предсказывал Николай Иванович, островная изоляция привела к образованию большого числа эндемичных растительных форм, в основном рецессивных.

Итак, Греция позади. Впереди Сирия. Затем Палестина. «А дальше Аллах знает. Иншалла. Как захочет Аллах»[342].

8.

17 сентября 1926 г., Е.И.Барулиной: «Сегодня приехал в Сирию. Как и обычно, впуск сопровождался неприятностями. Таскали в полицию, выделили из всех пассажиров, описали с ног до головы все приметы. Сирия меня очень интересует. Не знаю, как удастся к ней подойти».

Прибрежная часть Бейрута – европейский город. В окрестностях банановые плантации, плантации сахарного тростника, виноградники – привозные субтропические культуры. Для Вавилова главный интерес был не в них. Через день он уже в

Дамаске.

19 сентября, ей же: «Вот и в самом старом городе мира. Хотя и с бронированными вагонами, со стражей, удалось проникнуть. Город на краю пустыни, но сам весь в воде. Сады, ручьи. По Корану здесь всё для рая.

Масса бобовых. Ervum ervilia в большом разнообразии».

На юго-востоке, в горах Хорана, военное положение, партизанская война. Но Вавилову нужно было именно в этот район. На поезде, который вел бронированный паровоз, он доехал до города Хорана. Подступы к нему в наиболее опасных местах были перекрыты баррикадами. Однако воинский начальник, просмотрев его документы, сказал, что препятствий для путешествия по окрестностям нет. Друзы воюют против французских отрядов; тех, кто приходит с мирными намерениями, они не трогают. Достаточно нести над головой палку с привязанным белым платком, и можно чувствовать себя в безопасности.

Первые же экскурсии по арабским и друзским поселкам позволили собрать большое число образцов своеобразной твердой пшеницы. Позднее Вавилов выделит ее в особый подвид: хоранку. Она отличалась крупным зерном, крепкой неполегающей соломой, крупным компактным колосом, устойчивостью к засухе.

На склонах гор, среди камней, Вавилов впервые увидел заросли дикой пшеницы двузернянки, которую открыл Аарон Ааронсон, чью брошюра интриговала его с 1912 года.

Интерес Николая Ивановича к вероятному прародителю культурной пшеницы с годами не угасал, а напротив, становился сильнее. Особенно после путешествия в Афганистан, где был эпицентр разнообразия мягких пшениц, но дикой пшеницы не оказалось.

20 февраля 1925 года Николай Иванович писал своей бывшей студентке М.И.Тополянской: «Узнав, что Вы находитесь в Палестине, и получив Ваш адрес, пользуюсь случаем просить Вас о следующем. Нам нужно получить с горы Ермон, около Яффы, образцы дикой пшеницы Triticum dicoccoides, которая там растет в огромном количестве. Вы, может быть, знаете, что она была впервые найдена в Сирии и Палестине в 1907 г. Ааронсоном, директором Яффской с.-х. станции.

Для нас чрезвычайно интересно было бы получить возможно большее разнообразие форм: один сорт, одну ботаническую форму дикой пшеницы мы получили недавно от Еврейской рабочей организации, нам же нужно во что бы то ни стало получить по возможности все разновидности, которыми представлена дикая пшеница в Сирии и Палестине.

По работе Ааронсона, которую я читал, на горе Ермон встречаются десятки разновидностей, отличающихся по окраске колоса. Им найдены белоколосые, красноколосые, черноколосые с разным строением чешуй. Для нас было бы чрезвычайно важно получить возможно полное представление об этой дикой пшенице. Я как раз занят в настоящее время вопросом о происхождении культурных растений, и Вы поймете, что для решения этого вопроса иметь дикую пшеницу более чем необходимо.

Ааронсон, хотя и нашел пшеницу, но сам, не будучи ботаником-селекционером, не описал ее как следует, и до сих пор этой пшеницы мы не знаем надлежащим образом. Мне бы самому очень хотелось попасть в эти места, но вряд ли это скоро осуществится, и потому пользуюсь случаем просить Вас, буде это окажется возможным, помочь нам»[343].

Тополянская с готовностью взялась выполнять поручение, но не справилась с ним. Сначала она приняла за дикую пшеницу другое растение, а когда осознала ошибку, сезон созревания пшениц уже прошел, семена осыпались, собрать удалось немного. Она извинялась, объясняла, что работает шесть дней в неделю и сбором растений может заниматься только по выходным.

И вот Вавилов сам набрел на заросли двузернянки!

Она уже созрела и осыпалась. Зерна и колосья надо было отыскивать среди камней, пришлось изрядно помучиться.

Ааронсон полагал, что этот дичок произведет революцию в селекции пшеницы, так как он растет на бедных почвах, неприхотлив, устойчив к засухе, обладает крупным зерном. Такого же мнения был доктор Кук.

Увы! Николай Иванович быстро убедился, что Кук и Ааронсон преувеличивали достоинства этого дичка. Он рос *между* камнями на влажной, богатой перегноем почве; камни прикрывали его от иссушающего солнца. Зерно у сирийского подвида было мелким, колоски небольшие; скрещивания культурных форм с двузернянкой, если бы и удались, вряд ли позволили бы получить более продуктивные формы (впоследствии опыты это подтвердили). Вавилов с иронией писал о «восточной фантазии» Ааронсона, о том, что «к гиперболическим описаниям Ааронсона и Кука надо было сделать серьезную поправку». Но «дикая пшеница была, конечно, интересна как одно из эволюционных звеньев»[344].

А вот культурная твердая пшеница – хоранка – представлялась очень перспективной для практики. Позднее она была введена в культуру в Азербайджане, занимала десятки тысяч гектаров, использовалась в качестве исходного материала для

селекции.

23 сентября 1926 г., Е.И.Барулиной: «Я опечален, дорогая, но должен написать тебе – я поймал малярию. Будет очень неприятно, если это изменит мои планы. Первые приступы случились, когда я был вблизи провинции друзов (Ю. Сирия). <…> Теперь я тороплюсь в Бейрут, пойти к врачу Это очень жаль, т. к. на счету каждый день, и я не могу себе позволить болеть».

Ив тот же день В.Е.Писареву: «Начнем борьбу и на этом фронте. Очень он некстати. Так как каждый день на учете. Сирия начала поддаваться. <…> Собрал уже большой семенной материал. Как-то его отправлять?»[345]

27 сентября, Бейрут, Е.И.Барулиной: «Малярия оказалась Ипападанчи". Три дня сплошной простой, а дальше недели починки. Солдат в армии после нее пускают на шесть недель в отпуск. Починка идет быстро, и через 2 дня думаю от нее избавиться. Вот хуже с визами. Полоса отказов. Спроси, пожалуйста, сколько посылок пришло из Африки».

28 сентября, Е.И.Барулиной: «Полдня писал письма в Египет. Целых 6 длиннейших посланий. Надежды, в сущности, нет. Но делал всё, что зависит от себя. Сегодня и вчера превратился в упаковщика 30 посылок. Лихорадка пока оставила».

29 сентября, В.Е.Писареву: «Л.С.Берг едет в Японию. Надо этот случай использовать <…>. Надо дать ему рублей 300 во что бы то ни стало. И просить его получить для нас в сельскохозяйственных колледжах коллекции местных японских ячменей, пшениц, льна, овса голого, конопли, гречихи, ржи, бобовых, какие там есть, особенно же сои, привезти литературу с таблицами. Очень прошу Вас это сделать. На Льва Семеновича я очень надеюсь. Просите привезти сельскохозяйственные карты японские»[346].

30 сентября, Е. И. Бару липой: «Есть любопытные дикари, начиная с Tr. dicoccoides, но они пропастью отделены от культур. Я, пожалуй, даже не использую нескольких дней в Сирии, ибо для дикой флоры поздно, с культурной ясность».

3 октября, ей же: «По чечевице и Er. ervilia (керсанке) здесь материал большой и, по-видимому, интересный. И та и другая культура здесь большого значения, особенно Er. ervilia. Из всех бобовых на 1-м месте формы среднего размера. Малярия оставила».

4 октября, ей же: «Еду сегодня в Латтаки [Латакия], оттуда в Бейрут. Отправка посылок, выездные приятности обычного порядка. Попытаюсь последний раз получить итальянскую визу.

Написал ½ дюжины писем в Египет. Надежд у меня по-прежнему нет, так как египетских ученых не знаю, да их, вероятно, и нет.

Вечер. Вернулся со сломанным автомобилем (1300 верст все-таки сделал). Завтра утром в горы на Ливан, взглянуть на вымирающий кедр ливанский, может быть, найти кое-что из дикарей и в Бейрут собираться восвояси. Сделал уже более 1500 верст на автомобиле по Сирии. Носятся “форды” тут как бешеные – 60–70 верст в час».

В тот же день П.П.Подъяпольскому: «Дорогому Петру Павловичу привет из пустынь сирийских, от кедров ливанских, от гор Гермонских. Видел воочию дикую пшеницу около гор. Но пекла творения в Сирии не нашел, надо искать. Направляюсь к Иерусалиму, а оттуда в сторону черных – Судан».

9.

Путешествие по Сирии сильно отравляла неотступная слежка: шпики следовали по пятам, не заботясь о том, чтобы это маскировать. О слежке Вавилов еще долго вспоминал после того, как пересек сирийскую границу. Его особенно поразил отказ выдать обещанные карты горной местности и Дамаска. Карты, разумеется, не были секретными; какой ущерб их выдача российскому путешественнику могла нанести французским интересам, никто объяснить не мог. «Мелка душа француза»[347], – в сердцах написал Николай Иванович.

Тем большим контрастом стала для него встреча в Палестине, находившейся под британским мандатом.

8 октября, Е.И.Барулиной: «Ночь в Иерусалиме. Добрался благополучно. И даже на этот раз на границе не учинили обычного издевательства. Виза на 3 месяца (в Марокко [была] на 10 дней, в Сирию на 3 недели). После Сирии, где была форменная слежка, чувствую себя хотя и последнего разряда ситуайенном[348]».

Приезд в Иерусалим совпал с приятной новостью – о ней Вавилов узнал из газет. Ему присуждена премия имени Ленина «за ряд сочинений по исследованию многочисленных рас культурных растений и за разработку вопроса о происхождении культурных растений»[349]. Премия было только что учреждена, Николай Иванович оказался в числе первых пяти награжденных. Это была высшая награда ученому в СССР. Жене Вавилов коротко написал: «Сама по себе она меня не интересует. Все равно пролетарии. Но за внимание тронут. Будем стараться».

20 октября, Е.И.Барулиной: «В Палестине интересно, много

сделано людьми. И по клочку земли пытаюсь понять всё Средиземье. Географически многое стало яснее. И если бы когда-либо смог видеть С.-В. Африку, концепция географии видообразования, пожалуй, была бы фиксирована».

Но в Северо-Восточную Африку, то есть в Египет, путь ему был закрыт.

Вавилов продолжал бомбардировать письмами всех, кто мог оказать воздействие на власти Египта. За него просили ученые, банкиры, в их числе влиятельные арабы – граждане Египта. Всё упиралось в глухую стену.

Этим еще больше подчеркивалось радушие и гостеприимство, с каким его встречали в Палестине.

Вавилов с восхищением писал жене о том, как евреи «с сумасшедшим энтузиазмом» строят жизнь на исторической родине. Он объезжает библейские места: Синай, Назарет, Галилею, Самарию, спускается к Мертвому морю. Местные ботаники и агрономы охотно помогают ориентироваться и собирать растения.

«Ко мне отнеслись хорошо, и не успеваю всех повидать, всем сделать визиты, всё видеть. Для нас здесь необходимо учредить филиал, и, вероятно, фактически я это и сделаю. <…> Через две недели надо читать лекцию в Иерусалимском университете (на англ[ийском]) и в Тель-Авиве (около Яффы)».

3 ноября, Иерусалим, Е.И.Барулиной'. «Мотаюсь по Палестине. Кончил попутно еще страну, о существовании которой только здесь узнал, – Заиордания, около Аравии. Собрал много [Triticum] dicoccoides. В общем, что надо, делаю. Еще 2 недели здесь, и в Рим. Окончательно и в третий раз, несмотря на хлопоты банкиров, журналистов, мне в визах [в Египет и Судан] отказано. Побаиваюсь и за Италию. Пиши, во всяком случае, в Рим».

5 *ноября, ей же:* «Уже сделал по Палестине тысячи 2 верст. В ней нагоняю Сирию, да и вообще она интересна. <…> Египет грубо наотрез отказал, несмотря на 10 поручительств и вмешательство банкиров. Визы итальянской еще не получил, но вероятность получения имеется».

8 ноября, В.Е.Писареву: «Реликтов тут много. Через неделю засаживаюсь на пару-тройку дней за Талмуд, Мишну и комментарии, чтобы восстановить картину земледелия библейских времен»[350].

Лекцию в Иерусалимском университете Вавилов начал читать по-английски, но тут выяснилось, что 90 процентов аудитории знает русский язык, «а по-русски дело не трудное и не стеснительное». Лекция произвела фурор. Из скромного малозаметного туриста Николай Иванович в одночасье стал

знаменитостью. Сельскохозяйственный журнал опубликовал о нем большую статью. «Мне это совсем не нужно и только мешает», – досадовал Вавилов, ибо ему «не стало житья»: «Всем есть какие-то дела, всем надо знать мнение профессора Вавилова». «Единственный плюс известности: я начал получать очень хорошие презенты, нам нужные. Много изданий. Вот принесли 14 сортов миндаля, 40 сортов клещевины, делают фотографии, etc. Словом, и я эксплуатирую, кто кого больше – в этом вопрос!»

В долине одной небольшой речки (он называет ее рекой Эзральон) Вавилов снова обнаружил заросли дикой двузернянки. Здесь она была представлена в гораздо большем разнообразии форм, чем та, что открыл Ааронсон. Она росла по краям возделанных угодий, в смеси с диким ячменем. *Эта* двузернянка оказалась ботанически и генетически гораздо ближе к культурной пшенице. «Нет никакого сомнения в том, что она представляет ближайшего дикого родича культурных пшениц, в особенности твердых», – писал позднее Вавилов. Это открытие заставило его изменить первоначальное представление о вторичности сирийско-палестинского очага. «Уже самое нахождение вместе с дикой пшеницей дикого ячменя показывало, что действительно Палестина, так же как и Сирия, входит в основную родину важнейших хлебных злаков мира – пшеницы и ячменя. Здесь, где и археологические документы свидетельствуют о наличии древнейшей культуры, обнаружено нахождение и основных эволюционных звеньев указанных культур»[351].

Особенно близко Вавилов сошелся с ботаником и геоботаником из Института естественной истории Палестины Александром Григорьевичем Эйгом, выходцем из России. Именно с ним Вавилов «проехал через всю Палестину». Позднее, в 1928 году, Эйг стажировался у него в Ленинграде. Их взаимная «эксплуатация» оказалась очень плодотворной. Когда Вавилов писал, что намерен создать в Палестине филиал своего института, то, в первую очередь, имел в виду Эйга.

Статьи Эйга Вавилов публиковал в «Трудах по прикладной ботанике». Особенно высоко ценил его исследования эгилопса – ближайшего дикого сородича пшеницы. «Монографии по Aegilops показывают исключительную эрудицию доктора Эйга как систематика. За рубежом доктор Эйг известен как лучший знаток по флоре Сирии и Палестины»[352], – писал Вавилов в 1931 году, поддерживая выдвижение Эйга на должность преподавателя Иерусалимского университета. «Филиал», чью работу издалека направлял Вавилов, был узаконен как Иерусалимский институт

прикладной ботаники.

14 мая 1931 г., А.Г.Эйгу: «Вы проделали замечательную работу по Aegilops, и я полагаю, очень важно исследовать дикую пшеницу, дикую Medicago [люцерна], дикую Trigonella [пажитник – кормовое бобовое растение] и дикие плодовые. В этом отношении самым важным является изучение Сирии – родины некоторых эндемичных видов плодовых. Практически мы знаем очень и очень мало в этом отношении. Я считаю, что международное значение будет иметь изучение самых важных ботанических видов с агрономической точки зрения.

Мне думается, что работа Иерусалимского института прикладной ботаники должна быть поставлена широко. Вы должны стать центром всего Средиземноморского региона.

Так мало сделано в изучении культурных растений и почти всех диких растений Средиземноморья. Не сомневаюсь, что в скором времени будут сделаны первоклассные открытия. Мне представляется важным не ограничиваться исследованиями по линии систематики, но в то же самое время следует изучать культурные растения и почти все родственные виды с точки зрения биохимии и физиологии. Могу поздравить Вас с открытием этого нового института.

Мои наилучшие пожелания доктору О.Варбургу[353] и многим друзьям в Палестине. Я часто вспоминаю Палестину – самую красивую, какую я когда-либо видел, в мире страну. Я никогда не забуду время, проведенное в Палестине, и надеюсь когда-нибудь посетить вас опять»[354].

Наученный горьким опытом, Николай Иванович ждал, что в итальянском консульстве возникнут новые подвохи и проволочки. Но визу обещали выдать – после того, как он предъявит билет на пароход. Это тоже была пакость, но мелкая: логично было сначала получить визу, а потом уже покупать билет.

Ближайший пароход в Неаполь – скверный, маленький пароходик «Милано», «который будет трепать 6–7 дней», – отходил 26 ноября.

До отплытия оставалось время, и Николай Иванович решил совершить еще одну, последнюю поездку по Палестине. Елене Ивановне он писал 20 ноября: «Только что прибыл из длительной поездки обратно в Иерусалим. Послал уже 55 посылок из Палестины. Очень вероятно, что около 100–200 разновидностей (форм) чечевиц. Они очень интересны».

Итог путешествия по Палестине и Заиордании он подвел в письме Писареву – от того же 20 ноября: «Палестина будет представлена исчерпывающе. Собрал до 1000 образцов и

обследовал 5000 км. Это для двух маленьких стран даже много. По политическим соображениям пришлось тут задержаться. Все время вел кампанию за Египет и Судан. Мой вопрос, кажется, дойдет до египетского парламента. Жду ответа телеграфного 23-го. Но надежды нет. Стал получать материал из Судана и Абиссинии»[355].

Вопрос о выдаче визы профессору Вавилову был поставлен двумя депутатами египетского парламента. И снова было отказано. В телеграмме сообщалось, что власти больше не намерены рассматривать его заявления.

Перед отбытием Вавилова из Палестины в его честь был устроен прощальный банкет, ему пришлось даже надеть фрачную пару.

10.

Планируя дальнейшее путешествие, которое неизбежно должно пройти через Италию, Николай Иванович озарился дерзкой идеей – встретиться там с Еленой Ивановной, по которой он сильно соскучился.

20 октября 1926 г., Е. И. Бару липой: «В голове у меня мысль, как бы тебя выписать в Италию. Мы могли бы по ней бродить вместе с тобой, родная. Запроси на всякий случай визу в Италию. Я напишу В[иктору] Евг[рафовичу] [Писареву], и ты к нему зайди. Финансы – всё, что у тебя есть, и остатки моих жалований, да и займи. С премией[356] вывернемся. И я пока никакого стеснения не имею.

В[иктор] Е[вграфович] даст тебе отпуск-командировку без содержания. Для этого не надо и подписи Горбунова. 2 месяца или 1½ мес[яца] отпуск ты можешь взять, тем более что придется в самом деле помочь мне. В Италии много надо сделать <…>. Визу проси для работы в ботанических лабораториях и гербариях и по семейным делам. Есть шансы, что не дадут, но, м. б., и дадут. В этой стране всё возможно.

Если паче чаяния меня впустят в Египет, я, конечно, туда поеду, но, во всяком случае, возвращаюсь через Италию. И ты готовь визу, и если получишь ее, мне телеграфируй. <…> Ну, вот и новая авантюра».

В Англии забастовка угольщиков. Шахты не работают, экспорт британского антрацита остановлен. Машинисты «Милано» вынуждены греть котлы некачественным топливом, из-за чего корабль ползет в полтора раза медленнее обычного. Массу времени съедают долгие стоянки во всех мало-мальски значимых

портах. К счастью, море тихое, можно читать, писать, изучать итальянский язык.

Первая долгая остановка, на 28 часов, в египетской Александрии. Можно бы осмотреть город, устье Нила, заглянуть в прилегающие деревни, посетить базары, съездить к пирамидам. У Вавилова нет права сойти на берег. Откладывая в сторону учебник итальянского языка, он делится планами с Еленой Ивановной: «План жизни таков. Приезжаю в Рим. Попытаюсь ускорить дело с твоей визой. Я очень хочу, чтобы ты приехала в Италию и побыла со мной хотя бы две недели. В Италии буду хлопотать об Испании и Абиссинии (через Эритрею). На последнее особенно не надеюсь. Но сам сделаю всё, что смогу. В Италии надо видеть и сделать многое, и очень хорошо бы, если бы ты, милая, была со мной. Особенно если я вдруг чудом, скажем, поеду в Абиссинию. Ты собирайся, будь готова. Денег займи у В[иктора] Евг[рафовича]. Он тебе устроит всё».

Вавилов поглощает прихваченные в дорогу книги об Абиссинии и прилегающей к ней итальянской колонии Эритрее. Визу в Италию, вопреки опасениям, ему дали бессрочную. Это вселяет надежду, что в Риме можно будет получить визу в Эритрею, чтобы оттуда попытаться проникнуть в Абиссинию. «Вся трагедия в том, что эта страна не имеет нигде представительств, а сама окружена 5 странами, для к[отор]ых Soviet passport, как волчий билет. Отказываться от проникновения в Абиссинию очень досадно, ибо другого случая надо ждать годы, да и он не очень вероятен. Ну, словом, попытаюсь. Отказ Египта глуп и туп, но за Судан мне досадно. Там английское начальство, а у англичан есть достаточно сведений обо мне, чтобы отнестись по-иному. Попасть же в Абиссинию прямо необходимо, так как Средиземноморский центр оказался для хлебных злаков весьма сомнительным. И по интуиции, да и по обрывкам фактов чувствую, что там решится многое».

29 ноября на море разыгралась буря, Вавилов пролежал весь день в прострации. К вечеру море успокоилось, он снова мог читать, писать. «Обдумываю стратегию ближайших месяцев, лет. Мы взялись за слишком большое дело. Оно было бы не так сложно в иных условиях. В пять лет можно бы общую мировую схему полевых и огородных культур подытожить и перейти к филогенетике по-новому. А нынче вся проблема, которая поставлена верно (в этом я не сомневаюсь), упирается в такой туристический парадокс, как Египет, куда ездят лечиться, на прогулки. Кто в Вашингтоне может поверить, что трудно поехать в Египет и достать оттуда три сотни образцов? Я сам, родная, еще не могу усвоить, что при всех знакомствах и в Египте, и в Англии

не удалось туда попасть. Пришел ли материал по чечевицам из Крита, Кипра, Сирии, Палестины? Меня очень интересует, что ты найдешь. По этому будем расшифровывать и другие сюжеты».

Погода опять портится, качка снова становится непереносимой. «Езда по морю для меня пытка. Второй день качает. Не могу заниматься, с трудом читаю». Передышкой становится остановка вечером 1 декабря в Мессине. Это уже Италия.

«Прочитал [книгу мадам де] Сталь “Италия или Коринна”. Посылаю тебе. Хоть книжонке и 100 лет, но читать можно. Подытоживаю Средиземье. Еще рано. Но в общем поездка была удачная. Собран огромный материал. И кое-что сделано для философии. Все еще мало, так далеко до овладения миром, а овладеть им надо. Это задача жизни. И больше этого сделать некому».

Знакомство с культурной флорой Италии натолкнулось на неожиданное препятствие: полное равнодушие коллег. Вавилов оскорблен тем, как его приняли – вернее, не приняли, – в Римском институте генетики. Ни с чем подобным он не сталкивался ни в одной стране. Впрочем, с работой института он ознакомился, но нашел мало интересного.

Главные его заботы: ускорить приезд Елены Ивановны и проломить стены, препятствующие поездке в Абиссинию. Визу Елене Ивановне обещают, но не дают, она не может выехать. Ему обещают выслать ей телеграфно визу к 15 декабря, потом к 23-му. Казалось, что вопрос решен; он уже предвкушал встречу к Рождеству с дорогой Леночкой – не видел ее полгода. Но возникли новые проволочки.

И тут – который раз! – события приняли неожиданный оборот. Планы мгновенно меняются.

Еще в Париже, стараниями ученых и в особенности маркизы де Вильморен, Николай Иванович получил визы во все средиземноморские колонии Франции, кроме одной – Французского Сомали. Французские власти почему-то никак не хотели, чтобы через Сомали он попал в Эфиопию: в этом они были непреклонны.

В Риме, ни на что особенно не надеясь, но *делая всё, что зависит от себя*, Николай Иванович зашел во французское посольство и снова попросил транзитную визу в Сомали. Посмотрев его документы и увидев, что он уже имел визы в Алжир, Тунис, Марокко и даже в Сирию, французский консул выдал просимую визу.

То была не просто удача – то был зов судьбы!

23 декабря, ночь, Е.И.Барулиной”. «Ну, милая, родная Леночка, события развертываются. В кармане у меня виза во Францию и во Французскую] Сомалию, только транзитная], но и с ними я дерзаю ехать. Такова воля судеб. <…> Там буду хлопотать о визе в Абиссинию, почти у самой Эфиопии. Не выйдет, буду пытаться попасть хотя бы в Эритрею. Идет дело ва-банк. Но колебаний у меня нет. Я должен это сделать».

Он еще лелеял надежду пробыть вместе с Леночкой хотя бы два-три дня, но новые проволочки с ее визой сделали это невозможным. Пароход из Марселя в Сомали уходил раз в месяц. Очередной рейс – 6 января, а ему еще надо добраться до Марселя, он должен отбыть из Италии не позднее 3-го.

В Ленинград летит телеграмма: «Delay your departure for spring» («Отложи твоей приезд до весны»). Трудно сказать, сколь сильно была уязвлена Елена Ивановна. Она знала, что первое место в его сердце занимает наука, привыкла довольствоваться вторым местом.

Стараясь подсластить пилюлю, Николай Иванович пишет ей подробные письма, в них особенно досадует на проволочки с выдачей ей итальянской визы: «Всё это безбожно глупо. Визу могли дать одинаково и месяц тому назад. Но терпи, казак, атаманом будешь. Я столько навидался всего, что принял и это как должное». Кроме всего прочего, его «доконали», как он выразился, сотни писем от сотрудников из Ленинграда: он продолжал на расстоянии ими руководить. «Пишу без конца письма, директивы».

Предстоящая поездка связана с массой хлопот.

«Сегодня [27 декабря] день хождения по мукам, визиты министрам, консулам. Банк не переводит из Италии денег за границу, надо специальное разрешение. От Института генетики получил сегодня, через неделю, замечательный ответ: “Директор нездоров, ассистенты все разъехались на праздник”. Всё претерпим».

И, конечно, об их будущей встрече: «В½ апреля съезд международный по пшенице в Риме. Я дал согласие быть и сделать доклад “Мировые центры ген пшеницы”. Когда выеду из Абиссинии или Эритреи, телеграфирую тебе, чтобы ты ехала в Рим. Посевы произведут без тебя. С тобой осматриваем Италию (Венецию, Флоренцию, Неаполь, Помпею, Палермо и самый Рим, я не был даже в Ватикане). Затем, если пустят, на 3–2 недели в Испанию, и после этого “ныне отпущаеши раба твоего”».

До отплытия в Марсель у Вавилова еще несколько дней. Ненасытный, он едет в Милан.

29 декабря, Е.И.Барулипой: «Видел сегодня хоть мельком

Леонардо да Винчи, “Тайная вечеря”, кладбище – музей скульптуры – и чудный Миланский собор. Из собора не хотел уходить. Камень превращен в кружево».

11.

К началу 1927 года Вавилов обследовал все страны Средиземноморья – за исключением Египта и Испании. В Ленинград были отправлены сотни посылок с семенами, колосьями, образцами растений, книгами. То, что Средиземноморье – один из основных центров происхождения культурных растений, было подтверждено: здесь впервые были одомашнены многие виды плодовых, ягодных, огородных культур, масличное дерево, орешник и многие другие. Дикая пшеница двузернянка и дикий ячмень, найденные в Палестине и Сирии, говорили в пользу того, что здесь были введены в культуру и эти главные злаки Земли, но уверенности в этом не было. Дички оказались ботанически (вероятно, и генетически) значительно удалены от культурных видов, да и разнообразие форм культурных пшениц было сравнительно невелико. Центр происхождения мягких пшениц Вавилов приурочил к Юго-Восточному Афганистану, а как насчет твердых? Становилось все более вероятным, что и твердая пшеница пришла в Средиземноморье из другого центра. И Вавилов уже знал из какого. Туда, по его словам, ему нужно было попасть *до зарезу и во что бы то ни стало.*

Эфиопия

1

Соседство с Египтом – древнейшим государством мира (только Вавилону историки позволяли оспаривать этот приоритет), казалось, исключало мысль о самостоятельности эфиопской культуры. Орудия каменного века, найденные в Британском Сомали, говорили, что человек появился в Восточной Африке очень давно, но доказательств существования здесь в древности оседлой земледельческой культуры у археологов не было.

Раскопки древнего Аксумского царства, достигшего расцвета в первые века нашей эры на территории Северной Эфиопии и Эритреи, выявили несомненное влияние Египта.

Однако, по эфиопской легенде, государство эфиопов возникло намного раньше. Легенда рассказывала, как царица эфиопская Савская, наслышанная о мудрости царя Соломона, отправилась к нему в гости. Царь был пленен ее красотой и хитростью заставил выйти за себя замуж. Когда у них родился сын Менелик, царица Савская уступила ему корону. Менелик – основатель династии, которая продолжала править Эфиопией и в XX веке.

Документального подтверждения этой красивой легенды не было, историки не без оснований полагали, что культивировалась она не ради истины, а чтобы внушить народу Эфиопии и всему миру мысль об исключительности эфиопской правящей касты.

Древние греки мало знали об Эфиопии. В поэмах Гомера эфиопы живут на краю света, обедают с богами; солнце встает и садится в их стране. Первый историк мира Геродот писал, что в Эфиопии «много золота, водятся громадные слоны, деревья всевозможных пород растут в диком состоянии <…> живут люди огромного роста, красивейшие и долговечнейшие».

Откуда такой восторг у древнегреческих писателей? Не говорит ли это о высокой культуре эфиопов?

Вавилов с интересом относился к легендам и даже конспективно изложил в своем абиссинском дневнике историю царицы Савской. Но он полагал, что возделываемые растения лучше, чем легенды, расскажут древнюю историю Эфиопии. Он надеялся дать ответ и тем биологам, которые отрицали идею центров формообразования, считая, что концентрация генов в вавиловских центрах объясняется разнообразием природных

условий, а не тем, что там они были введены в культуру.

Эфиопия расположена на относительно плоском нагорье, хотя и прорезанном глубокими – до двух километров – каньонами. Природные условия относительно однообразны: почвы одинаково плодородны, климат мягкий, влажный, без резких перепадов. Здесь должны были таиться важные аргументы в пользу теории центров.

Перед отплытием из Марселя он писал Елене Ивановне: «Милая, судьба решается. Вопрос, пустят ли на пароход. Всего писать не могу. А шансы 10 против 90. Может быть, пропадет зря месяц, да еще в бурную погоду (январь) буду в Средиземном и Кр[асном] море <…>. В Марселе оказались большие усложнения, всё по части проклятых виз. Все мои надежды на помощь Парижа не оправдались. Поэтому так упали шансы».

10 января 1927 г., на пароходе: «2 дня не мог писать, да и сегодня голова еще тяжелая. Не выношу моря. Еще 7 или 8 дней. Завтра в Порт-Саиде, откуда постараюсь бросить письма, хотя мне на берег выйти нельзя. Моя ориентировка насчет вхождения в страну солнца пока дала малоубедительные сведения. <…> Настроение мое в связи с трудностями, неопределенностями и переездом по морю – не радужное.

Если всё дело ограничится Эритреей[357], а в ней мне много делать нечего (за глаза месяц, а м. б., и гораздо меньше), то в марте буду снова в Италии и буду тебе телеграфировать о выезде».

11 января: «Сегодня, dear, в Порт-Саиде. Море тише, и я немного ожил. За день переезда по Суэцкому каналу приду в себя. И может быть, смогу писать. Пока из этого ничего не выходит. Глотаю только книжку за книжкой по Абиссинии. Ее я уже знаю литературно, как мало других стран.

По чечевице (да и по всем культурам) не хватает Верхнего Египта, Испании и Абиссинии. И засим, в сущности, можно приступить к полному синтезу. Нужно бы Кашмир, Индию пополней, но на худой конец юж[ный] Афганистан заменит Индию да и Кашмир.

Начинаю бомбардировать Верхний Египет и Судан и, думаю, получу всё. В чечевице я теперь заинтересован не меньше тебя, ибо немного знаю и люблю ее. На ней мы поймем и все бобовые».

11 января, Суэц, Д.Н.Прянишникову. «Шлю Вам привет, направляясь в центр Африки. Помышляю проникнуть в Абиссинию, но еще не имею визу, и впустят ли, не знаю. Средиземье продифференцировал, нашел много любопытного, но “царство божие”, по-видимому, надо отодвинуть к Малой Азии и Северо-Восточной Африке»[358].

12 января, Суэц, В.И.Вернадскому: «Предвестники плохие. Россиян “никаких” Абиссиния не впускает. Иллюзий не строю. И поэтому обеспечил тыл Эритреей. На худой конец посмотрю в окошко Эфиопии»[359].

12 января, Суэц, П.П.Подъяпольскому: «Направляюсь, Петр Павлович, теперь прямо ко львам в Сомалию и Эритрею. Главное желание проникнуть в страну солнца Эфиопию. Завтра в Красное море и дальше к Индийскому океану. К морю возымел идиосинкразию. Но, как нарочно, визы мотают взад и вперед по Средиземью».

В понедельник 17 января Вавилов высадился в сомалийском порту Джибути, не имея ни малейшего представления, что его ждет.

Его ждал сюрприз.

Неожиданная награда – за все мытарства, за дерзость, за упорство, за всегдашнее стремление *делать всё, что зависит от себя.*

Эфиопия не знала статуса виз!

Для въезда в страну было достаточно печати губернатора Французского Сомали. Можно лишь удивляться, почему он не дознался об этом в Европе.

Любезный офицер, регистрировавший приезжих, сам вызвался пройти к губернатору и возвратил паспорт с необходимой печатью.

И это *все?!*

Вавилов не мог поверить, пошел к эфиопскому консулу. Тот подтвердил: для въезда в Эфиопию больше ничего не требуется. Но иностранец должен ехать прямо в Аддис-Абебу и там испрашивать разрешение на путешествие по стране.

Поезд на Аддис-Абебу уходил в среду 19 января в 6:30 утра. Оставалось полтора дня.

Покончив с формальностями, Николай Иванович отправился на базар и сразу попал в полон к симпатичным сомалийкам в пестрых нарядах. Они зазывали зрителей на свое танцевальное представление. Завлекая белолицего гостя, одна из них стала тут же перед ним раздеваться. С трудом вырвавшись из плена, Вавилов двинулся по рядам. Наметанным глазом быстро определил влияние культур Эфиопии и Аравии (Йемена). Особенно интересны для него были, конечно, эфиопские культуры – совсем не такие, что он собирал в странах Средиземноморья.

На следующий день он успел побывать в нескольких окрестных деревнях. Всё здесь говорило о своеобразии: состав сельскохозяйственных культур и их особые разновидности;

совершенно особые породы скота: козы с рогами антилоп, стройные, мускулистые, малорослые; овцы с подгрудкой, как у коров; лошади мелкие, низкорослые, как пони. «Домашний скот особый, как и хлеба», – записал Вавилов в дневнике. Отмечал и своеобразие местных жителей: «Народ черный, худой, на лицах даже фиолетовый] оттенок, блестят зубы, иногда белые зрачки, и у стариков черный рот окаймляет белая борода. Тонкие ноги, курчавые волосы, губы то типа негра, то европейские. Лица добрые, не злые, веселые. Не боишься»[360].

Следующим утром он из окна вагона вглядывался в унылый пейзаж. Перед ним простиралась мертвая пустыня, бугрящаяся песчаными дюнами.

Солнце поднималось все выше, накаляло вагон, от духоты легкие словно заполнены ватой. Открыть окно было невозможно: поезд вздымал тучи пыли, она и без того скрипела на зубах.

Знойная пустыня много столетий охраняла независимость маленькой Эфиопии, хотя на нее не раз посягали завоеватели.

По этой пустыне шли разомкнутым строем фаланги римских воинов, двигавшихся на Эфиопию. За каждым воином пять рабов несли большие кувшины с водой. По мере того как кувшины опустошались, рабов оставляли умирать в пустыне… Эфиопия тот натиск выдержала.

Самым победоносным был поход британского генерала Роберта Нейпира в 1868 году. Хорошо вооруженные и обученные войска британцев на голову разбили армию негуса; чтобы не попасть в плен, он покончил с собой. Но победоносные британские воины не смогли одолеть палящий зной и должны были убраться из почти завоеванной страны. Вся Африка была поделена между колониальными державами, и только Эфиопия сохраняла независимость.

Вавилов направлялся покорять Эфиопию один, без армии и без рабов. Как встретят его в столице? Судьба экспедиции оставалась неясной.

В поезде много иностранцев. Вавилов познакомился с французом – редактором газеты, с армянином из Сирии, с каким-то консулом, знающим толк в агрономии, с инженером Анатолием Германовичем Трахтенбергом и его женой Марией Ивановной, бывшими питерцами. Трахтенберг преподавал в политехническом институте. В Эфиопии он жил с 1918 года, служил в министерстве путей сообщения, что было забавно: кроме единственной железной дороги от Джибути до Аддис-Абебы в Эфиопии никаких путей сообщения не было, зато министерство – было!

Пустыня за окном вагона начинает отступать, появляется

скудная растительность. Причудливые деревья повторяют линии выветрившихся скал, похожих на разрушенные замки. Разрушенные замки часто будут вспоминаться Вавилову в Эфиопии; на них окажутся похожими «слоны растительного мира» – гигантские баобабы, которые Вавилов встретит в конце путешествия.

Все гуще травяной покров, все чаще акации раскидывают свои зонтичные кроны. Эта саванна – степь тропиков. Здесь пасутся дикие козы, страусы, зебры, антилопы. Они держатся подальше от колючих кустарников, где прячутся, выслеживая добычу, леопарды и львы. Впереди круто вздымается Абиссинское плато, тоже похожее на старый замок. Два локомотива с трудом втаскивают на него пять небольших вагонов.

Но вот подъем взят, становится легче дышать. Дорога круто поворачивает на юг. Перед глазами путешественника цепь пологих холмов. По склонам взбираются плантации кофейного дерева; виднеются круглые хижины из прутьев, обмазанных глиной, а дальше жиденькие поля пшеницы, тэффа, ячменя, сочные луга со стадами тонконогих баранов.

Мелькает шальная мысль: а что если повременить с въездом в Аддис-Абебу? Поезд тащится туда три дня. По ночам движение прекращается. Двигаться в темноте опасно, так как местные жители, вопреки строжайшему запрету, частенько разбирают пути.

Первая ночевка – на станции Деридава. Рядом Харар – центр крупного земледельческого района. Так не сойти ли с поезда и для начала обследовать этот район?..

К моменту, когда поезд подошел к станции, решение созрело. Вавилов распрощался с попутчиками, без шума снарядил караван.

Это был риск, и он знал, что рискует. Позднее, странствуя по Эфиопии, он не раз наталкивался на воинские разъезды. Открытый лист с тисненым изображением льва и печатями императрицы Заудиту и раса Тафари действовали безотказно. Но пока у него защитной грамоты не было. К счастью, в Хараре он воинского разъезда не встретил…

Обход обширного земледельческого района занял десять дней. Твердая пшеница, полба, ячмень, тэфф, горох, нут, сафлор, кунжут, дурра – поля создавали такое впечатление, что засеяны не крестьянами, а ботаником-коллекционером.

«Всё оригинально, за что ни тронься», – записал в дневнике Вавилов.

Да, оригинально было всё! К примеру, злак тэфф, напоминающий мелкое просо, не возделывался нигде в мире, кроме Эфиопии. Причем в экономике страны тэфф играл ведущую

роль: это главное хлебное растение.

Приемы обработки земли и зерна тоже оказались совершенно особыми. Нигде еще Вавилов не видел плуга в виде гвоздя; нигде не встречал, чтобы зерно не мололи, а растирали на большом плоском камне; нередко просто прогоняли по зерну скот.

Культур здесь возделывалось немного. Совсем не было плодовых и почти не было овощных, так свойственных странам Средиземноморья.

«Самое отсутствие этих шаблонов культуры Старого Света уже свидетельствует об оригинальности земледельческой культуры Абиссинии», – писал впоследствии Вавилов.

Разные нити сплетались в единый узел концепции. Он мог бы сказать, как когда-то при обследовании Гератского оазиса в Афганистане: «Направление путешествия было выбрано правильно».

Но культуры Харарского района поставили перед Вавиловым и ряд неожиданных вопросов. «Интересно отсутствие Aegilops. Эту неувязку надо расшифровать», – записал он в дневнике.

Факт был действительно странным и, главное, неслучайным: с тем же Вавилов столкнулся еще в Афганистане. Эгилопс – ближайший дикий родич пшеницы, относительно легко с ней скрещивается. Логично было полагать, что пшеница связана с ним общностью происхождения. Эгилопс – растение не редкостное. Вавилов встречал его и в Северном Афганистане, и в странах Средиземноморья. Но в Кабульском оазисе, где по его представлениям берет начало культура мягкой пшеницы, эгилопса обнаружить не удалось. И вот теперь его не оказалось в Эфиопии, где сосредоточен основной потенциал генов твердой пшеницы.

«Из общих фактов, – записывает он в дневнике, – надо отметить отсутствие родоначальников и диких родичей <…>.

Еще всё это надо проверить <…>, но факт в общем очевиден и очень важен для философии».

Он чувствовал, что за этим кроется важная закономерность. Мысль эта мучила его потом два дня пути до Аддис-Абебы и еще два месяца странствий по Эфиопии.

В Хараре работала почта. Вавилов отправил тридцать посылок и несколько писем.

2.

Аддис-Абеба – *цветок весны.* Круглые приземистые домишки тонут в эвкалиптовом лесу. Прежде столица Эфиопии кочевала

каждое столетие. Вырубив окрестные леса, жители бросали ее и строили город в другом месте. Но вот в конце XIX века французская миссия завезла в Эфиопию эвкалипт. Император Менелик II сумел по достоинству оценить пришельца из далекой Австралии. Он приказал насадить эвкалипты, ввел строгие правила вырубки. Нужда переносить столицу отпала. Быстрорастущие великаны молчаливо говорили о том, что может значить для страны интродукция растений, привезенных из-за моря-океана.

Добиться приема у раса Тафари – наследника престола, будущего императора Хайле Селассие I, – оказалось непросто. Издалека-далёка снова помогла добрая фея – маркиза де Вильморен. «Париж что-то телеграфировал в Аддис-Абебу. И неожиданно французский посол взялся хлопотать перед Правительством Эфиопии о разрешении заниматься исследованием»[361].

Рас Тафари, фактический правитель страны, принял Вавилова и с интересом слушал о цели его экспедиции. Правда, когда Николай Иванович стал говорить об эфиопской пшенице, тот покачал головой и сказал, что пшеницы в его стране плохие. Он удалился во внутренние покои и вернулся с початками кукурузы.

– Вот это пшеница! У нас такой нет.

Беседа текла непринужденно. Помогло то, что Вавилов был не первым ботаником, явившимся в Эфиопию собирать культурные растения. Тремя годами раньше здесь побывал Хэрри Харлан, американский знаток ячменя, с которым Николай Иванович поддерживал переписку, обменивался изданиями, образцами растений. Рас Тафари хорошо помнил Харлана и был обрадован, когда Вавилов передал от него привет. Он с похвалой отозвался об американце и проникся еще большим расположением к русскому гостю. Открытый лист обещал выдать в ближайшее время и тепло распрощался с визитером.

Словом, аудиенция прошла наилучшим образом. Но бюрократическая машина в глухой африканской стране была еще менее поворотлива, чем в Европе.

Пока суд да дело, Вавилов обследовал окрестные деревни, ходил по базарам, вникал в особенности местных традиций, государственного и общественного строя Эфиопии. В дневнике торопливо записывал: «Ни регистра, ни кодекса законов, ни нормальной оплаты администрации страна не имеет. 10–11 миллионов населения существует без аграрного] кодекса. Земля принадлежит прежде всего господствующей этнической группе – амхара, их 2,5–3 милл[иона]. Галла, сомалийцы работают на амхарийцев. Мелкой собственности] нет. Рабство фактически не

ликвидировано, хотя Эф[иопия] входит членом в Лигу Наций. Это комическ[ая] сторона бытия. Черты самой исключительной примитивности в организации страны еще сохраняются здесь, пожалуй, как нигде»[362].

Хотя в Аддис-Абебе обитало около двух тысяч иностранцев, в основном итальянцев, греков, армян, путешественник из Страны Советов был редкостной, весьма экзотичной птицей. Послы разных стран устраивали в его честь обеды. Он использовал эти встречи для дипломатических переговоров. Снова просил у английского посла визы в Судан и Египет – хотя бы транзитные, но посол предпочитал вспоминать о Кембридже, который знаком был гостю не хуже, чем ему самому.

Появление Вавилова в эфиопской столице вызвало большое оживление в небольшой, но очень разношерстной группе выходцев из России. Их здесь проживало около пятидесяти,

Николай Иванович успел познакомиться почти со всеми. «В абракадабре интересов россиян, представляющих необычайную пестроту порядочности, характеров, – от снимающих подметки на бегу до опустившихся безвестных людей, не способных ни к напряженному мышлению, ни к работе, есть умные политики, осторожные в словах и действиях».

В русской колонии все со всеми в «сложных» отношениях: много сплетен, взаимной ревности, нередки громкие супружеские измены, мужчины отбивают жен друг у друга. Вчерашние друзья становятся врагами, «всё пестро, подозрительно», много взаимной ненависти.

Пожалуй, наиболее авторитетен в колонии россиян был инженер-путеец А. Г.Трахтенберг, с которым Вавилов познакомился еще в поезде. У них сложились добрые отношения, потом они будут продолжены. Трахтенберг так поспешно уехал из России, что не прихватил документов об образовании и опыте работы. Он просил Вавилова, по возвращении домой, раздобыть дубликаты в архивах. В обмен готов был высылать образцы растений, другие материалы – взаимовыгодная сделка! Вернувшись, Вавилов немало сил и времени уделит добыванию документов Трахтенберга, будет выполнять поручения и других россиян Эфиопии…

Николай Иванович близко сошелся и с Дмитрием Николаевичем Трофимовым, продавцом русского магазина, – он тоже потом будет писать Вавилову, выполнять его мелкие поручения. Познакомился с двумя царскими генералами, Свешниковым и Дроздовским, с их семьями. С врачом Гогиным, с врачом-дантистом Дабертом, с бывшим офицером П.П.Булыгиным, с другим бывшим офицером И.Ф.Бабичевым,

«опустившимся и обабиссинившимся».

Некоторые россияне смотрели на него косо. «Свирепый» М.Я.Омельченко потребовал объяснить, по какому праву большевики переименовали славный город Петра в город Ленина. Вавилов ответил, что он не большевик и далек от политики, его дело – наука, но тот даже слушать не стал.

Какие-то авантюристы пытаются продать землю под будущую советскую миссию. Взять в толк, что он приехал не за этим, они не могут. Нервы у Николая Ивановича напряжены, он опасается, что интриги могут сорвать экспедицию.

11 февраля 1927 г., В.Е.Писареву: «Никогда еще не попадал в такой дипломатический круговорот, как здесь. Никто не верит, что от нас может приехать ботаник собирать пшеницу. <…> Принимаю визиты, трачу тьму денег на содо-виски, коньяк, почти спился, ибо не только на Руси есть веселие пити, но еще более в Абиссинии. Пиво и мед они изобрели до нас. Боги, великие и малые, когда же я выберусь из Аддис-Абебы. Переживаю положение почетного плена»[363].

В дневнике он записывает: «Нервы мои уже вышли из равновесия. Кругом появилась тьма типов, которые устраивают всякие пакости».

Неожиданное приглашение к расу Тафари еще больше взвинтило Вавилова: они ведь обо всем договорились, для получения ожидаемой бумаги новой встречи с правителем не требовалось. Неужели козни подействовали, и в поездке будет отказано?!

Но рас Тафари принял его с прежней любезностью, в интимной обстановке, наедине, без переводчика: он сносно говорил по-французски. Стал расспрашивать о русской революции, о жизни в Стране Советов, о советской конституции. И больше всего: как удалось свергнуть царя, почему ему изменила армия? Расспрашивал долго, интересовался подробностями. Кто такой Чичерин? Кто Рыков? Детально расспрашивал о Ленине, о Гришке Распутине, о великих князьях.

В архиве Вавилова сохранилась фотография раса Тафари в парадном мундире, увешанном орденами. На ней рукою Николая Ивановича написано: «Имел 2 аудиенции в 2 ½ часа. Обещал послать Его Величеству книги на французском] языке с программой большевиков, коей Его Величество весьма заинтересован»[364].

Вспоминал ли об этой беседе император Хайле Селассие полвека спустя – после того, как был свергнут с престола и перед тем, как был варварски умерщвлен?..

Николай Иванович вынес впечатление, что будущий

император сознает, что его стране нужны кардинальные реформы, но он нерешителен, лишен воли и мудрости большого политика. Чтобы вырвать Эфиопию из объятий средневековья, нужен был политик масштаба Петра Великого. «Это не Петр», – записал он в дневнике.

3.

В дальние походы эфиопы отправлялись на мулах. То есть на мулах везли поклажу – сами шли пешком. Чтобы ускорить продвижение и облегчить путь караванщикам, Вавилов, кроме мулов, для каждого из них купил по ослу: они много дешевле. Но как только ослы появились во дворе французской гостиницы, где снаряжалась экспедиция, караванщики бросились врассыпную. Оказалось, в Эфиопии мужчине зазорно ехать на осле…

Вавилов решил, по крайней мере, купить людям сандалии, чтобы они не шли босиком. Сандалии в тот же день исчезли, перепроданные на базаре. Перед путешественником снова стояла босая команда. Пришлось купить новую партию сандалий и до времени упрятать их в тюк.

Но вот караван сформирован и снаряжен. Открытый лист за подписью императрицы и раса Тафари предписывает оказывать содействие «гостю Эфиопии».

18 февраля 1927 г., Г.К.Сухановой (Флаксерман)”. «Получил две аудиенции у его Величества и признан “гостем страны”. Завтра в путь вглубь страны на два месяца. Караван из 14 человек, 7 ружей, 2 копий, 2 револьверов и 10 мулов»[365].

Можно выступать? Нет!

Переводчик, рекомендованный итальянским послом, объясняет, что надо у губернатора Аддис-Абебы заключить договор с караваном – таков порядок. Окруженный шумной ватагой, Вавилов идет к губернатору.

Он обязан внимательно относиться к людям? Что ж, это необходимо. Кормить и лечить их? Естественно. В случае смерти похоронить по принятым в стране обычаям? Да. Три раза в месяц давать глистогонные средства? Забавное требование, но для Эфиопии понятное: здесь все едят сырое мясо. Впрочем, в Эфиопии растет дерево, его сушеные соцветия – косо – отлично расправляются с солитером.

Вавилов готов подписать договор, но где же… обязанности каравана? Их в договоре нет!..

– Как быть, если кто-нибудь нарушит дисциплину? – спросил Вавилов у губернатора.

– А вы возьмите кандалы, – невозмутимо отвечает чиновник.

– То есть как?

– Очень просто, возьмите с собой кандалы, так делают все – и англичане, и французы.

– Ну, знаете, такому примеру я следовать не могу.

– Что ж, попомните, молодой человек.

Вавилов подписал договор: рядом с его росчерком появился ряд корявых крестов. В Ленинград отправлено последнее письмо из Аддис-Абебы:

18 февраля 1927 г., В.Е. Писареву: «Уже опаздываю на 2 дня. Не имея за собой никакой, в сущности, поддержки, кроме разрешения двигаться, переживаю все удовольствия быть представленным самому себе. Попомнишь полпреда в Афганистане и даже консулов. Но все равно. Двинемся. Страна эта во всяком случае заслуживает исюпоч [отельного] исследования. Я сделаю только часть»[366].

4.

«На 2 месяца нужно держать в воле нервы. Предвидится кафиристанский аналог. Это чувствую». Так записал Вавилов в дневнике за несколько дней до выступления. И оказался неправ. Здесь он столкнулся с прелестями иного характера.

Караван пересекает основной земледельческий район – Годжам. «Огромные посевы абиссинского тэффа, любопытные своеобразные и разнообразные абиссинские пшеницы в невероятной пестроте форм, смешанные посевы ячменей, в том числе и черных голозерных, не известных нигде в мире, кроме этой страны. В большом количестве попадаются оригинальные местные абиссинские формы чечевиц, нута, гороха, чины. Около построек обычно растут огромные кусты дикой клещевины. Тут же своеобразная капуста-горчица, дающая большое количество семян, но в то же время используемая ради листьев. Много полбы».

Сборы превосходят все ожидания. Можно считать, что экспедиция проходит отлично.

Народ приветлив; можно не опасаться кинжального удара фанатика, который убийством «неверного» расчищает себе дорогу в рай. Однако управляться с караваном очень и очень непросто.

В эфиопских селениях путешественника встречают с большим радушием, а с ним и весь караван. К сырому мясу, густо сдобренному перцем, подаются в больших кувшинах эфиопское пиво – тала и в маленьких – тэч, крепкий перебродивший мед.

После попойки не соберешь половины караванщиков. Они нашли дружков и с утра продолжают пить. *Питие есть веселие не только Руси! А* ведь пеший путь и без того медленен, экваториальный день короток.

Ночью подвыпившая команда беззаботно спит. Начальник экспедиции до утра дежурит у костра, под черным, усыпанным ярчайшими звездами небом.

…Рыжие языки пламени безуспешно борются с тьмой, а тьма беспокойна. Она оглашается ревом леопардов и шакалов, хохотом гиен. Мулы рвутся. Жмутся к огню. Хищники подходят совсем близко, темнота светится звездочками их глаз.

Выстрелами в воздух Вавилов пытается разогнать непрошеных гостей, подбрасывает в огонь поленья, покрепче заваривает эфиопский кофе – один глоток его прогоняет сон. В дневнике записывает: «С трудом поднимается караван, едят без конца, греются у костра (ночуем на 2000 м., и утром прохладно). Всех надо самому будить, снимая с них одеяла и шамма. Каждый день одно и то же. Дисциплину привить безнадежно»[367].

Чтобы держать в руках нервы, Вавилов старается не думать о караванщиках. Может быть, вспоминает старинную легенду о происхождении культуры кофе? О том, как однажды пастух заметил, что овцы и козы, поевшие листья кофейного дерева, ночью не спят, а бегают и резвятся. Пастух рассказал о своем наблюдении мусульманским монахам – суфиям. Те решили попробовать чудодейственное растение на себе, чтобы легче переносить ночные бдения, положенные по их религиозному уставу. С тех пор кофе начали употреблять, а потом и возделывать.

Сколько правды в легенде – сказать трудно. Но Эфиопия – родина кофе, хотя основное производство его в Бразилии.

Исследования это подтверждали: слишком велико в Эфиопии сортовое разнообразие кофейного дерева, и только здесь оно росло в диком состоянии.

Путь в таинственную Каффу – затерянную в тропических дебрях провинцию, где росли целые леса дикого кофе. Первый европеец смог проникнуть сюда лишь в конце XIX века, когда император Менелик II покорил Каффу. Это был русский путешественник и офицер Александр Булатович, приближенный императора Менелика. Бесстрашный воин, сорвиголова, Булатович отличился многими подвигами в России и Эфиопии. Приезжал сюда трижды. Последний раз уже не офицером, а иеромонахом Антонием. Приняв постриг, он примкнул, а потом и возглавил религиозное течение *имясловие*, чем сильно рассердил

церковное руководство. В 1919 году он погиб от рук бандитов, когда вступился за ограбленную ими женщину. Его обессмертили Ильф и Петров, карикатурно изобразив в «12 стульях» под именем *гусара-схимника* Алексея Буланова.

Большим почитателем Булатовича был Николай Гумилев, офицер и поэт, такой же сорвиголова. В Эфиопии он прошел всеми маршрутами Булатовича, его тоже принимал рас Тафари. Николай Вавилов был третьим россиянином, проникшим в провинцию Каффа.

5.

…Горы становятся круче и неприступнее. Частью они покрыты непроходимыми лесами, в других местах поблескивают на солнце антрацитом базальтовых скал. Тропу прорезают глубокие каньоны. Переправы через них нет. Осторожно, цепляясь за ветки деревьев, спускаются караванщики на дно, переводят упирающихся мулов через шумный поток, карабкаются вверх по противоположному склону.

По дну самого глубокого и труднопреодолимого каньона несет мутные воды Голубой Нил. Вот магистраль, тысячелетиями питавшая великую древнеегипетскую цивилизацию. Вавилов убежден: по этой магистрали пришли в долину Нила культурные растения, прежде всего полба и твердая пшеница. Не Египет дал Эфиопии культурные растения, а Эфиопия Египту!

Стены каньона отвесны. В сухой сезон река обмелела, найти брод через нее нетрудно, но как выбраться потом из ущелья?

Три дня ищут путники переправу. Наконец замечают на противоположном склоне тропинку. Но переходить реку еще нельзя: надо ждать утра, когда спят крокодилы.

Перед рассветом караван спускается к реке. Выстрелами в воду караванщики распугивают сонных чудовищ. Несколько туш всплывают суковатыми бревнами. Продолжая стрелять, караванщики вводят в воду сбившихся в кучу мулов.

Потом одолевают двухкилометровый подъем и, наконец, выходят на тропу, вьющуюся между скал и деревьев. Заросли причудливого канделябрового молочая напоминают «мрачное кладбище с горящими свечами».

Генерал, охраняющий верховья Нила, радушно принимает «гостя Эфиопии», угощает караван, приглашает вместе поохотиться на львов или слонов.

«Всё это прекрасно, – замечает Вавилов, – но надо торопиться, а главное, после трех дней не соберешь половины

караванщиков». К их большому неудовольствию, он отклоняет заманчивое приглашение.

Караван идет к знаменитому озеру Тана – истоку Голубого Нила. В период дождей бурные потоки устремляются с окрестных гор в озеро, и оно, как переполненная чаша, изливает избыток вод в Голубой Нил. Сделав петлю по горным ущельям, он устремляется на север. Эти дожди, «слезы Изиды», как называли их древние египтяне, и вызывают весенние разливы Нила.

Озеро Тана – одно из самых удивительных в мире. Перед рассветом с остывшего за ночь берега устремляются к центру его массы плотного холодного воздуха. Постепенно усиливаясь, ветер разводит опасную волну, но ровно через четыре часа стихает. И начинает дуть в обратном направлении. И так изо дня в день, изо дня в день – десятки тысячелетий…

Вавилов хотел тщательно обследовать озеро, но его свалила тифозная лихорадка. О болезни он рассказывает скупо, лишь вспоминает «трогательное человеческое отношение» своих спутников «к чужому для них пришельцу из неведомой далекой страны». Караванщики помнили, что с ними был первый белый путешественник, запасшийся на дорогу не кандалами, а сандалиями…

Приближался христианский Великий пост, весьма чтимый в стране черных христиан. Семь недель им запрещено есть мясо. Простая логика говорит, что надо наесться впрок. Так и поступала вся Эфиопия.

По совету проводника Вавилов купил барана. Тэч караванщики раздобыли сами. На привале развели костер, разделали тушу. С тревогой вглядывался Вавилов в темно-красные от отсветов пламени лоснящиеся лица хмелеющих караванщиков. Пирушка становилась все шумнее, начались жаркие споры. Один караванщик, вконец захмелевший, вдруг решил, что надо развязать путы мулов и отпустить их на волю. Его пытались урезонить, но безуспешно. Вспыхнула драка. При свете костра зловеще поблескивали ножи.

Но вот дебошир укрощен. Люди засыпают тяжелым пьяным сном. Подбросив в костер хвороста, Вавилов покрепче заваривает кофе…

Обогнув с запада озеро Тана, караван вышел к Гондару. Это древняя столица Эфиопии. На карте она обозначена большим кружком, как обозначают крупные города. Но оказалось, что это крохотное селение, в нем не было даже базара.

За полтора месяца люди обносились, устали. Надо дать им отдых, заменить выбившихся из сил мулов.

Деньги в Эфиопии странные, почему-то в ходу австрийские талеры 1780 года с изображением императрицы Марии Терезии. Вавилов их с трудом выменял в Аддис-Абебе. Но и на талеры здесь ничего не купишь. Местная валюта – кристаллы соли и перец, «вызывающий невероятное чихание». Только с помощью губернатора Вавилову удалось обменять талеры на соль и закупить то, что нужно для дальнейшего путешествия.

Караван выступает дальше на север. Путь идет такими же тропами, то между посевами, то в дремучем тропическом лесу, то среди причудливых скал. Все так же прорезают тропу глубокие каньоны. Начинается сезон малых дождей. Но дожди идут по ночам. Губчатая почва быстро впитывает влагу, и с первыми лучами солнца можно выступать. Впереди провинция Тигре – древнее Аксумское царство. Здесь встречаются старинные обелиски из серого гранита, с непрочтенными надписями.

«Для Эфиопии <…> это удивительные сооружения, свидетели напряженной воли, которой так мало в стране. Когда-то, очевидно, и здесь энтузиазм или фанатизм объединял массу и увлек ее даже на строительство прекрасных обелисков. Чтобы поставить их, высечь, надо было много концентрированной энергии. Эта концентрация имела место. <…> Аксум свидетель прошлой напряженности интеллекта, воли в этой стране, где так мало и того, и другого»[368].

Вот и город Аксум, довольно большой по масштабам Эфиопии. Он стоит среди гор, со всех сторон окружен глубоким рвом. Особое внимание путешественника привлекают четыре больших обелиска, дворец, полуразрушенная городская стена – всё это было воздвигнуто еще римлянами.

«Итак, пожалуй, самый реальный свидетель былой напряженности жизни – Аксумские каменные монолиты. Они действительно производят впечатление. В этой убогой стране, где всё в разброде, где один рас не зависит от другого, где начальство плохо иногда отличается от начальника разбойной шайки, – в ней когда-то была воля и напряженность. Она обратила страну в христианство, что, бесспорно, было большим культурным делом. В этой стране, технически стоящей бесспорно ниже Афганистана, чувствуются элементы культуры. В приветствии друг друга, в братском отношении, в приветливости друг к другу. Два погонщика мулов при встрече обнимаются и расходятся. Часами видишь двух парней, держащих друг друга за руки. Гостеприимство, где нет боязни. Народ боязлив вообще, замучен, но когда он не боится, он без конца добр и обычно бескорыстен»[369].

Но с точки зрения главной цели экспедиции Аксумское

царство представляло мало интереса. Почвы здесь бедные, каменистые, земледелия почти нет. Лишь случайно в 20 километрах от Аксума Вавилов набрел на базар, где было много пшеницы, ячменя, тэффа, бобов, гороха, чечевицы. Он закупил образцы семян, но по виду они мало отличались от тех форм, что уже были собраны. Расплачивался красным перцем. Продавцы были неприветливы, чувствовалось, что они боятся иметь дело с европейцем.

6.

Еще по пути в Аксум Вавилов сделал открытие, которое сам назвал первоклассным. Безостая твердая пшеница – давняя мечта земледельцев! Десятки лет стремились вывести ее в разных странах селекционеры. Скрещивали твердую с безостой мягкой. Но скрещивания удавались редко и с великим трудом; если в редких случаях удавалось получить безостое потомство, то нежизнеспособное, с низкой продуктивностью. А здесь природа сама создала твердую безостую пшеницу! Как и должно было быть по закону гомологических рядов. Вот они, безостые колосья, туго наполненные семенами, – лежат на ладони!

Тропа опять круто спускается на дно ущелья. Здесь течет река Такказе. Как и Голубой Нил, она кишит крокодилами, переходить ее можно лишь рано утром. Караванщики разбивают палатку на низком песчаном берегу и быстро засыпают. Вавилов включает фонарь, достает дневник. Пишет.

Вдруг давно заснувший переводчик громко вскрикивает. Вздрогнув от неожиданности, Вавилов оборачивается и видит, что пол палатки шевелится. Полчища фаланг и скорпионов вторглись в нее. Они лезут на кровати, хищно раскрывая челюсти. Все выскакивают из палатки. Надо немедленно уходить с этого гиблого места. Но куда? Переходить в кромешной тьме кишащую крокодилами реку нельзя.

Вавилов решает задачу как ученый. Ему ясно, что насекомые наползли в палатку на свет. Погасить фонарь – значит оставить их внутри. А что, если вынести фонарь наружу?.. Фаланги и скорпионы начали выползать из палатки. Но многие, забившись в дальние углы, не выходят. Вавилов снова вносит фонарь в палатку, суживает световую щель, и насекомые, как солдаты, выстраиваются вдоль полоски света. Медленно вынося фонарь, Вавилов, точно на веревочке, выводит непрошеных гостей. Он укрепляет фонарь перед входом, караванщики могут вернуться в палатку: насекомые туда теперь не полезут.

За рекой дорога становится опасной: караваны здесь нередко наталкиваются на разбойников. Караванщики боязливо всматриваются в густые заросли сорго, которые идут вдоль тропы. Чтобы подбодрить людей, Вавилов идет впереди каравана. Так идут они, молча, почти не переговариваясь, целый день. Вдруг из зарослей выходят люди с ружьями… Встреча с европейцем для них неожиданна. Они знают, что каждый европеец вооружен, лучше его не трогать.

Но надвигается ночь, это осложняет положение. Встречные вежливо кланяются, приглашают переночевать в соседней деревне. Хочешь не хочешь, а приглашение приходится принять. Вавилов разбивает палатку, собирает людей на короткое совещание. Решает пустить в ход свой неприкосновенный запас: две бутылки отличного коньяка. Отправленный с этим подарком переводчик возвращается навеселе, с кувшином тэча, жареными курами, большой охапкой блинов. Видно, он хорошо справился со своей миссией.

Но благодушествовать нельзя. В три часа ночи Вавилов поднимает людей; в четыре, задолго до рассвета, когда перепившиеся разбойники безмятежно спят, караван бесшумно покидает деревню.

Скоро посевы исчезли, а с ними исчезли и селения. Караван вступил в каменистую полупустыню с редкими пучками выжженной бурой травы. День, второй, третий идут путники по пустынной местности… Корма для скота достать невозможно…

Но вот они вошли в деревню. Вавилов закупил побольше ячменя, дал животным вволю наесться, не сознавая, что делает ужасную ошибку. Наутро два мула пали. Вспухшие животы указывали на тимпанит – бич животных. Болезнь началась от перехода после голодовки на обильный корм. Днем, уже в пути, один за другим пали еще четыре мула…

До предела нагруженный караван с трудом продвигался вперед.

Вавилов мысленно перебирает свои находки. Почему такое обилие темноколосых форм? Взять пшеницу. Среди ее посевов множество фиолетовых колосьев. «Будто черным дождем омыты пшеничные поля», – писал Александр Роскин, автор первой книги о путешествиях Вавилова[370].

В Эфиопии черным дождем, или фиолетовым загаром (другая, не менее яркая, но более точная метафора Роскина), омыта не только пшеница. Ячмень, тэфф, другие культуры тоже представлены многими темными формами, точно черные базальты окружающих скал наложили на посевы свой отсвет. Здесь царство доминантных генов! Многочисленные скрещивания

самых разных растений давно уже позволили заключить: темная окраска, как правило, доминирует над светлой. Доминантные признаки и должны господствовать в центрах происхождения!

Вавилов вглядывается в пасущиеся стада овец и коз; в ослов, происхождение коих из Эфиопии твердо установлено. Среди домашних животных тоже преобладают темные масти.

А чернокожие караванщики, как и всё коренное население Эфиопии!

Антропологи утверждали, что человек впервые появился именно здесь, в Восточной Африке, отсюда расселился по Земле.

В центрах происхождения господствуют доминантные признаки – это общий закон!

Точности ради следует сказать, что такая мысль возникла у Вавилова, когда он еще только обдумывал путешествие в Эфиопию. 6 января, перед выездом из Марселя, он писал Елене Ивановне: «Голова моя заполнена сейчас одной правильностью, к[отор]ую как будто бы удалось схватить. Я понял существо географической] правильности в распределении ген. Конечно, началось с культ[урных] растений, но суть вполне применима и к человеку.

Эфиопия – центр доминантных ген, и к северу идет изоляция рецессивов. Это проходит замечательно просто и до черта ясно. В сути я не сомневаюсь. Но нужно еще с миллион фактов. Это одно стоит поездки. Грубо говоря, в Эфиопии, в неграх скрыты гены всей Европы. Фиолетов[о]зерн[ые] и чер[ные] пшеницы Абиссинии закрыли гены Севера, к[отор]ые вышли на простор севера, где господствует дисперсия. Отсюда на очереди гибель скрещиваний, которые надо сделать».

Миллион фактов, подтвердивших эту гипотезу, дала Эфиопия. Едва завершив экспедицию, на борту парохода в Европу, преодолевая морскую болезнь, он написал и отослал в Ленинград статью «Географические закономерности в распределении генов культурных растений»[371] для «Трудов по прикладной ботанике, генетике и селекции».

7.

Эритрея – колония Италии, но географически это продолжение Эфиопии. Только дороги здесь иные. Удобные шоссейные трассы напомнили Вавилову, что еще предки итальянцев, римляне, были первоклассными строителями дорог.

В Эритрее есть и почтовая связь. Николай Иванович пишет открытки в Ленинград, извещая, что жив, здоров и уже вышел из

Эфиопии.

Через оазисы с дикой финиковой пальмой, через рощи дикой маслины, через плантации кофейного и дынного деревьев, минуя фруктовые сады, Вавилов направился в столицу Эритреи Асмару. Это современный, вполне европейский город. Первая забота – отправить добытый материал.

8 апреля 1927 г., В.Е.Писареву: «Имею честь доложить Вашему превосходительству, что третьего дня мною окончена отправка материалов экспедиции из Абиссинии. 4 дня и ночи писал без конца, онемели руки от подписывания (830 бланков таможеннику по 7 на посылку и другие). Отправил 59 посылок, до этого послал из Аддис-Абебы, из Джибути и Бери-Дауа 61 посылку, итого 120 из Воет [очной] Африки. Да еще в Эритрее соберу. В Эритрее нашел много дополнений. Например, ячмени групп mocralepus совершенно эндемичны для В. Африки. Вчера губернатор устроил специальный] ужин для “советского” профессора. Пришлось надевать фрак»[372].

На ужине у губернатора Вавилов познакомился с директором Департамента земледелия Эритреи доктором Венидиктисом. Тут же составили план совместного путешествия по земледельческим районам.

По природным условиям Эритрея разнообразнее внутренней Эфиопии. К северу – к границе с Суданом – резко уменьшается количество осадков. Монотонная саванна разнообразится гигантскими баобабами.

Культурная флора горной Эритреи дополняет эфиопскую, но здесь сильно влияние Европы. Фруктовые деревья, мягкая пшеница – культуры заимствованные. Красный перец, ставший в Северной Эфиопии обменной валютой, завезен португальцами, вторгшимися в Эритрею и Северную Эфиопию в XV веке. Но в основном культура Эфиопии и Эритрея оригинальна.

«Хотя современные историки и археологи склонны считать абиссинскую культуру заимствованной, вторичной, изучение видового и сортового состава культурных растений и агротехники свидетельствует обратное. Наличие родовых эндемов, как тэфф, нут, абиссинский банан-энцете, вид горчицы-капусты *Brassica corenata*, совершенно оригинальные виды пшеницы <…> – всё это при сравнительном изучении неизбежно и логически приводит к признанию горного абиссинского очага самостоятельным, заслуживающим выделения. Своеобразный скот, овцы и козы, оригинальный плуг с длинным грядилем, самобытный набор орудий, сохранившаяся мотыжная культура, весь обиход, приготовление спиртных напитков, наконец, пища, лекарственные растения <…> – всё это определенно доказывает

значительную автономию абиссинского очага»[373].

На пароходе в Европу Вавилов подчищал долги по переписке.

22 апреля 1927 г., Г.К.Сухановой (Флаксерман): «Все Ваши письма получил, но главным образом в Асмаре (Эритрее). В Абиссинии 2 месяца был вне достижения. Потому Вы не сердитесь. Авантюра африканская удалась полностью. Вашингтон и Париж, очевидно, что-то сделали. Что, мне не совсем ясно, но действие каких-то сил было заметно. <…> Дважды Его Величество интересовался знать, за морем житьё не худо ль, в свете есть какое чудо»[374].

Через несколько дней, уже в Неаполе, Вавилов подводил итоги экспедиции.

25 апреля, Хэрри Харлану: «Благодаря Вильморенам, Французской академии наук, а также Вам я получил разрешение поехать в Абиссинию. Сегодня я приехал из Африки. Я был в районе Харара, Аддис-Абебы, Анкабера, Фичи, Абаи (Голубой Нил), Цаны, Гондера, Адуа, Асмары. Из Асмары я совершал путешествия в разные области Эритреи. Всего я был в Восточной Африке 3 месяца. Я очень счастлив, что мне немного удалось повидать горную Восточную Африку, поскольку по вопросу, наиболее меня интересующему теперь – происхождение культурных растений, – я собрал много фактов. <…> К сожалению, я не смог попасть ни в Египет, ни в Судан. Несмотря на множество рекомендательных писем, мне не разрешили въехать в эти страны как русскому подданному. Что очень жаль. Это было так для меня необходимо для понимания Средиземноморского центра происхождения культурных растений. Все эти дурацкие препятствия заняли много моего времени. Путешествовать по Абиссинии было не очень приятно, но интересно. Рас Тафари был очень добр ко мне, и мы разговаривали о Вас. Теперь я остановлюсь на несколько недель в Италии, после чего поеду в Испанию»[375].

Снова Италия

1

Из Эфиопии Вавилов возвращался с чувством победителя, но торжествовать времени не было. В Рим он едва успел к Международному съезду по сельскому хозяйству, на котором обещал выступить с докладом о центрах происхождения.

Доклад проложил дорогу к дружеским и деловым контактам с учеными многих стран, включая и саму Италию. Близким другом Вавилова стал доктор Джироламо Ацци, крупный знаток экологии пшениц.

8 мая Вавилов сообщал Писареву – опять из Неаполя: «Наконец закончил римские дела. Если всё выйдет, что пущено в ход, история не осудит. Съезд был интересен людьми. Миссию дипломатическую выполнил к[ак] б[удто] не плохо. Заключил альянсы с Африкой (были Miege, Boeuf, Duceliier[376]), с славянскими странами (Польша, Чехословакия), с Румынией, Венгрией, с Японией (был в числе 8 чел[овек] приглашен японск[им] послом на обед), с немцами, с Канадой, Австралией, с Испанией. Итальянцы и французы приняли нашу классификацию как основную»[377].

В Рим приехала Елена Ивановна, что, однако, не превратило их пребывание в Италии в Римские каникулы. С ее помощью Вавилов работал с удвоенной интенсивностью, она деятельно помогала ему[378].

20 мая 1927 г., Флоренция, В.Е.Писареву: «Наконец добрался до сего прекрасного города. Но [только] ради библиотеки и гербария Колониального института. Штудирую Аравию и средиземн[оморские] культуры. Италию почти постиг. Собрал всех классиков, и библиотека у нас по Италии теперь неплохая»[379].

26 мая, Рим, Н.П.Горбунову: «Удачи сменяются неудачами. Последних немало. Третьего дня узнал, что в связи с общими событиями испанская миссия аннулировала мою визу. Это до черта досадно, потому что Испания завершила бы всё Средиземноморье. Еще бьюсь за визу. Поднимаю на ноги испанцев-агрономов и ботаников. Если выйдет дело, через месяц явлюсь перед Ваши очи, не выйдет – раньше. Использую каждый день. Много дала Сицилия, да и вообще в Италии больше нам нужного, чем думал раньше»[380].

О Сицилии Вавилов писал двумя неделями раньше Писареву

из Мессины: «В этой стране гораздо больше того, что мы (и я в том числе) знаем и знали. Завтра вглубь страны, по полям, хлеба начали созревать. Через неделю в Риме и к северу. Ресурсы мои в виду снаряжения похода в Египет и покупки книг приходят к концу, и надо торопиться»[381].

2.

Снаряжение похода в Египет?!.

Значит, ему все же удалось вырвать визу?!

Увы, не удалось. Несмотря даже на то, что он изъявлял готовность путешествовать в сопровождении агента полиции, взяв на себя расходы по его содержанию. Но и такой вариант египетские власти не устроил.

Однако смириться с тем, что древнейшая земледельческая цивилизация останется не охваченной его экспедицией, Николай Иванович не мог. Ему *«во что бы то ни стало надо было обеспечить сбор семян в Египте».* И он… «пригласил в сотрудники толкового итальянского студента Гудзони, подготовил его, снабдил необходимым материалом для сборов, анероидом, средствами, обязал его собрать всю необходимую литературу и направил в Египет. Гудзони самым добросовестным образом выполнил свою миссию, пройдя по указанному маршруту все земледельческие районы до Асуанской плотины в Верхнем Египте включительно»[382].

Это лаконичное сообщение в «Пяти континентах» дополняют итальянские письма Вавилова. Из них можно узнать, что самым деятельным его помощником в Италии был студент-химик Моисей Гайсинский. Из России он эмигрировал в 1920 году. Три года жил в Палестине, затем поступил в Римский университет. Средства к существованию добывал уроками русского языка. Университет он уже заканчивал и мечтал, получив диплом, вернуться в Россию. В советском полпредстве его хорошо знали и порекомендовали Вавилову. Николай Иванович проникся к нему доверием и основательно его «запряг».

Отчаявшись получить визу в Египет, Вавилов пытался направить туда Гайсинского, но тому тоже отказали: для египетских властей любой выходец из России был подозрителен. Возник проект послать в Египет студента агрономического института Эмилио Серени (будущего политического деятеля, коммуниста, пожизненного сенатора), но и из этого ничего не вышло. Тогда Гайсинский предложил своего однокашника Р.Гудзони.

Руководствуясь инструкциями Вавилова, Гудзони продвигался вверх по течению Нила, обследуя земледельческие районы страны. Маршрут был не сложен, так как всё земледелие здесь издревле теснилось к великой реке: весенние разливы приносили на поля живительные «слезы Изиды» и плодородный ил. Дальше на Запад и на Восток простиралась безжизненная пустыня, так что от основной магистрали уклоняться путешественнику не приходилось.

Материалы от Гудзони стали поступать, когда Вавилов был уже в Испании. Приходили они в Рим на адрес Гайсинского. Тот их переупаковывал и отсылал в Ленинград. Такой вариант Вавилов считал надежнее, чем прямая отправка из Египта в Россию.

Сорок лет спустя Гайсинский с гордостью вспоминал, что ни одна посылка не пропала. О том, как непросто было выполнять, казалось бы, чисто техническую работу по переправке посылок, говорит его письмо Николаю Ивановичу в Испанию от 23 июня 1927 года: «Египетские посылки все получены и сейчас мною отправляются. С последними тремя вчера была немалая возня. Обычно их приносят мне домой, на этот раз почему-то получил повестку. На таможне их мне не хотели выдать, если я не представлю удостовер[ение] из Lexor [Луксора] и Asuan [Асуана], что растительность] этих местностей не заражена болезнями, или же надо ее подвергнуть исследованию Фитопатологического института. Причем они заявили, что это общее правило, и только случайно (!) до сих пор мне приносили посылки. Только после долгих убеждений, что эти семена не предназначены для с.х., а для лаборатории, и после того, как их открыли и нашли также колосья, и благодаря поддержке одного чиновника мне их выдали. Так что если Вы мне до сих пор не высылали ничего из Испании, лучше не посылайте, если возможно, если же уже выслали, необходимо, чтобы Вы мне прислали удостоверение] Министерства] земледелия на французском] языке, что в местности, откуда придут семена, нет растительных болезней»[383].

19 июня 1927 г., Испания, В.Е.Писареву. «Египетский помощник вернулся в Рим. Свыше 300 образцов (15 ящиков) семян со всего Египта (в том числе для Пангало 30–40 образцов бахчевых) направлены в Ленинград. Заснято много фотографий по всему Египту и приобретена литература. “Хлопец” дошел до Судана. Вероятно, получим кое-что и из Судана»[384].

Египетский материал Вавилов считал особо ценным и просил Писарева не распаковывать посылки до своего возвращения: хотел сам посмотреть, прежде чем рассортировывать и раздавать по

отделам.

Перед отъездом из Италии Вавилов поручил Гайсинскому «дообследовать» страну: Сардинию и Итальянские Альпы. «При этом он, конечно, давал мне, невежде в агрономии, необходимые инструкции и устно и письменно. Эти объяснения были настоящими лекциями по естествознанию, географии, истории и т. д.»[385].

Вернувшись из экспедиции, Николай Иванович стал добиваться разрешения Гайсинскому реэмигрировать на родину. С его трудоустройством проблем не было: Вавилов брал его к себе в Институт, считая ценным, проверенным в деле сотрудником – честным, старательным, хорошо образованным, владевшим основными европейскими языками, что он считал крайне важным. Он ходатайствовал о Гайсинском перед Н.П.Горбуновым, Горбунов – перед высшим руководством Кремля. Сам Николай Иванович не упускал случая поговорить о нем, с кем только мог. «Ваши дела хоть медленно, но все же идут: Подвойский и Скрыпник дали хороший отзыв; Подвойский сам хотел двинуть Ваше дело. Приехала в Москву Г. К. Суханова, и она может быть полезна Вашему делу. Словом, Вы нас еще тормошите, дело далеко не безнадежное»[386].

Сотрудница советского полпредства в Риме Суханова (Флаксерман) симпатизировала Гайсинскому. Это была женщина со связями, лицо историческое. В Кремле помнили, что в октябре 1917 года на ее квартире состоялось конспиративное заседание большевистского ЦК, на котором было принято решение о вооруженном захвате власти. Но помочь возвращению Гайсинского она не смогла. Горбунов тоже был не всесилен. Даже ходатайства таких партийных боссов, как член ЦКК (Центральной контрольной комиссии) Н.И.Подвойский и нарком юстиции Украинской ССР Н.А.Скрыпник, оказались бесплодными. В чем была проблема, понять трудно. В 1920-е годы многие эмигранты возвращались в Советскую Россию, но Моисею Натановичу Гайсинскому путь на родину почему-то был перекрыт. К его счастью, конечно: многих *возвращенцев* ждала плачевная участь.

Гайсинский пытался поехать на время в США, где жила его мать. Николай Иванович писал об этом М.О.Шаповалову, рекомендуя «чрезвычайно способного и очень хорошего человека»[387], но и из этого ничего не вышло.

Более удачным оказалось обращение во Францию. В письме Н.А.Безсонову в Париж Вавилов характеризовал Гайсинского как человека «чрезвычайно способного и знающего много языков». Просил помочь ему устроиться так, «чтобы он действительно мог бы продолжать учиться и, зарабатывая, мог бы продолжать

совершенствоваться. Если бы нашлась, например, вакансия лаборанта, младшего ассистента в работающем институте, то это, вероятно, очень его устроило бы. Химия во Франции сильная и поучиться есть чему»[388].

В Париже Гайсинский стал сотрудником лаборатории Марии Кюри, затем перешел в Радиевый институт к Фредерику Жолио-Ктори. Стал одним из основателей радиационной химии, директором Национального центра научных исследований, членом Французской Академии наук. Умер в 1976 году.

О судьбе его итальянского друга Р.Гудзони, к сожалению, ничего не известно.

Испания

1.

В Испании правил полуфашистский режим во главе с диктатором Мигелем Примо де Ривера. Он пришел к власти в 1923 году, совершив государственный переворот. Правительство и парламент были распущены, действие конституции остановлено, введена цензура. В народе росло недовольство, и власти меньше всего хотели пускать в страну «большевистских агитаторов».

Под давлением испанских ученых, которых Николай Иванович бомбардировал письмами, – особенно активен был профессор Креспи из Музея естественной истории в Мадриде, – виза ему была дана, но только на один месяц.

Проводив Елену Ивановну, Вавилов отправился в Испанию.

Первые же полевые сборы в окрестностях Мадрида показали, что за месяц ему не управиться.

Креспи посоветовал обратиться к префекту Мадрида за продлением визы и пошел к нему вместе с Николаем Ивановичем.

Мрачное здание префектуры – с узкими решетчатыми окнами – сохранилось, вероятно, со времен инквизиции.

Префект принял русского путешественника вне очереди, так что профессор Креспи едва успел ему шепнуть, что чиновник говорит по-русски.

– Шумел, пылал пожар московский, – такими словами префект встретил Вавилова. Он был в штатском костюме, но заметна была военная выправка. Он стоял у стола, сложив по-наполеоновски руки на груди.

– От Севильи до Гренады, в тихом сумраке ночей, раздаются серенады, раздается звон мечей, – ответил Николай Иванович: ему был на руку неформальный тон разговора.

Оказалось, префект был шесть лет военным атташе в царской России, хорошо знал Поволжье и Кавказ.

Цель путешествия его не заинтересовала, но визу он охотно продлил и заверил, что при необходимости продлит еще. На прощанье посоветовал больше интересоваться искусством и взял слово посетить Эскориал и Толедо.

Николая Ивановича удивил столь любезный прием, а причина неожиданного либерализма испанских властей открылась ему уже в конце путешествия, когда профессор Креспи, бережно опекавший Вавилова, необычайно смущенный, отозвал его для

«секретного разговора». Секрет состоял в том, что к русскому путешественнику были приставлены два шпика, которые следовали за ним по пятам. Николай Иванович был удивлен: занятый сбором растений, он никакой слежки не замечал.

Так как передвигался он очень стремительно, переезжал на новое место на ночь глядя или вставая до рассвета, то бедные сыщики сбились с ног. Они чертовски устали и обратились за помощью к Креспи, тот вынужден был взять на себя непривычную роль парламентера. Сыщики предлагали своему подопечному сделку. Они просили Вавилова заблаговременно сообщать им о его передвижениях, а они, так и быть, в горы за ним не поедут, а будут поджидать в условленных местах. В обмен на такую любезность они были готовы оказывать ему всякие услуги: заказывать билеты, бронировать номера в гостиницах, отправлять посылки.

Познакомивших с ними, Вавилов «увидел давно примелькавшиеся две физиономии в котелках и в штатных костюмах». Об этой забавной сделке Вавилов потом рассказал в статье о своем путешествии[389]. А в письме с места событий упомянул о ней ироничной строкой. «По пятам следует архангел-хранитель. Но с ним мы уже договорились. Взмолился он. Замучил». Скоро, впрочем, «договор пришлось нарушить ввиду их постоянного намерения заказывать номера преимущественно в дорогих гостиницах, в центре городов и вообще стремления пожить получше»[390].

2.

Сделав основной базой экспедиции Мадрид, Вавилов по радиусам объезжал страну, следуя ходу часовой стрелки, чтобы успеть за созреванием хлебов. Ему удалось попасть и в Португалию, то есть охватить весь Пиренейский полуостров. Отсюда он продолжал хлопотать о Египте: хотя Гудзони справился с заданием, но это было не то, что побывать самому!

29 июня 1927 г., В.Е.Писареву. «Вступил на землю португальскую и через 3 часа в Лиссабоне. Главная задача – взять основной португальский материал и определить состав культурной флоры. 2000 руб. я получил. Many thanks. Их хватит, если, паче чаяния, на днях не получу египетскую визу. Хотя хлопец и собрал изрядно, был послан во время уборки хлебов, но я насобачился видеть вещи невидимые. И потому хочу пару недель пробыть в Верхнем и Нижнем Египте, очень надо бы. Хлопочет за меня Baur. Сложный план. 3-й день орудует

сардинская экспедиция [Гайсинского]. За нее уверен»[391].

Хорошим помощником Вавилова в Испании был российский эмигрант Яков Самойлович Хоровер. Ветеран Первой мировой войны, он мечтал вернуться в Россию. По образованию он был химиком, исследователем морской воды, так что научные интересы Вавилова были ему далеки. Но, как мы знаем, Николай Иванович умел увлекать самых разных людей.

Николай Иванович списался с Хоровером еще из Италии, и тот его инструктировал: как по приезде в Мадрид добраться до Музея естествознания и найти там сеньора Креспи.

Хоровер сопровождал Вавилова в некоторых поездках, в частности, по Валенсии, помогал всем, чем мог. Вавилов тем временем атаковал письмами советское консульство в Риме (в Испании советских представительств не было), ходатайствуя о скорейшем разрешении Хороверу и его жене вернуться в Россию.

«Консульство в Риме выказало такую большую готовность помочь нам в восстановлении наших прав российских граждан, что меня это прямо трогает, и за всё это я обязан Вам и благодарю Вас. Думаю, что готовность велика, ибо ответ пришел скорый. Получили формуляры для заполнения их, что я и сделал. Ответ, т. е. характер ответа, зависит от Москвы. Думаю, однако, что затруднений не будет. Все же имею больше прав на Россию, чем многие другие, ибо служил на военной службе, хотя бы царскому правительству, но все же Отечеству»[392]. (Ожидания не оправдались: реэмигрировать

Хороверам не позволили, как и Гайсинскому.) В письме по другому поводу, прося Николая Ивановича не забывать и черкнуть на досуге открытку, Хоровер писал: «Ведь Вы мастер писать открытки во всех положениях: стоя, лежа, на ходу, в поезде, в автомобиле. Всегда вспоминаю с уважением и преклонением Вашу неутомимость»[393].

Неутомимость Николая Ивановича особенно впечатляла в Испании, где, по наблюдениям того же Хоровера, «к сожалению, испанцы невероятные лодыри и Институт открыт только с 4 до 8 вечера. Прямо непостижимо!»[394].

3.

Испания оказалась крепким орешком.

«Ни в одной европейской стране, – писал Вавилов, – не сменялись цивилизации так часто, как в Испании. Менялись столицы: вместо Эльче во времена римлян столицей становится Мерида, во времена вестготов – Толедо; столица арабов –

Кордова, столица мавров – Гранада и, наконец, Мадрид. В архитектуре старых городов, как Толедо, можно проследить наслоение разнообразных стилей: романского, готического, ренессанса, барокко; с юга, начиная с VIII в., пришла сильная волна мавританского влияния. <…>

Разнообразие климата, почв в связи с горным рельефом, влияние различных цивилизаций, разнообразие народностей, заселяющих Пиренейский полуостров, – всё это, естественно, отображается на составе растительных культур, на земледелии»[395].

«Сопоставление Испании с другими странами Европы, Африки и Азии позволило отчетливо выяснить влияние миграций и позаимствований и в то же время наличие самостоятельной культуры»[396].

Исследуя земледельческие районы Испании, Вавилов, как реставратор древностей, снимал позднейшие напластования, чтобы выделить исконное. Он обнаружил, что «ряд полезных культур Внутренней Испании присущ только Испании; очевидно, он введен в самой Испании из состава диких растений».

На родине Дон Кихота, в Ламанче, Вавилов нашел в культуре древнюю пшеницу – однозернянку, «когда-то, во времена древней Трои, широко распространенную, а ныне повсюду вымершую, кроме Испании». Лес ветряных мельниц в Ламанче, таких же, с какими сражался Дон Кихот, для Вавилова не просто неожиданный курьез – для него это свидетельство на столетия застывшей, законсервированной культуры, которая только и могла сохранить нетронутыми древние сельскохозяйственные примитивы.

«Чем более мы изучали Испанию, тем более она представлялась нам замечательным историческим музеем, где можно еще проследить различные этапы развития земледельческой культуры, искусства»[397].

Искусство, конечно, тоже интересует Вавилова; оно доставляет не только эстетическое наслаждение. Особенно поразительна роспись Альтамирской пещеры, уходящей в скалу на глубину до сорока метров. Стены густо украшены изображениями животных, выполненными с изумительным мастерством. Пещера была открыта в 1878 году, после чего автор открытия Марселино де Саутуола выпустил небольшую книжку. Он писал, что наскальные рисунки – плоды творчества древнего человека. Ученые-археологи отказывались этому верить. Они не могли допустить, что первобытный человек, едва владевший копьем и топором, мог создавать такие шедевры. Они скорее были готовы допустить, что «это фокус испанских иезуитов», которые

«хотят скомпрометировать историков первобытности»[398]. Многие ведущие археологи не желали даже посетить пещеру, чтобы увидеть всё своими глазами. Лишь в начале XX века факты взяли верх над предубеждениями – началось паломничество.

Николай Иванович не мог оторвать глаз от этих удивительных изображений. Он с восторгом писал о них Елене Ивановне, Олегу, Писареву – для него это свидетельство высокой культуры, расцветшей здесь в незапамятные времена палеолита. На открытке, воспроизводящей изображение бизона на стене пещеры, он пишет: «В натуре это в миллион раз лучше. А художник жил за 20 000 лет до Микеланджело. По рельефу же [?] превзошел флорентийца»[399].

Превзошел флорентийца?!

Что значила такая оценка со стороны Вавилова, можно понять, лишь зная, как высоко он ценил творчество Микеланджело. Однажды, желая подбодрить П.П.Подъяпольского, которого одолевали хвори, Вавилов ему написал: «Хочу Вам послать, если найду, на днях биографию Микеланджело, написанную Роменом Ролланом. Ее Вы обязательно должны прочесть, написана она замечательно. И когда Вы ее прочтете, то забудете все горести. Я повесил у себя в кабинете Давида и Моисея Микеланджело, а когда бывают неприятности в жизни, то всегда вспоминаю биографию Микеланджело, как он тащил мрамор с Апеннин и, будучи брошен, полуизгнанником, в болезни, высекал то, чего никто еще не превзошел»[400].

И вот оказалось, что безымянный художник бронзового века *превосходил* по уровню мастерства и таланта самого Микеланджело!

Высокий уровень искусства тех далеких времен был знаком того, что здесь должны отыскаться следы самобытной земледельческой культуры. Вавилов находит эти следы.

Состав культурных растений Астурии оказался совершенно особым. Здесь не было ржи и песчаного овса, характерных даже для соседней Галисии. Зато возделывалась полба, иногда с примесью другой реликтовой пшеницы – двузернянки. А орудия труда! Полбу в Астурии убирали не серпом или косой – колосья обламывали деревянными палочками и бросали в корзину.

Нигде не встречал Вавилов ничего подобного, и только много позднее в Западной горной Грузии, в местечке Лечхуми, где возделывался вид пшеницы, близкий к полбе, обнаружил похожий способ уборки урожая. «Таким образом, агрономически и ботанически удалось установить поразительную связь северной Испании с Грузией. При этом самый объект и сама агротехника

настолько специфичны и неповторимы, что вряд ли могут быть сомнения в глубоком значении этой связи»[401].

Горная Испания и Грузия… Казалось бы, невероятно! Между тем академик Н.Я.Марр, крупнейший лингвист, создал *яфетическую* теорию происхождения языков, по которой народы северной Испании связаны в единую языковую семью с древним населением Средиземноморья и народами Кавказа. Вавилов вспоминал, с каким волнением академик Марр слушал его рассказ о полбе и орудиях ее уборки в Северной Испании и Грузии. В этом сходстве он видел подтверждение своей теории.

Николай Яковлевич Марр был выходцем из Грузии, которую считал своей родиной, хотя грузином был только по матери, по отцу – шотландцем. Его лингвистические способности были почти сверхъестественными. Каким количеством языков он владел, никто точно не знал, включая его самого. Говорили, что любой новый язык он мог освоить за один день. Вероятно, это легенда; сам он говорил, что трудно изучить первые 12 языков, последующие легко.

Его богатейшие лингвистические познания сочетались со столь же богатым воображением и необузданным темпераментом. Он фонтанировал идеями, они постоянно рождались в его голове и тотчас же, без всякой проверки, превращались в непреложные истины. Сам он сомнений не ведал, и – горе было тем, кто смел усомниться!

До революции академик Марр был далек от политики, не участвовал ни в каких общественных движениях или протестах, но когда власть захватили большевики, он стал их пламенным сторонником, правоверным марксистом.

Яфетическую теорию происхождения языка (по имени Яфета, младшего из трех сыновей праотца Ноя) он скрестил с диалектическим материализмом. Зарождение и эволюция языка стали отражением классовой борьбы. Философы-марксисты объявили *новое учение о языке* академика Марра *материалистическим, классовым, пролетарским, единственно правильным.*

Оно противостояло *индогерманской* теории происхождения языков, которая, соответственно, стала *буржуазной, реакционной, расистской.*

Чем сильнее становилось влияние нацизма в Германии и других странах, тем острее в СССР атаковали индогерманскую теорию и тем непререкаемее становилась теория академика Марра. Те, кто осмеливался его критиковать, подвергались остракизму как враги социализма и советской власти.

Марр умер в 1934 году, но его *новое учение о языке* оставалось

единственно правильным еще 15 лет – пока не явился миру *гениальный* труд товарища Сталина «Марксизм и вопросы языкознания». Теория Марра стала *вульгарным извращением* марксизма, а монополизм его сторонников – *аракчеевским режимом* в языкознании.

То был стартовый выстрел. Марра и марристов стали топтать. Громче всех над ними издевались те, кто еще недавно их превозносил. Теперь уже ни слова нельзя было сказать в их защиту.

Современная лингвистика считает, что в теории Марра элементы научности перемешаны с антинаучными домыслами. Лингвистам в этом и разбираться.

Для нас интересно то, что некоторые звенья *яфетической* теории перекликались с исследованиями Вавилова – порой самым неожиданным образом. Николай Иванович, к примеру, опубликовал в журнале «Пчеловодство» фотографию и маленькую заметку о пчелиных ульях Эфиопии, где их плетут из прутьев и развешивают высоко на деревьях. Вавилов подчеркивал, что нигде, кроме Эфиопии, ничего подобного не встречал. А в примечании редакции говорилось, что аналогичные ульи встречаются в горах Грузии. Еще одна перекличка с яфетической теорией!

Снова приходит на ум легендарная Атлантида, которая достигла необычайных высот культуры, осветила своим сиянием всю тогдашнюю ойкумену, а затем сгинула в пучине морской, после чего ойкумена погрузилась в тьму варварства, налаженные контакты и связи заглохли, и лишь кое-где, в отдельных малодоступных изолятах, сохранились ее рудименты: в горных ущельях Грузии, Эфиопии, Астурии…

23 июля 1927 г., Пиренец, В.Е.Писареву: «Ваше превосходительство. Имею честь доложить, что душу иберийскую постиг. Видел, наконец, Tr. spelta и T. monococcum в мировой культуре. Видел, следственно, ныне все виды пшеницы в полевой культуре. Сегодня день визита в Сикстинскую капеллу каменного века[402]. А в награду за это по пути понял многое в происхождении льна. Ибо у пещеры заросли льна»[403].

Тон письма превосходно передает настроение путешественника на финише его марафонской экспедиции. Он возвращался победителем! Последние письма из Испании полны повторений того, насколько он задержится в Париже, Берлине, и когда, наконец, будет в Ленинграде, где он отсутствовал около полутора лет.

Проблема Арцыбашева

1.

«Вернулся к пенатам. Дела тут гора, и вся гора сразу же опрокинулась на меня», – писал Вавилов в Париж Безсонову 22 ноября 1927 года[404].

По разнообразию дел опрокинувшаяся гора могла соперничать разве что с разнообразием разновидностей и сортов, собранных им в экспедиции.

Первое и главное: весь этот материал надо было разбирать, систематизировать, раздавать по отделам и станциям для изучения в лабораториях и на опытных делянках.

С полпредством в Греции надо было выяснить, почему высланный оттуда еще год назад материал не дошел до Ленинграда.

Надо было заниматься устройством дел зарубежных помощников и знакомых, как Н.М.Гайсинский, застрявший в Италии, или Ф.А.Шимановский, с которым Николай Иванович познакомился и подружился в Эфиопии (его сына не принимали в Тимирязевку, как сына эмигранта).

Надо было пробивать в Совнаркоме решение о премировании лучших работников Института в связи с 10-летием революции. Улаживать вопрос о создании Украинского института прикладной ботаники…

Обрушилась и куча других дел – мелких и крупных, – но с особой остротой снова встала *проблема Д.Д.Арцыбашева.*

Пока Вавилов был в экспедиции, Дмитрий Дмитриевич, вхожий в кремлевский кабинет Горбунова, сумел определенным образом его настроить. Он убедил Горбунова, что Вавилов интересуется в основном теорией, собирает по свету всякие примитивы, тогда как сам он нацелен на введение в практику новых культур. Потому его Отдел натурализации должен стать ведущим в Институте прикладной ботаники, а Бюро интродукции во главе с Колем должно войти в этот Отдел; заведующий Отделом натурализации должен стать заместителем директора Института по научной части, что поднимет статус этого Отдела.

Так и было сделано.

Николая Ивановича беспокоили такие организационные перемены. Еще в мае 1927 года он писал Горбунову из Рима – с присущей ему тактичностью, но вполне определенно: «В общей нашей структуре наметился ряд дисгармоний, как понимаю из

того, что до меня доходит. Д.Д.Арцыбашева своим заместителем считать не могу. Ни по научной, ни по другим частям. <…> Интродукционные нелепости Коля урегулировать можно только определенными рамками. И передачу его к [Отделу] натурализации не могу считать правильной ни по существу, ни организационно. <…> Издалека уже чувствую, что при первом прикосновении к этим делам дисгармонии дадут себя знать. И потому очень прошу Вас, Николай Петрович, принять это к сведению. Все наши помыслы направлены к созданию устойчивого, гармоничного учреждения с практическими задачами, но глубоко научного. В последнем наша сила и смысл существования в Союзе наряду с другими учреждениями»[405].

У Николая Ивановича было три заместителя: Писарев – по научной части, Каган – по финансово-административной, Таланов – как глава Отдела семеноводства и всего Московского отдела. Был ли Арцыбашев назначен *вместо* кого-то из них или стал *еще одним* замом, мне выяснить не удалось.

На письмо Вавилова из Рима Горбунов не отреагировал, так что по возвращении директора в Ленинград «проблема Арцыбашева» неизбежно становилась насущной и острой.

Отъезд Арцыбашева в командировку отодвинул ее на некоторое время, и еще дальше отодвинуло то, что Вавилов снова уезжал за границу: на V Международный съезд генетиков в Берлине и на Международный конгресс по сельскому хозяйству в Риме.

11 ноября 1927 г., Рим, Е.И.Барулиной: «Совет кончается. Доклад [о географических опытах] делал. Удачно. Импрессию произвел. Но в наших делах Баур и Фрувирт не больно уже понимают. Думаю еще слетать в Неаполь и конец. До свидания».

Рядом с Неаполем Помпеи, где интенсивно велись археологические раскопки. Николай Иванович был здесь с Еленой Ивановной, но теперь заглянул снова: это было важно для его «философии бытия».

12 ноября, Рим, ночь: «Только что вернулся из Неаполя, из Помпеи. Снова осмотрел музей и подробно раскопки. На этот раз они оставили еще большее впечатление. Нам тогда не всё показали, хотя ты все же видела больше меня.

Город (Помпеи) изумителен. Вся жизнь с ее темным началом и тем же концом. Булочные, пекарни, мельницы, аптеки, лечебницы, лавки с прилавками, храмы, суд, дом банкира, жилище поэта. А инструментарий архитектора, хирурга! А краски!

Милая Ленушка, я рад, что ты всё это видела. Это всё

поразительно, да еще на фоне Везувия. И в то же время грустно. Мы движемся хуже черепах. Кто же превзойдет их в мозаике, скульптуре, замысле? Словом, детка, ходил нынче, удрав со скучного съезда на день, и по совести хотел засесть и описать Помпею. Как жили 2000 лет тому назад. Право, это так легко. <…> Когда-нибудь напишу. Заметила ли ты самовары в музее? Даже и они были тогда. Извечен цикл жития».

13 ноября: «Я пишу тебе, дорогая, из собора св. Петра [в Ватикане]. Снова св. Елена, монументы пап. Камень, трансформированный в чудо. Как он огромен и прекрасен! Я люблю этот собор за его величие».

15 ноября: «Спасаюсь в Ассисе, в монастыре. Надо написать несколько мелочей. В Риме трудно. А здесь тихое и мирное житие в горах Умбрии[406]. Напишу – уеду в Милан, а оттуда через Мюнхен, Берлин в Москву».

Пока Николая Ивановича не было, Арцыбашев закатил скандал по поводу того, что Вавилов якобы хочет его отстранить и уже назначил исполняющего обязанности заведующего Отделом натурализации, чтобы позднее его утвердить заведующим. Горбунов прислал Вавилову резкое письмо.

24 ноября, Д.Д.Арцыбашеву: «Многоуважаемый Дмитрий Дмитриевич. По возвращении из Рима я узнал, что без меня [Вы] устроили чуть ли не целый крупный инцидент из моего назначения Э.Э.Керна исполняющим обязанности заведующего Отделом натурализации до Вашего возвращения. Вы на время своего отъезда в командировку никого своим заместителем не оставили: я такого рода заявления не имел. По делам же Отдела натурализации ко мне обращался [А.А.] Броун. Как раз в это время вернулся Э.Э.Керн[407], которого я, как старого и компетентного работника, просил временно, до Вашего возвращения, исполнять обязанности заведующего. <…> Весь вопрос не стоит выеденного яйца, и я считаю его исчерпанным. Вы вернулись и можете назначить заместителя из числа людей, конечно, компетентных для этого. Броуна я компетентным считать не могу, так же как и вся наша коллегия.

Уважающий Вас Н.Вавилов.

Копию этого письма направляю и Н.П.Горбунову, от которого мною совершенно незаслуженно получен выговор»[408].

Из письма Горбунову, датированного тем же днем, 24 ноября 1927 г., видно, что «проблема Арцыбашева» была не единственной, с которой столкнулся Вавилов после экспедиции по Средиземноморью.

Просмотрев стенограмму сессии Совета института, состоявшейся в декабре 1926 года под председательством

Горбунова, Вавилов узнал, что на ней было принято решение о «недостаточности» руководства Институтом со стороны директора. Об этом особенно резко говорили представители союзных республик, в которых открывались отделения и станции Института: по их мнению, они открывались недостаточно оперативно. Такую же претензию Горбунов высказал в письме, адресованном ведущим работникам Института. В нем также содержались упреки в том, что академический уклон в работе наносит ущерб практическим нуждам сельского хозяйства: эхо обвинений Арцыбашева.

В письме Горбунову Вавилов проанализировал и отверг все упреки – один за другим. Об «излишнем» академизме он написал: «Должен сказать, что и этого обвинения я не принимаю. По образованию я прежде всего агроном, научная же эрудиция является плюсом, а не минусом и только в полемическом задоре может быть использована для очернения. Если проследить эволюцию развития наших работ в области прикладной ботаники, то можно видеть определенно практический уклон, от которого мы не отказываемся и ныне. По моей инициативе были созданы мукомольно-хлебопекарная лаборатория, химическая лаборатория, физиологическая, которые ведут работу по совершенно близким к практической агрономии заданиям. Мои работы были посвящены устойчивости растений против заболеваний, классификации сортов культурных растений. В числе работ опубликованных имеются такие, как “Полевые культуры юго-востока”. В моем перспективном плане поставлено составление свода полевых культур СССР. Какие еще нужны доказательства утилитарности нашего учреждения и даже моей личной работы?»

Что касается «недостаточно быстрого» открытия станций в республиках Средней Азии, то объяснялось оно отсутствием квалифицированного персонала. В республиках подготовленных кадров не было; вместо того, чтобы их готовить и вообще конкретно помогать Институту, местные партийные царьки брали на себя роль прокуроров, выносивших обвинительные заключения.

Но наиболее острой была все же «проблема Арцыбашева». В письме Вавилова говорилось: «Ни я, ни мои коллеги, знающие хорошо историю создания Всесоюзного института, не считают роль Д.Д.Арцыбашева исключительной, так же как мы не считаем подвигами работу И.Д.Шимановича и А.К.Коля, и поэтому Ваше выделение Дмитрия Дмитриевича и для меня, и для моих коллег является неожиданным. Ваша последняя отмена постановления директора о временном поручении заведования Отделом

натурализации (на время отъезда заведующего его в командировку) Э.Э.Керну, вызванного исключительно существом интересов дела, я не могу считать достойным директора крупнейшего научного учреждения страны. Наряду с обязанностями, возложенными на директора, должны учитываться и его права».

Подойдя таким образом к главному, Вавилов заключил: «Я никогда не стремился к административным должностям и считаю себя больше на месте в лаборатории, на поле и в кабинете, в качестве научного руководителя. Всесоюзный институт представляет слишком громоздкое учреждение для того, чтобы в нем, ведя одновременно глубокую научную работу, заниматься организацией в той сложной обстановке, которую мы сейчас переживаем и в которой без Вашей помощи Институт, думаю, что будет ликвидирован. За мной имеется огромное число недоимок, чуть не 10 книг, которые мне нужно закончить в ближайшие годы; сводка географических опытов, экспедиций; обработка ряда важнейших культур. Это обстоятельство заставляет меня, по внутреннему убеждению, перенести внимание в первую очередь на эту сторону. Я готов остаться в скромной роли ученого специалиста, самое большее заведующего отделом полевых культур, но вообще без всякой претензии на какое-либо заведование <…>.

Должен сказать также, что мое решение прежде всего обусловливается сознанием невозможности для меня при создавшихся условиях справиться с дисгармониями такого огромного учреждения без полной ликвидации своей научной работы, которая для меня еще ближе, чем организационные задачи, и где я думаю быть более полезным стране.

В заключение также считаю своим долгом выразить Вам совершенно искренне благодарность за то внимание, которое Вы уделяете Институту»[409].

Как Горбунов воспринял это письмо? К сожалению, документальных данных нет, можно только гадать. Зато есть свидетельство того, как известие об отставке Николая Ивановича было воспринято в Институте.

Через несколько дней на имя Горбунова ушло письмо, подписанное большой группой ведущих сотрудников. В нем говорилось: «Мы утверждаем, что не только основные, руководящие Институтом идеи научно разработаны Н.И.Вавиловым, но и план работ каждого отдела, каждой секции Института ежегодно прорабатывается в научных заседаниях под руководством Николая Ивановича. И по каждому плану мы всегда имели исчерпывающую критику и координирование с работой

других частей Института, осуществляемые Николаем Ивановичем.

Даже такие, казалось бы, далекие отделы, как отдел плодоводства и огородничества, физиологические, химические работы находятся под непосредственным контролем Николая Ивановича. Лично нас это нисколько не удивляет.

Некоторые почему-то считают Николая Ивановича специалистом по полевым культурам, между тем он прежде всего специалист по прикладной ботанике в широком смысле этого слова, и это дает ему широкий кругозор со всеми культурными растениями мира.

В этой широте его знаний, в этом широком кругозоре его основная заслуга как научного руководителя Института.

Именно таким “широким” ученым и должен быть Директор нашего Института, выполняющего фактически не всесоюзную, а мировую научную миссию по изучению культурных растений.

Руководство Институтом, проводимое Николаем Ивановичем, буквально пронизывает его сверху донизу. Кому, как не нам, знать ночные беседы Николая Ивановича не только с нами, ответственными работниками, но и с молодыми лаборантами, в ком замечена им искра научной мысли и дарования.

В период своей средиземноморской экспедиции, среди гор Абиссинии, в трудах и лишениях, Николай Иванович писал длинные инструктивные письма В.Е.Писареву, К.А.Фляксбергеру, А.И.Мальцеву и др., и мы все знаем, как крепки были даже и во время его отсутствия нити научного руководства, тянувшиеся от Николая Ивановича к нам. Но этого мало, каждый ассистент, каждый лаборант за время экспедиции получал от Николая Ивановича ряд писем с указанием всего нового среди форм, найденных в экспедиции, или указания на литературные новости». В письме говорилось также, что Вавилов – это мозг Института и что «утрата мозга повела бы за собой постепенную атрофию и омертвление всех его частей». «После трех лет работы Института мы, участники этой огромной работы, важной для строительства сельского хозяйства в нашем Союзе, глубоко преданные своей организации и ее задачам, ясно видим, что успех работы Института прежде всего связан с именем Николая Ивановича и с его научными идеями, проложившими по ряду вопросов прикладной ботаники, генетики и селекции на долгие годы руководящие линии <…>. С Вашей стороны необходимы особые решительные меры для сохранения науке Союза творческой мысли Н.И.Вавилова».

Вопрос о директорстве обсуждался около месяца.

Примерно в это время на заседании Ученого совета был заслушан отчет Арцыбашева. Обычно Вавилов предварял отчет

кратким вступлением и тем самым как бы задавал тон обсуждению. На этот раз он взял слово последним, чтобы подвести итог. «Говорил он возбужденно и даже резко», ибо в отчете Арцыбашева «отсутствовала направленность в работе, которую так ценил Николай Иванович»[410].

Только после того, как Горбунов отказался от всех претензий, Вавилов согласился отозвать заявление об отставке. Арцыбашев не был утвержден заместителем директора.

2.

В переписке Вавилова имя Арцыбашева после этого встречается еще два раза. 23 января 1928 года, в ответ на письмо Н.Д.Костецкого из Сухуми, в котором, по-видимому, упоминался Арцыбашев, Николай Иванович писал: «Система действий Д.Д. [Арцыбашева] в общем, конечно, остается та же самая: задние двери и обходное движение. Надо быть, конечно, начеку. <…> Нам остается одно: вести прямую работу, вести как следует. В конце концов, это наиболее прямой и правильный путь»[411].

И 13 марта того же 1928 года – в письме агроному и луговоду Т.А. Рунову в поселок Кичкас Запорожского округа: «Была довольно бурная сессия Президиума Совета в январе. В результате решено усилить коммунизацию Института. Ушел Арцыбашев. Все события отрадные»[412].

О «коммунизации» Института речь впереди. Радовала она Вавилова, или он относился к ней как к неизбежности, не подлежащей обсуждению, сказать трудно. Зато уход Арцыбашева окрашивал всё происходящее в светлые тона.

Заведующим Отделом натурализации стал крупный лесовод, профессор Ленинградского лесотехнического института Н.П.Кобранов. Он «взялся энергично за дело»[413], но ушел из ВИРа в 1931 году. Может быть, благодаря этому избежал участи Н.И.Вавилова и его ближайших сотрудников. Умер в 1942 году в Свердловске, куда был эвакуирован из блокадного Ленинграда.

3.

В сведениях о дальнейшей судьбе Арцыбашева изрядная путаница. В Википедии он назван «подвижником идей академика Н.И.Вавилова». Там же указано, что он был заместителем директора ВИРа с 1935 года, что, видимо, почерпнуто из публикации писем Арцыбашева к Вернадскому, где в одном из

примечаний говорится: «С 1935 г. заместитель директора Всесоюзного института растениеводства Н.И.Вавилова по научной части. После ссоры с Н.И.Вавиловым (см. об этом: Есаков В.Д. Николай Иванович Вавилов. М.: Наука, 2008. С. 149–151) перешел на работу в Академию коммунального хозяйства».

Ссылка на книгу В.Д.Есакова курьезна, ибо в ней четко сказано, что Арцыбашев был смещен с поста заместителя директора в 1927 году.

Чем Арцыбашев занимался в Академии коммунального хозяйства, нигде не сообщается, но есть указания на то, что с 1929 года он читал лекции по сельскохозяйственному машиностроению в Харьковском технологическом институте, а в 1936 году появился в Адлере, близ Сочи, в совхозе «Южные культуры» – бывшем имении генерала Д.В.Драчевского.

Это имение генерал приобрел *по случаю*, выиграв в карты, потому назвал его *«Случайное»*. В нем он решил создать экзотический парк, проект заказал известному ландшафтному архитектору Арнольду Эдуардовичу Регелю (брату Роберта Эдуардовича), а воплощал проект сочинский садовод Р.Скрывамек. Парк стал главной достопримечательностью Адлера.

В апреле 1918 года генерал Драчевский был расстрелян большевиками, а его имение – превращено в совхоз *«Случайное»*. Позднее совхозу и парку дали более солидное название: «Южные культуры».

В Википедии, в статье об этом парке, всплывает имя Арцыбашева: говорится, что в 1936–1939 годах он высадил здесь растения, завезенные из стран Востока. «В результате здесь сосредоточилась самая крупная и уникальная в СССР коллекция декоративных экзотов: японских вишен, японских пальчатых кленов, японских камелий, гибридных рододендронов, калин и других декоративных пород. Эти породы использовались для увеличения разнообразия в декоративной флоре парков черноморского побережья».

Но в той же Википедии, в статье о самом Арцыбашеве, говорится, что в 1937 году он был арестован.

Однако два главных труда Арцыбашева изданы в 1939 и 1941 годах, что было бы невозможно для *врага народа* или *вредителя*. Да и в дневнике Вернадского есть запись от 25 ноября 1938 года: «Днем [был] Д.Д.Арцыбашев. Талантливый и оригинальный человек. <…> После (перерыва) вчера (встретились) в первый раз. Сильно постарел, но живой, нервнобольной, очень интересный».

В очерках разных авторов, без ссылок на источники,

говорится о том, что Арцыбашев был арестован и умер в заключении, но даты ареста, даты и места смерти у всех разные[414].

М.А.Поповский подробнее писал о судьбе Арцыбашева – со ссылкой на бывшего узника саратовской тюрьмы Виктора Викентьевича Шиффера, который «провел в тюрьме четырнадцать лет, с 1941-го по 1955-й»:

«15 октября 1941 года его [Шиффера], как и Вавилова, прямо с Лубянки отправили поездом в Саратов. Ехали долго, голодали, зато в хорошем обществе: в купе из шестнадцати человек одиннадцать – генералы авиации. Да какие! Смушкевич, Кленов, Таюрский, дважды Герой Советского Союза Птухин. Остальные пассажиры – тоже не шушера какая-нибудь: директор московского завода “Динамо”, директор Ковровского авиационного завода… Инженер Шиффер претерпел те же муки, что и Николай Иванович, с той лишь разницей, что сидел не в камере смертников, а в общей. В январе 1943-го попал он в больницу, где на соседней кровати умирал старый профессор, специалист по южным растениям Арцыбашев. Из разговора санитарок Арцыбашев узнал, что в соседней палате лежит Вавилов. Когда-то в двадцатые годы в Петрограде два профессора не очень-то ладили между собой, но здесь, на пороге смерти, профессор Арцыбашев обрадовался, услышав знакомое имя. Он стал расспрашивать санитарок, что с Вавиловым, и тут Шиффер услыхал короткий, но впечатляющий рассказ о последних днях великого путешественника.

Академик лежал в одной палате с бывшим главным редактором “Известий” Стекловым. У обоих была дизентерия, а скорее, просто голодный понос. Когда начальник тюрьмы обходил палаты, Вавилов просил дать им со Стекловым стакан рисового отвара. Начальник разгневался: “Ишь, чего захотели! Раненым бойцам на фронте риса не хватает, а я буду рис государственным преступникам скармливать…”

Больше о Вавилове Шиффер ничего не слышал. Через сутки умер Арцыбашев, очевидно, в те же дни не стало и Вавилова»[415].

В этом отрывке, как в большинстве сочинений Марка Поповского, быль перемешана с небылицами.

Так, безымянный директор Ковровского авиационного завода, с которым Шиффер оказался в одном купе, конечно, не был *шушерой*; он был самозванцем. В Коврове был оружейный завод, выпускавший знаменитые пулеметы Дегтярева; авиационного завода там не было.

Директор московского завода «Динамо» Ясвоин Михаил Вениаминович, был арестован в 1937 году, приговорен к высшей

мере, 9 декабря того же года расстрелян на спецобъекте НКВД «Коммунарка». На заводе «Динамо» был еще технический директор, Толчинский Арон Анатольевич. Он тоже был арестован и расстрелян в 1937 году – 17 июня. Никаких данных о том, что новый директор «Динамо» был репрессирован, мне найти не удалось.

Генерал авиации Яков Владимирович Смушкевич был расстрелян 28 октября 1941 года в Барбыше Куйбышевской области, а Ю.М.Стеклов, репрессированный в 1938 году, отбывал свой срок в карагандинских лагерях, затем был переведен в Орловский политизолятор, где был расстрелян при подходе германских войск к Орлу.

Из этого можно судить, насколько надежно свидетельство Шиффера, если таковой вообще существовал, а не был выдуман Поповским.

В картотеке жертв политического террора в СССР, составляемой много лет обществом «Мемориал», я обнаружил 14 Арцыбашевых, но Дмитрия Дмитриевича Арцыбашева там *нет*. Проверил и АрцИбашевых – их в списке 8. Среди них Дмитрия Дмитриевича тоже нет[416].

«Великий кит Китай»

1.

13 марта 1928 г., Т.А.Рунову: «Прежде всего, отчитаюсь Вам в своем житье-бытье. Сижу и пишу к приезду его величества Аманулы-хана книгу об Афганистане. Приказано издать ее к самому приезду, а так как книжища изрядная, то надо сидеть теперь день и ночь и обрабатывать Афганистан. Приказано преподнести и, более того, извлечение перевести на персидский диалект. Карахан заявил, что если через 3 недели не сдам извлечения для перевода на персидский язык, то буду арестован.

Это первое.

Два года не читал курса студентам, в хвост и гриву гоним.

Это второе.

По приезде всех подтянул: все скрипят, пишут. Скопилось пуда два рукописей, хоть караул кричи, а, помимо своих писателей, направляют еще для редакции и на отзывы работы. Народ записал, не успеваю читать!

Наконец, последнее занятие – это издание определителя селекционных сортов. Надо издать к лету. Ну а затем обработка материалов экспедиции, приготовление к посеву, отчеты, сессии, директорство двумя институтами с 700 сотрудников… Отсюда Вы поймете, что житье наше идет своим порядком»[417].

«Земледельческий Афганистан» написан Вавиловым совместно с Д.Д.Букиничем. Работа затянулась почти на пять лет – из-за колоссальной загруженности Николая Ивановича. Тормозила работу и медлительность Букинича.

Воспользовавшись его приездом в Ленинград, Вавилов буквально запер его в своем кабинете в Детском Селе и с улыбкой сказал, что не выпустит до тех пор, пока тот не закончит свою часть рукописи. Шутливая угроза замнаркома иностранных дел Карахана (в 1937 году он будет арестован не в шутку, 20 сентября приговорен к высшей мере, в тот же день расстрелян) почти осуществилась, только «арестован» был не Вавилов, а его соавтор Букинич. Лексикон весьма характерен для того времени.

В мае 1928 года Аманулла-хан с супругой прибыл в Советский Союз. Побывал в Москве, Севастополе, Ленинграде.

Книга готова не была, и отнюдь не по вине Букинича. Николай Иванович мог уделять ей лишь малые лоскутки своего предельно перегруженного времени. Как он писал Подъяпольскому, «ведем баталии, нести даже малую

ответственность теперь нелегко. А быть директором пары институтов с 1200 сотрудников – ein bischel zuveil [многовато (*нем.*)]»[418].

Но – *нет таких крепостей, которые бы не могли взять большевики*!

В ударном порядке, по неоконченной рукописи, было отпечатано десять роскошных экземпляров книги; заголовок на титульном листе – на двух языках, извлечение на персидском. Высокому гостю фолиант был торжественно вручен – к большому его удовольствию. Посылая два «королевских» экземпляра Букиничу, Вавилов писал: «Книга же еще не кончена даже набором. Я сдал только недавно в набор маршруты. Глава о возделываемых растениях получается большая, написал уже полтораста страниц и еще, вероятно, будет столько же. Приходится много переделывать самому и проч.»[419].

В окончательном виде книга была издана в следующем, 1929 году. Вид ее не был королевским, но это один из самых значительных трудов Вавилова. Амануллы-хана к тому времени уже не было у власти.

Его реформы, направленные на то, чтобы сделать Афганистан более современным государством, вызвали бешеное сопротивление со стороны мусульманского духовенства, чью власть и влияние эти реформы ограничивали. Вскоре после возвращения хана из заграничной поездки (он тогда посетил не только СССР, но и ряд стран Европы) вспыхнуло восстание, охватившее почти весь Афганистан. 7 января 1929 года Аманулла издал указ об отмене реформ, но было поздно. Через неделю он отрекся от престола в пользу старшего брата Иноятуллы-хана, но тот продержался только три дня. Всё разыгралось по тому же сценарию, что в России 1917 года. Разница была в том, что семье шаха удалось вылететь из Кабула на британских самолетах, прихватив государственную казну.

Когда Аманулла попытался организовать сопротивление узурпаторам власти, с севера, ему на подмогу, вступил мощный отряд Красной армии, поддержанный авиацией и артиллерией. Но против иноземного вторжения поднялась столь мощная волна, что в мае отряду отдали приказ ретироваться. Участников операции наградили орденами и ценными подарками, но строго секретно. Официально никакого вторжения советских войск в Афганистан не было. Знал ли о нем Вавилов, неизвестно. Ни в его переписке, ни в воспоминаниях друзей и соратников эти события следов не оставили.

2.

6 февраля 1928 года Елена Ивановна родила сына, назвали его Юрой.

Рождение ребенка – радость для матери, отца, всех близких. Но никто не мог предвидеть, что будет значить рождение *этого* ребенка.

В 12 лет у Юры отобрали отца. Проходили годы, десятилетия, но с этой бедой он не мог свыкнуться. Как и его старший брат Олег, он не пошел в биологию, где утвердилась монопольная власть Трофима Лысенко, а стал физиком, доктором наук, одним из ведущих специалистов по космическим лучам. Но трагедия отца не уходила в прошлое.

Восстановление доброго имени Николая Вавилова, осмысление и утверждение его великих открытий, собирание документальных материалов об отце стало его делом жизни.

Ни одна область историко-биологических исследований не развивалась за последние 50–60 лет столь продуктивно, как *вавилововедение.* В нем участвовали и продолжают участвовать сотни исследователей – биологов, географов, историков, писателей, краеведов не только России, но и других стран. Душой этих исследований был и остается Юрий Николаевич Вавилов.

Одной из первых книг о Николае Ивановиче был сборник воспоминаний его сотрудников и друзей: «Рядом с Н.И.Вавиловым». Составитель Юрий Вавилов. Выпустило его издательство «Советская Россия» в 1963 году[420]. Редактор книги Марина Черникова познакомила меня с Юрием Николаевичем.

Я пришел к нему с черновым вариантом первых двух частей будущей биографии Н.И.Вавилова. Прочитав рукопись, Юрий Николаевич согласился мне помогать. Это открыло двери и сердца учеников и сотрудников Николая Ивановича. С тех пор длится наше сотрудничество и дружеское общение. Оно не прекратилось и после моей эмиграции из СССР. Две работы нами написаны совместно: статья «Удар в лицо цивилизации», опубликованная в 1992 году в нью-йоркской газете «Новое русское слово»[421], и вступительный очерк к английскому изданию книги Вавилова «Пять континентов»[422]. В 2015 году книга была издана по-испански; вступительный очерк в ней стал эпилогом[423]. Сейчас, когда я пишу эту книгу, я часто консультируюсь с Юрием Николаевичем.

…Однако я снова заглянул в будущее, которого в 1928 году никто не мог предвидеть.

Радостные события перемежались с горькими, надежды с разочарованиями, обретения с потерями.

За несколько месяцев до рождения Юры Николай Иванович в Берлине встретился с отцом. Конечно же, рассказал обо всех

близких и поделился своей радостью: ожидаемым пополнения семейства. Не исключено, что именно эта новость заставила Ивана Ильича с особой остротой почувствовать свое одиночество и усилила его тягу к семье.

Николай Иванович тотчас начал хлопоты, видимо, через Горбунова. Летом следующего года Иван Ильич смог вернуться домой.

Увы, уже было поздно…

Но младшего внука, коему исполнилось полгода, он успел повидать. В письме Подъяпольскому от 25 августа 1928 г. Николай Иванович извинялся за то, что хотя был в Саратове, не смог его навестить: «Торопиться надо было. Приехал вовремя. Вернулся фатер из-за границы и через две недели умер от миокардита»[424].

Старший внук Ивана Ильича А.Н.Ипатьев вспоминал: «Летом 1927 г. [правильно 1928] дедушка приехал в Ленинград и там заболел, возможно, заболел он дорогой. Дела его, видимо, были плохи, так как почти все близкие ему взрослые поехали в Ленинград (мама, Сергей Иванович и бабушка). Николай Иванович был в то время в Ленинграде. Дней через десять они вернулись с фотографиями похорон дедушки и его вещами, из которых мне достались костюм, серая шляпа и галстук. Это был мой первый европейский костюм, которым я весьма гордился, хотя висел он на мне мешком. Попал ко мне и исполинский дедов чемодан, с которым, по семейным преданиям, ездил он еще до революции на Нижегородскую ярмарку. Только в 1931 г. я побывал на могиле деда в Александро-Невской лавре»[425].

Мать семейства, Александра Михайловна, переживет мужа на десять лет.

С.И.Вавилов: «Матушка умерла в ночь с 4 на 5 апреля, 20 минут первого часа ночи в Кремлевской больнице. Заболела 12 марта. <…> Гангрена ноги. Сознание быстро уходящее. Смерть. Открытые, широко открытые в последний раз глаза и последнее дыхание. Святая, нежная душа»[426].

Сергей Иванович вклеил в дневник фотографии матери на смертном одре, снятые Олегом Вавиловым, и три письма жены – два написаны до и одно после кончины: «Милый мой Сереженька! Сегодня приехал Николай – прямо ко мне. Звонили Александре Ивановне Ипатьевой] и в больницу, но ничего не добились, и он поехал туда. Его пустили к матушке. Она его узнала. Он ее спросил, больно ли ей, она головой и рукой дала понять, что нет. Говорила что-то, но он ясно понял только “Олег”. Лежит спокойно и не мечется. Он пробыл у нее час, потом приехал ко мне и плакал, бедный»[427].

Прося Сергея Ивановича, который тоже был нездоров, освободиться от чрезмерных нагрузок, дабы обеспечить себе посильное существование, она замечала: «Вся беда в том, что вы, Вавиловы, так сильны духом, что не верите, что вы чего-то“ не можете”»[428].

3.

Через полгода после смерти отца резанула Николая Ивановича по сердцу другая утрата: в несколько дней ушел из жизни Гавриил Семенович Зайцев.

В январе 1929 года Зайцев со всем семейством (жена Лидия Владимировна, сын Ваня, дочь Маша) отправился из Ташкента в Москву, чтобы оттуда поехать в Ленинград, где он обычно проводил зимние месяцы, работая в библиотеке Института прикладной ботаники и других библиотеках. На этот раз поездка была особенно важной. По инициативе Вавилова в Ленинграде был запланирован Всесоюзный съезд по селекции, семеноводству и племенному животноводству. Ожидалось участие практически всех крупных ученых страны, были приглашены ведущие генетики и селекционеры западных стран, что придавало съезду международный характер, широко привлекалась молодежь – всего до полутора тысяч участников. Зайцеву предстояло выступить с программным докладом: «Пути селекции».

Путь из Ташкента в Москву занимал несколько дней. В соседнем купе ехал знаменитый хирург Алексей Васильевич Мартынов, приятный человек, интересный собеседник. В дороге люди сближаются быстро: они успели не только познакомиться, но и подружиться. Ночью Гавриил Семенович почувствовал острую боль в животе – настолько сильную, что пришлось постучаться в соседнее купе.

Осмотрев больного, пощупав живот, Мартынов посоветовал приложить грелку. Согревание постепенно утихомирило боль, позволило уснуть. Утром Гавриил Семенович почувствовал себя лучше. Когда поезд прибыл в Москву, сам понес тяжелые чемоданы.

…Снова схватило уже в Москве, в квартире брата Николая, у коего они остановились. Приступ опять случился ночью, и снова пришлось будить врача, благо по соседству жил знакомый терапевт. Тот тотчас определил: приступ аппендицита, требуется срочная операция.

Утром Лидия Владимировна помчалась на Пироговку, в институт Мартынова. Тот не мешкая положил больного на

операционный стол. Операция прошла успешно, но было уже поздно. Оказалось, что тогда, в поезде, Мартынов допустил страшную ошибку. Сам учил студентов: приступ аппендицита требует немедленной операции, а если обстоятельства не позволяют, надо приложить лед, чтобы замедлить воспалительный процесс, а не грелку, которая его ускорит.

Вскрыв брюшную полость больного, хирург увидел, что воспаленный аппендикс лопнул, гной разлился, начался перитонит. До эры антибиотиков медицина в таких случаях была бессильна…

Гавриил Семенович прожил еще несколько дней – это были дни мучительного умирания. За день до смерти он продиктовал короткое завещание: все его рукописи и материалы передавались Вавилову, в Институт прикладной ботаники.

Много лет спустя, работая над книгой о Зайцеве, я нашел этот архив в Отделе хлопчатника ВИРа. В нем, кроме многого другого, оказалось 55 писем Вавилова – оригиналов, из коих только два или три были известны по копиям в архивном фонде ВИРа[429].

Гавриил Семенович скончался в Москве 17 января 1929 года, не дожив до 42 лет. В Ленинграде в этот день завершился съезд по селекции и семеноводству. На следующий день в Институте прикладной ботаники был траурный митинг. Вавилов выступил с проникновенной речью. Внезапная кончина друга, полного сил, с особой остротой напомнила о том, как быстротечна человеческая жизнь и как важно иметь большую цель и двигаться к ней кратчайшим путем, не уклоняясь, не разменяваясь на мелочи.

Поработать в науке Зайцеву пришлось очень недолго, всего 14 лет, из коих ряд лет был заполнен борьбой за выживание науки о хлопчатнике, да и за физическое выживание себя и семьи. Между тем сделано было фантастически много!

Зайцева интересовала ботаника, география, происхождение разных видов хлопчатника, физиология развития, агротехника, генетика, селекция. Во все эти области он внес революционные идеи, стал лидером мировой науки о хлопчатнике, фактически создал эту науку. Он глубоко воспринял идеи Вавилова о гомологических рядах и центрах происхождения, опирался на них в своих исканиях. Ему Вавилов направлял весь материал по хлопчатнику, поступавший в Институт прикладной ботаники из экспедиций или в порядке обмена. Зайцев вывел ряд превосходных сортов, произвел революцию в семеноводстве хлопчатника. Работа с каждым годом приобретала все больший размах, становилась все более плодотворной. Половина всех площадей под хлопчатником в стране была занята сортами

Гавриила Зайцева…

После траурного митинга в Институте Вавилов помчался в Москву.

Гавриила Семеновича хоронили 19 января на Новодевичьем кладбище, в лютый крещенский мороз. Над гробом усопшего Вавилов снова выступил с речью.

Дочурке Зайцева Маше было семь лет; в памяти ее мало что осталось от выступления Николая Ивановича. Но на всю жизнь она запомнила, как потом, когда уже засыпали могилу, Вавилов, увидев, как они с братом продрогли, взял их за заледеневшие ладошки и пробежался по дорожке, вдоль могил…

4.

Всесоюзный съезд по генетике, селекции, семеноводству и племенному животноводству, проходивший в Ленинграде 10–16 января 1929 года, был задуман Вавиловым по образу и подобию III селекционного съезда 1920 года в Саратове, но в гораздо большем масштабе.

Еще в 1926 году Николай Иванович добился правительственного решения о съезде, но средиземноморская экспедиция отодвинула его проведение.

И вот в Ленинград со всей страны съехались не только ведущие генетики и селекционеры, но рядовые работники опытных станций и совсем зеленая молодежь. Вавилов считал это особенно важным: участие в таком форуме послужит новичкам толчком для дальнейшего роста. Охотно откликнулись на приглашение ведущие генетики европейских стран: Э.Баур и Р.Гольдшмидт из Германии, Г.Федерлей из Финляндии, ряд других. Статьи о съезде печатались в «Правде», «Известиях», «Красной звезде», в других центральных газетах. «Ленинградская правда» публиковала статьи ежедневно.

В день открытия съезда, 10 января, в ней появилось даже две статьи – Вавилова и Горбунова.

Вавилов подчеркивал, что правительственная задача резко повысить урожайность в ближайшую пятилетку может быть решена «поднятием производительности земли на широком массовом введении улучшенных семян новых сортовых хлебных злаков». Речь шла о государственной системе сортоиспытания и семеноводства, возглавлявшейся Талановым, но все еще плохо осваиваемой на местах.

В статье Вавилова говорилось о том, какое высокое место советская генетика занимает в мировой науке и насколько важно

и дальше ее развивать. Ведущими научными учреждениями страны Вавилов называл Институт экспериментальной биологии Н.К.Кольцова, Одесский селекционно-генетический институт во главе с А.А.Сапегиным, Лабораторию генетики Академии наук, возглавляемую Ю.АФилипченко, Туркестанскую селекционно-генетическую станцию во главе с Г.С.Зайцевым, Саратовскую станцию во главе с Г.К.Мейстером.

В том же номере газеты Горбунов напомнил о *завете* Ильича об «обновлении советской земли» и воспел хвалу Вавилову, возглавлявшему всю научную работу в русле этого завета.

Вавилов открыл съезд в качестве председателя оргкомитета, и тут же, при всеобщем одобрении, был избран его председателем.

Было заслушано 20 пленарных и больше 250 секционных докладов. Ведущими докладчиками, кроме самого Вавилова, были его заместители Писарев и Таланов, завотделом генетики Г.Д.Карпеченко, завотделом физиологии растений Н.А.Максимов, Г.М.Попова, Е.И.Барулина.

Вавилов активно участвовал в прениях, в частности, вступил в спор с Ю.А.Филипченко, который скептически отнесся к работам А.А.Сапегина и Г.К.Мейстера по отдаленной гибридизации злаков. Николай Иванович, напротив, считал их достижения очень важными и перспективными.

Как 9 лет назад в Саратове, Вавилов был не только организатором и председателем съезда, но его душой и самым активным участником.

На третий день съезда, 12 января, стали известны результаты выборов в Академию наук СССР. Николай Иванович

Вавилов стал академиком. Это известие участники съезда встретили овацией.

На заключительном заседании, когда были подведены итоги, Горбунов предложил принять приветствие товарищу Сталину. Тогда такие приветствия еще не стали обязательным ритуалом, утверждаемым единогласно и сопровождаемым *бурными, долго не смолкающими аплодисментами.* Обсудив предложение Горбунова, оргкомитет решил, что более уместно адресовать приветствие не лично генсеку, а Совнаркому, финансировавшему съезд, и ЦК партии. Подписал приветствие председатель съезда академик Вавилов.

Некоторые исследователи делают из этого маленького эпизода далеко идущие выводы: будто из-за этой переадресовки приветствия Сталин затаил недобрые чувства к Вавилову. Подтверждений этому не имеется.

5.

С введением нэпа в стране росла урожайность полей, но процесс был неровным. В 1924 году многие районы страны снова пострадали от засухи. Совнарком ассигновал валютные средства на закупку за границей 20 миллионов пудов зерна, что позволило сохранить посевной материал. В записке на имя председателя Совнаркома А.И.Рыкова Вавилов предлагал комплекс мер, «могущих предупредить хотя бы в некоторой степени неурожаи ближайших лет»[430]. Это скорейшее введение в практику более засухоустойчивых сортов, расширение площадей под новыми для засушливых районов культурами, как кукуруза, бобовые, овес, огородные. Вавилов также предлагал увеличить площади под кормовыми культурами, чтобы расширить базу животноводства. Это сулило двойную выгоду: чем больше животных, тем больше навоза, а, значит, и более успешное противостояние засухе: унавоженная почва лучше удерживают влагу. Чтобы крестьяне охотнее откликались на такие нововведения, Вавилов предлагал ввести налоговые льготы[431]. Словом, то был продуманный план борьбы с засухой.

Ничего сделано не было. На Олимпе власти велись другие игры.

В декабре 1927 года XV съезд партии принял решение об ускоренной индустриализации промышленности и коллективизации сельского хозяйства.

Ускоренная индустриализация, кроме многого другого, требовала оттока сельского населения в города. Этим еще больше обострялась продовольственная проблема. «Боевая задача» партии: за пятилетку увеличить продуктивность сельского хозяйства на 30–35 процентов.

Таких темпов роста урожайности нигде в мире никогда не было. Но ведь и *строительства социализма* нигде еще не было. *Пятилеток в четыре года* нигде не было. *Нам нет преград ни в море, ни на суше*[432] нигде и никогда еще не было. *Планов громадьё* захватывало дух. Газеты трубили о них с победным ликованием. Сомневаться в том, что они будут выполнены и перевыполнены, могли только *маловеры, прихвостни буржуазии, враги социализма*.

Но кроме фанфар и барабанного боя требовалось и что-то конкретное.

15 марта 1929 года в кремлевском кабинете Сталина собрались ведущие деятели сельхознауки. Генсек хотел выяснить нужды научных учреждений. Присутствовали Вавилов, Писарев, Тулайков, Лисицын, Чаянов, другие деятели. Основной доклад –

академика Вавилова.

Стенограмму этого совещания обнаружил Я.Г.Рокитянский. «Николай Иванович был откровенен, говорил о “первобытном” состоянии опытных учреждений, катастрофической нехватке средств, сравнивал это положение с щедрым финансированием сельского хозяйства в Германии, Италии и других странах, обращал внимание на нищенское состояние работников сельского хозяйства». Рокитянский полагал, что «такая откровенность пришлась Сталину не по вкусу»; независимость, с какою держался Вавилов, его раздражала[433].

Я не нашел следов неудовольствия генсека. Полагаю, что реплики, которыми он комментировал доклад, говорят об обратном. Так, на замечание Вавилова, что работники сельхознауки получают мизерные зарплаты, Сталин сказал: «Это верно. До сего времени основное внимание было обращено на промышленность, а с вами несколько запоздало». Но важнее того, что Сталин говорил на совещании, было то, что за ним последовало. А последовало вот что.

На ближайшем заседании Политбюро было решено, что беспартийные профессора Вавилов и Тулайков выступят на конференции ВКП(б) по докладу М.И.Калинина «Пути подъема сельского хозяйства и налоговое облегчение середняка». Им же поручили выступить на Съезде Советов. Но наиболее важным стало решение о создании Всесоюзной академии сельхознаук.

На совещании у Сталина 15 марта Вавилов напомнил: «Первый съезд Советов выдвинул идею создания с/х всесоюзной академии. Прошло уже 5 лет, а осуществлено в этом направлении очень мало»[434]. И уже в начале июня Пятый съезд Советов принял решение (то есть оформил решение Политбюро) о создании ВАСХНИЛ. На Политбюро оно было принято месяцем раньше – по предложению Сталина. Давний проект, почти забытый, был выведен из летаргического сна и срочно (как всегда, срочно, аврально!) должен был воплотиться в жизнь.

29 мая Горбунов писал Вавилову: «В связи с тем, что правительство придает большое значение быстрому развертыванию работы Сельскохозяйственной академии и новых ее институтов, в котором Вам придется, конечно, принять самое близкое и непосредственное участие, нужно будет, к сожалению, отложить Вашу экспедицию в Кашгар и т. д. Спешу Вас об этом предупредить. Огорчаюсь за Вас, но ничего не поделаешь – назвался груздем, полезай в кузов»[435].

Вавилов *был* груздем, но им не назывался. Административными постами он не дорожил. Устно и письменно напоминал руководству, что не может возглавлять ДВА

института, просил освободить хотя бы от поста директора ГИОА. Даже замаячили возможные кандидаты на эту должность: снова саратовский профессор Тулайков и член коллегии НКЗ Чаянов. Оба либо не подошли, либо отказались; лямку по-прежнему тянул Николай Иванович. И вот – сельхозакадемия, о которой он неосторожно напомнил Сталину, становилась препятствием к давно задуманной и подготовленной экспедиции!

Президиум будущей Академии должен быть под жестким партийным контролем (естественно!); но во главе ее решено поставить не партийца, а ученого, компетентного и авторитетного в научных кругах. Николай Иванович не строил иллюзий: ему придется взвалить на себя и эту ношу – больше некому. Но соглашался при непременном условии: приоритетной для него остается научная работа. На попытку посягнуть на нее он отреагировал очень решительно.

2 июня 1929 г., Н.П.Горбунову: «Прежде всего, своей основной работой считаю исследовательскую и полагаю, что в интересах всего учреждения, чтобы руководитель его был на достаточной высоте, это определяет общий уровень работы учреждения. <…> Руководить учреждением в тысячу сотрудников и фактически быть руководителем ряда отделов – нагрузка уже, по существу, выше меры. Какова напряженность этой работы, можно судить хотя бы по тому, что руководитель ни разу за все время существования Института не пользовался отпуском, а время его работы укладывается в среднем в 17 рабочих часов ежедневно. <…> Мною обеспечено руководство и администрирование за мое кратковременное отсутствие, которое, в сущности, укладывается в мой нормальный двухгодичный отпуск, на который я имею право, как всякий служащий.

Вся моя поездка не только обдумана, приготовлена, закончена снаряжением, но часть материала уже отправлена в Ош, и Вы поймете, Николай Петрович, что обрывать ее нецелесообразно. Я надеюсь, Николай Петрович, что Вы учтете психологию научного работника, наша работа и так идет в обстановке исключительно напряженной, на границе норм. Соглашаясь на взятие тяжелых обязанностей администрирования огромным коллективом, я, конечно, имел право рассчитывать на естественное предоставление свободы в моей научной работе, которая тесно связана со всей работой Института. Те препятствия, которые ныне возникают, заставляют меня всерьез передумать правильность моего решения и принять все меры к освобождению, на которые имеет право каждый научный работник».

И далее он слово в слово повторяет то, что писал Горбунову

полтора года назад, когда подавал в отставку: «Я никогда не стремился к административным должностям, не стремлюсь к ним и теперь и считаю себя более на месте в лаборатории и на поле в качестве научного руководителя и готов остаться в скромной роли ученого специалиста, самое большое – заведующим отделом полевых культур, но вообще без всяких претензий на какое-либо заведование»[436].

Получив это письмо, Горбунов, надо полагать, живо вспомнил прошлый конфликт с Николаем Ивановичем, когда, науськанный Арцыбашевым, он пытался покуситься на вавиловскую «свободу в научной работе». Пришлось учесть «психологию научного работника».

6.

В 1928 году работа *по приведению земного шара в порядок* шла полным ходом. Из-за океана вернулась экспедиция Ю.Н.Воронова, обследовавшая флору стран Северной, Центральной и Южной Америки, но один из ее участников, С.В.Юзепчук, там остался и продолжал сбор материала под дистанционным управлением Вавилова. В Индии «орудовал», по выражению Николая Ивановича, ученый специалист Сухумского отделения В.В.Маркович. В Турции – П.М.Жуковский. Е.Н.Синская отправилась в Японию. Готовилась экспедиция Писарева в китайскую провинцию Синьцзян.

«Маршрут экспедиции разработан В.Е.Писаревым совместно со мной с таким расчетом, чтобы экспедиция этого года в возможно короткий срок совершенно закончила обследование Синьцзянской провинции, и мы могли бы в будущем перейти в собственно Центральный и Восточный Китай»[437].

Изобретательный в изыскании средств, Вавилов обращался в разные организации, даже в Комитет содействия строительству Туркестано-Сибирской железной дороги (Турксиб – одна из «великих строек первой пятилетки», наряду с Днепрогэсом), и, как ни странно, получил поддержку.

В Наркомате иностранных дел Николай Иванович договорился о том, что Писареву и его спутникам будут выданы дипломатические паспорта, как ему и его спутникам в Афганистане. Однако и дипломатические паспорта не помогли.

В Китае шла борьба между правящей партией Гоминдан во главе с Чан Кайши и коммунистами во главе с Мао Цзэдуном. Понятно, что компартию поддерживала Москва. Возможности у нее для этого были большие. Дальневосточная железнодорожная

магистраль частью проходила по территории Китая, вдоль нее, по еще дореволюционному договору, тянулась полоса отчуждения, контролируемая Россией. Китайские власти обвиняли Москву, что она разжигает конфликт. Москва обвиняла Чан Кайши в агрессивных действиях против СССР. Газеты пестрели такими грозными призывами к миру, словно в любой момент могла вспыхнуть война. «Правда» почти ежедневно разоблачала «китайскую военщину». Статьи печатались на первой полосе, под многоэтажными каскадами разнокалиберных аншлагов и заголовков. Вот один из них:

ТРУДЯЩИЕСЯ СССР ТРЕБУЮТ ОТ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕШИТЕЛЬНОГО ОТПОРА КИТАЙСКОЙ КОНТРРЕВОЛЮЦИИ.

МОЩНАЯ ВОЛНА ПРОТЕСТА ПО ВСЕМУ СОЮЗУ ТРЕБОВАНИЯ СОВЕТСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА ДОЛЖНЫ БЫТЬ ВЫПОЛНЕНЫ ПО ПЕРВОМУ ЗОВУ ВСЕ КАК ОДИН СТАНЕМ НА ЗАЩИТУ СОВЕТСКОГО СОЮЗА.

РАБОЧАЯ МОСКВА ТРЕБУЕТ

Летом 1928 года пекинские власти наглухо закрыли границу с СССР.

К лету следующего года обстановка несколько разрядилась, экспедиция в Западный Китай стала возможной. Но теперь отправлялся в нее не Писарев, а сам Вавилов. (Причину этой рокировки мне выяснить не удалось.)

25 мая 1929 г. Из Докладной записки Н.И.Вавилова". «Задачей экспедиции является исследование важнейших земледельческих районов Китайского Туркестана, именно Кашгара, Яркенда, Хотяна, Аксу; сборы сортовых материалов в этих районах, а также выяснение типов земледелия и ресурсов сельского хозяйства Западного Китая. <…> Намечаемый маршрут экспедиции провизорно следующий: Ош – Кашгар, Яркенд – Хотян, Аксу – Урумчи. В зависимости от конъюнктуры внутри Западного Китая маршрут может быть несколько видоизменен»[438].

Спутниками Вавилова должны были быть Д.Д.Букинич, ботаник М.Г.Попов и молодой ассистент А.Г.Грум-Гржимай-ло, но в последний момент ассигнования срезали вдвое, состав экспедиции пришлось сократить до двух человек: Вавилова и Попова.

Михаила Григорьевича Попова Вавилов знал уже более десяти лет, еще по Саратову, где молодой ученый был ассистентом на кафедре ботаники. Он окончил Петербургский университет, затем несколько лет работал в Средней Азии.

В 1920 году, когда был организован Среднеазиатский университет, Попов вернулся в Ташкент. Стал одним из лучших знатоков среднеазиатской флоры. И вот они вместе направлялись в Синьцзян…

7.

«Кто знает, не удастся ли когда-нибудь найти следы предполагаемой нами культуры, общей предкам китайцев и известным нам западным культурам, в горных долинах Кунь-Луня или Тянь-Шаня (может быть, в ископаемом состоянии), т. е. именно в тех районах, где скорее всего можно ожидать нахождение древних третичных остатков человека, во всяком случае, скорее, чем на маленьком западном полуострове большого континента, который именуется Европой».

Так писал Сольмс-Лаубах, австрийский ученый, последователь Декандоля. Он полагал, что в Центральной Азии, в китайской провинции Синьцзян, – центр происхождения земледельческой культуры Старого Света. Среди старинных развалин путешественники находили здесь десятки тысяч папирусных свитков. Прекрасно сохранившиеся в сухом климате, они позволили восстановить богатую историю этой страны.

Тысячелетиями по горячим пескам Синьцзяна, по «шелковым дорогам» тянулись караваны верблюдов, доставлявшие китайский шелк во дворцы императоров Рима, царей Бактрии и Согдианы. Документы свидетельствовали о большой древности земледелия в оазисах Центральной Азии.

Сольмс-Лаубах предсказывал, что в Синьцзяне удастся найти дикую пшеницу, дикий ячмень и других диких родичей основных культур Старого Света.

Выявив роль Гиндукуша как географического барьера, ограничивающего центр происхождения ряда важнейших культур, Вавилов предполагал, что другим барьером должны быть Гималаи, но «до конкретного изучения на месте этой проблемы всё решение могло быть только приблизительным, гадательным»: а что если он неправ и концентрация генов культурных растений продолжается и за горными хребтами?

После Афганистана логика научных исследований ставила на очередь экспедицию в Центральную Азию, но ее отодвинуло путешествие по странам Средиземноморья. Теперь настал черед Синьцзяна.

Из Оша по Алайской долине, той самой, что была закрыта для Вавилова в 1916 году из-за восстания киргизов, вдоль

Алайского хребта «во льдах и снегах», Вавилов и Попов двинулись к пограничному китайскому посту Иркештам.

…Путь до границы тянулся семь дней – по горным тропам Памира, таким же диким и малодоступным, как в самых глухих районах Афганистана. Караван едва тащился. Приходилось подгонять ленивых караванщиков, мерзнуть на высокогорных ночевках; да и спутник оказался «с норовом», как вскользь заметил Вавилов в письме Елене Ивановне. «В общем, конечно, приводить землю в порядок в кабинете по книжкам куда удобнее. Но раз взялись, то сделаем».

У пограничного пункта – скопление караванов: они везут шерсть из внутренней Кашгарии. Бросается в глаза разнообразие пород верблюдов – верный признак близости центра их происхождения. Невольно вспоминается, что Н.М.Пржевальский открыл в соседних районах Монголии дикого верблюда.

Покончив на границе с формальностями, наняв проводников, экспедиция направилась в Кашгар. Несмотря на сравнительную проторенность, путь оказался нелегким. При переправе вброд через Кызыл-Дарью лошадь Вавилова попала в подводную яму и утонула. Николай Иванович едва успел высвободить ноги из стремян и вплавь добрался до мелкого места. Многие документы намокли; анероид и фотоаппарат пришли в негодность.

…Поля Кашгарского оазиса сразу же показали Вавилову, что прогнозы Лаубаха ошибочны, а его собственные – даже более верны, чем он ожидал. Важнейшие полевые культуры проникли сюда из Средней Азии и Афганистана, но горный барьер преодолело лишь небольшое число форм. Зато жесткая изоляция долины, отгороженной Гималаями, Кунь-Лунем, Тянь-Шанем и пустыней Такла-Макан, привела к обособлению крайних рецессивов. Большого *разнообразия* форм здесь нет, зато бросается в глаза их своеобразие!

Посевы льна в Кашгаре Вавилов сначала даже не узнал, принял лен за неизвестное растение: мелкие белые цветки, узкие лепестки, белые семена. Морковь в Кашгаре – светло-желтая и белая. Пшеница, ячмень, рис тоже представлены светлыми формами.

Где густые краски полей Кабульского оазиса?!

Посевы здесь как бы выцвели под знойным солнцем, притуманенным лёссовой пылью. Даже кустики верблюжьей колючки здесь покрыты бледно-желтыми, даже палевыми цветами, теряющимися на фоне окружающего песка. Резкий контраст со Средней Азией и Афганистаном, где верблюжья колючка окроплена яркими, кровавыми капельками мелких цветков!

20 июля 1929 г., В.Е.Писареву: «Пишу из плена Кашгарского. Добрались хорошо, принялись за дело, но дальше Кашгарского оазиса китайцы не пускают. Песня поется обычная. Надо запросить “центр”. Центр оказался в Урумчи. Телеграммы туда идут 2 недели. Подожду еще 5 дней. И, если не выйдет с разрешением выехать на с[еверо]-в[осток] в Уч-Турфан, снова еду на Иркиштан, на Памиры, как мне ни неприятно. Кашгарский оазис, а по существу и вся Кашгария, по существу ясны. К некоторому удивлению, Гималаи, Памиры и пустыня Такла-Макан оказались действительно могущественными барьерами для культурных растений. Состав культур и сортов здесь, у северного подножья Гималаев, чрезвычайно убог. Пшеница, которая у южных подножьев Гималаев представлена сотней разновидностей, здесь так однородна, словно ее стандартизировали. <…> Исчезли горох, чечевица. Нет ни одного колоса ржи в пшенице (озимой и яровой). Словом, профильтровались целые культуры, виды и, конечно, сорта. Царство изумительных рецессивов. Словом, схемы центров [происхождения] оказались более точными, чем даже смел думать»[439].

Горные хребты оказались непреодолимыми не только для доминантных форм растений. За хребтами остались основные болезни азиатских народов. Трахомы, сыпного и возвратного тифа, малярии, рожистого воспаления, холеры, дифтерии – этих болезней, преследующих жителей Юго-Западной Азии, в благословенном Синьцзяне не было!

8.

Своеобразие Кашгарского оазиса и, по-видимому, всего Синьцзяна определялось не только тем, что в нем обособились крайние рецессивы растений, проникших из Передней и Юго-Западной Азии. В этом, кстати, было сходство с Хорезмским оазисом, в низовьях Амударьи в Туркестане. Но здесь уже было заметно влияние древней китайской культуры.

26 июля 1929 г., Е.В.Вульфу: «Привет из Такла-Макан. Свидетельствую о том, что географические барьеры (Памир, Гималаи) сильнее, чем мы, культуристы, могли подозревать. Культурная флора Центральной Азии – жидкий фильтрат того, что просочилось через Гималаи, Памиры, с придатком кое-какой китайщины. Направляю большой материал по эфиромасличным»[440].

Вавилов подметил поразительное соответствие, ярко

иллюстрировавшее его ключевую мысль, что культура поля идет рука об руку с культурой человека. Полеводством в Синьцзяне заняты туркмены, киргизы, кашгарлыки, то есть этнические группы, исторически связанные со Средней Азией; оттуда же пришли и полевые культуры. А огородничеством заняты в основном китайцы. И растения они выращивают типично китайские!..

Путешественники собрали семена стеблевого китайского салата уйсуна; клубни диоскореи, которые при посадке закапывают на метровую глубину; различные формы мелкого лука – выходца из Юго-Восточного Китая; гигантские огурцы; бобовое растение вигну; китайскую капусту, редьку, похожую на плоды граната.

Огороды тщательно возделаны, между грядками ровные дорожки – чувствуется тысячелетняя культура Китая. Но здесь лишь ее охвостья. «Остался Великий Кит Китай»[441]. Туда, на восток, к сердцу китайской культуры, теперь были устремлены помыслы Вавилова. Но, увы, путь россиянам туда был заказан: власти не разрешали. Даже Синьцзян был пока доступен лишь малой долей. Они оставались пленниками Кашгарии, так как «центр» не отвечал.

На базарах Вавилов купил образцы различных сортов китайского чая – душистого, зеленого, черного. Его предстояло исследовать на содержание витамина С и других полезных веществ.

На задворках китайских улиц путники видели лавки гробов. С двадцатипятилетнего возраста китаец готовится к смерти и, прежде всего, приобретает гроб из толстых дубовых досок. Художники расписывают его снаружи и изнутри, изображая «всю повесть жизни». «Постепенно подготовив себе вечное упокоение, китаец начинает пребывать в нем известный период, свыкаться»[442].

Посылая подарок, китаец заворачивает его в красную бумагу. Это цвет радости, веселья, почета. Визитные карточки китайских чиновников тоже на красной бумаге, а размер карточки соответствует посту владельца: чем выше пост, тем больше карточка. У губернатора она достигает размера с лист писчей бумаги.

«В соответствии с этим правилом, – с юмором вспоминал Вавилов, – нам пришлось изготовить карточки, хотя и не столь объемистые, но все же превышающие обычные европейские нормы».

Стремясь познакомиться не только с фасадом китайской жизни, но и с изнанкой, Вавилов проник в запретные для

европейца опийные трущобы – мрачные улицы в самом центре города. Здесь, в сотнях глинобитных домишек, на полу расстелены циновки; на них, в голубоватой одуряющей дымке, лежат курильщики опиума. Это глубоко больные люди – бледные, расслабленные, неподвижные, с затуманенными глазами.

Китайские власти давно объявили миру, что с курением опиума в стране покончено. Но никакой борьбы с этим злом не велось. Слишком большой доход приносили местным чиновникам «подарки» содержателей притонов.

Посещение русскими путешественниками запретного района притонов было засечено властями. Не исключено, что благодаря именно этому было, наконец, получено из «центра» разрешение на поездку. Перед тем как двинуться дальше, Николай Иванович купил для музея курительный прибор и образцы опиума. Но за ними послали погоню. Курительный прибор и половину образцов опиума пришлось отдать. Однако, покидая Китай, Вавилов сумел купить образцы опиума у таможенного чиновника.

9.

До Урумчи («длинный пустынный путь – около 1200 верст») путешественники прошли вместе, но затем Вавилов разделил караван, чтобы охватить весь Западный Китай. Попова он намеривался направить на север, к горам Тянь-Шаня, чтобы затем тот вернулся в Туркестан, а себе оставлял наитруднейший и более длинный путь – через пустыню Такла-Макан: «Когда еще доберемся до Китая, пусть будет кончена хотя бы ⅕ часть <…>. Буду надеяться, что в плен меня китайцы не возьмут и как-нибудь доберусь до Семиречья».

Но Попов проявил «норов»: ни за что не хотел уступить более трудный маршрут. Как начальник экспедиции,

Вавилов, конечно, мог приказать, но такие отношения с коллегами были не в его духе. Решали спор жребием, труднейший путь достался Попову. В августовский зной ему предстояло одолеть одну из самых горячих пустынь мира.

Путешествие закончилось для него не совсем благополучно: он сломал ногу, два месяца отлеживался в больнице, потом еще долго ходил на костылях…

К Тянь-Шаню, куда двинулся Вавилов, тоже доходило горячее дыхание пустыни. Склоны гор безлесные, колодцы нередко пересыхают, надо запасаться водой на два-три дня.

…В тихом, забытом Богом и людьми поселке Учтурфан, изнемогавшем под палящим солнцем, появление Николая

Ивановича вызвало немалое возбуждение. Чужаки здесь появлялись редко; Вавилов был первым путешественником из таинственной Страны Советов.

Губернатор устроил в его честь обед, от чего нельзя было уклониться. Вавилов поджидал его с большим опасением. Он уже знал, что китайский обед – это длинная церемония – она затянется не меньше чем на пять часов. В строгом порядке подадут полсотни блюд. А есть будет нечего! Воробьиное крылышко, крошечная рыбка, два семени лотоса… Перед таким обедом следовало подкрепиться. К счастью, проводник умел мастерки готовить традиционный узбекский плов.

На обеде выяснилось, что последним иностранцем в Учтурфане был английский консул. Он подарил губернатору дюжину бутылок коньяка. Приветствуя «второго именитого путешественника», губернатор стал нахваливать первого: англичанин поразил всех тем, что в один присест осушил две бутылки.

«Конкурировать с английским консулом было нелегко, но надо было как-то поддержать наше реноме», – с юмором вспоминал Вавилов.

Соседи усердно подливали ему коньяк, а себе наливали по нескольку капель, едва прикрывавших донышко. Гость потребовал паритета.

«Это оказало незамедлительное действие. Через короткое время судья, худой человек с несколькими длинными волосами в бороде, как-то незаметно скатился под стол. Бригадный генерал неожиданно положил голову на стол. Губернатор стал просить о пощаде, по-видимому, беспокоясь, что дорогой английский подарок чересчур быстро израсходуется. Честь советского путешественника, во всяком случае, была спасена!»

Не желая терять больше времени, Вавилов, сразу после обеда, с «целой кавалькадой провожающих», двинулся в путь. Коньяк действовал и на него. «Пожалуй, только навеселе <…> можно было рискнуть при закате солнца на переправу вброд довольно глубокой реки, растянувшейся с рукавами почти на 2 км».

Подходы к перевалу Бедель, на высоте четырех километров, были завалены снегом. Теплой одежды у путников не было. Порывы пронизывающего ветра бросали в лицо горсти сухого колючего снега. Дрожа от холода, утопая в снегу, Николай Иванович продирался сквозь сугробы, двигаясь за пущенными вперед лошадьми.

10.

Но вот высшая точка перевала пройдена. По ней проходит государственная граница. Начинается спуск. После голых скал китайского склона Тянь-Шаня, откуда ядовитый язык пустыни Такла-Макан слизнул всё живое, Вавилову особенно буйными показались травы альпийских лугов, открывшихся за перевалом. «Здесь можно было бы прокормить огромные стада».

По крутому спуску, «прыгая с камня на камень», караван вышел в долину Иссык-Куля.

На берегу пустынного озера, на высоком постаменте, раскинув каменные крылья, парил могучий орел. В глубокой задумчивости стоял Вавилов перед изваянием. То был памятник Пржевальскому. Дерзновенный исследователь Центральной Азии, горный орел науки, скончался здесь во время путешествия и был похоронен на берегу Иссык-Куля.

…Преодолев перевалы Заилийского хребта, потеряв двух лошадей, Вавилов спустился к Алма-Ате. В поджидавшей его почте – письмо от Е.Н.Синской, вернувшейся из Японии. Вавилов сразу пишет ответ.

29 августа 1929 г., Е.Н.Синской: «Дорогая Евгения Николаевна, все Ваши инструкции, адреса получил. Бесконечное спасибо. Часть пути сделал. Позади Кашгар, к концу Семиречье. Впереди Кульджа, В. Сибирь, Владивосток. В Японии буду около IX. Квинтэссенция философии – подтверждение определенной локализации формообразовательного процесса культурных растений. Центральная Азия в целом вся – позаимствования. Гиндукуш, Гималаи основной барьер, отграничивающий к югу весь генезис огромного числа растений. Собрал большой материал по редькам, горчице»[443].

Географическую область южнее озера Балхаш, Семиречье (юго-восток Казахстана и север Киргизии), Вавилов обследовал вместе с геоботаником Владимиром Андреевичем Дубянским. Цель поездки – «осмотреть все районы будущего и нынешнего земледелия в короткий срок, примерно 2½ недели»[444].

Отсюда путники снова вошли в Китай, в районе Кульджи.

Дубянский был знатоком среднеазиатских пустынь, исколесил и исходил их вдоль и поперек, за труды о песках пустыни Географическое общество наградило его медалью имени Пржевальского (как Вавилова за Афганистан). Словом, это был надежный и знающий спутник, неплохая замена попавшему в больницу Попову.

18 сентября, Е.И.Барулиной: «Еду в Семипалатинск. Степь, солонцы. Пыль столбом, проела глаза. Семиречье немного постиг <…>. Исследовали снова частичку Китая. Сделал это

скоропалительно. Но глаз наметался. И за 5 дней, кажется, больше уразумел, чем консульство за несколько лет, о чем оно само повествовало».

(По инициативе Вавилова, поддержанной Наркоматом иностранных дел, советские консульства в малоисследованных странах Востока собирали образцы культурной флоры и присылали их в Институт прикладной ботаники.)

Исследования района Кульджи подтвердили вывод о вторичности земледельческой культуры Западного Китая.

Этим завершилась только первая часть экспедиции.

11.

Из Алма-Аты Вавилов на поезде отправляется на Дальний Восток. У него есть виза в Японию, но главная его цель – войти в Манчжурию и дальше на юг, в эпицентр земледельческой культуры Китая и всей Юго-Восточной Азии.

Из-за нового обострения отношений с Советами китайские власти аннулировали его визу, новый въезд в Китай стал невозможен.

«Раз выпали Китай, Манчжурия и Монголия, то, мне кажется, в настоящем году Вам, Николай Иванович, не следует ехать на Дальний Восток и в Японию, а лучше поездку отложить до будущего года, когда будет возможность в целом охватить Дальний Восток, – писала Вавилову Мария Панченко, жена и сотрудница заведующего Приморской опытной станцией М.Е.Панченко. – Но ведь Вы горячка. Ваш девиз: “Жизнь чертовски коротка, надо торопиться жить и работать”. <…> Полагая, что Николай Иванович все же в настоящем году двинется на Д. В., считаю необходимым поделиться с ним тем, что знаю о Д. В., и дать адреса к ряду лиц, знающих край» (далее подробное описание на сорока с лишним страницах).

Надо ли говорить, что Вавилов не принял совета отложить дальневосточную часть экспедиции.

28 сентября 1929 г., Е.И.Барулиной: «Завтра на Амуре. От основной линии на пару дней в Благовещенск. Затем – Хабаровск и Владивосток. Числа 8—10 [октября] надеюсь тронуться в Японию. Штудирую литературу. Из 3 пудов 1 пуд завтра кончу».

11 октября, из Токио, Е.Н.Синской: «Диковин здесь действительно много, и хоть и много видел стран, но здесь не та. Ясно, как апельсин, что создавали сами тысячелетиями культуру, да еще на фоне совершенно оригинальной японо-манджурской флоры и фауны. Словом, тут очень любопытно, и не знаешь, за

что сразу браться. Начинал с базаров»[445].

19 октября, с острова Хоккайдо, Е.И.Барулиной: «Забрался на север к границе культуры риса. Здесь самые ранние в мире сорта риса, надо их собрать. Посылки Синской с севера пропали.

Как полагается всем переучившимся, она леди рассеянная и самое ценное не довезла. Попытаемся дополнить. Все время двигаюсь. Тут очень много дел <…>. Собираюсь на неделю и в Корею. Там [имперская японская] выставка <…>, и нам у них многому надо учиться. Все же дни мои заканчиваются, и гонка мне даже надоела».

Синскую Вавилов знал еще по Петровке – она училась на два-три курса младше него. В Саратове она была ассистентом его кафедры, в Петрограде стала одним из ведущих ученых специалистов. Участвовала в экспедициях в Средней Азии, на Алтае, в Полесье. В 1928 году Вавилов направил ее в Японию, откуда она прислала и привезла разнообразный сортовой материал – около тысячи образцов.

Раннеспелые сорта риса вызревали не только на острове Хоккайдо, но и еще севернее, на Южном Сахалине, который тогда принадлежал Японии. Заполучить их – значило раздвинуть границы культуры риса в Советском Союзе. Синской не удалось их добыть не по рассеянности «переучившейся леди». Раздобыть их Вавилову тоже оказалось непросто.

Японские ученые вежливо улыбались, с готовностью кивали головами, но семян не давали: им это было запрещено! Требуется специальное разрешение из Токио, а его никому не давали. И только позднее, в Корее (тогда – колония Японии), на имперской выставке, Николаю Ивановичу удалось раздобыть горстку семян раннеспелого риса. Не зря он так стремился попасть на эту выставку!

Объехав все Японские острова, Вавилов убедился в том, что Япония заимствовала основные культурные растения из Юго-Восточного Китая; по ее культурам можно, хотя бы отчасти, понять «душу» китайского очага. Теоретические представления снова подтвердились. Китайский стеблевой салат уйсан, крупные огурцы, мелкий лук, различные формы редьки… Это были те же огородные растения, которые Вавилов собрал в Синьцзяне. Они подтверждали общность земледельческой культуры. Но Япония теснее связана с Юго-Восточным Китаем, чем отделенный огромной безводной пустыней Синьцзян. Да и субтропический климат Японии близок к климату прибрежных районов Китая. Потому сортовое разнообразие здесь гораздо большее, чем в Синьцзяне. Сохранению широкого ассортимента культур и сортов здесь способствовали и особенности японского характера, что

тоже не ускользнуло от Вавилова.

«Японец любит разнообразие», – писал Николай Иванович и приводил пример: «В кондитерских магазинах можно видеть бесконечное число сортов пирожных, конфет. Словно кто-то нарочно старается во что бы то ни стало изобрести новые и новые по вкусу и по внешнему виду формы».

Пример из гастрономии, а не из агрономии, но для Вавилова это звено в цепи умозаключений об особенностях земледелия Японии, где на отвоеванных у гор мизерных клочках земли возделывается такая пестрота растений, словно каждая крестьянская семья задалась целью содержать в живом виде ботанический музей.

«Обычный обед японца умещается в двух коробках. В одну насыпают горячий рис, в другую укладывают десятки мелких деревянных или фарфоровых чашечек с небольшими кусочками всевозможных яств, служащих приправой к рису. Здесь зеленая, красная и розовая рыбы, кусочки редьки разного вкуса, зеленые японские сливы, “мумэ” и разные приготовления из сои – “адзуки”»[446].

Как похоже на обеды в Западном Китае!

Не связано ли с этими старинными традициями огромное разнообразие культур, возделываемых в Китае и Японии?..

Но Япония – не только очаг земледелия с сильным влиянием древней китайской культуры. В стране быстро развивается наука и практика селекции. Отсюда можно позаимствовать лучшие селекционные сорта: скороспелые формы риса – лишь один из примеров. В своеобразном климате Японии и в результате работы селекционеров многие иноземные растения приобрели совершенно новые качества. Мускусная тыква, завезенная из Америки, стала мелкой, скороспелой, покрылась характерными бородавками. Баклажан, завезенный из Индии, стал мелкоплодным. На остров Сахурадзима Вавилов попал в период уборки знаменитой японской редьки и видел, как крестьяне с трудом выкапывали пудовые корнеплоды. На тачке умещалось всего по два-три экземпляра, «издали можно было принять эти овощи за крупных поросят».

Вавилова сильно заинтересовали ячмени Юго-Восточной Азии, но уровень теоретического изучения разочаровал.

Он давно уже установил: центр происхождения двух основных групп ячменя – в Афганистане и в Эфиопии. Но в Японии обнаружились новые разновидности. Значит, здесь шел автономный формообразовательный процесс, для его изучения требовались генетические методы. Заговорив об этом с ведущими японскими специалистами по ячменю Икено и Такисаки, Николай

Иванович увидел, что они просто не понимают, о чем он говорит! «Оказалось, что эти наивные джентльмены уже покончили генетику ячменя и попросту ячменя они совершенно не знают», – написал он Карпеченко в Калифорнию, где тот стажировался в лаборатории Томаса Моргана. И в другом письме, уже из Ленинграда, ему же: «Проблема восточноазиатского ячменя остается нетронутой, и кто-то ее должен решить, а решить ее нужно во что бы то ни стало, ибо от ее решения зависит понимание многих сюжетов». И дальше в свойственном Вавилову ироническом и в то же время деловом тоне: «Такисаки, каки-саки милые мальчики, сути дела не понимающие <…>. Вся субстанция видовая [ячменя] в Юго-Западной Азии, а в Восточной Азии развернулся какой-то своеобразный процесс. Генетику нужно всерьез заняться этим делом, и тут, несомненно, откроются сюжеты к познанию взаимоотношений Восточной и Западной Азии. Более трудной проблемы, чем ячмень Западной и Восточной Азии, я себе не представляю. Для риса, пшеницы, ржи всё неизмеримо легче»[447].

12.

В Корее Вавилов объездил все земледельческие районы и особое внимание уделил имперской выставке, где, как мы знаем, сумел заполучить скороспелые формы риса. «Корею я за 8 дней постиг, даже написал вчерне “Земледельческую Корею” в поезде. <…> Собрал за неделю около 700 образцов, литературу. Думаю, что другому (напр[имер] Синской) на это потребовалось бы 2 месяца».

Это из письма жене от 4 ноября, написанного уже на пароходе, по пути на Тайвань (тогда его чаще называли Формозой – островом чудес, который тоже был японской колонией): «Там субтропики и тропики. Надо видеть. Теперь уже дело ясное – мир надо весь видеть, во что бы то ни стало. Тем более это быстро – вся Формоза с дорогой 2 недели, а то и меньше. Чай, камфара, бананы, апельсины, сахарный тростник.

Я знаю, что за мной бюджетные комиссии, сессии, но life is short [жизнь коротка]. И для дела надо видеть. Горизонты во всяком разе стали шире. Но еще шире и горизонты неизведанного. Надо браться за Ю.-В. Азию. Обдумываю 2[-е] изд[ание] Центров. Если бы всё бросить и ими одними [заняться], вышло бы большое дело. Попытаемся. <…> Словом, поездка идет продуктивно и полезно, более, чем в Западный] Китай. Да и путешествовать тут, конечно, очень удобно. Живут они лучше нас.

Это факт».

13.

«Тайвань является, конечно, чисто китайским островом, – объяснял Вавилов в, “Пяти континентах” значение этой поездки. – Из 4 миллионов населения 90 % составляют китайцы. Островное положение сохранило здесь в почти нетронутом виде земледельческую культуру Китая, и поэтому посещение острова представляло для нас особенно большой интерес»[448].

На базаре в Тайнане, в лекарственном ряду, Вавилов закупил образцы сотен неизвестных науке лекарственных растений – «всю китайскую медицину».

Вместе с профессором Тайнаньского университета доктором Танака он отправился вглубь острова. Здесь, в специальных резервациях, сохранились аборигенные малайские племена, за которыми укрепилась зловещая слава «охотников за черепами». Малайцы ютились в шалашах, поднятых на сваях для защиты от зверей и насекомых и прикрытых деревянными зонтиками – от дождя.

Малайцы не знали земледелия. Их занятие – сбор диких плодов и охота. Селения расположены в лесах, где в изобилии растут дикие яблони, груши. Особенно Вавилова заинтересовали заросли камфарного дерева: Тайвань – родина камфары. Камфарное дерево нельзя было считать культурным растением: его не возделывали, а только эксплуатировали.

Спустившись с гор, путешественники направились в провинцию Ката – на опытную тропическую станцию. Здесь ученые пытались ввести в культуру ценные технические растения. Вавилов обследовал плантации каучуконосов, мангового дерева, мангустана. Изучал коллекцию тропических цитрусовых, отличавшихся гигантскими плодами – с человеческую голову. Здесь же велась селекция сладкого картофеля – батата. Горсть семян, привезенных Вавиловым, послужила основой для выведения на Сухумской опытной станции ценных сортов, пригодных для субтропиков Кавказа. Здесь же Вавилов запасся образцами дикого и культурного чая. Особенно богатый «урожай» он собрал в огородах узкой прибрежной полосы: около ста пятидесяти неизвестных науке овощных культур.

Исследование Западного Китая и Дальнего Востока, Японии, Кореи, Тайваня привели Вавилова «к глубочайшему убеждению, что Восточная Азия есть ключ к разгадке многих загадок и по полевым, и по огородным, и плодовым растениям. Интерес ее

гораздо больший, чем до сих пор мы думали. Формоза прибрежная – это старый Китай с китайским населением, и даже на этом обрывке Китая можно было видеть всё могущество Центрального и Восточного Китая как формообразовательных областей»[449].

На очереди были Центральный и Восточный Китай, но китайская граница снова была на замке. Пришлось довольствоваться сотрудничеством с русским эмигрантом Б.В.Скворцовым – жителем Харбина. Он прислал толковую статью, Николай Иванович напечатал ее в «Трудах по прикладной ботанике», а автору написал: «Надо всерьез и надолго приниматься за это большое дело [изучение культурных растений Восточного и Центрального Китая], которое должны выполнить русские исследователи. Вот к этому делу мы и хотим просить Вас примкнуть в авангарде»[450].

Обобщая исследования материалов, собранных в Синьцзяне, Японии и ее колониях, Вавилов пришел к выводу «о полном своеобразии этой великой культуры, о совершенно уникальном составе культурных растений, об оригинальных агротехнических навыках, о полной самостоятельности древнего восточноазиатского земледельческого очага, построившего свое сельское хозяйство на самостоятельных видах и родах растений», «в одомашнении здесь свиньи, курицы, шелковичного червя, золотой рыбки, воскового червя»[451].

Теория центров происхождения снова была подтверждена и обогатилась новыми, уточняющими материалами.

Часть четвертая
Годы великого перелома

Раскаты грома

1.

Из дальневосточной экспедиции Вавилов, по его словам, «возвращался с удовольствием». Прибыл в Ленинград 22 декабря 1929 года.

И ощутил, что попал в другую страну.

Перемены, произошедшие за время его путешествия, были разительными. При его неиссякаемом оптимизме ему представлялось, что, в общем, эти перемены – к лучшему. Настроение у него было, как всегда, боевое, бодрое, приподнятое. Оснований для этого было достаточно. Две недели спустя он писал в Калифорнию Карпеченко: «Жизнь здесь идет бурно. Сегодня открыли всесоюзные курсы по селекции, генетике и сортоводству. 200 человек курсантов со всех концов советской земли. <…> Вышла монография “Овсюги”. Ею А.И.Мальцев обеспечил себе бессмертие. Книга, которой можем гордиться. Вышел том по плодоводству, посвященный дикарям Кавказа, Средней Азии и Дальнего Востока. Можете его рекомендовать кому угодно. Весь полон оригинального материала. С печатанием дело идет хорошо. Народ весь дружно трудится, пишет монографии, приводит в порядок земной шар. Даже плодоводы, и те наладились. Вышел “Бородинский том”. Там очень важные статьи Кулешова о кукурузе, мировая география. Посоветуйте камрадам Америки посмотреть, весьма невредно. Там же много нового по ячменям, моркови, физиологии и прочему. Том хороший. Там напечатана и Ваша статья с Сорокиной»[452].

Главной новостью, безмерно обрадовавшей Николая Ивановича, было то, что его ходатайство о предоставлении дополнительных помещений Институту прикладной ботаники, направленное в Совнарком еще до путешествия, было удовлетворено. На Морской, 44, куда Вавилов перевез всё имущество Отдела в 1920 году (теперь это была улица Герцена, 44), давно уже стало тесно, негде было повернуться. И вот Институту выделили еще один дворец, Строгановский, на углу Набережной Мойки и Невского проспекта. «Это первое серьезное расширение Института, которое на несколько лет нас устраивает. К осени переберемся»[453].

Общие перемены в стране, связанные с коллективизацией сельского хозяйства, Вавилову тоже представлялись в радужном свете. Доходили, конечно, слухи о *перегибах* на местах, где иные

коллективизаторы усердствовали не по разуму, но это уж как водится. Он верил, что *перегибщиков* приструнят, введут в нужное русло, а общее направление перемен ему импонировало. Крупные хозяйства легче механизировать, в них легче организовать работу на научной основе, планомерно вводить правильные севообороты, новые культуры, лучшие сорта. «Веруем и исповедуем, что жизнь построим невзирая ни на что. Темп начинается по линии тракторизации, освоения площадей. [Темп] таков, что, пожалуй, и скептики скоро начнут верить. Трудностей до черта, но всё в движении <…>. Хотя ясно, как апельсин, без швабры, зеленого мыла и песка не обойдешься»[454].

Но с каждой неделей становилось все очевиднее, что перемены вряд ли можно оценивать только со знаком плюс. Первым делом власти ликвидировали нэп. Закрылись частные лавочки и магазинчики, в государственных магазинах опустели прилавки. Вновь появились длинные очереди за хлебом, мукой, керосином, да и за всем остальным. В деревне шла «классовая борьба». Крестьян, медливших с вступлением в колхозы, клеймили как кулаков или подкулачников. От газетных аншлагов и заголовков мороз пробегал по коже:

> **ОРГАНИЗУЕМ БЕДНЯЦКО-СЕРЕДНЯЦКУЮ ДЕРЕВНЮ ПРОТИВ КУЛАКА, ЗЛОСТНО СРЫВАЮЩЕГО ХЛЕБОЗАГОТОВКИ.**
>
> **КУДА ПРЯЧЕМ ХЛЕБ, УГРОЖАЯ ГОЛОДОМ БЕДНОТЕ И ПРОЛЕТАРСКОМУ ГОРОДУ. ПАРТИЙНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ ДОЛЖНЫ ЕЩЕ ЭНЕРГИЧНЕЕ СПЛОТИТЬ БЕДНОТУ И ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ШИРОЧАЙШИХ СЕРЕДНЯЦКИХ МАСС СЛОМИТЬ**
>
> **СОПРОТИВЛЕНИЕ ДЕРЕВЕНСКОЙ БУРЖУАЗИИ. СЕЛЬСКИХ КОММУНИСТОВ, ОТКАЗЫВАЮЩИХСЯ СДАВАТЬ ХЛЕБНЫЕ ИЗЛИШКИ, НАДО ГНАТЬ ИЗ ПАРТИИ И БОЙКОТИРОВАТЬ НАРАВНЕ С КУЛАКАМИ, КАКИЕ БЫ РЕВОЛЮЦИОННЫЕ РЕЗОЛЮЦИИ ПРОТИВ ПРАВЫХ УКЛОНИСТОВ ОНИ НИ ПРИНИМАЛИ.**

Правые уклонисты!

Они стали самыми страшными, самыми коварными, самыми заклятыми врагами «рабочего класса и трудового крестьянства». Они еще не до конца *разоблачены*, гнездятся в самом сердце партийного руководства.

Правый уклон – главная опасность для генеральной линии.

Беспартийный, старавшийся держаться как можно дальше от политики, Вавилов никакого отношения к партийным уклонам не имел и иметь не мог.

Но *уклоняться* от *уклонов* с годами становилось все труднее.

Сознавал ли он или еще не сознавал, но столкновения на Олимпе большевистской власти для него, президента ВАСХНИЛи директора двух крупнейших в стране научно-исследовательских институтов, были раскатами быстро приближающейся грозы.

Первым ударом грома стал залихватский фельетон пролетарского поэта Демьяна Бедного, напечатанный сразу в трех газетах: в «Вечерней Москве», ленинградской «Красной звезде» и, главное, в «Правде» – перед ней требовалось стоять навытяжку.

Институт прикладной ботаники и Государственный институт опытной агрономии выставлялись прибежищем «бывших». Вместо того чтобы трудиться в поте лица над социалистической реконструкцией сельского хозяйства, они устраивали публичные молебствия и водосвятия.

Чтобы представлять себе звучание такого фельетона, надо помнить, что с первых дней советской власти в стране велась яростная война против религии. Закрывались церкви, синагоги, мечети; служителей культа арестовывали, ссылали, иных расстреливали. Школьников натравливали на верующих родителей. Комсомольцы устраивали кошачьи концерты под окнами еще не ликвидированных церквей и синагог, дружно скандировали звонкими голосами:

> Наш девиз всегда таков:
> Долой раввинов и попов!

В *год Великого перелома* наступление на религию стало еще более боевым и масштабным. Пропаганда особенно напирала на религиозное *мракобесие, темноту, невежество*, противостояние религии и науки. И вдруг – *молебствие* и *водосвятие* в научном учреждении!

Вавилов направил во все три газеты вежливое, но решительное опровержение:

«В связи с помещением Вами стихов по поводу молебствования и водосвятия в Институте опытной агрономии и его Фитопатологической лаборатории имею сообщить следующее: приведенного факта в лаборатории не было ни при открытии, ни при других обстоятельствах, о чем считаю долгом заявить самым категорическим образом. При переезде заведующего лабораторией проф. Ячевского из старой квартиры в новую на его личную квартиру был действительно приглашен священник, и это, вероятно, послужило поводом к неправильному толкованию»[455].

К письму Вавилов приложил заявление, под которым стояли

подписи 42 сотрудников, «о том, что опубликованный материал не соответствует действительности».

Опровержение напечатано не было.

Вавилов, похоже, на это и не рассчитывал, о чем говорит его просьба: переслать копию письма автору фельетона Демьяну Бедному.

Следов того, что *пролетарский поэт номер один* (Маяковскому будет дан этот титул через пять лет, когда Демьян впадет в немилость) извинился или хоть как-то отреагировал на опровержение, не имеется. Ему такое и в голову не могло прийти. Он твердо знал, что в светлом будущем, которое он приближал своим пером-штыком, нет места *поповщине*.

Поэт разил *интеллигентиков*, что все еще не определились, – с кем они, мастера культуры: с пролетариатом, сплоченным партией большевиков под знаменем марксизма, ленинизма, диалектического материализма и воинствующего атеизма, или со всякими «бывшими». Колебаний новый строй не допускал, хлюпиков не терпел: *кто не с нами, тот против нас, кто не сдается, того уничтожают*. По этой логике дистанция между присутствием священника в квартире профессора и публичным освящением научной лаборатории была нулевой.

2.

При образовании ВАСХНИЛее президентом был назначен академик Н.И.Вавилов. Тогда же при Президиуме Академии был учрежден Институт аспирантуры. Трудно сказать, кто был инициатором этого начинания; ясно, что не президент Академии. Странное это было заведение. Для того чтобы в него поступить, диплома об образовании не требовалось. Вступительных экзаменов тоже не было. Зато почти обязательным было рабоче-крестьянское происхождение и почти обязательным – принадлежность к большевистской партии или к комсомолу. Из 19 аспирантов первого призыва 13 были членами партия и столько же выходцев из рабочих и крестьян[456].

Директором Института аспирантуры был назначен некто Г.И.Быков. К науке он отношения не имел, зато был партийцем, бывшим «красным» моряком, участником Гражданской войны. У него был зычный голос, и он был «необычайно склонен к грозным митинговым выступлениям», как вспоминала Е.Н.Синская. Под стать директору были и некоторые аспиранты. «Почти все члены партии имели солидный стаж, опыт ответственной работы и пришли не столько учиться, сколько учить других. Сама система

обучения была нацелена на идеологическую подготовку, а не на овладение специальностью, что создавало им возможность чувствовать себя выше учителей»[457].

Однако аспирантов все же надо было учить и приобщать к научной работе. В Президиуме ВАСХНИЛбазы для этого не было. Вавилов предложил переподчинить Институт аспирантуры Институту прикладной ботаники, что и было сделано. Аспирантов распределили по отделам и лабораториям, возглавляемым ведущими специалистами. Лучшей возможности для получения знаний и навыков научной работы быть не могло. Некоторые аспиранты со временем стали крупными учеными. В их числе Фатих Хафизович Бахтеев, выдающийся знаток ячменя, преданный друг и соратник Вавилова, участник его последней экспедиции…

Когда аспиранты были распределены по отделам, обнаружилась абсолютная ненужность Института аспирантуры как отдельной административной единицы. Элементарная логика требовала его ликвидировать. Не такой была партийная логика. Дабы утвердить свое право на существование, Быков и самые крикливые аспиранты-партийцы пошли в штыковую атаку на ведущих ученых и на основное направление работы Института, смысл которого они не понимали и не хотели понять.

Среди тысячи сотрудников Института прикладной ботаники членов партии почти не было. Те немногие из научных работников, кто, по идейным или карьерным соображениям, все же вступили в партию, коллективу себя не противопоставляли: «коммунизации» Института, о чем Вавилов упоминал двумя годами раньше, не было заметно.

На этом поприще и развернулся Быков и вдохновляемые им аспиранты. Свою миссию они видели в том, чтобы *поворачивать* Институт к нуждам *социалистического строительства*, а взгляды аполитичных ученых *переводить на рельсы* диалектического материализма. В том, что они сами – безупречные знатоки марксистско-ленинской философии, сомнений быть не могло. Гарантией тому было их пролетарское происхождение, боевые подвиги в Гражданской войне и в последующих битвах за торжество самого передового учения.

Историк науки Э.И.Колчинский установил по архивным материалам, что, кроме Г.И.Быкова, наиболее активными в этом отношении были А.В.Альбенский, Г.Н.Шлыков, Н.Гейликман, Н.А.Басова, некоторые другие аспиранты.

Вряд ли кто-то из них читал Маркса или Энгельса. Диалектику они учили не по Гегелю и даже не по Марксу, а, в лучшем случае, по «Азбуке коммунизма» Бухарина. Через

несколько лет эта «Азбука» будет изъята и уничтожена вместе с ее автором; на смену придет «Краткий курс истории В КП (б)». Но в те годы она была суперпопулярна и почти обязательна для всех.

«Г.И.Быков ничего не понимал в обсуждаемых проблемах, но знал, когда признавать инкриминируемые ошибки, а когда категорически отвергать, когда критиковать Вавилова, а когда его увещать, а порой и даже защищать»[458].

Первым следствием нападок с *боевых партийных позиций* стало то, что в Институте пошла непрерывная череда всевозможных собраний, обсуждений и проработок. Зачастили проверочные комиссии – из обкома и райкома партии, из Контрольной комиссии РКП (Рабоче-крестьянской инспекции), из других подобных организаций.

Наиболее агрессивно нападали на Вавилова и на всю линию Института аспиранты Альбенский и Шлыков. Подготовка у обеих была настолько низкая, что ничего конкретного в их претензиях не было и быть не могло – до тех пор, пока они не сошлись с заведующим Бюро интродукции Александром Карловичем Колем.

Из писем Вавилова мы знаем, что Коль был ужасно бестолков. Таким же помнила его Синская.

Поначалу Коль громко превозносил Вавилова, неумеренно льстил ему, опубликовал хвалебную статью о теории центров происхождения, надеясь, по-видимому, снискать расположение директора и тем повысить свой статус. Когда из этого ничего не вышло, он нашел покровителя в лице Арцыбашева. Арцыбашев, как мы помним, внушал Горбунову, что Вавилов чистый теоретик и создаваемая им мировая коллекция культурных растений далека от нужд практики.

Арцыбашеву пришлось уйти из Института, но Коль остался. Он хорошо помнил, в чем Арцыбашев обвинял Вавилова.

Став наставником Альбенского, Шлыкова и других аспирантов, Коль помогал им насыщать риторику о борьбе классов ботанико-агрономической конкретикой.

А.В.Альбенский окончил духовную семинарию в Ярославле, был секретарем комитета бедноты, добровольцем в войсках ВЧК, инструктором политотдела в Красной армии. Поступив в Пермский университет, стал в нем «комиссаром». Недоучившись, стал секретарем горкома ВКП(б). В Институте аспирантуры стал секретарем партбюро. «Щеголял именами классиков философии и подводил идейно-политическую основу под любую научную теорию. В его речах карьерные устремления прикрывались рассуждениями о философско-методологической, политико-идеологической и социально-экономической вредности всех научных теорий и взглядов, кроме разделяемых им и воспринятых

от сотрудников Арцыбашева. Именно Альбенский травил специалистов ВИР, добивался их замены партийцами»[459].

Трудно сказать, как далеко зашел бы Альбенский в нападках на Вавилова, если бы не был определен после аспирантуры заведующим отделом во Всесоюзном институте агролесомелиорации (ВНИАЛМИ). Похоже, что этим его амбиции были удовлетворены, боевой дух скоро угас. Не лишенный способностей, Альбенский со временем стал видным дендрологом. Былые баталии с усмешкой называл «грешками молодости». Как свидетельствовала Синская, «при встречах с бывшими сослуживцами, при воспоминаниях о затеянной им шумихе он говорил: “Вот была потеха, чего только не наделаешь в юности!”». Угрызения совести его не мучили, раскаяния заметно не было, «мальчики кровавые» глаз не застили.

Непримиримым врагом Вавилова оставался Шлыков.

Образование его ограничивалось сельской школой, «но он явно был политически подкован, внимательно следил за передовицами центральных газет и быстро улавливал колебания в генеральной линии»[460].

Любопытно, что Шлыков, как и Альбенский, хотел уйти из ВИРа. Он подал заявление в аспирантуру Комакадемии, где, вероятно, ему и было место. Но другая «идейная» аспирантка, Н.А.Басова, настрочила жалобу. Она считала, что Шлыков не должен оставаться «вечным аспирантом»: пора ему и работать, а образование свое пусть пополняет в неурочное время. Партбюро так и решило, Шлыкову пришлось подчиниться.

Трудоустроили его в Бюро интродукции, помощником Коля. Тот не мог нарадоваться такому пополнению. Но ужиться они не смогли. Э.И.Колчинский обнаружил любопытный документ: «Члены Бюро партийной ячейки ВИР, рассмотрев 6 мая 1931 г. “устное заявление тов. ШЛЫКОВА о невозможности работать с тов. Коль”, приняли решение: “Тов. ШЛЫКОВУ продолжать работать в Отделе Интродукции, проводя работу с таким расчетом, чтобы в ближайший месяц т. Коля перевести в специализированный Институт»[461].

Косноязычно, но ясно.

Кажется, в другой институт Коль перейти не успел, так как был арестован. Но отделался легким испугом. После освобождения был отправлен на пенсию. Остался пожизненным врагом Вавилова.

Проработки на партсобраниях и бесчисленные «проверки» не могли долго оставаться внутренним делом Института. 21 февраля 1930 года в «Правде», в так называемом «Листке рабоче-

крестьянской инспекции», появилась статья некоего В.Балашова под грозным по тем временам заголовком: «Институт благородных… ботаников».

Обвинив вавиловский Институт в отрыве работы «от задач реконструкции сельского хозяйства», автор *подтверждал* его «некоторыми фактами»: «Институт прикладной ботаники имеет несколько десятков тысяч крестьян-корреспондентов, производящих опыты в своих хозяйствах и сообщающих об их результатах в институт. Институт помогает им советами, посылает литературу и семена. Внешне это всё очень хорошо, но когда несколько сотрудников поехало в командировку по деревням, то на сходах и на собраниях крестьяне засыпали их вопросами: “Почему институт посылает лучшие семена и книги кулакам?”»[462]

Итак, в период «социалистической реконструкции» и яростной борьбы с кулачеством, Институт *благородных ботаников* служил кулакам!

Грозное обвинение! О том, сколько в нем было правды, можно узнать из письма Вавилова в «Правду» – конечно, не напечатанного: «Категория корреспондентов располагалась следующим образом: райагрономы – 26 процентов, агроучастки – 31 процент, семенные товарищества, преимущественно колхозы – 8 процентов, коммуны, колхозы – 7 процентов, техникумы, школы и школы крестьянской молодежи – 25 процентов, индивидуальные корреспонденты – 1 процент. Этот 1 процент индивидуальных корреспондентов избирался по специальным указаниям местных земельных и советских органов. Притом зачисление их в корреспонденты производилось только в случае, если они имели удостоверение о принадлежности к бедняцкой или середняцкой среде [выдавались, оказывается, такие удостоверения!]»[463].

Таков был контраст между реальностью и тем, что говорилось в самом начале статьи Балашова. Но то была только затравка.

Дальше Институт прикладной ботаники уличался *в зажиме* «партийцев», в *семейственности* и – самое страшное – в *неправильном* социальном составе *благородных* ботаников, то есть выходцев из дворянства, купечества, поповства.

Всё было неправдой или полуправдой, которая хуже лжи.

Как сообщил в редакцию газеты Вавилов, в Институте было «зарегистрировано» [!] 30 родственников, причем многие из них породнились, уже работая в Институте, ибо «запретить вступать в брак не может ни директор, ни местком». Ни о каком зажиме коммунистов речи быть не могло, это было невозможно, тем более что при каждом руководителе, то есть при директоре и

заведующих отделами, обязательно был заместитель-партиец. Две высококвалифицированные стенографистки, сестры Шаллерт, владевшие стенографией на нескольких языках и за это высоко ценимые Вавиловым, НЕ были научными сотрудниками, как было написано о них в статье.

Что до социального происхождения научных работников, то выходцев из рабочих и крестьян среди них действительно было мало, но не потому, что их «зажимали». В царской России у рабочих и крестьян не было доступа к высшему образованию; после революции такой доступ появился, но подготовка научных работников – дело долгое, опытных специалистов с *правильными* анкетными данными в стране еще просто не было. Без *благородных* ботаников вести научную работу было бы некому

Вавилов писал в том же письме в «Правду»: «Надо быть слепым, чтобы отрицать ту огромную работу, которую в кратчайшее время в трудных условиях произвел коллектив Института, и приходится удивляться тому легкомыслию, с которым относится к этой работе Балашов. На работах Института строится практическая организация семеноводства. Нежелание и неумение связать свою работу с общими задачами социалистического строительства и отсутствие подготовки научной “смены” – обвинение, которое выдвигается Балашовым, – есть кривое зеркало действительности»

Увы, письмо стало известно только в 2008 году, когда вышла книга В.Д.Есакова о Вавилове[464]. Автор пишет, что пытался включить его во второй том «Избранных писем» Вавилова, но при подготовке к печати оно было изъято. Это в 1987 году, в разгар горбачевской гласности! Нечего и говорить о том, что в 1930-м письмо академика Вавилова в «Правде» не появилось, как до этого – опровержение фельетона Демьяна Бедного. Впечатление о том, что вавиловский Институт – пристанище «бывших», осталось надолго.

3.

На Олимпе власти шли крутые перемены. Дожимая лидеров *правого уклона*, Сталин добился вывода Н.И.Бухарина из Политбюро, хотя еще недавно называл *Бухарчика* «любимцем партии». А.И.Рыков потерял пост главы Совнаркома – новым главой правительства стал В.М.Молотов. Вслед за Рыковым из аппарата был удален Н.П.Горбунов. В *оппозициях* и *уклонах* он не участвовал, но на посту управляющего делами Совнаркома «человек Рыкова» был не нужен. Затем Горбунов потерял и другие

посты: в том числе пост председателя совета ВИРа и вице-президента ВАСХНИЛ.

Был создан Наркомат земледелия СССР. До этого были только республиканские наркоматы земледелия, потому *Всесоюзная* сельхозакадемия была основана при Совнаркоме. Теперь же ее присоединили к новому наркомату во главе с наркомом Я.А.Яковлевым.

Яковлеву было 34 года, в партии большевиков состоял с 17 лет. Студентом политехнического института вел подпольную работу среди молодежи. В феврале 1917 года участвовал в демонстрации у Казанского собора, при ее разгоне был арестован. Допросить его не успели: через три дня его освободила Февральская революция. Зато кратковременный арест украсил его революционную биографию.

Через 20 лет, когда он попадет в жернова сталинского террора, его будут допрашивать долго, умело, с пристрастием. Вынудят *признаться* и в том, что во время того первого ареста он якобы *был* допрошен и завербован царской охранкой. Смертный приговор в тот же день будет приведен в исполнение.

Но в 1930-м Яковлев близок к Олимпу власти, за ним числятся немалые заслуги перед большевистской партией. В газетах пишут, что в Гражданскую войну он был подпольщиком на Украине, затем – председателем Екатеринославского губкома. Переехав в Москву, стал главным редактором газеты «Беднота», затем – «Крестьянской газеты». Он автор пропагандистских брошюр о деревне, колхозах, политике партии на селе. Входит в различные комиссии ЦК партии. В 1926 году был назначен замнаркома РКИ – одной из ранних вотчин Сталина, особо им опекаемой. Надо полагать, что Яковлев отличился в РКИ, потому и был поставлен во главе Союзного Наркомата земледелия, созданного в самый острый момент, когда на селе свершались революционные сдвиги, равные по значимости *Великому Октябрю* (так определил Сталин).

Доверие генсека требовалось оправдывать, а это было непросто.

Практически коллективизацию проводил партийно-государственный аппарат и ОГПУ. При особенно сильном сопротивлении на местах привлекались части Красной армии. По этим каналам спускались контрольные цифры на раскулачивание, реквизиции, депортации, давались установки на *сплошную* коллективизацию. По тем же каналам шли наверх рапорты о выполнении скулодробительных заданий.

Исполнители не думали о пахоте, посеве, уборке, о поголовье скота, строительстве коровников, уходе за обобществленными

лошадьми. Эта сторона дела находилась в ведении *земельных органов*. Партийный аппарат и ОГПУ разваливали сельское хозяйство страны, а Наркомат земледелия должен был поднимать его продуктивность. Сохранилась Докладная записка Яковлева Сталину об организации хлебозаготовок на 1933 год – из нее видно, какие непростые задачи ему приходилось решать. Рассчитывать он мог только на помощь со стороны сельскохозяйственной науки.

При первом знакомстве нарком попросил президента ВАСХНИЛизложить свое видение будущего сельского хозяйства страны. Николаю Ивановичу такое задание пришлось по душе, хотя записку под названием «Некоторые соображения о ближайшем будущем развития сельского хозяйства в СССР» он представил с некоторым опозданием, ибо для ее написания требовалось, по его словам, особое настроение и фантазия.

Записка начинается *оптимистической* фразой: «Новая эпоха, в которую вступает сельское хозяйство СССР, открывает совершенно новые перспективы». Тут же, однако, оговорка: «Пока еще трудно определить полностью весь масштаб развертывающихся событий и самые темпы их развертывания».

Николай Иванович уже хорошо знал, как крестьянские массы относятся к насильственной коллективизации, но насколько сильно сопротивление на местах и с какой жестокостью оно будет подавляться, не могла подсказать никакая фантазия. Вопроса о «колхозном строительстве» он не касался: это была политика. А наука могла подсказать, как следует организовать работу будущих колхозов.

Некоторые из его соображений лежали на поверхности. Для механизации крестьянского труда требовалось ускорить производство сельхозорудий, в особенности тракторов. Новая техника, писал Вавилов, не только облегчит труд земледельца, но позволит распахивать новые земли, а значит, увеличится производство зерна и других продуктов.

Важное место в записке уделено продвижению земледелия на Север и в Сибирь, что «открывает значительные возможности для льноводства». Обводнение пустынь Средней Азии позволит расширить площади под хлопчатником.

Особое внимание Вавилов уделил сухим и влажным субтропикам, пригодным для возделывания интенсивных культур, что «должно поглотить избытки рабочих рук, которые появятся в связи с тракторизацией земледелия». Упор он делал на интродукцию в эти районы новых культур, «таких как кендырь, рами, бадан, дубильные акации, арахис». Тут же давно им лелеемая мысль: «География культур должна быть подвергнута

коренной ревизии с учетом зерновых потребностей Союза, а также всемерного развития экспорта».

Чтобы не нарубить дров, нововведения следует планировать на научных основах, а для этого «нужно знать, и знать очень много». Нужны агрономические знания трех уровней: конкретные знания возможностей и условий отдельных районов и областей, синтетические знания в масштабах всей страны, знания мировой науки, от которой нельзя отставать. «Отсюда совершенно исключительное значение приобретает в ближайшее время организация широкой исследовательской работы в области сельского хозяйства, создание таких условий, чтобы наука могла не только следить за жизнью, но и идти впереди нее. С этим связан вопрос о кадрах, только при наличии которых можно провести реконструкцию сельского хозяйства»[465].

Таков основной нерв его «некоторых соображений». Если государство хочет добиться роста сельскохозяйственного производства в стране, оно должно всемерно содействовать развитию науки. Вавилов потратил немало сил, чтобы убедить в этом Горбунова и теперь хотел внушить ту же мысль Яковлеву.

Не прошло и месяца, как нарком предложил академику Вавилову срочно отправиться за океан, причем в совершенно не свойственной ему роли: во главе делегации на Международный конгресс по экономике сельского хозяйства.

Вавилов, как мы помним, всегда держался в почтительном отдалении от экономической науки, полагая, что «и так темно нашему брату в “экономике”, а тут еще сами экономисты мутят».

Почему же возглавить делегацию должен был именно он?

Чаянов и чаяновщина

1.

Александр Васильевич Чаянов со студенческих лет выделялся редкой талантливостью и страстью к науке. Этими качествами он вряд ли уступал своему однокашнику Николаю Вавилову Как и необычайной активностью, готовностью *сжечь себя в общественном деле.*

Палитра интересов Александра Чаянова была не менее широка, чем у Николая Вавилова. Он глубоко изучал и прекрасно знал историю Москвы, был тонким ценителем искусства, коллекционировал западноевропейские гравюры, интересовался мистическими учениями, писал стихи и прозу – весьма своеобразную, замешанную на мистике и фантастике. Исследователи жизни и творчества Чаянова находят в его повестях подсознательные *чаяния* его тонкой и сложной натуры[466].

Если Вавилова больше всего влекли загадки культурных растений, стремление познать их биологию, географию, происхождение, пути эволюционного развития и расселения по Земле, то для Чаянова земледелие – это экономический *базис* (говоря по-марксистски), над которым *надстраивается* культура, наука, искусство, философия, государственность, мораль, то есть вся социальная и духовная составляющая жизни человека.

Его главным учителем в Петровке был профессор Фортунатов. От него Чаянов воспринял не только конкретные знания по аграрной экономике, но общее миропонимание, горячее стремление служить труженикам земли, просвещать их, учить передовым методам хозяйствования, кооперированию с другими сельскими тружениками. Ученик еще на студенческой скамье во многом превзошел учителя.

Чаянов поглощал несметное количество книг по интересовавшим его вопросам, но не был начетчиком. Прочитанное он осмысливал, сопоставлял с собственными наблюдениями, выводы его были оригинальны. Статьи он готовил быстро, но без поспешности. Обнаружен архивный документ, в котором перечислены публикации и доклады студента Чаянова с 1908 по 1910 год. То, что он сделал за три студенческих года, «нормальному» специалисту хватило бы на целую жизнь. В результате поездок в Италию и Бельгию – для изучения сельского хозяйства этих стран – студент Чаянов опубликовал серию статей

в журнале «Вестник сельского хозяйства». После защиты дипломной работы и (всего через год!) магистерской диссертации стал доцентом Петровки, позднее, конечно, профессором.

Законы капитализма Чаянов понимал по-марксистски: капиталист затевает производство ради извлечения прибыли; затраченный им капитал не создает новой стоимости – он только переносится на продукт, создаваемый наемными рабочими; зарплата рабочего это часть созданной им стоимости; *прибавочную стоимость* капиталист присваивает, то есть грабит рабочего. Таков, по Марксу, всеобщий закон капитализма: без ограбления наемных работников капиталистическая система существовать не может, она держится насилием класса капиталистов над классом рабочих и должна пойти на слом.

Усвоив основные положения марксизма, Чаянов, однако, делал важную оговорку: законы капиталистического производства неприложимы к трудовой крестьянской семье, если она не использует наемный труд. Крестьянская семья работает не ради прибыли, а для удовлетворения своих скромных нужд. Ни об эксплуатации чужого труда, ни о зарплате, ни о фиксированном рабочем дне и других атрибутах капиталистических отношений тут говорить не приходится.

Достаток крестьянской семьи Чаянов связывал с повышением культуры земледелия и самих земледельцев, с их добровольной, взаимовыгодной кооперацией.

Земля, по Чаянову, это общее достояние, как воздух, как свет. Она не имеет стоимости и не должна быть частным владением, ее нельзя продавать, покупать, сдавать или брать в аренду. Крестьянская семья должна иметь такой земельный надел, какой она может обрабатывать своими силами. Такая форма землепользования представлялась Чаянову экономически наиболее эффективной и справедливой: она исключает эксплуатацию человека человеком, при ней невозможно накопление чрезмерных богатств у одних членов сообщества и разорение других. Каждый труженик прямо заинтересован в результатах своего труда. Когда нужно, он будет вкалывать день и ночь, сверх всякой меры (*самоэксплуатация*, по Чаянову); когда нет такой надобности, будет отдыхать, развлекаться, приобщаться к литературе, искусству, другим богатствам культуры. Просвещение крестьян, расширение их кругозора – таков, по Чаянову, путь к повышению производительности земледелия и благосостоянию земледельца.

Дабы повысить эффективность своего труда, культурные земледельцы, для тех или иных надобностей, могут объединяться в кооперативы. Например, они могут объединять свои ресурсы

для аренды дорогостоящей техники; могут совместно обращаться за кредитами; объединяться для сбыта продукции, чтобы не попадать в кабалу к перекупщикам. Крестьянские кооперативы должны возникать не по приказу, а благодаря осознанию бесспорной выгоды таких объединений. Принуждения не должно быть! Семейные хозяйства и кооперативы автономны от государства, их отношения с государством регулируются грамотно составленной системой налогов, которая стимулирует, а не отбивает охоту трудиться.

Эти и подобные идеи носились в воздухе, они были альфой и омегой и для других экономистов-аграрников, сверстников Чаянова, таких как Н.Д.Кондратьев, Н.П.Макаров; или старших коллег: А.Н.Челинцева, А.А.Рыбникова, С.Л.Маслова, А.Н.Минина, К.А.Мацеевича. Чаянов лишь лучше других умел их формулировать.

При яркой талантливости человек он был незаносчивый, отзывчивый, поддерживал добрые отношения с коллегами. Даже когда жена Чаянова ушла к А.А. Рыбникову, они остались друзьями.

После февраля 1917 года активность Чаянова еще более возросла. Он принимал ведущее участие в Лиге аграрных реформ, созданной Временным правительством в апреле 1917 года; выступил одним из инициаторов «семинариев» по вопросам экономики сельского хозяйства и аграрной политики; работал над трудом «Что такое аграрный вопрос?» (вышел в свет уже в 1918 году), еще более горячо пропагандировал крестьянскую кооперацию.

2.

В начале октября 1917 года, при очередной перетряске Временного правительства, министром земледелия стал Семен Леонтьевич Маслов, видный деятель партии эсеров, революционер, знакомый с царскими тюрьмами, экономист-аграрник. Писатель Михаил Пришвин записал в дневнике 12 октября: «В перерыве встречаю Семена Маслова, поздравляю с высоким постом. Семен – это самое-самое, святая святых народнической интеллигенции – вид семинариста, а глаза кроличьи, доверчивые… Это кроткий монах, аскет религии человечества (то, что от [Глеба] Успенского). Позвал меня на свой доклад: знаю уж, какой это доклад – без выкупа, с выкупом, однолошадные, двухлошадные – всю жизнь он на этом сидел, а земля от него так же далека и непостижима, как университет от

моего работника…»[467]

На пост своего заместителя (товарища министра) Маслов пригласил Александра Васильевича Чаянова.

За несколько дней они подготовили *законопроект о земле.* 18 октября он был опубликован в эсеровской газете «Дело народа», 24 октября обсуждался на заседании Временного правительства в малахитовом зале Зимнего дворца. Ввиду особой срочности и значимости законопроекта заседание затянулось за полночь.

Во 2-м часу ночи министры, наконец, разъехались, но вскоре стали возвращаться. Улицы уже патрулировали вооруженные рабочие и матросы.

Из вернувшихся министров наиболее активным был Маслов. Он позвонил в Государственную думу и устроил разнос: почему думцы бездействуют и не защищают избранное ими правительство? Он предложил сместить и, может быть, арестовать командующего Петроградским военным округом Г.П.Полковникова, заменить его решительным командиром, который направит отряд для защиты штаба округа, почты, телефона, телеграфа.

Полковников был смещен, на его пост назначили генерала Я.Г.Багратуни. Было составлено обращение с призывом о поддержке Временного правительства. Но было поздно.

Обращение не удалось даже доставить в типографию. Организовать действенное сопротивление большевикам генерал Багратуни не сумел: слишком слабы были силы, на которые он мог полагаться. Почту, телеграф, телефон, разводные мосты через Неву захватили красногвардейцы. Крейсер «Аврора» произвел свой сигнальный выстрел. Зимний дворец был осажден, число защитников быстро таяло.

На телефонный ультиматум Временного революционного комитета (ВРК) с требованием сдать власть последовал ответ: «Правительство может передать свои полномочия только Учредительному собранию, а потому постановило не сдаваться». Начался штурм Зимнего дворца. Ночью находившиеся в нем министры были арестованы и под конвоем отправлены в Петропавловскую крепость. Временное правительство было низложено.

В 4 часа утра в Смольном дворце – штабе переворота – торжествующие победители огласили список арестованных. Но вместо ликования в зале раздались голоса возмущения и протеста. Один из крестьян-эсеров сказал: «Вы сидите здесь и разговариваете о передаче земли крестьянам, а сами в это время расправляетесь с выборными представителями этих крестьян, как тираны и узурпаторы!»

Находчивый председатель ВРК Троцкий поспешил заверить, что якобы еще накануне отдал приказ освободить министров-эсеров. В тот же день Маслов и еще три низложенных министра были освобождены.

Маслов, полный решимости бороться с узурпаторами власти, участвовал в подпольных заседаниях Временного правительства, был избран в Учредительное собрание. Но оно, как известно, заседало всего один день. Красный матрос Железняк заявил, что «караул устал». Собрание было разогнано.

После этого Маслов от политики отошел, что, однако, не спасло его от гонений. Его арестовывали в 1918, в 1919, в 1921 годах. Но всякий раз освобождали. Похоже, благодаря заступничеству его школьного товарища, наркома здравоохранения Семашко.

Наконец Маслова оставили в покое. Он преподавал и, казалось бы, никому не мешал. Но в 1930 году он снова был арестован – по делу так называемой Трудовой крестьянской партии. На первом же допросе выяснилось, что его взяли по ошибке – вместо *другого* Маслова. По-видимому, вместо С.С.Маслова (1887–1945), тоже бывшего эсера, политэмигранта. Но его приговорили к ссылке. Отправили в Алма-Ату, оттуда в Уфу. Освободили через три года, снова взяли в феврале 1938-го. Три месяца он выдерживал пытки ежовых костоломов, после чего «подписал все оговоры, придуманные для него следователями – и работу по воссозданию партии эсеров в 1934–1937 гг., и вредительскую работу в кооперации, и получение указаний от заграничных эмиссаров о создании террористической группы, и многое другое, не менее абсурдное. Виновным себя признал полностью»[468].

20 июня 1938 года Семен Леонтьевич Маслов был приговорен к смертной казни, в тот же день расстрелян. Закопали его на печально знаменитом полигоне «Коммунарка». Семью известили о приговоре к 10 годам лагерей без права переписки. До самой войны от семьи принимали продовольственные передачи. Имена стервятников, обжиравшихся продуктами из этих посылок, не выявлены.

В 1948 году, незадолго до истечения мнимого срока заключения, дочь Маслова пыталась навести о нем справки и получила официальное уведомление: умер в январе 1943 года «от старческой дряхлости».

3.

Товарищ министра земледелия А.В.Чаянов в судьбоносные дни Октябрьского переворота находился в Москве и смутно представлял то, что произошло в столице. Его одолевали сомнения: правильно ли он поступил, согласившись занять пост товарища министра; не помешает ли это его научной работе. 28 октября, т. е. через три дня *после* переворота, он поделился сомнениями с друзьями-коллегами А.А. Рыбниковым, А.Н.Челинцевым и Н.П.Макаровым: «С.Л.Маслов тянет меня в товарищи себе, и кооператоры настаивают на моем согласии. Вы знаете из моих писем и разговоров, насколько это трудно и тяжело для меня в настоящее время. Если есть возможность заменить меня [К.А.] Мацеевичем, было бы очень хорошо. Не считаю, однако, себя вправе отказать, переношу вопрос на ваше совместное с С.Л.Масловым усмотрение. Как решит артель, так и постараюсь сделать, если хватит сил. А.Чаянов. 28.X. 12 ночи»[469]. К утру он отбросил колебания и сообщил в отдельном письме Рыбникову: «Вместе с тем я решил категорически отказаться от моей обязанности товарища м[инист]ра. Не знаю только, кому вручить отставку»[470].

Вручить заявление об отставке было некому…

4.

После большевистского переворота направление деятельности Чаянова почти не изменилось. Хотя земля *национализирована*, а не *социализирована*, как он считал правильным, Чаянов по-прежнему видел ядро экономической жизни в крестьянской семье и в крестьянской кооперации. В ноябре 1918 года он и его друзья экономисты-аграрники пробились на прием к Ленину. Пытались убедить его в том, что кооперативное движение не враждебно советской власти, а, напротив, может принести ей пользу. Ленин выслушал их благосклонно и выпроводил ни с чем. Для Ильича кооперативное движение – это простодушное прожектерство мелкой буржуазии. Суть общественных процессов одна: борьба классов.

В 1919 году Чаянову удалось издать свой труд «Основные идеи и формы организации крестьянской кооперации». Но периодические издания кооператоров уже закрыты либо взяты под жесткий контроль, из-за чего, как мы помним, осталась не у дел сподвижница Чаянова Екатерина Вавилова-Сахарова.

Но ученые-аграрники новой власти нужны: эти *буржуазные* специалисты знают свое дело. *Пролетарских* аграрников у большевиков пока нет.

Оставаясь профессором Сельхозакадемии (так теперь снова стала называться Петровка), Чаянов становится директором Института сельскохозяйственной экономики и членом коллегии Наркомзема России. Он пользуется большим влиянием. В частности, содействует командировке Вавилова и Ячевского в США.

О его взглядах на революционные события и на то, какое будущее ждет Россию, можно судить по фантастической повести «Путешествие моего брата Алексея в страну крестьянской утопии».

Действие повести происходит в далеком будущем: в 1984 году, куда волшебным образом переносится главный герой. Дата, конечно, условна. Она напоминает о другой утопии: романе Джорджа Оруэлла «1984». Случайно ли это совпадение?

Оруэлл писал свой роман в 1948 году; принято считать, что в заголовке он просто поменял местами две последние цифры. Но не была ли ему известна повесть А.В.Чаянова, издававшаяся на многих языках? Если так, то вполне вероятно, что заголовок Оруэлла рожден его внутренней полемикой с Чаяновым.

Различие между двумя произведениями разительное: авторы на противоположных полюсах. Утопия Оруэлла – мрачное предостережение, утопия Чаянова – светлая надежда.

Из повести видно, что кровавые катаклизмы, потрясавшие Россию, автор воспринимал как неизбежное следствие царского режима, который был обречен на слом, но держался слишком долго, что и привело к социальному взрыву невиданной силы. Ужасы революции, военного коммунизма, Гражданской войны – это издержки переходного периода. Предстоят новые перевороты, но к 1984 году всё давно успокоится. Россия – стабильная, процветающая страна «крестьянской утопии». Основная ячейка общества – трудовая крестьянская семья. Она свободно кооперируется с другими семьями для совместного труда самыми передовыми методами, обеспечиваемыми передовой техникой. Такой труд необременителен и радостен; урожаи обильны и стабильны; капризы погоды не страшны: ею научились управлять. Селения утопают в садах, жители дышат воздухом, напоенным ароматами цветов; города разукрупнены и тоже утопают в зелени. У тружеников достаточно свободного времени для самообразования, посещения художественных выставок, театров, лекций, докладов, для приобщения к высотам культуры.

Во главе политической системы в счастливой стране стоит *крестьянская партия.* Она демократична, действует в интересах народа и пользуется всеобщей поддержкой. Никаких конфликтов, столкновений интересов в обществе нет; международные

конфликты быстро и бескровно решаются благодаря подавляющему военному и техническому превосходству

Повесть была написана в незабываемом 1919-м, издана в столь же памятном 1920-м. В ней отражены *чаяния* Чаянова, по крайней мере, в тот период. Как можно было не растерять *такие* чаяния в годину голода и разрухи, повальных обысков и арестов, полностью зажатой прессы, смертоносных эпидемий, выкашивавших родных и близких, – это загадка сфинкса.

Идеалы, озвученные в повести Чаянова, не враждебны «диктатуре пролетариата», но бесконечно от нее далеки. Как ни странно, неприятностей автору публикация повести не причинила. Вернее, они были *отложены* – на 10 лет.

Кронштадтское и Тамбовское восстания, паралич хозяйственной жизни, всеобщее недовольство политикой военного коммунизма заставили «пролетарскую» власть перейти к нэпу. Продразверстка заменялась продналогом, крестьяне получили право кормить себя и свои семьи продуктами своего труда, а избыток продавать на рынке и покупать нужные им промышленные товары.

Чаянов усмотрел в нэпе первый шаг к осуществлению крестьянской утопии.

В разработке реформы, особенно налоговой политики, он принимал активное участие. Он делал всё возможное, чтобы в основу нэпа были положены интересы трудовой крестьянской семьи. С новой энергией он доказывал, что крестьянами нельзя помыкать, нельзя навязывать им государственные планы, указывать, что, как и когда производить. Нельзя их насильно сгонять в кооперативы – ничего хорошего из этого не выйдет. Пусть крестьяне делают то, что считают выгодным для себя; пусть объединяются в кооперативы тогда и в той мере, когда убедятся в выгодности таких объединений. В выигрыше будет всё общество.

После провала политики военного коммунизма власти кое-что поняли. Предложения Чаянова и его коллег были учтены, их престиж сильно возрос.

Летом 1921 года Чаянов наверняка присутствовал на VII Всероссийском съезде по сельскохозяйственному опытному делу, когда его саратовский коллега и друг А.А. Рыбников рассказал о масштабах надвигающегося голода.

Чаянов вошел в Общественный комитет помощи голодающим – в тот самый *Прокукиш*, о котором уже говорилось. Через 37 дней *Прокукишу* показали *кукиш.* Большинство его членов на Лубянке. Без следствия и суда их приговаривали к ссылке либо высылали из страны. Был репрессирован тесть Чаянова (отец его второй жены Ольги) Э.Л.Гуревич, видный меньшевик. Но самого

Александра Васильевича не тронули. В 1922 году он вместе с женой уезжает за границу – он *не выслан*, а *командирован.* Ему выдали крупную сумму в золотых рублях, срок командировки неограничен, цель столь расплывчата, что биографы до сих пор не могут ее прояснить. То ли Чаянов был направлен в помощь наркому внешней торговли Красину, который вел переговоры о торговом договоре с Англией, то ли он – консультант советской делегации на Генуэзской конференции, которая была еще более важна для прорыва блокады, окружавшей Страну Советов. В делегацию входил тот же Красин, так что эти две версии не исключают друг друга.

Но Генуэзская конференция длилась немногим больше месяца, а Чаяновы провели за границей больше полутора лет. Александр Васильевич изучал землепользование и кооперативное движение в странах Западной Европы, работал над своими трудами, поддерживал контакты с высланными лидерами *Прокукиша* С.Н.Прокоповичем и его женой ЕД.Кусковой.

Илья Герасимов, один из исследователей личности и творчества Чаянова, ссылаясь на его переписку с Кусковой и Прокоповичем, полагает, что тот намеревался остаться на Западе. Мне кажется, что переписка говорит об обратном. Прокопович затевал издание экономического журнала и хотел включить Чаянова в редколлегию; Александр Васильевич соглашался сотрудничать, но без афиширования своего имени: «Тактически, наверное, мы будем вам очень полезны, а создавать лишнее затруднение в моих разговорах с Лубянкой по возвращении в Москву мне не хочется»[471].

Если бы он не планировал возвращаться, так не написал бы.

Одной из причин долгого пребывания Чаяновых в Европе были медицинские проблемы *Ольгунъки*. Пока она ходила по врачам, он был занят научной работой. Вел себя осторожно, сторонился политики.

В конце 1923 года Чаяновы вернулись в Россию. Здесь Александра Васильевича ждали большие дела. В Петровке он возглавил одну из ведущих кафедр экономического факультета: «Организация сельского хозяйства». Другими кафедрами руководили его друзья и единомышленники: Челинцев, Рыбников, переехавший в Москву из Саратова, Макаров, тоже вернувшийся из-за границы после двухлетнего отсутствия. Экономисты-аграрники – мозговой центр российского Наркомзема.

Одна из последних статей Ленина – «О кооперации». В ней на удивление много общего с тем, что проповедовали экономисты-аграрники и от чего он отмахнулся в 1918 году как от наивного прожектерства. Такой крутой разворот требовал «классового»

обоснования, в чем Ильич был мастак: «В мечтаниях старых кооператоров много фантазии. Они смешны часто своей фантастичностью. Но в чем состоит их фантастичность? В том, что люди не понимают основного, коренного значения политической борьбы рабочего класса за свержение господства эксплуататоров. Теперь у нас это свержение состоялось, и теперь многое из того, что было фантастического, даже романтического, даже пошлого в мечтаниях старых кооператоров, становится самой неподкрашенной действительностью»[472].

После смерти Ильича на его книжной полке нашли семь работ Чаянова: ими он пользовался, когда писал статью о кооперации. Это еще больше подняло престиж «старого кооператора», который был почти на 20 лет моложе Ильича.

Другой рычаг влияния – чаяновский Институт сельскохозяйственной экономики. Здесь создавалась теория крестьянского хозяйства, выяснялись оптимальные размеры хозяйств в разных почвенно-климатических зонах страны, формы и методы кооперации крестьян…

Акции Чаянова, Кондратьева и других ведущих экономистов-аграрников продолжали расти, хотя уже начинали веять другие ветры. Близкий к верхам, Чаянов видел, что политические решения в области сельского хозяйства базируются не на его рекомендациях, а на совершенно иных основаниях. На языке пролетарской власти они назывались *логикой классовой борьбы.*

Чуткий к веяниям времени, Чаянов начинает говорить и писать о *преимуществах* крупного коллективного хозяйства, разрабатывает теорию совхозов. Но поспеть за колебаниями маятника большой политики он не может.

Сталин и его аппарат, вместе с Бухариным, Рыковым, Томским, вели борьбу против оппозиции, возглавляемой Троцким, Зиновьевым, Каменевым. Еще недавно *триумвират* Каменев, Зиновьев и Сталин громил Троцкого – второго лица в большевистском руководстве. Ухудшение здоровья Ленина, его надвигающаяся смерть заставили триумвират торопиться. На Троцкого были вылиты ушаты помоев. Его теорию перманентной революции объявили враждебной рабочему классу, он был снят с ключевых постов и уже не мог претендовать на верховенство.

Как только триумвират посчитал Троцкого низвергнутым, начался раздрай в нем самом. Генеральный секретарь Сталин, выдвинутый на этот пост Каменевым, оброс тщательно подобранным аппаратом и открыл военные действия против Каменева и Зиновьева. В попытке спасти положение они объединились с еще не окончательно поверженным Троцким. *Объединенная оппозиция* обвиняла генерального секретаря и его

аппарат в бюрократизме, буржуазном перерождении, измене делу рабочего класса. Поскольку в сельскохозяйственной политике Сталин и поддерживавшие его Бухарин, Рыков, Томский опирались на рекомендации экономистов-аграрников, Объединенная оппозиция обрушилась и на них. В статье «Манифест кулацкой партии» Зиновьев назвал Чаянова *неонародником* и защитником кулачества.

«Формулой прогресса является единоличное хозяйство, – негодовал Зиновьев. – Прогресс и рационализацию сельского хозяйства они мыслят себе не иначе, как на принципе частной собственности… Вся “теория” неонародников механически приспособлена к тому, чтобы замазать их буржуазную сущность, их почти столыпинскую ставку на “крепкого мужика”, то есть на кулака»[473].

Обвинения в *столыпинщине* звучали грозно, но пока они исходили от оппозиции, Чаянов мог не беспокоиться. *Объединенную оппозицию* обвиняли в *левом уклоне*, троцкизме, в стремлении расколоть партию. По всей стране проходили партийные собрания, их повестка дня и доклады тщательно готовились, решения в поддержку *генеральной линии* были обеспечены. Получалось, что вся партия решительно осуждает левую оппозицию.

Ее окончательный разгром произошел на XV съезде партии, в декабре 1927 года. Троцкий, Зиновьев, Каменев были исключены из рядов, лишены постов, отправлены в ссылку. И на том же съезде Сталин, к изумлению своих сторонников и противников, провел решение об ускоренной индустриализации промышленности и коллективизации сельского хозяйства. По своей *левизне* новая программа многократно перекрывала то, что отстаивала левая оппозиция. Вчерашние сторонники Сталина – Бухарин, Рыков, Томский – поняли, что обмануты. Основываясь на предсмертной статье Ленина о кооперации и на трудах экономистов-аграрников, они делали ставку на усовершенствование трудовых крестьянских хозяйств, на их постепенную добровольную кооперацию, с постепенным же «врастанием кулака в социализм».

Пока Сталин вместе с Бухариным громил Объединенную оппозицию, генсек не высказывал никаких возражений против бухаринской линии. Расправившись с левым уклоном, он развернул фронт атаки против *правого уклона* и провел решение о ликвидации единоличных крестьянских хозяйств. *Ускоренная* коллективизация затем превратилась в *сплошную*. Столь нужные еще вчера экономисты-аграрники в одночасье стали *правыми уклонистами*, «бухаринцами».

Хотя Чаянов уже писал о «преимуществах» крупного коллективного хозяйства перед семейным, его не хотели слушать. Встрепенулись *аграрники-марксисты*, гнездившиеся в Коммунистической академии. Чаянова, Кондратьева, Макарова стали обвинять в недооценке классовой борьбы в деревне, в ориентации на кулака. Было пущено в ход зловещее словцо – *чаяновщина.* Некий И.В.Кузнецов выступил с «Докладом о чаяновщине», тут же включенным в сборник статей под грозным заголовком «Вредительство в сельском хозяйстве» (1930).

«Теория “трудового” хозяйства для неонародников была лишь одним из средств прикрытия кулацкого хозяйства. Чаяновщина… с самого момента своего возникновения представляла собой интересы и идеологию… буржуазно-капиталистической верхушки деревни»[474].

Ничего нового в докладе не было: Кузнецов лишь повторял обвинения *левого уклониста* Зиновьева. Сам Зиновьев давно покаялся в антипартийной греховности, был прощен, восстановлен в партии, получил какую-то третьестепенную должность. А его обвинения против Чаянова, оприходованные аграрниками-марксистами, расцвели пышным цветом. Сам генсек публично высказал недоумение: «Почему антинаучные теории “советских” экономистов типа Чаяновых должны иметь свободное хождение в нашей печати?»

Трудно сказать, что было более зловещим в этой вскользь брошенной фразе: клеймо *антинаучные* или эпитет *советских*, обрамленный кавычками. Сигнал был понят. Топтать *Чаяновых* теперь обязан был каждый, кто что-то писал или говорил на данную тему. Никому не было дела до того, что Чаянов *всегда* был противником наемного труда в деревне, то есть кулачества. Ведь главное отличие «кулака» состояло в том, что он использовал наемный труд батраков. Но в ходе коллективизации в кулаки попадал всякий *крепкий* крестьянин, имевший «лишнюю» лошадь, козу или поросенка. Если же он был гол как сокол, но не торопился «добровольно» вступать в колхоз, его заносили в разряд *подкулачников* и расправлялись столь же сурово.

Противостоять лавине обвинений экономисты-аграрники не могли: им позволялось только каяться.

12 декабря 1929 года в «Сельскохозяйственной газете» было опубликовано письмо Чаянова. Он признавал, что его прогнозы развития сельского хозяйства были неверными.

Защиту трудовой крестьянской семьи как наиболее продуктивной единицы сельскохозяйственного производства он назвал своей «грубой и реакционной ошибкой». Через месяц с небольшим (16 января 1930-го) в той же газете появилось еще

одно покаянное письмо Чаянова. Он клялся, что всегда был предан революции и если чего-то в ней не одобрял, то безоговорочно ей подчинялся, ибо руководствовался известным афоризмом Жана Жореса: «Революцию можно или целиком отвергнуть, или принять так же целиком, какой она есть».

Но *целиком* принять то, что творилось вокруг, ему было трудно, в чем он тут же и признавался: «Я должен совершенно откровенно сказать, что многие из жестких методов раскулачивания деревни в процессе проведения коллективизации на месте весьма нелегко усваиваются мною, и я лично не нашел бы в себе достаточно твердости для проведения их в качестве оперативного организатора».

Признав «ошибки», он все же настаивал на том, что «ни у кого нет и не может быть оснований для того, чтобы отнять у меня звание советского работника безо всяких кавычек».

Но ведь кавычки поставил не оппортунист Жорес! Их поставил Сталин! Каяться *по-партийному* Александр Чаянов не умел.

21 июня 1930 года он был арестован.

Были арестованы другие ведущие экономисты-аграрники: Кондратьев, Макаров, Маслов, ряд других.

Истоки американской культуры

1.

22 июля 1930 года Н.И.Вавилов направил большое инструктивное письмо всем сотрудникам ВИРа в связи с тем, что срочно, по поручению Наркомата земледелия СССР, отбывал за океан.

В чем состояло поручение наркома, в письме не говорилось. Вероятно, Николаю Ивановичу было неприятно даже упоминать о том, что его вдруг посылают главой советской делегации на экономический форум.

Очевидно, приглашение на конференцию было получено заблаговременно, Политбюро (такие вопросы решались только на высшем партийном уровне!) сочло политически полезным в ней участвовать. А когда пришло время формировать делегацию, экономисты-аграрники с международной репутацией либо уже томились на Лубянке, либо вот-вот должны были туда угодить. В делегацию спешно включили тех, кто оказался под рукой: Г.С.Гордеев, А.И.Гайстер, Л.Н.Крицман, Н.Н.Анисимов. Все четверо – аграрники-*марксисты,* все стояли на правильных партийных позициях, были *правильного* происхождения. Но в науке они ничем себя не проявили, международных контактов не имели, их никто не знал. Пришлось поставить во главе президента ВАСХНИЛ, хотя и далекого от экономической науки, но широко известного в ученом мире.

Почему он согласился?

В директивном письме сотрудникам ВИРа это объяснено. Он писал, что *условием поездки* поставил ознакомление с субтропическими земледельческими районами США и, если удастся, Мексики и некоторых стран Центральной и Южной Америки. Так что он уезжал всерьез и надолго – потому и должен был оставить инструкцию.

Если вспомнить, что ВАСХНИЛтолько что была создана, в ближайшие месяцы предстояло развернуть сеть ее институтов, решая по ходу массу вопросов, то можно понять, что отпускать президента ВАСХНИЛна длительный срок никак не входило в планы Я.А.Яковлева.

Между ними должен был произойти непростой для обоих разговор. Николай Иванович должен был объяснить то, что раньше объяснял Горбунову: для него наука важнее должности. Если директорство и президентство мешают осуществлять

научные замыслы, он готов от них отказаться. На форум по экономике он может поехать лишь *при условии*, что у него будет возможность провести давно задуманную экспедицию по южным штатам и Мексике. Яковлев вынужден был согласиться.

2.

Между СССР и США все еще не было дипломатических отношений, визы надо было запрашивать в одной из европейских стран. Первая остановка – Берлин.

Приглашение на Конференцию в посольстве США не производит ни малейшего впечатления. Есть указание – «красных» в страну не пускать, остальное их не касается. Всё как в 1921 году, когда Вавилов и Ячевский были приглашены на съезд по болезням растений, но во въездных визах им отказали. В Америке часто правая рука не знает, что делает левая.

Пришлось пойти на обострение, хотя это не в характере Николая Ивановича.

О дальнейшем можно узнать из письма профессора АР.Мэнна, директора сельскохозяйственного колледжа Корнельского университета, от 10 сентября 1930 года: «Уважаемый доктор Вавилов. Пишу Вам, чтобы подтвердить получение письма, подписанного Вами и другими членами делегации из Советской России в адрес Международной конференции экономистов сельского хозяйства, где Вы просите обратить внимание на препятствия, с которыми столкнулась Ваша делегация при получении виз в Берлине и нью-йоркском порту. Ответственные здесь за протокол лица были очень обеспокоены этими трудностями и приложили все усилия, чтобы организовать Ваш въезд в Берлин, так и в Нью-Йорк, как только до нас дошла весть о трудностях, с которыми встретились члены Вашей делегации. Могу только выразить глубокое сожаление в связи с причиненными Вашей делегации неудобствами»[475].

Письмо больше похоже на вежливую отписку, нежели на искреннее извинение, но кое-какой свет на происшедшее проливает.

Визы получены.

Вавилов отправляет членов делегации за океан, а сам отплывает в Англию. Выступает с докладами на двух международных съездах – ботаническом и садоводства. Затем на пароходе «France» пересекает Атлантику. По пути, как обычно, делится впечатлениями и планами.

14 августа 1930 гна пароходе «France», Е.И.Барулиной”. «Вчера

день весь качало, и, не переставая, пролежал. Сегодня с утра тише. Прочитал роман Wells [Уэллса] о будущей войне с Россией. Вздор изрядный. Но for practica [для практики в английском языке]. А теперь буду готовиться и к Америке, чтобы изъять побольше. Особого пылу к путешествию не имею на сей раз. Надо самим работать. Но раз уже дошло дело до Америки, надо увезти, что нам надо. Задание: узнать душу Вашингтона и американские субтропики <…>.

От Англии в голове пока муть: страна диковинная и силищи большой, но пути не видать. Паразитарное состояние приходит к логическому концу, надо трансформироваться. Садовый съезд – бесплодное и глупое занятие. Кому, для чего – непонятно. Народ из 50 стран, в орденах, мундирах. Мой доклад, вероятно, был одним из самых содержательных, хотя я и дилетант в сих делах[476]. Ботанический съезд много интереснее, но суть его я по резюме усвоил. В общем, надо за дело, свое, большое, и через 5—10 лет мы сделаемся державой, к[отор]ую надо признать. Да это и неважно, а сделаем то, что знание мировое на mm продвинет. Мы, право, знаем, что делать.

Еще подучусь немного. А главное, писать, подытоживать и вести корабль к дальним еще берегам. У Baur'a [Баура] и в Мертоне много любопытного <…>. Ваш быстро, ловко делает большие дела и понял, как никто, идею центров. Едет в Ю. Америку собирать материал.

Голова моя еще шумит от вчерашней качки. Еще 4½ дня пути».

Чтобы понять сказанное об Англии, надо помнить, что предшествовавший 1929 год был годом «великого перелома» не только в советской России. Финансовый крах на нью-йоркской бирже вызвал цепную реакцию. Разорялись недавно еще процветавшие фирмы, миллионы рабочих теряли работу, оставались без средств к существованию. Положение

Великобритании усугублялось растущим брожением в колониях. Прошлое могущественной Британской империи, в которой «не заходило солнце», представлялось куда более радужным, нежели будущее.

24 августа 1930 г., *Итака, штат Нью-Йорк, Е.И.Барулиной:* «Вот уже пять дней в Америке. Итоги подводить рано, но участие мое [в экономической конференции] мне не очень по душе. Язык только английский. Товарищи мои его не знают <…> и очень слабо подготовлены. Доклады привезли непереведенными <…>. Да и люди мы разные и интересы разные. <…> Подготовленным к конференции я оказался лучше других, так как привез не очень

плохой доклад на английском.

Был у Эмерсона, узнал дела хромосомные. Они исключительно интересные. Был в Нью-Йорке у Томпсона в физиологическом институте. Это всё деловые части. Но дней десять придется потратить на конференцию, которая, хотя и интересна, но вне моих планов»[477].

Пока шла конференция, Вавилов посещал ботанические и селекционные станции Корнельского университета, славившегося своим сельскохозяйственным колледжем. Затем едет в Вашингтон, чтобы понять его «душу». Здесь его ждал приятный сюрприз.

16 сентября, Вашингтон, Е. И. Барулипой: «Пришла 1000 долл., т. е. сумма на *1½* месяца путешествия по субтропикам. До последнего дня не знал об ней. Посему ни о визах, ни об чем не хлопотал, думал ограничиться Флоридой и Калифорнией. Теперь обдумываю план 3—4-недельного дополнительного путешествия в Мексику, Гватемалу и в Гондурас, чтобы исчерпать субтропики. Тогда на 1932 г. останутся тропики и вообще останутся в мире тропики. Надо, dear, видеть».

Программу путешествия Вавилова по южным штатам составил тогдашний директор Бюро растениеводства У.Э.Тейлор. Она сохранилась, частично опубликована[478]. В ней всё расписано по дням и часам, с точным указанием – где, с кем и в какое время встретиться, в каком отеле переночевать, на какой автобус и в какое время сесть, чтобы ехать дальше. Тейлор «мобилизовал» сотрудников опытных учреждений на местах – они передавали друг другу российского путешественника, как эстафету Потерь времени не было, в считанные дни удалось сделать чрезвычайно много. Поистине не имей сто рублей, а имей сто друзей… Правда, Николай Иванович предпочитал другую поговорку: если есть сто рублей, путешествуй!

25 сентября, У.Э. Тейлору: «Я уже в центральной Флориде, знакомлюсь со всеми Вашими учеными и опытными станциями. Всё идет согласно прекрасному расписанию, составленному в Бюро растениеводства. Все очень любезны, и мне есть что посмотреть и чему поучиться. 27 буду в Чепмен Филд, а потом в Луизиане, Техасе и Аризоне.

Из Калифорнии я надеюсь поехать на 3 недели в Мексику и Гватемалу, ознакомиться с земледелием ацтеков и майя и посетить опытную станцию доктора У.Попено. В Вашингтоне (округ Колумбия) я надеюсь быть в ноябре (во второй половине) и, конечно, встретиться с Вами. Самое большое спасибо за Вашу помощь в составлении программы моей поездки»[479].

25 (27?) сентября, Флорида, Е.И.Барулиной: «Сегодня

добрался до Эдисоновой плантации каучуконоса и до дикой тыквы. Самое неприятное здесь москиты и змеи. Но скоро (через 3 дня) выберусь отсюда».

На плантацию каучуконосов Вавилов явился с рекомендательным письмом самого Эдисона, который, как вспоминал Николай Иванович, «отнесся исключительно доброжелательно к ознакомлению с работой его станции».

13 октября, Индио, Калифорния, Х.В.Харлану: «Только что прибыл в Индио. В Аризоне я пробыл более, чем ожидалось. 7 дней мы путешествовали с доктором Х.Л.Шанцем, осматривали Большой Каньон, Сакатун, поселения индейцев папаго, опи и все экологические типы. Мы проехали 1500 миль автомобилем по Аризоне. И теперь я, как мне кажется, настоящий специалист по растительности Аризоны.

Всё идет хорошо. Ни дня (включая воскресенья) без работы. Не правда ли, что жизнь все же коротка, чтобы всё увидеть? Мне бы хотелось продлить путешествие, но мои сотрудники уже просят меня вернуться. Завтра – Пасадена.

Я очень счастлив, что начинаю постигать сельское хозяйство американских индейцев. Маис поистине удивительное растение. У [племени] опи я обнаружил не менее 30 разновидностей»[480].

Но Вавилов знает: гораздо большие скопления форм маиса (кукурузы) сосредоточены южнее – в Мексике!

3.

В припадке религиозного фанатизма испанские конкистадоры, устремившиеся по пути Колумба в Новый Свет, не только уничтожили изумительную древнеамериканскую культуру, но стремились стереть с лица земли ее памятники. Они разрушали города, уничтожали храмы, жгли свитки с причудливыми непонятными письменами. Несмотря на огромные усилия археологов, многие вехи древнеамериканской истории загадочны по сей день. Во времена Вавилова загадок было много больше.

Мало было известно о том, откуда явились в долину Мехико воинственные полудикие племена ацтеков, которые покорили мирных строителей толтеков и затем восприняли их культуру. Еще более древняя культура майя достигла расцвета в первые века нашей эры южнее Мексики (Гватемала, Гондурас), затем таинственно исчезла, чтобы возродиться через несколько столетий на полуострове Юкатан, и снова исчезнуть – лет за триста до вторжения испанцев. Неизвестно было и

происхождение длинноухих инков – властителей Южной Америки, подчинивших себе доинкские племена в высокогорьях Перу и Боливии.

Человек проник в Америку из Азии.

По мере того как отступал ледник и животные уходили на север, небольшие азиатские охотничьи племена продвигались за ними. В утлых челнах из кожи они проникали на Алеутские острова, потом на Аляску. Продвигаясь затем на юг, они постепенно заселили Северную и Южную Америку, вплоть до Огненной Земли. Племена были небольшие, пространства огромные… На заселение всей Северной и Южной Америки потребовалось около тысячи лет.

Ученые по-разному оценивали временное начало этого великого переселения. Многие считали, что племена переходили из Азии в Америку многократно, с интервалами в сотни лет. Но большинство сходилось в том, что человек появился в Америке в ту далекую пору, когда ни культурных растений, ни домашних животных еще не знал. Только собаку – самого древнего своего друга – привел он с собой.

Значит, земледелие в Америке зародилось независимо от древних цивилизаций Старого Света!

Но некоторые историки и археологи в этом сомневались. Они указывали на поразительное сходство пирамид толтеков и майя с египетскими; обращали внимание на сходство некоторых обычаев и верований: в Новом Свете, как в Древнем Египте, поклонялись многим богам; там и здесь главным божеством было Солнце; там и здесь богам приносились жертвы…

Пирамиды толтеков и майя сходны, что неудивительно при географическом соседстве этих культур. Но они похожи и на египетские пирамиды! Не было ли какой-то неизвестной нам связи между Древним Египтом и Америкой?

Не было!

В книге о центрах происхождения культурных растений Вавилов уверенно выделил в Новом Свете самостоятельный очаг земледельческой культуры. Он охватывал горные районы северной части Южноамериканского континента (Перу, Боливию, Чили), Центральную Америку и юг Мексики.

Хотя Америка открыта сравнительно недавно, только в конце XV века, американские сельскохозяйственные культуры широко распространились в Старом Свете. Мексиканский ученый Альфонсо Касо считал, что «культивирование и одомашнивание американских растений и животных является самым большим вкладом из того, что к настоящему времени внесла в мировую культуру Америка».

Но Николай Иванович был убежден: культурная флора Америки еще мало используется; ее удельный вес в балансе мирового земледелия должен значительно возрасти.

В 1925 году ВСНХ (Высший совет народного хозяйства) снарядил ботаническую экспедицию в Америку под руководством профессора Ю.Н.Воронова – для исследования и сбора каучуконосных растений на предмет их возможной интродукции в советских субтропиках.

Быстрое развитие автомобилестроения вызвало огромный спрос на резину. Поиски растений с высоким содержанием каучука стали насущной задачей во всем мире. В Соединенных Штатах этим новым делом занялся великий изобретатель Томас Эдисон, хотя он был уже в очень преклонном возрасте. Во Флориде он устроил плантацию, где выращивались и изучались разные формы каучуконосных растений. Он пытался усовершенствовать методы извлечения каучука.

В СССР планировалось строительство крупных автомобильных заводов, так что требовалось многократно увеличить производство резины и максимально его удешевить. Был создан Резинотрест, ему выделили земли в Закавказье и Средней Азии.

Лучшими каучуконосами считались растения Южной Америки: гваюла и некоторые другие. Но для гваюлы – растения тропиков – климат даже самых южных районов Советского Союза был слишком суров. Найти холодостойкие разновидности гваюлы – такова была главная задача экспедиции Воронова[481].

Воронов был главным ботаником Резинотреста и – по совместительству – ученым специалистом Института прикладной ботаники. С ним отправлялись три помощника: В.Р.Живаго, Г.Г.Боссе и С.В.Юзепчук. В последний момент Вавилову удалось подключить еще одного, Сергея Михайловича Букасова, «лучшего знатока по картофелю, а также по огородным растениям». В записке в ВСНХ Вавилов напомнил, что Южная Америка – родина таких культур, как картофель, кукуруза, помидоры, подсолнечник, хлопчатник, потому экспедиция не должна ограничиваться поиском каучуконосов.

О том, какое значение Вавилов придавал поездке Букасова, говорит его письмо из Москвы от 2 августа 1925 года, посланное перед выездом экспедиции: «Пишу последнюю инструкцию, не надеясь увидеть Вас. В кабинете у меня вывесьте карту с Вашим провизорным маршрутом и регулярно, даже в мое отсутствие, посылайте на мое имя сведения о маршруте и о том, как идут Ваши дела. Помните, что вашей поездке с Юрием Николаевичем [Вороновым] мы придаем исключительное значение, и надо в

отношении культурных растений, чтобы Южная Америка была известна нам так, как Афганистан и Монголия»[482].

Сергей Михайлович Букасов окончил Петроградский университет, в Отделе прикладной ботаники работал с 1918 года, то есть еще при Р.Э.Регеле. Вавилов всячески его поддерживал и поощрял, был доволен его книгой о картофеле, которая готовилась к печати[483].

Сохранилось большое число писем Вавилова Букасову, из которых видно, как глубоко Николай Иванович был заинтересован его поездкой и как сердился на Сергея Михайловича, который писал в ответ очень редко, мало и не очень вразумительно.

«Моя покорнейшая просьба снова и снова остается все та же. Присылайте обстоятельные отчеты о том, что видите; фотографии не только на имя жены, которые нам урывками показываются и отбираются (я не ревнив, но дело ставлю на первое место). Вы видите, несомненно, массу любопытного, об этом сужу по письмам Ю.Н.Воронова и фотографиям, им посылаемым. Заканчивая с Мексикой, например, нелишне подвести итоги на десятке-двух страницах. Если будете на Гватемале, опишите. Не попасть Вам в Перу и Чили – это преступление против духа святого»[484].

После Мексики Букасов обследовал Гватемалу, Гондурас, Колумбию, доставил богатейший материал, но *преступление против духа святого* все-таки совершил: на Перу и Чили его не хватило.

Вавилов не был бы самим собой, если бы на том успокоился. По его настоянию в Южной Америке задержался один из участников экспедиции Воронова, С.В.Юзепчук. Николай Иванович поручил ему обследовать Перу, Боливию и Чили.

О том, сколь конструктивным было вавиловское «дистанционное» руководство экспедициями, говорит письмо к нему Юзепчука: «Как Вы знаете, я сначала было сильно противился расширению своего маршрута на СЫН [Чили], и только Ваши две категорические каблограммы заставили меня изменить свои намерения <…>. Должен откровенно сознаться, что в настоящее время я совершенно изменил свои взгляды относительно СЫН и чрезвычайно доволен, что сюда попал; скажу больше того – было бы, конечно, преступлением не захватить СЫН своим маршрутом».

Юзепчук вернулся в 1929 году. Наибольшей сенсацией были образцы 13 видов картофеля: в то время был известен один.

И вот сам Вавилов устремляется в *пекло творения* культурной

флоры Нового Света.

4.

Но прежде чем пересечь мексиканскую границу, Вавилов должен был заглянуть в Пасадену – чудный уголок Калифорнии, утопавший в апельсиновых садах и пальмовых рощах. Всего пару лет назад здесь поднялись корпуса нового, совсем молодого научного и учебного центра – Калифорнийского политехнического института, сокращенно Калтех.

Ректор Калтеха Роберт Милликен – выдающийся физик. Это он с большой точностью измерил заряд электрона, подтвердил квантовую теорию фотоэффекта Эйнштейна, определил величину постоянной Планка…

Милликен задался амбициозной целью – собрать лучшие силы американской и мировой науки, превзойдя

Массачусетский политехнический, Гарвард, Принстон, – все лучшие университеты Америки и мира.

Генетический институт и кафедру генетики он предложил возглавить Томасу Моргану, и тот передислоцировал сюда свою лабораторию из Колумбийского университета в Нью-Йорке.

В Пасадене Вавилова ждала встреча не только с Морганом, Бриджесом, Стертевантом, но и с молодыми генетиками из России – Георгием Карпеченко и Феодосием Добржанским: они стажировались в лаборатории Моргана.

В 1929 году стараниями Вавилова Карпеченко был выдвинут на стипендию Рокфеллеровского фонда. Его кандидатуру поддержали ведущие генетики Европы и США, в их числе Эрвин Баур и Томас Морган.

Когда Карпеченко прибыл в Пасадену, у Моргана уже третий год работал другой россиянин, тоже стипендиат фонда Рокфеллера, Феодосий Григорьевич Добржанский. Они быстро сошлись, стали друзьями.

5.

Феодосий Добржанский, как и Георгий Карпеченко, был ровесником XX века. Он родился 12 (25 января) 1900 года и позднее говорил, что, появись он на свет двумя неделями раньше, ему бы не избежать призыва в армию в годы Первой мировой войны, и тогда его жизнь могла бы оказаться очень короткой.

Дед Феодосия Карл Казимирович жил в городке Немирове,

неподалеку от Киева, где у него было имение, но за участие в польском восстании 1863 года он был лишен всех прав состояния и сослан на север: в Каргополь Олонецкой губернии. Легко отделался! Восстание «за нашу и вашу свободу» (А.И.Герцен) было подавлено генералом М.Н.Муравьевым, коему принадлежит знаменитое изречение: «Я не из тех Муравьевых, которых вешают, а из тех, которые вешают». В числе пяти повешенных декабристов был его кузен С.И.Муравьев-Апостол. В движении декабристов участвовали и другие Муравьевы, был замешан он сам. Он был арестован, уличен в принадлежности к тайному обществу, но сумел отвертеться: он-де давно отошел от движения, в планы восстания посвящен не был. Его освободили, вернули на службу, и он потом доказывал свою преданность престолу особой жестокостью, приклеившей к нему ярлык «Вешатель».

Карлу Казимировичу Добржанскому повезло: он не был повешен, даже не угодил на каторгу, а «только» в 20-летнюю ссылку. Его имущество было конфисковано.

Другим его везением была беззаветная преданность молодой супруги, урожденной графини Тышкевич. Замуж она вышла вопреки воле родителей и была лишена приданого. Но то, что бесприданница принесла мужу, было ценнее любого богатства. Повторяя подвиг жен декабристов, она отправилась за ним в ссылку. Родила ему кучу детей. Как им в глубокой глуши, не имея никакого состояния, удавалось их содержать и выводить в люди, трудно понять.

Семья была католической, но позднее приняла православие. Пятый сын в семье Григорий стал школьным учителем математики. Женился он на Софье Васильевне Войнарской – внучатной племяннице Достоевского. А вот этой паре с деторождением не везло. Они видели в этом кару Божию за какие-то грехи и старались их замолить. Однажды горячо молились у гробницы святого Феодосия Черниговского. Просили смилостивиться и даровать им наследника. Святой смилостивился, произошло чудо. Софья Васильевна, чей возраст уже неумолимо приближался к сорока, понесла. История, скорее всего, апокрифическая: очень уж похожа на библейское сказание о рождении Исаака состарившейся Сарой, женой Авраама. Но в семье Добржанских в нее верили. Новорожденного назвали архаичным именем Феодосий – в честь святого, даровавшего ему жизнь.

Воспитывали мальчика в приверженности к православию, и он вырос неколебимо верующим. Это не помешало ему стать убежденным последователем учения Дарвина. «Происхождение видов» он прочитал – нет, проштудировал! – пятнадцатилетним

школьником. В одном из писем из Америки своему учителю Ю.А.Филипченко он с юмором повествовал о том, как поверг в смятение набожную квартирную хозяйку, которая любезно пригласила его с женой на обед: «Черт ее дернул поставить такой вопрос: верите ли Вы, мистер такой-то, что мы произошли от обезьян? Вот тебе, бабушка,

и Юрьев день. Хотя я знал, что “верить” в такие вещи в Калифорнии отнюдь не полагается, но отречься все же не считал возможным. И если бы Вы видели, какое впечатление произвели мои слова! Если бы я сказал, что я – беглый каторжник, вероятно, было бы не хуже. Прощалась хозяйка холодно, обедать больше уж наверняка не позовет, как бы только не предложила освободить квартиру»[485].

С детства Феодосий увлекался собиранием бабочек, кузнечиков, божьих коровок. Когда подошло время выбирать профессию, колебаний у него не было: он будет энтомологом.

Учился в Киевском политехническом институте. Годы учебы пришлись на лихую годину: с 1917-го по 1921-й.

Февральскую революцию юноша принял радостно, как и всё его поколение, уставшее от войны, бестолковщины и распутинщины. Но затем грянул Октябрь. Гражданская война, бандитизм, тифозная горячка; смерть матери, тоже переболевшей тифом, а затем подавившейся черствой коркой; бескормица, ворвавшаяся в Киев на штыках красных конников, – всё это студент Добржанский испытал сполна.

Зато в Клеве сконцентрировалась плеяда крупных ученых-естествоиспытателей. В этом сильнейшем поле интеллектуального тяготения формировалась его личность, система ценностей, круг интересов.

Первая научная статья была им опубликована в 1918 году, когда он был первокурсником. Его отличил академик Вернадский.

Одним из ведущих учителей Добржанского стал профессор Левитский – они даже жили в одной квартире. Цитолог Левитский возбудил в нем интерес к тайнам живой клетки, к ее ядру, к носителям наследственной информации – хромосомам.

По окончании института Добржанский был оставлен на кафедре зоологии.

После Гражданской войны стали восстанавливаться связи с мировой наукой. Вавилов привез из США новейшую биологическую литературу. Левитский поехал знакомиться с ней в Петроград и привез дубликаты многих изданий. Профессор Петербургского университета Ю.А.Филипченко опубликовал в журнале «Природа» подробное изложение хромосомной теории наследственности Моргана; она произвела особое впечатление на

Феодосия Добржанского.

В 1924 году Левитский, по приглашению Вавилова, переехал в Ленинград, чтобы возглавить Отделение цитологии Отдела прикладной ботаники. Туда же перебрался Феодосий Добржанский: он стал ассистентом профессора Филипченко.

С именем Филипченко связан начальный этап развития генетики в России. Он читал первый в стране курс генетики, создал первую кафедру генетики, первую научно-исследовательскую лабораторию генетики, возглавлял Отдел генетики в Комиссии по изучению естественных производительных сил России (КЕПС), созданной в 1916 году по инициативе В.И.Вернадского. Среди учеников и сотрудников Филипченко Феодосий Добржанский занял ведущее место.

В мае 1925 года Филипченко направил его в энтомологическую экспедицию в Среднюю Азию, куда Добржанский взял и молодую жену Наталью Петровну, урожденную Сиверцеву: она тоже была биологом. Они изучали и коллекционировали местных насекомых, паукообразных и иную мелкую живность – от излюбленных Добржанским божьих коровок до скорпионов. Приходилось ездить по всей Средней Азии – то в переполненных поездах, то на тряских телегах, то верхом. Забирались в отдаленные уголки Узбекистана, где никто не говорил по-русски, так что надо было срочно осваивать узбекский язык. Неудобства и лишения путешествия нимало не портили их настроения. Письма Добржанского шефу написаны весело и непринужденно, полны живых наблюдений, искрятся юмором, иронией, подтруниванием над собой и своей женой. Из писем видно, какие теплые, сердечные отношения сложились у него с профессором. Да и в семье Филипченко они с Натальей стали близкими людьми. Письма завершаются приветами супруге Филипченко, его маленькому сынишке Глебчику, сотрудникам лаборатории. Нередки Натальины приписки.

На следующий год Добржанский снова в экспедиции, теперь без жены. Он во главе отряда исследователей. Задача – изучение домашнего скота в Казахстане и на Алтае.

Ведь скот – одна из главных *производительных сил* страны. Науку финансирует советская власть, она требует практической отдачи. Определяются численность и породы лошадей, коров, овец, коз, оцениваются преимущества и недостатки каждой породы. Для этого животных надо обмерять, взвешивать, измерять жирность молока, брать образцы овечьей шерсти…

В экспедиции не всё шло гладко: некоторые участники своевольничали, капризничали, показывали норов. Их надо было ставить на место, но делать это тактично, дабы не усугублять

раздоров, обид, взаимных претензий. Положение начальника экспедиции осложняла его вызывающая молодость. Ему 26 лет, он младше своих подчиненных, да и стаж научной работы у них больший – почему они должны подчинятся этому выскочке? И ведь почти круглые сутки все вместе: едят из общего котла, спят где придется, часто вповалку. Столкновения в таком коллективе – ад для всех участников.

Не обходилось и без опасных приключений. Однажды отряд попал под обстрел пограничников, принявших его за банду контрабандистов. К счастью, никто не пострадал.

В следующем, 1927 году Добржанский снова во главе экспедиции – в тех же краях. Однако обмеры и взвешивания лошадей и овец ему не по нутру. Его место в лаборатории; он хочет работать с мушками-дрозофилами. Он уже понял, что только с ними и благодаря ним можно проникать в глубины зародышевых клеток, раскрывать тайны наследственности и изменчивости. Как он писал Филипченко, «путешествие мне надоело уже порядочно, я в последнее время днем и ночью думаю о том, как бы поскорее вернуться к своим пенатам и заняться дрозофилой, любовь к которой благодаря длительной разлуке возросла у меня до больших пределов. В самом деле, поездил я довольно, теперь надо поработать и лабораторно – ведь душа моя в дрозофильном шкапу (а не Зоологическом] музее!!!). Кроме того, я чувствую, что сильно отстал по части литературы, это тоже так не может долго продолжаться. Вообще я решил, что надо браться за генетику, ибо, занимаясь этими самыми лошадьми, рискуешь в конечном итоге стать бывшим генетиком, а такая перспектива мне вовсе не улыбается. Словом, сейчас у меня тоска по дрозофиле и по лаборатории вообще». И дальше: «В голове у меня роем роятся планы работ с дрозофилой, и я думаю с приезда приступить к их проведению в жизнь, несмотря даже на необходимость обработать привезенный лошадиный материал. Итак, vivat genetics, vivat Drosophilia! На Америку, несмотря на то, что дело как будто все-таки движется, у меня мало надежды из-за политического положения; вряд ли сейчас станут куда бы то ни было приглашать кого бы то ни было. Впрочем, если бы все-таки это вышло, то и в таком случае надо начинать работать с дрозофилой, так как, согласитесь, явиться туда в роли дрозофилиста в прошлом, а в настоящем… в роли лошадника не слишком удобно!»[486]

Из-за особой приверженности Добржанского к дрозофиле начались расхождения между ним и его шефом. Хотя Филипченко пропагандировал хромосомную теорию, но он полагал, что гены сосредоточены не только в хромосомах клеточного ядра. По его

мнению, часть наследственной информации содержится в протоплазме клетки. Такие взгляды высказывал Карл Корренс, один из переоткрывателей законов Менделя; Филипченко был того же мнения.

Добржанский деликатно, но жестко критиковал эти воззрения, чем задевал самолюбие шефа. Но ни научные разногласия, ни 20-летняя разница в возрасте не омрачали их дружбы. Филипченко упорно пробивал Добржанскому Рокфеллеровскую стипендию и добился успеха. Грант в размере 1800 долларов был рассчитан на один год.

3 декабря 1927 года Феодосий и Наталья выехали в Ригу. Зная, как непросто получить визу в Штаты, сильно нервничали, но всё обошлось.

«Ура! Ура! Ура! Сегодня получили американскую, французскую и литовскую визы. <…> Сегодня ночью выезжаем в Берлин [визы в Германию, очевидно, были получены еще в России]. Американская виза – это прямо-таки “вещь” – целая пачка бумаг. Ее вручение сопровождалось, с нашей точки зрения, весьма забавным клятвоприношением, сопровождавшимся поднятием рук всеми присутствующими. Сия штучка раскрыла все двери – французскую визу получили не более чем в 10 минут».

Наталья к этому приписала: «Сейчас муженек читает американскую визу – презабавная: “Я – имя рек не являюсь идиотом (имбициликом), проституткой, полигамистом, нищим” и тому подобное».

27 декабря Добржанские сошли с парохода в Нью-Йорке.

На кафедре Моргана в Колумбийском университете российского стипендиата приняли очень тепло. Это и понятно: Морган был в числе его рекомендателей.

Основная лаборатория Моргана – в Исследовательском центре Вудс-Холл, штат Массачусетс. Здесь, к огромному своему удовольствию, и стал работать стипендиат: «Для работы здесь есть всё, что можно захотеть иметь».

Сам Морган в лаборатории появлялся нечасто – слишком много было у него обязанностей, вплоть до президентства в Академии наук США. Но Феодосий близко общался с ближайшими его сотрудниками – соавторами хромосомной теории: Бриджесом и Стертевантом. Он жадно впитывал новые для себя идеи и методы, учился обращаться со сложным – в России никогда не виданным – оборудованием.

Нетерпеливый, темпераментный Бриджес фонтанирует идеями, часто еще не сформировавшимися, путаными, полуфантастическими, но в них, как правило, «что-то есть».

Уравновешенный Стертевант умеет выловить рациональное зерно, развить, лишнее отбросить. Со Стертевантом у Добржанского складываются особенно теплые отношения[487].

Из Техасского университета пришла весть от Германа Мёллера: под воздействием определенных доз рентгеновского облучения у дрозофил резко возрастает частота мутаций – в десятки и сотни раз.

У Бриджеса и Стертеванта с Мёллером не лучшие отношения, как и у самого Моргана. Но все трое высоко ценят его ум и талант. В России один из ведущих генетиков А.С.Серебровский отозвался на открытие Мёллера статьей под названием: «Четыре страницы, которые потрясли мир»[488]. Добржанскому не терпится поработать в новом направлении.

«Во вторник, 17 сего июля, будем ее, милую, в первый раз обстреливать электронами, летящими с космической скоростью из рентгеновской трубки. Я горд до невозможности тем, что сейчас уже умею управляться с рентгеновским оборудованием, на которое зимою, когда ходили рентгенизировать мух, смотрел, как баран на новые ворота или дикарь на автомобиль Форда»[489].

Эти строки из письма к Филипченко могут вызвать усмешку. В новой области исследований Феодосий все еще ориентируется, как дикарь в автомобилях: он уже знает, как работает бензиновый двигатель, но не может понять, куда запрягают лошадь! Рентгеновская трубка потому так и называется, что продуцирует лучи Рентгена (Х-лучи), а не электроны. Летят они со скоростью света, а не с первой или второй космической скоростью. Сегодняшний школьник за такую сентенцию получил бы двойку. Но не забудем – это было написано 90 лет назад, и не физиком, а биологом.

О статье Мёллера Добржанский написал Филипченко: «По-моему, это произведение хотя и не большое по объему, но non multa, sed multum [много в немногом *(лат.)]*. Человек глубоко ковырнул проблему. И для меня ясны две вещи: 1) работа Мёллера – самое крупное явление в биологии за последнее десятилетие, 2) период некоторого затишья в генетике, продолжавшийся, по-моему, с 1920 примерно по 1926 год, прошел, и мы вступили в полосу больших событий. Мёллер хорошо открыл эту полосу и, вероятно, не менее блестяще пойдет дальше. Период затишья характеризовался, так сказать, перевариванием морганизма, сейчас это кончено, уже классическая доктрина, нечего ее переваривать, надо идти дальше и притом не вширь, а вглубь! <…> Не знаю, одобрите ли Вы эти мысли, но я лично смотрю на будущее науки вообще и на вопрос “что нам делать” именно под этим углом зрения. Нечего

радоваться, если кто-либо откроет, что у вида X ряд признаков менделирует или что у крысы описали еще один ген – всё это малоинтересно и важно, этим сейчас никого не удивишь и науки не двинешь. Это имеет смысл лишь у домашних животных и растений, пускай это развивают прикладники, генетикам же надо проникать в суть явлений»[490].

Супругам Добржанским в Америке интересно всё: природа, люди, обилие мчащихся по дорогам «автомобилей Форда». Живя в Вуде-Холле (база лаборатории Моргана), они часто ездили по окрестностям, благо радушные хозяева и соседи обычно проводили выходные дни в поездках и готовы были взять их с собой. Добирались до Ниагарского водопада – своей рокочущей мощью он произвел ошеломляющее впечатление.

Но далеко не всё вызывало у них восторг. Побывав на балу, устроенном местным церковным обществом, Добржанский был полон сарказма: «Этот американский бал на нас тоже произвел сильное впечатление – до того всё устроено нелепо. Ну что, например, можно придумать нелепее так называемой **reception party.** Это хозяин (т. е. пастор) и десять почтенных дам выстраиваются у входа шеренгой (именно шеренгой, это не преувеличение), и каждый входящий и уходящий должен пожать им всем по очереди руки и сказать стереотипную фразу для того, чтобы получить такой же стереотипный ответ. А затем – дальше в залах уже ни с кем здороваться не надо, а только стоя жрать всякую снедь (столов нет) и танцевать фокстрот до третьего обморока. И если бы Вы видели, какие ихтиозавры пускаются в пляс, – седые, лысые, паршивые, поганые, а все-таки танцуют. В общем, я скажу, что вся эта манера мне не нравится, и больше на американские балы я не ходок – в черном костюме чувствуешь себя совершенно так же, как после пребывания под проливным дождем в течение получаса. Но посмотреть это зрелище раз было необходимо. Моя супруга пыталась танцевать с Briges'ом [Бриджесом], но, кажется, ничего хорошего из этого не получилось»[491].

Наташу поражало, что многие американки носят брюки. Ей это казалось ужасно безвкусным.

От кавалера по фокстроту она тоже не в восторге. К тому же у него репутация волокиты, не пропускающего ни одной юбки. Подтрунивая над пуританизмом американцев, Добржанский замечал в одном из писем: «Бриджес-то, фу, – об этом человеке нельзя даже говорить в приличном обществе. Правда, Бриджес – человек "веселый", это тоже нельзя отрицать!»[492]

За Наташей этот ловелас тоже пытался приударить, пришлось его решительно отшить, дабы не допускать двусмысленности.

После этого у них установились добрые деловые отношения.

Общаться с Бриджесом ей приходилось ежедневно, ибо Морган, понимая, что на скромную стипендию российской паре существовать непросто, предложил ей работу технического ассистента. На нее возложили уход за дрозофилами. В лаборатории содержались сотни уникальных линий дрозофилы; ни одну из них нельзя было утратить, так что работа была ответственной. С этого начинал у Моргана сам Бриджес. Теперь он стал ее прямым начальником.

К сентябрю лаборатория Моргана, со всеми сотрудниками, приборами, инвентарем и мушиными линиями перебралась в Калифорнию.

За четыре дня Добржанские на поезде пересекли страну, получив богатую пищу для впечатлений. На перроне в Пасадене их встречал сам Морган – «любезность большая и, пожалуй, даже слишком большая, так как я себя чувствовал немного неудобно при этом». Временное жилье им тоже приискал Морган. Президент Академии наук и завкафедрой генетики Калтеха лично их опекал. При внешней сухости он оказался очень простым, доступным, отзывчивым джентльменом.

В Пасадене Добржанским нравилось еще больше, чем в Вудс-Холле: вид на горы, яркая синева безоблачного неба, добротные и ухоженные усадьбы, утопающие в зелени; пальмовые аллеи и благоухающие апельсиновые сады; чудесный климат; даже полуденный зной, благодаря сухости воздуха и морскому бризу, переносился легко. «Pasadena место очаровательное; если кто-либо вознамерится искать место, могущее служить моделью для человеческих представлений о потерянном рае, то он должен заглянуть сюда».

Правда, лаборатория оказалась совсем неустроенной, книги, оборудование лежали в нераспакованных, беспорядочно наваленных ящиках; рабочее место в тесной комнатушке приходилось делить с другими сотрудниками: здание еще не было достроено, комнаты – не отделаны.

У Моргана не было помощника по хозяйственной части, а научные сотрудники даже не думали о том, что должны ему помогать. Во все мелочи он вникал сам, принимал в то же время посетителей и вообще разрывался на части. Обустройство лаборатории затягивалось, Добржанский, вынужденный из-за переезда прервать начатые исследования, не мог набрать прежний темп. Между тем срок его гранта истекал.

Морган послал ходатайство в Совет фонда Рокфеллера о продлении ему гранта еще на год. Но в канцелярии Совета бумагу

потеряли, что выяснилось не сразу. Повторное ходатайство рассматривали очень долго. И – отказали! По уставу фонда, стипендии выдавались на строго определенный срок, продления не предусматривались. Совет не видел оснований для того, чтобы отклониться от установленных правил.

Морган воспринял отказ как личное оскорбление и резко его опротестовал. Скандала никто не хотел; после долгих переговоров сошлись на середине: стипендию продлили на шесть месяцев, из коих три уже миновали.

Продление стипендии не означало автоматического продления американской визы – этого надо было добиваться отдельно. Особой проблемой было продление советского заграничного паспорта и срока командировки от Академии наук: то и другое уже было просрочено.

Феодосий нервничал, а в Ленинграде нервничал Филипченко: он ручался за своего сотрудника, объяснял, какие выгоды советской науке принесет стажировка перспективного молодого ученого в эпицентре мировой генетики.

Филипченко видел в Добржанском восходящую звезду науки, относился к нему почти с отеческой нежностью и просто скучал без него. Он с нетерпением ждал его возвращения, но, понимая, насколько важна стажировка в Пасадене, советовал задержаться года на три, чтобы стать если не вторым Морганом, то одним из ведущим «морганоидов». Но разноречивые сведения из-за океана даже его сердили и раздражали. Складывалось впечатление, что Добржанский волынит, недоговаривает, темнит. В Пасадену летели обвинения в неискренности, в попытках действовать за его спиной. Понять в Ленинграде, что Феодосий сам плутает в лабиринте бюрократической системы Америки, было нелегко.

Неопределенность положения усугублялась смутой в душе Добржанского. Его научная работа быстро продвигалась вперед и сильно его увлекала. Рентгеном он бесстрашно ломал хромосомы, прослеживал, как обломки одной хромосомы присасываются к другой, как обмениваются участками и как всё это отражается на изменчивости признаков в следующих поколениях мушек. Это были новаторские работы, они открывали новые перспективы, а постоянное общение с Морганом и *морганоидами* расширяло кругозор, вдохновляло, двигало творческую мысль. И служило стимулом к тому, чтобы пробыть здесь подольше…

Полгода, на которые была продлена стипендия, истекали; просить Моргана ходатайствовать о новом продлении было бы просто нахальством, да и результат, скорее всего, был бы негативный. В апреле 1929 года всё заканчивалось. Но и вернуться в Ленинград, где его с нетерпением ждали,

Добржанский не мог: продления командировки, о котором он просил, ему не дали; без этого трудно было добиться продления паспорта, а по просроченному паспорту нельзя было получить транзитные визы…

И вдруг Морган предложил Феодосию остаться еще на год, в новом качестве – ассистентом профессора. О том, что на него может свалиться такое счастье, он не мечтал!

Добржанскому понятно: известие о новой отсрочке вызовет еще большее недовольство в России – и в Академии наук, и в университете, и в коридорах власти. Но отказаться было выше его сил. Объяснив ситуацию Филипченко, Феодосий приложил два заявления об отставке – одно в университет, другое в Академию наук: пусть его лучше не ждут!

Значит, он решил навсегда остаться в Америке?

Ни в коей мере!

Слишком многое здесь ему было чуждо. Он чувствовал, что никогда здесь не приживется, не станет своим. Таков лейтмотив многих его писем к Филипченко.

«Страна хорошая, очень хорошая, гораздо лучше, чем у нас ее представляют, но чужая. Этим последним словом всё сказано, всё исчерпано до самого дна. И этого не поправишь никогда, так как генотип ли тут замешан или что-либо другое – не знаю, но нечто настолько важное, что ничем его не вырубишь. Я люблю здешнюю природу, да и как ее не любить, – вероятно, мало на земном шаре лучших уголков, но всё это все-таки чужое до бесконечности»[493].

6.

Параллельно с Филипченко улаживанием дел Добржанского в России занимался Вавилов. Еще в начале его заграничной командировки Николай Иванович послал ему официальное предложение: создать и возглавить отделение генетики в Отделе зоотехники ГИОА, ибо «нужда в развитии прикладной генетики в области зоотехнии в настоящее время в нашей стране огромная». Зачисление научным сотрудником ГИОА не требовало немедленного возвращения, а влекло немедленную выплату командировочных: 100 золотых рублей в месяц. Хороший приварок к стипендии!

В ответном письме Добржанский благодарил за честь, но от должности отказался. Пояснил, что работает и в будущем намерен работать с дрозофилой; переключаться на домашних животных желания у него нет.

В декабре 1929 года, чувствуя, как быстро приближается

новый срок отъезда, он сам обратился к Вавилову с предложением услуг, правда, не в зоотехнии, а в географической изменчивости: «Хотя в настоящее время я занят исключительно работой по генетике Drosophila, но вопросы географической изменчивости остаются близкими к моим интересам. Думается, оба направления могли бы быть тесно совмещены, тем более что они нередко действительно переплетаются». Но из письма видно, что должность ему нужна для… нового продления командировки. «Моя командировка продлена Академией наук только до 1 апреля. <…> Если было бы возможно продлить мою командировку на дольше, это дало бы возможность закончить уже ведущиеся в настоящее время работы и, кроме того, ознакомиться с тем, что делается в Америке по части изучения географических вариаций»[494].

Вавилов такой вариант отклонил: «Насколько я совершенно объективно разобрался в Ваших делах, Вам надо возвращаться к апрелю или в апреле. Всех дел Вы в Калифорнии не переделаете. Работать здесь можно и с Drosophyla[495], и с чем угодно. Во всяком случае, условия научной работы все время улучшаются. Дела сколько угодно. В генетиках большая нужда. Даже в Ленинской академии [ВАСХНИЛ] допустима чисто теоретическая работа. <…> Вы пробыли более двух лет. Всё, что можно изъять, вы сделали. Возвращайтесь. Будем налаживать науку. Спрос на нее невероятный. Это Вам пишу, зная хорошо дело. И по ленинской Академии, и по Академии наук, и по Ленинградскому университету дорога для Вас открыта. Ходатайствовать о дальнейшем продлении тактически неудобно. По части устроения Вас и я, и все мы, я разумею прежде всего Юр[ия] Александровича Филипченко], конечно, сделаем всё от нас зависящее»[496].

Апрель миновал, подходил к концу май, Добржанский все еще в Пасадене.

И вдруг – телеграмма от Вавилова, совершенно ошеломляющая. Получена 22 мая 1930 года: «Филипченко умер. Менингит. Ваше возвращение очень желательно»[497].

Добржанский неделю приходил в себя.

Оставаться в Штатах он больше не мог и вернуться в Россию по просроченным паспортам тоже не мог.

«Мне хотелось бы по приезде продолжать работу по генетике дрозофилы и сделать это основным занятием. Думается, что такая работа наиболее все-таки уместна в университете, и поэтому я стремлюсь получить место прежде всего там. <…> Если это нужно, я готов прислать по Вашему указанию официальные заявления о предоставлении мне той или другой должности в Университете, в Академии наук или ином учреждении, в котором

моя работа может быть желательна или полезна. Будучи официально зачислен, я хотел бы получить от соответствующих учреждений продление моей командировки; это последнее совершенно необходимо мне для продления заграничных паспортов, которые уже просрочены. Без такого продления я не смогу получить ни виз для проезда, ни въехать в СССР. Имея всё это, я мог бы в начале осени двинуться в обратный путь. К этому времени я рассчитываю закончить ведущиеся теперь работы, и в это время истекает первоначально предполагавшийся срок моего здесь пребывания»[498].

Но и в начале осени 1930 года Добржанский не выехал.

Он чувствовал себя неприкаянно. Все вечера проводил с Карпеченко – единственная, кроме жены, родная душа! Разговоры, по большей части, крутились вокруг неразрешимой проблемы: ехать или не ехать в Россию?

Для Карпеченко вопроса нет, но Добржанский полон сомнений. Душу эти нескончаемые обсуждения не облегчали.

И вот – середина октября. В Пасадене Николай Иванович Вавилов. Короткая встреча с давними знакомыми, которых не видел много лет: с Морганом, Бриджесом, Стертевантом. Выясняется, что Бриджес не прочь приехать на несколько месяцев в Россию – Вавилов с радостью берется это устроить.

Вечера, конечно, с соотечественниками.

У Карпеченко всё просто. Срок его стипендии еще не истек; по истечении он вернется домой – никаких отсрочек, никаких продлений не требуется.

У Добржанских всё очень и очень сложно. Документы просрочены: и американская виза, и советские паспорта, и срок командировки. Он увлечен работами по дрозофиле, они никак не завершаются, о чем писал ему еще Филипченко: решение одних проблем ставит новые – конца никогда не будет, как нет конца процессу познания.

Николай Иванович обещал Добржанскому, что, вернувшись в Россию, сделает всё, что сможет, чтобы облегчить его возвращение.

А пока – на очереди Мексика…

7.

Въездная виза Вавилова была оформлена еще в Вашингтоне, но на границе его задержали: хотели что-то выяснить, требовали дополнительные бумаги. В мексиканских газетах страшилки: красный профессор покушается на национальные богатства

страны, его «агент» Букасов уже нанес ей огромный ущерб.

3 ноября 1930 г., Е.И.Барулиной: «Сижу, дорог[ая], на границе Мексики. Жду разрешения. Тут оказались затруднения неожиданные. Сижу, учу испанский. Это дело идет успешно. Читать уже могу. Начал писать главу о Новом Свете для центров».

3 ноября, вечером, Х.В.Харлану: «Всё улажено. Иммиграционная служба Мексики продержала меня три дня. Они были совершенно неправы, потому что у меня всё было в порядке. Но это обычная история, к которой я привык. Изучал испанский. И теперь могу немного говорить. Взял 10 уроков в Ногалесе. Начал писать философию доколумбова сельского хозяйства»[499].

Вавилов пересекает полого поднимающееся к югу Мексиканское плато с громадами гор и маленькими озерами – ими заканчиваются бегущие навстречу немноговодные реки. На карте это жирные головастики с тонкими извилистыми хвостиками. Он едет по единственной в своем роде пустыне, где культурные растения выращиваются на безводных песках. Растения, правда, особые: высокие колючие кактусы и агава – из ее листьев добывают сок для приготовления спиртного напитка пульке…

В музеях столицы Мексики Вавилов рассматривает керамические изваяния древнеамериканских божков, знаменитый круглый камень-календарь, запечатлевший представления ацтеков о вселенной.

В часе езды от Мехико – древняя столица толтеков, создавших высокую культуру и сгинувших под ударами завоевателей с севера, последней их волной были племена ацтеков. Вавилов фотографировал гигантские статуи и пирамиды, служившие подножьями храмов Луны и Солнца.

Вблизи южной границы Мексики он изучает памятники майя – еще более древнего и загадочного народа доколумбовой Америки.

Он чувствует себя свободным, деятельным, счастливым. Как всегда чувствовал себя в экспедициях.

10 ноября, Е.И.Барулиной: «Тут тьма интересного. Наши comrad'ы(экспедиция) мало что поняли (т. е. Воронов, С.М.Б[укасов]) – все-таки мировой кругозор нужен. Надо тут денег в 3 раза больше, чем у меня, и времени в 10 раз больше. Но для философии бытия, дорогая, надо тут быть и мир надо видеть. Осталось немного. Сегодня понял за день больше, чем из всех книг читанных».

Исследования Воронова, Букасова и Юзепчука Вавилов оценивал очень высоко. Ими были доставлены тысячи форм культурных растений. В селекции картофеля эти находки

произвели полную революцию. Как и в селекции кукурузы, хлопчатника, ряда других культур.

Чего же не поняли *comrad'ы*?

Настоятельно советуя Букасову проникнуть в Перу, Чили, Боливию, Вавилов полагал, что именно там зародилась древнеамериканская культура, оттуда распространилась в Центральную Америку, Мексику и дальше к северу. В этом убеждала статья О.Ф.Кука «Перу как центр введения в культуру растений», появившаяся в «Journal of Heredity» («Журнал наследственности»). Николай Иванович воспринял ее почти восторженно: «Я давно не читал такой интересной статьи».

В эпоху завоевания Америки европейцами народности этого региона тесно общались между собой. Прекрасные дороги, проложенные инками, доходили до дальних рубежей их государства. Однако пиктографическое (рисуночное) письмо майя и ацтеков не было знакомо инкам: их «письменностью» было вязание узелков на разноцветных нитях. Но такие различия представлялись второстепенными. Схожесть верований и обычаев, казалось, не оставляла сомнения в тесном единстве наиболее развитых древнеамериканских культур. Словом, всё говорило в пользу концепции Кука.

Путешествуя по Мексике, Вавилов убедился, что американский коллега был прав лишь отчасти. Земледелие Южной Мексики просто кричало о своей первичности.

Американские индейцы не знали сельскохозяйственных животных; необходимость обрабатывать землю вручную не позволяла засевать большие площади и заставляла особое внимание обращать на само растение. Отсюда – интенсивная селекция. Гений американских индейцев создал огромное количество сортов кукурузы, приспособленных к самым разным условиям. Кукурузу в Мексике возделывали чуть ли не во всех районах – от переувлажненных до засушливых, от высокогорных до низменных. Бросалось в глаза, что поля сильно засорены близким родичем кукурузы теосинте – это тоже говорило о первичности данного очага. Значит, кукуруза – этот основной хлеб американского континента – была введена в культуру в Южной Мексике и соседних районах

Центральной Америки (Гватемала, Гондурас). Отсюда она пришла в Перу, а не наоборот. Вот почему американские ученые, двадцать лет изучавшие перуанское земледелие, нашли около 750 сортов кукурузы, а Букасов в Мексике собрал почти 1200!

Здесь же Вавилов обнаружил большое разнообразие сортов хлопчатника упланда, какао, нескольких видов тыквы, фасоли, чайоту… Для большинства растений сохранились их ближайшие

родичи, можно было проследить все этапы их вхождения в культуру.

«Ряд культурных растений, – писал Вавилов, – как агавы, хенекен, магей, в сущности, неотличимы от диких растений, и нередко трудно сказать, использует ли человек дикие растения, поселившиеся около его полей, или они появились здесь по его воле».

В самом деле, выжигая дикие леса, мексиканцы сохраняли нетронутой сливу, плоды ее использовали. Как определить, дикой или культурной надо считать такую сливу?

Земледелие в Мексике неполивное. Оно не приурочено, как в Азии, к речным долинам – в этом тоже особенность мексиканского земледелия.

Вавилов старается не замечать неудобств и трудностей путешествия по Мексике, на что очень жаловался Букасов. Он носится по стране. Поднимается в горы и спускается в низины, посещает города и селения, пытается объять необъятное на базарах. В считанные недели успевает проделать работу, на которую коллегам потребовалось бы много месяцев. Он почти физически ощущает, как жестко ограничен во времени.

Он заводит связи с местными опытниками, старается их увлечь исследовательским азартом. Один из них – студент сельскохозяйственного института Илиас Кесельбренер, выходец из России, его привезли в Мексику еще ребенком. Илиас беден, нуждается в подработках. Убедившись, что парень смышленый и добросовестный, Николай Иванович его подрядил и успел даже кое-чему научить, за что тот был безмерно благодарен и письма потом подписывал: «Ваш ученик Илиас Кесельбренер».

Не успевая посетить полуостров Юкатан – цитадель цивилизации майя, – Вавилов поручил Илиасу эту важную часть маршрута и затем, уже из Ленинграда, его наставлял:

22 марта 1931 г., И.Л.Кесельбренеру, Чапинго, Мексика”. «Теперь жду не дождусь отчета Вашего по Юкатану, дельного, с обстоятельными сведениями о том, как же велось земледелие в Юкатане, в условиях сухого климата. Жду образцов, которые пока еще не пришли. Если всё будет сделано, расхвалим Вас, нет – будем ругать. <…> Вы должны были получить от станции данные по гваюле о совершённой работе, которые Вы должны были переписать. Их еще не получил. Объясняю это только тем, что Вы увлеклись мексиканками. <…> По Юкатану получил много Ваших фотографий, но все они легкомысленного содержания, документов ботанико-агрономических в них очень мало. <…> Жду от Вас главным образом самых высокогорных хлопчатников. Достаньте их со дна морского, используйте все

свои связи. Пошлите во все концы Мексики (южной в особенности) народ искать хлопчатник и шлите»[500].

31 марта: «Вчера пришли Ваши юкатанские посылки. Это большое событие. Раскладываем их, кое-что повреждено насекомыми, но в общем материал интересный. Дошел и хенекен [юкатанская конопля]. Впервые в СССР появляется юкатанский материал. Это целый подвиг, но теперь – теперь нужен Ваш хороший отчет. Главное – показать, как же велось земледелие в Юкатане в условиях сухих. Каковы климатические условия. Почвы, вами присланные, очень оригинальные, это – тип, близкий к латеритам. Передам эти почвы в Музей Академии наук – лучшее мировое собрание образцов почв»[501].

16 апреля". «Юкатанский материал, собранный Вами, чрезвычайно интересен, и в нынешнем году мы высаживаем его на наших южных отделениях. Теперь жду от Вас превосходный очерк по Юкатану»[502].

О том, как непросто было это дистанционное руководство, говорят, к примеру, такие строки: «Амторг Вы не беспокойте, денег они Вам все равно не дадут, так же как ни в каком мексиканском банке, какую бы милую наружность Вы ни имели… Хорошо еще, что Ваши телеграммы были при мне, и я их уговорил послать Вам денег в начале января, и то мне пришлось всячески уговаривать и брать на себя полную ответственность, и еще не знаю, как нам удастся во всем оправдаться, тем более что пока еще Ваши материалы не пришли, а семена гваюлы, которые посланы в двух ящиках, невсхожи»[503].

Но овчинка стоила выделки.

21 марта 1932 г., И.Л.Кесельбренеру: «На днях видел ящики с мешками гваюлы, которую Вы собирали. Пришло всё в отличном виде. Собрано весьма аккуратно, с разных мест, с указанием высот, с указанием типов. Словом, экзамен Вы выдержали очень хорошо. Я уже рассматривал семена в Москве в специальной комиссии, и все согласились с тем, что это исключительно ценный материал. Ваша репутация теперь стоит в Каучуконостресте [Резинотресте] весьма высоко. В нынешнем году весь этот материал будет высеян в Туркестане и к северу от Баку в Азербайджане. <…> Итак, приводите землю мексиканскую в порядок. Имейте в виду, что нас сугубо интересуют высокогорные хлопчатники, дикая кукуруза, каучуконосы. Всё это еще не изучено, а между тем имеет первостепенное значение»[504].

Но это было потом. А пока Вавилов еще в Мексике.

12 ноября 1930 г., Oaxaca, Mexico, Е.Н.Сынской: «Дорогая Евгения Николаевна. Привет из Центральной Америки.

Заканчиваем Америку. Тьма тут интереснейшего и нужного. Американский центр отшлифуем назло Вашингтону. Тороплюсь знать Ваши подвиги»[505].

21 ноября, Е.И.Барулипой: «Сегодня, dear, направляюсь в Гватемалу. Мексику кончил. Заболел было, да и сейчас не вполне на ногах. Обычная история, простуда и ревматизм, как после Афганистана и Памира». Приписка датирована следующим днем. «Еду через силу. Вагоны тут неудобные, и вообще мне Мексика понадоела. Только ради философии надо всё видеть самому».

3 декабря, ей же: «Дорог[ая], кончаю Гватемалу. Сделал разрез через всю страну. Тропики постиг».

Больше шестидесяти видов растений, возделывавшихся до прихода испанцев, нашел Вавилов на Североамериканском континенте. Только подсолнечник и земляная груша были введены в культуру севернее Мексики, но где именно, Вавилов затруднялся сказать. В исторических и археологических документах не удалось найти свидетельства тому, что индейцы доколумбовой Америки использовали в пищу подсолнечное масло. Возможно, что о питательных свойствах подсолнечника индейцы не подозревали и возделывали его только для красоты!

Центр происхождения остальных культур был приурочен к небольшому району южной Мексики и Центральной Америки. Его площадь составляла двадцатую часть всей территории. Столь компактного очага первичного земледелия Вавилов еще не встречал. Всё говорило о том, что, кроме перуанского, на американском континенте сосредоточен еще один очаг происхождения культурных растений: юг Мексики и Центральная Америка, причем этот очаг более важен по составу культур! Таков был предварительный вывод. Чтобы *доказать* это положение, надо было самому исследовать перуанский очаг. Но двинуться дальше на юг Вавилов не мог: деньги иссякли, время истекло, виз не было.

8.

Вернувшись в Штаты, Вавилов отправился в Нью-Йорк, чтобы отплыть в Европу, но по пути остановился в Кливленде, штат Огайо, где проходила генетическая конференция. Здесь он снова встретился с Томасом Морганом и воспользовался моментом, чтобы обсудить положение Добржанского. Морган обещал написать письмо в Академию наук, указать, насколько продуктивна была работа Добржанского в его лаборатории, и взять на себя вину за его задержку. Морган «отнюдь не думает и

не считает правильным удерживать Вас. Я как будто уловил, но не утверждаю, что он тоже считает, что Вам надо ехать»[506].

Но проблема была не в том, что думал Морган о будущей работе Добржанского, а в правовом статусе его ассистента.

Ведь тот приехал на один год – по временной студенческой визе; ее можно было продлевать, но нельзя было заменить на постоянную. Закон это запрещал. В Америке закон – не дышло. Рано или поздно Добржанский *должен* был уехать из США.

Ну а как он сам к этому относился?

Феодосий не знал ответа на этот вопрос – с этим была связана львиная доля его душевных терзаний.

Эмиграция – процесс чрезвычайно тяжелый. У разных людей он протекает по-разному, но одно бесспорно: много легче тем, у кого пути назад нет. Рубикон перейден, надо вживаться в страну, которая тебя приютила. Иначе чувствуют себя те, для кого мосты не сожжены, канаты не обрублены, кто одной ногой остается в прошлом, оглядывается, ностальгирует, раздумывает над тем, не лучше ли развернуться на 180 градусов и двинуться к родным пенатам.

В таком положении оказался, вернее, поставил себя Добржанский.

Вавилов старался облегчить ему путь домой – формально и психологически. В письмах – уже из Ленинграда – журил за легкомыслие, но уверял, что серьезных проступков за ним нет, ибо командировка его была бесплатная; он не бездействовал, публиковал толковые работы, потому особых претензий за отсрочки к нему быть не может. Уверял, что его ждут, что он нужен, особенно теперь, после смерти Филиппенко. Лабораторию генетики в Академии наук некому возглавить. Вавилов поневоле возглавил ее, но только временно: у него невпроворот других дел и обязанностей. То есть он давал понять, что охотно уступит Добржанскому этот пост, когда тот вернется в Ленинград. Объяснял, что для продления паспортов продление командировки необязательно; просить о нем после всех прежних продлений не следует – это будет неправильно воспринято. Проще обратиться в какое-нибудь советское консульство – в Канаде, Париже или Берлине – и сразу же сообщить об этом, чтобы Академия наук могла поддержать его ходатайство. Николай Иванович обещал лично проследить, чтобы всё было сделано быстро и правильно.

Казалось бы, ясно.

Но в следующем письме Добржанский снова спрашивал, сможет ли он сосредоточиться на дрозофиле; не слишком ли будут отвлекать прикладные задания, которыми, вероятно, тоже придется заниматься; какую зарплату будет получать, будет ли ее

хватать на жизнь.

Вавилов отвечал уже со сдерживаемым раздражением: «Пока что можно предложить Вам место в Академии наук, но оно будет реально только тогда, когда Вы появитесь в СССР. Говорить с кем-то о том, чтобы Вам обеспечить место, повторяю, сейчас неудобно, ибо это начинает вызывать вопросы, почему и как. В Академии платят, если не ошибаюсь, 225 р. [в месяц]. Это мало, но вообще сейчас научные работники ставятся в довольно приличное положение. Сам я состою в правительственной комиссии и несколько в курсе этих дел. Во всяком случае, продовольствие будут получать в ближайшие недели такое, как рабочие. Мне, по крайней мере, странны Ваши интересы к практическим вопросам. Мы не привыкли им придавать крайнюю важность: люди живут такие же, с двумя ногами и руками, не хуже и не лучше американцев. <…> Словом, переходите Рубикон, трудности будут, но поскольку Ваша работа нужна, ценится, всё преодолимо и, повторяю, в Академии наук мы нуждаемся в Вашей работе. Материальных благ особенных гарантировать Вам не можем, особенно, вероятно, труден квартирный вопрос, о нем начинайте заранее беспокоить людей, но, повторяю, что люди, пишущие статьи и книги, могут сводить концы с концами. Придется позаниматься, может быть, первое время популярной литературой»[507].

Как раз с квартирой в Ленинграде у Добржанских проблем не было: уезжая в Америку, они оставили ее за собой. Филиппенко следил за тем, чтобы квартплата вносилась своевременно; после его смерти за этим следил кто-то из друзей Добржанского – либо его сотрудник по университетской лаборатории Юлий Керкис, либо вернувшийся из США Карпеченко, а скорее всего – молодой генетик Юрий Горощенко, который временно жил в этой квартире[508].

Хотя Вавилов считал неудобным заранее ставить вопрос о трудоустройстве Добржанского, он поговорил с непременным секретарем Академии наук В.П.Волгиным, после чего написал: «Академия наук в лице своего непременного секретаря и меня как директора Генетической лаборатории приглашает Вас занять должность ученого специалиста в составе Генетической лаборатории Академии наук. Немедленно, по приезде в Ленинград, Вы можете приступить к исполнению своих обязанностей»[509].

Но наполненные деловой конкретики письма Вавилова лишь усиливали тревогу Добржанского. Из них было видно, насколько изменилась и продолжает меняться страна, которую он покинул три года назад. Особенно поразило письмо от 9 июня: «Во всяком

случае, с Вашим умением писать, никаких [материальных] затруднений не будет. Книги сейчас нужны, их охотно печатают, лишь бы они были интересны. <…> Конечно, надо подковаться диалектикой. Дело это совершенно нетрудное для Вас, и кроме пользы ничего из этого не будет. <…> В общем, мы быстро двигаемся, поэтому надо следить за нашим теоретическим фронтом. Появляется ряд ценных статей в журнале “Под знаменем марксизма”, “Естествознание и марксизм”, – всё это Вам надо знать, тогда будете вооружены с ног до головы. От механистических идей надо Вам отойти, если таковые у Вас сугубо внедрились. <…> Особенно ждем от Вас “Генетику животных”. Пишите курс классический, но только чтобы не было тенденций, целеустремленности, механицизма, идеалистической тенденции, грубого материализма. Одним словом, пишите курс диалектически»[510].

Не могу поручиться, но не исключаю, что это было написано не без задней мысли: Вавилов подавал сигнал тревоги. Доброжанского оно обдало холодным душем.

«Хуже всего то, что, судя по Вашему письму, от меня потребовалось бы то, что я не могу дать. В самом деле, для того, чтобы жить, мне потребовалось бы подрабатывать писанием. Это еще ничего, в конце концов, многие так живут.

Но вот те требования о стиле и характере писаний, о которых Вы говорите, делают для меня положение невозможным. С этим стилем я не знаком, а насколько знаком, чувствую себя не в силах его принять, ни даже под него подделываться. А к тому же, ясное дело, и лабораторию надо вести в том же духе. Значит, с первых же шагов – неприятности, унижения и пр. Простите, Николай Иванович, если этим доставлю Вам неприятность. Но я написал откровенно, поставил все точки над i и ничего не утаил. При всем моем уважении к Вам лично, при всем моем искреннем желании работать в Академии наук, а не здесь (знаю, что в искренности этого желания многие сомневаются, но это их дело, – я говорю что думаю), вижу, что из этого ничего не выйдет. Написать это письмо мне было нелегко, но его не написать было бы хуже. Если же чем-нибудь могу быть полезен здесь, то постараюсь быть. Как бы то ни было, никогда не забуду ни страны, ни того, чем ей обязан»[511].

9.

Рубикон *был* перейден. Но – в противоположную сторону!
Надо было закрепляться в Америке. Но как?..

Студенческая виза, многократно продленная, очередной раз истекала. Превратить ее в постоянную в США возможности не было. Требовалось выехать и заново обратиться за визой – не студенческой, не гостевой, а – иммиграционной: только такая виза давала право на постоянное жительство. Получить ее гораздо труднее: желающих переселиться в США во много раз больше, чем страна готова принять; ждать приходится годами. Но другого пути не было.

Морган направил Добржанского на три месяца в Канаду, к профессору университета штата Британская Колумбия М.Лернеру. В Канаде Феодосий и обратился за иммигрантской визой.

Заполнил анкету – куда более подробную, нежели та, над которой они с Наташей потешались в Риге несколько лет назад. Отвечая на вопрос, бывал ли он в США и чем там занимался, Феодосий написал то, что было: приехал стипендиатом Рокфеллеровского фонда, а затем стал ассистентом профессора генетики в Калтехе. Был уверен, что это его неотразимый козырь, а вышло наоборот! Студенческая виза не давала права на работу в Америке. Став ассистентом Моргана, он нарушил закон, а нарушителю американских законов въезд в страну закрыт навсегда!

Добржанский оказался в западне…

Состояние полной безысходности чуть не довело до самоубийства. Снова обращаться к Моргану он не решался: тот был так добр и отзывчив, столько для него сделал, а теперь он подвел не только себя, но и его. Ведь наняв на работу того, кто не имел на нее права, Морган тоже нарушил закон!

О своем отчаянном положении Феодосий решился написать только другу и коллеге по лаборатории Милославу Демерцу. Тот тотчас пошел к Моргану.

– Всё уладится, пусть не переживает, – сказал Морган и отправился к ректору Калтеха Роберту Милликену.

Далее легенда гласит, что Милликен в это время был в Вашингтоне – по приглашению президента Гувера. Морган позвонил в приемную президента, но ему сказали, что профессор подойти к телефону не может: президент пригласил его на водную прогулку по реке Потомак. Морган возразил, что звонит по срочному делу и должен поговорить с Милликеном. Когда их соединили, он объяснил ситуацию и попросил помочь. Милликен передал просьбу президенту, тот позвонил госсекретарю, тот – в службу иммиграции. Через полчаса всё было улажено.

…Так ли было на самом деле, или не совсем так, но в итоге американский закон оказался не столь уж твердокаменным. Если

нельзя, но очень хочется, то можно! Феодосий Добржанский получил статус постоянного жителя США, через несколько лет стал полноправным гражданином.

По другой версии, Добржанскому «велел» не возвращаться в Россию Вавилов, и произошло это годом позже, во время VI генетического конгресса в Итаке, где они снова (в последний раз) встретились.

В круге первом

1.

Утопическая повесть Александра Чаянова о путешествии в сказочную страну, процветающую под руководством *крестьянской партии*, не была забыта. В 1930 году, то есть через 10 лет после выхода повести, умельцы из ОГПУ сказку сделали былью. Чаянова «оформили» одним из создателей *Трудовой крестьянской партии* — подпольной вредительской организации, готовившей акты террора против вождей большевизма с целью захвата власти. По делу ТКП были арестованы десятки ученых, экономистов, политиков. Их заставляли признаваться и называть сообщников, коих тоже арестовывали, заставляли признаваться и называть сообщников. Виртуальная *крестьянская партия* раздувалась, как мыльный пузырь.

От обвиняемых требовали показаний против самих себя, против своих друзей и коллег, а с особой настойчивостью – против Бухарина, Рыкова, других *правых уклонистов*.

Но ведь *уклонисты* обитали на Олимпе власти, в Кремле, – как они могли быть связаны с законспирированным подпольем?

Гэпэушным умельцам установить такую связь было нетрудно. Из профессора Кондратьева выбили показания о тайных встречах, на которых был якобы согласован состав будущего *коалиционного* правительства: наряду с лидерами ТКП в него планировалось ввести Рыкова, Сокольникова и… Калинина. О показаниях тотчас было доложено Молотову: он верховодил в ЦК в отсутствии Сталина. (Нажав на спусковой крючок процесса, генсек утомился и уехал в отпуск.)

Рыков и Сокольников были правыми *уклонистами*, бухаринцами – людьми конченными. Но – Калинин?! Михаил Иванович?! Председатель ЦИК, глава государства, *всесоюзный староста*, не замеченный ни в каких *уклонах!*..

Даже видавший виды Молотов пришел в смятение.

Нельзя было и подумать о том, чтобы утаить показания Кондратьева от генсека, но, направляя их Сталину, Молотов высказал осторожное сомнение: следует ли их рассылать членам ЦК, ЦКК и «руководящим кадрам хозяйственников», как это делалось по заведенному генсеком порядку? Что если вражина Кондратьев «намеренно пачкает» *всесоюзного старосту*?

Ответ вождя не оставляет сомнений в том, кто был *заказчиком* таких показаний: «Что Калинин грешен, в этом не

может быть сомнения. Всё, что сообщено о Калинине в показаниях – сущая правда. Обо всём этом надо осведомить ЦК, чтобы Калинину впредь неповадно было путаться с пройдохами»[512].

Генсек далеко просчитывал свои ходы. Калинина подозревал в недостаточной преданности себе лично, его надо было держать на коротком поводке.

Бедный *староста* не мог припомнить, приходилось ли ему когда-либо встречаться и о чем-либо говорить с профессором Кондратьевым. Запросил секретаря ЦИК Енукидзе – тот ответил: «О материалах, просимых тобой, сообщаю, что в прошлый раз прислал и тебе стенограмму твоего доклада на 4 съезде Советов. О Кондратьеве ты *только* там и говорил. Посылаем тебе сегодня тот же отчет по газетам и также твой экземпляр “Показаний” [Кондратьева]».

«Дело ТКП» продолжало раздуваться. Отделения подпольной партии были «обнаружены» во многих регионах страны, на Кавказе, на Украине. Только в Центрально-Черноземной области было арестовано 779 человек[513].

2.

Охота на ведьм в стране большевистской утопии началась в 1917 году и никогда не прекращалась, так что для ОГПУ всё это было привычно. С ускоренной индустриализацией было гораздо хуже. Планов громадьё не было подкреплено ни достаточными финансовыми вливаниями, ни квалифицированными кадрами, ни техническим оборудованием, которое почти не обновлялось со времен революции, ни – главное! – экономической заинтересованностью работников в результатах своего труда. Заинтересованность заменялась угрозами, окриками, авралами, искусственно разогреваемым энтузиазмом масс. Резко возросли аварии и травмы на заводах, на транспорте, в шахтах и рудниках. Понадобились козлы отпущения, и кто же лучше подходил на эту роль, чем буржуазные специалисты. Согласно *заветам Ильича*, эти люди «насквозь проникнуты буржуазной психологией <…> [они] нас предавали и будут предавать еще годы»[514].

В 1928 году возникло *Шахтинское дело*. В Донбассе арестовали несколько сот инженеров, техников, организаторов производства. Часть из них освободили, других осудили на закрытых судилищах, но *Главному Драматургу и Режиссеру* требовалось громкое пропагандистское шоу. Открытый суд над 53 обвиняемыми проходил в Москве, в Колонном зале Дома союзов,

и продолжался более сорока дней, с 18 мая по 6 июля. Роль председателя на зловещем представлении выполнял – тогда, кажется, впервые – ректор МГУ Андрей Януарович Вышинский. Обвиняли от имени государства нарком юстиции Крыленко и его подручный Рогинский, большие мастера этого дела. (Через десять лет Крыленко будет расстрелян, Рогинский – приговорен к 15 годам лагерей, живым не вернется.) Им помогали четыре *общественных обвинителя*, метавших громы и молнии. А чтобы спектакль не походил на игру в одни ворота, обвиняемых защищали 15 адвокатов. Всё как во взаправдашнем суде!..

Было «выявлено» и подтверждено подсудимыми, что они занимались *вредительством* аж с 1920 года – с того времени, когда Донбасс стал советским. Что они поддерживали тайные связи с бывшими владельцами шахт, которые из эмиграции готовили падение советской власти, чтобы вернуть себе свои владения. Что они устраивали аварии. Что укрывали наилучшие месторождения, чтобы сохранить их для бывших хозяев. Что принадлежали к подпольной антисоветской организации и действовали в сговоре друг с другом. Что тайно получали из-за границы огромные денежные суммы.

Всё было разыграно как по нотам.

Для четверых обвиняемых защитники добились оправдательного приговора. Еще для четверых – условного наказания. Для других – небольших сроков заключения. Наиболее злостные «вредители» получили по 10 лет, all *самых-самых* приговорили к *высшей мере*.

Формально приговор утверждался верховным органом советской власти, но он лишь штамповал решения Политбюро. Как откровенничал Бухарин, «Сталин предлагал никого не расстреливать по Шахтинскому делу, но мы с Томским и Рыковым сговорились и голоснули за расстрел».

Они *голоснули!* Какое емкое словцо! В нем содержание и стиль эпохи…

Их уже обвиняли в *правом уклоне*, то есть в оппортунизме, буржуазном либерализме, мягкотелости, вот они и показали пролетарскую твердокаменность.

Понимал ли Бухарин, какой ящик Пандоры открывал? Через 10 лет, когда *голоснет* товарищ Сталин, в ящик сыграет он сам! Впрочем, ящик тот был открыт задолго до того, как они *голоснули*.

…Для пятерых из одиннадцати приговоренных расстрел все же был заменен 10-летним заключением, шестеро получили пули в затылок. Товарищ Сталин, как положено вождю и наследнику Ильича, подвел под кровавый спектакль *теоретическую* базу:

«Нельзя считать случайностью так называемое Шахтинское дело. “Шахтинцы” сидят теперь во всех отраслях нашей промышленности. Многие из них выловлены, но далеко еще не все выловлены. Вредительство буржуазной интеллигенции есть одна из самых опасных форм сопротивления против развивающегося социализма. Вредительство тем более опасно, что оно связано с международным капиталом. Буржуазное вредительство есть несомненный показатель того, что капиталистические элементы далеко еще не сложили оружия, что они накопляют силы для новых выступлений против Советской власти»[515].

Буржуазным специалистам в стране большевистской утопии было уготовано светлое будущее.

О том, как было воспринято Шахтинское дело в некоторых кругах «буржуазной» интеллигенции, высказал член-корреспондент Академии наук В.Е.Грум-Гржимайло, ученый-металлург, председатель научного совета ВСНХ. В его поразительном по смелости *Заявлении об отставке* говорилось: «Они раздули Шахтинское дело, сделали из него мнимую угрозу срыва всей промышленности, взяли под подозрение всю интеллигенцию, арестовали множество инженеров, возбуждают серию дел. <…> Что должен делать я, для которого ясно, куда мы идем? Я, честный человек. Писать, говорить, печатать? Свободного слова нет, свободной печати нет… Остается молчать и делать вид, что служишь… Мы, дескать, люди маленькие… И ждать неизбежной катастрофы. Большевики, раздавив капитализм, уничтожили класс независимых от правительства людей. <…> Сейчас в России независимых людей нет. Все интеллигенты <…> голодом принуждены быть послушными рабами. Поэтому все молчат»[516].

Безумство храбрых.

Похоже, что в первый момент власти опешили от такой дерзости, а в октябре 1928 года автор заявления умер, что избавило его от репрессий. Но его молчавшие единомышленники были живы. Они *маскировались.* Их требовалось *дожать.*

Два года спустя, параллельно с делом *Трудовой крестьянской партии*, ОГПУ раскручивало два других громких дела: *Промпартии*, с теплотехником Л.К.Рамзиным в роли главного обвиняемого, и *Меньшевистского центра* — одной из звезд на нем стал Н.Н.Суханов. Оркестровку Сталин осуществлял лично: «Надо обязательно арестовать Суханова, Базарова, Рамзина. Нужно пощупать жену Суханова (коммунистка!): она не могла не знать о безобразиях, творившихся у них дома»[517].

Суханов был женат на Г. К. Сухановой (Флаксерман), доброй

знакомой Вавилова. Она служила в советском полпредстве в Риме и оказывала ему посильные услуги. После ареста мужа ее *пощупали*, но пощадили: ограничились удалением с дипломатической работы. Она стала редактором и журналисткой, общалась с видными учеными, писателями. В 1934 году, когда был возрожден журнал «Наука и жизнь», ее назначили ответственным секретарем. Она привлекала к сотрудничеству Николая и Сергея Вавиловых.

Ее муж Н.Н.Суханов до революции был видным меньшевиком, острым публицистом. Летом 1917 года писал памфлеты, в которых изобличал связи Ленина с германским генштабом. После победы большевиков от политики отошел, стал ученым-экономистом, членом Комакадемии, работал на разных постах, одно время в Институте сельского хозяйства, руководимом Чаяновым. В 1928 году он выступил с докладом о товарном голоде в стране. Для борьбы с ним предлагал ряд мер: 1) поднять закупочные цены на сельхозпродукцию; 2) увеличить экспорт; 3) притормозить темпы сплошной коллективизации.

Возможно, именно этот третий пункт рассердил генсека и стал толчком к делу *меньшевистского центра*[518].

Оба судилища снова были превращены в грандиозные шоу. Затаив дыхание, за ними следила страна, следил мир. Рамзин признал все обвинения и дал подробные показания против себя и своих подельников. Приговор к высшей мере ему заменили 10-летним заключением. Отбывал срок в относительно тепличных условиях шарашки, продолжал работать по специальности. А затем и вовсе был прощен, возвращен на пост директора института, награжден орденами, удостоен Сталинской премии. Вождь умел не только карать. И даже награждал кого-то из раскаявшихся грешников.

Суханов тоже дал признательные показания, но ему была уготована иная участь. Он признался, что был против ликвидации нэпа и против колхозов, ибо полагал, что «колхозное движение и вся хлебозаготовительная кампания 1929–1930 годов неизбежно будут иметь катастрофическое значение для всего нашего народного хозяйства». Был приговорен к 10 годам лагерей, через пять лет остаток срока ему заменили ссылкой. В 1937 году снова арестовали – уже как германского шпиона. Пытки и угрозы «поставить в аналогичное положение жену» принудили к новые «признаниям». 29 июня 1940 года он был расстрелян.

3.

По капризу *Главного Драматурга и Режиссера* дело Трудовой крестьянской партии до открытого суда решили не доводить. Приговоры выносились с молниеносной быстротой – на закрытых судилищах или решениями ОГПУ. Сотни обвиняемых были брошены в тюрьмы и лагеря, другие сосланы в отдаленные районы.

Чаянову дали пять лет тюрьмы. Заключение он отбывал в Ярославском изоляторе.

Туда же отправили Н.П.Макарова – на восемь лет, но, по ходатайству Н.И.Вавилова, срок скостили тоже до пяти. К счастью, у него было железное здоровье. В 1935 году его отправили в ссылку, 12 лет он работал плановиком-экономистом в совхозах Воронежской и Ростовской областей. В 1948 году стал преподавателем Ворошиловградского сельхозинститута, в 1956-м защитил докторскую диссертацию. Глубоким стариком смог вернуться в Москву. Умер в 1980 году, 93 лет, так и не дождавшись официальной реабилитации[519].

Чаянов не был столь крепок. Последний тюремный год ему по болезни заменили ссылкой и под конвоем доставили в Алма-Ату. На работу определили в Казахский сельхозинститут. Он с жаром взялся за дело: читал лекции студентам, руководил научно-техническим сектором, за короткий срок многое успел. Не дав завершить учебный год, его уволили: общение опального профессора со студентами сочли опасным.

Определили в НИИ экономики сельского хозяйства Казахстана, где Чаянов написал книгу в соавторстве с замдиректора института С.Нусиновым. Ее раздолбали в местной газете – от этого не смог уберечь и ничем не запятнанный соавтор.

С некоторыми коллегами у Чаянова завязались дружеские отношения, однажды он пригласил их к себе на чай. Это сочли криминалом. Уволили. Следующим прибежищем для него стал НКЗ Казахстана. Нарком оценил его познания, давал ответственные поручения. Но 17 марта 1937 года последовал новый арест.

Акт медицинского обследования, составленный через несколько дней после ареста, дает представление о его состоянии:

«У профессора Чаянова А.В. лицо несколько асимметричное – правая половина его несколько плоте и меньше левой <…>. Со стороны внутренних органов найдены явления микрокардиопатии: тоны сердца глухие, пульс 132 удара в минуту при нормальной температуре <…> зрачки сужены, вяло реагируют на свет <… > дрожание в веках и вытянутых пальцах <… > повышение

поверхностных и глубоких рефлексов. <…> Жалобы: головокружение, провалы памяти, упорная бессонница, боли в затылочной части головы. <…> Заключение: Чаянов страдает резко выраженной неврастенией на почве переутомления и начинающегося склероза мозговых сосудов»[520].

В материалах следствия по второму делу Чаянова его сын Василий Александрович обнаружил таблицу вызовов на допросы. На них подсудимого водили *21 раз*, каждый допрос длился много часов. Но в деле оказались протоколы только *двух* допросов. В них зафиксировано *признание* обвиняемого в том, будто и в ссылке он установил связи с *правой оппозицией* (то есть с бухаринцами); что занимался *вредительством)* что готовил *теракты.* Какими истязаниями заставили его подписать такие протоколы, можно только гадать. 3 октября Чаянов был приговорен к *высшей мере*, в тот же день расстрелян.

4.

Так как процесс по делу ТКП не был открытым, оно не имело такого громкого резонанса, как дело Промпартии или Меньшевистского центра. Оно стало рекордным по другим показателям. Ни с одного дела умельцы ОГПУ-НКВД не сняли такого числа урожаев. В последующие годы дело ТКП вновь и вновь открывали, втягивая новые группы обвиняемых.

Сохранились десятки письменных ходатайств Вавилова за арестованных, которых он лично знал. О том, как Николай Иванович относился к этим арестам, можно судить по доносу на него в ЦК ВКП(б) и лично Сталину вице-президента ВАСХНИЛА.С.Бондаренко и парторга Климова. Они «посчитали долгом большевиков» сообщить о том, что «когда ему [Вавилову] указали на безобразное положение филиала Всесоюзного института растениеводства в ДВК [Дальневосточная станция ВИРа], он, рассвирепев, заявил, что, когда там были Соболев и Савич (вредители), то дела шли

"блестяще", – "это были честные, самоотверженные люди!". Не было случая, чтобы Вавилов о ком-либо из установленных вредителей (Таланов, Максимов, Левитский и др.) сказал, что они преступники. Этим он всегда мешал нам правильно направлять настроение массы научных работников. Окружен он постоянно самой подозрительной публикой»[521].

В своих обращениях в ОГПУ Вавилов не мог ни «свирепеть», ни настаивать на невиновности обвиняемых. Он мог только характеризовать арестованных как научных работников, просить о

скорейшем разбирательстве их дел и предлагать использовать их по основной специальности – не ради них самих, разумеется, а для пользы страны и народа. Благодаря его ходатайствам участь некоторых обвиняемых облегчалась, а непростое положение ходатая – усугублялось.

В секретной «Справке на Вавилова Николая Ивановича», в числе многих других, есть и такая «улика»:

«После ареста основных деятелей ТКП, ВАВИЛОВ принимал все меры к тому, чтобы добиться их реабилитации. Принимал от осужденных и их жен заявления, ходатайствовал об их освобождении, заявляя о невиновности арестованных, представив Яковлеву, арестованному впоследствии как врага народа, список на освобождение 44 человек»[522].

Стилистическая неграмотность этого абзаца может соперничать только с лживостью содержания. Приходится повторить: Вавилов, конечно, нисколько не сомневался в невинности арестованных, за которых ходатайствовал, но просить мог только о скорейшем рассмотрении их дел и предоставлении работы по специальности. В противном случае его ходатайства рассматривались бы как вмешательство в компетенцию ГПУ-НКВД и могли только ухудшить положение арестантов.

Через 10 лет после первой волны арестов по делу ТКП главарем мифической партии сделают Н.И.Вавилова. Ему предъявят показания бывших сотрудников и коллег. Некоторым из них его ходатайства спасли жизнь. Другим не помогли, их кости истлели в необозначенных братских могилах.

Зато показания, выбитые из них палачами, обрели бессмертие. Они содержались под грифом – *хранить вечно*\ Ходатайства Вавилова об *облегчении* их участи станут *отягчающими* обстоятельствами в деле самого Вавилова.

5.

Вернувшись из американской экспедиции, Николай Иванович попал в атмосферу бесконечных проверок, собраний, проработок, на которых задавали тон Быков, Альбенский, Шлыков и другие «проработчики» с партийными билетами. Пока его не было, они стали еще более агрессивными. Несли они с трибун ужасную ахинею, ибо не понимали и не хотели вникать в суть той работы, которую громогласно разносили. На разные лады озвучивалось одно и то же: *буржуазные* ученые пропитаны *буржуазной* идеологией; они идеалисты, антидарвинисты, практике ничего не дают; их надо *поворачивать* к диалектическому материализму, к

социалистическому переустройству деревни.

Как вспоминала Е.Н.Синская, «Щиколай] Щванович] с мокрыми от пота волосами, с каким-то просительным и кротким выражением глаз, влезал на кафедру и в одно и то же время кротко и недоумевающе, возмущенным голосом начинал возражать, искренне стремясь убедить оппозиционеров, что всё высказанное ими есть плод невежества, и то, что Дарвина он знает и почитает, и т. д., и уходил с кафедры под свист и улюлюканье»[523].

Разоблачения снова вышли в печать.

29 января 1931 года газета «Экономическая жизнь» напечатала большую статью А.К.Коля под двойным заголовком: «Прикладная ботаника или ленинское обновление земли. Лицом к нуждам социалистического строительства».

«Революционное задание В.И.Ленина обновить совземлю новыми растениями оказалось сейчас подменным реакционными работами по прикладной ботанике над центрами происхождения растений». О том, что он сам еще недавно превозносил теорию центров происхождения, Коль предпочел забыть. Он продолжал: «Под прикрытием имени Ленина окрепло и завоевывает гегемонию в нашей с.-х. науке учреждение, насквозь реакционное, не только не имеющее никакого отношения к намерениям Ленина, но им классово чуждое и враждебное. Речь идет об институте растениеводства с.-х. академии им. Ленина».

Так первыми строками своей статьи Коль огорошивал читателя.

А что дальше? Дальше шли слезливые жалобы на то, что он, Коль, возглавляя в Институте Бюро интродукции, не мог развернуться, ибо его загрузили «кропотливой» работой по учету поступающих из-за границы семян. В угоду своим теоретическим представлениям, Вавилов собирает примитивные растения Афганистана и Абиссинии и игнорирует достижения мировой селекции.

А ведь через руки Коля проходили *все* заграничные поступления, и потому он не мог не знать о тесных связях Института с ведущими селекционными станциями и фирмами мира, от которых широким потоком шел семенной материал, включая наиболее продуктивные сорта мировой селекции. Однако он озвучивал то, что когда-то слышал от Арцыбашева, а еще раньше то же самое пытался внушить Вавилову Д.Н.Бородин: в Америке созданы высокопродуктивные сорта – закупай их вагонами и засевай миллионы гектаров! «Новым» в статье Коля было то, что этим примитивным представлениям он придал форму *политического доноса.*

Николай Иванович вынужден был написать ответ, но его статья в газете не появлялась. Чувствуя безнаказанность, Коль, Шлыков, Альбенский и другие крикуны становились всё более наглыми и боевитыми.

Уровень знаний «критиков» был близок к абсолютному нулю; научный авторитет каждого из них и всех вместе тоже был нулевым. Но за их спиной стояла партия, пролетарская диктатура, марксистско-ленинская фразеология – несокрушимая сила.

Из-за постоянных собраний, дискуссий, перепалок и перебранок работа Института была почти парализована. О спаянности коллектива, которую Николай Иванович так пестовал, уже нельзя было и думать.

В попытке переломить ситуацию Вавилов написал письмо наркому земледелия Яковлеву и в Президиум ВАСХНИЛ(то есть самому себе!): «Можно спорить о принципах и можно их подвергать дискуссии, но, к сожалению, дело пошло дальше и фактически ежедневно в той или иной форме ведутся уже действия и открыто и закрыто по свертыванию частей работы, и только приезд директора из-за границы несколько умерил темп событий».

Помогло ли вмешательство Яковлева или что-то другое, но 13 мая, через 3,5 месяца после печатного доноса Коля, «Экономическая жизнь» поместила ответную статью академика Вавилова. Контрастировала она со статьей Коля не только по содержанию, но и по тону, начиная с заголовка: «Работа Всесоюзного института растениеводства в области интродукции новых растений». Вавилов не спорил с оппонентами, не разоблачал их – он их утихомиривал и просвещал: «Привлекая широкий материал, мы учитывали те большие трудности, которые ставит наша континентальная страна. В готовом виде мы не можем найти достаточно зимостойкие сорта озимой пшеницы за границей, ибо почти все без исключения заграничные сорта озимой пшеницы гибнут в наших суровых условиях. Ни один европейский сорт пшеницы не выдерживает наших засух. <…> Развертывая исследовательскую работу, в настоящее время приходится учитывать запросы и сегодняшнего, и завтрашнего дня. Эти широкие задачи пугают “людей в футляре”, но они соответствуют по масштабу социалистической реконструкции, проводимой в советской стране»[524].

Спокойный, уверенный тон статьи Вавилова делал ее убойной. От истерических разоблачений Коля не осталось ничего. Но именно это не устраивало редакцию газеты: ведь получалось, что она подняла бурю в стакане воды. Выстрел из пушки по

воробьям оказался холостым. Публикацию статьи Коля можно было квалифицировать как *ошибку* газеты и даже как *политическую ошибку* — со всеми вытекающими последствиями.

Не желая этого признавать, редакция сопроводила статью академика Вавилова комментарием – капитулянтским по сути, но не по форме. В нем признавались «все бесспорные достижения» ВИРа, но говорилось, что «недостатки» «правильно констатировались в статье А.Коля».

«Недостатки эти проистекают из того, что ориентировка на “запросы завтрашнего дня”, о которой пишет академик Вавилов, оказываются для многих сторонников “чистой науки” удобным прикрытием от запросов сегодняшнего дня социалистической реконструкции сельского хозяйства… Очевидно, что только на основе самой решительной борьбы с такими тенденциями в сторону “чистой науки”, нередко служащими, как показал опыт других учреждений, прикрытием для вредительства, институт растениеводства сумеет действительно включиться в великую работу социалистической реконструкции Советской страны и покажет новые победы на научном фронте»[525].

«Социалистическая реконструкция» – обязательный языковый штамп того времени. Работа ВИРа не могла иметь к ней никакого отношения. Сорта не становились более или менее зимостойкими оттого, возделывали ли их в единоличных хозяйствах или на колхозных полях. Ну а «прикрытие для вредительства», усмотренное в обращении к «запросам завтрашнего дня», еще один *неприкрытый* политический донос. Грозовые тучи сгущались еще сильнее…

И вдруг – на вершине власти – затрубили отбой!

Сталин выступил с речью, опубликованной под заголовком: «Новая обстановка – новые задачи хозяйственного строительства». *Новизна* обстановки состояла в том, что с *правым уклоном* было покончено. Бухарин, Рыков и другие уклонисты посрамлены, лишены высоких постов. Они признали «ошибки», публично покаялись, заявили о полной поддержке *генеральной линии.* Торжествуя победу, товарищ Сталин счел за лучшее притормозить охоту на ведьм, что, конечно, полагалось обосновать по-ленински, то есть *диалектически.*

«Года два назад <…> наиболее квалифицированная часть старой технической интеллигенции была заражена болезнью вредительства», – заявил генсек. Эпидемия вредительства была вызвана «обострением классовой борьбы» из-за «трудностей колхозного строительства». Крен «части старой технической интеллигенции в сторону активных вредителей усиливался модными разговорами троцкистско-меньшевистских [одна из

кличек *правых уклонистов*, бухаринцев] болтунов насчет того, что «из колхозов и совхозов все равно ничего не выйдет»». «При таком положении вещей Советская власть могла практиковать лишь одну-единственную политику в отношении старой технической интеллигенции – политику **разгрома** активных вредителей, **расслоения** нейтральных и **привлечения** лояльных». Ну а «теперь даже слепые видят, что на фронте колхозного и совхозного строительства мы определенно победили, добившись величайших успехов». А если так, то «было бы неправильно и не диалектично продолжать старую политику при новых, изменившихся условиях. Было бы глупо и неразумно рассматривать теперь чуть ли не каждого специалиста и инженера старой школы как не пойманного преступника и вредителя. “Спецеедство” всегда считалось и остается у нас вредным и позорным явлением»[526].

СПЕЦЕЕДСТВО!

Неужто слово найдено?!

Говоря по правде, *спецеедстеом* диктатура пролетариата насыщалась не два последних года, а все 14 лет своего господства в стране! Но *такая* правда была бы не пролетарской, не диалектической, *такая* правда была бы еще одной вылазкой классового врага. Генсек решил по-пролетарски. В июне 1931 года он дал отмашку. *Спецеедам* было приказано умерить аппетиты, прикусить языки. *Тучи враждебные* над головой Вавилова разрядились, сквозь них даже пробился луч света. Увы, отмашка была дана не всерьез и не надолго.

Уже в следующем году увидела свет брошюра Г.В.Григорьева «К вопросу о центрах происхождения культурных растений (разбор теории ак. Вавилова)»[527].

По хлесткости стиля, передержкам и безграмотности она не уступала писаниям Коля и Шлыкова. А по масштабу политических обвинений – превосходила.

При работе над моей первой книгой о Вавилове я пытался установить личность автора этой брошюры, но никаких данных о нем не нашел. Ф.Х.Бахтеев, Н.Р.Иванов, В.С.Лехнович, другие вавиловцы о нем ничего не знали. Я предположил, что это, возможно, чей-то псевдоним.

Оказалось – ничего подобного!

В книге видного археолога и историка археологии АЛ.Формозова приведены подробные сведения о Георгии Васильевиче Григорьеве (1898–1941). С 1934 года он вел раскопки в Средней Азии, опубликовал ряд научных работ и 8 сентября 1941 года, «как раз в тот день, когда началась блокада Ленинграда», защитил кандидатскую диссертацию. Он был болен

туберкулезом, из-за этого его не призвали в армию, но, как других блокадников, посылали на строительство укреплений. Однажды, перекуривая вместе с двумя приятелями и, видимо, изнемогая от слабости и усталости, он задумчиво сказал:

– Всё это бессмысленно, скоро мы все умрем с голоду.

Один из приятелей настучал. Григорьев исчез. Второго приятеля вызвали на допрос, о чем он много лет спустя рассказал Формозову. Тому удалось получить доступ к следственному делу Григорьева.

Оказалось, что он был арестован 7 ноября 1941 года – в 24-ю годовщину Великого Октября. «Ему инкриминировали пораженческую и антисоветскую пропаганду (статья 58–10)».

В деле Григорьева оказались протоколы двух допросов – от 10 ноября, от 21–22 ноября (ночного). На первом допросе арестант отвергал все обвинения, на втором – всё признал. Вызывали ли его на допросы в промежутке между этими датами, как обрабатывали, в документах не отражено.

Зато есть две записки арестанта начальнику тюрьмы – от 20 и 24 декабря. В обеих – просьба разрешить получать продуктовые передачи от жены, чтобы не умереть с голоду. Ответа нет. «27 декабря тюремный врач констатировал “паралич [сердца] на почве истощения”»[528].

Осудить Григорьева не успели, потому он не подлежал реабилитации.

Он просто исчез – из жизни и из истории…

По свидетельству Формозова, к делу Григорьева была приобщена его брошюра, «разоблачавшая» Вавилова.

«Если бы он остался жив, то, вероятно, занял [бы] одно из центральных мест среди исследователей среднеазиатских древностей», полагал Формозов, ибо «Г.В.Григорьев вовсе не случайный человек в науке, тем более не бандит с большой дороги, как он выглядит у С.Е.Резника».

Такой неожиданный поворот сюжета меня озадачил. Во-первых, потому, что, ничего не зная о личности Григорьева, я не называл и не изображал его «бандитом с большой дороги». А во-вторых, потому, что с моей оценкой его брошюры Формозов согласен: «Общее впечатление от критики Г.В.Григорьева в наши дни отталкивающее, самое мрачное».

Могу добавить, что в *те дни* эта *критика* выглядела зловещей. Еще один политический донос на Вавилова – не тайный, как девять лет спустя на самого Григорьева, а публичный.

Брошюра 1932 года не имела никакого отношения к «преступлению» 1941 года, в котором обвиняли автора. Ее могли приобщить к делу по просьбе самого обвиняемого, надеявшегося

на снисхождение: тюремщики должны учесть его заслуги в разоблачении *врага народа*.

В конце очерка Формозов высказал предположение, что в 1932 году начинающий археолог действовал не по своей инициативе, а по наущению более могущественных сил. «В таком случае С.Е.Резник не совсем ошибся: Г.В.Григорьев, конечно, не псевдоним, но лишь подставное лицо, пешка в большой игре»[529]. В чем же тогда несогласие с С.Е.Резником? Мне недоступны извивы такой диалектики.

«Задача решается просто, – писал Григорьев о теории центров происхождения культурных растений. – С математической точностью можно указать пункт, откуда произошел тот или иной вид, вплоть до отдельного кишлака. А где этих видов большинство, там и центр происхождения земледельческой культуры. А где же исторический процесс? Где человек в его долгой исторической жизни? Где создание человеком “искусственной среды”, одной из сторон которой являются культурные растения?»

Всего этого в теории Вавилова Григорьев не видел. Но видел то, чего в ней не было, то есть надевал на теорию центров «дурацкий колпак», как впоследствии выразился Н.П.Дубинин по сходному поводу.

«Если стать на точку зрения Н.И.Вавилова, – заявлял Григорьев, – мы должны будем признать, что стиль “ампир” зародился в Петербурге, т. к. здесь он наиболее полно представлен во всем его многообразии, мы должны будем признать, что производство фитильных ружей имеет своим центром происхождения… горы Памира, т. к. тамвнастоящее время сосредоточено производство их во всем их разнообразии, притом в исходных формах».

«По Н.И.Вавилову выходит, – изготовляет критик еще один “колпак”, – что фараоновская организация власти и системы орошения или откуда-то пришли в готовом виде, или кем-то были выдуманы [?]. Ни то, ни другое решение не годится, так как если бы они пришли, то, конечно, мы имели бы свидетельства об их прародине и археологи давно бы уже их нашли».

С *дурацким колпаком* расправиться нетрудно. Ведь у Вавилова речь шла лишь о том, что пред существовавшее в горных долинах примитивное земледелие *облегчало* задачу строительства великих оседлых цивилизаций в долинах рек, так как снабжало эти цивилизации готовыми формами культурных растений и отработанными навыками земледелия.

«Таким образом, – резюмировал критик, – Н.И.Вавилов

устанавливает четыре пункта, долженствующие служить убедительным доказательством правильности его теории: 1) наличие сортового разнообразия, 2) укрытость горных долин от нападений, 3) легкость орошения в горах и трудность в долинах рек, 4) наличие отсталых форм земледелия в горных районах. Как мы видели, – разделывается с этими “пунктами” критик, – третий пункт о зарождении орошения в горах не выдерживает критики. Второй пункт также не убедителен, а четвертый не нуждается в серьезном опровержении [!] ввиду своей очевидной слабости».

Что же Григорьев противопоставлял вавиловской теории центров? Оказывается… ничего! Это отмечалось в редакционном предисловии к брошюре: «Основной ее порок – отсутствие положительной части, в которой были бы развиты взгляды, конкретные построения, конкретные объяснения, противопоставляемые критикуемым автором взглядам, построениям, объяснениям Н.И.Вавилова».

Но если бы Григорьев этим закончил свой разбор теории центров происхождения, его брошюра выглядела бы крикливым тявканьем моськи на слона. По тем временам оно было бы относительно безобидным. Однако автор едва дошел до середины. Ему еще необходимо вскрыть «сущность ошибок Н.И.Вавилова», а она «заключается в том, что, может быть, сам того не подозревая, он разделяет точку зрения индоевропейского языкознания».

«Реакционная, шовинистическая, западноевропейская лингвистическая теория, – сообщал Григорьев, – производит индогерманцев от какого-то индогерманского пранарода, индогерманской расы. Когда-то, где-то, по взглядам одних ученых – в Припамирских горах, потому что там сохранились языки, наиболее близкие к санскриту, по другим – в Прибалтике, так как литовский язык является будто бы исходным для всех индогерманских языков, образовалась индоевропейская раса, и отсюда пошли культуры. Н.И.Вавилов повторяет любого индоевропейца, забывая о диалектическом характере исторического процесса, он устанавливает, что когда-то в Гиндукуше произошли все сорта таких-то и таких-то культурных растений. Почему именно там? Потому что там разнообразие их древнейших форм. Далее Н.И.Вавилов пишет: “Указанные горные районы представляют не только очаги разнообразия культурных сортов растений, но и разнообразие человеческих племен”. Значит, и люди распространялись из этих же очагов? Между тем яфетическая теория [академика Н.Я.Марра] доказывает, что всё человечество пережило яфетическую стадию развития языка и этот процесс проходит одновременно в разных местах в

зависимости от развития социально-экономического строя различных обществ».

Попытка «побить» Вавилова академиком Марром выглядела бы комично, но в контексте *того* времени она была тоже зловещей. Теория Марра считалась единственно правильной, классовой, марксистской, расходиться с ним могли только враги диктатуры пролетариата. То, что сам Марр видел в открытиях Вавилова *подтверждение* свой теории, значения не имело.

Не говорим уже о том, что Вавилов установил ряд *независимых* очагов происхождения землевладельческой культуры, показав тем самым, что важнейший фактор – не исключительные способности выдающейся человеческой расы, а наличие в окружающей природе необходимых растительных ресурсов. Биологическое превосходство одной расы над остальными теорией центров происхождения *опровергалось.*

Однако, по мнению Григорьева, «Н.И.Вавилов крепко держится за индоевропейскую теорию». Процитировав его высказывание о том, что в долинах великих рек земледелие «требовало железной деспотической организации», Григорьев гневно вопрошал: «А кто же создал эту “деспотическую” организацию и возможность “массовых действий"? Кто научил этого “первобытного земледельца” высочайшей технике ирригации? Царь? Бог? Герой? Где та обетованная индогерманская прародина, в которую в настоящее время верят лишь метафизики и идеалисты, откуда всё появилось в готовом виде?»

Так Григорьев выставлял Вавилова идеологом фашизма, проповедующим превосходство индогерманской расы над низшими расами.

О том, что брошюра Григорьева не была самодеятельностью амбициозного юноши, ясно говорилось в редакционном предисловии: «Критический анализ Г.В.Григорьева работ акад. Н.И.Вавилова показывает, что специалисту негуманитарию не приходится отрекаться [Вавилов, стало быть, отрекался!] ни от учета достижений советской истории, ни даже от учета достижений такой, казалось бы, далекой от естественно-исторической специальности области научного знания, как лингвистика. Без осознанного учета выводов последней на деле имеет место неосознанное [хорошо хоть, не осознанное!] повторение реакционных положений буржуазной лингвистики».

Трагикомизм положения состоял еще в том, что безымянный автор предисловия уличал в невежестве академика Вавилова, объездившего весь мир и вобравшего чуть ли не всю мировую культуру, полиглота, владевшего столькими языками –

европейскими, восточными, древними, – что, пожалуй, только академик Марр превосходил его в этом отношении…

Никаких возражений со стороны Вавилова опубликовано не было. Сам ли он решил промолчать, или ему не дали высказаться, остается неизвестным. Впоследствии, когда друзья и ученики побуждали его более решительно реагировать на нападки, он иногда отшучивался:

– В Испании мне приходилось наблюдать бои петухов – любимое зрелище испанцев. Так там петухов равных по весу подбирают.

6.

Но публичные доносы Коля, Григорьева, Быкова, Шлыкова, Альбенского казались бы детским лепетом, если бы было известно «Директивное письмо», испеченное за семью заборами, за семью запорами, под грифом «Совершенно секретно».

Подписанное начальником экономического управления ОГПУ Л.Г.Мироновым, оно суммировало работу многих безымянных старателей. Датированное 14 марта 1932 года, оно в тот же день было утверждено зампредседателя ОГПУ И. А. Акуловым.

«ЭКУ ОГПУ считает установленным наличие разветвленной к[онтр]-революционной] группировки ВАВИЛОВА, стремящейся захватом в свои руки руководства и развития сельского хозяйства Союза вести его по пути задержки и срыва социалистической реконструкции в интересах капиталистической реставрации»[530].

Таков вывод. Это не чистая наука, оторванная от практики, и даже не индогерманская теория, а нечто куда более зловещее.

Директивное письмо (объем больше сорока страниц) показывает, что его сотворили люди, не имевшие ни малейшего понятия о растениеводстве, агрономии, о научных работах вавиловского Института. Зато они хорошо знали, что от них ожидается. Потому зачин документа не менее грозен, чем вывод:

«Разгром контр-революционных организаций в сельском хозяйстве СССР в 1930–1931 гг. [дело ТКП] привел лишь к временному ослаблению их деятельности. Развитие классовой борьбы в деревне и городе, подготовка международного империализма к войне и интервенции против СССР, дальневосточные события за самое последнее время – оживили в первую очередь к-р группы специалистов сельского хозяйства и активизировали давно сложившиеся неликвидированные антисоветские группировки агрономии»[531].

Заговорщиками и контрреволюционерами названы почти все

ведущие сотрудники ВИРа: Писарев, Таланов, Кулешов, Чинго-Чингас, Букасов. А также Мейстер (Ниж. Волга), Чехович (Ср. Волга), Овсянников (Украина). В тот же ряд поставлены другие деятели сельхознауки, с которыми тесно сотрудничал Вавилов: Ячевский, профессор Петровки Лисицын, «группа Шейкина» из Института кукурузы в Днепропетровске, «группа Симиренко» из Плодово-ягодного института в Киеве, «группа Калгушкина» в Сортсемтресте, директор Одесского селекционно-генетического института Сапегин – всех не перечислить.

Особого внимания удостоен Моисей Михайлович Вольф – вице-президент ВАСХНИЛ, член коллегии союзного Наркомзема, бывший член коллегии Наркомзема Украины, председатель сельскохозяйственной секции Госплана. Его подрывная деятельность состояла в том, что он «составлял ряд вариантов пятилетки по сельскому хозяйству на 33–37 гг. на эклектических, не марксистских основах, при полном забвении классовой борьбы», а «группировка ВАВИЛОВА полностью опирается и проводит свои установки» через Вольфа.

В следующем, 1933 году М.М.Вольф будет арестован, через два месяца приговорен к «высшей мере социальной защиты», в тот же день расстрелян. Вместе с ним будут осуждены 70 (!) руководящих деятелей сельского хозяйства. Половину них ждет такая же участь, остальных приговорят к десяти или восьми годам лагерей. Они будут «виновны» во вредительском снижении урожаев, в падеже и уничтожении скота, в намеренном засеве полей сорняками, в поломке сельхозтехники, даже в организации голода на Украине. То есть во всех бедах, обрушенных или обрушившихся на село вместе со сталинской коллективизацией. Даже на фоне массовых расправ того времени это дело выделяется своей скорострельностью.

О том, сколь «солидные» материалы были положены в основу *Директивного письма*, особенно ярко говорит фрагмент, посвященный В.В.Таланову. Таланов начал свою подрывную работу против советской власти в 1906–1907 годах, то есть за десять лет до ее рождения! До такого абсурда не могли бы додуматься ни Франц Кафка, ни Джордж Оруэлл, никто из самых великих фантастов. Но авторам нельзя отказать в своеобразной логике. Врагом социалистического строительства они считали всю старую, следовательно, *буржуазную* агрономию, а она была разделена на два лагеря: один ориентировался на мелкое индивидуальное хозяйство прусско-голландского образца, а другой – на крупное индивидуальное хозяйство американского образца. В 1930–1931 годах (первое дело ТКП!) удалось разгромить один из этих лагерей, прусско-голландский, зато

второй лагерь, благодаря устранению конкурента, стал еще более активным и опасным. К этому лагерю и причислен член-корреспондент Академии наук В.В.Таланов. Правда, Таланов был «разгромлен» (т. е. арестован) еще в 1931-м, следовательно, должен быть отнесен к *пруссо-голандцам*, но гибкая марксистская диалектика перебросила его в *американский* лагерь.

Центральная фигура контрреволюционных группировок – академик Вавилов. К нему сходятся все нити. Он слишком много ездит по стране и по миру, повсюду у него связи, их трудно контролировать. Значит, эти связи – контрреволюционные.

«В ряде городов ВАВИЛОВ устраивал в гостинице, в научных кабинетах отдельных старых ученых или на частных квартирах конфиденциальные встречи с очень узким кругом лиц (3–4 ч.) с/х специалистов. Все эти лица, встречающиеся с ВАВИЛОВЫМ, работают на руководящих постах в различных отраслях сельского хозяйства и почти поголовно изобличены по следственным делам о к-р группировках».

«ВАВИЛОВ информировал об “изменении политического курса”, “о преступлении кучки негодяев ГПУ, переарестовавших невинных профессоров ЧАЯНОВА, ДОЯРЕНКО, которые скоро будут освобождены”». (О, этот неизменный оптимизма Николая Ивановича!)

«Обращает на себя внимание весьма тесная связь руководителей группировки, особенно ВАВИЛОВА, с главным экономистом департамента земледелия САСШ [США] БЕККЕРОМ, директором бюро интродукции департамента РЕЙЕРСОНОМ и др. Не менее характерны информирование и широкая поддержка, оказываемая вавиловской группировкой разного рода официальным и неофициальным агентам вашингтонского департамента земледелия, приезжающим и живущим в СССР, как напр., д-ру РОЗЕНУ из “Агро-Джойнтам”[532], ПИНКУСУ, ПАТИССОН, проф. КЕНС, проф. БРИДЖЕС и многим другим».

«Политические позиции группировки ВАВИЛОВА резко враждебны коммунистической партии и Советской власти. В узком кругу группировки обычными являются беседы о кризисе Советской власти, о голоде и забастовках на этой базе, о ряде советских мероприятий, которые, “убили весь народ”, о гибельности коллективизации, в результате которой население пьет, режет скот и разбегается, о нежелании “подвергаться критике курьеров и дворников”, об “изменении политического курса”, о “коллективе научной мысли, который стоит за моей спиной” (Вавилов)»[533].

Полагаю, здесь уместно коснуться вопроса о лояльности Вавилова к советской власти, которую некоторые авторы ставят

вне всякого сомнения.

Вавилов не участвовал ни в каких заговорах против власти большевиков, продуктивно работал на благо науки и своей страны, то есть был лоялен к режиму – в том смысле, как это понимается в демократических странах и в любом цивилизованном обществе. Однако «в государстве рабочих и крестьян» были иные критерии лояльности. Представителей *враждебных* классов, включая такого *буржуазного* ученого, как Вавилов, априорно считали противниками режима, если не активными, то пассивными. Знания и умение *буржуазных* спецов надлежало использовать, но им нельзя было доверять.

Власти считали, что к «практике социалистического строительства» *буржуазные* ученые в лучшем случае равнодушны. А то и намеренно саботируют, то есть занимаются *вредительством.* Потому требовалась особая бдительность, чтобы их *разоблачать.*

О том, кто и как *разоблачал* Вавилова в печати и на бесконечных собраниях, мы знаем. А кто доносил в ОГПУ о его конфиденциальных разговорах?

Директивное письмо опубликовано не полностью. На мой вопрос, чем вызваны купюры, В.А.Гончаров, один из составителей книги «Суд палача», ответил: «По этому поводу могу только сказать, что купюры делались сотрудниками архива ФСБ при рассекречивании в строгом соответствии с законом “О государственной тайне” 1993 г. и законом “Об оперативно-розыскной деятельности” 1995 г.»[534].

Суть этих двух законов сводится к тому, что рассекречивание имен бывших секретных сотрудников разрешается только с их согласия.

В *Директивном письме* приводятся показания обвиняемых по делу ТКП; ясно, что эти показания получены запугиваниями и пытками. Имеются ссылки на «разоблачения» Вавилова Г.Н.Шлыковым, но с ним или при нем Николай Иванович не мог вести откровенных разговоров. Само упоминание имени Шлыкова говорит о том, что *тогда* он еще не был завербован ОГПУ, то есть строчил доносы не по долгу службы, а по велению своего партийного сердца. Строить догадки о том, кто были те доносчики, мы не станем, дабы не возвести ни на кого напраслины. Но одно имя можно назвать с уверенностью: это профессор, впоследствии академик АН СССР и академик ВАСХНИЛИван Вячеславович Якушкин.

В 1917 году, как мы помним, Якушкин стал адъюнкт-профессором Воронежского сельскохозяйственного института. Революция и гражданская война заставили его податься на юг. Он

стал профессором Таврического университета, основанного Вернадским. Когда Красная армия штурмом взяла Перекоп и хлынула в Крым, Якушкин пытался бежать с остатками Белой армии. Но пароходы были переполнены, обезумевшие от страха толпы брали их штурмом; Якушкина в последний момент столкнули с трапа.

Несколько лет он отсиживался в Крыму, но потом решил, что былое быльем поросло, и вернулся в Воронеж. До 1930 года работал спокойно, но тут его загребли по делу ТКП. Всплыла его причастность к «белогвардейщине» – спасения не было. И вдруг его выпустили. В обмен на сексотство. Дворянин голубых кровей, правнук гордого декабриста стал шпиком и доносчиком.

В 1955 году, когда дело Вавилова пересматривалось на предмет его реабилитации, майор юстиции Колесников допросил академика Якушкина. Тот признал, что «выполнял специальное задание органов ОГПУ-НКВД-МГБ СССР и представлял ряд документов о Вавилове».

Неизбежен вопрос: почему же после *Директивного письма* Экономического управления ОГПУ, в котором Вавилов выставлен главой контрреволюционной группировки, он не был тотчас же арестован?

В книге «Суд палача» об этом ничего не сказано. В книге Валерия Сойфера «Власть и наука» говорится, что хотя приказа об аресте Вавилова не последовало, выезд за границу ему был перекрыт[535]. Но последняя поездка Вавилова за рубеж состоялась через полгода после *Директивного письма*, причем добро на нее, как увидим, было дано решением Политбюро, то есть лично Сталиным, хотя ОГПУ не мог не доложить генсеку о столь важном документе.

Остается допустить, что Сталин знал цену гэпэушным разоблачениям.

Их заготовляли впрок в огромных количествах, а давали ход тогда и тем из них, когда это становилось нужным в политических играх вождя.

Последняя экспедиция

1.

На VI Международный конгресс по генетике предполагалось послать большую делегацию, благо российскую генетику было кому представлять. Ведь на предыдущем, V конгрессе, в 1927 году в Берлине, делегация из Советской России была одной из самых крупных, причем, как с удовольствием подчеркнул Вавилов в статье по итогам конгресса, она привлекла общее внимание не только числом, но и высоким уровнем научных докладов.

Само собой разумелось, что на VI конгрессе советская генетика будет представлена столь же широко. Исходя из этого, Вавилов формировал делегацию.

Но в последний момент в верхах вспомнили о «режиме экономии» и решили – не посылать никого! Наркому земледелия Яковлеву с трудом удалось на заседании Политбюро добиться компромиссного решения: отправить за океан *одного* представителя.

О том, кто был генетиком № 1, разногласий не было: академик Н.И.Вавилов.

Николаю Ивановичу было обидно за советскую генетику и неловко перед коллегами, получившими от ворот поворот.

7 *августа 1932 гА.А.Сапегину*: «Дорогой Андрей Афанасьевич. В Америку пустили только меня, и то по специальному постановлению высших инстанций, при вмешательстве наркома земледелия. Не едет даже Серебровский. Я этим очень огорчен. Всё получается куце»[536].

В тот же день Е.И.Барулиной”. «Даже Серебровского от Комакадемии не пустили. С Украины – никого. Командировку и средства (очень ограниченные]) дали на 5 месяц [ев], включая Ю. Америку. Последняя – моя главная цель. Но пустят ли (визы), не знаю <…>. Если всё удастся – то будет еще часть мира в порядок приведена».

«Даже» Серебровского в этих письмах Вавилов выделял неслучайно. Александр Сергеевич Серебровский был крупным генетиком, учеником Н.К.Кольцова, завкафедрой генетики МГУ, ведущим специалистом по генетике животных. При этом он занимал пост в Коммунистической академии, активно пропагандировал *смычку* генетики с диалектическим материализмом, вступил в партию. То, что не пустили «даже» Серебровского, показывало, что *режим экономии* в данном случае

был не просто благовидным предлогом.

9 августа, Н.В.Ковалеву: «Политбюро разрешило мне поездку; делегация отклонена, и мне поручено представительство от Союза одному и выполнение всей миссии по Южной Америке. На съезд одному ехать не очень приятно, считал бы, конечно, необходимым посылку большого числа лиц. Съезд теоретический, важный, методологический, и на таких съездах обычно делаются сдвиги в науке. Мы шлем много народу на съезды, значение, по существу, имеющие весьма малое, вроде съезда по истории науки и техники в прошлом году в Англии[537].

Срок официальный 5 месяцев. Визы получить в Южную Америку будет очень трудно, ибо там нет наших представительств – ни торговых, ни консульских. Когда удастся получить, сообщу. Маршрут мой провизорно – Германия, Соединенные Штаты, Эквадор, Перу, Боливия, Чили, Аргентина, Уругвай, Бразилия»[538].

2.

Вавилов опять в Итаке. Корпуса Корнельского университета живописно разбросаны по зеленым холмам, круто спускающимся к голубому озеру: в нем зеркально отражены лесистые берега.

Теперь здесь собрались не экономисты, как два года назад, а генетики. Среди них Вавилов не чувствовал себя чужаком. Он в центре внимания – и как вице-президент конгресса, и как единственный представитель из СССР.

Стремясь как можно полнее интегрировать советскую генетику в мировую, Вавилов делал всё, чтобы расширять научные обмены. Один из ведущих *морганоидов* Бриджес подтвердил свое желание побывать в СССР; вскоре он приедет, проведет в стране четыре месяца. В дни конгресса Вавилов также заручился согласием приехать в СССР со стороны доктора Олбертса, доктора Харланда, доктора Мёллера.

Олбертс десять лет возглавлял сельскохозяйственную опытную станцию на Аляске, был ведущим знатоком земледелия на Крайнем Севере. После биржевого краха 1929 года его станцию закрыли, и он охотно согласился провести в России три-четыре месяца. «Он должен приехать в начале мая, и мы имеем в виду направить его на наше отделение в Хибины, а оттуда – на Печеру и др. районы, где у нас ведется активная работа по осеверению земледелия»[539].

Доктор Сидней Харланд возглавлял опытную станцию на острове Тринидад (тогда – британская колония). После смерти

Зайцева это был крупнейший в мире специалист по хлопководству. Он разработал методы межвидовой гибридизации хлопчатника, чем существенно расширил возможности селекции. Он вывел сорта, устойчивые к вилту и другим заболеваниям. «Среди современных хлопководов доктор Харланд является наиболее образованным, наиболее оригинальным работником, широко знающим мировое хлопководство. Может приехать в августе месяце. Виза ему должна быть послана в Берлин»[540].

О том, сколь важен был приезд Харланд а в Советскую Россию, можно узнать из писем к нему Н.И.Вавилова: «Ваш визит явился историческим событием в нашей исследовательской работе по хлопчатнику, и даже на заседании правительства СССР президент Туркестанской республики упомянул Ваше имя и приводил Ваше мнение в отношении работы, осуществляемой нашими колхозами»[541]. (Разумеется, иностранцу показали лишь самые «передовые» колхозы.) «Посетив в этом году Ганджу, я заметил, что азербайджанцы многому у Вас научились. Я заметил положительные изменения в методах. Площади под египетским хлопчатником увеличились в этом году до 100 000 га. В Ташкенте все еще никаких значительных изменений»[542].

Египетский тонковолокнистый хлопчатник наиболее ценен, но он особенно теплолюбив. В Советском Союзе его возделывали только в самых южных районах Средней Азии (в районе Кушки) и Азербайджана. В Азербайджане работал высланный из Ташкента за «вредительство в хлопководстве» Федор Михайлович Мауэр – самый талантливый ученик Зайцева. Он был способен лучше кого бы то ни было воспринять и воплотить новейшие идеи Харланда, что и позволило существенно расширить посевы египетского хлопчатника. В Ташкенте, где находилась штаб-квартира Туркестанской селекционной станции, которую, после смерти Зайцева, не дали возглавить Мауэру, ничего не изменилось.

Вавилов позаботился о том, чтобы Харланду всюду был оказан сердечный прием, тот уехал очень довольный. А в сентябре следующего года от него пришло письмо, похожее на вопль отчаяния: «Дорогой доктор Вавилов. В этом письме я хочу сообщить, что, вероятно, очень скоро буду уволен с занимаемой должности. Это долгая и утомительная история, она связана, во-первых, с моими политическими убеждениями и, во-вторых, с моей женитьбой на мисс Эттек, которую Вы несомненно помните. Я хотел бы приехать к Вам, если Вы можете дать мне должность, где я смогу действительно хорошо работать с чем пожелаете: хлопчатником, пшеницей, льном. Вероятно, можно найти что-нибудь в Сухуми или где-то в теплых широтах, так как я специализируюсь на тропиках. Помогите мне, чем можете, друг

мой»[543].

Харланд женился на китаянке, и это шокировало кого-то из британской администрации, правившей бал на Тринидаде.

Заполучить *такого* ученого было равносильно многомиллионному выигрышу в лотерее! Это Николай Иванович объяснил тем, от кого зависело решение. Харланду отписал: «Мы предлагаем Вам пост руководителя Секции хлопчатника нашего Института растениеводства. В зимнее время лучше находиться в Ленинграде или Москве. Летом Вы можете проводить эксперименты и путешествовать по Кавказу и Туркестану. <…> Наша основная трудность состоит в том, что мы не можем платить в иностранной валюте. Что касается остального, то, полагаю, мы сможем устроить всё наилучшим образом. Иностранные ученые находятся здесь в привилегированном положении. Конечно, мы договоримся о том, чтобы Ваше жилье находилось в Ленинграде. Пожалуйста, напишите мне более определенно о Ваших намерениях, и тогда я предприму необходимые шаги. Одновременно высылаю официальное приглашение Академии сельскохозяйственных наук им. В.И.Ленина на работу в наш институт и другое письмо в Форин Офис и Генеральное консульство СССР в Англии для санкционирования въезда в СССР. Надеюсь скоро Вас увидеть»[544].

Но Харланд бил отбой. Ситуация оказалось не столь драматичной, как сгоряча ему представилось. Увольнять его никто не собирался. В Советский Союз он больше не приезжал, но его единственный визит дал мощный толчок советскому хлопководству, осиротевшему после кончины Зайцева и гонений на его лучших учеников.

Самым крупным выигрышем Вавилов считал желание приехать в СССР Германа Мёллера.

Как многие интеллектуалы на Западе, Мёллер с большим интересом относился к «советскому эксперименту». «Доктор Мёллер является крупнейшим современным генетиком. Он первый установил методы получения искусственным путем мутаций и является крупнейшим теоретиком-генетиком, работающим как раз в наиболее актуальной области экспериментального формообразования. Доктор Мёллер – коммунист. Может приехать в конце августа с.г. Может сделать ряд докладов по своим генетическим исследованиям»[545].

Вряд ли Мёллер состоял в компартии, но по своим убеждениям он, безусловно, был коммунистом.

Один из ведущих *морганоидов* Мёллер был не в ладах со

своим бывшим шефом, не появлялся в его лаборатории. Феодосий Добржанский смог познакомиться с ним только в июне 1929 года, приехав для этого в жуткую летнюю жару в Техасский университет. Под впечатлением от этой встречи, он тут же описал ее в письме к Ю.А.Филипченко. Нарисованный им портрет весьма колоритен: «Возился со мной Muller как с писаной торбой. За это я ему очень благодарен. Однако он все-таки мне нравится меньше, чем два других морган овских френда, т. е. Бриджес и Стерт[евант]. Есть у него какая-то неискренность, и, видимо, немало хитрости сидит в этом маленьком тельце. Тем не менее приятно признать, что это человек если не гениальный, то близкий к гениальности. Последнюю оговорку я ввожу специально для Вашей милости, так как знаю, что по-Вашему гениален был лишь Дарвин и почему-то Гальтон. Ну, я не спорю, просто понимаю это понятие шире, чем Вы.

Во всяком случае, ни у кого из американских биологов, ни у кого из биологов русских, не исключая и столь любимых и ценимых мною Моргана и его орлов, я не видел того колоссального разнообразия идей, того изумительного охвата биологических проблем, как у Muller'а. Конечно, половина из этих идей суть спекуляции, полет в поднебесье, но я, грешный человек, думал всегда и теперь думаю, что это неплохо. Право, не летай этот маленький человек в поднебесье, не было бы сейчас рентгеновских мутаций. Он очень любит говорить. Через полчаса после нашего знакомства я имел перед собой неудержимый фонтан силой не меньше знаменитого большого Петергофского. Скажу Вам вот что. Если бы я не знал, что мне делать и над чем работать, то этот визит к Muller'у дал бы мне запас тем, которого бы достало до конца дней моих. Я не исключаю возможности, что он немножко рисуется этим выбрасыванием фонтанов-идей перед коллегой, – мне это кажется даже вероятным. Даже за обедом в присутствии его жены он продолжал свой фонтан, хотя по-американски за обедом можно говорить о чем угодно, кроме как о делах! А он мешал рыбу с транслокациями, а мороженое – с мутациями. Это редко бывает в Америке.

<…> Он играет роль жреца, служащего биологическому богу. К нему едут со всех концов Америки люди, которые не знают, что им делать. Сидят некоторое время в лаборатории и уезжают домой, после чего начинают продуцировать работы по возникновению мутаций. Таковы Stadler, Hauson, Hamlett и прочие, и прочие. Словом, фонтан воды живой, которую пьют и не имеют жажды вовек.

Как истинный ученик Моргана, Muller до безобразия неаккуратен. Patterson [глава Департамента зоологии Техасского

университета] рекомендует его комнату как свалочное место. Рекомендация – достойная уст моего уважаемого российского патрона [т. е. Филипченко]. Только вот что – он прав. <…> Разумеется, он не умеет вскрывать дрозофилу. В процессе разговора нам понадобилось увидеть семенники мутабильного гена mottled. На соседнем столе стоял бинокуляр с проходящим светом, и я захотел им для этой цели воспользоваться. Он был увит паутиной от края до края, и дохлые пруссаки висели на нем, как зрелые апельсины весною висят на дереве. Открытие последовало через пять минут – ген mottled дает мутации в соматических тканях[546] не только в глазу, но и в семеннике. That's very interesting! [547] Я горд, я прямо маг и чародей, сообщаю Вам о своем триумфе – триумф очень дешевый, но все-таки триумф. Довольно ли это для характеристики Muller'a?»[548]

Судя по фотографиям, Герман Мёллер был маленького роста, но все-таки не был карликом, каким его изображал Добржанский. Вполне возможно, что на его рабочем столе царил беспорядок, но толстый слой паутины на микроскопе – не более чем остроумная шутка. Оставим на совести Добржанского и его впечатление о неискренности и хитроватости Мёллера. Из воспоминаний тех, кто знал его ближе, да и из его поступков – о них мы скоро узнаем – видно, что он был излишне открыт и простодушен.

Словом, кое-что в письме Добржанского ввернуто для красного словца. Но если ввести поправочный коэффициент на гиперболизацию, вообще свойственную эпистолам Добржанского, им набросан выразительный портрет.

Вот какого *орла* мирового класса заполучил Вавилов для советской науки!

3.

В Итаке, во время конгресса генетиков, состоялся откровенный разговор между Вавиловым и Добржанским.

«Теперь уже Вавилова всюду сопровождали два молодых человека, препятствуя откровенному общению. Как-то в столовой самообслуживания Вавилов и Добржанский заметили два свободных места среди занятых столиков, переглянулись и подхватили подносы. Молодые люди заметались, но делать было нечего. Вавилов тогда велел Добржанскому не возвращаться»[549].

Это из статьи В.В.Бабкова, пересказавшего свидетельство самого Добржанского. Тем не менее у меня к нему скептическое отношение. Представить себе, что за океан с Вавиловым были посланы гэпэушные соглядатаи, довольно трудно.

Но в то, что остаться наедине им удалось не сразу, я охотно верю. В дни конгресса Вавилов был нарасхват, постоянно окружен людьми.

Велеть Добржанскому не возвращаться в Россию он, конечно, не мог – хотя бы потому, что Феодосий Григорьевич был не из тех, кому можно было *велеть*. Но верю в то, что когда он *сообщил* Вавилову о своем решении, тот его одобрил.

Со времени их встречи в Пасадене прошло два года. Многое переменилось в России и в самом Вавилове. Если раньше он полагал, что, несмотря на все глупости, неразбериху, постоянные реорганизации, разнузданное *спецеедство*, талантливый ученый и вообще полезный человек всегда будет востребован, то теперь он в этом не был уверен. Об этом говорит его письмо к другому русскому американцу, М.О.Шаповалову. В 1930 году Николай Иванович горячо поддержал желание Шаповалова вернуться в Россию, готовил ему место работы и т. п., но в октябре 1931-го, в конфиденциальном письме из Берлина (из России он таких писем писать уже не мог), сообщив, что «многие специалисты пострадали зря», он настоятельно советовал воздержаться от возвращения на родину. Правда, и в том письме, с присущим ему оптимизмом, добавлял: «Многое стало лучше»[550].

Шаповалов приедет в Россию в 1935 году. Лучше к тому времени не станет – станет хуже. Но приедет он в качестве гостя, пробудет очень недолго и вернется в Штаты.

4.

Надежды, возлагавшиеся Морганом на Добжанского (он упростил свою труднопроизносимую фамилию, выпустив из нее букву «р»), оправдались. Добжанский стал одним из самых значительных генетиков середины и второй половины XX века. Талантливый экспериментатор и глубокий мыслитель, он умел постигать суть процессов, протекающих в зародышевой клетке, и увязывать их с масштабными процессами эволюции органического мира. Он стал одним из создателей теории микроэволюции (она же – синтетическая теория эволюции), которая поставила учение Дарвина на прочный генетический фундамент. Крылатым стал афоризм Добжанского: «Nothing in biology makes sense except in the light of evolution», то есть «Ничто в биологии не имеет смысла, кроме как в свете эволюции». Его книга «Генетика и происхождение видов»[551] оказала огромное воздействие на мышление нескольких поколений биологов. Впервые изданная в 1937 году, она стала классикой

естествознания и неоднократно переиздавалась. Большим влиянием пользовались книги Добжанского о генетике человека и человеческом обществе. Он выдвинул и обосновал тезис о том, что равенство гибельно для свободы, ибо генофонд человечества многообразен, свободное общество оптимально для свободного развития личностей с разными наклонностями, интересами, разным уровнем способностей. Тогда как стремление к так называемому равенству стрижет всех под одну гребенку, подгоняет под общий стандарт, нивелирует и подавляет личность, обрубая всё, что не укладывается в прокрустово ложе. Надо полагать, что не только генетика, но опыт жизни в стране всеобщего равенства помог ему прийти к таким выводам.

Добжанский пристально следил за тем, что происходило в советской науке, благо языкового барьера для него не было. Он с ужасом наблюдал, как подавляется свобода научных исканий, как исчезают лучшие ученые, его друзья, в их числе Н.И.Вавилов, Г.Д.Карпеченко, его учитель Г.А.Левитский…

Чтобы показать миру истинное лицо лысенковщины, Добжанский перевел на английский язык книгу Лысенко и издал ее со своим предисловием, в котором подчеркнул, что ни в коей мере не согласен с взглядами автора и оставляет за собой право их критиковать. Вскоре он опубликовал статью «Лысенковская генетика», в которой разделал «передовое мичуринское учение» в пух и прах[552].

После Августовской сессии ВАСХНИЛ1948 года, на которой Лысенко «окончательно» разгромил менделизм-морганизм,

Добжанский опубликовал ряд статей об этом погроме. Одна из них называлась просто и выразительно: «Подавление науки»[553].

Вспоминал ли Феодосий Григорьевич о том, как годами мучился, метался из стороны в сторону, уверяя Филипченко, потом Вавилова, а главное, самого себя, что в Америке он чужой, что его место в России, куда он хотел вернуться, но что-то его удерживало? Уж не небесный ли его покровитель святой Феодосий?!

Не мог не вспоминать! И не возносить благодарственных молитв за то, что не совершил рокового шага.

Когда один из учеников спросил Добжанского, как он может верить в Бога, сотворившего мир, человека, все виды живых организмов, и быть ученым-эволюционистом, тот кратко ответил: «Жизнь полна противоречий».

Он знал, о чем говорил!

5.

1 сентября 1932 г., Итака, Н.В.Ковалеву: «Конгресс закончился. Он был очень интересным. Выставка совершенно исключительна. В нем [своем докладе] подытожил работу института. Выставка наша тоже была удачна. Сегодня еду в Канаду изучать иммунитет и орошаемое земледелие. Через 2 недели буду в Вашингтоне. 1/X выезжаю в Ю. Америку»[554].

В северных штатах США и в Канаде Вавилов знакомился с системами ирригации и, к собственному удивлению, узнал, что даже при умеренном и отнюдь не засушливом климате здесь применяется искусственное орошение при возделывании пшеницы и других хлебных злаков. Только так можно обеспечить стабильные урожаи, не зависящие от капризов погоды. На этом фоне становилась очевидной тщетность усилий перехитрить природу и задешево победить засуху в Поволжье и других засушливых регионах СССР, где каждые несколько лет погибала значительная часть урожаев. Растению нужна вода! Передовыми методами агротехники и селекции можно смягчить проблему нехватки воды, но невозможно ее решить. «Для нас сие сугубо важно. Вообще орошение хлебов в севообороте дело надежное». «И надо волжские дела брать всерьез».

Среди легенд, связанных с трагической судьбой Н.И.Вавилова, есть и такая. Сталин вызвал Николая Ивановича и спросил его мнение относительно ирригации полей Заволжья, на что Вавилов ответил, что в принципе такой проект осуществим, но он нерентабелен, так как возделывание пшеницы на поливных землях обходится слишком дорого. Сталин оборвал ученого и жестко сказал, что его интересует мнение растениевода, а об экономической стороне проблемы его не спрашивают.

Это вздор. Вавилов всегда был сторонником ирригации засушливых земель. Знакомство с системами ирригации в Канаде, где климат гораздо более влажный, чем в Поволжье, укрепило его в этом мнении. Таким же было мнение Н.М.Тулайкова. Николай Иванович считал его лучшим знатоком земледелия Поволжья и не имел оснований с ним не соглашаться.

В канадском городе Виннипеге президент ВАСХНИЛи автор фундаментального труда по иммунитету растений на три дня превратился в студента и прошел весь лабораторный курс по растительному иммунитету. Он хотел обновить знания в этой практически важной области, от которой отошел в последние годы, но намеревался к ней вернуться.

Он прочитал несколько лекций в университетах, надеясь гонораром за них пополнить скудный бюджет экспедиции. Но в Америке – после финансового кризиса 1929 года – тоже наводили режим экономии. Статус платных лекций был отменен, пришлось

читать бесплатно. «В обрез финансы. На книги и семена денег не имею».

27 сентября, Нью-Йорк, Н.В.Ковалеву. «Приступил к самому неприятному – добыванию виз в Аргентину, Чили, Бразилию, Уругвай, Кубу, Эквадор. Дело это не очень простое. Ибо научных работников в этих странах кот наплакал, засим идут каждый день низвержения правительств, преследование коммунистов. Был сегодня у консула бразильского: “У нас революция, и я не знаю, как быть с вами, несмотря на рекомендации”. Будут с послом “исследовать” мой вопрос. То же с Аргентиной. И так с большинством. “Чудом” имею визы в Боливию и Перу, которые для меня наиболее важны наряду с Аргентиной»[555].

И в том же письме: «По генетике наш путь правильный: географические скрещивания, упор в видовую гибридизацию».

2 октября, Нью-Йорк, вице-президенту ВАСХНИЛА.С.Бондаренко: «Закончил Север и отправляюсь в Ю[жную] Америку. Самое трудное – визы – почти кончил. Помог конгресс: селекционеры, генетики. Маршрут определился. Для скорости решил все длинные пути по океану заменить аэропланом. Это сокращает в три раза время и много интереснее, чем ехать на пароходе. В курорт пойдем после 75 лет, а пока будем торопиться. Подковался по делам ирригации хлебов, по иммунитету, генетике. В общем, не зря пробыл 1 У месяца. Отношение исключительно хорошее. Кроют белые газеты как советского агента, считая, что выполняю миссию Коминтерна»[556].

Пока решаются вопросы с визами, Вавилов, как обычно, работает без выходных. Изучает материалы по хинному дереву, каучуконосам, в поезде пишет статью об ирригации хлебов Канады для газеты «Социалистическое земледелие». В Вашингтоне посещает старых друзей: Харлана, Рейерсона, Беккера, многих других. Все предельно радушны, приглашают домой, знакомят с семьями. Главное, деятельно включаются в пробивание виз.

Но вот визы на руках, приготовления закончены, надо двигаться на юг.

Он захватил своим маршрутом «страну сахарную Кубу», затем посетил мексиканский полуостров Юкатан, куда не успел попасть двумя годами раньше. В Чичен-Ице фотографировал ступенчатые пирамиды майя. Его, по-видимому, сопровождал старый знакомый, считавший себя его учеником, Илиас Кесельбренер. Николай Иванович выдал ему небольшую сумму из своих скудных финансов и нагрузил новыми заданиями: Эквадор, Сальвадор, Коста-Рика, сборы сортов хлопчатника, кукурузы, гваюлы,

картофеля, фасоли, кокаинового дерева…

Самому ему надо дальше на юг, в *пекло творения*: в Перу, Боливию, Чили.

Авиасообщение того времени мало походило на современное. Самолеты маленькие, тихоходные, с частыми посадками. Ночные перелеты еще не вошли в практику. Все же это много быстрее, чем на пароходе.

Хотя визы в порядке, въезд в каждую страну связан с неприятностями: особая придирчивость при досмотре багажа, подозрительность, унизительные допросы. Зато внутри стран его встречают на удивление тепло и приветливо.

Перу!

Он поднимается на высокогорья Анд. На берегах озера Титикака, по которому шныряют челны, в каких еще инки плавали по этим водам, он собирает культурную лебеду, амарант, люпин, особый вид перца… Конечно, основная пищевая культура здесь – картофель: это известно из материалов экспедиции Юзепчука. И все же Николай Иванович потрясен тем, что довелось увидеть и собрать ему самому.

7 *ноября, Куско, Перу, Н.В.Ковалеву”*. «Пишу оптом, ибо на этот раз нет времени для писем, хотя писать можно без конца. До черта тут замечательного и интересного. Пример – картофель. Всё, что мы знали о нем, надо удесятерить. Все местные классификации основаны на четырех признаках: вкусе, форме клубня, до некоторой степени его цвете и скороспелости. Изучая поля цветущего картофеля в Перу, я убедился, что все так называемые местные сорта еще могут быть разбиты на десятки форм, да каких… Цветы различаются по размеру вдвое, чашелистики в 10 раз, есть с раздельными спайными лепестками, сколько тут химер, гамма цветов на любом поле, от синего темного через весь ряд до белого, да с орнаментом, а листва… А засим физиология. Словом, сортов и разновидностей ботанических тут миллионы. Невежество наше о картофеле Андов поражающее <…> я не сомневаюсь, что если диалектику картофельную тронуть всерьез в Перу и Боливии, то мы переделаем картофель, как хотим. До черта видов дикого, культурный в таком виде, что хотя я и видел “пекла творения”, но такого еще не видел. И всё здесь связано с дикой субстанцией. Не тронуты физиология, химия, технология, что они дадут картофелю! Примитивы тут агрономические первоклассные!

Ручной плуг, например, сегодня фотографировал. Что представляют собой оки, ульюки, ламы, альпаки[557]. Это всё в таком ошарашивающем разнообразии и так локализовано, что только недоразумением можно назвать недоучет целых два века

селекционером и генетиком того, что тут есть. Начинаю понемногу понимать философию бытия. Но тут надо сидеть месяцы, может быть, годы»[558].

А как используют здесь картофель! Некоторые виды едят сырыми. Из других изготовляют особый продукт – *чунъо*\ клубни промораживают, отжимают ногами, потом промывают, отделяя белки, и высушивают. Такой продукт может сохраняться по нескольку лет. Дополнительное подтверждение самобытности здешней земледельческой цивилизации, вскормленной картофелем.

А что кукуруза?

На базарах она поражает богатством цветовых оттенков. Торговцы раскладывают початки так, чтобы они составляли красивую цветовую гамму. Это ли не свидетельство разнообразия форм, не здесь ли первичные очаг происхождения кукурузы?

Нет! Богатство цветовой гаммы – результат своеобразной многовековой селекции. Древние земледельцы Перу, видимо, отличались тонким художественным вкусом, для них важен был эстетический элемент. Это и создает *видимость* исключительного разнообразия форм. Поднимаясь выше в горы Перу и Боливии, Вавилов видел, что разнообразие форм кукурузы не увеличивается, а уменьшается. И наконец, высоко в горах, где древняя культура индейцев сохранилась почти нетронутой, кукуруза вообще исчезает из посевов. К тому же она возделывается в основном на западных склонах Анд. Здесь десятилетиями не бывает дождя, возможно лишь поливное земледелие. Бегущие с гор реки облегчали отвод воды на поля, но оросительные системы, даже самые примитивные, появляются на достаточно высоком уровне развития земледелия. Таково еще одно доказательство, что кукуруза здесь – культура пришлая.

Итак, предварительный вывод, сделанный Вавиловым два года назад, подтвержден: на Американском континенте возникло два независимых очага земледельческой культуры: южноамериканский в высокогорьях Перу и Боливии и североамериканский – на юге Мексики и прилегающих районах.

Эти две высокоразвитые цивилизации оказывали воздействие на жизнь всей доколумбовой Америки. Мексиканская кукуруза проникла в Перу, а некоторые перуанские растения – в Мексику. Но общение не было интенсивным, поэтому ацтеки и майя так и не смогли позаимствовать перуанский картофель, а также одомашненных животных ламу и альпака; инки же не научились рисуночному письму. Характерно, что расположенную между этими центрами культуру чибча вскормили и мексиканские, и перуанские растения.

Первая, наиболее важная для исследователя часть путешествия завершилась триумфом: теоретические предсказания подтверждены, собран огромный материал. Письмо Н.В.Ковалеву от 7 ноября 1932 года, которое мы цитировали, показывает, как воодушевлен был Вавилов, как переполнен радостными эмоциями, как не терпится ему поделиться всем этим со своими коллегами и друзьями.

Помнил он и том, что письмо коллективное, его будут передавать из рук в руки, обсуждать, делиться впечатлениями. Попадет оно и в руки недругов. Они вострят когти и ядовитые перья, чтобы расчленить живое тело созданного им Института, а его самого отдать на растерзание ГПУ. Для них в письме две строки, демонстрирующие его «советскость»: «Беру всё, что можно. Пригодится. Советской стране всё нужно. Она должна знать всё, чтобы мир и себя на дорогу вывести. Выведем!» Для них же и приписка в конце письма, уже под подписью: «Да, сегодня день 15-летия революции. Издали наше дело кажется еще более грандиозным. Привет всем. Будем в растениеводстве продолжать начатую революцию»[559].

Вторая часть путешествия – Аргентина, Бразилия, Уругвай. Советских представителей в этих странах, за исключением Уругвая, нет – ни дипломатических, ни торговых.

Приходится брать на себя функции тех и других. Вавилов выступает с докладами, пишет статьи в газеты, встречается с учеными, политиками, чиновниками, принимает делегации профсоюзов, обсуждает возможности расширения торговли с Россией. Но главный его интерес – земледелие, опытные станции, сортовой материал, южноамериканская флора, отправка всего самого ценного в СССР – порой вопреки запретам местных властей. Выручали дружеские контакты, которые Вавилов умел заводить на местах с самыми разными людьми. Так, в Бразилии вывоз семян из района Амазонки был запрещен, но на выручку русскому путешественнику пришел влиятельный местный предприниматель, бывший вице-консул города Белена полковник Жозеф Помбо. Он шесть часов занимался отправкой посылок Вавилова[560].

В круге втором

1.

На высокогорных плато Анд Вавилов встретил свое сорокапятилетие. Весна жизни миновала, но осень была еще далеко впереди. До 75, которые он отвел для себя до «ухода на курорт», было еще ох как далеко!

Со знакомым уже нетерпением возвращаясь домой и мысленно представляя себе свинцовую тяжесть невской воды, острый шпиль Адмиралтейства и открывающуюся из высоких окон его кабинета тихую набережную Мойки, он думал, должно быть, и о том, что не зря мотался по свету все эти годы, что земной шар уже почти приведен в порядок. Побывать бы еще в Юго-Восточном Китае да в Индии, все еще малодоступных для «красного» профессора… Он строил планы, не зная, что возвращается из последней заграничной поездки; что не только тропические леса Индии, но и шумные города Европы уже отгорожены от него железным занавесом.

Еще до отъезда Николая Вавилова за океан в Советской России стала вздыматься новая волна *спецеедства*, особенно сфокусированного на сельскохозяйственных научных учреждениях, больше всего на ВИРе.

Для сталинского руководства 1932 год оказался *триумфально-катастрофическим.*

Триумфальным — потому, что индивидуальные хозяйства были ликвидированы; кулачество «как класс», а частью и физически, – уничтожено; правая оппозиция подавлена и изгнана из руководящих органов партии и правительства. Можно было рапортовать о полной победе колхозного строя, о том, что социализм в отдельно взятой стране построен, а все *уклонисты, оппортунисты* и *маловеры* посрамлены.

Катастрофическим — потому, что сбылось именно то, от чего предостерегали *правые уклонисты.* Урожайность полей упала, поголовье скота уполовинил ось.

Сопротивление крестьянских масс коллективизации подавлялось драконовскими мерами – вплоть до искусственно организованного голода, охватившего значительную часть Украины и многие районы России. Хотя во многих местах урожай из колхозов вывозили подчистую, ничего не оставляя на пропитание колхозников, планы хлебозаготовок не были выполнены. В городах пришлось вновь ввести карточную систему,

то есть посадить массы рабочих и служащих на полуголодный паек.

Снова понадобились козлы отпущения, и кто же лучше подходил на эту роль, как не *буржуазные* специалисты, которые, в силу своей *буржуазной* психологии, должны, как теоретически предсказал Ильич, «еще долго» предавать диктатуру пролетариата и всячески ей вредить.

Детонатором новой кампании против Вавилова и его Института, вероятно, и должно было послужить *Директивное письмо*, подписанное заведующим Экономическим отделом ОГПУ Мироновым и утвержденное зампредседателя ОГПУ Акуловым еще в марте 1932 года. Тогда оно было положено под сукно, вернее, *отложено*. Но через полгода, когда Вавилов упивался своими находками на берегах высокогорного озера Титикака, по требованию политотдела Ленинградского ОГПУ, в ВИРе орудовала проверочная Комиссия ЦКК-РКИ.

О том, в каком направлении проводилась проверка, сомневаться не приходилось: разоблачительная статья В.Балашова об «Институте благородных ботаников» была опубликована под эгидой РКИ. Сообщения о новой проверке Института доходили до Вавилова через океан.

2 октября 1932 г., Нью-Йорк, вице-президенту ВАСХНИЛА.С.Бондаренко: «Доходят до меня пока неясно сведения тревожные о реконструкции В И Ра. Моя просьба быть бережным с этим, не сомневаюсь, лучшим из мировых учреждений по растениеводству. Без директора удержите от ломки. Научное учреждение спасти нелегко. Вижу по Америке, как и при колоссальных средствах плывут тут научные корабли без руля и без ветрил. Издали особенно хорошо видно, что даже политически мы – сильное учреждение. В своей сфере мы не плохая иллюстрация силы Советов. В заключение после моего доклада (а доклад был посвящен общим итогам коллективной нашей работы) председатель заявил, что в области изучения культурных растений, несомненно, “Ленинградский институт нашел новые, исключительно плодотворные пути”. Председательствовал Гольдшмидт, бывший у нас на съезде генетики в 1929 г., – самый крупный европейский генетик»[561].

То, что понимали крупнейшие генетики Европы и Америки, для Комиссии РКИ было китайской грамотой. Ни одного ботаника, генетика, растениевода, агронома в ее составе не было. С русской грамотой у Комиссии тоже были сложные отношения. Зато она знала, что Институт растениеводства – «это наиболее солидное в Союзе по качеству и количеству дворянское гнездо».

«Марксистско-ленинская методология не нашла своего

отражения в теоретической и практической работе ВИРа…

Отсутствие материалистической диалектики в разработке основных научных проблем, а также увязки содержания работы ВИРа с планом развития народного хозяйства привело к преобладанию ботанико-морфологического изучения сельхозкультур, к составлению монографий, центров происхождения культур и проч., что по существу оставляет ВИР на старых теоретических позициях бывшего Института Прикладной Ботаники с его кадрами, политическое настроение большинства из них чуждо победе социализма в сельском хозяйстве»[562].

В качестве единственного *эксперта* Комиссия привлекла А.К.Коля. Его *Записка* — основа *Заключения* Комиссии.

Из *Записки* видно, что русская грамота была Колю столь же мало доступна, как прикладная ботаника. Зато партийным *новоязом* беспартийный Коль прекрасно овладел.

«Оттесненная от совхозов и колхозов, а потом и земорганов и под конец в значительной степени из аппарата НКЗемов, “Старая гвардия” народничествующей агрономии окопалась в “храме агрономической науки" сельскохозяйственной Академии имени Ленина с его многочисленными Институтами и на агрономических кафедрах ВУЗов, готовящих новые кадры. Правило приличия и хорошего тона во всех этих учреждениях запрещает поминать о классовой борьбе в области сельскохозяйственной науки, изучать пути, методику, идеологию кондратъевско-чаяновского вредительства во всех областях агрономии, замазывают эту борьбу, а воспитывают аллилуйщиков и всемерно укрепляют научный авторитет всех светил с весьма подмоченной репутацией».

Академик Вавилов, по утверждению Коля, «исполнял директивы выдвинувших его Дояренко и компании», хотя А.Г.Дояренко работал в другой области агрономии и никуда Вавилова не выдвигал. Зато имя Дояренко звучало столь же зловеще, как Чаянова и Кондратьева: он тоже был арестован по делу ТКП и приговорен к пятилетнему заключению.

Злоумышленные действия Вавилова Коль усматривал даже в том, что тот «увел Институт из Москвы в Ленинград и тем сознательно изолировал этот научный аппарат от контактов с лихорадочной работой реконструкции земледелия, творящейся партией и правительством в Москве».

А ведь всем причастным было хорошо известно, что *Бюро прикладной ботаники,* из которого вырос ВИР, возникло и всегда базировалось в Питере. Поразительно беспардонство, с каким выдвигались подобные обвинения.

Комиссии ЦКК-РКИ было известно и то, что «у агронома Коля есть элемент известного пристрастия, основанного на долголетней борьбе Коля с академиком Вавиловым по вопросу новых культур». Однако тут же следовала приписка, что «оценка работы ВИРа агрономом Колем в основном верна». И вывод: работа ВИРа ведется «с расчетом на реализацию своих достижений в кулацком хозяйстве»; «созданная

Вавиловым квалифицированная на базе старой кулацкой агрономической науки, “Махина” работает не на нас».

Заключение Комиссии подписал ее председатель С.С.Перов – с ним нам предстоит познакомиться ближе. Оставалось доложить об итогах проверки на коллегии Наркомата РКП и Президиуму ЦКК (Центральной контрольной комиссии). Но тут до Комиссии дошел слух: среди сотрудников ВИРа ведутся разговоры о том, что если работу Института признают неудовлетворительной, то Вавилов не вернется в СССР.

Трудно усомниться в том, что этот «слух» был политической провокацией. Не исключаю, что он исходил от того же Коля или Шлыкова. Цель понятна: посеять еще большее недоверие к Вавилову.

Если так, то они просчитались. Перова этот слух напугал. Он спешно свернул работу Комиссии, невнятно объяснил заместителю директора Н.В.Ковалеву, что «результаты обследования ВИРа будут рассмотрены в общей связи с задачами селекции и семеноводства»[563].

Подписанное Перовым *Заключение* не было направлено для официального утверждения. Вместо этого его засекретили и двинули вверх по вертикали власти. Оно легло на стол заместителя наркома РКП И.Д.Вернемичева, а тот переслал ее в Сельскохозяйственный отдел ЦК партии с нелепой резолюцией:

«Посылаю для ознакомления записку о работе академика Вавилова, я этот вопрос не разрабатывал, и пока до приезда Вавилова мы будем собирать дополнительные материалы. В этой записке не всё верно и не всё гладко, однако целесообразно предупредить Лазаря Моисеевича [Кагановича] о том, что не всё благополучно в ВИРе и в работе Вавилова»[564].

Казалось бы, если в *Заключении* Комиссии РКП не всё верно и гладко, то не обязан ли был Вернемичев разобраться и внести коррективы, *прежде* чем направлять ее в высшие инстанции? Но на самом деле его резолюция виртуозна. Положить *Заключение* под сукно было столь же рискованно, как к нему присоединиться. Самое благоразумное – просигналить о выводах Комиссии, но дистанцироваться от них.

Забегая вперед, скажем, что осмотрительность хранила

Вернемичева недолго. В 1937 году Центральное управление народно-хозяйственного учета (ЦУНХУ) провело многократно откладывавшуюся перепись населения СССР. Результаты переписи оказались «вредительскими». Ее организаторов ликвидировали, а во главе ЦУНХУ поставили Вернемичева, поручив выявить еще недоразоблаченных *врагов народа.* Слишком ли ретиво он их выявлял, или проявил буржуазную мягкотелость, но во главе ЦУНХУ он продержался всего несколько месяцев. Успокоение нашел на полигоне «Коммунарка», где закапывали расстрелянных палачами НКВД.

…Получив *Заключение* Комиссии РКИ с резолюцией Вернемичева о неблагополучии в ВИРе и в работе академика Вавилова, член Политбюро и секретарь ЦК партии Л.М.Каганович не мог не доложить о том генсеку Сталину…

2.

В конце февраля 1933 года Вавилов вернулся в Ленинград. Обстановку, сложившуюся в Институте за время его отсутствия, почувствовал сразу. Клещи на горле ВИРа продолжали сжиматься.

На этом фоне удивителен тон его писем, направлявшихся в разные концы мира коллегам и в различные советские инстанции. Они, как всегда, деловиты, конкретны, в них клокочет энергия.

В Президиум Академии наук он направил Докладную записку о необходимости преобразовать Лабораторию генетики, унаследованную им от Ю.А.Филипченко, в Научно-исследовательский институт.

В коллегию НКЗ П.Т.Зубареву, возглавлявшему семеноводство, написал о сортах картофеля, выведенных заполярной станицей, которые надо размножать и вводить в практику: *«В этой работе заинтересован весь Крайний Север наш, который, как Вы знаете, беспределен. Для того, чтобы это дело сдвинулось с мертвой точки, для того, чтобы перейти действительно к быстрому размножению ценнейшего материала, к быстрому введению практической селекции, нужна помощь от Вас. Нужна помощь на строительство подвалов для хранения семенного материала, нужна помощь на развертывание работы. Всё это примерно укладывается в 70 тысяч руб.»*[565].

Николай Иванович пишет в Германию Н.В.Тимофееву-Ресовскому, предлагая место в Институте генетики, о чем у них, видимо, был предварительный разговор в Итаке во время съезда генетиков или в Берлине, где Николай Иванович останавливался

на обратном пути.

Он запрашивает Сапегина, не передумал ли тот перейти заместителем директора в новый Институт.

После того, как в Селекционно-генетический институт в Одессе, созданный Сапегиным, был внедрен молодой, напористый и особо обласканный властями агроном Т.Д.Лысенко, директору там стало неуютно. Он захотел перейти к Вавилову. Теперь такая возможность появилась, и Николай Иванович просил Сапегина подтвердить свое намерение.

Это письмо датировано 6 апреля, хотя Вавилов вернулся еще 26 февраля. Задержку он объяснял тем, что на него «свалилась гора событий изумительных, выбыло 20 человек из строя начиная с Г.А.Левитского, Максимова, Писарева и т. д., и чем дело кончится, пока ни для кого не ясно. Всё это осложнило чрезвычайно обстановку»[566].

Что значит – *выбыло 20 человек из строя*, – объяснять не было надобности: Сапегин сам *выбыл из строя* два года назад, по делу ТКП, но ему сказочно повезло: его выпустили и даже позволили *вернуться в строй* на прежнее место. Когда Николай Иванович писал из Берлина Шаповалову, что «многие специалисты пострадали зря», он имел в виду таких, как Сапегин. Теперь такая же участь постигла многих ведущих сотрудников ВИРа.

3.

Молодой ученый Юлий Керкис был выходцем из Киева. Еще школьником стал заниматься в школе молодого зоолога, организованной Ф.Г.Добржанским при политехническом институте. По совету Добржанского поступил в Ленинградский университет, выполнил под его руководством первые исследования по эволюционной генетике. После отъезда Добржанского в США стал ближайшим сотрудником Филиппенко, а после его внезапной смерти оказался под крылом Вавилова.

Керкис был женат на дочери профессора Военно-медицинской академии А.А.Заварзина. С ними жила его мать. В июне 1933 года она умирала от рака печени. Вавилов разрешил ему работать дома, чтобы не отлучаться от больной.

21 июня в квартире раздался телефонный звонок. Подняв трубку, Керкис услышал вежливый мужской голос. Собеседник извинился, что потревожил в столь трудное время, но сказал, что звонит по неотложному делу. Просил срочно приехать в *Большой дом* на Литейном проспекте. Его привезут и отвезут на автомобиле, задержат очень недолго.

Большим домом в Ленинграде называли новое здание ОГПУ, весьма внушительное по размеру и виду. Собеседник предупредил, что никто не должен знать об их разговоре.

Юлий не успел опомниться, как уже звонили в дверь: за ним пришла машина.

В ОГПУ Керкиса встретили очень приветливо. Пригласили на завтрак, но он просил сразу перейти к делу, чтобы поскорее вернуться к больной матери. Гэпэушник сказал, что знает Керкиса как молодого и преданного советской власти ученого. В лаборатории генетики, где он работает, часто бывают иностранцы. Его просят сообщать об их настроениях и разговорах. Уходя, он должен был подписать бумагу о неразглашении и о том, что предупрежден «об ответственности за нарушение этой подписи»[567].

Вернувшись из *Большого дома*, Керкис по секрету рассказал о происшедшем жене. Потом ее отцу А.А.Заварзину. Потом Вавилову.

«И тот, и другой, совершенно независимо друг от друга, сказали мне, что это дело обычное, а Николай Иванович даже рассмеялся и сказал: “Ну вот, и ты, брат, попался на крючок”. <…> Николай Иванович “успокоил” меня тем, что в такой переплет попадает очень много людей и что к этому надо относиться возможно спокойнее»[568].

Так что Керкис был лишь *одним из многих* в окружении Вавилова, кто *попался на крючок.*

Цитогенетик Елена Карловна Эмме работала в ВИРе, дружила с Еленой Ивановной, бывала у Вавиловых дома. Она свободно владела английским, немецким, французским и шведским языками. Когда в ВИРе бывали иностранные гости, она помогала их принимать. Общалась с иностранцами и за пределами ВИРа: с послами, консулами. Судя по показаниям Н.И.Вавилова (вынужденным, их адекватность под вопросом), он предостерегал ее от таких контактов, но она говорила, что о них знают в НКВД.

Она *попала на крючок* раньше Керкиса, еще в 1931-м, и сразу рассказала об этом Вавилову. Николай Иванович продолжал ей доверять, и не ошибся. «Компромата» она не поставляла.

В 1936 году она перешла в московский НИИ картофельного хозяйства, но это ее не уберегло. Взяли ее 1941-м, дата смерти – 1942-й. Полагают, что в заключении она покончила с собой…

Когда Керкис спросил Николая Ивановича, чего ему опасаться и чего ожидать, то оказалось, что о том, как ОГПУ работает с *попавшими на крючок*, Вавилов был неплохо осведомлен. Он сказал, что Керкиса будут время от времени вызывать на частные конспиративные квартиры, каждый раз на

другую, и требовать «сведений». На вопрос Керкиса, что же ему делать в таких случаях, «Николай Иванович ответил, что, сколько он меня знает, я порядочный человек, доносов писать, наверное, не буду, и, следовательно, действовать надо смотря по обстоятельствам, и очень обдуманно»[569].

Кельвин Бриджес пробыл в Ленинграде четыре месяца, работал в основном в Лаборатории генетики. Человек «веселый», он стал ухаживать за сотрудницей лаборатории А.А. Прокофьевой (впоследствии член-корреспондент Академии наук А.А. Прокофьева-Бельговская). По вечерам они подолгу оставались в лаборатории вдвоем.

На очередной встрече с гэпэушным куратором Керкиса расспросили о Бриджесе, его поведении, отношениях с Прокофьевой, разговорах с Вавиловым. На уверения в том, что ничего «предосудительного» в их разговорах не было, недовольный куратор напомнил, что с иностранцами надо держать ухо востро, они «зря к нам не ездят». «Я ответил, что я это имею в виду, но тем не менее ничего “такого” я в поведении и разговорах Бриджеса не замечал»[570].

Бриджес уехал, Вавилов остался.

К нему приходили родственники арестованных, и он писал в органы об их заслугах, просил ускорить рассмотрение дел, использовать их по специальности. Его не покидала надежда, что *выбывших из строя* – ни в чем, конечно, не виноватых – скоро освободят и *вернут в строй.* А из них в это время вынимали душу, требуя признаний во вредительстве, во враждебности к советской власти и колхозному строю, в принадлежности к ТКП. Тех, кто упорствовал, изматывали ночными допросами, сажали в карцер, избивали… В обмен на *чистосердечное признание* сулили «златые горы». Индикатор *чистосердечности* — имена сообщников. Чем больше имен, тем добрее следователи, тем мягче приговоры.

Выстоять не удавалось никому – разница была в длительности сопротивления. Кто-то ломался на первом-втором допросе, кто-то держался два-три месяца. Из тех, за кого просил Вавилов, гэпэушные костоломы в это время выдавливали показания против него. Досье на академика Вавилова становилось все более увесистым.

4.

Профессора Н.АМаксимова арестовали 2 марта 1933 года, через несколько дней после возвращения Николая Ивановича из Южной Америки. Обвинение стандартное: принадлежность к

Трудовой Крестьянской Партии. Его молодая жена (за год до этого Н.А.Максимов развелся с Т.А.Красносельской-Максимовой и женился на Софье Викторовне Тагеевой) была беременна. Потрясенная свалившимся горем, она пошла в *Большой дом* и добилась того, чего почти никому не удавалось: ее принял следователь, который вел дело ее мужа. Известна его фамилия – Казанский.

Обливаясь слезами, несчастная женщина рассказала ему, кто ее муж, какой он крупный ученый, как он увлечен наукой, как он далек от политики и никак не может быть замешан в какой-либо антисоветской деятельности.

Казанский ее выслушал и выпроводил, не сказав ни слова.

Она снова и снова приходила к нему, он, как ни странно, ее принимал. Выслушивал молча, как в первый раз, и так же молча выпроваживал.

Однажды, поднимаясь к нему в кабинет, она столкнулась с ним на лестнице. Живот ее уже округлился, это бросалось в глаза.

Оглянувшись и убедившись, что они одни, Казанский быстро сказал:

– Вы можете найти видного ученого, но не в Москве и не в Ленинграде, который бы поручился за вашего мужа и взял его на работу? Пусть напишет поручительство!

Он быстро прошел вниз, а она так и застыла на лестнице, пытаясь осмыслить то, что услышала.

…Поручительство дал академик Тулайков.

Максимова сослали в Саратов, куда и переехала Софья Викторовна с новорожденным сыном Виктором.

…Николая Максимовича Тулайкова арестовали в 1937-м. Приговорили к *высшей мере*, сразу же расстреляли. Такова официальная версия, но архивные материалы, обнаруженные саратовской журналисткой и историком науки М.Н.Шашкиной, ее не подтверждают. Она установила, что Тулайков отбывал заключение в лагере строгого режима, заболел и умер в 1939 году[571].

Н.А.Максимов, за которого «враг народа Тулайков» поручился, продолжал работать, в 1939 году был переведен в Москву, в 1946-м стал академиком и директором Института физиологии растений имени К.А.Тимирязева. Был награжден орденом Трудового Красного Знамени.

Превратности судьбы! Не будь он арестован и сослан в 1933 году, его бы наверняка взяли в 1940—1941-м, когда очищали ВИР от ведущих сотрудников Вавилова, и судьба-злодейка обошлась бы с ним много круче. Академик Максимов умер в 1952-м, в *своей постели*, был похоронен с почетом. Выходит, ему несказанно

повезло!

Но вот свидетельство о заключительном, самом «благополучном» периоде его переломанной жизни: «Н А.Максимов был замечательным биологом, и его учебник “Краткий курс физиологии растений” – это образец того, каким должен быть учебник: глубокий по мыслям и легкий для восприятия. Н.А.Максимов в свое время был сотрудником Н.И.Вавилова, затем был арестован. Его истязали в тюрьме, и он подписывал все “признания”, которые ему велели. У него был тремор – дрожали голова и руки. Он стал “с душою согнутой старик” (А.С.Пушкин). И все-таки ученые советы с научными докладами были очень интересными, благодаря тому, что Н.А.Максимов умел направить дискуссию в важном направлении. <…> Это была хорошая школа»[572].

При разборе бумаг Максимова были найдены тетрадки воспоминаний, написанных им во время следствия, очевидно, с разрешения следователя Казанского. Они теперь расшифрованы и опубликованы его внучкой О.В.Максимовой[573].

5.

О том, через какую ломку проходили арестанты 1933 года по делу ТКП, в какой-то мере можно судить по поразительному документу, который мне удалось обнаружить в интернете. Это обращение С.Ю.Шимановича (не путать с плодоводом И.Д.Шимановичем) к генеральному прокурору СССР от 18 января 1936 года. До ареста Шиманович работал под руководством В.Е.Писарева на Центральной станции ВИРа в Детском Селе, им и был *приобщен* к мифической ТКП. Привожу его заявление с минимальными сокращениями: «Весною 1935 г. моя бывшая жена обратилась в Верховную Прокуратуру с просьбой смягчить избранную в отношении меня меру пресечения и дать мне возможность досрочно вернуться к семье – 13 лет совместной жизни – и научно-исследовательской работе, которой я отдал больше 9 лет.

Одним из аргументов ее и моего теперешнего ходатайства являлось и является то, что проф. Писарев В.Е. и проф. Таланов В.В., организаторы, по их собственному признанию, эсеровско-народнической контрреволюционной организации, а равно и проф. Левитский Г.А., ученые специалисты Лебедев А.Д., Голубев Н.П. и Чинго-Чингас К.М. уже освобождены, в то время как я, работавший под руководством Писарева и вскормленный такой средой, продолжаю отбывать свое тяжелое, но по заслугам

полученное наказание.

Отказ прокурора т. Катаньяна смягчить мою участь имел в своей основе указание на мою, не в пример вышеперечисленным лицам, судимость 1934 г., т. е. во время моего пребывания в ссылке.

Учитывая всю серьезность этого заявления, я, тем не менее, осмеливаюсь обращаться к Вам, т. Генеральный Прокурор, в третий раз. Я прошу Вас отнестись ко мне с присущей пролетарскому правосудию и социалистическому гуманизму чуткостью и заботой о человеке и поверить в то, что мое обращение к Вам насыщено предельной искренностью. Она обусловлена и моей идеологической перестройкой и обретенной на производстве глубокой верой в правильность политики коммунистической партии и правительства. Но и кроме того, свершившимся распадом моей семьи.

Я и сейчас заявляю, что в упомянутой контрреволюционной организации я не состоял, но учитывая мою ошибку в вопросе о ликвидации кулачества как класса, я тем самым потенциально смыкался с теми людьми, которые были носителями этой контрреволюционной “идеи”. Это, вероятно, и дало повод проф. Писареву, злому гению моей судьбы, причислить меня к ее участникам.

Другим моментом, позволившим ему причислить меня к организации, им тогда возглавляемой, является след.: в глухой борьбе между проф. Писаревым и молодой советской поросльюначинающих исследователей я стоял в стороне, а след., по железным законам классовой борьбы, я был на его стороне.

Эта борьба протекала на роковом для меня фоне: с одной стороны личное расположение ко мне проф. Писарева, а с другой – травля, советская по форме и антисемитская по содержанию, со стороны тогдашнего секретаря парт, ячейки Отдела Генетики и Селекции ВИР Тер-Казарьяна, бывшего белогвардейского офицера, обманным путем проникшего в партию (недавно исключен), и научной сотрудницы Ивановой К.В., дочери б. городового.

Анализируя теперь в одиночестве, со всей беспощадностью каждый свой день и час работы в ВИРе, я пришел к самому тяжелому и позорному для себя выводу, что проф. Писарев мог бы даже завлечь меня в такую организацию, ибо для меня тогда его специальные знания были адекватны знаниям процессов и движущих сил в с. х. нашей страны.

Фальшью не будет сейчас звучать мое заявление, что хирургическое вмешательство в мою жизнь органов пролетарской диктатуры позволяет и позволит мне находиться в рядах тех, кто

с энтузиазмом и беспредельной преданностью борется за лучшие идеалы, принесенные в мир Октябрьской революцией под руководством когорты людей, обессмертивших свои имена в истории человечества.

Тяжелой ценой я купил свое перерождение и хочется верить, что забота о человеке, о которой 4 мая 1935 г. говорил т. Сталин, вождь нашей страны, коснется и меня, потерявшего семью, а след., и дорогих мне детей.

Мое осуждение по 111 ст. УК в уборочную кампанию 1934 г. служит плохой иллюстрацией к тому, что я выше сказал. Приложенные же при сем документы, а равно и дело, которое будет затребовано, позволит Вам судить и о качестве следственного процесса и о степени моей виновности.

Добавлю, что неопашка на 6 отд. совхоза нескольких скирд <…>, а равно и запоздание с выполнением одного очередного графика уборочных работ 21 сентября <…> не будут по соображениям социальной педагогики служить тем камнем преткновения, о который споткнется моя личная жизнь. <…>

Надеюсь, что милосердие постановления Центрального Исполнительного Комитета Союза от 11 августа 1935 г. относительно подобных нарушений служебного долга в хлебоуборочные кампании 1932—33 г. распространится и на меня, и мои нарушения не будут хотя бы служить преградой при решении вопроса о моем досрочном освобождении или иной форме облегчения моей участи.

Вот уже скоро 3 года, как я лишился детей и любимого дела, но я полон надежды, что просьба человека, полностью осознавшего свою ошибку и приносящего раскаяние, будет услышана, ибо я верю в Марксову мысль – корнем для человека является сам человек, – претворенную в жизнь сталинской практикой любовного выращивания людей, даже ошибавшихся.

С.Шиманович

18 января 1936 г.»

Таково окошко в геенну огненную, где металась душа безвинно пострадавшего, преданного боготворимым учителем, семьей и всем светом. В отчаянии от безнадежности своего положения, он судорожно цеплялся за призрак надежды, походя утягивая в бездну других.

В чем выражалась *травля* Шимановича со стороны парторга Шмавона Тер-Казарьяна и научной сотрудницы К.В.Ивановой, в заявлении не разъясняется. Тер-Казарьян был царским (а не белогвардейским) офицером, в партию большевиков *проник* не обманом, а после участия в защите Бакинской коммуны в 1918

году. Окончив Ленинградский сельхозинститут, был внедрен в ВИР в рамках «коммунизации» *Института благородных ботаников*. Работал под руководством Чинго-Чингаса, создателя лаборатории мукомольно-хлебопекарных качеств зерновых культур. Когда Чинго-Чингас *выбыл из строя*, Тер-Казарьян возглавил лабораторию, но через два года тоже был арестован (а не только исключен из партии), то есть разделил судьбу Шимановича.

Как парторг Отдела, Тер-Казарьян должен был проявлять повышенную общественную активность и, видимо, не раз «доставал» *стоявшего в стороне* Шимановича. Но какое отношение могла иметь к этому К.В.Иванова, дочь инженера-путейца, а не городового? Ее специальностью был клевер, она работала в Отделе кормовых культур, тогда как Шиманович занимался селекцией льна.

С Клавдией Васильевной Ивановой я был знаком.

«После ареста и гибели Николая Ивановича [Вавилова] в семье Ивановых свято хранили все материалы, связанные с именем этого гениального ученого, хранили в те годы, когда это было отнюдь не безопасно. В эту семью не раз обращались те, кто пытался осветить в литературе образ Н.И.Вавилова, кто изучал его жизнь и деятельность»[574].

Я был одним из тех, кто не раз обращался к Н.Р.Иванову и его супруге за помощью и никогда не получал отказа. Бывал у них дома, пользовался их радушием и хлебосольством. Не припомню, чтобы в разговорах всплывало имя С.Ю.Шимановича; не думаю, что они вообще о нем помнили. Какая кошка пробежала между ним и Клавдией Васильевной, можно только гадать.

Помогло ли Шимановичу его заявление генпрокурору, мне неизвестно, но судьба обошлась с ним не так сурово, как со многими другими. Мне удалось найти упоминание об автореферате его диссертации: «Особенности отбора у льна-долгунца». Автореферат датирован 1952 годом. Значит, ему посчастливилось уцелеть и даже вернуться к любимому делу.

6.

Почему же тогда, в 1933-м, Вавилов не был арестован?

Ведь тот же В.Е.Писарев, да и другие *выбывшие из строя* не только признавались и *чистосердечно* каялись в вымышленных преступлениях. Свою чистосердечность они должны были *доказывать*, то есть изобличать *сообщников* по *народническо-эсеровской Трудовой Крестьянской Партии*. А главным

«сообщником» был директор ВИРа и президент ВАСХНИЛНиколай Иванович Вавилов. Приходилось говорить, писать, подписывать показания о том, что Вавилов враг колхозного строя, советской власти, социалистической реконструкции сельского хозяйства; что он и есть глава ТКП, что он в сговоре с Бухариным, другими *уклонистами* и *правыми троцкистами.*

Досье на Вавилова распухало как на дрожжах. Невозможно предположить, что об этом не докладывалось на самый верх – Сталину, Молотову, другим членам Политбюро.

ОГПУ давно точило когти и клюв, чтобы вцепиться в академика Вавилова. Но верховная власть не давала санкции. Почему?

У меня два ответа на этот вопрос – оба, конечно, гипотетические.

О первом уже говорилось: Сталин хорошо знал цену гэпэушным разоблачениям. Они заготовлялись впрок, на будущее. Пустить ли их в ход, и в какой именно момент, зависело не от того, сколь тяжки были «преступления», приписываемые данному лицу, а от политических расчетов вождя.

Вторая причина была чисто прагматической. Вавилов был нужен верховной власти, и тем более нужен, чем плачевнее становились результаты сплошной коллективизации.

В *политическом* плане эти результаты были превосходными. Единоличные хозяйства ликвидированы; кулачество уничтожено – не только *как класс*, но в большинстве и физически; колхозы организованы по всей стране; *правый уклон* и все остальные уклоны разгромлены; партийное руководство стало послушным, как стадо овец; *социализм в отдельно взятой стране* построен, вопреки *нытикам, маловерам* и прочим *троцкистам-ревизионистам.*

Но цену за «победу социализма в отдельно взятой стране» пришлось заплатить непомерную. Миллионы крестьян были сосланы в Сибирь, другие миллионы – в самых хлебных районах Украины и прилегающих регионах России – были обречены на смерть искусственно организованным голодом, точная цифра умерших неизвестна до сих пор.

Кинорежиссер Аркадий Тигай с горьким сарказмом напомнил: *«В этом же самом 32 году <…> снималась первая советская музыкальная комедия “Веселые ребята“… Помните? – “Легко на сердце от песни веселой!" А в газете “Правда” как раз “на злобу дня “ вышла статья о тяжелой участи японских крестьян, в которой автор клеймил пороки капитализма <…>. Опухшие от голода крестьяне шли в города, надеясь раздобыть хоть какую-то еду. Милицейские кордоны отлавливали их на дорогах и, как беглых*

крепостных, возвращали “по месту проживания”. В голодающих регионах участились случаи каннибализма. На виду у всего народа дворники и работники НКВД по улицам собирали истощенных детей, которые все-таки проникали в города, надеясь спастись от голодной смерти. Погрузив детей в вагоны, их целыми эшелонами вывозили за десятки километров, в поле, где оставляли умирать. Там же их и хоронили в заранее выкопанных рвах. Страна, как ни в чем не бывало, продолжала жить в двух параллельных мирах – в одном трупы дистрофиков по обочинам дорог, в другом: “… легко на сердце от песни веселой”.”»[575].

То, что жители деревень разбегались, было частью сталинского пятилетнего плана: для ускоренной индустриализации требовались рабочие руки – много мозолистых рук.

Но рабочую силу надо кормить, а урожаи падали, посевные площади сокращались, недорезанная скотина гибла от бескормицы.

Стране нужен был хлеб, много хлеба – его не вырастишь даже самыми жесткими решениями Политбюро. Ставка делалась на агрономическую науку.

Спецеедство уже нанесло ей немалый урон, но она продолжала функционировать. Академик Вавилов и его *философия бытия* определяли направление работы ВИРа и всех опытных учреждений по растениеводству. Альтернативы не было.

Пока не было.

В том, что рано или поздно она появится, можно было не сомневаться: ведь, согласно передовому учению товарища Сталина, «незаменимых людей у нас нет».

Но пока что Вавилов оставался незаменимым.

Часть пятая
Вихри враждебные

Пауль Каммерер

1.

Труд Жана Батиста Ламарка «Философия зоологии», увидевший свет в далеком 1809 году, примечателен тем, что в нем впервые в стройном систематическом виде излагалась теория эволюции органического мира. По Ламарку, эволюцию определяли два фактора: *стремление к совершенствованию* и передача по наследству *приобретенных* признаков.

Современники восприняли этот труд как очередное чудачество, ибо Ламарк и без того слыл чудаком. Наделенный богатым воображением и необузданным честолюбием, он публиковал труды по самым разным разделам науки, в которых «открывал» важнейшие законы мироздания, хотя большинство из них давно было отвергнуто ввиду их несостоятельности. Только упрямые чудаки, как Ламарк, могли пытаться их возродить.

Особенно высоко он ставил свою теорию, по которой лунное притяжение вызывает приливы и отливы не только в морях и океанах, но также в океане воздушном, да такие сильные, что этими приливно-отливными процессами объясняются все атмосферные явления. Эта теория позволяла с большой точностью прогнозировать погоду далеко вперед. Ламарк издавал «Ежегодники» – с предсказаниями погоды на каждый день следующего года. Предсказания проваливались и потешали публику; на горе-прорицателя сыпались злые насмешки.

Но Ламарк был автором трехтомной «Флоры Франции». Она принесла ему почетную известность в ученом мире и звание академика. Он создал ряд ценных трудов по зоологии беспозвоночных. Сам термин *беспозвоночные* ввел в науку Ламарк. Вместо двух линнеевских классов низших животных он ввел пять, затем увеличил их до десяти. Эти работы создали ему репутацию одного из ведущих естествоиспытателей Франции.

И вот между кропотливыми трудами по систематике беспозвоночных и потешными «Ежегодниками» вклинилась «Философия зоологии».

На приеме членов Французской академии императором Наполеоном Ламарк преподнес ему этот труд. Наполеон небрежно перекинул книгу адъютанту и презрительно произнес, глядя снизу вверх на почтительно склонившегося ученого:

– Что это такое? Ваш нелепый «Ежегодник», которым вы бесчестите вашу старость? Занимайтесь естественной историей, и

я с удовольствием приму ваши труды. Эту книгу беру только из уважения к вашим сединам.

Отходя от Ламарка, Наполеон уже не слышал ответного лепетания, что это как раз и есть труд по естественной истории…

В 1818 году Ламарк ослеп. Последние годы доживал в непроницаемом мраке, гордом одиночестве и почти в нищете. Только преданная дочь Корнелия понимала всю глубину его душевных терзаний. Единственным утешением одинокого старика была неколебимая вера в благодарную память человечества. На надгробном памятнике дочь поместила величественные слова:

«Отец, потомство отомстит за тебя».

2.

Через 30 лет после смерти Ламарка и через 50 лет после выхода «Философии зоологии» появился великий труд Дарвина «Происхождение видов путем естественного отбора». Идея эволюции органического мира получила право гражданства, но *механизм* эволюции – отбор наиболее приспособленных! – оказался совсем иным, нежели представлялось Ламарку.

Новый удар по его концепции был нанесен уже после смерти Дарвина знаменитыми опытами Августа Вейсмана, рубившего хвосты мышам[576]. Но вера в прямую передачу приобретенных признаков потомству не хотела умирать. Сторонники Ламарка считали опыты Вейсмана недоказательными: ведь они касались только увечий, а не приспособлений, вырабатываемых упражнениями, изменением режима питания, водного, температурного режима и иных условий обитания. Ламаркисты считали, что такие приспособления *должны* наследоваться. Время от времени появлялись публикации об экспериментах по успешной передаче приобретенных признаков потомству. Однако при перепроверке таких опытов другими учеными они, как правило, не подтверждались.

В 1923 году Иван Петрович Павлов на Международном физиологическом конгрессе в Эдинбурге сообщил об опытах своего практиканта А.Н.Студенцова по наследственной передаче условного рефлекса. Опыты Студенцова (как и Вейсмана!) ставились на мышах. Объект удобен дешевизной и быстротой размножения. Студенцов вырабатывал традиционный для павловской школы условный рефлекс на звонок. В первом поколении для выработки условного рефлекса потребовалось около трехсот повторений, а в пятом поколении было достаточно пяти-восьми. Сенсация! С трибуны конгресса Павлов заявил, что

когда он вернется в Петроград, там, возможно, уже появятся мыши, которые побегут к кормушке по *первому* звонку: условный рефлекс превратится в безусловный!

Несмотря на огромный авторитет Павлова, генетики отнеслись к его сообщению с большим скептицизмом. Вернувшись, Иван Петрович поручил своему наиболее опытному и надежному сотруднику Е.А.Генике перепроверить опыты Студенцова. Генике улучшил методику, устранил возможные помехи и выяснил, что первоначальный результат был неверен. Малоопытный экспериментатор действовал неумело, но со временем его навыки улучшались, потому и рефлекторная связь у подопытных животных устанавливалась быстрее. Не мыши становились более сообразительными, а сам экспериментатор!

Как подобает настоящему ученому, Павлов опубликовал опровержение. Он стал большим приверженцем генетики, настаивал на включении курса генетики в обязательную программу медицинских вузов. Он даже распорядился поставить памятник Менделю перед входом в лабораторное здание своего института в Колтушах[577].

3.

Самым фанатичным сторонником теории наследования приобретенных признаков был австрийский биолог Пауль Каммерер.

Каммерер был широко известен как яркий популяризатор науки. Его книги расходились огромными тиражами, публика ломилась на его общедоступные лекции. Он горячо пропагандировал идеи Дарвина об эволюции органического мира, но главной направляющей силой эволюции считал не борьбу за существование, а наследование приобретенных признаков. Никто и никогда не отстаивал эту идею с такой всепоглощающей страстью.

Каммерер родился в 1880 году в Вене, в ней прожил свою недолгую жизнь. Столица Австро-Венгерской империи была центром притяжения всего лучшего, новаторского, талантливого в европейской культуре. И худшего тоже: в Вене в эти годы рос, мужал, наливался злобой неудачливый полунищий художник Адольф Гитлер.

У Пауля Каммерера с детства обнаружились музыкальные способности, он готовился стать пианистом, поступил в Венскую академию на музыкальное отделение. Потом перешел на естественное отделение университета, но сохранил связи в мире

музыки. Высокий стройный красавец, он всегда был с иголочки одет: белоснежная манишка, накрахмаленные манжеты, щеголеватый галстук «бабочкой», безукоризненно пошитый костюм.

Большой почитатель Густава Малера, Каммерер однажды прислал ему письмо. Оно настолько заинтересовало композитора, что тот пригласил его к себе домой. Ученый стал часто бывать у Малеров. Говорил только о музыке. Молодая жена Малера Альма вызывала у него даже большее восхищение, чем ее муж, но никаких вольностей с ней он себе не позволял.

В 1911 году Малер умер на руках безутешной супруги. Чтобы отвлечь ее от мрачных мыслей, Каммерер предложил ей поработать в Институте биологии, где у него была лаборатория, с виварием для подопытных животных. Работал он в основном с земноводными: асцидиями, протеями, саламандрами, жабами-повитухами. Он объяснил Альме, как их кормить червями, которые тут же копошились в открытом ящике с высокими стенками. Вид кишащих червей вызвал у молодой женщины тошноту, что сильно удивило Каммерера. Он стал ей объяснять, какие это милые существа, и, если верить Альме, вынул из ящика горсть червей, запихнул себе в рот и с удовольствием стал жевать. У нее начались спазмы в животе.

Пришлось предложить ей другое занятие. Он подвел ее к клетке с богомолами – крупными прыгающими насекомыми, с сильно развитыми передними конечностями. На воле, подстерегая добычу, богомолы сидят неподвижно, как бы в молитвенной позе – отсюда их название. Когда какая-нибудь неосторожная мушка, или пчелка, или стрекозка оказывается достаточно близко, богомол резко выбрасывает вперед лапки и захватывает добычу. Это в дикой природе. А в неволе их надо было кормить, как и саламандр, но не червями, а мелкими насекомыми, для Альмы это было не так отвратительно.

Она стала ежедневно бывать в лаборатории. Элегантный профессор окутывал ее вниманием и скоро стал говорить о своей любви. Она благосклонно принимала его ухаживания, но определенной черты переступать не позволяла, чем распаляла его страсть. Каммерер настаивал на браке, она отказывалась, он приходил в неистовство. Даже выхватывал револьвер: грозил пойти к могиле Малера и на ней застрелиться. Она только посмеивалась, говоря, что они не в театре, чтобы ломать комедию.

Возможно, Каммерер добился бы своего, если бы на горизонте не появился Оскар Кокошка… На знаменитом полотне «Невеста ветра», считающемся вершиной творчества Кокошки,

увековечена Альма Малер.

Впереди у Альмы было много бурных романов, опаснейших приключений. На склоне лет она напишет книгу, которая станет мировым бестселлером. Нам в ее мемуарах важны несколько строк о ее работе у Каммерера.

«Я должна была учить их [богомолов] некоторым навыкам, что было обречено на неудачу, потому что этих бестий ничему научить нельзя. Я должна была давать им корм на затененном полу клетки, но они предпочитали пировать в верхней ее части, залитой светом. Они категорически отказывались менять свои повадки в угоду Каммереру. Я вела тщательные и точные записи. Но это тоже досаждало Каммереру. Его устроили бы менее точные записи, которые подтверждали бы то, что он хотел получить»[578].

Меняя условия жизни *этих бестий*, Каммерер пытался изменять их поведение и внешние признаки, а затем эти *приобретенные* признаки должны были переходить к потомству.

Особенно широко он развернул опыты с огненными саламандрами, маленькими существами на коротких ножках, с длинным подвижным хвостом и пятнистой черно-желтой шкуркой.

Огненные саламандры хорошо чувствуют себя в прохладную дождливую погоду, на охоту выходят в предрассветных и закатных сумерках, а днем прячутся от палящего солнца в норах, либо в тени густого кустарника. Любимое их укрытие – дупла или расщелины подгнивших и упавших деревьев. Когда такой валежник подбрасывают в костер, саламандры чувствуют жар и выползают из своих укрытий. Кажется, что они возникают из огня, отсюда их название – огненные.

С глубокой древности эти маленькие безобидные существа окутаны сонмом легенд, сказаний, им приписывалась особая связь с духами, коих надо задабривать, чтобы заслужить их покровительство. Вероятно, своей опоэтизированной таинственностью они и привлекли артистичную натуру Каммерера.

Пятнистая окраска саламандр делает их малозаметными в лесной чаще и уберегает от хищников. Если же фон обитания однотонный, например черный, то черные пятна на ее шкурке расширяются, а светлые сужаются; саламандра темнеем. На светлом фоне происходят обратные изменения. Миллионы лет эволюции выработали у животных такой приспособительный механизм. Каммерер пытался доказать, что такие *приобретенные признаки* передаются детенышам и усиливаются в следующих поколениях. Об этом он писал в своих статьях, говорил в докладах и лекциях. Однако когда коллеги повторяли опыты

Каммерера, результат получался негативный.

4.

Главным козырем Каммерера были опыты с жабами-повитухами. В отличие от других видов земноводных, повитухи спариваются и откладывают икру на суше, а не в воде, потому процесс размножения у них особый. Воздействуя на среду обитания повышенной температурой, Каммерер «научил» жаб-повитух спариваться и откладывать икру в воде, то есть изменил весь комплекс их поведения. При спаривании в воде самец придерживает самку передними лапками, для этого ему необходимо особое утолщение на пальце – *брачная мозоль.* Она темная, почти черная, потому очень заметна. Она и появлялась у подопытных самцов.

Следующее поколение повитух Каммерер содержал при обычной температуре, но спаривание, по его словам, снова происходило в воде, и у самцов, к его великому торжеству, снова появилась черная брачная мозоль. *Приобретенный* признак перешел к детенышам! *Брачная мозоль* стала главным козырем Каммерера: ведь это *анатомический* признак, у обычных повитух его нет, а у его переделанных – есть! Каждый мог это видеть собственными глазами.

Но увидеть мозоль оказалось непросто.

Еще в 1910 году Уильям Бэтсон просил Каммерера прислать ему экземпляр измененного самца, но просьба не была уважена. В 1923 году Каммерер выступал с докладом в Лондоне, демонстрировал своих повитух. Бэтсон присутствовал на докладе и смог на них, наконец, посмотреть. Он сразу же заметил, что мозоль расположена «неправильно»: помогать при спаривании она не может. Он попросил оставить ему экспонат для более тщательного изучения, но вместо этого все желающие были приглашены в Вену – ознакомиться с материалом на месте.

После мировой войны и развала Австро-Венгерской империи условия работы в Вене сильно ухудшились и продолжали ухудшаться. У Каммерера уже не было прежних возможностей. Лекция в Лондоне была им прочитана с дальним прицелом: получить предложение на работу в Англии. Этого ему не удалось.

В следующем году он совершил лекционное турне по США. Его яркие, темпераментные выступления привлекали большие аудитории, о нем писали газеты, «Нью-Йорк Таймс» назвала его новым Дарвином. Но приглашения на работу он не получил.

Оно пришло из Советской России, где было известно о

прокоммунистических убеждениях Каммерера, о его симпатиях к государству рабочих и крестьян. Летом 1926 года он приезжал в Москву. Его принял нарком просвещения Луначарский, которому он рассказал об опытах с саламандрами и жабами-повитухами.

Он с жаром говорил о том, что теория наследования приобретенных признаков – это подлинно материалистическая теория, а те, кто ее отрицают, – идеалисты и прислужники буржуазии. Они хотят оставить в природе хотя бы небольшое место для Бога.

Луначарский хорошо помнил, как сам увлекался богоискательством и богостроительством, за что Ильич назвал его «сволочью». Снова попасть в «сволочи» он не хотел. Было решено организовать для Каммерера лабораторию при Коммунистической академии.

Вернувшись в Вену, Каммерер упаковал и отправил в Москву библиотеку, следом должен был выехать сам.

Но тут разорвалась бомба, да такая, что ударная волна прокатилась по всему научному миру.

Оказалось, что пока Каммерер был в Москве, в его лабораторию наведался американский зоолог К.Кингсли Нобл. Осмотрев единственный из оставшихся заспиртованных экземпляров «переделанных» повитух, он обнаружил нечто невообразимое. Черную *брачную мозоль*… имитировала впрыснутая под кожу тушь!..

7 августа 1926 года вышел очередной номер престижного международного журнала «Нейчур» («Nature»), в нем была о том крохотная заметка Нобла.

Каммерер бросился к своим препаратам – сомнений не было! Его главная козырная карта оказалась крапленой… Сам ли он сделал подлог, или такую *услугу* ему оказал служитель лаборатории, чтобы потрафить шефу, – это не выяснено. Есть даже версия, что Каммереру, чтобы его скомпрометировать, «услужили» враги из нацистских организаций, набиравших силу в Австрии. Они давно уже объявили Каммерера полуевреем, а его науку еврейской и большевистской, – теперь они могли торжествовать.

У Каммерера, надломленного двумя десятилетиями бесплодной борьбы, не нашлось сил распутывать этот клубок. В письме в «Нейчур» он признал препарат поддельным, вину возложил на служителя. Не все этому поверили. Томас Морган написал Кингсли Ноблу: «Каммерер учинил еще один грязный трюк, пытаясь переложить вину за подделку на одного из своих ассистентов. Учтите, что его и раньше ловили на подлогах, и я думаю, что все люди с чувством ответственности сделают такой

же вывод»[579].

Аналогичным было письмо из Вены от профессора Франца Вернера: «Вы, несомненно, сделали важное дело, показав подлинное лицо Каммерера. У нас никогда не было веры в его научную честность. Я знал его с детства и хорошо представляю себе, сколько лжи он запустил в науку за свою жизнь»[580].

Подбадривающие письма Ноблу были посланы не случайно: вскоре после его разоблачительной заметки Каммерера нашли в парке с простреленной головой. Смерть наступила мгновенно: пальцы, сжимавшие револьвер, не успели разжаться.

5.

Самоубийство Каммерера навело Луначарского на создание кинофильма «Саламандра». Его главный герой Карл Цанге, прогрессивный биолог-материалист, ставит смелые опыты на саламандрах и выступает с блестящими лекциями на рабочих окраинах старинного буржуазного города, погрязшего в вековых консервативных традициях. Цанге опасен для реакционной профессуры, исповедующей идеализм и витализм, но тихо избавиться от него не позволяет его мировая известность. Против Цанге затеваются изощренные интриги. В его лабораторию проникают недруги, покрывают подопытных саламандр каким-то несмываемым красителем, а затем объявляют опыты сфальсифицированными. Против него фабрикуют уголовное дело – то ли об изнасиловании, то ли о растлении малолетней. Он вынужден скрыться, положение его становится все более отчаянным, безвыходным, ему остается только одно: покончить жизнь самоубийством. Но тут приходит помощь из Советской России. В стране пролетарской диктатуры не верят наветам буржуазии. Торжествующий Цанге уезжает в Москву – продолжать свои победоносные исследования. То, что не удалось реальному Каммереру, удалось виртуальному Цанге! В науке торжествовал диалектический материализм, а в искусстве – социалистический реализм.

Фильм был поставлен в 1928 году кинорежиссером Григорием Рошалем. Главную роль играл немецкий актер Бернхард Гёцке – даже внешне он был похож на Каммерера. В главной женской роли – жена Луначарского Натали Розенель.

Двумя годами раньше пролетарский поэт Демьян Бедный в едкой эпиграмме ославил ее и ее высокопоставленного мужа:

Ценя в искусстве рублики,

Нарком наш видит цель:
Дарить лохмотья публике,
А бархат – Розенель.

Нимало не смутившись, Луначарский ответил Демьяну веселой и, конечно, очень идейной комедией «Бархат и лохмотья». Разносторонне талантлив был нарком просвещения! Отчего не позволить себе такую шалость? *Всё могут короли.*

Успех кинофильма «Саламандра» превзошел все ожидания. Публика ломилась даже на самые поздние сеансы, в газетах – восторженные рецензии. Сколько *бархата* было накуплено на вырученные *рублики*, история умалчивает…

6.

А в научной среде самоубийство самого пламенного ламаркиста подвело черту под дискуссией многих десятилетий. Теория наследования приобретенных признаков отошла в прошлое. Это не значит, что среди видных ученых не осталось ни одного ламаркиста. Друг Вавилова Лев Семенович Берг в книге «Номогенез», вышедшей, правда, за четыре года до самоубийства Каммерера, выдвинул ламаркистскую концепцию эволюции и никогда не отказывался от своих взглядов. Профессор А.А.Любищев, крупный биолог и оригинальный мыслитель, твердо выступавший против монополии Лысенко в науке, объявлял себя противником теории Дарвина и сторонником Ламарка.

А какова была позиция Вавилова?

В одном из писем к нему П.П.Подъяпольский задал вопрос: «Не сообщите ли мне по поводу работ Кам[м]ерера (с влиянием света и окраски почв на саламандр): подтвердились ли и не были ли опровергнуты. Как будто что-то Вы об этом рассказывали в Саратове»[581].

5 мая 1924 года Николай Иванович ответил: «Положение таково, что экспериментальных данных по унаследованию приобретенных признаков нет. Только что еще лишний раз опровергнуты недавние опыты Тайера. Опыты Тайера были поразительно эффектны с вызыванием деформации глаза путем впрыскивания сыворотки. Коротенько эти опыты изложены в моей брошюре, которую Вам посылаю[582]. Она опубликована в 1923 году, но 2 месяца тому назад в новом прекрасном английском журнале экспериментальной биологии внук Гекели[583],

проверивший опыты Тайера, не подтверждает их. Каммерер безнадежен. Любопытна полемика в прошлом году между Бэтсоном, Макбрайдом и Каммерером, которая еще лишний раз кончилась крахом для Каммерера.

Право, я, Петр Павлович, объективен. Приемлем, в случае необходимости, ламаркизм, но экспериментальных данных нет, ничего не поделаешь»[584].

Вавилов был открыт к любым воззрениям, в том числе к ламаркистским, но подтверждающих фактов не было. Каммерер был *безнадежен* не потому, что верил в наследование приобретенных признаков, а потому, что опыты, на которые он опирался, не подтверждались. Их несостоятельность была ясна Вавилову задолго до разоблачений Нобла.

И примерно за десять лет до того, как в Советском Союзе ламаркизм снова вломился в науку – под флагом диалектического материализма, творческого дарвинизма, *мичуринского* учения.

Мичурин

1.

Ни одну главу этой книги мне не было так трудно писать, как главу об Иване Владимировиче Мичурине. О нем имеются монбланы литературы, эвересты всевозможных материалов. Но чем глубже я в них вникал, тем более зыбким становился облик Мичурина как ученого и человека.

А.А.Любищев в 1955 году высказал крамольную по тому времени мысль, что было ДВА Мичурина: «Первый – реальный Мичурин, трогательный по своему энтузиазму, несокрушимому оптимизму и самокритичности селекционер-любитель, талантливый, честный, трудолюбивый». А второй – «человек, имя которого знаменует собой целую эпоху, реформатор дарвинизма, избавивший его от наслоений капиталистического строя, борец за материалистическую биологию против реакционных течений, имя которого в истории науки может быть поставлено рядом с именами Ламарка,

Дарвина, Ковалевского, Сеченова, Павлова и даже Пастера – реформатора медицины, этого величайшего благодетеля человечества»[585].

Я хотел определить четкую грань между этими двумя Мичуриными, но она оказалась зыбкой, пористой, утопающей в вязкой трясине. Дабы «довраться до правды» (Достоевский), я попытался вычленить *главные звенья*, чтобы, ухватившись за них (по рецепту Ленина), вытянуть всю цепь. Или, если хотите, собрать и как-то склеить осколки разбитой статуи. Вот что из этого получилось.

2.

Иван Мичурин родился 15 (27) октября 1855 года.

Его отец Владимир Иванович, выходец из обедневшей дворянской семьи, получил «домашнее» воспитание. Служил приемщиком оружия на Тульском оружейном заводе, но работа его тяготила. После смерти отца (деда Ивана Владимировича) и дележа наследства Владимиру Ивановичу досталось именьице Вершина в деревне Долгое Пронского уезда Рязанской губернии. Он вышел в отставку и погрузился в то, к чему тянулась душа: в любительское садоводство. То была фамильная черта –

унаследовал ее и Иван Владимирович. Едва научившись ходить и говорить, он стал возиться в саду, подражая и помогая отцу.

Он был седьмым ребенком в семье и единственным выжившим: его старшие братишки и сестренки померли во младенчестве. Мальчику было четыре годика, когда за ними последовала мать. В десять лет Ваню определили в Пронское уездное училище – начальную четырехклассную школу, где царили порядки бурсы, а учителя были пьянчугами и невеждами.

В Пронске он жил у тетки Татьяны Ивановны Мичуриной-Биркиной, а душу отводил в отцовском саду, где проводил выходные дни и каникулы.

По окончании школы отец стал готовить его к поступлению в Александровский лицей – тот самый, Царскосельский, пушкинский! – но занятия прервала внезапная болезнь отца. Владимир Иванович помутился рассудком и попал в дом умалишенных. При живом отце Ваня Мичурин стал круглым сиротой. И, сверх того, остался гол как сокол, ибо Вершина была заложена, ее пришлось продать за долги.

Юношу отправили в Рязань – к брату отца Льву Ивановичу. Его определили в местную гимназию, но проучиться в ней Ване довелось всего ничего. Встретив на улице директора, он якобы не снял шапку; за такую дерзость его исключили. Придирка, возможно, была вызвана тем, что Лев Иванович не дал директору обещанной взятки. Систематическое образование Мичурина завершилось.

Он добирал чтением разных книг и журналов, больше всего – по садоводству. Еще его привлекали технические приспособления, инструменты, механизмы, завораживало тиканье часов – настенных, карманных, «ходиков». Он научился разбирать и собирать часы, устранять неисправности.

Семнадцати лет Иван Мичурин поступил на службу в товарную контору Рязано-Уральской железной дороги в Козлове, уездном городке Тамбовской губернии. Он *коммерческий конторщик*. Главный *товар*, который он должен учитывать, – хлебные грузы: предмет российского экспорта. Жалованье нищенское. Если верить советским биографам, «вечная нужда, мелкая, до одури однообразная работа, грубые окрики начальства, взяточничество конторщиков и их попойки в ближнем трактире после 16-часового рабочего дня – такова была обстановка, в которой находился в те годы Мичурин»[586].

Молодой конторщик стал вхож в семью Василия Никифоровича Петрушина, мастерового одного из местных заводиков – то ли винокуренного, то ли кожевенного. Петрушин принадлежал к тем, кого Маркс назвал «рабочей аристократией».

Семья жила в собственном домике, при нем был участок земли с фруктовыми деревьями.

Трудно сказать, что больше влекло Ивана Мичурина в дом Петрушиных – этот запущенный садик или их дочь Александра. Она была на три года младше Ивана; их тянуло друг к другу

Однажды на Козловскую станцию наведался хозяин железной дороги фон Дервиз – вместе с товарищем министра путей сообщения, тайным советником Вельяминовым, и надо было так случиться, что у высокого гостя остановились часы. Коммерческий конторщик вызвался их починить и быстро устранил неисправность. Сановник удостоил его похвалы, а начальник станции Эверлинг сделал выводы. Смышленый паренек стал его помощником.

Рабочий день укоротился, жалованье повысилось. Девятнадцатилетний Мичурин не замедлил предложить шестнадцатилетней Александре Петрушиной руку и сердце; родители не препятствовали. Александра станет его преданной помощницей (скончается в 1915 году от холеры).

Иван, на правах близкого родственника, всё свободное время стал отдавать садику тестя.

В саду росли яблони и вишни местных сортов – типичные плодовые деревья Тамбовщины и всей среднерусской полосы. Плоды у них были мелкие, жесткие, неаппетитные. На рынке продавались куда более крупные и вкусные плоды, привозимые с юга, но стоили они дорого. Мичурин стал думать о том, как приспособить южные сорта и культуры к местным условиям: не только яблони и вишни, но груши, сливы, персики, виноград… Часть заработка тратил на семена, саженцы, на книги и журналы по садоводству.

Но на хлебной должности он продержался недолго: был отстранен за дерзкую насмешку над Эверлингом. Правда, его не уволили, а перевели в железнодорожную мастерскую. Жалованье снова понизилось, его едва хватало на хлеб. Да еще приходилось ездить по железной дороге, налаживать электрическую сигнализацию: тогда она была внове и часто портилась. Мичурин отлучаться не любил, ибо садик оставался без присмотра.

О закупках книг и семян нечего было и думать, но без этого жизнь теряла смысл.

Вскоре над окном его квартиры появилась дощечка с самодельной надписью: *ЧИНЮ ЧАСЫ И ПРОЧИЕ МЕХАНИЗМЫ.* Затем добавилась еще одна строка: *ОПТИЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ.*

К нему потянулись клиенты. Кому-то требовалось починить часы; кому-то швейную машинку; кому-то вставить стекла в новую оправу очков, что-то еще починить, наладить, припаять.

Мичурин был мастером на все руки.

Снова появились деньги на книги, саженцы, семена. Хотя сверхурочное время приходилось отдавать мастерской, у него еще оставались силы для сада. Поистине он был труженик!

Когда садик тестя был до отказа заполнен, Мичурин арендовал небольшой пустырь на задворках Полтавской улицы, но через несколько лет и этот садик был перегружен. Он арендовал дополнительные участки, выкупал их, перепродавал, чтобы купить новые. Летом 1900 года 45-летний Мичурин смог обосноваться в своем последнем пристанище, на берегу реки Лесной Воронеж, где продавался участок в 12 десятин (около 14 гектаров). Он выложил все сбережения – даже лошадь с подводой для переезда нанять было не на что. Переносил саженцы на плечах за семь километров. Помогали жена, сестра жены, уже взрослые дети: сын Николай и дочь Мария.

3.

Среди литературы по садоводству особо авторитетной считалась книга А.К.Грелля «Доходное плодоводство». Она, как и журнал Грелля «Русское садоводство», стали у Мичурина настольными.

Александр Кондратьевич Грелль был врачом по образованию, но страстью его жизни было садоводство. Он преподавал в Московской школе земледелия, у него был акклиматизационный сад.

Идея фикс Грелля была в том, чтобы приучить лучшие южные сорта к суровым условиям средней полосы. Он прививал изнеженные теплолюбивые растеньица на местные дички: считал, что, питаясь соками зимостойких *подвоев*, южные *привои* получат закалку и смогут переносить северные зимы. Успех зависел от правильного сочетания привоев и подвоев, от техники прививок, от умелого ухода за растениями.

Иван Мичурин воспринял эти идеи. Он вступал в контакты с садоводами, с растениеводческими фирмами, отечественными и зарубежными. Его коллекция плодовых культур и сортов со всего света пополнялась.

Пытаясь улучшить методы прививки, Мичурин был очень изобретателен. По его наблюдениям, многое зависело от возраста подвоя и привоя, от того, в какое место и на каком году жизни подвоя присоединить привой. В одних случаях привой следует прикреплять к стволу у самой земли, в других – к нижней ветке подвоя, в третьих – прививать в крону. Он вывел общее правило:

молодые растеньица и побеги более пластичны, чем «старички», их легче *закалить*, приучая к новым условиям среды.

О том, что подвой и привой взаимно влияют друг на друга, было известно с античных времен. Но меняют ли прививки наследственную природу растений? Грелль считал, что меняют, в это уверовал и Мичурин.

Но… Южные сорта, привитые к зимостойким дичкам, успешно пережив одну-две-три сравнительно мягкие зимы, гибли в более суровую. Неудачи не обескураживали Мичурина. Его упорство могло соперничать только с его же изобретательностью.

Неутомимо экспериментируя в разных направлениях, Мичурин придумал особый способ выхаживания черенков вишни. У них появлялись корешки, их можно было пересаживать в грунт, они приживались. Такой способ *укоренения* опровергал *укорененное* мнение, что вишню черенками размножать нельзя. Мичурин описал свой метод, послал статью в журнал Грелля. И получил ее назад с размашистой резолюцией поперек первой страницы: «Не помещу. Печатаю только правду. Грелль».

Возмущенный Мичурин выкопал несколько укоренившихся растеньиц, запаковал и отправил Греллю: пусть полюбуется. Проняло! Пришло письмо с извинениями и просьбой повторно прислать статью – для публикации. Мичурин был слишком горд, чтобы ответить. То было его первое разочарование в Грелле.

Однажды в поезде Мичурин оказался попутчиком доктора Бетлинга. Тот возвращался из Москвы в Крым, где у него был питомник садовых культур.

В разговоре Бетлинг с пренебрежением отозвался о «фантазиях» Грелля. Приучать южные сорта к суровым зимам – это пустая трата времени, сил, денег. Нужно *скрещивать* южан с северянами и отбирать наилучшие сочетания в потомстве гибридов, высаживать и снова отбирать. Путь долгий, но более верный.

Такой метод селекции прямо следовал из законов Менделя, но тогда они еще не были переоткрыты. Бетлинг, того не ведая, был стихийным менделистом.

Иван Владимирович не сразу оценил то, что услышал от случайного попутчика.

«Окончательно убедила Мичурина в неприменимости греллевской акклиматизационной методики суровая зима 1889 года. Несмотря на все ухищрения такого мастера садовой хирургии, каким был Иван Владимирович, саженцы и привитые в кроны взрослых деревьев черенки южных сортов яблони, груши, вишни и сливы безвозвратно погибли»[587].

Основным методом Мичурина становится гибридизация.

В этом направлении он тоже допустил много ошибок, но постепенно стал нащупывать правильные пути.

Один из лучших литературных портретов Мичурина создал Варлам Шаламов – будущий автор «Колымских рассказов». Он уже отбыл первый – трехлетний – срок за «троцкизм», колымские «университеты» были впереди. В его очерке – парадном, юбилейном – раскрыта технология успеха Мичурина: «География! Надо было хорошо знать географию. Из Сибири, с Дальнего Востока, с Памира, из Монголии, из Канады едут в мичуринские сады представители диких, выносливых, морозостойких пород. Из Франции, Персии, Китая, Крыма, с Кавказа едут южане. Новое племя готово родиться. Но прежде морозоустойчивые сорта – семена, саженцы – высеиваются прямо в сад: зиму Тамбова они перенесут легко, они привыкли к холодам на родине. Южане получают жилплощадь из особого фонда, состоящую из горшков, плетеных корзин. Зиму живут в подвалах и сараях. Весной, в цветении, заключается, наконец, брачный союз. Из плодов, полученных от этого скрещивания, Мичурин выбирает семена. Семена высеваются, и деревья, выросшие из этих семян, будут новым сортом, взявшим от севера климатическую устойчивость, а от юга – вкусовые качества, эффектную внешность и хорошую сохранность плодов. Так в десятках лет напряженной работы был найден правильный путь к соединению юга и севера»[588].

Итак, скрещивание географически отдаленных форм!

Сформировавшиеся в разных природно-климатических условиях, географически отдаленные формы одного и того же вида несли большое число альтернативных генов. Скрещивание давало широкий спектр изменчивости – было из чего отбирать! Дальнейшее зависело от таланта, наблюдательности, мастерства селекционера. Того, другого и третьего, а также невероятного упорства, любви к своим саженцам и деревцам у Мичурина было с избытком.

Преимущества скрещивания географически отдаленных форм научно обосновал Н.И.Вавилов. К своим выводам он пришел на основе фундаментальных законов генетики, эволюционной теории Дарвина, своего широчайшего кругозора ботаника, географа, путешественника, на основе экспериментов на опытных станциях ВИРа. Но это было много позднее. Мичурин, идя своим путем, на ощупь, стал руководствоваться похожими идеями, когда Вавилов был еще школьником.

4.

Как многие самоучки, Мичурин с недоверием относился к «официальной» науке. Переоткрытые в 1900 году законы Менделя, как мы знаем, стали основой генетики, а генетика – фундамент селекции. Но Мичурина это не побудило пересмотреть свои взгляды и методы работы, сложившиеся в доменделевскую эпоху. О законах Менделя он упоминал многократно, по разным поводам, часто с раздражением. Он либо вообще отрицал законы генетики, либо презрительно называл их «гороховыми», то есть приложимыми к гороху, возможно, к другим однолетним растениям, но не к многолетним садовым культурам.

Оправдание этому нигилизму можно видеть в том, что он преимущественно работал с плодовыми культурами. Садовое дерево растет и развивается несколько лет, прежде чем зацветет и начнет плодоносить. Затем оно приносит плоды много лет подряд. Если оно получено от скрещивания разных сортов, то расщепление гибрида начнется лишь в следующих поколениях, при размножении семенами. А ведь плодовые деревья можно размножать черенками, прививкой. Потому небрежение законами генетики мало сказывалось на практических результатах работы Мичурина. Если гибридное растение стойко переносило зимы и давало крупные, вкусные, аппетитные плоды, то казалось, что цель достигнута.

По подсчетам Мичурина, им было выведено 350 сортов разных культур, включая сорта персика, винограда, дыни и других южных растений. Эти цифры можно встретить в его биографиях, справочных изданиях, в учебниках. Однако ни при жизни Мичурина, ни после его смерти большинство этих сортов распространения не получило. Любищев пробовал мичуринский виноград и считал его слишком кислым, мелким, немногим лучше сортов винограда, которые и раньше любители выращивали в средней полосе. С привозными сортами из Крыма, Кавказа, Средней Азии они конкурировать не могли.

Наибольшую известность получила яблоня «Антоновка шестисотграммовая» – шедевр селекции. Она возникла благодаря случайной мутации, Мичурин сумел ее закрепить направленным отбором. Хороши были и другие сорта яблонь, в их числе «Ренет краснознаменный», некоторые сорта груши, сливы, превосходные сорта рябины. Впечатляющие достижения! Но рябина – не виноград.

Мичурин тратил много сил на *воспитание* гибридов, дабы закрепить лучшие качества родительских форм и подавить худшие. Он верил, что это возможно при «правильном» воздействии на гибридное растение, пока оно молодо и пластично. Понятно, что многие его сорта оказались

нестабильными и впоследствии исчезли. Такова цена презрительного отношения к *гороховым законам.*

Любищев пришел к заключению, что *устойчивых* сортов Мичуриным было создано несколько десятков, а не 350, – на порядок меньше. В одной из последних историко-научных публикаций о Мичурине дана другая цифра: 132 сорта. Но насколько они были стабильны, авторы не обсуждают. Они указывают, что 11 мичуринских сортов остаются в культуре и входят в «Государственный реестр охраняемых селекционных достижений РФ»[589]. Поразительное долголетие!

Природный талант и личный практический опыт, чрезвычайное упорство и безмерная любовь к своему делу помогали Мичурину нащупывать оригинальные, нехоженые пути. Но личный опыт коварен: если им ограничиваться, он сужает кругозор.

Разочаровавшись в методах Грелля, Мичурин продолжал придерживаться его общих взглядов, восходивших к теории Ламарка о наследовании приобретенных признаков, усиливающихся путем упражнения и «воспитания». Мичурин *сам* наблюдал взаимное влияние подвоев и привоев. Это явление носило название «прививочной гибридизации». Иван Владимирович дал ему свое название, впрочем, похожее: «вегетативная гибридизация». То и другое – нонсенс. Как *твердая жидкость* или *горячий холод.* По данным современной науки, влияние подвоя на привой вызывается тем, что вместе с питательными веществами почвы привитое растение получает из подвоя его гормоны. Анатомические и физиологические уклонения под действием чужеродного гормона хорошо видны, но в потомстве они не воспроизводятся.

Подлинные успехи Мичурина были связаны с отдаленной гибридизацией – не только географически отдаленной, но и межвидовой. Мичурин получал плодовитые межвидовые гибриды задолго до того, как Карпеченко создал свой капусто-редичный гибрид. Иван Владимирович ворчливо иронизировал:

«Некоторые “ученые” до самого последнего времени считают отдаленную гибридизацию мечтой, а мои межвидовые гибриды объявляли “незаконнорожденными”, хотя я уже давным-давно имею межвидовые гибриды: между рябиной и грушей, между черемухой и вишней, между дыней и тыквой, между малиной и земляникой. С межвидовой гибридизацией стали считаться, однако не тогда, когда я вывел ценные в экономическом отношении межвидовые гибриды, а с тех пор, когда ученый Карпеченко получил гибрид между редькой и капустой, и хотя этот гибрид имеет голый научный интерес и ничего не даст для

экономики, Карпеченко все же была присуждена рокфеллеровская премия»[590].

Недовольство «учеными» (в кавычках!) характерно для Мичурина. Мы знаем, что Карпеченко была присуждена Рокфеллеровская *стипендия*, а не премия, – для стажировки в США в течение года. Мичурина приглашали в Америку на куда более щедрых условиях, когда Карпеченко еще был ребенком, – об этом ниже. Оснований считать себя обойденным у него не было.

Эксперименты Карпеченко были методически безупречны, потому и имели «голый научный интерес», тогда как Мичурин не проводил цитогенетического анализа своих гибридов, степень *биологической отдаленности* оставалась под вопросом. При их несомненной практической пользе, *голая наука* мало что могла из них извлечь. Впрочем, Карпеченко признавал приоритет Мичурина, ссылался на него в своих трудах.

5.

О том, как Мичурин на последние гроши закупал семена и саженцы различных сортов со всего света; как он был бескорыстен; как бедствовала его семья, советские биографы писали, не скупясь на драматические подробности. Создавался образ самозабвенного труженика, готового на любые лишения ради народного блага.

Сколько во всем этом правды?

Всё зарабатываемое на железнодорожной станции и в своей часовой мастерской Мичурин вкладывал в садовое хозяйство. Но откуда брались деньги, когда он ушел со службы и ликвидировал домашнюю мастерскую?..

Да из того же садоводства!

Оно требовало расходов, но приносило и доходы. Как писал Иван Владимирович по поводу своих публикаций в садоводческих журналах, «издатели и их редакторы не в состоянии выплачивать такой гонорар, который мог бы быть выгодным для лиц, серьезно занятых практическим делом садоводства. Нам решительно нет никакого смысла сидеть над составлением статей и затрачивать время, в течение которого каждый из нас зарабатывает на грядах в саду в несколько раз более, чем он получит гонорар от издателя. Ведь нам, смешно сказать, платят гораздо дешевле, чем любому сапожнику за работу»[591].

Реального Мичурина материальная выгода очень даже заботила. Его сад был коммерческим предприятием, и весьма рентабельным: работа в саду приносила реальные *деньги*, хотя

аппетиты неутомимого трудоголика росли быстрее заработков, поступления сразу шли в оборот, а семья обрекалась на жалкое существование. Таковы были приоритеты Ивана Владимировича.

6.

В литературе о Мичурине красной нитью проходит мысль о том, что до революции он бился в одиночку – при полном равнодушии власти и официальной науки. Даже подвергался гонениям со стороны церкви. Такой имидж культивировал сам Мичурин; вероятно, искренне в него верил. В «Правде» от 18 сентября 1934 года он писал: «Советская власть и партия превратили также меня из *одиночки-опытника, не признанного и осмеянного официальной наукой и чиновниками царского Департамента земледелия*, в руководителя и организатора опытов с сотнями тысяч растений». О том же он говорил на своем юбилейном вечере в Мичуринске (бывшем Козлове): «Вся дорога моя до революции была выстлана *осмеянием, пренебрежением, забвением*» (курсив мой. – *С.Р.*).

Так ли?

То, что Мичурин был одиночкой-опытником, сущая правда, но *осмеяние, пренебрежение, забвение*? Кем, когда, при каких обстоятельствах?

Кроме недоразумения с А.К.Греллем, за которое тот извинился, ничего подобного документально не зафиксировано. Да и Грелль – не официальная наука, а садовод-любитель вроде самого Мичурина. Более образованный, но менее талантливый, он в науке следа не оставил.

Вот профессор Н.И.Кичунов безусловно представлял *официальную* науку. Автор большого числа научных трудов, он много сделал для подъема земских садоводческих учреждений (в основном в Курской губернии), преподавал в школах садоводства, редактировал научные журналы «Промышленное садоводство и огородничество», «Прогрессивное садоводство и огородничество». К Мичурину он относился с большим почтением, переписывался с ним, бывал у него в Козлове, публиковал его статьи. Иван Владимирович упоминал о добром отношении к себе «уважаемого профессора Н.И.Кичунова и покойного профессора [М.В.] Рытова»[592]. Кичунову, как мы увидим, Мичурин был обязан тем, что его питомник уцелел после революции.

Чтил Мичурина и профессор В.В.Пашкевич, крупнейший плодовод страны. Он тоже бывал у него в Козлове и поддерживал его.

Мичурин был почетным членом Калужского и Симбирского обществ садоводства. В 1913 году его избрали почетным членом Всероссийского общества садоводства, что было «скромным свидетельством нашего уважения к Вашей многолетней деятельности»[593]. Так написал ему, извещая об избрании, вице-президент общества А.А.Ячевский.

Ну а как складывались отношения Мичурина с царской бюрократией?

В ноябре 1905 года Иван Владимирович обратился в Департамент земледелия с докладом о своих работах и просьбой о субсидии на их продолжение. Учитывая, сколь турбулентным было то время для российских властей и как неповоротлива была бюрократическая машина, можно не удивляться, что ответ пришел очень нескоро. Но – пришел. В феврале 1908 года директор Департамента Н.Крюков известил, что «полезное значение» опытов Мичурина оценено.

«Оказывая в редких исключительных случаях пособия частным лицам на продолжение их опытов по садоводству и плодоводству, Департамент земледелия нашел бы возможным воспользоваться и Вашей опытностью и знаниями, если бы Вы признали возможным принять на себя постановку опытов по садоводству по инициативе Департамента и вообще исполнять некоторые поручения его в этой области»[594].

Приведя этот «бездушный» ответ, личный секретарь и первый биограф Мичурина А.Н.Бахарев сообщает, что Иван Владимирович «наотрез отказался исполнять “поручения Департамента”. Он не захотел превратиться в безвольного чиновника»[595].

Вслед за Бахаревым это подхватили другие биографы: «И.В. отказался принять это условие, превращающее его в чиновника Департамента. В нужде, одиночестве, непризнанный, но стойкий в борьбе, И.В. упорно продолжал свое замечательное дело, получая моральную поддержку лишь от своих немногих друзей в эти мрачные годы реакции в царской России»[596].

Но ведь почти все ведущие ученые *в эти мрачные годы реакции* состояли на государственной службе. «Чиновниками» были профессора университетов, члены Сельскохозяйственного ученого комитета, как Регель и тот же Ячевский.

Впрочем, штатной должности Мичурину не предлагали. Требовалось лишь согласие откликаться на запросы Департамента. Скорее всего, это была бюрократическая формальность, позволявшая провести пособие по какой-то расходной статье. Нежелание стать «безвольным чиновником» походило на каприз избалованного ребенка.

Согласно Бахареву, в своем ответе Крюкову Мичурин «выступает обличителем существовавших в царской России порядков». Ни одной строчки из этого ответа не процитировано, зато Бахареву известно, что чиновники Департамента были «задеты смелыми речами “дерзкого выскочки”».

Правда, через два года Мичурин снова обратился в Департамент земледелия с просьбой о субсидии. Чиновники отомстили ему… имперским орденом Анны 3-й степени и знаком отличия Зеленый Крест – «за преуспеяния в сельском хозяйстве». Ему была предложена должность (на этот раз *штатная*!) – с эфемерными обязанностями и очень не эфемерным жалованием: 3000 рублей в год. Таким был оклад ординарного профессора, столько получали самые крупные ученые: Сеченов, Мечников, Докучаев, Прянишников, Менделеев, Тимирязев, Лебедев, Фортунатов, Введенский… Все они состояли на государственной службе. Если выходили в отставку – в знак протеста, как Мечников, Тимирязев, Лебедев, или по другим причинам, – то оклад теряли.

Мичурин от должности отказался.

Он был более свободолюбив, чем все эти ученые?

Возможно. Но вероятнее другая причина отказа: с принятием должности он был бы обязан часть года проводить в Петербурге; для него это было слишком обременительно.

Вольному воля, но чем провинилась перед ним царская власть?

Однако он был убежден, что провинилась, и не скрывал своего негодования: «В результате 33-летнего труда, после выведения многих новых, по-видимому, ценных, сортов плодовых растений – почти ноль внимания со стороны общества и еще менее от правительства… А уже о материальной поддержке и говорить нечего, – этого в России для полезных дел и не дождешься никогда.

И вот, в конце концов, дело гибнет, питомник запущен, две трети новых сортов частью погибли, затерялись за отсутствием должного ухода, за недостатком свободного места, а частью рассеялись по различным покупателям в России и за границей, откуда к нам вернутся под другим именем».

Так он писал в статье, опубликованной в 1911 году в журнале «Прогрессивное садоводство и огородничество»[597].

Останавливает внимание фраза: «Рассеялись по различным *покупателям* в России и за *границей*!» Мне удалось найти внушительную цифру: 15 тысяч! Столько сеянцев разошлось из питомника до 1917 года (в сущности, до 1914-го, ибо с началом мировой войны продажи резко пошли на убыль). Данных о

средней цене этих продаж обнаружить не удалось, размеры выручек неизвестны, но, вероятно, доходы были такими, что оклад в 3000 рублей был для него незначителен – не было смысла терпеть неудобства.

Бахарев гнет свою линию: «Большинство лучших мичуринских сортов царизм передал в США и Канаду»[598].

Царизм? *Передал?!*.

Но в 1913 году Мичурин писал профессору С.В.Краинскому: «…продать-то можно гораздо выгоднее иностранцам, как это *у меня имеет место с американским Департаментом сельского хозяйства уже в течение около двух десятков лет*, и вот в текущем году я получил предложение продать все без исключения выведенные мной новые сорта плодовых растений: им выгоднее продать, потому что они платят гораздо дороже» (курсив мой. – С.Р.)[599].

Сверхподозрительный Мичурин опасался, что американцы переименовывают его сорта и потом перепродают. Оснований для этого не было никаких. Вавилову в Калифорнии в 1930 году показывали сливы, густо увешанные отличными плодами, и поясняли, что сорт создан Мичуриным и вывезен из России американским профессором Франком Мейером, не раз навещавшим Мичурина по поручению Департамента земледелия. А.А.Любищев в 50-е годы не нашел никаких следов того, что мичуринские сорта кто-то переименовывал.

Мичурина приглашали переехать в США. Вашингтон готов был предоставить отдельный пароход, создать наилучшие условия для работы и платить 8000 долларов в год (около 200 тысяч по современному курсу).

Какое-то время Иван Владимирович колебался, но столь круто менять свою жизнь не рискнул. Объяснял это преклонным возрастом, пошатнувшимся здоровьем, незнанием английского языка.

7.

Если верить Бахареву, то Февральскую революцию Мичурин воспринял с полным равнодушен и за весь 1917 год ни разу не вышел за пределы своего питомника. Другой биограф, В.А.Лебедев, несколько иначе описывает февральские события.

«Ликование и восторг народа были безмерны. Буйно таял весенний снег. По улицам города Козлова двигались тысячи людей с красными бантами, с оркестрами. Победно звучали “’Марсельеза”, “Варшавянка”, “Вы жертвою пали”. Музыка

явственно доносилась по ветру до мичуринского сада, до полуострова на излучине реки Лесной Воронеж, и Иван Владимирович, <…> надев свою лучшую куртку и шляпу, опираясь на палочку, <…> зашагал в город, что он делал в последнее время крайне редко. Если только царь действительно свергнут, это предвещало для него много перемен к лучшему»[600].

Но и Лебедев подтверждает: в 1917 году Мичурин был поглощен своим питомником, где «шла обычная, неторопливая жизнь», и в основном оставался глух к тому, что происходило в стране и городе. Большую радость принесло ему цветение и плодоношение Пепин-китайки – гибридной яблони, от скрещивания *Пепинки литовской* с неприхотливым растением из Манчжурии, которое не боялось морозов. Гибрид Китайки с Пепинкой был высеян в 1907 году; десять лет Мичурин его растил, лелеял, *воспитывал*, чтобы морозостойкость Китайки соединить с качеством плодов Пепинки. И вот на дереве распустились цветы, стали завязываться и наливаться плоды. Всё получилось наилучшим образом!

«С легким загаром-румянцем яблоки нового *гибрида* висели на горизонтальных, чуть поникших ветвях, какие обычно бывают у Пепина. Формой плоды тоже были совсем как у Пепина. Они походили на спящих голубей, сунувших голову под крыло: с одного конца широкие, с другого – узкие. И ветры не очень-то подступались к этому деревцу: у Пепина плоды держатся крепко. На этот раз Китайка уже нисколько не подвела: передала новому *сорту* свое самое лучшее качество – морозостойкость» (курсив мой. – С.Р.)[601].

В этом отрывке красивостей больше, чем достоверности. *Гибрид* незаметно переделан в *сорт. Мичуринская* биология воспевалась методом *социалистического реализма*: желаемое превращалось в действительное.

Но вот – грянул *Великий Октябрь.*

Главой новой власти В. И.Ульяновым-Лениным подписан *Декрет о земле*: «Помещичья собственность на землю отменяется немедленно без всякого выкупа»[602].

Могла оставаться слабая надежда, что Учредительное собрание не утвердит Декрет или внесет в него поправки. Но в январе 1918 года Учредилка была разогнана. *Декрет* о земле стал *законом.* В феврале советская власть утвердилась в Козлове. Мичурин – потомственный дворянин и землевладелец, то есть *помещик.* Его сад, в который вложено столько ума, таланта, горестей, радостей, бессонных ночей, – не *его* сад!..

Что было делать?..

При царизме он мог брюзжать о равнодушии власти, от которой нет никакой помощи, а когда помощь предлагали, гордо ее отвергать. С Советами шутки были плохи.

Но Иван Владимирович, почти не выходивший за ограду своего питомника, превосходно сориентировался! «На другой же день после того, как Советы рабочих, солдатских и крестьянских депутатов взяли власть [в городе] в свои руки, не обращая внимания на продолжавшуюся еще на улицах стрельбу, [он] явился в только что организованный уездный земельный комиссариат и заявил: “Я хочу работать для новой власти”»[603].

Комиссарам это понравилось, но в те горячие дни было не до него. *Пока* его оставили в покое. Надолго ли, нельзя было загадывать. События раскручивались быстро, никто не знал, что будет завтра.

Манной небесной стало письмо из Москвы от профессора Кичунова. Он пошел служить новой власти, был поставлен в Наркомземе во главе Опытного отдела и тут же отправил наверх Докладную записку о Мичурине: «Заслуги И.В.Мичурина в русском садовом мире столь беспримерны и колоссальны, что сделали это достойнейшее имя самым дорогим для каждого русского садовода… И.В.Мичурин составляет настоящую гордость России… Достойный удивления и исключительной признательности всей страны подвиг».

Его послали в Козлов – выяснить на месте нужды Мичурина. Вернувшись, он сделал доклад, после чего отписал: «На пользу (и пользу огромную) для России Вы утверждены старшим специалистом, а помощник полагается Вам по Вашему выбору Верховный же ревизор от Отдела нашего (т. е. опытного) – я; как видите, у нас с Вами всё обстоит теперь благополучно»[604].

Пришлось-таки Мичурину стать чиновником! Только так сад мог остаться при нем, а он при саде.

То была редкая привилегия. Можно сказать, что Мичурину достался выигрышный лотерейный билет. Десятки частных садовых питомников, разбросанных по стране, – от Питера до Кременчуга, от Саратова до Одессы, от Курска до Риги и Краснодара, – Советская власть ликвидировала. В числе нескольких уцелевших, кроме мичуринского, оказался питомник его ровесника Льва Платоновича Симиренко – бывшего народовольца, который провел много лет в сибирской ссылке. Когда ему позволили вернуться в родовое имение в селе Млиев Киевской губернии, он занялся садоводством. «Неутомимый исследователь работал над изучением почти трех тысяч сортов разнообразных плодовых, ягодных и декоративных растений. Среди них – 900 сортов яблок, 880 – груш, 350 – различных видов

роз, 305 разновидностей хвойных деревьев и кустов и мн. др.»[605] Советская власть имение конфисковала, но бывшего владельца определила главою хозяйства. В 1920 году Л.П.Симиренко был убит – то ли *белобандитом*, то ли *краснобандитом* (подосланным чекистом), но руководство питомником, как бы по наследству, перешло к его сыну Владимиру Львовичу. Агроном по профессии, он посвятил себя развитию дела отца. Вавилов поддерживал деловые и личные контакты с В.Л.Симиренко, как и с И.В.Мичуриным.

Когда на смену полуголодным пайкам времен военного коммунизма пришел голод 1921–1922 годов, выжить Мичурину и его близким помогли посылки из Америки, видимо, от АРА. Организовал их, скорее всего, Вавилов.

Между тем в Москве, с легкой руки того же Н.И.Кичунова, Мичурин стал входить в моду среди кремлевской

элиты. Даже Демьян Бедный нанял садовника, чтобы выращивать на своей даче мичуринские сорта. Почитательницами Мичурина стали мать и сестра управделами Совнаркома Н.П. Горбунова.

18 февраля 1922 года в Тамбовский губисполком пришла телеграмма:

> **«Опыты по получению новых культурных растений имеют громадное государственное значение. Срочно пришлите доклад об опытах и работах Мичурина Козловского уезда для доклада председателю Совнаркома тов. Ленину. Исполнение телеграммы подтвердите. Управделами СНК Горбунов».**

Телеграмма дважды воспроизведена Бахаревым, но в издании 1949 года подпись расстрелянного «врага народа» Горбунова отсутствует; в издании 1955 года («враг народа» реабилитирован) приведена полностью[606].

«Именно с этого момента, – итожил Бахарев, – возникает постоянная забота всей советской общественности о работах Мичурина»[607].

8.

Еще какая забота!

За советские годы питомник Мичурина разросся в крупную научно-исследовательскую станцию. Ее не раз посещал *всесоюзный староста* М.И.Калинин, бывали другие кремлевские

гости. Ей прирезали землю ближайшего монастыря – было где развернуться. На ней работало два десятка научных сотрудников, ей присвоили имя Мичурина. В 1932 году город Козлов стал Мичуринском, Козловская железнодорожная станция – Мичуринкой. Иван Владимирович давно уже был награжден орденом Красного Знамени; к юбилею наградили орденом Ленина.

В сентябре 1934 года двойной юбилей Мичурина – 80 лет со дня рождения и 60 лет научной деятельности – страна отмечала как всенародный праздник.

«Юбиляра приветствовали ЦК ВКП(б), Президиум ЦИК СССР и Совнарком СССР, многочисленные представители государственных, партийных, общественных и научных организаций. Для проведения юбилейных торжеств в Мичуринск прибыла специальная правительственная делегация.

Свыше 1000 колхозников и рабочих Архангельской, Ивановской, Воронежской, Курской, Ленинградской, Смоленской, Горьковской и Сталинградской областей, Донбасса, Украины, Белоруссии, Урала, Сибири съехались на юбилей приветствовать Ивана Владимировича.

Пятьдесят тысяч рабочих города Мичуринска и колхозников Мичуринского района вместе с представителями других городов и колхозов устроили торжественную демонстрацию.

В день юбилея Президиум ВЦИК присвоил Ивану Владимировичу Мичурину звание заслуженного деятеля науки и техники»[608].

Юбилей? В сентябре 1934-го?

Мичурин, напомним, родился 27 октября 1855-го. Началом научной деятельности – в собственноручно заполненной анкете – указал 1875-й. До круглых дат оставалось больше года.

Но годом раньше или позже – кто считает! В стране, покорявшей пространство и время, творились и не такие чудеса.

Чем же заслужил Мичурин таких вселенских почестей? Неужели сортами плодовых культур?

По его собственным словам, они с большим скрипом входили в практику. Незадолго до юбилейных торжеств он сетовал: «Мне совершенно непонятно, как могут люди говорить всерьез о миллионных площадях садов, не имея серьезной сети питомников. За последние пять лет я не встречал даже каталогов существующих питомников… Вопросы о замене старых сортов улучшенными новыми сортами, о научной организации хозяйства и плановом размещении сортов поставлены правительством и партией еще в 1931 г., а политотделы МТС и совхозов, правления колхозов, ОРСы заводов и фабрик тщетно ищут саженцы, получают то, что им не нужно, и не получают того, что им

нужно… Почему же до сих пор не спланировано размножение сортов, и в одном месте наблюдается отчаянный недостаток посадочного материала, а в другом – перепроизводство его при невероятной путанице в ассортименте, подвоях и районах их распространения?»[609]

Значит, осыпать почестями Мичурина и даже сдвинуть на год юбилейную дату было властям куда проще, чем организовать размножение его сортов.

Но была, думается, и более веская причина для устройства юбилейных торжеств с фанфарами и барабанным боем на всю вселенную.

Иван Владимирович Мичурин был, как мы видели, всесторонне талантливым самородком. Он умел ремонтировать часы и швейные машинки, налаживать электросигнализацию и совершенствовать садовые инструменты. Когда ему прислали из Англии набор лучших и самых дорогих инструментов, он открыл чемоданчик, перебрал содержимое, затем закрыл его, отнес в подвал и больше к нему не прикасался. Инструменты, которые он смастерил кустарным способом, были легче, сподручнее, прочнее. А ведь он еще занимался врачеванием! Окрестные жители обращались к нему за медицинской помощью и получали ее. Он всегда чему-то учился, осваивал новое, изобретал, выдумывал, пробовал. Видя, как прочно советская власть *укоренилась* в российской почве, Мичурин, несмотря на преклонный возраст, стал осваивать большевистский *новояз*, и в этом тоже преуспел.

Новояз вольно или невольно осваивал каждый, кому приходилось общаться с властью и/или что-то публиковать в советских изданиях. Осваивал его и Николай Иванович Вавилов, о том, что это необходимо, намекал Добржанскому, пока тот не раздумал возвращаться в Страну Советов. Но мало кто из старой гвардии ученых или умельцев овладел им в таком совершенстве, как Иван Владимирович Мичурин. Как истинный новатор, Мичурин добился того, что почти никому не удавалось: он умело скрестил с советским *новоязом* язык садоводства. При видовой и даже родовой отдаленности, гибрид получился цветущим и плодоносным. Вот один из самых благоухающих плодов:

«Дорогой Иосиф Виссарионович!

Советская власть превратила маленькое, начатое мной шестьдесят лет тому назад на жалком приусадебном участке земли дело выведения новых сортов плодово-ягодных растений и создания новых растительных организмов в огромный Всесоюзный центр промышленного плодоводства и научного растениеводства с тысячами гектаров садов, великолепными лабораториями, кабинетами, с десятками высококвалифицированных научных

работников.

Советская власть и руководимая Вами партия превратили также меня из одиночки-опытника, непризнанного и осмеянного официальной наукой и чиновниками царского Департамента земледелия, в руководителя и организатора опытов с сотнями тысяч растений.

Коммунистическая партия и рабочий класс дали мне всё необходимое – всё, чего может желать экспериментатор для своей работы. Сбывается мечта всей моей жизни: выведенные мной новые ценные сорта плодовых растений двинулись с опытных участков не к отдельным кулакам-богатеям, а на массивы колхозных и совхозных садов, заменяя низкоурожайные, плохие старые сорта. [В том же году Мичурин писал о неразберихе, из-за которой его сорта НЕ вводятся в производство.] *Советское правительство наградило меня высшей для гражданина нашей Родины наградой, переименовав город Козлов в город Мичуринск, дало мне орден Ленина, богато издало мои труды. За всё это Вам, руководителю, дорогому вождю трудящихся масс, строящих новый мир – мир радостного труда, приношу всеми 60 годами моей работы благодарность, преданность и любовь.*

Дорогой Иосиф Виссарионович! Мне уже 80 лет, но та творческая энергия, которой полны миллионы рабочих и крестьян Советского Союза, и в меня, старика, вселяет жажду жить и работать под Вашим руководством на пользу дела социалистического строительства нашего пролетарского государства.

И. Мичурин».

Письмо было опубликовано перед юбилеем – в «Правде» от 18 сентября 1934 года. Перепечатано многими газетами. Оно того стоило! Одно это письмо *окупало* все щедроты, какими власть одарила козловского (нет, уже мичуринского!) плодовода. Ответная телеграмма тоже, конечно, попала в газеты:

«ТОВАРИЩУ МИЧУРИНУ ИВАНУ ВЛАДИМИРОВИЧУ

От души приветствую Вас, Иван Владимирович, в связи с шестидесятилетием Вашей плодотворной работы на пользу нашей великой родины. Желаю Вам здоровья и новых успехов в деле преобразования плодоводства. Крепко жму руку. И.Сталин».

Эйфории юбиляра не было предела:

«ДОРОГОЙ ИОСИФ ВИССАРИОНОВИЧ! Телеграмма от Вашего имени явилась для меня высшей наградой за все 80 лет моей

жизни. Она дороже мне всяких иных наград. Я счастлив Вашим великим вниманием. Ваш И.В.Мичурин»[610].

Миф о Мичурине был куда важнее самого плодовода Мичурина. «Сущность торжества этого юбилея» он объяснял так: «Ведь моя шестидесятилетняя работа здесь не играет такой роли и не заслуживает такого очень пышного празднования. Вся суть в том, что этой пышностью празднования наше правительство показывает всю важность садового дела с тем, чтобы все совхозы и колхозы обратили особое внимание на это дело, чтобы повысить продуктивность своих садов и вступить в более зажиточную жизнь. С этой точки зрения Вы и смотрите на это торжество»[611].

Доигрывая роль до конца, он подытожил: «Только при советском правительстве я получил возможность развить это дело. <…> Советское правительство дало мне все средства для этого, а в особенности наш любимый вождь товарищ Сталин. Я надеюсь еще поработать»[612].

Понятно, что «вся советская печать приняла участие в праздновании замечательного юбилея». Так написал Бахарев, – в данном случае, без каких-либо преувеличений. «Правда» писала:

«Большевистская партия, возглавляемая творческим гением Сталина, руководит великим делом обновления земли. Неутомимой борьбой очищая страну от капиталистического свинства, мы строим новую жизнь, полную довольства и творческой радости. <…> Вовсе не случайно в первые же годы революции, сквозь дым и порох гражданской войны, большевики сумели разглядеть заброшенный в провинциальной глуши мичуринский питомник и несмотря на голод и холод, вызванные интервенцией, отпустить ему нужные средства.

Так же не случайно сегодня тот, чье имя звучит, как лозунг борьбы за лучшие чаяния всего трудового человечества, тот, к кому обращены взоры и сердца сотен миллионов людей, приветствует садовода И.В.Мичурина и крепко жмет ему руку. Пролетариат является законным наследником всего ценного, что создало человечество за тысячелетия своей истории. И только при диктатуре пролетариата эти ценности получают свое настоящее применение. Широкий размах творческой деятельности Мичурина при советской власти не случаен и не единичен»[613].

9.

Николай Иванович Вавилов протянул руку помощи Мичурину за два года до того, как его взял под свою опеку Кремль. (По тем временам два года были равносильны геологической эпохе.) Посетив его питомник в 1920 году, Вавилов предложил Мичурину издать книгу его работ. Сам разыскивал в старых журналах его статьи, составил библиографию, послал ее в Козлов для дополнений и исправлений. По поручению Вавилова книгу составил и отредактировал В.В.Пашкевич. Она вышла в 1924 году под названием «И.В.Мичурин. Итоги его деятельности в области гибридизации по плодоводству». Открывает ее предисловие Н.И.Вавилова.

Николай Иванович старался вовлечь Мичурина в совместную работу, приобщал его к *официальной* науке: запрашивал у него образцы сортов и гибридов для вировской коллекции и снабжал его семенами и черенками, причем не только плодовых, но и других растений, в частности, дикого риса, которым заинтересовался Мичурин.

В письме от 1 сентября 1922 года Вавилов просил написать итоговую статью о своих работах, убеждал, что такой очерк «представит интерес не только в России, но и за границей»[614].

Из того же вавиловского письма Мичурин узнал, что его хорошо помнят в Америке, интересуются им и его работами и хотели бы знать, дошли ли до него продуктовые посылки, которые ему посылали в Козлов.

Громогласно благодаря за заботу партию, правительство, Ленина, Сталина, Мичурин не считал нужным отвечать на посылки из Америки, которыми решался вопрос жизни и смерти его и его семьи.

Любопытно, что в том же сентябре 1922 года в газете «Известия» было написано, что когда Вавилова в Вашингтоне спросили о Мичурине, он якобы «отозвался полным незнанием о его существовании»[615].

Высоко ценя работы Мичурина по гибридизации плодовых культур, Вавилов скептически относился к его вегетативным «гибридам». Сам он таких опытов не ставил, но в литературе вопроса хорошо ориентировался, так как еще в 1916 году он опубликовал «Очерк учения о трансплантации (прививке) растений»[616]. В декабре 1923-го, получив письмо из Тифлиса от плодовода Н.П.Кренке, он ответил: «Опыты Ваши по прививке любопытны, но, насколько я знаю по литературе, воздействие привоя на подвой в смысле скрещивания пока не доказано. Мичурин в Козлове предполагает, что это так, но его опыты не

очень точны и требуют проверки»[617].

В последующие годы Вавилов часто контактировал с Мичуриным, всячески его поощрял, еще трижды приезжал к нему в Козлов (Мичуринск).

В 1931 году в Козлове был учрежден Институт плодово-ягодного хозяйства. Он вошел в систему ВАСХНИЛ, с мичуринской станцией формальной связи не имел, но ему было присвоено имя Мичурина.

Когда потребовалось составить единый план работы научных учреждений по растениеводству, Вавилов разослал письмо с просьбой подготовить наметки плана, а затем собраться в Ленинграде, чтобы их обсудить и согласовать.

От Козловского института на совещание никто не приехал, но его директор Л.И.Рейборт прислал сердитое письмо, с направлением копии в РКИ. Согласование плана работы он воспринял как посягательство на независимость и желание установить контроль над Мичуриным.

В холодном, хотя и вежливом ответном письме Вавилов напомнил, что Козловский институт входит в систему ВАСХНИЛ, и разъяснил, что единый план составляется не по его капризу, так что представителю Козловского института «безусловно придется возможно скорее прибыть в Институт растениеводства и согласовать Ваш план». В постскриптуме говорилось: «Что же касается отношения Института растениеводства к И.В.Мичурину, то я думаю, что лично Иван Владимирович вряд ли имеет основание сомневаться в исключительном уважении, которое Институт растениеводства и бывший Институт прикладной ботаники и новых культур имеет к нему и его работникам»[618].

На каком-то совещании произошло столкновение Рейборта с В.Л.Симиренко, который высказал критические замечания о работе Козловского института. При этом Рейборт снова козырял именем Мичурина.

11 марта 1932 г., Н.И.Вавилов к В.Л.Симиренко: «Товарищи из Козлова используют всуе имя И.В.Мичурина. Поднимать этот вопрос Президиуму Академии [ВАСХНИЛ], очевидно, рано или поздно придется. Надо иметь только большую выдержку. Вопрос этот тем более сложен, что, конечно, в писаниях Ивана Владимировича, при всех его больших заслугах, есть много элементов ненаучности, так же как и у Бербанка. Дискуссировать эти вопросы можно только в спокойной обстановке при достаточной подготовленности аудитории и судей, что, как Вы знаете, бывает не всегда. <…> Одно дело – большие заслуги Мичурина, ценность выведенных им сортов и ценность Ивана Владимировича самого как труженика, 50 лет упорно и

талантливо работающего, а другое дело – научная селекция, научное плодоводство. Для Ивана Владимировича они вовсе не были обязательны; по существу, его работа была индивидуальным делом, с Института же мы спросим науку»[619].

«Шероховатости» в отношениях с Козловским институтом сгладились с уходом Л.И.Рейборта. Он возглавлял Институт с 1931 по 1933 год. Затем его след теряется.

Вавилов возглавлял делегацию ВИРа на юбилейном вечере Ивана Владимировича. С ним в Мичуринск приехали В.В.Пашкевич, Г.Д.Карпеченко и молодой сотрудник Отдела плодоводства Г.Г.Тарасенко (погибнет в 1943 году на войне). Адрес от ВИРа был написан и преподнесен Вавиловым. Он выдержан в приподнятых юбилейных тонах, с ритуальным упоминанием «вождя революции Ленина» и «мудрого руководителя Сталина». В нем суммировались достижения Мичурина: «Вы выработали свою революционную методику сортовыведения, с помощью которой достигли громадных успехов. Вы подняли интерес к научно-исследовательским работам по плодоводству, выставив ряд оригинальных положений в плодовоселекционном деле. <…> Теперь вы достигли того, к чему стремились, и Вас окружают молодые энергичные сотрудники, помогающие дальнейшему осуществлению Ваших революционных плодоводческих идей»[620].

Юбилейная статья Вавилова о Мичурине и его достижениях была напечатана в «Трудах по прикладной ботанике», в «Комсомольской правде» и в «Новом мире».

10.

«Еще поработать» после юбилейных торжеств Мичурину не пришлось.

Он стал слабеть, появились боли в желудке, пропал аппетит, мучили кровавые рвоты. Не раз у его постели собирался консилиум светил медицины, хотя сомнений в диагнозе не было: в желудке прощупывалась опухоль, скорее всего, злокачественная.

Последние дни жизни Мичурина «Правда», «Известия», другие газеты ежедневно публиковали бюллетени о состоянии его здоровья. Десятком лет раньше печатались похожие бюллетени об умирании Ленина, почти двумя десятилетиями позже – Сталина.

Конец наступил 7 июня 1935 года, в 9 часов 30 минут утра. До 80 лет Мичурин не дожил четырех месяцев и 20 дней.

«Совет Народных Комиссаров Союза ССР и Центральный

Комитет ВКП(б) с прискорбием извещают о смерти Ивана Владимировича Мичурина, выдающегося советского ученого, смелого преобразователя природы, создавшего сотни новых прекрасных сортов плодовых деревьев, всю жизнь отдавшего служению трудящимся массам».

На первой странице ведущих газет – огромный портрет Мичурина в траурной рамке. Словно почил не скромный селекционер, а *великий вождь и учитель* или *полководец*, завоевавший полмира. Из смерти Мичурина власть сделала еще одно пропагандистское шоу. Далеко не последнее.

Его тело не успело остыть, как стартовало «мичуринское учение».

Мичуринец № 1

1.

На всенародном чествовании Мичурина в сентябре 1934 года отсутствовал тот, кто, казалось бы, должен был играть в нем почти такую же ключевую роль, как сам юбиляр. Трофима Лысенко на торжествах не было.

Почему?

Годом раньше Мичурин получил из Одессы «Бюллетень яровизации» № 4 (за октябрь – декабрь 1932 года). Дарственная надпись гласила: *«ДОРОГОМУ УЧИТЕЛЮ ИВАНУ ВЛАДИМИРОВИЧУ. От неизвестного ученика. 19–21/TV-33 г. Т.Лысенко».*

Авторы всех советских биографий Лысенко, приводя эту надпись, считали обязательным подчеркнуть, что Трофим Денисович поскромничал. Мичурин давно его *знал*, следил за его успехами. Предыдущие «Бюллетени яровизации», № 1 и №№ 2–3, стояли на его книжной полке, к одному из них даже был приклеен портрет Лысенко, вырезанный из газеты. Так ли это или не совсем так, но ясно одно: до апреля 1933 года Лысенко с «дорогим учителем» не встречался.

Встречался ли после?

Об этом есть две версии. По одной из них, Лысенко приезжал в Мичуринск, Иван Владимирович принял его в своем кабинете, но разговор скоро перешел в жаркий спор, и рассерженный *учитель* палкой выставил *ученика* за порог. По другой версии, Мичурин вообще не захотел с ним разговаривать, заперся в кабинете, и *ученик* удалился, не повидав *учителя.*

Если одна из этих версий верна, то ясно, почему Лысенко не был на чествовании Мичурина.

Вынужденный следить за торжествами издалека, он был поражен их пышностью, размахом, каскадом почестей, пролившихся на юбиляра. И многое, надо полагать, намотал на ус.

Пока Мичурин был жив, называть себя *мичуринцем* Лысенко не мог. Зато как только старец усоп, он ринулся в бой за *передовое мичуринское учение.*

2.

В семье крестьянина Дениса Никаноровича Лысенко (село Карловка Полтавской губернии) было четверо детей: три сына и дочь. Трофим был первенцем. Он родился 17 (29) сентября 1898 года.

Денис Никанорович был работящим землепашцем, его земельный надел с годами наращивался: с двух гектаров он вырос до 14[621].

Как это удавалось простому крестьянину, биографы не уточняют. До революции Денис мог прикупать землицу; если так, то деньжата у него водились. В революцию его надел мог пополниться за счет «экспроприации», то есть захвата помещичьей земли, но это маловероятно: отобранной землей распоряжались комитеты бедноты, к коей Денис Лысенко не принадлежал. Впрочем, в неразберихе лихих годин бывало по-всякому: *кто смел, тот и съел*! Денис Лысенко был не робкого десятка, к тому же проворен и смекалист. Советская власть сделала землю собственностью государства; купля-продажа не дозволялась. Но бросовые участки мог распахивать всякий, у кого хватало силенок, лошадей, трудолюбия.

Обрабатывать 14 гектаров в одиночку было трудновато, приходилось нанимать работников. Значит, он был *кулаком*; на раннесоветском новоязе – *кровопийцей, эксплуататором.* Биографы Трофима Лысенко об этом, понятно, помалкивали. Трофим был нужен как выходец из крестьянских низов: если не из бедняцкой семьи, то уж точно не из кулацкой.

Главными работниками в хозяйстве, кроме самих хозяев, были, конечно, подраставшие сыновья, в первую голову, старший из них. Так было заведено в крестьянских семьях.

Так и получилось, что до 13 лет Трофим грамоты не знал. Потом был определен в начальную школу-двухлетку: другой в Карловке не было. От домашних дел школа не освобождала, погрузиться в учение, хоть и с опозданием, он не мог. Все же выучился с натугой читать, немного писать и считать. И главное – появилась тяга к дальнейшей учебе.

Полтавская начальная школа садоводства и огородничества была создана губернским земством для местных жителей. Возраст для поступающих – 14–15 лет, курс обучения четырехлетний: подготовительный класс и три основных.

В классах ученики проводили по два-три часа в день. Занимались всем понемножку: от чтения и письма до огородничества, садоводства, землеустройства, законоведения, пчеловодства, даже черчения… Упор делался на практические занятия в саду и в поле.

Начальное садоводческое образование открывало дверь в

среднюю школу. В 1917 году Трофим Лысенко поступил в Училище садоводства в городе Умань, располагавшееся в бывшем имении графа С.А.Потоцкого.

Сказочно богатый магнат приобрел его в конце XVIII века и не пожалел миллионов, чтобы создать великолепный архитектурно-парковый ансамбль, который он подарил своей молодой жене Софии, потому имение получило название Софиевка. У сына Потоцкого оно было конфисковано за его причастность к польскому восстанию 1830 года. Базой училища садоводства стало в 1859 году, за полвека накопило славные традиции. Но учеба в нем Трофима Лысенко пришлась на такое время, когда о нормальном учебном процессе в Уманском училище не могло быть и речи.

О том, что творилось в городке Умани в годы Гражданской войны, мне приходилось писать в 2005 году, опираясь на документальные материалы «Багровой книги» С.И.Гусева-Оренбургского[622]. Позднее был опубликован доклад уполномоченного по Уманскому району Х.Д.Проскуровского от 5 июля 1919 года, изобилующий леденящими подробностями. Небольшой городок (около 30 тысяч жителей) захватывали различные самостийные группы, «партизанские» отряды, петлюровцы, эсеровские повстанцы, григорьевцы, карательные отряды, набегавшие из Винницы. Власть менялась каждые две-три недели, а каждая смена власти сопровождалась грабежами, насилиями, погромами, «контрибуциями»[623].

Училище садоводства в докладе Проскуровского не упомянуто, но это молчание красноречиво: если бы в кровавом месиве оно каким-то чудом оставалось райским островком законности и порядка, докладчик об этом сказал бы.

Садовые участки и земельные угодья училища наверняка подвергались грабительским набегам. Зарплата преподавателям, рабочим, служащим задерживалась на много месяцев или вообще не выплачивалась. Многие преподаватели разъехались, частью эмигрировали. Да и из учащихся, скорее всего, немногие там оставались.

Никаких сведений о Трофиме Лысенко в Умани не обнаружено. Вероятно, большую часть трехлетнего срока обучения его там не было или он прятался, иначе его бы мобилизовали в одну из армий, попеременно захватывавших город: ведь ему было от 19 до 22 лет. Или он *был* мобилизован? Тогда в какую армию? Наверняка не в Красную, иначе его бы потом изображали *героем Гражданской войны.* Словом, годы в Умани – белое пятно в биографии Лысенко. Или темное?..

3.

В 1921 году Трофим Лысенко объявился в Киеве – на краткосрочных курсах при Сахаротресте. По тем временам это была богатая организация. Ей принадлежали сахарные заводы, отобранные у хозяев, плантации сахарной свеклы, подсобные хозяйства, опытные станции, остро нуждавшиеся в специалистах.

На практику Лысенко направили на селекционную станцию в поселок Верхнячка, в 15 верстах от Умани, так что места ему были знакомые. Станцией руководил Н.Ф.Деревицкий. Трофим Лысенко провел на ней два месяца, затем получил назначение на опытную станцию Сахаротреста в Белой Церкви.

Понятно, что заниматься здесь он должен был сахарной свеклой, но он почему-то решил вывести новый сорт томатов. Из этого, разумеется, ничего не вышло. Чувствуя, что недостаточно подготовлен, он поступил в Киевский сельскохозяйственный институт. Заочно. В 1925 году Лысенко стал *агрономом.*

Дипломированный агроном и – *сын крестьянина!* Трофим уже понимал, как это надежно, выгодно, удобно в стране рабочих и *крестьян.* Но как воспользоваться этой выгодой?

Агроном Лысенко получил назначение в Азербайджан, в Ганджу (потом Кировабад, теперь снова Ганджа), где была основана новая опытная станция. Его должность – младший специалист по селекции бобовых, фуражных и сидерационных[624] растений. Директор станции – его давний знакомый Н.Ф.Деревицкий, переведенный сюда из Верхнячки.

4.

Можно определить с большой точностью, когда Н.И.Вавилов впервые услышал имя Лысенко. В конце лета 1927 года, когда он вернулся из полуторагодичной экспедиции по странам Средиземноморья, о новаторских работах *крестьянского сына* уже говорили.

Вавилов захотел прочесть труды молодого ученого, но оказалось, что тот еще ничего не опубликовал о своих исследованиях[625]. Но о самом Лысенко прочитать было можно, и не где-нибудь, а в главной партийной газете страны.

В то лето один из ведущих правдистов Виталий Федорович объезжал Кавказ – Северный, затем Закавказье. В газете каждые 2–3 дня публиковались очерки обо всем интересном и значимом, что привлекло его внимание.

В ходе поездки Федорович посетил опытную станцию в

Гандже.

Заведующий станцией Николай Федорович Деревицкий был колоритной фигурой, но не он привлек внимание правдиста. Герой его очерка – под сенсационным названием «Поля зимой» – младший специалист Трофим Лысенко.

Очерк написан нарочито простецким языком, подчеркивающим крестьянские корни персонажа. Для пущего эффекта крестьянскому парню, нацеленному на *практическую пользу*, в очерке противопоставлен безымянный профессор, скорее всего, придуманный, который целую жизнь изучал какую-то пчелку и написал «добросовестнейшее исследование длины хоботка у всех видов пчел по климатическим поясам, волосатости их лапок». Профессор гордился своим фолиантом в 800 страниц и «умер просветленный сознанием выполненного долга», хотя никакой пользы от его штудий, а стало быть, и от его жизни не было.

«Нет, Лысенко, украинец, не такой ученый», – писал Федорович. Лысенко «смотрит в корень»: «нет ли в научной копилке какого подкрепления, нельзя ли протащить на зимние поля Закавказья какую ни на есть культуришку?..»

«Если судить о человеке по первому впечатлению, то от этого Лысенко остается ощущение зубной боли, – дай бог ему здоровья, унылого он вида человек. И на слово скупой, и на лицо незначительный, – только и помнится угрюмый глаз его, ползающий по земле с таким видом, будто, по крайней мере, собрался он кого-нибудь укокать»[626].

Глядя из будущего, поражаешься интуитивной проницательности автора очерка. Сам он, конечно, не подозревал, сколь пророческим было его *первое ощущение* от контактов с Лысенко. Написано это, скорее всего, для контраста: дабы ярче просияли благодеяния этого Угрюм-Бурчеева.

Некоторые авторы полагают, что «Правда» командировала Федоровича в Ганджу со специальным заданием восславить *новатора из народа.* Если так, то имя Лысенко уже было известно в партийных верхах, было решено его поддержать.

В.Сойфер полагает противоположное: взлет новатора начался благодаря статье В.Федоровича, «перевернувшей жизнь Лысенко и направившей ее течение по новому руслу».

В реальности статья в «Правде» привлекла внимание к Лысенко в структурах власти и в научных кругах, но жизни его не переменила. Он продолжал работать в Гандже, в прежней должности, под руководством того же Деревицкого.

В книге Сойфера очерк Федоровича обильно цитируется, каждая цитата педантично оснащена отдельной ссылкой, но автор

не заботится о столь же педантичной точности. Например:

«В полном согласии с веяниями времени корреспондент умилился даже тем, что его герой не блистал образованностью: “… университетов не проходил… мохнатых ножек у мушек не изучал, а смотрел в корень”».

Но в статье Федоровича нет слов *«университетов не проходил»* и нет *«мушек-дрозофил* с мохнатыми ножками». Упоминаются мохнатые ножки *пчел.* О дрозофилах Федорович, вероятно, вообще не слыхал.

5.

Вавилов пытался понять, в чем суть новаторских открытий Лысенко, восхитивших журналиста, но что он мог вынести из таких, например, пассажей:

«Он [Лысенко] шел быстро. На пшеницу смотрел неприязненно. Да и говорят тоже немецкие ученые, что хлеб не особенно чтобы того… полезен. Вот арахис дело другое! Вы не знаете, что такое арахис? Да ведь, по-простому сказать, китайские орешки. Он обласкал глазом зеленые кучки

арахиса, которые походили на клевер, когда его семена случайно собьет ветер в ямку с черноземом».

Федорович признавался, что и сам мало что понял. Но он был восхищен «босоногим профессором», который «решает (и решил) задачу удобрения земли без удобрительных и минеральных туков, обзеленения пустующих полей Закавказья зимой, чтобы не погибал скот от скудной пищи и крестьянин-тюрк жил зиму без дрожи за завтрашний день».

Одно было ясно: Лысенко работал с бобовыми.

Вавилов попросил заведующего Отделом бобовых культур Леонида Ипатьевича Говорова командировать в Ганджу толкового сотрудника, чтобы на месте всё выяснить и оценить глазом специалиста. Направлен был молодой ученый Николай Родионович Иванов.

Я писал об этой поездке в книге «Николай Вавилов»[627] (ЖЗЛ, 1968). О ней рассказал мне сам Н.Р.Иванов.

Недавно в архиве ВИРа было обнаружено письмо Т.Д.Лысенко Н.РИванову[628]. Прочитав мою книгу о Н.И.Вавилове, Трофим Денисович написал Николаю Родионовичу, что с ним не знаком и «не помнит» о его приезде в Ганджу. Неужели память Трофима Денисовича была столь короткой?

В последующие годы Николай Родионович стал ведущим специалистом по бобовым культурам, доктором наук. Уже

говорилось о том, что он активно собирал материалы о Вавилове. Все бумаги Вавилова или связанные с Вавиловым он фотографировал, систематизировал, содержал в образцовом порядке. В его квартире эти фотокопии составляли целую библиотеку, она была открыта для всех. Иванов составил наиболее полную на конец 1970-х годов библиографию трудов Вавилова и о Вавилове. Книга вышла в 1978 году, уже после смерти Николая Родионовича.

Спокойный, уравновешенный, убеленный сединой, с поблескивающими, углистыми глазами, Николай Родионович привлекал своей несуетной основательностью. Говорил он медленно, обдуманно, веско. Ничего случайного в его речи не было.

Он рассказывал, как радушно встретил его Лысенко в Гандже и как возбужден был его приездом, что и было понятно: интерес к *младшему специалисту* со стороны ВИРа был большой честью.

Они обошли опытные делянки, потом допоздна сидели за чаем в маленькой, скупо обставленной комнатушке Лысенко. Был теплый вечер, окно было распахнуто; в сгустившейся темноте, мелькали светлячки. Звон цикад перекрывали… оперные арии: их пел у *своего* открытого окна Н.Ф.Деревицкий. У него был сильный, хорошо поставленный тенор.

Лысенко не отпустил Николая Родионовича в гостиницу, оставил у себя ночевать, уступив единственную кровать; сам улегся на полу.

Он без умолку говорил о своих работах, захлебывался словами, будто боялся, что гость уедет, не дослушав. Его глубоко посаженные глаза под сдвинутыми бровями сияли; он был одержим тем, что делал, и хотел заразить гостя своей одержимостью.

«Начав работу в октябре-ноябре 1925 года, я быстро заметил, что в Кировабадской долине осень и зима несравненно мягче, чем на Украине, где я родился и вырос. Как-то сама собой возникла мысль: почему бы не выращивать здесь в осенне-зимний и ранневесенний периоды года какие-либо культурные бобовые растения для удобрения почвы? Эта мысль захватила меня, и поздней осенью 1925 года я высеял в поле набор бобовых растений»[629].

В цитируемом повествовании сказано примерно то, что Трофим Денисович десятью годами раньше говорил Н.Р.Иванову, но «исправлен» важный нюанс. Тема работы у него возникла не «сама собой» – она была предложена Н.Ф.Деревицким.

«В начале весны некоторые сорта гороха дали довольно большую зеленую массу, – продолжал Лысенко, – которую можно

было убирать для силоса или запахивать как удобрение. Выявилось любопытное обстоятельство: некоторые сорта, которые я считал значительно более ранними по сравнению с другими, оказались более поздними, и, наоборот, некоторые из поздних оказались наиболее ранними. Думая об этом обстоятельстве, я впервые понял, что не все положения старых учебников бесспорны».

Здесь тоже прошлое *подправлено.* Трофим Денисович «забыл», что методику исследований разработал заведующим Туркестанской селекционной станцией Г.С.Зайцев. На опытных участках в разных почвенно-климатических зонах Туркестана Зайцев высевал одни и те же сорта хлопчатника с интервалом в десять дней. Начиная в заведомо ранние сроки и заканчивая в заведомо поздние, он выявлял наилучшее (оптимальное) время посева для каждого сорта и для каждого района возделывания хлопчатника. Это было важно и для теории, и для практики: наилучший срок посева обеспечивал наивысший урожай. Опыты повторялись из года в год, чтобы на результат не влияли случайные капризы погоды.

Деревицкий и Зайцев были друзьями с подросткового возраста: они вместе учились в Московской земледельческой школе. Потом жизнь надолго их развела. Но в декабре 1924 года Гавриил Семенович получил забавное письмо: «Если я не вовлечен в ошибку инициалами и фамилией, – то Вы (не решаюсь писать “ты") мой товарищ по земледелие. Я желаю возобновить знакомство и пока сообщаю о себе. Николай Федорович Деревицкий. Последняя специальность – селекция хлебных злаков. Место службы – Верхнячская сортоводная станция. Адрес: ст. Христиновка Ю.-З. ж.д., Селекстанция Верхнячка. Имущественное положение: тихая жена и буйная дочь, 2 брюк, пальто, старая шапка и несколько статей по селекции. Состояние здоровья: страдаю по временам острыми приступами ленивой лихорадки. Характер: по-прежнему буйный. Сообщая о себе столь исчерпывающие сведения, прошу в случае истинности адресата осчастливить письмом, а в случае недоразумения извинить за беспокойство и тон письма»[630].

Дружеские контакты возобновились.

Когда Деревицкий возглавил Азербайджанскую станцию, в круг его интересов вошел широкий ассортимент культур: садовые, огородные, бобовые, совсем ему незнакомый хлопчатник. Деревицкий стал наведываться к Зайцеву, чтобы подучиться работе с этой культурой, а Зайцев получил опорный пункт в Гандже, куда тоже стал наезжать.

Мария Гавриловна Зайцева была маленькой девочкой, но она

хорошо помнила и живописно рассказывала о *дяде Дерево*. Он не приезжал к ним, а как-то неожиданно возникал, и вместе с ним возникало много веселого шума, гостинцы для ребятишек и всевозможные новости, которые он неизвестно каким образом узнавал в захолустной Гандже. Повествовал он «вкусно», с живописными подробностями и неожиданными парадоксами. *Дядей Дерево* его называли не только из-за фамилии: в его высокой, грузноватой фигуре чувствовалась внутренняя крепость, укорененность.

Характер был у него отнюдь не буйный. Он, напротив, был флегматичен и непробиваемо добродушен. Его присутствие благотворно влияло на Гавриила Семеновича, нервно реагировавшего на всякие неполадки, на халатность или недобросовестность кого-то из сотрудников. Особенно остро Зайцева задевали попытки иных шустрых молодых людей опубликовать за его спиной статейку, в которой его идеи, коими он щедро делился, выдавались за их собственные. Деревицкий советовал сохранять невозмутимость, беречь здоровье: «Мне много приходилось встречаться с плагиатом в том или другом виде, и я относился и отношусь к этому довольно спокойно, пожалуй, несколько расточительно. Я рассуждаю так: пусть крадут мысли, у кого нет, а у меня будут новые»[631].

Думается, что мудрая отстраненность *дяди Дерево* от суеты сует содействовала тому, что Виталий Федорович, прославляя *младшего сотрудника*, ни разу не назвал имя его научного руководителя. *Быть притчей на устах у всех?* Это было не для Деревицкого.

Правда, через год, в своей первой научной работе, Лысенко отдал должное и Деревицкому, и Зайцеву. Вознесясь на вершину успеха, он «забыл» об обоих. Хотя методика его опытов отличалась от зайцевской только тем, что с хлопчатника была перенесена на другие культуры, а задумано это было Деревицким: в Закавказье их можно было выращивать круглый год, даже зимой.

Начали с гороха. Высевая одни и те же сорта по зайцевскому методу, Лысенко наткнулся на поразившее его явление. Десятидневный интервал в посеве иногда приводил к созреванию с интервалом времени в месяц и больше. Поздние сорта становились ранними благодаря тому, что их посеяли, когда еще было холодно. Начальный период низких температур не замедлял их рост и развитие, а ускорял!

Эта «неожиданность» ошеломила Лысенко. Он с жаром рассказывал о ней Н.Р.Иванову, подчеркивая, что ничего подобного не видел в «старых учебниках».

То, что воздействие низких температур ускоряет вегетацию некоторых видов и сортов, было научно установлено в 1918 году немецким ботаником Иоганном Густавом Гас-нером. Н.А.Максимов и его сотрудники по Отделу физиологии вавиловского Института исследовали эффект *холодного проращивания* на широком круге видов и сортов. Эксперименты производились в лабораторных условиях со строгим контролем, результаты публиковались. Но Лысенко не имел о них понятия. Первооткрывателем интересного явления он считал себя.

«Начались опыты со сроками посева. Был взят набор разных сортов сельскохозяйственных культур (зерновые хлеба, бобовые, хлопчатник). Пользуясь условиями полевого хозяйства, мягкой и почти безморозной зимой, я на протяжении двух лет через каждые 10 дней высевал набор этих сортов. Опыты окончательно убедили меня в том, что раннеспелость или позднеспелость сорта нельзя оценивать вне условий посева».

Больше всего поразило «босоногого профессора», что некоторые озимые сорта, посеянные зимой или ранней весной, выколашивались в один год, то есть вели себя как яровые.

Лысенко решил, что сделал великое открытие, а когда ему объяснили, что это уже известно науке, его пыл не угас. Если такое открытие давно уже сделано, то почему оно не используется в сельском хозяйстве? Озимые по-прежнему высевают осенью, подвергая их опасности погибнуть в неблагоприятную зиму, тогда как их можно сеять весной! Одно из двух: либо ученые хотят присвоить его открытие, либо они, копошась в своих лабораториях, равнодушны к нуждам земледельца! А то и *намеренно* прячут от него достижения науки, чтобы народ прозябал в нищете. Не зря в газетах пишут о *буржуазных* интеллигентах, оторванных от социалистического строительства!..

6.

Однако в одном аспекте незнание о работах предшественников помогло Лысенко. Он шел своим путем, и проблема открылась ему с неожиданной стороны. Ему пришел в голову яркий, всем понятный термин: ***яровизация***.

В старославянских верованиях одним из самых любимых богов был *Ярило*, сын *Даждъбога.* Он воплощал весеннее солнце, вырвавшееся из суровых объятий *Мары* — богини холода, обитательницы ледяного дворца. *Ярило* был простодушен, неистов, полон молодой *яростной* энергии. Его острые стрелы

становились живительными лучами любви и плодородия, он символизировал весеннее пробуждение жизни. Потому сельскохозяйственные культуры, высеваемые весной, – ***яровые.***

Термин *яровизация*, кроме простоты и наглядности, нес эмоциональный заряд. ***Яровизация*** – это живительное тепло, свет, ласковое весеннее солнце. Не то что ***холодное проращивание,*** от которого веяло стужей богини *Мары.*

Н.А.Максимов прослеживал изменения биохимических и физиологических процессов под воздействием разных температур на молодые проростки. Для Лысенко это была ученая заумь. Чего тут умствовать! Чтобы вызреть и дать семена, растение должно пройти период низких температур *(период яровизации*); если это обеспечить, то озимые сорта можно высевать весной, как яровые.

Н.Р.Иванов вернулся в Ленинград с противоречивыми чувствами. Вавилову рассказал, что Лысенко смел и находчив, но совершенно дремуч и крайне самолюбив. Считает себя новым мессией агронауки.

Вавилов расспросил о деталях работы Лысенко, а под конец задумался.

Если бы знать, какие мысли проносились тогда в его голове!

Может быть, вспомнились свои первые опыты?

Скрещивая на делянках Петровки иммунные сорта с восприимчивыми к грибковым заболеваниям, он получил такую пеструю картину расщепления, что усомнился в правильности законов Менделя! Разве не екнуло тогда его сердце в предвкушении большого открытия?.. Через такую болезнь проходят многие начинающие исследователи. Лысенко не прошел настоящей научной школы, но это поправимо. Накопление знаний – дело наживное, было бы желание учиться…

– Какие у вас предложения? – спросил он Иванова.

Готовый к такому вопросу, Николай Родионович сказал:

– Мне кажется, Лысенко надо пригласить к нам в институт, выделить ему лабораторию в Отделе физиологии. Но сначала его придется обучить иностранным языкам, привить вкус к чтению научной литературы…

Николай Иванович созвал небольшое совещание и попросил Иванова повторить свой рассказ. Его предложение он поддержал. Всё лучшее и талантливое должно быть в ВИРе, особенно такие люди, как Лысенко. Без должного руководства, вне атмосферы строгой научной критики, он может сойти с правильного пути.

Все были согласны с Николаем Ивановичем – кроме профессора Максимова.

Можно ли приглашать в ВИР человека, не ориентирующегося в научной литературе? Да и работает Лысенко не чисто. Строгих

лабораторных опытов не ставит, скорее всего, вообще не знает, что это такое. Ограничивается полевыми опытами, а на них влияют переменчивые внешние условия. К тому же он самолюбив и вряд ли захочет переучиваться. Да и как можно создавать лабораторию для человека, не имеющего печатных работ!

Аргументы были вескими, но, по словам Иванова, возникло впечатление, что Максимовым руководило ревнивое чувство к конкуренту, прогремевшему на всю страну, тогда как сам Максимов, при высокой научной репутации, за пределами узкого круга специалистов был неизвестен.

Вероятно, и Вавилов не мог отделаться от такого подозрения. Он стал горячиться и скоро закрыл совещание. Потом еще дважды собирал руководящих работников по тому же вопросу, но, как рассказывал мне Николай Родионович, Максимов и Красносельская-Максимова были непреклонны.

Вавилов мог всё решить директорским приказом, но это было не в его правилах. Он привык *убеждать* несогласных, а не приказывать. Кто знает, если бы в том случае он изменил своему правилу, его судьба и судьба российской биологической науки сложились бы по-другому…

7.

В 1928 году вышла книга Лысенко: «Влияние термического фактора на продолжительность фаз развития растений. Опыт со злаками и хлопчатником». Издание «Трудов Азербайджанской Центральной Опытно-селекционной станции им. тов. Орджоникидзе»[632]. Название звучало вполне по-научному, видимо, было предложено Деревицким.

Для начинающего ученого это был солидный труд: около двухсот страниц. Правда, большая его часть состояла из таблиц, перенесенных из полевого журнала. Но были и обобщающие выводы. А вот для списка литературы места не нашлось. Об исследованиях «термического фактора» Гаснером, Максимовым и другими предшественниками не упоминалось.

В книге излагалась концепция *стадийного развития растений*: еще один удачный термин Лысенко. Развитие слагается из нескольких сменяющихся стадий; следующая стадия не может начаться, пока не завершилась предыдущая; для прохождения каждой стадии требуются особые условия: для начальной стадии – период низких температур.

Нельзя сказать, что *стадийность* развития была большой новостью в науке. Но с такой четкой акцентировкой это

положение раньше не формулировалось. Лысенко иллюстрировал его своими опытами по *яровизации* и делал выводы, о которых годом раньше говорил Иванову. Озимым хлебам необходим продолжительный период низких температур; если растение его не прошло, то оно будет расти, куститься, но не сможет перейти в стадию цветения и плодоношения. Если же проросшие семена достаточно долго выдержать на холоде, то они дадут колосья, даже если их высеять весной. Яровым сортам для вызревания тоже нужна *стадия яровизации*, но у них она короткая, они ее проходят при весеннем посеве. Принципиальной разницы между озимыми и яровыми формами нет.

Выводы опирались на ограниченные, к тому же не вполне проверенные данные. В предисловии Лысенко оговаривался об их предварительности. «Остальную часть опытов» он обещал опубликовать в ближайшее время.

8.

В январе 1929 года Лысенко приехал в Ленинград – на Всесоюзный съезд по генетике. Как мы помним, съезд был задуман Н.И.Вавиловым как смотр всей сельскохозяйственной науки страны; на него съехались полторы тысячи ученых – от седовласых корифеев до молодежи, делавшей первые неуверенные шаги.

В числе двухсот пятидесяти секционных докладов был доклад агронома Лысенко из Ганджи (в соавторстве с Д.Долгушиным). Естественно было ожидать, что в нем будут приведены экспериментальные данные, обещанные в предисловии к его книге. Но новых данных в докладе не было.

Иванов говорил, что доклад Лысенко, как и другие доклады, заранее обсуждался в оргкомитете съезда. Максимов считал его слабым и возражал против включения в повестку дня, но председатель оргкомитета Вавилов, согласившись с тем, что доклад слабоват, отметил, что в нем есть интересные мысли и что его надо включить в программу съезда хотя бы для того, чтобы у молодого ученого из Ганджи была возможность приехать и повариться в котле большой науки. Вавилов считал такой опыт очень полезным, особенно для малообразованного провинциала, который работает вдали от научных центров.

Доклад Лысенко был заслушан на секции физиологии растений. Заметного впечатления на присутствующих он не произвел. Докладчику не задавали вопросов, выступил по нему только руководитель секции Максимов. Он отметил совпадение

приведенных данных со своими собственными и мягко покритиковал молодого коллегу за излишнюю категоричность выводов.

9.

Лысенко ожидал, что его доклад произведет фурор, и малое внимание к нему возмутило его до глубины души. Он упрочился в мысли, что *буржуазные* интеллигенты затирают *выходца из народа.* Он покидал съезд, полный решимости бороться и победить.

План созрел быстро. Завернув на обратном пути в родную деревню Карловку, Трофим Лысенко обсудил его со своим отцом Денисом Никаноровичем.

Еще полгода прошло в томительном ожидании.

А потом…

Цитирую по одной из многих заметок, появившихся в газетах летом и осенью 1929 года:

«10 июля сего года в Наркомзем УССР пришел крестьянин Лысенко с прекрасными образцами вызревшей озимой пшеницы, посеянной им 1 мая семенами, приготовленными по способу сына. 12–13 июля комиссия Наркомзема УССР на месте убедилась в необычайных результатах опыта крестьянина Лысенко и привезла в Харьков [тогдашняя столица Украины] образцы посевов. Комиссия установила путем осмотра посевов на месте, опроса местного населения, агрономов и самого Лысенко следующее: в крестьянском хозяйстве Д.Лысенко в течение трех последних лет высевалась озимая пшеница украинка обыкновенным способом. На четвертый год, в феврале, Лысенко задумал посеять украинку по способу сына. Для этого он у себя в хате намочил в тепловатой воде около полцентнера семян украинки, продержал их в воде сутки, и, когда обозначился зародыш (семена “наклюнулись"), он собрал их в два мешка, завязал, вынес в огород, положил на заранее расчищенную площадку, разложив семена в мешках так, что они легли ровным пластом толщиной около 15 см. Затем он хорошо укрыл мешки с семенами снегом и держал их так до весны. Весною, когда снег стал таять, старик прикрыл снег на мешках соломою, чтобы сохранить низкую температуру до посева. 1 мая 1929 года во время разгара посева ранних яровых культур он отрыл семена из-под снега и в тот же день посеял их в поле, а тут же рядом посеял и яровую пшеницу.

Результаты следующие: озимая пшеница “украинка”, посеянная по методу Лысенко весною, росла совершенно нормально и дала урожай более двух с половиной тонн с гектара, яровая же пшеница, посеянная одновременно и рядом с озимой, легла от июньских дождей и дала урожай вдвое меньший. Приблизительно такие же результаты получил Д.Лысенко от посева этой же весною по такому же способу озимого ячменя»[633].

О сведениях, полученных Комиссией от местного населения и агрономов, в заметке сказано для пущей убедительности. Никаких агрономов в Карловке не было, а соседи могли лишь повторить то, что слышали от самого Дениса Лысенко. Сами они ничего видеть не могли, ибо, по требованию сына, опыт проводился в строжайшей тайне.

Злые языки потом говорили, что Денис Лысенко зарыл мешки с зерном в снег, чтобы спрятать от реквизиции, а когда увидел, что оно проросло, высеял, чтобы не пропало добро. Это, конечно, чепуха. Никакой крестьянин не стал бы сеять озимую пшеницу весной, если бы не было у него определенного замысла.

Комиссии ничего не оставалось, как принять его версию. То есть признать, что озимая пшеница, обработанная по методу Трофима Лысенко, выколосилась в один сезон! В пересчете на гектар она дала около 24 центнеров зерна, а засеяно ею было около половины гектара. Это не брачная мозоль у жабы-повитухи и даже не мышки, бегущие к кормушке по первому звонку!

Хлынул поток газетных публикаций, с неизбежными в таких случаях разночтениями и преувеличениями. Какие-то бойкие перья поднимали урожай до 30 центнеров. Другие увеличивали размер участка до трех четвертей гектара. Нарком земледелия Украины А.Г.Шлихтер написал в той же «Правде», что опыт был задуман не на возвратном пути Трофима с ленинградского съезда, а когда он ехал на съезд. Не отличались точностью и воспоминания о былом ближайших сподвижников Лысенко – Доната Долгушина и Ивана Глущенко.

Собрав коллекцию разночтений и столкнув их между собой, Сойфер намекает на то, что опыта с посевом озимой пшеницы весной в хозяйстве Дениса Лысенко вообще не было: с самого начала всё было надувательством.

Я от таких *крайних* суждений воздерживаюсь. Исхожу из того, что опыт *был* поставлен примерно так, как рассказал Денис Никанорович.

В Наркомате земледелия Украины явление Дениса Лысенко произвело такой переполох, какого он сам вряд ли мог ожидать.

Нарком Шлихтер углядел в чудодейственных колосках спасение от всех бед, взорвавших сельское хозяйство республики начатой в том году сплошной коллективизацией.

Выходец из дворянской немецко-польской семьи, которая прибыла в Россию в начале XIX века и приняла российское подданство в его конце, Александр Григорьевич Шлихтер еще подростком вступил на путь революционной борьбы. Был исключен из гимназии, аттестат зрелости получил экстерном. Из Харьковского университета тоже был исключен. Доучивался за границей, но курса не кончил. Участвовал в революционных событиях на Полтавщине, в Москве, в Харькове. В октябре 1905 года организовал массовые выступления в Киеве, завершившиеся разгромом и еврейским погромом. Скрывался от полиции, был выслежен. Из сибирской ссылки его вызволила Февральская революция. В дни Октября 1917 года участвовал в вооруженном захвате власти в Москве.

Стал наркомом продовольствия, потом наркомом земледелия, потом чрезвычайным комиссаром продовольствия Сибири, Пермской, Вятской, Уфимской, Тульской губерний. О том, как растят хлеб, он понятия не имел, зато поднаторел в том, как его *изымать*. Усердие *изымателей* привело к крестьянскому восстанию на Тамбовщине, где Шлихтер тогда комиссарил. В Кремле посчитали, что он переусердствовал, тем вызвал восстание и не сумел сразу же его подавить.

Его задвинули на дипломатическую работу, где он прозябал несколько лет. Но в горячее время *сплошной коллективизации* о нем вспомнили: поставили наркомом земледелия Украины.

От всякой науки, кроме марксистско-ленинской, Александр Шлихтер был бесконечно далек. Это не помешало ему стать академиком Украинской и Белорусской академий наук, доктором экономических наук. Что до земледелия, то со времен военного коммунизма он усвоил главное правило: держать, не пущать, ИЗЫМАТЬ.

Изымать из колхозов проще, чем у единоличников. Но как быть, когда всё изъято, а *план хлебозаготовок* не выполнен?..

И тут явился в наркомат Денис Никанорович Лысенко с колосьями озимой пшеницы, посеянной – весной!

10.

Озимые культуры в 1,5–2 раза урожайнее яровых, потому во многих районах, особенно засушливых, поля каждую осень

засевают озимой пшеницей – несмотря на опасность ее гибели в случае неблагоприятной зимы. Такой была зима 1927–1928 года. Гибель озимых охватила большой регион, включая самые хлеборобные области: юг Украины, Кубань и весь Северный Кавказ.

Как быть дальше? Слово должна была сказать наука.

22 мая 1928 г., Н.И.Вавилов члену коллегии Наркомзема Украины М.З.Резникову: «По согласованию с Н.П.Горбуновым, сессия намечена на 7 июля. Сам Н.П.Горбунов сможет уделить ей 2 дня, притом, по его указанию, один день включает воскресенье. Это время позвольте считать совершенно фиксированным. М.М.Вольф от Госплана и СТО [Совет Труда и Обороны] один день просил посвятить проблеме озимой и яровой пшеницы. <… > Сегодня мы созываем специальное совещание по этому вопросу. Очевидно, Таланову, Максимову, Фляксбергеру и мне придется подготовить краткие доклады о перспективах озимой пшеницы на Украине и на Сев. Кавказе, как мы это понимаем. М.М.Вольф просил поставить вопрос возможно шире, сам имел в виду приехать и также просил привлечь опытников, которые работали с пшеницей (Сапегин, Сазонов и др.). Очевидно, придется по меньшей мере день (2 заседания) посвятить пшенице. Вы, вероятно, это дело будете поддерживать, и нас самих этот вопрос очень интересует»[634].

Вот сколько ведущих ученых собирались, обсуждали, ломали голову, намечали планы экспериментальных исследований в надежде хотя бы частично ослабить губительное действие неблагоприятных зим на урожаи озимых. А ларчик-то вот как открывался! Деревенский мужик, неказистый, неопрятный, с нечесаной бородой, в видавшем виде зипунишке, держит волшебный ключик в своих заскорузлых пальцах. Вот оно, чудо-юдо! Колосья озимой пшеницы, посеянной весной!..

А Денис Никанорович – сама скромность. Он словно стесняется собственного успеха. Он как бы и ни при чем. Он лишь выполнил указания сына…

Трофима Лысенко срочно вызвали в Харьков.

Он сделал доклад в Наркомземе и в Ганджу уже не вернулся. Шлихтер направил его в Одессу, в Селекционно-генетический институт. Директору института А.А.Сапегину велено срочно создать Отдел физиологии растений для Трофима Лысенко.

В новом качестве агроном Лысенко выступил на совещании «опытников». Смысл его доклада был прост: *яровизацию – в широкую практику*. Опытники вдруг поняли, чем им следует заниматься.

Вскоре «Сельскохозяйственная газета» обратилась к видным

деятелям науки с предложением высказаться по данному вопросу. В их числе были профессора Н.М.Тулайков, П.И.Лисицын, А.А.Сапегин, Н.А.Максимов. Может показаться странным, что среди них не было Н.И.Вавилова, но это объяснялось тем, что Николай Иванович находился в дальневосточной экспедиции.

Все ученые, к которым обратилась газета, положительно оценили постановку вопроса, но предостерегали от поспешного введения в широкую практику недоработанного агроприема[635].

Оказалось, что профессор Тулайков знаком с опытами Лысенко с 1927 года, когда он приезжал в Ганджу. Относился он к ним благожелательно, но предупреждал, что в условиях засушливого юго-востока яровизация озимых вряд ли принесет пользу. Он объяснил, что здесь сеют преимущественно озимые, потому что, взойдя осенью и тронувшись в дальнейший рост весной, они успевают использовать накопившуюся в почве влагу и лучше яровых противостоят летней засухе. Весенние посевы озимых гарантированы от гибели в случае неблагоприятной зимы, но они, вероятно, утратят свои преимущества при засухе. Всё это надо тщательно исследовать.

Остальные ученые тоже высказались осторожно, а профессор П.И.Лисицын даже заметил, что ничего нового в открытии Лысенко нет. О том, что проросшие семена озимых, обработанные холодом, могут выколоситься при весеннем посеве, давно известно, но пользы такая обработка не приносит и в практике не применяется.

С ответом выступил сам Лысенко. По тону его статья была агрессивна, а по сути это был шаг к отступлению. Он обвинил оппонентов в том, что они умышленно извратили его начинание. Он НЕ предлагал вводить в практику яровизацию озимых (!). Надо яровизировать яровые, тем сократить срок их вегетации и помочь уйти от вероятного суховея.

Яровизировать – яровые???

Если так, то гора родила мышь!

Однако следом в газете появилась статья «Ответ критикам: Об опытах тов. Лысенко по яровизации». Она была написана казенным бюрократическим языком, но в тоне начальственного окрика. В ней говорилось:

«Мы привыкли думать, что каждый ученый, высказываясь в прессе по тому или иному вопросу, прежде всего отдает себе труд надлежащим образом ознакомиться с существом вопроса, а затем уже дает свое суждение. К сожалению, приходится констатировать, что не всегда так бывает и что в данном случае надлежащее знакомство с работами Т.Лысенко имеет место из высказавшихся только у академика

Сапегина и менее всего такое знакомство, к сожалению, приходится отметить у проф. П.Лисицына!» [636]

Меру «знакомства с вопросом» автор статьи определял просто: академик Сапегин наиболее благожелательно отозвался о начинании Лысенко, значит, у него *надлежащее знакомство имело место*; профессор Лисицын отозвался о нем наиболее критично – значит, *такое знакомство приходится отметить менее всего.*

Заключительная фраза статьи: «Очевидно прав был акад. А.Г.Шлихтер, когда на столбцах “Правды” высказал мнение, что надо принять надлежащие меры к обеспечению работ Лысенко».

Под статьей стояла подпись: «НАРКОМЗЕМ УКРАИНЫ».

А.Г.Шлихтер, как мы помним, и был наркомом земледелия Украины, так что свое высокое мнение о выдающемся значении открытия агронома Лысенко он подтверждал… своим собственным мнением.

В статье выражалось недовольство и «Сельскохозяйственной газетой»: она-де «хранила долгое молчание и заговорила уже после того, когда широкая научно-исследовательская и опытно-практическая работа по методу Лысенко уже развернута и ведется». Эта выволочка в собственный адрес заставила газету – ее редактором, кстати, был тогда И.Д.Вернемичев – снабдить статью редакционным примечанием: «Мы придаем чрезвычайно большое значение опытам т. Лысенко и поддерживаем действительную необходимость принятия всех мер для обеспечения успешности его работ» [637].

В начале 1930 года, когда был создан Наркомат земледелия СССР во главе с Я.А.Яковлевым, эстафета восхваления отца и сына Лысенко из Харькова перешла в Москву. Смысл руководства наукой Яковлев видел в том, чтобы *поворачивать «буржуазных» ученых лицом к социалистическому строительству.*

О том, как он их *поворачивал*, видно из отчета о расширенном заседании коллегии Наркомзема по борьбе с засухой в сентябре 1931 года.

«На заявление одного из ученых о том, что результаты работ по селекции некоторых сортов можно практически получить только через 10 лет,

– Нам некогда ждать 10 лет, – ответил на это тов. Яковлев» [638].

Он поставил «боевую задачу»: ускорить сроки выведения сортов методом гибридизации до трех-четырех лет.

Всем, кто был знаком с генетикой хотя бы на школьном уровне, было ясно, что «задача» невыполнима. Чтобы получить

сочетание нескольких полезных признаков, наследуемых от разных родительских форм, требуется эти формы скрестить, а затем вести отбор в их потомстве, где идет расщепление гибридов. Прежде чем получится стабильный сорт (чистая линия), сменится большое число поколений. Не говоря уже о том, что «нужные» признаки по щучьему велению не появляются; для этого необходим исходный материал, его надо разыскивать по всему свету, систематизировать, изучать в лабораториях и на опытных делянках.

Ученые объясняли, что если бы удалось сократить сроки выведения сортов до восьми лет, это уже было бы достижением. Но коллегия Наркомзема постановила: *обязать* селекционеров выводить сорта методом гибридизации в три-четыре года.

Социалистическая реконструкция сельского хозяйства вела к его развалу. *Несознательные* крестьяне привыкли руководствоваться народной мудростью: «Что посеешь, то и пожнешь». И вдруг она перестала работать. Как во времена недоброй памяти военного коммунизма, когда по селам и деревням рыскали продотряды, отбирая «излишки» хлеба, а с ними и всякий стимул пахать и сеять. Страна вымирала. *Живой водой*, благодаря которой изрубленное в куски тело срослось, ожило, обрело дыхание, стала *новая экономическая политика – нэп.* Но нэп, по Ленину, ежедневно и ежечасно *порождал капитализм.* То было *вынужденное, временное* отступление.

Товарищ Сталин диалектически решил, что дальше отступать нельзя, надо переходить в наступление. Единоличников, порождающих капитализм, согнали в колхозы. Им теперь надлежало горбатиться не для себя и своих семей, а за *палочки (трудодни)*. Торжествовал экономический принцип социализма: *«Они делают вид, что нам платят, а мы делаем вид, что работаем».*

Чем яснее становился развал, тем громче звучали победные реляции, мобилизующие лозунги, шумные кампании во славу социализма. И тем яростнее становились атаки на «пережитки капитализма» и на *буржуазных специалистов*, не желающих поворачиваться *лицом к социализму.*

На совещаниях в Наркомземе товарищ Яковлев старался «помочь научным работникам понять, чего же хочет страна от их знаний». Он *учил ученых*\ Он лучше них знал, какие задачи ставит перед наукой *социалистическая реконструкция.*

Вот Карпеченко не может сказать, когда будут выведены сорта, не боящиеся никакой засухи. Всё потому, что погряз в заумных теориях и далек от нужд практики. Максимов бьется над

каким-то холодным проращиванием. Их лидер, академик Вавилов, президент ВАСХНИЛ, директор *Института благородных ботаников*, увлечен своими теориями. Толстенные тома «Трудов по прикладной ботанике» заполнены описаниями мировой коллекции, классификациями, генетическим анализом видов и сортов. Рабочий класс этим не накормишь. Рабочему классу описания не нужны! Колхозному крестьянству – тем более! Вот и аспиранты ВИРа бьют тревогу. Знаний у них еще маловато, зато есть классовое чутье. Они *свои, партийцы*, выходцы из рабочих и крестьян. Они не отворачиваются от *социалистического строительства.*

Так же и крестьянский сын Трофим Лысенко. Он делает то, что нужно партии. Энергичный, напористый, *народный*, он твердит о *практической* направленности своих работ. Как же его не поддерживать! Этим теперь занята и газета «Социалистическое земледелие», ставшая рупором наркома Яковлева.

ПОСЕВЫ ОЗИМЫХ ВЕСНОЙ ПО МЕТОДУ АГРОНОМА ЛЫСЕНКО СЕБЯ ОПРАВДАЛИ

Яровизация семян превращает позднеспелые сорта в ранние

Опыты тов. Лысенко создадут переворот в зерновом хозяйстве нашей страны

Под такими аншлагами газета напечатала отчет о докладе Лысенко на Президиуме ВАСХНИЛ[639].

Перестройка агрономической науки на социалистические рельсы обрела в лице Т.Д.Лысенко наглядное воплощение.

«Тов. Яковлев особо подчеркнул огромное значение и широчайшие перспективы этой работы, отметив, что сам тов. Лысенко до сих пор недооценивает масштаба того переворота, который должны создать его опыты в с.-х. производстве»[640].

Ну, конечно! Лысенко недооценивал самого себя! Зато нарком Яковлев знал ему цену

11.

Между тем первые опыты по яровизации на колхозных и совхозных полях фактически провалились. Сам Лысенко, ослепленный поддержкой властей и фанатичной верой в непогрешимость своих пророчеств, поначалу этого не сознавал и потому не видел необходимости скрывать получаемые данные. В том же номере газеты, где торжественно сообщалось о его победном докладе Президиуму ВАСХНИЛ, опубликован и сам

доклад. В нем Лысенко – первый и последний раз – привел цифры, которым в какой-то мере можно доверять.

«Урожай яровизированных посевов, преимущественно сорта украинка… представляет сильно колеблющуюся величину – от 27 центнеров до 3 на гектар. Главной причиной, влияющей на величину урожая яровизированной озими, была изреженность всходов. Последняя получилась в результате сильного прорастания семян до посева. Слишком теплая зима во многих районах, совершенное отсутствие снега потребовали в добавление к предложенной инструкцией технике яровизации еще много внимания от самих опытников, чтобы не дать семенам сильно прорасти» [641] **.**

Разброс урожайности был более чем красноречив: отклонения от среднего почти в десять раз! Если виной тому «слишком теплая зима», то яровизация не чудодейственна: ее эффективность зависит от непредсказуемых капризов погоды. Если же причина низких урожаев в том, что инструкции по технике яровизации для успеха недостаточно, то агроприем недоработан и не может вводиться в широкую практику.

Истинная причина изреженности всходов, скорее всего, состояла в том, что семена надо было выдерживать на холоде слегка проросшими («наклюнувшимися»), а для этого их нужно было увлажнять. Но во влажных семенах происходят биохимические процессы с выделением тепла. Всем земледельцам известно, что если влажное зерно лежит плотным слоем, оно разогревается, самовозгорается и превращается в пепел. Чтобы этого не допустить, его нужно перелопачивать. Это и делали «передовики-опытники». Но при перелопачивании ростки легко обламываются, зерна теряют всхожесть. Кажущаяся простота агроприема была обманчива.

Но, может быть, хотя бы в некоторых районах или в отдельных колхозах урожай яровизированных посевов превышал урожай обычных яровых сортов? Увы, контрольных посевов инструкция Лысенко не предусматривала, не с чем было сравнивать! В его докладе говорилось: *«Дать точную характеристику урожая яровизированной украинки, сравнив ее с урожаем яровых сортов, не представляется возможным».* Но если так, то *никакой* полезной информации из *массовых* опытов по яровизации извлечь было нельзя. Трезвон, поднятый на всю вселенную, оказался пустым сотрясением воздуха.

Но, признав это, власти выставили бы себя на посмешище. Газета поместила доклад *новатора* под победным заголовком:

«Опыты тов. Лысенко создадут переворот в зерновом

хозяйстве нашей страны».

12.

Самое раннее из обнаруженных мной публичных высказываний Н.И.Вавилова о работах Лысенко – в его докладе на коллегии НКЗ СССР, опубликованном 13 сентября 1931 года. Название: «Новые пути исследовательской работы по растениеводству». Доклад обзорный, многоплановый, работам Лысенко в нем уделен небольшой фрагмент:

«Последние годы привели нас к замечательным фактам возможности изменения вегетационного периода, возможности по желанию ускорять время плодоношения. В этом отношении первым начинанием мы обязаны работе американских ученых Алларда и Гарнера. Мы умеем теперь заставлять плодоносить в условиях Туркестана даже тропический многолетний хлопчатник. Особенно интересны в этом направлении работы Лысенко, который подошел конкретно к практическому использованию позднеспелых сортов в раннеспелые, к переводу озимых в яровые. Факты, им обнаруженные, бесспорны и представляют большой интерес, но нужно определенно сказать, что требуется огромная коллективная работа над большим сортовым материалом, над различными культурами, чтобы разработать конкретные действительные меры овладения изменением вегетационного периода в практических целях».

Наиболее ценным в работах Лысенко Вавилов назвал *«открывающиеся возможности в использовании мировых сортовых ресурсов. Опыт Лысенко показал, что поздние средиземноморские сорта пшеницы при специальной предпосевной обработке могут быть сделаны ранними в наших условиях. Многие же из этих сортов по качеству, по урожайности превосходят наши обыкновенные сорта. Пока мы еще не знаем, с какими сортами практически надо оперировать в каких районах. Еще не разработана самая методика предпосевной обработки посадочного материала. Еще нет оснований с полной гарантией идти в широкий производственный опыт»*[642].

Оценка Вавиловым работ Лысенко в основном совпала с той, что двумя годами раньше дали Тулайков, Лисицын, Сапегин и другие ученые, которые поддержали *исследования* по яровизации, но предостерегали против преждевременного введения ее в практику. Разница была в том, что тогда еще не было ясно, что власть делает ставку как раз на скорейший выход яровизации на поля колхозов и совхозов. В 1931 году на этот счет уже не могло

быть сомнений. Но Вавилов публично занял такую же позицию, как предшественники.

Лысенко и его покровителям вряд ли могло понравиться и напоминание о пионерских работах Г.Алларда и У.Гарнера. Они установили, что вегетационный период растений зависит от длины светового дня. У некоторых видов и разновидностей он ускоряется при удлинении дневного освещения, у других – при укорочении. Одним из первых в России такой возможностью воспользовался Г.С.Зайцев: искусственно укорачивая световой день, он сумел заставить в условиях Туркестана цвести и плодоносить многолетний тропический хлопчатник. Благодаря этому его удалось вовлечь в скрещивания с местными формами и вывести сорта тонковолокнистого хлопчатника, вызревающего на юге Туркестана и Азербайджана, где они и были районированы.

Благодаря открытию Алларда и Гарнера стало возможным некоторые теплолюбивые культуры продвинуть далеко на север: они успевали созревать за короткое лето благодаря долгому световому дню. Этим широко пользовался ученик Вавилова Эйхфельд, на опытной станции ВИРа в Заполярье, под Мурманском.

Напоминание о работах Алларда и Гарнера подрывало притязания Лысенко на то, что он своей яровизацией открыл саму принципиальную возможность управлять сроком вегетации.

13.

В документальной повести М.А.Поповского «1000 дней академика Вавилова», опубликованной в 1966 году[643], настойчиво проводилась мысль о роковой «ошибке» Николая Вавилова. Он-де всячески продвигал Лысенко, вопреки критическому отношению к нему других ведущих ученых. Эта точка зрения была тогда же опровергнута Ж.АМедведевым[644].

Можно было думать, что Поповский намеренно сместил акценты, чтобы его повесть могла пройти в печать в условиях советской цензуры: ведь одно дело – показать, что шарлатана, разгромившего советскую генетику и погубившего ее лидера Вавилова, подняла на щит и наделила монопольной властью советская система, и другое – изобразить дело так, что в «ошибке» повинен сам Вавилов. Однако, эмигрировав из СССР, Марк Поповский издал книгу, в которой проводилась и даже усиливалась та же линия[645].

В эпоху «перестройки и гласности» версия М.А.Поповского пересекла границу в обратном направлении. Она укоренилась в

научных кругах и в общественном сознании вообще, потому я должен остановиться на ней подробнее.

В статьях, письмах и выступлениях Вавилова немало положительных высказываний о некоторых аспектах ранних работ Лысенко. Для подтверждения версии М.Поповского этого недостаточно, поэтому он широко использовал и тенденциозно интерпретировал некоторые весьма сомнительные материалы. Вот один из примеров: «Многолетний друг Николая Ивановича, его однокашница по Петровской академии Лидия Петровна Бреславец в интервью, данном незадолго до смерти, сообщила радиожурналистке А.Г.Хлавне: “Николай Иванович сам втягивал Лысенко на высоту. Вот как-то раз я была на научном заседании в тридцать четвертом году, когда Николай Иванович говорил: «Мы сейчас попросим [выступить], есть такой молодой человек, подающий большие надежды, ученый Лысенко». Лысенко себя тогда уже держал так, что мы не выдержали и сказали Николаю Ивановичу – это страшно, зачем он так его тянет кверху…”»[646].

Это «свидетельство» совершенно абсурдно. В 1934 году слава 36-летнего Лысенко гремела по всей стране. Он был членом-корреспондентом АН СССР и членом Украинской академии наук, директором Одесского института генетики и селекции. Правительство наградило его орденом, что в то время было большой редкостью. Ни Вавилов, ни другие ведущие ученые таких наград не имели. Назвать Лысенко «молодым человеком, подающим надежды» можно было только в насмешку. И в любом случае, эта информация не могла исходить от Бреславец. Я не раз с ней беседовал, был знаком с полным (доцензурным) вариантом ее воспоминаний о Вавилове – ничего похожего она не говорила и не писала. М.Поповский с ней тоже встречался, но и ему она ничего подобного не говорила – иначе он сослался бы на свою с ней беседу, а не на радиопередачу малоизвестной журналистки.

Вот еще одно якобы документальное доказательство: «Мы располагаем документом (да, снова документом!), который позволяет судить, насколько искренним и даже горячим был у Вавилова этот интерес. Я имею в виду так называемую академическую записную книжку Н.И.Вавилова за 1934 год. Здесь, на странице 151, среди сугубо личных пометок, совершенно не предназначенных для чужих глаз, можно прочитать следующие набросанные карандашом строки:

”4–5.000.000 пуд. прибавки от яровизации… картофель… Яровизация светом… Лысенко яровизовал комплексом низких t° (температур). Условия развития растений требуют фактора низких температур

На другой странице среди плохо разборчивых записей снова:

"Яровизация Лысенко…
Работать…
Генетика вегетационный период
Управление формообразованием
Широкий простор".

Наконец на странице 189 той же книжки читаем: "Яровизация широких ресурсов – новый метод растениеводства"»[647].

Автор комментирует: «Здесь уже не просто констатация фактов, а целая программа действий, которую Николай Иванович намечает для советской агрономической науки. Эти сделанные в разное время записи говорят нам еще об одном: с каким живым личным вниманием академик Вавилов приглядывался в те годы к творцу яровизации»[648].

Но характер процитированных записей показывает, что это краткие пометки по ходу чьих-то выступлений. Судить о том, в каких случаях Вавилов фиксировал свою мысль, а в каких – чужую, можно только после глубокого анализа этих записей, чем М.Поповский себя не утруждал. Записная книжка им полностью не прочитана: другие записи в ней, по его словам, «плохо разбираемы».

Тенденциозное прочтение «плохо разбираемых» записей позволяет делать еще более тенденциозные обобщения: «Это постоянное возвеличивание заслуг одесского растениевода вскоре дало свои плоды: на Лысенко обратили внимание высокие должностные лица. В Одессу зачастили гости из столицы Украины, а потом и из Москвы. <…> Народный комиссар земледелия СССР Я.А.Яковлев даже предоставил ему своеобразную привилегию: Лысенко мог по любому поводу обращаться лично к наркому»[649].

Но мы знаем, что нарком земледелия СССР Я.А.Яковлев стал покровительствовать Лысенко с подачи наркома земледелия Украины А.Г.Шлихтера, а не академика Вавилова. Будучи прямым начальником Вавилова, Яковлев велел ему взять под свою опеку одесского «самородка», а не наоборот. Это ясно, например, из письма Вавилова к Лысенко от 29 марта 1932 г., которое М.Поповский селективно проигнорировал: «Уважаемый Трофим Денисович. Нарком земледелия тов. Яковлев поручил Президиуму Академии [ВАСХНИЛ] оказать всяческое содействие в Вашей работе и мне лично поручил взять на себя эту заботу. Прошу Вас, во-первых, коротенько самому или через Ваших помощников сообщить о ходе дела как с массовыми опытами, так и с Вашей работой, а также обо всем том, что нужно сделать, чтобы облегчить Вашу работу. В конце апреля я думаю, что буду в Одессе». В том же письме Вавилов сообщал о предстоящем в

августе в США Международном генетическом конгрессе и писал, что «НКЗ будет всемерно поддерживать» участие в нем Лысенко, «если бы Вы захотели ехать»[650].

А вот как выглядит в описании М.Поповского посещение Вавиловым Одесского института: «Заинтересованный новым делом, Вавилов весной 1932 года сам едет в Одессу. Вместе с Лысенко они обходят поля института, ездят по колхозам. Интеллектуал и ученый, Николай Вавилов, естественно, верит каждому слову своего спутника. Со временем он поставит в ВИРе собственные опыты и проверит эксперименты Лысенко, но пока ему в голову не приходит заподозрить агронома в нечестности, в подтасовке фактов»[651].

Вавилов, разумеется, не мог подозревать Лысенко в прямой бесчестности, но это не значит, что он «естественно верил каждому его слову». Ему было *естественно* верить *научным фактам*, многократно проверенным и подтвержденным. К выводам из фактов, даже если их делали корифеи науки, ему было *естественно* относиться скептически. Мы помним, например, насколько осторожно он оценивал некоторые теории своего учителя Уильяма Бэтсона или своего близкого друга Льва Берга, чья книга «Номогенез» произвела на него сильное впечатление приведенными в ней фактами, а не дерзкими выводами о путях эволюции органического мира.

Лично ознакомившись с работой Лысенко и его группы, Вавилов убедился в том, что «работа Лысенко замечательна и заставляет многое ставить по-новому»[652]. Для него это значило, что «мировые коллекции надо переработать через яровизацию», то есть в программу изучения коллекции культурных растений включить выявление периода яровизации для каждой из форм. По тому же пути он пытался направить самого Лысенко. Но Трофиму Денисовичу такая работа была не по нраву.

В цитированном письме Вавилова к Ковалеву есть и такая фраза: «Одесский институт работает интересно и цельно. Впечатления очень хорошие»[653]. Но это относится не к Лысенко, а к институту в целом – тогда его возглавлял А.А.Сапегин.

«Это был исторический момент в существовании Одесской селекционной станции, так как А.А.Сапегин начал и проводил здесь в это время опыты по получению мутаций у пшеницы под воздействием рентгеновского излучения. Он водил нас в специальное помещение и с гордостью показывал рентгеновскую установку, которую он первый в мире поставил на службу селекции»[654].

Автор этих строк Н.П.Дубинин приехал в Одессу, для участия в конференции, в конце мая 1932 года. Вавилов был там месяцем

раньше. Понятно, что свою рентгеновскую установку Сапегин показывал и ему. Этим, очевидно, и вызвано его *очень хорошее впечатление от института.*

Что же до Лысенко, то, беседуя с ним, Вавилов мог убедиться, что его грандиозные планы базируются на шаткой основе. С большой горячностью и апломбом Лысенко настаивал на том, что может «управлять» развитием любых растений. В 1935 году, на одном из заседаний ученого совета ВИРа, Вавилов вспомнит о возникшем у них тогда споре: «Товарищ Лысенко не сдержал своего обещания, которое он мне дал три года назад [то есть в 1932 году!], когда обещал заставить столетний дуб давать желуди в один год. Задача оказалась несколько сложнее».

Они вместе проехали по близлежащим колхозам и совхозам, где массовые опыты по яровизации проводились под *прямым* руководством Лысенко. В письме своему заместителю Вавилов уделил этой поездке одну строку: «Ездил с Лысенко по колхозам и совхозам; много ошибок с яровизацией»[655].

Можно по-разному объяснять, почему концепция М.А.Поповского оказалась востребованной в перестроечной и постсоветской России. Вероятно, не последнюю роль сыграло то, что книгу Поповского открывало предисловие академика А.Д.Сахарова, чье имя стало символом свободолюбивой России.

Я не имел чести быть лично знакомым с Андреем Дмитриевичем, но в его литературное наследие мне приходилось вникать – в связи с подготовкой к печати материалов Сахаровских слушаний[656] и по другим поводам. Думаю, что имею неплохое представление о литературном стиле Сахарова, а стиль – это человек.

Предисловие к книге Поповского пестрит такими выражениями, как «ретивый следователь», «журналистский подвиг», «бдительных высокопоставленных чиновников», «в невинных с виду школьных тетрадочках»… Это не стиль Сахарова. Видимо, он подписал принесенный ему текст, чтобы поддержать писателя-диссидента. Поповский потом многократно этим козырял.

Мне приходилось полемизировать с ним в изданиях русского зарубежья (в еженедельнике «Панорама», Лос-Анджелес; в газете «Новое русское слово», Нью-Йорк; в журнале «Страна и мир», Германия). Не всё написанное мною по этому поводу было опубликовано. Отвечая на козыряние именем А.Д.Сахарова, я заметил: «Я думаю, что если бы Андрей Дмитриевич был в курсе этой “дискуссии”, то он первый запротестовал бы против того, что его личные *впечатления*, относящиеся к области знаний, в которой он не является специалистом, превращают в цитатник

непогрешимых истин. Сахаров потому и велик, что он не Великий Кормчий. Он физик, а не генетик и не историк генетики. Вполне понятно, что, познакомившись в книге М.Поповского с односторонне подобранными цитатами и доверяя автору, он вынес впечатление, будто Вавилов “в каком-то смысле вырыл ту яму, в которую упал в конце жизненного пути”. Но это неверно»[657].

Столетний юбилей Н.И.Вавилова (1987) вызвал в России лавину публикаций – в сотнях самых разных изданий. Горбачевская гласность, набирая обороты, позволила говорить о трагической судьбе ученого, что было невозможно всего двумя-тремя годами раньше. Но гласность была еще не полной: версию М.Поповского озвучивали без ссылок на писателя-эмигранта. В ключевом юбилейном докладе президента ВАСХНИЛА.А.Никонова говорилось: «На первых порах он [Вавилов] оказывал поддержку в начинаниях молодого агронома Лысенко, содействовал его росту»[658].

Тот же мотив в статье академика А.Л.Тахтаджяна: «Как ни парадоксально, возвышению этого лжеученого и авантюриста в значительной степени способствовал и сам Вавилов»[659].

Так субъективное мнение одного пристрастного автора превратилось в *common knowledge – общеизвестную истину*.

Оказалось, однако, что «статья А.Тахтаджяна почти дословно пересказывает главы из книги Марка Поповского», о чем тот опубликовал *Открытое письмо* главному редактору «Литгазеты» А.Б.Чаковскому[660].

А.Л.Тахтаджян подтвердил: «Основной материал по делу Вавилова и его гибели был получен благодаря энергичным действиям писателя М.А.Поповского, на которого есть соответствующие ссылки в оригинале моей рукописи»[661].

Можно представить себе, сколько энергии затратил Тахтаджян, чтобы заставить газету напечатать это короткое разъяснение. Но оно забылось. И теперь уже ссылаются на авторитет академика Тахтаджяна. В мемуарной книге Н.Л.Делоне сказано, со ссылкой на его статью в «Литгазете»: «Н.И.Вавилов “… способствовал быстрой карьере Лысенко. Фактически он сам, своими руками помог вырасти своему убийце”»[662].

В исследовании Е.Б.Музруковой и Л.В.Чесновой о процессе *прихватизации* биологической науки советским государством есть такие строки: «Известно [!], что впервые “заметил” Лысенко Н.И.Вавилов, увидевший его интерес к сельскому хозяйству, его энергию, почему он и счел возможным, несмотря на низкую общую культуру Лысенко, способствовать его выдвижению»[663].

Это же «известно» Сергею Романовскому, автору книги

«"Притащенная" наука». Академик Вавилов в ней назван «бывшим благодетелем [!] Лысенко». Правда, Романовскому это «известно» *не вообще*, а из книги В.Сойфера «Власть и наука»[664].

Книга Сойфера переиздавалась несколько раз, она растащена на цитаты в десятках, может быть, сотнях публикаций. Насколько мне известно, первая публикация Сойфера об истории лысековщины появилась во флагмане горбачевской гласности, журнале «Огонек»[665]. Она имела широкий резонанс. К сожалению, в ней ряд существенных неточностей. На некоторые из них указал Ж.А.Медведев, тогда же приславший мне копию своего письма в редакцию «Огонька»: «Можно ли, например, называть Лысенко "протеже" Вавилова (Сойфер, с. 27) только потому, что Вавилов положительно относился к теории стадийного развития, так, как она виделась в 30-е годы? Безусловно нет. Движение Лысенко вверх после его переезда в Одессу в 1929 году, где для него была создана Наркоматом земледелия лаборатория яровизации (без всякого влияния Вавилова), ни в коей мере не зависела от тогдашнего президента ВАСХНИЛ. Журнал "Яровизация" – главный рупор Лысенко, также был создан независимо от Вавилова. В тот период у Вавилова просто не было никаких оснований выступать против Лысенко, да и у яровизации были с 1929 г. гораздо более влиятельные покровители, чем Вавилов»[666].

Понятно, откуда Сойфер заимствовал эту версию. Даже словцо *протеже* перекочевало в его статью из книги Поповского[667]. Если бы Сойфер отнесся с большим вниманием к свидетельствам самого Лысенко, то он узнал бы, чьим *протеже* тот на самом деле был. Трофим Денисович четко указывал, что в 1930 году его работы по яровизации «в зародыше» поддержал нарком земледелия Я.А.Яковлев.

Что же касается Н.И.Вавилова, то, как мы помним, вторую половину 1929 года он провел в путешествии по Западному Китаю, Японии, Корее, Тайваню, а вторую половину 1930 года – в поездке по США и Мексике. В промежутке между этими экспедициями он, сверх своих обычных обязанностей, коих всегда было выше головы, возглавлял составление планов и развертку институтов только что созданной Академии сельскохозяйственных наук. В это время он вряд ли мог вспоминать о Лысенко: никакого повода к этому не возникало. А в 1931 году, когда «проблема Лысенко» встала перед Вавиловым, точки над і уже были поставлены. Вавилов автоматически попал в лагерь противников Лысенко – как представитель и даже глава *буржуазной* науки *благородных ботаников*, чей отрыв от *практики социалистического строительства* разоблачала партийная печать.

Президент ВАСХНИЛоказался между молотом и наковальней. С одной стороны был напористый *новатор*, двигавший *яровизацию на миллионы гектаров колхозных и совхозных полей*; а с другой стороны – нарком Яковлев и другие политкомиссары, переводившие сельхознауку на *социалистические рельсы.* Поручив Вавилову организовать и возглавить сельхозакадемию, они всегда помнили, что он *буржуазный специалист*: его нужно использовать, но политически следует поддерживать не его, а *выдвиженцев из народа.*

Ибо, как постулировал товарищ Сталин, развивая бессмертное учение Ленина, «вредительство буржуазной интеллигенции есть одна из самых опасных форм сопротивления против развивающегося социализма»[668].

В *год Великого перелома* и после него давление на науку и персонально на Вавилова резко возросло. Эстафету, выпавшую из рук Арцыбашева, подхватил заведующий Бюро интродукции Коль, затем аспиранты-партийцы Шлыков, Альбенский, глава Института аспирантуры Быков, ряд других. А в ГПУ выбивали показания против Вавилова из аграрников, арестованных по делу ТКП.

Не обо всем Николаю Ивановичу было известно, но и громогласных атак с трибун и в газетах с избытком хватало, чтобы он чувствовал себя в осажденной крепости. На этом фоне и стала подниматься звезда Трофима Денисовича Лысенко. Удивляться приходится не мягкости вавиловской критики в адрес *колхозного ученого*, а той последовательности, с какой он отстаивал достоинство науки.

Как бы ни менялось с годами личное отношение Вавилова к Лысенко, он высоко оценивал теорию стадийного развития, в этом был неизменен. В своем фундаментальном труде «Ботанико-географические основы селекции» Вавилов писал: «Метод яровизации является могучим средством для селекции по многим травянистым культурам, позволяя возделывать в наших северных условиях южные субтропические формы, в обычных условиях не могущие произрастать. Опыт последних лет по применению яровизации в Хибинах, за Полярным кругом, и в Ленинграде на огромном материале по различным культурам показал исключительные возможности использования мировых ассортиментов для целей селекции с применением яровизации. Впервые перед нами предстала в живом виде в условиях Ленинграда вся мировая коллекция сортов ячменя, включая озимые и яровые поздние формы, которые в обычных условиях никогда в Ленинграде не могли быть доведены до колошения»[669].

Так же оценивали теорию стадийности многие ученые.

А.А.Любищев привел более десятка высказываний ведущих биологов и растениеводов того времени – Сапегина, Говорова, Хаджинова – все в высшей степени положительные[670].

В ВИРе яровизация вошла в арсенал методов изучения мировой коллекции, высокое мнение об этом методе было почти единодушным. В 1935 году Вавилов говорил на заседании научного совета ВИРа: «Мы имеем очень сильное новое оружие в виде учения о стадийности академика Лысенко. Это, несомненно, очень сильное оружие, которое, может быть, никто, как наш коллектив, не может оценить по достоинству…»[671] Нечто подобное он говорил и в 1939 году.

К другим теориям и начинаниям Лысенко, а их становилось все больше, Вавилов относился критически, но особенно негативно – к внедрению их в «практику колхозного строительства», на что делала ставку власть.

Надеяться можно было только на то, что со временем удастся цивилизовать Лысенко, интегрировать его в сообщество *нормальных* ученых. На такой основе он строил свои отношения с Лысенко. Его тактика не сработала – в этом была беда Вавилова и всей биологической науки в стране. Беда – не вина.

М.Поповский и В.Сойфер «уличают» Николая Ивановича в том, что в 1932 году он рекомендовал избрать Лысенко академиком Украинской академии наук, в том же году включил его в состав советской делегации на VI Международный генетический конгресс, в 1934 году рекомендовал в члены-корреспонденты Академии наук.

По-разному можно оценивать эти его действия.

Как мы знаем, инициатором включения Лысенко в первоначальный состав делегации на конгресс по генетике был нарком Я.А.Яковлев. Весьма вероятно, что и в других

случаях Вавилов лишь озвучивал указания сверху Вынужден был это делать, чтобы не давать дополнительных козырей против *благородных ботаников, зажимающих* народного выдвиженца. На мой взгляд, то была борьба *за* Лысенко, *против* лысенковщины. То, что Лысенко и лысенковщина неразделимы, тогда еще не было очевидно.

…Напрашивается аналогия с действиями брата Николая Ивановича – Сергея Ивановича Вавилова, хотя в иной ситуации и по отношению к совершенно иному лицу.

У директора Физического института Академии наук академика С.И.Вавилова не сложились отношения с директором Института физических проблем академиком Петром Леонидовичем Капицей. Много лет работавший у Резерфорда, который высоко его ценил, всемирно прославленный,

самоуверенный, острый на язык, Капица смотрел на Сергея Вавилова свысока, иронично относился к его работам, не стеснялся об этом говорить вслух. Сергею Ивановичу это было известно и, конечно, его задевало. Он неприязненно относился к Капице, о чем говорят записи в его дневнике. В 1945 году Сергей Вавилов стал президентом Академии наук, а Капица попал в опалу. Он был снят с поста директора Института, остался не у дел, жил на даче почти под домашним арестом.

Сергей Вавилов приехал к нему, расспросил, чем может помочь, и делал всё возможное, чтобы облегчить его положение. На вопрос одного из учеников, чем вызваны такие действия, ведь Сергей Иванович знает, как Капица к нему относится, С.И.Вавилов, подумав, ответил:

– Считайте, что это месть интеллигентного человека[672].

Можно не сомневаться, что Николай Иванович ни на минуту не обманывался насчет того, с какой ненавистью и злобой относится к нему Лысенко. И платил ему *местью интеллигентного человека.*

Увы, Лысенко не был Капицей. Он был Распутиным.

Когда Вавилову это стало ясно, он так его и называл: Распутин биологической науки.

14.

Яровизация была широко разрекламирована как универсальный агроприем, гарантирующий высокие устойчивые урожаи по всей стране. Энтузиасты-опытники ставили опыты на тысячах гектаров. В стандартные анкеты, составленные Лысенко, они вносили данные о засеваемых площадях, сроках посева и уборки, величине урожаев… Анкеты стекались к Лысенко и демонстрировали такой же, как прежде, разброс результатов. Статистическая обработка этих данных показала бы провал агроприема. *Яровизатор* стоял перед выбором: либо признать, что его агроприем бесполезен, либо сделаться *селекционером* получаемых данных. То есть Распутиным. Он выбрал второе. Он стал *отбирать* анкеты с позитивными результатами (насколько правдивы были эти результаты, – отдельный вопрос), а негативные отбраковывал. Они-де получены из-за неправильного следования его инструкции и учету не подлежат.

Мошенничество было видно невооруженным глазом, но ветер дул в его паруса. Победные реляции были нужны его покровителям на разных этажах власти. Слишком много авансов

было ими выдано, слишком большая шумиха поднята, слишком прямая связь была проведена между *колхозным ученым* и *колхозным строем.*

Три видных селекционера – профессор Тимирязевской академии П.И.Лисицын, профессор Куйбышевского сельхозинститута П.Н.Константинов и болгарский ученый Дончо Костов, работавший у Вавилова в Институте генетики, – решили разобраться: что яровизация может дать практике в разных сельскохозяйственных районах страны.

Петр Иванович Лисицын родился в 1877 году в семье деревенского писаря. Окончил Московский университет, затем Петровку. Больше двадцати лет проработал на Шатиловской опытной станции (Орловская губерния), которая носит теперь его имя. Начинал рядовым научным сотрудником, потом стал заведующим Отделом селекции, в 1926 году – заведующим всей станцией. С 1922 года возглавлял шатиловскую *Госсемкультуру*, то есть разработанную им систему размножения селекционных сортов для внедрения их в широкую практику земледелия.

Когда был взят курс на сплошную коллективизацию, *Госсемкультура*, созданная в условиях нэпа, стала помехой.

В областной партийной печати началась травля Лисицына как «пособника кулачества».

Чтобы вывести Петра Ивановича из-под удара, Вавилов рекомендовал его на пост заведующего кафедрой селекции Тимирязевской академии: кафедра стала вакантной после смерти С.И.Жегалова. Петру Ивановичу тяжело было покидать свое детище – Шатиловскую станцию, но он вынужден был перейти в Петровку. Вавилов нередко бывал у Лисицына. Его сын, академик Александр Петрович Лисицын, помнит, как мальчиком сиживал у Николая Ивановича на коленях.

Петр Иванович умер в феврале 1948 года, не дожив шести месяцев до разгрома генетики на Августовской сессии ВАСХНИЛ.

Петр Никифорович Константинов этот разгром пережил. Он был ровесником П.И.Лисицына, столь же крупным селекционером. Возглавлял кафедру селекции Куйбышевского сельскохозяйственного института. За две недели до Августовской сессии, в отчаянной попытке образумить власть, он послал большое письмо Сталину, в котором, между прочим, упоминалось: «90 % посевных площадей нашей страны заняты сортами наших советских селекционеров: Лисицына, Шехурдина, Юрьева, Константинова, Писарева, Успенского и др.»[673].

Опыты Лисицына и Константинова по яровизации проводились пять лет (1932–1936) на 54 сортоучастках в разных регионах страны. Испытывались 35 сортов пшеницы и других

зерновых культур. Яровизированные посевы сопоставлялись с контрольными. К обработке результатов они привлекли Дончо Костова.

Оказалось, что в отдельные годы на некоторых участках яровизация давала незначительную прибавку урожая, в другие годы приносила убыль. Яровизированные посевы сильнее контрольных поражались твердой головней. Посевного материала для них требовалось в два раза больше, чтобы компенсировать потерю всхожести от перелопачивания «наклюнувшихся» семян[674].

Опыты Лисицына и Константинова подтвердили то, о чем предупреждал Вавилов пятью годами раньше: агроприем недоработан, эффективность его сомнительна, вводить в широкую практику нельзя.

В статье В.Н.Сойфера «Эра Лысенко в новом освещении» в журнале «Nature» (1989)[675] *«новое освещение»* состояло в еще одном озвучивании версии о том, что на олимп власти Трофима Лысенко двигал академик Вавилов – вопреки противодействию других крупных ученых. Для пущей убедительности автор столкнул два высказывания: одно – Вавилова, говорившего, что яровизация открывает «широкие горизонты», и второе – Константинова, показавшего, что при экспериментальной проверке яровизация не давала прибавки урожая.

Но термин *яровизация* употреблялся в разных значениях. На самом деле никаких разногласий между Вавиловым и Константиновым не было. Оба выступали против введения в широкую практику *яровизации* как агроприема и оба считали яровизацию полезным методом при селекции на скороспелость. Даже много лет спустя, в упомянутом письме Сталину, Константинов писал: «Яровизация может быть полезна при гибридизации резко отличных форм по вегетационному периоду»[676].

Мичуринец № 2

1.

При всей своей нацеленности на *практику* Трофим Лысенко сознавал или чувствовал, что *теория* ему тоже необходима. При условии, что это будет *своя, пролетарская, марксистско-ленинская теория*, подтверждаемая *своей*, лысенковской, колхозной практикой.

На этой почве Лысенко сошелся с «философом» И.И.Презентом, они хорошо поняли друг друга.

Исай (Исаак) Израилевич Презент страдал *комплексом коротышки.* Стараясь казаться себе и другим выше ростом, он все время как бы подымался на цыпочки – в прямом и переносном смысле. Носил ботинки на толстой подошве и высоких каблуках, старался не снимать высоченную, почти бутафорскую шляпу Доказывая свою мужскую неотразимость, заводил бесчисленные романы. По одной из версий, студентки липли к нему; по другой – сладострастник принуждал их к сожительству, строптивых преследовал.

Жалобы на его *сексуальные домогательства* (говоря сегодняшним слогом) приводили к неприятностям. В книге Сойфера рассказано даже о том, что в 1937 году Презент был арестован за растление малолетней. Лысенко потерял голову – почти в буквальном смысле слова. Известного ботаника П.А.Баранова (будущего члена-корреспондента Академии наук), который приехал в Одессу для консультаций, Трофим Денисович зазвал к себе домой, и когда они крепко выпили, стал скулить, размазывая по лицу пьяные слезы: «Что-о-о же-е мне бедному-у делать! Исайку-то мо-о-во заарестовали! Исайку надо-о-о выручать! Что я без него-о делать бу-у-ду-у!»[677]

Каков источник этой пикантной подробности? Сойфер ссылается на устное сообщение Д.В.Лебедева, которому рассказал об этом Баранов.

Ни Баранова, ни Лебедева давно нет в живых, но косвенная проверка возможна. Даниил Владимирович Лебедев был известен как мужественный воитель против лысенкоизма. «Генетик по специальности, Лебедев в 1941 г. был исключен из комсомола и отчислен из аспирантуры Ленинградского университета за борьбу против Т.Д.Лысенко и отказ отречься от арестованных учителей – Н.И.Вавилова, Г.Д.Карпеченко, Г.А.Левитского и др.»[678]. Сведения о художествах творцов «мичуринского учения» Лебедев

активно собирал и не делал из них секрета. Если он рассказал об этом эпизоде Сойферу, то, вероятно, рассказывал и другим. Я встречался с Даниилом Владимировичем, но ничего подобного от него не слышал. Мне также не приходилось слышать или читать, чтобы Лысенко когда-нибудь видели пьяным.

Жорес Александрович Медведев мне сообщил, что он тоже ни от Лебедева, ни от кого другого не слышал об аресте Презента в 1937 году, как и том, что Лысенко когда-либо видели пьяным[679].

Э.И.Колчинский, глава Петербургского филиала Института истории естествознания и техники, хорошо знал Лебедева, не раз о нем писал[680], но ни о чем подобном тоже от него не слыхал. По моей просьбе он говорил по телефону с сыном П.А.Баранова Максимом Павловичем. Тот подтвердил, что отцу приходилось контактировать с Лысенко, но о том, чтобы они пили водку и говорили об аресте Презента, отец никогда не упоминал[681].

2.

Исаак (Исай) Презент родился в 1902 году в местечке Тороповец Тверской губернии, в богобоязненной еврейской семье. Но он рано понял, что *Бога нет*, а есть *классовая борьба* и *интересы рабочего класса.*

Окончив среднюю школу, Презент преподавал в уездном железнодорожном училище. Там, вероятно, выделился общественной активностью. Стал секретарем уездного комитета комсомола, снова чем-то выделился, и из захолустного Тороповца его взяли в Псковский обком комсомола. Оттуда направили на учебу в Петроградский университет, факультет общественных наук (ФОН). Курс был ускоренный, трехгодичный. В 1926 году Презент получил диплом юриста.

Обладая изворотливым умом и находчивостью, он мог бы стать блестящим судебным защитником или (не дай Бог!) прокурором. Но такая перспектива его не увлекала.

Еще студентом он включился в работу Научного общества марксистов. Такие общества были в моде, хотя имели разные названия: *марксистов, материалистов, воинствующих безбожников, биологов-материалистов…* Физики, химики, биологи сходились в них с философами, чтобы переводить естественные науки на рельсы диалектического материализма. Нельзя было усомниться в целесообразности такой гибридизации – то было бы *вылазкой классового врага.*

Такие *вылазки* позволял себе только один человек: Иван Петрович Павлов. Его защищала слава старейшины физиологов

мира, единственного в России нобелевского лауреата, а больше всего – декрет Ленина о предоставлении академику Павлову особых привилегий, «в виде исключения и не в пример другим». Согласно Ильичу, академик Павлов «представлял <…> большую культурную ценность»[682]. *Охранная грамота Ильина* вынуждала терпеть старческие чудачества Павлова. *В виде исключения и не в пример другим.*

Партия активно содействовала привлечению в вузы рабоче-крестьянской молодежи. При скудной (как правило) школьной подготовке освоение основ науки давалось таким студентам с натугой; зато постулаты *правильной* философии они усваивали легко и быстро. То было могучее оружие «классовой борьбы на естественнонаучном фронте». Из *буржуазной науки* изгоняли идеализм, витализм, механицизм, эмпиризм, объективизм и все остальные *измы капитализма.*

На этом поприще Презент выделялся особой сноровкой.

Одной из ранних его мишеней стал профессор Ю.А.Филипченко. Его внезапная смерть ослабила боевитость Презента, но совсем ненадолго.

Вскоре он обнаружил *идеализм* и *витализм* в трудах академика В.И.Вернадского. Мировая известность уберегла академика от тяжких последствий.

Хуже пришлось профессору Б.Е.Райкову из Ленинградского пединститута им. А.И.Герцена. Райков был специалистом по методике преподавания биологии, вероятно, лучшим в России. Он разъяснял школьным учителям, как прививать детям бережное отношение к природе, как объяснять ребятам, что такое равновесие в экосистеме и к каким последствиям приводит его нарушение. Выискать что-то антимарксистское в его работах было трудно, но не для Презента.

Ведь Райков оберегал природу от революционного пролетариата! От строителей социализма! От партии нового типа! Это же *вылазка классового врага*\

В 1930 году 50-летний профессор Райков был арестован. Пришлось ему познать, что такое тюремная пайка, ночные допросы, нары в лагерном бараке, ударный труд на строительстве Беломоро-Балтийского канала. Затем – ссылка в Карелию, в медвежий угол под названием Медвежьегорск.

Незадолго до войны Райков смог вернуться в Ленинград, снова стал профессором педагогического института.

В 1948 году опять пересекся с Презентом.

После «окончательного» разгрома генетики на Августовской сессии ВАСХНИЛначалась вакханалия *чисток* по всей стране. Со свистом и улюлюканьем от «менделистов-морганистов» *очищали*

научно-исследовательские институты, опытные станции, вузовские кафедры. Около трех тысяч ученых лишилось работы. Исай Презент с большим рвением чинил суд и расправу над теми, кто был на несколько голов выше него – не только физически.

Б.Е.Райков вспоминал: «Никогда не забуду заседание ученого совета, собранного в расширенном составе, и посвященного так называемой чистке. В коридоре я встретился с Презентом. Я не видел его 20 лет. Тем не менее мы узнали друг друга. Он, улыбаясь, обратился ко мне с вопросом: “Кажется, Вы возглавляете здесь методику естествознания?” Я ответил, что кафедру методики возглавляет тов. Боровицкий, а я читаю здесь лекции как профессор. Презент ничего не сказал и пошел дальше. Затем я увидел его в зале заседаний Совета. Он сидел в президиуме, а рядом с ним – директор Института Ф.Ф.Головачев и представитель министерства образования Светлов. Чистка состояла в том, что Головачев вызывал по фамилии профессоров, которые выходили на середину и должны были отвечать на вопросы. Вопросы задавал Презент, они были стереотипны: “Как вы относитесь к учению Мичурина?”, “Как Вы относитесь к взглядам Лысенко?”, “Как Вы относитесь к формальной генетике?” <…> Вызвали моего соседа профессора Ю.И.Полянского, на которого особенно точил зубы Презент. Он ответил, что учение Мичурина он признает, взгляды Лысенко не разделяет, считает себя генетиком. Затем Презент задал ему дополнительный вопрос – “Скажите, почему Вы уволили меня из университета?” Ответ был дан для Презента совершенно неожиданный – “Потому что Вы ничего не знаете в науке”»[683].

Райков ни к менделизму, ни к лысенкоизму отношения не имел, но тоже был *вычищен.* Завершился *второй раунд* поединка, в котором один из партнеров был связан по рукам и ногам, а второй дубасил его всем, что подворачивалось под руку

Двадцатью годами раньше, после *первого раунда* расправы над Райковым, окрыленный успехом Презент набросился на защитников природы из степного заповедника Аскания-Нова, на юге Херсонской области. Заповедник и без того был на краю гибели: вокруг него лязгали зубами стаи хищников, стремившихся оттяпать от заповедных земель лакомые куски. В Наркомземе Украины сторонники зернового совхоза тягались со сторонниками овцеводческого. Руководство заповедника отбивалось от посягательств, доказывая, как важно сохранить заповедные степи нетронутыми.

Об этом говорилось в записке директора заповедника Ф.Ф.Бега и его заместителя по научной части В.В.Станчинского верховному руководству Украины – С.В.Косиору, Г.И.Петровскому

и В.Я.Чубарю. Похожие аргументы Станчинский высказывал на научных конференциях и симпозиумах.

Для Презента это была *райковщина.* Да и вся наука экология, которая изучает природные биоценозы и предостерегает от неосторожного вторжения в них человека *(рабочего* человека!), представлялась ему диверсией против социализма: «Экологию нужно проверить в ЦК, что это за наука еще такая?»[684]

Ее проверили не в ЦК, а в ЧК.

В январе 1933 года, когда целые области вымирали от голодомора, товарищ Сталин дал указание: искать вредителей сельского хозяйства среди ученых!

Станчинский и два десятка его сотрудников оказались за решеткой. Быстро *сознались* во всем, что требовалось: в подготовке покушения на драгоценную жизнь товарища Кагановича и товарища Ворошилова, в тайных связях с фашистской Германией, в тренировке боевиков для иностранного вторжения, даже в том, что вредительский план научного изучения заповедной степи Аскания-Нова «подкупал своей логикой, практической актуальностью» и потому был официально утвержден в Госплане[685]. Презент старался не зря.

Историк науки В.Л.Меркулов, хорошо знавший Презента, дал ему емкую характеристику: «Это дитятко эпохи кругом видело врагов революции и считало себя ее избавителем от бед и комплотов»[686].

Но к генетике Презент относился лояльно. Презент следил за *передовым фронтом* генетики. Группе молодых ученых под руководством А.С.Серебровского (Н.П.Дубинин, И.И.Атол и другие) удалось показать делимость гена. Презент видел в этом торжество материалистической диалектики, а витализм, идеализм и механицизм в очередной раз были посрамлены. Презенту принадлежала крылатая фраза: «Генетика порождает диалектику».

В 1932 году Исай Презент приходил к Н.И.Вавилову с предложением организовать в ВИРе философское отделение, чтобы осмысливать работу Института с позиций дарвинизма и диалектического материализма. Можно прочитать, что Презент около года работал в ВИРе, но документально это не подтверждается. По моим сведениям, Николай Иванович отказался от его услуг: в ВИРе и без того хватало *диалектизаторов*, клевавших ему печень.

Возможно, что с этого момента началась «диалектическая» перестройка в сознании Презента, сделавшая его «мичуринцем».

В воспоминаниях Н.П.Дубинина приводится пример колючей находчивости Презента.

Однажды, уже в 1935 году, Дубинин и С.Г.Левит в вестибюле Дома ученых столкнулись с неразлучной парой – Презентом и Лысенко. Оба были в ярких желто-сиреневых куртках мехом наружу и в таких же странных кепках. Левит рассмеялся и спросил Лысенко, не для того ли они надели такие униформы, чтобы издали узнавать друг друга. Лысенко не успел открыть рот, как Презент отпарировал: «Нет, это у нас индивидуальная одежда, так сказать, особая для нас двоих. А вот у вас, товарищ Левит, действительно, опознавательный знак на голове, по этому знаку каждому ясно, к какому классу вы тянетесь!»

На Левите была велюровая шляпа – признак «буржуазности»!

Лысенко и Презент с громким хохотом удалились. Уже выйдя на улицу, Дубинин спохватился:

– Черт возьми, Соломон Григорьевич, какую мы карту пронесли, хоть беги назад и догоняй их.

– Ну, что там еще? – спросил Левит.

– Они себя мичуринцами называют, а ведь шляпу, шляпу-то ведь всю жизнь носил Мичурин!

– Ну и ну, – сказал Левит, – ну и Презент, вот уж, действительно, для красного словца не пожалеет и отца[687].

С.Г.Левит участвовал в революционном движении, до Октября 1917-го был бундовцем, потом большевиком. По стипендии Рокфеллеровского фонда он стажировался в Техасском университете у Германа Мёллера. В руководимом им Медико-биологическом институте Левит в большом масштабе развернул сравнительные исследования однояйцовых и разнояйцовых близнецов. Это один из наиболее продуктивных методов изучения генетики человека. Его активно поддерживал нарком здравоохранения Н.А.Семашко, затем Г.Н.Каминский. Но век его был отмерен. Не пройдет и года, как его причислят к антидарвинистам, реакционерам, фашистам. Снимут с работы, исключат из партии, институт ликвидируют. Еще через полгода – арест, пытки, расстрел…

3.

Презент, я думаю, встретился с Лысенко не раньше 1932 года[688]. Он объяснил *колхозному ученому,* что его новации, при всей их нацеленности на практику, должны подкрепляться теорией – без этого он далеко не пойдет. Теория должна быть советской, марксистской, *дарвиновской.*

Чарльз Дарвин считал себя агностиком. Но *основоположники марксизма* считали его теорию важнейшим естественнонаучным

подтверждением своих взглядов. Этого было достаточно, чтобы сделать теорию естественного отбора одной из священных коров диалектического материализма.

Лысенко идея Презента пришлась по душе. Остальное было делом техники, которой Презент виртуозно владел. Между двумя творцами нового учения наметилось разделение труда. На совещании передовиков урожайности, в присутствии Сталина, Лысенко *по-простецки* рассказал: «Я часто читаю Дарвина, Тимирязева, Мичурина. В этом помог мне сотрудник нашей лаборатории И.И.Презент. Он показал мне, что истоки той работы, которую я делаю, исходные корни ее дал еще Дарвин. А я, товарищи, должен тут прямо признаться *перед Иосифом Виссарионовичем*, что, к моему стыду, Дарвина по-настоящему не изучал»[689]. Такое было у них разделение труда.

4.

Лысенко выдвигал новые и новые *практические рекомендации* для немедленного внедрения на «миллионах гектаров колхозных и совхозных полей». Всякие сомнения в их полезности трактовались как стремление буржуазных ученых ставить палки в колеса колхозному новатору. С гордостью обобщая достижения передовой советской науки, Лысенко и Презент писали в редакционной статье первого номера журнала «Яровизация»:

«Сокращение сроков вегетации в поле злаковых растений как средство борьбы с суховеями; яровизация картофеля и высадка глазков яровизированных клубней как средство уменьшения посадочного материала, одновременно ведущее к повышению урожая; открытие различия зимостойкости растений на различных стадиях развития и вытекающие отсюда мероприятия борьбы с зимней гибелью озимых; способ выведения сортов озимых путем отбора из популяций при помощи посева недояровизированными семенами; открытие причин вырождения картофеля на юге и летние посадки картофеля как средство борьбы с вырождением посадочного материала в засушливых районах степи; теоретические основы сознательного подбора родительских пар для скрещивания при выведении сортов различных культур; открытие и формулирование закономерностей выщепления по срокам вегетационного периода как теоретическая основа новых приемов браковки в селекционном процессе; совершенно новая постановка вопросов семеноводства – вот те, далеко не исчерпанные в нашем перечислении, выходы теории стадийного развития, которые уже

претворены и претворяются в практику социалистического сельского хозяйства»[690].

Это фонтанирование *новаторскими* идеями, якобы преобразующими сельскохозяйственное производство огромной страны, похоже на истерику. Ясный уже самому Лысенко провал яровизации как практического агроприема и невозможность это признать; опыты Лисицына и Константинова, показывавшие неэффективность яровизации как агроприема; участившиеся высказывания других ученых против повсеместной мочки семян, – всё это побудило Лысенко и Презента задвинуть яровизацию на задворки. На фоне «громадья планов», призванных осчастливить страну, яровизация становилась мелочевкой, не заслуживающей особого внимания. Надо только, чтобы *маловеры* не мешали *новатору* делать великие дела!

Главным козырем Лысенко оставалась теория стадийного развития, против которой никто не возражал. Все его начинания якобы исходили из этой *передовой, диалектико-материалистической теории.*

Но даже безудержная фантазия Лысенко истощалась, *доить* теорию стадийности становилось все труднее. Так, два последних начинания из «далеко не полного перечня выводов теории стадийного развития» – *браковка в селекционном процессе* и *новый подход к семеноводству* — со стадийностью никак не были связаны. Они вообще не имели отношения к индивидуальному развитию растений (онтогенезу). Речь уже шла о *видовом* развитии (филогенезе). То есть о генетике и эволюции.

В круге третьем

1.

Сергей Миронович Киров возглавил Ленинградский обком партии после Г.Е.Зиновьева, обвиненного в *левом* уклоне и попавшего в опалу. Зиновьев был крутым партийным догматиком и оставил о себе в Питере недобрую славу По сравнению с ним Киров казался разумным и деловым руководителем. Он бывал на заводах, в институтах, учреждениях, входил в их нужды. Был доступен, прост в обращении. Превосходный оратор *(la petit*, чье пламенное выступление на митинге в Перми в далеком 1905 году восхитило Екатерину Сахарову), он часто выступал на митингах – это прибавляло ему популярности.

Превратим европейский север страны из зоны, потребляющей сельхозпродукцию, в производящую! – таков был один из лозунгов, выдвинутых Кировым. Опорой для этого служили исследования ВИРа по «осеверению» земледелия.

Когда стало известно, что в Москве недовольны ВИРом, Киров приехал в институт, обошел все отделы и лаборатории, подробно ознакомился с работой, о которой и без того был неплохо осведомлен. Перед уходом сказал, что недовольство Москвы вызвано каким-то недоразумением, он всё уладит.

Ни в каких *уклонах* и *оппозициях* Киров не участвовал, всегда поддерживал *генеральную линию*, восхвалял мудрое руководство партии и лично товарища Сталина, придраться было не к чему. Но держался он слишком независимо, и это все меньше нравилось в Кремле. На XVII съезде партии, при выборах нового состава ЦК, Киров получил больше голосов, чем Сталин.

Кремлевский горец почуял опасность.

Первого декабря 1934-го Киров был убит в коридоре Смольного дворца.

Роковой выстрел ошеломил всю страну. По официальной версии, террорист Л.В.Николаев был подослан троцкистами. По неофициальной – то был выстрел ревнивца, ибо у Кирова был роман с женой Николаева. Народная молва отвергла обе эти версии:

Ой, огурчики да помидорчики,
Сталин Кирова убил в коридорчике.

Юная Юлия Мурадова, племянница видного *троцкиста* Н.И.Мурадова, запомнила, как ее дядя, прочитав в газете об убийстве Кирова, «вскочил, разволновался, стал быстро ходить по комнате», затем сказал:

– Это дело его рук! Это сигнал к тому, чтобы начать Варфоломеевскую ночь!

То, что он говорил не о Николаеве, а о Сталине, девочка поняла много лет спустя, уже взрослой, когда стала узницей Бутырской тюрьмы[691].

Было ли убийство Кирова организовано *вождем народов*, или он им воспользовался как предлогом для Варфоломеевской ночи среди бела дня, – это историки выясняют до сих пор.

Волна арестов, расстрелов, депортаций, затопившая страну, с особой силой обрушилась на Ленинград. Потянулся *кировский* поток ссыльнопоселенцев. В него попали и вировцы, в их числе две сотрудницы Отдела физиологии: И.В.Красовская и Т.А.Красносельская-Максимова – бывшая жена уже сосланного в Саратов профессора Н.А.Максимова.

Н.И.Вавилов ценил их обеих как опытных специалистов и особо за превосходное знание иностранных языков. Как раз перед высылкой они закончили перевод дарвиновского «Происхождения видов», значительно улучшив прежний перевод – Тимирязева. Книга вышла в свет под редакцией и с предисловием Вавилова. Огромный для такого издания тираж, 35 тысяч экземпляров, разошелся, понадобилось новое издание. Оно вышло в 1937 году – уже без участия Вавилова, с предисловием президента Академии наук В.Л.Комарова. Имена опальных переводчиц исчезли с титульного листа. Вавилов узнал об этом с опозданием, когда книга уже была отпечатана. Он заявил протест и добился того, что в конце, уже после перечня опечаток, добавили страничку с именами переводчиц. Мелкий штрих времени.

Академик И.П.Павлов, единственный, кто отваживался «царям правду говорить», причем, не с улыбкой, а с негодованием, написал председателю Совнаркома В.М.Молотову: «Вы сеете по культурному миру не революцию, а с огромным успехом фашизм. До Вашей революции фашизма не было. <…> Мы жили и живем под неослабевающим режимом террора и насилия. <…> Тем, которые злобно приговаривают к смерти массы себе подобных и с удовлетворением приводят это в исполнение, как и тем, насильственно приучаемым участвовать в этом, едва ли возможно остаться существами, чувствующими и думающими человечно. И с другой стороны. Тем, которые превращены в забитых животных, едва ли возможно сделаться существами с чувством собственного человеческого

достоинства <…>. Пощадите же родину и нас!»[692]

В ответном письме Молотов отбрил ученого: мы не вмешиваемся в науку [?!], и Вы не вмешивайтесь в политику. Но *охранная грамота* Ильича не позволяла ссориться с Павловым. Сменив тон на примирительный, Молотов «пояснил», что Ленинград – приграничный [!] город, потому очистить его от потенциальных врагов необходимо для государственной безопасности. Но при массовости чисток могут быть *отдельные ошибки*, их нужно исправить.

Ухватившись за эту фразу, Павлов стал бомбардировать председателя Совнаркома новыми письмами, спасая от репрессий своих близких, знакомых, друзей. Переписка продолжалась около года. Вот «пупури» из писем Павлова, рисующих обстановку в Ленинграде после убийства Кирова.

«Сейчас около меня происходит что-то страшно несправедливое и невероятно жестокое. Ручаюсь моею головою, которая чего-нибудь да стоит, что масса людей честных, полезно работающих, сколько позволяют их силы, часто минимальные, вполне примирившиеся с их всевозможными лишениями, без малейшего основания (да, да, я это утверждаю) караются беспощадно, невзирая ни на что, как явные и опасные враги Правительства, теперешнего государственного строя и родины».

«Был арестован и теперь получил приказ оставить Ленинград Сергей Александрович Миклашевский, бывший после революции член Коллегии Правозаступников, а теперь юрисконсульт в советских учреждениях, вместе с его женой Верой Михайловной, домашней хозяйкой, и его сыном

Николаем Сергеевичем, служащим в Гортопе бухгалтером (жительство их: Ленинград, Загородный проспект, д. 45, кв. 7). Это – семья жены моего сына, которую я знаю давно и так же точно, как свою, и могу ручаться за нее, как за свою, что в них предателей родины нет и никогда не будет».

«Это – инженеры путей сообщения Всеволод и Владимир Никольские, сейчас преподаватели Института инженеров водного транспорта и их мать Ольга Яковлевна (жительство: Ленинград, 7-я Красноармейская, № 16, кв. 3). Оба брата – в высшей степени дельные и на редкость добросовестно относящиеся к своему делу. В отношении их было бы величайшей несправедливостью одно подозрение, чтобы они когда-нибудь и как-нибудь могли изменить родине. Я знаю их очень давно и близко. Их мать, почти 80 лет, моя землячка, очень больна сердцем и еле передвигается по комнате, и высылка серьезно угрожала бы ее жизни. <…> Я горячо прошу за них».

«Вместе с тем позвольте просить Вас заранее, чтобы

теперешняя мера не коснулась моей научной семьи, моих научных сотрудников, я ручаюсь за них. Всё это время я живу мучительно, временами не могу заниматься. Но зачем, например, такая поспешность в высылке – три, пять дней? Ведь это во многих случаях разорение, опасность нищеты и голодовки и часто с детьми и со стариками?»

«Прежде всего, нельзя не обратить внимания на положение родной и особенно любимой (я это знаю документально) племянницы Ивана Михайловича Сеченова, которого мы будем чествовать при случае нашего Международного физиологического конгресса. Это – старуха 77 лет, Мария Александровна Лемницкая, вдова генерала, вышедшего в отставку в 1905 г. и умершего 80 лет в 1918 году. Ее сын был инженер, партийный, умер в гражданской войне. С 1924 г. она объявлена лишенкой как вдова генерала и потому еще, что у ней была дача, в которой несколько комнат летом отдавались внаймы. Она лишилась всего и подвергалась насилиям: ее арестовывали и даже заключали в концентрационный лагерь (в 1930 году). Она еле существует благодаря скудной поддержке со стороны жены сына, которая работает в Ленинграде и зовет ее к себе, но М.А. как лишенка не может приехать сюда. Я думаю, что вся справедливость за то, чтобы освободить ее от лишенства и даже за всё перенесенное и в память Сеченова дать ей пенсию. Живет в Алупке, ул. Нариманова, д. 3. А затем я был бы Вам очень признателен, если бы Вы нашли возможным вернуть весной высланных инженера-электрика Григория Ивановича Меньшикова из Воронежа и Петра Михайловича Елагина из Саратова. Обоих я хорошо знаю как в высшей степени дельных, честных и работящих людей, первого по работе в Колтушах в течение 2 лет, а второго по работе в моей Ленинградской лаборатории в течение 6–7 лет в качестве заведующего научным хозяйством и перепиской. Как сосланных их не принимают на работу, и им угрожает прямо нищенство».

«Позвольте мне еще раз обратиться к Вам с просьбой об освобождении от наказания и о возвращении в родной им Ленинград очень немногих из большой группы без вины виноватых, немногих потому, что этих я знаю давно, даже очень давно, и хорошо знаю. Это – высланные весной. Они ни в каком отношении и ни малейше не были вредными нынешнему нашему режиму и, честно работая, следовательно, были полезными. А в ссылке, как штемпелеванные правительством, не могут найти себе какой-либо работы и почти или совсем нищенствуют. И это – семейные люди и с детьми. Вот за кого я прошу. 1) Нина Эрнестовна Вальдгауер с 12-летней учащейся дочерью, вдова археолога, заведовавшего античным отделом Эрмитажа,

умершего в начале этого года и похороненного на государственный счет, сама преподавательница немецкого языка в технических заведениях, выслана в Астрахань (Рождественский бугор, улица Калинина, д. № 39). 2) Николай Владимирович Фольборт с женой и учащейся дочерью, служил бухгалтером и преподавал немецкий язык. Выслан в село Урицкое в 125 к. от Кустаная, где нет ни работы, ни возможности дочери учиться, ни врачебной помощи, и 3) Александр Николаевич Зотов и жена его Валентина Павловна, урожд. Адлерберг с ребенком. А.Н. работал по счетоводству, В.П. занималась в моей лаборатории, была ассистентом при физиологической кафедре здешнего Ветеринарного института и состояла в последнее время доцентом в Гос. Институте физической культуры им. Лесгафта. Выслана в г. Оренбург, Селивановский пер., 12».

«Не могу умолчать о другой теперешней несправедливости, постоянно угнетающей мое настроение. Почему мое сословие (духовное, как оно называлось раньше), из которого я вышел, считается особенно преступным? Мало того, что сами служители церкви подвергаются незаслуженным наказаниям, их дети лишены общих прав, напр., не допускаются в высшие учебные заведения. Прежнее духовное сословие, как среднее во всех отношениях – одно из здоровых и сильных. Разве оно мало работало на общую культуру родины? Разве наши первые учителя жизненной правды и прогресса, Белинский, Добролюбов, Чернышевский и другие, не были из духовного сословия? Разве наше врачебное сословие до революции не состояло, вероятно, на 50 процентов из б. лиц духовного сословия? А разве их мало в области чистой науки? И т. д. Почему же все они причислены к какому-то типически-эксплуататорскому классу? Я – во-первых, свободный мыслитель и рационалист чистой воды, а во-вторых, никогда не был никаким эксплуататором – и, будучи продуктом моей первоначальной среды, я вспоминаю однако мою раннюю жизнь с чувством благодарности и за уроки детской жизни и за мое школьное образование. О нашем государственном атеизме я считаю моим долгом говорить моему Правительству и потом, принципиально и пространно».

В одном из писем слышен вопль недоумения и страдания: «Как понять это? Зачем это? В такой обстановке опускаются руки, почти нельзя работать, впадаешь в неодолимый стыд: “А я и при этом благоденствую”».

В такой обстановке «благоденствовал» и Вавилов.

Разница между двумя академиками была в том, что у Николая Ивановича не было *охранной грамоты Ильича.*

2.

Герман Мёллер приехал в Советскую Россию осенью 1933 года – не на несколько месяцев, как Бриджес и другие иностранцы, а навсегда.

Годом раньше, после генетического конгресса в Итаке, он выехал в Германию – по стипендии Фонда Гуггенхайма, финансировавшего стажировку американских ученых за рубежом. В пригороде Берлина Берлин-Бухе располагался

Исследовательский институт мозга Оскара Фогта; отделом генетики и биофизики в нем руководил Н.В. Тимофеев-Ресовский, выходец из России, ученик Н.К.Кольцова и С.С.Четверикова. Тимофеев был одним из первых ученых, указавших на то, что открытое Мёллером мутагенное действие рентгеновских лучей может быть опасным для человека, в частности для врачей-рентгенологов.

Совместная работа и близкое общение Мёллера и Тимофеева доставляло обоим огромное удовольствие. Тимофеев подумывал о работе в США, но Мёллер рассказывал ему, как загнивает американский капитализм после биржевого краха 1929 года, как сокращаются ассигнования на науку, как закрываются научные центры и лаборатории… Тимофеев-Ресовский не стал искать места в Америке.

Тут грянуло 30 января 1933 года: к власти пришли нацисты. Мёллер стал свидетелем поджога Рейхстага, чудовищного судилища над болгарским коммунистом Георгием Димитровым, разнузданной кампании против евреев…

Ночью 15 марта группа молодчиков ворвалась в Институт Фогта, учинила разгром и повальный обыск. Мёллера увели, но на следующий день отпустили. Разбойные акции гитлеровцев для Мёллера были наглядным подтверждением «общего кризиса капитализма». Упования на прогресс и лучшее будущее человечества он еще теснее увязывал с «первой страной социализма».

Когда Вавилов, на пути из южноамериканской экспедиции, остановился в Берлине, разговор у них был конкретный. Николай Иванович предложил Мёллеру возглавить Отдел проблем гена и мутаций в Институте генетики. Тот сразу же согласился. После того как Вавилов уладил дипломатические, визовые, административные формальности, Мёллер приехал в Ленинград.

Николай Иванович чувствовал себя именинником: заполучить такого орла мировой генетики многое значило! По его предложению Мёллер был избран членом-корреспон-дентом Академии наук.

В следующие годы в лаборатории Германа Германовича (так он просил себя называть) прошла научную школу плеяда талантливых учеников. В их числе будущие выдающиеся генетики Иосиф Абрамович Рапопорт и Раиса Львовна Берг.

В ее мемуарной книге «Суховей» названы еще несколько учеников Мёллера, весьма перспективных, но погибших на войне.

Юлий Керкис вспоминал, что Мёллер, «будучи, с одной стороны, человеком крайне левых убеждений, а с другой – исключительно эмоциональным и живым, старался при каждом удобном случае поделиться переживаниями с окружающими его людьми. <…> Мёллер очень не любил одиночества, он всячески стремился проявить свою активность везде, где считал это возможным для себя. Делал он это с позиций искреннего друга Советской власти, увидевшего своими глазами все “прелести” начинающегося фашизма в Германии. <…> Многие искали с Мёллером контактов, причем для всех он находил время. Мёллер тяготился плохим знанием русского языка (по-английски и по-немецки говорили у нас тогда немногие) и активно искал общество, с которым он мог общаться на родном языке. Такое общество, кроме всегда очень занятого Вавилова, он нашел в лице тогдашней сотрудницы ВИРа Елены Карловны Эмме»[693].

Е.К.Эмме, как мы помним, была на *крючке*, как и Керкис. Надежно же обложили сталинские *соколы* заморского *орла*\

Ю.Я.Керкис: «Вавилов был с Мёллером предельно близок. Он хорошо понимал, что эта общительность Мёллера не будет нравиться органам надзора, но <…> не считал нужным и возможным как-либо ущемлять Мёллера в свободе поведения. Это же относилось и к повышенному интересу Мёллера к женскому полу. В семье у него явно что-то не ладилось, и он искал выхода своему темпераменту на стороне. В конце концов он нашел его в лице милой девушки-англичанки, принятой Вавиловым на работу в качестве секретарши и машинистки для Мёллера. Вся эта ситуация не вызвала никаких волнений ни у Вавилова, ни у меня, так как Мёллер был с нами обоими вполне откровенен, не исключая своих личных дел. Меня и Вавилова это даже несколько шокировало и удивляло. Но таков был Мёллер со своей поражавшей всех прямотой, эмоциональностью и темпераментом».

В семье Мёллера не просто «что-то не ладилось». Увлеченный наукой, он в свое время не заметил, как у жены завязался роман с его учеником из Аргентины, Офферманом. Когда тайное стало явным, Мёллер был потрясен и даже покушался на самоубийство, – его чудом удалось спасти. Он не удалил Оффермана, а сделал его своим ассистентом и вместе с женой и

сыном привез в Россию. Потому и искал «выход своему темпераменту».

Страна победившего социализма вблизи оказалась не такой, какой виделась издалека. Не умея и не желая сдерживать свои эмоции, Мёллер бурно реагировал на все несуразности, с которыми сталкивался.

Ю.Я.Керкис: Мёллера возмущала «атмосфера на философском фронте, особенно в отношении оценки ламаркизма и начавшаяся уже тогда критика основ генетики подымавшимися в гору Лысенко и окружавшими его философами типа недоброй памяти Презента…

В то время у нас в лаборатории была группа аспирантов из так называемой Красной аспирантуры. <…> Я был совершенно уверен, что некоторые их них, в частности N., деятельность которой мы хорошо знали и которую мы в своем кругу звали Позорцевой, могут быть источником столь желанной, хоть и надуманной специфической информации, на которой так настаивали органы ГПУ»[694].

Любопытно, что даже в воспоминаниях, не предназначавшихся для печати, Керкис не назвал фамилию этой N., ограничившись только прозвищем. Р.Л.Берг более откровенна: «Нуждин и Дозорцева, счастливая супружеская пара, соединившаяся по принципу chaque vilian trouve sa vilaine – каждый гад находит свою гадину»[695].

Ю.Я.Керкис: «Поводов для недовольства и возмущения у Мёллера было уже более чем достаточно. Критики генетики распоясывались все больше и больше, начались аресты среди ученых, появлялись все новые и новые дела о “врагах народа”. В Ленинграде, и не только там, начались массовые репрессии после убийства т. Кирова. Скрыть всё это от Мёллера было невозможно, а его реакция на все эти события была очень болезненной. Он, не стесняясь, высказывал вслух свое отношение ко всем этим событиям, принимая их очень близко к сердцу, и требовал рационального объяснения их подоплеки»[696].

Рационально никто ничего объяснить не мог.

Мёллер, как мы знаем, не был близоруким эмпириком, уткнувшимся в микроскоп. Он считал, что методами генетики можно и нужно улучшать биологическую природу человека, но не методами евгеники, которые оприходовали расисты и нацисты. Только в социалистическом обществе, где, по Марксу, «свободное развитие каждого является условием свободного развития всех», можно биологически улучшать человека на добровольных гуманных началах. Требовалось создать «банк генов» выдающихся личностей, то есть хранить в замороженном виде сперму великих

ученых, художников, писателей, политиков – всех, кто выделяется творческими способностями или высокими нравственными качествами. Спермой этих гениев можно будет «отоварить» любую женщину, мечтающую о ребенке с выдающими способностями.

В каждом сообществе, рассуждал Мёллер, есть незамужние женщины, которые хотят стать матерями, – им можно помочь. Есть бездетные супружеские пары – им тоже можно помочь. А в перспективе предстоит перестроить общественную мораль, любовь отделить от деторождения, чтобы вопрос о том, *от кого* будущая мать зачала ребенка, не вызывал ревность и не омрачал семейных отношений. Многие супружеские пары захотят, чтобы у их детей был «лучший» набор генов, чем у них самих.

Мёллер знал, что от гениев не всегда рождаются гении. Искусственное оплодотворение будущей матери спермой «Дарвина или Ленина» не даст никаких гарантий. Но *вероятность* повышенных способностей у таких отпрысков станет большей, процент одаренных личностей в обществе будет расти, а «свободное развитие каждого» позволит всем им реализоваться. Биологическая эволюция человека продолжится и будет ускоряться из поколения в поколение.

Карл Маркс, глубоко почитаемый Мёллером, говорил, что «философы лишь различным образом объясняли мир; но дело заключается в том, чтобы изменить его». Мёллер приехал в Страну Советов, чтобы менять мир к лучшему.

Р.Л.Берг: «В начале тридцатых годов Мёллер написал книгу “Out of the Night” – “Из ночи”. Из ночи современности он призывал человечество сделать всё возможное, чтобы приблизить светлое будущее – будущее коммунизма. Сам человек подлежал изменению. Доброта и ум должны стать критериями оценки человеческого совершенства»[697].

Перевод своей книги Мёллер послал Сталину. Приложил большое письмо с изложением своих взглядов, надежд и упований.

«Вопрос несомненно таков, что он должен быть изложен в первую очередь лично Вам. С одной стороны, потому, что он заключает в себе безграничные возможности прогресса. А с другой стороны, для суждения о нем необходима Ваша дальновидность и Ваше уменье реалистически применять диалектическую мысль»[698].

Чего было больше в этом генетическом гении – энергии и энтузиазма или детской наивности? Зачем он полез в воду, не зная броду? *На всякого мудреца довольно простоты.*

По мнению В.В.Бабкова, прежде чем обратиться к Сталину, Мёллер советовался с директором Медико-генетического

института С.Г.Левитом. Они были друзьями с тех пор, когда Левит стажировался у него в Техасе. Герман Германович высоко ценил «сверкающий интеллект» молодого коллеги и вполне ему доверял. Тот ему будто бы и посоветовал «идти на самый верх»[699].

В русском языке Мёллер был нетверд, кто-то должен был ему помочь написать или перевести с английского письмо к вождю. Вероятнее всего, помог Левит. При особом внимании секретных служб к Мёллеру его контакты с Левитом наверняка отслеживались. Письмо и книга Мёллера были посланы вождю в мае 1936 года. Ответа он не получил. Не был ли косвенным ответом каскад нападок, вскоре обрушившийся на Левита?

Р.Л.Берг (с сарказмом): «Власти отнеслись к его проекту улучшить человечество крайне отрицательно. Понять их нетрудно. <…> Они уничтожали пережитки капитализма в сознании людей. Всё это и есть создание человека нового типа. Коллективный труд по принципу наследования приобретенных в течение жизни признаков порождает коллективную совесть, коллективное сознание, групповую волю, всеобщий энтузиазм. А тут Мёллер с его генами и банками замороженной спермы лучших представителей рода человеческого!»[700]

3.

В мае 1934 года Наркомат земледелия подготовил проект решения Совнаркома о реорганизации ВАСХНИЛ. Я.А. Яковлев уже был заведующим Сельскохозяйственным отделом ЦК партии (значительное повышение в большевистской табели о рангах), наркомом стал его заместитель М.АЧернов. Предусматривались изменения в структуре академии, учреждалось звание академика ВАСХНИЛ(через год оно будет присвоено двадцати известным ученым, среди них Н.И.Вавилову, Н.К.Кольцову, А.С.Серебровскому, М.М. и Б.М. Завадовским, Г.К.Мейстеру, П.И.Лисицыну, П.Н.Константинову, Т.Д.Лысенко…). К подготовке постановления президента ВАСХНИЛне привлекли, ему лишь послали готовый проект – для ознакомления. Вавилов телеграфировал Чернову:

«Считая совершенно правильными намеченные организационные изменения Академии, полагаю первой вводной части необходимы исправления тчк По сортосмене Академией развернуто широкое планомерное сортоиспытание [на] основе которого приводятся все практические мероприятия размещению семеноводства тчк Первоначальный проект районирования

опубликован в конце 1931 тчк Работы удобрениям сортам проводились непосредственно в совхозах колхозах тчк <…> Проведены большие работы селекции севере выведен сорт новинка на базе работ Полярной станции идет развитие совхозов крайнего севера тчк Эти три года советской агрономической наукой сделаны крупнейшие мирового значения достижения [по] практическим вопросам селекции управления растением племенному животноводству агропочвоведению давшим новую основу государственным мероприятиям тчк Этого нельзя не указать постановлении тчк *Нельзя ответственность за производство [за] оперативную работу семеноводству животноводству возлагать научную систему»* (курсив мой. – *С.Р.)*.

Эта телеграмма, в особенности ее последняя фраза позволяет понять, для чего была затеяна реорганизация ВАСХНИЛ.

Сплошная коллективизация привела к развалу сельского хозяйства в стране. Наркомат земледелия повинен в том не был, но не винить же руководство партии Ленина-Сталина! Козлом отпущения сделали сельскохозакадемию, переложив на нее ответственность за производственные провалы.

Академик Вавилов был смещен с поста президента ВАСХНИЛ, вернее, перемещен на пост одного из трех вице-президентов. Президентом поставили замнаркома земледелия А.И.Муралова.

В переписке Вавилова я не нашел намеков на то, что он был уязвлен этим понижением. Скорее, испытал облегчение: с плеч была снята часть огромного груза.

Однако другую пакость Николай Иванович воспринял очень болезненно.

В августе 1934 года было принято решение о праздновании тройного юбилея: 10-летия ВИРа, 40-летия Бюро по прикладной ботанике и 25-летия научной деятельности Н.И.Вавилова. Планировался отнюдь не *всенародный праздник* вроде мичуринского.

«Устремления дирекции, так же как и парткома Института, были устроить юбилей возможно скромнее, использовавши его для подытоживания его результатов и освещения задач предстоящей большой работы с поручением докладов наиболее крупным работникам. Была подготовлена выставка работ, мобилизована вся периферия Института, намечена конференция бывших многочисленных аспирантов. При этом всё было намечено в жесткие сроки, чтобы не отнимать времени и в то же время поднять энтузиазм работников, стимулирующий их к дальнейшей, еще более активной работе»[701].

Проведение торжеств было запланировано на декабрь.

Убийство Кирова отодвинуло его на февраль 1935-го. Дата приближалась, приглашения по всей стране и иностранным гостям были разосланы. Восемьдесят человек уже приехали в Ленинград, многие были в пути.

И вдруг, за четыре дня до намеченной даты, – гром среди ясного неба: «отложить» празднование «до времени окончания посевной кампании».

Предлог был надуманный, ибо посевная кампания начиналась значительно позже и с намеченными торжествами не пересекалась.

«Внезапная отмена юбилея, когда уже весь Институт принял праздничный вид, произвела на большой коллектив Института, в том числе и на партийный коллектив, удручающее впечатление, как бы выражения вотума недоверия, несмотря на огромную, на некоторых участках буквально героическую работу»[702].

Как после этого смотреть в глаза сотрудникам, которые с радостью готовили доклады, экспонаты для выставки и теперь ходили как в воду опущенные… У себя в кабинете Вавилов перебирал письма и телеграммы от тех, кто, слава Богу, не мог приехать и прислал поздравления.

«Вам удалось благодаря Вашей совершенно выдающейся деятельности заслужить признание биологов всего мира, что Вам должно приносить большое удовлетворение и что будет служить стимулом для Вашей дальнейшей деятельности». Так писал один из основоположников генетики Эрих Чермак.

«Примите мои лучшие пожелания к Вашему 25-летнему юбилею и уверение в моем глубоком уважении к Вашей научной деятельности. Вам мы обязаны словами, что “образование видов имело место преимущественно в горах и лишь побочно в равнинах”. Фотография, которую Вы сняли во время Вашего пребывания в Дунтерне, висит передо мной и служит мне ежедневным милым напоминанием о наших разговорах». Это Гуго де Фриз.

«По моему мнению, работа, проделанная Вами и Вашим институтом, является самым важным памятником для применения науки к сельскому хозяйству в течение этого столетия. Помимо непосредственных результатов, которые представляют громадную ценность для человечества, я думаю, что Вам удалось проникнуть в душу народов и что Ваши творения не умрут никогда. Я надеюсь, что Вы еще долго будете плодотворно работать и покажете всему свету, что может быть сделано на основе организации с таким широким горизонтом». Это профессор Брокем, директор Государственного института селекции Голландии…

Трудно сказать, утешали эти послания Вавилова или прибавляли горечи. Слишком ярко был виден контраст между тем, как ценили его в мировой науке и как вдруг оценило руководство страны.

В письме Яковлеву Вавилов написал, что «у руководящего персонала института» отмена юбилейных торжеств «естественно вызывает сомнение в том, пригоден ли он для руководства»[703].

Руководящий персонал — это, прежде всего, он сам. Это *ему* выражено недоверие, это он *непригоден для руководства.* Он готов уйти.

Но прямо подать в отставку, как делал не раз при Горбунове, он теперь не решается. Знает, что этим ничего не добьется, только вызовет еще большее недовольство собой и Институтом, а в нем «с периферией и государственной сортосетью более 2000 человек».

Ответа ни от Яковлева, ни от наркома Чернова, которому направил копию письма, Николай Иванович не получил. Видимо, и не ждал. Понимал, что решение об отмене юбилея принято на более высоком уровне.

Не была ли заварена каша из-за эпизода в *коридорчике* Кремля, когда Николай Иванович неожиданно столкнулся со Сталиным? Точная дата этого эпизода неизвестна, но примерно он произошел именно тогда: на рубеже 1934–1935 годов.

На ближайших выборах во ВЦИК кандидатура академика Н.И.Вавилова не была выдвинута…

Трофим Лысенко – рекордист

1.

Лысенко не давала покоя *задача*, поставленная в 1931 году Я.А.Яковлевым: сократить выведение сортов путем гибридизации до трех-четырех лет. Больше года он раздумывал и колебался. Но потом громогласно заявил, что берет *обязательство* — вывести новый сорт путем гибридизации за *два с половиной года.*

Как раз к концу этого срока «Бюллетень яровизации» был преобразован в ежемесячный журнал «Яровизация» (1935). Его первый номер открывал телеграфный рапорт:

«ЦК ВКП(б), зав. сельхозотделом
тов. Я.А.Яковлеву.
Наркому земледелия СССР тов. М.А.Чернову.
Зам. наркома земледелия СССР – президенту Всесоюзной Академии с.-х. наук им. В. И. Ленина – тов. А. И. Муралову.
При вашей поддержке наше обещание вывести в два с половиной года путем скрещивания сорт яровой пшеницы для района Одессщины, более ранний и более урожайный, нежели районный сорт «лютесценс-062» – выполнено».

При ближайшем рассмотрении оказалось, что метод, каким Лысенко вывел новый сорт в *рекордно короткий срок*, говорил не о *скороспелости* и *повышенной урожайности* сорта, а о малограмотности селекционера-рекордиста.

Из законов Менделя было известно, что в первом поколении гибрида рецессивные признаки родительских форм не проявляются, но сохраняются в скрытом состоянии. Проявляются они во втором поколении у одной четверти всех растений, а в скрытом состоянии сохраняются еще у половины. В следующих поколениях расщепление продолжается. Отбор проводится до тех пор, пока не появится *чистая линия*, то есть стабильный сорт.

А Лысенко браковал гибриды в первом поколении. Отобранную горстку семян можно было посеять в теплице и за год получить три поколения. За два с половиной года он довел гибриды до седьмого поколения, после чего и отрапортовал о выведении более скороспелого и урожайного сорта, чем районированный «лютесценс-062». Однако никаких *сравнительных* испытаний еще не было и быть не могло. Прежде чем вводить в практику новый сорт, его испытывают в реальных

почвенно-климатических условиях параллельно с наличными сортами, используемыми для контроля. Так как погодные условия переменчивы, то испытания должны проводиться в течение как минимум трех лет. Таково было требование государственной системы сортоиспытания – она имела силу закона.

У Лысенко стабильного сорта не было, а если были перспективные формы, то не было и не могло быть никаких данных об их преимуществах по сравнению с контрольным сортом. Его телеграфный рапорт Яковлеву – Чернову – Муратову нельзя даже назвать надувательством, ибо обмануть он мог только тех, кто *сам обманываться рад.*

Но власти были *рады обманываться.* Победный рапорт им был важнее улучшенного сорта. *Буржуазные* ученые считали, что вывести новый сорт путем гибридизации за четыре года нельзя. Некоторые говорили о том вслух. Между собой и посмеивались над далеким от науки наркомом. Только *народный, колхозный* новатор сказал, что это возможно. Сказал и – *сделал*\ Не за четыре года, а в *два с половиной*! По-большевистски! По-сталински! Покоряя *пространство и время.*

А какие-то *маловеры* смеют возражать новатору: сорт, видите ли, не доработан и поражается пыльной головней. Что должны ответить большевики? Пасовать перед *маловерами*? Стать на колени перед *буржуазной* головней? Колхозный ученый свой сорт доработает! А если не доработает отдельный сорт, диктатура пролетариата обойдется! *Маловеры* только и делают, что ищут соринку в глазу новатора вместо того, чтобы помочь ему, поддержать. Не могут примириться с тем, что все дороги ведут к коммунизму. Не хотят разоружиться перед партией. Прав товарищ Сталин: классовая борьба обостряется.

2.

Браковку гибридов в первом поколении разбили в печати многие ученые, но, может быть, наиболее убедительно и аккуратно это сделал Николай Иванович Вавилов.

Следуя своей тактике доброжелательства, Вавилов продолжал высоко отзываться о теории стадийного развития и подчеркивать положительные элементы в работах Лысенко. Он говорил, что на девяносто процентов согласен с предложенной им методикой выведения сортов, а не согласен только на десять процентов. Но девяносто процентов слагались из старых, апробированных методов, к которым добавлялись прямые (не мнимые!) следствия теории стадийности. Вавилов соглашался с Лысенко, что для

выведения ранних сортов не обязательно брать для скрещивания хотя бы одного раннего родителя: можно скрестить два поздних сорта, но так, чтобы у одного из них была короткой стадия яровизации, а у другого – световая стадия. В потомстве таких гибридов можно ожидать сочетание обеих коротких стадий. При умелом отборе получится сорт, более ранний, чем оба родителя. Для правильного подбора родительских пар требовалось прогнать через яровизацию мировую коллекцию пшениц, ячменя и других злаков. Этим занимались сотрудники Вавилова в ВИРе и на опытных станциях ВИРа. Но не сотрудники Лысенко.

Сорт, вводимый в практику, должен превосходить районированные сорта не только по скороспелости, но по урожайности, иммунитету к пыльной головне, ржавчине и другим заболеваниям, по проценту белка в зерне, по мукомольным и хлебопекарным качествам, по засухоустойчивости, зимостойкости, отзывчивости к удобрениям, неполегаемости и неосыпаемости… Отбор в потомстве гибридов надо вести на все эти качества. Для успеха необходимо сотрудничество с генетиками, ботаниками, иммунологами, биохимиками, физиологами растений. Почему бы Лысенко не включиться в совместную работу?

Как ни старался Николай Иванович *окультурить* Лысенко, тот, чувствуя поддержку власти, делался все более агрессивным. Спорить же с ним становилось все труднее, так как он отвергал любую основу для спора. Элементарные факты, широко известные в науке, он отрицал с порога, если они не укладывались в представления, рождавшиеся в его голове с необычайной легкостью. Чем сильнее становилась поддержка свыше, тем губительнее для *практики* становились его начинания.

С этой точки зрения, шумиха вокруг нового сорта, якобы выведенного за 2,5 года, была относительно безобидной: «лютесценс-062» заменять несуществующим сортом никто не собирался. Более опасной была другая затея – та, что Лысенко и Презент назвали «совершенно новой постановкой вопроса семеноводства».

Семеноводство – это мост, который соединяет растениеводческую науку с практикой сельского хозяйства. Его и подрывало новое начинание Лысенко.

Он заявил, что самоопыление ведет к вырождению сортов. Мировой опыт говорил об обратном: сорта самоопылителей возделывались десятилетиями в разных странах мира, пока им на смену не приходили более продуктивные сорта. Если сорт поддерживался в чистоте, никакого *вырождения* не было. Но Лысенко настаивал на своем и для борьбы с мнимым

вырождением самоопылителей предложил проводить на колхозных и совхозных полях массовое принудительное переопыление.

Такое начинание встревожило специалистов. Ведь даже самые чистые сорта не бывают абсолютно чистыми; переопыление может вызвать гибридизацию и последующее расщепление; сорта погибнут.

В ответ на эти предостережения Лысенко стал утверждать, что чистоты сорта и не следует добиваться, теория чистых линий *реакционна.* Законы генетики *вредны и бесплодны*, представление генетиков о случайном сочетании признаков в потомстве гибридов *небиологично*, яйцеклетки при перекрестном опылении *выбирают* пыльцу. Презент назвал эту теорию «браком по любви», что очень понравилось Лысенко:

«Самоопыление – это вынужденный брак, брак не по любви. Как бы ни хотела данная яйцеклетка “выйти замуж” за того “парня”, который растет от нее за три вершка, она этого сделать не может, потому что пленка закрыта и не пускает чужой пыльцы». Надо помочь яйцеклетке «выйти замуж за того парня»! При цветении хлебов колхозники должны выходить на поля с длинными веревками и, раскачивая их,

помогать пыльце оплодотворять чужие яйцеклетки вместо своих собственных. Таково было *новое слово социалистической науки.* Немедленно, без всякой проверки, его стали вводить в практику *социалистического строительства*\

Выступив за принудительное переопыление самоопылителей, Лысенко ополчился на самоопыление перекрестников.

Опыт многих десятилетий показывал, что если в селекции самоопыляющихся культур, при умелом подборе родительских пар, искусственная гибридизация ведет к огромным успехам, то у перекрестников положительных результатов добиться очень трудно. Генетика объясняла причину таких неудач: перекрестноопыляющиеся растения по своей наследственной природе уже гибридны (гетерозиготны). Их доминантные гены неизменно выявляются, а рецессивные бездействуют.

А что если яйцеклетки перекрестника искусственно опылить его собственной пыльцой? Это должно привести к выщеплению рецессивных форм!

На опыте теория подтвердилась: искусственное самоопыление перекрестников давало широкий спектр изменчивости. При этом появлялись ценные формы, например, иммунные к грибковым заболеваниям. Правда, растения получались хилые, низкоурожайные. Самоопыление перекрестников действительно вело к вырождению! Их нельзя

было размножать как готовые сорта.

Зато вовлечение правильно подобранных «инцухт-линий» в скрещивания (*инцухт* — разведение в себе) сулило хорошие перспективы.

Особенно блестящие результаты были получены на кукурузе: скрещивание инцухт-линий давало вспышку урожайности.

В Соединенных Штатах этот метод был разработан давно, но в практику входил медленно. Чтобы фермерские хозяйства могли засевать свои поля инцухт-гибридными семенами, должны были возникнуть коммерческие предприятия по их производству и продаже. Фермерам предстояло пересмотреть привычные способы хозяйствования: вместо того, чтобы оставлять часть собранного урожая для посева следующего года, они должны были сбывать *весь* урожай, а посевной материал *закупать*. В условиях свободного предпринимательства принудить их к этому никто не мог, да и в голову никому такое не могло прийти. Должна была перестроиться *психология* тысяч хозяев – в одночасье такое не происходит. Но к середине тридцатых годов выгоды инцухт-гибридов стали столь очевидны, что они широким потоком потекли на поля.

Отслеживая всё, что творилось на *глобусе*, Н.И.Вавилов выступил с инициативой: перенять опыт американских кукурузоводов. При колхозно-совхозной системе наладить производство гибридных семян, чтобы засевать ими площади, занятые кукурузой, можно было в короткий срок. Редкий пример *реальных* преимуществ административной системы управления экономикой.

Но Лысенко объявил инцухт-метод вредным, бесплодным, *реакционным*.

Летом 1935 года в Одессе состоялась выездная сессия ВАСХНИЛ. Это было первое масштабное столкновение двух направлений в биологической науке. Сам факт проведения сессии в вотчине *колхозного ученого* говорил о том, какую из двух сторон поддерживала власть.

Основное внимание в докладе Вавилова уделялось тому, что наука дает сельскохозяйственной практике.

Такой будет его тактика во всех последующих публичных дискуссиях.

Не обошел Вавилов и инцухт-гибридную кукурузу. Не вдаваясь в теоретические аспекты, он указал, что в США уже пять процентов площади под кукурузой занято инцухт-гибридами, и подчеркнул, что американские фермеры – народ практичный, денег на ветер не бросают; если они стали закупать гибридные семена, значит, убедились, что это приносит выгоду.

Лысенко парировал:

«Мне непонятно, в чем именно в данном примере практичность американцев – в том ли, что они “хорошее дело”, а именно – теорию инцухта, использовали в практических посевах кукурузы только на площади в 5 %, или же в том, что американцы 95 % кукурузной площади засевают сортами кукурузы, выведенными <…> обычным массовым отбором, т. е. методом, совершенно противоположным инцухт-методу. Более того, в литературе (может быть, я не всю ее знаю) я не нашел подтверждения цифры 5 % кукурузной площади в Америке, засеваемой гибридными сортами, полученными от скрещивания инцухт-линий. А ведь при всем этом акад. Вавилов безусловно прав, говоря, что “янки народ практичный”».

Трофим Денисович тоже за словом в карман не лез!

Усилиями Лысенко гибридная кукуруза была посажена под арест, как враг народа. Даже экспериментировать с инцухтом на опытных делянках было запрещено. На поля она вышла с опозданием на три десятилетия. Страна недополучила миллионы тонн зерна. Скотина дохла от бескормицы, население голодало…

3.

В публичных выступлениях Лысенко отождествлял себя с истинно советской наукой, а своих противников – с ее врагами. Безграничную саморекламу он умело сочетал с показной скромностью.

На II съезде колхозников-ударников еще в феврале 1935 года, как раз в те дни, когда было отменено празднование юбилея ВИРа и Н.И.Вавилова, Лысенко говорил:

«В нашей советской сельскохозяйственной науке день за днем развивается коллективность в работе. Растет связь теории с практикой. В самом деле, кто разработал научные основы яровизации? Я в этом деле участвовал (!) и знаю, кто еще в нем принимал участие. Может быть, их разработал Яков Аркадьевич Яковлев? Потому что, если бы он в 1930 году не подхватил этого вопроса в зародыше, не было бы в таком виде и в такой форме яровизации на сегодняшний день, как мы ее имеем. Может быть, автор этого дела Родионов А.Д., который работает сейчас в лаборатории, – молодой парень, 30 лет, рабочий, лучший знаток и настоящий специалист этого дела? Он как раз ведает всеми колхозными опытами в этой части.

Может быть, это Лысенко, тот Лысенко, который перед вами, ученый Лысенко? Может быть, это колхозники создали ее, потому что и в этом году 25 тысяч колхозников участвовали в этом деле? Будет правильно на все эти вопросы ответить так: не имели бы мы яровизации без Якова Аркадьевича Яковлева, без А.Д.Родионова, без Лысенко. А всё это вместе – наша советская действительность, наша колхозная действительность. Этим и сильна наша советская наука. Но, товарищи, всё то, что я перечислил, хорошо для собраний, для докладов, для приема иностранных экскурсий, которые сильно интересуются яровизацией. Они удивляются, когда видят, как на их глазах тысячи неплодоносящих сортов мировой коллекции пшеницы после яровизации великолепно плодоносят. Но всё ли мы сделали, что нужно? Нет, нужно и можно сделать гораздо больше, особенно в практике нашего социалистического сельского хозяйства. На самом деле, товарищи, хотя яровизация, созданная советской действительностью, и смогла за довольно короткий период времени, за какие-то 4–5 лет, вырасти в целый раздел науки, смогла отбить все нападки классового врага, – а немало их было, – но сделать надо еще много.

Товарищи, ведь вредители-кулаки встречаются не только в нашей колхозной жизни. Вы их по колхозам хорошо знаете. Но не менее они опасны, не менее они закляты и для науки. Немало пришлось кровушки попортить в защите, во всяческих спорах с некоторыми так называемыми "учеными" по поводу яровизации, в борьбе за ее создание, немало ударов пришлось выдержать в практике. Товарищи, разве не было и нет классовой борьбы на фронте яровизации? В колхозах были кулаки и подкулачники, которые не раз нашептывали крестьянам, да и не только они, а всяческий классовый враг шептал крестьянину: "Не мочи зерно. Ведь так семена погибнут". Было такое дело, были такие нашептывания, такие кулацкие, вредительские россказни, когда вместо того, чтобы помогать колхозникам, делали вредительское дело. И в ученом мире и не в ученом мире, а классовый враг – всегда враг, ученый он или нет.

Вот, товарищи, так мы выходили с этим делом. Колхозный строй вытянул это дело. На основе единственно научной методологии, единственно научного руководства, которому нас ежедневно учит товарищ Сталин, это дело вытянуто и вытягивается колхозами» [704] **.**

Превращая своих научных противников в политических врагов режима, Лысенко называл их и поименно. Так, через год,

на совещании передовиков урожайности, он снова заговорил о своих *передовых* теориях, «против которых многие представители науки наиболее спорят». Я.А.Яковлев задал из президиума вопрос: «А кто именно, почему без фамилий?»

Лысенко: «Фамилии я могу сказать, хотя тут не фамилии имеют значение, а теоретическая позиция. Проф. Карпеченко, проф. Лепин, проф. Жебрак, в общем, большинство генетиков с нашим положением не соглашается. Николай Иванович Вавилов в недавно выпущенной работе “Научные основы селекции”, соглашаясь с рядом выдвигаемых нами положений, также не соглашается с основным нашим принципом браковки в селекционном процессе»[705].

Тридцать лет спустя, когда в Советском Союзе стало возможно – очень ненадолго и ограниченно – писать *правду* о лысенковщине, академик **Н.Н.**Семенов напомнил: «Лысенко и такие его сторонники, как, например, И.И.Презент, используя условия культа личности [Сталина], перевели борьбу с инакомыслящими из плоскости научной дискуссии в плоскость демагогии и политических обвинений»[706].

Трофим Денисович парировал: **«Никогда я не занимался никакой демагогией и никакими политическими обвинениями. Пусть этот грех академик Семенов берет на себя».**

Три года спустя в редакции ЖЗЛготовилась к печати моя книга о Н.И.Вавилове. В ней высказывание Н.Н.Семенова подтверждалось цитатой из выступления Лысенко, где его жалоба на *заклятых кулаков-вредителей* сопровождалась репликой Сталина: «Браво, т. Лысенко, браво!» Фрагмент вырубили по цензурным соображениям, восстановлен в моей книге «Дорога на эшафот»[707].

Лишившись монопольного положения в науке после снятия Н.С.Хрущева, Лысенко уклонился от публичной полемики. Вместо этого он обрушил на оппонентов каскад жалоб и доносов, рассылавшихся по начальству. Они наполнены такими же политическими обвинениями, как в 1930-е годы: «Я уверен, что вся эта злобная клевета организована какими-то злобными недругами не только нашей прогрессивной биологической науки, но и недругами всего советского строя»[708].

Так и только так! Себя он продолжал отождествлять с *передовой советской наукой*, несогласных – с *недругами советского строя.* Времена переменились, но Трофим Денисович остался тем же. Ничего не забыл, ничему не научился.

«В общем, борьба в биологической науке – это в большей

степени идеологическая борьба. В этом мы убедились, как говорится, на собственном опыте»[709].

Он был прав! Но не вспомнил о том, *КТО* превратил научный спор в идеологическую борьбу – с ее неизбежными следствиями в стране победившего социализма: арестами, расстрелами, в лучших случаях – отлучением от науки.

Весной 1971 года американский исследователь лысенковщины Лорен Грэхем был в Москве. Он тщетно добивался встречи с Трофимом Денисовичем и вдруг наткнулся на него в ресторане Дома ученых. Подсел к нему и представился. Трофим Денисович сказал:

– Я помню ваше имя. Я читал то, что вы писали обо мне. Вы много знаете о русской науке, но в том, что вы писали обо мне и моей работе, есть серьезные ошибки.

Грэхем спросил, в чем они состоят.

– Самая большая ошибка в том, что вы представляете меня ответственным за гибель многих русских биологов, таких как известный генетик Николай Вавилов. У меня были разногласия с Вавиловым по вопросам биологии, но я не имею никакого отношения к его смерти в тюрьме. Я даже никогда не был членом компартии и не несу ответственности за то, что партия и секретная полиция творили в биологии[710].

Грэхем возразил:

– Я знаю, что вы не состояли в компартии. Но вы часто критиковали Вавилова и других ученых в такой манере, что она наверняка привлекала внимание секретной полиции. Так, в ваших выступлениях в присутствии Сталина в 1935 и в 1939 году вы говорили о вредительстве в советской науке и в сельском хозяйстве и назвали Вавилова в числе предателей, на что Сталин отозвался репликой: «Браво, товарищ Лысенко, браво!» При этом вы знали, что Вавилов не был предателем, он был предан советской системе и делал всё, что мог, для развития советского сельского хозяйства. Но Вавилов понимал значение современной генетики, а вы ее отрицали. Вы обличали его в присутствии Сталина, добились его одобрения, остальное сделала секретная полиция. Вы знаете, что Вавилов умер в заключении.

Рассерженный Лысенко резко встал и ушел. Но через десять минут он вернулся, сел на прежнее место и примирительно сказал:

– Вы ошибаетесь, вы меня не понимаете. Вы считаете меня частью советской карательной системы. Но я всегда был чужаком. Я из простой крестьянской семьи, и в своем профессиональном росте я столкнулся с предрассудками высших классов. Вавилов был из богатой семьи, поэтому получил хорошее образование,

знал много иностранных языков. А я мальчишкой ходил босиком, работал в поле и никогда не имел преимуществ, которые дает хорошее образование.

Большинство известных генетиков 1920–1930 годов были такими же, как Вавилов. Они не хотели пускать в свой круг простых крестьян вроде меня. Я должен был бороться, чтобы получить признание. Мои знания шли от работы в поле. Их знания были из книг и лабораторий и часто были ошибочными. И сейчас я снова чужак. Почему, вы думаете, я сидел здесь один, когда вы пришли? Никто не хочет садиться за один столик со мной. Все ученые сторонятся меня, подвергают остракизму. Я сочувствую евреям-отказникам. Среди них много ученых, и они подвергаются обструкции со стороны советских властей только за то, что хотят эмигрировать в Израиль. Теперь у них нет работы, все от них отвернулись. Они так же одиноки, как я[711].

Такое признание потрясло Грэхема до глубины души. Евреев-отказников в Советском Союзе клеймили как изменников, продавшихся «сионистам» и иным врагам социалистического отечества. На Западе им сочувствовали, боролись за их право на эмиграцию. Грэхем упоминает, что он сам принимал в этом участие и в Москве встречался с отказниками.

Не в этом ли разгадка сочувственных высказываний Трофима Денисовича о евреях-отказниках? Можно не сомневаться, что контакты Грэхема в Москве отслеживались, его встречи с отказниками были зафиксированы. Можно так же не сомневаться, что Лысенко *не просто так* ушел из-за стола, а потом вернулся. Видимо, звонил своим кураторам, узнал от них, что американец сочувствует отказникам, и получил добро на то, чтобы сыграть на этой струнке.

4.

Трофим Денисович был малообразован, но не глуп. Я думаю, что он был по-распутински умен и хитер, обладал актерскими способностями, умело играл роль большего простачка, чем был на самом деле.

Зная, что не может одолеть генетиков в научном споре, Лысенко избрал в качестве главного «аргумента» политический шантаж и дискредитацию оппонентов как врагов советского режима.

Впрочем, *избрал* здесь слово неточное: выбора у него уже не было. Дабы подкреплять громкие обещания рекордных урожаев «на тысячах гектаров колхозных и совхозных полей», нужны были

факты, а их не было. Их приходилось подтасовывать, фальсифицировать. При односторонней поддеряске партии и правительства это сходило с рук, но поддержка власти – вещь ненадежная. Сегодня она есть, а будет ли завтра? На карту было поставлено всё: и репутация подающего надежды ученого, которую он успел завоевать своими первыми работами, и материальное благополучие, и – главное! – доверие партийного руководства, от которого зависело *всё*. Интерес власти к своей персоне, к своим начинаниям и обещаниям надо было все время подогревать, чтобы он не угас.

В интервью газете «Социалистическое земледелие», не случайно опубликованном 7 ноября 1935 года, в день Октябрьской революции, Лысенко поделился *«заветной мечтой»”*.

«Мы сейчас начинаем, хотя в небольшом масштабе, работу по превращению озимых сортов пшеницы, ржи и ячменя в яровые не путем яровизации (при которой изменяются соответственно требованиям растений внешние условия), а путем изменения требований самого растения, то есть путем переделки природы растения (без гибридизации) из озимого в яровое. Ту же работу будем проводить по превращению яровых в озимые, длиннодневных в короткодневные, а короткодневных в длиннодневные. Все наши теоретические предположения и весь побочный [!] фактический материал, который нам известен, говорят за то, что задача эта, сулящая огромные перспективы для селекции, вполне разрешима»[712].

Два ключевых слова поставлены в скобки, но в них главное: *без гибридизации.*

Получение новых форм путем гибридизации – это генетика. Без гибридизации – *мичуринское учение.* В лысенковской трактовке, конечно. Это не наука, а *знахарство.* Ведь что значило превращать озимые формы в яровые и наоборот *без гибридизации* — по *теоретическим предположениям*, неизвестно откуда явившимся? Лысенко объяснял, что если поздней осенью, перед самым выпадением снега, высеять яровые формы, то небольшая их часть удачно перезимует и на следующий год даст семена. Если теперь эти семена высеять несколько раньше, то произойдет то же самое. Так можно дойти до срока посева обычных озимых. Яровые превратятся в озимые.

При работе с чистопородными сортами добиться этого невозможно. Если у Лысенко действительно был *побочный фактический материал*, то либо в посевах ярового сорта имелась примесь озимых, либо они появились при расщеплении нечистопородных (гетерозиготных) форм. Зимний холод действовал как фактор отбора: яровые погибали, небольшая

примесь озимых сохранялась.

Теорию *чистых линий* Лысенко отверг как *реакционную и классово враждебную.* Чистопородность материала им не проверялась. Он постулировал, что холод *закаляет* яровые растения, закалка переходит по наследству, и через два-три поколения яровые превращаются в озимые.

«Если бы мы имели время обозреть многочисленные попытки, сделанные за последние сто лет для восстановления учения Ламарка, – писал Томас Хант Морган, – то эта история показала бы слабость и ничтожество одной попытки за другой, подлинный бред ошибочной логики, недостаточных доказательств, различного рода погрешностей и неудержимых сенсаций».

«Попытки возрождения ламаркизма на фоне биологии звучат так же, как если бы были сделаны попытки восстановить представление о том, что не земля вращается вокруг солнца, а солнце вокруг земли, – писал академик М.М.Завадовский. – Представьте себе в наш век культурного человека, который бы выступил в печати со святым наивным утверждением, что, “как он сам убедился”, солнце вращается вокруг земли».

Таким и было утверждение Лысенко – не святое и не наивное, – что осенний посев превращает яровые формы в озимые, а все несогласные с этим – идеалисты, реакционеры, морганисты, враги социализма и советской власти. Для большей убедительности на них обрушивалась лавина ловко подобранных цитат из Дарвина, Тимирязева, Мичурина, которыми Трофима снабжал Презент.

Так создавалось «мичуринское учение».

В круге четвертом

1.

Сознавали ли «мичуринцы», как далеки их взгляды от подлинных взглядов Мичурина? Когда я писал свою первую книгу о Вавилове, я был уверен, что сознавали. Теперь я в этом сомневаюсь. Допускаю, что они могли искренне считать себя продолжателями дела Мичурина, вдохновляться его примером, черпать в его успехах уверенность в своей правоте.

Мы видели: главные достижения Мичурина были связаны с гибридизацией географически и биологически отдаленных форм, что помножалось на его чутье, упорство, изобретательность, невероятное трудолюбие. Но *элементы ненаучности*, по деликатному выражению Вавилова, были частью его наследия. Это нападки на *гороховые* законы, недовольство якобы зажимающей его официальной наукой, переделка наследственности путем «воспитания». Отделить одно от другого непросто. Мичурин был цельной личностью, его недостатки были продолжением его достоинств, заблуждения были неотделимы от прозрений. «Ценность выведенных им сортов и ценность Ивана Владимировича самого как труженика» (Н.И.Вавилов) не умалялась его заблуждениями. Но его *благоприобретенные признаки*, нажитые подвижническим трудом, интуицией, талантом, не могли перейти по наследству даже к самым *ярым* «мичуринцам».

Сделав ставку на научно несостоятельную часть наследия Мичурина, они противопоставили себя *классово враждебной, формальной* генетике.

Вдруг оказалось, что генетики стоят за *абсолютную неизменяемость* генов, что они *не признают* эволюционного учения Дарвина, *зажимают* еще более передовое учение Мичурина и Лысенко; что они не только ничего не дают практике, но и мешают мичуринцам приносить пользу стране и народу. И даже противятся социалистическим преобразованиям в деревне.

Генетики пытались защищать себя и свою науку, но их голоса были разрозненны и непоследовательны. У каждого были свои пристрастия, приоритеты, амбиции. Порой давало себя знать ревнивое отношение друг к другу. Складывалось впечатление, что генетики в глухой обороне, тогда как «мичуринцы» шагают от победы к победе под серпастым-молоткастым красным знаменем.

Это на поверхности, на виду всей страны и всего мира.

А за кулисами развернулась борьба по очень конкретному вопросу.

Международные конгрессы генетиков планировалось проводить каждые пять лет. В 1932 году, на VI конгрессе в Итаке, Н.И.Вавилов предложил следующий конгресс провести в СССР. Понятно, что выступить с такой инициативой он мог, заручившись поддержкой советских властей.

Идея была воспринята очень сочувственно. Окончательно решить вопрос должен был оргкомитет нового конгресса во главе с норвежским генетиком О.Л.Мором. Членом оргкомитета был и Вавилов.

16 апреля 1935 года Мор написал Вавилову, что пришла пора определиться и что большинство оргкомитета положительно относится к проведению конгресса в СССР. Вавилов стал действовать. Он обратился в Президиум Академии наук, в Наркомат земледелия и в Отдел науки ЦК партии. Завотделом науки К.Я.Бауман направил ходатайство Сталину. 2 августа Политбюро постановило:

«а) Разрешить Президиуму Академии наук созвать конгресс по генетике в 1937 г. в СССР.

б) Поручить Отделу науки внести на утверждение ЦК предложения о порядке дня и составе съезда» [713] **.**

В августе 1935 года в Ленинграде и Москве проходил XV Международный конгресс физиологов. То было крупное событие в мировой науке, а для Кремля – важнейшее политическое «мероприятие». Конгресс прошел без сучка без задоринки, с надлежащей помпой. Открытие – в роскошном Таврическом дворце. Шесть дней в Ленинграде шли пленарные и секционные заседания, кресла были оборудованы по последнему слову тогдашней радиотехники, обеспечивался синхронный перевод всех 485 докладов на пять языков. Затем участников конгресса, с максимальным комфортом, перевезли в Москву. Заключительное заседание – в Большом зале консерватории. Последний аккорд – банкет в Кремле. С шампанским, деликатесами, при полном составе Политбюро. Молотов должен был прервать отпуск, чтобы быть на этом банкете. Президент конгресса, 85-летний И.П.Павлов, увенчанный короной «старейшины физиологов мира», поднял широко разрекламированный тост «за великих социальных экспериментаторов», то есть за советских вождей, которых только что, в личных письмах к Молотову, уличал в насаждении фашизма и честил за бессмысленные репрессии. Конгресс стал триумфом советской науки, а значит, и советской власти. Она обрела много друзей, весьма влиятельных в своих странах.

Отсюда понятно более чем благосклонное отношение властей к проведению в СССР и конгресса генетиков.

25 августа непременный секретарь Академии наук А.А.Борисяк и советский член оргкомитета VII генетического конгресса Н.И.Вавилов, от имени Академии наук, направили О.Л.Мору официальное приглашение провести конгресс в Москве и Ленинграде в августе 1937 года[714].

Но не всё было так гладко, как выглядело. В.Д.Есаков обратил внимание на такую деталь: Политбюро приняло решение о конгрессе 2 августа, а Совнарком его формально узаконил 17 ноября. Партийные решения, как правило, штамповались в тот же или на следующий день, а тут отсрочка в 3,5 месяца! «Непослушание» председателя Совнаркома Молотова генсеку исключено. Значит, Сталин дал ему понять, что торопиться не следует. Что-то его коробило…

Но оргкомитет уже работал, сообщение о согласии Москвы было разослано по всему свету, отступать без веских причин Кремль не мог.

2.

Вавилов, Кольцов, Серебровский, другие ведущие генетики надеялись, что международный конгресс покажет во весь рост достижения мировой и советской генетики, ее роль в медицине, микробиологии, в создании новых сортов растений и пород домашних животных; это поможет усмирить противников генетики.

Именно поэтому Лысенко и Презент стремились во что бы то ни стало конгресс сорвать.

Они овладели *истинной, пролетарской, мичуринской, дарвиновской* генетикой и могут удовлетворить любые запросы колхозной практики. Всё очень просто. Чтобы получить засухоустойчивые сорта, надо *воспитывать* растения в условиях засухи; чтобы получить зимостойкие – в условиях суровой зимы; чтобы получить высокоурожайные сорта, надо воспитывать их на хорошем агротехническом фоне. Нет существенных различий между наследственной и ненаследственной изменчивостью. Всё можно сделать в кратчайшие сроки! Надо только, чтобы *формальные* генетики не мешали.

Эффективности этих атак способствовала и двойственная позиция некоторых ведущих генетиков, таких как заведующий Саратовской опытной станцией Г.К.Мейстер.

Мейстер был автором сортов пшеницы, занимавших тысячи

гектаров в Поволжье. Ему удалось обнаружить плодовитый природный гибрид пшеницы и ржи и отобрать стойкие линии, сочетавшие урожайность и качество зерна пшеницы с выносливостью ржи. В основе его успеха лежали, конечно, законы классической генетики. Более наглядного примера ее *практической пользы* трудно было найти.

Однако когда пошли нападки со стороны Лысенко и Презента, Мейстер выпустил брошюру с *критическим пересмотром* основных положений генетики, будто бы слишком *догматических.*

О том, что это означало в контексте времени, видно из выступления Я.А.Яковлева, опубликованного в «Правде» под заголовком: «На борьбу за сталинские 7–8 миллиардов пудов зерна!» Расхвалив Лысенко и двух других *молодых новаторов*, Цицина и Эйхфельда, Яковлев поставил рядом с ними *старика* Мейстера, «создавшего для засушливой степи прекрасные сорта зерновых культур»[715]. Выступлению Яковлева предшествовало сообщение ТАСС о награждении «стахановцев сельского хозяйства». Первым в списке награжденных орденом Ленина стояло имя Лысенко. В том же списке – имя Мейстера. Указ был подписан *всесоюзным старостой* Калининым, но народ должен был знать, *кто* в стране *СТАРОСТА*. Под сообщением ТАСС телеграмма:

«Дорогой товарищ Сталин! Счастлив признанием полезности моей работы. Горю желанием отдать под Вашим руководством все свои знания и силы на великое дело социалистического строительства. Мейстер»[716].

За высокую награду, полученную Трофимом Лысенко, благодарили его родители. Не Калинина, конечно:

МОГЛИ ЛИ МЫ КОГДА-НИБУДЬ МЕЧТАТЬ О ТАКОЙ ВЕЛИКОЙ ЧЕСТИ Письмо родителей академика Т.Д.Лысенко товарищу Сталину

Любимый наш, родной Сталин! День, когда мы узнали о награждении орденом Ленина нашего Трофима, – это самый радостный день в нашей жизни. Могли ли мы мечтать когда-нибудь о такой великой чести, мы – бедные крестьяне села Карловка, на Харьковщине.

Тяжело было учиться до революции нашему сыну Трофиму. Не приняли его – крестьянского парня, мужицкого сына, в агроучилище, хотя в школе он имел одни пятерки. Пришлось Трофиму пойти в Полтавское садоводство. Так и остался бы он на всю жизнь садовником, если бы не советская власть. Не только старший Трофим, но и младшие пошли учиться в институты. Мужицкому сыну была открыта широкая дорога к знанию.

Закончив институты, младшие сейчас работают инженерами:

один – на Уральской шахте, другой – в Харьковском научном институте, а старший сын – академик. Есть ли еще такая страна в мире, где сын бедного крестьянина стал бы академиком? Нет!..

Не знаем, чем отблагодарить Вас, дорогой товарищ Сталин, за великую радость – награждение сына высшей наградой. Я, Денис Лысенко, за свои 64 года много поработал, однако работу в своем родном колхозе «Большевистский труд» не бросаю, ибо в колхозе весело сейчас работать, ибо жить стало лучше и веселее. В колхозе я работаю опытником, огородником, пасечником и садоводом. Подучившись на курсах селекционеров здесь, у сына, я обучил четырех колхозников скрещивать растения. Сам скрестил 13 растений, произвел опыты по яровизации свеклы, в результате чего получаю двойные урожаи. Недавно задумал специальную машину для подкормки свеклы жидким удобрением и поручил ее выполнить колхозному кузнецу. Этими работами я по мере своих старческих сил отблагодарю Вас, товарищ Сталин, руководимую Вами коммунистическую партию и советскую власть.

С колхозным приветом!

Денис Никанорович Лысенко (отец академика Лысенко),

Оксана Фоминична Лысенко (мать)

Одесса, 2 января

(ТАСС)[717]

Пропагандистский эффект таких публикаций многократно перекрывал прибавки урожаев, какие могли дать все реальные достижения Мейстера и мнимые достижения Лысенко. «Мичуринцы» *по-мичурински* расплачивались за заботу партии и правительства. В том и состояла *практическая польза* «мичуринской» науки для советской власти и колхозного строя.

3.

Атаки против генетики и генетиков нарастали в течение всего 1936 года. Как из рога изобилия сыпались обвинения в бесплодии и бесполезности доя практики; в том, что сторонники «формальной» генетики вредят мичуринскому учению; что они *идеалисты, виталисты, антидарвинисты.* Особенно грозными были обвинения в расизме: генетика-де признает биологическое неравенство рас, оправдывает господство белых над чернокожими, служит фашизму и всем врагам диктатуры пролетариата, социализма, колхозного строя.

Власть использовала эти обвинения для отмены собственного решения о проведении VII генетического конгресса в СССР,

сознательно пойдя на международный скандал.

14 декабря 1936 года в газете «Нью-Йорк Таймс» появилась статья: «MOSCOW CANCELS GENETICS PARLEY» («Москва отменяет генетический конгресс»). В подзаголовках новость детализировалась: *«Расистские теории нацистов; приписанные некоторым ученым, стали причиной отмены международного конгресса»; «Американцы хотели участвовать»*; *«Профессор Н.И.Вавилову знаменитый растениеводу арестован – другие подвергаются нападкам».*

В статье говорилось:

«Подоплекой отмены [конгресса] является раскол среди советских ученых; коммунистические власти обвиняют наиболее известных из них в том, что они разделяют взгляд германских фашистов на генетику и даже являются защитниками “троцкистов”».

«В последние три месяца ботаник Т.Д.Лысенко, который оказался в фаворе благодаря своим опытам по “яровизации” пшеницы и других культур для ускорения их созревания, ведет атаку на “классическую генетику” в ежемесячном издании “Социалистическая реконструкция сельского хозяйства”. Он отвергает классическую генетику, включая законы Менделя и хромосомную теорию, клеймя их как “формальные” и не имеющие никакой практической ценности, тогда как сам он, по его словам, дает практические результаты. Г-н Лысенко говорит, что “генетика это просто развлечение, как шахматы или футбол”. Он атакует Всесоюзный институт прикладной ботаники в Ленинграде, возглавляемый академиком Н.И.Вавиловым, как бесполезный».

«Среди советских генетиков, подвергающихся нападкам, профессор С.Г.Левит, директор Медико-генетического института, <…> и профессор Агол, член Украинской Академии наук. Оба работали в лаборатории д-ра Мёллера в Техасском университете и оба высоко ценимы в мире генетиков».

«Профессора Агол и Вавилов, который много путешествовал по Америке, арестованы в Киеве по обвинениям, связанным, как можно понять, с троцкизмом. Профессор Агол – большевик с дореволюционных времен. Профессор Левит был поначалу меньшевиком, но в 1918 году примкнул к большевикам. Профессор Левит подвергался сильным нападкам в коммунистической прессе и попал в немилость к партийным вождям, которые руководят всеми аспектами советской жизни, включая науку, литературу,

искусство, не говоря уже об экономике и политике. Кульминацией стали обвинения подкомитета науки Московского городского комитета партии в том, что он [Левит] допустил в своем институте разработку научных теорий, враждебных советским и родственных нацистским понятиям. <…> Полное умственное равенство всех рас является такой же неоспоримой советской догмой, как их неравенство – догмой нацизма»[718] **.**

О том, какое впечатление статья произвела на американских ученых, можно судить по письму крупного генетика Давенпорта в Государственный департамент, в котором арест Вавилова назван «ударом в лицо цивилизации».

Сообщение об аресте Вавилова, слава Богу, оказалось ошибкой – через два дня газета напечатала поправку. Агол *был* арестован, а Левита травили в печати – тоже в преддверии ареста.

Кремлевские гроссмейстеры контрпропаганды ухватились за ошибку газеты: не упускать же повод для отпора *клеветникам России*\

21 декабря в «Известиях» появилась статья, гордо признавшая, что в СССР нет *такой* свободы науки, под которой понимается свобода убивать отдельных людей и уничтожать целые народы из-за их «неполноценности». Зато *подлинная* интеллектуальная свобода есть только в СССР, где наука служит народу, а не капиталистам. Подтверждением неограниченной свободы науки объявлялась сессия ВАСХНИЛ, в которой участвует более пятисот ученых. Профессор Вавилов, объявленный арестованным, выступит на сессии с критикой «научных взглядов молодого ученого Лысенко», а тот сделает доклад, критикующий «антидарвиновские теории Вавилова». А Атол арестован не за научную деятельность, а за связь с троцкистскими убийцами. Генетический конгресс к этому отношения не имеет, он *отложен* по просьбе самих ученых: им требуется больше времени для подготовки.

В английском переводе ТАСС направил эту статью в журнал «Сайенс», где она была напечатана[719]. Так ученому миру было объявлено, что теории профессора Вавилова – *антидарвинистские*, а взгляды Трофима Лысенко – *научные.*

Но то было только первое действие спектакля.

Во втором действии главная роль отводилась «оклеветанному» Н.И.Вавилову. Он должен был самолично сообщить миру о том, как заботится советская власть о науке, какую поддержку получает он сам и его Институт, каким «сильным стимулом» для плодотворной работы служит

социалистическое соревнование разных научных направлений.

Гвоздевым и, по-видимому, самым для него неприятным в этом *ответе Керзону* было обвинение газеты «Нью-Йорк Таймс» в *намеренной клевете* на «советских ученых, добросовестно работающих на дело социализма». Николай Иванович должен был написать: «Помещение в вашей газете подобной информации можно объяснить только стремлением известных кругов дискредитировать СССР и науку в СССР. Клевета есть обычный прием врагов Советского Союза, в этом особенно преуспевает фашизм».

Почему Вавилов включился в эту игру, я думаю, объяснять не надо: остаться в стороне у него возможности не было.

22 декабря «Телеграмма академика Н.И.Вавилова в американскую газету “Нью-Йорк Таймс”» появилась… в «Известиях»![720] Перед публикацией статья была, конечно, отшлифована до последней запятой в ЦК партии. Когда «Известия» уже продавались в киосках, так что задержки с ее публикацией быть не могло, Николай Иванович отвез английский перевод статьи в корпункт «Нью-Йорк Таймс». На следующий день она была напечатана под крупным заголовком «Vaviloff Defends Science in Soviet» («Вавилов защищает положение науки в Советском Союзе»), с тремя подзаголовками: «Указывает на расширение исследований по ботанике и генетике растений в России», «Приветствует помощь правительства», «Считает, что неверные сведения вводятся в сообщения из Советского Союза для содействия фашизму»[721].

4.

Всё это происходило в те дни, когда в Москве шла IV сессия ВАСХНИЛ, посвященная «спорным вопросам генетики». Она длилась с 19 по 27 декабря 1936 года. Интерес к ней был настолько подогрет, что открытие пришлось перенести в огромный зал, куда набилось больше трех тысяч человек.

Председательствовал президент ВАСХНИЛА.И.Муралов.

Основные докладчики – академик Вавилов, академик Серебровский, профессор Мёллер, академик Лысенко.

Менделевское три к одному вполне соответствовало *реальному* соотношению сил в советской генетике.

Вавилов сосредоточился на *практической пользе*, какую генетика вообще и в особенности его Институт приносят сельскому хозяйству страны.

«Приступая к мобилизации исходного сортового материала в

областях, как правило, отличных по условиям от наших земледельческих районов, мы не рассчитывали сразу найти готовые сорта <…>. Нашей задачей было нахождение исходных видов и форм для улучшения современных сортов путем гибридизации. Собранный обширный материал, исследованный в разных районах, вскрыл, однако, возможности использования значительного числа сортов непосредственно для введения в культуру»[722].

Перечислив сорта и культуры из коллекции ВИРа, которые уже вошли в практику, Вавилов привел суммарные цифры. Общая площадь пахотных земель в Советском Союзе составляла около 132 миллионов гектаров; сортами из вировской коллекции было занято около 20 миллионов, или 15 процентов всех возделываемых земель. По сравнению с этим все достижения, о которых трубил Лысенко, даже если бы они не были мнимыми, выглядели детской песочницей.

А.С.Серебровский привел ряд примеров, показывавших, сколь важно знание генетики для выведения улучшенных пород скота. Нападки на генетику он назвал «просто скандальной» попыткой отбросить науку на полвека назад. О «новаторских» методах лысенковцев он сказал: «Но в том-то и дело, что все подобные методы давно опробованы, перепробованы, десятки ученых потратили на них десятки лет, десятки раз им казалось, что они получили то, что хотели. И десятки раз их постигало горькое разочарование, так как неизменно каждый раз обнаруживались ошибки».

Закончил Серебровский оптимистически: «Истина неделима и не допускает прорыва фронта даже на маленьком участке. Истина не может не победить, особенно в нашей стране – самой передовой стране мира, живущей и строящейся под знаменем научного социализма. Истина не может не победить в стране, руководимой Коммунистической партией во главе с тов. Сталиным»[723].

Серебровский с середины 1920-х годов участвовал в философских дискуссиях на страницах журнала «Под знаменем марксизма» и в других подобных изданиях. Он доказывал *диалектичность* законов генетики и *механистичность* ламаркистской концепции наследования приобретенных признаков. Но потом попал в разряд *меньшевиствующих идеалистов*. Ему пришлось каяться в «реакционных ошибках», что делало его еще более уязвимым. Он подал заявление о вступлении в партию, был принят кандидатом, да так и застрял в кандидатах: в члены партии его не переводили. Презент и другие «разоблачители» генетики с садистским наслаждением

оттаптывались на Серебровском.

Но главной мишенью для атак стал, конечно, академик Вавилов.

Положение самого Лысенко было довольно щекотливым. Он имел неосторожность в одной из статей положительно отозваться о вавиловской коллекции, назвал ее «кладом», писал, что «академик Вавилов сделал громадное полезное дело». После этого ему трудно было настаивать на том, что научные открытия Вавилова «ничего не дают практике».

Пришлось сосредоточиться на теориях Вавилова, хотя «клад» был найден благодаря его теориям. Богатейшая в мире коллекция ВИРа была той *практикой*, которая подтверждала теорию. По Ленину, *практика – критерий истины,* лысенковцы не уставали повторять это «гениальное» изречение – к месту и не к месту Однако на сессии ВАСХНИЛЛысенко заявил: «Изложенное мною в докладе, конечно, в корне противоречит и закону гомологических или параллельных рядов изменчивости акад. Н.И.Вавилова. Этот закон в своей основе зиждется на генетической теории комбинаторики и неизменных в длительном ряде поколений корпускул “вещества наследственности”. Я не чувствую в себе достаточной силы, знания и умения, чтобы по-настоящему разбить этот “закон”, не отвечающий действительности, т. е. эволюции»[724].

Трудно сказать, чего больше в этом *признании* — наивности или циничного глумления пахана, знающего, что ему «всё дозволено». Казалось бы, не чувствуешь в себе достаточно силы – промолчи. Но нет! Не умея разбить закон гомологических рядов и другие обобщения Вавилова, *подтвержденные практикой*, Лысенко их объявлял антидарвиновскими и антимичуринскими.

«Мичуринцами» теперь стали давние разоблачители Вавилова. Еще до сессии Коль и Шлыков снова выступили со своими обвинениями в печати. В «Ответе критикам» Николай Иванович опроверг все их аргументы, что не помешало им повторить те же нападки на сессии ВАСХНИЛ. Шлыков выдвинул два взаимоисключающих тезиса: то, что закон гомологических рядов заимствован у Дарвина, и то, что он – антидарвиновский. По его словам, закон был придуман Вавиловым «с лукавой целью не продолжить, а подменить, опровергнуть дарвинизм, всё эволюционное учение»[725].

Особенно чувствителен для Николая Ивановича был удар в спину, нанесенный И.Г.Эйхфельдом. В своем докладе Вавилов, в качестве примера *практических* достижений ВИРа, указал на продвижение земледелия на север и особо отметил заслуги заведующего Заполярной станции Эйхфельда. А Эйхфельд после

этого заявил, что всегда работал методами Лысенко, а не Вавилова.

То было редкостное бесстыдство – даже по меркам того, что происходило на сессии. Эйхфельд окончил Петроградский сельхозинститут в 1923 году, учился у Вавилова. Под руководством Вавилова была разработана методика работы Заполярной станции, когда о Лысенко вообще еще никто не слышал. Вавилов снабжал Заполярную станцию семенным материалом, она участвовала в географических опытах, испытывала сорта и виды, у коих сроки созревания укорачивались с удлинением светового дня, благодаря чему они вызревали на севере. Эйхфельд бесконечно затягивал обработку материалов и почти ничего не публиковал, страна знала о его достижениях из статей и докладов Вавилова. Так что Эйхфельд всем – буквально всем! – был обязан Николаю Ивановичу. Можно представить себе, сколь болезненным было для него это предательство.

С двусмысленной речью на сессии выступил Г.К.Мейстер. Как вспоминал через много лет Н.П.Дубинин, «резко критикуя Серебровского, Мейстер призывал Вавилова к тому, чтобы он исправил свои ошибки. Ряд замечаний был сделан и в адрес Лысенко и Презента. Мою позицию Мейстер охарактеризовал как проявление паники. Он сказал: “В защиту генетики выступил здесь молодой наш советский ученый, успевший стяжать себе славу за границей, Н.П.Дубинин, но под влиянием охватившей его паники он совершенно неожиданно начал доказывать нам, что генетика свободна от формализма и строго материалистична. Я хотел бы указать Н.П.Дубинину, что паника его ни на чем не основана. На генетику как науку в Союзе ССР Академия сельскохозяйственных наук им. В.И.Ленина отнюдь не покушается [но она будет бороться и впредь с наблюдающимися в этой науке автогенезом, зазнайством и формализмом]”»[726].

На генетику покушались, но надо было делать вид, что гонений на науку нет: в свободной стране идет свободная дискуссия. Мейстер отрабатывал орден Ленина и пост первого вице-президента ВАСХНИЛ.

Не очень удачным было выступление Н.К.Кольцова, директора Института экспериментальной биологии, из чьей школы вышли многие крупные ученые, включая одного из основных докладчиков А.С.Серебровского.

Кольцов призвал глубже изучать генетику, вместо того чтобы на нее нападать. Понятно, что он говорил о Лысенко, Презенте и прочих «мичуринцах». Но по имени он назвал… Вавилова!

«Я обращаюсь к Николаю Ивановичу Вавилову, знаете ли вы генетику как следует. Нет, не знаете… Наш “Биологический журнал” вы читаете, конечно, плохо. Вы мало занимались дрозофилой, и если вам дать обычную студенческую зачетную задачу, определить тот пункт хромосомы, где лежит определенная мутация, то этой задачи вы, пожалуй, сразу не решите, так как студенческого курса генетики в свое время не проходили»[727].

Чем вызван был этот выпад?

Кольцов был ученым мирового класса, но в глазах всего мира советским генетиком № 1 был Вавилов. Уж не испытывал ли Николай Константинович ревность к его мировой славе, перекрывавшей его собственную? Если так, то это можно понять. Но трудно было выбрать менее подходящий момент для того, чтобы дать выход своему ревнивому чувству. Н.П.Дубинин заметил, что «такое заявление одного из лидеров генетики конечно же не укрепляло авторитет Н.И.Вавилова»[728]. Хуже было то, что оно подрывало авторитет генетики. Ведь если сам Вавилов ее не знает, то прав Лысенко, говоря, что эта хромосомная заумь никому не нужна!..

Почти убийственными для Лысенко были выступления профессоров П.И.Лисицына и П.Н.Константинова – двух крупнейших селекционеров. Их сорта занимали огромные площади, невозможно было ставить под сомнение *практическую* полезность их работы. И ими же была показана бесполезность для практики главного достижения Лысенко: яровизации как агроприема.

Лисицын объяснил не без сарказма, почему их результаты столь резко расходились с победными реляциями Лысенко: «Мне приходит на память один рассказ из римской истории о том, как один мореплаватель, перед тем как отправиться в плавание, решил принести богам жертву, чтобы обеспечить себе благополучное возвращение.

Этот мореплаватель пошел искать бога (а их там было много), какому выгоднее было бы принести жертву, и когда он в каждом храме находил доску со списком лиц, принесших жертву и спасшихся, он обратился с вопросом к жрецам: а где же доска со списком лиц, которые принесли жертву, но все-таки погибли, чтобы было с чем сравнивать. Я так же мог поставить акад. Т.Д.Лысенко вопрос: вы приводите прибавку в десятки миллионов пудов, а где убытки, которые принесла яровизация?»[729]

Научная аргументация генетиков была такой, что старейший цитолог М.С.Навашин, воспитавший два поколения

цитогенетиков, поднявшись на трибуну, сказал: «Первоначально я имел намерение выступить здесь в защиту генетики <…>. Но пока очередь дошла до меня, другие сделали это настолько хорошо, что я не вижу больше необходимости для себя лично выступать в роли защитника генетики»[730].

Но, как заметила Р.С.Берг о выступлениях ведущих генетиков, «они метали не бисер – жемчуг и бриллианты метали они перед свиньями».

Зная, что ламаркистская концепция эволюции скомпрометирована, Лысенко и его сторонники всячески от нее открещивались. Их якобы неправильно понимают или намеренно извращают. Они сторонники Дарвина, а не Ламарка.

«Я и мои единомышленники стоим за эволюционное учение Дарвина, за дарвинизм во всех разделах агробиологической науки. Отсюда мы в корне не согласны со взглядами школы акад. Н.И.Вавилова и многих генетиков на эволюцию, на создание новых форм растений»[731], – декларировал Лысенко, но подтвердить декларации ему было нечем.

Можно представить себе, как заерзал Трофим Денисович, когда на трибуну поднялся Сергей Степанович Перов, партийный функционер в звании академика ВАСХНИЛ. Пятью годами раньше Перов возглавлял Комиссию РКП по обследованию ВИРа и подписал заключение-донос, в котором Институт назван «дворянским гнездом», чуждым «марксистско-ленинской методологии» и «победе социализма». Лысенко не мог бы желать лучшей поддержки, если бы не пикантная подробность: у Перова была репутация закоренелого ламаркиста. Он сказал: «Прав или не прав акад. Т.Д.Лысенко во всех деталях, я обсуждать не буду. Вообще ни дискутировать с ним, ни защищать акад. Т.Д.Лысенко я не собираюсь. Я нахожусь по своей научной работе в положении того же самого академика Т.Д.Лысенко и глубоко сочувствую его состоянию. Те расхождения, которые могут быть между нами, не являются такими, которые бы заставили открывать широкую дискуссию».

Трофим отозвался репликой: «С Ламарком я не согласен, а вы согласны».

Но Перов его *успокоил*: «Я не упоминал ни слова о Ламарке. Я думаю, что академик Т.Д.Лысенко в вопросе о Ламарке может быть совершенно спокоен. Я не собираюсь обвинять его в ламаркизме и спорить по этому поводу. В ламаркизме его обвиняют генетики, я же считаю акад. Т.Д.Лысенко истинным дарвинистом»[732].

В *научном* споре горе-дарвинисты были полностью разбиты. Но не так воспринималась дискуссия в общественно-политическом контексте времени.

Декларативные заявления от имени *передовой советской* науки – в пику *загнивающей* науке Запада; обещания рекордных урожаев; разоблачительный тон; жонглирование именами Дарвина, Тимирязева, Мичурина; а также умелая расстановка сил, благодаря чему в первые дни выступали, главным образом, сторонники классической генетики, а когда почти все они высказались, трибуной завладели *работники с мест*, то есть малограмотные *яровизаторы*, мочившие семена в колхозных хатах-лабораториях и потому тоже зачислявшиеся в категорию ученых. Тон их выступлений был задан следующими словами Лысенко:

«Некоторые из дискуссирующих <…> выступают в довольно приподнятых тонах, с нередкими, на мой взгляд, перегибами, со стремлением подтасовать факты в выгодном для себя направлении. Лично к себе я этого отнести не могу. Я думаю, что тот, кто следил за печатью, должен прийти к заключению, что мои статьи, хотя и являются страстными, но, во всяком случае, беспристрастными. Статьи же Дончо Костова, акад. П.Н.Константинова, акад. П.И.Лисицына, акад. М.М.Завадовского и некоторых других, мне кажется, действительно не страстны, хладнокровно размерены, но зато сугубо пристрастны»[733].

Так всё выворачивалось наизнанку. Лысенко *пристрастно* подтасовывал факты и приписывал это своим противникам; так же «полемизировали» его сторонники.

5.

Из книги в книгу кочуют упреки Вавилову в том, что он был недостаточно боевит в той дискуссии, не развенчивал ошибок Лысенко, не изобличал его невежества, оборонялся, вместо того чтобы нападать. Думаю, что эти попреки исходят от авторов, не сознающих, в какой атмосфере проходила дискуссия. Тридцать лет спустя П.М.Жуковский вспоминал в письме Ж.А.Медведеву: «В 1936 г. была сессия ВАСХНИЛ, на которой состоялась первая “дискуссия” и канонизация Лысенко. Я на ней не выступал. От невыступавших потребовали дать статьи в журнал “Социалистическая реконструкция сельского хозяйства” (кажется, он так назывался); оттиск у меня есть, но даты не указано. Моя статья была напечатана либо в конце 1936, либо в начале 1937 г. Название такое: “Ответ критику и о некоторых действительно

дискуссионных вопросах". В статье на стр. 157 я "обвинил" ВИР в том, что он увлекся систематикой культурных растений и отрекся от селекции, от выведения сортов. Н.И. очень рассердился и на одном из собраний Академии сказал: "Я ожидал увидеть Петра Михайловича рядом с собой среди обвиняемых, а он выступил прокурором". Потом, в кулуарах, он подошел ко мне, совершенно подавленному (ибо он был прав), и сказал: "Ваша статья – шедевр, но Вы испортили ее несколькими абзацами". Со слезами на глазах, я признал свою вину. Тогда время было страшное, у меня был обыск, чтобы изъять всю переписку с Вавиловым, причем сказали: "Пока – это!"»[734].

Такова была обстановка, в которой Вавилов отстаивал достоинство науки.

Н.П.Дубинин привел свой разговор с Вавиловым, в котором он убеждал Николая Ивановича, что надо решительнее бороться против Лысенко, потому что «социализм не может строиться без строго обоснованных и доказанных научных принципов, а эти принципы находятся на нашем вооружении».

«– Всё это так, – сказал Н.И.Вавилов, но знаете ли вы, что И.В.Сталин недоволен мной и что он поддерживает Т.Д.Лысенко?

– Конечно, это дело очень серьезное, – ответил я, – но И.В.Сталин молчит, а это можно понять как приглашение к продолжению дискуссии.

– Да, возможно, вы правы, – продолжил Н.И.Вавилов, – но у меня все же создается впечатление, что я, вы и другие генетики часто спорим не с Т.Д.Лысенко, а с И.В.Сталиным. Быть в оппозиции к взглядам И.В.Сталина, хотя бы и в области биологии, – это вещь неприятная»[735].

Дубинин относил этот разговор к 1939 году, но он вполне мог состояться и в 1936-м, разве что тогда Вавилов не настолько был близок с Дубининым, чтобы быть столь откровенным. Более близким людям он, вероятно, говорил нечто подобное и раньше.

В заключительном слове Николай Иванович подробнее остановился на теоретических расхождениях. Он показал, что генетика в своем развитии прошла несколько этапов, от этапа к этапу корректировались ее основные понятия, корректировались и его собственные взгляды. Если на первом этапе доминировали представления о большой консервативности генов, то к середине 1930 годов наука твердо установила, что гены изменчивы. Такие воззрения утвердились в основном благодаря трудам школы Моргана, в особенности Германа Мёллера.

«Никто не оспаривает в настоящее время в генетике изменчивость генов, она доказана, – говорил Вавилов. –

Исследования профессора Мёллера, разрушившие представления о консерватизме генов, внесли много нового в наши представления».

Суть разногласий между генетиками и «мичуринцами» Вавилов ограничивал строго научными рамками: «Акад. Т.Д.Лысенко выдвигает новое положение о том, что ген весьма изменчив, что его можно изменить по желанию экспериментатора и в определенном направлении. Пока для этого нет точных экспериментальных данных; может быть, Т.Д.Лысенко в дальнейшем покажет экспериментально возможность таких изменений, это будет новым этапом, который мы будем приветствовать, но пока этот этап для нас, генетиков и селекционеров, не доказан, и в экспериментальном доказательстве этого положения – все трудности и все наши расхождения. <…> Чтобы опровергнуть сложившиеся представления генетиков, нужен точный эксперимент. Его мы не знаем»[736].

Николай Иванович был верен себе. Он открыт к новому, готов к пересмотру самых фундаментальных теорий, если они противоречат фактам. Но факты должны быть истинные, а не мнимые. Они должны быть установлены методически безупречными опытами – проверяемыми и повторяемыми. Таких фактов у Лысенко не было.

6.

Р.Л.Берг писала, что на декабрьской сессии было запрещено выходить за рамки сельскохозяйственной тематики. Единственным докладчиком, который нарушил этот запрет, был Герман Мёллер.

Он был нетверд в русском языке, и его доклад на сессии зачитал Н.К.Кольцов. Но заключительную часть он прочитал сам. В опубликованную стенограмму сессии эта часть его доклада не вошла, но В.В.Бабков отыскал в архиве полный текст. Мёллер затронул общественно-политические проблемы генетики человека. Он сказал, что к фашизму и расизму ведут не законы генетики, а ламаркизм. Если бы приобретенные признаки наследовались, то классы и народы, лишенные доступа к образованию, от поколения к поколению должны были умственно тупеть и вырождаться, тогда как у привилегированных классов, напротив, повышались бы умственные способности и творческий потенциал. Социальное неравенство закреплялось бы биологически, *оправдывая* угнетение низших классов и отсталых

народов. Борьба с ламаркизмом становится особенно актуальной в свете борьбы с фашизмом. С этими словами Мёллер сошел с трибуны. В стенограмме ремарка: *Продолжительные аплодисменты.*

Научная аргументация Мёллера была безупречна, хотя и не очень нова. Десятилетием раньше о том же говорил Ю.А.Филипченко, который «ядовито заметил, что если бы наследовались признаки, приобретаемые в онтогенезе, то сколько же отрицательных черт должен был бы приобрести пролетариат за долгие годы эксплуатации»[737]. Но старые споры забылись, и аргументы Мёллера прозвучали как откровение: «передовое мичуринское учение» не просто ложно, это опора фашизма!

Мёллер имел все основания быть довольным собой и своим докладом. Но утром следующего дня к нему в номер гостиницы пришел Вавилов. Второй раз в жизни Мёллер видел его таким встревоженным (первый раз – после внезапного столкновения со Сталиным в кремлевском *коридорчике)*. Вавилов сказал, что выступление Мёллера на сессии воспринято как крамола, оно «вызвало за кулисами дискуссии горячий ночной спор». Обсуждалось, какие меры принять против Мёллера и генетики вообще. Через 30 лет Мёллер вспоминал: «Он меня просил сделать какое-нибудь публичное разъяснение. Мне пришлось заявить, что мое заключение по данному вопросу не имеет отношения к группе Лысенко, хотя мое мнение, что таковы неизбежные следствия из доктрины наследования приобретенных признаков, остается таким же. Ни Вавилов, ни кто-либо другой к этому вопросу больше не возвращались»[738].

7.

Стенограмма декабрьской сессии ВАСХНИЛбыла напечатана в виде сборника. Название – «Спорные вопросы генетики и селекции» – говорило о том, что дискуссия ничего не решила. Подтвердилось то, о чем говорил Н.И.Вавилов: научные споры решаются в лабораториях и на опытных делянках, а не на трибунах. ВИРу было поручено экспериментально проверить спорные положения, на это было ассигновано 87 тысяч рублей.

Однако, докладывая в ВИРе о результатах сессии, Николай Иванович должен был доказывать, что никакого разгрома генетики не произошло, и, увы, даже в его собственном Институте это звучало неубедительно. *Политически* генетики потерпели поражение. Могло ли быть иначе, когда за спиной «мичуринцев» стояла вертикаль власти и вся советская пресса. Газеты

возвеличивали *передовое мичуринское учение*, поносили *ретроградов*, которые упрямо держатся за *реакционную* науку *эксплуататорских классов*. «Чесателям корост – читателям газет» (М.Цветаева) суть научного спора была непонятна. Зато было ясно, что Лысенко и остальные «мичуринцы» – *наши, советские, социально близкие*. А их противники – изысканные, лощеные, замшелые, старорежимные *реакционеры*. Они не хотят *отречься от старого мира*, поэтому их БЬЮТ!

В круге пятом

1.

Николай Константинович Кольцов пережил многое, включая смертный приговор в 1920 году по делу так называемого Тактического центра.

Сведения об этом Центре смутны. То ли такой организации вообще не было, то ли дело о ней было непомерно раздуто. Революционный трибунал признал всех привлеченных виновными в пособничестве Деникину, Колчаку, Юденичу,

Антанте и приговорил 19 обвиняемых к *высшей мере социальной защиты – расстрелу*. А затем все были помилованы, «учитывая чистосердечное раскаяние», хотя Н.К.Кольцов, похоже, ни в чем не каялся. Расстрел ему заменили пятью годами – *условно*, и он, как ни в чем не бывало, вернулся на пост директора Института экспериментальной биологии, созданного им на частные пожертвования в 1917 году, между Февралем и Октябрем.

О деле Тактического центра ему не напоминали, и сам он о нем молчал. Даже такой близкий ему сотрудник, как Н.П.Дубинин, узнал об этой страничке в биографии Кольцова только в 1971 году – из книги писателя от КГБ Д.Л.Голинкова[739]. Тогда Дубинину «стала ясной причина той тени, которая в 20—30-е годы сопутствовала деятельности Н.К.Кольцова»[740]. О других причинах «той тени» Дубинин не упоминал, хотя хорошо о них знал.

Кольцов был лидером евгеники в Советской России, председателем Евгенического общества, главным редактором «Русского евгенического журнала». В 1929 году Евгеническое общество было распущено, журнал закрыт, но *этот* «грех» Кольцову не забывали. На него сыпались обвинения в расизме и фашизме. Чем наглее и агрессивнее становился Гитлер и нацистская Германия, тем более грозно звучали эти обвинения. Кольцова прорабатывали на собраниях, требовали покаянных заявлений. Никаких покаяний из него выдавить не могли.

Кажется, после такой закалки Николаю Константиновичу сам черт был не брат. Но надругательство над генетикой на сессии ВАСХНИЛон воспринял как катастрофу. Он обратился к А.И.Муралову с призывом «спасать науку». Для этого предложил собрать новую сессию ВАСХНИЛ— узкую, с участием только членов Академии, без «представителей с мест», чтобы заново

обсудить спорные вопросы – на строго научном уровне.

Это был крик отчаяния, ибо в сложившейся обстановке никто не позволил бы проводить новую сессию и тем дезавуировать состоявшуюся.

По утверждению В.Н.Сойфера, «это письмо он [Кольцов] показал многим участникам сессии, в том числе Вавилову, видимо, призывая их присоединиться к такой оценке. Большинство, включая Вавилова, на словах присоединилось, но лишь на словах, публично все предпочли отмолчаться»[741].

На самом деле всё было несколько по-другому.

Получив письмо Кольцова, президент ВАСХНИЛМуралов вынес его на обсуждение Президиума ВАСХНИЛ, и по нему была принята резолюция: «Признать, что письмо академика Н.К.Кольцова неправильно оценивает результаты дискуссии, указывая, что она “не дала никаких результатов или дала результаты самые отрицательные”, так как в действительности дискуссия по вопросам генетики дала весьма положительные результаты, вызвала интерес к вопросам генетики и селекции в широких кругах и выдвинула ряд положений, подлежащих экспериментальной проверке».

В протоколе дальше записано: «Решение принято тремя членами Президиума – акад. АИ.Мураловым, акад. Г.К.Мейстером и акад. Д.С.Марголиным при двух воздержавшихся – акад. Н.И.Вавилове и акад. М.М.Завадовском. Академики Н.И.Вавилов и М.М.Завадовский, мотивируя свое воздержание при голосовании этого пункта, заявили, что на данной стадии более отчетливо видны отрицательные результаты дискуссии, но что в дальнейшем постановка экспериментов и разработка спорных вопросов окажутся полезными с точки зрения интересов науки»[742].

Понятно, что такая протокольная запись появилась не по желанию Муралова. Угадывается выкручивание рук двум несогласным вице-президентам. Угадывается и то, что первоначальный текст резолюции содержал *политическую* оценку вылазки *классового врага*. Ее пришлось удалить из резолюции, чтобы Вавилов и Завадовский согласились хотя бы *воздержаться*, а не голосовать против. Косвенно это подтверждается сопроводительным письмом А.И.Муралова, направившего резолюцию Кольцову.

О чем обычно говорится в сопроводиловке? Уважаемый Имярек, при сем направляю Вам… и дальше одна-две строчки о том, что именно направляется. Не такова сопроводиловка Муралова. Это целый трактат. Девять машинописных страниц – в духе прокурорских речей Вышинского. Очень выразительный

документ! Но прежде чем его цитировать, необходимо ближе присмотреться к автору.

2.

Клан Муратовых принадлежал к редкому в царской России сословию землепашцев-мещан. Их предками были выходцы из Греции, приманенные в Россию Екатериной II, на пустовавшие земли Причерноморья и Приазовья. Муратовы поселились в «Греческих ротах», в семи верстах от Таганрога. Отец А.И.Муралова Иван Афанасьевич был участником Крымской войны, попал в плен и был вывезен в Англию, где познакомился с А.И.Герценом. Вернулся в Россию сторонником *свободы-равенства-братства.* В таком духе воспитывал детей, коих было одиннадцать душ. Младший из них, Александр, родился в 1886-м. Молодые Муратовы участвовали в революционном движении, наиболее активным из них был Николай Муратов. Когда началась мировая война, Николая Муралова призвали в армию. В окопах он объяснял товарищам-солдатам, как *превратить империалистическую войну в гражданскую.*

В октябре 1917-го Николай Муратов – один из главарей Военно-революционного комитета в Москве. Декрет о переходе в Москве всей власти к Советам подписан Н.И.Муратовым. Он становится командиром Московского военного округа (МВО), у красноармейцев популярна частушка: «Нам не нужно генералов, у нас есть солдат Муралов».

Он комиссарит на фронтах Гражданской войны, потом возвращается на пост командира МВО. Его высоко ценит наркомвоенмор Троцкий. Когда в руководстве партии вспыхивает борьба, Муралов на стороне Троцкого.

Из его выступления на XV съезде ВКП(б) (6 декабря 1927-го):

«Войны закончились, мы перешли к мирному строительству, но перед нами стояли и стоят величайшие задачи строительства социалистического государства, диктатуры пролетариата *(шум)* – первый случай за все время существования человечества. *(Голос с места: "А вы подрываете это строительство!')* Когда происходит однобокая дискуссия, то истина, конечно, выясняется очень трудно или, скорее всего, затемняется. *(Голоса: "Затемнение у васГ)* По отношению к тем, которые не соглашались с политикой, с направлением политики нашего Центрального комитета, были приняты такие меры, которые не слыханы в нашей партии. Ежели кто-нибудь из оппозиции говорил о том, что рабочим нужно увеличить заработную плату, кричали: это – демагогия *(шум),*

ежели говорили о том, что в деревне происходит дифференциация, что растет кулак, что бедняк в забросе, кричали: это – демагогия. *(Голоса: “Это ложь, долой!”, “Он снова излагает платформу!”, “Идите поработайте в деревне!” Шум.)*…В конце концов дошло до сугубых, величайших, неслыханных в партии репрессий по отношению к преданным старым членам партии, революционерам… Обвинили их в том, что они являются агентами Чемберлена. *(Сильный шум. Голоса: “Вы, меньшевики, изменники рабочего класса!')* Товарищи, если любому из вас скажут, что вы убили свою жену, съели своего деда, оторвали голову своей бабке… *(Голос: “Довольно издеваться над съездом и занимать съезд такими нелепыми разговорами!')* как вы будете чувствовать себя, как вы докажете, что этого не было? *(Сильный шум. Крики: “Долой! Председатель, голосуйте вопрос!')* Когда я критикую… *(Шум. Голоса: “Довольно, долойГ)* это значит, что я критикую свою партию, свои действия и критикую в интересах дела, а не ради подхалимства *(сильный шум)»*[743].

На голосование поставлен вопрос: позволить ли Муралову говорить дальше?

«Никто не поднял руки за то, чтобы он продолжал говорить…»[744]

Никто!

А ведь родной брат Николая Муратова Александр сидел в зале. Он с детства тянулся за старшим братом, под его влиянием стал революционером, а затем – видным советским функционером: председателем Нижегородского губисполкома. Он не сторонник Троцкого – в этом они с братом расходятся. Но у него огромный пиетет к Николаю, они дружны, спаяны, как все Мураловы. Он знает, как Николай предан партии и делу рабочего класса. И вот брата сгоняют с трибуны, а он, делегат партсъезда, не смеет поднять руку за то, чтобы Николаю дали договорить!..

Троцкистская оппозиция разгромлена. Н.И.Муралов исключен из партии, сослан в Сибирь. Сперва в какую-то глушь, но вскоре переведен в Новосибирск – это уже милость. Режим и дальше смягчается: ему разрешено раз в год ездить лечиться в Кисловодск, с остановкой на 3–4 дня в Москве. Он их проводит у младшего брата, переведенного в столицу из Нижнего Новгорода. В эти дни в квартире многолюдно: приходят старые партийные товарищи Николая. Некоторые занимают высокие посты. Посещения, конечно, фиксируются.

Но Александр Муралов не запятнан. Он уже замнаркома, нарком земледелия РСФСР, замнаркома земледелия СССР, с 1935-го президент ВАСХНИЛ.

В очередной приезд Николая в Москву (декабрь 1935-го) брат

убеждает его написать покаянное заявление и просить о восстановлении в партии. «Ведь ты не можешь жить без партии» – таков его последний, неотразимый довод.

…Может быть, в этом была их роковая ошибка.

Ссыльный троцкист, отверженный и почти забытый, не так опасен, как восстановленный в правах партиец со связями в кругах партийной элиты. А его покаяние – сигнал к тому, что морально он сломлен, самое время добить.

17 апреля 1936 года Николай Муралов снова был арестован. Сначала не признавал вины, но костоломы НКВД знали свое дело. Доломанного готовили к открытому процессу: «Делу Параллельного антисоветского троцкистского центра». На скамье подсудимых Г.Л.Пятаков, К.Б.Радек, Л.П.Серебряков, Г.Я.Сокольников, Н.И.Муралов – всего 17 человек.

О предстоящем судилище было объявлено, когда Александр Муралов лечился в санатории от радикулита. Он тотчас вернулся в Москву, сошел с поезда на костылях. Это было в первых числах декабря 1936 года. В Кремле проходил «исторический» VIII съезд Советов: на нем была принята

Сталинская конституция. Социализм в отдельно взятой стране был построен, ограничения против «бывших» отменялись, всем гарантировались равные права и свободы, каких не было и не могло быть в странах капитала.

Преодолевая поясничные боли, А.И.Муралов отправился в Кремль: член ВЦИК и ЦИК, он считал себя обязанным присутствовать на съезде. В перерыве его окликнул Сталин. Участливо спросил, почему он прервал отпуск. Муралов ответил, что вернулся, узнав о предстоящем суде над братом.

– Вот что делают! – возмутился Сталин. И тут же успокоил: – Ну что же, разберутся, конечно. Стоило ли лишать себя отдыха? [745]

Судебный спектакль продлится неделю, с 23 по 30 января 1937-го. Всё будет разыграно как по нотам. Все 17 обвиняемых признают себя виновными, 13 из них приговорят к высшей мере. В их числе – Н.И.Муралова.

…О том, что ждет брата, у Александра Ивановича не могло быть иллюзий.

Как и о том, что, когда с братом покончат, возьмутся за него.

И вот ему на стол ложится «антисоветское» письмо Н.К.Кольцова!.. Это же вылазка *классового врага* — ее надобно заклеймить! А два вице-президента уперлись. Им хорошо – они беспартийные. С трудом удалось их уговорить хотя бы воздержаться – но какой ценой? Резолюция стала примиренческой, не большевистской. Уравновесить этот

бесхребетный либерализм может только сопроводительное письмо!

3.

«Вы себя считаете генетиком и Вас считают генетиком. Но я позволю себе Вас спросить: как выглядят Ваши высказывания в свете современных знаний науки, успехов социализма и существования Сталинской конституции, которые (высказывания) хотя и относятся ко времени 1921–1923 гг., но от которых Вы до сих пор нигде не отказались. В “Русском евгеническом журнале” Вы писали: “Опустошения, производимые в культурном человечестве эпидемиями чумы, холеры, оспы и тифов, а также и туберкулезом, могут быть рассматриваемы как отбор слабых конституций, являющийся в расовом смысле благодетельным для физиологического здоровья расы”».

В других Ваших писаниях в том же журнале не меньше мракобесия, чем в приведенном мною. Вы пишете:, “Было бы достаточно предположить, что законы Менделя были открыты всего веком раньше: русские помещики и американские рабовладельцы, имевшие власть над браком своих крепостных и рабов, могли бы достигнуть, применяя учение о наследственности, очень крупных результатов по выведению специальных желательных пород людей”.

Если Вы имеете в виду такую “науку”, такие “теории”, когда пишете о разгроме генетики, то Вы правы, что такую науку в советской стране будет громить всякий честный ученый».

Разумеется, цитаты из работ Кольцова, превращающие его в *расиста* и *классового врага*, выдернуты из контекста, где у них совсем другой смысл. Полагаю, что вдохновляющим стимулом для А.И.Муралова был – *СТРАХ ОБРЕЧЕННОГО*. Возможно, он еще питал иллюзорную надежду – выплыть из омута, куда его втягивала круговерть сталинского террора. Ведь надежда умирает последней.

4.

Копии своей сопроводиловки, «разоблачающей» Н.К.Кольцова, А.И.Муралов послал ряду лиц, этим, похоже, и ограничился.

Зато Я.А.Яковлев выступил с большой речью, и она была широко распубликована:

«Теория о том, что в центрах происхождения концентрируется вся наследственная система форм вида, что там представлено всё богатство сортов так же, как и идея неизменности запаса генов, присущих тем или иным народам, или, родственная этой идее, идея особой ценности генов, присущих народам арийской расы, – несовместимы с учением Дарвина о развитии».

Таким же манером Я.А.Яковлев расправлялся с законом гомологических рядов, после чего заключал:

«Дарвинисты не против генетики, но дарвинисты против фашистского извращения генетики и фашистского использования генетики в политических целях, враждебных прогрессу человечества.

Дарвинисты не против генетики, но дарвинисты против превращения генетики в науку, имеющую своей задачей доказать недоказуемое – неизменность генов.

Дарвинисты не против генетики, но дарвинисты против легкомысленных попыток использовать лжегенетику для низвержения теории развития Дарвина.

Речь идет о том, чтобы обеспечить дальнейшее развитие генетики с точки зрения теории развития, обеспечить развитие генетики как науки вместо превращения ее в служанку ведомства Геббельса» [746] **.**

Николай Вавилов по имени не назван, но названы его основные открытия: теория центров и закон гомологических рядов, так что было понятно, в кого направлен этот пучок ядовитых стрел.

Над Яковлевым тоже тяготел *СТРАХ* – липкий страх, от которого холодеет под ложечкой и мутится в голове. Спасения уже не было, но *надежда* теплилась: а вдруг он удержится над пропастью, столкнув в нее академика Вавилова…

За Мураловым пришли в июле.

За Марголиным и Мейстером в августе.

За Яковлевым – 12 октября.

Все *признались* во всем. Были приговорены к высшей мере, расстреляны.

Но это было уже во второй половине кровавого 1937-го.

А пока страна *извлекала уроки* из январского процесса *Параллельного антисоветского троцкистского центра.* На февральско-мартовском пленуме ЦК ВКП(б) товарищ Сталин *поставил задачу*: усилить борьбу с вредителями и врагами народа. Как раз в дни работы пленума, вероятно, для наибольшего устрашения, объявили об аресте Бухарина и Рыкова

– лидеров *правой* оппозиции, объявленной тоже *троцкистской.* Третий лидер, Томский, был уже недосягаем: в августе предыдущего, 1936 года он пустил себе пулю в лоб.

Тогда страна и мир, затаив дыхание, следили за судилищем над главарями *левотроцкистской* оппозиции: Зиновьевым, Каменевым и 14-ю их подельниками. Этот процесс почему-то величают Первым, как будто не было Дела Промпартии и Меньшевистского центра в 1931-м, Шахтинского дела в 1928-м, процесса эсеров в 1922 году и многих других…

Подсудимые на троцкистско-зиновьевском процессе хорошо выучили свои роли. Они охотно рассказывали о своих злодействах и злодейских планах. На одном из заседаний Зиновьев «вдруг» заявил о соучастии *правых* лидеров: Бухарина, Рыкова и Томского.

Из Политбюро все трое давно были удалены, сняты с постов, давно и многократно покаялись в ошибках и заблуждениях. Превозносили вождя и учителя, который ведет партию и народ от победы к победе. Ни одному их слову Сталин не верил. Он не мог спать спокойно, пока кто-то из *бывших* противников оставался живым. Его *диалектическая* философия была проста: есть человек – есть проблема; нет человека – нет проблемы. Меньше *человеков* — меньше проблем.

После показаний Зиновьева стало ясно: песенка лидеров бывшей правой оппозиции спета. Но только у Томского достало решимости уйти из жизни, не подвергаясь глумлению и истязаниям. Вспомнил ли он, как *голоснул за расстрел* шахтинцев в не таком уж далеком 1928-м?..

С расправой над теми, кого знала страна, Сталин не спешил. Ситуация должна была созреть: каждому овощу свое время. Сперва надо было наполнить атмосферу *всеобщим ожиданием* расправы, дабы за расправой последовало *всеобщее одобрение.*

5.

29—30 марта *исторические* решения февральско-мартовского пленума ЦК обсуждались на активе Академии наук, на 20 мая назначили общее собрание. Докладывал в обоих случаях непременный секретарь Академии Н.П.Горбунов.

С первых дней советской власти Николай Петрович был приводным ремнем между Кремлем и наукой. Пост управляющего делами Совнаркома – при Ленине, затем при Рыкове Горбунов совмещал со многими другими постами. При образовании ВАСХНИЛбыл назначен вице-президентом, но отстранен после

удаления Рыкова. Должен был расстаться и с постом председателя Совета ВИРа. Вавилов, от имени научной коллегии, послал ему прочувствованное приветствие, просил «принять титул почетного члена Всесоюзного института прикладной ботаники и новых культур»[747].

Оттертый от центра политической власти, Горбунов отправился на Памир – главой комплексной таджико-памирской экспедиции. Лично участвовал в открытии и покорении высшей точки на территории СССР, назвал ее пиком Сталина[748]. Из десятков участников восхождения до вершины дошел один: альпинист-рекордсмен Евгений Абалаков. Двое участников погибли; другие отстали и вернулись. Только Горбунов шел с ним почти до конца, не дотянув до вершины двух-трех десятков метров…

В 1935 году Н.П.Горбунов стал академиком и сразу же – непременным секретарем. Коммунист занял ключевой пост в руководстве Академии наук. Осуществилось давнее стремление власти – взять ее под *прямой* контроль. Теперь ни один шаг Академии, ни одно шевеление пальцем не могло ускользнуть от недреманного государева ока…

На активе непременный секретарь призвал «поднять на высокий уровень» политическую подготовку академиков». Он поставил в пример В.Р.Вильямса, который «основательно изучает марксизм», и попенял Н.И.Вавилову и В.И.Вернадскому, которые «говорят, что они уже изучили марксизм»[749].

О том, что означала эта легкая разминка, обнажилось на общем собрании Академии.

Доклад непременного секретаря длился около трех часов и был всеобъемлющим. Он охватывал все области науки – от физики и математики до языкознания, от географии и геологии до экономики, от астрономии до микробиологии. Такова была скорлупа. Ядрышка чистый изумруд оказался в середине доклада, когда он заговорил об Институте генетики.

Его достижения:

«Ряд работ по изучению природы и свойств вещества, лежащего в основе наследственности».

«Получены новые данные о размере и числе генов и о связи их с видимыми структурами хромосом».

Получены «доказательства увеличения числа генов в процессе эволюции путем их перераспределения» [?].

«Доказательства сложности генетической природы признаков организма и тому подобное».

«Закончена обработка материалов по скрещиванию твердой

пшеницы с мягкой, получен ряд константных гибридов пшеницы с ценными хозяйственными качествами. Одна из этих форм нормально созрела в Хибинах без яровизации, однако сорт еще окончательно не проверен».

«Подготовлена к печати экспериментальная работа “Сравнительная феногенетика важнейших культурных растений в целях разработки теории подбора пар для скрещивания” (акад. Вавилов)».

«Проведены также некоторые работы по генетике домашних животных, не давшие еще, однако, практических результатов»[750].

И всё это сделано за неполных четыре года существования Института?!.

Ведь Институт генетики был создан в 1933 году – на базе крохотной лаборатории, унаследованной Вавиловым от Филипченко. Столь крупные достижения в такой короткий срок! Да за это всех сотрудников и, прежде всего, директора следовало осыпать орденами и денежными премиями. Г.К.Мейстер, как помним, был награжден орденом Ленина за сорта, которые выводил лет двадцать в Саратове. А тут – стойкие отдаленные гибриды главного хлеба земли, вызревающие за полярным кругом!

Однако, пробормотав несколько фраз за *здравие*, непременный секретарь затянул молитву – за *упокой*.

Оказалось, что Институт генетики *«остается верен своим механистическим позициям»*.

«Основной недостаток работы Института генетики – это отрыв его от практики и от разрешения ряда теоретических вопросов большого принципиального значения, возникших за последние годы в генетике».

Значит, константные гибриды пшеницы, вызревающие в Хибинах, это не практика?! Углубленное понимание природы генов и их связи с эволюцией – это отрыв от теории?!

«В плане института превалируют незначительные темы, нет ведущих проблем, тематика часто отвлеченна. Например, проблемы гена и мутации изучаются преимущественно на дрозофиле. Генетика географической изменчивости животных изучается на божьей коровке. Имеют место темы, не представляющие никакого практического или научного интереса (работа по изучению окраски и пегости лошадей)».

Понимал ли непременный секретарь, о чем говорил с высокой трибуны? Окраска *лошадей* изучается на *божьей коровке*?!.

Но дальше больше. Мелкотемье и отрыв от практики

переходят в подрыв *«передовой биологии Мичурина и Лысенко»*, в *саботаж* и *вредительство*.

«Институт не помог разрешению проблемы о поднятии урожая до 7–8 миллиардов пудов. На теоретическом фронте Институт генетики занял явно неверную позицию <…>. Дискуссия по вопросам генетики показала, что некоторые теоретические положения представителей так называемой классической (формальной, метафизической, факториальной) школы генетиков являются по своему социальному (политическому) содержанию научной базой фашистской политики о неравноценности отдельных рас, национальностей, народностей и противоречат национальной политике коммунистической партии и советской власти, зафиксированной в Сталинской конституции. <…>

Так, например, Мичурин и Лысенко, высоко поднявшие научное знамя Дарвина и Тимирязева и обогатившие советскую науку важнейшими открытиями (отдаленные скрещивания, управление индивидуальным развитием растений, открытие стадийного развития растений, изменение генотипа растений в зависимости от среды и условий его развития), не только не получили полного признания среди ученых старой генетической школы, но и встретили явно отрицательное отношение к себе, выразившееся в замалчивании этих научных открытий или в простом отрицании их научной ценности. Этот момент приходится особо отметить, потому что Институт генетики Академии наук в этой дискуссии занял руководящую роль в борьбе против прогрессивных научных положений акад. Лысенко. Институт генетики в этом случае оказался центром, где формировались и вырабатывались специальные доклады, направленные против Лысенко.

В дискуссии против Лысенко от Института генетики выступали акад. Вавилов, акад. Сапегин, проф. Костов, проф. Мёллер, которые фактически объединили вокруг себя и возглавили всю группу ученых, настроенных против теоретических положений Дарвина, Тимирязева и, конечно, Лысенко. Институт генетики Академии наук фактически объединил вокруг себя и таких ученых, которые в своих евгенических работах проповедовали и проповедуют явно фашистские теории (проф. Кольцов) <…>. Генетический институт Академии наук не только не раскритиковал фашистские бредни проф. Кольцова, но даже не отмежевался от его “теорий”, льющих воду на мельницу расистских теорий фашизма»[751].

Нелегко подсчитать, на сколько смертных приговоров Вавилову наговорил непременный секретарь Горбунов – недавний председатель Совета ВИРа, помогавший Вавилову в организации экспедиций, в открытии новых опытных станций, в приведении в порядок «глобуса».

Им тоже владел *СТРАХ* — пополам с призрачной надеждой, что если посильнее ударить по Вавилову *передовым учением Мичурина и Лысенко*, то – чем черт не шутит – уродливая старуха с косой пройдет мимо!

Ни в левой, ни в правой, ни в какой другой оппозиции Горбунов не участвовал, но он был *человеком Рыкова.*

Приобретенный признак прирос к нему намертво – не отдерешь. Не помог и *пик Сталина.*

Поставив Горбунова непременным секретарем Академии наук, вождь к нему не переменился. Горбунов это чувствовал, знал. Он *слишком много знал.*

За два месяца до ареста его исключили из партии. Еще через месяц восстановили, чем снова вселили надежду. Сталин любил такие игры с намеченными жертвами.

А.Н.Горбунов (сын Н.П.Горбунова): «За две недели до ареста он пришел к нам в Козицкий переулок – мои родители развелись, и я жил с матерью – и оставил у мамы завещание, короткое письмо для меня и сестры, в котором призывал нас: что бы с ним ни случилось, быть преданными делу коммунизма»[752].

С ним *случилось* 19 февраля 1938-го.

Через полвека его сыну удалось познакомиться с делом отца. Ни слова о работе в Совнаркоме в нем не оказалось. Следователей интересовали *только* памирские экспедиции. Они проводились в содружестве с немецкими учеными – это был «шпионаж».

7 сентября Горбунов был приговорен к высшей мере. В тот же день приговор приведен в исполнение.

Близким сообщили стандартное: десять лет без права переписки.

Лишь пятьдесят лет спустя сын узнал истинную дату его смерти. Место расстрела и погребения установить не смог…

6.

При обсуждении доклада непременного секретаря выступил академик Н.И.Вавилов. Ни разу не назвав Горбунова по имени: только непременный секретарь. Возражал не человеку, а его *должности.*

Вавилов напомнил, что Академия наук, избрав лидера классической генетики Томаса Моргана почетным членом, признала выдающиеся заслуги Моргана и морганизма, а непременный секретарь Академии подверг разносу «формальную» генетику как якобы бесплодную. Николай Иванович отверг обвинения в недооценке достижений Мичурина, напомнив, что ему «пришлось первому оформить, издать и редактировать» сборник работ Мичурина и что Институт генетики и ВИР «больше, чем какое-либо учреждение Европы, работает в области подлинной гибридизации, по существу, продолжая дело Ивана Владимировича Мичурина».

Вавилов напомнил, что работы Дончо Костова по отдаленной гибридизации злаков удостоены премией ВАСХНИЛза их большую ценность для практики, в докладе непременного секретаря об этом не упомянуто. Что же касается евгеники, обвиняемой в фашизме, то Вавилов никогда ею не занимался и не планирует заниматься, «ибо и без того велик раздел, который приходится охватывать в работе». «Во всяком случае, так связывать нас с проблемами рас, я думаю, что не стоит. Не нужно»[753].

То был ответ не только Горбунову, но и Яковлеву, и Муратову, и всем, кто пытался его причислить к *ведомству Геббельса.*

Вавилов трижды упомянул Германа Мёллера, который не раз выступал с докладами в Академии наук, и его «блестящие» работы «вызывали общее восхищение».

Сам член-корреспондент Мёллер был далеко, в Мадриде, осажденном мятежными войсками генерала Франко. Работал в службе переливания крови, спасал раненых республиканцев.

Какая козырная карта была в руках у Николая Ивановича! Но он ни слова не сказал о том, что пока здесь честят генетику за «формализм», «морганизм» и «фашизм», ведущий морганист и сотрудник Института генетики, рискуя жизнью, не на словах, а на деле воюет с фашизмом.

Ю.Я.Керкис: «После победы Франко Мёллер вернулся в Москву в очень подавленном состоянии и в конце 1937 г. уехал в Эдинбург, куда он вскоре увез свою семью. Больше в СССР он не приезжал»[754].

Р.Л.Берг: «Вавилов отправился на очередное заседание, и я была единственным человеком, провожавшим Мёллера, когда он навсегда покидал Россию. В кабинете Вавилова

Мёллер оставил заявление, мотивирующее его отъезд. Он чуть было не захлопнул дверь квартиры, помедлил, вернулся в кабинет на миг, и мы вышли. Он объяснил мне причину

задержки: “Я написал в заявлении, что вернусь через два года. Я переправил. Я вернусь через год”. Он не вернулся никогда»[755].

7.

В разгар ежовщины исчезли самые видные покровители Т.Д.Лысенко: Я.А.Яковлев, «в зародыше подхвативший яровизацию», нарком М.А.Чернов, А.И.Муратов, ученый секретарь ВАСХНИЛМарголин, Н.П.Горбунов… Казалось бы, такая кардинальная прополка на Олимпе сельхознауки должна была зацепить и Трофима Денисовича. Как минимум бросить на него тень.

Ничего подобного! Он заявил, что *враги народа*, перед коими он вчера еще лебезил, *недостаточно* поддерживали мичуринское учение, в том и состояло их *вредительство*.

После ареста Муратова завотделом науки ЦК Карл Янович Бауман «докладывал» Сталину и Молотову, что Президиум ВАСХНИЛ «по политическим и деловым качествам его членов не обеспечивает деловое руководство сельскохозяйственной наукой». «Вице-президент ак. Вавилов Н.И., *как известно*, группирует вокруг себя наиболее консервативные и реакционные кадры сельскохозяйственных ученых», а «Т.Д.Лысенко, *как известно*, новатор в области генетики и селекции, ведет резкую борьбу с господствующей школой формальной генетики» (курсив мой. – С.Р.)[756].

То, что Вавилов *реакционер*, а Лысенко *новатор*, – не личное мнение К.Я.Баумана: это *известно*.

Бауман предложил две кандидатуры на пост президента ВАСХНИЛ: Мейстера и Лысенко. По представлению еще *не изъятого* наркома М.А.Чернова, исполняющим обязанности президента был назначен Г.К.Мейстер.

Через месяц и он был *изъят* органами НКВД. Затем Чернов и Бауман[757].

Новатор, который *ведет острую борьбу с формальной генетикой*, стал президентом ВАСХНИЛ.

В круге шестом

1.

Вавилов продолжал работать с прежним напряжением сил.

Каждое лето он объезжал опытные станции ВИРа. О том, как проходили такие поездки, есть свидетельство Германа Мёллера.

«Было действительно большим счастьем, когда Николай Иванович взял с собой меня, своего сына Олега и армянского агронома Туманяна, моего американского ассистента Оффермана в длительную поездку (главным образом на автомобиле) по Кавказу и Закавказью, где мы посетили руководимые им селекционные станции. <…> Проезжая по горной местности или по полям, он всегда живо подмечал виды растений, как диких, так и культурных, состояние агротехники и пр. Из всего, что представало перед нашим взором, он стремился извлечь уроки и для теории, и для практики и восторженно делился своими наблюдениями и соображениями со спутниками, которые чувствовали себя слепцами по сравнению с ним. Более того, он без конца рассказывал о далекой истории (вплоть до мифологии) и о современном состоянии тех мест, которые мы посещали, обращал наше внимание на археологические памятники и иные достопримечательности. С местными жителями он держался всегда очень приветливо, и они платили ему дружелюбием»[758].

Став невыездным, Вавилов особенно много внимания уделял Кавказу. По его представлениям, Кавказ вместе с Передней Азией составляли отдельный центр происхождения культурных растений. Здесь были найдены эндемичные виды древних пшениц. Их изучение привело Вавилова к мысли, что именно в этом регионе, на заре цивилизации, был введен в культуру «главный хлеб Земли». Этим решалась загадка, много лет мучавшая Вавилова: как могло получиться, что центр мягких пшениц (42 хромосомы) в Афганистане, а твердых (28 хромосом) – в Эфиопии? Оказалось, что самые примитивные (14-хромосомные) формы пшеницы были введены в культуру в Передней Азии, оттуда проникли на Восток, где локализовался очаг форм с утроенным набором хромосом, и на Запад – с удвоенным. Как более продуктивные, эти виды потом пришли в Переднюю Азию, а первичные формы были ими вытеснены из культуры. Сохранились лишь дикие разновидности, найденные когда-то Аароносоном и в 1926 году – в более широком ассортименте – самим Николаем Ивановичем.

На Кавказе велась работа по освоению влажных субтропиков, по интродукции новых для Советского Союза культур. Хинное дерево! Оно давало дорогой лечебный препарат хинин – единственное тогда средство против малярии. Эпидемии этой болезни были распространены по всему миру, ежегодно уносили тысячи, если не миллионы жизней. За отсутствие культуры хинного дерева Советская Россия расплачивалось золотом и валютными резервами.

Хинное дерево – растение тропиков; родина его – Перу, Боливия, Эквадор; оно не могло зимовать даже в самых южных республиках СССР, включая кавказские.

Под руководством Вавилова ученые Сухумского питомника создали оригинальный метод, позволявший культивировать это растение как однолетнее. Осенью и зимой рассаду хинного дерева выращивали в парниках и оранжереях, а весной высаживали в открытый грунт. За лето саженцы достигали метровой высоты и давали хороший урожай хинина.

Здесь же велись работы по освоению культуры чая и цитрусовых: лимона, мандарина, апельсина, грейпфрута. В России это были заморские деликатесы, подавляющее большинство населения их никогда не видело. Вавилов считал, что страну можно избавить от импорта и этих культур.

В те же годы Вавилов работал над многотомным трудом, который должен был стать «синтезом конкретных знаний о мировых сортовых ресурсах важнейших культурных растений как основы практической селекции в целях повышения количества и качества сельскохозяйственной продукции применительно к различным условиям».

Он успел закончить два тома этого гигантского труда. Первый том – как бы вводный. В нем впервые в мировой литературе излагались основные принципы агроэкологической классификации культурных растений, весь «глобус» был рассмотрен под углом зрения селекционера-агронома. Второй том Вавилов посвятил своей излюбленной культуре – пшенице.

2.

А в «Яровизации» одна сенсация появлялась за другой. Тут и переделка пленчатого ячменя в голозерный, и «вегетативные гибриды», и выведение сортов за один год. Лысенко продолжал ставить рекорды, но каждое его новое положение проверялось сотрудниками Вавилова – либо в Институте растениеводства, либо в Институте генетики. И – не подтверждалось.

Бывали здесь и свои трагикомедии.

Лысенко давно уже объявил законы Менделя несуществующими и поручил своей сотруднице Н.И.Ермолаевой опровергнуть их на опыте, что она и сделала. Торжествуя победу над законами Менделя, она писала в статье, опубликованной в журнале «Яровизация», что «сроки, масштабы, а главное, результаты, предусматриваемые теорией менделизма, непригодны для нашей советской действительности»[759].

Дабы придать опровержению «антисоветских» законов Менделя как можно более громкое звучание, Лысенко в том же номере «Яровизации» напечатал «философскую» статью И.Презента «О лженаучных теориях в генетике»[760], а в следующем номере – статью математика и философа-марксиста Э.Кольмана «Извращения математики на службе менделизма»[761]. Кольман раскритиковал работу сотрудника Института генетики Т.К.Енина «Менделизм в селекции гороха», которая была представлена А.А.Сапегиным и напечатана в журнале, выходившем под редакцией Н.И.Вавилова[762].

Парадокс состоял в том, что, не в пример другим опытам лысенковцев, «гороховые» опыты Ермолаевой были поставлены чисто, в большом масштабе. Полученные ею данные в основном совпадали с данными Енина, хотя выводы были противоположные.

А.С.Серебровский привлек в качестве третейского судьи академика А.Н.Колмогорова, крупнейшего математика, лучшего в СССР и, может быть, в мире знатока теории вероятностей. Проанализировав данные Ермолаевой, Колмогоров установил, что они полностью укладываются в основное правило Менделя. В его статье под названием «Об одном новом подтверждении законов Менделя» говорилось:

«Статистический анализ уклонений от отношения 3:1 дает новый, более тонкий и исчерпывающий способ проверки менделевских представлений о расщеплении признаков. Задачей настоящей заметки является указание наиболее рациональных, по мнению автора, методов такой проверки и их иллюстрация на материале работы Н.И.Ермолаевой. Материал этот, вопреки мнению самой Н.И.Ермолаевой, оказывается блестящим новым подтверждением законов Менделя»[763].

Хотя на административной лестнице в биологической науке Лысенко уже стоял на верхней ступени *(достиг верховной власти)*, положение его оставалось шатким.

Выскакивая с новыми предложениями и требуя их скорейшего внедрения в практику, страстно защищая их от

неизбежной в таких случаях критики, Лысенко отрезал себе пути к отступлению. Он не испытывал природу, а навязывал ей свои представления. Но умозаключения, не опирающиеся на факты, в науке стоят мало. Лысенко вынужден был хвататься за любой факт, за любой самый подозрительный в смысле методической безупречности опыт, чтобы подтвердить свои фантазии…

Генетики это отлично понимали, и Лысенко знал, что они это понимают. Спасение было в одном: опираясь на силу сталинского режима, запугивать оппонентов и устранять с дороги тех, кого не удавалось запугать.

В 1937 году Наркомат земледелия поручил ВИРу в короткий срок составить проект государственной системы семеноводства. Для практики сельского хозяйства не было более насущной задачи, ибо с начала коллективизации, когда была ликвидирована талановская Госсемкультура, семеноводство в стране было крайне запутано.

Вавилов организовал и возглавил комиссию из лучших специалистов, подготовил Докладную записку, но она залегла на много месяцев в столе у наркома.

А затем… затем было решено создать новую комиссию – во главе с Лысенко.

Когда Лысенко представил свой проект, оба были опубликованы «для широкого обсуждения», результат которого был заранее известен.

Сопоставление двух проектов ясно показывало, какая пропасть разделяет два лагеря биологической науки.

Комиссия Вавилова предлагала простую и ясную систему семеноводства, давно апробированную и показавшую свою жизнеспособность.

По этой системе первый этап размножения сортовых семян проводила селекционная станция, на которой выведен данный сорт. Она должна ежегодно выращивать супер-элиту – семенной материал высочайшего качества и чистоты.

Выбраковав из полученного урожая все замеченные уклонения от стандарта, станция либо семеноводческий совхоз под ее контролем выращивает элиту.

Элитные семена поступают в семеноводческие совхозы первой генерации, урожай первой генерации поступает в хозяйства второй генерации, и так до тех пор, пока семена будут размножены в нужном количестве для обеспечения всех хозяйств, возделывающих данный сорт. Подсчеты показывали, что в большинстве случаев достаточно трех генераций. На каждом этапе должна вестись выбраковка уклонений от стандарта, дабы

качество сорта не ухудшалось в процессе размножения.

Так как, вопреки предостережениям генетиков, во многих семеноводческих хозяйствах проводились инициированные Лысенко внутрисортовые скрещивания, в проекте Вавилова предлагалось строго изолировать участки, выделяемые под эти опыты, дабы не портить чистосортный семенной материал. Чистота его на всех этапах размножения должна была быть не ниже 99,5 процента.

Схема Вавилова во многом повторяла схему Госсемкультуры Лисицына и Таланова, переориентированную на колхозно-совхозную систему.

В противоположность этой четкой схеме проект Лысенко состоял из общих мест и трескучих фраз. Никакой *системы* семеноводства в нем не было. Он лишь описывал схему, применявшуюся в Одесском селекционно-генетическом институте, которая не была апробирована. В лучшем случае она годилась для эксперимента, но не для практического использования в широком масштабе. Да и Лысенко приводил ее лишь для «иллюстрации», так как она «отнюдь не является единственной для улучшения качества разных сортов, разных культур в различных районах».

«Обязательным же, по мнению комиссии [Лысенко], является признание, что условия воспитания растений не могут оказаться бесследными для последующих поколений. Задача каждой селекционной станции заключается в разработке системы мероприятий, отвечающих данному требованию улучшения качества семян путем воспитания растений на всех стадиях станционной семеноводческой работы».

Иначе говоря, никакой *системы* семеноводства не требовалось! Нужно лишь *улучшение* семенного материала путем *воспитания*.

Окончательное решение было за Наркоматом земледелия СССР.

Возглавлял его теперь И.А.Бенедиктов – первый нарком земледелия с высшим агрономическим образованием. Профессионально он был лучше подготовлен, чем Я.А.Яковлев или М.А.Чернов. Но он окончил экономический факультет и в семеноводстве разбирался не лучше своих предшественников.

Зато он знал, чем кончили его предшественники, и хорошо помнил, что они «недостаточно» поддерживали Трофима Лысенко.

В 1939 году Наркомзем разослал инструкцию, которая *обязывала* селекционные станции страны изменить методику выведения и размножения сортов, поставив во главу угла

воспитание растений. О сортовом семеноводстве можно было забыть.

3.

Хотя непременный секретарь Н.П.Горбунов исчез в кощеевом Зазеркалье, посеянные им семена дали всходы и в *Большой* академии. Президиум принял решение, четко определявшее позицию высшего научного учреждения страны:

«Институт генетики АН СССР не только не боролся с враждебными вылазками на биологическом фронте, но объективно способствует развитию таких возможностей. Основной причиной такой работы института является то, что в основу его деятельности была положена теория Н.И.Вавилова – “закон гомологических рядов”, которая с известными поправками признается им и теперь, а также то, что институт игнорировал в своей работе теоретические достижения крупнейших биологов советской науки – Мичурина и Лысенко»[764].

Клещи смыкались.

А дискуссии вспыхивали постоянно. При обсуждении работ научных учреждений и отдельных работников. В Президиуме ВАСХНИЛ. В биологическом отделении Академии наук… Не все они находили отражение в печати, не всегда стенографировались. Но это не значит, что от них не осталось никаких следов. В архиве геолога академика И.М.Губкина его биограф Яков Кумок обнаружил блокнот с конспективными записями совещания в Институте генетики. Среди выступавших Вавилов, Келлер, Лысенко, Сапегин.

«Спор может быть разрешен только опытом», – записал Губкин слова Вавилова[765].

Опытом. Казалось бы, чего проще! Создать комиссию из представителей обоих направлений, разработать совместно методику опытов и поставить их. Генетики не раз выдвигали такое предложение. Но Лысенко его отвергал: с *ними* — «менделистами-морганистами» – он сотрудничать не желал.

Давно уже каждому из серьезных ученых стало ясно, что Лысенко не просто заблуждается. Ему нужна власть, а не научная истина. Он жаждет победы любой ценой над всеми, кто не желает ему покориться.

Вавилову советовали обратиться в правительство и ЦК партии с просьбой внимательно и непредвзято разобраться в положении, сложившемся в биологической науке. На это он отвечал:

– Если позовут, бегом побегу, а напрашиваться не буду.

Однако, без его ведома, друзья договорились о его встрече со вторым секретарем ЦК ВКП(б) А.А.Андреевым. Поставленный перед фактом, Вавилов поехал в Москву. К зданию ЦК его провожал Антон Романович Жебрак, завкафедрой генетики в Тимирязевской академии. Жебрак был членом партии со времен Гражданской войны, имел связи в кругах партийной элиты; видимо, он и помог организовать эту встречу.

Проводив Николая Ивановича до цековского подъезда, Жебрак поджидал его в ближайшем скверике. Когда Вавилов вышел, бросился к нему с вопросом:

– Ну, как?..

– Э, батенька, плохи наши дела. Сам Андреев его боится.

С Антоном Романовичем мне довелось встретиться незадолго до его неожиданной смерти в 1965 году. Воспроизведя эти слова Вавилова, он сказал и о том, какая мысль промелькнула у него тогда в голове: «Вот до чего довели Николая Ивановича! Ему уже кажется, что страшнее Лысенко зверя нет. Мыслимое ли дело, чтобы второй секретарь ЦК боялся Трофима».

Жебраку предстояло убедиться, что Вавилов не преувеличивал. Второй секретарь ЦК *боялся* колхозного ученого, потому что лучше других знал, на чьей стороне генеральный секретарь.

4.

Во время очередной поездки Вавилова на Кавказ Лысенко, властью президента ВАСХНИЛ, переформировал Ученый совет ВИРа. Более беспардонного вторжения во внутреннюю жизнь Института еще не было.

Вавилов вынужден был протестовать, но куда обращаться?

Он послал письмо Второму секретарю ЦК А.А.Андрееву, хотя знал, что тот сам боится Лысенко. Копию – наркому земледелия И.А.Бенедиктову, рьяному стороннику Трофима Денисовича, в сущности, его ставленнику. Больше апеллировать было не к кому.

В письме Вавилова дана сжатая характеристика каждому из удаленных членов Ученого совета: Г.Д.Карпеченко, Г.А.Левитскому, Л.И.Говорову, Е.В.Вульфу, Г.М.Поповой, Н.А.Базилевской, Ф.Х.Бахтееву, Н.Р.Иванову, В.СЛехновичу, А.И.Мордвинкиной… Всего Лысенко удалил из Ученого совета 11 докторов и 16 кандидатов наук – цвет ВИРа и всей растениеводческой науки страны.

Вавилов указал и на то, что новоназначенных членов Ученого

совета он «не мог бы представить, учитывая требования, предъявляемые к члену Ученого совета учреждением большой квалификации». «Заслуги» каждого сводились к одному: к личной преданности Трофиму Денисовичу.

Никто из них не оставил следа в науке. Некоторую, отнюдь не позитивную, известность приобрело лишь имя Б.Г.Поташниковой, жены Презента. Она работала в Отделе генетики и на кафедре генетики ЛСХИ – под руководством Карпеченко. После его ареста возглавила кафедру.

В письме Вавилова говорилось, что учиненный президентом ВАСХНИЛпроизвол «является случаем совершенно исключительным в истории советской науки»; что это «недопустимое сведение счетов путем административного вмешательства»; и что если постановление президента ВАСХНИЛбудет введено в Институте, то «директору его, а также изъятым из Совета руководителям разделов придется выйти из состава Института»[766].

Как ни странно, письмо возымело действие!

Где-то на самом верху решили, что устранять Вавилова еще рано. Приказ о реорганизации Ученого совета ВИРа был отменен. С.П.Хачатурова не утвердили заместителем директора, чего добивался Лысенко. Однако, после небольшой паузы, был утвержден С.Н.Шунденко – тоже через голову директора. Вавилов снова протестовал, но уже безрезультатно.

5.

Степан Николаевич Шунденко пришел в ВИР аспирантом. Его научным руководителем был Михаил Иванович Хаджинов, «король» кукурузы. Шунденко никак не мог написать диссертацию, но он был *партиец.*

«Неспособность к научно-исследовательской работе эти аспиранты компенсировали высокой общественной активностью. На всех собраниях они выступали против Вавилова, клевали его по разному поводу»[767].

Атмосфера в Институте была уже такова, что если у аспиранта-партийца что-то не получалось, то виноват был научный руководитель. Хаджинова вызвали в партком. На попытку объяснить, что *этот* аспирант не способен к научной работе, ответили: «Не могли научить – пишите за него сами».

Хаджинов написал – Шунденко *остепенился.* И его сделали вторым лицом в ВИРе. А если учесть, что директор был беспартийный, да еще с клеймом *буржуазного* специалиста,

реакционера, противника *передовой мичуринской биологии*, то станет ясно, что реальной власти у Шунденко было больше, чем у директора. Не было особым секретом и то, что он «по совместительству» *сотрудничает.*

Е.Н.Синская вспоминала: «Степан Николаевич Шунденко – человек очень неприятный, вернее сказать, страшный. Взгляд его черных глаз выдавал его как человека жестокого до крайности. Он никому не склонен был подчиняться, любил передергивать факты, задавать каверзные вопросы, за всеми следил и всюду проникал, неожиданно появлялся, отличался тихой хищнической походкой. Его ближайшим и столь же энергичным соратником стал Шлыков»[768].

Шунденко проводил закрытые совещания аспирантов, на них вырабатывалась линия борьбы с Вавиловым и вавиловцами.

«Аспирантура у нас здоровая, – заявлял Шунденко, – исключительно здоровая, а вот если бы не было противоречий в теоретических вопросах между руководителями и аспирантами, тогда бы аспирантура была нездоровая».

Об основной причине «разногласий» говорили многие вировцы, например Н.А.Базилевская: «Не бывает ли так, что под личиной непонятости руководителя и теоретического несогласия скрывается нежелание работать, нежелание нести свою тему».

Чего требовал от аспирантов Вавилов?

«Мы ждем, чтобы, закончив аспирантуру в определенной группе, вы по своему разделу стояли на глобусе. Что такое глобус? Это – знание уровня науки, методов и знание динамики научного творчества, а специфика нашей научной работы в чем заключается? В том, что если вы пришли в науку, то вы обречены работать над собой до гробовой доски. Только тогда мы являемся научными работниками, если мы движемся. Мир весь движется, каждый месяц приносит новые ценности, поэтому надо научиться регулярно следить за пульсом, который имеется у глобуса, следить за всеми книгами, которые выходят по вашему разделу научной работы, знать даже, какие книги должны появиться, какие работники по вашему разделу работают, даже уметь сноситься с ними, ставить перед ними вопросы. Будьте покойны, что если вы основательно поставите вопрос перед самим Морганом, он вам ответит, даже сидя в Калифорнии, он может вами руководить. Здесь существует этика, это этика дружбы, человечности, правило взаимопомощи. Если пошлете Моргану оттиск вашей работы, он пошлет в ответ свои работы. Завязывайте связи в молодости. Овладевайте иностранными языками – это орудие, это основной метод. Ничего трудного в изучении языков нет. Есть самые ординарные люди – пятью

языками владеют. Встав с утра, не под вечер, когда в голове туман, 3 часа позанимайтесь языками – английским, немецким, испанским, итальянским, и в пару лет 2–3 языка одолеете».

Изучать языки? Следить за мировой литературой? Вести тщательно продуманные эксперименты? Зачем, если можно добиться успеха, читая лишь один журнал – «Яровизация»? Нужно лишь погромче кричать о несогласии с *буржуазной* наукой да восхищаться *новатором* Трофимом Денисовичем.

Вавилов говорил: «Я могу ошибаться, стоять на другой позиции, но я знаю много фактов. Эти факты, может быть, вам пригодятся под другим углом».

Зачем им *его* факты, когда перед их глазами факт поразительного взлета Лысенко? Да и замдиректора Шунденко на их стороне!

6.

По мере того как лысенковцы завоевывали одну позицию за другой, по мере того как под их натиском появлялись всё новые перебежчики, Вавилов все упорнее выступал против невежества и обскурантизма в науке. Вслед за новым переводом Дарвина, под его редакцией выходят труды Менделя, Моргана, Мёллера. Он работает над книгой «Этюды по истории генетики», участвует в коллективном сборнике «Критический пересмотр основных проблем генетики». Две последние работы, как и многие другие, смогли выйти в свет лишь через много лет после его смерти.

Он пишет Докладные записки о гибридной кукурузе. Об использовании зарубежного опыта. Об иностранной литературе, которая почти перестала выходить на русском языке после того, как лысенковцы прибрали к рукам основные журналы и издательства. Он протестует против запрета посылать за границу семенной материал, из-за чего прекратился приток семян из-за границы.

Клещи сжимались. Все чаще появлялись в ВИРе проверочные комиссии, все жестче становились их оценки.

Вавилов знал, что его ждет. А.Р.Жебрак вспоминал, как Николай Иванович однажды ему сказал:

– Наука всегда в конечном счете берет верх над лженаукой, но не каждому поколению ученых удается дожить до этого торжества.

Один из учеников Вавилова рассказывал мне, как Николай Иванович торопил его с докторской диссертацией, а он возразил:

– Да зачем она, Николай Иванович, докторская степень? Все

равно нам одна дорога…

Вавилов вдруг помрачнел, после долгой паузы ответил:

– Да, в кандидатах у вас больше шансов остаться незамеченным.

Он стал к этим годам плотен, тяжеловат. Залысины в волосах заметно углубились. Но «так же ярко блестели его глаза, с таким же увлечением он мог обсуждать интересующие его вопросы и делать одновременно много дел, – вспоминала о последних встречах с Вавиловым Е.АДояренко. – Так же таскал он всегда туго набитый раздувшийся портфель, так же приветливо улыбался. Но все же порой чувствовалась в этой улыбке где-то глубоко затаенная горечь, чаще срывалось осуждение бескультурья и недобросовестности некоторых собратьев-ученых, чего он органически не переносил».

Друзей и товарищей по науке он как мог подбадривал, старался вселить в них уверенность в будущем. Характерно письмо Н.И.Вавилова к К.И.Пангало, который тяжело переживал сыпавшиеся нападки. Вавилов ему писал:

«Дорогой Константин Иванович!

Работайте спокойно. Уделите сугубое внимание подытоживанию Вашей большой работы по бахчевым, в смысле капитальной монографии. Надо торопиться создавать бессмертные труды! Нодэн[769], вероятно, работал побыстрее Вас, – надо его догнать и перегнать! Не напрасно я все время беру на себя роль беспокойного будильника. Это – первое.

Второе: колоцинтовые дела удивительно интересны теоретически и практически, и их продолжайте упорно. Как всегда в жизни, здесь действуют два начала – созидательное и разрушающее, и всегда они будут действовать, пока будет мир существовать![770]

Никаких сугубо угрожающих обстоятельств нет, и работайте спокойно, оформляя работы возможно скорее.

Когда Фарадея спросили, каким образом он достиг больших результатов, он ответил, что работал толково и регулярно, кратко и толково подытоживал результаты своей работы и опубликовывал их.

Вот и весь рецепт!

Только что вернулся с Кавказа. В Майкопе, Кубани, Дербенте и в особенности в Сухуми работа идет полным ходом, нормально. Посевы в прекрасном состоянии. Ведется настоящая, нужная, на большой высоте работа.

На севере стоит холод, и только приступаем к посеву. Озимые погибли процентов на 80, но и в гибели их много любопытного для философии бытия. В ближайшие дни этим буду занят.

Эколого-географическая классификация, несомненно, есть большое дело, и нужно довести его до конца, и Вам тоже нужно в него включиться! Возьмите-ка на себя в этом году задачу дать набросок эколого-географической классификации бахчевых культур. Скажем спасибо!

Учтите огромное внимание к созданию пригородных продовольственных баз. Это относится и к бахчевым.

Свою линию как комплексного растениеводческого учреждения мы будем вести неизменно, невзирая ни на какие препоны.

Привет!

Ваш Н.Вавилов».

7.

Обосновавшись на время в Эдинбурге, в Институте генетики животных, который возглавлял профессор Крю, Герман Мёллер прилагал усилия к тому, чтобы VII генетический конгресс все же состоялся в СССР. Зная, как это важно для советских генетиков, он настойчиво лоббировал эту идею, но оргкомитет был научен горьким опытом и не хотел снова обжечься. В письме Вавилову Мёллер объяснял:

«Мне известно, что оба представителя самых крупных англоязычных стран (Холдейн от Англии и Данн от Америки) голосовали в пользу безусловного созыва конгресса в СССР; так что окончательное решение было принято вопреки мнению представителей этих двух стран, в которых наряду с СССР генетическая наука представлена наиболее полно. Возможно, что я льщу себе, но полагаю, что мои усилия не остались без влияния на точку зрения представителей этих стран. <…> И хотя они не могут изменить принятое решение, однако считают более желательным, чтобы конгресс был созван здесь [в Эдинбурге], а не в какой-либо фашистской стране, и, заручившись гарантией, по крайней мере, в этом отношении, стремятся сейчас сделать всё возможное, чтобы провести конгресс под знаком наибольшего благоприятствования к СССР. Английские ученые стремятся объединиться с представителями советской науки и способствовать своим авторитетом и авторитетом Конгресса укреплению дружеских отношений в дни столь напряженного положения в мире»[771].

Благоприятствование к СССР выразилось в том, что президентом конгресса был утвержден Н.И.Вавилов. Случай беспрецедентный, ибо традиционно президентом

Международного конгресса избирался представитель страны-хозяйки. Извещая Вавилова об избрании, профессор Крю писал:

«Дорогой проф. Вавилов!

Как генеральному секретарю 7-го Международного генетического конгресса, который должен состояться в Эдинбурге летом 1939 года (вероятно, между 13–20 сентября), мне выпала большая честь известить Вас, что Орган[изационный] комитет Конгресса единогласно и при всеобщем одобрении избрал Вас Президентом Конгресса.

Это доставило мне большое удовольствие, так как Вы понимаете, что я, как генер[альный] секретарь, должен сделать Конгресс максимально успешным, а ничто не является столь важным для этого, как выбор Президента. Более удачного выбора на этот пост сделано быть не могло. Я считаю, что успех Конгресса обеспечен заранее. Во-первых, Ваша президентская речь будет, конечно, сообщением большого интереса и важности. Во-вторых, работа в области генетики, проводимая в СССР в течение последних 20 лет, оставила настолько глубокий след в науке, что совершенно естественно высший пост на Конгрессе предоставить представителю

Письмо Г.Мёллера от 21.2.1938 // Резник С.Е. Николай Вавилов. С. 307.

Вашей страны. Меня радует также мысль, что Вы приедете в Эдинбург, т. к. Королевское общество Эдинбурга около года назад удостоило себя и Вас чести, избрав Вас в число почетных членов»[772].

У Вавилова затеплилась надежда, что избрание президентом конгресса изменит его статус «невыездного». Он обратился к предсовнаркома Молотову и наркому иностранных дел Литвинову: «Насколько я понимаю, избрание советского ученого председателем Конгресса указывает на дружеское отношение английских ученых к советской науке»[773]. К письму он приложил предполагаемый список советских участников: Карпеченко, Кольцов, Серебровский, Сапегин, конечно, Лысенко – всего пятнадцать имен.

Получив это письмо от *реакционера* Вавилова, глава правительства запросил мнение *новатора.* 7 июня 1939 г. Т.Д.Лысенко ответил: «Считаю, что посылать делегацию на Международный генетический конгресс от Советского Союза не нужно. Если же будет решено посылать делегацию, то категорическая просьба меня не включать в ее состав для поездки на конгресс»[774].

К этому короткому письму Лысенко приложил *Докладную записку* И.И.Презента под названием «О седьмом генетическом

конгрессе».

В ней приведены выписки из «Journal of Heredity» и «Sience» об аресте Атола и Левита (оба уже были расстреляны), подчеркивалось, что они пользовались на Западе репутацией крупных ученых и делался вывод:

«Таким образом, мы видим, что руководящий журнал морганизма, взяв под защиту Левита и Агола, отстаивает тезис, что в Советской стране происходит гонение на науку». (Подчеркнуто Презентом. – *С.Р.)*

И далее:

«Этому хору капиталистических шавок от генетики в последнее время начали подпевать и наши отечественные морганисты. Вавилов в ряде публичных выступлений заявляет, что "мы пойдем на костер", изображая дело так, будто бы в нашей стране возрождены времена Галилея. Вместе с Вавиловым идут и его генетические соратники проф. Карпеченко, проф. Розанова, проф. Кольцов, проф. Серебровский, проф. Дубинин. Лидером этой группы является Вавилов». Избрание Вавилова президентом Конгресса Презент назвал **«открытой демонстрацией, подчеркиванием "заслуг" Вавилова совсем не в области генетических открытий, а в области так называемой "борьбы за науку" против ее советских "угнетателей". <…>**

Вавилов говорит о том, что у нас науку посылают на костер. Вавиловцы и Вавилов последнее время окончательно распоясались и нельзя не сделать выводы, что они постараются использовать Международный конгресс для укрепления своих позиций и положений. Вавилов в последнее время делает всё возможное для того, чтобы изобразить, что в нашей стране происходит гонение на науку». «Совершенно бесспорно, что наши отечественные генетики-морганисты выступят единым фронтом со всеми иностранными формальными генетиками для того, чтобы укрепить метафизические, лженаучные положения в науке о наследственности и изменчивости. Если в нашей стране им это всё более плохо удается, то международный генетический конгресс будет для них хорошей ареной и трибуной» (подчеркнуто везде Презентом. – *С.Р.)*.

А в конце собственноручная приписка Трофима Денисовича:

«С докладной запиской И.Презента согласен. Академик Лысенко»[775]

От этой «Докладной записки» идет жар костров инквизиции.

8.

Молотов запросил сведения о главном еретике в НКВД. Ответ Л.П.Берии не заставил себя ждать: он датирован 16 июля 1939 года. То есть был отослан через 9 дней после доноса Лысенко – Презента.

Согласно М.А.Поповскому, «Берия не скрывал цели своего демарша: он ждал от Молотова, ведающего в ЦК наукой, согласия на арест Вавилова. В письме Берии ничего не говорится о троцкистских взглядах Вавилова, о Вавилове-вреди-теле, пособнике Бухарина и Милюкова. В деловой переписке двух государственных мужей такая мишура была излишней. И Берия, и Молотов знали, что уничтожить академика Вавилова надо потому, что он не приемлет “открытий” Лысенко и тем раздражает товарища Сталина»[776].

Поповский не указал местонахождения столь важного документа, не привел из него ни одной цитаты. Это не случайное упущение. В архивном реабилитационном деле академика Вавилова, к которому Поповский получил доступ в 1965 году, этот документ значился в перечне оперативных материалов, уничтоженных в 1959 году. О содержании его говорилось, что «после назначения академика ЛЫСЕНКО президентом Академии с.х. наук ВАВИЛОВ Н.И. и возглавляемая им буржуазная школа т. н. “формальной генетики” организует систематическую кампанию, имеющую целью дискредитировать ЛЫСЕНКО как ученого»[777].

Больше о письме Берии ничего не известно: всё остальное – домыслы. Я не вижу оснований считать, что Берия просил у Молотова согласия на арест Вавилова, и не думаю, что он нуждался в таком согласии.

Если Лысенко и Презент полагали, что их донос приведет к аресту Вавилова, то они просчитались. Но то была их программа-максимум. Программа-минимум была скромнее, и она была выполнена. Открывая VII генетический конгресс в качестве президента, профессор Крю сказал: «Вы пригласили меня играть роль, которую так украсил бы Вавилов.

Вы надеваете его мантию на мои не желающие этого плечи. И если я буду выглядеть неуклюже, то вы не должны забывать: эта мантия сшита для более крупного человека»[778].

9.

Еще весной 1939 года группа ленинградских ученых направила письмо Первому секретарю Ленинградского обкома партии Жданову – о нетерпимом положении в генетической науке из-за диктата президента ВАСХНИЛТ.Д.Лысенко. Д.В.Лебедев, один из инициаторов и составителей письма, назвал В.Н.Сойферу всех, кто его подписал: Г.Д.Карпеченко, Г.АЛевитский, М.А.Розанова, цитолог из ЛГУ И.И.Соколов, профессор пединститута им. Герцена Ю.И.Полянский, Ю.М.Оленов, доктора медицинских наук И.И.Канаев и А.П.Владимирский, доценты ЛГУ АИ.Зуйтин, М.Е.Лобашёв, Б.И.Васильев.

Они знали, что многим рискуют, и не позволили поставить подпись самому Д.В.Лебедеву: неоперившийся аспирант, он из всех самый уязвимый. Результатом письма стала дискуссия по вопросам генетики под эгидой журнала «Под знаменем марксизма».

Журнал был создан в 1922 году с четкой целевой установкой – разгромить *богдановщину*. В дореволюционном прошлом А.А. Богданов был опорой Ленина в борьбе с меньшевизмом, но порой расходился с ним по некоторым вопросам. Он был за выход большевиков из III Государственной думы и за усиление подпольной борьбы; Ленин считал это *левацким* уклоном. Потом Богданов стал глашатаем богоискательства и богостроительства – это был *правацкий* уклон. После Октября 1917-го Богданов стал теоретиком и организатором Пролеткульта, в чем Ильич снова усмотрел уклон, его и требовалось *разгромить*.

В 1923 году Богданов был арестован. После тяжелых допросов и личных объяснений с Дзержинским его выпустили, но теперь он за версту обходил всё, что могло касаться политики и идеологии. Вспомнив о своем медицинском образовании, он занялся проблемами переливания крови. Умер в 1928 году от неосторожного опыта на самом себе.

Разгромив богдановщину, журнал «Под знаменем марксизма», казалось бы, изжил себя. Но тут на его страницах вспыхнули сражения философов-марксистов, расколовшихся на два лагеря. Лидером одного из них стал главный редактор М.А.Деборин, другого – член редколлегии А.К.Тимирязев, профессор физики, сын К.А.Тимирязева.

Деборин с младых ногтей уверовал в *самое передовое учение*. Его ранние труды по диалектическому материализму выходили с предисловием Плеханова, их конспектировал Ильич. Своей особой доблестью Деборин считал то, что еще до революции *громил* эмпириокритицизм, эмпириомонизм и эмпириосимволизм, богостроительство Богданова и богоискательство Луначарского, бердяевщину и кантианство. При

всем том он был беспартийным. Только в 1928 году, когда Серго Орджоникидзе, встретив Деборина в Большом театре, привел его в ложу Сталина, и тот высказал *мнение*, что товарищу Деборину давно пора быть в партии, он подал заявление. Был принят в члены ВКП(б), минуя кандидатский стаж. До конца жизни (умер в 1963 г.) это редкое отличие было для него предметом гордости.

А.К.Тимирязев, специалист по физике газов, считал теорию относительности, квантовую механику, другие достижения физики XX века *идеалистическими.*

Схватки боевые шли и в сфере других наук, включая, конечно, генетику. Ее *диалектическую материальность* активно доказывали Серебровский, Левит, Агол.

Партия поддерживала Деборина и его сторонников. В 1929 году Деборина, со скандалом, по партийному списку, провели в академики. А годом позже, на каком-то совещании в Кремле, Молотов вскользь заметил, что товарищ Деборин «воображает себя Энгельсом на советской земле». О том, что это значило, можно было не расшифровывать: Марксом – Энгельсом – Лениным мог быть только *один* человек.

25 января 1931 года ЦК партии принял постановление: «О журнале “Под знаменем марксизма”». В нем отмечались достижения журнала, «в особенности в борьбе с механицизмом, представляющим попытку своеобразной ревизии марксизма». Но журнал «не сумел осуществить основных указаний Ленина», «не стал боевым органом марксизма-ленинизма». Казалось бы, куда боевитее, ан нет – не стал!

«В области философии журнал должен вести неуклонную борьбу на два фронта: с механистической ревизией марксизма как главной опасностью современного периода, так и с идеалистическим извращением марксизма группой тт. Деборина, Карева, Стэна и др.».

Оказалось, что группа Деборина *застряла* на позициях Плеханова, проглядела ленинский этап в развитии философии, впала в *меньшевиствующий идеализм.*

Главным редактором стал Марк Борисович Митин.

Митин был учеником Деборина, одним из самых бездарных, но *запросы времени* он уловил лучше своего учителя. Чтобы не было сомнений в том, что понимать под *ленинским этапом*, первый выпуск реорганизованного журнала открывала статья Митина: «Сталин как философ».

Через год вышел учебник для вузов по диалектическому и историческому материализму под редакцией М.Б.Митина. В ЦК партии пошел поток писем о его примитивизме, упрощенчестве, фактических и политических ошибках. Каганович выступил на

Политбюро с разносной речью. Митин, приглашенный на заседание, сидел ни жив ни мертв. Но тут «ходивший по комнате Сталин, попыхивая трубкой, прервал Кагановича и спросил: “А вы читали, тов. Каганович, данный труд?” Тот смутился и ответил: “Я просмотрел…” На что Сталин заметил: ”Вы просмотрели, а я прочитал…”» Отметив отдельные недостатки, он в целом одобрил учебник[779].

Сталин знал, кого и когда казнить, кого миловать, кого держать на коротком поводке, а кому отпускать поводок подлиннее.

Совещание по вопросам генетики проходило с 7 по 14 октября 1939 года. Председательствовал Митин.

Второй месяц шла мировая война. Нацистская Германия и Советский Союз поделили Польшу, в советской печати прекратились всякие выпады против фашизма, из полуголодной России в Германию шли эшелоны с зерном. Странам

Прибалтики был предъявлен ультиматум о предоставлении баз для Красной армии – им пришлось подчиниться. В Генеральном штабе лихорадочно разрабатывались планы войны с неподчинившейся Финляндией. Англия и Франция, как союзники Польши, были в состоянии войны с Рейхом. Казалось бы, Кремлю не до генетики. Однако в книге В.Н.Сойфера, со ссылкой на устное сообщение В.П.Эфроимсона, говорится, что перед дискуссией Сталин вызвал Митина для подробного инструктажа.

Задача, как всегда, была *диалектической.* Требовалось обеспечить торжество *передового* учения Мичурина и Лысенко, но показать *клеветникам России*, что в Стране Советов царит свобода высказываний, мнений, направлений в науке.

Н.И.Вавилов не строил иллюзий относительно цели нового шоу. Иронизируя над «направленными мутациями» в умах некоторых ученых, он прямо сказал, что генетиков, очевидно, собрали для того, чтобы они «тоже промутировали». Он стоял на позициях мировой науки. Он готов был «промутировать», когда теории Лысенко будут подтверждены методически грамотными, повторяемыми опытами. Таких опытов не было.

То есть опыты были, но они давали не те результаты, какие нужны были Лысенко и прочим «мичуринцам». Ю.Я.Керкис это показал на примере гибридизации томатов. Когда он обнаружил отклонения от классических менделевских отношений 3:1, он проверил исходный материал и убедился в его нечистосортности. У томатов слишком легок занос посторонней пыльцы; потому требуются особые меры предосторожности.

Сподвижник Лысенко И.Е.Глущенко сделал себе имя на «вегетативной гибридизации» томатов, но при повторении его

опытов генетиками «гибридов» не получилось. Опыты Глущенко были либо намеренной фальсификацией, либо гибридные формы образовывались не благодаря прививкам, а из-за заноса посторонней пыльцы. То же получалось при грамотной проверке других «успехов» вегетативной гибридизации. Керкис выразил «удивление по поводу того, что тов. Лысенко устно и в печати описывает методику экспериментов по вегетативной гибридизации, по которой у него и его единомышленников получаются хорошие результаты», а при проверке опытов генетиками «ничего не получается: результаты отрицательные».

Лысенко пытался сбить Керкиса репликой.

– У кого?

– У всех тех, кто критически к вам относится, – последовал ответ. – Положительные результаты получают только те, кто верует.

– Помимо рук нужна еще голова! – выкрикнул разъяренный Лысенко.

– У всех генетиков получаются отрицательные результаты, – продолжал Керкис. – Непонятная вещь. Можно допустить, что один или несколько человек не умеют экспериментировать. Но у аспирантов Лысенко получается, а у генетиков, имеющих десять – пятнадцать лет экспериментальной практики, ничего по методике Лысенко не выходит.

«Странным кажется тов. Керкису и другое заявление тов. Лысенко: “…для того, чтобы получить определенный результат, нужно хотеть получить именно этот результат: если вы хотите получить определенный результат, вы его получите”, – и затем: “…мне нужны только такие люди, которые получали бы то, что мне надо”.

Лысенко. Правильно сказал.

Керкис заявляет, что это непонятно генетикам. “Нам непонятно, как ученый может получать в столь спорных вопросах то, что нужно ему. Это мне непонятно. В мою голову это не укладывается”»[780].

Не менее острым было выступление Н.П.Дубинина. Он вырос в советское время и хорошо владел большевистским *новоязом*.

В Гражданскую войну он осиротел, стал одним из 7 миллионов беспризорников, наводнивших страну. Бродяжничал, голодал, подворовывал, убегал из детских приютов, снова в них попадал. В 14 лет засел за учебу, в 16 прочитал «Мировые загадки» Эрнста Геккеля и «Происхождение видов» Дарвина. В МГУ учился у Н.К.Кольцова, С.С.Четверикова, А.С.Серебровского. В 1932 году 25-летний Дубинин возглавил отдел генетики в

кольцовском Институте экспериментальной биологии.

В своем выступлении Дубинин высоко поднял *знамя марксизма.* Всякая наука – классовая; она либо прогрессивна, либо реакционна. Дарвин и Тимирязев – передовые ученые; Бэтсон и Лотси – реакционеры.

Процитировав известное высказывание Тимирязева о том, что законы Менделя разрешают самую большую трудность эволюционного учения («кошмар Дженкинса»[781]), Дубинин сказал: «Тов. Лысенко и товарищи, которые так часто выставляют К.А.Тимирязева в качестве абсолютного антименделиста, я считаю, что с вашей стороны нехорошо (в самом мягком значении этого слова) пройти мимо такого совершенно ясного указания Климента Аркадьевича»[782].

Он также остановился на высказываниях Мичурина о менделизме: «Мы знаем целый ряд высказываний против менделизма у Мичурина, но нужно сказать, что это высказывания более ранние. Однако позднее он признал существование менделеевского расщепления и писал, в частности, что к ряду растительных форм законы Менделя применимы во многих их деталях».

«Товарищи, не представляет никакого сомнения, что у академика Лысенко с вопросом менделизма получился большой конфуз. Но я думаю, что в значительной степени этот конфуз нужно отнести за счет помощника вашего, академик Лысенко, – тов. Презента.

Голоса. Правильно!

Дубинин. Вы нам так и сказали в Вашем вчерашнем выступлении, что когда Вы без единого эксперимента решили объявить менделизм неверным, то философски это дело решал тов. Презент. Вот Ваши слова, сказанные вчера: “Презент накручивал в этом деле”. Это Вы буквально сказали, я записал. Так вот, Трофим Денисович, Вы за этот конфуз скажите И.И.Презенту большое спасибо».

Противопоставив «мичуринцам» Тимирязева и Мичурина, Дубинин прихлопнул их Энгельсом: «О такой философии, которую Вам подсунул Презент, при помощи которой он объявляет объективные закономерности несуществующими, – о такой философии Энгельс писал в 1890 году в письме к одному историку культуры, что марксизм здесь превращается в прямую противоположность, то есть в идеалистический метод»[783].

В контексте боевого выступления Дубинина знаменателен его тон. Он не скупился на реверансы в адрес Лысенко, его «ошибки» переадресовывал Презенту, «указал на ошибки Н.И.Вавилова в связи с его законом гомологических рядов, подверг критике

схоластическую постановку проблемы гена А.С.Серебровским», заявил, что «еще сильна и недостаточно осознана механистическая и упрощенная концепция Моргана о гене». По его словам, «идеалисты хватаются за ген, признавая в нем проявление идеалистической сущности, энтелехии и прочей чертовщины»[784]. Словом, только один человек «правильно» понимал генетику – Дубинин.

Вавилов был верен своему принципу ведения дискуссий. Он не цитировал ни Дарвина, ни Мичурина, ни Презента – он говорил о практике. Он привел новейшие данные о том, что в США уже 10 миллионов гектаров заняты инцухтги-бридами кукурузы – это не 5 % всей площади, как было в 1935 году, а почти 20 % процентов. Прибавка урожая – 150 миллионов центнеров. Напомнил, что хотя в СССР кукуруза возделывалась на меньших площадях, но все же занимала около 2 миллионов гектаров.

«Лысенко. А два ли миллиона?

Вавилов. 2 миллиона 300–400 тысяч.

Лысенко. Что-то я сомневаюсь.

Вавилов. Я растениевод и цифры знаю.

Лысенко. Ия растениевод.

Вавилов. Я растениевод и географ.

Лысенко. Я не географ»[785].

Оказывается, человек, поставленный во главе всей сельскохозяйственной науки в стране, не знал, какие площади заняты важнейшими культурами!..

Речь Лысенко была наглой по форме и совершенно пустой по содержанию.

«Я был бы рад, – демагогически говорил Лысенко, – если бы менделисты, так яро защищающие свои научные позиции, были объективно правы в науке. Почему бы мне тогда не согласиться с их учением о закономерностях развития растительных и животных организмов?»[786]

«Нужно вдуматься в то, почему Лысенко с переходом на работу в Академию с.-х. наук отказывается дискутировать с менделистами и в то же время все более и более отметает в агробиологии основные положения менделизма-морганизма. Плох будет тот работник (особенно когда он занимает в науке руководящее положение), если он не будет отметать неверные, застоявшиеся научные положения, мешающие движению практики и науки вперед. А ведь менделизм-морганизм не только

тормозит развитие теории, но и мешает такому важному делу для колхозно-совхозной практики, как улучшение сортов растений и пород животных» (с. 146–147).

«Менделисты-морганисты, именующие себя представителями генетики “классической” (умалчивая о том, какого класса), в последнее время пустились просто на спекуляцию. Они заявляют, что критики менделизма разрушают-де генетику. Они не хотят признать, что настоящая генетика – это мичуринское учение» (с. 159).

«Н.И.Вавилов знает, что перед советским читателем нельзя защищать менделизм путем изложения его основ, путем рассказа о том, в чем он заключается. Особенно это невозможно стало теперь, когда миллионы людей овладевают таким всемогущим теоретическим оружием, как “Краткий курс истории Всесоюзной коммунистической партии (большевиков)”. Овладевая большевизмом, читатель не сможет отдать своего сочувствия метафизике, а менделизм это и есть самая настоящая, неприкрытая метафизика. Вот почему от изложения содержания этой науки уклонился в своей статье и тот, кто ее защищает» (с. 155).

В стенограмме есть реплики, которыми сопровождалось это выступление: «*Неверно, неверно!*» Зато в редакционном комментарии сказано: *«Речь тов. Лысенко выслушивается совещанием с большим вниманием. На трибуне ученый-новатор, производящий значительные сдвиги в сельскохозяйственной науке и практике».*

О выступлении Вавилова сказано, что ему не хватало *«самокритики».*

10.

Через несколько дней после дискуссии Николай Иванович написал письмо Сталину. Оригинал письма, возможно, еще будет обнаружен в бумагах Сталина. Копия, оставшаяся у Вавилова, была изъята при обыске его московской квартиры, уничтожена вместе с другими материалами, «не имевшими ценности» для следственного дела. След остался только в протоколе обыска, где приведен список изъятых материалов. Под номером 3 там значится: *«Письмо Вавилова Н.И. на имя т. Сталина о несогласии с академиком т. Лысенко в научных вопросах селекции на 10 листах – 1 шт.»*[787].

Вероятно, то была отчаянная попытка образумить генсека.

Но могло ли даже самое подробное письмо убедить того, кого

не убеждали двадцать лет напряженной работы тысячного научного коллектива, генофонд культурной флоры, составлявший уже около 300 тысяч образцов, все остальные достижения ВИРа, включая *миллионы гектаров, засеянных вировскими сортами.*

Да ведь если признать эти достижения *подлинными*, то чем объяснить бедственное состояние сельского хозяйства в стране – вопреки всем усилиям власти хоть как-то его оживить? Не колхозным же строем!

По воспоминаниям тогдашнего сотрудника ВИРа Е.С.Якушевского, 21 ноября он, будучи проездом в Москве, случайно столкнулся с Николаем Ивановичем в Президиуме ВАСХНИЛ, и тот пригласил его вечером к себе «на чай», а «за чаем», сильно взволнованный, рассказал о приеме у Сталина, накануне поздно вечером, около полуночи.

– Это вы – Вавилов, который занимается цветочками, листочками, черешочками и всякой ботанической ерундой, а не помогает сельскому хозяйству, как это делает академик Лысенко, Трофим Денисович.

Такими словами, согласно Якушевскому, генсек ответил на приветствие вошедшего в его кабинет Николая Ивановича. Сталин расхаживал по кабинету, попыхивая трубкой, а Николай Иванович, не получив приглашение сесть, простоял весь прием у дверей.

Из дальнейшего рассказа Якушевского следует, что Вавилов в первый момент опешил, но затем взял себя в руки и прочитал генсеку лекцию о деятельности ВИРа, о том, что Институт делает для селекции и семеноводства, о подготовке кадров, о многом другом. Однако его слова отскакивали как горох от стенки, а затем Сталин грубо его оборвал:

– Вы свободны, гражданин Вавилов.

«"Наше дело табак, – сказал мне Вавилов. – Шайка Лысенко принимает все меры, чтобы убрать меня из Института и из Академии наук". Я пытался возразить, что это, мол, еще вилами по воде писано. Сменить директора не так легко, да и найти замену трудно. "Они найдут", – с горечью ответил Вавилов».

Это свидетельство многократно цитировалось[788], но оно вызывает сомнения – вопреки безупречной репутации Якушевского, как ученого и человека, честного, правдивого, преданного Н.И.Вавилову и его памяти.

В журнале посещений Сталина за 20 ноября 1939 года не только нет имени Н.И.Вавилова, но четко обозначено, что в тот день у генсека было два больших совещания: первое, 5-часовое, с 3 часов дня до 8 вечера, и второе, двухчасовое, с 23:40 минут до 1:40 минут, то есть как раз в то время, когда, по Якушевскому,

Сталин один на один принимал Вавилова[789]. Хотя записи в журнале посещений Сталина не отличались полнотой, в данном случае они свидетельствуют вполне однозначно: эпизода, о котором рассказал Якушевский, в указанное им время быть не могло. Либо встреча произошла в другой день, либо ее вообще не было. В любом варианте позиция Сталина по отношению к Вавилову, занимающемуся «цветочками, черешочками», и к Трофиму Денисовичу Лысенко, «помогающему сельскому хозяйству», вполне однозначна.

11.

Николай Иванович спешил. Он знал, чувствовал, что времени остается в обрез. Программа его работы на 1940–1941 годы даже для Вавилова поражает насыщенностью. Десятки статей, несколько объемистых книг, в том числе на английском языке. Чтобы выполнить намеченное, он должен был писать по восемь страниц ежедневно. Это сверх колоссальной нагрузки по руководству институтами и опытными станциями, поездки по которым съедали львиную долю его времени.

Весной 1940 года встал вопрос об исследовании растительных ресурсов Западной Украины и Западной Белоруссии, которые отошли к СССР после раздела Польши между Кремлем и Берлином. Кому поручить такую работу, вопроса не было: не Лысенко же с Презентом…

Николай Иванович составил программу экспедиции: за короткое время она должна была выполнить всё, что требовалось. Но решение об экспедиции затягивалось. Кто-то упорно его тормозил. Появилась опасность упустить сельскохозяйственный сезон. Только 20 июля приказ был подписан.

Оживленный предстоящим большим делом, Вавилов выехал в Москву оформлять документы.

Радостно-взволнованного, уверяющего, что теперь всё пойдет по-другому, его встречали в те дни многие московские друзья и ученики. Видела его в последний раз и Лидия Петровна Бреславец, но уже в другом настроении.

Она случайно оказалась в биологическом отделении Академии наук, когда Вавилов и Лысенко входили в зал заседаний отделения. Не считая возможным мешать беседе двух академиков, Лидия Петровна пошла в библиотеку, а когда вышла, увидела, как Вавилов, сильно хлопнув дверью, выскочил из зала и разгневанный пробежал мимо.

Стоявшая здесь же сотрудница Института физиологии тихо

сказала:

– Ну теперь карьера Николая Ивановича кончена. Он показывал Трофиму Денисовичу последние отчеты американского Департамента земледелия и сказал, что из-за Трофима Денисовича Америка обогнала нашу страну. Его теперь арестуют, вот увидите…

Вечером Вавилова посетили на его квартире Н. В. Ковал ев, Н.Р.Иванов и И.А.Минкевич, за два месяца до этого назначенный и.о. заместителя директора ВИРа – вместо Шунденко, который, слава Богу, ушел из Института (после чего его встречали в форме майора НКВД).

Николай Иванович был мрачен.

В память Иванова врезались его слова:

– Я сказал ему всё.

12.

На следующее утро Вавилов выехал в Киев. Оттуда во Львов.

Разделив экспедицию на несколько отрядов, чтобы охватить все присоединенные районы Украины и Белоруссии, Николай Иванович с двумя сотрудниками, Ф.Х.Бахтеевым и В.С.Лехновичем, отправился в Черновицы – для обследования горного Прикарпатья.

Три дня они объезжали опытные станции и научные учреждения города: побывали в университете, ботаническом саду, в городских музеях.

Вечером 5 августа Вавилов собрал совещание местных работников и попросил помочь экспедиции. Решили следующим утром отправиться в горный район Карпат, в направлении поселка Путила.

«Желающих принять участие в поездке оказалось много, – вспоминал Ф.Х.Бахтеев. – К автомашине Николая Ивановича были добавлены еще две, но все равно одному человеку места не хватало. По совету Николая Ивановича мне пришлось отказаться от поездки в пользу одного из присутствовавших на станции гостей».

Дорога в Карпаты оказалась усыпанной острыми камнями, а автомашины были с изношенными «лысыми» шинами. В дорожной пыли было немало гвоздей, видимо, выпадавших из лошадиных подков. Проколы следовали один за другим. Особенно не везло машине, в которой ехал Лехнович. Она сильно отстала от передней машины, в которой ехал Вавилов, а когда не осталось ни одной запасной камеры, шофер повернул назад.

Лехнович был раздосадован, что должен вернуться ни с чем. На обратном пути, на пустынной дороге, показалась черная эмка, ехавшая навстречу. Дорога была не настолько узка, чтобы две машины не могли разъехаться, но водитель встречной эмки вдруг сделал разворот и стал поперек дороги.

Пришлось затормозить.

Пассажиры встречной эмки сказали, что им срочно нужен академик Вавилов. Его вызывала по прямому проводу Москва, требовались какие-то справки, им поручено его разыскать.

Лехнович сказал:

– Сейчас Вавилов, вероятно, уже километрах в ста сороках – ста восьмидесяти отсюда. Вы его не догоните. Поезжайте назад: вечером он вернется в Черновицы.

Однако черная эмка двинулась дальше.

Вернувшись в город, Вадим Степанович рассказал о неудачной поездке Бахтееву, не забыл упомянуть и о встретившейся машине.

В Москве проходила чрезвычайная сессия Верховного Совета в связи с «воссоединением» Западной Украины и Западной Белоруссии, так что необходимость Москвы навести какие-то справки и для этого переговорить с находящемся здесь академиком Вавиловым не вызвала тревоги у его молодых спутников. «Мне даже это событие показалось хорошим предзнаменованием для самого Николая Ивановича, в том смысле, что, наконец, он будет огражден от сыпавшихся на него градом несправедливых нападок», – вспоминал Бахтеев.

Вечером, когда Бахтеев и Лехнович, пообедав в столовой, подошли к общежитию, где остановились, привратник передал им рюкзак Николая Ивановича. Оказалось, что, пока их не было, Вавилов вернулся, хотел пройти к себе, но подъехала другая машина, и его увезли для срочных переговоров с Москвой. Он оставил привратнику рюкзак, сказал, что скоро вернется.

Он не вернулся.

Вместо него поздно ночью появились два молодых человека с запиской, адресованной Лехновичу:

«Дорогой Вадим Степанович. В виду моего срочного вызова в Москву выдайте все мои вещи подателю сего. Н. Вавилов. 6/VIII. 40. 23 часа 15 м.».

Собрав вещи, Бахтеев и Лехнович хотели поехать вместе с курьерами к самолету, чтобы получить указания о продолжении экспедиции, но когда они вышли и погрузили вещи Николая Ивановича, оказалось, что в машине остается только одно свободное место. Решили, что к самолету поедет Бахтеев.

«Когда я хотел уже садиться рядом с задним седоком,

последний вдруг, позабыв о вежливости, довольно грубым тоном воскликнул: “А стоит ли Вам ехать?” Но я ответил, что товарищ, видимо, шутит, и что если нет места для нас обоих, то по крайней мере один из нас непременно должен увидеться с Николаем Ивановичем. <…> Я потянул к себе заднюю дверь автомашины и занес было ногу в нее, но тут же ударом правой руки заднего седока наотмашь я был отброшен и упал. Тем временем последовал резкий приказ шоферу: “Поехали!” Шумно захлопнулась дверь и автомашина быстро скрылась в темноте…

Только теперь, до беспамятства потрясенные случившимся, безмолвно и без движения оставаясь на своих местах, мы, наконец, поняли, что с Николаем Ивановичем случилось большое несчастье… Катастрофа совершилась…»[790]

13.

Разбирая рюкзак Вавилова, Бахтеев обнаружил, наряду с другими находками, образцы реликтовой полбы, которая, по его предположениям, должна была отыскаться в предгорьях Карпат. Местные ученые о ней не подозревали, но Вавилов нашел ее в той последней своей поездке в район Путины, в те часы, когда следом за ним уже гналась черная эмка, повстречавшаяся Лехновичу…

…Двести лет изучали пшеницу до Николая Вавилова, двадцать с небольшим лет изучал ее Вавилов. За это двадцатилетие число известных науке видов пшеницы удвоилось, число разновидностей возросло вчетверо, были установлены центры происхождения мягких и твердых пшениц, прослежены пути их эволюции и расселения.

Часть шестая
Кощеево царство

В круге седьмом действие первое

1.

Катастрофа совершилась…

Тихо, по-воровски. По всем правилам *социалистической законности*.

Этот особый вид *законности* был обильно плодоносящим *вегетативным гибридом*: подвоем служил неограниченный *произвол*, а привоем – мелочный бюрократический *педантизм*.

В *Постановлении на арест* Н.И.Вавилова на 15 машинописных страницах с большим педантизмом перечислены его *преступные антисоветские* деяния: от рождения в семье «крупного московского купца» до «борьбы против теорий и работ ЛЫСЕНКО, ЦИЦИНА и МИЧУРИНА».

Документ составлен старшим лейтенантом госбезопасности В.Рузиным, подписан им же и капитаном госбезопасности Решетниковым, видимо, его начальником. Датирован 5 **августа** 1940 года. Резолюция начальника ГЭУ (Главное экономическое управление) НКВД Б.З.Кобулова: *Согласен* – датирована тем же числом. Вторую резолюцию – *Утверждаю* — нарком **Л.П.**Берия наложил **6 августа.** Санкция прокурора Г.Н.Сафонова (будущий генеральный прокурор СССР) датирована следующим днем – **7 августа.**

А записка Николая Ивановича о выдаче вещей «подателю сего» написана (повторим дату и время) **6.VIII.40. 23 часа 15 м.** Значит, Вавилов был арестован *до* санкции прокурора. Это был акт **беззаконного произвола.**

Столь же беззаконен был **личный обыск** Вавилова сержантом госбезопасности А.М.Биндом, тоже **6 августа,** то есть *до* санкции прокурора. Видимо, Бинд был одним из тех двух «курьеров», которые *пригласили* Вавилова «для переговоров с Москвой», а затем явились за его вещами.

Зато **Протокол личного обыска** оформлен Биндом самым педантичным образом. Изъятые вещи перечислены и пронумерованы. Это личные документы Вавилова (паспорт, удостоверения академика АН СССР и академика ВАСХНИЛ), фотоаппарат «Лейка», советские деньги в размере 750 р. 12 к. (в скобках сумма повторена прописью), «разных открыток 11 шт.», авторучка, запонки (4), сменный белый воротничок, другие мелочи. 27 пунктов! А ниже значится: «Изъятое у меня занесено в протокол правильно. Протокол мною прочитан. Н.Вавилов». Так

было положено. Чтобы комар носа не подточил!

…Наутро, уже **7 августа,** но приказ получен накануне, тоже *до* санкции прокурора, – обыск в Черновицах, там, где остановился Вавилов (адрес в протоколе не указан). Его производил сотрудник Черновицкого отдела НКВД Украины Свириденко с двумя подручными Данилиным и Бахметом. Звания не указаны, но в другом документе обозначено: Свириденко – сержант госбезопасности.

Больше об этих людях ничего не известно: ни их возраст, ни стаж работы, ни местожительство. Не суть важно. Это безликие, легко заменяемые винтики в отлаженной машине, смазанной кровью бесчисленных жертв.

Номер *Ордера на обыск* в протоколе не указан. Маленькая небрежность. Зато в перечне изъятых вещей – снова тщательный педантизм. Тут и бритва безопасная, и щетка зубная, и зеркало карманное, и географический атлас на румынском языке. Всего 21 пункт. В их числе – «деньги советские в купюрах по 100 руб. – всего 1300 руб.».

Лехнович вспоминал, что в изъятом портфеле было 5 тысяч рублей – все экспедиционные деньги. Но он мог запамятовать за давностью лет. Под перечнем изъятого снова значится: «В протокол всё занесено правильно. Вавилов».

В той же архивной папке есть *«Опись вещей Вавилова Николая Ивановича в дополнение к протоколу обыска от 7 августа 1940 года».* В этом *дополнительном* списке еще 51 пункт, от «Ручка автомат[ическая]. – 3 шт.» до «Шоколад в плитках по 50 грамм – 5 шт.».

Что верно, то верно: у Николая Ивановича плитки шоколада всегда были с собой. Лучший способ на ходу подкрепиться. Подпись Вавилова снова подтверждает: в описи всё правильно.

Эта подпись означает, что **7 августа** Вавилов был в Черновицах. Его ночной вылет в Москву – фикция. *Вывезут* арестанта только **9 августа.** Тот же Свириденко – надежный, видать, был сержант! – отконвоирует его в Киев. По пути позволит то ли пообедать в какой-то столовке, то ли купить провизию – в деле есть свидетельство этой щедрости: «Мною акад. Н.И.Вавиловым по пути следования из Черновиц до Киева для питания получено денег из моих сумм от работника НКВД т. Свириденко в сумме 10 рублей 30 коп. (десять руб. тридцать коп.)»[791].

Из Киева арестанта со спецконвоем отправят в Москву – теперь уже действительно самолетом. 10-го он впервые предстанет перед следователем.

Но **7 августа** Вавилов был еще в Черновицах, о чем его

внезапно осиротевшие помощники не догадывались. Они растеряны, не знают, как быть, что делать дальше. Зато в НКВД никакой растерянности. Машина работает четко, почти бесшумно, как хорошо смазанный механизм. Обыски идут по всем вавиловским адресам.

В Москве: *Земляной Вал, д. 21/23, кв. 54.*

Это здесь, среди изъятых бумаг, будет и письмо генсеку Сталину на 10 страницах.

В то же утро, **7 августа,** другая черная эмка подкатила к «даче» Вавилова в Пушкине (бывшем Царском-Детском Селе), *Московское шоссе, д. 23, кв. 2.*

В квартире еще спали.

Настойчивый стук в дверь разбудил Елену Ивановну.

Обыск производили *В.Погосов, Н.Иванов, Ив. Полянский.* Изъяли документы на 4 листах, записные книжки с адресами и телефонами, коробку с фотопленками. Из книг почему-то забрали роман Бруно Ясинского «Человек меняет кожу». Длилась операция полтора часа: с **7:30 до 9:05 утра.**

В качестве «лица, у которого производился обыск» протокол подписала Е.И.Барулина.

Двенадцатилетний Юра всё это время спал. Видимо, мать просила не будить мальчика, гуманные чекисты просьбу уважили. Проснулся он, когда они уже садились в черную эмку. Вместе с Еленой Ивановной. Выбежав на крыльцо, Юра увидел на отъезжающей машине энкавэдэшный номер. Всё понял…

Но Елену Ивановну не арестовали. Ее привезли в ленинградскую квартиру, *Проспект 25 Октября, д. 11/2, кв. 13.* Здесь тоже требовалось *лицо, у которого производился обыск.*

Начат в **10 часов 5 минут утра,** то есть ровно через час после окончания обыска в Пушкине, завершен в **10 часов 5 минут** следующего дня. Целые сутки без сна и отдыха трудились пять человек: те же *Погосов и Иванов* и примкнувшие к ним *Соловьев, Коростелин, Тимофеев.* Работали на совесть. В протоколе педантично зафиксировано изъятие книг, бумаг, рукописей, фотографий, многого другого. 44 пункта. Об объеме изъятого можно судить, например, по пункту 38: «Различные труды Вавилова Н.И. и материалы по заграничным поездкам в Абиссинию, США, Японию, Англию в **двадцати двух папках»** (жирный шрифт мой. *– С.Р.)*.

Подпись Е.И.Барулиной удостоверяла, что всё записано правильно. О том, что она пережила за эти сутки, протоколы безмолвствуют.

Почти все изъятые материалы будут уничтожены как не относящиеся к делу и потому «не имеющие ценности». Повезет

нескольким книгам да фотографии А.Ф.Керенского: свидетельство *антисоветских настроений* обвиняемого. В протоколе она значится под номером 9. А под номерами 43 и 44 значатся «пистолет кремневый с отделкой из белого металла» и «два винтовых боевых патрона». Они, как ни странно, уликами против обвиняемого не станут.

Еще один обыск был **7 августа** во Львове – в гостинице «Народная». В ней Вавилов и его спутники останавливались перед приездом в Черновицы. Оставили в чулане часть вещей, чтобы забрать на обратном пути. За ними и явились энкавэдэшники. По книге записей оказалось, что на имя Вавилова ничего не оставлено, но не уходить же с пустыми руками! Забрали чемодан и корзинку Лехновича. Ему потом стоило много нервов и крови заполучить их обратно…

2.

10 августа 1940 года арестованного академика Н.И.Вавилова доставили во внутреннюю тюрьму НКВД, что во дворе дома № 2 на бывшей Лубянке – тогда уже площади Дзержинского.

До революции здесь была пятиэтажная гостиница пароходного общества «Кавказ и Меркурий», а во дворе скромно ютилась еще одна гостиница, маленькая, двухэтажная – страхового общества «Россия». С улицы ее не было видно, что, вероятно, понравилось Феликсу Эдмундовичу.

Оба здания отошли к его ведомству: штаб-квартира ВЧК (позднее ОГПУ-НКВД-МГБ-КГБ) в вольготном пятиэтажном здании, а укрытая во дворе двухэтажка стала *внутренней тюрьмой.* Для самых опасных врагов режима.

В секретной инструкции от 29 марта 1920 года говорилось:

«Внутренняя (секретная) тюрьма имеет своим назначением содержание под стражей наиболее важных контрреволюционеров и шпионов на то время, пока ведется по их делам следствие, или тогда, когда в силу известных причин необходимо арестованного совершенно отрезать от внешнего мира, скрыть его местопребывание, абсолютно лишить его возможности каким-либо путем сноситься с волей, бежать и т. п.».

С годами число «наиболее важных контрреволюционеров» множилось, двухэтажка перестраивалась, надстраивалась, сравнялась по числу этажей с главным зданием и даже превысила его.

Шестой этаж был поделен на отсеки с высокими глухими стенами, но без крыши. Так был решен вопрос о прогулках

заключенных. Оставлять их совсем без прогулок было негуманно, а выводить даже в огражденный двор – опасно: вдруг кто-то сумеет перебросить записку или каким-то другим способом «снестись с волей». Гениальным взлетом чекистско-архитектурной мысли прогулочные дворики были вознесены к небесам.

При перестройке гостиницы в тюрьму было предусмотрено и многое другое.

В стены между камерами заделали звукоизоляцию, чтобы зэки не могли перестукиваться. Лестничные клетки были надежно отгорожены металлическими сетками, чтобы арестант не мог сигануть в пролет, как когда-то сделал (согласно официальной версии) Борис Савинков. Длинные галереи с нишами через каждые несколько шагов соединили тюрьму с основным зданием НКВД, чтобы водить на допросы, не выводя на улицу.

В камерах производились неожиданные *шмоны,* арестантов раздевали догола, обыскивали одежду, постели, тумбочки, осматривали самые интимные части тела. Отбиралось всё недозволенное, будь то огрызок карандаша, кусочек бумаги, самодельный ножик, изготовленный из ручки, отломанной от жестяной кружки…

Нумерация камер шла вразнобой, чтобы зэки не могли по номеру камеры догадаться, в какой части здания находятся.

Режим строгий. Спать приходилось при ярком свете: электролампочку под решетчатым колпачком нельзя было выключить. Накрыться с головой, даже убрать руки под одеяло запрещалось. Если кто-то во сне убирал руки, надзиратель, заглядывавший в «глазок», входил и будил нарушителя.

При всем том условия обитания во внутренней тюрьме были много лучше, чем в «обычных» тюрьмах.

От бывшей гостиницы в камерах сохранились паркетные полы и высокие потолки. У каждого арестанта была своя койка с чистым, регулярно сменяемым бельем.

Чистоте уделялось особое внимание. Вновь поступавших направляли в баню, одежда прожаривалась, дабы не занести вшей и с ними тифозную заразу.

Тюремный паек не был голодным. Шестьсот граммов хлеба, два кусочка сахара к чаю, два раза каша, суп, в нем даже крохотные кусочки мяса (три раза в неделю) или рыбы (другие три раза) – таков был дневной рацион. Раз в неделю позволялось прикупить кое-что в тюремном ларьке. Как мы знаем, при аресте Вавилова были изъяты деньги, «лично ему принадлежащие». Но расписок в выдаче ему каких-то сумм из этих денег за все лубянские месяцы нет. Возможно, они не приобщались к делу.

По материалам общества «Мемориал», в лубянской тюрьме

было 118 камер на 350 мест. 24 из них общие – на шесть-восемь человек каждая; 94 – одиночные, в них, как правило, помещалось по два зэка. Один из арестантов, Александр Максимович Зеленый, коротко описал камеру № 47, куда его посадили в 1938 г. В ней была кровать, тумбочка, в углу унитаз с бачком и крышкой. Окно отгорожено жестяным коробом; прижавшись глазами к маленькому просвету наверху, можно было увидеть узкую полоску неба. Размеры камеры – четыре небольших шага вдоль, три поперек.

Не бальная зала, а все же не сравнить хотя бы с Бутырской тюрьмой, где в камеру на 25 человек напихивали по 60–80 зэков. В камере нечем было дышать, на нарах невозможно повернуться, новички укладывались на полу у «параши». Поскольку всё познается в сравнении, то обитателям Лубянки грех было жаловаться…

Были отличия и в стиле обращения с арестантами.

По свидетельству Варлама Шаламова, в Бутырке, при вызове на допрос, громко выкрикивали фамилию, потом вели по коридору почти что бегом, тогда как на Лубянке «вызов из камеры всегда был обставлен весьма драматически. Открывалась дверь, и на пороге не сразу появлялся человек в форме. Он доставал из рукава бумажку, вглядывался в нее и спрашивал: “Кто здесь на букву «Б» (или на букву «А»)? – Выслушав ответ, говорил: – Выходи!»[792]

3.

Мы не знаем, в какую камеру поместили Вавилова, кто были его первые сокамерники.

Сразу предупредили: днем ложиться запрещено.

Но вот, наконец, отбой.

Лежать можно только на спине, руки поверх одеяла, яркий свет режет глаза… Николай Иванович усилием воли заставляет себя отогнать роящиеся мысли, жуткое напряжение последних дней переходит в тяжелую усталость. Он начинает засыпать…

Но тут щелкает запор:

– Кто здесь на «В»?.. Выходи!

…О том, как узников водили на допросы, есть много свидетельств.

Сопровождали по узкому угрюмому коридору два конвоира – один впереди, другой позади. Перед поворотом

Шаламов В.Т. Бутырская тюрьма. Цит. по: shalamoy.ru/ library/16/19.htmL передний подавал сигнал: щелкал пальцами,

либо хлопал в ладоши, либо стучал ключом по металлической пряжке. Так предупреждали о своем приближении тех, кто, возможно, вел навстречу другого арестанта. Если оттуда тоже раздавался сигнал, конвоир впихивал заключенного в нишу, стоять он должен был лицом к стене. Чтобы два зэка не могли встретиться взглядами и молча о чем-то *сговориться*…

Узкий полутемный коридор кажется бесконечным… Передний конвоир похлопывает в ладоши, задний, чуть замешкаешься, толкает прикладом в спину…

Николай Иванович еще не знает, что этот путь ему предстоит пройти то ли двести, то ли четыреста раз.

Коридор выводит в соседнее здание. После мрачного перехода здесь всё кажется нарядным. Стены раздвинуты, на полу ковровая дорожка, высокие окна с цветами на подоконниках неплотно задернуты шторами – в просвете можно увидеть луну…

Останавливаются у массивной двери. На медной табличке выгравировано:

Старший следователь НКВД
А.Г.ХВАТ

4.

…В 1987 году, когда в Советской России набирала обороты гласность, корреспондент газеты «Московские новости» Евгения Альбац разыскала Александра Григорьевича Хвата.

Он жил в самом центре Москвы, на улице Горького, 41, в большом, добротном, но обшарпанном, давно не подновлявшемся доме.

Когда-то, еще до войны, НКВД построил его для своих наиболее ценимых сотрудников. В доме поселился первый замнаркома (потом нарком) В.Н.Меркулов, сподвижник Берии. Здесь же обитал П.А.Судоплатов, выполнявший, если верить его мемуарам, самые важные задания Берии и Меркулова. Получили квартиры такие заслуженные чекисты, как К.С.Зильберман, Н.А.Зубов, Н.И.Синегубов[793]. Вот и Хват удостоился.

Первым движением Евгении Альбац было договориться о встрече по телефону. Но, подумав, она решила прийти без предупреждения. Поднялась на третий этаж. С гулко стучащим сердцем нажала на дверной звонок квартиры 88.

Открыла полусонная женщина с пасмурным помятым лицом, в помятом домашнем халате.

– Здесь живет Александр Григорьевич Хват?

– Папа, к тебе…

Александр Григорьевич выглядел много моложе своих 80 лет.

«Широкогрудый, когда-то высокий, с голым черепом посередине и обрамлением седых волос».

Он долго, с прищуром, рассматривал удостоверение журналистки, поднимал и опускал подозрительные глаза: сличал лицо с фотокарточкой…

– По какому вопросу?

– Вы работали следователем НКВД?

– Да.

– Не помните ли, в 40-м году вы вели дело такого Вавилова, академика.

– Как же, конечно помню…[794]

Еще бы не помнить! Наверняка всплыло в памяти, каким он был тогда молодцом – стройным, красивым, подтянутым и затянутым в портупею офицера госбезопасности, с петлицами старшего лейтенанта на отглаженном вороте.

Когда ввели арестанта, он сидел за своим большим дубовым столом. Сосредоточенно листал бумаги, делал пометки – демонстрировал *свою* значимость и *его* ничтожность.

Выдержав нужную паузу, отложил ручку, поднял глаза, стараясь придать им нужную выразительность. Взгляд должен быть жестким, подозрительным, обжигающим, пронизывающим…

На самом-то деле в столь поздний час его тянуло домой, к жене и детишкам, туда, где можно расслабиться, снять сапоги с перепревшими портянками, стянуть пропотевшую гимнастерку, сладостно поплескаться у рукомойника…

Почему такая спешка с тем первым допросом?

Варлам Шаламов: «Тогда думали, что есть две школы следователей: одна считает, что арестованного надо оглушить немедленными допросами, длительными, тягучими угрозами, обвинениями огорошить, сбить с толку.

Вторая держится другой точки зрения.

Надо поместить арестованного в тюрьму и держать по возможности дольше без всякого допроса. Тогда воля его ослабеет, сама тюрьма разложит его, ожидание измучит. За это время можно собрать справки, всякий материал, относящийся к “человековедению”. Нет, говорит другая школа. В тюрьме арестованный неизбежно встретит людей, которые укрепят его волю, и подследственный будет сильнее, чем ежели готовить блюдо быстро и горячо»[795].

Значит, Хват принадлежал к первой школе – к той, что *быстро и горячо*.

Но до утра-то мог же он подождать! Выходит, не мог. Надо

было сразу, первой же ночью, *оглушить, сбить с толку.*

Какие же вопросы старлей Хват задал академику Вавилову на том ПЕРВОМ допросе? Что тот отвечал? Что вообще происходило той ночью в кабинете следователя?

Об этом ничего не известно. И никогда не будет известно. Хват в ту ночь совершил должностное преступление. Вероятно, не первое, а в том, что не последнее, нам многократно предстоит убедиться. Протокола допроса он не составил или его уничтожил. Какие инструкции или статьи закона при этом нарушил, – разбираться юристам.

Не осталось бы от того допроса никакого следа, если бы уводы-приводы арестантов не регистрировал начальник внутренней тюрьмы капитан госбезопасности А.Н.Миронов. Он отвечал за то, чтобы зэки, находившиеся под его контролем, были в наличии, вот и записывал, кого, когда и к кому уводили, дабы снимать их на время со своего баланса.

Когда от него потребуют *«Справку о вызовах на допрос заключенного ВАВИЛОВА Николая Ивановича»*, Миронов составит ее по этим записям. Аккуратная выйдет табличка[796]. Полная ли – отдельный вопрос.

В нее включен 231 увод-привод. Общая продолжительность допросов 873 часа 15 минут. А в заявлении Вавилова на имя Берии от 25 апреля 1942 года сказано о «400 допросах в течение 1700 часов»[797]. Николай Иванович округлил, но не мог он оба числа *намеренно* удвоить. Либо кошмар допросов такой тяжестью лежал в его сознании, что невольно удвоился, либо капитан Миронов был менее аккуратен, нежели его таблица. Могли ли быть уводы-приводы, когда Миронова, к примеру, не было на месте и запись не делалась?

Я задал этот вопрос бывшему консультанту Центрального архива ФСБ полковнику В.А.Гончарову – одному из составителей сборника «Суд палача». Он ответил: «Может быть всякое, но, по-моему, это исключено»[798].

Имеются ли пропуски в таблице капитана Миронова или нет, но это щелочка, через нее можно заглянуть во тьму кощеева Зазеркалья.

В нее видно, что 10 августа 1940 года Вавилова выдернули из камеры за полчаса до полуночи и привели обратно в 2:30 утра. Значит, длился тот первый допрос около трех часов. В колонке «Кто вызывал» обозначено: **т. Хват.**

5.

…Старший лейтенант госбезопасности Александр Григорьевич Хват (позднее капитан, майор, подполковник) был моложе арестанта на двадцать лет. Превосходство советского строя над волчьим миром капитализма он усвоил еще школьником. Собственная семья была тому ежедневным напоминанием. Родители из безземельных крестьян, батраков, конечно, безграмотны. А одна их дочь стала учительницей, другая – ветеринарным врачом, три сына получили среднее образование. Александр Хват после обычной школы окончил *совпартшколу*, куда принимали только самых проверенных, по комсомольской путевке.

Главное, чему в ней учили, были основы марксизма. И немного общих знаний, чтобы выпускники могли читать, писать, складно говорить: им предстояло «работать в массах».

Хват, по его словам, хотел учиться дальше, но ему сказали: хватит, надо работать. Был секретарем райкома комсомола, в райкоме партии руководил пионерией. Затем его *бросили* на ОСОАВИАХИМ – заместителем начальника, потом начальником орготдела. Не подкачал. Пошел бы дальше и выше, но тут его *бросили* на укрепление НКВД.

Укрепление требовалось срочное!

Нарком внутренних дел, комиссар госбезопасности первого ранга Николай Иванович Ежов – гроза буржуев, оппозиционеров, троцкистов, уклонистов, буржуазных националистов, оппортунистов и прочей антисоветской нечисти – был в зените славы и успеха. Страна трепетала при одном упоминании о *ежовых рукавицах*. Маленький тщедушный человечек с карикатурно короткими ручками и ножками, он ежедневно по многу часов проводил в кабинете Сталина, а в промежутках слал ему расстрельные списки – по двадцать рапортов в день. Собственное ведомство Ежов боронил кровавыми бороздами вдоль и поперек. Когда его самого достанет костлявая кощеева рука, он будет каяться на закрытом военном суде: *«Япочистил 14 000 чекистов, но огромная моя вина заключается в том, что я мало их почистил».*

Почищенным требовалась замена.

«Хват: Я сказал: я не следователь и не юрист, поэтому прошу меня не назначать. Мне сказали: ничего, надо работать, всё будет в порядке.

Альбац: Вы говорите, у вас образования юридического не было, и как же вам, трудно, наверное, было?

Хват: Конечно. Но я то, что нужно было, что необходимо было, – я где-то как-то подучил. Но это, конечно, не дело. **Я**

вообще, когда вызвали меня первый раз в НКВД, говорю: А если я не пойду? – Ну, что ж, если вы не пойдете, то положите партийный билет на стол. Есть решение ЦК о мобилизации вас в органы… Были разные там дела, и, кажется, в августе 40-го года вызвали меня и сказали: будешь вести это дело. **Я** вел, потом мне дали нацмена, по-моему, из Чечено-Ингушетии, – Албогачиев. Ну я, насколько разумел, – вел дело».

Именно так: *насколько разумел, настолько и вел…*

И должен был показывать рвение, непримиримость к классовому врагу. А то, упаси Боже, обвинят в *примиренчестве* – угодишь в 15-ю тысячу *почищенный…*

Ежова в НКВД уже не было, при Берии стало спокойнее, страху поубавилось, да ведь кто знает, куда оно повернет!..

«Альбац: А вы не помните своего первого впечатления, когда увидели Вавилова? Вы знали, что это тот самый, академик? Или вы его раньше не знали?

Хват: Нет, я его раньше не знал…»

Точнее было бы сказать: *не встречал.* Это была бы правда. До первого ночного допроса Хват Вавилова никогда не видел. Но *не знать* никак не мог. Еще недавно был комсомольским вожаком, значит, усердно читал и растолковывал то, что писали в центральных газетах. А имя академика Н.И.Вавилова в них появлялось нередко. Но если бы и не помнил по газетам, то агентурное-то дело, увенчанное **Постановлением на арест,** проштудировал со всей дотошностью, на какую был способен. Главное в нем – *совершенно секретный* **Меморандум** об антисоветской деятельности Вавилова. Вот подзаголовки разделов, из коих он выстроен:

«Период 1924–1936 гг. Возникновение к/р группировки и характер к/р деятельности»

«Состав а[нти]/с[оветской] группы ВАВИЛОВА» «Каналы вредительской деятельности а/с группы» «Связи с заграницей»

«Отношение группировки к ВКП(б) и Соввласти» «Связь а/с группировки, возглавляемой ВАВИЛОВЫМ, с к/р группировками периферии»

«Организованная (очевидно, организационная. – *С.Р.)* **деятельность»**

«Вредительство»

«Деятельность а/с группировки в период конца 1938 и начала 1939 г.»[799]

Здесь вся подноготная академика-арестанта: перечислены *вредительские* деяния; приведены показания *сообщников*; крамольные высказывания самого академика.

Этот шедевр чекистского интеллектуализма подписан младшим лейтенантом госбезопасности *Н.Макеевым* и капитаном госбезопасности *Захаровым* (вероятно, Н.С.Захаров – будущий заместитель председателя КГБ). Датирован тем же 10 августа 1940 года. Значит, штудировал его старлей Хват в тот самый день. Потому, видать, и допрос был ночным: день ушел на штудирование. Так что Хват *знал*, кого к нему привели.

6.

«Альбац: Вы запомнили этого человека – Вавилова?

Хват: Конечно.

Альбац: Каким он был?

Хват: В каком смысле?

Альбац: Как он выглядел, как вел себя, как держался?

Хват: Держался он хорошо.

Альбац: Боялся ли приговора?

Хват: А как он мог бояться – приговор же был еще неизвестен…»

Вот именно, господин Хват! Потому он и *должен был бояться*, что приговор был неизвестен. А каким быть приговору – во многом зависело от Вас.

Александр Хват всего два года был в органах, образование средненькое, в юридических тонкостях не силен, но уже старший лейтенант. Это ведь почти что майор, если сравнивать с общевойсковыми чинами. Не чета какому-нибудь сержанту Свириденко! Видать, успел отличиться, потому и доверили такое сложное дело.

«Хват: Вел он себя вполне, как говорится, достойно. На вопросы отвечал так, как положено.

Альбац: Что значит – как положено?

Хват: Ну, спокойно – в этом смысле. Никаких у нас с ним неприязненных отношений не было».

О том, насколько *приязненными* были отношения, можно судить вполне однозначно. Не по первому допросу, который не запротоколирован, но уже по второму-третьему.

«Вопрос: Следствию вы известны как человек, принципиально, враждебно настроенный к существующему строю и проводимой политике советской властью, особенно в области сельского хозяйства.

Будучи на руководящей научно-исследовательской работе, вы возглавляли антисоветскую организацию и вели активную шпионскую работу. Вот об этом давайте показания.

Ответ: Я считаю, что материалы, имеющиеся в распоряжении следствия, односторонне и неправильно освещают мою деятельность и являются, очевидно, результатом моих разногласий в научной и служебной работе с целым рядом лиц, которые, по-моему, тенденциозно и характеризовали мою деятельность. Я считаю, что это не что иное, как возводимая на меня клевета.

Вопрос: Речь идет не о ваших разногласиях с некоторыми научными работниками, а о вашей активной антисоветской работе, которую вы проводили в течение долгого периода времени. Вы же пытаетесь свой арест объяснить какими-то разногласиями и недовольством лиц по отношению к вам как администратору. Предлагаем серьезно продумать поставленные следствием вопросы и давать показания по существу предъявленного обвинения»[800].

Первый из этих двух допросов начат в 13:30, окончен в 18:20, то есть длился почти пять часов. Продолжен после отбоя, до половины четвертого утра. Протокол общий, с отметкой о *перерыве*. Таким приемом Хват будет пользоваться постоянно: либо допросы вообще не протоколировал, либо два, а то и три допроса объединял *общим* протоколом: начат тогда-то, прерван тогда-то, возобновлен тогда-то. Почти в каждом есть «вопрос» типа:

«Не достаточно ли сказанного, чтобы вы убедились, что следствию хорошо известна ваша антисоветская работа. Требуем прекратить запирательство, которое ни к чему не приведет»[801].

Таково *прямое* свидетельство *приязненных* отношения следователя и арестанта.

А вот косвенное – одно из многих, вполне типичное.

А.М.Зеленый: «Он [следователь] встал и начал ходить по кабинету. Зашел сзади и схватил меня за волосы. <…> Быстро нагнув голову к столу, он начал стучать моей головой по столу, приговаривая: “Думай головой, а не ж… “ <…> И начал считать удары: раз, два, три и т. д. до 50, равномерно ударяя головою об стол. Второй рукой держа меня за плечо. <…> Снова равномерные удары головой об стол. Снова 50 ударов. “Ну? Что ты ломаешься, заставляешь меня быть невежливым». <…> «Ну что же, придется еще помочь твоей дурацкой башке”. Снова удары, снова счет: раз, два. В голове шум. Боль становится не так чувствительна, а он все считает, уже 100. Я начинаю плохо слышать, он все стучит. <…> “Я расколю сегодня твою дурацкую башку”. Он снова схватил меня за волосы и снова удары головой об стол… Я временами терял сознание… Я пришел в себя тогда,

когда следователь совал мне в рот стакан с водой. Голова была мокрая. <…> Вдруг сильный удар в голову. <…> В руках у следователя было пресс-папье с мраморною плиткою. <…> Удар последовал за ударом. Голова покрылась шишками. Так с перерывами до утра, часов в 5 меня увели в камеру. <…> Я потерял слух. <…> Кроме того, у меня терялось чувство равновесия и я валился на бок. <…> В камеру вошла женщина-врач с старшим надзирателем. <…> Она осмотрела голову. Проломов нет. <…> Есть прорывы верхнего покрова кожи»[802].

Это было в 1938-м, еще при Ежове. При Берии истязания стали более изощренными: без явных следов.

В беседе с Евгенией Альбац А.Г.Хват отрицал, что использовал «недозволенные» методы следствия. Это противоречит следствию по делу самого Хвата (об этом ниже). Да и *недозволенные методы* — не обязательно избиения.

Когда подследственному днем не разрешают прилечь, а ночами допрашивают, не составляя протоколов, это тоже *недозволенные методы.* А если «Протокол» пяти – десятичасового допроса составляет пол странички, то это карикатура на протокол, даже если допрашиваемый удостоверил, что с его слов записано верно.

Можно не сомневаться, что Вавилов на *многих* допросах *признавался* в том, что противостоял Трофиму Лысенко. Казалось бы, Хват должен был ухватиться за такие признания. В «совершенно секретном» **Меморандуме,** который он зазубрил наизусть, заключительный раздел *(«Деятельность а/с группировки в период конца 1938 и начала 1939 г.»)* посвящен именно этому противостоянию:

«Обращает внимание происходящая борьба а/с группировки ВАВИЛОВА за сохранение антидарвиновских основ науки. Эта к/р группировка дискредитирует работу советских ученых, группирует вокруг себя кадры а/с настроенных специалистов и ведет ничем не прикрытую борьбу с новым руководством академии сельхознаук [Лысенко]. Идеолог а/с группировки ВАВИЛОВ на собрании актива Института 2/IX-1938 г., в заключительном слове сказал: “…Наши расхождения (имеется ввиду президент с/х академии ЛЫСЕНКО) капитальные расхождения, за которые мы будем бороться до последней капли крови…” Эта установка ВАВИЛОВА воспринята группировкой как директива и весьма активно проводится в жизнь».

«Вавилов полностью отрицает теорию развития, выдвинутую ЛЫСЕНКО по каучуконосам».

«Продвигая заведомо враждебные теории (закон

гомологических рядов) [Вавилов] боролся сам и давал установки бороться против теории и работ ЛЫСЕНКО, ЦИЦИНА и МИЧУРИНА, имеющих решающее значение для с/хозяйства СССР. ВАВИЛОВ говорил: "…Никаких сомнений в полной (нашей) правоте у нас нет, и ни одной пяди своих позиций мы не уступим. История за нас и история оценит нас. Ну, а борьба сейчас – это сражение Фауста с Валентином". "…Сам по себе ЛЫСЕНКО слаб, но за ЛЫСЕНКО стоит поддержка – руководство партии и правительства, которая обеспечивает ему победу в борьбе с истиной в науке…" "…Мы были, есть и будем "анти", – добавил ВАВИЛОВ с большим жаром, "на костер пойдем за наши взгляды и никому наших позиций не уступим"… Нельзя уступать позицию. Нужно бороться до конца»[803]

Лексикон предшествующих разделов **Меморандума** не менее зловещий, но те разделы составлены частью по агентурным данным, которые не могут быть судебными уликами, и частью по показаниям арестантов, полученным еще тогда, когда во главе ОГПУ-НКВД стояли Генрих Ягода и Николай Ежов. Оба расстреляны как враги народа. Обоим инкриминировалось *незаконное* преследование честных советских людей, *незаконные,* методы ведения следствия. Тем самым эти материалы были скомпрометированы и не имели юридической силы.

За их вычетом – что оставалось? Противостояние «группировки» Вавилова новому президенту ВАСХНИЛЛысенко! Коль скоро доктрины Лысенко имели *«решающее значение для с/хозяйства СССР»,* а Вавилов *признавался* в том, что им противостоял, то все проще пареной репы: задай уточняющие вопросы, запротоколируй ответы, и *Обвинительное заключение* готово! Дело нескольких дней. За такой успех Хвату полагалось бы знатное вознаграждение: денежная премия либо повышение звания, а скорее всего, то и другое!

Однако именно эту часть вавиловских показаний Хват занес *только* в первый свой протокол, причем сразу же их оспорил. А затем, за 11 месяцев следствия, ни одного *такого* признания не записал. Не иначе как вышестоящие товарищи ему объяснили: это *запретная зона*, в нее вступать нельзя. Советский Союз – самая свободная страна в мире; Сталинская Конституция гарантирует свободу слова, дискуссий, научных и всяких других мнений. О том постоянно твердили газеты, по многу раз в день звенела по хриплым радиорепродукторам радостная песня: «Я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит человек!»

В *такой* стране за научные разногласия не преследуют.

В круге седьмом
Действие второе

1.

«Альбац: А как Вавилов воспринял обвинение?

Хват: Ничего, он так ознакомился: ну что ж, Александр Григорьевич, говорит, – у нас с ним так отношения были нормальные, – вот мы с вами столько времени пробыли…

Я говорю: да, за это время можно было уже институт закончить… Ну так пошутили – и всё».

А вот пример *шутливого* разговора:

«Вопрос: Выше вы показали, что в политическом отношении подбираемые вами кадры ВИРа были вполне преданные советской власти. Однако вы не можете отрицать того факта, что значительное число их репрессировано органами НКВД. Что вы можете сказать по этому поводу?

Ответ: Действительно, из числа работников ВИРа целый ряд лиц были репрессированы. Если такие лица оказались в ВИРе, то это можно отнести за счет притупления моей политической бдительности как директора ВИРа. Никакого злого умысла в этом деле, с моей стороны, не было.

Вопрос: Напрасно вы пытаетесь объяснить притуплением своей политической бдительности. Известно, что вы в интересах антисоветской работы группировали вокруг ВИРа контрреволюционно настроенный элемент, являясь руководителем шпионско-вредительской организации в возглавляемом вами научном учреждении и его филиалах. Требуем об этом правдивых показаний.

Ответ: Это неправда. Вокруг ВИРа я группировал высококвалифицированных специалистов для ведения научной работы, антисоветской же работой я никогда не занимался»[804]**.**

На одном из первых ночных допросов Хват потребовал от Вавилова *письменную* справку о его заграничных поездках. Было ясно, для чего нужна эта справка: за ней маячило самое грозное из обвинений – *шпионаж.* Но – *делать, как говорится, было нечего.* За границей Вавилов бывал многократно, пол света обошел-объездил, глупо было бы это отрицать. Записка его имеется в деле: перечень стран, дат, сроков, целей пребывания[805].

На следующий день Хват вел допрос с часу дня до 6 вечера. В

22 часа снова выдернул арестанта. Теперь его допрашивали двое: к Хвату присоединился его прямой начальник, майор госбезопасности Л.Л.Шварцман.

Шварцман был ровесником Хвата, образование – ниже среднего, в органах НКВД с августа 1937 года, то есть немногим дольше. Но насколько же больше успел! В числе его «подопечных» числились Исаак Бабель, Всеволод Мейерхольд, Михаил Кольцов, первый секретарь ЦК комсомола Александр Косарев… Из каждого он сумел выколотить всё, что требовалось. О том, как он и его подручные этого добивались, известно из чудом сохранившегося письма Мейерхольда председателю Совнаркома Молотову:

«…Когда следователи в отношении меня, подследственного, пустили в ход физические методы (меня здесь били – больного 65-летнего старика: клали на пол лицом вниз, резиновым жгутом били по пяткам и по спине; когда сидел на стуле, той же резиной били по ногам сверху, с большой силой… В следующие дни, когда эти места ног были залиты обильным внутренним кровоизлиянием, то по этим красно-синим-желтым кровоподтекам снова били этим жгутом, и боль была такая, что, казалось, на больные, чувствительные места ног лили крутой кипяток, я кричал и плакал от боли. Меня били по спине этой резиной, руками меня били по лицу размахами с высоты) и к ним присоединили еще так называемую “психическую атаку”, то и другое вызвало во мне такой чудовищный страх, что натура моя обнажилась до самых корней своих. Нервные ткани мои оказались расположенными совсем близко к телесному покрову, а кожа оказалась нежной и чувствительной, как у ребенка; глаза оказались способными (при нестерпимой для меня боли физической и боли моральной) лить слезы потоками. Лежа на полу лицом вниз, я обнаруживал способность извиваться и корчиться, и визжать, как собака, которую плетью бьет ее хозяин. Конвоир, который вел меня однажды с такого допроса, спросил меня: “У тебя малярия?” – такую тело мое обнаружило способность к нервной дрожи. Когда я лег на койку и заснул, с тем чтобы через час опять идти на допрос, который длился перед этим 18 часов, я проснулся, разбуженный своим стоном и тем, что меня подбрасывало на койке так, как это бывает с больными, погибающими от горячки»[806].

А вот свидетельство о том, как допрашивали Косарева: «Косарев лежал на полу вниз головой и хрипел. Макаров держал его за ноги, Родос за голову, а Шварцман бил его резиновым жгутом»[807].

О Шварцмане есть и другие сведения: «Жестокость и садизм Шварцман проявлял в отношении видных коммунистов, высших

командиров РККА и тому подобных – их Шварцман мог забить насмерть на допросе. “’Простым” же арестантам Шварцман стремился улучшить условия содержания, предлагал еду, давал чай и табак»[808].

Относил ли он академика Вавилова к *видным* арестантам, как Мейерхольд и Косарев, или к *простым*, понять нелегко. Из опубликованных документов дела Вавилова *прямых* заключений на этот счет сделать нельзя. Часть материалов остается засекреченной.

Шварцман был арестован в 1951 году, на следующий день после ареста главы МГБ В.С.Абакумова. Их сделали главарями «сионистского заговора» – предшественника «Дела врачей». Шварцман смертельно боялся пыток, сразу «во всем признался», но его все равно избивали до полусмерти. Его наговоры на себя и других были настолько фантастичны, что вызвали подозрение в помешательстве, но психиатрическая экспертиза этого не подтвердила. После смерти Сталина и прекращения «Дела врачей» сионистский заговор распался, однако выявилось, какими методами Шварцман добывал «признания» своих жертв. Судили его в марте 1955 года закрытым судом, свидетельские показания давали уцелевшие жертвы. Выплыло, между прочим, и то, как он, уже после войны, «сфабриковал дело на ответственного работника Министерства сельского хозяйства СССР Шлыкова Г.Н., превратив честного советского работника в американского шпиона»[809].

Шварцман был расстрелян. А «честный советский работник» Шлыков уловил перемену ветра и перелицевал себя в ученика и верного последователя академика Вавилова.

2.

«Альбац: Александр Григорьевич, скажите, Вавилов признал то, что ему инкриминировалось?

Хват: Я сейчас не помню: что-то он признал, а что-то нет… Дело надо смотреть… На протоколах делал свои вставочки – насколько я помню. Но шпионаж он не признал, насколько я помню <…>. Ну, когда делать, как говорится, было нечего, я давал ему бумагу – он сидел, писал.

Альбац: То есть он прямо у вас в кабинете писал? А в камере он не мог писать?

Хват: Нет, по-моему, не мог… И он написал примерно вот такую стопку. (Показывает толщину сантиметра 2–3.) Я всё это приложил к делу и в опись включил. И она была в конверте и в

опись включена…»

В интервью с Евгенией Альбац Хват, как упоминалось, категорически отрицал применение к Вавилову «недозволенных методов следствия». Впрочем, не очень категорически. Сам-то он только *шутил* с Николаем Ивановичем, но за помощника своего Албогачиева не ручался: малограмотный, грубиян, нацмен…

В таблице капитана госбезопасности Миронова зарегистрировано 12 вызовов к Албогачиеву. Ни один из этих допросов не запротоколирован. Зато есть протоколы допросов, на которые вызывал Хват, но под ними стоят *две* подписи: Хват и Албогачиев. По странному совпадению, именно эти протоколы наиболее пространны: в них занесены показания Вавилова о своем *вредительстве*, о *сообщниках*. Вполне возможно, что Албогачиев участвовал и в других допросах: отсутствие подписи под протоколом не значит, что его не было.

Но вернемся к той ночи, с 14 на 15 августа, когда Хват обрабатывал арестанта на пару со Шварцманом.

«Вопрос: Чем занимался Ваш отец до революции?

Ответ: Мой отец, Вавилов Иван Ильич, до революции был совладельцем мануфактурной фирмы в Москве “Удалов и Вавилов”. Филиал этой фирмы был в Ростове-на-Дону.

Вопрос: К каким партиям или политическим группировкам принадлежал ваш отец до революции?

Ответ: Мне известно, что отец в 1905–1906 гг. был членом партии “Союз 17 октября”.

Вопрос: Где находился отец после революции?

Ответ: В 1918 году отец вместе с белыми из Ростова ушел за границу и с 1918 года по 1927 год проживал в Болгарии. В 1928 году он вернулся в СССР, где и умер в том же году Жил он последнее время в Ленинграде.

Вопрос: В период пребывания отца за границей вы с ним там встречались?

Ответ: Встречался в 1927 году в Берлине.

Вопрос: Следствию известно, что вы, будучи выходцем из буржуазной семьи, по своим убеждениям являетесь антисоветским человеком. Вы это признаете?

Ответ: Нет, не признаю.

Вопрос: Следствию известно, что вы, будучи по своим убеждениям антисоветским человеком, в течение долгого периода времени вели активную вредительскую и шпионскую работу, являясь руководителем антисоветской организации в возглавляемом вами научном учреждении и его филиалах на местах? Требуем правдивых показаний по предъявленным вам обвинениям.

Ответ: Антисоветской работой я не занимался и показаний по этому вопросу дать не могу»[810].

Это *весь* протокол! *Всё*, что два костолома сумели *вынуть* из обвиняемого за 5 дневных плюс 8 ночных часов! И ради *этого* майор Шварцман не спал ночь?!

Правда, имени Шварцмана под протоколом нет. Может быть, его не было на том допросе? Но в таблице Миронова, в графе «Кто вызывал», четко указано: «т. Шварцман с т. Хватом»[811]. Похоже, майор хотел *поучить* менее опытного старлея, как выжать из обвиняемого нужные показания, но обмишурился и не стал расписываться в своем бессилии.

В реестре допросов Вавилова имя Шварцмана появится еще только один раз: пять месяцев спустя, 13 января 1941 года. Вызов в 12:40, возвращение в камеру в 13:45. Если вычесть 8—10 минут на увод и привод, получится меньше часа. Протокола нет. Возможно, то был вызов для какой-то формальности. На остальные допросы, кроме 12 албогачиевских, Вавилова вызывал Хват. Сам их и проводил – один или на пару с Албогачиевым. Лично Шварцман больше не участвовал. Видимо, убедился, что рвения Александру Григорьевичу не занимать.

Едва переведя дыхание после долгого ночного допроса с 14-го на 15-е, он снова выдернул Николая Ивановича – в девять утра. Продержал без перерыва восемь часов, полный рабочий день, оставив его и себя без обеда. А после отбоя, в 11 вечера, изможденный, валящийся с ног Вавилов снова в кабинете Хвата – до 4 утра…

16 августа еще два допроса, дневной и ночной, снова без протокола. Зато тем числом датировано *«ПОСТАНОВЛЕНИЕ (о предъявлении обвинения)»:*

«ВАВИЛОВ Николай Иванович *достаточно изобличается* в том, что на протяжении ряда лет являлся руководителем контрреволюционной организации, сплачивал для борьбы с советской властью контрреволюционно настроенную часть интеллигенции, будучи агентом иностранных разведок, вел активную шпионско-вредительскую и диверсионную работу по подрыву хозяйственной и обороной мощи СССР, стоял на позициях реставрации капитализма и поражения СССР в войне с капиталистическими странами» (курсив мой. – *С.Р.)* [812].

Здесь весь букет – на полдюжины смертных приговоров.

Подписал – **А.Г.Хват.**

Утвердил – **Л.Л.Шварцман.**

Подпись Н.И.Вавилова подтверждает, что постановление ему объявлено.

3.

Если обвиняемый *достаточно изобличается следственными материалами*, то какими? Вещественных доказательств нет, от него самого ничего не добились. Значит, теми материалами, что были собраны до ареста. Коль скоро они *достаточны*, то следствие закончено, дело должно перейти в суд!

Почему же обвиняемого снова терзают допросами?

Зарегистрированы: дневной 17-го, дневной и ночной 19-го, дневной 20-го, дневной и ночной 21-го. Ни один из них не запротоколирован.

Только о следующих двух допросах – 21 августа с 13:30 до 18:00 и 21–22 августа с 22:00 до трех часов утра – протокол составлен.

Вот он – опять весь, целиком:

«Вопрос: В каких странах вы бывали за границей?

Ответ: В период с 1913 по 1933 год я был в научных командировках в следующих странах: Англия, Франция, Германия, Иран, США, Голландия, Швеция, Дания, Афганистан, Алжир, Тунис, Марокко, Сирия, Палестина, Трансиордания, Абиссиния, Эритрея, Испания, Италия, Греция, Французское Сомали, Западный Китай, Япония, Корея, Мексика, Гватемала, Перу, Боливия, Эквадор, Чили, Аргентина, Уругвай, Бразилия и Куба»[813].

Это ВСЁ, что Хват смог выудить – мытьем, катаньем, лишением сна – за 10 часов двух допросов.

Да ведь записку о загранпоездках Вавилов еще раньше составил по его требованию – она есть в деле. Подписана Вавиловым 13 августа. Выходит, толчение воды в ступе…

К следующему допросу Хват приготовил листы бумаги, разделенные вертикальной чертой на две неравные части. Слева, в узкой колонке, вопрос: «Что вам известно о нижеследующих лицах?» И ниже, столбиком, восемнадцать фамилий. Справа, в широкой колонке, ответы, видимо, письменные…

Имена извлечены из агентурных материалов, подбор сделан наскоро, почти наугад. Некоторые из лиц, попавших в список, ранее арестовывались, допрашивались, из них были выжаты показания о «вредительстве» Вавилова. Сам он об этих оговорах не знал, но, возможно, догадывался.

Об одном из этого списка он написал: «Гандельсмана я не знаю». При подписании протокола внес поправку: «не знаю» заменил на «не помню». Столько людей перевидал он на своем веку! Может быть, и промелькнул какой-то Гандельсман… Откуда Хват выудил это имя?

В деле Вавилова есть *совершенно секретное* послание товарищу Сталину, 1933 года. Оно подписано зампредседателя ОГПУ Г.Е.Прокофьевым и начальником Экономического управления Л.Г.Мироновым. Оба давно расстреляны, зато их донос оказался бессмертным. В нем изложены «показания членов контрреволюционной организации в сельском хозяйстве – КУЗНЕЦОВА, БЕЛИЦЕРА, СИЗОВА, ГАНДЕЛЬС-МАНА и других». Они *уличали* Н.И.Вавилова, Н.М.Тулайкова, директора Института животноводства Е.Ф.Лискуна как участников «руководящего центра контрреволюционной организации в сельском хозяйстве»[814]. Прав классик: некоторые рукописи – *не горят.*

Вавилов об этой *рукописи* понятия не имел, но должен был осторожничать. Кто знает, что наговорил о нем таинственный Гандельсман! Последнее, что ему нужно, – быть уличенным в *сокрытии связей…*

Остальные 17 имен из того списка Вавилову хорошо известны.

М.О. Шаповалов — его американский друг. Он так хотел вернуться в Россию, но Николай Иванович отсоветовал. Слава Богу, он в безопасности.

Е.К. Эмме — сотрудница, подруга жены, частая гостья в его семье. Ее принудили к сексотству, но Николай Иванович уверен: никакого компромата на него она не поставляла. О том, что Эмме вскоре будет арестована и в застенке покончит с собой, Николай Иванович никогда не узнает.

К.И.Пангало — друг и коллега со студенческих лет, лучший знаток бахчевых культур. В молодости попал под трамвай, остался без ноги. Эмоционален, впечатлителен, склонен к преувеличениям, порой к паникерству. Сердце, должно быть, екнуло: неужто и его замели?!

П.И.Лисицын, профессор селекции в Петровке, подвижник научной системы семеноводства…

Коллеги по Президиуму ВАСХНИЛ— Марголин, Муралов, Мейстер, Тулайков. Все были членами партии, выступали с самых передовых позиций, но всех утянуло в черную дыру кощеева царства два-три года назад.

О каждом Хват требовал сообщить: когда и где познакомились, какие посты они занимали, кто из них был репрессирован, каковы были отношения с каждым.

Что значит – *какие отношения*?

С кем-то лучше, с кем-то хуже, но в целом хорошие, нормальные, деловые, официальные. Личных счетов ни с кем не было. Только отношения с Марголиным назвал ненормальными. Ученый секретарь ВАСХНИЛтребовал от Вавилова

демонстративного выхода из Генетического общества Германии. Николай Иванович не соглашался. В том, что в Германии восторжествовал фашизм, Генетическое общество не виновато. Лучшие германские генетики, как Эрвин Баур (уже покойный), Рихард Гольдшмидт – его друзья. Они не расисты, им особенно тяжело, их надо поддерживать, а не отталкивать. Марголин напирал, видимо, имел директиву. Пришлось уступить, но отношения разладились. Самого Марголина партийная бдительность не уберегла…

На заполнение таблицы не могло уйти больше часа. О чем же *шутил* Хват остальные девять часов двух допросов?.. Об этом мы никогда не узнаем.

Утром Вавилов снова в его кабинете. После небольшого вечернего перерыва – всю ночь до 4:30 утра. *Протоколов нет.*

4.

Я был не совсем точен, написав, что наутро после ареста Николая Ивановича прошли обыски по *всем* его адресам.

В ВИР в Ленинграде, на улицу Герцена, 44, в рабочий кабинет директора, пришли три дня спустя, поздно вечером, когда в здании уже никого не было. Обыск длился до глубокой ночи. В качестве понятого присутствовал замдиректора по хозяйственной части Ф.В.Михайлов. Ему вручили копию протокола обыска. Наказ – держать язык за зубами.

Чем была вызвана такая таинственность?

Арест высокопоставленного, известного всей стране лица обычно сопровождался громовыми *разоблачениями* в печати, грозными требованиями покончить с *ротозейством* в его окружении, усилить бдительность, разгромить всё контрреволюционное гнездо. В данном случае этого не было. Даже уведомления о том, что Вавилов смещен со всех постов, ни в ВИР, ни в Институт генетики, ни в Президиум Академии наук не поступило.

Господствует мнение, что причиной тому была мировая известность Николая Ивановича.

Что правда, то правда: после смерти И.П.Павлова в России не было ученого, столь широко известного и популярного в мире. С этим Кремль должен был считаться. Советская пропаганда внушала миру, что СССР – царство подлинной (не буржуазной!) свободы. Многие деятели науки и культуры на Западе склонны были этому верить – их старались не разочаровывать.

Но, заключив пакт Молотова – Риббентропа в августе 1939

года, Кремль пожертвовал своей репутацией в кругах западной интеллигенции в пользу союза с Гитлером.

Поделив с Берлином сферы влияния, Кремль «мирно» присоединил часть Польши, три страны Прибалтики, Бессарабию, ввязался в войну с Финляндией. Был со скандалом удален из Лиги Наций. Великий вождь советского народа слал великому вождю нацистской Германии благодарственные телеграммы, газеты их тиражировали:

«Главе Германского государства Адольфу Гитлеру. Прошу Вас принять мою признательность за поздравления и благодарность за Ваши добрые пожелания в отношении народов Советского Союза. И.Сталин»[815].

В таком контексте оглядки на общественное мнение Запада теряли смысл: скандалом больше или меньше – уже не имело значения.

Мне представляется, что арест академика Вавилова не стали афишировать не столько из-за его мировой известности, сколько из-за его популярности внутри страны. Тысячи ученых, агрономов, работников опытных станций лично знали Вавилова, испытывали на себе обаяние его личности, заряжались его энергией, руководствовались его идеями. Превращение академика Вавилова во *врага народа* сеяло смятение в головах и душах, парализовало работу целой научной отрасли, наносило новый удар по практике сельского хозяйства. Меньшим злом было подольше держать людей в неведении, ничего не объяснять: пусть недоумевают и постепенно привыкают.

Но шила в мешке не утаишь. После ночного обыска в ВИРе сотрудники обнаружили, что директорский кабинет – *опечатан*\ Поползли слухи, пересуды, толком никто ничего не знал.

Академик Вернадский узнал об обыске в квартире Вавилова лишь 26 августа, о его аресте – 14 сентября. В тот день к нему пришел Прянишников – он уже побывал в прокуратуре. Там его «успокоили»: всё будет выяснено, если Вавилов не виноват, будет освобожден. Вернадский записал: «Я никак не могу примириться – конкретно – с арестом Н.И.Вавилова. Напоминает всё это Одиссея и его спутников в пещере Полифема»[816].

Полифем. Тупой и жестокий одноглазый циклоп – огромной физической силы. Сила есть – ума не надо.

М.А.Поповский имел возможность познакомиться с доносами тайных агентов НКВД, до сих пор не рассекреченными. Из них следовало, что «арест Вавилова произвел “убийственное” впечатление на всю Академию наук СССР. В агентурных донесениях тех месяцев говорится: академики убеждены, что арест произведен по настоянию Лысенко. Академик Лузин назвал

арест “очередным ужасом”. За Вавиловым, сказал Лузин, не может быть никакого преступления, он – жертва клеветы и интриг. “Что они сделали! Они посадили в клетку гражданина мира!” – воскликнул академик Прянишников, когда до него дошли подробности ареста в Черновицах. Не остался равнодушным и президент АН СССР

В.Л.Комаров. Он сказал академику Завадовскому, что Вавилова посадили в тюрьму как жулика, разбойника и убийцу “за то, что он имел смелость не соглашаться с Лысенко”»[817].

Разбросанные по всей стране ученики Вавилова не хотели верить в случившееся. Среди них упорно ходили слухи, что Николай Иванович переведен на секретную работу, хотя что секретного могло быть в его самой мирной профессии на Земле – профессии ученого-хлебороба!.. Появлялись «очевидцы», которые лицом к лицу сталкивались с Вавиловым в Москве или еще где-то, а он делал вид, что не узнает их, или даже подавал знак, чтобы его не останавливали… Мания секретности дурманящим туманом окутывала страну; любые нелепости казались правдоподобными, циркулировали годами. 7 ноября 1941 г., находясь в эвакуации в Йошкар-Оле,

С.И.Вавилов записал: «О Николае дурацкие радужные вести из Питера, от “прилетевших”». Через месяц, вернувшись в Йошкар-Олу из Казани: «О Николае вести от Шидл**обского.** Кто-то ему написал из Куйбышева, что Николай скоро приезжает в Казань. Во всяком случае, непонятно, кому это надобно выдумывать легенды? А между тем кто-то несомненно их выдумывает». И даже четыре года спустя, уже после войны: «О Николае по-прежнему неумирающие легенды. Видели в Симферополе»[818].

Между тем был человек, который с первого дня точно знал, что произошло с академиком Вавиловым. Об этом мне рассказал И.Е.Глущенко: я с ним беседовал, когда писал первую книгу о Вавилове.

В 1930-е годы сомнительные опыты по вегетативной гибридизации томатов выдвинули Глущенко в число ведущих «мичуринцев». Лысенко внедрил его в вавиловский Институт генетики. И вот утром **7 августа** 1940 года, когда Глущенко копался на своих опытных делянках, на дороге остановилась машина, из нее вышел Трофим Денисович. Шагая через делянки, он подошел весь насупленный, нахохлившийся и, не здороваясь, грозным голосом спросил:

– Где твой директор?

Глущенко ответил, что Вавилова сейчас нет, он где-то в экспедиции, где точно, он не знает.

Лысенко перебил:

– Нет больше твоего директора!.. Арестовали твоего директора!..

Тут только Глущенко заметил, что под маской тяжелой насупленности в лице Трофима Денисовича прячется ликование. Его распирало, он должен был выплеснуть *благую* и столь долгожданную *весть*, затем и примчался к Глущенко.

Не сказав больше ни слова, Лысенко вернулся к машине и укатил.

5.

Когда тайное стало явным, директором Института генетики Академии наук назначили Т.Д.Лысенко. Он сразу приступил к его *реорганизации.* О том, в чем она состояла, есть выразительная запись в дневнике Вернадского: «Лысенко разогнал Институт генетики Вавилова»[819].

Ну а главное детище Николая Ивановича, ВИР, досталось И.Г.Эйхфельду. Предательство было оплачено по высшему разряду: не тридцать иудиных серебряников!

Дела Эйхфельд принимал у и.о. замдиректора И.А.Минкевича. В акте о сдаче-приеме говорилось:

«В своей интродукционной работе Институт растениеводства руководствовался теоретической концепцией руководителя Института Н. И. Вавилова о так называемых “центрах происхождения культурных растений” и, “законе гомологических рядов изменчивости растений” <…>. Однако практика работы по интродукции показала, что теоретические установки, которые руководителем Института были положены в основу этой серьезной работы, не оправдались <…>. Эта теоретическая концепция не только не оказалась полезной в плановом и быстром привлечении всего наиболее ценного из мировых растительных богатств, но мешала и оказалась вредной в использовании даже того ценного, что было привлечено в Советский Союз Институтом растениеводства». Подписи: И.А.Минкевич, И.Г.Эйхфельд, А.И.Зубарев. И примечание: «И.А.Минкевич приступил к и.о. зам. директора по научной части Всесоюзного Института растениеводства с мая 1940 года, и ни института, ни его дел от своего предшественника не принимал»[820].

Пошли слухи, что ВИРа больше не существует, что он превращен в Институт северного земледелия. На местах власти стали прибирать к рукам опытные станции. Эйхфельд слал

панические телеграммы, доказывая, что ВИР еще существует…

Институт переживал агонию.

3 мая 1941 года Вернадский записал после встречи с одной из сотрудниц ВИРа, М.П.Белой. «Она работает в Институте у Н.И.Вавилова (Н.Н.Иванова) над селекцией семян ржи из всего Союза, собранных с огромными затратами. Когда она приступила к работе, то оказалось, что *de facto* из того, что числилось, осталось немного. Очень ценный труд Н.И.Вавилова был уничтожен чиновниками».

Н.Н.Иванов, руководитель отдела биохимии, «в связи с теми неприятностями, которые он пережил с разрушением дела его жизни, в связи с арестом Н.И.Вавилова»[821], скоропостижно скончался 3 декабря 1940 года. Других ведущих работников – мозговой центр ВИРа – одного за другим утягивало кощеево царство. Жертвами репрессий стали Г.Д.Карпеченко, Л.И.Говоров, Г.А.Левитский, А.И.Мальцев, К.А.Флякссбергер – всего двенадцать руководящих работников ВИРа. Никто не вернулся живым…

А *широкая общественность* еще долго ни о чем не подозревала. В адрес академика Вавилова продолжали идти письма от самых разных людей. Вот одно из них, написанные старательным почерком школьника:

«Глубокоуважаемый академик.

В популярных книгах И.В.Мичурина “Итоги шестидесятилетних работ” и Н.А.Блукет “Охотники за растениями” я прочел и узнал, что Вы являетесь самым крупным охотником за растениями и много помогли И.В.Мичурину в добыче необходимых ему растений и семян, а также помогаете и многим нашим селекционерам, которые широко используют ваши семена, собранные в разных странах мира. Как начинающий опытник-мичуринец и селекционер, я также решил обратиться к Вам с убедительнейшей просьбой о высылке мне к весне будущего года некоторых семян, которые меня уже давно интересуют, но добыть их нигде не могу…» Дальше перечень необходимых юннату сортов. Письмо датировано 10 декабря 1940 года, через четыре месяца после исчезновения «антимичуринца»[822].

6.

Как ни вынослив был Николай Иванович, как ни мала была его потребность во сне, но есть предел человеческим возможностям…

Да и Хвату было нелегко! У бедолаги тоже не было времени выспаться – ни днем ни ночью. В иные дни не мог и пообедать.

24 августа Вавилов снова в его кабинете – с утра до половины шестого. Изнемогая от бессонных ночей, Николай Иванович чувствует, что долго не продержится. Тотальное сопротивление бессмысленно, надо идти на уступки.

«Вопрос: Вы арестованы как активный участник антисоветской организации и агент иностранных разведок. Признаете себя в этом виновным?

Ответ: Я признаю себя виновным в том, что с 1930 года являлся участником антисоветской организации правых, существовавшей в системе Наркомзема СССР. В шпионской работе виновным себя не признаю.

Вопрос: Имейте в виду, что вам не удастся скрыть свою активную шпионскую работу и об этом следствие будет вас допрашивать, а сейчас покажите, с кем вы были связаны по антисоветской работе?»

Николай Иванович называет бывших наркомов земледелия: Яковлева, Чернова, Эйхе; президента ВАСХНИЛМуралова, вице-президентов Тулайкова, Горбунова, Мейстера, Вольфа… Все давно исчезли во тьме кощеева царства. Он с ними делал общее дело, стало быть, соучастник…

«Вопрос: В каком направлении велась вами вражеская работа в области сельского хозяйства?»

Что ответить?

Вавилов помнит сыпавшиеся на него обвинения: отрыв научной работы от практики, игнорирование опытного дела, неправильное районирование хлопчатника, игнорирование местных сортов… Всё чушь, ерунда. Как на него давили при каждом местном неурожае: заменить местный посевной материал лучшими селекционными. Приходилось снова и снова терпеливо объяснять: сорта, *лучшие* в одних условиях, в других могут быть *худшими*; достижения мировой селекции надо знать, новые сорта испытывать, вовлекать в скрещивания, но заменять ими сорта, приспособленные к конкретной местности, можно только после многолетних сравнительных испытаний. И он же *игнорировал* местные сорта!..

Протокол завершается глупейшей отсебятиной Хвата: подследственный *просит* дать ему возможность хорошенько вспомнить свою «вражескую работу», чтобы рассказать о ней на будущих допросах.

Об этом он должен – *просить!*\ Верх бессмыслицы. Вот уж в чем его не ограничивали, так в наговорах на себя и своих «сообщников»! Но под протоколом значится: *«Записано с моих слов правильно и мною лично прочитано. Н.Вавилов»*[823].

То ли спорить уже не было сил, то ли намеренно *подтвердил*

нелепицу, чтобы был виден абсурд всего записанного. А может быть, настолько изнемог от *шуток* Хвата-Албогачиева, что смутно сознавал, что подписывает…

М.АПоповский недоумевал: «Что его сломило, заставило клеветать на себя и на тех погибших, среди которых были дорогие, близкие ему люди? Можно многое объяснить жестокостью следственного режима… И все-таки я не могу принять такую гипотезу. Ведь под следствием находился Николай Вавилов – бесстрашный путешественник, человек, мужество которого было известно всему миру <…>. Итакой человек сдался, пробыв на Лубянке всего лишь двенадцать ночей?»[824]

Что сказать об этой сентенции?

Во-первых, не двенадцать ночей, а четырнадцать *дней и ночей.* И не вообще на Лубянке, а на *допросах с пристрастием.*

Во-вторых, одно дело – отвага *свободного* человека, *вольного* в своих решениях и действиях; и другое – физическое и психологическое состояние заживо погребенного узника, отгороженного от внешнего мира, беспомощного и беззащитного.

Перед читателями прошло немало персонажей, попадавших в такое же безвыходное положение. Никому из них (*никому\)* не удавалось выстоять на так называемом следствии. Кто-то ломался на первом допросе, кто-то выдерживал две-три недели, редко один-два месяца, но результат всегда был один.

«Мне кажется, произошло иное, – развивал собственную *гипотезу* М.Поповский. – Своим глубоким аналитическим умом Николай Иванович очень скоро понял, что его арест не случайность, а продуманная, согласованная во всех инстанциях акция. В этом прежде всего убеждали многочисленные, сделанные против него показания, которые следователь Хват, как опытный игрок, то и дело выбрасывал перед своим партнером»[825].

Не мелковато ли это глубокомыслие?

Партнерами Хвата были Шварцман и Албогачиев, а не арестант Вавилов. И вовсе не требовался *глубокий аналитический ум*, чтобы понимать, что его арестовали не по ошибке или прихоти сержанта Свириденко.

Первые «признательные» показания Николая Ивановича были минимальными. Они сводились к тому, что он выполнял задания своего прямого начальника наркома земледелия Яковлева.

При *глубоком аналитическом уме* Вавилов, возможно, полагал, что, пойдя на такую уступку, может рассчитывать на встречные уступки. Ему, конечно, впаяют срок, но он специалист высокого класса, его можно использовать для страны и науки. Значит, вышлют куда-нибудь в глушь, где он будет работать, как Писарев, Максимов, Таланов… Вернуться к работе – это главное.

Столько еще недоделано, недодумано, ненаписано!.. Из всего, что мы знаем о Николае Ивановиче, такой ход его мыслей представляется наиболее вероятным.

Если были у него такие надежды, то они развеялись на следующий же день, когда рано утром его снова привели на допрос. Не к Хвату, а к Албогачиеву.

Хват отсыпался, а обвиняемому давать отдыха было нельзя.

В круге седьмом
Действие третье

1.

Что Албогачиев творил в тот день с Николаем Ивановичем, мы не знаем. Протокола нет. Известно только, что было два допроса – дообеденный и послеобеденный. Аппетит у «нацмена» был отменный, не жертвовать же обедом!

Судя по таблице начальника тюрьмы Миронова, ночного допроса после двух дневных не было. Не исключено, что Албогачиев так разделал обвиняемого, что выводить его из камеры в ту ночь было невозможно.

26-го Николай Иванович опять у Хвата – сперва днем, затем ночью. Протокола нет…

Как это понять?

Ведь он уже «признался» во вредительстве, просил дать возможность *вспомнить и всё рассказать.* Ему *дают возможность*, а он – молчит! Память отказала? Или он *отказался* от признательных показаний? Только этим последним могу объяснить отсутствие протокола в тот день. Запротоколировать его отказ от признаний – значит снова оказаться перед захлопнутой дверью – после того, как нога просунута в щель. Этого Хват, конечно, не мог допустить.

..Увы, сила солому ломит. На двух следующих допросах, дневном и ночном 27–28 августа, Хват сумел вытащить из Николая Ивановича дальнейшие – очень путаные – *признания.* Если верить протоколу, то Вавилов подтвердил, что Яковлев *завербовал* его в антисоветскую организацию. Но завербовал – *без вербовки.* Ни о какой организации Вавилов не знал. Его *сговор-заговор* с Яковлевым похож на *мираж.* Просто нарком сознавал, что Вавилову не нравились методы, какими проводилась коллективизация, что он «в известной степени» «стоял на позициях развития крепкого индивидуального хозяйства». Вот нарком и стал давать ему *вредительские* задания.

Крепкое индивидуальное хозяйство понравилось Хвату, вызвало уточняющий вопрос: «То есть кулацкое?»

Ответ: Да.

Ну а *сообщники*?

Николай Иванович снова назвал Яковлева, Тулайкова, Мейстера, Вольфа. Все давно ликвидированы, поживиться нечем.

Но для протокола подходит.

Развивая успех, Хват потребовал «признаться» в том, что *еще до 1930 года* Вавилов был «руководителем антисоветской организации и вел активную вражескую работу». Это Николай Иванович отверг:

«Антисоветские тенденции были у меня и до 1930 года, но я должен сказать, что в тот период они не имели почвы для практической деятельности в этом направлении».

Конечно, не имели почвы. Тогда был нэп! Крестьянские хозяйства были индивидуальными. Их поддерживала советская власть. Это потом, задним числом, они были объявлены *кулацкими и антисоветскими.*

«Вопрос: Напрасно вы пытаетесь скрывать свое антисоветское прошлое и связи. <…> Требуем правдивых показаний.

Ответ: Никакой организованной антисоветской работы до 1930 года я не проводил»[826].

Казалось бы, велика ли разница – *признаться* в антисоветской деятельности в течение 10 последних лет или 15? Семь бед – один ответ. Но Вавилову было важно отрицать свое участие в ней *до* 1930 года. А Хват упорно этого добивался.

Следующие два допроса. На один из них вызывал Хват, на другой – Албогачиев. Протокол общий. На этот раз – обширный, с новыми именами и подробностями. Подписан только Хватом, словно Албогачиева вообще не было.

«Вопрос: На предыдущем допросе вы показали, что ТУЛАЙКОВА и МЕЙСТЕРА вы знали как участников антисоветской организации по проводимой вместе с ними вражеской работе. Вы это подтверждаете?

Ответ: Да, подтверждаю.

Вопрос: В каких отношениях вы находились с МЕЙСТЕРОМ?

Ответ: Отношения с Мейстером у меня были хорошие и личных счетов между нами не было.

Вопрос: С какого времени вы были связаны с МЕЙСТЕРОМ как с участником антисоветской организации правых?

Ответ: Приблизительно с 1932 года.

Вопрос: Вы продолжаете скрывать свою причастность к антисоветской организации, участником которой вы были еще до 1930 г. Оглашаем вам выдержку из показаний арестованного МЕЙСТЕРА Георгия Карловича от 19/XI/1937 года:

"МУРАДОВ назвал мне в качестве участников организации правых ВАВИЛОВА Н.И., ТУЛАЙКОВА… При этом МУРАЛОВ особо указывал мне на то обстоятельство, что ВАВИЛОВ и ТУЛАЙКОВ – в прошлом принадлежавшие к “ТКП”, теперь активно участвуют в деятельности организации правых.

…Антисоветские настроения ВАВИЛОВА мне были известны и раньше. Помню, что еще в 1932 году ВАВИЛОВ открыто высказывал мне свое враждебное отношение к советской власти. В одном из таких разговоров, происходивших на Саратовской селекционной станции, ВАВИЛОВ заявил мне, что он только что объехал огромный район от Северного Кавказа до Казахстана включительно и видел, что “повсюду вследствие колхозного экспериментаторства на полях возделываются культуры сорных трав, а не сельскохозяйственных растений”.

Эти антисоветские и антиколхозные клеветнические высказывания ВАВИЛОВА не удивили меня, поскольку я знал о его прошлой принадлежности к “ТКП”.

Вы и теперь станете отрицать факты?

Ответ: Должен сказать, что МЕЙСТЕР не совсем точно и правильно указывает обо мне в своих показаниях. Я заявляю, что, хотя идеологически я и был близок к ТКП, но организационно с ней связан не был»[827].

Этот ответ среднеобразованный Хват охотно занес в протокол. Внутренне торжествовал над простоватым академиком. У него был другой козырь, тут же и выложенный. Показания Тулайкова о том, что до 1930 года Вавилов состоял в ТКП, а после ее разгрома стал «основным связующим звеном» между уцелевшими деятелями ТКП и организацией правых.

«Свою контрреволюционную антисоветскую деятельность по осуществлению связей с зарубежными эмигрантскими кругами, – зачитывал Хват показания Тулайкова, – ВАВИЛОВ проводил под непосредственным руководством правых, в частности, лично БУХАРИНА»[828].

Я пытаюсь представить себе замешательство Николая Ивановича, когда он выслушал *такое* «признание». Было ясно, что только страшными мучениями могли вынудить к нему Тулайкова. Сбивало с толку другое. Если этим показаниям верили, то почему его не арестовали три года назад? А если не верили, то почему их предъявляют теперь?

Он ответил, что в показаниях Тулайкова *«есть некоторая неточность в отношении моей антисоветской связи с БУХАРИНЫМ и относительно моих антисоветских связей с заграницей. Должен сказать, что прямой антисоветской связи с БУХАРИНЫМ у меня не было, хотя я и разделял линию правых, идеологом которой был БУХАРИН»*[829].

Хват это записал, внутренне торжествуя. Следующий его козырь бил наповал. Это были показания А.И.Муралова. Зачитав их, Хват потребовал *«прекратить запирательство, которое ни к чему не приведет»*: «Не достаточно ли сказанного, чтобы вы

убедились, что следствию хорошо известна ваша антисоветская работа».

Сколько еще таких козырей он припас?.. Это уже не имело значения.

Имея на руках колоду *таких* козырей, нетрудно обыграть любого гроссмейстера. Итоговая фраза Вавилова в протоколе:

«Я заявляю, что покажу следствию о всех своих вражеских делах и связях»[830].

2.

М.А.Поповский: «Признав себя вредителем и врагом народа, Николай Иванович обрел покой. С сентября 1940 года по март 1941 года Хват его не вызывал на допросы. Вавилов остался один в камере и мог, наконец, отдохнуть. Впоследствии он, очевидно, не раз вспоминал эту одиночку добрым словом. Тут было сухо, тепло, камера проветривалась и освещалась. С 11 вечера до 5 утра разрешалось спать на откидной койке. Подследственные не голодали».

Какой сладкий сон на откидной койке!

О том, как Марку Поповскому удалось в 1965 году проникнуть в кощеево Зазеркалье, он рассказывал по-разному – одна версия сказочнее другой.

Хорошо помню письмо из Ленинграда от В.С.Лехновича, которому или в присутствии которого Поповский рассказал, как стоял в очереди на почте, чтобы отправить заказное письмо, разговорился со стоявшим перед ним человеком, рассказал ему, что задумал книгу об академике Вавилове, но не знает, как получить доступ к материалам его дела. Собеседник оказался «либеральным генералом КГБ» и обещал помочь.

Я тогда работал в редакции серии ЖЗЛ, у нас выходили произведения о деятелях, репрессированных «в годы культа личности Сталина» (так это называлось). Многие авторы пытались получить доступ к следственным делам своих персонажей – никому этого не удавалось.

Вадиму Степановичу я ответил иронически: мне тоже приходится отправлять заказные письма и выстаивать очереди на почте, но я почему-то ни разу не встречал там генералов КГБ, тем более либеральных. (Письмо Лехновича, к сожалению, у меня не сохранилось, но, думаю, что в его архиве должна быть копия и мой ответ.)

В книге «Дело академика Вавилова» М.А.Поповский излагал другую версию. Действие перенесено в Генеральную прокуратуру

и повествуется о том, как ловко он ее одурачил. Особенно хорош безымянный «чиновник юстиции в своем темно-зеленом шитом мундире, с усами и бакенбардами», «похожий на швейцара в богатом доме». «Всем своим видом [он] выражал мне свое презрение, но не смел оспаривать приказ начальства, которое зачем-то разрешает писателю смотреть секретные бумаги». Презрение «швейцара» продолжалось до тех пор, пока он не выложил перед Поповским девятый том вавиловского дела, предупредив с важным видом, что ему разрешено смотреть первую половину тома, но не вторую.

«Для пущей ясности прокурор перегнул том пополам. Я кивнул головой, сел поудобнее за свой стол и сразу углубился во вторую, запрещенную часть тома. Чиновник беспокоился не зря: передо мной лежали рапорты агентов советской тайной полиции, которые в 30-е и 40-е годы ежедневно подавались из недр Академии наук СССР в соответствующий отдел НКВД. Но самое непристойное состояло в том, что писали рапорты не штатные сотрудники, а завербованные профессора и академики!

Я начал торопливо выписывать тексты доносов на академика Вавилова, а также сообщения, что именно сказал академик Лузин (математика) академику Комарову (ботаника) об аресте академика Вавилова (генетика). Я совершенно забыл в этот момент про своего визави. Когда минут через пятнадцать, оторвавшись от волнительных бумаг, я случайно взглянул в сторону “швейцара”, то поразился произошедшей с ним метаморфозе. Он смотрел на меня почтительно, если не сказать подобострастно. Даже улыбаться пытался, но как-то неуверенно. Что с ним случилось? Ведь надлежало ему негодовать на человека, который, будучи гостем Генеральной прокуратуры СССР, позволяет себе игнорировать распоряжения ответственных лиц. Но у этого полковника юстиции ход мыслей был прямо противоположный: мою наглость расценил он как знак того, что где-то наверху (на самом верху!) я получил право никого не слушаться и никому не подчиняться. А раз так, то ухо со мной надлежит держать востро, ибо еще неизвестно, кто именно за мной стоит…»[831]

М.А.Поповский, как видно, обладал способностями экстрасенса: читал чужие мысли, словно открытую книгу.

Когда он стал выступать с публичными докладами, обильно цитируя секретные документы, к коим его *неосмотрительно* допустили лопоухие *швейцары*, ему в прокуратуре было сделано… «отеческое внушение»: «Что же вы, Марк Александрович, так себя ведете… Мы ведь показали вам секретные документы как писателю; мы были уверены, что если вы что-нибудь и напишите,

то цензура проконтролирует вас. А вы в обход пошли, обманули наше доверие, делаете публичные доклады о секретных бумагах. Нехорошо, Марк Александрович, некрасиво…»[832]

Эта *поэзия в прозе* занимательнее сказок Шахерезады, да и самой смелой фантастики Брэдбери и братьев Стругацких.

В те относительно *вегетарианские* времена мне приходилось работать в архивах – литературных, академических, государственных. Доступ получить было нетрудно: письма от издательства или от творческого союза было достаточно. Но речь шла о незасекреченных фондах. Секретные материалы простым смертным не выдавались. Так, в рукописном отделе библиотеки им. Ленина мне приходилось знакомиться с архивом В.Г.Короленко. Казалось бы, что могло было быть секретного в материалах писателя, умершего еще в 1921 году? Однако все материалы *до* 1917 года беспрепятственно выдавались, после 1917-го – нет! Даже описи не были доступны. Чтобы ознакомиться с секретными фондами, нужен был *особый* допуск. Каким образом его получил Поповский, он нигде и никогда не объяснял.

Став монопольным обладателем материалов *по Делу Вавилова*, М.Поповский манипулировал ими более 30 лет. Смесь былей и небылиц из его публикаций перекочевала в произведения других авторов. Особенно обильно и без всякой критики их использовал В.Н.Сойфер.

Дело Вавилова стало доступно, не в полном объеме, на излете ельцинской эпохи. Из его материалов Ю.Н.Вавилов, Я.Г.Рокитянский и В.А.Гончаров составили книгу «Суд палача» (1999). Я.Г.Рокитянский также автор вступительного очерка. Книга подарена мне Ю.Н.Вавиловым и покойным Я.Г.Рокинянским с дорогой для меня надписью: «Дорогому Семену Ефимовичу от составителей книги и автора биографического очерка – с надеждой на плодотворное сотрудничество. 19.10.99 г.».

Заочно я знаком и с третьим составителем книги В.А.Гончаровым, признателен ему за ценные разъяснения. Мало чем я так дорожу, как этой книгой и этим сотрудничеством. «Суд палача» позволяет отделять ягнят от козлищ, правду тысячи дней и ночей Николая Вавилова от сказок *тысячи и одной ночи.*

Из какого сора родилась сказка Поповского о том, что после первых признательных показаний Вавилов «обрел покой» на целых полгода, затрудняюсь сказать, но только не из Дела Вавилова № 1500.

Достаточно вспомнить, что, по *гуманным* советским законам, прокуратура давала санкцию на содержание под стражей на *два месяца*, а продлевала, по особому ходатайству, на *один месяц.*

Конечно, то была пустая формальность, но она строго соблюдалась. В Деле Вавилова полно таких ходатайств. Составлял их сам **Хват,** резолюцию *«Согласен»* накладывал **Шварцман** либо начальник следственной части **Л.Е.Влодзимирский,** & *утверждал* начальник ГЭУ НКВД **Богдан Кобулов,** после чего оно отправлялось в прокуратуру, откуда возвращалось с *решением* военного прокурора **Васильева,** *утвержденным* прокурором СССР **В.М.Бочковым** или прокурором СССР **Г.Н.Сафоновым.** Вот сколько начальственных лиц каждый месяц включалось в эту бюрократическую канитель!

Всякий знает, что терпение начальства не безгранично, его нельзя бесконечно испытывать. Понятно, как хотелось Хвату, если не после первого такого продления, то после двух-трех продлений, завершить следствие.

И он старался вовсю. Судя по *таблице* капитана Миронова, в те *полгода покоя* вызовы Вавилова на допросы продолжались почти ежедневно, иногда по два раза в сутки, с редкими перерывами в один-два-три дня. Допросы шли весь сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь. Последний из *запротоколированных* допросов 1940 года был 27 декабря. *Незапротоколированные* были и 28-го, и 29-го, и 30-го, и 31-го. Только в новогоднюю ночь Николая Ивановича не тронули. Кого пощадил тогда Хват – его или себя, – трудно сказать.

«Отдых» продолжался еще два дня. 3 января – опять ночной допрос, хотя и недолгий, «только» двухчасовой. Без протокола.

Вот первый и последний «вопросы» следователя Хвата в Протоколе от 6 января – через пять месяцев после ареста:

«Вопрос: До сих пор вы скрываете свои организационные связи и руководящую роль в “Трудовой Крестьянской Партии”. Также скрываете организационные связи с правыми и многие факты проведенной вами вражеской работы. Требуем правдивых и исчерпывающих показаний по этому вопросу?

Вопрос: На протяжении всех допросов вы пытаетесь умалить свою роль в антисоветской работе, проводившейся вами как участником организации правых в сельском хозяйстве, и умалчиваете о ряде лиц, связанных с вами по этой работе. Наряду с этим вы скрываете свои шпионские связи и работу против Советского Союза в сотрудничестве с иностранными разведчиками. Об этом еще мы будем Вас допрашивать»[833].

А вот Протокол от 25 марта 1941 года, то есть еще через три месяца:

«Вопрос: Следствие располагает неопровержимыми данными о том, что вы, являясь активным участником антисоветской организации правых, установили шпионскую связь с

иностранными разведками и вели активную работу против Советского Союза. Прекратите голословное отрицание и приступайте к правдивым и исчерпывающим показаниям по существу предъявленного вам обвинения.

Ответ: Шпионской работой я никогда не занимался и показать что-либо по этому вопросу не могу

Вопрос: Следствие констатирует, что вы упорно не желаете показать правду о всех фактах проведенной вами контрреволюционной работы и антисоветских связях в СССР и за границей. Об этом мы будем вас допрашивать и дальше»[834].

Бесчисленные допросы, дневные и ночные (допустим, что без резинового жгута, во что трудно поверить), делали свое дело. Под невероятным давлением Вавилов шел на новые уступки. Но для Хвата это были *полупризнания.* Он снова и снова требовал *прекратить запирательства.* Обвиняемый снова обещал *чистосердечно* признаться на следующих допросах и – продолжал *запираться.*

О том, что происходило в кабинете следователя, Вавилов рассказывал сокамерникам – тем, кому доверял. Его неосмотрительная доверчивость породила два уникальнейших документа: они позволяют заглянуть в душу и мозг узника. Это *донос* и *допрос* сокамерника Вавилова, Прокопия Максимовича Лобова.

Вот *донос* — целиком, без пропусков:

«За время совместного восьмимесячного пребывания в одной камере с арестованным *Вавиловым* Ник. Ив. он выявил себя передо мной, как исключительно *антисоветски настроенный типичный буржуазный ученый,* “условно” принимающий Советскую власть. Особой враждебностью проникнут *Вавилов* Н.И. к руководителям и вождям партии и правительства, в первую очередь в отношении И.В.Сталина и его ближайшего соратника В.М.Молотова, которых он считает “простыми смертными, как и все люди, а не теми богами, какими их сделали пресмыкающиеся аллилуйщики”. Существующий политический режим в стране *Вавилов* рассматривает, как “узурпаторский”, когда-де по произволу “правящей кучки” бросаются в тюрьмы и лагеря сотни тысяч “невинных” людей.

Не может он примириться никак и с политикой “десятилетнего хождения голышом” – недостатком производства предметов широкого потребления. Болеет он душой и за многомиллионных “тружеников полей” – кулаков, пострадавших в результате коллективизации, хотя

саму идею коллективизации признает "правильной и исторически необходимой".

Несмотря на свой арест, Вавилов продолжает быть убежденным махровым антисоветским буржуазным ученым и здесь, в тюрьме, не сложившим оружия перед Советской властью. Так, на следствии, судя по его рассказам, он прикидывается невинно страдающим каким-то "униженным и оскорбленным", а приходя в камеру, при случае, продолжает высказываться резко враждебно против вождей партии и Советского народа. У него нет желания "встать на колени" перед Советской властью, окончательно разоружиться. Этот человек и здесь, в условиях тюрьмы продолжает "носить камень за пазухой" против Советской власти; "на всякий случай".

Вот об этом убежденном враге Советской власти я и считаю своим долгом довести до сведения следствия на предмет принятия соответствующих мер.

Лобов. 21 марта 1941 г. г. Москва»[835].

О Лобове в деле есть короткая справка: год рождения 1899, уроженец деревни Дубровка Тульской области, русский, бывший член ВКП(б), в октябре 1939 года был осужден на три года высылки.

Непонятно, как в 1941 году он оказался во внутренней тюрьме НКВД. Если бы был привлечен по новому делу, то об этом было бы указано; если нет, то должен был отбывать ссылку в Сибири, на Урале или еще где-то.

Я.Г.Рокитянский высказывал подозрение, что «Лобов в камере выполнял задание следователей и провоцировал Вавилова на политические высказывания»[836].

В том, что к Вавилову подсаживали соглядатаев, можно не сомневаться. В архивном «Деле Вавилова» должны быть их доносы. Но *эта* часть *Дела Вавилова* не была рассекречена.

Одно то, что составители книги «Суд палача» смогли опубликовать донос Лобова, говорит о том, что он не был подсадной уткой. Донес по велению сердца, из лучших, так сказать, побуждений.

На *допрос* Лобов был вызван 24 апреля – более чем через месяц после *доноса.* Допрашивал не Хват, а некий лейтенант госбезопасности Морисов. Всплыли новые подробности, позволяющие заглянуть в мир мыслей и чувств узника Николая Вавилова:

«Говоря о положении ученых в Советском Союзе, ВАВИЛОВ клеветнически утверждал, что у нас в стране,

якобы, “зажимают” подлинных тружеников науки и дают ход лжеученым, в числе которых он назвал ЛЫСЕНКО, ЦИЦИНА и академика ВИЛЬЯМСА.

Заслуживает внимание быть отмеченным характерное, явно отрицательное отношение к ряду крупнейших советских академиков, которое он, ВАВИЛОВ, неоднократно высказывал в беседах со мной. Так о МИЧУРИНЕ он отзывался только как об “опытном” практике, ничего подлинного с наукой не имеющем. ВИЛЬЯМСА он считал за ученого средней величины, сумевшего ловко приспособиться к советской системе. МАРРА он признавал “безусловно талантливым, создавшим остро и блестяще лингвистическую теорию яфетических языков, но приспособившего эту теорию в угоду советской власти к марксизму, что снижает цену этой теории”. Говоря о ТИМИРЯЗЕВЕ, ВАВИЛОВ отдавал ему должное, как теоретику, блестящему популяризатору ДАРВИНА, но подчеркивал “угодническое служение коммунизму, которое ТИМИРЯЗЕВ принял, не рассуждая”» (сохраняю стиль документа. – *С.Р.)*.

И чуть дальше:

«Возвратившись однажды с допроса, он рассказал мне, что его допрашивали по поводу связей с БУХАРИНЫМ. “Я им ничего не сказал о своих связях, так как у меня их не было с БУХАРИНЫМ”. “Однако, – продолжал далее

ВАВИЛОВ, – я очень высоко ценил БУХАРИНА, как политического руководителя, и в этом вопросе я хочу быть порядочным и честным человеком и не могу класть пятно даже на мертвого, о котором я ничего плохого не знаю”».

«ВАВИЛОВ однажды мне заявил, что уже куда бы не шло, следователя он давно бы удовлетворил и не мучил себя, если бы не был уверен, что его показаниями интересуются некоторые высокие инстанции. А дать в руки этих инстанций подобный документ – значит “сложить голову на плаху”» [837] **.**

Не в этом ли секрет столь долгого противостояния?

Хвату нужно было *сложить голову* Вавилова на *плаху*. Признаний в антисоветских *настроениях* и даже *во вредительстве* для этого было мало. Требовалось заставить Вавилова признать свою *руководящую роль,* назвать тех, кого он лично *вовлек* и кем *руководил*. Ранее названных Яковлева, Муралова, Мейстера было недостаточно: по сценарию Вавилова, *они* вовлекли *его*, а не он их. К тому же они давно были расстреляны, а Хвату требовалась свежая кровь.

Имена якобы вовлеченных Вавиловым в антисоветскую организации давно были известны НКВД, некоторых уже

арестовали, добились от них «признательных» показаний о себе и о Вавилове как об их *главаре*. Чтобы завершить следствие, Хват должен был заставить Вавилова всё это признать. Ведь по изуверской теории генерального прокурора Вышинского, личное признание обвиняемого – *царица доказательств.*

3.

Когда в ВИРе, наконец, официально объявили об аресте директора, надо было провести общее собрание, на нем одобрить акцию, осудить вредителя и врага народа, а также благодушных *ротозеев* и возможных *сообщников*, принять приветствие партии и правительству…

Пока Шлыковы витийствовали на трибуне, в зале царила непроницаемая тишина. Люди сидели подавленные, с постными непроницаемыми лицами, пряча глаза.

Слово, из заднего ряда, попросил Ефрем Сергеевич Якушевский.

Он высказал убеждение, что академик Вавилов арестован по ошибке, она скоро будет исправлена, он вернется в Институт. «Надо не иметь совести, чтобы плохо говорить о Николае Ивановиче» – такими словами он закончил короткое выступление.

Ошибка?

Но ведь органы *не ошибаются*!..

Когда он возвращался на свое место, на него смотрели, как на обреченного. С удивлением, с ужасом, с сочувствием, кое-кто с тайным злорадством. На *такие* высказывания – открыто, с трибуны – давно уже никто не отваживался…

Якушевский был сыном крестьянина. Не украинского, как Лысенко, а белорусского, как Хват. Ближайшая начальная школа была в пяти километрах от его деревни, средняя – в 30 километрах. Он успешно их окончил, а затем единую трудовую школу второй ступени. В 1922-м поступил в Петроградский университет. Побывав на лекции Н.И.Вавилова, он перевелся в сельскохозяйственный институт (ЛСХИ).

Окончив, работал в ВИРе – лаборантом, затем младшим, затем старшим научным сотрудником. Стал знатоком важной кормовой культуры сорго, особенно ценной в районах, где много солнца и мало воды. Летние месяцы проводил на опытных станциях ВИРа – сухумской, кубанской, майкопской. Работал под руководством Жуковского, Кулешова, но главным своим учителем считал Вавилова.

Как ни странно, выступление сошло ему с рук. Он продолжал

работать со своей излюбленной культурой. Стал лучшим знатоком сорго, вывел около 30 продуктивных сортов.

Он прожил долгую жизнь, этому способствовала чистая совесть. Скончался в 1989-м, в 87 лет. Разбирая его бумаги, близкие нашли выписку из Иоганна Фихте: *«Я – жрец истины, я служу ей, я обязан сделать для нее всё – и дерзать, и страдать. Если бы ради нее я подвергался преследованию и был ненавидим, если бы я умер у нее на службе, что особенного я совершил бы тогда, что сделал бы сверх того, что я просто должен был сделать?»*

4.

Когда Хват, наконец, составит, а начальство утвердит *Обвинительное заключение*, последней строкой в нем будет: «Вещественных доказательств по делу нет»[838].

Пуды вывезенных при обысках рукописей, записных книжек, писем ничего не дали. Даже фотографию Керенского пришпандорить к обвинению Хват не сумел. За 11 месяцев его невероятных усилий и за 10 лет накопления компромата в секретных досье не появилось *ни одного вещественного доказательства.*

Нет, и не надо. Велика важность!.. Важны личные признания арестанта. Как они получены – никого не интересует. Нужны признания, и всё! *Во всем*, что инкриминировалось обвиняемому в агентурном досье. То есть во *вредительстве*, в *руководстве* антисоветскими организациями, в *шпионаже.* Во всем – *кроме того*, в чем он сразу же и чистосердечно признался: что не признавал теории Трофима Лысенко научными и не поощрял введения его начинаний в широкую практику.

«Альбац: Когда к Вавилову на очные ставки приводили людей, они в чем-то обвиняли его?

Хват: Не помню. Это надо смотреть по делу, то, что в протоколах. Всё, что говорили, записывалось».

Самые трагические страницы в деле № 1500 – эти очные ставки.

Вопрос ВАВИЛОВУ: Вы показали, что к антисоветской работе Вами был привлечен заведующий лаборатории генетики ВИРа – профессор КАРПЕЧЕНКО Георгий Дмитриевич, который, придерживаясь взглядов так называемой «формальной или классической генетики», всю работу сосредоточил исключительно

на методических и отвлеченных от практической селекции темах. <…> Это всё правильно?

Ответ: Да, это правильно. <…>

Вопрос КАРПЕЧЕНКО: Правильно показывает ВАВИЛОВ.

Ответ: Да, правильно. <…>

Вопрос ВАВИЛОВУ: Вы показали, что в беседах с вами, как на работе, так и у вас на квартире КАРПЕЧЕНКО высказывал антисоветские настроения по поводу земельной системы и одновременно восхвалял условия в капиталистических странах. Это правильно?

Ответ: Да, правильно.

Вопрос КАРПЕЧЕНКО: Эту часть показаний Вавилова вы подтверждаете?

Ответ: Да, подтверждаю.

Вопрос ВАВИЛОВУ: Вы показали, что одним из участников возглавляемой вами группировки был ГОВОРОВ. Это правильно?

Ответ: Да, правильно.

Вопрос КАРПЕЧЕНКО: Вам об этом было известно?

Ответ: Да, я знал, что ГОВОРОВ является участником антисоветской вредительской группировки в ВИРе, и об этом показал на следствии.

Вопрос ГОВОРОВУ: Кто возглавлял антисоветскую вредительскую группировку, существовавшую в ВИРе?

Ответ: Антисоветскую вредительскую группировку, существовавшую в ВИРе, возглавлял академик ВАВИЛОВ Николай Иванович.

Вопрос КАРПЕЧЕНКО: Правильно показал ГОВОРОВ?

Ответ: ГОВОРОВ показал правильно. Антисоветскую вредительскую группировку возглавлял ВАВИЛОВ Николай Иванович[839].

Через какие танталовы муки должны были пройти арестанты, прежде чем подписали *такие* показания?..

И ведь они почти не были ложными! В параноидальной атмосфере страха и ненависти к явным и затаившимся *классовым врагам*, коих требовалось выявлять и *разоблачать*, а заодно и к *ротозеям*, которые их *не разоблачали* и тем самым *потворствовали*, – в такой отравленной атмосфере любая независимая мысль, любое критическое высказывание становилось *антисоветским.* Любой откровенный разговор *(полразговорца*, по слову поэта) – *сговором.* Любая деятельность, в том числе научно-исследовательская, не нацеленная на

немедленное выполнение последних партийных решений, – *вредительством.* В такой системе координат Вавилов, Карпеченко, Говоров, сотни других ученых и интеллигентов, не утративших способности мыслить, автоматически становились *заговорщиками*, участниками *антисоветских группировок, врагами народа.*

Но Дело Вавилова все еще не завершено. Во-первых, он продолжал категорически отрицать свое участие в шпионаже. А во-вторых, это был не партийный функционер, оказавшийся «уклонистом», не хозяйственник, «сорвавший» выполнение пятилетки в четыре года, а академик, директор двух научно-исследовательских институтов, всемирно известный ученый. Его «вредительство» должна была удостоверить научная экспертиза.

О том, кто и как подбирал ее состав, Хват рассказал автору очерка «Тень» С.Шачину: *«Членов комиссии рекомендовал оперативный отдел НКВД. Там был такой майор Шунденко, кандидат наук. Он до прихода в органы работал заместителем Вавилова по институту растениеводства. Вот он, Шунденко, и подбирал кандидатуры. А утверждал академик Лысенко. И Сталин, думаю, был в курсе дела»*[840].

Последнюю фразу Хват добавил для пущей важности. От Сталина исходила общая установка; на что годилась бы вертикаль власти, если бы ему самолично надо было подбирать экспертов по каждому из тысяч дел. На то были майоры шунденки и старлеи хваты.

А вот то, что состав Комиссии утверждал академик Лысенко, подтверждает имеющееся в Деле Вавилова *Отношение* от 5 мая 1941 года, адресованное президенту ВАСХНИЛ. Оно подписано не Хватом и даже не Шварцманом, а – бери выше! – замнаркома Кобуловым: «Прошу Вашего согласия на включение в состав экспертной комиссии следующих кандидатур». Перечислено пять экспертов: вице-президент ВАСХНИЛМосолов В.П., замнаркома земледелия Чуенков С.В., академикЯкушкин И.В., замначальника главсорто-управления Водков А.П., ученый секретарь секции растениеводства ВАСХНИЛЗубарев А. К. Тем же числом датирована резолюция: *«С кандидатами согласен Т.Лысенко».* Столь быстрое (прямо молниеносное!) согласие можно объяснить только одним: состав Комиссии был заранее обсужден и согласован с Трофимом Денисовичем.

На ближайшем допросе Хват выложил перед Вавиловым список фамилий – теперь их было 19. Против каждой фамилии Вавилов должен был написать, знает ли он этого человека и какие с ним имел отношения. Среди них вразнобой, как бы случайно, пятеро будущих «экспертов». Хитрость Шерлока Холмса!

Затруднение у Вавилова вызвала только фамилия Зубарев. Он знал двух Зубаревых и не был уверен, о ком из них его спрашивают. Написал об обоих. Отношения со всеми назвал *нормальными* или *официальными*; личных счетов ни с кем не имел. (Не вспоминать же о давнишних трениях с Якушкиным!) Это и требовалось Шерлоку Холмсу: список экспертов был готов к официальному утверждению.

Но наверху что-то забуксовало. Только через полтора месяца, 23 июня, Хват объявил Вавилову о создании экспертной комиссии и задал обязательный вопрос: есть ли у него отводы или замечания по ее составу.

Отводов не было, но замечание было. Водкова Вавилов считал некомпетентным и просил заменить профессором Тимирязевской академии П.М.Жуковским или профессором той же академии П.И.Лисицыным.

Нетрудно представить себе, как взвинтила эта просьба следователя Хвата. Опять этот Вавилов финтит! Не хочет разоружиться перед партией. Замени ему Водкова. Что же прикажете: готовить новый запрос Кобулова, утверждать у Лысенко? *Идти на поводу* у врага народа?

На следующем допросе Хват зачитал постановление, принятое им самим и утвержденное Шварцманом. Далеко ходить не пришлось. Ходатайство Вавилова отклонено как *необоснованное*[841].

…В 1955 году «член экспертной комиссии Зубарев показал, что комиссия проверкой деятельности Вавилова не занималась и лишь подписала заключение, неизвестно кем составленное»[842]. Это же *показал* академик Якушкин, добавив, что Водков, Чуенков, Мосолов и Зубарев «были враждебно настроены против Вавилова Н.И. Водков просто ненавидел Вавилова Н.И., Чуенков был под большим влиянием Лысенко и являлся естественным противником Вавилова Н.И.; Зубарев также был сотрудником у Лысенко и находился под большим его влиянием, являясь также противником Вавилова, а Мосолов, являясь помощником Лысенко, также являлся противником Вавилова Н.И.». О себе Якушкин сказал, что «был специально подобран в качестве эксперта, как секретный сотрудник НКВД, который мог легко пойти на дачу необходимого заключения по делу Вавилова Н.И.»[843]. По его словам, «комиссия была создана следователем весьма искусно».

Но *искусником* в данном случае был не старший лейтенант Хват, а майор Шунденко. Как недавний заместитель директора В И Ра, он хорошо знал, кого следовало включить в ту комиссию. Я.Г.Рокитянский полагал, что и текст заключения, который все

они безропотно подписали, был составлен Шунденко. По словам Якушкина, «была такая обстановка, что боязно было отказаться от подписи заключения»[844].

5.

При всех стараниях Хват не смог *завершить* следствие, длившееся 11 месяцев. Ходатайствовал о новом продлении, но ему отказали.

«Хват – Евгении Альбац: Позвонил мне Серов – это бывший замминистра НКВД – и сказал, что дело надо кончать. Я говорю: “Оно еще не закончено“… – Это неважно: заканчивайте и объявляйте ему. Что есть, то и предъявляйте».

Почему вдруг такая спешка? Ответ простой: уже шла Великая Отечественная!

Гитлер, с которым кремлевские вожди так хорошо поладили два года назад, *вероломно* нарушил джентльменское соглашение. Германские войска рванули через границу *Киев бомбили, нам объявили…*

Доблестная Красная армия, чей командный состав был *почищен* Ежовым куда основательнее, чем его собственное ведомство, превратилась в плохо управляемое стадо. Отдельные части геройски сопротивлялись, другие целыми дивизиями сдавались в плен; где-то маленькими группами прятались в лесах и болотах, где-то разбегались, побросав оружие.

Тут было не до завершения следствия по всем правилам искусства: *что есть, то и предъявляйте.*

У Хвата лежали мертвым грузом мешки с вавиловскими материалами, изъятыми при обысках. Приспособить их к делу он не сумел. Вынул несколько бумажек, приобщил для солидности (в их числе фотографию Керенского), но как-то увязать даже эти бумаги с обвинительным заключением не смог. А как быть с остальными бумагами?

Постановление от 29 июня 1941 года подписано А.Хватом и лейтенантом госбезопасности А.Кошелевым, утверждено Л.Шварцманом. В нем перечислены материалы, «не имеющие ценности». От этого перечня берет оторопь. Черновые заметки по поездкам и путешествиям Вавилова – 92 папки (!); записные книжки и блокноты – 90 штук (!); рукописи Вавилова на русском и иностранных языках – 8 папок (!); переписка Вавилова – 9 папок (!); больше сотни фотографий; газетные вырезки; иностранные книги, журналы, брошюры – 71 штука; журналы и книги на русском языке – 123 плюс 157. Несколько книг Бухарина,

«Записки революционера» Кропоткина; 19 альбомов с фотоснимками и грамотами; географические и топографические карты…[845]

Никакого права распоряжаться этим имуществом у Хвата со товарищи не было: ведь Вавилов еще не осужден *«с конфискацией имущества, лично ему принадлежащего».* Не нужно для следствия – верните туда, где взяли!

Хват и Кошелев *постановили*, Шварцман *утвердил:* СЖЕЧЬ!

Росчерком пера был уничтожен «мир мыслей, трудов, в том числе многих неизвестных, лаборатория творчества, уникальные биографические материалы гениального ученого»[846].

Рукописи *горят.*

А что с хозяином преданных огню материалов? Хват общался с ним днями и ночами уже около года. Конечно, он сам человек подневольный, над ним многоэтажный контроль. Но теперь, когда велено закругляться, предъявлять *то, что есть,* а чего нет, стало быть, можно не предъявлять, у него появилась возможность маневра. Повернуть дело чуть так или эдак. От этого *чуть* многое зависело. *ЖИЗНЬ или СМЕРТЬ.*

«Хват – Евгении Альбац (1987): **Я** вызвал его, объявил ему всё. Потом написал обвинительное заключение, а в конце обвинительного заключения, поскольку дело, по моему мнению, не было закончено, я написал:, “Направить в Прокуратуру СССР для решения дела о подсудности”».

Обвинительное Заключение (1941): «Следствие по делу № 1500, по обвинению ВАВИЛОВА Николая Ивановича **закончено** и подлежит направлению в Прокуратуру Союза ССР, **для передачи по подсудности»**[847] (жирный шрифт мой. – *С.Р.).*

Незаконченное следствие Хват объявил *законченным.* И направил ***не для решения*** о, а ***для передачи по…*** Прокуратура, как было заведено, ***его*** решение лишь проштамповала.

«Альбац: На чем же строилось обвинительное заключение?

Хват: На основании того, что там в деле было. Там он обвинялся… ну, в общем, по его специальности: что он вел не так дела, не в том направлении, медленно это делал очень, мол, требовалось что [-то] такое… быстрое решение вопроса, поскольку это необходимо с точки зрения экономики страны. Задерживал в смысле быстрейшее развитие отрасли».

Таково воркование 80-летнего старца. Лексикон 33-летнего старлея был иным: ***контрреволюция, антисоветские установки ТКП, подрыв колхозного строя, срыв, вредительская работа, умышленно задерживал, во вредительских целях…***

«Хват – Евгении Альбац (1987): В шпионаж я, конечно, не мог верить, не было данных».

Обвинительное заключение (1941): «Занимался шпионажем в пользу иностранных разведок и имел антисоветскую связь с заграничными белоэмигрантскими кругами»[848].

Вместе с **А.Г.Хватом** *Обвинительное заключение* подписали **Л.Л.Шварцман и Л.Е.Влодзимирский.**

Лев Леонидович Шварцман, как мы уже знаем, был судим и расстрелян в марте 1955 года.

Лев Емельянович Влодзимирский проходил по делу Берии и вместе с ним был расстрелян в декабре 1953-го. Полвека спустя, по ходатайству родственников, его дело было пересмотрено, он был *частично реабилитирован.* Его снова признали виновным в «систематическом злоупотреблении властью <…>, в арестах невиновных людей, [в] фальсификации материалов уголовных дел, [в] применении пыток, <…> [в] гибели многих граждан». Но не в измене родине, за что он был расстрелян. *Частичная реабилитация* выразилась в замене «смертной казни с конфискацией имущества, лично ему принадлежавшего», на «25-летнее заключение без конфискации имущества».

Медлительна российская фемида, но справедлива. Рано или поздно всё расставляет по местам. Воскрешает расстрелянных, возвращает им имущество. Где оно – *лично ему принадлежащее*? Подхоронили в его могилку? Если известно, где она находится…

Ну а что стало с Хватом?

Прокуратура констатировала, что в отношении бывшего работника органов НКВД СССР Хвата А.Г. «в Особой инспекции КГБ при СМ СССР имеются материалы как о фальсификаторе следственных дел»[849]. Его не арестовали (мелкая сошка!), но неприятностей было с три короба. С обидой в голосе и даже с всхлипываниями он поведал Евгении Альбац о своих злоключениях.

Подполковник госбезопасности Хват заведовал кадрами в министерстве среднего машиностроения – эвфемизм, за которым скрывалось секретное ведомство по атомной энергии. Когда судили Берию и Влодзимирского, его – от греха подальше – отправили в длительный отпуск. Дело против него военная прокуратура возбудила только в 1957-м. Нашла, «что в его действиях содержится состав преступления, предусмотренного ст. 193-17, и. “а” УК РСФСР, т. е. злоупотребление властью, совершенное из соображений личной заинтересованности и повлекшее за собой тяжелые последствия». Уголовное дело было прекращено по закону об амнистии[850].

Материалы передали в КПК (Комиссию партийного контроля), разбирательство тянулось пять лет и завершилось

исключением Хвата из партии. Он пытался восстановиться – не получилось. Хотел было вступить заново, но при рассмотрении его заявления могли всплыть старые грехи. Решил не будить лиха. В партии состоял 35 лет; кабы не исключили, стал бы *старым большевиком* — было бы о чем рассказывать пионерам!

Из министерства его убрали. Предлагали работу в Свердловске, Туле, еще где-то, но уезжать из Москвы он не захотел. Персональную пенсию не дали – только общегражданскую. Тоже, конечно, обидно…

6.

Обвиняемого полагалось ознакомить с *Обвинительным заключением* и занести в протокол его возражения. В соблюдении формальностей старлей Хват, как мы знаем, был аккуратен.

«Обвиняемый Вавилов Н.И. <…> свои показания, данные на следствии, подтверждает и заявляет, что с Бухариным, кроме поездки совместной в Англию в 1931 году на конгресс по истории науки и техники, никаких политических связей и даже встреч не имел. Также неверны в этой части показания Тулайкова. Отрицаю показания Авдулова Н.П. и Савича [В.М.] о моей шпионской работе. Кузнецова И.В. и Ушакову [А.П.], показавших о моей шпионской работе, – я совершенно не знаю» [851].

Закрытое заседание Военной коллегии Верховного суда состоялось 9 июля 1941 года – «без участия обвинения и защиты и без вызова свидетелей».

А как *научная экспертиза*?

Она к суду не поспела.

Тем лучше: быстрее можно провернуть дело!

На суде Вавилов признал то, что признавал на следствии, и категорически отверг то, чего не признавал. Протокол заседания краток, в нем очевидные нелепости. Так, Николай Иванович никак не мог сказать, что «до 1930 г. являлся участником к/р организации “Трудовая Крестьянская Партия”, которая возглавлялась ЯКОВЛЕВЫМ». Весь сценарий строился на том, что Яковлев его вовлек в мифическую «организацию правых» *после* 1930 года, а мифическая ТПК орудовала *до* 1930 года. В протокол также попали слова об участии Вавилова в *террорганизации*, хотя в терроризме его не обвиняли.

Но и из неряшливого протокола видно, что Вавилов отверг антисоветские связи с эмигрантами, заявив, что они были только

научными; отверг связи с Бухариным; категорически отверг обвинения в шпионаже.

Если *признание обвиняемого* — царица доказательств, то главные обвинения против Вавилова доказаны не были.

В заключительном слове он сказал: «За период моего ареста я понял, что я сделал грубую ошибку. Я хочу работать и прошу дать мне возможность служить на пользу нашей страны»[852].

Суд длился не больше 20 минут, вердикт гласил:

«Признавая виновным Вавилова в совершении преступлений, предусмотренных ст. ст. 58-1а, 58-7,

58-9, и 58–11 УК РСФСР, Военная Коллегия Верховного Суда Союза ССР приговорила Вавилова Николая Ивановича подвергнуть высшей мере уголовного наказания – расстрелу, с конфискацией имущества, лично ему принадлежащего. Приговор окончательный и обжалованию не полежит»[853].

Подписали: Председатель – диввоенюрист **Суслин,** члены суда: диввоенюрист **Дмитриев,** бригвоенюрист **Климин,** секретарь суда **Мазуров.**

В тот же день были осуждены и приговорены к высшей мере **Г.Д.Карпеченко, Л.И.Говоров, А.К.Запорожец, Б.А.Паншин, А.С.Бондаренко.**

Сергей Алексеевич Бондаренко, сотрудник общества «Мемориал», смог познакомиться с делом своего прадеда А.С.Бондаренко. Состав суда тот же: председатель **Суслин,** члены суда **Дмитриев** и **Климин,** секретарь **Мазуров**[854]**.** Они же, скорее всего, судили и других подельников Н.И.Вавилова. «Суд» над каждым длился 15–20 минут… Конвейер… Отправляли на смерть, словно орешки щелкали.

После приговора

1.

Местом эвакуации для ВИРа был определен город Красноуфимск на Урале. Туда надлежало вывезти людей, оборудование, коллекции растений.

Семенной материал хранился частью в здании Института, в металлических коробках, которыми были уставлены сотни погонных метров стеллажей, а полевые коллекции – в Пушкине и в Павловске.

Не могло быть и речи о вывозе *всех* хранившихся в Институте материалов: для этого не было ни рабочей силы, ни транспортных средств. Отобрали сто тысяч образцов, по 20–50 граммов семян каждого образца. Аккуратно, чтобы не повредить, уложили в маленькие, тщательно запечатанные пакетики, затем в двойные ящики – всего пять тонн груза.

Эшелон, к которому был прицеплен вагон с этим грузом, вышел из Ленинграда 26 августа 1941 года и тут же застрял на перегруженных путях. За четверо суток не одолел и 50 километров. 30 августа германские войска захватили узловую железнодорожную станцию Мга. Дальше на восток пути не было, эшелон вернули в Ленинград.

«Более шести месяцев вагон находился на запасных путях или перегонялся с места на место из-за усиленной бомбежки железнодорожных путей»[855]. Его пришлось разгрузить и перевезти ящики обратно в здание ВИРа.

Часть образцов сотрудники увезли в Красноуфимск со своими личными вещами: в чемоданах, мешках, рюкзаках. Для этого было отобрано 20 тысяч образцов – по пятьдесят, сто, двести зернышек каждого.

Основная коллекция осталась в осажденном Ленинграде. Ее надо было охранять, сохранять живой, невредимой, чтобы семена не потеряли всхожесть.

«В первые месяцы войны научный сотрудник Абрам Яковлевич Камераз строил под Вырицей оборонительные укрепления. Каждый свободный час он проводил в Павловске. Раздвигал и задвигал шторки, устраивал клубням южноамериканского картофеля искусственную ночь. Европейские сорта собирали в поле уже под сильным артиллерийским огнем. Взрывной волной опрокинуло Камераза с ног. Поднялся. Продолжал работу»[856].

Надвигалась зима. Образцы картофеля перевезли в Основное здание ВИРа, спрятали в подвале. Камераза призвали в армию, отправили на фронт. Сохранность коллекции картофеля обеспечивали сотрудники отдела клубненосов, О.А.Воскресенская и В.С.Лехнович.

Вадим Степанович жил на улице Некрасова, на работу привык ездить на трамвае, но в блокадном Ленинграде трамваи не ходили. Пешего хода было полтора часа в один конец.

Блокадный паек – 250 граммов хлеба для работающих, 125 для иждивенцев, но и этого иногда не выдавали по несколько дней. Сколько людей погибло от голода в ленинградскую блокаду, известно весьма приблизительно: от 850 тысяч до 1,5 миллиона.

Морозы в ту зиму были особенно лютыми. Надо было каждое утро топить в подвале печку, чтобы температура не опускалась ниже двух градусов по Цельсию: картофель гибнет при минусовой температуре. Полтора часа туда, столько же обратно. Через много лет Лехнович рассказывал журналисту А.Борину: «Ходить было трудно… Да, невыносимо трудно было вставать, руками-ногами двигать… А не съесть коллекцию – трудно не было. Нисколько! Потому что съесть ее было невозможно. Дело всей жизни, дело жизни моих товарищей…» И после паузы: «"Пожалуйста, не пишите только о нашем самопожертвовании. Это неправда". – "Как неправда?" – "Вот так, неправда. Наша работа нас спасла". – "В каком смысле?" – "В самом прямом. В блокаду люди погибали не только от снарядов и голода. От бесцельности своего существования некоторые тоже, случалось, погибали. Мы это видели. Если же мы выжили, то во многом благодаря нашей работе. Нашему интересу жить"»[857].

Но не все смогли спастись *благодаря интересу жить.*

«Из ленинградской группы умерли от голода 41/42 гг.: Родина Лидия Михайловна – ответственный хранитель коллекции овса, младший научный сотрудник отдела зерновых культур, Иванов Дмитрий Сергеевич – ответственный хранитель коллекции риса, заведующий секцией риса отдела крупяных культур, Щукин Александр Гаврилович – ответственный хранитель коллекции арахиса, младший научный сотрудник отдела технических культур, Крейер Георгий Карлович – ответственный хранитель лекарственных растений, заведующий секцией лекарственных растений, кандидат наук, Гейнц Георгий Викторович – ответственный хранитель книжных фондов ВИР, заведующий библиотекой ВИР. Всего умерло этой зимой более 30 вировцев»[858].

Под их охраной были тонны, десятки тонн

сельскохозяйственных культур. К ним не прикасались.

Спасать коллекции надо было от голодающих людей и от полчищ крыс, нападавших на всё съестное. Прогрызть металлические коробки крысы не могли, но они наловчились спихивать их с полок. При ударе об пол крышки отскакивали, семена высыпались… Чтобы крысы не могли сдвинуть легкие коробки, их приходилось связывать по четыре-пять вместе. Сделать пять-шесть-десять таких связок – пустяк, но счет шел на десятки тысяч… Изможденные голодом научные работники, доктора и кандидаты наук, снимали коробки с полок и увязывали, снимали и увязывали… Подымать обратно на полки не было сил… Их штабелями укладывали в проходах, заполнили 28 комнат…

…На Западе были уверены, что вавиловская коллекция погибла.

В журнале «Nature» профессор Дарлингтон написал в 1945 году: «Обезумевшие от голода ленинградцы съели знаменитую коллекцию».

«Когда он после войны посетил наш институт, Николай Родионович [Иванов] поинтересовался, как можно было написать такую ужасную вещь, не убедившись в ее правдивости. Дарлингтон сослался на сообщение по радио, которое он сам слышал. Действительно, трудно понять, что коллекции могли сохраниться, когда люди умирали от голода»[859].

По осторожной, скорее заниженной оценке международных экспертов, стоимость вавиловской коллекции ресурсов культурной флоры составляет 8 триллионов долларов, причем ее стоимость неуклонно растет.

Когда Вавилов открыл центры происхождения и затем их обследовал в своих экспедиционных походах по пяти континентам, растительность в этих районах была примерно такой, как тысячи лет назад.

Не то теперь. Технический прогресс проник в самые отдаленные и изолированные уголки планеты. Там поднялись многоэтажные жилые дома, промышленные предприятия, пролегли автомобильные трассы. Посевные площади сокращаются, их засевают завозными высокопродуктивными сортами. Многие из форм, которые собирал Вавилов, утрачены, их остается все меньше. Сохраняются они только в коллекции ВИРа, в других подобных коллекциях. Потому нет им цены.

Чтобы предотвратить дальнейшее обеднение, а то и уничтожение генофонда растительных ресурсов планеты, на норвежском острове Шпицберген создано всемирное

зернохранилище. Директор ВИРа имени Н.И.Вавилова Николай Иванович Дзюбенко: «Это мировой генный банк, созданный на Шпицбергене в 2008 году по решению ФАО (Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН). По сути это бункер, вырубленный в скале, в вечной мерзлоте. Это единственное в мире хранилище, которое может выдержать самые мощные земные катаклизмы типа ядерного взрыва или последствия падения астероида. Собственно, за это его и назвали в шутку Хранилищем Судного дня, или Апокалипсиса»[860].

В этом крупнейшем зернохранилище мира содержится 850 тысяч образцов семенного материала – дубликаты поступили из 60 генбанков мира. Представлена и коллекция ВИРа: 12 тысяч образцов зерновых и зернобобовых культур. Но это только 3 % от 325 тысяч образцов. «Наше хранилище – четвертое в мире по количеству собранных образцов»[861].

При Вавилове, помним, оно было первым. За то, чтобы оно таковым оставалось, многие ученики Вавилова в ленинградскую блокаду отдали свои жизни.

Это не называлось *самопожертвованием.*

«Малое хочется соединять с великим, в этом смысл малого и его интерес и для этого за малое в науке можно отдать жизнь». (Н.И.Вавилов)

«Если бы я умер у нее на службе, что особенного я совершил бы тогда, что сделал бы сверх того, что я просто должен был сделать?» (И.Г.Фихте)

2.

Приговор был окончательный, обжалованию не подлежал…

Но еще оставался шанс – просить о помиловании.

Прошение Н.И.Вавилова в Президиум Верховного Совета датировано тем же числом, 9 июля. Николай Иванович указал также время: 20 часов[862].

Тогда же, по-видимому, подали прошения Карпеченко, Говоров, Бондаренко, Паншин, Запорожец…

Окончательного решения своей участи Николай Иванович ожидал уже не на Лубянке – там содержались подследственные, – а в Бутырской тюрьме.

Это была самая большая тюрьма в Москве: пересыльная, следственная, расстрельная – всякая.

С Бутыркой переплетаются судьбоносные повороты российской истории, она сплошь должна быть увешана мемориальными досками.

Тюремный замок был воздвигнут при Екатерине Второй по проекту знаменитого архитектора М.Ф.Казакова – на месте острога, стоявшего здесь с незапамятных времен. В одной из четырех башен Бутырки томился в цепях и отсюда был отправлен на казнь Емельян Пугачев.

Л.Н.Толстой навещал в Бутырке политзэка Егора Лазарева (прототип Набатова в романе «Воскресенье»), знакомился с тюремным бытом, прошел с группой этапников до Николаевского вокзала, чтобы описать всё это в романе. В годы кровавого заката империи здесь томились революционеры разных мастей, от эсера Ивана Каляева, убившего великого князя Сергея Александровича, и анархиста Нестора Махно до «железного» Феликса Дзержинского и мимолетной большевички Веры Сахаровой.

В советские годы население Бутырки многократно уплотнилось и «украсилось» букетом имен. Тюремный быт описан Варламом Шаламовым, Евгенией Гинзбург, Александром Солженицыным, другими, не столь заметными зэками.

В.Шаламов: «В “собачниках” Бутырской тюрьмы стены покрыты зелеными стеклянными плитками, не оставляющими следов карандаша, гвоздя. **В** тюремной уборной и умывальной стены из желтых плиток – на них тоже нельзя писать. Нельзя писать и в бане – бутырская баня, где каждый стирает свое белье, – превосходная баня. И стены и скамейки покрыты метлахскими плитками. Но дверь, деревянная дверь, обита железом, и это единственный почтовый ящик на всю тюрьму. Надписи коротки: АБЗ-5. Это не название лампы для телевизора. Это – судьба человека. Александр Борисович Зарудный – 5 лет. Тюремная дверь дает ответ на важный, очень важный вопрос. Баня ведь обслуживает и этапный корпус – пересылку, бывшую тюремную церковь, где собираются все получившие приговоры, все осужденные, не успевшие еще уехать».

Такова была Бутырка в первую половину 1937 года, но вряд ли многое изменилось ко второй половине 1941-го.

В камеры, рассчитанные на 20–25 человек, напихивали по 60–80 узников. Скученность, духота, вонь. Почти каждый день появлялись новички. Они полны надежд и иллюзий: *они* не такие, *они* попали сюда по ошибке, через день-два их выпустят. У осужденных другие иллюзии: они с нетерпением ждут отправки на этап. Шаламов – повторник. Он уже отведал гулаговского лиха. Он знает, что торопиться некуда: в лагере будет не лучше.

В.Шаламов: «Тюремный быт не изменился с двадцать девятого года. По-прежнему к услугам арестантов была удивительная бутырская библиотека, единственная библиотека Москвы, а может быть, и страны, не испытавшая всевозможных

изъятий, уничтожений и конфискаций, которые в сталинское время навеки разрушили книжные фонды сотен тысяч библиотек; от этих изъятий и уничтожения, производившихся посмертно, пахло дымом фашистских костров. Но бутырской тюремной библиотеки это не касалось. <…> По правилам библиотеки полагалась одна книга на десять дней. В камере было шестьдесят – восемьдесят человек. Конечно, в десять дней прочесть восемьдесят книг нельзя. Практически книг было неограниченное количество».

Шаламов пишет о своеобразной тюремной демократии. В каждой камере зэки сами выбирали старосту. Формальной власти у старосты не было – она держалась его личным авторитетом. В камере теснятся самые разные люди, все постоянно вместе, нервы напряжены до предела, «и староста должен уметь предупредить конфликты – это штука болезненная, заразная, развивается, как цепная реакция».

Староста «должен обеспечить порядок в уборке камеры, в раздаче обеда, покупок в тюремном магазине. Следить, чтобы шум споров, волнений не превысил какого-то условного градуса, уровня, за которым – конфликт с тюремным начальством. <…> Послеобеденное время всегда отводилось на “лекции”. Каждый человек может рассказать для других что-либо интересное всем. Историку, педагогу, ученому – и книги в руки. Но простой слесарь, побывавший на Днепрострое, может рассказать много любопытного, если соберется с мыслями. Вася Жаворонков, веселый машинист из Савеловского депо, рассказывал о паровозах, о своем деле – и это было интересно всем»[863].

Можно не сомневаться, что лекции Вавилова сокамерники слушали затаив дыхание. В духоту переполненной камеры врывался морозный воздух заснеженных перевалов, жаркое дыхание пустынь, диковины чудесного острова Формоза, аромат абиссинского кофе… Думаю, Вавилов и сам увлекался своими рассказами, на миг-другой снова становился «человеком глобуса»… Тем тяжелее было возвращаться к смраду тюремной параши, загустевшего пота замурованных тел, к мертвящему дыханию расстрельного приговора…

3.

Прошением о помиловании Николай Иванович отсрочил окончательное утверждение приговора. Но недолгой была та отсрочка.

Казалось бы – идет Большая война. Танковые колонны

противника стремительно продвигаются вглубь страны, германские самолеты бомбят города, мосты, железнодорожные станции… Надо эвакуировать людей, вывозить технику, скот, зерно, учреждения. Проводить мобилизацию, обучать новобранцев, формировать воинские части, переводить промышленность на военные рельсы…

Вставай, страна огромная, вставай на смертный бой
С фашистской силой темною, с проклятою ордой.

В Президиуме Верховного Совета члены Политбюро, другие высшие чины государства. У каждого из них невпроворот дел – срочных, важнейших, от них зависит ход войны, жизнь тысяч и тысяч людей, судьба государства. А приговоренные к высшей мере сидят за решеткой, никуда не денутся – с их ходатайствами о помиловании можно и подождать.

Ан нет! Для власти Советов внутренний враг всегда был опаснее внешнего. Прошение Вавилова Николая Ивановича рассмотрено в кратчайшие сроки. Решение принято 26 июля.

«Ходатайство о помиловании Вавилова Н.И. ***отклонить»***[864].

В книге Ю.Н.Вавилова «В долгом поиске» приведена фотокопия сверхсекретной справки, в которой, в алфавитном порядке, перечислены члены Президиума Верховного Совета, проголосовавших за это *отклонение: Бадаев А.Е., Буденный С.М., Горкин А.Ф., Каганович Л.М., Калинин М.И., Маленков Г.М., Москатов И.Г., Николаева КИ., Сталин И.В., Шкирятов М.Ф.*

Некоторые из них проголосовали по телефону, но *Сталин, Калинин, Маленков, Шкирятов* присутствовали и голосовали *лично.* Более важных забот через месяц после начала гитлеровского нашествия у них не было.

Видимо, в тот же день были утверждены приговоры Карпеченко, Говорову, Паншину, Запорожцу, Бондаренко… В следующие два дня, 27 и 28 июля, на знаменитом полигоне «Коммунарка» были расстреляны Александр Степанович Бондаренко, Антон Кузьмич Запорожец, Георгий Дмитриевич Карпеченко, Леонид Ипатьевич Говоров. Вероятно, и Паншин – о нем точных сведений не имею.

Такая же участь ожидала Вавилова…

Его не расстреляли ни 27-го, ни 28-го, ни в следующие дни…

Надеяться было не на что… Каждый день мог стать последним…

На шестой день его вдруг вызвали из камеры.

На расстрел?..

Непохоже: на расстрел вызывали *не так.*

Куда? Зачем? К кому?..

Его привели к *уполномоченному* наркома внутренних дел Л.П.Берии: тот приехал в Бутырку для встречи с Вавиловым. *Уполномоченный* Берии – так он представился. Точное его имя неизвестно – предположительное назовем ниже. Он сказал, что нарком Берия *от себя* возбудил ходатайство о помиловании Вавилова, ему будет дарована жизнь, он будет работать по специальности…

Эту *благую весть* (первая добрая весть со дня ареста!) Николай Иванович получил 1 августа. 8 августа датировано его *Заявление* на имя Берии. Написано в Бутырской тюрьме, камера № 49. Из него мы и знаем о содержании разговора с *уполномоченным.*

Вавилов сообщал, что хотел бы «сосредоточить работу на задачах, наиболее актуальных для данного времени, по моей специальности – *растениеводству*»:

«1) Я бы мог закончить в течение полугода составление “Практического руководства для выведения сортов культурных растений, устойчивых к главнейшим заболеваниям”.

2) В течение 6–8 месяцев я мог бы закончить при напряженной работе составление “Практического руководства по селекции хлебных злаков применительно к условиям различных районов СССР”.

[3)] Мне также близка область субтропического растениеводства, включая культуры оборонного значения, как тунговое дерево, хинное дерево и др., а также растения, богатые витаминами»[865].

Об этом он, видимо, говорил *уполномоченному*; ему предложили изложить то же самое письменно, чтобы у Берии была под рукой *шпаргалка.*

Значит, формальная отмена *высшей меры* — вопрос дней!

Но… *Заявление* ушло – в пустоту!

Проходили дни, недели, месяцы…

4 октября его вдруг перевозят на Лубянку, а 5-го вторично вызывают к *уполномоченному.* Тому надо знать, что академик Вавилов думает о войне – уж не сочувствует ли врагам отечества?.. А как он относится к фашизму?.. Что может сделать полезного для победы?..

Уполномоченный удаляется, узника возвращают в камеру. Проходит еще десять томительных дней. Его в третий раз вызывают к *уполномоченному.* Теперь разговор вполне конкретный:

«Мне было заявлено 15 октября, что мне будет представлена полная возможность научной работы как академику и что это

будет выяснено окончательно в течение 2–3 дней»[866]

Благая весть подтверждена! Леденящее дыхание смерти отступило… Впереди любимая работа. Пусть за колючей проволокой, с часовыми на вышках; пусть общая камера вроде бутырской; пусть он долго еще не увидит близких. Но он – *будет работать*! Это – как заново родиться, как заново *жить!*

4.

Через три часа тюрьму подняли по тревоге.

Сборы *с вещами* были недолги. Узников вывели, выстроили, воронков не хватало, но подали машины с грузовыми фургонами.

В ту ночь, как оказалось, вывозили не только узников Лубянки, но всех московских тюрем: Бутырской, Лефортовской, Таганской…

Наутро в Москве началась паника.

…Десятилетиями информация о том *черном* октябрьском дне 1941 года скрывалась, пряталась, подавлялась, охранялась как строжайшая государственная тайна. Кое-что стало известно в постсоветские времена.

С утра оказалось, что станции метро закрыты, троллейбусы не ходят, предприятия не работают, большинство магазинов закрыто, улицы запружены автомобилями, набитыми скарбом: то удирало начальство разных уровней. Оно раньше рядовых граждан узнало о внезапном решение ГКО (Государственного комитета обороны) «Об эвакуации столицы СССР г. Москвы».

Правительству, Генеральному штабу, военным академиям, наркоматам, заводам и фабрикам, иностранным посольствам надлежало немедленно улепетывать из столицы. Мосты, станции и линии метро, предприятия, которые нельзя было вывезти, было велено заминировать, рабочим и служащим выдать зарплату за месяц вперед и по пуду муки или зерна.

«В эти дни, по неполным данным Военной прокуратуры Москвы, оставили свои рабочие места около 780 руководящих работников; ими было похищено почти полтора миллиарда рублей, угнано сто легковых и грузовых автомобилей»[867]

Андрей Кудряшов, автор строго документированной работы «Паника в Москве», с негодованием пишет о руководителях предприятий, побросавших свои рабочие места и спешно сжигавших партбилеты. Но рыба тухнет с головы. Кудряшов приводит Докладную записку о том, что в здании ЦК партии не осталось «ни одного работника ЦК ВКП(б), который мог бы

привести всё помещение в порядок и сжечь имеющуюся секретную переписку». «Всё хозяйство оставлено без всякого присмотра. Оставлено больше сотни пишущих машинок разных систем, 128 пар валенок, тулупы, 22 мешка с обувью и носильными вещами, несколько тонн мяса, картофеля, несколько бочек сельдей, мяса и других продуктов. В кабинетах аппарата ЦК царил полный хаос. Многие замки столов и сами столы взломаны, разбросаны бланки и всевозможная переписка, в том числе и секретная, директивы ЦК ВКП(б) и другие документы. Вынесенный совершенно секретный материал в котельную для сжигания оставлен кучами, не сожжен. В кабинете товарища Жданова обнаружены пять совершенно секретных пакетов…»[868]

В такой обстановке невольно запаникуешь.

«Застава Ильича. Отсюда начинается шоссе Энтузиастов. По площади летают листы и обрывки бумаги, мусор, пахнет гарью. Какие-то люди то там, то здесь останавливают направляющиеся к шоссе автомашины. Стаскивают ехавших, бьют их, сбрасывают вещи, расшвыривают их по земле. Раздаются возгласы: “Бей евреев!” Вот появилась очередная автомашина. В кузове, на пачках документов, сидит сухощавый старик, рядом красивая девушка. Старика вытаскивают из кузова, бьют по лицу, оно в крови. Девушка заслоняет старика. Кричит, что он не еврей, что они везут документы…»[869]

А вот свидетельство тогдашнего десятиклассника (впоследствии художника) Льва Ларского: «Атакующие лезли друг на друга, врывались в кузова и выбрасывали оттуда оборонявшихся, как мешки с картошкой. Но только захватчики успевали усесться, только машины пытались тронуться, как на них снова бросалась следующая волна… Ей богу, попав впоследствии на фронт, я такого отчаянного массового героизма не наблюдал…»[870]

Из публикаций о «черном октябре» 1941 года явствует, что ГКО во главе с товарищем Сталиным, а за ним и вся вертикаль власти, оставили Москву, всех ее обитателей и всё, что в ней находилось, на произвол судьбы. Это не совсем верное впечатление. Не *всё* и не *всех* власти предоставили самим себе. О ком они заблаговременно позаботились, так это об узниках тюрем. *Внутренний враг* ни при каких обстоятельствах не должен был достаться *внешнему врагу*\

5.

Об эвакуации по железным дорогам дает представление

короткая запись в дневнике Сергея Ивановича Вавилова от 9 августа 1941 года. Он был эвакуирован из Ленинграда вместе с ГОИ (Государственным оптическим институтом). Ехал «по-барски, в академическом эшелоне, в мягком вагоне». Вот что он записал: «Десять дней волочения из Северной Пальмиры в вонючую грязную Казань. Через Ярославль, Рыбинск, Муром. Сначала ж.д. пути, усеянные немецкими злобными и систематическими воронками, кой-где разбитыми составами, затем грязные, забитые поездами станции вроде Мурома, где стояли 1½ суток, погрязая в помойной яме не чистящихся путей и собственного навоза. <…> В пути исполнилась годовщина исчезновения Николая. О войне ничего толком не знаем. Завтра собираюсь в Йошкар-Олу. До чего еще убога Россия!»[871]

Остается довообразить, как эвакуировали его брата – не в мягком вагоне, а в товарном, набитом до отказа зэками, на военно-тюремном пайке, при полной неизвестности, куда и как долго их будут везти.

Если Николаю Ивановичу удалось протиснуться к зарешеченному окошку под потолком закупоренного вагона, он мог понять, что поезд идет по той самой дороге, по которой он, с выводком учениц, в таких же теплушках, двигался 20 лет назад в противоположном направлении, с Востока на Запад…

В Саратов потом ездил бессчетное число раз – дорога занимала сутки.

В вагоне он сразу же раскрывал портфель, вынимал стопку книг, журналов, рукописи. Либо доделывал свою незаконченную статью, либо редактировал чьи-то статьи, либо просматривал библиотечные новинки, чтобы не отставать, всегда быть «на уровне глобуса». Сутки пробегали незаметно.

Теперь его везли под конвоем, в телятнике, набитом такими же бедолагами…

Поезд больше стоял на заброшенных полустанках. Двери задраены, люди задыхаются, обливаются потом, должны соблюдать полную тишину. Снаружи на вагонах крупные надписи: *СПЕЦОБОРУДОВАНИЕ*. Никто не должен догадываться, что спрятано под этим магическим словом.

Годом раньше, в июле 1940-го, тем же «крутым маршрутом» проследовала Евгения Гинзбург. Правда, ее путь был более дальний, длился больше месяца. О том, как зэки страдали от скученности и жажды, поведано в ее «Крутом маршруте». Выдавали по одной кружке воды в день – не только для питья, но и на все прочие нужды: умыться, вымыть ложку… Горячей пищи не полагалось; сухой паек выдавался заранее на все дни пути,

хотя никто не знал, как долго он продлится…

В октябре жара не так мучила, как в июле, но скученность и духота были невыносимы.

…Поезд прибыл в Саратов 29 октября.

По воспоминаниям надзирателя тюрьмы В.П.Игнатьева, «когда пригнали этап, мы его не в камерах, а во дворе разместили, там, где обычно заключенных выгуливали. Женщин и мужчин – всех вместе. Ведь тогда из Москвы и рецидив, и политических – всех выгребали. Под открытым небом держали несколько суток. Вавилова запомнил сразу… Стоял как-то в стороне ото всех. Хоть и обросший был, одежда потрепанная, башмаки рваные, а все-таки ото всех сразу своей интеллигентностью выделялся.

…Держали суток трое, не меньше. Хорошо еще, дождя не было. Но ужасно холодно. Осень. Грязи и сырости без дождя хватало, а на третий день снег пошел… Но во дворе это еще рай был. Когда начали заталкивать в камеры, вот тут-то началось… Запихивали толчком, как в трамвай переполненный, лишь бы двери закрыть. Потому что в камеру, предположим одиночку, заталкивали по десять – двенадцать человек»[872].

Трудно поверить, что в массе прибывавших зэков надзиратель Игнатьев выделил и запомнил Н.И.Вавилова. Но обстановка, думаю, им обрисована верно.

Как Николай Иванович переносил эти тяготы? Надо думать, что при его физической выносливости, закалке путешественника и немалом уже тюремном опыте ему было легче, чем многим другим узникам.

6.

Удар пришел оттуда, откуда он не ждал. Казалось бы, ко всему был готов, но *этого* не ожидал. В бумагах, прибывших с ним в саратовскую тюрьму № 1, не было никакого следа того, о чем с ним трижды беседовал *уполномоченный*. Ни ходатайства наркома Берии о помиловании, ни решения по этому ходатайству, ни намерения использовать его по специальности…

«ВАВИЛОВ осужден Военной Коллегией Верховного Суда к ВМН, более никаких данных не имеется. Следствие вела по его делу следственная часть Г.Э.У. НКВД СССР. По прибытию в саратовскую тюрьму з/к ВАВИЛОВ был заключен в камеру для приговоренных к ВМН, где и находится до настоящего времени»[873]**.**

Такова *Справка* начальника тюрьмы младшего лейтенанта

госбезопасности Кунина. Даты нет. По-видимому, она была приложена ко второму заявлению Вавилова на имя Берии – от 25 апреля 1942 года. Имя Кунина больше нигде не встречается: в последующих документах начальник тюрьмы – старший лейтенант госбезопасности Ирашин. Есть в Справке Кунина еще одна очень важная строка – для Вавилова судьбоносная: *«На запрос в 1-й Спецотдел НКВД СССР последний ничего не ответил».*

Когда был направлен запрос? Почему на него не ответили?

Об этом можно узнать из другой Справки – помощника начальника 1-го спецотдела НКВД Подобедова: *«Приговор исполнением приостановлен. ВАВИЛОВ Н.И. зачислен за 4-м Управлением НКВД СССР тов. Судоплатовым».*

Вот как! Запрос из Саратова был послан в 1-й спецотдел, но там никаких данных о заключенном Вавилове не имелось, ибо он числился за 4-м Управлением.

Запрос был оставлен без ответа, а Вавилов *оставлен* в камере смертников.

М.А.Поповский: «Вавилов попал в корпус номер три, где содержали наиболее крупных общественных и политических деятелей. В 1941–1942 годах в третьем корпусе сидели: вождь венгерской революции Бела Кун, редактор “Известий” Ю.И.Стеклов, один из старейших коммунистов, основатель и первый директор Института Маркса – Энгельса академик Д.Б.Рязанов, философ и литературовед, директор Института мировой литературы академик И.К.Луппол, писатель Михаил Девидов и много других коммунистов и некоммунистов такого же ранга»[874].

Откуда эти сведения? А ниоткуда. Еще одна сказка Шахерезады.

О том, что Стеклов (Ю.М., а не Ю.И.) никогда не был в саратовской тюрьме, мы уже упоминали. Бела Кун в Саратове тоже никогда не был, его расстреляли в Москве 29 августа 1938 года. Д.Б.Рязанов, впервые арестованный в 1931 году, был сослан в Саратов, где был арестован вторично в 1937 и расстрелян в январе 1938 года. Писатель Девидов, известный в основном книгой о Джонатане Свифте, был арестован в июне 1941 года, расстрелян 5 мая 1942-го; сведений о месте его гибели я не нашел. Только академик Луппол действительно был в Саратове, в той же камере смертников, что и Вавилов.

Иван Капитонович Луппол был моложе Вавилова на одиннадцать лет. У него была боевая биография. Сражался против Колчака на Востоке, против поляков на Западе, бил беляков на Кавказе. Политработник Красной армии, член партии

с 1920 года. Окончил МГУ, потом Институт красной профессуры. Работал в Институте Маркса и Энгельса, в журнале «Революция и культура», в других изданиях. Вскрывал *идеализм и реакционную сущность* высланных философов: Бердяева, Лосского, Франка. Написал «правильную», то есть марксистскую, биографию Дени Дидро. В его активе была также книга «Ленин и философия». В философских дискуссиях 20-х годов был «диалектиком», то есть вместе с М.А.Дебориным громил «механицистов» и вместе с ним попал в «меныиевиствующие идеалисты». Как ни странно, для Луппола это не имело последствий: в 1933 году он стал членкором, в 39-м – академиком. А в феврале 1941-го был арестован и доставлен на Лубянку.

То ли его следователь был круче Хвата, то ли Луппол был слабее Николая Ивановича, но дело его провернули сравнительно быстро. Судила та же Военная коллегия Верховного суда – днем раньше Вавилова. Приговор – высшая мера. Исполнение приостановлено.

Что же известно о пребывании Вавилова и Луппола в камере смертников саратовской тюрьмы № 1?

К сожалению, меньше, чем неразгаданных загадок[875].

Тюремная *пайка*, и раньше обрекавшая узников на полуголодное существование, в войну была настолько урезана, что не давала возможности выжить. (В.Шаламов только в тюрьме узнал, что *пайка* — слово женского рода!) От голодной смерти спасал тюремный ларек и продуктовые посылки из дома. *Смертники* были лишены ларька, переписки, посылок… Рацион питания обрекал на истощение и медленное умирание. Приговор к *высшей мере* приводился в исполнение, хотя и не выстрелом в затылок…

7.

Но ведь Вавилову обещано сохранение жизни! Сам Берия ходатайствовал о пересмотре приговора! Почему же в бумагах, пришедших в Саратов, никакого следа о том не было?

О ходатайстве Берии известно из двух заявлений Н.И.Вавилова на его имя: от 8 августа 1941 года и от 25 апреля 1942-го. В том его трижды заверял *уполномоченный* Берии.

Но ходатайства Берии не обнаружено. Не исключаю, что у него *было такое намерение*, но, осторожно прощупав ХОЗЯИНА, он понял, что с этим лучше не возникать. Или просто *забыл* о благом намерении, а уполномоченный *забыл* напомнить.

Забот-то у обоих было выше головы.

Вместе с решением ГКО об эвакуации Москвы НКВД получил сверхсекретное задание: заминировать в столице стратегические объекты, чтобы в случае чего их взорвать. П.А.Судоплатов вспоминал:

«На тот случай, если немцам удастся захватить город, наша бригада заминировала в Москве ряд зданий, где могли бы проводиться совещания высшего немецкого командования, а также важные сооружения как в столице, так и вокруг нее. Мы заминировали несколько правительственных дач под Москвой (среди них, правда, не было дачи Сталина). С нашим молодым сотрудником Игорем Щорсом, поступившим на службу в НКВД в 1940 году, Маклярский и я провели инструктаж, снабдили его документами и устроили на работу главным инженером водного хозяйства в пригороде Москвы, недалеко от сталинской дачи. В случае занятия этого района немцами ему надлежало использовать системы водопровода и канализации для диверсий и укрытия агентов. В результате бомбардировок часть водопроводных труб оказалась поврежденной, и это мешало нормальной подаче воды на дачу Сталина. Щорс руководил ремонтными работами, которые вели сотрудники охраны, аварию удалось быстро ликвидировать за три часа. Его наградили орденом “Знак Почета”, но получить эту награду он не смог, так как она была присвоена человеку, чьи документы Щорс использовал для устройства на работу, а в то время нельзя было раскрыть его настоящее имя»[876].

Хотя имя *уполномоченного* нигде не названо, по предположению В.А.Гончарова, это был Судоплатов. Пробить «Знак Почета» для секретного сотрудника, чье имя нельзя называть, ему было важнее, чем судьба всемирно известного академика.

Второе заявление Вавилова на имя Берии было послано через восемь с половиной месяцев после первого. Из канцелярии наркома НКВД оно было переслано в Первый спецотдел и возвращено со справкой: Вавилов Н.И. находится не под их опекой: он «зачислен за 4 Управлением НКВД СССР тов. Судоплатовым»[877]. Когда об этом было доложено Берии, он начертал: «Тов. Меркулов переговорите со мной». Резолюция замнаркома Меркулова: «Тов. Судоплатов доложите т. Берия. Переговорите со мной».

Красноречивы даты резолюций на Заявлении Н.И.Вавилова от *25 апреля*. Справка помощника начальника 1-го спецотдела Подобедова – *19 мая*. Переслана в секретариат наркома *21 мая*. Резолюция Берии – *31 мая*. Меркулова – *9 июня*. Никакой

срочности – обычная бюрократическая волокита.

13 июня направлена бумага В.В.Ульриху – председателю Военной коллегии Верховного суда: «В виду того, что осужденные [Луппол и Вавилов] могут быть использованы на работах, имеющих серьезное оборонное значение, НКВД СССР ходатайствует о замене им высшей меры наказания заключением в исправительно-трудовые лагеря НКВД сроком на 20 лет каждого». Подписал замнаркома Меркулов, исполнитель (так значится!): начальник 1-го спецотдела НКВД А.Я. Герцовский[878].

23 июня Президиум Верховного Совета постановил: академикам Вавилову и Лупполу заменить ВМН на 20 лет лишения свободы…

Тут новый виток вопросов, на которые нет ответа.

Ведь *уполномоченный* (скорее всего, Судоплатов) почти годом раньше говорил Вавилову, что ходатайство о его помиловании возбуждено Берией и не сегодня-завтра будет официально утверждено. Почему же потребовалось новое ходатайство, подписанное не Берией, а Меркуловым?

Если первого ходатайства не было, то *уполномоченный*, трижды приезжавший в тюрьму беседовать с Вавиловым, ему *врал*. Тогда – с какой целью?

На ум приходят разные соображения, выскажу то, которое мне кажется хотя и не очень вероятным, но все же более правдоподобным, чем другие.

П.А.Судоплатов еще до войны и особенно после ее начала был занят созданием разведывательной сети в Германии и других странах, и ему остро не хватало «квалифицированных кадров». В своих мемуарах он уверял и, конечно, ставил себе в заслугу, что под этим соусом ему удалось, с согласия Берии, вытащить из тюрем и лагерей некоторых *вычищенных* чекистов. Но людей все равно не хватало. Познакомившись с делом Вавилова, он должен был обратить внимание на его обширные международные связи, многочисленные зарубежные поездки, знание иностранных языков. Потому и потребовал, чтобы политзэка, числившегося, как и было положено, за Первым спецотделом, передали в ведение его Четвертого управления. Приходил с ним беседовать, чтобы *прощупать* на предмет его пригодности для агентурных спецзаданий. Мнимое ходатайство Берии о помиловании было предлогом для этих *прощупывающих* бесед. Убедившись в непригодности академика Вавилова к шпионской работе, он потерял к нему интерес и забыл о нем. Если так, то ходатайство Берии об отмене ВМН было выдумкой Судоплатова.

Но вот решение об отмене ВМН действительно принято и направлено в Саратов. Есть расписка Вавилова в том, что ему об

этом объявлено. Датирована 4 июля 1942 года.

Итак, 20 лет лагерей… Страшно подумать… Но – всё познается в сравнении. Для двух *смертников* то была истинно *благая весть*\

Луппола перевели в общую камеру, затем отправили в Мордовский лагерь. Там он скончался 26 мая 1943 года…

О том, что Вавилова тоже перевели из камеры смертников, косвенно свидетельствовал академик П.К.Ощепков.

Он был специалистом по радиотехнике и радиолокации. Первый раз его арестовали в 1937 году, приговорили к пяти годам лагерей за «троцкизм». В декабре 1939 года освободили, но 1 июля 1941-го взяли вторично – «за принадлежность к антисоветской организации». Снова дали пять лет. В саратовской тюрьме «судьба свела “неблагонадежного” изобретателя с ученым-биологом, академиком Николаем Ивановичем Вавиловым. Даже там, в тюрьме, они вели беседы о круговороте энергии в природе, рассуждали о возможностях управления этим процессом»[879].

Приговор Ощепкова был «детским», в камеру смертников его посадить не могли, значит, и Вавилов уже не был в камере смертников.

В саратовской тюрьме Ощепков получил письмо от академика А.Ф.Иоффе: «Сейчас, как и тогда, я уверен в Вашей невиновности и сделаю всё, что в моих силах, чтобы это доказать».

Доказать Иоффе ничего не смог, но Ощепкова вскоре перевели в Свердловскую «спецлабораторию», то есть в *шарагу*.

8.

Но если Вавилова перевели из камеры смертников в обычную, то стали выводить на прогулки. Обеспечили мылом (в камере смертников он был лишен мыла!). Лечили от цинги (он был болен). Расширили доступ к библиотеке (в камере смертников доступ был ограничен). А самое *главное*: он мог теперь написать близким, сообщить, где находится, получать письма, посылки, какие-то деньги, чтобы прикупать продукты в тюремном ларьке!.. Пусть немного, совсем чуть-чуть, ибо пользование ларьком было строго лимитировано. Но от этого *чуть-чуть* снова зависела – *ЖИЗНЬ*.

Но… Он *умирал* еще полгода. Близкие ни одного письма от него не получили.

Елена Ивановна оббивала пороги НКВД и других учреждений, молила влиятельных, как ей казалось, ученых замолвить

словечко. Ее принимали по-разному: с состраданием и сочувствием, с грубой жестокостью, с испугом. Никто помочь не мог… Она пыталась выяснить его местонахождение – безуспешно.

Какие-то сведения до нее доходили. В основном ложные.

С.И.Вавилов записал в дневнике 13 октября 1941-го (за два для до этапирования Николая Ивановича в Саратов): «Сегодня узнал из письма Е.Н. о печальной и мрачной участи Николая. Страшно и грустно безгранично». Похожая запись 9 декабря: «Опять письмо от Елены Ивановны со страшными подробностями о Николае. <…> Сделать ничего нельзя, и так бессмысленно дико и обидно до последнего атома»[880].

Дмитрий Николаевич Прянишников считал, что что-то сделать можно.

Он добился приема у Берии. Помогло то, что жена Берии была его аспиранткой. Прянишников объяснил, кто такой

Вавилов, обрисовал его вклад в науку и практику, просил разобраться в его деле. Берия выложил перед ним протоколы «признательных» показаний Николая Ивановича. Прянишников читал и все больше мрачнел. Твердо сказал:

– Не верю! Не поверю до тех пор, пока он сам мне этого не скажет.

Из Алма-Аты, куда была эвакуирована кафедра Прянишникова, он телеграммой выдвинул Н.И.Вавилова на Сталинскую премию, подчеркнув огромную *практическую* пользу собранной им мировой коллекции. Акт отчаяния и безоглядного мужества. В списке кандидатов на премию имя Вавилова, конечно, не появилось.

9.

…Заболел Николай Иванович 19 января 1943-го. Только 24-го, к концу дня, к нему пришла фельдшерица. Измерила температуру – 39,6 С°. Хрипы в легких указывали крупозное воспаление. В записке начальнику тюрьмы Ирашину она предложила госпитализацию. Проставила время: *17 часов.*

Вечером Николая Ивановича доставили в тюремную больницу. Состояние определили как тяжелое.

25-го у постели сошлись старший санинспектор Турецкий, начальник санчасти Тверитин, врач Талянкер. Консилиум почему-то возглавлял начальник тюрьмы Ирашин. (Может быть, врачи были зэками, потому требовался надсмотрщик?)

Температура теперь была невысокой, 37,3 С°. Больной жаловался на общую слабость. Осмотром установлено:

истощение, кожные покровы бледные, отечность на ногах. Диагноз: ***Дистрофия, отечная болезнь.***

В *истории болезни*, подписанной врачом Степановой, подробнее:

«Жалобы больного: жар, боли в груди, кашель, одышка, понос три раза в день, плохой аппетит, сильная слабость. Болел 7 дней. Объективные признаки болезни – язык обложен, живот мягкий, состояние тяжелое, больной ослаблен, истощен, кожа бледная. В легких справа в нижней доле дыхание с бронхиальным оттенком, тоны сердца глухие. В прошлом болел малярией».

Поставили банки, дали таблетки, назначили 2-й стол (?), молоко.

Было поздно…

26 января 1943 года, в 7 часов утра, Николай Иванович Вавилов скончался.

30 января был составлен акт судебно-медицинской экспертизы. Его почему-то оказалось недостаточно: **5 февраля** датировано «Заключение» о смерти Н.И.Вавилова.

В обоих документах в пункте первом причиной смерти названа пневмония. О дистрофии и истощении не упомянуто. Оба документа подписаны одним и тем же лицом, но в первом случае это *Судебно-медицинский эксперт Резаева*, а во втором *Старший судебно-медицинский эксперт Резаева.* Уж не получила ли она повышение за *политически правильное* заключение о смерти Вавилова?

Горькой насмешкой в обоих документах выглядит второй пункт:

«Смерть ненасильственная»[881].

Часть седьмая
Брат Сергей

Дневники

1.

Когда я писал свою первую книгу о Николае Вавилове, я знал, что его брат Сергей Иванович вел дневники. Мне хотелось заглянуть в них хоть одним глазом, но его сын Виктор Сергеевич никого к ним не подпускал на пушечный выстрел.

После кончины Виктора Сергеевича, в 1999 году, табу было снято. Но потребовался еще многолетний труд составителей, комментаторов, редакторов, чтобы привести дневники в порядок, расшифровать, перевести многочисленные записи на разных языках, прокомментировать… Вторая половина дневников увидела свет в 2012 году, первая в 2016-м – оба тома в серии «Научное наследство», основанной Сергеем Ивановичем Вавиловым[882].

Первые дневниковые записи были сделаны Сергеем в 1904–1905 годах, в 14 лет, но позднее он их уничтожил, посчитав глупыми и наивными. «Настоящий» дневник начал вести в 1909 году. Вел – с перерывами на годы и десятилетия – до последних дней жизни.

В раннем детстве Сергей был очень религиозен. Потом стал скептиком, материалистом, снова скептиком. Отношения с Богом до конца дней у него были сложными.

На улицах Пресни он рос и развивался под защитой кулаков и под сильным влиянием старшего брата Николая.

Учился в том же коммерческом училище – на три класса младше. В сарае они вместе ставили опыты, собирали гербарии, пытались выяснить, как зимуют лягушки…

22 сентября 1947 года Сергей Иванович вспоминал: «Сначала мир полон духовного. Бог, черти, лешие, всё живое, мир дышит, в нем опасно, но радостно жить. Потом “научное мировоззрение": Мечников, Геккель, Тимирязев, Бюхнер, еще позднее Мах. Вдохновение критики и разрушения, первые шаги Эпикура и Лукреция»[883].

А вот его воспоминание о детских годах в записи от 8 мая 1942 года: «Природу, настоящую развертывающуюся весну я узнал очень поздно впервые, лет в 10, когда в первый раз поехал на дачу в Богдановку. Произвело это впечатление потрясающее, и во мне сразу проснулся естественник, homo sapiens, человек, стремящийся узнать. Один – философ и ученый – ходил я по лесам и рощам, смотрел за растениями и впитывал в себя

“природу”. Первая “работа” – подбор желтых цветов, хлорофилл, ксантофилл[884]. Тимирязевская “Жизнь растений” казалась лучше всех сказок в мире (подумать только, потом Аркаша Тимирязев и потом комбинация Тимирязева с Лысенко). Детские опусы по “мировоззрению”. От соприкосновения с природой возник “ученый”»[885].

На книгу К.А.Тимирязева «Жизнь растений» Сергея, конечно же, навел старший брат. Другая книга, прочитанная под его влиянием, – «Этюды оптимизма» И.И.Мечникова. Она подвигла 15-летнего Сергея написать трактат – «О мировоззрении»; он, к сожалению, не сохранился.

В детстве и отрочестве влияние на Сергея старшего брата было очень большим, но к 18 годам оно сошло на нет. Слишком разными были братья по характеру и темпераменту, разным было у них восприятие окружающего мира, по-разному они ощущали свое место в мире.

Вот запись Сергея от 13 марта 1909 года: «Со вчерашнего дня мне пошел 20-й год. Sans doute [горе тебе, человек *(лат.)] я* пока еще иду в гору и даже очень круто поднимаюсь. До 10 лет, до поступления в школу, я был ребенком, ребенком трусливым, одиноким, мистиком, мечтавшим, мечтавшим, мечтавшим <…> об алхимии, чудесах, колдунах, любившим играть в магию, много и без толку читавшим и глубоко верующим. С 1905 года я стал себя понимать, сначала грубо и странно; я сделался поэтом, философом, миросозерцателем и… я стал выделяться. Я узнал, точнее перечувствовал и пессимизм, и оптимизм, и радость, и отчаяние, и научную религию, моим первым учителем была книга Мечникова. <…> Революция была только толчком, переломившим меня в отношении миросозерцательном».

Из других записей знаем, что переломила его не столько революция, когда «кругом всё кипело», сколько смерть младшего братика, семилетнего Илюши. Об этом он вспомнит 1 марта 1912 года, после похорон своего первого и, видимо, единственного учителя, Петра Николаевича Лебедева – великого ученого, взвесившего свет. У Лебедева было больное сердце. Смерть настигла его в расцвете сил и таланта, в 46 лет: «Ужас на сердце, тоска и тайна смерти перед глазами <…>. Смерть, ладан, свечи и физик среди этого. О, насмешка и ужас. Наука, где же ты, что ты. Не наука мир объемлет, а мир ее. Нет ужаса ужаснее смерти ученого и поэта». И дальше: «После смерти Илюши это вторая, производящая во мне ужас и бунт. После первой я очутился вне религии».

Раздумья о жизни и смерти, о тщете повседневного существования проходят красной нитью через все «годы и

расстояния» Сергея Вавилова. Если у Николая сознание краткости человеческой жизни вызывало азарт, побуждало не терять ни минуты, то Сергей был погружен в раздумья о *суете сует*, о *фатальности* происходящего, о том, что мы бессильны что-либо изменить, – можем, в лучшем случае, лишь кое-что понять.

Николай Вавилов по натуре был *деятель*, Сергей – *созерцатель*.

Особой болью отозвалась в его душе смерть младшей сестры Лиды в 1914 году.

Он был на фронте, рядом рвались снаряды… Его часть перебрасывали с места на место, изнуряя долгими переходами по горам и долам, через какие-то деревушки. Вдруг он с радостью узнал, что для него есть письма. «Раскрыл письмо от брата и от первой же строки разрыдался. Всё стало чужим. И повозки, и солдаты, и корпуса, и пушки, и остались только два ужасных слова “Лида умерла”. Жизнь сразу потеряла и цену, и смысл, и совсем не страшны показались рвущиеся шрапнели. “Жизнь коротка и подобна летучему дыму”. Стоял, как столб, не знал, что делать. Слезы вырывались ежеминутно. А тут какая-то военная канитель. Ночью весь обоз поворотил обратно. Говорят, 25-й корпус отступает. А Бог с ним, пусть хоть в тартарары идет. Ночью по ухабам поплелись, меня трепала лихорадка, и плакал, и не мог идти, наконец, сел на лошадь, укутался башлыком».

В памяти всплывала вся недолгая жизнь сестры. Вспомнил, как тяжело она болела полгода назад, когда перенесла операцию аппендицита. А теперь – такая глупая нелепость!.. Он еще острее осознает тщету и бессмысленность существования перед лицом великой тайны под названием *смерть*.

«Письмо Николая о смерти Лиды – прекрасно. Ни воплей, ни стонов, точно, объективно и полно. Я так написать на 3-й день смерти не смог бы. Я по-прежнему в отупении, ем, пью, слушаю канонаду, но боюсь задуматься, остановиться».

В дневниках Сергея Ивановича нередки стихи. Цитаты из Пушкина, Тютчева, Лермонтова, Жуковского, Баратынского, Владимира Соловьева, Блока, Гейне, Гёте, других поэтов. Но чаще – его собственные. Смерть сестры породила такие строки:

Сил таинственных стеченье
Закрутило жизнь мою.
Веру в цель и назначенье
Безнадежно отдаю.
Жизни шум, природы трепет
Бег сияющих светил.
Всё случайный, странный лепет,

Миг игры безумных сил.
Тихо жди прикосновенья
Сокрушающей руки
И спускайся по теченью
В смерть впадающей реки.

Течение жизни — река, впадающая в *море смерти.* Этот образ будет окрашивать его мысли и чувства в минорные, сумрачные тона. Противовесом будут наука, искусство, *красота.* И – робкая надежда на то, что Бог все-таки существует и что душа человека способна пережить «футляр» бренного тела. «Господи, проясни, дай постигнуть душу живую и бессмертную».

2.

Как соотносятся наука и искусство, каково их место в духовном мире человека?

Восемнадцатилетний Сергей Вавилов неустанно размышлял над этими вопросами и… все сильнее в них запутывался. Научная истина объективна, она вне личных пристрастий. Наука освобождает «от всяких проклятых вопросов о цели жизни, Боге и пр[очей] ерунде». В этом для него неотразимая притягательность науки. Но делает-то науку конкретная личность, со своим неравнодушным «я». «В науке я иду от личности к миру, в искусстве, наоборот, от мира к личности. Я соединяю в себе два полюса – науку для теории и искусство для практики. Искусство и наука – мой символ веры – основные принципы моего миросозерцания».

Но два полюса не соединяются в душе 18-летнего мудреца, они тянут ее в разные стороны, испытывают на разрыв.

Между небом и землею
Я повис.
И не знаю вверх лететь мне
Или вниз.
Наверху теорий царство,
Знаний рай.
А внизу искусства с жизнью
Славный край.
Да уж снизу улетел я
Далеко
И упасть туда опять мне
Нелегко

И хоть вижу я науки
Блеск и свет
Но и с нею сильной связи
Также нет.
А меж тем своей усладой
Жизнь манит
Но сияние науки
Мой магнит.
Меж наукою и жизнью
Я повис
И не знаю вверх лететь мне
Или вниз.

Он сочинил эти стихи как бы в шутку, но затем признал, «что это не шутка: а истинное горе мое».

Подобные мысли не волнуют его одноклассников, он не может не чувствовать своего превосходства над ними и – своего одиночества. Методично, в алфавитном порядке, он выписывает их имена, давая каждому краткую характеристику. Большинство характеристик убийственны: дурак, подлиза, хулиган, развратник, идиот, урод… Ну а те немногие, к кому он снисходителен? Один из них «не глуп, но кажется дураком, потому что хочет казаться умным»; другой «статист, декорация, фон, полная безличность»; третий «умный, добрый, но все же не живой человек, и это очень печально». Наивысшей оценки удостаивается некто Рычков – «идеальный ученик», «хороший парень, умный, симпатичный», но и он «особенно не выделяется ничем». *И скучно, и грустно, и некому руку подать*…

Сергей всегда опрятен, аккуратно одет, ногти безупречно вычищены, у него манеры воспитанного интеллигентного юноши. Он со всеми ровен, вежлив, предупредителен. И от всех бесконечно далек. Он тяготится, но и упивается своим одиночеством. Ни с кем из товарищей он не может сойтись, поговорить по душам, никто его не поймет. Хуже того, он сам себя порой не понимает.

Учеба в школе подходила к концу. Благодаря приватным урокам латыни – он брал их два года – ему открыт путь в университет. (Учтен опыт брата!)

«Быть может там, в Университете, найду я душу, приобщившись к которой, найду я пути к миру и восприму силы, нужные для науки».

Но и в университете Сергей Вавилов не мог найти друга, способного понять и разделить его сокровенные мысли и чувства.

Сокурсники кажутся ему примитивными, стандартными, все на одно лицо – хуже, чем в коммерческом училище. Высокомерен? Но он не снисходителен и к себе.

Зная о том, насколько разными по характеру были его родители, Сергей размышлял о том, не этим ли определяются его «вечные внутренние противоречия», его «две души».

«В общем мой характер мне совсем не нравится. Я по характеру фаталист. Судьба и внешние обстоятельства играют в моей внутренней жизни огромную роль. Моя кончина может быть совершенно трагической. Я не могу следовать по жизни по общепринятым правилам. Кем я буду? Этого я не знаю, всё зависит от моей трагической судьбы. В лучшем случае я стану очень плохим профессором физики. В худшем же, если к внутренней катастрофе присоединится внешняя, я стану бродягой или монахом (последнее вероятнее всего, это лучший способ ухода из мира, и, кроме того, ведь я безусловно стану верующим. Это я точно знаю, и я в прямом смысле, а не просто эстетически “православный"). Наконец, третья возможность – что вся моя жизнь останется столь же неопределенной, как сейчас, буду смешением плохого физика и плохого эстета».

Ближе других Сергею его учитель рисования в коммерческом училище Иван Евсеевич Евсеев. Ему, больше чем кому-либо, Сергей был обязан приобщением к искусству. Вместе с «Евсеичем» он ездил в Звенигород, в Новгород, в Финляндию, Эстонию, потом, уже студентом университета, путешествовал по странам Европы. Но и с Евсеичем, почти ровесником отца, он близок внешне – не внутренне. Евсеич часто кажется ему бестактным, надоедливым, бесцеремонным.

В учебе у Сергея большие успехи. Со второго курса он работает в лаборатории профессора П.Н.Лебедева, которого высоко оценил с первой же лекции. Лебедев для него – эталон ученого. «От него-то узнал я и как трудна наука; сколько усилий нужно, чтобы быть ученым, нужно знать языки, математику, нужно работать; от него же получил стимул к работе. “Плох тот казак, который не надеется быть атаманом”. Ну а я надеюсь».

В 1911 году разразился скандал, спровоцированный решительным, но неумным министром просвещения Л.А.Кассо.

Министр «обязал» ректора Московского университета разгонять студенческие сходки с помощью полиции. Этим приказом грубо попирался закон об автономии университетов, принятый в 1905 году Ректор А.А.Мануйлов собрал Ученый совет и заявил, что скорее уйдет в отставку, нежели подчинится. О том же заявили проректор П.А.Минаков и помощник ректора М.А.Мензбир. Подать в отставку они не успели: министр издал

приказ об их увольнении, хотя их избрал Ученый совет и только Ученый совет имел право их сместить. Ответом на новый произвол власти стал уход в отставку 130 ведущих профессоров и преподавателей. В их числе Вернадский, Тимирязев, Чаплыгин, Лебедев – весь цвет университета.

Профессор Лебедев был далек от политики, уходить не хотел, но должен был это сделать из солидарности с коллегами. Об отношении Сергея к кипению политических страстей можно судить по такой его записи: «Я никогда не хотел быть ни социалистом, ни кадетом, ничем другим, я всегда бежал [от] внешней жизни. Я всегда любил историю, вернее, историю культуры, внешности, любил искусство, любил науку, жизни я никогда не любил, я жил или прошлым, или красивым, или абстрактным. <…> Равнодушно спокойно и красиво прожить жизнью ученого – вот mon idee fixe теперь».

В сентябре 1911-го о том же, но более конкретно: «Тут убили Столыпина, но для меня это прошлогодний снег, гораздо важнее и досаднее для меня, что вот получил из-за пустейшего пустяка 4 по физике». И дальше: «Наука, кроме того, что она наука, т. е. знание, есть настроение, а это научное настроение (самое хорошее, что есть в науке) удивительно как портят все эти Столыпины, Кассо, Станкевичи… и четверки».

Профессор Борис Васильевич Станкевич был *назначен* вместо Лебедева – тоже вопреки университетскому уставу. Он, видимо, и снизил отметку Сергею Вавилову из-за какого-то пустяка. Сергей и думать не мог о том, чтобы работать на кафедре под руководством Станкевича.

К счастью, для П.Н.Лебедева была открыта лаборатория на средства мецената А.Л.Шанявского – при Народном университете его имени, так что Сергей Вавилов мог продолжить работу в лаборатории, остался в ней, когда, после смерти Лебедева, ее возглавил П.П.Лазарев.

В 1913 году появилась первая научная публикация Сергея Вавилова. Он еще студент, но уже ученый. Казалось бы, его путь определился.

Но внутри продолжалась борьба, скрытая от посторонних глаз. Он много читает об истории мировой культуры, каждое лето по три-четыре недели проводит в Западной Европе: в Германии, Франции, Италии, Голландии… (Отец, видимо, не стеснял его в средствах.) Его влекут соборы, памятники, библиотеки, музеи – всё, что приобщает к красоте, к истории культуры, к высшим достижениям творческого духа.

Быстро расширяется круг его чтения. Он читает свободно на основных европейских языках. Особый интерес вызывает образ

Фауста – «более всяких Гамлетов, Дон-Жуанов, Дон-Кихотов». Прочитав старинную немецкую легенду о Фаусте (издание 1587 года), он был поражен тем, насколько герой народной легенды отличается от героя ее литературных переложений. Главное в Фаусте народной легенды – наука, познание истины. Ради познания он связывается с нечистой силой, а вовсе не ради земных удовольствий, как в драме Гёте и в других литературных произведениях.

«Истинный Фауст вот кто: “он взял себе орлиные крылья, желая до основания исследовать всё на небе и земле”, как пишет о нем первоисточник. Фауст проводит свое время с чертями и бросается в магию не потому, что он “проклял знанья ложный свет”, а как раз наоборот, потому, что в магии-то этого света он и ищет. Уж вовсе не из-за “жизни” он связался с Мефистофилесом, а если у него и есть приключения, пирушки и т. д., так ведь всё это дьяволовы “штуки”, “искушения”. Фауст расспрашивает своего черта об устройстве мира, ездит на нем удостовериться самолично, всё ли так обстоит на небе, как говорит теория (эта деталь интереснейшая), сочиняет календарь и т. д. Истинный Фауст – истинный ученый, и, увидав своего гётевского однофамильца, он, наверное, покачал бы только укоризненно головою».

Итак, Фауст вступил в сделку с самим чертом, чтобы познать истину, а не бежать от нее! Этот образ завораживает Сергея Вавилова. Ареальное, земное воплощение Фауста он видит – в личности Леонардо да Винчи.

Летом 1911 года Сергей едет на три недели в Западную Европу. Едет с Евсеичем, чье присутствие отравляет всё удовольствие от поездки. В дневнике ей посвящена одна короткая запись – от 15 июля. Поездка прошла мимолетно, впечатление осталось только от Парижа, точнее – от посещения Лувра, а в Лувре – от «Джиаконды» Леонардо да Винчи.

«Вот чудо из чудес, картина – книга, которую можно читать часами. Я стоял перед нею больше получаса, простоял бы и больше, если бы было можно. Лицо Джиаконды – лицо идеального ученого; это такое безбрежное спокойствие духа. Такой ум и бодрость, о которых можно только мечтать. Эта странная улыбка, вовсе она не “ядовитая”, как говорят, нет, это просто улыбка спокойствия, невозмутимости и ума. Как высоко стоит Джиаконда над миром, как она одинока, как она счастлива. Джиаконда – это дух истинной науки, и я стоял перед ней и думал о себе, мечтал, раскаивался, строил планы. <…> С ней надо быть глаз на глаз, иначе ее не поймешь. Я сбежал от моих компаньонов и долго стоял перед Джиакондой. После Джиаконды

мне не хотелось ничего другого. Я нашел, дорога найдена, наука, наука, святая наука. Скорее домой, к книгам, бумаге и карандашу. Все эти Брюсселя, Антверпены, Гааги, Амстердамы прошли незаметно, я на них и не смотрел. Теперь я дома и сел за книги».

Через пару недель после этой записи чудовищное событие молнией разнеслось по мировой прессе: Джиаконда исчезла из Лувра! Сергей Вавилов в отчаянии: а что если безумец-похититель сожжет картину! «Гибель Джиаконды была бы не гибелью картины, а просто гибелью гения, смертью Ньютона, Пушкина. Джиаконда вовсе не картина, это живое существо, к которому можно пойти, беседовать, коротать дни и ночи. Репродукции, копии с Джиаконды – это то же, что фотография с живого человека (не с картины)».

Картина *нашлась* через два года – во Флоренции, что, конечно, не могло не отразиться в дневнике Сергея Вавилова. Оказалось, что ее похитил полоумный итальянец В.Перуджо – из *патриотических* побуждений: шедевр великого итальянца должен быть в Италии! Он принес картину директору галереи Уффици. Ее вернули в Лувр.

Последняя встреча Сергея Вавилова с Джиакондой произойдет в 1935 году. Оказавшись в Париже в научной командировке, он, конечно, посетит Лувр. Но должен будет «выступать в роли гида для жены [советского дипломата]

Сучкова, дамочки, находящейся в состоянии культурного ликбеза. Пошли в Лувр, и мне пришлось быть tutor'ом, объясняющим Рафаэлей, Веронезов и т. д. Ну, вот расскажи ей, что такое Джоконда <…>. Для себя-то почти ничего не осталось. А между тем со стен опять заулыбались луинивские леонардески (здесь они, конечно, первого сорта). По-новому увидел Крестителя Леонардо, и Джоконда, когда увидел ее настоящую, ожила, руки, руки стали настоящими, и ее поразительный такт во всем – в позе, в улыбке, в пейзаже – стал понятным опять. Ясно, что колорит Дж[оконды] совсем испорчен, всё позеленело, не могло быть у Леонардо] этого зеленого неба. С нее бы снять лак. Но замечательно, [что] кроме Леонардо и леонардесок, никто не трогает».

Личность Леонардо да Винчи влекла своей масштабностью, универсальностью, *гармоничным* единением науки и искусства.

Тем сильнее молодой Сергей Вавилов ощущал собственную раздвоенность.

Плачь! Ори! Кричи! Визжи!
Череп об стол размозжи

Две души во мне живут
И на части меня рвут.

С годами он стал *привыкать* к внутренней раздвоенности, стал относиться к ней более спокойно, но преодолеть ее так и не смог. А «Фауст» Гёте – все-таки Гёте! – на всю жизнь стал его настольной книгой.

Я полюбил гармонию стихов
И мудрости алмазные кристаллы.
И «Фауста» вновь перечитывать готов
Всю жизнь мою, как Библию, сначала,
Как откровение, он вечно нов.

В душе и мыслях Сергея Вавилова легендарный Фауст и реальный Леонардо прочно переплетены. В 1939 году, прочитав биографию Марии Кюри, написанную ее дочерью, академик С.И.Вавилов записал: «Хочется вернуться к моей старой-престарой теме “Фауст и Леонардо”, собрав в ней то, что за жизнь узнал из истории науки, из жизнеописаний людей, наукой занимающихся. “Madame Curie” – необходимое звено для этой будущей статьи или книги, будет ли время?» Времени *на это* не было…

3.

Учеба в университете приближалась к концу, Сергею Вавилову предложено остаться на кафедре физики – для подготовки к профессорской деятельности. Профессор П.П.Лазарев советовал принять предложение. Протестуя против произвола министра Кассо, Лазарев, вместе Лебедевым, ушел из Московского университета, но с тех пор прошло три года, раны зарубцевались…

Для Сергея разговор с Лазаревым – *соблазн Мефистофеля.* 8 января 1914 года он записывает (почему-то по-итальянски): «В глубине души у меня абсолютно ничего не было против того, чтобы остаться при университете. Это означало бы очень много; тогда бы я стал физиком-профессиона-лом, а так я всего лишь дилетант». И дальше по-русски: «Но было стыдно, и я отказался».

Почему стыдно? За что стыдно? Перед кем стыдно? Позднее в автобиографии С.И.Вавилов написал: «В виде протеста я отказался после окончания университета остаться при кафедре для подготовки к профессорской деятельности»[886]. В дневнике

проступают другие причины, возможно, не менее веские.

Он недоволен темой и методами научной работы, которые ему навязал П.П.Лазарев, хотя вынужден почитать его как учителя, заступившего место покойного П.Н.Лебедева: «Работа мне не нравится, в ней что-то от Гей-Люссака, как почти всё у П.П. По крайней мере, в течение 3–4 лет необходимо будет освободиться от П.П. и начать работать либо за границей, либо в другом городе».

Почему надо *освобождаться* 3–4 года, а не порвать сразу? Резкий разрыв – не в характере Сергея Вавилова. К его внутренней раздвоенности добавляется внешняя. Вот еще одна из записей: «Наконец, все раскусили, что такое П.П.

1) Это, безусловно, не физик, а так, какой-то ходячий “Gay-Lussac”[887]. 2) Это отвратительный бесхарактерно-самодержавный человек. Быть настоящим физиком очень трудно, тут нужен специальный стиль – “’стальной”, холодный и закаленный. <…> П.П. же – это что-то неврастеническое, несчастное, а иногда и противное».

Но и стремление незаметно, без скандала, уйти из-под опеки П.П.Лазарева, не главный мотив отказа остаться в университете.

«На свете лучшее – физика. Физика – это наука, и наука – это физика. Всё остальное – с математики, астрономии до зоологии и ботаники – только ее прислужники. В физике нет ни капли служебное™. Сама в себе. Быть физиком и даже таким плохим, как я, – уже счастье. Быть физиком – это значит хоть час в день чувствовать себя хорошо. С какой гордостью говорю я, что я физик. Это уже патент на благородство – я в физике, вероятно, ничего не сделаю. Мало знаний и метода, но люблю ее я превыше всего».

Итак, он благоговеет перед физикой, физика – его судьба. Но… достоин ли он такой судьбы? Есть ли у него те качества, какими должен обладать настоящий физик? Он угрюмо подтрунивает над собой:

Физик я в литературе,
А в науке я пиит.
Искони видно лежит
Эта блажь в моей натуре.

До выпускных экзаменов остается всего ничего, а он приватно изучает итальянский язык, которым и без того уже хорошо владеет, читает в оригинале «Божественную комедию» Данте. Сочувственно цитирует ее знаменитое начало: *«Земную жизнь пройдя до половины, / Я очутился в сумрачном лесу, / Утратив*

правый путь во тьме долины». Спорит с автором о том, что «слаще» – заблудиться в лесу или умереть: «Есть много случаев, когда я, к сожалению, убежден в обратном – что смерть менее горька. Думаю даже всерьез о смерти как об истинном выходе из положения»[888]. Он не чувствовал, что готов стать физиком.

4.

Уход из университета означал немедленный призыв в армию.

Рядовым необученным.

Правда, не простым солдатом, а *вольноопределяющимся.* Право на это давало высшее (и даже среднее) образование.

Срок службы – полтора года. Жить можно на частных квартирах, а не в казарме. После года можно сдавать экзамен на первый офицерский чин. Представлялась и некоторая свобода в выборе *рода службы*, но для этого надо было подсуетиться. Негодуя на свою «глупую фаталистику», Сергей записал, что «было 100 выходов хорошо устроиться, а в результате я, кажется, сижу на бобах».

Пришлось искать протекцию у Прохоровых – владельцев Трехгорной мануфактуры. Визит к ним оставил в дневнике саркастичную запись: «Вместе с папенькой ездил с визитом к Прохоровым, лобызал десницы, говорил о Париже, завтракал и был в сюртуке. Дом и уклад жизни палаццообразный, стиль, “haute bourgeosiie” [крупной буржуазии], т. е. диваны, потолки, лакеи, портреты [Г.М.]Бобровского, а книги в золоченых переплетах в каком-то буфетике. Впрочем, не знаю, может быть, есть и библиотека. Всякая картина аристократизма, даже буржуазного, на меня действует угнетающе. Падаю в своих глазах, кажусь себе каким-то дьячком в длинном сюртуке и завидую E perche non io, ma gli altri! [И почему не я, а другие *(ит.)]* Вот где зарыты социализмы и прочие прелести».

В июле 1914 года он стал вольноопределяющимся 25-го саперного батальона Московского военного округа. Полагал, что будет свободен 4–5 часов в день, и радовался, что сможет тратить их на любимые книги и на любимую физику. Полтора года службы позволяли оттянуть окончательный выбор жизненного пути, разобраться в себе, может быть, получить *закалку*, которой ему недоставало для того, чтобы стать «настоящим» физиком.

О том, что к концу месяца грянет война, никто не подозревал…

5.

К саперным войскам принадлежали и подразделения телефонной и радиосвязи. Он мог использовать знания физики и даже – урывками – заниматься наукой. Сидеть под огнем в окопах, ходить в штыковые атаки ему не приходилось.

Но на войне – как на войне. Снаряды разрывались рядом, разбрасывая смертоносные осколки, над головой кружили самолеты противника, падали бомбы. Приходилось шарахаться от кустов, в которых притаился или казалось, что притаился неприятель… Изнуряли многоверстные переходы, часто бессмысленные, туда и обратно, – в жару и холод, под дождем и снегом. Спали под открытым небом или в деревенских халупах – в тесноте, в грязи, с клопами и блохами…

Военная романтика, мысли о героизме в его записях быстро сходят на нет. Война – это мясорубка и бестолковщина.

В декабре 1916-го Сергей Иванович, уже прапорщик, приехал в Москву в кратковременный отпуск. Оставил дома дневники, благодаря чему они сохранились. Он вел записи и после возвращения в часть, но в феврале 1918-го, как упоминалось, он попал в плен, через два дня бежал, записные тетради пропали. О том, как велика эта потеря, можно судить по тем дневникам, что сохранились. Приведу только запись от 8 декабря 1914 года, сделанную в польской деревушке Воля Моравицка. Ее можно было бы озаглавить по-ремарковски: «На Западном фронте без перемен»:

«Итак, “фронт передвинулся”. Чудища корпусов со всякими обозами, транспортами, лазаретами, почтой, телеграфными ротами, артиллерией перешли на другое место. Что это – отступление, “маневр”, “занятие удобных позиций” или so etwas [что-то в этом роде], боюсь сказать. Немцев ждут на укрепленных позициях за р[екой] Нидой, а им предоставлены болота и скверные дороги. 25-й корпус стал здесь, все деревни кругом заняты бесчисленными щупальцами неповоротливого спрута. И наша щупальца – телегр[афная] рота – тоже знает свое место. Как ненужная соринка, пятно на этой щупальце, сижу и я, и двигаюсь вместе со спрутом, спрут меня волокет, ему до меня нет дела и мне до него. Таких спрутов, кажется, до пятидесяти, и все они – органы одного колоссального ихтиозавра армии. Земля вертится, летит солнечная система, вселенная “катится”. А мне, пылинке и соринке, дело только до самого себя, до семьи и до книг. Какой-то таинственный, неведомый, нелепый contract sociale [социальный контракт] посадил меня на спрута, и до сих пор нет никакого спасения. Вот сейчас пригвожден к этой грязной деревеньке. Дни идут за днями, пустые, как выеденные яйца. Вчера зачем-то, “водили” на опрос, “претензий” к батальонному]

ком[андиру] верст за 6. Водили всю роту из-за выеденного яйца. Гора пришла к Магомету. Итак, в результате 12 в[ерст] прогулки, несмотря на раны на моих ногах, раны ужасные. Увеселительная прогулка. А остальное всё так. Громыхают пушки не особенно далеко. Мучают вши, сожители с разговорами о конце войны, халупа с несчастным паном. Курю, воруют у меня папиросы, едим картошку, ну das ist alles [это всё]. Опять ни писем, ни газет, ни посылок. <…> А война как на грех безрезультатна. Одинаковое упорство с той и другой стороны. Статика!»

Сергей Вавилов сознает себя ничтожной песчинкой, беспомощной и никому не нужной, безжалостно растираемой жерновами войны вместе с тысячами таких же песчинок. Лишь одним отличается от других песчинок: способен мыслить. *Мыслящая песчинка…*

Но что значит – мыслить? Что такое – мышление, сознание? Только ли человеку оно дано? Может быть, всему живому или даже и неживому? Может быть, и камень, лежащий на дороге, способен себя сознавать, мыслить?.. К загадкам сознания он будет возвращаться на протяжении всей жизни…

А пока больше чем война его страшит будущая мирная жизнь: «Я начинаю сам себе завидовать, я – будущий, мирный, себе настоящему. Сейчас у меня на плечах погоны, а потому жизнь проста, свободна и есть постоянное оправдание. А тогда, после мира, кем я стану, и кем могу стать? Такая муть, такой омут впереди, что смерть кажется блаженным избавлением».

Холодный свет

1.

Демобилизовавшись, Сергей Вавилов засел за физику. В 1919 году успешно сдал экзамены на степень магистра при Московском университете.

Он преподаватель-доцент-профессор. МВТУ, МГУ, Зоотехнический институт. Институт физики и биофизики Наркомздрава РСФСР, созданный П.П.Лазаревым на базе лаборатории П.Н.Лебедева. Сергей Вавилов заведует в нем отделением физической оптики. Директор института в его дела не вмешивается, отношения деловые, корректные, прохладные.

Узкая специальность С.И.Вавилова – люминесценция, *холодный свет.* Его работы привлекают внимание, создают ему прочную репутацию. В 1926 году он полгода работал в Берлинском университете, в прекрасно оборудованной лаборатории Петера Прингсгейма. Участвовал в коллоквиумах и семинарах, общался с Эйнштейном, Максом Борном, Гейзенбергом, другими светилами мировой физики. Он и сам становится светилом: он один из ведущих ученых-оптиков. Основанная им «нелинейная оптика» приведет к созданию лазеров и мазеров.

В марте 1931 года над Лазаревым разразилась гроза: он арестован, обвинен в антисоветчине, сослан в Свердловск. Институт расформирован. Его жена Ольга Александровна безуспешно хлопотала о муже, не вынесла испытаний, покончила с собой.

Лазарев через год был помилован, вернулся в Москву, но от его института уже ничего не осталось. Его поставили заведовать маленькой биофизической лабораторией, в 1938 году она влилась в ВИЭМ (Всесоюзный институт экспериментальной медицины). В войну лабораторию эвакуировали в Алма-Ату, где он умер в 1942 году.

Сергей Иванович отозвался биографическим очерком. В дневнике записал: «Вышло фальшиво. Человек он был мелкий, зачем-то и почему-то поднятый на башню, с которой его сбросили. В сущности его деятельность – тяжелая и даже жуткая страница из истории нашей науки».

Однако Сергей Иванович организовал заседание, посвященное памяти Лазарева, выступил не нем.

А когда его сотрудник Я.И.Френкель спросил: «Зачем

устроили эту скукотищу?» – ответил: «Когда вы умрете, Яков Ильич, то и по вас, вероятно, устроят такую же скукотищу. Это – только об академиках, о членах-корреспондентах не будут».

Ответ был не без яда: Френкель был только членкором.

Когда был разогнан лазаревский институт биофизики, С.И.Вавилов уже был членкором, через год стал академиком. Стареющему основателю и директору Государственного оптического института (ГОИ), располагавшегося в Ленинграде, академику Д.С.Рождественскому стало трудно совмещать научную работу с постом директора. Он подал в отставку и рекомендовал на свое место С.И.Вавилова. Его утвердили замом директора по научной части. Это было даже лучше, так как избавляло от административных, финансовых и иных забот. Он с удовольствием переехал в Ленинград: любил его гораздо больше, чем Москву.

Параллельно ему предложили возглавить маленький отдел физики в Физико-математическом институте им. В.А.Стеклова. В короткий срок Сергей Иванович превратил его в Физический институт Академии наук (ФИАН). Сумел создать в нем творческую атмосферу и стянуть лучшие научные силы в основных направлениях физики. В числе ведущих сотрудников Л.И.Мандельштам, Н.Д.Папалекси, Г.С.Ландсберг, И.Е.Тамм, Д.В.Скобельцын, В.АФок, М.АЛеонтович. ФИАН стал головным физическим институтом Академии наук – остается таковым до сих пор.

В 1934 году аспирант С.И.Вавилова П.А.Черенков обнаружил непонятное голубое свечение. Оно было принято за обычную люминесценцию, но затем Сергей Иванович установил, что оно имеет совсем иную физическую природу. Теоретически это обосновали И.Е.Тамм и И.М.Франк. *Эффект Вавилова – Черенкова* стал первым открытием советских ученых, удостоенным Нобелевской премии[889].

Сергей Вавилов возглавлял Комиссию по изучению стратосферы, другие научные и государственные комиссии.

Его научно-популярные книги, рассчитанные на широкую аудиторию, написаны просто, занимательно, они многократно переиздавались. Название первой из них, «Глаз и солнце», ему *приснилось*.

С.И.Вавилов переводит с латыни труды Ньютона, пишет его биографию. Впоследствии, уже в качестве президента Академии наук, он создаст «Общество по распространению политических и научных знаний» (общество «Знание»), под его патронажем будет создан Институт истории естествознания и техники.

По воскресеньям он обходил букинистические магазины. Его личная библиотека пополнялась редчайшими изданиями на разных языках. «Фауст» Гёте у него был в пятнадцати разных изданиях.

Он сам – Фауст. Его цель – познание истины, он стремится проникнуть в сокровенные тайны атомов, электронов, испускаемых и поглощаемых световых квантов… Что из того, что ради этого надо вступить в союз с нечистой силой! Такова участь деятелей науки в стране победившего социализма. Надо следовать условиям игры – иначе останешься вне науки.

Дневниковых записей Сергей Иванович не вел 20 лет. Почти не вел. Словно дал обет дневникового молчания, правда, не очень строгий.

Первый раз он нарушил его весной 1920 года: с 14 апреля по 8 июня сделал шесть коротких записей. Все они о том, что он собирается (кажется, собирается!) выйти из состояния *созерцательности* — в обычную человеческую жизнь. «Для меня совершенно неиспытанные ощущения, четвертое измерение – хотя для других и всех заштампованные и старые, как люди, слова».

Заштампованные слова, вернее, *слово*, ради которого он снова стал вести дневник, но так и не решился его написать, было и в правду старо как мир. Это слово – *любовь*.

Избранницей его сердца стала Ольга Багриновская. Они познакомились в квартире В.А.Веснина, одного из трех братьев-архитекторов, лидеров конструктивизма в советской архитектуре 1920-х годов, первого президента Академии архитектуры. У Веснина Сергей Иванович снимал комнату. Ольга – сестра квартирной хозяйки – была там частой гостьей.

Сергей колебался: бороться ли с нахлынувшим чувством или согласиться без боя с *фатальной* неизбежностью.

«Не знаешь, верный шаг ли делаешь, или споткнешься». Сомнения потянули *руку к перу, перо к бумаге*. Когда убедился, что от судьбы не уйти, дневниковые записи прекратились.

До конца дней Сергея Ивановича они прожили душа в душу, в полном взаимном понимании, деля радости и горести. Как удавалось Ольге Михайловне *понимать* такого *многослойного* человека, осталось тайной ее женского сердца… 25 июля 1950 года он запишет: «Сегодня 30 лет нашей свадьбы с Олюшкой. Целая жизнь прожита. В среднем, в основном, в главном прожили хорошо, помогали друг другу. Вместе жить было менее страшно. Помогли друг другу раскрыть себя самих. Вернее, стали другими под взаимным влиянием, лучше стали. Есть [сын] Виктор, есть [внук] Сережа. Что с ними будет, не знаю, но помогали им расти куда надо».

2.

К дневнику Сергей Иванович вернулся через 15 лет после женитьбы, в зарубежной командировке «для ознакомления с состоянием научного исследования и производства в области оптики».

1935 год. Это уже после убийства Кирова и круто пошедшей вверх волны репрессий. Николай Вавилов, объездивший полсвета, давно уже *невыездной*. А тут стал *невозвращенцем* сотрудник ФИАНа, молодой гений российской физики Георгий Гамов, на что пролетарская власть ответила по-пролетарски: Петр Капица стал *невозвращенцем наоборот*. Капица с 1921 года работал в Кембридже в лаборатории Эрнста Резерфорда, отпускное время проводил на родине. Приехал и в 1934 году, а вот выехать ему не позволили. Логика была железная: у буржуев остался Гамов, так мы не отпустим к ним Капицу.

Но С.И.Вавилова выпустили без осложнений: в том, что он станет еще одним «Гамовым», опасений не было.

«Дневник путешествия за границу» 1935 года похож и не похож на дневники его молодости. Это не исповедь, не поиски самого себя, не размышления о том, что «лучше» – заблудиться в дремучем лесу жизни или просто умереть…

Преобладают протокольные записи справочного характера: понадобятся для отчета о поездке.

Лишь изредка проскальзывают строчки о раздумьях и переживаниях. В основном в итальянской части дневника. Когда-то он объездил Италию вдоль и поперек, останавливался в больших городах и маленьких городках, каждый рождал в душе неповторимые образы и ассоциации. Вот, к примеру, его запись от 18 июля 1913 года перед отъездом из Флоренции:

> «Прими привет, привет прощальный,
> Улыбку и слезу души,
> О город красоты печальной.
> Я для тоски отчизны дальной
> Уеду из твоей тиши.

Печально, грустно покидать Флоренцию, только при прощании понимаешь ее всю и любишь».

А вот другая, годом раньше:

«Italia… волшебный край, страна священных вдохновений… Это не “страна”, не “часть света”, это великое художественное

произведение, это целая философия. Философия эстетизма, отображенности».

За два миновавших десятилетия в Италии «всё полиняло, побледнело». Сергей Иванович относил это на счет экономического кризиса, но, возможно, причина была в другом: *покорный общему закону, переменился он сам.*

В любимой Флоренции он пошел, конечно, в музей Уффици, но – «среди этого насыщенного раствора красоты блуждал как слепой. Всё чуждо, даже Леонардо, даже Giorgione [Джорджоне]. Окаменел и душевно умер».

Во Флоренции его принимал профессор Васко Ронки – директор Национального института оптики. Расспрашивая о России, Ронки сказал, что не видит большой разницы между фашистским режимом Муссолини и советским режимом, на что «пришлось указать, что differenza в том классе, на котором стоит режим».

Ответ Сергея Ивановича был *советским*, политкорректным. Не мог же он объяснить итальянскому коллеге, что если бы кто-то в России, даже в узком кругу, посмел заикнуться о сходстве большевистского режима с фашистским, то и тот, кто говорил, и те, кто слушал, рисковали получит срок, а то и пулю в затылок.

Говорили и о коллизии Гамов – Капица, но что именно, – неизвестно: в дневнике об этом только упомянуто.

Курьезен отзыв Ронки об Энрико Ферми – основателе нейтронной физики, будущем создателе первого атомного реактора, нобелевском лауреате: «Говорит, что Ферми – отвратительный] экспериментатор, который тотчас же под самый невероятный опытный результат подводит теорию».

Институт Ферми находился в Риме, и Ронки сетовал на то, что власти щедро финансируют научные учреждения столицы, а провинцию держат на голодном пайке.

Встретиться с Ферми Сергею Ивановичу не довелось: тот уехал в США для участия в Летней школе в Энн-Арборе. (Окончательно переедет в Штаты в 1938 году.)

12 июня, проведя полдня в Институте Ронки, Сергей Иванович пошел в парк Кашине – посидеть у речки Арно, насладиться открывающимися видами.

«Конечно, сам пейзаж не лучше, чем на берегу Москвы-реки или Охты. Но там вдалеке фиолетово-красный купол [кафедрального собора] S. Maria del Fiore, который вот-вот раскроется, как бутон, в красную лилию; но знаю, что в Arno купались и Леонардо, и Данте, и Галилей, и так как человек – вся история вместе взятая, то пейзаж звучал так, что еще раз запомню его до конца жизни».

Дабы продлить удовольствие, он вечером отправился в парк Боболи, где на открытой сцене давали оперу Глюка «Альцеста».

«Вот после таких вещей можно захотеть жить. На естественном фоне зеленой высокой стены, с лиственницами, каштанами, кипарисами, статуями цезарей и Апполонов, под покровом звездной лунной ночи развертывается чудесная музыка Глюка. Как обернешься – купол Duomo и башня Palazzo Vecchio [старого дворца]. Идти через Ponto Vecchio [старый мост]. Благодарю небеса за этот чудесный вечер».

Так просыпалась в нем прежняя Италия – его первая любовь. Покидая ее, записал: «Увижу ли еще Италию? Грустно, если нет. Эта страна талантливой наивности и красоты. Недаром в ней столько памятников сохранилось. Любили красоту, вот и сохранили. Большие дети, но не кретины и недоросли, а талантливые дети. Живым себя в Италии чувствуешь. Увожу из нее еще более глубокое чувство, чем раньше. Несмотря на комедиантство Муссолини и эту глупую фашистскую комедию, совсем не подходящую к Италии, она себя сохранила».

В следующие четыре года он делал короткие записи во время летних отпусков, а по-настоящему вернулся к дневнику в марте 1940 года, в Кремлевской больнице, куда его, почти насильно, отвезла старшая сестра Александра Ивановна Ипатьева: «поганой неотвязной легочной болезнью» он болел уже много месяцев.

Ему, как и брату, приходилось постоянно мотаться между Ленинградом, где находился ГОИ, и Москвой, куда была переведена Академия наук, а с ней и ФИАН. Николай, полжизни проводивший на колесах, легко переносил такие поездки, но Сергея они выматывали.

Его главным детищем был ФИАН, он отказался бы от работы в ГОИ, но он душой прирос к *граду Петрову*. «Едва ли кто-нибудь поверит, что одна из главных причин, задерживающая в Ленинграде, несмотря на сутолоку и нелепость жизни между двумя городами, общий облик Питера, главное – его архитектура, эти упорядоченные просторы, благородная старина. Подумают, что это манерничание и жеманство, а на самом деле это так. Расстаться с этим питерским обликом – до слез жалко. Этого никак не скажешь о Москве».

Когда началась зимняя война с Финляндией, военные грузы стали первоочередными, пассажирские поезда выбивались из графика, застревали на полустанках, их подолгу приходилось дожидаться, часто на ветру и морозе. В результате – «маленькое воспаление легких, бронхит, плеврит, потеря аппетита, похудание, слабость. И так “по синусоиде” уже полгода». Потому

и уступил напору сестры: согласился лечь в Кремлевку.

А так как беда не приходит одна, то сестра Александра, каждый день навещавшая его в больнице *(Олюшка* оставалась в Ленинграде), тоже простудилась и попала в больницу. И вдруг – страшное известие…

«Дорогой папа! Сегодня с мамой узнали, что скончалась тетя Саша. Я страшно огорчен. Очень тебе сочувствую.

Прошу не унывать и беречь свое здоровье – сейчас особенно. Сам я пролежал 5 дней [с ангиной], сейчас совсем почти поправился. Скоро, наверное, уеду к себе. Пока до свидания. Твой Виктор».

Записка приложена к письму Олюшки: «Последние вести твои и от Николая обнадежили было меня, а вышло так печально. Прошу тебя, если разволнуешься очень, позови меня – приеду. <…> Что это у нас за год этот вышел отчаянный. Прямо со всех сторон навалились беды»[890].

На похоронах Александры братья мрачно перемолвились о том, кто из них следующий: кому кого придется хоронить…

3.

В июле – августе 1940 года Сергей Иванович долечивался в подмосковном санатории «Узкое». 6 августа, в то самое время, когда где-то в Карпатах за его братом пробиралась по ухабистым горным дорогам черная эмка, он, с густо намыленным лицом, сидел в кресле парикмахера. Вдруг ему стало дурно, глаза закатились, он потерял сознание… Когда очнулся, его стошнило, скрутило живот… Он с трудом доплелся до своей комнаты, принял касторку, потом почти не вылазил из туалета. Следующим утром записал в дневнике: «Поразил обморок. Как отрезало. И как это просто».

Часто думая о *смерти*, Сергей Иванович порой видел в ней желанный конец, разом решавший все проблемы. О том, какие проблемы ему уготовила *жизнь*, он в то утро еще не подозревал.

Следующая запись датирована 13 августа; она сделана уже в другом санатории, в поселке Железо под Ленинградом: «За эти дни столько перемен и самое жестокое несчастье. У брата Николая 7-го на квартире был обыск. Сам он сейчас во Львове [Об аресте Сергей Иванович еще не знает]. Значит, грозит арест, значит, рушится большая нужная жизнь, его и близких! За что? Всю жизнь неустанная бешеная работа для родной страны, для народа. Пламень работы, вся жизнь в работе, никаких других увлечений. Неужели это было не видно и не ясно всем! Да что же

еще нужно и можно требовать от людей! Это жестокая ошибка и несправедливость. Тем более жестокая, что она хуже смерти. Конец научной работы, ошельмование, разрушение жизни близких. Всё это грозит». И дальше: «Эта записная книга выходит книгой горя: смерть матери, сестры, теперь ужас, нависший над братом. Думать о чем-нибудь не могу. Так страшно, так обидно, и так всё делается бессмысленно. Хорошо, что мать умерла до этого, и как жаль, что сам я не успел умереть. Мучительно всё это до невыносимого».

Записи становятся короткими, почти ежедневными.

14 августа 1940 г.: «Последние жуткие дни. 12-го ехали через Детское Село. Машина потонула в грязи. Эта черная грязь напомнила мокрую черную грязь ленинградских кладбищ. <…> Ото всех печалей и безысходностей хочется бежать в эти непроходимые болота к мхам и мухоморам, или утопиться в Луге с ее темной зеркальной гладью».

15 августа: «Хожу с Олюшкой по лесам. Леса из мелких сосен, елей, берез, на болоте, покрытом седым мхом с кочками, с полками мухоморов. Всё наивно и мило, как давняя сказка про лешего и бабу-ягу. Эти прогулки, сон – вот и спасение от ужаса. Все остальные интересы замерли, замерзли».

18 августа: «О Николае вестей никаких нет, и на сердце так тяжело и так обидно».

20 августа: «Никогда еще не было так грустно и так мучительно. А перед другими, здесь отдыхающими, приходится скрывать эту муку и грусть. Дождь, тоскливый мелкий дождь. Вспоминаются все жизненные несчастья. Случай с Николаем хуже всего, он хуже смерти. Энергия, намерения, планы, желание работать – ничего нет. <…> Хочется вскочить, протереть глаза и закричать страшным голосом, что я жив еще и могу многое нужное для людей сделать. Но, как во сне, крикнуть не могу».

Записаны свидетельства двух референтов президента Академии наук В.Л.Комарова о том, что вскоре после ареста Николая Ивановича (то есть в августе-сентябре) Сергей Иванович пришел к Комарову и уговорил действовать.

Согласно одному из них, приписываемому А.Е.Гайсиновичу, Комаров ходил к Молотову, но тот рассердился и стукнул кулаком по столу: «“Вы, президент, просите за шпиона английского, немецкого и т. д., и т. п.”. Когда пришел Сергей Иванович, Комаров ему всё рассказал»[891].

Другой помощник президента Академии наук, А.Г.Чернов, вспоминал, что Сергей Иванович уговорил Комарова послать письмо Сталину, помог его написать, «но было ли отправлено это письмо, неизвестно»[892].

Однако из дневниковых записей С.И.Вавилова видно, что он *впервые* говорил с В.Л.Комаровым об участи брата только в конце декабря, у Комарова дома, в присутствии его жены. Никого из референтов при этом не было. Вот его запись от 30 декабря 1940 года: «В Москве разговор с Комаровым. Надежда Викторовна говорит: “Одного нет, не будет и тебя”. Какое позорище!»

О Комарове на страницах дневника говорится многократно. Отношение к президенту Академии у Сергея Ивановича презрительное, даже брезгливое. Справедливо или нет, но он считал Комарова запуганным лицемерным клоуном, судорожно цеплявшимся за призрачную власть. Вступиться за арестованного академика Н.И.Вавилова Комаров боялся. Однажды посетовал на то, как трудно ему без Николая Ивановича: «Без него ничего не сделаешь с агрономической наукой». Продолжение разговора – в записи от 8 мая 1942 г.:

«– А что же делать?

– Писать.

– Боюсь, посадят, я страшно испугался при выборах Лысенко».

Только что состоялись перевыборы Президиума Академии наук. По указанию свыше в него включили Лысенко. Всё, конечно, решалось в ЦК партии, но полагалось соблюдать декорум, потому – «выборы». И вдруг, при тайном голосовании, Трофима чуть-чуть не провалили. С.И.Вавилов был в счетной комиссии и знал, что за него было подано 32 голоса против 28. Для Сергея Ивановича это было «светлое пятно, признак того, что “категорический императив” нравственный в академическом сборище не совсем умер. <…> Правда, эта пощечина дана по полену, но, может быть, кто-нибудь об этом узнает. Тень Николая для меня всё заслонила».

Комаров не переносил Лысенко, но от «пощечины по полену» у него потемнело в глазах: если бы не *обеспечил* избрание Лысенко, ему бы несдобровать. 8 мая 1942 года С.И.Вавилов записал: «Господи, какое убожество, низость, трусость. Для чего такие люди живут?»

На президента Академии надежд у Сергея Ивановича не было, он пытался действовать по другим каналам.

«Брат в биологическом мире был настоящим крупным человеком и у нас, и за границей, [так] что, конечно, арестовывать его следовало подумавши. Именно по этой причине особенно приходится беспокоиться. Такого человека либо должны скоро выпустить с извинениями, либо обвинить бог знает в чем. То, что брат настоящий советский человек, – очень многим известно. С первых же дней революции он работал, как лошадь, создав, в сущности, всю советскую агрономическую и научно-

агрономическую сеть. За все годы ни разу не пользовался отпуском, а об материальных его успехах можно судить по тому хотя бы, что, как выяснилось при обыске, на сберкнижке у него ничего не было».

Это из письма *Викуше*, шурину, видному архитектору, человеку влиятельному. «Мне кажется, что твое письмо к т. Сталину или т. Молотову по поводу брата могло бы иметь некоторое значение. Но, конечно, решай, как находишь более правильным».

Что более, что менее правильно?

Давить на *компетентные органы* через высшие инстанции рискованно: можно вызвать огонь на себя, а положение арестанта только усугубить.

«Событие крайне тяжелое, и я и Олюшка совсем выбиты из колеи»[893].

Письмо *Викуши* датировано 20 октября. Адресовано не Сталину и не Молотову, а А.А.Андрееву – секретарю ЦК, курировавшему сельское хозяйство.

«Глубокоуважаемый Андрей Андреевич,

препровождаю Вам письмо, полученное мною от жены академика Николая Ивановича Вавилова – Елены Ивановны Барулиной-Вавиловой.

Арест Н.И.Вавилова явился для меня полной неожиданностью.

Я близко знаю Н.И.Вавилова более 20 лет. На моих глазах он вырос в крупнейшего советского ученого с мировым именем. Знаю его как честнейшего советского гражданина, с громадным энтузиазмом и полной преданностью отдававшего свои силы на служение советской науке и Родине.

Поэтому поддерживаю просьбу жены Н.И.Вавилова о Вашем содействии в скорейшем выяснении дела Н.И.Вавилова.

Депутат Верховного Совета Союза ССР В.А.Веснин»[894].

Письмо обнаружил в следственном деле Н.И.Вавилова В.А.Гончаров. Значит, от Андреева его по каким-то ступеням спустили к Хвату. Влияния на «скорейшее выяснение дела» оно оказать не могло. Холостой выстрел.

4.

Величественная архитектура *града Петрова* для Сергея Ивановича всегда была источником эстетического наслаждения и успокоения. Она чем-то напоминала Италию, вызывала особое горделивое чувство. Теперь «город с его домами, памятниками,

петербургскою красою кажется гробом повапленным, а люди мертвецами, еще не успевшими залезть в гроба».

Гроб повапленный — это то, что снаружи покрашено, блестит, а внутри мертво и гнило.

Запись сделана 1 сентября 1940 года.

Ровно год назад, через неделю после заключения пакта Молотова – Риббентропа, германские войска вторглись в Польшу с запада, через две недели Красная армия вошла с востока. Разгромленная Польша уже поделена между Германией и СССР. «Присоединены» три страны Прибалтики, Бессарабия. Прошла зимняя война с Финляндией. На Западе войска Вермахта захватили Бельгию, Голландию, капитулировала Франция, бомбы падают на Лондон… «Сегодня год войны, – записал Сергей Иванович. – Она кажется такой же неизбежной, как осенний дождь и сентябрь. Как трудно, как тяжело жить и как хотелось бы незаметно и сразу умереть».

13 сентября, Ленинград: «Смотрю в стекло на письменном столе, в своем отражении узнаю Николая. Словно привидение. Так это страшно».

18 сентября, Москва: «В эти жуткие дни я отчетливо ощутил, что старею. До сих пор почти всегда казался себе самому почти мальчишкой. Старею, чувствую почти полное оскудение творческих стимулов, беспомощность, бездарность и слабость. Люди кажутся манекенами, мало отличными от кузнечиков и автомобилей, война не ужасней обвала и грозы. Одервенение, окаменение. Сам для себя превращаюсь в предмет неодушевленный. При таких условиях жить – трудная задача».

Летом 1940 года покончил с собой академик С.Д.Рождественский, один из крупнейших физиков-оптиков, близкий Сергею Ивановичу человек. Годом раньше умерла его жена, и он решил, что дальше жить не стоит. Сказано – сделано. Привел в порядок свои бумаги и – застрелился. В архиве Академии наук Сергей Иванович просмотрел его «рукописные остатки».

22 сентября, Ленинград: «Вот это попадание в архив и есть псевдобессмертие. Может быть, десятки и сотни лет будут лежать эти записные книжки, письма, пока какому-нибудь архивному юноше не понадобиться сделать диссертацию “по неизданным материалам”. Кости на кладбище, нечитаемые статьи в библиотеках, да вот эта архивная коллекция – всё, чем можно заманивать. Да и это в немногих случаях. Для уничтожения последних следов есть бомбы с аэропланов, как в Лондоне, или обыск, как у брата». (Словно заранее *знал*, что изъятые при обысках материалы Н.И.Вавилова будут уничтожены.) «В осеннем

городе сквозь клодтовских коней, колонны адмиралтейства и петропавловский шпиль узнаю первородное лесное болото <…> “дух” города сливается с сладковатым гнилым запахом ленинградских кладбищ, люди кажутся временными актерами, шагающими как куклы между небытием до рождения и небытием после гроба».

Таков теперь для него *град Петров*, который так завораживал его еще недавно!

Мысли о судьбе Д.С.Рождественского и брата Николая тесно переплетаются. 15 апреля следующего, 1941 года находим такую запись: «Перелистывал биографию Д.С. Когда всё кончено, с горы вниз видно, что вся такая жизнь была направлена на подъем рода человеческого. Это было идеальное звено общественной машины. А это так плохо понимали. <…> Ужас судьбы Николая висит как зловещее страшное облако надо всем».

17 октября, Москва: «Бегут, бегут дни. Третий месяц со дня ареста Николая».

14 ноября, Москва: «Как однозначная длинная, длинная нота, ужасная, безысходная, тянется все то же. Жить, “изображать” жизнь трудно и мучительно. Исчез и пафос, и самолюбие. <…> Спасти может только увлекающая работа, творчество. Его нет; отупение, мучительное раздирающее созерцание».

21 ноября в Москве, в Доме ученых, конференция по атомному ядру. В ФИАНе сильный отдел ядерной физики. Хотя директор – не ядерщик, он хорошо сознает важность этого направления, много делает для его развития. С каким всепоглощающим интересом он еще полгода назад слушал бы доклады, рассматривал экспонаты, обсуждал научные проблемы. Теперь мысли его далеко. Он видит только тоскливую «борьбу самолюбий», «змеиные улыбки», слышит «завистливый хохот». «Такого состояния никогда еще не испытывал, но в таком состоянии очень легко умереть».

Легко умереть…

Но – не умирается!

Здоровье за последнее время поправилось. С весны, когда лег в больницу, он бросил курить, санаторное лечение тоже пошло на пользу, физически он окреп.

Насмешка судьбы?

Или шутки Мефистофеля?

Черт дьявольски хитер, жесток, саркастичен. Убил сестру, надругался над братом, самого Фауста лишил творческих потенций, которые еще недавно были так высоки. Жизнь лишил смысла, загнал в пятый угол, а выходы перекрыл, даже – *в смерть.*

Смерть – это выход: она решает все проблемы. Но Мефистофель только язвительно ухмыляется…

31 декабря Сергей Иванович подводит годовой баланс: «Кончается год, который был для меня самым тяжелым до сих пор в жизни. Тяжелым по безысходности, по нелепой безнадежности и по отсутствию сопротивляемости у меня. Развивающийся с каждым месяцем все сильнее “материалистический объективизм” спасает от последнего отчаяния и самоубийства. На будущее начинаю смотреть так же просто, спокойно и хладнокровно, как “смотрит” камень на пыльной дороге, или Луна. Окаменение, окостенение – это результат года и самозащиты».

Чтобы продолжать жить, надо *окостенеть.*

5.

В тот день, 31 декабря 1940 года, в ведущих кинотеатрах Москвы состоялась премьера художественного фильма «Макар Нечай». Фильмы выпускались нечасто, зато каждый становился событием в тусклом однообразии жизни. «Важнейшим из искусств для нас является кино». То был не только завет Ильича, но важнейшее направление государственной политики.

В фильме «Макар Нечай» озвучен острейший современный конфликт: столкновение *мичуринской* биологии с *менделизмом – морганизмом.*

Макар Нечай – передовой советский ученый, новатор, стахановец колхозных полей, выходец из народа, о чем говорит и само его имя. Макар молод, энергичен, устремлен в светлое будущее. Он не блещет ученостью, зато смел и отважен. Новые сорта выводит спартанским *воспитанием* растений, передающих потомкам *приобретенные* признаки. Вопреки предостережениям академика Адамова и других рафинированных *маловеров*, Макар создал морозоустойчивый сорт хлопчатника.

Адамов изысканно-интеллигентен. Он много знает, но знания его книжные, заемные, *буржуазные.* Для Адамова всё «сложно», он погружен во всё древнее, отжившее, замшелое, идущее от *Адама.*

Прототипы главных героев легко узнаются: Трофим Лысенко и Николай Вавилов. Актер, играющий академика Адамова, даже внешне похож на Вавилова.

Кульминационная сцена весьма символична. Академик Адамов с группой коллег приезжает к Макару Нечаю, чтобы на месте познакомиться с его новаторскими опытами, и отец Макара – хлебосольный старикан, сама простота и доброта, помесь Дениса Никаноровича Лысенко с Платошей Каратаевым –

радушно принимает столичных гостей, щедро угощает их галушками. Тут выясняется, что академик Адамов, объездивший мир и едавший изысканные заморские кушанья в самых фешенебельных ресторанах, никогда не пробовал галушек! Даже слова такого никогда не слыхал, произносит его неуверенно, с акцентом, как иностранец. Он поражен и сражен вкуснотой народного деликатеса. Передовая колхозная наука мичуринца Макара Нечая берет верх над низкопоклонством менделизма-морганизма, за который цепляются отжившие свой век Адамы и Адамовы.

При всей прямолинейной ясности фильма в нем есть загадка. Он вышел на экраны почти через пять месяцев после ареста Н.И.Вавилова, однако академик Адамов – *не враг народа*. Слабохарактерный, колеблющийся, заблудший интеллигент небезнадежен. Под воздействием успехов Нечая и вкуснейших галушек его отца Адамов начинает прозревать. Он способен «исправиться». Таков финал фильма, попахивающий мягкотелым либерализмом.

Создатель фильма Владимир Георгиевич Шмидтгоф – один из ведущих кинорежиссеров страны. В его активе полтора десятка фильмов: он выпускал их почти каждый год с середины 1920-х и был отмечен международным дипломом. К одному из фильмов написал слова радостной пионерской песни на музыку И.Дунаевского. Ее звонко распевали по всей стране:

> Эх, хорошо в стране советской жить!
> Эх, хорошо страной любимым быть!

1 апреля 1938 года Шмидтгоф был арестован как германский шпион, но подпал под *малый бериевский реабилитанс*. Возможно, помогла внезапно возникшая дружба Кремля и Берлина, из-за чего нужда в германских шпионах временно отпала. Создатель фильма на себе испытал, как *хорошо страной любимым быть* и как легко попасть в *нелюбимые*. «Макар Нечай» – первый фильм Шмидтгофа после возвращения из кощеева Зазеркалья – не этим ли продиктовано неожиданное *милосердие* к посрамленному академику Адамову.

О фильме С.И.Вавилов узнал из газет и даже не запомнил его названия: «В “Правде” сегодня странный фельетон “Марко [так!] Нечай”, явная история Николая и Лысенко. К чему?»

Вопрос, конечно, риторический. Слишком понятно было, почему конфликт Вавилова и Лысенко потребовалось перевести на язык *важнейшего из искусств*.

31 января 1941 г., Ленинград: «Трагедия Николая как непрерывный похоронный марш».

5 февраля, Ленинград: «Завтра – полгода несчастья Николая. Какая бессмыслица и безжалостность. Жизнь [Николая] – сплошная сутолока около науки, о науке, только о ней одной, и вот тюрьма! <…> Жить заставляют какие-то тонкие, как паутинки, надежды».

27 февраля, Москва: «Смерть сестры и катастрофа брата. За это время стал совсем другим человеком. <…> Никогда не было такого отчаянного холодного пессимизма».

27 марта, Москва: «За эти дни было жалкое подобие “юбилея”. [Поздравительное] письмо Президиума [Академии наук] на квартиру – украдкой. Поздравления в Институте за закрытыми дверями и пр. Во всяком случае, несомненно, что полвека я на Земле прожил. В сущности всё ясно. Во-первых, выше себя не прыгнешь. Во-вторых, мир людей отвратителен».

1 апреля, Москва: «Справочник Академии наук на 1941 без Николая. Завтра именины мамы, сестры, мои, смерть сестры. Чувство собственного бессилия, как перед нависшей громадной скалой. Хотя бы всё это поскорее рухнуло и придавило».

5 мая, Ленинград: «Безнадежная тоска, опускающиеся руки, трагическая судьба Николая, ни минуты не выходящая из головы и парализующая всё».

«Гитлериада где-то на заднем плане и кажущаяся иной раз пустяком».

28 мая, Москва: «Сижу, завернувшись в драповое пальто Николая, сиротливо его здесь дожидающееся».

12 июня, Ленинград: «Со времени смерти мамы, сестры, ареста Николая и стукнувших 50 лет вполне ясно почувствовал старость, понял, что осталось немного. И вот, несмотря на весь ужас, чувство, что “многое осталось сделать”».

22 июня 1941 года Сергей Иванович был в Ленинграде. Встал рано утром: надо было дописывать доклад по люминесценции. Прежде чем сесть к письменному столу, по многолетней привычке, включил радиоприемник, настроенной на волну британского радио. Первая новость ошеломила: «Гитлер начал войну с нами». Схватился за телефон, но оказалось, что директор ГОИ Д.П.Чехматаев с утра уехал на прогулку. В Институте ни один телефон не отвечал: воскресенье. По советскому радио играла гармошка. Потом была лекция о посадке картошки *глазками* — по методу академика Лысенко. Потом – народные песни и пляски…

6 июля, Ленинград: «Сегодня две недели начала войны и 11 месяцев Николаевой драмы. Опять воскресенье, опять ходил по пустым книжным лавкам. Город застыл, ископанный блиндажами, со снятыми лесами Зимнего, Штаба, Биржи, где производился ремонт. Идут без шапок добровольцы. Жители медленно движутся».

7 июля, Ленинград: «Распалась связь времен. Распадаются самые прочные связи. Эвакуируют детей. Дети уходят добровольцами. Был в Эрмитаже у Орбели. Рассказ о том, как заколачивали ночью со слезами мадонну Литту и проч. Удары молотков словно на похоронах»[895].

Государственный оптический институт из Ленинграда был эвакуирован в Йошкар-Олу (бывший Царевококшайск), столицу Марийской автономной республики, а вскоре ФИАН из Москвы переместили в Казань. Поездки между Москвой и Ленинградом сменились курсированием между Йошкар-Олой и Казанью. «Мучительное путешествие, как в 1918 г., но еще страшнее, с толпой, боящейся проронить слово».

7 декабря, Йошкар-Ола: «Вчера вечером вернулся из Казани. В вагонах (и туда и обратно) концентрат здешней “матушки-России”. Полу-рабочие, полу-солдаты, распивание “пол-литров”, лейтенант на верхней полке, всю дорогу тянувший эти “пол-литра”, сначала мертвецки пьяный; из-под него с третьей полки “текло” <…>. И никаких разговоров о войне – как будто бы нет ее. В вагонах четвертной комплект и двинуться нельзя».

Как раньше Сергею Ивановичу лучше жилось и работалось в Ленинграде, чем в Москве, так теперь он предпочитал Йошкар-Олу В Казани удручало «академическое холуйство, придворный тон, лауреатские дипломы в качестве основного имущества, чиновничество от науки». «Знакомые люди кругом, как каменные столбы и статуи, с их трафаретными мыслями, фразами, остротами. В Казани [О.Ю.] Шмидт со своей бородой и обтекаемыми фразами».

Требовалось срочно налаживать работу. Стремясь поднять дух сотрудников, Сергей Иванович писал в стенгазете ГОИ: «Нам дана полная возможность в новых условиях продолжать работу, и не требуется доказательств и разъяснений, что эта работа должна быть полностью направлена на помощь Красной армии и оборонной промышленности. Мы пересмотрели план работ и будем его и в дальнейшем пересматривать в зависимости от обстановки, стремясь возможно ближе и непосредственнее привести его к решению неотложных требований фронта. Но пересмотра плана недостаточно. На всех нас лежит обязанность

возможно скорее начать работу в новых условиях, увеличив ее объем, напряженность и качество. Обстоятельства заставляют нас становиться в новых условиях по временам грузчиками, плотниками, монтерами, и всем должно быть понятно, что эта работа почетная, что она ускорит срок пуска в ход всего института, а следовательно, должна помочь фронту. В нашей среде имеются многие десятки людей высокой научной и технической квалификации. Их обязанность сейчас – максимально напрячь свои знания, свой талант и изобретательность на решение военных задач. Об этом нужно помнить всегда, каждый день, независимо от установленных планов»[896].

Пока писал эту «мобилизующую» статью, дневник полнился горькими строками о беспросветном пессимизме, снижении творческой активности, трагической судьбе брата, своем бессилии ему помочь, о готовности «рухнуть в любую бездну».

29 августа, Йошкар-Ола: «Тяжело невыносимо. Во сне видел Николая, исхудавшего, с рубцами запекшейся крови. Голова бездейственна. Чувствую страшный отрыв. Случайность, вздорность, ненужность, ошибочность бытия».

29 сентября, Йошкар-Ола: «В своей походке, жестах, движении, голосе, интонациях узнаю Николая».

13 октября, Йошкар-Ола: «Страшно и грустно безгранично. С какой бы радостью завтра не проснуться и умереть хотя бы от фугасной бомбы».

9 декабря, Йошкар-Ола: «Опять письмо от Елены Ивановны со страшными подробностями о Николае. Выход один вижу, от жизни уйти. Сделать ничего нельзя, и так бессмысленно дико и обидно до последнего атома».

7.

Годом раньше, в октябре 1940-го, Елена Ивановна добилась приема у прокурора СССР В.М.Бочкова. Того самого, который многократно «утверждал» ходатайства Хвата-Шварцмана-Кобулова о продлении следствия. Ю.Н.Вавилову удалось разыскать в архиве прокуратуры письмо матери на имя Бочкова[897]. В сжатом виде, с большим знанием дела, она суммировала *практические* достижения Н.И.Вавилова: под его руководством в СССР было создано пятьсот сортов сельскохозяйственных культур; двести из них были переданы в производство и триста проходили сортоиспытание. То был, конечно, ответ на обвинения в бесполезности для *практики* ВИРа

и вообще менделизма.

Что сказал ей прокурор, мы не знаем. В марте 1941 года она, по свидетельству Ю.Н.Вавилова, снова приезжала в Москву хлопотать о муже и, вероятно, смогла что-то узнать. Но ее письма Сергею Ивановичу «со страшными подробностями» были написаны в октябре и декабре, когда она жила в Саратове, не представляя о том, что Николай Иванович рядом, в нескольких кварталах, в саратовской тюрьме № 1.

После его ареста вчерашние друзья и сотрудники стали избегать жену «врага народа». Она никому не хотела навязываться. Из тех, кто не избегал, а всячески поддерживал, ближе всех была семья Карпеченко.

Георгия Дмитриевича арестовали через полгода после Николая Ивановича. Общая беда еще больше сблизила их жен. Галина Сергеевна Карпеченко была моложе Елены Ивановны на 16 лет. Она окончила институт иностранных языков, была первоклассным переводчиком, но ее уволили. Она уехала с маленькой дочкой к родителям в Москву, вернее, в подмосковный дачный поселок Ильинское. На лето пригласила Елену Ивановну с 13-летним Юрой.

Ю.Н.Вавилов: «В Ильинском мы с мамой жили около двух месяцев. Там нас и застала война. Помню первый налет немецкой авиации на Москву 22 июля 1941 г. и несколько последующих налетов. Над Москвой стояло огненное зарево, вызванное пожарами от зажигательных немецких бомб и стрельбой наших зенитных батарей. Это зарево было хорошо мне видно, когда я залезал на большую ель, росшую на дачном участке»[898].

Фронт стремительно приближался к Ленинграду, возвращаться в него было нельзя. С огромным трудом Елене Ивановне удалось уехать в свой родной Саратов. Ю.Н.Вавилов считает, что Галине Сергеевне Карпеченко и ее отцу они были обязаны жизнью: в Ленинграде не смогли бы пережить блокаду.

8.

21 декабря 1941 г., Йошкар-Ола: «Самый темный день в году, день тьмы. Вчера вечером вернулся из Казани, где пробыл 5 дней. На душе тяжесть по-прежнему необычайная. О Николае вестей нет. “Арап Федорович” милостиво обещал поговорить по этому вопросу в Куйбышеве[899]. <…> Чувствую страшное понижение творческих способностей. Исчезает память, вспышки мысли все реже и реже. Думаешь только о том, как бы спрятаться поскорее от этой человеческой мерзости, физического холода и

собственного бессилия под одеяло и заснуть, заснуть».

31 декабря, Йошкар-Ола: «Перевернул прошлогоднюю запись за это же число, и приходится снова повторить, что кончился год, самый тяжелый в жизни. И этот страшный ледяной, как мороз градусов в 30 с ветром, “объективный материализм” – как настроение и отношение. И даже огромный том Леонардо опять со мною здесь, в бывшем Царевококшайске. А между тем война переменила знак, Гитлер на глазах трещит и, вероятно, скоро кончится как “умирающий черт”. А между тем – чистый снег глубокой провинции. А между тем Олюшка, только и удерживающая на свете. Но страшная, безжалостная и обидная до последнего атома судьба Николая».

9.

После нападения гитлеровской Германии на Советский Союз Москва стала естественным союзником Лондона. Страны стремились к сближению, в том числе в сфере культуры, науки. Весной 1942 года Академия наук СССР избрала почетными академиками двух британских ученых: сэра Генри Дейла (физиология) и Джона Холдейна (генетика и эволюция). Аналогичный жест был сделан Лондонским королевским обществом: его почетными членами были избраны академик И.М.Виноградов (математика) и академик Н.И.Вавилов (генетика, растениеводство). Можно не сомневаться, что *обмен любезностями* был предварительно согласован по дипломатическим каналам. Но почему выбор пал на этих лиц?

Для избрания иностранных ученых почетными членами Академии наук СССР их высокая научная репутация была не единственным критерием. Имена британских кандидатов наверняка прошли апробацию в НКВД и были утверждены высшей властью. Нобелевский лауреат Генри Дейл не был замечен в антисоветских настроениях и избирался, так сказать, по должности, как президент Лондонского королевского общества. В его лице советская академия протягивала руку всей британской науке. Научная репутация Джона Холдейна тоже была высока, но не менее важно было то, что он коммунист, член руководства компартии Великобритании, *большой друг СССР*.

Вероятно, и Лондонскому королевскому обществу *рекомендовали* избрать двух представителей советской науки.

Но на ком остановить выбор – это Генри Дейл и его коллеги решали сами.

Многие авторы полагают, что избрание Н.И.Вавилова было

продиктовано не только признанием его научных заслуг, но и стремлением облегчить его участь. Об этом как будто бы свидетельствовала и дневниковая запись Вернадского в декабре 1944 года: «Его арест произвел большое впечатление. Были попытки иностранных учен[ых] его спасти. Он был выбран членом Кор. Общ. в Лондоне как крупный ученый. О выборе его в члены Корол. Общ. я узнал из газет. Он был в это время в тюрьме в Саратове (кажется, из верных источников). Он умер от голодной смерти, была ли это пытка или недоедание. Он был в полном разгаре творческих сил»[900].

По воспоминаниям британского генетика Сирила Дарлингтона, записанным Ж.А.Медведевым, Н.И.Вавилова рекомендовал в Королевское общество Джон Холдейн, которому, в свою очередь, его рекомендовал Герман Мёллер[901].

Есть письмо Мёллера Николаю Ивановичу от 24 мая

1941 года: просьба помочь с получением транзитной визы немецкому еврею А.Канторовичу для проезда через СССР в Японию. Прошло 10 месяцев после ареста Вавилова, но Мёллер об этом не знал. Война затруднила связи, так что на Западе об этом не знали еще очень долго.

Правда, в дневнике С.И.Вавилова, в записи от 9 августа 1942 года, в Свердловске, куда он приехал на общее собрание Академии наук, кратко записано: «6 августа – 2 года ареста Николая. Целый день ходил сам не свой. Приехавшие из Москвы рассказывают, что будто бы американский посол, приехав в Москву, первым делом обращался с просьбой о его освобождении. Тоже жуткая страница из истории науки, да и просто людей».

Но Сергей Иванович не случайно сопроводил услышанное словечком «будто бы». То была очередная легенда.

Избирая Н.И.Вавилова почетным членом Королевского общества, британские коллеги, по-видимому, не подозревали, что он в опале, в тюрьме, что он – «враг народа».

Это особенно вероятно, если его кандидатуру рекомендовал *друг СССР* Холдейн. Да и Генри Дейл позднее указывал: в Британии узнали, «что Н.И.Вавилов каким-то образом впал в немилость», уже *после* его избрания в Королевское общество. А о том, что он «смещен со своего поста, исчез вместе с некоторыми своими сотрудникам по генетике и умер неизвестно где и когда между 1941 и 1943 годами», Генри Дейлу стало известно только в 1945 году[902].

Вокруг избрания Н.И.Вавилова в Королевское общество намотан клубок былей и небылиц, его нелегко распутать. М.А.Поповский повествовал:

«Глубокой осенью 1942 года в Алма-Ату, где находился

академик В.Л.Комаров, приехал пресс-атташе британского посольства в Москве. Миссия его состояла в том, чтобы вручить президенту дипломы двух новых членов Королевского общества. Церемония состоялась в зале заседаний Верховного Совета Казахской ССР. Комаров по-английски почти не говорил (к тому же он страдал хронической кожной болезнью, которая заставляла его почесываться в самые неподходящие моменты), поэтому встреча с дипломатом была поручена академику-лингвисту Мещанинову и помощнику президента А.Г.Чернову. Пресс-атташе вручил представителям Президиума официальное письмо Королевского общества и два красиво оформленных диплома в виде свитков и бланки, на которых вновь избранные члены должны были расписаться в получении дипломов. Подписанные бланки надлежало через министерство иностранных дел СССР вернуть в посольство Великобритании.

"После приема, когда англичанин уехал, – вспоминает А.Г. Чернов, – академик Мещанинов и я отправились к Владимиру Леонтьевичу, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию. Что делать с дипломом Вавилова, а главное, с бланком, который он должен подписать? Мы не имели ни малейшего представления о том, где находится Николай Иванович, не знали даже, жив ли он. Но сообщить англичанам правду было также невозможно. В конце концов мы приняли прямо-таки соломоново решение: отправить Диплом вместе со злополучным бланком в город Йошкар-Олу, где в военные годы со своим Оптическим институтом находился в эвакуации Сергей Иванович. В сопроводительном письме Комаров просит Сергея Ивановича заполнить форму расписки без инициалов, что тот и сделал". Чем кончилась эта афера,

А. Г.Чернов за давностью времени вспомнить не мог, но он хорошо запомнил другое: вскоре после отправки в Москву бланка с фиктивной подписью, из Посольства Великобритании последовало весьма ядовитое письмецо, где Президенту Академии наук СССР разъяснили – "мы ожидали подпись не Сергея Вавилова, а Николая…"»[903].

Всё это – *еще одна яркая заплата на ветхом рубище певца.*

О том, чьим *помощником* был секретарь президента Академии наук А.Г.Чернов, говорят штрихи его биографии. После Гражданской войны 20-летний Чернов работал в Крымском обкоме ВКП(б), когда в Крыму, оптом и в розницу, чинили расправу над не успевшими бежать врангелевцами. В 1927–1931 годах Чернов – штатный сотрудник ОГПУ. В конце 1930-х он «помощник» директора МХАТ, замначальника Дома культуры железнодорожников. С начала войны приставлен к президенту Академии наук. Вот короткая запись в дневнике С.И.Вавилова – от

3 декабря 1944 г.: «Вчера с визитом у президента В.Л. Комарова в его купеческом особняке на Пятницкой. Удушливая сцена. В присутствии двух [пар] недреманных очей, секретарей Чернова и Шпаро».

Допустим, что вручение дипломов происходило в Алма-Ате, а задержка в несколько месяцев *(поздней осенью*, тогда как избрание состоялось в апреле) была вызвана обстоятельствами войны. Допустим также, что президент Академии наук

В. Л.Комаров не принял британского дипломата из-за «кожной болезни» и плохого знания английского языка (будто при нем не было переводчиков, и он никогда раньше не принимал иностранцев).

Но вот запись в дневнике С.И.Вавилова от 25 декабря 1942 года: «Николая, кажется, выбрали в Королевское общество».

Кажется! Мог ли он так написать, если бы сам расписался в получении «красиво оформленного диплома в виде свитка»?

В начале 1970-х, в читальном зале архива Академии наук (на улице Вавилова в Москве), мне довелось познакомиться с Александром Григорьевичем Черновым. Он был уже в возрасте, но держался молодцом и выглядел много моложе своих лет: худощавый, стройная спортивная фигура. Он охотно рассказывал о былом. Знал, конечно, что мне, как биографу Н.И.Вавилова, особо интересны любые подробности о нем и его брате. Но он говорил не о них, а в основном о С.А.Лозовском, председателе Совинформбюро, позднее расстрелянном по делу Еврейского антифашистского комитета. В годы войны, по поручению Лозовского, Чернов готовил статьи и речи В.Л.Комарова для советского иновещания… Причастен ли он к *параше*, изложенной в книге Поповского от его имени, судить не берусь.

В.Д.Есаков, Я.Г.Рокитянский, другие биографы Н.И.Вавилова считали, что есть связь между его избранием в Королевское общество и отменой *высшей меры.* В пользу этого говорит близость дат: избрание Николая Ивановича – 23 апреля 1942 г., а его второе письмо наркому Берии – 25 апреля. Николай Иванович наверняка и раньше добивался возможности напомнить наркому об обещанном пересмотре ВМН, но ему этого не позволяли, а тут вдруг позволили!..

Но близость двух дат могла быть случайным совпадением. В противном случае вопрос решался бы без бюрократической волокиты, заявление не обрастало бы резолюциями долгих два месяца. К тому же, как мы знаем, формальная замена высшей меры 20-летним заключением судьбу Вавилова не изменила…

Читая дневники С.И.Вавилова, трудно отделаться от впечатления, что Мефистофель учинил Фаусту изощренную многолетнюю пытку. Земное существование сделалось ненавистным. Избавление виделось в том, чтобы уйти из жизни, сгинуть, распасться на атомы и молекулы, раствориться… А смерть не приходила…

Один из учеников Николая Ивановича рассказывал мне, как в 1944 году, приехав в Москву из эвакуации и стремясь что-либо узнать об участи своего учителя, он пришел в ФИАН к С.И.Вавилову. Институт только что вернулся из Казани, в здание вносили ящики с оборудованием.

Сергей Иванович оживился, узнав, что к нему пришел ученик брата. Он сказал, что Николай Иванович умер, но что невиновность его теперь доказана [?]. И добавил:

– Вы можете мне не поверить, но я сделал всё, что мог, даже больше, чем мог.

Всё ли? На этот *роковой* вопрос у меня нет ответа.

Мы помним его письмо к *Викуше* и письмо самого Веснина секретарю ЦК А.А.Андрееву. Мы знаем, что Сергей Иванович пытался воздействовать на президента Академии наук Комарова, чья уклончивость вызывала у него негодование и презрение. Похоже, что с аналогичными просьбами он обращался к «бороде», то есть Отто Юльевича Шмидту, знаменитому челюскинцу, вице-президенту Академии, партийцу с обширными связями в высших сферах власти. Поговорить о Николае Ивановиче «в Куйбышеве» ему обещал А.Ф. Иоффе.

А он сам?

Он ведь тоже человек влиятельный: академик, директор головного физического института, замдиректора другого крупного института, автор научных трудов, принесших ему мировую известность. Он ответственный редактор ведущих научных изданий. Он депутат Верховного Совета, член Комитета по Сталинским премиям, других важных комитетов. Еще в 1939 году он был награжден орденом Трудового Красного Знамени «за выполнение правительственных заданий и освоение новых образцов вооружения и укрепление боевой мощи Красной армии и Военно-морского флота». С началом войны он еще активнее работал на «оборонку», был награжден орденом Ленина, Сталинской премией, стал уполномоченным ГКО (Государственного комитета обороны). Написал ли он *от себя* письмо Сталину, Молотову, Берии в защиту брата или хотя бы с просьбой сообщить, где он и что с ним?

Юрий Николаевич Вавилов свидетельствует: «Весной 1943 года Сергей Иванович сам написал письмо Сталину, не ведая, что

в январе брата уже не стало»[904].

Однако в архивах такого письма не найдено, в дневниках Сергея Ивановича нет о нем ни прямых, ни косвенных упоминаний. Но если он написал такое письмо, то ведь это почти через три года после ареста Николая.

Обращался ли он *напрямую* раньше?..

Его дневники – не летопись текущих событий, а зеркало души или осколки такого зеркала. О брате в них упоминается постоянно, трагедия Николая заслоняет всё остальное. Сергей Иванович пишет о своем бессилии что-либо сделать, но не о попытках преодолеть это бессилие. О своей готовности исчезнуть, *умереть* — почти на каждой странице, но не о том, чтобы побороться за *жизнь*. Похоже, что возможность *напрямую* воздействовать на ситуацию, как пытался Прянишников, была заблокирована в его сознании. Если так, то *подсознательно* в нем жило чувство, что для спасения брата от участи, что *хуже смерти*, он делал не всё, что должен был делать. Этим усугублялся миллион терзаний, превративших его жизнь в постоянный кошмар.

Еще одна сардоническая насмешка Мефистофеля?..

11.

5 июля 1943 г., Йошкар-Ола: «Страшная телеграмма от Олега о смерти Николая. Не верю. Из всех родных смертей самая жестокая. Обрываются последние жизненные нити. Невменяемость. Все равно, что стегать море или землю. Проклятое сознание. Реакция правильная одна, самому поскорее умереть любым способом. Не за что удержаться. Бог рассеялся, только свои, родные, но они готовы к тому же. А Николаю так хотелось жить, и умел он это делать. Господи, а может, все же это ошибка?»

6 июля, Йошкар-Ола: «Не забуду никогда вчерашнего Олюшкина крика, плача, когда сказал ей о Николае. Это было то, что нужно. А у меня замерзшая, окаменевшая душа, почти переставшая жить. Реакция одна – хочется самому умереть, и если бы под рукой был револьвер или яд, может быть, вчера бы меня и не было».

8 июля, Йошкар-Ола: «Цепляюсь за надежду, что телеграмма ошибочная. А мысль и жизнь отравлена. В это же время надо работать, надо лететь в Москву. Всё это такое растаптывание единственного, что осталось, что о чем же думать кроме смерти. Но, конечно, опять пройдет время, опять забудется. Противно на

себя самого, на всех».

На следующий день, в пятницу 9 июля, «обкомовец Маракулин» сказал Сергею Ивановичу, что на него «нажимают»: требуют, чтобы академик Вавилов в субботу был в Москве и выступил на антифашистском митинге.

Прямого сообщения между Йошкар-Олой и Москвой не было: сперва надо было добраться до Казани. «Целый день несчастный Маракулин метался в поисках средств сообщения: поезда нет, бензина нет, да и на машине вообще в Казань не проедешь». Наконец, оказалось, что в 5 часов вечера, с военного аэродрома, летит в Казань пикирующий бомбардировщик Пе-2. «По отвратительной деревянной дороге добрались до аэродрома. Олюшка провожала. Опоздали, а потом майор и подполковник отказались везти, опасаясь за “драгоценную жизнь академика”. По телефону сговорились с гражданским аэродромом, наблюдающим за лесными пожарами. Съездили туда и договорились лететь рано утром в субботу».

Описав, как долетел до Казани и оттуда, на огромном «Дугласе», в Москву; упомянув о своей митинговой речи, «из которой выскоблили всё, что в ней было своего», Сергей Иванович добавил:

«Николай – пытаюсь говорить, что не верю, а между тем это несомненно… Трагедия Николая забыться не может. Это страшнее и несправедливее Галилея и Лавуазье. Был Олег, ему сказали, что Николай будто бы умер 11 июня, месяц назад».

Эта запись сделана 11 июля. А через два дня Сергей Иванович на другом торжественном митинге: вручение Сталинских премий (присуждены еще в марте), он один из лауреатов. Все роли расписаны, академику С.И.Вавилову надлежит выступить первым. Сердечно благодарить *партию и правительство*, обещать *приложить все силы*…

Когда вернулся в Йошкар-Олу, Олюшка молча протянула телеграмму от Елены Ивановны: Николай умер в саратовской тюрьме 24 декабря 1942-го.

«У меня отрезана добровольно-сознательная часть жизни. Существую автоматом. Потух всякий творческий и наблюдательский порыв. Кричать и бить кулаком тоже не могу, слишком много видел, знаю и понимаю, и нет энергии. Как умирал Николай? Из семьи остался я один. Остальные – младшее поколение, на нас непохожее».

Так он и жил – в двух-трех-четырех разных, отделенных, отрезанных друг от друга мирах. Мефистофель со злорадной ухмылкой выглядывал из-за угла.

12.

Его терзает мысль: когда все-таки умер Николай?.. *11 июня этого года*, как сказали Олегу в Москве, или *24 декабря предыдущего*, как сообщили в Саратове Елене Ивановне? Что если то и другое – вранье?.. Что если он – *ЖИВ?*..

Вопрос настолько будоражил, перепахивал душу, перехватывал дыхание, что он решился-таки послать запрос – *от себя.*

Ответа долго не было.

И вдруг, 26 октября, его вызвали в Марийское отделение НКВД. Показали «бумагу относительно Николая о его смерти *26 января в Саратове».* Шестым чувством он понял: *ЭТО правда.* На этот раз – *ДАТА ВЕРНАЯ.*

«Прочел и расписался. Последняя тонкая ниточка надежды оборвалась. Надо понять полностью, Николай умер».

Значит, до этого еще *полностью* не понимал…

Через много лет, когда и Сергея Ивановича давно не будет в живых, в официальном уведомлении о реабилитации академика Николая Ивановича Вавилова, появится еще одна дата: *2 августа 1942-го.*

Реабилитация позволит, наконец, говорить о нем вслух, вспоминать, писать. Эта дата перейдет в биографические справки, статьи, очерки о Н.И.Вавилове, включая вступительный очерк к первому тому пятитомника его «Избранных трудов» (1959).

Но дата не внушала доверия.

После новых запросов Юрию Николаевичу Вавилову сообщили: Н.И.Вавилов скончался в саратовской тюрьме 26 января 1943-го. Дата совпала с той, что была сообщена Сергею Ивановичу в Йошкар-Оле[905]. В печати она впервые появилась в 1962 году, в предисловии к первому изданию книги Н.И.Вавилова «Пять континентов»[906].

13.

Когда ФИАН вернулся в Москву, а ГОИ в Ленинград, курсирование С.И.Вавилова между Йошкар-Олой и Казанью вновь сменилось поездками между Питером и Москвой. В Москве он совсем не мог заниматься наукой, даже физически бывать в Институте мог очень редко: слишком много заседаний и всякой иной суеты. Он старался поскорее укатить в Ленинград.

Там был дом, семья. Несмотря на раны, нанесенные войной, *град Петров* снова стал пленять своей геометрически правильной

красотой. Там тоже многое отвлекало от главного, но удавалось выкроить время и для научной работы, и на то, чтобы побыть наедине со своими мыслями, книгами, отогреться душой.

25 июня 1945 г., Москва: «Парад на Красной площади по случаю победы. Все время проливной дождь. Серые “торговые ряды” перед глазами. Страшный вихрь, пролетевший над землей, кончается таким парадом. Жуков, Рокоссовский. Немецкие знамена, склоненные перед трибуной.

Сегодня еду в Ленинград. У меня не осталось души. Не вижу себя и начинаю ненавидеть. Нужна тишина, спокойствие, мысли, книги, вдохновение и творчество.

Эта юбилейная жратва в Доме ученых, вчера в польской Амбасаде [посольстве], плоские площадные слова. Боже мой, так не хочется жить и хочется смысла».

В павлиньих перьях

1.

Не успели отгреметь салюты победы, как в разоренной стране, изрытой окопами и бомбовыми воронками, с сожженными деревнями и городскими развалинами, разрушенными мостами и не восстановленными заводами, вдруг затеяли праздник: 220-летие Академии наук. «Странный» и «очень малограмотный» юбилей, как замечено в дневниковых записях Сергея Вавилова.

На торжества приехало более ста иностранных ученых. В их числе крупные биологи, еще до войны следившие «из-за бугра» за борьбой в советской генетике.

Раиса Львовна Берг была свидетелем встречи австралийца Эшби и британца Хаксли (внук Томаса Гекели) с Трофимом Лысенко: «Гекели спросил Лысенко: “Если нет генов, как объяснить расщепление?” “Это объяснить трудно, но можно, – сказал Лысенко. – Нужно знать мою теорию оплодотворения. Оплодотворение – это взаимное пожирание. За поглощением идет переваривание, но оно совершается не полностью. И получается отрыжка. Отрыжка – это и есть расщепление”. Элеонора Давидовна [Маневич] перевела… Эти слова Гекели привел в своей книжке. После доклада два джентльмена, два немолодых сдержанных англичанина сперва в замешательстве посмотрели друг на друга, потом вдруг обернулись друг к другу, вскинули руки на плечи друг друга и захохотали. Первый акт представления позади»[907].

О том же эпизоде поведала Э.Д.Маневич. Для нее английский язык был таким же родным, как и русский, она была приставлена к двум иностранцам как переводчица. Она просила их помнить, что неосторожное слово в «буржуазной» прессе может «отрыгнуться» советским генетикам, противостоявшим лысенковской инквизиции[908]. Они это помнили и, вернувшись из СССР, написали о *колхозном академике* что-то неопределенно-положительное.

Сергею Ивановичу Вавилову для встреч с зарубежными гостями не требовалось переводчика. В его дневнике эти встречи почти не оставили следа. Только скупо отмечено в записи от 20 июня: «Иностранцы спрашивают [о Николае]. От ответов ускользаю. И так это грустно и незаслуженно».

О том, как умело академик С.И.Вавилов *ускользал от ответов* на вопросы о брате, было, конечно, доложено *куда надо.*

Понято и оценено.

В центре внимания на юбилейных торжествах был, естественно, президент Академии наук В.Л.Комаров. Он председательствовал на заседаниях, выступал с речами и тостами. Тут обнажилось, что он недослышит, отвечает невпопад, еле держится на ногах. Об этом тоже было доложено.

Президента Академии наук требовалось срочно менять.

Вдруг Сергея Ивановича Вавилова вызвали в Кремль.

Вот как это выглядело в изложении М.А.Поповского:

«В 1945 году Сталин пригласил академика физика Сергея Вавилова в Кремль. Вождь был настроен благостно, всячески обласкал ученого, сказал, что знает и ценит его труды, рад знакомству. После этой “художественной части” последовала часть деловая: Сергея Ивановича просили возглавить Академию наук СССР. Не подготовленный к такому предложению, Вавилов-младший растерялся, стал мяться, отнекиваться, вспомнил о репрессированном брате. Однако Сталин настойчиво повторил, что объективные обстоятельства в данном случае не играют никакой роли. Сергей Иванович должен стать президентом по соображениям политическим. Такое “объяснение” оказалось решающим. Гость через силу выдавил – “да”, и хозяин снова вернулся к дружелюбной, даже сердечной манере разговора. Между прочим он поинтересовался, нет ли у Сергея Ивановича каких-либо личных просьб к правительству. Не нужна ли квартира или еще что-нибудь в этом роде. И тут, набравшись смелости, Вавилов-младший решился наконец замолвить слово о брате. Вождь позвонил куда-то по телефону, ему ответили, что наведут справки. Через несколько минут телефон зазвонил снова. Сталин выслушал короткое донесение, шмякнул трубку на рычаг и голосом, имитирующим негодование, произнес: “А черт побери, погубили такого ученого!..”»[909].

Понятно, что столь важный эпизод эхом отозвался во многих публикациях о Сергее и Николае Вавиловых. Попал он и в очерк Я.Г.Рокитянского «Голгофа Николая Вавилова», хотя с оговоркой: «Согласно записям посетителей кремлевского кабинета генсека, тот принимал С.И.Вавилова три раза – 15 апреля 1943 г., 25 апреля 1946 г. и 13 июля 1949 г.». То есть в 1945-м не принимал. Но тут же следует оговорка на оговорку: «Нельзя исключить, что интересующая нас беседа все же состоялась в 1945 г. и не была зафиксирована»[910].

Я.Г.Рокитянский, возможно, прав в том, что тех, кого принимал Сталин, не всегда регистрировали и, что еще удивительнее, «регистрировали» тех, кого он не принимал. Так, согласно журналу посещений Сталина, 15 апреля 1943 года

Вавилов был у него в кремлевском кабинете с 23 часов 30 минут до часу 05 минут ночи[911]. Однако в дневнике С.И.Вавилова имеется запись от 17 апреля, сделанная в Йошкар-Оле, в которой сказано, что позавчера (то есть 15 апреля) он находился в Казани, откуда на следующий день выехал в Йошкар-Олу. 25 апреля 1946 г. он *был* в Москве, но о вызове в Кремль в его дневнике не упомянуто, хотя *такие* встречи он всегда фиксировал. Впрочем, и «в записях посетителей» Сталина за тот день нет ни одного имени, то есть в тот день генсек никого не принимал. В дневнике Сергея Ивановича говорится о приеме у Сталина 25 января 1946 г. Визит зафиксирован и в «записях посетителей». Это и был *первый* вызов С.И.Вавилова к генсеку. Президентом Академии наук он был уже полгода.

А 11 июля 1945-го Сергей Иванович приехал в Москву по вызову секретаря ЦК Г.М.Маленкова.

В годы войны он не раз контактировал с Маленковым, по его предложению в июне 1943 года стал уполномоченным Государственного Комитета Обороны, о чем записал: «Не сумел отказаться от важных поручений. Чувствую, что могу упасть в пропасть и буду раздавлен страшным грузом».

Раздавлен он не был, получил награды. Но зачем он понадобился Маленкову, когда война кончилась и ГКО был распущен? Он был встревожен. Как он однажды сказал И.М.Франку: «Каждый раз, когда меня вызывают в Кремль, не знаю, вернусь ли домой или отвезут на Лубянку».

Встреча была назначена на 12 июля.

Он заблаговременно вызвал машину из академического гаража, но шофер, видимо, съездивший налево, прибыл с опозданием. А затем привез не к тем кремлевским воротам, где дожидался заказанный пропуск, пришлось делать крюк.

Сергей Иванович принадлежал к той категории людей, которые никуда не спешат и никогда не опаздывают. А вот в Кремль, по воле нерадивого шофера, он опаздывал, и это еще больше взвинтило нервы.

Маленков ждал его вместе с Молотовым.

«Предложено стать академическим президентом вместо В.Л.Комарова. Нечувствительность, развившаяся за последние годы, вероятно, как самозащита, дошла до того, что я не очень удивился этому предложению».

Прежде чем решить, кем заменить Комарова, был составлен список из 22 академиков. Все имена были «провентилированы» в НКВД, к каждому приложена справка.

«Вавилов Сергей Иванович – директор Физического института АН СССР, 1891 года рождения, беспартийный, академик с 1932

года, заместитель директора Государственного оптического института. В период Отечественной войны – уполномоченный Государственного комитета обороны по оптической промышленности. Автор широко известных научных работ по флуоресценции (создал теорию), по изучению природы света. Автор многих книг и переводов (труды Ньютона). Участник международных конгрессов. Политически настроен лояльно. Вавилов обладает организационными способностями и находится в хороших взаимоотношениях с большинством ученых АН и пользуется у них авторитетом. В обращении прост, в быту скромен. Вавилов сейчас находится в расцвете своих творческих сил и ведет лично научно-исследовательские работы. Имеет крупных учеников и последователей. Известен в СССР и за границей. Брат Вавилова С.И. – Вавилов Николай Иванович – генетик, в 1940 году был арестован и осужден на 15 лет за вредительство в сельском хозяйстве. Находясь в саратовской тюрьме, в январе 1943 года умер»[912].

Всё точно – только приговор брату почему-то занижен.

В том же списке имена А.Я.Вышинского, Т.Д.Лысенко, вице-президента металловеда А.А.Байкова, бывшего непременного секретаря В.П.Волгина, геолога А.Н.Заварицкого, историка Б.Д.Грекова, математика И.М.Виноградова… На каждого в НКГБ был «материал». На Волгина имелось «20 показаний осужденных врагов народа»; Заварицкий состоял в антисоветской организации; Греков был в прошлом кадетом; Байков «по характеру неуживчив, с большим числом академиков находится в неприязненных отношениях»; Бардин «в быту с учеными не общается вследствие чрезмерной жадности его жены», Виноградов «нелюдим, не эрудирован в других областях наук, холостяк, употребляет в значительных дозах алкоголь». О Лысенко в справке НКГБ, после перечисления заслуг и регалий, говорилось: «Среди биологов АН СССР Лысенко авторитетом не пользуется, в том числе и у академиков В.Л.Комарова и Л.Орбели, причем последние приписывают ему арест Н.Вавилова… В ВАСХНИЛпротив Лысенко ведется борьба группы академиков во главе с академиком Прянишниковым Д.Н.»[913]. Можно ли двигать Лысенко в президенты *Большой* академии, если он не справляется с *Малой*?

В списке стояло и имя Игоря Васильевича Курчатова. Он охарактеризован «человеком скрытным, осторожным, хитрым и большим дипломатом». К тому же он был сверхзасекречен, для такого представительского поста, как президент Академии наук, не подходил.

Выбор, оказывается, был не такой уж большой! Окончательно

его, конечно, сделал генсек. Тому есть и документальное подтверждение[914]. Но личная встреча генсека с будущим президентом Академии наук не требовалась. Достаточно разговора с ним вождей второго ранга.

…Сергей Иванович слушал их с невозмутимым спокойствием, внутренне холодея от ужаса.

14 июля 1945 г., Москва: «Оно [это назначение] совершенно разрушает мою жизнь и внутреннее естество. Это значит ужас современной Москвы в самом концентрированном виде [навалится] на меня. Это значит расстаться с Ленинградом. Это значит, исчезнет последняя надежда опять вернуться к своему прямому [научному] опыту. А сумею ли я что-нибудь сделать для страны, для людей? Повернуть ход науки?.. Неуютно, смутно, тяжело… Сам не свой».

Если ему так было невмоготу, то почему он не отказался?

Ученые из ближайшего окружения Сергея Ивановича *оправдывали* его тем, что он пошел на самопожертвование, дабы *не пропустить* в президенты Вышинского или Лысенко. Мне это не кажется убедительным. Ведь он не мог знать, кто еще числился в том тайном списке.

Почему же «академик Сергей Вавилов после расправы над своим великим братом пошел в лакейские президенты Академии наук», как припечатал его А.И.Солженицын в «Архипелаге ГУЛАГ»?

По поводу этой «припечатки» академик В.Л.Гинзбург написал Солженицыну большое письмо, на что тот ответил телефонным звонком. По свидетельству Ю.Н.Вавилова, Солженицын «признал, что был неправ, и пообещал изъять эту фразу в новой редакции “Архипелага ГУЛАГ”, но почему-то этого не сделал».

Думаю, что ни в каком оправдании Сергей Иванович не нуждается, потому что *свободы выбора* у него не было. На какой участок *борьбы за светлое коммунистическое будущее* бросить человека, – решала партия. Согласия не спрашивали – только ставили в известность. Дозволялось немного пококетничать: могу не справиться, *не оправдать доверия*. Не больше. *Партия сказала – комсомол ответил «есть!».*

Отказ от президентства повлек бы снятие со всех должностей – с непредсказуемыми последствиями.

Академик И.М.Франк: «Уверен, что без него Физический институт был бы объявлен вражеским гнездом. Было хорошо известно, что мы – его ученики, люди лично ему преданные в жизни и в науке – многим ему обязаны. Защитить нас от неизбежных репрессий он бы уже не имел возможности»[915].

17 июля Сергей Иванович Вавилов был *избран* президентом

Академии наук. За него было подано 92 голоса, против два. (Теперь известно, что против голосовали Т.Д.Лысенко и П.Л.Капица.) «Что на самом деле думали про себя эти академики, и настоящие, и липовые, – конечно, уже растаяло в вечности». Для С.И.Вавилова то было «начало нового препротивного существования, еще дальше удаляющего от себя самого, превращение в манекен, дергаемый ниточками».

Как уже говорилось, Сталин впервые принял нового президента Академии наук полгода спустя. Присутствовали Молотов и Берия.

Личное внимание *вождя* объяснялось событиями этих шести месяцев.

В ходе Потсдамской конференции, открывшейся в тот день, когда С.И. Вавилов был избран президентом Академии, президент США Гарри Трумэн получил шифрованную телеграмму об успешном испытании атомной бомбы. Скрыть такое достижение от союзника Трумэн считал неудобным, но раскрывать все карты не хотел. Как бы между прочим он сказал Сталину, что создано новое оружие необычайной разрушительной силы, и был рад, что Сталин пропустил эти слова мимо ушей. Трумэн решил, что *кремлевский горец* не понял, о *каком* оружии идет речь, не зря же Черчилль называл его: Чингисхан с телефоном.

Чингисхан всё заранее знал: *разведка доложила точно.* Группа ученых во главе с И.В.Курчатовым, курируемая Берией, работала над созданием *своей* атомной бомбы. О чем, кстати сказать, президент Академии наук и директор ФИАНа понятия не имел. Он был невысокого мнения о Курчатове, не знал, чем занята его «мистическая лаборатория № 2».

О том, что американцы сбросили атомную бомбу на Хиросиму, С.И.Вавилов узнал из передач иностранного радио. Президенту Академии наук об этом не сообщили.

7 августа 1945 г., Москва: «Вчера ночью радио – об урановых бомбах. Начало совсем новой фазы человеческой истории. Смысл человеческого существования. Возможности необъятны. Перелеты на другие миры. Гораздо дальше [фантазии] Ж[юля] Верна. Но неужели горилла с урановой бомбой? Ум, совесть, добродушие и такт – достаточно ли всего этого у людей. В такой момент я в Академии. Просто страшно.

Наука получила такое значение, о котором раньше писали только в фантастических романах. Eritis sicut Dei».

Eritis sicut Dei — латинский перевод библейского изречения: *И будете, как Бог (знать добро и зло).* В библейском сказании этими словами *Змий* искушает Еву. В «Фаусте» Гёте Мефистофель вписывает их в альбом Фауста…

5.

Президент Академии наук Сергей Иванович Вавилов в кабинете Сталина. Напротив тройка *тонкошеих вождей.* В их руках – судьба страны, каждого из двухсот миллионов жителей. Любого могут казнить, любого помиловать, сбросить в бездну или возвысить. Николая Вавилова казнили, Сергея вознесли. Могло быть наоборот…

«Я вот замечаю, что в нужные моменты я очень смелый. Это всегда было», – записал Сергей Иванович, вернувшись из Кремля. Он доволен собой, что бывало с ним очень редко. Разговор шел по существу. «”Гениев не бывает, их выдумали, влияет обстановка, условия”», – изрек главный вождь. В том, что всем управляют *условия*, он был солидарен с Трофимом Лысенко.

Условия он готов был улучшить и даже «сделал самые серьезные указания о расширении науки, о серьезной базе для нее. Одобрил физико-химическое направление».

На ученых посыпались благодеяния. Им значительно повысили зарплаты, пресса получила указание – поднимать престиж науки. Газеты и журналы наперебой публиковали статьи и речи ученых, чаще всего – президента Академии наук. Он должен был выступать на юбилеях, выставках, похоронах, участвовать в торжественных и всяких иных заседаниях.

9 мая 1946 г.: «С ужасом читаю в, “Вестнике Академии” в каждом № свои представительские, загробные речи, газетные статьи. Где же моя душа? Где мое, “творчество и созерцание”».

Свадебный генерал, ворона в павлиньих перьях – вот кем он себя ощущал. Стал *притчей на устах у всех*, ему было *стыдно.* Подросшему племяннику Юре как-то признался, что должность президента – собачья, он охотно променял бы ее на работу водопроводчика…

6.

В лихую годину Сергей Иванович поддерживал обе семьи старшего брата. Елена Ивановна, инвалид первой группы, по состоянию здоровья давно не работала. Пенсия была нищенской. В Саратове пыталась устроиться хоть куда-нибудь – тщетно. Писала Сергею Ивановичу в Йошкар-Олу: «Деньги от Вас получаем регулярно. Не нахожу слов, чтобы выразить Вам глубокую благодарность. Без Вашей помощи нам бы не просуществовать это время»[916].

Олега с матерью он тоже поддерживал.

Екатерина Николаевна с ранних лет заботилась о развитии сына, о круге его чтения, учила иностранным языкам, но в быту оставалась беспомощной. Олег рос на Пресне, в старом вавиловском доме, под заботливым крылом бабушки. Незадолго до ее смерти он пришел домой со своей будущей женой и твердым, не терпящим возражения голосом сказал:

– Бабушка, Лида будет жить у нас!

Олег был энергичен, деятелен, но душевной близости между дядей и повзрослевшим племянником не возникало. Олег был слишком несговорчив, прямодушен и прямолинеен. «Твердокаменен» и «без философии», как замечено в дневнике Сергея Ивановича. Однажды к Сергею Ивановичу «ворвалась» Вера Николаевна Сахарова «с жалобами на Олега, с какими-то претензиями ко мне». Оказалось, что, повздорив с тетей, Олег толкнул ее, да так, что она упала, ударила голову. «Олег взбалмошный, невоздержанный и глупый парень», – рассерженно записал Сергей Иванович.

Но взбалмошный парень боготворил своего отца.

Приездов Николая Ивановича он с малолетства ждал с нетерпением, тот часто брал его с собой в поездки по стране, в 1931 году – даже в Англию, на конгресс по истории науки. Олег бережно хранил открытки отца, приходившие из разных стран. Подростком, не щадя чувств матери, упрекал ее в том, что она не смогла сохранить семью.

Когда Николая Ивановича арестовали, Олегу было 22 года. Он перешел на последний курс физического факультета МГУ, со школьных лет занимался научной работой в ФИАНе. Через год он получил диплом и был зачислен в ФИАН – конечно, при помощи Сергея Ивановича.

По словам жены Олега Лидии Курносовой, «Олег иногда был грубоватым, мог сказать резкое слово. Но при этом он все же был деликатным человеком. Он был верзилой, очень застенчив, красив». Не из *застенчивости* ли он выставлял напоказ мальчишескую браваду?..

В то, что его отец *виноват* перед советской властью, Олег не верил. С присущей ему прямотой говорил всем и каждому, что отец стал жертвой травли и клеветы Трофима Лысенко; он добьется правды.

Олегу удалось узнать, что отец находится в саратовской тюрьме. Летом 1943 года он съездил в Саратов (в военную годину это было непросто) и вместе с младшим братом Юрой пошел в областное управление НКВД – большое серое здание в центре города. Вошли в приемную, постучали в окошко. Когда оно открылось, Олег спросил об отце. Ему сухо ответили, что за

такими справками нужно обращаться в центральный аппарат, в Москве. Окошко захлопнулось.

Вернувшись в Москву, Олег отправился на Лубянку. Здесь ему и сообщили, что отец умер. Якобы всего месяц назад.

…20 декабря 1945 года Олег Вавилов защитил кандидатскую диссертацию, после чего хотел развеяться. В МГУ формировалась группа горнолыжников для поездки на Кавказ – он решил к ней примкнуть.

Группу возглавлял профессор математики В.В.Немыцкий, входили в нее его жена профессор Н.Бари, доцент О.Воробьева, аспиранты Е.Красильщикова и Ю.Саясов, докторант И.Шафаревич – вместе с Олегом семь человек. Перед самым отъездом присоединилось еще двое – Б.И.Шнейдер и А.Д.Беляев.

У 41-летнего Бориса Ивановича Шнейдера была очень пестрая биография. Она восстановлена по архивным документам, но многое в ней остается неясным.

По национальности немец, он прекрасно владел немецким языком, но по паспорту был русским. В 1924 году поступил на физмат МГУ, но после второго курса ушел по призыву комсомола на завод. Работал токарем, был секретарем комсомольской ячейки. В 1930-м году поступил в Институт философии и истории, но через два года снова бросил учебу Теперь он председатель завкома и преподаватель марксизма-ленинизма на курсах при райкоме партии. В 1938 году он поступил в знаменитый ИФЛИ, окончил филологический факультет МГУ, с которым ИФЛИ объединили. Диплом получил в 1942-м.

Дальше самое непонятное. По одним анкетам, И.Б.Шнейдер в годы войны не выезжал из Москвы, работая политредактором Главлита; по другим – он воевал на Кавказе, за линией фронта, в тылу германский войск. Возможно, был одним из 150 альпинистов-разведчиков, направленных туда П.А.Судоплатовым для выполнения секретных заданий.

Но в 1943 году Шнейдер уже в Алма-Ате: преподает в школе инструкторов альпинизма. Альпинист он опытный: 27 восхождений на труднейшие вершины Тянь-Шаня и Кавказа, включая Эльбрус.

Почему ас альпинизма примкнул к группе новичков, отправившихся кататься на горных лыжах, а не штурмовать вершины? Это до конца не выяснено.

То ли он сам, то ли его помощник А.Д.Беляев, еще в поезде, стали подбивать Олега Вавилова – подняться на гору Семенов-Баши, хотя это не входило в план поездки, а правилами горного туризма было запрещено: для альпинистских восхождений требовалась особая подготовка и экипировка. Но Олега легко

было подзадорить. Идея ему понравилось, и уже он сам, бравируя физической силой и смелостью, подзадоривал других.

В нарушение твердых инструкций, в лыжных, а не альпинистских ботинках Борис Шнейдер и Олег Вавилов пошли штурмовать почти отвесную, в зимнее время обледенелую гору Семенов-Баши.

Шли, как положено, в связке, но где-то на середине подъема Шнейдер спохватился, что *забыл* на привале свой ледоруб. Отстегнулся и пошел назад, оставив Олега одного на склоне, – еще одно грубейшее нарушение правил безопасности.

В момент, когда Шнейдер вернулся с ледорубом, но *не успел* пристегнуться к Олегу, тот поскользнулся и полетел в пропасть.

О том, что всё произошло именно так, известно со слов Шнейдера: другого свидетеля той роковой сцены не было.

Шнейдер не попытался спуститься к пострадавшему, чтобы оказать ему помощь. К стоянке отряда он вернулся с большим опозданием. Идти к месту происшествия отказался, так как «сильно устал». Другие участники группы, включая ее главу В.В.Немыцкого, не горели желанием поспешить на выручку попавшего в беду товарища. Особенно активно всех отговаривал Игорь Шафаревич, а они *дали* себя отговорить: уже стало темнеть, погода начала портиться.

Вернулись в Москву без Олега…

12, 16, 17 февраля 1946 г., Москва – Ленинград, С.И.Вавилов: «Опять катастрофа. Нелепый плевок природы. На Домбае (над Тебердой) где-то в снежной лавине погиб Олег Вавилов, сын Николая, на 28-м году. Третье поколение трагических смертей». «Олег. Мальчишеский труп дерзкий там где-то мерзнет сейчас на Домбае». «Фон – Олег. Опять у жизни выбита опора».

На средства, ассигнованные президентом Академии, Лидия Курносова организовала поисковую экспедицию. Шнейдеру пришлось отправиться с группой поисковиков. Вел он себя настолько странно, что подозрение в том, что Олег стал жертвой убийства, а не простого легкомыслия, с каждым днем усиливалось. Идти к месту гибели Олега Шнейдер отказывался, упирался, его заставляли пинками, волокли силой. Ущелье, к которому, в конце концов, он привел поисковиков, было завалено снегом, точное место падения Олега он указать не мог или не хотел. Экспедиция вернулась ни с чем… По Москве поползли слухи, что Олег Вавилов не погиб, а бежал в Турцию.

Враг народа, изменник родины. Как его отец.

Лидия Курносова организовала вторую экспедицию, средства снова ассигновал президент Академии наук. Приближалось лето,

снег значительно осел, но в ущельях его еще было много. Поиски долго были безрезультатными, силы и средства иссякали, часть поисковиков уехала, начальник группы решил закругляться. Лида настаивала на продолжении поисков. Уже почти потеряв надежду, она вдруг заметила краешек одежды, выглянувший из подтаявшего снега…

Тело было искалечено ушибами и переломами. На голове, «справа в височной области», был виден «след от удара ледорубом», а по другой версии – «рана по размерам с лопатку ледоруба». Таковы два варианта того, что было написано в официальном милицейском «Акте на погребение», который Лидия Курносова привезла в Москву Точная редакция этой фразы неизвестна, так как сам «Акт» таинственным образом исчез.

Тело Олега предали земле там же, на Домбае, на кладбище альпинистов. На могиле Лидия Васильевна поставила камень с надписью:

«Здесь погиб в феврале 1946 года Олег Вавилов – талантливый ученый, самый дорогой и близкий мне человек».

Лидия Васильевна Курносова до конца жизни стремилась узнать правду о том, что же произошло с ее мужем. Не раз обращалась к академику Игорю Ростиславовичу Шафаревичу, пережившему всех участников рокового похода, но тот «ничего не помнил». Она умерла в 2006 году. После ее кончины Юрий Николаевич Вавилов (в соавторстве с Б.Л.Альтшуллером) опубликовал открытое письмо академику Шафаревичу с той же настоятельной просьбой: прояснить обстоятельства гибели Олега Вавилова.

Ответа не было. Но публикация письма привела к тому, что в архивном фонде Комитета физкультуры и спорта была обнаружена стенограмма обсуждения этого происшествия – почти 200 листов. Оно проводилось тогда же, в 1946 году, по горячим следам. Поведение руководителя и участников группы расценивалось как неспортивное, трусливое, а то и преступное. Наибольшее негодование, конечно, вызвали действия Шнейдера. Прокуратура завела уголовное дело. Но его быстро закрыли.

Почему?

Не потому ли, что так было велено теми, кто послал Шнейдера на мокрое дело? Как учил товарищ Сталин: *есть человек – есть проблема; нет человека – нет проблемы.*

Не забудем: то было начало 1946 года. Продолжался медовый месяц в отношениях между победителями в только что закончившейся мировой бойне. Где-то за кулисами, на секретных дипломатических переговорах, уже намечались разногласия, которые приведут к холодной войне. Но в общественном

сознании стран-победительниц царил дух «встречи на Эльбе»: дух братства, единства, взаимовыручки.

А этот мальчишка, новоиспеченный кандидат наук, долбит всем и каждому, что его отец, известный всему миру ученый, затравлен, оклеветан, погублен ни за что ни про что!.. Он, Олег Вавилов, знает, кто в этом виноват, и не успокоится, пока не выведет клеветников на чистую воду…

Как заставить его замолчать? Арестовать и сослать как ЧСИР (члена семьи изменника родины)? Но он слишком на виду. Другой член той же семьи только что поднят на пьедестал верховного лидера советской науки. Какой шум поднимут на Западе враги, в каком положении будут друзья?.. Не проще ли убрать его по-тихому, как не раз делалось под мудрым руководством товарища Сталина. *Нет человека – нет проблемы…* *[917]*

Суд чести

1.

18 ноября 1946 года Сергей Иванович Вавилов записал в дневнике: «В газетах именуюсь “главой советской науки”. Глупое издевательство или сервилизм. Наука тем и хороша, что ни в какой общей главе не нуждается, нужна только своя собственная голова на плечах».

Не тем была *хороша наука* для президента *Малой* академии.

Став главой *по должности*, Лысенко во что бы то ни стало хотел стать *головой*. После того, как с его пути устранили Н.И.Вавилова и когорту вавиловцев: Карпеченко, Говорова, Левитского, Флякcбергера, Мальцева, – цель стала более достижимой. Ведь он возглавлял самое *передовое учение*. Не соглашаться с ним могли только *ретрограды и реакционеры*. Иные из них затаились, дабы не попасть под каток, который раздавил Вавилова, их надо было вытравить из нор и щелей, в которых они отсиживались.

В конце 1945 года И.Е.Глущенко познакомил своего шефа с опытами по гнездовым посадкам кок-сагыза *(русского одуванчика)*. Это было очень ценное сырье: в корневой системе кок-сагыза высокое содержание каучука.

Суть опытов Глущенко сводилась к тому, что в каждое гнездо (лунку) высаживалось разное количество семян кок-сагыза и измерялась масса развивавшейся корневой системы. Опыты показали то, что ожидалось: чем больше семян в лунке, тем больше общая масса корней.

Прекрасно! Может быть полезно для практики.

Но Трофим Денисович решил, что настала пора овладевать теорией. Данные Глущенко озарили его *великой* идеей. Коль скоро несколько растений в гнезде дают большую массу корней, чем одно растение, то они не конкурируют между собой за ресурсы, а, напротив, действуют сообща, поддерживая друг друга. А если так, то нет внутривидовой борьбы за существование!

О чем Лысенко забыл, так это *разделить* суммарную массу корней каждого гнезда на количество зерен, чтобы узнать, какая масса приходится в среднем на одно зерно.

В.Н.Сойфер: «Поскольку вес корней в каждой лунке был в таблице приведен, я без труда рассчитал средний вес. Такой пересчет дал ряд: 66, 40, 31, 25, 20, 18, 16, 15, 14, 11 граммов на лунку. Иными словами, по мере загущения посевов средний вес

корней закономерно падал. Ни одного исключения из установленного учеными правила Лысенко не получил!»[918]

Каждому школьнику было известно, что борьба за существование – это краеугольный камень эволюционной теории Дарвина. Если нет внутривидовой борьбы, то нет *отбора* наиболее приспособленных, а значит, и *формирования* новых видов.

До тех пор Лысенко громил своих оппонентов – под знаменем дарвинизма. Вавиловский закон гомологических рядов и теорию центров происхождения Лысенко, Презент, Шлыков клеймили за мнимый антидарвинизм. И вдруг Лысенко стал антидарвинистом!

Поначалу он этого, видимо, не понял, а когда ему объяснили, заявил, что теория внутривидовой борьбы *реакционная, буржуазная, мальтузианская*; она нужна капиталистам, чтобы оправдать классовую борьбу и подавление пролетариев. В бесклассовом обществе победившего социализма внутривидовой борьбы нет и не может быть. *Трудящиеся всех стран, соединяйтесь!* Теория внутривидовой борьбы нужна эксплуататорским классам, советскому народу она не нужна. Таково *творческое развитие* учения Дарвина.

Рукопись статьи о своем эпохальном открытии Лысенко послал «для критики» в Тимирязевскую академию профессору П.М.Жуковскому, заведующему кафедрой ботаники. Просил прокомментировать, чтобы затем напечатать две статьи вместе. Зная, что произошло потом, можно полагать, что со стороны Лысенко это была намеренная провокация.

Жуковский был энциклопедически образованным ботаником, генетиком, растениеводом, крупнейшим из уцелевших представителей школы Н.И.Вавилова. Статью Лысенко он разделал под орех. Интеллигентно, без личных выпадов, в строго научных рамках. Обсудил ее со студентами, после чего отослал Трофиму Денисовичу.

«Прочитав статью, которую он сам просил написать, Лысенко пришел в негодование и категорически отказался ее публиковать в своем журнале, а свою статью опубликовал в первоначальном виде, без единой поправки»[919].

Жуковский предложил свою статью журналу «Селекция и семеноводство». Она была напечатана под заголовком «Дарвинизм в кривом зеркале».

Вторым ходом в многоходовой комбинации была статья Ф.А.Дворянкина, одного из клевретов Лысенко. Его статья «Дарвинизм в зеркале менделизма» появилась в том же журнале[920].

Сведения о Ф.А.Дворянкине скудные. До войны он учился в

Тимирязевке и называл профессора генетики А.Р.Жебрака своим «бывшим учителем». На сессии ВАСХНИЛ1948 года он выступит как редактор журнала «Селекция и семеноводство».

Третьим ходом в многоходовке была статья самого Лысенко в «Агробиологии» (новое название журнала «Яровизация»), в которой он *изобличал* профессора П.М.Жуковского в антидарвинизме, как раньше изобличал Н.И.Вавилова. Заголовок статьи был весьма выразителен: «Не в свои сани не садись».

А заключительным ходом стала перепечатка статьи Лысенко в «Правде». Этим ставилась победная точка: с «Правдой» не поспоришь.

Но то был лишь один из сюжетов, разыгранных в канун «окончательного решения» вопроса о генетике.

2.

Кафедру генетики в Тимирязевской академии возглавлял Антон Романович Жебрак. Он, как Лысенко, был выходцем из крестьянской семьи – не украинской, а белорусской. В 1918 году окончил школу, тогда же вступил в партию большевиков. Три года воевал на фронтах Гражданской войны, затем окончил Тимирязевку, где учился у Карпеченко и Жегалова, после нее – Институт красной профессуры. Два года стажировался в США: в Колумбийском университете у профессора Лесли Данна и в Калтехе у Моргана. Развивая работы Карпеченко, синтезировал межвидовые гибриды пшеницы, проса, гречихи.

В январском номере американского журнала «Science» за 1944 год появилась статья Лесли Данна об успехах науки в СССР[921]. Особо отмечались достижения в генетике и растениеводстве: «Институт прикладной ботаники под руководством директора Николая Вавилова стал центром величайшей растениеводческой организации в мире. Сам Вавилов стал впоследствии мировым авторитетом по истории зерновых культур». В статье говорилось о достижениях Н.К.Кольцова, Н.П.Дубинина, С.С.Четверикова, С.М.Гершензона… Более высокой оценки достижений советской науки быть не могло.

Однако в апрельском номере того же журнала Данну возразил профессор Гарвардского университета Карл Сакс. Он считал, что коллега нарисовал слишком радужную картину После 1939 года из советских научных изданий исчезли имена Вавилова, Карпеченко, Навашина, других ведущих генетиков. Их заменили представители школы Лысенко, поддерживаемой политической властью. Сакс указывал, что Лысенко

«придерживается ламаркистской (по его словам, “дарвинистской’) концепции, отвергает менделевские законы наследственности и вообще генетику». О главном достижении Лысенко, *яровизации*, Сакс отозвался иронически: «Это открытие было сделано в США еще до Гражданской войны. <…> Эта техника была испытана во многих странах, но не давала эффекта, который оправдал бы ее коммерческое использование. Но она широко применяется в России». (О том, что в практике *яровизация* тихо сошла на нет, Сакс не знал.) Завершал он статью тем, что «наше восхищение русским народом и военной мощью Советской республики не должны нас ослеплять. Наука не свободна в тоталитарных странах, где она должна подчиняться политической философии»[922].

Статья Сакса показывала, что диктат Лысенко наносит ущерб не только советской генетике, но и международному престижу страны.

Профессор А. Р. Жебрак посчитал своим партийным долгом обратить на это внимание властей. В письме Г.М.Маленкову он изложил содержание статьи Сакса и просил о личной встрече, дабы разъяснить, как «деятельность Лысенко в области генетики, “философские” выступления его многолетнего соратника И.И.Презента, утверждавшего, что генетику надо отвергнуть, т. к. она якобы противоречит принципам марксизма, и выступление т. Митина, определившего современную генетику как реакционное консервативное направление в науке, привели к падению уровня генетической науки в СССР. <…> Необходимо принять, что деятельность ак. Лысенко в области генетики наносит серьезный вред развитию биологической науки в нашей стране и роняет международный престиж Советской науки»[923].

К своему письму Жебрак приложил статьи Данна и Сакса, их полный перевод на русский язык и свой черновой ответ на статью Сакса.

Основная мысль статьи Жебрака была в том, что генетика в Советском Союзе развивается успешно, а дискуссии между сторонниками и противниками Лысенко проходят «в условиях свободной борьбы мнений». Жебрак указывал на работу институтов и лабораторий, возглавляемых такими учеными, как Дубинин, Серебровский, Ромашов, Лисицын, Шехурдин, Гершензон, Сахаров, Лутков, ряд других. Особенно эффектен был пример с профессором Навашиным. Сакс назвал его в числе ученых, чьи работы не публиковались в последние годы, тогда как Навашин «опубликовал за время с 1939 г. 4 статьи и в 1944 г. сдал в печать еще две статьи. Эти работы представляют продолжение отличной работы по цитогенетике, за которую его

так высоко ценили как в США, так и в СССР. Они отнюдь не свидетельствуют о том, что ему пришлось прекратить или изменить направление своей научной работы под политическим давлением».

«Советское правительство, – писал Жебрак, – никогда не вмешивалось в генетическую дискуссию, длящуюся уже около 10 лет. Академик Лысенко был награжден Советским правительством за его вклад в практическую агрономию, а не за его взгляды и эксперименты по генетике. Более того, наши селекционеры-генетики, создавшие новые сорта зерновых культур (Константинов, Лисицын, Шехурдин, Юрьев, автор этих строк и ряд других), которые выступали с острой критикой взглядов академика Лысенко, тоже получали правительственные награды. Эти факты показывают, что критика генетики академиком Лысенко, основанная на наивных и произвольных представлениях, при всей своей резкости, ни в коей мере не может остановить или сдержать развитие генетики в СССР».

Через два месяца Жебрака вызвали в ЦК – не к Маленкову, а к Молотову.

Тот сочувственно выслушал ученого и согласился, что на статью Сакса следует ответить в том же журнале «Science».

Статью Жебрака отредактировали и перевели на английский язык в Антифашистском комитете советских ученых. Затем ее редактировали в Управлении пропаганды и агитации ЦК, одобрили в цензуре Совинформбюро, каждое слово было обсосано. От Совинформбюро она была послана в «Science». Опубликована в октябре 1945 года[924].

Приведенные в статье факты были безукоризненны, но по сути, конечно, прав был профессор Сакс, Жебрак это хорошо понимал. Зачем же он написал эту статью?

Было бы понятно, если бы его к этому *принудили*, как в 1936 году фактически *принудили* Н.И.Вавилова опровергать «измышления буржуазной прессы» в связи с ошибочным сообщением о его аресте. Но тут инициатива исходила от самого Антона Романовича, причем основная мысль его статьи была противоположна тому, что он приватно написал в ЦК.

Выдавая *желаемое за действительное*, он, видимо, надеялся желаемое *превратить* в действительное. Мефистофель разыгрывал шутки не только с академиком С.И.Вавиловым.

На статью Жебрака Карл Сакс ответил короткой заметкой. Напомнил, что он назвал имена *трех* ученых, исчезнувших из советских изданий, тогда как Жебрак сообщил только о профессоре Навашине. Карпеченко заложил основы той области науки, которую так успешно развивает сам Жебрак, но о

Карпеченко он промолчал. А что произошло с Вавиловым – «одним из крупнейших ученых СССР и величайшим генетиком мира»? Сакс напомнил о конгрессе в Эдинбурге, куда Вавилов не мог приехать, хотя был избран его президентом. С тех пор о Вавилове ничего не было слышно. «Теперь получена информация от Академии наук США, что Вавилов умер. Но как он умер и почему?»

На это Жебрак уже не отвечал.

3.

Между тем его положение в советской науке укреплялось. Он стал президентом Академии наук Белоруссии; он успешно совмещал этот пост с профессорством в Тимирязевке и экспериментами по созданию новых видов пшеницы и других злаков.

А положение Т.Д.Лысенко становилось более шатким.

В 1945 году истек срок полномочий Президиума Академии наук. С.И.Вавилов и академик-секретарь Н.Г.Бруевич обратились к Молотову с предложением – не выдвигать в новый состав Президиума Т.Д.Лысенко и М.Б.Митина. Мотивировали тем, что эти два академика не вели никакой работы в Президиуме, даже на заседания являлись очень редко.

На заявлении пометка Молотова: «т.т. Берия, Маленкову, Микояну. Надо обсудить». Запросили Г.Ф.Александрова – главу Управления пропаганды и агитации ЦК, в которое входил и Отдел науки. Александров ответил, что Лысенко не пользуется авторитетом в Академии, на выборах в Президиум в 1942 году едва не был провален, на новых выборах может не получить и половины голосов. Все же Лысенко оставили в Президиуме: мнение генсека было известно.

В 1946 году были объявлены новые выборы академиков и членкоров. В числе вакансий – два места членкоров по генетике. Выдвинуты Н.П.Дубинин и «мичуринец» А.А.Авакян. В Отделении биологических наук Т.Д.Лысенко резко возражал против кандидатуры Дубинина, но после ожесточенных дебатов обе кандидатуры получили большинство голосов.

Лысенко не успокоился и снова выступил против Дубинина на общем собрании Академии: «Дубинин не имеет никаких реальных заслуг ни в области научной биологии, ни в области практики. В то же время Дубинин является вожаком антимичуринской группы генетиков, представляя в нашей генетической науке идеологию консервативных и даже

реакционно настроенных в идеологическом отношении зарубежных биологов»[925].

Общее собрание утвердило обе кандидатуры: и Авакяна, и Дубинина. Это был еще один «удар по полену».

Президент Академии С.И.Вавилов поставил на обсуждение Президиума вопрос о создании нового Института генетики и цитологии. У Лысенко это вызвало взрыв ярости: в Академии наук есть Институт генетики, он развивает передовое мичуринское учение; новый институт не нужен и вреден – он станет прибежищем реакционного менделизма-морганизма.

Спорить с Лысенко никто не стал, но при голосовании *против* создания нового Института было подано два голоса: к Лысенко присоединился Н.С.Державин – филолог, бесконечно далекий от генетики, биологии и вообще от естественных наук. Остальные члены Президиума проголосовали *за.*

Указом Совета Министров создание нового Института было одобрено, ему выделили помещение, стали разрабатывать структуру, штатное расписание… И вдруг всплыла статья А.Р.Жебрака в журнале «Sience», хотя со времени ее опубликования (октябрь 1945) прошло 15 месяцев.

4.

За это время сильно изменилась международная обстановка, что отразилось и на положении внутри страны. Пока превалировал дух «встречи на Эльбе», многое невозможное становилось возможным. Так, к столетию Географического общества вышла книга Л.С.Берга – с большой главой о Н.И.Вавилове. При ее подготовке к печати в издательстве Академии наук автору предложили эту главу удалить, но он ответил, что Вавилов девять лет был президентом Географического общества, без главы о нем он книгу выпускать не будет. Главу оставили. Несколько месяцев спустя это уже было бы невозможно.

Секретарь ЦК партии по идеологии А.А.Жданов подверг разгрому ленинградские журналы «Звезда» и «Ленинград» и персонально писателей М.Зощенко и А.Ахматову. Генсек Сталин усмотрел в «нашей средней интеллигенции» «неоправданное преклонение перед заграничной культурой» и дал указание: «В эту точку надо долбить много лет, лет десять эту тему надо вдалбливать»[926].

Борьба с *низкопоклонством, космополитизмом*, за *русский патриотизм* и *русский приоритет* стала ведущей темой в печати,

литературе, кино, театре, живописи. И в науке.

6 марта 1947 года в «Ленинградской правде» появилась статья И.И.Презента «Борьба идеологий в биологической науке». Примером *низкопоклонства* и *пресмыкательства* перед «буржуазной культурой, находящейся в состоянии маразма и растления» выставлялась статья А.Р.Жебрака в «американском фашистском журнале “Наука”». Жебрак обвинялся в солидарности с «профашистским мракобесом» Карлом Саксом, что выразилось «в оценке теоретических достижений нашей советской передовой школы биологов, мичуринской школы, возглавляемой академиком Лысенко»[927].

Жебрак на статью Презента не ответил. Возможно, посчитал наскок газеты блошиным укусом, на который не следует реагировать. Ведь его статья была одобрена в ЦК партии и самим Молотовым – вторым человеком в государстве. Но блошиный укус оказался лишь первым ходом многоходовой комбинации.

Двойной удар сокрушительной силы был нанесен на переломе августа и сентября – в «Литгазете» (30 августа) и в «Правде» (2 сентября).

«Проф. А.Жебрак решил посвятить свою статью унижению и охаиванию передового советского ученого, известного всему культурному человечеству своими трудами в области физиологии растений и генетики, академика Т.Д.Лысенко. <…> В своем низкопоклонстве перед зарубежной наукой проф. Жебрак доходит до того, что фактически предлагает американским ученым нечто вроде единого союза для борьбы против советского ученого Т.Лысенко».

Это – в «Литгазете».

Статью написал Геннадий Фиш, давно уже воспевавший передовое мичуринское учение, а подписали вместе с ним Алексей Сурков и Александр Твардовский – две звезды первой величины. Оба были сверхпопулярны в стране, занимали высокие номенклатурные посты в Союзе писателей и редакционно-издательском мире. Оба были бесконечно далеки от биологии и генетики, но имена столь знаменитых писателей-*патриотов* звучали грозно.

Не успел Жебрак сообразить, что происходит, как грянула статья в «Правде». Под ней стояло имя никому не известного профессора Лаптева (скоро выяснилось, что он и не профессор, а кандидат экономических наук), но то была «ПРАВДА». Статья завершалась призывом:

«К суду общественности тех, кто <…> своими антипатриотическими поступками порочит нашу передовую советскую науку».

Суд общественности — понятие аморфное, но в контексте времени оно было кристально ясным. Партком МВО (министерства высшего образования СССР) поспешно принял резолюцию:

«Статья профессора Жебрака “Советская биология”, помещенная в американском журнале “Наука”, порочит честь и достоинство советского ученого. <…> Партийный комитет <… > просит привлечь проф. А.Р.Жебрака к Суду чести Министерства высшего образования СССР»[928].

5.

Суды чести были новейшим изобретением *корифея всех наук.*

Первый *Суд чести* — над двумя учеными-медиками Н.Г.Клюевой и Г.И.Роскиным – состоялся 5–7 июня 1947 года, то есть как раз в промежутке между блошиным укусом Жебрака в «Ленинградской правде» и двойным бомбовым ударом в «Литгазете» и «Правде». Клюева и Роскин якобы создали лекарство от рака и через «американского наймита» академика В.В.Ларина передали его секрет на Запад[929]. По следам этого *Суда чести* были в пожарном порядке изготовлены две пьесы – Константином Симоновым и Александром Штейном. Обе шли в ведущих театрах, по пьесе Штейна был снят кинофильм. Оба автора, режиссеры, исполнители главных ролей, создатели фильма были удостоены Сталинских премий…

Теперь затевался *Суд чести* над профессором Жебраком.

В цековском архиве В.Д.Есаков обнаружил письма ученых, протестовавших против этого судилища. В их числе профессор Тимирязевки П.И.Лисицын, профессор физиологии МГУ Д.А.Сабинин, доцент С.И.Алиханян, доктор биологических наук И.А.Рапопорт, сотрудница госкомиссии по сортоиспытанию Е.Н.Радаева…

Письмо И.А.Рапопорта адресовано А.А.Жданову:

«Я считаю информацию, которую дали на страницах, “Science” тт. Жебрак и Дубинин (по заказу БОКС), правильной не потому, что одержим слепым фанатизмом цитогенетика-специалиста или связан личной дружбой с авторами этих статей. К тому времени, когда эти статьи заказывались и отсылались, правильная общая информация иностранных естествоиспытателей, среди которых немало наших искренних друзей, о лабораториях и исследователях нашей страны, стоящих на почве цитогенетики и плодотворно работающих, могла принести только пользу Ведь в действительности ламаркистская

теория наследственности акад. Лысенко не просто устаревшая, а неправильная теория, не выдерживающая экспериментальной проверки. Если отождествлять это направление со всей советской генетикой, то возникает впечатление о чрезвычайной отсталости у нас ведущей биологической дисциплины, сделавшей большие шаги вперед при участии именно русских ученых.

Важно, чтобы высокий объективный престиж был не только у советской химии, советской физики, но и отечественной биологии. Объявить какой-либо недоброкачественный или сомнительный общественный продукт прекрасным не значит совершить патриотический поступок, если даже это сделать по искренним побуждениям. В нем только самодовольство и глупость»[930].

Сам Антон Романович Жебрак, коммунист с почти 30-летним стажем, тоже обратился в ЦК родной партии: «Я преследовал задачу дать отповедь политическим инсинуациям Сакса и показать значение диалектического материализма в разработке биологической науки. Эта задача мною была выполнена. Я руководствовался исключительно патриотическими стремлениями и стремился поднять престиж нашей страны».

Однако правила игры требовали сочетать строптивость со смирением: ведь «Правда» ведущий орган ЦК партии, а партия всегда права. Дальше в его письме говорилось: «Я считаю, что редакция “Правды” правильно ставит вопрос о воспитании советских людей при помощи смелой критики. Особенно вредным для ученого является преклонение перед иностранщиной… Если я допустил ошибки, то я надеюсь, что мне помогут их исправить и дадут возможность и впредь честно трудиться на пользу своей Родины»[931].

Ответов не было. Все письма провалились в черную дыру секретного цековского архива.

Зато на письмо министра высшего образования С.В.Кафтанова А.А.Жданову реакция была молниеносной. Кафтанов сообщил, что «согласен» с решением парткома МВО и предлагал назначить *Суд чести* над Жебраком на 20–21 октября в большом зале Политехнического музея. Жданов утвердил это предложение.

Готовилось представление, перед коим меркли лучшие спектакли Большого, Малого, Художественного, Вахтанговского и всех остальных столичных театров. Какой там «Король лир» с великим Михоэлсом в главной роли! Какая там «Принцесса Турандот»! *«Горе от ума»* — в версии куда более крутого Драматурга, нежели какой-то незатейливый Грибоедов.

За неделю до премьеры провели генеральную репетицию.

Суд собрался в полном составе, но без зрителей.

Председатель – профессор И.Г.Кочергин, шесть членов суда, общественный обвинитель – профессор С.А.Новиков, десяток «свидетелей» и, конечно, обвиняемый – он сам себя защищал. Защитника на *Суде чести* не полагалось.

«Жебрак <…> не согласился с тем, что его статья [в “Science”] антипатриотична по своему содержанию, однако признал в ней ряд политических ошибок. <…> Такой политической ошибкой Жебрак считал свои высказывания о Лысенко. На вопрос члена суда Бутягина о том, была ли необходимость говорить в статье о Лысенко, Жебрак ответил: О моих с ним разногласиях известно за границей, и если бы я о нем не написал, могло показаться отсутствие свободы критики [в СССР]. <…> Я сознаю, что здесь допустил грубую политическую ошибку». «Далее на следствии развернулась дискуссия по поводу яровизации и ее оценки в статье Сакса. В своей статье Жебрак этого вопроса не касался, что было признано тоже антипатриотичным»[932].

Куда не кинь, всё клин. Высказался о каких-то «достижениях» Лысенко – антипатриотизм! О других промолчал – тоже антипатриотизм!..

Всё разыгрывалось так, как задумал Главный Драматург и Режиссер. Если бы обвиняемый сдался без сопротивления, то костер угас бы, не разгоревшись.

Второе действие спектакля отрабатывалось в следующие дни.

Свидетель Н.П.Дубинин не нашел в статье Жебрака антипатриотических мотивов, но согласился с тем, что она недодумана, слишком академична и что в ней принижены научные заслуги Лысенко. Это был маленький шаг «в правильном направлении», который требовался от свидетеля защиты.

А вот П.И.Лисицын сыграл не по правилам. Всё происходящее он назвал *бузой.* Если Жебрак что-то недосказал, недописал, о чем-то неясно выразился, то такое можно сказать о любой статье. Вся затея не стоит выеденного яйца.

Негибкость профессора Лисицына была учтена: на премьере *Суда чести* его *свидетелем* не вызывали. Профессор Константинов, профессор Сабинин, Радаева тоже показали себя на репетиции *негибкими*, из списка свидетелей их тоже исключили. Зато свидетели обвинения – Варунтян, Глущенко, Борисенко, Лоза, Презент, Турбин – были *несгибаемы.* Они стояли на том, что профессор Жебрак «преклонялся перед буржуазной

наукой», «принизил заслуги Мичурина и Лысенко», «солидаризировался с реакционером Саксом».

После избиения на генеральной репетиции исполнитель главной роли поехал к себе домой в Минск. Чтобы перевести дух и собраться с мыслями. Но попал из огня да в полымя. 17 октября, на экстренном заседании Президиума Белорусской академии наук ему была устроена новая экзекуция.

Согласно протоколу того заседания, «Жебрак и теперь не признает в отношении Лысенко допущенной им ошибки, он говорит, что учение Лысенко неправильное и что

Лысенко через несколько лет будет пустым местом в науке, а что будет развиваться то учение, которому он, Жебрак, служит. Теории его, Жебрака, и Лысенко всегда останутся на разных полюсах». «Я считаю недопустимым проявлять двурушничество; всякий серьезный ученый не может иметь два мнения: одно для себя, другое – для заграницы. Мое убеждение одно, и оно правильное».

О том, чего стоило Жебраку это бунтарство, говорилось в письме директора Института клинической медицины Белорусской академии профессора С.М.Мелких Климу Ворошилову, который, похоже, знал Жебрака еще по Гражданской войне: «Всё заседание велось в резких выражениях, а под конец некоторые из выступающих перешли всякие грани резкости и нанесли такую душевную травму проф. Жебраку, что этот мужественный человек не выдержал, разрыдался, залился слезами и долгое время не мог прийти в себя. После этого начались сжимающие боли в области сердца и за грудиной, по всему нему пробегала дрожь, и проф. Жебрак не смог заснуть всю ночь». «Как свидетель происшедшего и как врач я прошу Вас оградить в дальнейшем проф. Жебрака от душевных травм, подобных только что им перенесенной».

Медицинская справка профессора Мелких удостоверяла, что здоровье А.Р.Жебрака подорвано и он нуждается в постельном режиме в течение 2–3 недель.

Профессору С.М.Мелких было 80 лет, он принадлежал к школе выдающегося терапевта Остроумова, следовал его заветам. Чтобы написать *такое* письмо и *такую* справку, требовалось немалое мужество. Профессор Мелких умер в 1952 году, похоронен в Минске на военном кладбище. На памятнике выгравировано: «К больному, как к родному, он нес свое чуткое сердце»[933]. *Большое* сердце *крупного* человека.

Надежда на защиту со стороны товарища Жебрака по оружию не оправдалась. Письмо профессора Мелких Ворошилов переслал секретарю ЦК Кузнецову с осторожно-нейтральной резолюцией: «Направляю для сведения, и если найдете нужным, то и для

принятия кое-каких мер». *Первый красный офицер* умыл руки.

7.

После пятичасовой экзекуции Жебрак укрылся на своей дачке под Минском, а через два дня уехал в Москву, нарушив постельный режим.

20 октября он снова пишет Молотову Снова прилагает статьи Данна, Сакса и свою собственную в двух вариантах – первоначальном и окончательном, что был одобрен ЦК. «Он выражает недоумение, почему без разбирательства партийных органов, как это обычно делается, выступила газета “Правда”. Жебрак квалифицирует это как грубый политический шантаж, организованный Лысенко и “Исаем Израилевичем Презентом”»[934].

В том, что мичуринец № 1 назван только по фамилии, а № 2 – по имени-отчеству-фамилии, – был тонкий намек. Партия вела борьбу с «космополитами», под коими подразумевались евреи, и Жебрак давал понять, что в *антипатриоты* его записал *космополит*! Однако отвергать нападки «космополита» не посмел, а, напротив, заверял, что «осознал все недостатки своей статьи и готов исправить их в нашей и иностранной печати с разоблачением бредней поджигателей новой войны».

Ответом снова было молчание…

Ссылками на болезнь Жебраку удалось оттянуть *Суд нести* ровно на месяц, но не его отмены. Представление состоялось 21 и 22 ноября 1947 года.

8.

По вузам и НИИ было роздано 1266 пригласительных билетов.

В первый день в зале было 1100 зрителей, во второй день пришло 800. Сотни свободных мест зияли пустотой. Никакого сравнения с судилищем над Клюевой и Роскиным, куда ломилась вся Москва.

ЦК оправдывал снижение «явочной активности» тем, что *Суд чести* проходил в рабочее время. Смешная отговорка. Кто и когда в Стране Советов отказывался свалить с работы «по уважительной причине», тем более когда взамен предлагалось захватывающее зрелище.

Увы, оно не было захватывающим. Главный герой, некоторые

свидетели, да и судьи плохо исполняли свои роли. Зрители изнывали от скуки, потому многие не пришли во второй день. Длился бы он три дня, как *Суд* над Клюевой – Роскиным, завершался бы при пустом зале.

Бесчестие подсудимого сводилось к его несогласию с академиком Лысенко. Это никак не тянуло на «противораковый препарат, переданный на Запад через американского наймита». На глазах затаившего дыхание зала гора рождала мышь.

После пяти с лишним часов томительного словоговорения 1100 человек, сидевших в зале, стали, наконец, улавливать, в чем же конкретно проштрафился профессор Жебрак. Он без должного почтения написал о научных достижениях Лысенко, и *сельскохозяйственную науку* назвал *научной агрономией.*

По залу, вероятно, прокатилась волна оживления, когда обвиняемый предложил, чтобы его крамольная статья, из которой выхватывали обрывки фраз, была зачитана вслух целиком. Когда суд это предложение отклонил, в зале стало совсем *тускло и уныло.*

Похоже, что самим участникам спектакль наскучил не меньше, чем зрителям. Все облегченно вздохнули, когда Жебрак схватился за сердце, побледнел и сказал, что у него приступ, он должен удалиться. Заседание с готовностью перенесли на следующий день.

9.

На второй день, когда каждое третье кресло в зале было пустым, суд слушал показания свидетелей. Из тех, кто раньше защищал Жебрака, вызвали только Н.П.Дубинина. Он повторил то, что сказал на репетиции, а сверх того попытался что-то оспорить в статье «профессора» Лаптева. Его тут же перебил председатель суда Корчагин: «Статья т. Лаптева, напечатанная в центральном органе нашей партии “'Правде”, не может подлежать обсуждению в настоящем заседании *Суда чести».*

Своеобразны были показания ректора Тимирязевки академика В.С.Немчинова. Он решительно заявил, что *идеологические ошибки* профессора Жебрака должны быть осуждены с такой же строгостью, как осуждены *идеологические ошибки* Г.Ф.Александрова, допущенные в его книге «История западноевропейской философии».

Г.Ф.Александров еще недавно возглавлял Управление агитации и пропаганды ЦК партии, перед ним вся страна ходила по струнке. Его книга была встречена каскадом хвалебных

рецензий и присуждением Сталинской премии. А потом *корифей всех наук* получил донос от профессора МГУ Белецкого, который уличал Александрова в том, что в его книге повторены «ошибки» третьего тома «Истории философии», изъятого из обращения тремя годами раньше. Сталин дал отмашку.

22 июня 1947 года в дневнике С.И.Вавилова появилась короткая запись: «"Философская дискуссия" (на bis) по поводу книги Александрова под председательством Жданова. Заседали уже 20 часов – сколько будут заседать еще, неизвестно. Я был один раз, 4½ часа».

Книгу Александрова изъяли из обращения, лишили автора Сталинской премии, удалили из аппарата ЦК. И… назначили *директором Института философии*!

Приравняв *идеологические ошибки* Жебрака к *ошибкам* Г.Ф.Александрова, академик Немчинов как бы предлагал его наказать так же *строго и справедливо*, как был наказан Александров. То есть бросал ему спасательный круг.

Иными были *показания* свидетеля Якушкина. Тут было всё, что требовалось: «преклонение перед заграницей», «неизжитое низкопоклонство», «передача государственных тайн или государственных ценных материалов». Главное же сказал профессор Турбин: «Суд над Жебраком – это показательный процесс над всеми, кто выступает против Лысенко».

Представление завершилось вынесением профессору А.Р.Жебраку «общественного выговора». Более суровых наказаний *Суды чести* выносить не могли.

10.

Дальнейшие меры должны были последовать без шума: увольнение из Тимирязевки, отлучение от научной работы. Но с этим директор Немчинов не спешил. А Антон

Романович продолжал бороться за свою репутацию. Видать, сильна была в нем вера в родную коммунистическую партию. Или в высшую справедливость.

В конце ноября он послал письмо секретарю ЦК Кузнецову о том, что в США издан перевод книги Лысенко «О наследственности и ее изменчивости» (ее, напомним, перевел Ф.Г.Добжанский), и она стала посмешищем у американских биологов. «Защищать взгляды Лысенко в области генетики нельзя без потерь авторитета страны и авторитета ученого, претендующего на элементарные знания фактов данной науки».

Жебрак просил о личной встрече и о том, чтобы ему «дали

возможность своей научной и педагогической работой восстановить доверие нашей партии и нашей научной общественности».

Письмо, как ни странно, возымело действие. Кузнецов его, конечно, не принял, но министерству высшего образования дали указание «о создании ему условий для научной и педагогической работы».

Пронесло!..

Но, увы, ненадолго.

Августовская сессия

1.

Муза Евгеньевна Раменская была тогда подростком. Отец ее погиб на войне, мать зарабатывала очень мало, девочка хотела летом немного подработать. Подруга матери Александра Юльевна Тупикова порекомендовала ее профессору Жебраку.

Работа была простая, даже немного смешная: гонять воробьев с опытных делянок, на которых выращивались межвидовые гибриды пшеницы. Они получались благодаря удвоению числа хромосом. Для этого цветки обрабатывались особым химическим препаратом – колхицином. Гибриды становились плодовитыми, но их склевывали воробьи…

Штатной единицы для такой работы не полагалась, профессор Жебрак был готов платить из своего кармана – по 50 рублей в месяц. Согласна ли она работать за такую мизерную плату? Девочка была согласна!

«Перед наукой я испытывала священный трепет, даже само слово “наука” писала с большой буквы, как сейчас стали писать слово Бог».

«Вот смотрите, – сказал мне в первый день Антон Романович, – здесь на грядках посеяны семена гибридов первого поколения. У каждого куста этикетка: он из одного семечка. Грядка из одного колоса. Не все семена всходят, поэтому грядки такие лысые. Все растения разные. Называется “расщепление”. Лучшие кусты дадут семена – это, может быть, будущий сорт. Конечно, сперва надо отбирать лучшее из того, что вырастет. А вот это уже грядками не назовешь. Это – второе поколение гибридов. Мы скрещивали в позапрошлом году, а в прошлом отобрали лучшие семена. Лысых мест нет. А разница между растениями гораздо меньше. Вон там третье поколение. Понимаете теперь, почему я пригласил вас гонять воробьев? Любое зернышко, которое от них погибнет, – может быть, будущий сорт. Вы охраняете не маленькие грядки, а будущие поля. Этой пшенице, что подальше, пять лет, через год-два сдадим ее на сортоиспытание. Либо придется работать с ней дальше, либо уже будут районировать, сеять в тех районах, где она будет лучше всего расти. Берегите каждое зернышко. Приходите к восходу солнца, чтобы попасть сюда раньше воробьев»[935].

Воробьи налетали стаями. Девочка бегала за ними с восхода

до заката, а заходило солнце в долгие летние вечера очень поздно. Уставала неимоверно, но была горда: она служила Науке.

Однажды Антон Романович застал ее прикорнувшей на меже между грядками и сильно смутился. Он только сейчас сообразил, что она работает в две смены. Он предложил ей за ту же плату выбрать одну смену, а на вторую нанял какого-то парнишку.

Всё шло наилучшим образом. И вдруг Муза прочитала в газете доклад Лысенко на Августовской сессии ВАСХНИЛ.

«Я оббегала киоски Союзпечати и скоро добыла все опубликованные материалы сессии. Были выступления и за генетику, и против. В том числе Жебрака – конечно за. Но побеждали явно мракобесы. В какой-то статье Лысенко были слова: “ЦК поддерживает наше направление”. А потом пошли отречения от своих взглядов тех, кто на сессии защищал генетику. Даже наш Жебрак (честный Жебрак, который заплатил мне двойную плату без моего требования, когда понял, что я работала за двоих!) отрекся»[936].

У девочки, воспитанный советской школой и свято верившей в то, что живет в лучшей стране лучшего из миров, рухнул весь ее мир.

«В конце концов я рассказала маме о своих переживаниях. Она в очередной раз пошла со мной к Александре Юльевне [Тупиковой], подвела к фотографии, висевшей на стене. “Видишь это лицо? Обращала внимание раньше?” Там был изображен мужчина с фотоаппаратом через плечо, в тропическом шлеме – жесткой такой панаме. “Это Вавилов, – сказала мама, – Александра Юльевна с ним училась, а потом работала. Это был великий ученый, он объехал весь мир в поисках культурных растений, чтобы их потом использовать в нашей стране. Его арестовали перед войной неизвестно за что и объявили врагом народа. Где он теперь, никто не знает”. Я спросила маму, почему она никогда нам об этом не рассказывала. Она ответила, что детям такого говорить нельзя – они могут проговориться, что мама такие вещи рассказывает, тогда – арест, нас в детдом, ее в тюрьму… “Теперь ты взрослая, сама всё поняла, и мы можем на эту тему говорить на равных”».

В 1951 году Муза Раменская окончила школу. Мечтала стать ботаником, но Лысенко был в полной силе. Она поступила на геологоразведочный факультет, стала кандидатом наук, опубликовала немало научных работ по геологоразведке. Но не меньше у нее публикаций по истории генетики, о Н.И.Вавилове. Десятки лет она была ответственным секретарем Вавиловской комиссии Академии наук. Участвовала в подготовке шеститомной «Международной переписки» Н.И.Вавилова, которая широко

цитируется на этих страницах.

2.

Подготовка к сессии *Малой* академии (ВАСХНИЛ) велась в такой тайне, что президент *Большой* академии ничего не знал. Он проводил отпуск на своей президентской даче, в поселке Мозжинка. Хотел, как всегда, многое сделать, но душевных сил оставалось все меньше. Центром внимания был пятимесячный внук Сережа. «Душа едва, едва просыпается [в нем], но и во мне души не намного больше», – писал в дневнике дедушка, с трудом осваиваясь в новой роли.

Сессия ВАСХНИЛоткрылась 31 июля докладом Лысенко «О положении в биологической науке». Сергей Иванович все еще ни о чем не подозревал. Лысенко в тот день упомянут в его дневнике, но не в связи с открытием сессии. Накануне в газетах появилось сообщение о большой группе новых академиков ВАСХНИЛ. Звание им было присвоено без выборов, без обсуждения – оптом. То было первое пополнение рядов с 1935 года, когда ввели само звание: академик ВАСХНИЛ. За эти годы много воды утекло. Часть академиков была *изъята*, другие умерли *в своих постелях*. Попытки провести довыборы президент Лысенко торпедировал, не желая пополнять ряды «менделистами-морганистами».

Новоиспеченных богатырей науки было 39 – больше, чем у батьки Черномора. Все как на подбор, все вышли из пенистых волн «мичуринского учения». Сергей Иванович назвал это «торжеством Лысенко».

Н.П.Дубинин: «Подъем генетики в 1945–1948 годах проходил на фоне заметного ухудшения положения Т.Д.Лысенко. Его усилия убедить ученых в правоте своих идей и методов оказались безуспешными. Практические предложения терпели крах. На нет сошло применение яровизации, летних посадок картофеля и посевов по стерне. Шумные обещания создать зимостойкую пшеницу для Сибири, которые так торжественно были даны им в 1939 году, оказались пустым звуком. Т.Д.Лысенко обнародовал новую сенсацию о создании потрясающе урожайной ветвистой пшеницы, но никто из серьезных ученых – биологов и селекционеров – уже не верил его обещаниям»[937].

Но с ветвистой пшеницей Лысенко работал по прямому поручению Сталина. *Корифей всех наук* лично передал ему это чудо-растение и *диалектически* предсказал ему великое будущее. Лысенко снова пообещал сделать то, что от него хотели слышать.

Ученые ему не верили, но *корифей всех наук* – верил.

Глумление над Жебраком на *Суде чести* рикошетило в других генетиков и во всю «буржуазную», «формальную», «низкопоклонническую» генетику.

3.

Вдруг произошло то, чего никак нельзя было ожидать.

10 апреля 1948 года в Политехническом музее, в том самом зале, где был *Суд чести* над Жебраком, на семинаре лекторов обкомов партии, с докладом о «спорных вопросах дарвинизма» выступил заведующий Отделом науки ЦК Юрий Андреевич Жданов, сын грозного секретаря по идеологии. Вместо того чтобы очередной раз растоптать *антидарвинистов* и *низкопоклонников*, пресмыкающихся перед *буржуазным* менделизмом-морганизмом, он говорил о том, что все советские ученые преданы родной партии, все патриоты, разногласия между ними должны решаться в конструктивных научных спорах, а не в политических разборках. *Давайте жить дружно!*

«Если Презент пишет, – говорил молодой Жданов, – что «загнивающий капитализм на империалистической стадии своего развития породил мертворожденного ублюдка биологической науки насквозь метафизическое, антиисторическое учение формальной генетики», то это, может быть, делает честь красноречию тов. Презента, но не способствует уяснению обстановки на биологическом фронте и говорится лишь для устрашения неопытных людей».

В докладе было немало реверансов в адрес Лысенко, но было и такое: «Он [Лысенко] выступил в нашей стране как новатор. Никто не может отрицать того, что он дал очень много нового нашей биологической науке, нашей стране. Это безусловно, это несомненно, но Лысенко – представитель лишь одной ветви в биологической науке, лишь одного направления в школе великого Мичурина. Попытка подавить другие направления, опорочить ученых, работающих другими методами, ничего общего с новаторством не имеет. Деятельность Лысенко нанесла прямой ущерб»[938].

Лысенко нанес – *ущерб*?!. Не Жебрак, не формальные генетики, не *враг народа* Вавилов, а Лысенко?!. И это говорил главный партийный надсмотрщик над наукой!

Трофима Денисовича в аудитории не было, но доклад Юрия Жданова он прослушал от первого до последнего слова. Тайно, соблюдая строгую конспирацию. Он сидел в кабинете

М.Б.Митина: как зампредседателя Общества по распространению, тот имел кабинет в здании Политехнического музея, который был соединен с залом прямой радиосвязью. Лысенко делал торопливые заметки, лихорадочно обдумывая ответные шаги.

Кто может обуздать завотделом науки, да к тому же сына *второго* человека в партии?

Только *первый* человек!

Неделю Трофим сочинял письмо *корифею всех наук*. Вероятно, ему помогал Презент. Письмо адресовано не только Сталину, но и А.А.Жданову, отцу докладчика. Дата – 17 апреля. Написано якобы сумбурно – из-за нервного состояния автора. Но в нем продумано каждое слово. Нападение – лучший вид защиты. Никаких ритуальных покаяний и полупризнаний. Лысенко – не Жебрак. К тому же смелости придавало письмо, полученное Трофимом от самого *корифея.* В нем черным по белому: «Что касается теоретических установок в биологии, то я считаю, что мичуринская установка является единственно научной установкой. Вейсманисты и их последователи, отрицающие наследование приобретенных свойств, не заслуживают того, чтобы долго распространяться о них. Будущее принадлежит Мичурину. С уважением, И.Сталин. 31.X.47 г.»[939].

Лысенко начинает с того, что доклад Юрия Жданова был направлен против него, хотя тот никогда его не вызывал, ни разу с ним не говорил. Значит, поверил наветам вейсманистов. Обвинил Лысенко в нетерпимости к критике, тогда как Трофим Денисович очень внимателен к критике, извлекает из нее всё полезное. Обвинил в том, что Лысенко нетерпим ко всем направлениям в науке, кроме своего собственного, тогда как он, напротив, содействует всем направлениям учения Мичурина и Вильямса. Что же до антимичуринских направлений, то он развивать их не может, но и подавлять, к сожалению, не может: для этого у него мало сил.

Отвергнув все упреки Ю.А.Жданова в свой адрес, Лысенко оговаривался, что у него под рукой только свои торопливые записи, а не полный текст доклада. Умная предосторожность: если что не так, можно сослаться на отрывочность своих записей.

Сталину письмо товарища Лысенко тотчас было доложено. С ответом *корифей всех наук* не спешил.

Через три томительных недели пришел косвенный ответ – от министра сельского хозяйства И.А.Бенедиктова: пакет со стенограммой доклада Юрия Жданова. Как это понимать?

11 мая 1948 г., Т.Д.Лысенко – И.А.Бенедиктову: «Возвращаю стенограмму “Спорные вопросы дарвинизма”. Считаю своим долгом заявить, что как в докладе, так и в исправленной

стенограмме (где ряд мест немного сглажен против того, что, на слух мне казалось, было в докладе) докладчиком излагаются от себя давнишние наговоры на меня антимичуринцев – морганистов-менделистов.

Такая критика делается в секрете от меня, с тем чтобы я не смог ни устно, ни в печати возразить и опровергнуть. В исправленной стенограмме не указываются ни названия моих работ, ни страницы, из которых берутся цитаты. Поэтому читатели не имеют возможности сопоставить высказывания докладчика по тому или иному вопросу с моими высказываниями. Для пользы сельскохозяйственной науки и практики прошу поставить вопрос об освобождении меня от должности президента [ВАСХНИЛ] и дать мне возможность проводить научную работу. Этим самым я смог бы принести значительно больше пользы как нашей сельскохозяйственной практике, так и развитию биологической науки мичуринского направления в различных ее разделах, в том числе и для воспитания кадров научных работников»[940].

Понятно, что хотя письмо адресовано Бенедиктову, о нем тотчас было доложено Сталину. И снова никакого ответа…

Корифей в нерешительности?

Молодому Жданову он симпатизирует: скоро женит его на своей дочери Светлане. Но своеволия терпеть нельзя, тем более в аппарате ЦК. Спустишь одному, будет соблазн для других. Лысенко – свой, колхозный, народный. Мичуринская установка – единственно правильная, нужная партии установка. Когда партия начала его поддерживать? В 35-м? Нет – гораздо раньше! Сколько *низкопоклонников* «мировой науки» пришлось укатать в крутые горки, расчищая ему дорогу! Маркс учил, что единой науки нет и не может быть. Наука есть пролетарская и буржуазная, советская и антисоветская. Возможно ли примирение между ними? Нет, невозможно! Прав беспартийный Лысенко, а не молодой партиец Юрий Жданов. Пусть ему это будет уроком. И Жданову-старшему пойдет на пользу. Он слишком о себе возомнил в последнее время. Вот и Маленков жалуется…

(Маленков, опасаясь усиления позиций Жданова-старшего, пытался подорвать его влияние наездом на Жданова-сына.)

Сталин вызвал Лысенко.

Третьим не лишним на встрече присутствовал А.А.Жданов. Молчал. Делал записи.

Решено провести дискуссионную сессию ВАСХНИЛ. Организовать ее надо *по-партийному*. То есть свободно, но с заранее известным результатом. Подготовка должна идти в тайне. Раньше времени никто ни о чем не должен знать.

Как же получилось, что завотделом науки ЦК выступил против генсека?

Юрий Жданов утверждал, что доклад был согласован с его прямым начальником Д.Т.Шепиловым, который возглавил Управление агитации и пропаганды после удаленного Александрова. Но это мало что объясняет: Шепилов не мог одобрить то, что не одобрял генсек.

Похоже, что молодого Жданова ввел в заблуждение сам Сталин. Перед назначением его на пост завотделом науки у них был продолжительный разговор.

«Лысенко – эмпирик, он плохо ладит с теорией. В этом его слабая сторона. Я ему говорю: какой вы организатор, если вы, будучи президентом Сельскохозяйственной академии, не можете организовать за собой большинство».

Ю.Жданов воспринял эти слова как руководство к действию. Даже забыл о шутливом предостережении отца:

– Не связывайся с Лысенко: он тебя с огурцом скрестит!

Покаянное письмо молодого Жданова датировано 7 июля. Целый месяц оно тоже оставалось тайной…

Но что-то просачивалось, сгущалось напряжение. Встревоженные ученые слали письма в ЦК: Маленкову, Жданову, Молотову. В архивном фонде Маленкова В.Д.Есаков обнаружил послания И.И.Шмальгаузена, А.Р.Жебрака, С.И.Алиханяна, Е.В.Бобко, И.М.Полякова.

16 июля большое письмо Сталину направил П.Н.Константинов – о несостоятельности Лысенко как ученого и о его вредоносности как монополиста, подавляющего всех несогласных.

«Такой человек не имеет права быть администратором, а тем более руководителем».

«Он использует права президента [ВАСХНИЛ] для утверждения своего господства в науке».

«Почему с нами никто не хочет считаться?»

«Почему наша официальная критика не отражает мнения научной общественности, а старается угодить Т.Д.Лысенко?»

Константинов перечислил имена ведущих селекционеров, чьими сортами было занято 90 процентов сортовых посевов (Шехурдин, Лисицын, Писарев, сам Константинов…). Ни один из них не был сторонником Лысенко, не работал его методами. Письмо заканчивалось конкретными предложениями:

– Сместить Лысенко с поста президента ВАСХНИЛ.

– Лишить его монопольного контроля над журналом

«Агробиология» и другими изданиями.

– Провести довыборы членов ВАСХНИЛ.

– Реорганизовать ее работу.

Подпись под письмом была столь же внушительна, как его содержание:

Действительный член Всесоюзной академии с.-х. наук имени Ленина, лауреат Сталинской премии, завкафедрой селекции, семеноводства и методики опытного дела Тимирязевской с.х. академии проф. П. Константинов [941].

Ответом на это и другие письма стала Августовская сессия ВАСХНИЛ1948 года.

5.

Сессия проводилась с 31 июля по 7 августа – в пик сельскохозяйственного сезона. Многие ученые разъехались по опытным станциям, а те, кто не был напрямую связан с агрономией, уехали в летние отпуска. Н.П.Дубинин удил рыбу на реке Белой – притоке Волги, в лесной глуши, вне связи с внешним миром. Только 25 августа, в Горьком, куда прибыл на пароходе, чтобы пересесть на поезд в Москву, Николай Петрович увидел в «Известиях» статью о разгроме «антинародного учения вейсманизма-морганизма». «Как будто земля разверзлась у меня под ногами, сердце наполнилось нестерпимой щемящей болью…»

По докладу Лысенко на сессии выступило 56 человек. Восемь из них защищали генетику, 48 – громили. 6:1. Если вспомнить, что на декабрьской сессии 1936 года соотношение было 3:1 в пользу «менделистов-морганистов», то станет понятно, какой славный путь прошла *передавая мичуринская биология* — сквозь *буржуазные* тернии к *пролетарским* звездам.

Суть доклада Лысенко хорошо выражают подзаголовки разделов:

2. История биологии – арена идеологической борьбы;

3. Два мира – две идеологии в биологии;

4. Схоластика менделизма-морганизма;

6. Бесплодность морганизма-менделизма;

7. Мичуринское учение – основа научной биологии.

Заканчивался доклад, как всякие доклады тех лет, победным гимном в честь Ленина и Сталина[942].

Первыми в прениях выступили Ольшанский, Эйхфельд, Якушкин.

Один за другим на трибуну поднимались новоиспеченные академики. Каждый старался превзойти предшественника в

поношении *реакционного* менделизма-морганизма и в восхвалении *передового мичуринского учения во главе с академиком Лысенко.*

Первым «менделистом», прорвавшимся на трибуну, был доктор биологических наук И.А.Рапопорт. Он и на саму сессию *прорвался* по чужому билету: его приглашением не удостоили.

Сейчас об Иосифе Абрамовиче Рапопорте написаны книги, созданы кинофильмы, о нем ходят легенды.

Мне приходилось встречаться с ним, когда я писал свою первую книгу о Н.И.Вавилове, и позднее, когда готовил к изданию в серии ЖЗЛперевод книги Уильяма Ирвина «Дарвин и Гекели: Обезьяны, ангелы и викторианцы». Редакции предложили на выбор три английские книги о Дарвине, и я обратился за консультацией к Рапопорту. Его внутреннюю рецензию мы поместили в книге в качестве послесловия.

Я мало встречал в жизни таких милых, тактичных интеллигентов, как И.А.Рапопорт. Тихий, вежливый, предупредительный, он производил впечатление *божьего одуванчика*, не способного, как говорится, *муху обидеть.*

Не таким он был на Августовской сессии ВАСХНИЛ!

Он родился в 1912 году, студентом выделялся особой талантливостью и способностями к языкам. Он легко овладел английским, французским, немецким, читал на итальянском, самостоятельно выучил иврит. Окончив Ленинградский университет, был принят в аспирантуру Института экспериментальной биологии. Прошел школу Н.К.Кольцова, до конца жизни его боготворил. В Институте генетики прошел школу Германа Мёллера. Подготовил и защитил кандидатскую диссертацию, затем подготовил докторскую. Защиту назначили на конец июня 1941 года. Но грянула война, и, не промедлив дня, Рапопорт ушел добровольцем на фронт. В 1943 году был послан на краткосрочные курсы в Военную академию; оказавшись в Москве, защитил диссертацию, приготовленную двумя годами раньше. В боях дважды был тяжело ранен, потерял глаз. Сбежал из госпиталя в свою часть.

С войны вернулся увешанный орденами, включая орден Суворова, присуждавшийся за успешное проведение крупных военных операций. Трижды был представлен к званию героя, не получил из-за секретной инструкции начальника Главного политуправления А.С.Щербакова: «Награждать представителей всех национальностей, но евреев – ограничительно»[943].

И.А.Рапопорт – основатель важнейшего направления генетики: химического мутагенеза. Независимо от него основателем химического мутагенеза была Шарлотта Ауэрбах –

немецкая еврейка, бежавшая от нацистского режима в Великобританию и работавшая в Эдинбургском университете.

Выступление Рапопорта по докладу Лысенко не было воинственным – оно было просветительским. В зале сидели темные полуобразованные люди, хотя и возведенные в академики. Рапопорт пытался им объяснить азы. Он говорил о том, что некоторые представления генетиков начала века, таких как Бэтсон, Лотси, Иогансен, устарели, никто из современных ученых их не придерживается, уличать их в «идеализме» и других ошибках – это воевать с ветряными мельницами. Он говорил, что взгляды Презента и Лысенко, отрицающих существование *материальных* носителей наследственности, – это и есть идеализм. Он объяснял, что воздействием некоторых химикатов можно в тысячи раз ускорить образование мутаций (химический мутагенез), и это открывает новые перспективы для сельского хозяйства и медицины. Он остановился на полиплоидии, позволяющей увеличить мощь культурных растений, а значит и их урожайность, на «гибридной силе» кукурузы и некоторых других растений. Он говорил, что мировой опыт надо использовать, а не отвергать. «Мы не должны идти по пути простого обезьянничания, но мы обязаны критически и творчески, как учил нас В.И.Ленин, осваивать всё созданное заграницей»[944] (без Ленина, конечно, нельзя было обойтись).

После Рапопорта председательствующий П.П.Лобанов, тоже новоиспеченный академик ВАСХНИЛ, предоставил слово директору Института генетики Армении Г.А. Бабаджаняну Тот начал с того, что будет говорить «непосредственно по выступлению доктора Рапопорта», который якобы противоречил себе: то признавал, что ген – это только «предполагаемая материальная единица», то говорил, что «ген находится в наших руках».

Конечно, путался не Рапопорт, а Бабаджанян. Сначала он *отрицал* наличие генов и мутаций, потом заявил, что все мутации вредные, а потом признал, что бывают и полезные мутации, но – у «бесполезных» объектов. Свою малограмотность Бабаджанян компенсировал издевательством над увечьем оппонента: он-де видит одним глазом то, чего другие не видят двумя глазами.

Когда стенограмму готовили к печати, редактору хватило ума вычистить это оскорбление, но он не доглядел и сохранил реплику Рапопорта: «Но есть полезные мутации, и их много. Почему вы на них закрываете оба глаза?»

Дальнейший *обмен любезностями* стоит воспроизвести.

«Г.А.Бабаджанян: Во-первых, это – полезные мутации на бесполезном объекте.

И.А.Рапопорт: У нас есть средства против туберкулеза и других болезней.

Г.А.Бабаджанян: Вы даете только обещания.

И.А.Рапопорт: А вы даете обещания выводить сорта в два года и своих ошибок не признаете»[945].

Боевой офицер был настроен по-боевому.

Он сидел в первом ряду и вставлял реплики в наиболее вздорные и агрессивные выступления «мичуринцев». На насмешку Н.В.Турбина, что мутации бесполезны для практики, зато полезны для того, чтобы защищать диссертации и получать научные степени, Рапопорт выкрикнул:

– Она [теория мутаций] является лучшей теорией, чем ваша. Обскуранты![946]

Кто-то недовольно спросил в президиуме:

– Откуда взялся этот хулиган?

«Юзик» (так звали Рапопорта близкие и друзья) тотчас отреагировал:

– Из гвардейской 7-й воздушно-десантной дивизии[947].

Когда на трибуне витийствовал И.И.Презент, снова разоблачавший *идеализм, бесплодность* и *реакционность* менделизма-морганизма, Рапопорт выкрикнул из зала:

– Ты врешь, вонючий шакал![948]

Доцент МГУ С.И.Алиханян, один из «морганистов», выступавших на сессии, особо подчеркнул достижения Рапопорта, который «получает почти стопроцентную мутационную изменчивость в результате влияния различных химикалиев». Но Алиханян посчитал нужным извиниться за «чрезвычайно нервного человека, не умеющего себя вести в научной дискуссии»[949].

Сам *Юзик* не извинялся. Кто-то из «мичуринцев» предложил даже вывести его из зала за «хулиганское поведение».

Согласно легенде, когда Презент, имея в виду одну статью Н.П.Дубинина, заявил, что в то время, когда советские люди проливали кровь за свободу и независимость Родины, «морганисты» исследовали влияние войны на наследственность мух-дрозофил, Рапопорт с криком «это кто проливал кровь?» выскочил на трибуну, схватил Презента за горло и стал душить – насилу оторвали.

Этого, конечно, не было. У Дубинина была работа о том, как изменение окружающей среды, вызванное обстановкой войны, изменило направление мутагенного процесса в популяции дрозофил. На сессии ею «возмущался» не Презент, а Якушкин. Он выступал в первый день прений, когда Рапопорт еще на сессию *не прорвался*.

Из «менделистов-морганистов», кроме И.А.Рапопорта и С.И.Алиханяна, выступили П.М.Жуковский, И.М.Поляков, И.И.Шмальгаузен, Б.М.Завадовский, А.Р.Жебрак.

Выступил и академик В.С.Немчинов – как директор Тимирязевской академии, изображавшейся цитаделью менделизма.

Немчинов повторил то, что говорил на *Суде чести*: он осуждает «антипатриотический» поступок профессора АР.Жебрака, но проводит различие между этим поступком и его научной работой. На *уличающий* вопрос из зала, как он относится к хромосомной теории наследственности, Немчинов сказал: «Я могу повторить, да, я считаю, что хромосомная теория наследственности вошла в золотой фонд науки человечества и продолжаю держаться такой точки зрения».

Никого так часто не перебивали, как академика Немчинова. В стенограмме почти каждый абзац сопровождается ремаркой «Шум в зале», «Шум в зале. Смех», «Шум в зале».

«Немчинов: Я не считаю правильным, если А.Р.Жебрак совершил антипатриотический поступок, который получил заслуженную оценку, – что нужно, в связи с этим, закрывать все его работы по амфидиплоидии.

Голос с места: Вам нужно уйти в отставку.

Немчинов: Возможно, что мне нужно уйти в отставку. Я за свое место не держусь. (Шум в зале.)

Голос с места: Это и плохо.

Немчинов: Но я считаю свою точку зрения правильной, и агрессивный характер выступлений и действий, направленных на запрещение работ АР.Жебрака, я считаю неправильным»[950].

Последним в прениях выступал И.И.Презент. Лихо пройдясь по выступавшим *морганистам*, он «взял в оборот» академика В. С. Немчинова.

«И.И.**Презент:** К сожалению, тлетворное влияние морганизма проникло в среду небиологов. Морганизм проявляет свое вредное влияние и на некоторых философов, которые обязаны иметь правильную точку зрения на имеющие идеологическое значение вопросы биологии (аплодисменты), если даже академик Немчинов, не генетик, а статистик, если даже он имеет свою точку зрения по вопросам морганизма. (Смех, аплодисменты.)

В.С.Немчинов: А почему я не должен ее иметь?

И.И.Презент: Я говорю не в упрек, а в похвалу тому, что вы имеете свою точку зрения, хотя в упрек тому, что вы имеет именно такую точку зрения. (Смех.)»[951]

Глумление – оружие пролетариата. Как заметила Р.Л.Берг, «порок еще не порок, пока он тайный. Истинная порочность выставляет себя напоказ»[952].

Через день после окончания сессии академик Немчинов был смещен с поста директора Тимирязевской академии, сменил его В.Н.Столетов – ставленник Лысенко, будущий министр Высшего и среднего специального образования РСФСР, завкафедрой генетики МГУ, рецензент моей первой книги о Николае Вавилове.

7.

Зная о недавнем выступлении Юрия Жданова, некоторые генетики все еще наивно полагали, что весь шабаш – это личная инициатива Лысенко. Утром 7 августа, перед заключительным заседанием сессии, в «Правде» появилось покаянное письмо Юрия Жданова, написанное месяцем раньше. Тайное стало явным.

Лысенко начал свое *Заключительное слово* с ответа на вопрос, якобы заданный ему в одной из записок: «Каково отношение ЦК партии к моему докладу. Я отвечаю: ЦК партии рассмотрел доклад и одобрил его». (Бурные аплодисменты, переходящие в овацию. Все встают.)

Товарищ Сталин не только одобрил доклад Лысенко, но лично его проредактировал. Имеется рукопись с его поправками и уточнениями. Так что «дискуссия» на Августовской сессии оказалась хорошо подготовленной провокацией.

Генетики были подавлены, раздавлены, напуганы. Особенно те, кто выступал на сессии. Судьба Н.И.Вавилова, Карпеченко, Левитского, других коллег была свежа в памяти.

Когда отгремели аплодисменты, *униженные и оскорбленные* потянулись к трибуне.

П.М.Жуковский долго объяснял, что «пересмотрел» свои позиции еще вчера вечером, до публикации покаянного письма Юрия Жданова. Просил верить в то, во что поверить было невозможно: его покаяние искреннее и добровольное. Далее он сказал то, что *требовалось сказать*, чтобы попытаться спасти свою кафедру и, может быть, жизнь. Горькая ирония: когда он произнес *не свои* слова и *не своим* голосом, раздались продолжительные аплодисменты…

В кругу учеников и друзей Жуковский говорил: «Я заключил с Лысенко Брестский мир. Похабный мир»[953].

С покаянными речами выступили С.И.Алиханян и И.М.Поляков.

Антон Романович Жебрак не выступил, но затем опубликовал

покаянное письмо в газете. В нем говорилось, что он, профессор Жебрак, придерживался научных взглядов, которые считал правильными до тех пор, пока партия допускала разные точки зрения на природу наследственности. Теперь, когда партия заняла однозначную позицию, он, как коммунист, считает себя обязанным подчиниться ее решению и перейти на позиции «мичуринцев». В переводе с партийного *новояза* это означало, что на вопрос «Жизнь или кошелек?» он отдал кошелек, но тут же добавил: «А все-таки она вертится!»

Это было *галилеево отречение*, которое потрясло 15-летнюю Музу Раменскую.

Но это уже после сессии.

А на самой сессии еще один «менделист-морганист» попросил слова: И.А.Рапопорт. Можно представить себе, с каким злорадством ухмылялись Лысенко, Презент и другие «мичуринцы», пока он поднимался на трибуну. Сдрейфилта-ки бесстрашный вояка из *7-й гвардейской дивизии*\

…Юзик осмотрел зал единственным глазом и сказал, что прошедшая сессия – это средневековая инквизиция и охота на ведьм; он, Рапопорт, ни от одного слова не отказывается.

Тут в его единственный глаз ударил луч прожектора. То ли специально был направлен на него, то ли началась киносъемка.

Прикрывая глаз рукой, он сошел с трибуны.

Безумство храбрых.

8.

Понятно, что *последнее* слово Рапопорта в стенограмму Августовской сессии не вошло. Оно тоже обросло легендами. Его передавали «очевидцы», видевшие, как он, с *черной* повязкой на глазу, поднялся на трибуну и произнес свои дерзкие слова. Увы, эта пиратская повязка выдает «очевидцев». Когда мне приходилось общаться с Иосифом Абрамовичем, у него на глазу всегда была белая марлевая повязка безукоризненной чистоты. Сейчас опубликовано множество его фотоснимков, сделанных в самые разные годы, от самых ранних, в военной форме, в полевых условиях, до самых последних. Черную пиратскую повязку он никогда не носил.

После сессии ВАСХНИЛРапопорта обрабатывали в парткоме, райкоме, в более высоких партийных инстанциях. Добивались хотя бы формального признания «ошибок». Грозили исключить из партии, давали понять, что возможны и более суровые кары. Он отвечал, что в партию вступил на фронте и предпочитает быть

исключенным сейчас, чем потом, когда туман рассеется, все поймут, на чьей стороне правда, и его будут исключать за то, что он от нее отрекся.

Туман рассеется очень нескоро.

О том, как затуманено было общественное сознание, особенно выразительно говорят залихватские народные частушки: их распевали в домах культуры, в концертных залах, в деревенских клубах, они часто звучавших по радио:

Веселей играй, гармошка,
Мы с подружкою вдвоем
Академику Лысенко
Величальную поем.

Он мичуринской дорогой
Твердой поступью идет,
Морганистам, вейсманистам
Нас дурачить не дает.

Академиком Лысенко
Все колхозники горды.
Он во всех краях отчизны
Учит нас растить сады.

Перестраивать природу
Нам в стране своей пришлось,
Чтоб советскому народу
Благодатнее жилось.

После смерти Сталина монопольное положение Лысенко в науке пошатнулось, но ненадолго. Новым покровителем «мичуринской биологии» стал Н.С.Хрущев. Только после его устранения с поста генсека – в октябре 1964 года – Трофим Денисович перестал быть монополистом. Сразу оказалось, что все его теории порождены дремучим невежеством, экспериментальные данные подтасованы, начинания, введенные в практику, принесли многомиллионные убытки.

Но до этого оставалось еще долгих полтора десятка лет.

Из партии И.А.Рапопорта исключили, с работы уволили. С большим трудом он устраивался в какие-то поисковые геологические партии, но и из них его изгоняли. Скитался с ними по стране восемь лет.

В 1957 году академик Н.Н.Семенов, директор Института физической химии, основал лабораторию химического

мутагенеза, возглавить ее пригласил Рапопорта. Могучий авторитет академика Семенова, нобелевского лауреата, вице-президента Академии наук, ограждал лабораторию от покушений лысенковцев.

В 1962-м Нобелевский комитет решал вопрос о присуждении премии по медицине. Первыми в списке кандидатов стояли основатели химического мутагенеза Иосиф Абрамович Рапопорт и Шарлотта Ауэрбах. В Комитете помнили, сколь болезненной была реакция советских властей на присуждение премии по литературе Борису Пастернаку. Дабы избежать нового политического скандала, провели зондаж. Рапопорта пригласили в ЦК партии и дали понять, что поддержат присуждение ему Нобелевской премии, если он подаст заявление о восстановлении в партии. Он ответил, что на выход из партии он заявления не подавал, но его исключили. Если хотят восстановить, пусть это сделают без его заявления.

Все попытки убедить, уговорить, припугнуть не действовали. Посулы и перспективы, связанные с нобелевским лауреатством, не соблазняли.

Кремль ответил Нобелевскому комитету, что присуждение премии Рапопорту считает «преждевременным». Побочной жертвой его непреклонности стала Шарлотта Ауэрбах.

На излете советской эпохи Рапопорт был избран членом-корреспондентом Академии наук, ему была присуждена Ленинская премия, присвоено звание Героя труда. Было за что.

На основе его мутагенных форм культурных растений было выведено около 400 районированных сортов; лекарственные препараты, созданные на той же основе, тысячам людей сохранили здоровье, многим спасли жизнь.

Иосиф Абрамович погиб трагически: его *достала* война. Торопясь на какое-то заседание, он перебегал дорогу и не увидел автомобиля, мчавшегося с левой стороны, где у него не было глаза… Травмы оказались роковыми… Это произошло в 1990 году. В 78 лет он был еще полон сил и энергии.

Мефистофель и Фауст

1.

О том, что 31 июля началась сессия *Малой* академии, ни в тот, ни на следующий день президент *Большой* академии понятия не имел. Известить его не посчитали нужным. Новость привез 2 августа сын Виктор. Он был заядлый охотник; прежде чем явиться на дачу к родителям, настрелял уток. Вместе с утками привез свежие газеты. Сергей Иванович в тот день записал: «В “Культуре и жизни” делается выговор за н[аучно]-популярную] серию в Академии, в ЛитГаз[ете] дифирамбы Лысенке. Завтра сам еду в Москву. Сегодня болела голова и почему-то тошнило».

Газета «Культура и жизнь» была органом Управления пропаганды ЦК, «выговор» в ней был тревожным симптомом. Но «триумфы Лысенко», свидетелем коих Сергей Иванович стал в Москве, заслонили всё остальное. Он вернулся на дачу «усталый и простуженный», в следующие дни всё валилось из рук, «небо с тучами и как-то всё нескладно».

Августовская сессия осталась позади, а круги от нее расходились все дальше и, вопреки законам физики, становились все круче. В газетах «изощренная лысенковская свистопляска. Вальпургиева ночь. <…> К вечеру опять газеты с лысенкиадой».

Заседание секретариата ЦК. Председательствует Маленков. Три доклада: министра высшего образования С.В.Кафтанова, министра сельского хозяйства И.А.Бенедиктова, президента Академии наук С.И.Вавилова. Он должен докладывать об «антимичуринцах» в *Большой* академии.

Совсем недавно Президиум принял решение о развертывании лаборатории Н.П.Дубинина в Институт генетики и цитологии – теперь об этом не могло быть речи: лабораторию требовалось ликвидировать. Академика И.И.Шмальгаузена, крупнейшего ученого-дарвиниста, – снять с поста директора Института эволюционной морфологии. Академика Л.А. Орбели, общепризнанного главу Павловской школы, – удалить с поста академика-секретаря биологического отделения.

В докладе Кафтанова дважды упомянут Николай Вавилов: как зачинатель морганизма-менделизма и как учитель Шмальгаузена. Всем известно, что Шмальгаузен – ученик лесовода АН.Северцова; к репрессированному Н.И.Вавилову его *пристегнули* с очевидной целью: набросить на него еще более зловещую тень. Да и президенту *Большой* академии нелишне дать понять: если

посмеет притормаживать акции против морганистов, родство с *врагом народа* ему быстро припомнят.

«В воздухе страшная сырость, душно, трудно дышать» – так завершает Сергей Иванович дневниковую запись об этой трехдневной пытке.

12 августа, четверг, Мозжинка: «Опять вызвали в Москву, в ЦК. Разговор с Маленковым и Шепиловым о том же. Жара, душно. Дышать трудно».

13 августа, пятница, Мозжинка: «Сегодня в Москву не съездил. На душе мутный, грязный осадок. Еще один жизненный перелом. Хочется вон из жизни. По-прежнему душно».

Душно… Дышать трудно… Трудно дышать…

Таков рефрен его записей в том жутком, жарком, *удушающем* августе.

Он задыхался в смраде торжествующего лысенкизма.

14 августа, суббота, Мозжинка: «Опять Москва. Совещание у Маленкова. Лысенко, Бенедиктов, Кафтанов, Орбели. Вспомнился мне момент в августе 1939 г. в Ленинграде, когда очень хотелось броситься в лестничный пролет вниз головой. Все же XX век. Прошли и Галилей, и Ньютон, и Ломоносов.

Такие вещи возможны только на религиозной почве. Естествознание?! Как будто бы вся жизнь прожита неизвестно зачем. Всё заплевано и растоптано сапогом».

16 августа, понедельник, Мозжинка: «Надо сейчас в Москву на очередное мучение. Опять Шепилов и Лысенко. У Бруевича умерла жена. Внизу по саду Олюшка носит внука Сережу. Бедняга, неужели и ему такое же предстоит. А мне так хочется незаметно и тихо уйти из мира, без скандалов, a l'anglaise [по-английски]».

18 августа, среда, утро, Мозжинка: «В понед[ельник] секретариат ЦК. Снова о Лысенке. <…> Как мучительна фальшь, превращение людей в заводные аппараты. Всё становится мелким, ненужным, поддельным. Плохое лицедейство вместо творческой живой деятельности».

21 августа, суббота, Мозжинка: «Вчера был опять в Москве. Говорил с Орбели о надобности его отставки. Ковда намекнул, что есть желающие и моей отставки. Молю об этом судьбу. <…> Хотелось бы дожить последние годы с тихой думой и с лицом, обращенным ко Всему, а не к Лысенке».

Ковда намекнул… Ведь это тот самый Виктор Абрамович Ковда, который двадцать лет спустя объяснял мне, что книга о Николае Вавилове не может быть издана в *свете чехословацких событий.* В 1948-м он еще не был членкором, но уже был в аппарате Президиума Академии наук. Член партии с 1927 года.

Это многое объясняет.

2.

23 **августа, понедельник, Мозжинка:** «Вся эта история совершенно выбивает почву из-под ног. Наука теряет смысл».

25 августа, среда, утро, Мозжинка: «Вчера в Москве с **1** до 6 президиум в стиле “Mea culpa” [моя вина] с очень неудачным, с этой точки зрения, докладом Л.А.Орбели с намеками на “вину руководства”, т. е. меня. Рассказали историю про смерть жены Благонравова в санатории в Сочи от электрического удара (заземление, лампа). Очень завидно».

26 августа, четверг, ночью, Мозжинка: «Вчера и сегодня опять в Москве и опять то же. Министры, Шепилов из Ц.К. Звонили из Ц.К. Мое заключительное слово. Всё так грустно и стыдно».

Грустно и стыдно!

Три дня длилось расширенное заседание Президиума *Большой* академии – по итогам сессии *Малой* академии. Президент должен был председательствовать, произносить вступительное и заключительное слово. Ставить на голосование «приветствие товарищу Сталину». В нем признавалась «серьезнейшая ошибка» Академии: она «поддерживала менделевско-моргановское направление в ущерб передовому мичуринскому». Надо было оформлять, узаконивать цековские решения о ликвидации лаборатории Дубинина, удалении Шмальгаузена, Орбели. Новый академик-секретарь – А.И.Опарин, бывший заместитель Орбели, всегда и во всем с ним согласный, но теперь переметнувшийся к Лысенко.

Может быть, самым мучительным для Сергея Ивановича был юбилей Лысенко: ему стукнуло пятьдесят.

3 октября, воскресенье, Москва: «Вчера на юбилее Тр. Денисовича. Тут по законам диалектики наука превращалась в свою противоположность. Это с ясностью раскрывалось в докладе академика Презента, вещавшего о новой лысенковской науке, не объясняющей, а изменяющей природу, о распоряжениях, совпадающих с законами природы. Густо наполненный зал. Гора кожаных адресов. Мичуринские яблоки. Одни и те же слова многие десятки раз».

Сказаться больным и не пойти? Нельзя. Воспримут как демонстрацию.

«Снова приходится повторить – почва выбита из-под ног и

чувствую себя мухой, которая может прилипнуть к листу, или еще как-нибудь исчезнуть каждую минуту».

Раньше он ощущал себя вороной в павлиньих перьях, теперь – мухой на липучей бумаге…

«Для чего жил? Чтобы узнать и понять. И действительно, многое понял».

Понял и ужаснулся.

Было *стыдно и грустно.*

И *страшно*\

Торжествовала распутинщина. Академия, как обычно, отбивалась от изобретателей «вечных двигателей» и иных чудес, призванных осчастливить диктатуру пролетариата и трудящихся всего мира. Теперь безграмотные прожекты все чаще сопровождались угрозами *изобличить* реакционеров, вредителей, засевших в Академии наук, организовать *дискуссию* по образцу Августовской сессии ВАСХНИЛ. В Горках Ленинских, в лысенковском «экспериментальном хозяйстве», были запрещены латинские названия растений…

3.

Издевательства Мефистофеля становились все более изощренными.

В конце ноября на имя президента Академии наук пришло два письма из-за границы – от почетного академика Генри Дейла и члена-корреспондента Германа Мёллера.

Генри Дейл напоминал, как был избран в Академию наук СССР и как Лондонское королевское общество избрало своим почетным членом академика Н.И.Вавилова. Писал о том, что хотя в Лондоне позднее стало известно, что Н.И.Вавилов впал в немилость, но причина было неизвестной и можно было полагать, что опала не связана с его научной деятельностью.

«Недавние события, о которых теперь получены полные сведения, осветили то, что случилось. Покойный Н.И.Вавилов был заменен Т.Д.Лысенко, проповедником доктрины эволюции, которая по сути дела отрицает все успехи, достигнутые исследователями в этой области со времен, когда в начале XIX столетия были опубликованы рассуждения Ламарка. Хотя труды Дарвина все еще формально признаются в Советском Союзе, его основное открытие будет теперь отвергаться. Все великие построения точного знания, которое продолжает расти усилиями последователей Менделя, Бейтсона [Бэтсона] и Моргана, подлежат отрицанию и поношению, и последние немногие, кто

еще содействовал его созданию в СССР, теперь лишены своего положения и возможностей.

Это – не результат честного и открытого конфликта научных мнений. Из предъявлений и заявлений самого Лысенко ясно, что его догмат установлен и насильно введен Центральным Комитетом коммунистической партии как отвечающий политической философии Маркса и Ленина. Многие из нас, г-н Президент, с гордостью считали, что в науке, общей для всего мира, нет политических границ или национальных разновидностей. Однако теперь эта наука должна быть отделена от “советской науки” и порицаема как “буржуазная” и “капиталистическая”.

Постановления, изданные Президиумом Вашей Академии 27 августа текущего года, являются ясным выражением этой политической тирании. Мой старый уважаемый друг академик Орбели, выдающийся нейрофизиолог, последователь школы вашего великого Павлова, снят с поста секретаря отделения биологических наук Вашей Академии за то, что он не сумел предвидеть Ваши постановления, ограничивающие всю исследовательскую и преподавательскую работу в области генетики. Время покажет, потребуется ли такое подчинение догме и в других отраслях науки. Пока нам известно только то, что генетика, которую поощрял Ленин, теперь запрещается как чуждая политическая философия.

С тех пор как Галилей угрозами был принужден к своему историческому отречению, было много попыток подавить или исказить научную истину в интересах той или иной чуждой науке веры, но ни одна из этих попыток не имела длительного успеха. Последним потерпел в этом неудачу Гитлер. Считая, г-н Президент, что Вы и Ваши коллеги действуете под аналогичным принуждением, я могу лишь выразить Вам мое сочувствие.

Что касается меня самого, пользующегося свободой выбора, я верю, что я оказал бы дурную услугу даже моим коллегам по науке в СССР, если бы я продолжал связь, которая казалась бы в согласии с действиями, согласно которым Ваша Академия теперь ответственна за тот ужасный вред, нанесенный свободе и целостности науки, под каким бы давлением это ни было сделано.

С глубоким сожалением я должен просить Вас исключить меня из числа почетных членов Вашей Академии».

Письмо Генри Дейла было опубликовано в газете «Таймс», а на русском языке – в газете посольства Великобритании в Москве «Британский союзник»[954].

Аналогичным было письмо Германа Мёллера.

Отвечать им должен был президент Академии Сергей Иванович Вавилов…

Конечно, он ни слова не мог им написать о том, что думал, что лежало на сердце. Даже скрыть свои мысли *по-своему* он тоже не мог.

А волны всё выше, а волны всё круче…

На кафедре физики МГУ зашевелись последователи А.К.Тимирязева. Нужна «дискуссия» по образцу сессии ВАСХНИЛоб «идеализме» в физике. Затея одобрена в ЦК. Но чтобы «процесс пошел», инициатива должны исходить от… президента Академии наук С.И.Вавилова!

Его письмо Маленкову (совместно с С.В.Кафтановым) датировано 3 декабря, а решение секретариата ЦК принято 4-го. Ясно, что всё было заранее решено в ЦК, письмо нужно было как формальный повод.

12 декабря 1948 г., Москва: «Каждый день **Ц.К.** (Шепилов, Кузнецов, Жданов) об отчетах Мэллеру [Мёллеру] и Г.Дэлю [Дейлу], об академике-секретаре, о самобичевательном физическом совещании».

31 декабря, подводя, как обычно, итоги года, Сергей Иванович записал: «Кончаю год с тяжелой головой, растерянностью и стопроцентным материализмом. Порвались почти все нити, удерживающие в жизни. <…> “Весенняя” погода. В комнате жарко и душно. Никакого творческого подъема. Тупо и безразлично. А люди? Каждый сделал и готов к какой-то гадости. Кажется, за всю жизнь не кончил года так печально и безнадежно».

Что и говорить, более изощренного издевательства, чем «самобичевательное физическое совещание», даже Мефистофель придумать не мог.

22 января 1949 г., суббота, Мозжинка: «Свистопляска с “физическим совещанием”. Я основной докладчик. На “Моховом болоте” [здание МГУ на Моховой улице] готовятся к атакам всякие Кессельнихи, Иваненки, Путиловы [В.Н.Кессельних, Д.Д.Иваненко, К.А.Путилов]».

Три раза в неделю Сергея Ивановича таскают в ЦК. Сценарий разрабатывается во всех деталях. Состав участников «дискуссии», докладчиков, содокладчиков, кто, как и в какой очередности выступит в прениях.

Совещание намечено на январь, но подготовить не успели и перенесли на февраль. Потом, по предложению С.И.Вавилова, – на конец марта.

Сам он подготовил доклад: «Философские проблемы современной физики и задачи советских физиков». Бурное

обсуждение шло три дня. Признан недостаточно боевитым. «С.И.Вавилов представил второй вариант доклада, даже согласился изменить его название на “Идеологические проблемы…”, но сделал в тексте лишь минимальные изменения»[955].

И вдруг его осенило! Он предложил ликвидировать должность ученого секретаря Академии и вместо нее учредить ученый секретариат. Идея понравилась, ее одобрил Сталин. Главным ученым секретарем стал А.В.Топчиев – по «странному» совпадению, именно он возглавлял оргкомитет «физического совещания» и был его главной движущей силой. Учеными секретарями стали завотделом науки ЦК Юрий Жданов, еще нескольких деятелей, жаждавших порулить наукой. Когда их амбиции были удовлетворены, надобность в обсуждении «идеологических проблем физики» как-то сама собой заглохла. Помогло также вмешательство И.В.Курчатова: он заявил, что публичная дискуссия по проблемам физики потребует рассекречивания работ по атомной энергетике. То была одно выигранное сражение в безнадежно проигранной большой войне.

4.

Президент Академии наук избирался на 5 лет. В 1950-м должны были быть перевыборы. Сергей Иванович заблаговременно написал письмо Сталину. Просил пересмотреть дело брата Н.И.Вавилова, реабилитировать его, иначе ему будет трудно остаться президентом на новый срок. Сталин переслал письмо Берии, тот наложил резолюцию: «Отказать». Сергея Вавилова избрали президентом на следующее пятилетие. Он не перечил.

Маленькие победы продолжали сочетаться с крупными поражениями.

Вероятно, самое большое из них – Павловская сессия Академии наук и Академии медицинских наук.

Предотвратить ее Сергей Иванович не смог и должен был на ней председательствовать – на пару с президентом Медицинской академии Н.Н.Аничковым. Конфиденциальное признание Аничкова: «Жили мы в страшное время, все боялись, стали трусами и подлецами. Вот я любил и уважал Леона Абгаровича Орбели. Его критиковали, унижали, оплевывали! Я слушал речи критиков и боялся выступить в его защиту. Был я – подлецом»[956].

В дневниковых записях Сергея Ивановича Павловская сессия

оставила три малозаметных следа.

25 июня 1950 г., воскресенье, Мозжинка: «Полно цветов, клубники, земляники. Бегает маленький Сережа, в которого ум влезает все больше. А я искалеченный, еле дышу, проверяю “вступительное слово” [на Павловской сессии], смотрю журналы, впереди Энциклопедия, бездарные казенные рукописи. Деквалифицируюсь, глупею, слабею. Философия? Павловская».

2 июля, воскресенье, Мозжинка: «Почти всю неделю днем и вечером перед глазами наполненный зал Дома ученых. Ломятся как на футбол. Физиологическая сессия. Утром (через многие часы) на сетчатке рельефные отпечатки человеческих лиц с глазами и ушами. Это давнее мое наблюдение. Многие сотни павловских систем, многоголовой бездарности. <…> Бездарная, аморальная толпа без новых мыслей. <…> В голове у меня – хаос, усталость, меланхолия».

9 июля, воскресенье, Мозжинка: «Еще неделя. Разбитый и одурелый. Физиологическая сессия. Языкознание. Востоковедение. <…> Сотни неприятных мелочей и в голове ничего творческого».

На сессии добивали главу Павловской школы академика Л.А.Орбели. Устраненный с поста вице-президента и академика-секретаря, он оставался директором двух ведущих институтов высшей нервной деятельности в Академии наук, был главным редактором «Физиологического журнала», руководил научной и учебной работой в вузах… После Августовской сессии ВАСХНИЛ «от Орбели потребовали не только продумать и изменить план генетических исследований, но и пересмотреть состав своих сотрудников, вплоть до увольнения некоторых из них (И.И.Канаев, Р.А.Мазинг). Орбели не только не сделал этого, но и ввел в свой штат уволенного из Ленинградского университета генетика М.Е.Лобашёва. Вопреки мнению Орбели, в Колтушах все-таки последовал ряд мероприятий: снятие с пьедестала бюста Г.Менделя и “’увольнение” мушек-дрозофил»[957].

Подготовкой Павловской сессии руководил лично Сталин. С основными докладами выступили академик К. М. Быков и академик Медицинской академии А.Г.Иванов-Смоленский. Л.А.Орбели был «разоблачен» как антипавловец. Остракизму подверглись академик И.С.Бериташвили (Беритов), снятый со всех постов, академик Л.С.Штерн, уже сидевшая на Лубянке по делу Еврейского антифашистского комитета, профессор П.К.Анохин, академик А.Д.Сперанский. Но главный удар был направлен на Л.А.Орбели.

Во вступительном и заключительном слове Сергей Иванович

Вавилов ни слова не сказал по существу дискуссии, зато усердно славословил *корифея всех наук* товарища Сталина.

О том, как он относился к этому славословию, говорит эпизод, произошедший в том же 1950 году, вероятно, незадолго до Павловской сессии.

В издательстве Академии наук готовилась к печати биография Гёте известной писательницы Мариэтты Шагинян. Автор популярных романов, серии книг о семье Ульяновых, она была также знатоком немецкой философии, литературы, культуры.

Редактор издательства обнаружил в ее рукописи страшное упущение: в ней не приводилось знаменитое высказывание товарища Сталина о сказке М.Горького «Девушка и смерть»: *«Эта штука сильнее “Фауста” Гёте. Любовь побеждает смерть».*

Вместо того чтобы с готовностью восполнить пробел, писательница объяснила редактору, что хотя она преклоняется перед гением товарища Сталина, но в этом конкретном пункте она с ним не согласна. Спор перешел в кабинет заведующего редакцией, затем главного редактора, затем директора издательства. Шагинян стояла на своем. (Удивительно, что на упрямую авторшу никто не донес.) Спор был перенесен в кабинет президента Академии наук: административно издательство подчинялось ему.

Мариэтта Шагинян была наслышана о Сергее Ивановиче Вавилове как о тонком, широко образованном интеллектуале, хотя, вероятно, не знала, что «Фауст» был с юности его настольной книгой. Уж он-то должен был понять, насколько нелепа *«эта штука»* в книге о Гёте!

Пока директор издательства *докладывал вопрос*, писательница с надеждой вглядывалась в утомленное интеллигентное лицо президента Академии наук. И видела, как оно – каменеет!.. Она поняла, что и здесь не найдет поддержки. Это была последняя инстанция, выше идти было некуда: не самому же *корифею* писать жалобу!

Ее охватило отчаяние, она разрыдалась.

Окаменевшее лицо Сергея Ивановича мгновенно ожило, он быстро встал, подошел к ней, молча поднял ее за руки, так же молча вывел в заднюю комнату, плотно прикрыл дверь и тихо сказал:

– Мариэтта Сергеевна, дорогая, не расстраивайтесь, успокойтесь! Помните, что сказал Савельич Гриневу, когда Пугачев потребовал, чтобы тот поцеловал его царскую руку? «Плюнь, батюшка, да поцелуй!» Так и вы. Плюньте и поцелуйте!

Она успокоилась. Книга вышла в том же 1950 году. Из

последующих изданий «эта штука» исчезла[958].

5.

31 июля 1950 г., Мозжинка: «Думы печальные. Ясна случайность самого себя, мог бы и не быть, могу быть каждую минуту раздавленным, как Карахан[959], как другие. Lebensfreude [радость жизни] отсутствует. Жизнь несу как долг, как обязанность и каждый прожитый день провожаю с удовольствием, еще одним днем меньше. Трудно так жить. Да и машина собственная разваливается. Чувствую теперь это постоянно. Зачем навалились на меня все чины и звания».

Похоже, что Мефистофель, наконец, насытился. Вынул из Фауста всё, что тот был ему должен, согласился, что Фауст полностью с ним рассчитался.

Пришла пора его *отпустить*…

«Совет Министров СССР и ЦК ВКП(б) с глубоким прискорбием извещают, что 25 января 1951 года в Москве на 60 году жизни после тяжелой болезни скончался президент Академии наук Союза Советских Социалистических Республик, депутат Верховного Совета СССР, председатель Всесоюзного общества по распространению политических и научных знаний, главный редактор Большой Советской Энциклопедии, дважды лауреат Сталинской премии академик Сергей Иванович ***Вавилов.***

Советский народ в лице академика ***С.И.Вавилова*** *потерял крупнейшего ученого и выдающегося государственного и общественного деятеля.*

Все свои силы и знания академик С.И.Вавилов отдал беззаветному служению Родине, советской науке, великому делу коммунизма».

6.

Я помню газетные страницы в траурных рамках, с фотоснимками почетного караула у гроба президента Академии наук Сергея Ивановича Вавилова в Колонном зале Дома Союзов. Государственному ученому – государственные похороны. Мне было 12 лет, я скорбел со всем советским народом.

О другом академике Вавилове я по малолетству ничего не знал. О его кончине – почти в тот же день, на восемь лет раньше, газеты никогда не сообщали. Моему поколению не было известно

о том, что такой ученый существовал. А тем, кто был старше и помнил, надлежало забыть.

В честь усопшего президента Академии была названа улица – в самом «научном» районе Москвы: улица Вавилова. Не Сергея Вавилова, не С.И.Вавилова – просто Вавилова. Другого Вавилова убрали из жизни, и его надлежало убрать из людской памяти, убрать из истории.

1967 год. По поручению Вавиловской комиссии Академии наук могилу Николая Ивановича Вавилова на саратовском кладбище пытались отыскать профессор Ф.Х.Бахтеев и профессор Саратовского университета С.С.Хохлов.

Начальник саратовской следственной тюрьмы В.В.Андреев познакомил их с пенсионером А.И.Новичковым: в 1943-м тот работал в похоронной бригаде саратовской тюрьмы.

Он рассказал, что к ноге каждого покойника привязывали бирку с номером, без имени и фамилии. Могилы равняли с землей, опознавательных знаков не ставили, потому указать точное место погребения Вавилова он не мог. Показал только участок кладбища, где хоронили зэков.

По словам Новичкова, Н.И.Вавилов «в порядке исключения был похоронен в отдельном гробу переодетым в чистое белье». Это плохо вяжется с тем, что им же было рассказано.

Декабрь 1985, В.П.Эфроимсон: «Он не погиб. Он – сдох! Сдох как собака. Сдох он от пеллагры – это такая болезнь, которая вызывается абсолютным истощением. Именно от этой болезни издыхают бездомные собаки… Так вот: великий ученый, гений мирового ранга, гордость отечественной науки, академик Николай Иванович Вавилов сдох как собака в саратовской тюрьме… И надо, чтобы все знали и помнили это… Палачи, которые правили нашей страной, – не наказаны. И до тех пор, пока за собачью смерть Вавилова, за собачью смерть миллионов узников, за собачью смерть миллионов умерших от голода крестьян, сотен тысяч военнопленных, пока за эти смерти не упал ни один волос с головы ни одного из палачей – никто из нас не застрахован от повторения пройденного»[960].

На этом бы поставить точку. Но я не могу завершить книгу на такой печальной ноте. Это было бы несправедливо. Ибо историю переиначить нельзя. Это оказалось не под силу даже одному из величайших Мефистофелей всех времен и народов, корифею всех наук и лучшему другу велосипедистов, товарищу Сталину.

«На сегодня именем Н.И.Вавилова названы 19 таксонов

культурных растений и их диких сородичей, ледник на Памире, малая планета, высшие учебные заведения, исследовательские институты РАН и РАСХН, улицы ряда городов России и стран СНГ, корабль и самолет-аэробус. Учреждены премия им. Н.И.Вавилова (РАН) и золотая медаль им. Н.И.Вавилова (РАСХН). Сейчас историческая значимость пионерских работ Н.И.Вавилова стала общепризнанной в мировом масштабе. Генный банк Бразилии и Бюро растениеводства в Индии носят его имя. В кабинетах директоров генных банков США, Венгрии, Португалии и других стран висят портреты российского ученого, и это не случайно: он – основатель важнейшего глобального научного направления – изучения и сбора генетических ресурсов растений, развитие которого на 80–90 % способно обеспечить продовольственную безопасность населения Земли. К коллекции ВИР обращались более 700 научных организаций зарубежных стран, а в нашей стране она уже послужила выведению около 60 % районированных сортов и гибридов, то есть – 1000 сортов различных сельскохозяйственных культур, занимающих площадь почти 60 млн га. Из них почти 400 сортов выведено сотрудниками ВИР и его опытных станций»[961].

Таков впечатляющий итог. Его подвел академик В.А. Драгавцев, многолетний директор ВИРа, ныне научный сотрудник Агрофизического института Российской академии наук.

Посмотри на небо, дорогой мой читатель, вглядись в него и запомни: где-то там, в бездонной глубине Вселенной, бороздит пространство планета № 2862. Ее открыл астроном Крымской астрофизической обсерватории Н.С.Черных 15 мая 1977 года. Это планета ВАВИЛОВЫХ. Названа в честь академика Николая Ивановича Вавилова и его брата академика Сергея Ивановича Вавилова. Она переживет не только нас с вами, но всю земную цивилизацию. Планета *малая* – невооруженным глазом ее не разглядеть. Но ведь *большие* планеты названы именами Богов.

Пусть это звучит банально, но есть Высший Судия, он более могуч, чем все Мефистофели. ЕГО суд окончательный, обжалованию не подлежит.

1963–1968,

Москва 2014–2017, Вашингтон

Краткая библиография

Материалы к библиографии деятелей сельскохозяйственной науки. Николай Иванович Вавилов / сост. Л.И.Ягодинцева, под ред. Н.Р.Иванова; отв. ред. Д.Д.Брежнев. Л., 1978. Материалы к библиографии ученых СССР Серия биологических наук Генетика. Вып. 4. Николай Иванович Вавилов (1887–1943) / сост. Р.И.Горячева, Л.М.Жукова, Н.Б.Полякова; вступ. ст. И.А.Захарова. М.: Наука, 1987. (Изд. 3-е, доп.)

Николай Иванович Вавилов. К 115-летию со дня рождения: библиографический указатель. 1910–2002 / сост. Н.И.Арапова и др.; отв. ред. В.И.Стуков. Саратов, 2002.

Вавилов Н.И. Документы, фотографии. СПб.: Наука, 1995.

Вавилов Н.И. Из эпистолярного наследия. 1911–1928. М.: Наука, 1980. (Научное наследство. Т. 5)

Вавилов Н.И. Из эпистолярного наследия. 1929–1940. М.: Наука, 1987. (Научное наследство. Т. 10)

Вавилов Н.И. Избранные труды: в 5 т. М.: Наука, 1964.

Вавилов Н.И. Научное наследие в письмах. Международная переписка: в 6 т. М.: Наука, 1994–2003.

Вавилов Н.И. Пять континентов. М.: Географгиз, 1962.

Академия наук в решениях Политбюро ЦК РКР(б) – ВКП(б) – КПСС. 1922–1991.1952— 1958. М.: РОССПЭН, 2000.

Алексеев П.В. Революция и научная интеллигенция. М., 1987.

Бабков В.В. Заря генетики человека. М., 2008.

Бахарев А.Н. Иван Владимирович Мичурин. М.: Сельхозгиз, 1955.

Бахтеев Ф.Х. Николай Иванович Вавилов (1887–1943). Новосибирск: Наука, 1987.

Берг Р.Л. Суховей. Нью-Йорк: Chalidze Publication, 1983.

Братья Николай и Сергей Вавиловы. Вечер воспоминаний. Из цикла «Былое и думы» Санкт-Петербургского отделения Российского фонда культуры. 6 января 1989 года. М., 1994.

Вавилов Н.И. Документы, фотографии. СПб.: Наука, 1995.

Вавилов С.И. Дневники 1909–1951: в 2 кн. М.: Наука, 2012. (Научное наследство. Т. 35. Кн. 2 – 2012; кн. 1 – 2016)

Вавилов Ю.Н. В долгом поиске. Книга о братьях Николае и Сергее Вавиловых. М.: ФИАН, 2008.

Вернадский В.И. Дневники 1935–1941: в 2 кн. М.: Наука, 2006.

Вишнякова М.А. «Милая и прекрасная Леночка»: Елена Барулина – жена и соратница Николая Вавилова. СПб.: Серебряный век, 2007.

Вишнякова М.А. Екатерина Сахарова: жизнь на орбите Николая Вавилова. СПб.: Серебряный век, 2012.

Герасимов И. Душа человека переходного времени. Случай Александра Чаянова. Казань: АННА, 1997.

Глазко В.И. Николай Иванович Вавилов и его время: Путь на Олимп (хроника создания и распада СССР). М., 2013.

Глазко В.И., Чешко В.Ф. Август – 48: Феномен «пролетарской науки». М., 2013.

Голубовский М.Д. Век генетики: эволюция идей и понятий. СПб.: Борей Арт, 2000.

Делоне Н.Л. У времени в плену: Записки генетика. М.: Российское гуманистическое общество, 2010.

Дубинин Н.П. Вечное движение. М.: Политиздат, 1989.

Елина О.Ю. У истоков российской селекции и семеноводства. Петр Иванович Лисицын на Шатиловской опытной станции и Госсемкулыуре. М., 2016.

Есаков В.Д. Николай Иванович Вавилов: страницы биографии. М.: Наука, 2008. *Захаров-Гезехус И.А.* В защиту генетики. М., 2016.

Иосиф Абрамович Рапопорт – ученый, воин, гражданин. Очерки, воспоминания, материалы. М.: Наука, 2001.

Келер В.Р. Сергей Вавилов. М.: Молодая гвардия, 1975.

Книга погромов. Погромы на Украине, в Белоруссии и европейской части России в период Гражданской войны 1918–1922 гг.: сборник документов. М.: РОССПЭН, 2007.

Колчинский Э.И. Начало скорбного пути Н.И.Вавилова (К 125-летию великого ученого) // Политическая концептология. 2012. № 4.

Лебедев В.А. Мичурин (1855–1935). М.: Молодая гвардия, 1950. (ЖЗЛ)

Ленинский сборник. XVII. М.: Политиздат, 1931.

Любищев А.А. В защиту науки: статьи и письма (1953–1972). Л.: Наука, 1991.

Манойленко К.В. Николай Александрович Максимов. 1880–1952. М.: Наука, 1999.

Медведев Ж.А. У истоков генетической дискуссии // Новый мир. 1967. № 4.

Медведев Ж.А., Резник С.Е. П.М.Жуковский – письмо ЖАМедведеву // Известия ТСХА. 2012. Вып. 4.

Мичурин И.В. Итоги шестидесятилетних работ. М.: ОГИЗ – Сельхозгиз, 1949. *Мичурин И.В.* Сочинения: в 4 т. М.: Госсельхозиздат, 1948.

О положении в биологической науке. Стенографический отчет сессии Всесоюзной Академии Сельскохозяйственных наук имени В.И.Ленина. 31 июля – 7 августа 1948 г. М.: ОГИЗ –

Сельхозгиз, 1948.

Осоргин М.А. Времена. М.: Директ-медиа, 2014. (Эл. книга)

Письма И.В.Сталина – В.М.Молотову. 1925–1936 гг. М.: Россия молодая, 1995.

Поповский М.А. Дело академика Вавилова. Нью-Йорк: Эрмитаж, 1983.

Раменская М.Е. [авт. – сост.]. История Подьяпольских. Пять поколений в XX веке. М.: Время, 2014.

Ревенкова А.И. Николай Иванович Вавилов. 1887–1943. М.: Госуд. изд-во с.-х. лит-ры, 1962.

Резник С.Е. Вместе или врозь? Судьба евреев в России. Заметки на полях дилогии А.И.Солженицына. М.: Захаров, 2005.

Резник С.Е. Дорога на эшафот. Париж – Нью-Йорк: Третья волна, 1983.

Резник С.Е. Завещание Гавриила Зайцева. М.: Детская литература, 1981.

Резник С.Е. Мечников. М.: Молодая гвардия, 1973. (ЖЗЛ)

Резник С.Е. Николай Вавилов. М.: Молодая гвардия, 1968. (ЖЗЛ)

Резник С.Е. Против течения: Академик Ухтомский и его биограф. СПб.: Алетейя, 2015.

Резник С.Е. Трофим Лысенко – второе пришествие? // Мосты. 2016. № 49. С. 148–181. Репрессированная наука. СПб.: Наука, 1991, 1994.

Роскин А.И. Караваны, дороги, колосья. Саратов: Приволжское изд-во, 2010.

Русские географы в Латинской Америке: хроника путешествий XIX – начала XX в. М.: АСТ, 2014.

Рядом с Н.И.Вавиловым. Сборник воспоминаний. М.: Советская Россия, 1973.

Сахаровские слушания, четвертая сессия. Лиссабон, 1983. London: Overseas Publications Interchange, 1985.

Сергей Иванович Вавилов: альбом фотографий. М.: РМП, 2011.

Симонов К.М. Глазами человека моего поколения. М.: Книга, 1990.

Синская Е.Н. Воспоминания о Н.И.Вавилове. Киев: Наукова думка, 1991.

Сойфер В.Н. Власть и наука. М.: ЧеРО, 2002.

Соратники Николая Ивановича Вавилова. Исследователи генофонда растений. СПб., 1994.

Спорные вопросы генетики и селекции. Работы IV сессии ВАСХНИЛ. 19–27 декабря 1936 г. М.-Л., 1937.

Суд палача. Николай Вавилов в застенках НКВД.

Биографический очерк. Документы. М.: Academia, 1999.

Судоплатов П.А. Спецоперации. Лубянка и Кремль. 1930–1950 годы. М.: ОЛМА-ПРЕСС, 1997.

Тимофеев-Ресовский Н.В. Воспоминания. М.: Прогресс, 1995.

Трагические судьбы: репрессированные ученые Академии наук СССР. М.: Наука, 1995.

Формозов А.А. Рассказы об ученых. Курск: КГМУ, 2004.

Чаянов В.А. Жизнь и деятельность Александра Васильевича Чаянова. М., 2008.

Шноль С.Э. Герои и злодеи российской науки. М.: Крон-Пресс, 1997.

Alma Mahler-Werfel. And the Bridge of Love. N.Y.: Harcourt, Brace and Co., 1958.

Dobzhansky Th. Genetics and the Origin of Species. N.Y., 1937.

Graham Loren. Lysenko's Ghost: Epigenetics and Russia. Cambridge, MA: Harvard University Press, 2016.

Manevich E.D. Such were the limes. A personal view of the Lysenko era in the USSR. Forward be Eric Ashby. Northampton. MA: Pittenbruach Press, 1990.

Medvedev Zh.A. The Rise and Fall of T.D.Lysenko. Columbia University Press, 1969.

Nabhan G.P. Where Our Food Comes From: Retracing Nikolay Vavilov's Quest to End Famine. Washington – Covelo – London: Island Press, 2009.

Nikolai I. Vavilov. Cinco continentes. Madrid: Libras del Jata, 2015.

Ronald Florence. Laurence and Aaronsohn. N.Y.: Viking, 2007.

Vavilov N.I. Fife Continents. Rome: IPGRI, 1997.

Иллюстрации



Николай Вавилов, 1910-е годы



Иван Ильич Вавилов



Александра Михайловна Вавилова



С сыновьями Николаем и Сергеем, 1896 год



Старшая сестра Александра, в замужестве Ипатьева



Николай в коммерческом училище, 1906 год



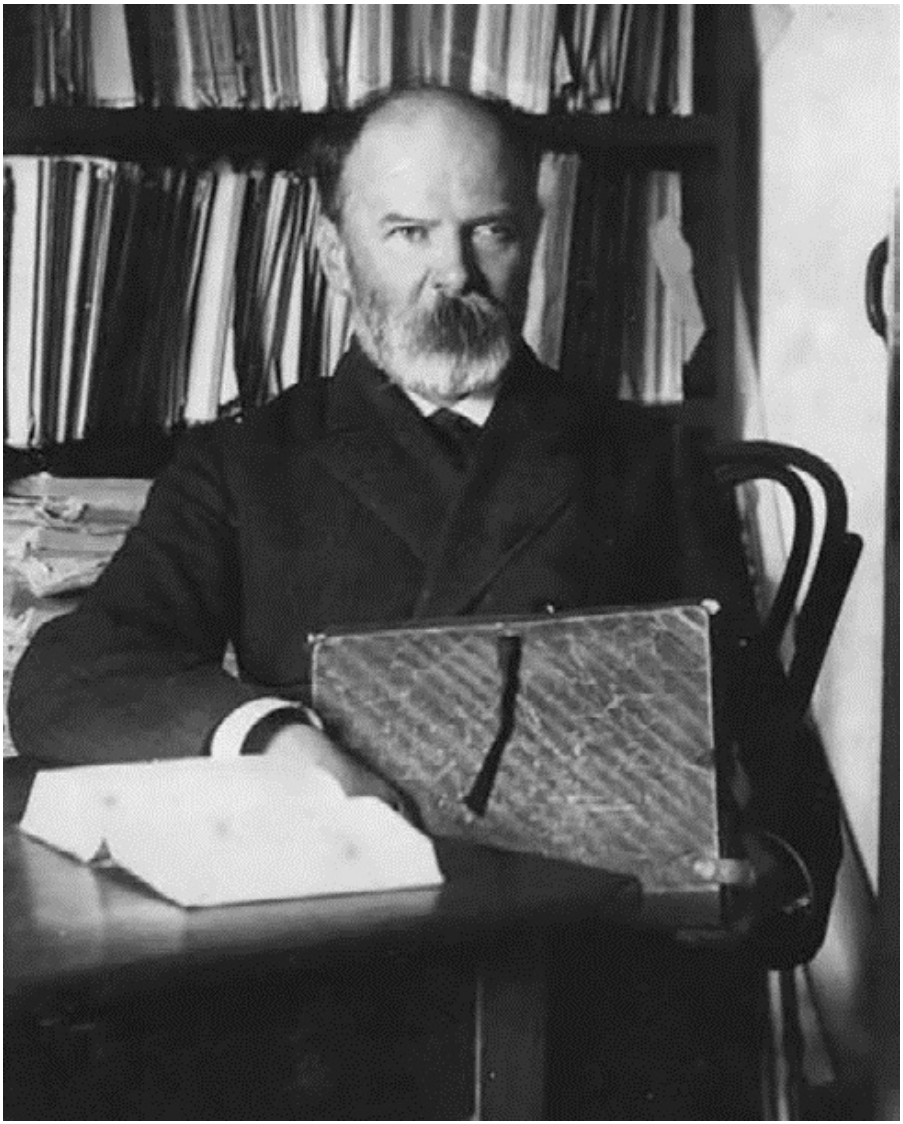
Сергей, прапорщик, 1916 год



Лидия, в замужестве Макарова



Петровская сельскохозяйственная академия



Александр Федорович Фортунатов



Дмитрий Николаевич Прянишников



В студенческом общежитии в День открытия Петровки, 3 декабря. Сидит крайний справа – Н.И.Вавилов.

По старой традиции, над головами подвешены калачи.

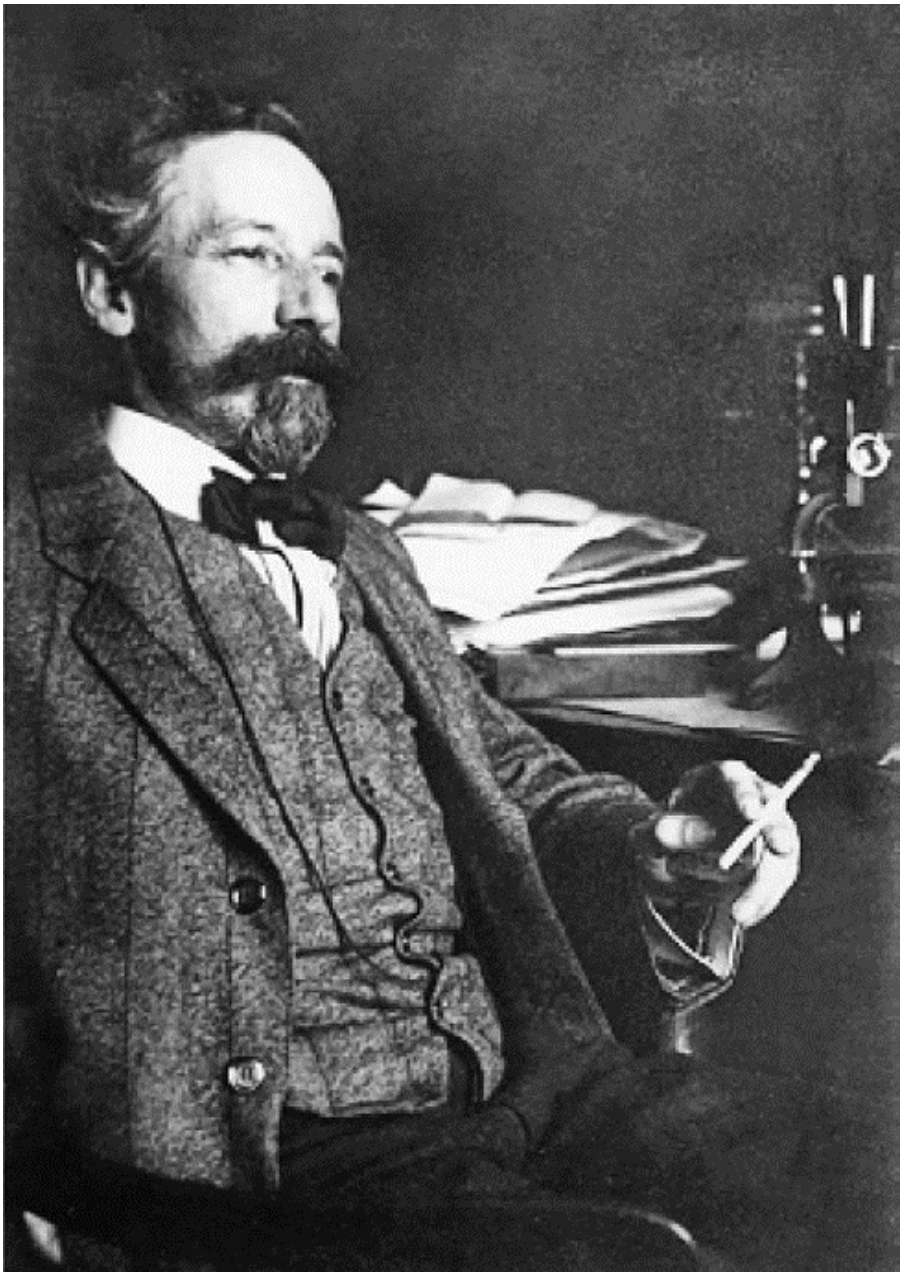
Фото с сайта www.oldmos.ru



Артур Артурович Ячевский



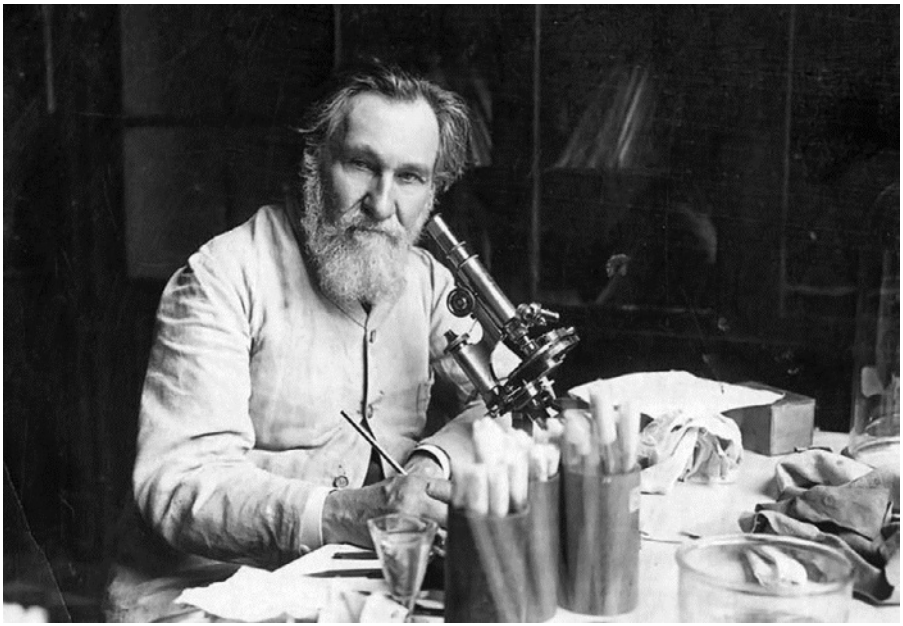
Аарон Ааронсон



Роберт Эдуардович Регель



Константин Андреевич Фляксбергер



Илья Ильич Мечников



Лев Ильич Мечников



Екатерина Сахарова в московской охранке, 1908 год. Фото обнаружено и предоставлено И.М.Корнелюк. Публикуется впервые



Екатерина Николаевна и Николай Иванович



С сыном Олегом



Семинар на Селекционной станции Петровки. Слева от Н.И.Вавилова сидят: Д.Л.Рудзинский, О.Н.Кашеварова; стоят: Л.И.Говоров (крайний слева), А.И.Соколовский (справа).



Вырезка из газеты, фото Е.Н.Вавиловой. Ее рукой перевод английской подписи: «Лэди, показанная на этой фотографии, мадам Вавилова (из России), которая была знаменитым визитером на Дуб[линском] конгрессе, на котором она докладывала в пятницу утром».



На галерее Собора Парижской Богоматери



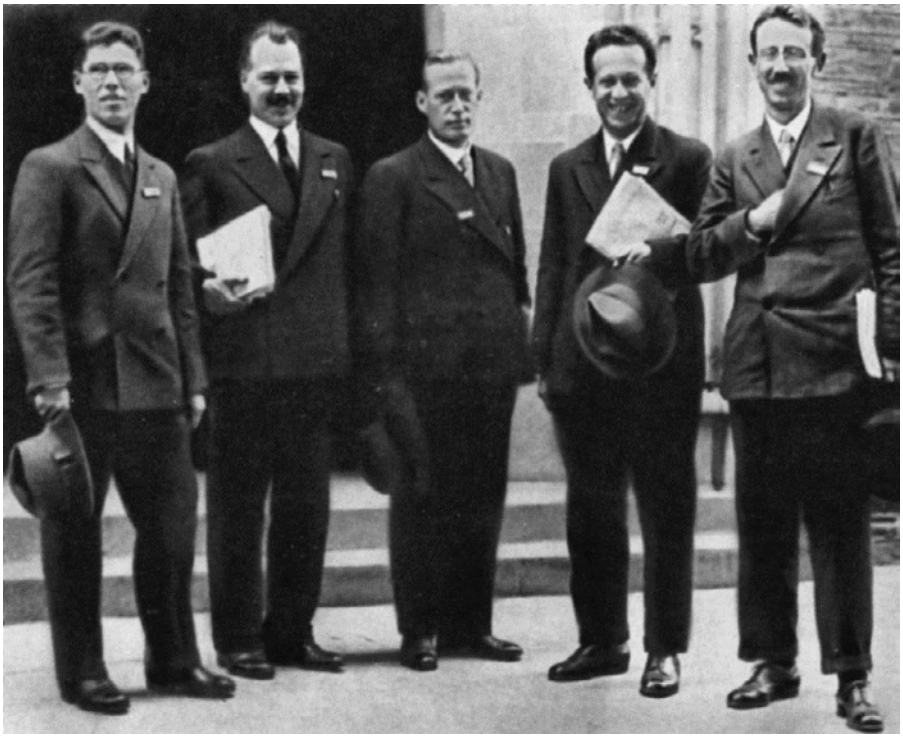
С матерью и братом, 1916 год



Первая экспедиция. Хижина кочевников в Иране.
Фото Н.И.Вавилова, 1916 год



В рабочем кабинете в Саратове, 1920 год



На международном конгрессе по сельскому хозяйству в США, 1921 год



На опытной станции в Детском Селе. Слева направо: А.И.Мальцев, В.Е.Писарев, неизвестная (по-видимому, одна из

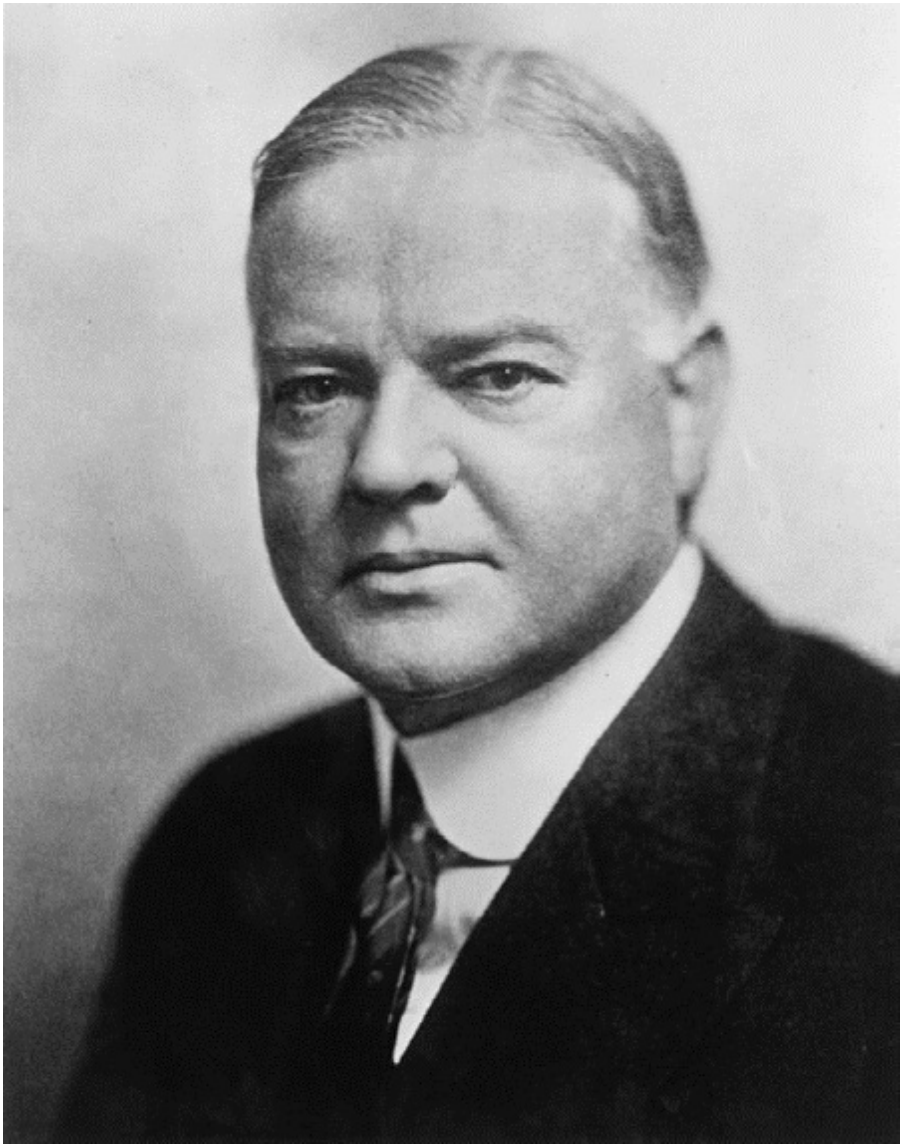
сестер Шаллерт), Н.П.Горбунов, Н.И.Вавилов, Г.А.Левитский.



Николай Максимович Тулайков



Гавриил Семенович Зайцев



Герберт Гувер, глава Американской администрации помощи (ARA), будущий президент США.

«Ваша помощь будет вписана в историю как уникальное, гигантское свершение, достойное величайшей славы, и надолго останется в памяти миллионов русских… которых вы спасли от смерти». (М.Горький)



С Уильямом Бэтсоном. Москва, 1925 год



Томас Хант Морган



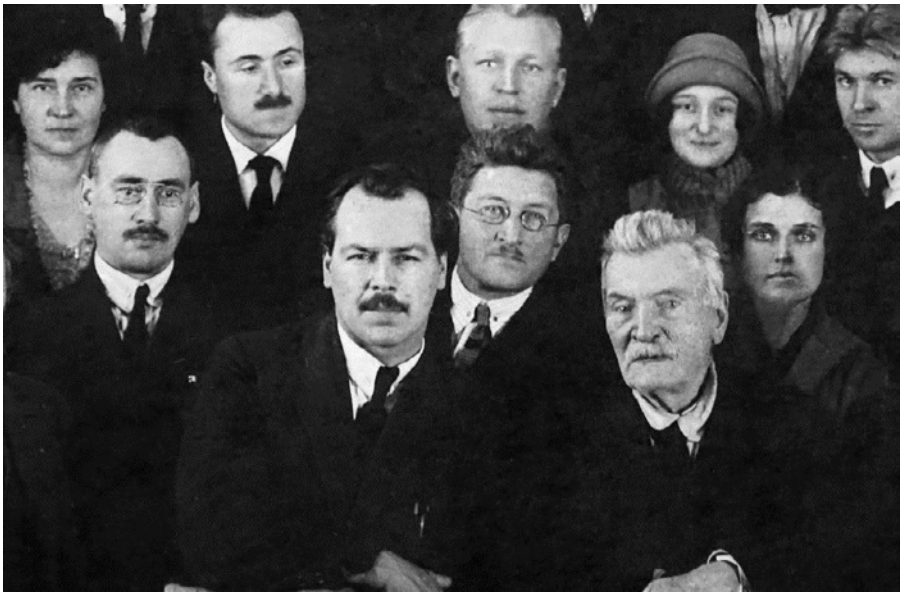
Герман Мёллер



«Морганоиды» Кельвин Бриджес и Альфред Стертевант



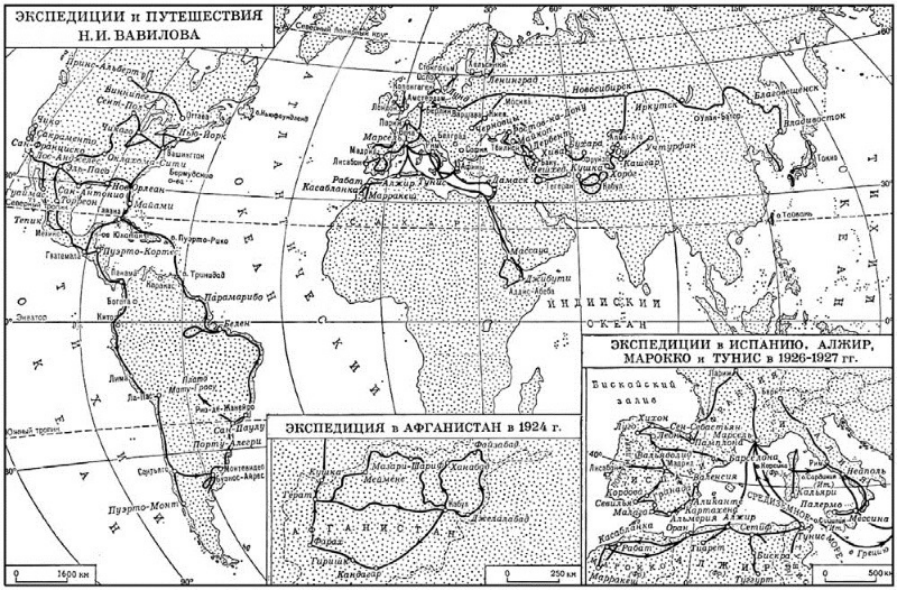
Со второй женой Е.И.Барулиной, 1926 год



На курсах по сортоведению, селекции и генетике при Всесоюзном институте прикладной ботаники и новых культур.

Рядом с Вавиловым сидит В.И.Ковалевский. Во втором ряду (слева направо): Г.С.Зайцев, П.М.Жуковский, Е.И.Барулина. Второй слева в третьем ряду – Н.Н.Кулешов. 1925–1926 гг.





Н.И.Вавилов в Эритрее



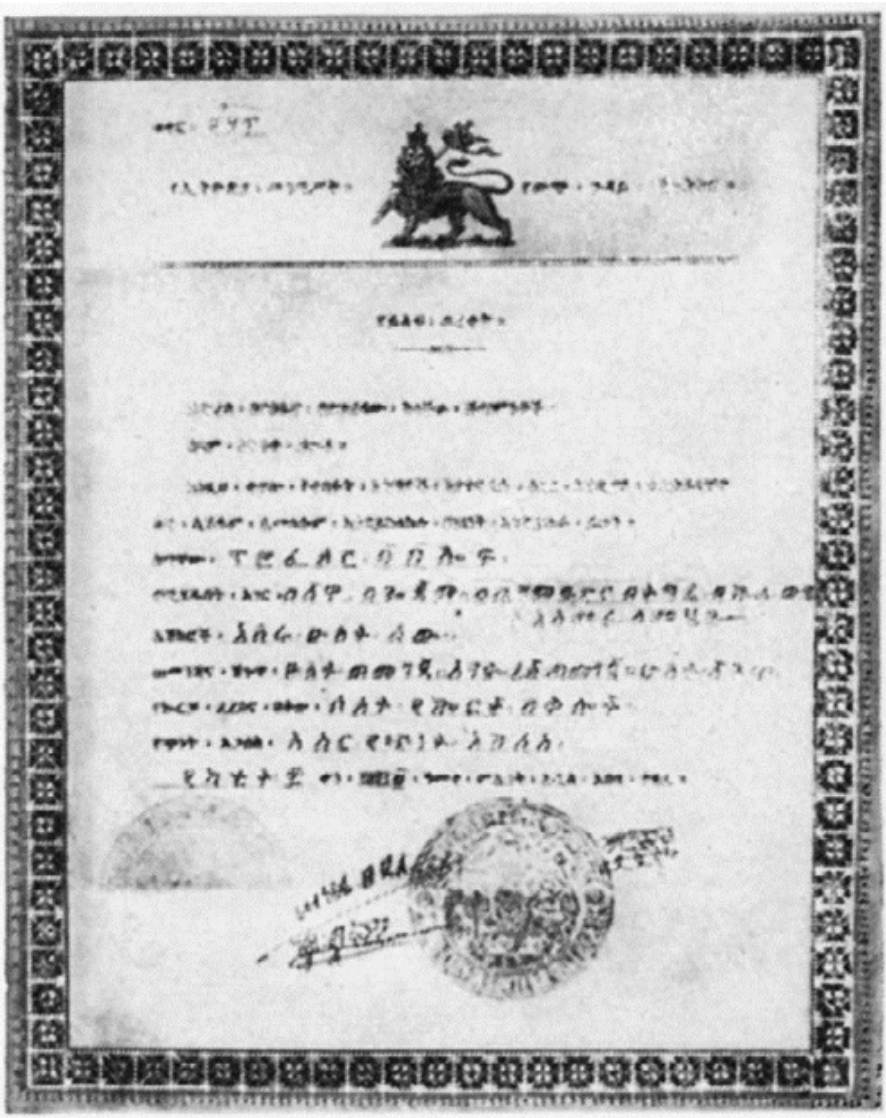
Проводник и солдаты, сопровождающие экспедицию.
Фото Н.И.Вавилова. Афганистан, 1924 год



У Акрополя в Афинах во время экспедиции по Средиземноморью, 1926—1927 гг.



В Эфиопии, 1927 год



Открытый лист, выданный Вавилову императрицей Эфиопии и регентом престола расом Тафари, 1927 год



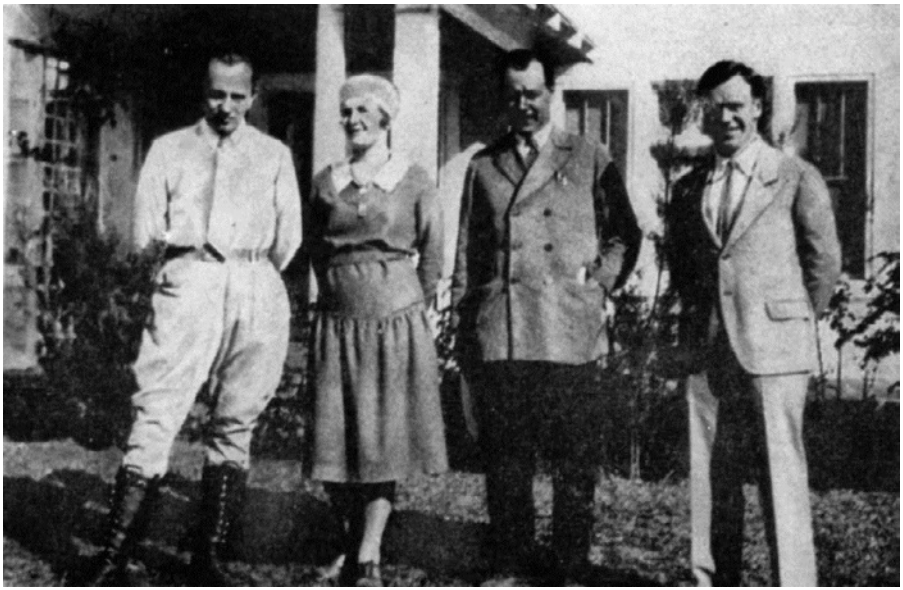
С отцом во время встречи в Берлине, 1927 год



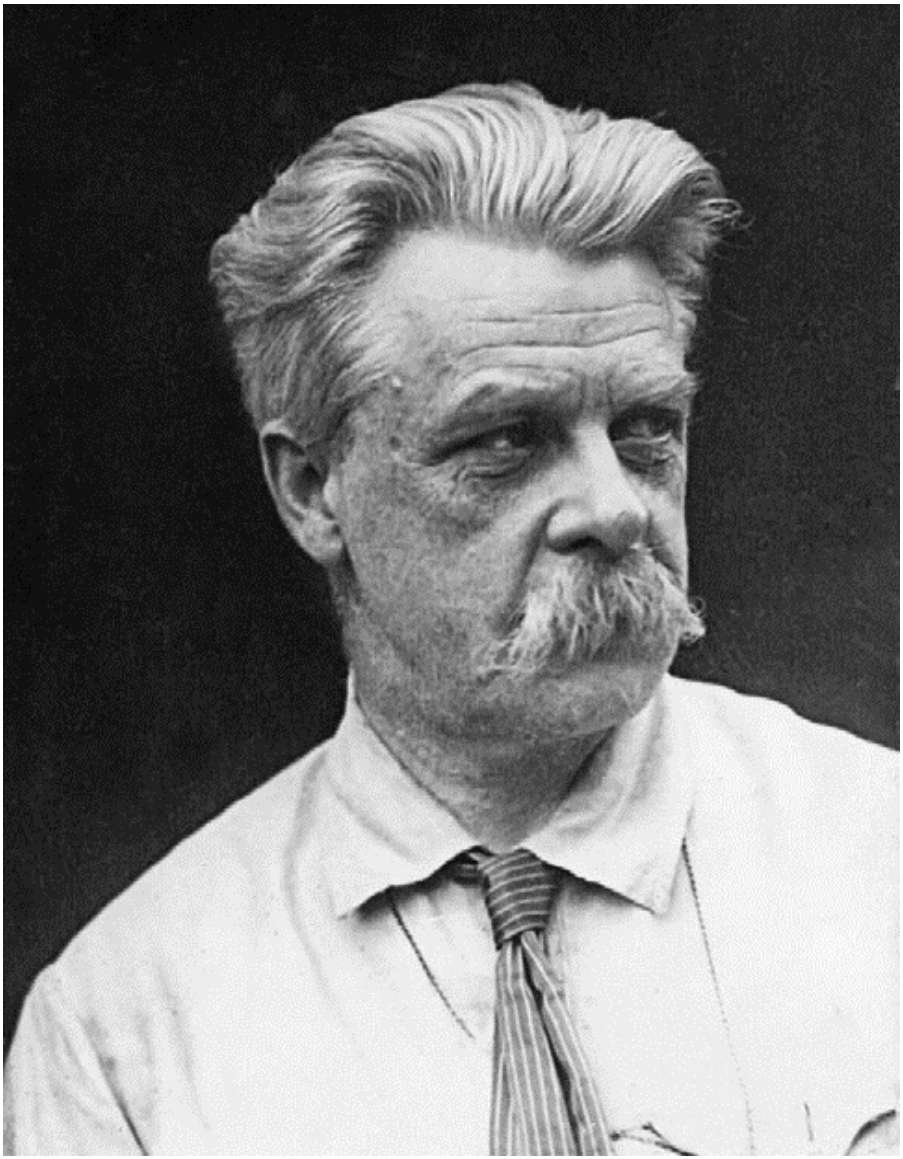
С Эрвином Бауром. Ленинград, 1929 год



В Аризоне, 1930 год



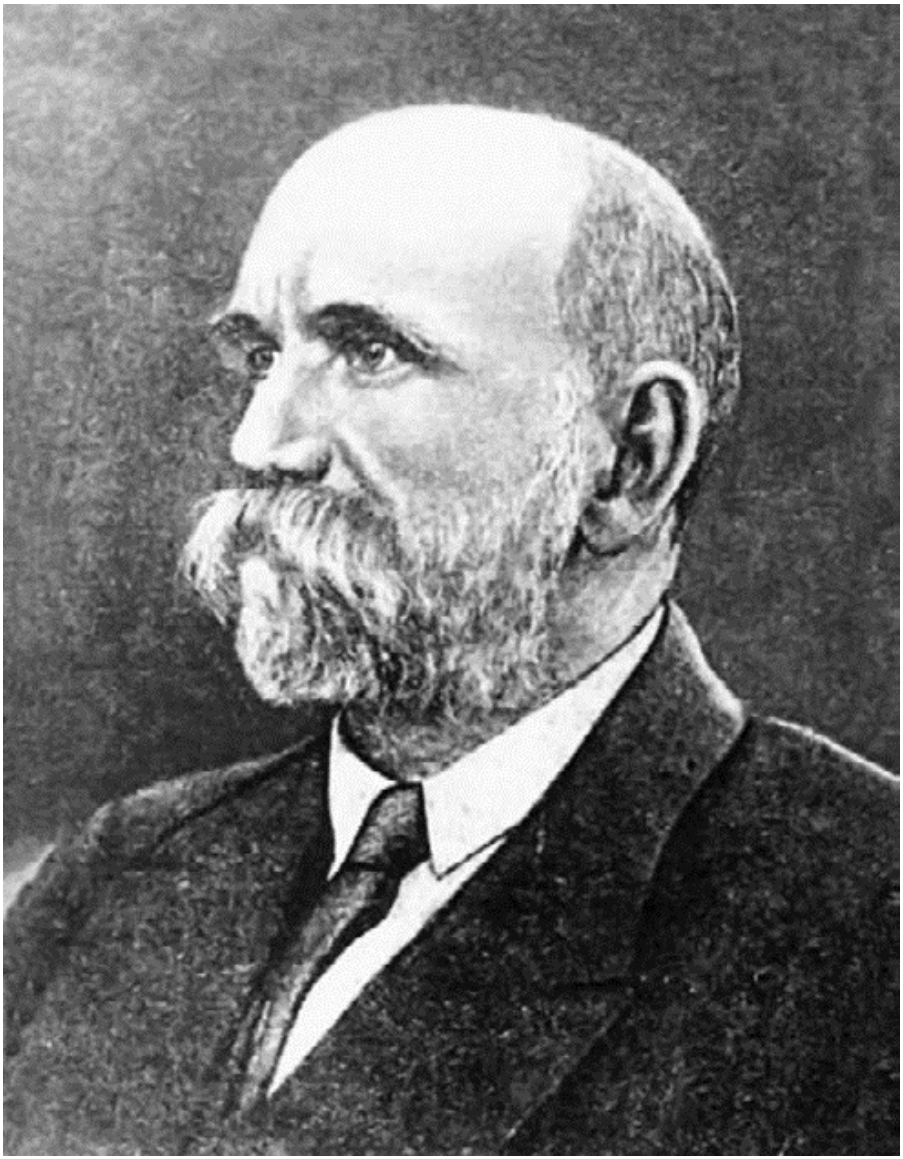
Ф.Г.Добжанский, его жена, Н.И.Вавилов, Г.Д.Карпеченко. Пасадена, США, 1930 год



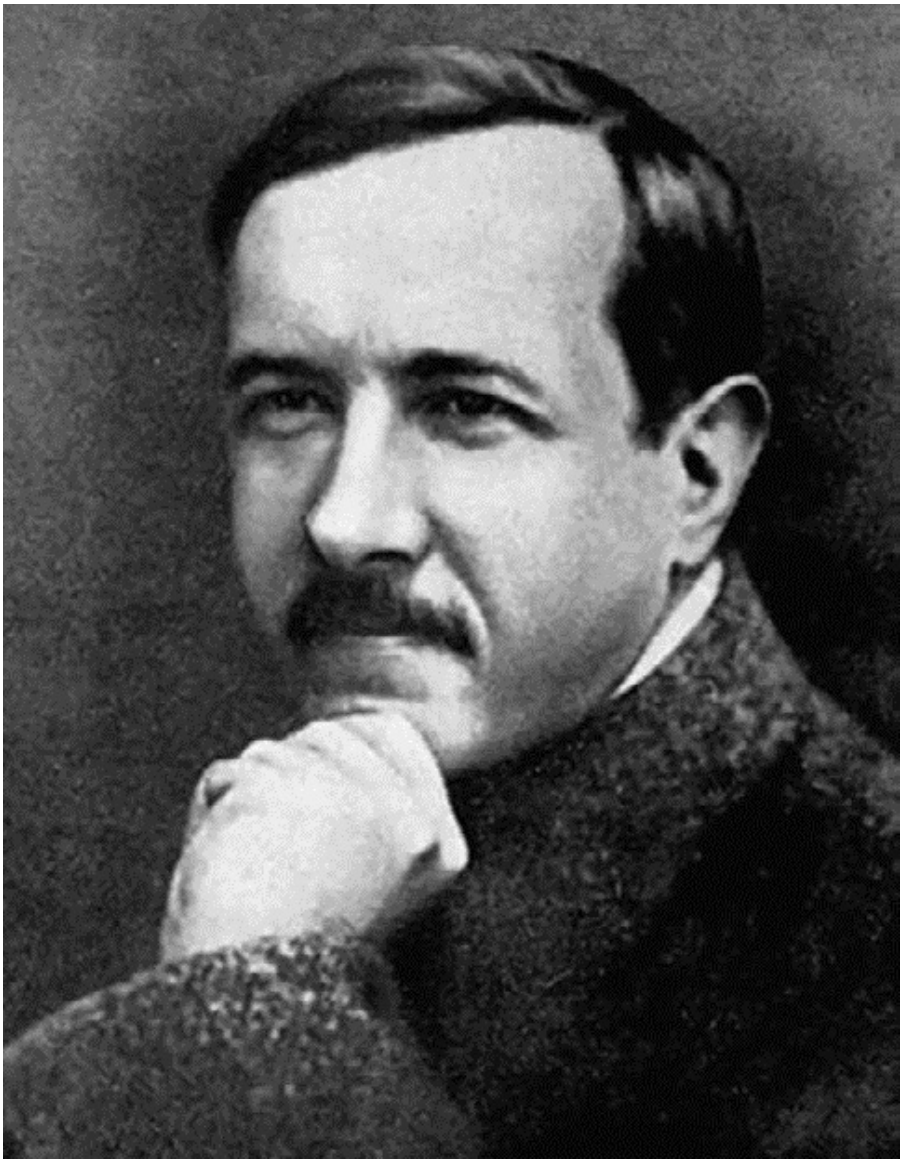
Николай Константинович Кольцов



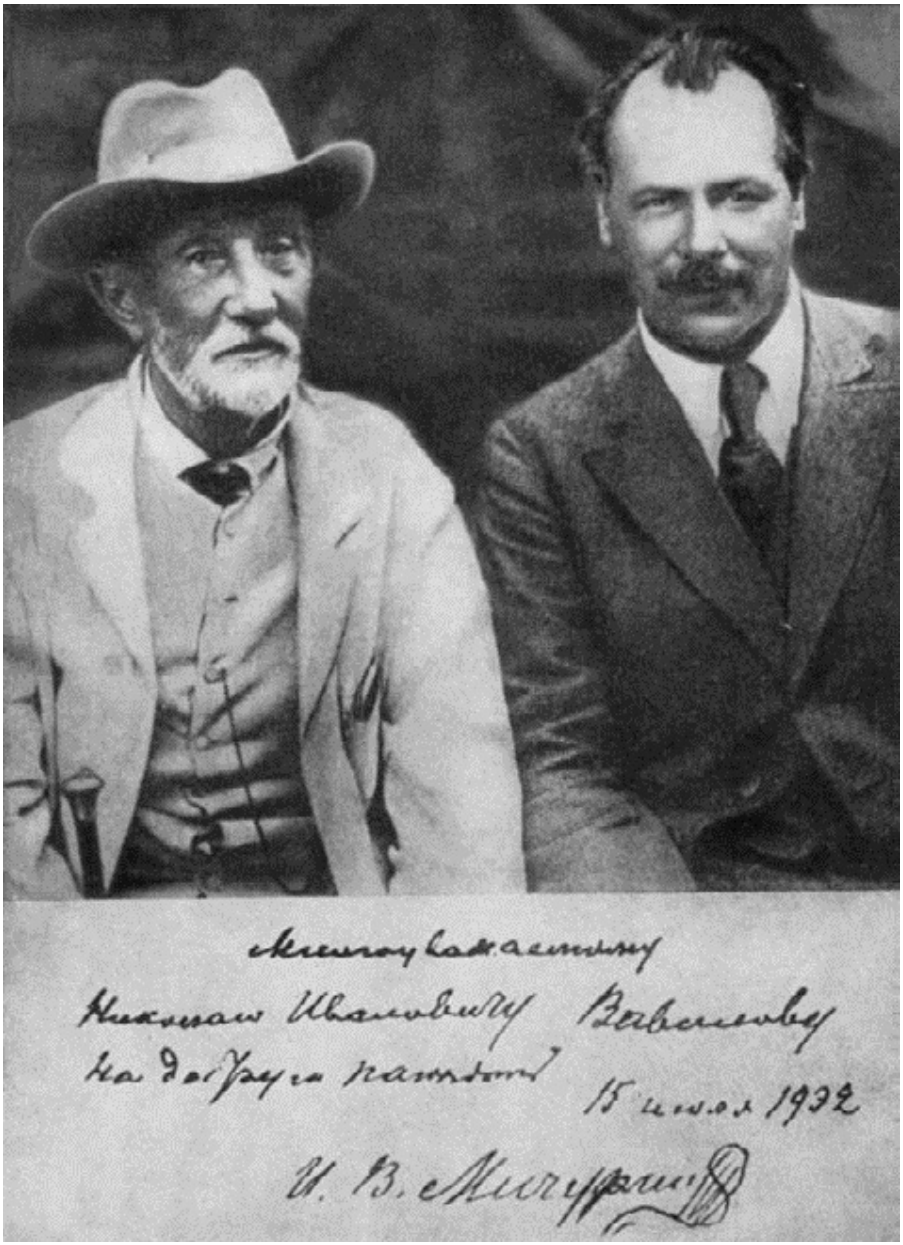
Юрий Александрович Филипченко



Виктор Викторович Таланов



Александр Васильевич Чаянов



С И.В.Мичуриным, 1932 год



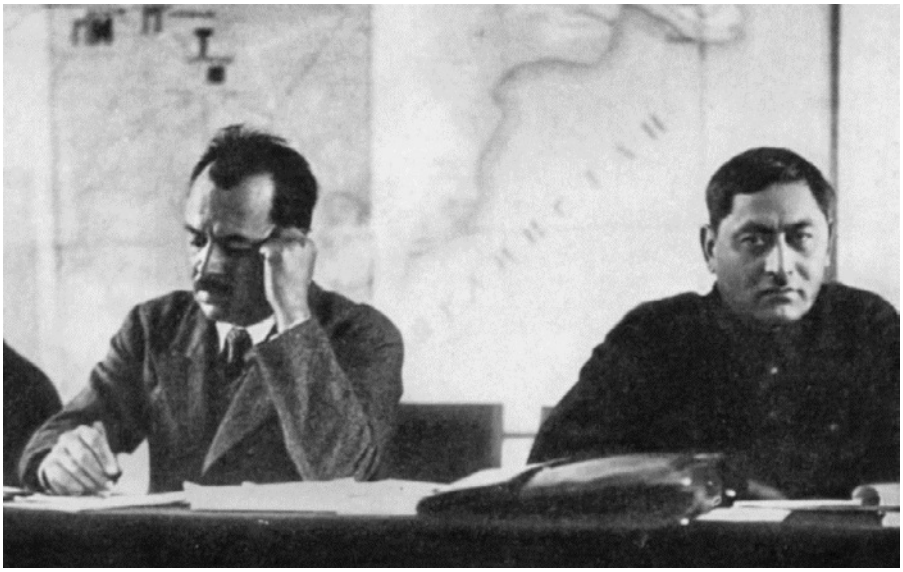
«Я попал в русский плен», – шутит Томас Морган. Слева от него Н.И.Вавилов, справа Н.В.Тимофеев-Ресовский, 1932 год



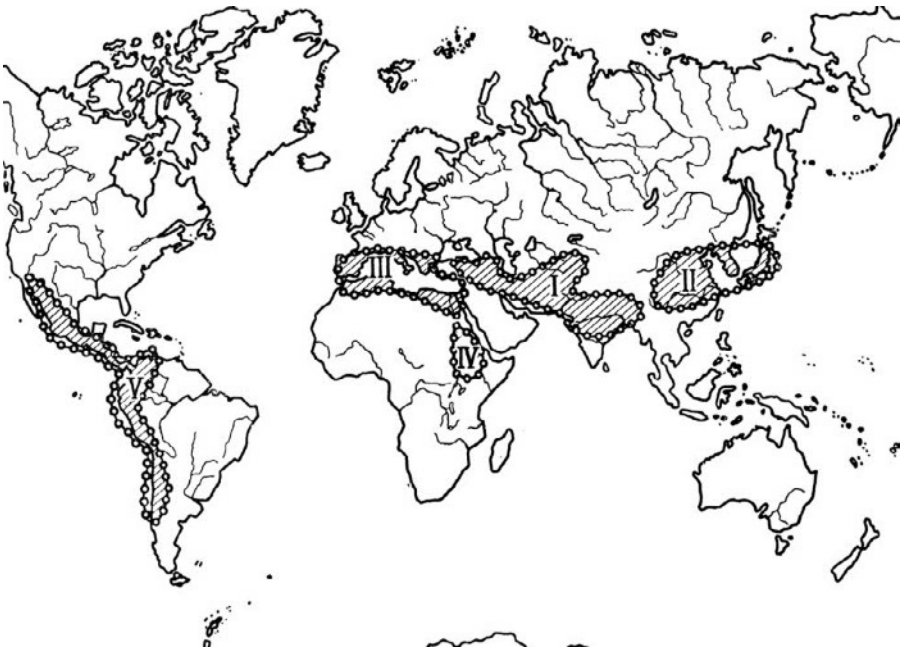
Г.Д.Карпеченко и Е.И.Барулина на экспериментальном участке отдела генетики ВИР в Детском Селе, 1930-е



В Никитском ботаническом саду с женой и сыном Юрой. Ялта, 1933 год



На совещании по проблеме растительных ресурсов в Туркмении. Справа – нарком земледелия А.Я.Яковлев.



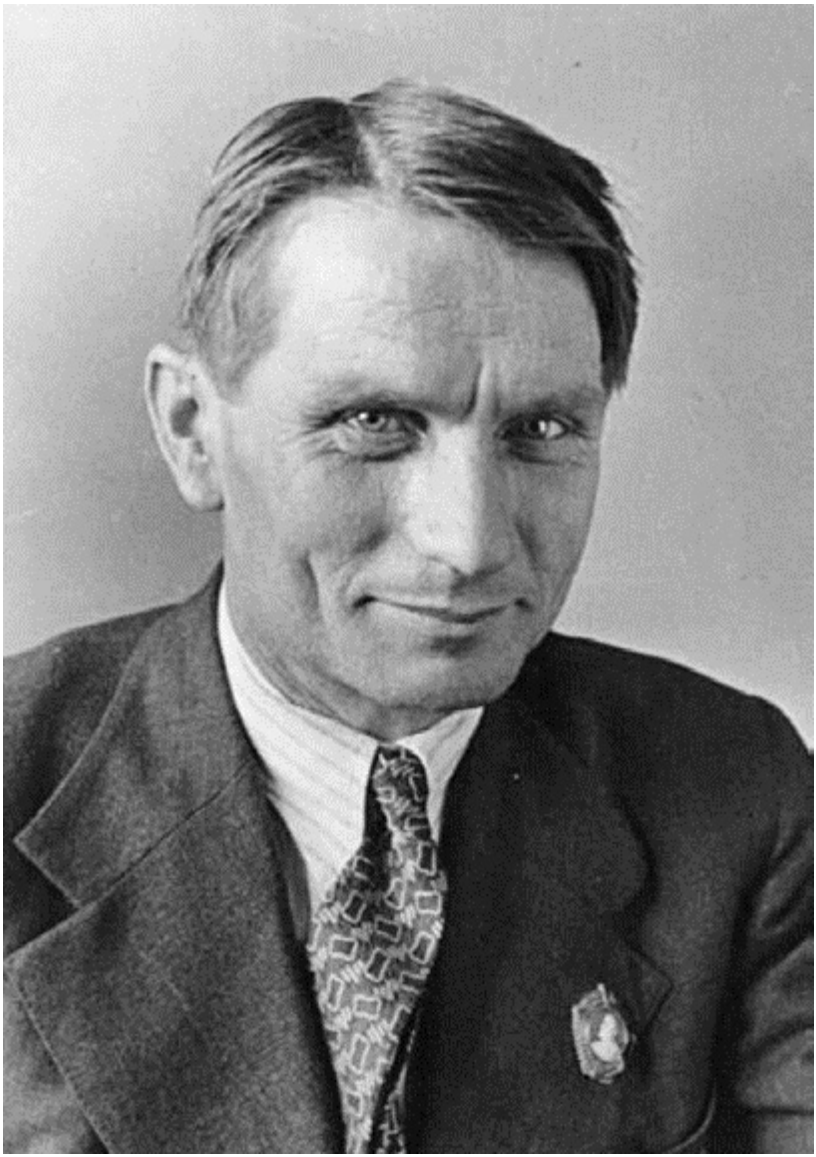
Мировые центры происхождения культурных растений, открытые Вавиловым. Первый вариант. 1926 год



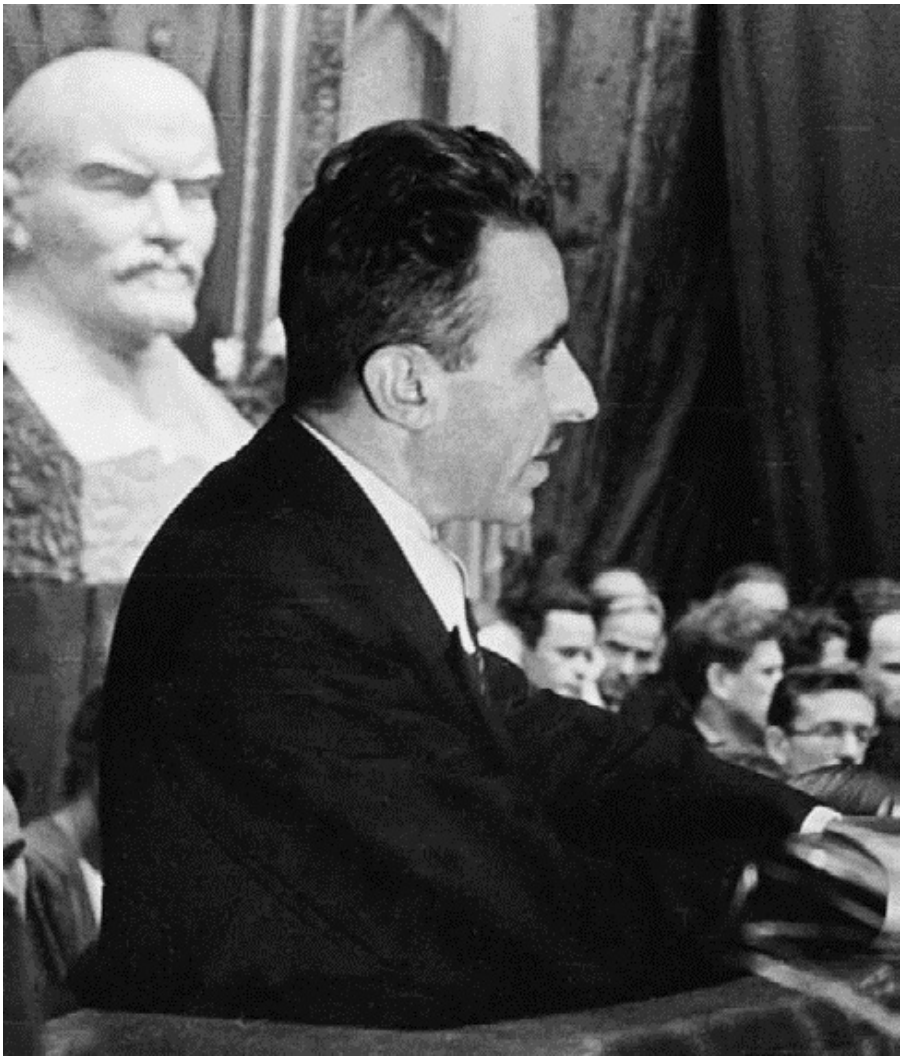
Мировые центры происхождения культурных растений. Вариант 1935 года



Лысенко на трибуне – громит классового врага в науке. В президиуме (слева направо): С.В.Косиор, А.И.Микоян, А.А.Андреев, И.В.Сталин. 1935 год



Трофим Денисович Лысенко



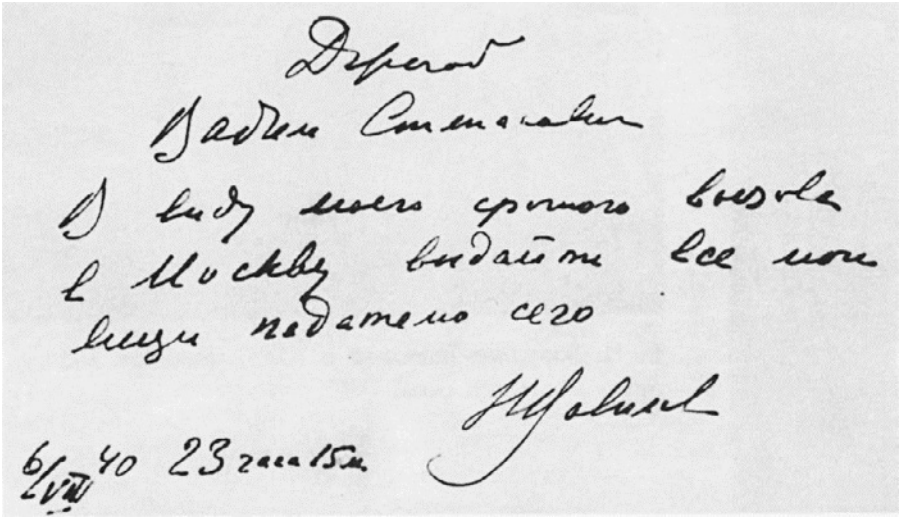
Исаак Израилевич Презент



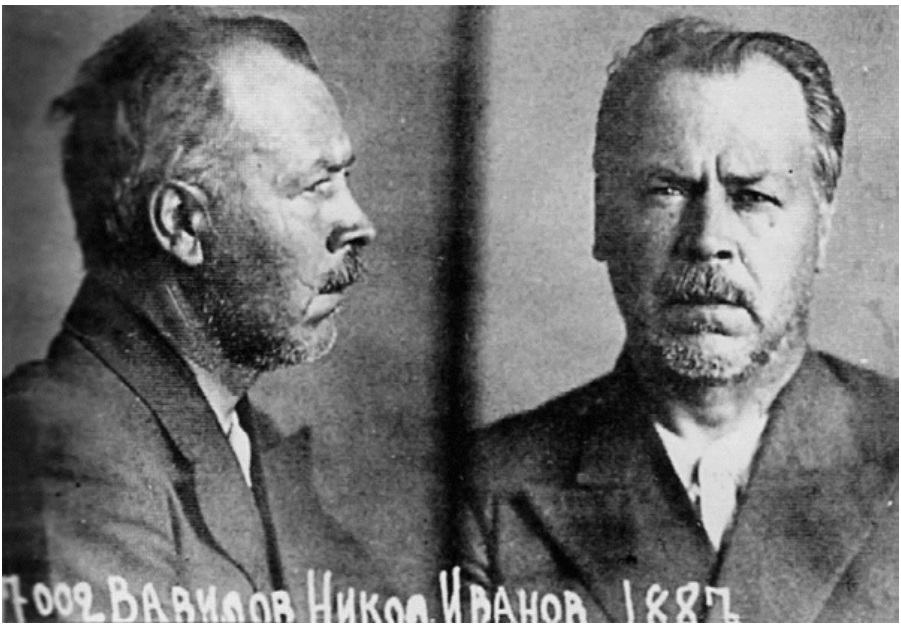
В своем рабочем кабинете, конец 1930-х



На опытной станции в Майкопе, 1939 год. Фото из Мемориального кабинета-музея Н.И.Вавилова Саратовского государственного аграрного университета имени Н.И.Вавилова



Записка В.С.Лехновичу в день ареста, 6 августа 1940 года



Из личного дела № 1500

Народному комиссару внутренних дел СССР
Лаврентию Павловичу Берия.

Осужденного, бывшего
академика, д-ра биологических
и агрономических наук Вави
лова Николая Ивановича

Заявление.

В связи с возбужденным Вами ходатайством о моем помиловании и отмене приговора Военной коллегии, а также учитывая огромные требования, предъявляемые ~~что~~ всем гражданам Советского Союза в связи с военными событиями, позволяю себе ходатайствовать о предоставлении мне возможности сосредоточить работу на темах наиболее актуальных для данного времени по моей специальности – растениеводству.

а) Я мог бы закончить в течение полугода составление "Практического руководства для выведения сортов культурных растений, устойчивых к главнейшим заболеваниям".

б) В течение 6-8 месяцев я мог бы закончить при напряженной работе составление "Практического руководства по селекции хлебных злаков, применительно к условиям различных районов СССР."

Мне также очень близка область субтропического растениеводства, включая культуры оборонного значения, как тунговое дерево, хинные деревья и др., а также растения богатые витаминами.

Весь свой опыт в области растениеводства, все свои знания и силы я бы хотел отдать полностью Советской власти и моей родине, там, где я мог бы быть максимально полезен.

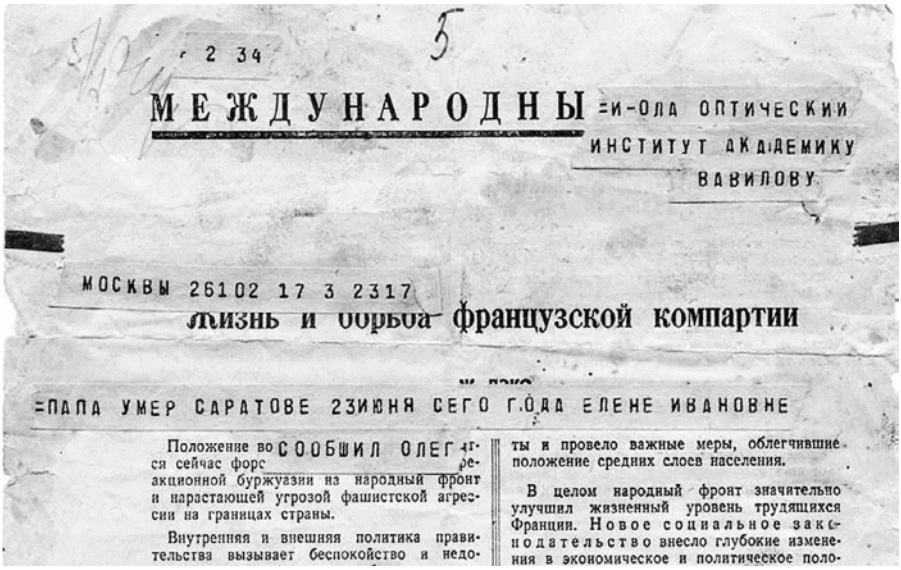
Николай Вавилов

8 VIII 1941 г.
Бутырская тюрьма
к. 49.

Письмо Вавилова Берии



Елена Барулина с сыном Юрой, 1941 год



2 34

5

МЕЖДУНАРОДНЫ =И-ОЛА ОПТИЧЕСКИЙ
ИНСТИТУТ АКАДЕМИКУ
ВАВИЛОВУ

МОСКВЫ 26102 17 3 2317

ЖИЗНЬ И БОРЬБА ФРАНЦУЗСКОЙ КОМПАРТИИ

=ПАПА УМЕР САРАТОВЕ 23ИЮНЯ СЕГО ГОДА ЕЛЕНЕ ИВАНОВНЕ

СООБШИЛ ОЛЕГ

Положение во ...гся сейчас форс ...реакционной буржуазии на народный фронт и нарастающей угрозой фашистской агрессии на границах страны.

Внутренняя и внешняя политика правительства вызывает беспокойство и недо-

...ты и провело важные меры, облегчившие положение средних слоев населения.

В целом народный фронт значительно улучшил жизненный уровень трудящихся Франции. Новое социальное законодательство внесло глубокие изменения в экономическое и политическое поло-

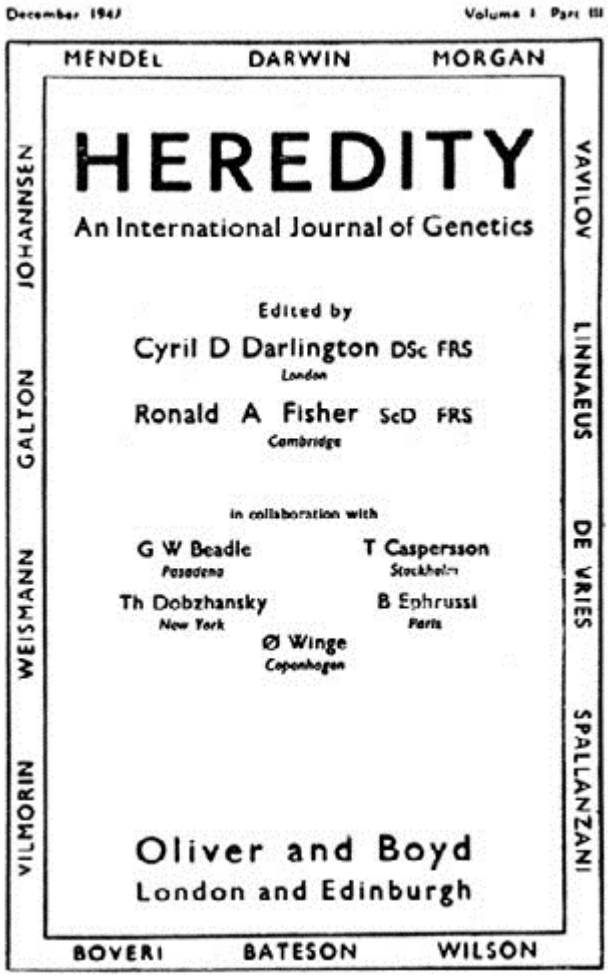
Телеграмма старшего сына Н.И.Вавилова Олега дяде С.И.Вавилову в Йошкар-Олу. (Ввиду дефицита бумаги послана на куске газеты.)



Лысенко выступает на Августовской сессии ВАСХНИЛ, 1948 год

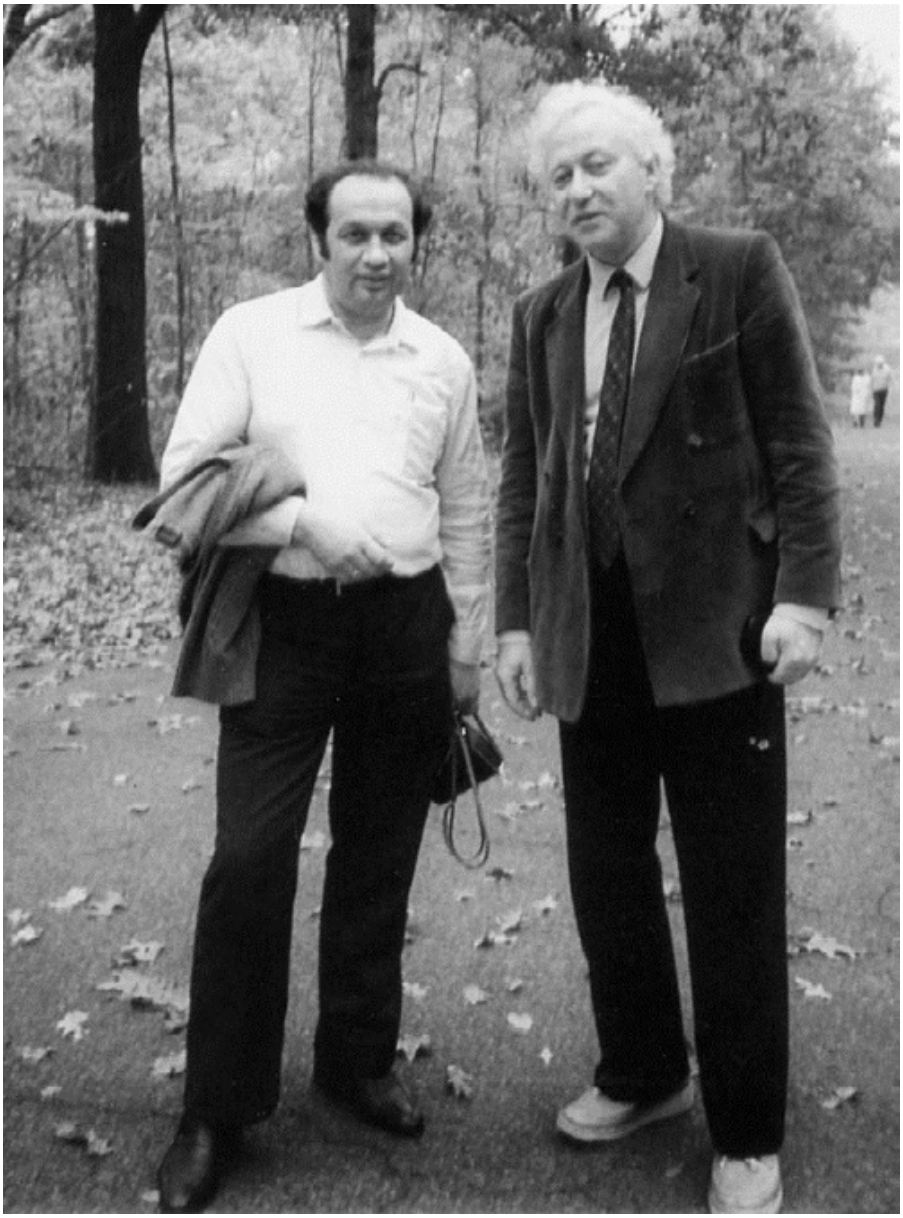


Сергей Иванович Вавилов, президент Академии наук. «Ворона в павлиньих перьях…»

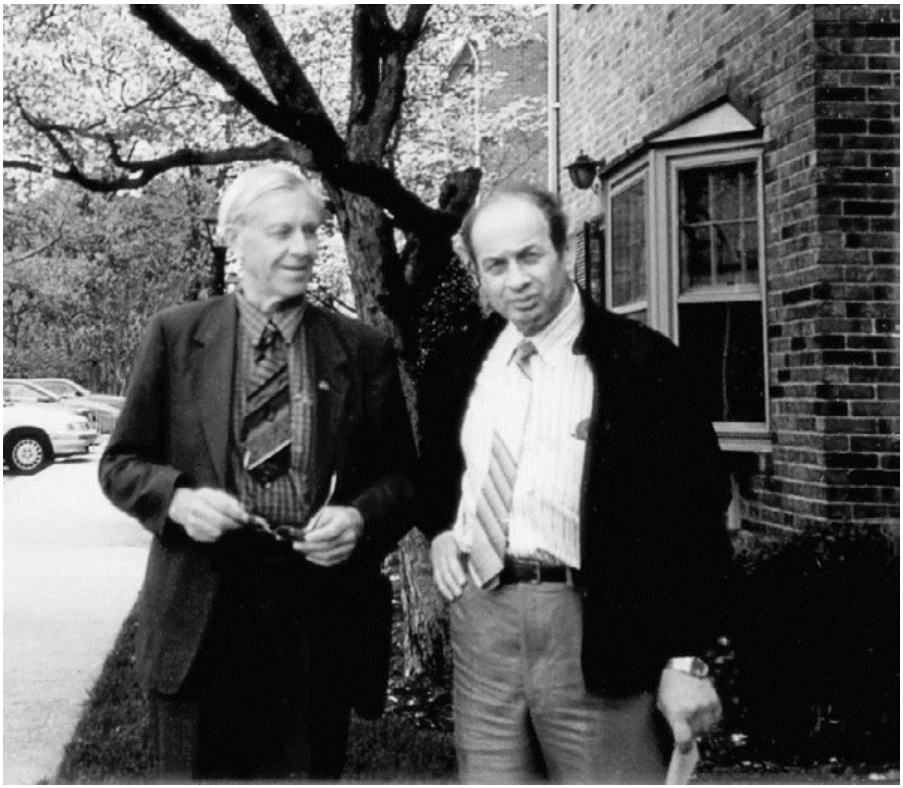


«Международный журнал генетики».

В обрамлении титульного листа имена 14 крупнейших ученых-биологов всех времен и народов



С.Е.Резник и Ж.А.Медведев.
Вашингтон, 1984 год. Фото Риммы Резник



Ю.Н.Вавилов и С.Е.Резник.
Вашингтон, 1993 год. Фото Риммы Резник

notes

Примечания

1

Ревенкова А.И. Николай Иванович Вавилов. 1887–1943. М.: Госуд. изд-во с.-х. лит-ры, 1962.

2

Аресту Тулайкова предшествовала разносная статья Столетова в «Правде».

3

Полагаю, нелишне напомнить, что в январе 1968 года на пленуме компартии Чехословакии был снят с поста ее генеральный секретарь Антонин Новатный. Генсеком был избран Александр Дубчек. Начался период Пражской весны.

4

Между издательствами и Книготоргом имелось соглашение, по которому план по изданию считался выполненным, если в торговые организации отправлена десятая часть тиража; на остальную часть давалась полугодовая отсрочка. Поскольку моя книга стояла в плане 1968 года, а сигнал был подписан только 27 декабря, то в следующие три дня 10 тысяч экземпляров были в пожарном порядке сброшюрованы и отправлены в Книготорг, в противном случае годовой план не был бы выполнен.

5

В 2012 году, в ноябрьском номере газеты «Тимирязевка», посвященном 125-летнему юбилею Н.И.Вавилова, опубликовано небольшое эссе М.Е.Раменской «Лев Николаевич Андреев – председатель Вавиловской комиссии РАН в 1991–2006 гг.». В нем отражен этот эпизод, изложенный со слов Андреева. По его словам, ему «досталось быть экспертом рукописи С.Е.Резника “Николай Вавилов”, написанной для серии ЖЗЛ. Он понял, что в таком виде книга цензуру не пройдет, вызвал автора и попросил его смягчить или убрать некоторые места, отмеченные карандашом, и после исправления стереть карандаш. Автору было очень жаль этих удачных мест, он почти ничего не поправил, а карандаш стер. Л.Н. страшно рассердился и передал книгу другому эксперту. Книга вышла в 1968 г., пострадала гораздо больше, чем могла бы… она до сих пор остается лучшей биографией Н.И.Вавилова. Почему Андреев передал рукопись другому эксперту, С.Е. не понял и сохранил глубокую обиду на Андреева». Познакомившись с этой публикацией, я написал М.Е.Раменской: «Прежде всего, очень Вам признателен за оценку моей книги как лучшей биографии Н.И. – сейчас, когда имеется уже, вероятно, не менее полутора десятков книг (до моей-то была только книга А.И.Ревенковой), такая оценка многого стоит. Вместе с тем хочу уточнить некоторые детали, касающиеся моих контактов с Л.Н.Андреевым. Я понимаю, что об этом Вы написали с его слов. Для меня они свидетельствуют, что он был человеком совестливым, понимал, что поступил по отношению ко мне, то есть к моей книге, не очень корректно, видимо, испытывал дискомфорт по этому поводу и пытался изобразить дело так, что я “сам виноват”, а в результате оговорил и меня, и себя. Как это можно себе представить, чтобы я, будучи штатным сотрудником редакции ЖЗЛ, стер замечания, поставленные на полях корректуры работником ЦК, и ни слова не сказал об этом моему шефу и другу Ю.Н.Короткову, и тем подвел его “под монастырь” (ведь он после этого был уволен!), и при этом мы с ним остались друзьями. Разумеется, ничего этого не было и быть не могло. Если Андреев говорил Вам, что он после этого на меня рассердился и передал рукопись другому эксперту, то есть лично содействовал тому, чтобы ее угробить, то это напраслина, которую он возвел уже на себя… Скандал поднял Севрук из Отдела пропаганды ЦК: по тамошней табели о рангах он был куда более “сильной” фигурой, чем Андреев. В телефонном разговоре Андреев дал мне понять, что остается в стороне. Я, конечно, не

был этим обрадован, но никакой обиды на него не держал ни тогда, ни тем более потом».

Позднее эта история вошла в диссертацию о жизни и деятельности Вавилова, успешно защищенную в Техасском университете американским историком генетики Барри Менделем Коэном.

Сергей Иванович Вавилов: альбом фотографий / сост. ААКомар, В.М.Березанская, М.А.Лукичев. М.: РМП, 2011. С. 8.

8

Ипатьев А.Н. Воспоминания о братьях Вавиловых / публ. С.Е.Резника // Природа. 1974. № 1. С. 110.

9

Запись от 2.4.1941 // Вавилов С.И. Дневники 1909–1951: в 2 кн. / отв. ред. В.М.Орел, ред. – сост. Ю.И.Кривоносов. М.: Наука, 2012. Кн. 2. С. 116. (Научное наследство. Т. 35. Кн. 2 – 2012; кн. 1 – 2016)

Записи от 3 и 5.4.1940 // Там же. С. 89, 90.

Запись от 13.5.1947 // Там же. С. 310–311.

12

Записи от 25.10.1910 и 16.4.1911 // Вавилов Н.И. Студенческий дневник / публ. Л.В.Курносовой; текстол. и археограф, обработка текста Т.Б.Авруцкой, В.Д.Есакова, Н.И.Дубровиной // Человек. 2005. № 5. С. 185.

13

Письмо Н.И.Вавилова Е.И.Барулиной от 19.11.1920 г. Впервые цитировалось в книге С.Е.Резника «Николай Вавилов» (ЖЗЛ, 1968). В дальнейшем ссылки на это издание не приводятся.

14

Излагаю этот эпизод в том варианте, в каком он опубликован в моей книге «Дорога на эшафот» (Нью-Йорк, 1983) – на основе моих бесед с учениками Вавилова Н.Р.Ивановым и Ф.Х.Бахтеевым. В книге Ю.Н.Вавилова «В долгом поиске» (М., 2008. С. 199) этот эпизод изложен несколько иначе: «Незадолго до своей кончины в 1999 г. мой двоюродный брат Виктор Сергеевич Вавилов (1921–1999) рассказал мне, как в 1931 г. мой отец неожиданно встретился со Сталиным в коридоре Кремля. Виктор Вавилов был свидетелем рассказа об этой встрече моего отца своему брату Сергею на квартире С.И.Вавилова в Ленинграде. Ниже следует рассказ В.С.Вавилова. “В коридоре Кремля дядя Коля остановился и наклонился, открыв свой большой портфель (обычно портфель был наполнен журналами и книгами). Он собирался достать из портфеля документ, необходимый для разговора с кем-то из кремлевских руководителей. Вдруг дядя Коля увидел приближающегося к нему Сталина. Дядя Коля понял, что Сталин его узнал, перехватив его взгляд. Дядя Коля хотел поздороваться со Сталиным и что-то ему сказать. Однако Сталин, увидев его, быстро исчез, войдя в одну из дверей в коридоре. Дядя Коля ждал его некоторое время, но Сталин так и не вышел из комнаты. У дяди Коли возникло неприятное ощущение. Он почувствовал, что Сталин его испугался”. Наверное, Сталин подумал, что Вавилов достает из портфеля пистолет, чтобы в него стрелять. Это представляется теперь вполне правдоподобным. Мы знаем, что Сталин был подвержен параноидным ощущениям, что на него готовится покушение». Мне думается, что мой вариант более достоверен. Во-первых, В.С.Вавилов ошибочно отнес его к 1931 году, хотя он произошел на 3–4 года позднее. Во-вторых, трудно понять, почему Виктор Сергеевич всю жизнь хранил молчание и только перед смертью рассказал об этом своему двоюродному брату. В любом случае рассказ о событии, записанный через 65 лет после того, как оно произошло, выглядит менее достоверным, чем записанный через 30 с небольшим лет. К тому же в близком к моему варианте он изложен Германом Мёллером в письме М.А.Поповскому от 16 июня 1966 г. (Копия письма в кабинете-музее Института генетики РАН; представлена автору директором кабинета-музея Т.Б.Авруцкой, за что приношу ей свою благодарность.)

15

Вавилов С.И. Из воспоминаний о детских и юношеских годах // Николай Иванович Вавилов. Очерки, воспоминания, материалы / отв. ред. С.Р.Микулинский. М.: Наука, 1987. С. 90.

16

Письмо Н.И.Вавилова Р.Э.Регелю от 26.3.1918 // Николай Иванович Вавилов. Из эпистолярного наследия, 1911–1928. М.: Наука, 1980. Т. 1. С. 33. (Научное наследство. Т. 5) Далее в ссылках на это издание, а также на т. 2 (Научное наследство Т. 10. 1987): Вавилов Н.И. Избранные письма. Т. 1, 2.

17

Запись от 9.1.1909 // Вавилов С.И. Дневники. Кн. 1. С. 32.

18

Цит. по: Сергей Иванович Вавилов: альбом фотографий. С. 15.

19

Там же.

Там же. С. 22.

Есаков В.Д. Путь, который выбираю //Человек. 2005. № 5. С. 163–164.

22

Екатерина Сахарова. Фрагменты дневника / публ. И.М.Корнелюк; вступ. ст. И.Герасимова // Ab Imperio. 2015. № 1. С. 231–321. Копия дневника любезно предоставлена автору И.М.Корнелюк при посредничестве Т.Б.Авруцкой. Далее при цитировании: Дневник Е.Н.Сахаровой.

23

Вавилов С.И. Дневники. Кн. 2. С. 319. Незаметно исчезнуть Н.А.Морозову не дают. В наше время у него появились горячие последователи – создатели «Новой хронологии», группирующиеся вокруг академика А.Т.Фоменко, математика по специальности, решившего пошуровать в муравейнике мировой истории. Некоторые его критики полагают, что это розыгрыш: крупный математик забавляется. Его удостоили шутовской премии «Абзац» в номинации «Почетная безграмота» – «за особо циничные преступления против российской словесности». Озорничает академик Фоменко или серьезничает, Н.А.Морозов за его «хронологию» ответственности не несет.

24

Н.И.Вавилов. Документы, фотографии. СПб.: Наука, 1995. С. 23.

Н.Я.Демьянов руководил кафедрой органической химии; Я.В.Самойлов – кафедрой минералогии и геологии; Н.С.Нестеров – кафедрой лесоводства.

26

Федоров Евграф Степанович (1853–1919) – ученый-кристаллограф, основоположник кристаллографии, профессор кафедры геологии и минералогии в Петровке в 1895–1905 гг.

27

Н.И.Вавилов. Экскурсия на Кавказ / публ. Л.В.Курносовой; текстол. и археограф, обраб. текста Т.Б.Авруцкой и Н.И.Дубровиной // Человек. 2006. № 4. При цитировании мною выправлены мелкие описки, расшифрованы сокращения, укрупнены абзацы. В дальнейшем такие коррективы в цитатах не оговариваются.

28

Пушкин А.С. Собр. соч.: в 6 т. М.: Правда, 1969. Т. 1. С. 498. Вавилов ошибочно назвал автором стихотворения М.Ю.Лермонтова, вероятно, спутав с его стихотворением «Крест на скале».

29

Вавилов Н.И. Студенческий дневник / публ. Л.В.Курносовой; текстол. и археограф, обработка текста Т.Б.Авруцкой, В.Д.Исакова и Н.И.Дубровиной // Человек. 2005. № 5. С. 138–151. Цитаты из дневника приводятся по этому изданию.

30

Двустишье из пьесы Генрика Ибсена «Бранд». Оно полюбилось Вавилову, стало для него своего рода девизом, он часто его повторял.

31

Запись от 27.5.1909 // Вавилов С.И. Дневники. Кн. 1. С. 48.

Запись от 2.7.1950 // Там же. Кн. 2. С. 442.

33

Есаков В.Д. Николай Иванович Вавилов: страницы биографии. М.: Наука, 2008. С. 56.

В рабочем состоянии (*англ.*).

35

Дорога исканий *(нем.)*.

36

Цитата из Гейне в дневнике приведена по-немецки, перевод И.М.Корнелюк.

Вишнякова М.А. Друг, партнер, жена (Е.Н.Сахарова и Н.И.Вавилов) // Вавиловский журнал генетики и селекции. 2012. Т. 16. С. 607.

Там же. С. 609.

39

Дневник Е.Н.Сахаровой.

В становлении (*нем.*).

Вишнякова М.А. Друг, партнер, жена… С. 607.

42

Цит. по эл. письму М.А.Вишняковой автору от 24 июля 2016 г.

43

Мало способностей *(нем.)*.

44

Запись от 24.9.1911 // Дневник Е.Н.Сахаровой.

45

Курт Генрих Теодор фон Рюмкер – немецкий ученый-агроном, создатель большой научной школы.

Ronald Florence. Laurence and Aaronsohn. N.Y.: Viking, 2007. R 325. Цит. в сокр. пер. с англ.

47

Микология – наука о грибах; фитопатология – наука о болезнях растений.

48

Воспоминания Г.Мёллера. Цит. по: Рядом с Н.И.Вавиловым. Сборник воспоминаний / сост. Ю.Н.Вавилов. М.: Советская Россия, 1973. С. 249. Мне также довелось слышать об этом эпизоде от «зубра» генетики Н.В.Тимофеева-Ресовского, которому о нем рассказывали все трое «соучастников» – Мёллер, Офферман и Харланд.

Туликова А.Ю. // Рядом с Н.И.Вавиловым. С. 33–34.

Том «Трудов Общества естествоиспытателей в Брюнне» за 1865 год фактически вышел в свет в следующем, 1866 году

51

Академик Коржинский Сергей Иванович (1861–1900) – главный ботаник Императорского ботанического сада и директор Ботанического музея Академии наук.

Цит. по: Авруцкая Т.Б. Письма Н.И.Вавилова – Н.П.Макарову // При

рода. 2012. № 11. С. 79.

Вавилов Н.И. Вильям Бэтсон (W.Bateson) 1861–1926. Памяти учителя // Труды по прикладной ботанике и селекции. 1925 [1926]. Т. 15. Вып. 5. С. 508–510.

55

Письмо А.И.Мальцеву от 30.3.1914 // Вавилов Н.И. Избранные письма. Т. 1. С. 19.

56

Цит. по: Вишнякова М.А. Друг, партнер, жена… С. 612–613. Автор не приводит дату письма, но по другим источникам можно установить, что «Князь Игорь» с Шаляпиным в главной роли шел в театре «Друри-Лейн» 26 мая 1914 года.

57

Сердечная благодарность Ирине Корнелюк, приславшей фотокопию этой газетной вырезки.

Вавилов Н.И. Агрономическая секция Британской научной ассоциации (Письма из Англии) // Вестник сельского хозяйства. 1913. № 41. С. 10–14.

Горький М. Наука и демократия // Вестник знания. 1928. № 5.

Авруцкая Т.Б. Письма Н.И.Вавилова – Н.П.Макарову // Природа. 2012. № 11. С. 74.

См.: Wreck Report for «Runo», 1914 // www.plimsoll.org.

Авруцкая Т.Б. Письма… С. 74.

М.А.Вишнякова первоначально считала, что это запись из дневника

Е.Н.Сахаровой и «Коля» – это Н.И.Вавилов. (См.: Вишнякова М.А. Н.И.Вавилов: Петровка и первая любовь // Известия ТСХА. 2012. № 4. С. 39–49.) Позднее она пришла к выводу, что это, скорее всего, запись Лидии Вавиловой, а «Коля» – Н.П.Макаров. Сообщено автору М.А.Вишняковой в письме от 15 сентября 2015 года, за что ей сердечная признательность.

Авруцкая Т.Б. Письма… С. 76–77.

Бреславец Л.П. Науку он ставил выше всего // Николай Иванович Вавилов. Очерки, воспоминания, материалы. М.: Наука, 1987. С. 88.

Авруцкая Т.Б. Письма… С. 77.

Там же. С. 78.

Монография была издана в 1919 году, к тому времени Московский сельскохозяйственный институт (МСХИ) был переименован в Петровскую сельскохозяйственную академию; позднее ей присвоили имя К.А.Тимирязева.

Вавилов Н.И. Научное наследие в письмах. Международная переписка: в 6 т. М.: Наука, 1994–2003. Т. 1. С. 67. Далее ссылки на это издание: Вавилов Н.И. Международная переписка.

70

Письмо от 7.5.1915 // Авруцкая Т.Б. Письма Н.И.Вавилова – Н.П.Макарову. С. 80.

Письмо от 1.11.1914 // Там же. С. 78.

Письмо от 25.11.1914 // Там же. С. 78–79.

73

Письмо Н.И.Вавилова к Ю.А.Тупиковой от 8.5.1917 // Вавилов Н.И. Избранные письма. Т. 1. С. 25.

Письмо от 3.7.1917 // Там же. С. 26.

75

Письмо от 23.1.1917 // Авруцкая Т.Б. Письма Н.И.Вавилова – Н.П.Макарову. С. 82.

Вавилов Н.И. Проблемы иммунитета культурных растений // Избранные труды: в 5 т. / отв. ред. П.М.Жуковский, Ф.Х.Бахтеев. М.: Наука, 1964. Т. 4. С. 5.

Цит. по: Исаков В.Д. Николай Иванович Вавилов… С. 101.

Там же. С. 102.

Ипатьев А.Н. Воспоминания о братьях Вавиловых // Природа. 1974. № 1. С. 110.

80

Письмо Н.И.Вавилова Е.Н.Барулиной от 20.10.1920. Цит. по: Ты была лучшей из всех, кого я видел… / публ. М.А.Вишняковой, Ю.Н.Вавилова // Природа. 2009. № 11. С. 62. Письма Н.И.Вавилова к Е.И.Барулиной, цитируемые ниже, даны по той же публикации, с. 58–71. Частично публиковались в моей книге «Николай Вавилов» (ЖЗЛ, 1968) по материалам семейного архива Ю.Н.Вавилова.

81

Там же.

Цит. по: Рядом с Н.И.Вавиловым. С. 35.

Вавилов Н.И. Пять континентов. М.: Географгиз, 1962. С. 31.

Там же. С. 32.

85

The wheat plant; a monograph, by John Percival. London: Duckworth and Co [1921]. Джон Персиваль (1863–1949) был профессором университета в Ридинге, небольшом городке в долине Темзы, недалеко от Лондона. Город славен университетом, одним из лучших в Англии, особенно силен в нем сельскохозяйственный факультет. Вавилов познакомился с Персивалем в Англии в 1913–1914 годах и потом обменивался с ним семенным материалом. В предисловии к своей книге Персиваль благодарил Вавилова за предоставленную ему коллекцию пшениц Средней Азии.

Подробнее см.: Гончаров В.С. Усой – Сарез. Хронология, факты, домыслы // www.nikzdaru.com. Сердечно благодарен автору за эту публикацию и за разъяснения, полученные от него в личной переписке.

Логофет Д.Н. (1865–1922) – генерал, военный публицист и писатель, востоковед, автор путевых очерков по Средней Азии.

Вавилов Н.И. Пять континентов. С. 40.

89

Резник С.Е. Мечников. М.: Молодая гвардия, 1973. С. 23. (ЖЗЛ)

Аксентьев С. Две судьбы, разделенные двумя веками // Наука и жизнь. 2008. № 1.

91

Там же.

Вишнякова М.А. Друг, партнер, жена… С. 617–619.

93

Цит. по: Хрулёва А.В., рукопись. Предоставлена автору М.Н.Шашкиной с разрешения А.В.Хрулёвой. Обеим сердечная благодарность.

Цит. по: История Подъяпольских. Пять поколений в XX веке / авт. – сост. М.Е.Раменская. М.: Время, 2014. С. 15.

По другой версии, Мария Александровна была дочерью крещеного еврея А.Д.Бланка, что активно эксплуатировали в своих сочинениях В.Солоухин, А.Солженицын и другие авторы, «изобличавшие» Ленина как *инородца, четверть-еврея, врага России.* О манипуляциях с национальным происхождением Ленина см.: Резник С.Е. Вместе или врозь? Судьба евреев в России. Заметки на полях дилогии А.И.Солженицына. М.: Захаров, 2005. С. 410–413.

Curriculum vitae П.П.Подъяпольского // Раменская М.Е. История Подъяпольских. С. 46.

Раменская М.Е. Указ. соч. С. 94.

Вавилов Н.И. Избранные письма. Т. 1. С. 290.

99

Уточнение Ж.А.Медведева: «Он сильно заикался и тогда, когда я слушал его лекции в 1944–1945 гг. Но он совершенно не заикался в обычных разговорах на кафедре. Очевидно, этот дефект, прерывавший речь иногда на полуслове, проявлялся лишь при напряжении голосовых связок. Но его лекции от этого даже выигрывали, слушатели переставали замечать заикание, тем более что на экране все время сменялись разные интересные диапозитивы» (письмо Ж.А. Медведева автору от 16.5.2017).

Раменская М.Е. Указ. соч. С. 121.

Цит. по: Раменская М.Е. Указ. соч. С. 61.

102

Вавилов Н.И. Избранные письма. Т. 1. С. 289–290.

103

Там же. Т. 2. С. 58.

Раменская М.Е. Указ. соч. С. 72.

105

Цит. по: Есаков В.Д. Николай Иванович Вавилов… С. 96. В примечании Есаков указывает, что при публикации письма в 5-м томе «Научного наследства» (Наука, 1980. С. 30) приведенные два абзаца были удалены.

106

Речь идет о 15-томном «Своде законов Российской империи», составленном графом М.М.Сперанским по заданию Николая I и изданном в 1832 г.

Ефремов Э. Степь и люди: заметки о последователях и последствиях великого докучаевского эксперимента в Каменной степи // Подъем – Регион. 2012. С. 126–182.

Елина О.Ю. Сельскохозяйственные опытные станции в начале 1920-х гг. Советский вариант реформы // На переломе: Советская биология в 20—30-х годах / под ред. Э.И.Колчинского. СПб., 1997. Вып. 1. С. 27–85.

109

Цит по: Ленинский сборник. М.: Политиздат, 1931. XVIII. С. 214.

Вавилов Н.И. Избранные письма. Т 1. С. 36.

111

F3 и F2 – третье и второе поколение гибридов.

Радом с Н.И.Вавиловым. С. 35–36.

113

Там же. С. 44–45.

Цит. по: Есаков В.Д. Николай Иванович Вавилов… С. 100.

115

Там же. С. 102.

Времена меняются *(лат.)*.

117

Н.И.Вавилов. Документы, фотографии. С. 31.

Цит. по: Есаков В.Д. Указ. соч. С. 102.

119

Сергеенко М.Е. Как Н.И.Вавилов занимался латинским языком // Николай Иванович Вавилов. Очерки, воспоминания, материалы. М.: Наука, 1987. С. 141.

120

Письмо Ольденбургу от 6.2.1929 // Вавилов Н.И. Избранные письма. Т. 2. С. 21.

121

Цит. по: Хрулёва А.В., рукопись. Копия в архиве автора.

Рядом с Н.И.Вавиловым. С. 47–48.

123

Цит. по: Хрулёва А.В., рукопись.

124

ГАСО. Ф. Р-2136, оп. 1, д. 6, л. 17–17 об. Прислана автору М.Н.Шашкиной.

125

Цит. по: Полумордвинова И.В. Сергей Иванович Жегалов и Николай Иванович Вавилов (по материалам семейного архива Жегаловых) // Известия ТСХА. 2012. Вып. 4. С. 54–55.

126

Письмо Н.И.Вавилова Е.И.Барулиной от 24.9.1920, Воронеж // Природа. 2009. № 11. С. 59.

127

Слова в квадратных скобках вычеркнуты Вавиловым.

128

Слово вычеркнуто Вавиловым.

129

Очевидно, речь идет о разногласиях с Екатериной Николаевной.

130

Кстати, в итальянском подлиннике прилагательное «трудная» отсутствует, что гораздо лучше *(прим. Вавилова)*.

131

Тимофеев-Ресовский Н.В. Воспоминания. М.: Прогресс, 1995. С. 312–313.

132

Письмо от 30.5.1920. Цит. по: Полумордвинова И.В. С.И.Жегалов и Н.И.Вавилов // Известия ТСХА. 2012. Вып. 4. С. 54–55.

133

Там же.

134

Там же.

135

Вавилов Н.И. Закон гомологических рядов в наследственной изменчивости / отв. ред. И.А.Рапопорт. Л.: Наука, 1987. С. 247–249.

Цит. по: Исаков В.Д. Закон гомологических рядов // Известия ТСХА. 2012. Вып. 4. С. 76.

Рядом с Н.И.Вавиловым. С. 58–60.

Вавилов Н.И. Полевые культуры юго-востока. Пг., 1922. С. 6.

139

Письмо Н.И.Вавилова Е.И.Барулиной от 24.9.1920 // Природа. 2009. № 11. С. 59.

140

Письмо Н.И.Вавилова Е.И.Барулиной от 26.9.1920 // Там же. С. 59.

141

Там же.

142

Осборн Генри Фэрфилд (1857–1935) – американский зоолог и палеонтолог.

143

Вавилов Н.И. Избранные письма. Т. 1. С. 57.

144

Письмо Н.И.Вавилова Е.И.Барулиной от 20.11.1920 // Природа. 2009. № 11. С. 65.

Vavilov N. The Law of Homologous series in variations // Journal of Genetics. 1922. Vol. 12. № 1. Pp. 47–89.

146

Быть большим роялистом [чем сам король] (*франц.*).

147

Труды по прикладной ботанике и селекции. 1931. Т. 26. Вып. 3. С. 109–134.

Сердечная благодарность д.б.н. С.А.Боринской, приславшей автору слайды своего доклада «Идеи Н.И.Вавилова в современной генетике», прочитанного в Государственном биологическом музее им. К.А.Тимирязева 21.11.2012. В докладе, в частности, приведена сравнительная таблица гомологичных белковых молекул человека, других приматов и млекопитающих.

149

Вавилов Н.И. Р.Э.Регель // Регель РЭ. Хлеба в России. Пг., 1922. С. 6.

150

Суд палача. Николай Вавилов в застенках НКВД. Биографический очерк. Документы / сост. Я.Г.Рокитянский, Ю.Н.Вавилов, В.А.Гончаров. М.: Academia, 1999. С. 377.

Есаков В.Д. Николай Иванович Вавилов… С. 112–116.

152

Письмо председателю СХУК В.И.Ковалевскому от 7.8.1920 // Н.И.Вавилов. Документы, фотографии. С. 36.

153

Письмо Н.И.Вавилова Е.И.Барулиной от 5ЛО.1920 // Природа. 2009. № 11. С. 60.

154

Там же.

155

Письмо от 14.10.1920 // Там же. С. 61.

Письмо от 7.11.1920 // Там же. С. 63.

157

Письмо от 20.10.1920 // Там же. С. 62.

158

Там же.

159

Письмо от 6.11.1920 // Там же. С. 63.

160

Письмо от 15.11.1920 // Там же. С. 64.

161

Ленин В.И. Речь на заседании Пленума Московского совета рабочих и крестьянских депутатов, 28.2.1921 // ПСС. Т. 42. С. 358.

162

Ленин В.И. Отчет о политической деятельности ЦК ВКП(б) на X съезде ВКП(б) // ПСС. Т. 43. С. 12.

163

Вавилов Н.И. Избранные письма. Т 1. С. 41.

164

Там же.

165

Цит по: Голод в России (1891–1892) // Википедия.

166

Цит. по: Россия XX век. Архив Александра Яковлева // www.alexander-yakovley.org/almanah/inside/almanah-intro/1021313.

167

Цит по: Тополянский В. Год 1921-й: покарание голодом // Континент. 2006. № 130.

Осоргин М.А. Времена. М.: Директ-медиа, 2014. (Эл. книга.)

169

Ленин В.И. ПСС. Т 44. С. 67.

Геллер М.С. Первое предупреждение – удар хлыстом // Вопросы философии. 1990. № 9. С. 48–49.

Осоргин М.А. Указ. соч.

Там же.

173

Раменская М.Е. История Подъяпольских. С. 122–123.

Лига Наций, под давлением Фритьофа Нансена, тоже организовала помощь голодающим в России. Моральный эффект гуманитарной деятельности Нансена был огромен, в 1922 году он был удостоен за нее Нобелевской премии мира. По сравнению с АРА помощь организации Нансена была относительно скромной. АРА израсходовала 50 миллионов долларов на продовольствие и медикаменты для голодавших жителей России. По данным, неосторожно обнародованным *всесоюзным старостой* М.И.Калининым, АРА спасла от голодной смерти 10,4 миллиона человек, организация Нансена – 1,5 миллиона. Другие западные организации помогли выжить еще 220 тысячам человек.

175

Ленин В.И. ПСС. Т. 53. С. 110.

176

Уншлихт И.С. (1879–1938) – в то время зампредседателя ВЧК-ОГПУ. Позднее – на разных постах. Арестован в 1937-м, расстрелян.

177

Ленин В.И. ПСС. Т. 53. С. 111.

178

Ленин В.И. Тов. Молотову для членов Политбюро. Строго секретно. 19 марта 1922 г. Цит. по: Новая газета. 2009. № 38.

179

О деятельности в России представителя еврейского благотворительного фонда «Джойнт» Джозефа Розена см.: Резник С.Е. Вместе или врозь? М.: Захаров, 2005. С. 439–440 и далее по указателю.

Есаков В.Д. Николай Иванович Вавилов… С. 135.

181

Вавилов Н.И. Международная переписка. Т. 1. С. 188–189.

Цит. по: Савинова Т.А. Н.П.Макаров – русский и советский экономист-аграрник // Россия и современный мир. М. 2007. № 1 (54). С. 200–207.

183

Письмо Н.И.Вавилова Г.С.Зайцеву от 28.11.1922. Копия в архиве автора.

Цит. по: Вавилов Н.И. Международная переписка. Т. 1. С. 461.

185

Письмо от 3.2.1924 // Там же. С. 99—100.

Там же. Т. 2. С. 82–84.

187

Письмо Ф.Г.Добржанского Ю.А.Филипченко от 16.4.1929 // У истоков академической генетики в Санкт-Петербурге. СПб.: Наука, 2002. С. 188–189. В дальнейшем ссылки на это издание.

Вавилов Н.И. Международная переписка. Т. 2. С. 121.

189

Там же. Т. 3. С. 343.

190

Письмо от 12.11.1921 // Н.И.Вавилов. Документы, фотографии. С. 40.

191

Письмо к О.В.Якушкиной от 30.11.1921 // Там же. С. 40.

192

Письмо М.О.Шаповалову от 8.1.1921 // Вавилов Н.И. Международная переписка. Т. 1. С. 27.

193

Там же.

194

Речь идет о гуманитарной помощи голодающим.

195

Письмо Гуго де Фриза от 24.1.1922 // Вавилов Н.И. Международная переписка. Т. 1. С. 201.

Там же. С. 34.

197

Письмо У.Бэтсону от 5.10.1922 // Там же. С. 57.

198

Докладная записка от 12.3.1922 // Вавилов Н.И. Избранные письма. Т 1. С. 44.

Сведения о А.М.Пантелееве разыскала сотрудница архива Тимирязевской академии И.Г.Барышева, чье письмо мне переслала М.Н.Шашкина. Обеим сердечная благодарность.

200

Вавилов Н.И. Международная переписка. Т 1. С. 29.

201

Там же.

Там же. С. 43.

Замысел был в значительной мере осуществлен. Под редакцией Н.И.Вавилова была издана многотомная «Культурная флора СССР».

204

Беркли-колледж, где состоялась первая встреча Вавилова с Бородиным.

205

Письмо Бородина от 21.1.1922 // Вавилов Н.И. Международная переписка. Т. 1. С. 197–198.

Там же. С. 197.

207

Письмо Д.Н.Бородина от 1.1.1922 // Там же. С. 187–188.

Там же. С. 35.

209

Там же. С. 37–38.

Там же. С. 40.

Там же. С. 41.

212

Речь идет о продуктовых посылках по программе АРА. Зарубежные родственники или друзья россиян вносили 10 долларов, и АРА направляла посылку по указанному ими адресу Таков был один из способов сбора дополнительных средств на программу АРА. Всего было отправлено в Россию 700 тысяч индивидуальных посылок. В каждой было примерно 53 кг высококалорийных непортящихся продуктов

213

Вавилов Н.И. Международная переписка. Т. 1. С. 43.

Там же. С. 43–44.

215

Там же. С. 49.

Там же. С. 45.

217

Вавилов Н.И. Международная переписка. Т 1. С. 30.

Там же. С. 42.

219

И.Н.Осин – завхоз Новгородской опытной станции.

Ф.Я.Блинов – заведующий Северо-Двинской опытной станцией.

221

Воронежская станция – она же Степная станция в Каменной степи.

222

Письмо Н.И.Вавилова Г.С.Зайцеву от 29.5.1920. Копия в архиве автора. Частично цитировалось в моей книге «Завещание Гавриила Зайцева». М.: Детская литература, 1981. С. 67.

Там же. С. 67–68.

Семейный архив В.М.Максименко и М.Г.Зайцевой. См.: Резник С.Е.

225

Завещание Гавриила Зайцева. С. 89.

Цит. по: Елина О.Ю. Сельскохозяйственные опытные станции в начале 1920-х гг. Советский вариант реформы // На переломе: Советская биология в 20—30-х годах / под ред. Э.И.Колчинского. СПб., 1997. Вып. 1. С. 81.

227

Вавилов Н.И. Международная переписка. Т. 1. С. 65.

Там же. С. 65–66.

229

Там же. С. 70.

Там же. С. 71.

231

Там же. С. 75.

А.А. Орлов – заведующий Кубанским отделением Отдела прикладной ботаники.

233

Вавилов Н.И. Международная переписка. Т. 1. С. 81–82.

Там же. С. 85–86.

Там же. С. 86–88.

236

Вавилов Н.И. К познанию мягких пшениц (систематико-географический очерк) // Труды по прикладной ботанике и селекции. 1923. Т 13. Вып. 1.

237

Всесоюзная сельскохозяйственная выставка 1923 года.

238

Вавилов Н.И. Международная переписка. Т 1. С. 91.

Там же. С. 94–95.

В течение долгого времени, получая из США образцы сортов через Бородина и от ученых-опытников, Вавилов не мог посылать в обмен семена, которыми располагал Отдел прикладной ботаники, из-за отсутствия средств на пересылку и из-за таможенных и других препонов.

241

Вавилов Н.И. Международная переписка. Т. 1. С. 95.

Там же. С. 96.

243

Там же.

Там же. С. 98.

245

Вавилов Н.И. Избранные письма. Т. 2. С. 114.

246

Письмо П.П.Подъяпольскому от 5.5.1924 // Там же. Т 1. С. 165.

247

Там же.

248

Драгавцев В.А. Он хотел вволю накормить человечество… (Памяти академика Н.И.Вавилова) // ЭКО-потенциал. 2017. № 1. С. 17.

249

Письмо Н.И.Вавилова Г.С.Зайцеву от 16.4.1926. Копия в архиве автора.

250

Письмо от 5.12.1926 // Вавилов Н.И. Избранные письма. Т. 1. С. 290.

251

Прекрасная метафора, подаренная автору М.Д.Голубовским.

252

Полиплоидия – наследственное изменение организма, вызванное кратным увеличением числа хромосом. Амфидиплоидия – плодовитый межвидовой гибрид, в котором сочетаются полные наборы хромосом родительских форм.

253

Письмо Н.И.Вавилова Г.Д.Карпеченко от 25.3.1926 // Вавилов Н.И. Международная переписка. Т. 1. С. 157–158.

254

Письмо Г.Д.Карпеченко от 3.2.1926 // Там же. Т. 1. С. 423–424.

255

Письмо Г.Д.Карпеченко от 11.2.1926 // Там же. С. 411.

Письмо от 7.11.1925 // Переписка Вавилова и Карпеченко // vir.nw.ru/ history/v-k-letters.htm.

257

Письмо Г.Д.Карпеченко от 11.2.1926 // Вавилов Н.И. Международная переписка. Т. 1. С. 412.

258

Письмо от 13.8.1922 // Вавилов Н.И. Международная переписка. Т 1. С. 42.

259

Письмо Д.Н.Бородину от 1.11.1923 // Там же. С. 89.

260

«И увидел Бог, что это хорошо» – рефрен библейской Книги Бытия.

261

Письмо Д.Л.Рудзинскому от 15.3.1924 // Вавилов Н.И. Международная переписка. Т. 1. С. 109.

Некоторые ученые, опираясь на данные современной археологии, куда более богатые, чем сто лет назад, считают, что открытые Вавиловым ген-центры не совпадают с первичными очагами земледельческой культуры. На этом основании некоторые авторы предпочитают термин «центры разнообразия», а не «центры происхождения» культурных растений. Я не оспариваю эту точку зрения, но пытаюсь воспроизвести ход мышления Вавилова.

263

Письмо Н.И.Вавилова Г.С.Зайцеву от 3.11.1923. Копия в архиве автора.

264

Письмо А.И.Мальцеву от 3.5.1924 // Вавилов Н.И. Избранные письма. Т. 1. С. 164.

265

Вавилов Н.И. Международная переписка. Т. 1. С. 113.

Там же.

267

Письмо от 6.8.1924. Копия в архиве автора.

Теперь этих статуй не увидишь. В 2001 году, вопреки протестам во всем мире, они были взорваны мусульманскими фанатиками – по приказу тогдашнего главы Афганистана и движения Талибан Мохаммада Омара. Так они боролись с «идолопоклонством». Позднее уничтожение памятников культуры стало нормой для террористов.

269

Письмо Д.Л.Рудзинскому от 4.3.1925 // Вавилов Н.И. Международная переписка. Т. 1. С. 117.

270

Письмо Г.С.Зайцеву от 15.9.1924. Копия в архиве автора.

271

Письмо Г.С.Зайцеву от 17.9.1924. Копия в архиве автора.

Причина, по которой в «пекле творения» не оказалось диких предшественников мягкой пшеницы, выявилась позднее. Оказалось, что виды мягких пшениц (42 хромосомы) возникли в результате отдаленной гибридизации (амфидиплоидии) твердых пшениц (28 хромосом) с однозернянкой (14 хромосом).

273

Письмо Г.С.Зайцеву от 17.9.1924. Копия в архиве автора.

Копия в архиве автора.

Копия в архиве автора.

Вавилов Н.И. Международная переписка. Т. 1. С. 114.

Там же. С. 115.

Вавилов Н.И. Избранные письма. Т. 1. С. 187.

279

Вавилов Н.И. Международная переписка. Т 1. С. 119.

280

Письмо от 13 ЛЛ924 // Вавилов Н.И. Избранные письма. Т 1. С. 171.

281

Письмо от 14.1.1925 // Там же. С. 172.

Письмо от 5.2.1925 // Там же. С. 177.

283

См.: Елина О.Ю. У истоков российской селекции и семеноводства. Петр Иванович Лисицын на Шатиловской опытной станции и Госсемкультуре. М., 2016. С. 317–329.

Синская Е.Н. Воспоминания о Н.И.Вавилове. Киев: Наукова думка,

1991. C. 61.

286

Письмо в Центральную комиссию по назначению персональных пенсий при НКСО РСФСР от 25.4.1931 // Вавилов Н.И. Избранные письма. Т. 2. С. 112–113.

Гончаров Н.П. Организатор системы государственного сортоиспытания и выдающийся селекционер (130 лет со дня рождения В.В.Таланова) // Вавиловский журнал генетики и селекции. 2002. № 20.

288

Письмо от 8.4.1925 // Вавилов Н.И. Избранные письма. Т. 1. С. 192.

289

Письмо от 4.3.1925 // Вавилов Н.И. Международная переписка. Т. 1. С. 118.

290

Запись от 3.4.1937 // Вернадский В.И. Дневники 1935–1941: в 2 кн. / отв. ред. В.П.Волков. М.: Наука, 2006. Кн. 1: 1935–1938 // vernadsky.name/wp-content/uploads/2013/03/vernadsky.pdf.

291

Запись от 3.4.1937 // Там же.

292

Отчет о деятельности Российской академии наук, 1919. С. 5. Цит. по: Алексеев П.В. Революция и научная интеллигенция. М., 1987. С. 268.

293

Цит. по: Думова Н.Г. Кадетская контрреволюция и ее разгром. М., 1982. С. 72.

Поволяева Н.Н. Мир цветочных фантазий профессора Д.Д.Арцыбашева//chtenie-21.ru/blogs/166/1116.

295

Письмо от 4.2.1925 // Вавилов Н.И. Избранные письма. Т. 1. С. 176.

Письмо от 16.2.1925 // Там же. С. 178–180.

Сойфер В.Н. Власть и наука. М.: ЧеРО, 2002. С. 251.

Вавилов Н.И. Международная переписка. Т. 1. С. 119.

299

Письмо Дж. Паркеру от 9.2.1926 // Там же. С. 153.

Там же. Т. 4. С. 45–49.

301

Синская Е.Н. Воспоминания о Н.И.Вавилове. С. 55.

302

Вавилов Н.И. Международная переписка. Т 1. С. 128.

303

Времена меняются (*лат.*).

304

Письмо от 19.9.1925 // Вавилов Н.И. Избранные письма. Т. 1. С. 224–225.

305

Письмо Н.М.Тулайкова от 19.2.1935. Цит. по: Савина Г.А. Чистые линии (В.И.Вернадский о Н.И.Вавилове) // Трагические судьбы: репрессированные ученые Академии наук СССР. М.: Наука, 1995. С. 7.

Вавилов Н.И. Избранные письма. Т. 1. С. 225.

307

Там же.

Там же. С. 239.

309

Письмо Г.С.Зайцеву от 5.11.1925. Копия в архиве автора.

310

Письмо от 9Л1.1925 // Вавилов Н.И. Международная переписка. Т. 1. С. 145.

311

Письмо Бэтсону от 25.1.1926 // Там же. С. 149.

Там же. С. 150.

313

Письмо А.Д.Холла от 9.2.1925 // Там же. С. 413.

314

Стреблов Иван Богданович (1873–1951) – художник-график, ученик И.Е.Репина. В письме госпожи Бэтсон Н.И.Вавилову он ошибочно назван Г.Стребловым; в именном указателе к «Международной переписке Н.И.Вавилова» его инициалы Н.Б. (Т. 1. С. 531), в книге М.Поповского «Дело академика Вавилова» – Н.В.

315

Докладная записка от 3.4.1926 // Вавилов Н.И. Избранные письма. Т. 1. С. 268–269.

Копия в архиве автора.

317

Письмо Н.П.Горбунову, апрель 1926 г. // Вавилов Н.И. Избранные письма. Т 1. С. 279.

318

В Великобритании вспыхнула массовая забастовка с участием пяти с лишним миллионов рабочих.

319

Письмо М.Г.Попову от 17.5.1926 // Вавилов Н.И. Избранные письма.

320

T. 1. C. 281.

321

Саламан (Сэйлеман) Рэдклиф Натан (1874–1955) – британский фитопатолог, специалист по болезням и иммунитету картофеля.

322

В оригинале цитата из мадам де Сталь приведена по-французски (пер. А. Ефимова).

323

Вавилов просил транзитную визу во Французское Сомали для въезда в Эфиопию (Абиссинию).

324

Местечко под Парижем, основная база фирмы «Вильморен».

325

Маркизе преподнес английские ряды и центры. Это понравилось. Дама она действительно влиятельная. Оказывается, даже на днях ей дали орден Почетного] легиона. Это редко *(прим, на полях Н.И.Вавилова)*.

326

Письмо Н.П.Горбунову от 25.6.1926 // Вавилов Н.И. Избранные письма. Т. 1. С. 283–284.

327

С.И.Метальников (1870–1946) – ученый-селекционер, политический и общественный деятель (член I Государственной Думы), в 1919 году эмигрировал, работал в Институте Пастера. М.В.Вайнберг (1868–1940) – микробиолог, профессор, один из ведущих сотрудников Института Пастера. И.И.Иванов (1868–1932) – зоолог, сотрудник Института экспериментальной биологии, специалист по межвидовой гибридизации животных. Был широко известен опытами по скрещиванию человека и приматов. Его работы поддерживал и помогал финансировать Н.П.Горбунов. В указанное время работал в Институте Пастера. После возвращения в СССР продолжал работать в том же направлении, но затем был подвергнут разносной критике, арестован, приговорен к пятилетней ссылке в Алма-Ату, где умер от инсульта в 1932 году.

Вавилов Н.И. Пять континентов. С. 147.

329

Там же.

330

Письмо Н.П.Горбунову от 19.8.1926 // Вавилов Н.И. Избранные письма. Т 1. С. 285.

331

Письмо В.Е.Писареву, Афины, от 23.8.1926 // Там же. С. 286.

«Примите поздравления» *(англ.)*.

333

«Блестящее слово» *(англ.)*. Суингл (Цвингл) – американский биолог, сотрудник Вашингтонского Бюро растениеводства.

«Классическое исследование» *(англ.)*. Бивен – британский биолог.

335

Сэр Артур Джон Эванс (1851–1941) – британский археолог, первооткрыватель Минойской цивилизации (на острове Крит).

Вавилов Н.И. Пять континентов. С. 187.

Там же. С. 186.

Проводник в Акрополь был даже возмущен, когда вместо рассматривания руин я стал собирать овсюги *(прим. Н.И.Вавилова)*.

339

Вавилов Н.И. Избранные письма. Т. 1. С. 285.

Письмо В.И.Писареву от 6.9.1926 // Там же. С. 286.

341

Письмо В.Е.Писареву от 7.9.1926 // Там же.

Там же. С. 287.

343

Письмо М.И.Тополянской от 20.2.1925 // Вавилов Н.И. Международная переписка. Т. 1. С. 117.

Вавилов Н.И. Пять континентов. С. 131.

345

Письмо от 23.9.1926 // Вавилов Н.И. Избранные письма. Т. 1. С. 287.

346

Письмо от 29.9.1926 // Там же. С. 288.

Письмо В.Е.Писареву от 8.10.1926 // Там же.

Гражданином *(фр.)*.

349

Правда. 19.9.1926.

350

Письмо от 8.11.1926 // Вавилов Н.И. Избранные письма. Т. 1. С. 288–289.

351

Вавилов Н.И. Пять континентов. С. 141.

352

Письмо профессору А.Фодору, Иерусалим, от 18.6.1931 // Вавилов Н.И. Международная переписка. Т. 3. С. 38.

353

Варбург Отто (1859–1938) – завкафедрой ботаники Еврейского уни

Вавилов Н.И. Международная переписка. Т. 3. С. 27–28.

355

Письмо от 20.11.1926 // Вавилов Н.И. Избранные письма. Т. 1. С. 289.

356

Имеется в виду премия им. В.И.Ленина; размер ее был 2000 рублей.

Визу в Эритрею, колонию Италии, Вавилов получил в Риме.

Н.И.Вавилов. Документы, фотографии. С. 66.

359

Там же.

360

Страна для философии земледелия замечательная. Из Абиссинского дневника Н.И.Вавилова / публ. Ю.Н.Вавилова, В.Д.Есакова // Природа. 1987. № 10. С. 47.

361

Письмо Н.И.Вавилова Г.К.Сухановой (Флаксерман) от 22.4.1927. Цит. по: Никитин Е. Николай Вавилов, Галина Флаксерман и возрожденная «Наука и жизнь» // Наука и жизнь. 2015. № 4. Благодарю В.И.Порудоминского за указание на эту публикацию.

362

Из Абиссинского дневника Н.И.Вавилова. С. 52.

363

Вавилов Н.И. Избранные письма. Т 1. С. 294.

364

Из Абиссинского дневника. С. 52.

365

Н.И.Вавилов. Документы, фотографии. С. 67.

Вавилов Н.И. Избранные письма. Т 1. С. 295.

367

Из Абиссинского дневника. С. 55.

Там же. С. 55.

Там же. С. 55–56.

Роскин А.И. Караваны, дороги, колосья. Саратов: Приволжское изд-во, 2010. С. 78. (1-е изд.: 1932 г.)

Природа. 1927. № 10. С. 763–774; Труды по прикладной ботанике и селекции. 1927. Т. 17. Вып. 3. С. 414–428.

Вавилов Н.И. Избранные письма. Т. 1. С. 295.

Вавилов Н.И. Пять континентов. С. 181.

Цит. по: Николаев Е. Николай Вавилов, Галина Флаксерман и возрожденная «Наука и жизнь» // Наука и жизнь. 2015. № 4.

375

Вавилов Н.И. Международная переписка. Т. 1. С. 172–173.

Miege (Мьеж), Boeuf (Бёф), Ducellier (Дюселье) – французские растениеводы, принимавшие Н.И.Вавилова в Алжире, Марокко и Тунисе.

Вавилов Н.И. Избранные письма. Т. 1. С. 296.

Должен сказать два слова об инсинуациях в российской печати (2015) о том, будто Вавилов разъезжал по заграницам с женой на государственный счет. Из приведенных документов видно, что Е.И.Барулина приехала в Рим на собственные (одолженные у В.Е.Писарева) деньги, взяв отпуск без сохранения содержания.

Вавилов Н.И. Избранные письма. Т. 1. С. 296.

Там же. С. 297.

381

Там же. С. 296.

Вавилов Н.И. Пять континентов. С. 160.

383

Вавилов Н.И. Международная переписка. Т 2. С. 153.

Вавилов Н.И. Избранные письма. Т. 1. С. 298.

Рядом с Н.И.Вавиловым. С. 240.

386

Письмо от 26.11.1928 // Вавилов Н.И. Международная переписка. Т. 2. С. 66.

387

Письмо от 22.8.1927 // Там же. Т. 1. С. 174.

Там же. Т. 1. С. 174.

389

Вавилов Н.И. Пять континентов. С. 194.

390

Там же.

391

Письмо от 29.6.1927 // Вавилов Н.И. Избранные письма. Т. 1. С. 299.

392

Письмо Хоровера от 22.5.1928 // Вавилов Н.И. Международная переписка. Т. 2. С. 254.

393

Там же. С. 201.

Там же. С. 264.

395

Вавилов Н.И. Пять континентов. С. 203.

Там же. С. 204.

Там же. С. 205.

Цит. по: Голубовский М.Д. Сопереживание чуда // Химия и жизнь. 1997. № 4.

399

Письмо В.Е.Писареву от 23.7.1927 // Вавилов Н.И. Избранные письма. Т. 1. С. 301.

400

Письмо Н.И.Вавилова П.П.Подъяпольскому от 30.3.1927. Цит. по рукописи, любезно предоставленной автору М.Е.Раменской.

401

Вавилов Н.И. Пять континентов. С. 214.

Сикстинской капеллой каменного века Вавилов здесь называет Альтамирскую пещеру.

403

Письмо от 23.1.1927 // Вавилов Н.И. Избранные письма. Т. 1. С. 301.

Вавилов Н.И. Международная переписка. Т. 1. С. 175.

405

Письмо от 26.5.1927 // Вавилов Н.И. Избранные письма. Т. 1. С. 297.

406

Францисканский монастырь в городе Ассизи в горах Умбрии.

407

Броун Адельфий Адольфович – секретарь Отдела натурализации ВИРа с 1925 по 1931 г. Керн Эдуард Эдуардович (1855–1938) – лесовод, дендролог, специалист по прикладной ботанике и мелиорации. Ученый специалист Отдела натурализации ВИРа, профессор ТСХА и Московского лесотехнического института. В 1930 году, направляй Керна в Италию для изучения биологии пробкового дуба, Вавилов писал профессору Дж. Ацци: «Керн – один из наших лучших специалистов по лесоводству, и я с ним хорошо знаком. Он не занимается политикой».

408

Письмо Д.Д.Арцыбашеву от 24.11.1927 // Вавилов Н.И. Избранные письма. Т. 1. С. 310.

409

Письмо Н.П.Горбунову от 24Л1.1927 // Там же. С. 306–310.

410

Николаев В.Ф. // Рядом с Н.И.Вавиловым. С. 164. В.Ф.Николаев, к.б.н., в то время – замдиректора Сухумского отделения Института прикладной ботаники.

411

Вавилов Н.И. Избранные письма. Т. 1. С. 318.

Там же. С. 329.

413

Письмо Н.Д.Костецкому от 27.2.1928 // Там же. С. 327.

Поволяева Н.Н. Мир цветочных фантазий профессора Д.Д.Арцыбашева // chtenie-21.ru/blogs/166/1116; Вехов Н. Сады и цветники профессора Арцыбашева // Московский журнал. 2005. № 2; Дементьев А. Ветка сирени упала на грудь… // Липецкая правда. 30.5.2005. Сердечная благодарность Э.И.Колчинскому, сообщившему о публикациях Н.Вехова и А.Дементьева.

415

Поповский М.А. Дело академика Вавилова. Нью-Йорк: Эрмитаж, 1983. С. 213–214. (2-е год.: М., 1991.)

См.: Жертвы политического террора в СССР // lists.memo.ru/index1.htm.

417

Вавилов Н.И. Избранные письма. Т 1. С. 329.

418

Письмо от 25.8.1928 // Там же. С. 355. То, что Вавилов в одном письме указывал, что под его началом 700 сотрудников, в а другом 1200, объясняется, видимо, тем, что в одном случае он имел в виду научных сотрудников, а во втором общее число работников, включая обслуживающий персонал.

419

Письмо от 15.6.1928 // Там же. С. 349.

Десять лет спустя вышло ее второе издание, которое здесь многократно цитировалось.

Вавилов Ю., Резник С. Удар в лицо цивилизации: За что погиб академик Н.И.Вавилов // Новое русское слово. 4.2.1992.

S.Reznik & Yu.Vavilov. The Russian Scientist Nicolay Ivanovich Vavilov // N. I. Vavilov. Fife Continents. Editor-in-chief L.E. Rodin. Translated from the Russian by Doris Love. Edited by S.Reznik and P.Stapleton. Rome: IPGRI, 1997. Pp. XVII–XXIX.

Epilogo: El cientifico ruso Nikolai Vavilov por Semion Reznik y Yuri Vavilov // Nikolai I. Vavilov. Cinco continentes. Madrid: Libros del Jata, 2015. Pp. 331–354.

Вавилов Н.И. Избранные письма. Т. 1. С. 355.

Ипатьев А.Н. Воспоминания о братьях Вавиловых // Природа. 1974. № 1. С. 108–115.

426

Запись от 7.4.1938 // Вавилов С.И. Дневники. Кн. 2. С. 66.

Там же. С. 527.

Там же. С. 528.

429

Подробнее о взаимоотношениях Н.И.Вавилова и Г.С.Зайцева см: Резник С.Е. Завещание Гавриила Зайцева; Письма Н.И.Вавилова Г.С.Зайцеву / публ. и вступ. ст. С.Е.Резника // Природа. 1977. № 4. С. 96—115.

430

Докладная записка Н.И.Вавилова председателю Совнаркома А.И.Рыкову [1925] // Н.И.Вавилов. Документы, фотографии. С. 56.

431

Там же. С. 57.

Эту песню запоют еще не скоро, но общественная атмосфера, в которой могли появляться такие песни, уже была.

433

Рокитянский Я.Г. Николай Вавилов и Сталин. Неизвестная встреча 15 марта 1929 года // Природа. 2009. № 12. С. 53–55; Запись беседы тов. Сталина с представителями с/х опытных учреждений 15 марта 1929 года / публ. Ю.Н.Вавилова, Я.Г.Рокитянского // Там же. С. 56–58.

Там же. С. 56.

435

Цит. по: Исаков В.Д. Николай Иванович Вавилов… С. 158–159.

436

Письмо от 2.6.1929 // Вавилов Н.И. Избранные письма. Т. 2. С. 49–51.

437

Письмо Е.П.Воронову от 30.5.1928 // Там же. Т. 1. С. 346.

Там же. Т. 2. С. 47–48.

439

Вавилов Н.И. Избранные письма. Т 2. С. 58.

Н.И.Вавилов. Документы, фотографии. С. 87.

441

Там же.

Вавилов Н.И. Пять континентов. С. 99.

443

Н.И.Вавилов. Документы, фотографии. С. 87.

444

Письмо Букиничу от 11.6.1929 // Вавилов Н.И. Избранные письма. Т. 2. С. 55.

Н.И.Вавилов. Документы, фотографии. С. 88.

Вавилов Н.И. Пять континентов. С. 103–104.

447

Письмо от 7.1.1930 // Вавилов Н.И. Избранные письма. Т. 2. С. 67.

Вавилов Н.И. Пять континентов. С. 112.

449

Письмо Б.В.Скворцову в Харбин от 24.3.1930 // Вавилов Н.И. Международная переписка. Т. 2. С. 107.

450

Там же.

451

Вавилов Н.И. Пять континентов. С. 121.

452

Письмо от 7.1.1930 // Вавилов Н.И. Избранные письма. Т. 2. С. 66. В письме говорится о томе «Трудов по прикладной ботанике», посвященном академику И.П.Бородину. В нем была статья Г.Д.Карпеченко и О.Н.Сорокиной по гибридизации эгилопса. О.Н.Сорокина – сотрудница отдела генетики ВИРа.

453

Там же.

Там же. С. 67.

455

Письмо в редакции газет, 1929 г. // Вавилов Н.И. Избранные письма. Т. 2. С. 63–64.

Колчинский Э.И. Начало скорбного пути Н.И.Вавилова (К 125-летию великого ученого) // Политическая концептология. 2012. № 4.

Там же.

Там же.

459

Там же.

Там же.

461

Там же.

462

Правда. 21.2.1930

Есаков В.Д. Николай Иванович Вавилов… С. 167.

Там же. С. 166–169.

465

Вавилов Н.И. Избранные письма. Т 2. С. 77–79.

См.: Герасимов И. Душа человека переходного времени. Случай Александра Чаянова. Казань: АННА, 1997.

467

Цит. по: Балашова О.В., Галиева Т.М. Семен Леонтьевич Маслов – ученый и политик // Вестник архивиста. 2010. № 1.

Там же.

Чаянов В.А. Жизнь и деятельность Александра Васильевича Чаянова. М., 2008. С. 104.

470

Там же. С. 104. Письмо не датировано, но примерная дата узнается из содержания.

471

Письмо А.В.Чаянова С.Н.Прокоповичу от ЗЛ.1923 // Чаянов В.А. Указ, соч. С. 106.

Ленин В.И. ПСС. Т. 45. С. 369.

473

Зиновьев Г. Манифест кулацкой партии // Большевик. 1927. № 13. С. 33–34.

Цит. по: Виноградова И.Н. Опровержение критиков А.В.Чаянова, окрестивших его сторонником кулацко-капиталистического развития деревни // Экономический журнал. 2002. № 2 (4).

475

Вавилов Н.И. Международная переписка. Т. 2. С. 434.

Доклад «Дикие родичи плодовых деревьев Азиатской части СССР и Кавказа и проблема происхождения плодовых деревьев» – одна из классических работ Н.И.Вавилова. Занимаясь преимущественно полевыми культурами, Вавилов считал себя дилетантом в плодоводстве, что, разумеется, несправедливо.

477

Цит. по: Вавилов Ю.Н. В долгом поиске. Книга о братьях Николае и Сергее Вавиловых. М.: ФИАН, 2008. С. 47. Эмерсон Роллинс Адамс (1873–1947) – профессор генетики Корнельского университета, Итака, штат Нью-Йорк.

478

Вавилов Н.И. Международная переписка. Т. 2. С. 483–485.

Там же. С. 124. Уилсон Попено (1892—?) – американский ботаник, специалист по тропической флоре.

Там же. С. 124–125. Шанц Х.Л. (1876–1957) – ботаник и физиолог растений, президент Аризонского университета. Через год он напишет Вавилову: «Получил полдюжины великолепных работ, вышедших из-под Вашего пера и опубликованных в этом году… Вы делаете на удивление много, и я надеюсь, что ничто не помешает Вам следовать в этом направлении». Письмо от 23.9.1931 // Там же. Т. 3. С. 190.

Позднее было обнаружено, что в корневой системе кок-сагыза – травянистого растения Средней Азии – также содержится высокий процент каучука. По предложению Н.И.Вавилова, кок-сагыз был введен в культуру. Русский *одуванчик* (как его стали называть на Западе) возделывался в Средней Азии и на Кавказе в течение многих лет. После того как были разработаны дешевые методы производства искусственного каучука, надобность в нем отпала.

482

Вавилов Н.И. Избранные письма. Т. 1. С. 305. О путешествии С.М.Букасова и Ю.Н.Воронова, с подробным изложением маршрутов, см. также: Русские географы в Латинской Америке: хроника путешествий XIX – начала XX в. / науч. ред. А.С.Наумов. М.: АСТ, 2014. С. 303–333. (Великие русские экспедиции)

Букасов С.М. Картофель (Сортоведение и селекция). Л., 1925.

484

Письмо С.М.Букасову от 24.12.1926 // Вавилов Н.И. Избранные письма. Т. 1. С. 247.

485

Письма Ф.Г.Добржанского к Ю.А.Филипченко цитируются по: У истоков академической генетики в Санкт-Петербурге. СПб.: Наука, 2002; Переписка Добржанского с Н.И.Вавиловым цитируется по: Вавилов Н.И. Международная переписка. Т. 2, 3.

486

Письмо от 7.7.1927 // У истоков академической генетики… С. 54–55.

Впоследствии они осложнятся. Эволюция их отношений прослежена в работе М.Д.Голубовского «Добжанский в двух мирах (К 100-летию со дня рождения)» (ВИЕТ. 2000. № 12). Статья любезно прислана автором. Пользуюсь случаем еще раз сердечно поблагодарить М.Д.Голубовского за доброжелательное, заинтересованное внимание к моей работе, ценные советы, конструктивные замечания, указания на литературные источники и т. п.

488

Правда. 11.9.1927. В заголовке прямая перекличка со знаменитой книгой Джона Рида «Десять дней, которые потрясли мир».

489

Письмо от 14.7.1928 // У истоков академической генетики… С. 79.

490

Письмо из Пасадены от 16.11.1928 // Там же. С. 116–117.

491

Письмо из Вуд-Холла от 14.7.1928 // Там же. С. 79–80.

Письмо от 14.9.1928 // Там же. С. 102.

493

Письмо от 25.2.1930 // Там же. С. 272.

494

Письмо от 29.12. 1929 // Вавилов Н.И. Международная переписка. Т. 2. С. 380.

Сохраняю в цитатах разные написания, как в оригиналах. Правильное латинское (и английское) написание: Drosophila.

496

Письмо от 2.2.1930 // Вавилов Н.И. Международная переписка. Т. 2. С. 96.

Там же. С. 121.

Там же. С. 415–416.

Там же. С. 125.

Там же. Т. 3. С. 18.

501

Там же. С. 20.

Там же. С. 25.

503

Письмо от 22.3.1931 // Там же. С. 18. Амторг *(Amtorg Trading Corporation*) – акционерное общество, учрежденное в США в 1924 году, посредник в деловых операциях советского Внешторга с американскими компаниями; базировалось в Нью-Йорке, имело представительство в Москве. Играло важную роль, особенно до установления дипломатических отношений между СССР и США.

Там же. С. 63–64.

505

Вавилов Н.И. Избранные письма. Т. 2. С. 85.

506

Письмо Вавилова Добржанскому от 1.1.1931 // Там же. Т. 3. С. 12.

507

Письмо от 11.6.1931 // Там же. С. 32–33.

Резник С.Е. Против течения: Академик Ухтомский и его биограф. СПб.: Алетейя, 2015. С. 273.

509

Письмо от 12.6.1931 // Вавилов Н.И. Международная переписка. Т. 3.С. 36.

Письмо от 9.6.1931 // Там же. С. 31.

511

Письмо от 10.8.1931 // Там же. С. 173.

512

Письмо И.В.Сталина В.М.Молотову (не ранее 23.8.1930) // Письма И.В.Сталина – В.М.Молотову. 1925–1936 гг. М.: Россия молодая, 1995. С. 198–199.

513

Саран А.Ю. Дело «Трудовой крестьянской партии» в Центрально-Черноземной области // Образование и общество. 2003. № 3.

Ленин В.И. ПСС. Т. 38. С. 142.

515

О правом уклоне в ВКП(б): Речь на пленуме ЦК и ЦКК ВКП(б) в апреле 1929 г. (стенограмма) // Сталин И.В. ПСС. Т. 12.

516

Этот поразительный документ прислал мне М.Д.Голубовский, выражаю ему сердечную благодарность.

517

Письма И.В Сталина – В.М.Молотову С. 198–199.

518

Подробнее о Н.Н.Суханове см.: Резник С.Е. Вместе или врозь? С. 397–402.

519

Савинова ТА. Н.П.Макаров – русский и советский экономист-аграрник // Россия и современный мир. 2007. № 1 (54). С. 200–207.

520

Цит. по: Чаянов В.А. Жизнь и деятельность Александра Васильевича Чаянова. С. 66.

521

Суд палача. Николай Вавилов в застенках НКВД… С. 164.

522

Справка на Вавилова Николая Ивановича. Составлена в мае 1940 г. Подписана Старшим лейтенантом госбезопасности Рузиным, начальником 3 отдела ГЭУ НКВД // Там же. С. 178.

523

Синская Е.Н. Воспоминания о Н.И.Вавилове. С. 149.

524

Экономическая жизнь. 13.5.1931.

525

Там же.

526

Сталин И.В. Новая обстановка – новые задачи хозяйственного строительства (Речь на совещании хозяйственников 23 июня 1931 г.) // Правда. № 183. 5.7.1931.

527

Серия «Известия Государственной академии истории материальной культуры». 1932. Т. XIII. Вып. 9.

Формозов А.А. Рассказы об ученых. Курск: КГМУ, 2004. С. 77.

529

Там же. С. 78.

530

Суд палача. С. 158. В цитатах из Директивного письма сохранена орфография, пунктуация и стилистика оригинала.

531

Там же. С. 142.

532

О деятельности доктора Джозефа Розена в России см.: Резник С.Е. Вместе или врозь? С. 439–440 и далее по указателю. О приезде в СССР профессора Бриджеса по приглашению Вавилова говорилось выше.

533

Суд палача. С. 142, 146–147, 158.

Эл. письмо В.А.Гончарова в архиве автора.

Сойфер В.Н. Власть и наука. С. 270.

Вавилов Н.И. Избранные письма. Т 2. С. 178.

537

В июле 1931 года в Лондоне состоялся Второй международный конгресс по истории науки и техники. В нем участвовала большая делегация из СССР во главе с Н.И.Бухариным. Власти столь расщедрились, что Вавилов смог взять с собой 13-летнего сына Олега. На съезде сделал доклад о происхождении земледелия.

538

Вавилов Н.И. Избранные письма. Т. 2. С. 179.

Записка в Президиум ВАСХНИЛ// Там же. С. 187.

Там же.

541

Письмо от 3.3.1934 // Вавилов Н.И. Международная переписка. Т. 4. С. 16.

Письмо от 9.9.1934 // Там же. С. 36.

543

Письмо С.Харланда Н.И.Вавилову от 6.9.1934 // Там же. С. 139.

Там же. С. 40.

Там же. С. 187.

Сома – тело, соматические ткани – ткани тела, состоящие из взрослых клеток, в отличие от половых клеток.

Это очень интересно! (*анг.*)

У истоков генетической науки… С. 206–207.

549

Бабков В.В. Путевые письма и микроэволюция Ф.Г.Добржанского // Вестник ВОГиС. 2007. Т. 11. № 2. С. 463.

550

Письмо от 7Л0.1931 // Вавилов Н.И. Международная переписка. Т. 3. С. 47.

Dobzhansky Th. Genetics and the Origin of Species. N.Y., 1937.

Dobzhansky Th. Lysenko's «Genetics» // Journal of Heredity. 1946. V. 37. No. 1. Pp. 5–9.

Dobzhansky Th. The Suppression of a Science // Bulletin of the Atomic Scientists. 1949. V. 5. Pp. 144–146.

Вавилов Н.И. Избранные письма. Т. 2. С. 182.

Там же. С. 183.

Там же. С. 184.

557

Оки, ульюки – клубненосные растения, эндемичные для Перуано-Боливийского очага; ламы, альпаки – домашние животные Южной Америки.

Вавилов Н.И. Избранные письма. Т. 2. С. 185.

Там же. С. 186.

Вавилов Н.И. Международная переписка. Т. 3. С. 79.

561

Н.И.Вавилов. Документы, фотографии. С. 119.

562

Цит. по: Исаков В.Д. Николай Иванович Вавилов… С. 177–178.

Там же. С. 174–179.

Там же. С. 180.

565

Вавилов Н.И. Избранные письма. Т. 2. С. 187.

Там же. С. 191.

567

Керкис Ю.Я. Неизвестные страницы из жизни Н.И.Вавилова // Природа. 1989. № 3. С. 99.

Там же.

569

Там же.

Там же. С. 100.

571

Шашкина М.Н. Агроном, почвовед, земледел // Сельская жизнь. 2015. № 35 (3–9 сентября). С. 6. Сердечная благодарность М.Н.Шашкиной, приславшей автору эту статью и другие материалы.

Делоне Н.Л. У времени в плену: Записки генетика. М.: Российское гуманистическое общество, 2010. Цит. по: delone.botaniklife.ru/books/ uvremenivplenu/glava06.htm.

Историко-биологические исследования (Издание ИИЕТ). СПб., 2016. Том 8. № 4. С. 69–89. Сердечная благодарность О.В.Максимовой за присылку воспоминаний ее деда и других ценных сведений о нем, а также за пересылку фотокопии книги К.В.Манойленко «Николай Александрович Максимов. 1880–1952» (М.: Наука, 1999).

Гиренко М.М. Клавдия Васильевна Иванова // Соратники Николая Ивановича Вавилова. Исследователи генофонда растений / отв. ред. В.А.Драгавцев. СПб.: ВИР, 1994. С. 199.

Цит. по: a.kras.cc/2015/07/blog-post_218.html.

См. главу «Драма идей». С 130–145.

Подробнее см.: Резник С.Е. Против течения. С. 244–246.

Alma Mahler-Werfel. And the Bridge Is Love. N.Y.: Harcourt, Brace and Co., 1958. Pp. 71–72.

579

Письмо Т.Моргана от 11.10.1926. Цит. по.: Ellen Myers. The Story of Paul

Kämmerer, is Lamarckism Dead? Creation of Social Science & Humanities Society // www.creationism.org/csshs/vllnlp06.htm.

581

Раменская М.Е. История Подъяпольских. С. 159.

582

Вавилов Н.И. Новейшие открытия в области теории селекции. Лекция на областных курсах для агрономов 15–30/ХП 1922 г. М.: Кооп. изд-во, 1923.

583

Джулиан Хаксли (1887–1975) – британский биолог, общественный и политический деятель, один из создателей синтетической теории эволюции наряду с Ф.Г.Добжанским, Н.В.Тимофеевым-Ресовским и др.

Резник С.Е. Николай Вавилов. С. 298; Вавилов Н.И. Избранные письма. Т. 1. С. 165.

585

Любищев А.А. В защиту науки: статьи и письма, 1953–1972 / сост. д-р ф.-м. наук Р.Г.Баранцев, Н.А.Папчинская; под ред. д-ра биол. наук М.Д.Голубовского. Л.: Наука, 1991. С. 149. О профессоре А.А.Любищеве, отважном борце с лысенкоизмом, я знал давно, но вплотную познакомиться с его трудами и понять его роль в истории науки мне помог М.Д.Голубовский. Ему моя сердечная благодарность.

586

Цит. по: Бахарев А.Н. Иван Владимирович Мичурин. Биографический очерк // Мичурин И.В. Сочинения: в 4 т. М.: Госсельхозиздат, 1948. Т. 1. С. 10.

Лебедев В.А. Мичурин (1855–1935). М.: Молодая гвардия, 1950. (ЖЗЛ).

588

Шаламов В. Мастер, переделывающий природу. К 60-летию научной деятельности И.В.Мичурина // Прожектор. 1934. № 8 (342). С. 6–7.

589

Гончаров Н.П., Савельев Н.И. К 160-летию со дня рождения Ивана Владимировича Мичурина // Вавиловский журнал генетики и селекции. 2015. № 19 (3). С. 339–358.

Мичурин И.В. Сочинения: в 4 т. Т. 4. С. 244.

591

Мичурин И.В. Автобиографические сведения // Там же. С. 7.

Мичурин И.В. Сочинения: в 4 т. Т 1. С. 430.

593

Цит. по: Бахарев А.Н. Иван Владимирович Мичурин. Биографический очерк // Там же. С. 48.

594

Цит. по: Бахарев А.Н. Иван Владимирович Мичурин. М.: Сельхозгиз, 1955. С. 36.

595

Там же.

596

См.: Васильченко И.Т. И.В.Мичурин. М.: Изд-во АН СССР, 1950. С. 47; Мичурин Иван Владимирович: биография и научная деятельность. РГАУ-МСХА. Зооинженерный ф-т // www.activestudy.info/michurin-ivan-vladimirovich/ и др.

597

Цит. по: Бахарев А.Н. Мичурин. Биографический очерк // Мичурин И.В. Сочинения: в 4 т. Т 1. С. 44.

Там же. С. 70.

Мичурин И.В. Сочинения: в 4 т. Т. 4. С. 186.

Лебедев В.А. Мичурин. Цит. по: www.litmir.co/a/?id=73400.

601

Там же.

602

Декреты Советской власти. М.: Гос. изд-во полит, лит-ры, 1957. Т. 1. С. 17–20.

603

Бахарев А.Н. Мичурин // Мичурин И.В. Сочинения: в 4 т. Т. 1. С. 57.

Цит. по: Васильченко И.Т. И.В.Мичурин. С. 70.

605

Виктория Сорокопуд. К 150-летию со дня рождения Л.П.Симиренко // www. fruit-inform, com/ru/news/23768.

Цит. по: Бахарев А.Н. Иван Владимирович Мичурин. М.: Сельхозгиз, 1955. С. 48.

607

Бахарев А.Н. Замечательная жизнь и работа И.В.Мичурина. 1855–1935 // И.В.Мичурин. Итоги шестидесятилетних работ. М.: ОГИЗ – Сельхозгиз, 1949. С. 30.

Там же. С. 50.

609

Мичурин И.В. Наши неотложные задачи // Научное плодоводство. 1934. № 1.

Цит. по: Васильченко И.Т. И.В.Мичурин. С. 106–108.

Там же. С. 114.

612

Там же.

613

Правда. 23.9.1924. Цит. по: Бахарев А.Н. Замечательная жизнь и работа И.В.Мичурина… С. 51–52.

Вавилов Н.И. Избранные письма. Т. 1. С. 59–60.

615

Письмо С.К.Чаянову от 22.9.1922 // Там же. С. 66–67.

616

Сад и огород. 1916. Т. 32. № 1. С. 10–19; № 2. С. 50–63.

617

Письмо от 24.12.1923 // Вавилов Н.И. Избранные письма. Т. 1. С. 143.

Январь 1932 г. // Там же. Т. 2. С. 149.

619

Там же. С. 159.

Там же. С. 244–245.

621

Акимов О. Штрихи к портрету молодого Лысенко // sceptic-ratio.narod. ru/rep/lysenko-1.htm.

См.: Резник С.Е. Вместе или врозь? С. 438–439.

623

Книга погромов. Погромы на Украине, в Белоруссии и европейской части России в период Гражданской войны 1918–1922 гг.: сборник документов / отв. ред. Миляков Л.Б. М.: РОССПЭН, 2007. С. 118–130.

Сидерационные (сидеральные) растения (обычно бобовые) выращивают для запахивания в землю в качестве удобрений. В Азербайджане это было особенно актуально, так как животноводство (овцеводство) имело преимущественно отгонный характер, в хозяйствах не накапливалось достаточно навоза.

625

В активе Лысенко были две студенческие публикации реферативного характера.

626

Федорович В. Поля зимой // Правда. 7.8.1927. № 178 (3710). С. 5.

Резник С.Е. Николай Вавилов. С. 263–264.

Об этом письме мне сообщила и затем переслала его фотокопию М.А.Вишнякова, за что моя сердечная благодарность.

629

Лысенко Т Мой путь в науку // Правда. 1.10.1937. № 271 (7237). С. 4.

630

Цит. по: Резник С.Е. Завещание Гавриила Зайцева. С. 107–108. Письмо хранилось в семейном архиве В.М.Максименко и М.Г.Зайцевой, после их смерти материалы переданы на государственное хранение.

631

Там же.

Баку. 1928. Вып. 3.

633

Григорьев Вл. Открытие агронома Лысенко. Метод Лысенко будет на практике применен в совхозах и колхозах Украины // Правда. 21.7.1929. № 165 (4299). С. 4.

634

Вавилов Н.И. Избранные письма. Т. 1. С. 344. М.З.Резников недолго оставался на своем посту. В 1930–1931 годах 142 деятеля Украины будут арестованы по делу ТКП. Резникова приговорят к 10 годам заключения. Дальнейшие сведения о нем отсутствуют.

635

Сельскохозяйственная газета. 13.11.1929. № 212. С. 3.

Там же. 19.12.1929. С. 3.

Там же.

638

Социалистическое земледелие. 13.9.1931. № 255. С. 3. В 1930 г. «Сельскохозяйственная газета» была переименована в «Социалистическое земледелие».

639

Социалистическое земледелие. 24.2.1931. № 54. С. 1.

Там же. 29.10.1931. № 296. С. 1.

641

Там же. 24.2.1931. С. 3.

642

Социалистическое земледелие. 13.9.1931. С. 2.

Простор. 1966. №№ 7–8.

Медведев Ж.А. У истоков генетической дискуссии // Новый мир. 1967. № 4.

645

Поповский М.А. Дело академика Вавилова. Нью-Йорк: Hermitage, 1983. (2-е изд.: М., 1991.)

Там же. С. 92.

Там же. С. 92–93.

Там же. С. 93.

Там же. С. 91.

650

Вавилов Н.И. Избранные письма. Т. 2. С. 165–166.

651

Поповский М.А. Указ. соч. С. 89.

652

Письмо Н.В.Ковалеву от 28.5.1932 // Вавилов Н.И. Избранные письма. Т 2. С. 174.

653

Там же.

654

Дубинин Н.П. Вечное движение. М.: Политиздат, 1989. С. 130.

655

Письмо Ковалеву от 28.5.1932 // Вавилов Н.И. Избранные письма. Т. 2. С. 174.

Сахаровские слушания, четвертая сессия. Лиссабон, 1983 / ред. – сост. С.Резник. London: Overseas Publications Interchange, 1985.

657

Повторное письмо в редакцию журнала «Страна и мир» (рукопись в архиве автора). Письмо было продолжением полемики с М.Поповским в журнале «Страна и мир». См.: Поповский М. Однофамильцы // Страна и мир. 1986. № 5. С. 98—101; Резник С. Письмо в редакцию // Там же. № 10. С. 117–118; Поповский М. Письмо в редакцию // Там же. С. 119–120. Мое повторное письмо редакция отклонила, не желая продолжать эту полемику.

658

Советская культура. 26.11.1987.

659

Литературная газета. 25.11.1987.

Русская мысль. Париж. 5.2.1988. № 3710.

661

Литературная газета. 10.2.1988. № 6.

Делоне Н.Л. У времени в плену: Записки генетика. Цит. по: alkruglov. narod.ru/delone2.html.

663

Музрукова Е.Б., Чеснова Л.В. Советская биология в 30—40-е годы: кризис в условиях тоталитарной системы // Репрессированная наука. СПб.: Наука, 1994. Вып. 2. С. 45–56.

Романовский С. «Притащенная» наука. СПб.: Изд-во СПб. ун-та, 2005. Цит по: www.e-reading.club/bookreader.php/130613/ Romanovskiii_ Pritashchennaya_nauka.html. Ссылка на: Сойфер В.Н. Власть и наука. История разгрома генетики в СССР. М., 1993. С. 12–13.

665

Сойфер В. Горький плод // Огонек. 1988. № 1.

Копия письма Ж.А.Медведева в архиве автора, цитируется с разрешения Ж. А. Медведева.

667

См.: Поповский М.А. Дело академика Вавилова. С. 94.

668

Сталин И.В. О правом уклоне в ВКП(б) // ПСС. Т. 12. С. 14.

669

Теоретические основы селекции. Т. 1. 1935. С. 72.

Любищев А.А. В защиту науки. С. 253–254.

671

Стенограмма выступления Н.И.Вавилова в архивном фонде ВИРа. Данный отрывок цитировался в рукописи моей книги «Николай Вавилов» (ЖЗЛ, 1968), был удален по цензурным соображениям. Впервые опубликован в: Резник С.Е. Дорога на эшафот. 1983. С. 54.

См.: Вавилов Ю.Н. В долгом поиске. С. 251–252.

673

Цит. по: Глазко В.И., Чешко В.Ф. Август – 48: Феномен «пролетарской науки» (монография). М., 2013. С. 261.

Константинов П.Н. Уточнить яровизацию // Селекция и семеноводство. 1937. № 4. С. 12–17; ряд других публикаций П.Н.Константинова, П.И.Лисицына и Дончо Костова.

V.Soifer. New Light on the Lysenko Era // Nature. 1989. Vol. 339 (8 June). Pp. 415–420.

Цит. по: Глазко В.И., Четко В.Ф. Указ. соч. С. 263.

Сойфер В.Н. Власть и наука. С. 290.

678

Колчинский Э.И. Великий антилысенковец: К 100-летию со дня рождения Д.В.Лебедева // ВИЕТ. 2016. Т. 37. № 1. С. 110–135.

679

Электронное письмо Ж.А.Медведева от 30.9.2015 (архив автора).

См. также: Колчинский Э.И., Инге-Вечтомов С.Г. Антилысенковец с довоенным стажем // Письма в Вавиловский журнал генетики и селекции. 2015 // www.bionet.nsc.ru.

Переписка с Э.И.Колчинским в архиве автора.

Ленин В.И. ПСС. Т. 51. С. 22.

www.ecoethics.ru/old/b61/12.html.

Там же.

685

Там же.

Резник С.Е. Против течения. С. 239. Письмо В.Л. Меркулова от 4.10.1973 в архиве автора.

687

Дубинин Н.П. Вечное движение. С. 153.

688

Согласно В.Н.Сойферу, Презент впервые встретился с Лысенко в 1929 году, на съезде по генетике и селекции в Ленинграде, где он посоветовал Трофиму Денисовичу теснее увязывать свои работы с учением Дарвина, а тот стал спрашивать, кто такой Дарвин, как с ним познакомиться. Об этом Сойферу рассказал профессор Н.В.Турбин. Однако в 1929 году Турбин был школьником, жил в Воронеже, свидетелем пикантной сцены быть не мог. Пересказал ли он ядовитую шутку, придуманную каким-то острословом, или сам ее сочинил, не суть важно. Р.Л.Берг вспоминала: «Незадолго до начала войны в аспирантском общежитии, где жила, поселился Николай Васильевич Турбин, тогда докторант ботаника Келлера, к генетике не причастный, позже ярый лысенковец – гонитель генетики, ныне чиновный представитель советской интеллигенции – покровитель генетики» (Берг Р.Л. Суховей. Нью-Йорк: Chalidze Publication, 1983. С. 59). Вряд ли разумно опираться на свидетельство такого «очевидца».

689

Правда. 2.1.1936. № 2 (6608). С. 3.

690

Яровизация. 1935. № 1.

691

Мурадова Ю. О том, что никогда не забудется // scepsis.net/ library/ id_3568.html.

Здесь и далее переписка акад. И.П.Павлова с В.М.Молотовым цит. по: www.ihst.ru/projects/sohist/document/letters/pav95ist.htm.

693

Керкис Ю.Я. Неизвестные страницы… С. 100.

Там же. С. 101.

695

Берг Р.Л. Суховей. С. 61.

Керкис Ю.Я. Неизвестные страницы… С. 102.

Берг Р.Л. Указ. соч. С. 33.

698

Письмо Германа Мёллера И.В.Сталину / публ. Ю.Н.Вавилова; вступл. И.А.Захарова // ВИЕТ. 1997. № 1.

699

Бабков В.В. Заря генетики человека. М., 2008. Цит. по: royallib.com/read/ babkov_vasiliy/ zarya_genetiki_cheloveka_russkoe_evgenicheskoe_dvigenie_i_nachalo_ genetiki_cheloveka.html#0.

Берг Р.Л. Указ. соч. С. 33–34.

701

Письмо Я.А.Яковлеву от 28.2.1935 // Вавилов Н.И. Избранные письма. Т. 2. С. 274.

Там же. С. 276.

703

Там же.

Правда. 15.2.1935. № 45. С. 2.

705

Правда. 2.1.1936. № 2 (6608). С. 3.

Семенов Н.Н. Наука не терпит субъективизма // Наука и жизнь. 1965. № 4. С. 43.

Резник С.Е. Дорога на эшафот. С. 66.

708

Цит. по: Овчинников Н.В. Академик Трофим Денисович Лысенко. М., 2010. С. 182. Автор указывает, что письмо находится в Архиве РАН, ф. 1521, оп. 1, д. 128: «Письмо в архиве имеется в нескольких вариантах; предположительный адресат – правительство или ЦК КПСС».

Там же.

Loren Graham. Lysenko’s Ghost: Epigenetics and Russia. Cambridge, MA: Harvard University Press, 2016. P. 70. Слова Лысенко даны в обратном переводе с английского.

Там же. С. 74–77.

712

Социалистическое земледелие. 7.11.1935.

713

Академия наук в решениях Политбюро ЦК РКР(б) – ВКП(б) – КПСС. 1922–1991. 1952–1958 / сост. В.Д.Есаков. М.: РОССПЭН, 2000. С. 184.

ВИЕТ. 2005. № 4. С. 9. Цит. по: Исаков В.Д. Николай Иванович Вавилов… С. 207.

715

Правда. 4.1.1936. № 4. С. 3.

Там же. 3.1.1936. № 3. С. 1.

Там же. С. 1.

New York Times. 14.12.1936. Фотокопия статьи в архиве автора.

Science. Vol. 85. No. 2193. P. 38.

Известия. 22.12.1936. С. 4.

New York Times. 23.12.1936. P. 8. Фотокопия в архиве автора.

722

Спорные вопросы генетики и селекции. Работы IV сессии ВАСХНИЛ. 19–27 декабря 1936 г. М.-Л., 1937. С. 21.

Там же. С. 113.

Там же. С. 68–69.

Там же. С. 222.

726

Там же. С. 416. В квадратных скобках воспроизведена концовка высказывания Мейстера, опущенная Н.П.Дубининым. См. также: Дубинин Н.П. Вечное движение. С. 162.

7 27

Спорные вопросы генетики и селекции. С. 243.

Дубинин Н.П. Указ. соч. С. 160.

729

Спорные вопросы генетики и селекции. С. 162–163.

Там же. С. 210.

Там же. С. 47.

Там же. С. 327.

Там же. С. 40.

734

Медведев Ж.А., Резник С.Е. П.М.Жуковский – письмо ЖАМедведеву / вступ. ст. и прим. С.Е.Резника // Известия ТСХА. 2012. Вып. 4.

Дубинин Н.П. Указ. соч. С. 179.

Спорные вопросы генетики и селекции. С. 464.

737

Инге-Вечтомов С.Г. К 85-летию кафедры генетики и селекции СПбГУ // Экологическая генетика. 2004. Т. 2. № 4. С. 6–7.

738

Мёллер Г. Письмо М.Поповскому от 16.6.1966. Музей Н.И.Вавилова в Институте общей генетики Академии наук РФ. Предоставлено автору Т.Б.Авруцкой.

Голинков Д.Л. Крах вражеского подполья (Из истории борьбы с контрреволюцией
в Советской России в 1917–1924 гг.). М.: Политиздат, 1971.

Дубинин Н.П. Указ. соч. С. 56.

Сойфер В.Н. Власть и наука. 2002. С. 419.

Резник С.Е. Дорога на эшафот. С. 76–77. Документ был обнаружен мною в фонде ВИРа, ЛГАОРС, ф. 9708. Позднее этот фонд был передан в Центральный государственный архив научно-технической документации (ГАНТД), ф. 318.

743

Цит. по: Выступления оппозиционеров на XV съезде ВКП(б). Заседание седьмое, утреннее 6 декабря 1927. Выступление Н.И.Муралова // web.mit. edu/fjk/www/Trotsky/sochineniia/1927/XV-congress.html.

Муралова Ю. О том, что никогда не забудется // scepsis.net/ library/ id_3568.html.

Там же.

746

Речь Я.А.Яковлева была напечатана во многих изданиях. Цит. по: Яровизация. 1937. № 2.

Вавилов Н.И. Избранные письма. Т. 2. С. 181.

С 1962 г. – пик Коммунизма, с 1998 г. – пик Исмаила Сомони.

749

Цит. по: Соловьев Ю.И. Забытая дискуссия о генетике // Вестник РАН. 1994. Т. 64. № 1. С. 46.

Там же. С. 47–48.

751

Там же. С. 48.

752

Н.П.Горбунов и организация советской науки (Интервью К.О.Россиянова с А.Н.Горбуновым) // ВИЕТ. 2004. № 3.

Цит. по: Соловьев Ю.И. Указ. соч. С. 49.

Керкис Ю.Я. Неизвестные страницы… С. 102.

755

Берг Р.Л. Суховей. С. 36.

756

Докладная записка К.Я.Баумана от 9.7.1937. Цит. по: Есаков В.Д. Николай Иванович Вавилов… С. 232.

Википедия сообщает, что К.Я.Бауман был арестован 12Л0.1937, «через два дня погиб от пыток в Лефортовской тюрьме». М.А.Чернов был арестован 7.11.1937, стал одним из обвиняемых на процессе бухаринцев. Приговорен к высшей мере, расстрелян 15.3.1938. 21.4.1938 судили его 23-летнюю дочь Марию. Она заявила, что отец и она оклеветаны. Расстреляна в тот же день на полигоне «Коммунарка», где и ее отец. В 1942 году сын Чернова Михаил погиб в лагере на Колыме.

Рядом с Н.И.Вавиловым. С. 249.

759

Ермолаева Н.И. Еще раз о «гороховых законах» // Яровизация. 1939. № 2 (23). С. 79–86.

Там же. С. 87—116.

Там же. № 3 (24). С. 70–73.

Енин Т.К. Менделизм в селекции гороха // Доклады ВАСХНИЛ. 1939. Вып. 5–6.

763

Доклады Академии наук СССР. 1940. Т. 27. Вып. 1. С. 38–42.

Вестник АН СССР. 1938. № 6.

765

Было сообщено Я.Н.Кумоком, чью книгу о Губкине (ЖЗЛ, 1968) мне довелось редактировать.

Цит. по: Аджубей А. Три письма // Огонек. 1987. № 47. С. 14.

См.: Лебедев Д.В., Колчинский Э.И. Последняя встреча Н.И.Вавилова и И.В.Сталина (Интервью с Е.С.Якушевским) // Репрессированная наука. СПб.: Наука, 1994. Вып. 2. С. 219–221.

Синская Е.Н. Воспоминания о Н.И.Вавилове. С. 169.

769

Шарль Нодэн (1815–1899) – французский ботаник, знаток бахчевых культур. Близко подошел к открытию законов Менделя.

770

Речь идет о работе Пангало с дикими арбузами колоцинтами, привезенными Н.И.Вавиловым из Афганистана. Высушенные семена колоцинтов имели лекарственное действие, но при передозировке вызывали отравление.

771

Письмо Г.Мёллера от 21.2.1938 // Резник С.Е. Николай Вавилов. С. 307.

Там же. С. 307–308.

Цит. по: Резник С.Е. Дорога на эшафот. С. 86.

774

Три архивных документа / публ. и прим. Я.Г.Рокитянского // Вестник РАН. 2003. Т. 73. № 12. С. 1124.

775

Там же. С. 1125–1127. Подлинник обнаружен Я.Г.Рокитянским в ГАРФ. Ф. 5446, оп. 2, д. 1660, л. 114–121, 132.

Поповский М.А. Дело академика Вавилова. С. 171.

777

Рокитянский Я.Г. Голгофа Николая Вавилова // Суд палача. С. 64–65.

Резник С.Е. Николай Вавилов. С. 308.

779

Косичев А.Д. Философия. Время. Люди. М.: ОЛМА, 2007. С. 271–272. Автор – декан философского факультета МГУ. Им записано личное свидетельство М. Б. Митина.

Под знаменем марксизма. 1939. № 11. С. 93–94.

781

О кошмаре Дженкинса см. в главе «Драма идей». С. 130–145.

782

Н.П.Дубинин настолько гордился этой своей речью, что полностью перепечатал ее в книге воспоминаний «Вечное движение» (с. 185–213).

783

Дубинин Н.П. Вечное движение. С. 193.

Там же. С. 212.

Под знаменем марксизма. 1939. № 11. С. 130.

786

Там же. С. 146. Далее выдержки из того же выступления. С. 146–168.

787

Протокол обыска у гр. Вавилова Н.И. в доме № 21 кв. 57 по ул. Чкаловской (Земляной Вал) // Суд палача. С. 217.

Рокитянский Я.Г. Голгофа Николая Вавилова // Суд палача. С. 60–61; Лебедев Д.В., Колчинский Э.И. Последняя встреча Н.И.Вавилова и И.В.Сталина // Репрессированная наука. СПб.: Наука, 1994. Вып. 2. С. 219–221; Братья Николай и Сергей Вавиловы. Вечер воспоминаний. М., 1994. С. 38.

789

На приеме у Сталина. Тетради (журналы) записей лиц, принятых И.В.Сталиным (1924–1953 гг.). 1939 год (июль – декабрь) // istmat.info/ node/1954.

Устные воспоминая В.С.Лехновича и Ф.Х.Бахтеева, а также письменные воспоминания Ф.Х.Бахтеева были использованы мною при написании книги «Николай Вавилов» (ЖЗЛ, 1968), но при публикации были удалены. Воспроизведены в моей книге «Дорога на эшафот».

791

Суд палача. С. 224–225.

Шаламов В.Т. Бутырская тюрьма. Цит. по: shalamov.ru/library/16/19.html.

Никита Петров. Формирование квартала госорганов на Лубянке, 23.5.2014 // urokiistorii.ru/history/soc/52115.

794

Евгения Альбац опубликовала интервью с А.Г.Хватом в газете «Московские новости» (15Л1.1987. С. 10) и в книге «Мина замедленного действия» (с. 62–70). Необработанную машинописную копию интервью она подарила автору в 1989 году, во время нашей единственной (к сожалению) встречи. Я пользуюсь этим первоначальным текстом. Выражаю Е.М.Альбац сердечную благодарность.

Шаламов В.Т Указ. соч.

Суд палача. С. 462–468.

Там же. С. 519.

Электронная переписка с В. А. Гончаровым – в архиве автора. Разыскать его и связаться с ним мне помог Анатолий Терентьев, приславший также ряд замечательных фотографий. Обоим сердечная благодарность.

Суд палача. С. 228–251. Док. 28.

800

Суд палача. С. 257.

801

Суд палача. С. 277. Допрос от 28–29 августа. Начат 28 августа в 11:00, окончен 29 августа в 17:00. С двумя перерывами. Ночной допрос с 20:30 до 4:40 утра вел С.Албогачиев.

802

Зеленый А.М. Воспоминания // Архив об-ва «Мемориал». Ф. 2, оп. 1, д. 64. Цит. по: notepad.memo.ru/2/1/64/zelenyy-aleksandr-maksimovichvospominaniya.

803

Суд палача. С. 248–251.

804

Протокол допроса от 13–14 августа 1940 г. // Суд палача. С. 260–261.

805

Суд палача. С. 261–263. Док. 33.

nat-i.livejournal.com/31757.html.

807

Показания сотрудника органов А.С.Козлова. Цит. по: Петров Н. Следователь-костолом: экспортный вариант // Новая газета. Правда ГУЛАГа (спецвып.). 8.11.2010. № 20 (41).

cyclowiki.org/wiki/Лев Леонидович Шварцман.

Петров Н. Указ. соч.

810

Суд палача. С. 263–264.

Там же. С. 462–463.

Там же. С. 265.

813

Суд палача. С. 266.

Там же С. 158–159.

815

Правда. 25.12.1939.

816

Цит. по: Савина Г.А. Чистые линии (В.И.Вернадский о Н.И.Вавилове) // Трагические судьбы: репрессированные ученые Академии наук СССР. М.: Наука, 1995. С. 38–39.

817

Поповский М.А. Дело академика Вавилова. С. 191.

818

Вавилов С.И. Дневники. Кн. 2. С. 134, 136, 249. П.Г.Шидловский – административный сотрудник Президиума Академии наук.

819

Запись от 21.1.1941. Цит. по: Савина Г.А. Указ. соч.

820

Резник С.Е. Дорога на эшафот. С. 109–110.

Цит. по: Савина Г.А. Указ. соч.

Цит. по: Резник С.Е. Указ. соч. С. 108–109.

823

Суд палача. С. 269–270.

Поповский М.А. Указ. соч. С. 162–163.

825

Там же. С. 162.

826

Суд палача. С. 272.

827

Протокол допроса от 28–29 августа 1940 г. // Суд палача. С. 276.

828

Там же.

829

Там же. С. 277.

830

Там же.

831

Поповский М.А. Указ. соч. С. 19–20.

Там же. С. 20.

833

Суд палача. С. 376, 378.

Там же. С. 412.

835

Там же. С. 410–411.

836

Там же. С. 86.

837

Там же. С. 438–441.

Там же. С. 511.

839

Протокол очной ставки между Вавиловым и Карпеченко от 25 июня 1941 г. // Суд палача. С. 482–483. Выписка из протокола очной ставки между Говоровым и Карпеченко от 26 июня 1941 // Там же. С. 489–490.

840

Шачин С. Тень // Сельская молодежь. 1989. № 6. Цит. по: Рокитянский Я.Г. Голгофа Николая Вавилова // Суд палача. С. 91.

841

Суд палача. С. 480.

Рокитянский Я.Г. Указ. соч. // Суд палача. С. 127.

843

Из протокола допроса И.В.Якушкина майором юстиции Колесниковым 11.6.1955. Цит. по: Вавилов Ю.Н. В долгом поиске. С. 156.

Цит. по: Рокитянский Я.Г. Указ. соч. // Суд палача. С. 93.

845

Суд палача. С. 492–493.

Рокитянский Я.Г. Указ. соч. // Суд палача. С. 95

847

Суд палача. С. 511.

Там же. С. 510.

849

Рокитянский Я.Г. Указ. соч. // Суд палача. С. 127.

850

Письмо военного прокурора А.В.Чуракова Ю.Н.Вавилову от 8.3.2002. (Фотокопия) // Вавилов Ю.Н. В долгом поиске. Блок фотографий. С. 31.

851

Суд палача. С. 512.

Там же. С. 515.

853

Там же. С. 516.

Сердечная благодарность С.А.Бондаренко за эти и другие ценнейшие сведения.

Лоскутов И. Всероссийский НИИ растениеводства им. Н.И.Вавилова и блокада Ленинграда // www.vir.nw.ru/files/pdf/books/Blokada.pdf.

856

Борин А. Подвиг 13 ленинградцев. К 125-летию Николая Вавилова //Новая газета. 23.11.2012. № 133.

857

Там же.

Лоскутов И. Указ. соч.

859

Иванова К.В, Макашова Р.Х. Николай Родионович Иванов // Соратники Николая Ивановича Вавилова. СПб., 1994. С. 191–192.

Веденеева Н. «Хранилище Судного дня». Всемирный банк семян – вскрыто по просьбе Сирии // www.mk.ru/science/2015/09/27/khranilishhe-sudnogo-dnya-ysemirnyy-bank-semyan-vskryto-po-prosbe-sirii.html.

861

Там же.

862

Суд палача. С. 517.

shalamov. ru/library/16/19. html.

864

Суд палача. С. 516–517.

865

Суд палача. С. 518.

Там же. С. 520.

Андрей Кудряшов. Паника в Москве // www.specnaz.ru/article/71965.

Там же.

869

Там же.

Цит. по: Млечин Л. Черный октябрь // Новая газета. 12.10.2011. № 114.

871

Вавилов С.И. Дневники. Кн. 2. С. 126.

Цит. по: Рокитянский Я.Г. Голгофа Николая Вавилова // Суд палача. С. 102.

Суд палача. С. 521. Стиль и пунктуация сохранены.

Поповский М.А. Дело академика Вавилова. С. 201–202.

М.А.Поповский приводит свидетельство еще одного узника камеры

смертников, И.Ф.Филатова, который умер в 1944 году, но перед смертью сообщил много подробностей некоему Г.Лозовскому, а тот более 20 лет спустя пересказал их Поповскому, но в этом двойном пересказе слишком много несуразностей.

876

См. Судоплатов П.А. Спецоперации. Лубянка и Кремль. 1930–1950 годы. М.: ОЛМА-ПРЕСС, 1997.

877

Суд палача. С. 552.

Там же. С. 523.

879

Голотюк В. Он работал на «оборонку» даже в «шарашке» // Военно-промышленный курьер. 2008. № 27 (243).

880

Вавилов С.И. Дневники. Кн. 2. С. 132, 136.

881

Документы о последней болезни и смерти Н.И.Вавилова получены Ф.Х.Бахтеевым в 1967 году в архиве саратовской тюрьмы. Фотокопии тогда же были переданы автору Первая публикация: Резник С.Е. Дорога на эшафот. С. 119–127.

882

Вавилов С.И. Дневники 1909–1951: в 2 кн. / отв. ред. В.М.Орел, сост. и хран. личн. арх. акад. С.И.Вавилова В.В.Вавилова, ред. – сост. Ю.И.Кривоносов. М.: Наука, 2012, 2016. (Научное наследство. Т. 35)

883

Вавилов С.И. Дневники. Кн. 2. С. 325–326. Далее ссылки на дневники С.И.Вавилова в примечаниях не даются, могут быть сверены по датам записей.

884

Ксантофилл образуется в листьях растений в результате фотосинтеза – наряду с хлорофиллом.

885

Профессор физики МГУ Аркадий Климентьевич Тимирязев отвергал теорию относительности, квантовую механику и другие достижения буржуазной и идеалистической физики.

Цит. по: Вавилов Ю.Н. В долгом поиске. С. 233.

887

Жозеф Гей-Люссак (1778–1850) – французский физик и химик, один из крупнейших ученых своего времени. Чем вызвано негативное отношение к нему С.И.Вавилова, я не смог выяснить.

888

Запись по-итальянски от 29.10.1913. Перевод в примечании. С. 606.

889

Премия была присуждена П.А.Черенкову, И.Е.Тамму и И.М.Франку в 1958 году. С.И.Вавилов не мог быть в числе лауреатов, потому что Нобелевская премия не присуждается посмертно.

890

Вавилов С.И. Дневники. Кн. 2. Приложения. С. 527–528.

891

Свидетельство вдовы А.Е.Гайсиновича Анны Александровны // Тимирязевка. 2012. №№ 13–16 (2925–2928). С. 16. А.Е.Гайсинович – историк генетики. В 1940-е годы был референтом В.Л.Комарова.

Вавилов Ю.Н. В долгом поиске. С. 282.

893

Письмо С.И.Вавилова В.А.Веснину от 24.8.1940 // Дневники. Кн. 2. Приложения. С. 528.

Цит. по: Вавилов Ю.Н. Указ. соч. С. 282.

895

Иосиф Абгарович Орбели (1887–1961) – искусствовед, академик, брат физиолога Л.А.Орбели, директор Эрмитажа. «Мадонна Литта» – один из шедевров мировой живописи в коллекции Эрмитажа; авторство приписывают Леонардо да Винчи.

Цит. по: Сергей Иванович Вавилов. М.: РМП, 2011. С. 108.

897

Вавилов Ю.Н. В долгом поиске. С. 113–114.

Там же. С. 16.

899

В Куйбышеве тогда находилось правительство и ЦК партии. По-видимому, С.И.Вавилов преувеличивал влияние Абрама Федоровича Иоффе. Как мы знаем, он ходатайствовал за своего ближайшего сотрудника П.К.Ощепкова, но безрезультатно.

900

Вернадский В.И. Дневники. Цит. по: Рокитянский Я.Г. Голгофа Николая Вавилова // Суд палача. С. 115.

901

Медведев Ж.А. Опасная профессия. Гл. 40. Глава прислана автором, за что ему моя сердечная благодарность.

902

Открытое письмо Генри Дейла президенту АН СССР // Times. 27.11.1948. Русский перевод в газете «Британский союзник». 12.12.1948. № 50 (331) // Вавилов Ю.Н. В долгом поиске. С. 151–152.

903

Ссылка на сообщение А.Г.Чернова, записанное 4.4.1967 // Поповский М.А. Дело академика Вавилова. С. 225.

904

Цит. по: Как-то дядя сказал мне: «Должность президента Академии наук собачья» (Интервью с Ю.Н.Вавиловым) / Ольга Сметанская // Факты и комментарии. 6.4.2013 // fakty.ua/165041-plemyannik-sergeya-vavilova-kak-to-dyadya-skazal-mne-dolzhnost-prezidenta-akademii-nauk-sobachya.

905

В книге Ю.Н.Вавилова «В долгом поиске» говорится, что правильную дату смерти Н.И.Вавилова первым узнал Олег Вавилов, но дневник Сергея Ивановича показывает, что это не так.

906

Вавилов Н.И. Пять континентов. С. 10.

907

Берг Р.Л. Суховей. С. 103.

Manevich E.D. Such Were the Times. A Personal View of the Lysenko Era in the USSR. Forward be Eric Ashby. Northampton, MA: Pittenbruach Press, 1990. Pp. 45–47.

909

Поповский М.А. Дело академика Вавилова. С. 226–227.

910

Суд палача. С. 118–119.

911

На приеме у Сталина. Тетради (журналы) записей лиц, принятых И.В.Сталиным (1924–1953 гг.). 1945 год (июль – декабрь) // istmat.info/ node/2189.

912

Цит. по.: Вавилов Ю.Н. В долгом поиске. С. 270.

913

Вавилов. Ю.Н. Указ соч. С. 270–271; Медведев Ж.А. Лысенко и Сталин // Свободная Грузия. 29.11.1998. С. 11.

914

Медведев Ж.А. Опасная профессия. Гл. 100. Рукопись предоставлена автором.

915

Цит. по: Вавилов Ю.Н. Указ. соч. С. 243.

Там же. С. 19.

917

Подробнее о гибели Олега Вавилова: Вавилов Ю.Н., Альтшуллер Б.Л. Открытое письмо академику И.Р.Шафаревичу // Время и место. 2007. № 2. С. 137–140; Резник С.Е. Открытое письмо академику И.Р.Шафаревичу (продолжение темы) // Там же. № 3. С. 186–188; Захаров-Гезехус И.А. Открытое письмо министру внутренних дел РФ Нургалиеву РГ. // Там же. С. 189–198; Богуславская О. Сброшен по приказу сверху // МК. 24.7.2007; Белоусова Т. Непройденный маршрут // Совершенно секретно. 2008. № 9.

918

Сойфер В.Н. Власть и наука. С. 577.919

919

Medvedev Zh.A. The Rise and Fall of T.D.Lysenko. Columbia University Press. 1969. P. 105. Жорес Медведев был тогда студентом последнего курса Тимирязевки, учеником П.М.Жуковского, участвовал в обсуждении его статьи.

920

Селекция и семеноводство. 1946. №№ 1–2.

921

Science. 1944. Vol. 99. № 2561 (January, 28). Pp. 65–67.

Там же. № 2572 (April, 14). Pp. 298–299.

923

Цит. по: Судилище. Материалы и воспоминания о подготовке «Суда чести» над академиком А.Р.Жебраком (1947 г.) // Историко-биологический журнал. 2012. Т. 4. № 4. С. 82.

Zhebrak A.R. Soviet Biology // Science. 1945. Vol. 102. № 2649 (October, 5). Pp. 357–358.

925

Цит. по: Дубинин Н.П. Вечное движение. С. 251

926

Симонов К.М. Глазами человека моего поколения. М.: Книга, 1990. С. 111–112.

927

Ленинградская правда. 6.3.1947.

928

Цит. по: Сонин А.С. «Дело» Жебрака и Дубинина // ВИЕТ. 2000. № 1. С. 45 // www.ihst.ru/projects/sohist/papers/viet/2000/l/34-68.pdf. В дальнейшем ссылки на эту публикацию не повторяются.

929

Подробнее см.: Резник С. Академик Ларин и «дело КР» // Семь искусств. 2011. № 7 (20).

930

Цит. по: Иосиф Абрамович Рапопорт – ученый, воин, гражданин. Очерки, воспоминания, материалы. М.: Наука. 2001. С. 95–96.

931

Цит. по: Сонин А.С. Указ. соч. С. 45.

Там же. С. 46–47.

933

Цит. по: Улащик В.С. Сергей Михеевич Мелких (1877–1952) // Здравоохранение. 2014. № 6. С. 78.

Цит. по: Сонин А.С. Указ. соч. С. 51.

935

Раменская М.Е. История Подъяпольских. С. 314–315.

Там же. С. 320–321.

937

Дубинин Н.П. Вечное движение. С. 259.

Жданов Ю. Во мгле противоречий // www.ihst.ru/projects/ sohist/memory/ jdan93ph.htm.

939

Цит. по: Вавилов Ю.Н. В долгом поиске. С. 179.

lysenkoism.narod.ru/lstal.htm.

941

Глазко В.И., Чешко В.Ф. Август – 48… С. 261–267.

942

О положении в биологической науке. Стенографический отчет сессии Всесоюзной Академии Сельскохозяйственных наук имени В.И.Ленина. 31 июля – 7 августа 1948 г. М.: ОГИЗ – Сельхозгиз, 1948. С. 7—40.

943

О воинских подвигах И.А.Рапопорта см.: Резник С.Е. Вместе или врозь? С. 598–599; Иосиф Абрамович Рапопорт – ученый, воин, гражданин. Очерки, воспоминания, материалы. М.: Наука, 2001; Куксин И. Ученый, воин, человек // http://www.berkovich-zametki.com/2013/Zametki/Nomerl0/ Kuksinl.php.

О положении в биологической науке… С. 130–135.

945

Там же. С. 137.

Там же. С. 410.

947

Реплика в стенограмму не попала. Цит. по: Куксин И. Указ. соч.

См.: Берг Р.Л. Суховей. С. 115.

949

Свидетельство Ж.А.Медведева.

О положении в биологической науке… С. 472.

951

Там же. С. 506.

Берг Р.Л. Указ. соч. С. 115.

953

Свидетельство Ж.А.Медведева.

Полный текст письма Генри Дейла см.: Резник С.Е. Дорога на эшафот. С. 112–114; Вавилов Ю.Н. В долгом поиске. С. 164–165.

Вавилов Ю.Н. Указ. соч. С. 244.

956

Письмо автору от В.Л.Меркулова от 21.8.1975 // Резник С.Е. Против течения. С. 249.

Петухов В.А. Академик Л.А.Орбели в Павловских Колтушах. СПб., 2005.

Цит. по: www.infran.ru/voyenko/60years_ww2/orbeli_m2.htm.

958

Эпизод мне известен из рукописи В.Келера о С.И.Вавилове, которую мне, как своего рода специалисту по вавиловской теме, присылали на внутреннюю рецензию. Книга вышла (Келер В.Р. Сергей Вавилов. М.: Молодая гвардия, 1975), но данный эпизод был вырублен. Воспроизведен в моей книге «Против течения» (С. 250–251).

Л.М.Карахан, который в 1928 году шутливо грозил арестом Н.И.Вавилову, если книга «Земледельческий Афганистан» не будет готова к приезду Аманулы-хана, был расстрелян в 1937-м.

960

Выступление В.П.Эфроимсона на обсуждении фильма «Звезда Вавилова» в Москве, в Политехническом музее, декабрь 1985 г. См. Вавилов Ю.Н. В долгом поиске. С. 214–215. О В.П.Эфроимсоне и контактах с ним автора: Резник С.Е. Вместе или врозь? С. 588–591.

961

Драгавцев В.А. Он хотел вволю накормить человечество… (Памяти академика Н.И.Вавилова) // ЭКО-потенциал. 2017. № 1 (17).